Литературное наследство





...его совершенно напрасно забыли...

Л. Толстой

Василий Слепцов

Неизвестные страницы









НОВЫЕ, РАНЕЕ НЕ ИЗВЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ЧЕХОВЕ НАПЕЧАТАНЫ В ТОМЕ № 68 «ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА»

Впервые опубликованы:

творческие рукописи пьес: «Три сестры» «Вишневый сад», «Юбилей», рассказов: «Невеста», «Попрыгунья», «Дама с собачкой», новонайденные юмористические рассказы;

около 150 неизданных писем Чехова. Среди них письма к писателям (Л. Н. Андрееву, В. А. Гольцеву, С. Я. Елпатьевскому, Н. А. Лейкину и др.), артистам и художникам (В. В. Билибину, А. Л. Вишневскому, М. К. Заньковецкой, К. А. Каратыгиной, Л. А. Сулержицкому, Ф. И. Шаляпину и др.), родным и близким (О. Л. Книппер, М. П. Чеховой, Г. М. Чехову и др.);

более ста писем к Чехову А. Н. Плещеева, А. И. Куприна, И. А. Бунина, В. Э. Мейерхольда, а также письма разных корреспондентов о студенческом революционном движении 1899—1903 гг.;

дневниковые записи о Чехове В. Г. Короленко, Н. А. Лейкина, В. С. Миролюбова, В. А. Теляковского и др.;

воспоминания о Чехове К. А. Коровина, К. А. Каратыгиной, М. К. Заньковецкой, Е. П. Пешковой, А. А. Хотяинцевой, И. Н. Альтшуллера и др., а также материалы из незавершенной книги И. А. Бунина о Чехове;

материалы о судьбе чеховского наследства за рубежом и о роли Чехова в развитии мировой литературы, в том числе обзоры: «Чехов во Франции», «Чехов в Чехословакии», «Чехов в Соединенных Штатах Америки» и публикация «Английские писатели и критики о Чехове»:

аннотированная библиография воспоминаний о Чехове, включающая около двухсот названий.

В томе 974 страницы, 205 иллюстраций. Цена тома 3 рубля.

Книгу можно приобрести в магазинах «Академкнига»

Москва, ул. Горького, 6
Ленинград, Литейный проспект, 57

Для получения книги почтой заказы направлять по адресу:
Москва, Центр, Б. Черкасский пер., 2/10, конторa «Академкнига» или в ближайший магазин «Академкнига».

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ВАСИЛИЙ СЛЕПЦОВ

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО



ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ТОМ СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ

РЕДАКЦИЯ
И. И. АНИСИМОВ (главн. ред.), Д. Д. БЛАГОЙ,
А. С. БУШМИН, В. В. ВИНОГРАДОВ, А. Н. ДУБОВИКОВ,
И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН, С. А. МАКАШИН,
К. Д. МУРАТОВА, Ю. Г. ОКСМАН, Р. М. САМАРИН,
Л. И. ТИМОФЕЕВ, М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1 · 9 · МОСКВА · 6 · 3

В настоящем томе «Литературного наследства» в новом свете предстают жизнь и творчество одного из интереснейших русских писателей середины XIX века — Василия Слепцова. Художественным мастерством его восхищались Лев Толстой и Салтыков-Щедрин, Чехов и Горький.

«Несправедливо забытый писатель»,— говорил Толстой о Слепцове. А Горький писал о нем: «Крупный, оригинальный талант Слепцова некоторыми чертами сроден чудесному таланту А. П. Чехова; ...острота наблюдений, независимость мысли и скептическое отношение к русской действительности очень сближает этих писателей».

Значительная часть публикуемых рукописей Слепцова на протяжении почти ста лет оставалась скрытой в недрах секретного архива III Отделения. Рукописи эти были взяты у Слепцова жандармами при его обыске и аресте в 1866 г. в связи с делом Каракозова. Кроме того, в томе печатаются рукописи Слепцова из других архивов, а также целая серия его анонимно напечатанных произведений из журналов «Современник», «Искра» и других.

В разделе художественной прозы наибольший интерес представляет публикация первоначального наброска романа «Хороший человек». Выясняется, что это был замысел большого произведения о русских демократах, пытающихся найти новые пути борьбы в условиях реакции второй половины 60-х годов.

Всеми красками сильного и своеобразного таланта Слепцова блещут и многие публикуемые в томе рассказы и сцены.

Богаты отделы литературно-критических и публицистических работ, представленные четырьмя крупными циклами журнальных обозрений и рядом отдельных статей, в том числе о Гоголе и Островском.

В томе печатаются также записная книжка Слепцова и материалы для его общественно-политической биографии, в частности об его участии в известной Знаменской коммуне.

Вступительная статья написана К. И. Чуковским.

В томе 107 иллюстраций.

Цена 3 р. 67 к.

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО — ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ВАСИЛИЙ СЛЕПЦОВ

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1 · 9 · МОСКВА · 6 · 3

ГОД ИЗДАНИЯ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ

ОТ РЕДАКЦИИ

Эта книга посвящена жизни и творчеству одного из интереснейших русских писателей середины XIX века — Василия Алексеевича *Слепцова* (1836—1878). Художественное мастерство его высоко ценили Толстой и Тургенев, Некрасов и Писарев, Чехов и Горький. Как публициста, хроникера общественной жизни современники ставили Слепцова рядом с Щедриным. И сам Щедрин признавал эту родственную близость. Недаром, когда возникла однажды необходимость скрыть на страницах «Современника» свое имя как автора остро обличительных «Писем о провинции», Щедрин просил Некрасова: «Не согласится ли Слепцов ⟨...⟩ назвать себя отцом этого детища?».

Но уже в середине 1890-х годов Толстой говорил о Слепцове как о «несправедливо забытом писателе» и повторял: «его совершенно напрасно забыли». И хотя в советское время, по настойчивой инициативе Горького, Слепцова стали издавать и изучать, все же до сих пор «крупный, оригинальный талант» автора «Трудного времени», его своеобразная личность, его незаурядная общественная активность не привлекали к себе должного внимания. Слепцова мало знают. Его литературное наследие все еще не собрано.

До сих пор считалось, что наследие это почти полностью представлено в последнем по времени издании сочинений Слепцова 1957 г. Помещаемые в настоящей книге неизданные и забытые произведения Слепцова увеличивают известное до сих пор наследие писателя более, чем на треть, если говорить об объеме, и открывают в этом наследии почти неведомые до сих пор и немалые ценности —боевую революционно-демократическую публицистику и критику.

Значительная часть печатаемых рукописей Слепцова извлечена из бумаг, взятых жандармами у писателя при его аресте 30 апреля 1866 г. (Слепцов привлекался к дознанию по делу Каракозова). Изучение этих бумаг, сохранившихся в фонде Секретного архива III Отделения (осуществленное М. Л. Семановой), позволило обнаружить в них значительное количество неизданных произведений Слепцова, а также установить его авторство по отношению к ряду статей и фельетонов, напечатанных в журналах и газетах без его подписи или под псевдонимом. Важные находки были сделаны также в собраниях рукописей Архива Академии наук, Пушкинского дома и Центрального государственного архива литературы и искусства.

Открывающая том статья К. И. Чуковского — пионера изучения Слепцова в советский период — вводит в историю литературной судьбы автора «Трудного времени».

Далее следуют публикации документальных материалов, распределенных по пяти разделам: I. Художественная проза; II. Литературно-критические статьи; III. Публицистика; IV. В творческой лаборатории; V. Материалы для биографии.

В первом разделе выделяется и по значению и по объему публикация ранней редакции романа «Хороший человек» — произведения большого замысла, своеобразного «Что делать?» середины шестидесятых годов. Всеми красками слепцовского таланта блещут печатаемые затем произведения излюбленной писателем «малой формы» — рассказы и сцены «Раннею весною...», «Ненастный день», «Бабье сердце», «В вагоне III класса» и другие.

Статьи второго раздела впервые знакомят читателей со Слепцовым—литературным критиком, продолжавшим в новых условиях линию Добролюбова и Чернышевского. Особенно значительны статья о «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголя и запрещенный цензурой отзыв о постановке «Доходного места» Островского.



В. А. СЛЕПЦОВ
С фотографии 1860-х гг.
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

Обширны материалы третьего раздела. Они открывают новую и яркую страницу русской революционно-демократической публицистики середины и второй половины шестидесятых годов. После ареста Чернышевского Некрасов привлек в «Современник» для ведения обозрений общественной жизни двух авторов — Салтыкова и Слепцова. Работу первого мы знаем давно и хорошо, а второго — узнаём лишь сейчас. Знакомясь со статьями Слепцова, следует помнить, что после ухода Салтыкова из «Современника» в конце 1864 г. Слепцов, остался единственным обозревателем в журнале в последние полтора года его существования. А после запрещения «Современника» он перенес свою литературно-общественную борьбу в другие органы печати.

Публицистика Слепцова представлена в томе тремя крупными журнальными циклами и более чем десятком отдельных статей, фельетонов, корреспонденций, набросков. Общая тема всех выступлений Слепцова — борьба с реакцией, воцарившейся в стране после и в результате краха революционной ситуации конца 1850 — начала 1860-х гг. Реакцию Слепцов разоблачает поистине всесторонне, во всех ее гранях и проявлениях: политических, общественных, бытовых, индивидуально-психологических.

Публицистическая проза Слепцова трудна для восприятия. Иносказания эзопова языка писателя более сложны, чем щедринские. Иногда они почти непроницаемы (см., например, фельетон «Притчи и видения»). Раскрыть все иносказания, намеки и недомолвки в слепцовской публицистике невозможно: они пронизывают всю ткань его статей, составляют их «основу». Невозможен был поэтому и обычный тип справочно-исследовательского аппарата к печатаемым произведениям. Примечания к отдельным местам текста заменены в настоящем томе комментариями обобщенного статейного типа. Задача этих статей-комментариев — раскрыть общий и основной замысел каждого произведения Слепцова, помочь читателю найти правильный угол зрения для восприятия данного материала. Из множества же отдельных намеков и «трудных мест» поясняется лишь самое необходимое, и эти пояснения также включаются в вводные статьи.

Горький видел в Слепцове «настоящего художника». Для изучения мастерства писателя важное значение имеют его записные книжки, также впервые публикуемые в настоящем томе. Материалы эти представляют интерес не только для литературоведа, фольклориста и языковеда (они содержат много пословиц, поговорок и записей диалектологического характера), но и для историка, даже для историка-экономиста: в них находятся богатые фактические данные о развитии пореформенной промышленности и сельского хозяйства.

Завершается том разделом «Материалы для биографии Слепцова». Здесь собраны новые данные и о знаменитой Знаменской коммуне, и об аресте писателя, интересные также и для историка русской освободительной борьбы 1860-х годов. Здесь же публикуются воспоминания о Слепцове известного философа-социолога и социалиста В. И. Танеева и сообщение о неизданном романе Л. Ф. Нелидовой «На малой земле». Роман этот, принадлежащий перу гражданской жены Слепцова, содержит много сведений о писателе и является новым источником для его все еще не написанной биографии.

В редакционной работе над томом принимала участие К. П. Богаевская. Иллюстрации подобраны Т. Г. Динесман и Н. Д. Эфрос.

Редактор тома С. А. Макашин.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА ВАСИЛИЯ СЛЕПЦОВА

Статья К. И. Чуковского

В 1919 г. А. М. Горький сказал одному из окружавших его литераторов:

— Представьте себе, что вы издатель... богатый издатель. И что вы можете сейчас же напечатать все самые лучшие книги, какие только встречались вам в жизни... самые дорогие, любимые... Какие книги напечатали бы вы раньше всего?

Литераторов было человек пять или шесть. Каждому из них (в том числе и мне) Алексей Максимович задал задачу: составить список ста лучших книг, написанных русскими авторами в XIX в.

Мы ретиво взялись за дело и через несколько дней встретились с Алексеем Максимовичем, чтобы обсудить наши списки.

Бегло просмотрев каждый список, он с удивлением сказал:

— Странное дело. Никто из вас так и не вспомнил Слепцова.

— Какого Слепцова?

— Василия. Чудесный писатель... «Письма об Осташкове», «Спевка», «Питомка»...

И лицо Горького засветилось той внезапно нахлынувшей нежностью, с какой он всегда говорил о замечательных книгах, картинах и людях.

— А его «Ночлег»! Отличная вещь, очень густо написанная. Сколько раз перечитывал ее Лев Николаевич. И всегда с восхищением. А про сцену на печи он сказал: «Похоже на моего „Поликушку“, только у меня хуже...»

Толстой действительно с сердечным сочувствием отзывался о произведениях Слепцова. Один из мемуаристов рассказывает:

«Особенно любил он читать Слепцова, и из Слепцова у него было два любимых произведения: „На постоялом дворе“ ⟨т. е. „Ночлег“⟩ ⟨...⟩ и „Шпитонка“ ⟨т. е. „Питомка“⟩, которую Толстой никогда не мог дочитать до конца. Вначале его чтение этого рассказа по обыкновению было очень выразительно, но под конец глаза заволакивались, черты лица заострялись, он начинал останавливаться, старался преодолеть свое волнение, всхлипывал, совал кому-нибудь книгу, вынимал платок и поспешно уходил»[1].

О той же «Питомке» еще в 1863 г. Тургенев писал В. П. Боткину:

«Это пробирает до мозга костей и, пожалуй, здесь сидит большой талант»[2].

Ничего этого мы в то время не знали. Я, например, знал только «Спевку» Слепцова, да и то потому, что мне в юности привелось слышать ее в великолепном исполнении чтеца А. Я. Закушняка.

Через несколько дней Алексей Максимович принес на заседание «Всемирной литературы» однотомник Слепцова, изданный В. И. Губинским в 1903 г., дал его мне и сказал:

— Вот познакомьтесь со Слепцовым вплотную.

Устыдясь своего невежества, я с жаром принялся изучать и сочинения Слепцова, и литературу о нем.

И тут мне бросилась в глаза все та же непостижимая странность: этот даровитый писатель, произведения которого в разное время так высоко ценили Некрасов, Писарев, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, Чехов, Горький, до сих пор остается для нас незнакомцем. Оказалось, что уже в год его смерти, в посвященном ему некрологе, он был назван «почти забытым писателем»[3], и с той поры это наименование осталось за ним навсегда. Из «почти забытого» он стал просто «забытым», а если в юбилейные даты газетно-журнальные критики и вспоминали его, то как будто специально затем, чтобы снова и снова напомнить, что читатели забыли его.

Через десять лет после его смерти в журнале «Колосья» появилась небольшая статейка о нем, так и озаглавленная «Забытый писатель»[4].

И когда прошло двадцать пять лет со дня его смерти, «Новое время» помянуло его в краткой статье, которая опять-таки называлась «Забытый писатель»[5].

Однотомник, изданный книгопродавцем Губинским (подаренный мне Алексеем Максимовичем), наглядно свидетельствовал о полном пренебрежении к Слепцову. Губинский был базарный маклак, издававший сонники, жития святых и т. д. Книга называлась «Полное собрание сочинений В. А. Слепцова», хотя в это «полное собрание» не вошли десятки вещей. А те, что вошли туда опубликованы небрежно, в беспорядке: «Владимирка и Клязьма», например, напечатана так: раньше середина, потом — окончание, а в самом конце — начало. Про одну главу этой серии очерков было сказано, что она затерялась, а между тем она была напечатана тут же, на тех же страницах, где ее объявляли утерянной. Повесть «Трудное время» предлагалась читателю в таком исковерканном виде, что можно было подумать, будто она защищает идеи, прямо противоположные тем, какие были дороги Слепцову.

В 1923 г. по настоянию Горького эта повесть вышла в свет в берлинском издательстве З. И. Гржебина. Книга открывалась статьей о Слепцове, написанной Алексеем Максимовичем.

«Крупный, оригинальный талант Слепцова,— было сказано в этой статье,— некоторыми чертами сроден чудесному таланту А. П. Чехова ⟨...⟩ острота наблюдений, независимость мысли и скептическое отношение к русской действительности очень сближают этих писателей, далеких друг от друга в общем»[6].

В 1930 г. мне после долгих поисков посчастливилось найти архив Слепцова, сохранившийся у его гражданской жены Лидии Филипповны Маклаковой (Нелидовой). Архив был невелик, но изучение обнаруженных в нем материалов давало возможность исследователям по-новому понять и оценить творческий путь Слепцова.

Едва только Горький узнал о слепцовском архиве, он предложил издательству «Academia» предпринять новое, научно проверенное издание сочинений Слепцова.

А когда в 1931 г. «Журнально-газетное объединение», возглавляемое Михаилом Кольцовым, приступило к изданию непериодических сборников «Литературное наследство», в числе тех забытых писателей, которых Горький советовал Михаилу Кольцову «воскресить» на страницах сборников, он в первую голову назвал Слепцова. Тогда же он предоставил «Литературному наследству» свою статью о Слепцове, напечатанную в качестве вводного очерка к берлинскому изданию «Трудного времени», причем сообщил редакции о тех дополнениях и поправках, какие следует внести в эту статью (см. «Лит. наследство», т. 3, 1932, стр. 147). Здесь же была напечатана и моя небольшая статья «Жизнь и работа Слепцова».

Тогда же, в 1932 г., в издательстве «Academia» вышло под моей редакцией двухтомное собрание сочинений Слепцова, в котором была сделана попытка дать новое истолкование его творчества на основе новых материалов. Кроме критико-биографического очерка, я написал для этого издания статьи «Тайнопись Василия Слепцова в повести „Трудное время“» и «История слепцовской коммуны».

Конечно, это издание нельзя считать полным. Хотя многие тексты были в нем значительно выправлены и многие факты биографии Слепцова установлены более точно, но все же собранных материалов было недостаточно для того, чтобы опираясь только на них, полностью устранить всю путаницу и все неясности имевшиеся в тогдашних представлениях о Слепцове — о самой сути его творчества, о его основных убеждениях, о его отношении к революционной борьбе шестидесятых годов.

Большинство критиков склонялось к той мысли, что Слепцов стоял в стороне от происходившей в ту пору героической борьбы за раскрепощение масс. Иные даже утверждали, что он цинично относился к освободительному движению и глумился над русским народом.

Он,— писали о нем либеральные «Русские ведомости»,— «не сокрушается и не негодует: он холодно смеется, как при констатировании явления, которое 〈...〉 не способно вызвать в нем ничего, кроме насмешки и презрения. Он мертв к каким бы то ни было впечатлениям жизни, кроме отрицательных, и выискивает эти отрицательные явления не потому, чтобы перед ним рисовался более или менее определенный общественный идеал, а потому, что все в жизни, — как выражается Рязанов в „Трудном времени“,— „не жизнь, а так, чёрт знает что, дребедень...“ Сердце Слепцова, по-видимому, перестало биться раньше, чем он начал писать, и мертвенный оттенок скептицизма лег на все его произведения» [7].

Эти измышления об отсутствии у Слепцова общественных идеалов, о «мертвом сердце» писателя можно было невозбранно высказывать лишь потому, что Слепцов был в то время писателем совсем неизученным и многое из написанного им было неизвестно читателям и критикам. Главным же препятствием на пути изучения и популяризации Слепцова был тот иносказательный, двупланный язык, которым писал Слепцов и который носит название эзоповского. Эзоповским языком Слепцов владел превосходно. Этот язык хорошо понимали читатели шестидесятых годов. Но позднейшие поколения забыли эту условную речь, утратили ключ к ее замысловатому шифру и потому не придали никакого значения целому ряду слепцовских статей, опубликованных в журнале «Современник» и в других периодических изданиях того времени. Не подозревая, что, кроме явного смысла, в этих статьях имеется тайный, засекреченный смысл, исследователи отнесли их к разряду легковесных набросков, не имеющих ни литературной, ни политической ценности.

Такого же ошибочного мнения долго держался и я. И лишь впоследствии, изучив и усвоив в достаточной мере эзоповский язык «Современника», я попытался расшифровать некоторые из слепцовских статей и с большим удовлетворением увидел, что только на поверхностный взгляд статьи эти кажутся бледными, вялыми, а в своем потаенном подтексте они посвящены самым жгучим вопросам, волновавшим передовую молодежь того времени, причем в решении этих вопросов Слепцов выступает как бестрепетный пропагандист революционных идей, не теряющий оптимистической бодрости в эпоху бешеного разгула реакции.

Если расшифровать его «Петербургские заметки», напечатанные в «Современнике» 1863 г., окажется, что, говоря, например, об увеселительных заведениях столицы, Слепцов разумеет под ними весь аппарат государственной власти, а под канатными плясунами и балаганными клоунами —

тогдашних либеральных министров Валуева, Головнина и др. И что вообще эти заметки при всей своей непритязательной внешности на самом-то деле стремятся пробудить в русском обществе, только что пережившем правительственный террор, 1862 г., волю к дальнейшей борьбе.

Таков же подспудный смысл и в других публицистических очерках, написанных Слепцовым для некрасовского «Современника» в 1863 г.

Пристально изучив эти очерки, я счел себя вправе настаивать на полном пересмотре укоренившихся суждений о Слепцове, как о равнодушном и насмешливом скептике, наблюдавшем в качестве постороннего зрителя трагические перипетии неравной борьбы «народных заступников» с осатанелой реакцией.

К счастью, в архиве жены Слепцова, Лидии Филипповны Маклаковой (Нелидовой), сохранился экземпляр «Трудного времени», изданного в 1866 году, с собственноручными поправками автора, не вошедшими ни в одно из дореволюционных изданий. Использовав эти поправки, а впоследствии также и найденную С. А. Макашиным рукопись слепцовской повести, по которой она печаталась в журнале, я постарался установить ее подлинный текст, наименее поврежденный цензурой, расшифровать эзоповские недомолвки, иносказания, намеки, которыми изобилует эта повесть, после чего опять-таки нельзя было не прийти к убеждению, что те «унылые вздохи» и «стоны отчаяния», которые послышались в ней многим, даже наиболее проницательным критикам, на самом деле здесь совершенно отсутствуют и что повесть, как и публицистические статьи Слепцова, призывает к преодолению апатии, вызванной мрачной победой реакционного лагеря.

Так мало-помалу перед нами раскрывался подлинный облик Слепцова, остававшийся в течение такого долгого времени неуловимым для историков литературы и для читательской массы. Эта «неуловимость» писателя и позволяла нескольким поколениям критиков высказывать о нем столько разнообразных и противоречивых суждений.

Его идейные позиции, его социально-политические воззрения определились теперь с полной ясностью. То были позиции и воззрения революционного демократа и социалиста, те самые, на которых стоял «Современник» шестидесятых годов, когда журналом руководил Чернышевский. Слепцов был гораздо ближе к Чернышевскому, чем можно было подумать, основываясь на тех неполных, исковерканных текстах, которые включались в дореволюционные собрания его сочинений.

Это подтверждается всей совокупностью новонайденных произведений Слепцова, направленность которых стала нам совершенно ясна лишь в последнее время. Многие из них печатаются впервые в настоящем томе «Литературного наследства».

Когда в 1957 г. в Гослитиздате вышло двухтомное собрание его сочинений, читатели были уверены, что оно подводит итог *всем* материалам, относящимся к жизни и творчеству этого большого писателя. Но они ошибались. Ныне обнаружены ценнейшие тексты, неизвестные прежним исследователям. Текстов этих так много и столько нового света вносят они в наши представления о Слепцове-человеке и Слепцове-писателе, что издание, вышедшее всего лишь пять лет назад, оказалось теперь устарелым, неполным и сейчас должно было бы быть увеличено еще на один том.

Одно из самых важных новейших открытий в изучении художественной прозы Слепцова относится к его роману «Хороший человек». Роман этот при появлении в «Отечественных записках» его первых глав (1871) не имел успеха и остался незаконченным. Читателям он показался тускловатым. Основная идея романа представлялась неясной, фигура главного героя Теребенева — расплывчатой.

Лишь теперь выясняется, что современникам, как и нам до сих пор, была известна хотя и позднейшая, но худшая редакция романа, ослабленная автором вследствие невозможности провести свой смелый замысел через цензуру.

Первоначальная редакция, которая девяносто лет оставалась под спудом и лишь теперь появляется в «Литературном наследстве», несравненно острее социально и политически и свежее художественно. Из нее мы узнаем, что Теребенев, который в журнальной редакции казался нам чуть ли не кающимся дворянином, здесь выступает как демократ, жестоко гонимый реакцией.

Стало ясно, что Слепцов намеревался отразить в «Хорошем человеке» настроения тех русских людей, которые в трудных условиях краха революционной ситуации начала 60-х годов не сломились, но встали на путь поисков новых форм и средств борьбы.

Теперь, когда нам впервые стал ясен первоначальный замысел романа, становится понятным, почему Некрасов и Салтыков, руководители обновленных в 1868 г. «Отечественных записок» — возлагали на первых порах такие большие надежды на это произведение.

Интересно и важно также новое прочтение известного слепцовского рассказа «Свиньи». До сих пор критики (и я в том числе) не понимали идейной направленности этого произведения, считая его анекдотом, смехотворным гротеском — и только. Публикуемый в «Литературном наследстве» неизвестный отрывок из этого рассказа сам по себе не изменил бы нашего мнения, если бы тут же не была помещена статья, подвергающая рассказ детальному анализу. Сопоставление отдельных эпизодов рассказа с реальными фактами тогдашней действительности убеждает, что те эпизоды, в которых ранее видели невинный фарс, на самом деле имеют политический смысл, так как в них заключен протест против шовинистической антипольской пропаганды. До сих пор считалось, например, что изображенный в рассказе граф Остолопов — это один из князей Куракиных. Теперь выясняется, что под именем Остолопова в рассказе выведен наследник престола великий князь Николай Александрович, путешествовавший тогда по России. Все это позволяет нам видеть в рассказе «Свиньи» одно из замаскированных выступлений революционно-демократического лагеря по животрепещущим вопросам тогдашней общественной жизни.

Другие публикации, входящие в отдел «Художественная проза» слепцовского тома «Литературного наследства», относятся к тем произведениям автора «Трудного времени», которые до сих пор были вовсе неведомы исследователям его творчества.

Одна часть этих произведений (все они малой формы — рассказы, сцены, наброски) публикуется по автографам писателя, никогда еще не бывшим в печати, другая — по первопечатным текстам, обнаруженным в старых журналах и газетах.

Наибольшую ценность в этой группе материалов представляет незаконченный рассказ, без заглавия, начинающийся словами: «Раннею весною...». Здесь беллетристическое дарование Слепцова проявляется во всей своей силе. Несколько страниц сплошного диалога дают тонкие речевые характеристики каждого из персонажей рассказа. Конфликт, на котором построен рассказ, очерчен так метко и скупо, что невольно вспоминается Чехов, предшественником которого недаром называют Слепцова. Отлично написанные куски встречаются и в других вновь открытых слепцовских вещах (например, спор купца с бабой в очерке, озаглавленном «В вагоне III класса»).

Следующие отделы сборника впервые дают нам возможность близко познакомиться со Слепцовым—публицистом и критиком.

За единичными исключениями Слепцов печатал свои статьи анонимно или же подписывал их инициалами «В. С.», а то и просто буквой «С». Многие из этих статей не были опознаны до самого последнего времени, оказались затерянными в старых журналах. Ряд статей, как это выясняется из публикаций настоящего тома, были набраны, но не увидели света по причинам цензурного характера. В настоящее время их корректурные гранки найдены в архиве «Современника». Кое-что, и весьма важное, осталось в рукописях, в той части слепцовских бумаг, которая была отыскана также лишь недавно. По совокупности всех этих причин публицистика Слепцова была до настоящего времени почти неизвестна читателям. В последнем, наиболее полном издании (1957), она представлена всего четырьмя статьями, из которых лишь одна дана полностью. Теперь в слепцовском томе «Литературного наследства» напечатано около 20 фельетонов и статей, включая три обширных цикла журнальных обозрений. Иные из них, наиболее значительные, найдены там, где, казалось бы, их меньше всего следовало искать: в журнале «Женский вестник», о котором сам Слепцов заявил в двух газетах, что больше не станет печатать на его страницах ни единой строки. Мало того, издательница журнала публично (на суде) обвинила Слепцова в одном очень некрасивом поступке, после чего его связь с журналом, естественно, должна была прекратиться.

Позднейшие исследователи (в том числе и я) простодушно поверили заявлениям Слепцова о его разрыве с «Женским вестником» и не стали разыскивать в позднейших книжках журнала каких бы то ни было слепцовских произведений. Но оказалось, что и распря с издательницей, и заявление об уходе из журнала — мистификация, ловкий тактический маневр, предпринятый для того, чтобы ввести в заблуждение цензурное ведомство. Мистификация эта была вызвана цензурным террором, свирепствовавшим в 1866—1867 годах — после каракозовского выстрела. Только что выпущенный из муравьевского застенка Слепцов, бывший сотрудник закрытого «Современника», создатель Знаменской коммуны, был в глазах полиции таким опасным писателем, что ему нечего было и думать об открытом сотрудничестве в «Женском вестнике». Потому-то он и инсценировал свою ссору с издательницей, и это дало ему возможность продолжить работу в журнале, возникшем при его непосредственном участии, и напечатать в нем ряд статей, объединенных заглавием «Новости петербургской жизни».

Тот, кто владеет искусством проникать в иносказания эзоповой речи Слепцова, несомненно придет к убеждению, что этот цикл 1867 года является одним из шедевров русской боевой публицистики. Под маской благодушного фельетониста Слепцов выступает здесь как гневный обличитель деспотизма, лакейства, мракобесия, ханжества, нравственного растления, духовной проституции, которыми ознаменовалась победа царизма над революционным движением шестидесятых годов. Писатель виртуозно пользуется формой беззаботного, легкомысленного разговора с читателями для того, чтобы призвать их к борьбе с темными силами наступившей реакции.

Таков же пафос и других публицистических выступлений Слепцова, в том числе замечательной статьи «О русской журналистике», которая предназначалась для «Современника» 1864 г., но так и не дошла до читателей. Характерна для стиля слепцовской публицистики небольшая статья «Отрывок из дневника» — классический образец остроумного применения эзоповой речи в условиях усилившегося цензурного гнета. Рассказывает ли Слепцов о ребенке, который, не зная за собой ни малейшей вины, все же кается и просит прощения под воздействием отцовских угроз, изображает ли *подвиг* «неукротимой свиньи», мужественно переносящей побои полицейских и дворников, рисует ли несчастную избитую женщину, кото-

рая наперекор всякой логике обожает своего истязателя и питает враждебные чувства к тому, кто из горячего сострадания к ней захотел облегчить ее муки,— во всех этих иносказаниях слышатся проклятия победившей реакции и суровые укоры той массе «культурных людей», которые под давлением репрессий 1862—1863 годов малодушно отрекались от недавних своих надежд и стремлений и погружались в тупое спокойствие. В этом спокойствии, утверждает Слепцов, «есть что-то в высшей степени трагическое. Какое-то странное безумие слышится в нем».

Так через голову царской цензуры Слепцов выступал против апатии общества, и призывал к продолжению борьбы.

В этой статье, как и во многих других, написанных им в тот же период, резко сказывается его непримиримая вражда к либералам — верное свидетельство того, что после закрытия «Современника» и «Русского слова», в эпоху страшного идейного разброда, Слепцов остался верен боевым заветам Чернышевского и ни в чем не уступил враждебной «партии».

Очень жаль, что эти статьи, во многом столь близкие к щедринским «обозрениям» и «хроникам» в «Современнике», входят в научный обиход лишь теперь. Если бы историки литературы и критики могли раньше познакомиться с ними, они не толковали бы и полвека спустя после смерти Слепцова, что отличительной чертой всех его писаний является «холодное(!), черствое (!), глумливое (!) равнодушие к людям». Вообще воскрешенные на страницах «Литературного наследства» статьи Слепцова служат надежным ключом ко всему художественному творчеству этого малоизученного автора. Вместе с тем они представляют собою и немалую самостоятельную ценность. Статьи эти — новое и важное дополнение к известному до сих пор фонду русской революционно-демократической публицистики шестидесятых годов.

Критика до самого последнего времени уделяла очень мало внимания Слепцову-художнику. Его мастерство, которым так восхищались величайшие наши писатели, оставалось почти неизученным. Слепцовский том «Литературного наследства» восполняет и этот пробел, вводя ряд публикаций под общим заглавием «В творческой мастерской». Сюда входит записная книжка Слепцова — одна из тех, по материалам которых он создавал «Владимирку и Клязьму» и «Письма об Осташкове»; сюда входят пословицы и поговорки, собранные им во время его скитаний по Владимирской и Московской губерниям. Обращение к этим источникам позволяет определить те приемы и методы, которые применялись Слепцовым при переработке сырого материала в тот или иной художественный текст.

Биография Слепцова остается до сих пор малоизученной. Документы, публикуемые в настоящем томе под рубрикой «Биографические материалы», содержат сведения о многих неизвестных доселе эпизодах и фактах, относящихся к общественно-политической работе Слепцова, в частности к жизни созданной им так называемой Знаменской коммуны.

Когда в начале тридцатых годов я писал статью «История слепцовской коммуны», я, к сожалению, не располагал теми агентурно-полицейскими донесениями об этом социалистическом начинании шестидесятых годов, которые обнаружены лишь сейчас. Мне была неизвестна и та грязная роль, которую играла в истории коммуны полицейская шпионка Степанова.

Вообще все материалы «Литературного наследства», относящиеся к слепцовской коммуне (в том числе и воспоминания Маркеловой и протокол допроса, который учинила Слепцову пресловутая муравьевская комиссия), имеют первоклассное значение не только для биографии Слепцова, но и для характеристики политического быта шестидесятых годов.

Итак, в слепцовском томе «Литературного наследства» читатель найдет много неведомых доселе материалов, относящихся к жизни и творчеству одного из интереснейших, но все еще мало известных русских писателей середины XIX века. Вместе с тем эти материалы драгоценны для дальнейшего уяснения вообще всей литературной борьбы русской революционной демократии — борьбы, возглавлявшейся Чернышевским, Некрасовым, Салтыковым-Щедриным. Слепцов встает со страниц настоящей книги их достойным и верным соратником.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] А. М. Новиков. Зима 1889—1890 годов в Ясной Поляне.— Сб. «Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. I. М., 1955, стр. 382, 383.
[2] Боткин и Тургенев. М.— Л., 1930, стр. 184.
[3] «Отечественные записки», 1878, № 4, стр. 348.
[4] «Колосья», 1888, № 5, стр. 273.
[5] «Новое время», 1903, прилож. к № 9715, от 22 марта (статья В. П. Грекова).
[6] М. Горький. Собр. соч., т. 24. М., 1953, стр. 219.
[7] «Русские ведомости», 1903, № 81, от 23 марта.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

«ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ

Публикация Л. А. Евстигнеевой

Работа Слепцова над повестью, впоследствии романом, «Хороший человек» продолжалась много лет. Окончания ее с нетерпением ожидали в демократических литературных кругах, в первую очередь в кругах «Отечественных записок», так как возлагали на это произведение большие надежды. Салтыков-Щедрин сообщал Некрасову 9 июня 1869 г.: «Слепцов уверяет, что пишет свой роман, но кончит ли к осени — поручиться нельзя. Впрочем, хоть бы к январю кончил...» [1]. Год спустя Некрасов просил Анненкова похлопотать в Литературном фонде, чтобы Слепцову выдали денежное пособие, крайне ему необходимое. «Я считаю лишним говорить о том, — писал он, — что Слепцову стоит помочь серьезно. Кроме пользы для его здоровья, Общество сделает пользу литературе, ибо даст Слепцову возможность кончить на свободе и спокойно большой роман, которым он давно занят и с которым до сей поры не мог справиться, отвлекаемый срочными работами ради насущного хлеба» [2].

По первоначальным планам роман должен был появиться в 1868 г., в первых номерах реформированных «Отечественных записок». Предполагалось, что это будет программный роман, который отразит взгляды бывшей редакции «Современника» на положение, создавшееся в революционно-демократическом движении к исходу 1860-х годов.

Слепцов начал писать свой роман в 1867 г., то есть вскоре после каракозовского выстрела, когда русская общественная мысль, не успев оправиться после реакционного натиска 1862 —1863 гг., оказалась под гнетом репрессивного «муравьевского» режима. Наряду с политической реакцией давала себя знать и реакция общественная. В эти годы русская революционная демократия переживала серьезный идейный кризис. Примерно до 1863 г. оставались надежды на всеобщее крестьянское восстание, в соответствии с чем велась подготовка к насильственному свержению самодержавия. Когда же на смену революционной ситуации пришла полоса глубокой реакции, положение резко изменилось. Должны были стать другими и методы борьбы. Вместо ставки на скорый и всеобщий революционный взрыв, надежды на который питали революционные демократы начала 1860-х годов, приходилось менять тактику и ориентироваться на длительную работу в массах. Не «звать Русь к топору», но медленно подготавливать ее к активным политическим выступлениям — таков был основной вывод.

В конспиративном письме к Герцену и Огареву из Алексеевского равелина Н. А. Серно-Соловьевич подводил итог: «Почва болотистее, чем думалось. Она сдержала первый слой фундамента, а на втором все ушло в трясину. Что же делать? Слабому прийти в отчаяние, сильному сказать: счастье, что трясина выказала себя на фундаменте, а не на последнем этаже — и приняться вбивать сваи» [3]. Таким «вбиванием свай» и должна была стать, по мысли революционных демократов, настойчивая каждодневная агитация в народных массах.

В литературе начали появляться произведения, изображающие демократов, которые едут в глушь, в деревни, в провинциальные города, чтобы на месте «готовить почву» для продолжения борьбы, укреплять «трясину» «сваями». Их можно назвать первыми ласточками революционного народничества семидесятых годов.

Так, по заданию своего подпольного кружка едет в город Срывный Веригин, герой незаконченной щедринской повести «Тихое пристанище», основная работа над которой относится к 1865 г. Руководитель «центра» Крестников объясняет ему, что в деревню ехать необходимо, ибо «настоящее дело не здесь, а там, в глубине, и что там необходимо иметь людей» [4]. Щедрин развивает мысль, что единственно действенным способом сохранения революционной перспективы должна быть «чернорабочая деятельность» в массах. Поиски новых путей борьбы, новой тактики и новых способов общения с народом должен был отразить и задуманный Слепцовым роман «Хороший человек».

Уже само название романа было многозначительным. В демократической литературе 1860-х годов был создан установившийся круг постоянных эзоповских терминов, при помощи которых зашифровывался подлинный смысл произведений. Так, словом *«дело»* часто обозначали революционное дело, *«серьезное время»* значило время, чреватое возможностью революционного выступления масс, а *«общим благом»* называли социалистический справедливый строй будущего. Таким же тайным эзоповским термином было и выражение *«хороший человек»*: хорошими людьми называли борцов за дело освобождения народа. Еще в статье «Скромные упражнения», опубликованной в «Современнике» 1865 г. (№ 9), Слепцов доказывал, что человек может быть «хорошим» только если он служит «хорошему делу». Веригин в «Тихом пристанище» Щедрина также называет членов своего тайного общества «хорошими людьми». Да и вообще эпитет «хороший» приобрел в литературе шестидесятых годов специфически демократическую окраску. Слепцов так определяет понятие «хорошее место»: это место, где «можно жить и работать, и чувствовать себя самостоятельным». Поэтому, озаглавив роман словами «Хороший человек», Слепцов ко многому себя обязывал. Он должен был создать роман о передовом общественно-политическом деятеле, показать, каким должно быть новое «дело» демократов в изменившейся исторической обстановке.

Однако работа над романом у Слепцова явно не клеилась. Прошел не только 1868 г., но и 1869 г., а редакция «Отечественных записок» тщетно ожидала от писателя рукописи его нового произведения. 6 августа 1870 г. Слепцов сообщил Некрасову в Карабиху: «Теперь у меня готова первая часть большой, давным-давно обещанной повести „Хороший человек“. Я передумывал и переделывал ее несколько раз и, наконец, остановился на одном плане, который и привожу в исполнение. Готовых совершенно у меня теперь листов пять. Что мне с ними делать?» [5].

Через полгода в февральской книжке «Отечественных записок» появилось долгожданное начало первой части романа (не повести) — как определял теперь Слепцов жанр своего произведения — пять глав. Они составляли не более двух печатных листов, то есть менее половины того, о чем Слепцов писал Некрасову в августе 1870 г. («Готовых совершенно у меня теперь листов пять»). Трудно сказать, что именно входило в состав трех остальных листов, и почему они не появились в печати в февральской книжке, но можно предположить, что публикуемый нами текст занимал значительную долю приготовленного тогда к печати материала.

Дальнейшая работа над романом пошла еще хуже. Сам Слепцов был ею неудовлетворен. Так, в ответ на просьбу Некрасова прислать продолжение романа для мартовского номера, Слепцов писал: «Чем ближе к первому числу, тем больше я тороплюсь, переделываю написанное и тем сильнее возрастает недовольство своей работою. Я вам рассказывал, что у меня бывают припадки отчаяния и омерзения к тому, что я пишу. Вероятно, это скоро пройдет, но тем не менее в настоящую минуту работа моя никуда не годится и я сам никуда не гожусь. Пока еще есть время, замените чем-нибудь страницы, оставленные для меня в „Отечественных записках“, тем более, что, во всяком случае, окончания 1-й части романа для мартовской книжки было бы мало. Зато в апрельской будет много» [6].

Несмотря на это, продолжение романа не появилось ни в апрельской, ни в последующих книжках «Отечественных записок». Видимо, Слепцов отказался от мысли продолжать свое произведение. В посмертном издании его сочинений «Хороший человек» был напечатан с подзаголовком: *«Пять глав из неоконченного романа»*. На последней же странице значилось: *«Конец»*. Редакция «Отечественных записок» в некрологе Слепцова высказала сожаление об этом: «Что помешало ему довершить этот труд?



СЛЕПЦОВ
Фотография, 1870-е гг.
Литературный музей, Москва

Начавшийся ли недуг или что-нибудь другое?» [7]. Современникам Слепцова судьба романа «Хороший человек» осталась неясной.

Появление в печати первых глав романа прошло почти незамеченным. В очередных журнальных обзорах кое-где мелькали беглые отзывы и упоминания о новом произведении Слепцова. Авторы их, как правило, касались мелочей, но не обсуждали характер главного героя и замысел писателя. Так, автор рецензии в «С.-Петербургских ведомостях» направил острие своей «критики» на то, что Слепцов допустил в романе топографическую ошибку. Он написал, что Теребенев на пристани в Гамбурге жадно вглядывался в морскую даль и рассматривал пароходы на рейде, тогда как Гамбург расположен на таком же расстоянии от моря, как и Петербург, и увидеть с набережной пароходы было невозможно [8]. В этом отзыве не было даже попытки дать серьезный анализ произведения. Не было ее и в отзыве журнала «Заря». Рецензент «Зари» сделал парадоксальный вывод о том, что герой Слепцова — человек психически ненормальный, напоминающий одного из персонажей Достоевского. «Для придания своему старообразному герою некоторой свежести и оригинальности, — писал этот критик, — г. Слепцов не придумал ничего лучшего, как совершенно его обессмыслить. Герой г.Слепцова не странствует, даже не шатается по Европе, а его как-то носит по ней. Он не волен ни в одном своем движении или поступке, они, даже в его собственных глазах, не имеют никакого логического объяснения». В самóм романе он не нашел ничего, кроме «скуки с примесью некоторого недоразумения» [9].

Критики сходились на том, что главный герой романа — человек будто бы бессодержательный и ни к чему не пригодный, из «числа ничего не делающих и вечно отыскивающих какое-то дело» [10]. Только в обзоре «Иллюстрированной газеты» раздался сочувственный и понимающий голос. Отведя роману «Хороший человек» первое место из всех вышедших в свет произведений, критик газеты, по всей вероятности сам редактор ее, В. Р. Зотов, писал: «Роман этот обещан был редакциею „Отечественных записок“ уже давно, но по каким-то причинам до сих пор не появлялся в печати. Да и теперь редакция печатает его точно нехотя, потому что, вероятно, дорожа своим сокровищем, отпустила уже слишком гомеопатическую его дозу — всего пять небольших глав». И хотя «Иллюстрированная газета» признала, что, судя по этим главам, роман — вещь замечательная, но и она не смогла разгадать замысла «Хорошего человека». «Герой романа Теребенев, — писала газета, — возвращается в Россию после бесцельного скитания за границей, где он не праздно, но бесплодно растратил свою молодость» [11].

Критики не находили в новом произведении Слепцова обычных достоинств его дарования: «спокойного юмора, наблюдательности, сжатости и тщательной обработки» и поэтому заговорили об упадке его таланта. «Не будь „Хороший человек“ подписан именем г. Слепцова, — заключал свой обзор критик «Зари», — в нем трудно было бы признать автора известных мелких рассказов и романа „Трудное время“». Однако подлинные причины неудачи, постигшей работу Слепцова над этим произведением, остались неизвестны современникам.

Уже в советское время К. И. Чуковский впервые указал на одну из этих причин — на роль цензуры в судьбе романа «Хороший человек» [12]. Справедливость этого указания подтверждается донесением цензора Лебедева о февральской книжке «Отечественных записок», в которой среди других материалов, обративших на себя внимание цензуры «вследствие их предосудительности», разбирается первая часть слепцовского романа. «По напечатанию I части, весьма незначительного объема, — пишет Лебедев, — нельзя еще сделать верного заключения о направлении всего романа, в этой части помещена только биография и характеристика героя романа Теребенева. Теребенев представлен автором молодым человеком хорошего дворянского семейства, обеспеченного материально, окончившим курс в Московском университете и не знающим, как приняться за дело, чтобы быть полезным обществу и вместе удовлетворить внутренней жажде деятельности. Будучи человеком слабого характера, воли нерешительной, он не находит никаких для себя занятий и убивает совершенно бесплодно время молодости, так что автор романа выводит перед читателем на сцену своего героя 28-летним юношею, скучающим от безделья и путешествующим для развлечения в чужих краях...»

Но даже и здесь, в первой и «еще незначительной части» романа, цензор отметил несколько мест, отличающихся, по его мнению, «своею крайностью», резкостью и неблагонадежностью. Его возражения вызвали следующие строки:

1) стр. 361. «По поводу этого отъезда он вдруг вспомнил о тех страшных богатствах, о той безумной роскоши, которые ему приходилось видеть в больших городах Европы; вспомнил, что все эти богатства созданы руками вот этих самых людей и их же за это чуть не уморили с голоду».

2) стр. 374. «Смотрите, — сказал он, указывая на море. — Видите вы этот дым? Это дым моей родины, это русский дым. Там теперь горят леса и народ умирает с голода».

3) стр. 386. «Позор, густым туманом покрывавший русское имя, понемногу стал проясняться» и т. д. Речь идет о перемене общественного мнения в Европе относительно русских после усмирения польского восстания.

4) стр. 391. По поводу этой картины голода, охватившего в 1867—1868 годах значительную часть России, Лебедев писал, что автор «самыми черными красками описывает равнодушие высших и достаточных классов нашего общества к страдающему народу» [13].

В заключение Лебедев высказал опасение, что «в будущем развитии романа» проявится, вероятно, «известная тенденциозность». Из донесения цензора мы видим, с какой настороженностью органы политического контроля самодержавия за печатью относились к литературным выступлениям Слепцова. Однако нет все же оснований считать, что именно отзыв цензуры сыграл решающую роль в судьбе «Хорошего человека». Утверждение И. Н. Серегина, что дальнейшее печатание романа было запрещено цензурой, не подтверждается документами [14]. Ведь Лебедев признавал, что завязка романа «по общему своему содержанию не представляет ничего, противного цензурным постановлениям».

Главными причинами, которые не дали возможности Слепцову закончить «Хорошего человека», были не какие-то конкретные цензурные препятствия, ставшие на пути печатания произведения, а невозможность воплощения идейного замысла романа в условиях русской печати конца 1860-х — начала 1870-х годов и вытекающие из этого постоянный самоконтроль и самоцензура Слепцова. Это подтверждается изучением творческой работы Слепцова над рукописями «Хорошего человека».

Уже беглый обзор содержания этих рукописей показывает, что мы имеем дело с фрагментами *первоначальной редакции* романа, резко отличной от журнального текста, напечатанного в «Отечественных записках». Здесь совершенно отсутствуют первая, вторая и большая часть третьей и пятой глав известного читателю текста, а четвертая глава имеет совсем иной вид. В рукописном тексте речь идет о приезде Теребенева в Петербург, дается интересная и острая характеристика русской жизни в 1868 г. Следовательно, есть основание говорить о *двух редакциях* первой части романа: рукописной и журнальной.

К сожалению, однако, рукописи «Хорошего человека» не дают возможности сколько-нибудь полно восстановить картину работы Слепцова над романом.

Рукописи (все они фрагментарны) образуют две группы: 1) относящиеся к первоначальной дожурнальной редакции романа и 2) знаменующие последний этап работы, на котором она и оборвалась — переделку VI главы, которой предполагалось продолжить публикацию романа, начатую первыми пятью главами в «Отечественных записках». Рукописи этих пяти глав журнальной редакции неизвестны. Отсутствуют и какие-либо другие документы, позволяющие судить о причинах, по которым Слепцов воздерживался от опубликования первоначальной редакции и должен был заменить ее новой. Поэтому сейчас мы можем только догадываться об этих причинах. Высказать их помогает вторая группа рукописей — наброски VI главы, которые мы публикуем в приложении.

Установить хронологическую последовательность набросков VI главы трудно, но, по-видимому, все они были созданы уже после опубликования начала романа в журнале, то есть после того, как Слепцов коренным образом перестроил произведение и отверг уже почти готовую первоначальную редакцию его. Изучая рукописи, можно установить,

что Слепцов, работая над VI главой, стремился использовать в ней некоторые материалы первоначальной редакции. В этом отношении любопытен набросок VI главы, который мы публикуем под № 3. Он во многом повторяет первоначальную редакцию и подводит читателя к эпизоду встречи Теребенева и Сапожникова, а также связан с журнальным текстом фразой о бесконечном количестве «пустых мест», по которым уже пришлось пройти Теребеневу. К этому варианту продолжения журнальной редакции, по-видимому, относится и набросок, публикуемый под № 2; в нем более подробно раскрывается мысль об искании Теребеневым «хорошего места» и «хорошего дела».

Набросок, печатаемый под № 4, видимо, отражает другой (или другие) вариант этой части произведения. Он имеет подзаголовок: глава VI (правда, этот подзаголовок зачеркнут рукою автора). Наиболее законченным и отработанным кажется набросок № 1, написанный почти без помарок и без правки.

Таким образом, сопоставление сохранившихся рукописей «Хорошего человека» с журнальным текстом романа позволяет высказать одну догадку: не намеревался ли Слепцов воспользоваться «первоначальной редакцией», которую он по каким-то причинам не дал своевременно в печать, для *продолжения* романа, начатого по-иному. Ведь коротенькая и как будто оборванная пятая глава журнального текста только подводит читателя к описанию петербургских встреч Теребенева. А в первоначальной редакции именно это описание является идейным и сюжетным центром произведения. Наше предположение подтверждает также и характер правки перебеленных частей первоначальной редакции, отразившей явное стремление Слепцова связать воедино опубликованные в журнале главы и оставшуюся неиспользованной рукописную редакцию романа.

Однако все это лишь гипотезы. Воспроизводя же в настоящей публикации первоначальную неоконченную редакцию повести (романа), мы, разумеется, имеем право рассматривать ее только как отражение раннего (должно быть первоначального) замысла произведения, в котором образ Теребенева отчетливо рисовался автору как образ именно «хорошего человека» в потаенном значении этих слов.

Обращение к первоначальной редакции повести позволяет глубже проникнуть в идейный замысел произведения, написанного, как обычно у Слепцова, в эзоповской манере. И хотя некоторые мысли автора высказаны в журнальной редакции яснее, чем в рукописи, в целом первоначальная редакция значительно полнее раскрывает подлинные намерения писателя, оказавшиеся затем, в результате самоцензуры Слепцова, и, вероятно, «цензуры» редакции «Отечественных записок», тщательно «закамуфлированными» иносказаниями и намеками эзопова языка.

В итоге текст журнальной редакции был настолько затемнен, что перед читателем предстал в образе главного героя Теребенева не столько демократ, гонимый реакцией 1862—1863 гг., сколько слабовольный барин, бесцельно скитающийся по Европе. Об идеалах Теребенева говорилось здесь в высшей степени смутно. Больше всего герой романа, пожалуй, был похож на «кающегося дворянина», замаливающего свои грехи перед народом. Только по некоторым намекам искушенный читатель, привыкший к иносказаниям литературы шестидесятых годов, мог догадаться, что Теребенев путешествует за границей не ради собственного удовольствия, что он бежал из России в самый разгар реакции. Конечно, только очень вдумчивый читатель понял, что в поисках *«настоящего дела»* Теребенев стремился найти именно революционное дело, а говоря о том, что надо *«вернуться к печке»* и *«начать сначала»*, он имел в виду свою новую мысль: вернуться в Россию и принять участие в подготовке освободительной борьбы народа. Заметим, кстати, что Слепцов, помогая читателю расшифровывать содержание своего произведения, выделил курсивом в журнальном тексте упомянутые выше выражения.

Анализируя идейное содержание романа и пытаясь как можно полнее осветить фигуру Теребенева, мы, естественно, будем руководствоваться обеими редакциями произведения: как рукописной, первоначальной, так и журнальной.

Слепцов начинает свой роман, не указывая точно времени действия: «В начале июня 186* г. приехал в Петербург „неслужащий дворянин" Сергей Николаевич Теребенев». Однако из текста романа явствует, что действие происходит летом 1868 г. Опреде-

лить это помогает V глава журнальной редакции, где говорится, что за два года до приезда Теребенева в Петербург любопытные петербуржцы ездили смотреть прибывшую в Кронштадт с официальным визитом американскую эскадру. Визит этот состоялся в 1866 г., поэтому можно заключить, что в романе речь идет о событиях 1868 г. Теребенев пробыл в Европе четыре года, следовательно, уехал он туда в 1864 г. Слепцов иронически замечает, что в это время «удаление из столицы совершалось большей частью добровольно, по крайней мере настолько добровольно, насколько возможен был выбор из худшего лучшего». Волна полицейских репрессий 1862—1863 гг. вызвала ответную волну эмиграции. Это были уже не одиночки, подобные Герцену и Огареву, Бакунину и Сазонову, а многие десятки лиц, стремившихся к деятельной борьбе с самодержавием («молодая эмиграция»). «Удаление» из России в эмиграцию молодых революционеров, действительно, чаще всего происходило вследствие необходимости выбора «из худшего лучшего». Почти все они вынуждены были бежать, спасаясь от ареста, грозившего им тюрьмой или ссылкой. Биографии русских политических эмигрантов лучше всего подтверждают это.

В 1863 г. покинул Россию, спасаясь от ареста, Н. И. Утин, член ЦК «Земли и воли», в 1862 г. после раскрытия тайной типографии Баллода перешел границу Н. И. Жуковский, в 1863 г. угроза ареста и обыска заставила бежать М. С. Гулевича, в том же году эмигрировал А. Д. Трусов, которого царский суд приговорил к смертной казни за участие в польском восстании. Из заключения, выпилив оконную решетку, скрылся за границу Иван Кельсиев; в 1863 г. уехал за границу П. С. Мошкалов, автор известной прокламации «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти». Наряду с активными участниками революционного движения, за рубежи царской империи отправлялись в это время многие молодые люди, не имевшие в виду порывать связей с родиной, но искавшие за границей какого-то исхода своим оппозиционным настроениям. «Хороший человек» Теребенев был одним из таких людей.

По некоторым фразам первоначальной редакции можно судить даже о деятельности Теребенева до отъезда за границу. «Помнит он, что жил он в Балашовском уезде и ничего не чувствовал, не понимал; потом как-то так случилось, что он вдруг все понял и почувствовал неодолимое желание бежать, бежать, бежать куда-то туда. И побежал. Точно будто зарядили пушку, всунули его туда и выпалили. Помнит он, что он летел оттуда, все летел, все летел, до тех пор пока ударился лбом обо что-то твердое. Очнулся и видит, что это стена. Отсюда его рикошетом понесло влево и несло таким манером вплоть до самого Парижа». Сопоставляя этот отрывок с III главой журнальной редакции, в которой рассказывается о детстве Теребенева, мы вправе сделать вывод, что стремление «бежать, бежать, бежать» от скверной российской действительности появилось у него после знакомства с «хорошим человеком» Хомяковым, натолкнувшим избалованного, но чуткого и отзывчивого «барчонка» на мысль, что в жизни нужно искать не личного благополучия, но «дела». «Сначала он искал *счастья*, впоследствии он стал искать *дела*»,— пишет Слепцов и, выделяя курсивом слово «дело», подчеркивает, что речь идет именно о революционном служении народу,— «но как счастье, так и дело всегда представлялось ему *готовым*, требовалось только его найти». Мы замечаем здесь настойчивое возвращение Слепцова к основной мысли своего романа: причина кризиса во взглядах русских революционных демократов именно та, что они полагали, будто народ готов к революции и нужно только поднять его на борьбу. В действительности не было никакого «готового дела», его нужно было создавать настойчиво, медленно, кропотливо.

Уехав из родного уезда, юноша Теребенев стал одним из тех представителей молодых сил русской разночинной демократии, которые связали свою судьбу с освободительной борьбой. Слепцов подчеркивает верность Теребенева передовым общественным убеждениям с первых до последних дней: «Теребенев принадлежал к разряду людей, на поступки которых возраст, по-видимому, не оказывает почти никакого влияния. У Теребенева, *всегда была одна цель и образ действия всегда был один и тот же*» (курсив наш.— *Л. Е.*). Что это была за цель — видно из первоначальной редакции романа. Теребенев не просто почувствовал «неодолимое желание бежать» из уездной глуши в столицу. Совершенно ясна цель его бегства: в столицу Теребенев направился

в поисках служения «делу». Петербург в те годы был «местом свидания», куда сходились демократы со всех концов России, и «все повторяли одно и то же слово, и всем оно нравилось, потому что это было название нового божества, которому все собрались поклоняться, и на это торжество все шли, все шли...»

Уже с осени 1861 г. в Петербурге начинают объединяться разрозненные революционные кружки: в 1862 г. заявляет о своем существовании тайное общество «Великорусс», организационно оформляется «Земля и воля». Петербург действительно был своеобразным «сборным местом для россиян», поклоняющихся одному «божеству». «Божество» называлось революцией, но надежды на ее быстрый приход скоро рухнули. Теребенев, как и другие, увидел, что перед ним «стена», стена еще непоколебленной в своей основе самодержавно-полицейской власти, стена крестьянской пассивности, стена косной реакционности городского мещанства. Тогда его «понесло влево». Направо, в Сибирь, демократов увозили насильно, на тройках с жандармами. Теребеневу «повезло», он уехал «добровольно» в Париж.

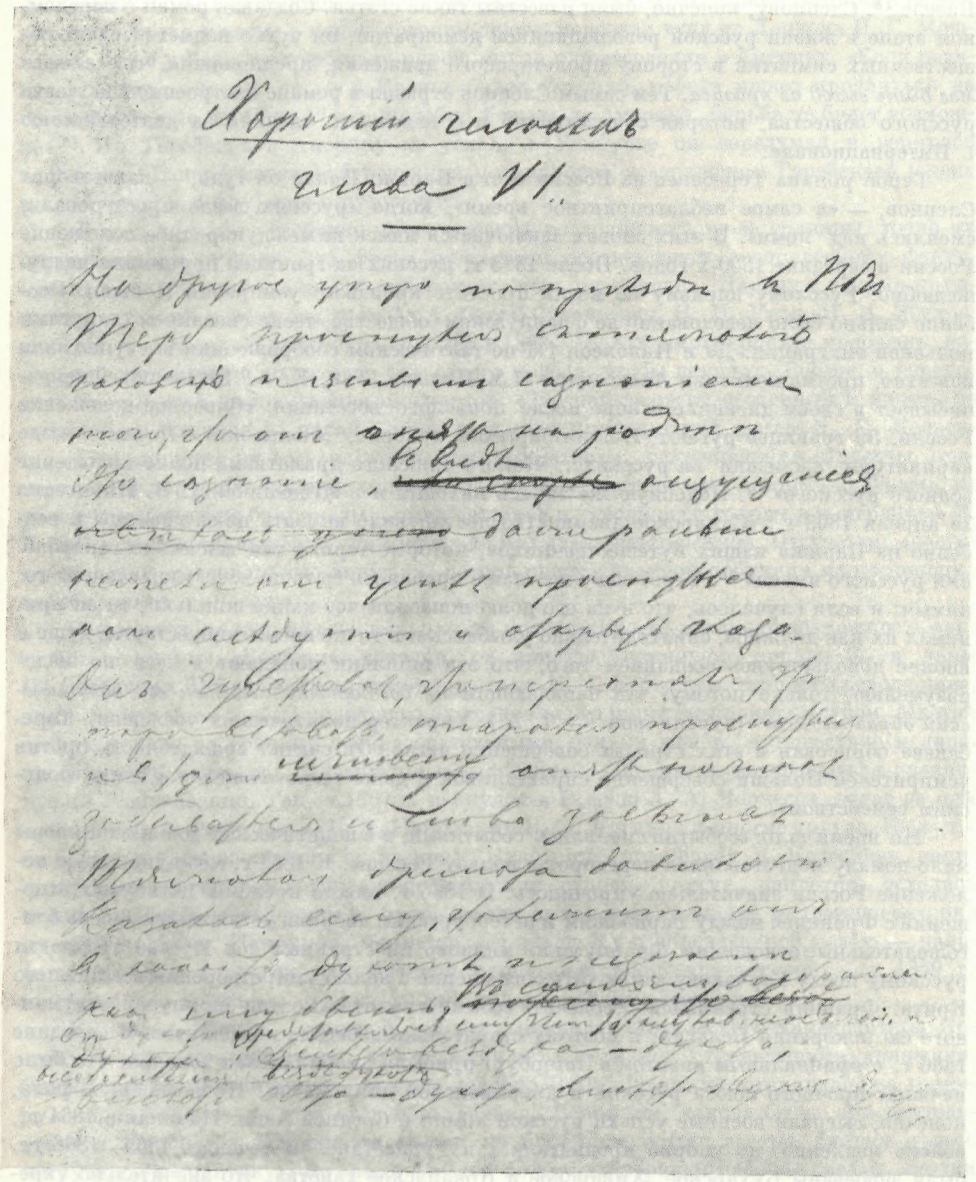
Мысли Теребенева любопытно сопоставить с теми суждениями Василия Кельсиева, в которых он мотивирует причины своей эмиграции. Кельсиев бежал за границу в 1862 г., сразу же после появления прокламации «Молодая Россия» и провокационных пожаров. «Было душно, невыносимо тяжело,— пишет он в своей «Исповеди».— Бежать стало потребностью, бежать, куда глаза глядят; нужно было за дело какое-нибудь взяться, чтобы в борьбе забыть горе. Нужно было все заново начинать, и я уехал в Турцию, я не выдержал» [15]. Отметим характерные совпадения лексики в «Исповеди» Кельсиева и в романе «Хороший человек»: «душно», «бежать», «дело», «заново начинать». Все эти слова употребляются Кельсиевым и Слепцовым в их втором, тайном значении.

Теребенев, подобно деятелям «молодой эмиграции», «бежал» не для того, чтобы путешествовать и развлекаться. Он уехал из России, чтобы подготовиться и «заново начать дело» у себя дома. Работа за границей осознавалась представителями «молодой эмиграции», как действенное средство освобождения родины от деспотизма. «Меня мучит, — писал А. А. Серно-Соловьевич, — что я не еду в Россию мстить за гибель моего брата и его друзей, но мое единичное мщение было бы недостаточно и бессильно; работая здесь, в общем деле, мы отомстим всему этому проклятому порядку, потому что в Интернационале лежит залог уничтожения этого порядка повсюду, повсеместно!..» [16].

В эти годы в Западной Европе широко развернулось рабочее движение. С сентября 1864 г. «Международное товарищество рабочих» распространило свою деятельность на все европейские государства. Русские политические эмигранты не стояли в стороне от этого движения. «Без преувеличения можно сказать, что не существовало в Швейцарии почти ни одного русского эмигранта, который не состоял был членом той или другой секции Интернационала»,— пишет Б. П. Козьмин [17]. Теребенев за границей «изучал рабочий вопрос, посещал всевозможные съезды, слушал лекции, принимал участие в разных сходках и демонстрациях», «ездил на поклонение Мадзини».

Какие же съезды, сходки и демонстрации мог посещать Теребенев? Он был за границей с 1864 г. до конца 1867 г., жил в Париже, Женеве, Берне и Баден-Бадене, кроме того, разъезжал по всей Европе. Интересно упоминание о том, что Теребенев ездил на поклонение к Мадзини, который, как известно, с 1853 г. жил в Англии. Следовательно, Теребенев побывал и в старом центре русской эмиграции — Лондоне. За эти годы в Европе произошли крупнейшие международные события: многолюдный митинг в Лондоне 28 сентября 1864 г., на котором был основан I Интернационал, конференция I Интернационала в Лондоне 25—29 сентября 1865 г., съезд русских эмигрантов в Женеве (декабрь 1864 — январь 1865 гг.), пятитысячный митинг немецких рабочих в Лейпциге (1866 г.), Женевский конгресс I Интернационала 3—8 сентября 1866 г., стачка бронзовщиков в Париже (1867 г.), конгресс I Интернационала в Лозанне 2—7 сентября 1867 г. и т. д. К тому же, если учесть, что роман Слепцов писал в 1867—1871 гг., то в нем могли отразиться и следующие конгрессы I Интернационала — брюссельский и базельский.

Герой Слепцова не случайно интересуется рабочими съездами, сходками, демонстрациями. В 1860-х годах в России повысился интерес к рабочему вопросу. В периодической печати то и дело стали появляться статьи и заметки о положении рабочего



РУКОПИСЬ РОМАНА СЛЕПЦОВА «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
Лист чернового наброска главы VI, 1869—1870 гг.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

класса в Европе. В 1868—1869 гг. газеты «Голос» и «С.-Петербургские ведомости» печатали подробные корреспонденции П. Д. Боборыкина о съездах рабочих в Брюсселе и Базеле [18]. Слепцову, конечно, были известны такие статьи. Создавая роман о переломном этапе в жизни русской революционной демократии, он чутко подметил сдвиг общественных симпатий в сторону пролетарского движения, предположив, что *в этом мог быть выход из кризиса*. Тем самым Слепцов отразил в романе настроения той части русского общества, которая сочувственно и с надеждой следила за деятельностью I Интернационала.

Герой романа Теребенев из России едет в Париж. Попал он туда, — как говорит Слепцов, — «в самое неблагоприятное время», когда «русских везде преследовали, смеялись над ними». В этих словах заключается намек на международное положение России в середине 1860-х годов. После 1863 г. русских за границей принимали недружелюбно. Русскому царизму не могли простить кровавого усмирения Польши. Особенно сильно было негодование во французском обществе, тесно связанном с кругами польской эмиграции. Да и Наполеон III по тактическим соображениям выступал, как известно, против политики Александра II в Польше. Так, Е. А. Штакеншнейдер записывает в своем дневнике вскоре после польского восстания: «Скверное положение России. За границей ругают. Нашим барыням, говорят, *житья нет в Париже*, везде карикатуры, насмешки на русских... Какого тяжелого драматизма полно положение всякого русского» [19]. Подобную же запись находим и в «Дневнике» А. В. Никитенко 25 апреля 1863 г.: «Самарское дворянство постановило вызвать из-за границы и особенно из Парижа наших путешественников, которые терпят там всяческие оскорбления русского имени» [20]. Теребеневу же «даже нравилось быть до известной степени гонимым; и если случалось, что и на его долю попадали кое-какие шпильки, то он принимал их как должное, снисходительно улыбаясь и в то же время торжествуя в душе и вполне довольствуясь сознанием того, что эти шпильки попадают в него по недоразумению, только потому, что нападающим *не достаточно известен его политический образ мыслей*» (курсив наш. — *Л. Е.*). Характер политических убеждений Теребенева обрисован в этих строках совершенно четко. Он считал враждебность против усмирителей Польши совершенно справедливой и даже тесно «сошелся с одним польским семейством».

Но время шло: «события сменялись событиями, и в политических мнениях Европы мало-помалу подготовлялся переворот в пользу России». К 1867 г. международное положение России значительно упрочилось. В 1866 г. вместо прежних натянутых отношений с Францией между парижским и петербургским дворами установились очень благожелательные отношения. Французский министр иностранных дел Мустье предлагал русскому послу Горчакову заключить соглашение с целью умиротворения восставшего Крита. Франция стремилась обеспечить себе нейтралитет России на случай задуманного ею покорения Бельгии, и поэтому старательно избегала конфликтов. В середине 1866 г. с официальным визитом в Петербург прибыла американская эскадра, что было началом прочного союза русской и американской дипломатии. Но решающую роль, конечно, сыграли военные успехи русской армии в Средней Азии. Начиная с 1864 г., войска медленно, но упорно продвигались в Туркестане. В течение 1865—1868 гг. были завоеваны Бухарское, Хивинское и Кокандское ханства, что значительно укрепило положение России в Азии. Россия приближалась к Индии, и Англия высказывала опасения по этому поводу. По-видимому, именно эти события имеет в виду Слепцов, иронически говоря о восстановлении «русского имени» в «лучах военной славы» на востоке.

В это время в Европе господствовала реакция, и в 1868 г. Теребенев уже не мог найти себе там «дела». Характеризуя его отношение к политике западноевропейских государств, Слепцов говорит, что Теребенев «законфузился», услышав, что Наполеон с похвалой отозвался о предпринимаемых в России реформах, и понял, что в Европе ему больше делать нечего. Он решил ехать через Гамбург в Америку. По сравнению с большинством западноевропейских стран, не говоря уже о России, молодая американская республика представлялась многим революционерам 1860-х годов сказочной страной демократических свобод и подлинного равенства. Многих тянуло в эту «свобод-

ную» страну не только из удушливого мрака русской жизни, но также из духоты буржуазной Европы. Добровольно уехал в Америку, отказавшись от блестящей карьеры, полковник И. В. Турчанинов с женой, бежал в Америку М. П. Сажин, которого разыскивала полиция в связи с каракозовским делом; переехал туда из Лондона П. С. Мошкалов. Даже у Герцена возникали порою мысли о переселении в Америку. «Если реакция победит,— писал он, — в Европе будет страшно, победа может продлиться на целое поколение, от 15 до 17 лет; надобно бежать в Америку, борьба не будет возможна» [21]. Но Теребенев в Америку не уехал; в Гамбурге он передумал и вернулся в Россию. В первоначальной редакции мотивировка возвращения Теребенева (сцена в Гамбургском порту) еще отсутствует.

«В то лето как-то особенно много русских возвращалось из-за границы, точно их вдруг погнали оттуда». Эта фраза опять-таки соответствует историческому факту. Русская эмиграция была по своему составу очень разнородна. Наряду с такими крупными деятелями революции, как А. А. Серно-Соловьевич, Н. И. Утин, Н. И. Жуковский, М. С. Гулевич и другие, за границу в 1862—1863 гг. эмигрировала молодежь, которая часто не имела достаточно серьезного повода, чтобы покидать Россию и переходить за границей на положение эмигрантов. «Это народ совсем особенный и ничуть не похожий на вожаков, — писал о представителях эмигрантской массы В. И. Кельсиев.— Большинство их составляют бывшие гимназисты, недоучившиеся студенты, прапорщики и поручики, мелкие чиновники, солдаты, мастеровые, которые из фразы, из увлечения пошли на баррикады или в повстанье и унесли свои головы в эмиграцию» [22]. К 1867 г. жизнь на чужбине для многих из них стала невыносимой. Отсутствие «настоящего дела», материальные лишения, потеря связи с родиной побудили их постепенно перебираться в Россию.

Разумеется, далеко не всем эмигрантам представлялась реальная возможность вернуться на родину. «Вожаки», конечно, по приезде, неминуемо попали бы в лапы III Отделения. Возвращались, говоря языком В. И. Кельсиева, «хористы революции», люди, не имевшие особых политических грехов перед царским правительством. Многие из них уехали за границу с образовательными целями или в путешествие и лишь впоследствии оказались связанными с эмиграцией. Они могли возвращаться сравнительно безнаказанно. Так, в 1867 г. вернулся в Россию А. А. Черкесов, вслед за ним приехали Л. А. Рентгартен, Н. Я. Николадзе, В. Ф. Лугинин и многие другие. Их судьба в России тоже сложилась по-разному. Некоторые, подобно В. И. Кельсиеву, капитулировали перед самодержавно-полицейским строем, другие, напротив, остались верны прежним убеждениям и скоро вновь привлекли внимание недремлющего ока царской полиции. Например, Черкесов, вернувшийся с определенной целью — наладить книжную торговлю запрещенной пропагандистской литературой, — в 1869 г. вторично был арестован. Одного из них напоминает нам Теребенев.

Мы знаем, что он — молодой человек, кандидат Московского университета. Поэтому можно предположить, что он один из участников студенческого движения. Однако нет оснований думать, что он, подобно В. Ф. Лугинину, отправился за границу с целью закончить там свое образование. Вспомним, какова была его деятельность в Европе: в Париже он «ходил по кофейням, читал газеты, спорил и весь погрузился в политику». Во время поездок по другим странам рабочие съезды, сходки и демонстрации заменяли ему лекции; наконец, в Женеве он пытался сблизиться с людьми «настоящего дела». Поэтому по дороге в Россию он испытывал такое чувство, «*как будто* кончил где-то курс и едет домой...». Нам кажется важным специально подчеркнуть это, так как до сих пор в критике господствует мнение, что в образе Теребенева Слепцов показал «избалованного слабовольного барича, исполненного благородных порывов» [23], который лишь на короткое время и совершенно случайно сближается вначале с революционными кругами петербургской молодежи, а потом, в Европе, с революционно настроенными русскими эмигрантами. Чтобы опровергнуть это мнение, напомним цитированные выше слова Слепцова о Теребеневе: «У Теребенева всегда была одна цель и образ действия всегда был один и тот же». Это был человек, для характеристики которого возраст не имел большого значения именно потому, что время не меняло его основных убеждений. Разумеется, мы не хотим сказать, что в Теребеневе

Слепцов задумал вывести образ одного из вожаков движения. Конечно, это один из массы, рядовой, но рядовой в освободительной борьбе, а не безвольный барич, который от скуки рядится в революционные фразы.

Теребенев — один из немногих русских, вернувшихся на родину «нераскаянными», с единственным желанием продолжать «дело», которому он служил раньше, но продолжать его в изменившихся условиях, учитывая все ошибки прошлого и многое понимая, соприкоснувшись с богатым опытом рабочего движения в Европе. По внешнему виду он напоминал человека, «несколько лет просидевшего в тюрьме или приезжего». Этой фразой Слепцов опять подчеркивает, что Теребенев — не обычный путешествующий русский, вернувшийся из-за границы, а единомышленник демократов, сидевших в тюрьме. Он приехал в Россию с ясно осознанной целью: чтобы в народе, вернувшись к той самой «печке», от которой он танцевал в 1862—1863 гг., «начать сначала» дело революции.

Бóльшая часть первоначальной редакции романа посвящена описанию Петербурга летом 1868 г. Пользуясь иносказанием, Слепцов сообщает читателю, что в Петербурге было по-прежнему «душно», по-прежнему чувствовалась надобность в освежающей грозе. Духота, которая окружила Теребенева по приезде в город, олицетворяет, разумеется, духоту политической жизни России.

Другой эзоповский термин, примененный Слепцовым для выражения состояния русского общества второй половины 1860-х гг., — «тишина». Слово «тишина» часто использовалось в революционно-демократической литературе для обозначения общественной и политической реакции. Особенно глубоко был разработан образ «тишины»-реакции в позднейшей сатире Щедрина (см. в «Письмах к тетеньке»: «Хорошо у нас нынче, тихо! Давно так не бывало. Встречаются люди на Невском: Что нового? — Да ничего не слыхать». «Тихо, тетенька! чересчур уж тихо 〈...〉 просто самая жизнь как будто оборвалась» [24]. См. также в письме Щедрина к Н. А. Белоголовому от 21 декабря 1881 г.: «Просто измучились мы совсем от этой тишины. Такое всюду безмолвие, точно в монастыре живешь» [25]). «Тишина», политическая пассивность общества — характерный признак Петербурга, поразивший Теребенева после его возвращения на родину в 1868 г. «На Невском прежде, четыре года тому назад, было так шумно, столько было езды, беготни, суеты, а теперь, — напротив, тишина необыкновенная». Конечно, в Петербурге не убавилось уличного шума и суеты, но общество под гнетом «тишины» стало «пошлеть», поэтому и лица у встречных кажутся Теребеневу необычайно широкими, расплывшимися от тихой и пошлой мещанской жизни. «Царила всюду тишина необыкновенная, — писал об этих годах М. П. Сажин, — нигде не было никаких проявлений не только жизни политической, но даже общественной, ни в среде литературной, ни общественной, ни студенческой. Всякие культурные начинания были закрыты и строго преследовались полицией, которая царила везде и всюду» [26].

Любопытно, что мы встречаемся в романе Слепцова и с другим пониманием слова «тишина». «Тишина» обозначала в романе «Хороший человек», кроме того, и затишье революционной борьбы. В таком значении она, по-видимому, широко употреблялась в среде эмиграции.

Характерен разговор Герцена с Бакуниным в Лондоне, 27 декабря 1861 г., свидетелем которого был Василий Кельсиев:

«В Польше только демонстрации, — сказал Герцен, — да авось поляки облагоразумятся, поймут, что нельзя ж подыматься, когда государь только что освободил крестьян. Собирается туча, но надо желать, чтоб она разошлась.

— А в Италии?

— Тихо.

— А в Австрии?

— Тихо.

— А в Турции?

— Везде тихо, и ничего даже не предвидится.

— Что ж тогда делать? — сказал в недоумении Бакунин. — Неужели ж ехать куда-нибудь в Персию или в Индию и там подымать дело? Эдак с ума сойдешь, — я без дела сидеть не могу» [27].

Итак, «тишина» — это не только жизнь, заглохшая под натиском реакции, это также отсутствие революционного дела, и именно поэтому Петербург кажется Теребеневу «пустым местом», а все прошлое — бесконечным «хождением по пустым местам».

Действительно, за последние годы город как-то «странно опустел»: один за другим исчезали в тисках реакции лучшие люди. Да и сам город очень изменился: «литература в упадке, к нравственным интересам замечается охлаждение, а вместо того на первый план выступает спекуляция и жажда грубых наслаждений. Общественные дела как будто процветают, но, в сущности, все сводится к одному: к личной и по возможности скорой наживе». Это был уже не тот, примолкший от репрессий Петербург, который оставил Теребенев в 1864 г., и не тот, каким он знал его десять лет назад, в эпоху демократического подъема конца 1850-х годов. Завершался первый период реформ, которые были «шагом по пути превращения феодальной монархии в буржуазную» [28]. В Петербург нахлынула толпа прожектеров и спекуляторов, с колоссальной быстротой стали развиваться всевозможные капиталистические предприятия. Город лихорадило от концессионной горячки. Строилась первая сеть русских железных дорог. В этой толпе Теребенев чувствовал себя чужим, но тем не менее он сразу же заметил, что, в сущности, в городе ничего не изменилось. При помощи эзопова языка Слепцов говорит о том, что реформы не устранили социального неравенства, нищеты и язв общественного строя. Все тот же полицейский режим бесправия царит в городе, почему по-прежнему и ходит по Невскому все тот же «господин с испуганным лицом». И даже «нищие те же самые, с теми же вывернутыми членами, с теми же болячками» и самое главное, что эти «болячки» находятся на тех же местах, где они были до реформ.

По-прежнему грубо попирается человеческое достоинство, по-прежнему издеваются над людьми, а народ все так же подавленно молчит. Первое, что увидел Теребенев в Петербурге, была избитая женщина. Этот эпизод символичен и несет большую смысловую нагрузку в романе. Когда Теребенев пытается помочь женщине, защитить ее, она грубо отталкивает и осмеивает его. Смеются и мужики на барже. Народ еще не понимает революционной интеллигенции и ее призывов к освободительной борьбе. Нельзя делать ставку на готовность самого народа к активному выступлению; он способен осмеять своих освободителей, нужно развивать его сознание путем каждодневной работы в массах. На наш взгляд, такие мысли заключены между строк эпизода с избитой женщиной, символизирующей народную Россию.

Характерно, что и в журнальном тексте имеется близкая по содержанию сцена: на пристани в Гамбурге Теребенев предлагает деньги швабу-переселенцу, но тот тоже отказывается от помощи. Однако русская женщина просто *не понимает* стремления Теребенева защитить ее, считая его чужим, «барином», а работник-шваб *сознательно* отвергает деньги, *понимая*, что они достались Теребеневу за счет эксплуатации таких же рабочих, как он сам. «Я потребитель, — рассуждает Теребенев, — т. е. один из тех, которые, так сказать, питались его потом и кровью; и вдруг этот потребитель подлетает к нему и говорит: „Вот тебе, братец, на чай! возьми, в дороге годится“» (II, 365). Разница в уровне сознания народа в России и в Западной Европе была Слепцову очевидна.

Чернышевский называл русский общественный строй «азиатством», возмущался «азиатским порядком дел» в России. Борьба за всестороннюю европеизацию России была, по словам Ленина, присуща всем революционным демократам. Сопоставляя русский полицейско-самодержавный режим с западноевропейскими формами государственного устройства, они мечтали о социальном перевороте, связывая с ним мечты об общечеловеческой справедливости. «Мысль потускнела, утратила всякий вкус к „общечеловеческому“; только и слышишь окрики по части благоустройства и благочиния», — писал Щедрин [29]. В этом же смысле говорит об «общечеловеческом» и Слепцов. Отвыкнув за четыре года жизни за границей от русского «азиатства», Теребенев стремится действовать «по-общечеловечески», но, как доказывает Слепцов, в России это не так просто. Европейские методы борьбы неприменимы в русских условиях, поэтому Теребенев едет «будить» народ и едет именно к «печке», в деревню.

Итак, в Петербурге ничего не изменилось, «великие реформы» остались в основном красивыми словами и не дали радикальных результатов. Например, реформа суда (1864 г.) привела лишь к тому, что «вдруг расплодилось несметное количество дель-

цов, одержимых страстию хождения по делам», положение же народа не улучшилось, а ухудшилось.

С весны 1868 г. в стране начался страшный голод. Вскоре даже в Петербург стали приходить оборванные, голодные крестьяне. «Страждущие от неурожая», — так их называли тогда. Они просили милостыню. «Первая голодовка пореформенной России, — пишет Антекман, — появилась уже через 6—7 лет после „воли", т. е. в 1867—1868-х годах. Она охватила девять губерний: пять — северных и четыре — центральных»[30]. Особенно сильно от голода пострадали жители Финляндии. 11 марта 1868 г. газета «Весть» сообщала во внутренних известиях: «Финляндские газеты приводят самые раздирающие картины голодной смерти, прибавляя, что описанное дает слабое представление о бедствии населения. Взывая о помощи, газеты эти замечают, что хотя теперь принимают уже некоторые меры, но этого недостаточно, должно торопиться; с каждым днем, с каждым часом умирают целые семьи, целые деревни единственно потому, что не имеют хлеба».

«— Mais je suis affamé comme un* голодающий финляндец. Дайте мне рюмку водки! »— слышит Теребенев в первом же трактире, куда он зашел пообедать. Петербургское общество откликнулось на народное бедствие филантропически-развлекательными мероприятиями. Газеты пестрели такими объявлениями:

«15 марта будет дан духовный концерт в пользу бедствующих от неурожая жителей».

«Отчет о сборе по маскараду, данному Харьковским коммерческим клубом 7 февраля 1868 года в пользу бедствующих от неурожая жителей» [31].

«7 марта в зале Артистического кружка состоится литературно-музыкальный вечер в пользу пострадавших от голода Мценского уезда» [32].

Петербуржцы развлекались и даже ездили смотреть на толпы голодных людей, как ездят в зверинец. Теребенев с отвращением наблюдает за обедающими господами, которые с аппетитом уничтожают все поставленные перед ними блюда. «Ему казалось, что, рассуждая об умирающих с голоду, можно бы, по крайней мере, хоть есть поскромнее 〈...〉 Сам он с тех пор, как приехал в Россию, ни разу еще не обедал как следует: *он считал это даже подлостью*».

Страницы романа, саркастически рисующие отношение петербургского общества к голодающим, пожалуй, больше всего удались Слепцову. В них с максимальной отчетливостью сказались его взгляды, потому что в образе Теребенева, несомненно, есть много биографических черт самого автора. И хотя Слепцов никогда не уезжал из России, его чувства (чувства человека, только что вышедшего из тюрьмы), конечно, совпадали с чувствами *приезжего* Теребенева.

В 1868 г. Теребенев не надеялся встретить в городе своих единомышленников [33]. «Петербург в последнее время, действительно, опустел», «мало-мальски порядочные люди один за другим куда-то исчезают, точно их ветром сносит». «Ветер» политической реакции и в самом деле свирепствовал. Июньские репрессии 1862 г. оставили революционных демократов без вождей, а после каракозовского выстрела начались массовые аресты.

Почти одновременно были арестованы В. А. Зайцев, В. С. и Н. С. Курочкины, Д. Д. Минаев, Г. Е. Благосветлов, В. И. Покровский, Г. З. Елисеев и другие.

Естественно, что новости, которые могли сообщить Теребеневу его знакомые, были «все такого рода, что лучше бы их вовсе не слыхать». В образе Сапожникова, с которым случайно столкнулся Теребенев на Невском проспекте, Слепцов дал злую карикатуру на людей, примазывавшихся к делу революции. Это человек типа тургеневских Ситникова и Кукшиной, образы которых так оценил Писарев: «Художник, рисующий перед нашими глазами поразительно живую карикатуру, осмеивающий искажения великих и прекрасных идей, заслуживает нашей полной признательности» [34]. Интересно, что в романе «Отцы и дети» Евдоксию Кукшину вызвался проводить за границу тоже Pierre Сапожников.

---

* Но я голоден, как (франц.).

« — Pierre Сапожников... вы его знаете?

— Нет, не знаю.

— Помилуйте, Pierre Сапожников... он еще всегда у Лидии Хостатовой бывает» [35].

Очевидно, прототипом этих героев было одно и то же лицо. Можно предположить, что под именем Сапожникова Тургенев, а вслед за ним и Слепцов изобразили Сергея Павловича Колошина, довольно известного в русских литературных кругах. С. П. Колошин (1825—1866) бóльшую часть жизни занимался литературной деятельностью. Крайне неустойчивый в своих политических симпатиях, он постоянно переходил из одного печатного органа в другой, нигде не занимая прочного положения. В 1859 — 1861 гг. он примыкал к «молодой редакции» «Москвитянина». Позднее писал юмористические очерки и фельетоны для «Пантеона», «Северной пчелы» и «Развлечения». В 1858 г. вышел в свет его роман «Сибирские язвы», а в 1861—1863 гг. он издавал журнал «Зритель».

Писания его тоже отличались крайней пестротой. Ему было безразлично, что писать, лишь бы работа оплачивалась. В начале 1860-х годов его произведения резко критиковал Добролюбов в рецензии на сборник «Утро» [36]. Слепцов мог познакомиться с Колошиным и близко узнать его во время работы в «Северной пчеле».

В 1863 г. Колошин, как и герой слепцовского романа, уехал за границу. Он долго жил в Италии, откуда посылал корреспонденции в «Голос» и «Русский инвалид», а позднее описал свою поездку в «Современной летописи». Последние годы жизни он провел во Флоренции. Предположение, что прототипом Сапожникова был именно С. П. Колошин, основано не только на сходстве фамилий (сапоги — калоши) и фактов биографий. Оно подтверждается и письмом Колошина к Некрасову, в котором необычайно явственно проглядывает облик этого человека, разительно схожий с фигурой Сапожникова. Нуждаясь материально, Колошин дважды обращался к Некрасову, чтобы получить пособие Литературного фонда. Вот выдержка из его письма от 14/26 июля 1867 г.: «Я перетащился во Флоренцию в надежде понемногу улучшить мое положение. Но не знаю, долго ли будет возможно выдержать участие в гнусной лавочке Italie, где на первое время работаю. Зато по отношениям этой газеты к правительству и моим личным с демократиею могу более, чем когда-нибудь, быть полезным русскому журналу политическими корреспонденциями. На днях посылаю в „Голос“ первую мою „Флорентинскую неделю“, если это писание застанет вас в Петербурге, будьте добры — замолвите словечко отцу Андрею, да повелит дать мне место 〈...〉 Если бы можно было найти работу в других журналах, прошу вас иметь в предмете, что я, как русский, знаю языки французский, немецкий, английский, итальянский, следовательно, кроме корреспонденций и статей об Италии, могу служить переводами по указанию редакции или собственному выбору и читаю все современное по части политики и социальных вопросов. Пусть, если угодно, заказывают мне статьи. Работаю скоро и честно. Журналов у вас ведь нынче много 〈...〉 Если вы или кто из ваших друзей затеете ехать в Италию, требуйте от меня каких угодно справок. Лучший город для жизни Милан, но зимою Флоренция веселее. Впрочем, до зимы столица, может быть, уже будет в Риме» [37].

Беззастенчивая реклама собственных способностей, политическая безалаберность, похвальба своими связями с демократией очень напоминают Сапожникова. Дополняет сходство стремление Колошина предложить свои услуги, если Некрасов или его друзья задумают ехать за границу. Даже в письме к Некрасову он дает несколько справок, которых у него не требуют.

Разговор Сапожникова с Теребеневым полон иносказаний.

«— Что наши?» — спрашивает Сапожников, и мы понимаем, что речь идет о революционных эмигрантах, оставшихся за границей (в Баден-Бадене, как сказано в одном из рукописных вариантов этого эпизода).

«— Ветер дует в нашу сторону», — сообщает он о новом нарастании недовольства в стране. Действительно, к 1868 г. началось некоторое оживление общественной жизни. В конце 1867 г. заволновались студенты Петербургского технологического училища, начались большие и шумные сходки, вновь появились подпольные прокламации.

Должно быть поэтому Сапожников с жаром объясняет Теребеневу, что «теперь, наконец, наступила решительная минута действовать». «—Ах, вы не знаете,что тут было без вас. Я даже хотел вам писать!» — восклицает он. Оказывается, Катков «сделал промах», а «петербургское земство ошиблось».

В 1866 г. Катков осмелился слишком резко отозваться о политике в. к. Константина Николаевича и министра Валуева, за что был отстранен от редакции «Московских ведомостей». «Катков преступил пределы благопристойности в полемике против некоторых из правительственных ведомств и Министерства народного просвещения, — писал С. С. Татищев, — он получил от Министерства внутренних дел предостережение, которое отказался напечатать в своей газете, и объявил, что предпочитает вовсе прекратить ее издание» [38]. О том же сообщил П. В. Долгоруков в «Письме из Петербурга», напечатанном в «Колоколе» 1867 г.: «В прошлом году Катков прочитал слишком уж резкие нотации великому кн. Константину Николаевичу и Валуеву, его от редакции отстранили, преемник его отказался помещать политические статьи...» [39].

Однако вскоре протест москвичей вынудил правительство вернуть Каткова на прежнее место. Царь принял и обласкал его, «Московские ведомости» по-прежнему продолжали защищать интересы реакционной части дворянства.

Вторым нашумевшим конфликтом в это время явилось закрытие петербургского земства. 21 ноября 1866 г. было издано распоряжение, ограничивающее право земств облагать сборами промышленные и торговые предприятия. Петербургское земство высказалось против этого распоряжения в пользу расширения дарованных ему прав и принесло в Сенат жалобу на министра внутренних дел. Этот факт, а также бурные прения в заседаниях земства вызвали в январе 1867 г. правительственное постановление о временном закрытии и роспуске петербургского земского собрания. В числе причин закрытия земства было указано «обвинение земством администрации в неудовлетворительном ведении земского хозяйства за прежнее время и порицание действий администрации» [40]. Об этих двух событиях и рассказывает Сапожников Теребеневу.

Не так легко расшифровать еще один намек, содержащийся в том же разговоре. Теребенев собирается приобрести в Петербурге книги и ехать в деревню просвещать народ. Чтобы отвязаться от назойливого Сапожникова, чья болтовня ему неприятна, он заходит в первый попавшийся книжный магазин — Русскую книжную торговлю. «Зачем? — перебивает его Сапожников, — пойдемте к Черкесову. Каких вы хотите книг? — по славянскому вопросу? — ни одной не найдете. Так постойте же, в таком случае voila ce que nous ferons*: я вас познакомлю с нашими славянами...». «Русская книжная торговля» была официозной книжной лавкой, в которой, конечно, не было книг неугодного правительству направления. Напротив, только что открытый книжный магазин А. А. Черкесова, видного деятеля освободительного движения, был одним из центров демократической общественности столицы. Прежде он принадлежал известному революционеру Н. А. Серно-Соловьевичу; возрожденный в 1867 г., продолжал привлекать оппозиционно настроенную молодежь. В 1862 —1867 гг. Черкесов находился за границей, принимал участие в женевском съезде русских эмигрантов, ездил в Ниццу к Герцену. В его магазине можно было купить запрещенные книги, из-под полы там продавался и «Колокол» Герцена. После ареста Черкесова Огарев посылал Жуковского «за Женеву осведомиться, что и как случилось, какие аресты в Петербурге, что за обыск у Черкесова в лавке и т. д.» [41].

Сапожников предполагает, что Теребеневу нужны книги по славянскому вопросу, одному из острых политических вопросов того времени. В конце 1866 — начале 1867 гг. внимание русской общественности, а также царской дипломатии было привлечено к попыткам выдающегося болгарского революционера Георгия Раковского организовать (за границей) добровольцев для освобождения Болгарии от турецкого ига.

Не совсем ясно, кого подразумевает Сапожников, говоря о «наших славянах». Известно, что русская демократия была тесно связана с революционными организациями славянских народов. В 1864 г. в Женеве готовился общий съезд представителей русской и славянской эмиграций.

---

* вот что мы сделаем (*франц.*).

Вероятно, речь тут идет о тех русских общественных деятелях, которые в 1867 г. составили из своей среды Комитет для встречи славянских гостей, приезжавших в Россию на Славянский съезд и на этнографическую выставку, а в 1868 г. образовали под председательством А. Ф. Гильфердинга «Петербургский отдел славянского благотворительного общества» (см. в публикуемой ниже хронике «Новости петербургской жизни» ряд сатирических откликов Слепцова по поводу славянского съезда и отношения к нему русского общества).

Весь этот разговор для Сапожникова — пустая болтовня, способ «кстати» занять собеседника.

«—А кстати, женский вопрос, вы слышали, — фють! Все кончилось, и все они выходят замуж», — восклицает он.

Поэтому так неохотно и односложно отвечает ему Теребенев, представляющий в романе людей настоящего «дела».

Первоначальная редакция романа обрывается на очень интересном эпизоде: разговоре Теребенева с Новиковым и Кудрявцевым. Новиков — один из тех немногих, кто уцелел еще в Петербурге после «ветра» реакции. В тетради «№ V», содержащей этот разговор, сохранились два черновых наброска, в которых намечен образ Новикова. В первом из них он назван «Х»: «... выходит он из дому и прогуливается где-нибудь в глухом месте на берегу реки. Во время этих прогулок он размышляет о том, что хорошо бы бежать, а еще лучше — застрелиться, и останавливается пока—на водке. Но проходит месяц, два, и опять является у него новый проект, Х оживляется, нанимает извозчика и опять пошла езда». Второй набросок является ранним вариантом разговора в трактире. Теребенев слышит фамилию своего приятеля — Раслянова, — произнесенную господами, обедающими за соседним столиком. «Называя его, они отзывались о нем не совсем лестно. Один из них даже злился и просто ругал его...» Заинтересованный Теребенев спрашивает о нем всеведущего Сапожникова: «Послушайте, Сапожников, вы не знаете, кто это такие, эти господа? — спросил он, очень невежливо прерывая его болтовню.

Сапожников, застигнутый посреди какого-то рассказа, несколько удивился, но все-таки стал всматриваться в этих господ и сконфузился; оказалось, что он их не знает».

По-видимому, Теребенев перед отъездом в деревню думал наладить связи с оставшимися еще в городе «хорошими людьми» и пытался узнать их адреса. Но от этого замысла Слепцов тут же отказался. Зачеркнув приведенный выше эпизод, он изображает случайное свидание Новикова и Теребенева (Х, Раслянов и Новиков, как видно из черновиков, одно и то же лицо). Разговор Теребенева и Новикова очень важен по содержанию.

Новиков собирается ехать в Америку, потому что тут ему «скверно», а там, по его мнению, можно найти себе «дело». Поездка в Америку для него — то же самое, что паломничество огромного числа русских к Герцену и Огареву в Лондон или «бегство» в Европу «молодой эмиграции».

«Прежде вот так же крепостные бегали в Хиву, а образованные — в Лондон, — говорит друг Новикова Кудрявцев. — Теперь узнали еще одно местечко — Америку, Только это напрасно». Теребенев пережил уже такие настроения и понял, что они не ведут к цели.

«Настоящий человек» не должен уезжать, пока его народ томится под властью угнетателей. Он не испробовал еще всех возможностей к действию; место его — в деревне, так как только там еще можно «начать сначала» «дело» — революцию.

Эта мысль Слепцова выражает одно из самых сокровенных убеждений лучших представителей революционной демократии, в частности, Герцена. Немецкий демократ Шурц, эмигрировавший в Америку, как-то сказал Герцену:

«—Человек ⟨...⟩ который так понимает современную Европу, как вы, должен бросить ее.

— Вы так и поступили, — заметил я ⟨т. е. Герцен. — *Л. Е.*⟩.

— Отчего же вы этого не делаете?

— Очень просто: я могу сказать так, как один честный немец прежде меня отвечал

в гордом припадке самобытности — „у меня в Швабии есть свой король",— *у меня в России есть свой народ*!» [42]

Кудрявцев убеждает Новикова, что эмигрировать сейчас безрассудно, нерасчетливо. Бегство за границу оправдано только в том случае, когда за тобой есть «погоня», т. е. полицейское преследование. Но бежать от «долгов, или там от неудач и вообще с горя» (от долга перед народом, от неудачи революции) — это глупость, особенно если эмигрировать надолго и «забежать далеко». В стране уже налицо признаки нового общественного подъема и, если вспыхнет восстание, эмигрант, «забежавший за тридевять земель», не сможет принять в нем деятельное участие. В этом, по-видимому, подспудный смысл разговора.

Словами Кудрявцева заканчивается первоначальная редакция I части романа. Перечитывая написанное, Слепцов, по-видимому, решил подробнее остановиться на том моменте, когда Теребенев надумал вернуться в Россию, и объяснить его возвращение «внутренними, особенно уважительными причинами» (I, 496). Нужно было как можно основательнее мотивировать эту мысль, так как она была центральной по замыслу Слепцова. Может быть, тогда и возникли эпизоды романа, подробно описывающие встречу Теребенева с переселенцами в Гамбурге, которые появились в первопечатном журнальном тексте. Рукописи этих глав не сохранились. Однако теперь, уловив из первоначальной редакции замысел романа, можно понять, почему Слепцов так много внимания уделил переживаниям Теребенева на гамбургской пристани. Именно в этих главах он в завуалированной форме попытался раскрыть мысль о кризисе революционной демократии (дальше «идти некуда» — «дошел до края») и о возможном возрождении нового «дела» («опять к печке»).

Ранее задуманная повесть «Хороший человек» в результате добавлений, включений новых эпизодов намного увеличилась в объеме, тем самым приблизилась к роману. Естественно, что изменение жанра повлекло за собой необходимость дать более подробную биографию главного героя, чего не требовалось по первоначальному замыслу произведения. Можно предположить поэтому, что писание третьей главы журнальной редакции началось именно на этом этапе работы. Возникло изображение детства Теребенева и его заграничного путешествия, для чего частично был использован текст первоначальной редакции.

Передумывая и «перекраивая» роман, как и сообщал Слепцов Некрасову, он решил сделать его более динамичным и для этого перенес в начало эпизод гамбургских раздумий и переживаний Теребенева. Тем самым картины детства и странствий были отодвинуты в следующую главу. Соответственно еще дальше отодвинулось описание Петербурга, в который возвращается Теребенев. Можно предположить, что такова была вторая редакция романа, на которой Слепцов, по его словам, остановился. Целиком она, должно быть, и составляла те пять листов, о которых он писал Некрасову в Карабиху.

Опубликовать же Слепцов решился лишь начало этой редакции, внешне самую «благонамеренную» часть романа. К тому же он постарался замаскировать свои мысли, отнеся действие романа к условной дате 186* г. Основной замысел так усердно был прикрыт всевозможными иносказаниями, что трудно было понять, как будет дальше развиваться действие романа. Характер же главного героя можно было истолковать, как уже сказано выше, почти прямо противоположно. Казалось, что речь идет о человеке, далеком от революционной борьбы (что опять-таки из цензурных соображений постарался подчеркнуть Слепцов), который, скучая от безделья, по доброте душевной собирается улучшать быт своих крестьян. Так и понял роман цензор Лебедев. Но даже в таком «искалеченном» виде роман «Хороший человек» вызвал у него серьезные опасения, заставив предположить, что «будущее развитие романа» будет далеко не благонадежным.

Роману, как известно, не суждено было завершиться. Слепцов предполагал в мартовской книжке «Отечественных записок» 1871 г. поместить конец первой части романа. Можно думать, что это была бы глава шестая — описание Петербурга, которая была почти закончена. По-видимому, вскоре после разговора Теребенева, Новикова и Кудрявцева должна была завершиться первая часть романа. Вторая часть, вероят-

но, уже изображала бы жизнь Теребенева в деревне. Но шестая глава никак не удавалась Слепцову. Слишком трудно было в подцензурном романе дать характеристику «опустевшего» в дни реакции Петербурга, показать идейных сообщников Теребенева, обосновать его возвращение «к печке». Приходилось самому «портить» произведение, искусственно затемнять мысли. Конечно, на судьбу романа оказали влияние и резкие отзывы критики, и неблагоприятное сообщение цензора, но решающим фактором было то, что Слепцов просто *не мог* кончить роман. Рукописи показывают, как боролся писатель сам с собой: все сколько-нибудь резкие места оставались в черновиках, появлялись длинные рассуждения, подставные фразы, роман растягивался и безнадежно портился.

Известно, что Слепцов отрекся от своей статьи «Женское дело», напечатанной в «Женском вестнике», после того как ее неузнаваемо искалечила цензура. То же самое получилось с романом «Хороший человек» — автоцензура настолько изменила роман, что от него оставалось только отказаться. Слепцов так и поступил, прекратив работу над ним. Несомненно, повлияло на такое решение Слепцова и еще одно существенное обстоятельство. Дело в том, что ему самому не было в достаточной степени ясно, куда он приведет своего героя. Оставаясь по своим взглядам убежденным демократом-шестидесятником, Слепцов, однако, смутно представлял себе дальнейшую дорогу русской революционной демократии. Это отразилось в черновиках романа.

Дважды на страницах романа Теребенев задумывается, что же он будет делать в деревне. Ведь «там, дома, надо будет опять начинать сначала», — размышляет он за границей. И наконец, очень отчетливо сознается уже в Петербурге: «Да, только там еще можно что-нибудь сделать. Надо же начать когда-нибудь. По поводу начинания он невольно вспомнил о многом множестве разных своих начинаний и в смущении остановился перед будущим...

— Что я, однако, буду делать там? — в первый раз серьезно подумал он и опять остановился. Мысль его, как упрямая лошадь, отказывалась идти вперед и только пятилась. Как он ни насиловал свое воображение, как ни старался представить себе что-нибудь такое определенное, — ничего такого не представлялось...»

Не только Теребенев, но и сам Слепцов, как многие революционные демократы, не мог себе представить реально нового «дела». У них было только сознание, что нужно «начать сначала», ясно было, что начинать необходимо именно в народе. 22 февраля 1864 г. Н. И. Утин писал Огареву, что «народные основы, по-моему, стремление, *тяготение в народ*, до того присущи молодежи нашей, что об этом лишнее было бы говорить»[43].

Однако конкретного представления о том новом «деле», которое ждет их в народе, у демократов 60-х гг. еще не было. По словам Н. И. Утина, молодежь мечтала о «приближении к народным нравам», говорила о необходимости «борьбы в разных ее видах» и кончала тем, что пополняла собой ряды народных учителей [44].

Как начинать в ту переломную эпоху — было еще непонятно. Мысль самого Слепцова, а не только Теребенева «блуждала в догадках», это он чувствовал себя на «рубеже, отделяющем прошлое от будущего». И в этом нельзя винить Слепцова. Сама жизнь не давала в ту пору ответа на вопрос о действенных методах борьбы. Массовое хождение в народ началось только через три года после опубликования романа. Но и оно не разрешило вопроса об освобождении народа: «революционное *движение* в России было ⟨...⟩ слабо до ничтожества, а революционного *класса* среди угнетенных масс вовсе еще не было» [45].

Роман Слепцова «Хороший человек» отразил и силу и слабость теории демократов-шестидесятников, сконцентрировав все их сомнения, противоречия, искания и отразив горячую веру в народ, в его силы, в его победу.

Такова судьба большого и интересного романа о путях развития русской революционной демократии. Подобно повести Щедрина «Тихое пристанище», «Хороший человек» Слепцова остался незавершенным, и только по рукописи, впервые публикуемой сейчас, мы можем частично представить себе первоначальный замысел этого несостоявшегося крупного произведения Слепцова.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Щедрин, т. XVIII, стр. 218.

[2] Письмо Н. А. Некрасова к П. В. Анненкову от 12 апреля 1870 г.— Н. А. Некрасов. Собр. соч., т. XI. М., 1949, стр. 170.

[3] Письмо Н. А. Серно-Соловьевича к Герцену и Огареву от первой половины 1864 г.— «Лит. наследство», т. 62, 1955, стр. 560.

[4] Щедрин, т. IV, стр. 316—317.

[5] «Лит. наследство», т. 51-52, 1949, стр. 495.

[6] Письмо Слепцова к Некрасову от конца февраля 1871 г. — Там же, стр. 496.

[7] «В. А. Слепцов. (Некролог)».— «Отечественные записки», 1878, № 4, стр. 348.

[8] «Журналистика».— «С.-Петербургские ведомости», 1871, № 65, от 6 марта.

[9] «Журналистика.— „Отечественные записки", № 1 и 2».— «Заря», 1871, № 3, стр. 19.

[10] Там же.

[11] «Иллюстрированная газета», 1871, № 11, от 18 марта, стр. 170.

[12] К. И. Чуковский. Предисловие к роману «Хороший человек».— В кн.: В. А. Слепцов. Сочинения, т. I. М.— Л., 1932, стр. 494—495.

[13] Донесение цензора Лебедева 17 февраля 1871 г. о февральской книжке «Отечественных записок».— ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 60, лл. 121—122.

[14] «В. А. Слепцов».— «История русской литературы», т. VIII, ч. 2. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1956, стр. 582.

[15] В. И. Кельсиев. Исповедь.— «Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 344.

[16] «А. А. Серно-Соловьевич». — «Народное дело» (Женева), 1869, № 7-9, стр. 112.

[17] Б. П. Козьмин. Русская секция Интернационала. М., 1957, стр. 43.

[18] См. в книге «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина. М., 1957. стр. 126.

[19] Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки. М.— Л., 1934, стр. 329.

[20] А. В. Никитенко. Дневник, т. II. М., 1955, стр. 328.

[21] Письмо Герцена к А. А. Чумикову от 9 августа 1851 г.— А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XXIV. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 199—200.

[22] В. И. Кельсиев. Исповедь.— «Лит. наследство», т. 41-42, стр. 278.

[23] Комментарий К. И. Чуковского к роману «Хороший человек» — II, 417.

[24] Щедрин, т. XIV, стр. 294, 336.

[25] Там же, т. XIX, стр. 249.

[26] М. П. Сажин. Воспоминания. 1860—1880 гг. М., 1925, стр. 19.

[27] В. И. Кельсиев. Исповедь.— «Лит. наследство», т. 41-42, стр. 296.

[28] В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 88.

[29] «Письма к тетеньке».— Щедрин, т. XIV, стр. 336.

[30] О. В. Аптекман. Общество «Земля и воля» 70-х годов. Пг., 1924, стр. 17.

[31] «Московские ведомости», 1868, № 58, от 16 марта.

[32] «Весть», 1868, № 30, от 11 марта («Внутренние известия»).

[33] Ср. у А. Я. Панаевой: «Больного Слепцова навещали немногие из его прежних многочисленных знакомых. Впрочем, из прежних его приятелей многие не по своей воле уехали на жительство очень далеко из Петербурга, а те, которые находились в Петербурге, до смешного боялись встречаться со Слепцовым, с которым несколько лет тому назад пропагандировали женский вопрос. Они воображали, что знакомство с бывшим организатором коммуны может скомпрометировать их чиновную карьеру...» (Воспоминания. М., 1956, стр. 347).

[34] «Базаров».— Д. И. Писарев. Избр. соч. в двух томах, т. I. М., 1935, стр. 247.

[35] И. С. Тургенев. Собр. соч., т. III. М., 1954, стр. 232.

[36] «Утро. Литературный сборник».— Добролюбов, т. I, стр. 411. О Колошине и его отношении к Добролюбову — см. статью К. И. Чуковского «История одного пасквиля».— «Лит. газета», 1961, № 142, от 30 ноября.

[37] «Архив села Карабихи». М., 1916, стр. 224—225.

[38] С. С. Татищев. Император Александр II, т. II. СПб., 1903, стр. 11.

[39] П. В. Долгоруков. Петербургские очерки. М., 1934, стр. 277.

[40] История России в XIX веке. Сборник. М., изд. А. и И. Гранат, <б. г.>, т. V, ч. 3, стр. 108.

[41] Письмо Н. П. Огарева к А. И. Герцену от 22 декабря 1869 г.— «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 571.

[42] А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XI. М., 1957, стр. 53—54.

[43] «Лит. наследство», т. 62, стр. 643.

[44] Там же, стр. 643—644.—См. также высказывание Герцена в последней части «Былого и дум»: «Мы ближе к земле, мы ниже стоим, т. е. тверже, плуг глубже врезывается, работа не так казиста, чернее — может, оттого, что это в самом деле работа» (Герцен, т. XI, стр. 444).

[45] В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 94.

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК*

ПОВЕСТЬ

I

Петербургское лето только что начиналось, но, несмотря на то, в городе было уже достаточно пыльно, душно и скучно; чувствовалась надобность в дожде, а дождя не было; в воздухе стоял какой-то чад, от которого разбаливалась голова и становилось противно жить на свете.

Часу в пятом по Невскому проспекту, от Аничкова моста к Гостиному двору, шел молодой человек, среднего роста, белокурый, с бородкой. На нем было светлое летнее пальто, маленькая измятая шелковая шляпа и в руках — зонтик. Вид он имел во всех отношениях совершенно приличный, но в то же время как будто сконфуженный и недовольный. Шел он

---

* В Пушкинском доме хранятся три рукописи Слепцова, относящиеся к его работе над *первоначальной редакцией* «повести» или, впоследствии, «романа» «Хороший человек». Там же хранятся и наброски, относящиеся к выработке текста главы VI, которая должна была продолжать публикацию первых пяти глав в «Отечественных записках» (1871, № 2).

Рукописи первоначальной редакции романа разнородны: неполная черновая карандашная рукопись, в середине которой не сохранилось нескольких листов, и два отрывка беловой рукописи, отразивших в отработанном виде части *той же* черновой карандашной рукописи. Каждая из этих рукописей в отдельности не содержит полного текста начальной редакции первой части романа. Мы устанавливаем этот текст — по необходимости фрагментарно — в результате сопоставления всех трех рукописей.

Первая беловая рукопись (от слов: «Петербургское лето только что начиналось...» до слов: «...эти болячки были четыре года тому назад» — Р. III, оп. 1, № 1919, лл. 45—48 об.) имеет перед текстом заглавие: «Хороший человек. Повесть. I». Сравнивая этот текст с черновой карандашной рукописью, мы убеждаемся, что он почти целиком перебелен с этой рукописи. Те незначительные изменения, которые внесены в беловой текст (первый абзац и еще несколько фраз), являются стилистической правкой и не отражают каких-либо изменений сюжетной линии.

Черновая карандашная рукопись заглавия не имеет и, должно быть, характеризует самый ранний этап работы над повестью. В рукописи, как сказано, отсутствует несколько листов, вследствие чего она распадается на две части: а) от слов: «Часу в пятом по Невскому проспекту...» до слов: «Куда бы он ни приехал, на другой...» (оборвано) и б) от слов: «В трактире по случаю летнего времени...» до слов: «например, поезжай в Новгород» (Р. III, оп. 1, № 1919, лл. 4—31 об.). Текст записан на листах вензельной бумаги (№ 4, Говарда) и сложен в тетрадь, пронумерованную рукой Слепцова («№ V»). Рукопись довольно трудна для чтения. Мы не воспроизводим вариантов, так как они отражают мелкую стилистическую правку и не вносят ничего принципиально нового в понимание идейного замысла и художественного своеобразия произведения. В публикуемый текст мы вводим лишь два отрывка, полагая, что они были зачеркнуты Слепцовым в черновой рукописи из цензурных опасений (об X — Раслянове).

Второй фрагмент беловой рукописи начинается словами: «На другой день по приезде в Петербург, часу в четвертом пополудни, Теребенев шел по Невскому...» до слов: «проглатывал несколько картофелин в один раз и запивал вином». Первой фразе белового текста соответствует в черновой рукописи следующая: «Занятый размышлениями о том, почему все это так случилось, Теребенев шел по Невскому...» (Р. III, оп. 1, № 1919, лл. 50—60). В остальном второй беловой фрагмент полностью повторяет черновую рукопись, так как мелкие расхождения между ними являются исправлением стилистических погрешностей и длиннот. Этот фрагмент дает возможность уничтожить разрыв в черновой рукописи, поскольку его последняя фраза целиком совпадает с соответствующей фразой чернового текста.

Следует также отметить, что текст беловой рукописи носит на себе следы последующей карандашной правки (тоже стилистической).

В настоящей публикации мы воспроизводим оба фрагмента беловой рукописи, восполняя пробел между ними соответствующими частями черновой рукописи. Части черновой карандашной рукописи и двух фрагментов беловой в публикации отделены друг от друга чертой. Публикация начинается с беловой рукописи.

Помимо этого, мы помещаем в приложении четыре наброска VI главы, которой Слепцов намеревался продолжить печатание романа в «Отечественных записках», где появились первые пять глав произведения.— *Л. Е.*

не так, как обыкновенно ходят по Невскому; он не шел, а скорее прохаживался, заложив руки назад, иногда останавливался и с особенным вниманием всматривался в такие предметы, которые для петербургского жителя не представляют ни малейшего интереса. Судя по этому, можно было принять его или за человека, несколько лет просидевшего в тюрьме, или за приезжего. Он, действительно, был приезжий. В то лето как-то особенно много русских возвращалось из-за границы, точно их вдруг погнали оттуда. В числе прочих вернулся и описанный сейчас молодой человек, кандидат Московского университета, из дворян, Андрей Николаевич Теребенев.

Четвертый день уже бродил он по городу безо всякой определенной цели, все собирался уехать в деревню и все не уезжал. В Петербурге не было у него никаких дел, никаких таких интересных знакомых, с которыми не мешало бы повидаться; а между тем что-то удерживало его: он все еще как будто ждал чего-то, [что-то такое нужно было] узнать, в чем-то удостовериться; хотя в то же время он очень хорошо понимал, что ничего больше не будет, узнавать нечего и оставаться здесь незачем. А сам все жил, все шлялся по улицам, все рассматривал. То, что попадалось ему на глаза, большею частью было ему давным-давно известно и переизвестно, изредка только навертывалось что-то как будто новое, тем не менее он ежеминутно и почти на каждом шагу находил вовсе не то, что надеялся найти, и, напротив, не находил того, что почему-то должен был найти непременно. Прежде всего он нашел, что город ужасно опустел, что даже на главных улицах как-то мало людей, мало движения, дома как будто стали гораздо меньше, магазины обеднели и превратились в какие-то довольно жалкие лавчонки и все вообще имеет такой неопрятный, запущенный вид. Лица, в особенности у мужчин, стали какие-то широкие, точно расплылись; костюмы на всех, даже и на женщинах, такие неизящные, вообще странные. На Невском прежде, четыре года тому назад, было так шумно, столько было езды, беготни, суеты; а теперь — напротив, тишина необыкновенная; бродят какие-то сонные люди, точно осенние мухи по стеклу, и только мальчишки, продающие газеты, сколько-нибудь оживляют эту мертвую картину, приставая к прохожим и от нечего делать затевая между собою драку, да изредка проскачет куда-то пожарная команда. Но чем больше всматривался Теребенев, чем больше глаз его начинал снова привыкать к позабытым картинам, тем больше убеждался он в том, что если и произошла какая-нибудь перемена в это время, которое он прожил за границею, то эта перемена случилась в нем самом, в Петербурге же ровно ничего не переменилось. И действительно, мало-помалу он начал замечать, что ему беспрестанно попадались знакомые лица; даже нищие те же самые, с теми же вывернутыми членами, с теми же болячками и при том на тех же самых местах, на которых эти болячки были четыре года тому назад *.

Так же барыни рыскали с покупками по магазинам, так же, как четыре года тому назад, разносчики в Гостином дворе просили поддержать коммерцию **. Одним словом, все осталось в том же виде, но именно это самое, именно то, что все осталось в прежнем виде и в то же время как будто все изменилось, это-то и удивляло его. Больше всего удивляли мелочи, эти бесчисленные мелочи, на которые обыкновенно не обращаешь внимания, пока живешь, окруженный ими, но которые совершенно забываются, как только уедешь из города.

---

* *Далее публикуем текст черновой рукописи (лл. 7—20).*

** *Перед этой фразой в черновой рукописи читаем фразу, перенесенную в беловой рукописи в другое место*: Даже нищие те же самые, с теми же вывернутыми ногами, с теми же болячками.

Теперь эти мелочи на каждом шагу бросались в глаза и напоминали о себе. И как это странно, в самом деле, что прежде он их не замечал, а между тем он отлично помнит вот этого самого нищего, у него и тогда была совершенно такая дыра на коленке, и картуз тот же, и шарманка та же самая. В этом магазине, на этом самом окне, всегда стояла эта трубка, и Теребенев всегда думал, проходя мимо, что должно быть ее никто никогда не купит, потому что кому же охота курить из такой дурацкой трубки.



АПРАКСИН ДВОР В ПЕТЕРБУРГЕ
Картина маслом неизвестного художника, 1850-е гг.
Исторический музей, Москва

Так она тут и осталась. И этот господин с испуганным лицом. Теребенев всегда встречал его здесь и даже узнавал его сзади. И теперь узнал, он все так же ходит и лицо у него совершенно такое же, как и было, испуганное.

«А между тем я как-то вовсе этого не ожидал,— думал Теребенев.— Почему же, однако, я не ожидал, я должен был ожидать, что увижу все это и что все будет именно так, а не иначе. А главное, с какой стати, однако, этот вздор так поражает меня,— думал он, осматриваясь кругом.— Чёрт его возьми совсем». И тем не менее все продолжал поражаться. Надо заметить, что поражения начались с самого приезда, с первой же минуты, как только он вышел из вокзала Варшавской железной дороги и сел на извозчика. Причина их, как это само собой разумеется, лежала главным образом в нем самом.

Первый предмет, поразивший его, была женщина, проходившая в это время по Обводному каналу. Женщина была в изорванном ситцевом платье, босиком, грязная и растрепанная, она шла по набережной и громко плакала, продолжая кого-то ругать, оглядываясь и стараясь в то же время повязать на голову платок. Платок сносило ветром, волосы

выбивались, но она все старалась их подпрятать и все плакала и все ругалась. Мужики с барок что-то ей кричали и смеялись над ней. Женщина останавливалась, сердито плевала на них в воду и опять принималась повязывать на себя платок.

— А ведь должно быть кто-нибудь побил ее,— подумал Теребенев, и тут вдруг вспомнил, что вот уже четыре года он не только не видал битой женщины, но даже как-то ему и думать об этом не приходилось. Потом вспомнил, сколько раз случалось ему прежде в России присутствовать при подобных сценах и с каким позорным равнодушием он всегда проходил мимо. И ему сделалось как-то ужасно стыдно и за себя и за Россию и захотелось поскорей, сейчас же, с первой же минуты начать действовать не по-русски, а так, как всякий обязан действовать — по-человечески. Он быстро соскочил с извозчика, бросил свой зонтик на дрожки и кинулся к плачущей женщине.

Извозчик не вдруг остановил лошадь, поэтому он зацепил за какой-то гвоздь, изорвал немного пальто, а зонтик полетел на мостовую. Впрочем, он на это не обратил никакого внимания, — даже как-то обрадовался, что не обратил внимания, и, спотыкаясь, догнал женщину. Она остановилась и с удивлением посмотрела на него. Он почти задыхаясь спросил ее:

— Что с вами случилось? Вас кто-нибудь обидел?

Женщина продолжала молча смотреть ему в лицо, потом сняла с головы платок, надела на плечи. Он опять повторил:

— Верно вас обидели?

— Ты еще что? Тебе чего нужно,— вдруг закричала она на него, сорвала с плеч платок и махнула им в лицо Теребенева так, что кончиком задела его по шляпе. В это время мужики, глядевшие на эту сцену с барки, захохотали.

Теребенев растерялся и стал поправлять свою шляпу. Мужики что-то кричали и даже стали свистеть. Между смеющимися голосами один какой-то залился тоненьким таким звонким смехом, закашлялся и опять залился на всю канаву, баба глядела, глядела и вдруг тоже захохотала. Теребенев быстро повернулся и, не оглядываясь, пошел назад, не смея взглянуть в ту сторону, откуда слышался мужичий смех. Женщина тоже что-то ему закричала вслед. Он поднял зонтик и, не глядя на извозчика, стал усаживаться на дрожки. Извозчик только крякнул и ударил по лошади.

Сконфуженный и расстроенный таким началом Теребенев молчал всю дорогу вплоть до Зн⟨аменской⟩ гостиницы. Смотрел по сторонам и притворялся равнодушным, но ему было ужасно стыдно извозчика. Извозчик тоже молчал и как-то задумчиво дергал вожжи.

Когда стали подъезжать к гостинице, извозчик, не оглядываясь, спросил:

— К этому подъезду?

— Да, да, к этому,— торопливо сказал Теребенев, поскорей взял свои вещи, все еще не глядя в лицо извозчику, поскорей отдал ему деньги и, входя в двери, ласковым голосом спросил у швейцара:

— Есть номера?

— Есть,— важно процедил сквозь зубы швейцар и показал ему пальцем на лестницу.

Понятно, что после такого дебюта Петербург не должен был произвести на него приятного впечатления. Притом же и самое возвращение Теребенева на родину было с его стороны делом не совсем добровольным. Это было своего рода бегство. За границу попал он так, как обыкновенно попадают туда русские дворяне, т. е. и сам не знал, наверное, как это случилось. Помнит он, да и то очень смутно, только, что это вышло совсем

неожиданно даже для него самого. Помнит он, что жил он в Балашовском уезде и ничего не чувствовал, не понимал; потом как-то так случилось, что он вдруг все понял и почувствовал неодолимое желание бежать, бежать, бежать куда-то туда. И побежал. Точно будто зарядили пушку, всунули его туда и выпалили. Помнит он, что он летел оттуда, все летел, все летел до тех пор, пока не ударился лбом обо что-то твердое. Очнулся и видит, что это стена. Отсюда его рикошетом понесло влево и несло таким манером вплоть до самого Парижа. Тут уж он окончательно пришел в себя, протер глаза и понял, наконец, что, собственно говоря, он теперь только родился и увидел свет. Вся прежняя жизнь в отечестве представилась ему каким-то бессмысленным, неразумным прозябанием, похожим на состояние младенца в утробе матери. Всех сил этой матери хватило на один только растительный процесс, но воспитать, сделать из младенца человека она была не в силах.

Парижское воспитание Теребенева шло обыкновенным порядком: вкусив от древа познания добра и зла, он прежде всего заметил, что он наг, и устыдился наготы своей. Затем оделся, как следует европейцу, и начал жить так, как обыкновенно живут русские за границей, т. е. вдруг вообразил себе, что он настоящий человек, член общечеловеческой семьи, что он имеет полное право жить, где ему вздумается и заниматься, чем захочется. Надо заметить, что занесло его в Европу в самое неблагоприятное время, в то время, когда русских везде преследовали, смеялись над ними, но это нисколько его не конфузило, напротив, ему даже нравилось быть до известной степени гонимым, и если случалось, что и на его долю попадали кое-какие шпильки, то он принимал их как должное, снисходительно улыбаясь и в то же время торжествуя в душе и вполне довольствуясь сознанием того, что эти шпильки попадают в него по недоразумению, только потому, что нападающим недостаточно известен его политический образ мыслей. Он чувствовал себя сильным, правым и свободным и все ездил, все ездил. Изучал рабочий вопрос, посещал всевозможные съезды, слушал лекции, принимал участие в разных сходках и демонстрациях, жил в Женеве, ездил на поклонение Мадзини, одним словом, жил [смелой], полной, широкой жизнью, которой могут жить только молодые русские люди, вырвавшиеся на волю и нисколько не думающие о том, что этой веселой езде придет же когда-нибудь конец, что ехать больше будет некуда и что, как ты там ни вертись, но все-таки рано или поздно надо будет вернуться домой. И там, дома, надо будет опять начинать сначала.

А между тем время шло: события сменялись событиями, и в политических мнениях Европы мало-помалу подготовлялся переворот в пользу России. Позор, густым туманом покрывший русское имя, понемногу стал проясняться, на русских начали смотреть снисходительнее, потом и совсем простили, наконец, русское имя было восстановлено вполне, наконец, русские снова стали гордиться своим именем. Но по мере того, как занималась заря на востоке и русское имя, озаряемое лучами военной славы, с честью выходило из мрака незаслуженного позора, в образе мыслей Теребенева тоже совершался переворот.

Он все больше и больше утрачивал прежнюю бодрость духа и свободу движений, наконец, совершенно лишился храбрости и захирел, затосковал, законфузился. Сидел в Берне, не видался с русскими, не читал газет и с каждым днем, видимо, разочаровывался во всем и главным образом в возможности возрождения. Присмиревший, бродил он по берегу озера, размышляя о том, какую коварную и подлую штуку сыграла с ним Европа и какую глупую роль заставляла она его играть целые четыре года сряду. В последнее время ⟨он⟩, наконец, дошел до того, ⟨что⟩ начал скрывать

свою национальность и, когда слава русского имени озарила Европу и император Наполеон в тронной речи отозвался с похвалою о предпринимаемых в России реформах, Теребенев уже никуда не годился: он совсем упал духом и сконфузился до такой степени, что когда за общим столом в гостинице один пьяный немец, живший прежде в России, предложил было ему выпить русский брудершафт, Теребенев чуть не заплакал с отчаяния, встал из-за стола и побежал на станцию брать билет в Гамбург, чтобы сейчас же ехать в Америку. В Гамбурге он прожил два дня, ходил на пристань, смотрел, как отправляются в Нью-Йорк европейские переселенцы, думал, думал и надумал — вернуться в Россию.

На обратном пути в Петербург, сидя в вагоне, обдумывал он свое положение (что он в некотором смысле человек, окончивший курс), припоминал прожитое: детство, деревню, Москву, потом Петербург, потом эту заграничную жизнь и вдруг почему-то вспомнил, как его учили в детстве танцевать. Представилось ему, что стоит он в зале у печки, с вывернутыми в третью позицию ногами; мать сидит у окна и с напряженным вниманием следит за успехами сына. Ей это кажется очень важным делом, лицо у нее такое серьезное, озабоченное; она даже бросила вязание красного шерстяного шарфа, торопливо воткнула деревянные спицы в клубок и положила на стол. Она беспрестанно делает ему замечания: «Андрюша, не сгибай колен, стой прямо, зачем ты голову на бок держишь?» Из коридора смотрят горничные и тоже с большим вниманием замечают каждое его движение. Впереди всех стоит нянька и, подперши щеку рукою, с умилением смотрит на Андрюшу. Время от времени она даже вздыхает и приговаривает чуть не со слезами: «Ах, голубчик ты мой»,— и вдруг накидывается на горничных, которые никак не могут стоять смирно и всё шепчутся и толкают друг друга.

— Да, тише вы, беспутные! — грозит она им.— Уйдите вон отсюда!

Из передней выглядывают лакеи, а у притолоки старый буфетчик Орест, отставив одну ногу, заложив руки за спину и наморщив седые брови, строго смотрит на барчонка. Он подолгу живал в Москве и знает, как господ учат танцевать. По лицу его видно, что он тоже очень заинтересован настоящим случаем, но старается показать молодым деревенским лакеям, что для него тут ровно ничего нет такого особенно удивительного. Он даже позволяет себе изредка делать замечания вполголоса, но так, чтобы молодые лакеи слышали:

— Шею-то зачем вытянул, точно гусь?

Андрюша, действительно, не только вытянул шею, но и весь вытянулся. Он в самом напряженном состоянии, он стоит совершенно неподвижно, с широко раскрытыми глазами, уставил их куда-то вперед и ни на кого не глядит. Он чувствует, что все на него смотрят, все следят за ним, и конфузно ему, и хочется как можно лучше отличиться, но в то же время ему кажется, что в ногах у него как будто вставлены какие-то пружины и что вот, чуть только пошевельнешься — сейчас эти пружины сами начнут действовать, и ноги уйдут, чёрт знает куда. При том же танцевальный учитель, точно бес, вертится перед ним и не дает ему покоя: беспрестанно обдергивает на нем куртку, вывертывает ему локти, прикладывает свою ладонь к его спине, а другой рукой берет за подбородок и двумя пальцами деликатно осаживает его назад. А тут еще отец, в халате и с трубкой, вышел из кабинета в залу и остановился среди комнаты — посмотреть. Позади его на цыпочках, по стенке, пробирается в переднюю приказчик, приходивший за приказаниями; но тоже увлеченный общим любопытством, останавливается у дверей и присоединяется к прочим зрителям. Хотя Андрюша старается ни на кого не глядеть, но ему все-таки видно, что из коридора еще кто-то пробирается вперед и приподымается повыше над головами горничных, а в окно со двора заглядывает какая-то баба.

— Посмотрим, посмотрим,— говорит отец и, запахнувши халат, отходит немного в сторону.— Посмотрим, как-то ты действуешь. Ну, начинай!

Наступает решительная минута: учитель отскакивает в сторону и одобрительно вскрикивает:

— Извольте начинать! Раз — два — три, раз — два — три.

Андрюша делает отчаянное усилие, ноги срываются с места и сами начинают выделывать какие-то вензеля по комнате.

— Раз — два — три, раз — два — три! — все громче и громче вскрикивает учитель, забегая со всех сторон и хлопая в ладоши.

— Un, deux, trois..., — подпевает вполголоса мать, тоже прихлопывая и в такт покачиваясь вперед. Вдруг одна нога у Андрюши подвертывается, заплетается за другую, Андрюша сбивается с такту и останавливается.

— Что ж ты? — вскрикивает отец.

Андрюша старается опять попасть в такт, шмыгает ногой по полу и при этом даже загибает голову на бок.

— Ну, продолжай же, продолжай! — волнуясь говорит ему мать.— Не останавливайся!

— Не извольте останавливаться,— потягивая его за руку, говорит учитель.

Но Андрюша уж остановился, потому что ноги у него вдруг опять сделались железные. Он глупо улыбается, в смущении перебирает пальцами.

— Эх, какой ты, брат,— с укором говорит отец.— Ну, ступай опять к печке, начинай сначала.



БЕЗРАБОТНЫЕ В ПЕТЕРБУРГЕ

Гравюра с рисунка Л. П. Лебедева, 1876 г.

Исторический музей, Москва

— Извольте становиться к печке,— говорит учитель.

Сконфуженный, опустив голову, Андрюша в сопровождении учителя возвращается к печке. Он слышит, как вся эта публика зашевелилась, как они начинают шептаться, некоторые, обманутые в своих ожиданиях, уходят, приказчик тоже потихоньку ретируется в переднюю; отец, махнув рукой, удаляется в кабинет.

— Господи,— думает Андрюша,— да что ж это такое?..

И вдруг является у него прилив какой-то отчаянной энергии, ему хочется остановить их сейчас же, поскорей загладить этот позор. У него есть еще надежда отличиться, а они между тем уходят один за другим, все уходят.

— Постойте, погодите! — хочется закричать ему.— Я сейчас покажу вам, как я умею танцевать...

Но уже поздно, они все разошлись, остается один ненавистный учитель.

— Извольте становиться к печке. Начинайте сначала,— со вздохом говорит он Андрюше.

Прижавшись в угол вагона, ночью, сидел Теребенев с закрытыми глазами, припоминая эту сцену со всеми мельчайшими подробностями, и переживал ее всю с начала до конца. Испытывал он теперь совершенно так же и с такою силою, как пятнадцать лет тому назад, как будто он только сию минуту осрамился в танцах и возвращается к печке для того, чтобы опять начинать сначала.

— Да теперь-то, что же я делаю? Зачем я еду в Россию? — с ужасом вдруг подумал он и широко открыл глаза и посмотрел кругом. В вагоне в разнообразных позах спят свернувшиеся пассажиры, фонари догорают, дорога гремит.

— Это я возвращаюсь к печке,— уже совсем очнувшись, понял он вдруг, и это до такой степени поразило его, что он даже вслух произнес эти слова и еще раз повторил сам себе: «ну да,— к печке».

Теперь его положение стало ему совершенно ясно: деревня, Москва, Петербург, Европа и опять назад, опять туда, в деревню, да, именно в деревню, потому что печка не в Петербурге, даже не в Москве, она там, в Балашовском уезде, в деревенском доме стоит на том же самом месте, где стояла пятнадцать лет тому назад; и для того, чтобы начать сначала, необходимо вернуться опять туда же, к ней, к той же самой печке, стать в третью позицию и опять: раз, два, три, раз, два, три и т. д. И в то же время почувствовал, что тоска, точь в точь такая же противная грызущая тоска, которую он чувствовал в детстве, тоска, похожая на тошноту, подступает ему к горлу и потихоньку начинает душить его.

Петербург сам по себе не представлял Теребеневу ровно никакого интереса. Здесь он когда-то учился жить, получил несколько сильных уроков жизни, узнал все, что ему нужно было узнать, и затем в свое время бросил этот город так же спокойно, равнодушно, как бросает школьник истрепанную, зазубренную в клочья арифметику с тем, чтобы приняться за новую и даже совсем еще не разрезанную геометрию.

Если равнодушно расстался Теребенев с Петербургом, уехав за границу, то тем более равнодушно возвращался в него теперь, после такой неудачной поездки. Он даже вовсе не хотел останавливаться в Петербурге, но зажился в нем потому только, что нужно было купить кое-что для деревни, запастись книгами и подписаться на журналы. Перебирая в памяти разных своих петербургских знакомых, он нашел только одного человека, с которым, пожалуй, не прочь был бы повидаться, но только *не прочь*; самому же искать этой встречи ему не хотелось. И, как нарочно, попадались на улице всё такие люди, от которых он или старался скрыться в ближайшие магазины, или просто отворачивался. Ему неприятно

было встречаться со своими знакомыми еще и потому, что новости, сообщаемые ими, были всё такого рода, что лучше бы их вовсе не слыхать. Так, например, оказалось, что Петербург в последнее время действительно опустел, что мало-мальски порядочные люди один за другим куда-то исчезают, точно их ветром сносит; в то же время, как это и должно быть, общество, видимо, начинает пошлеть: литература в упадке, к нравственным интересам замечается охлаждение, а вместо того на первый план выступает спекуляция и жажда грубых наслаждений. Общественные дела как будто процветают, но, в сущности, все сводится к одному: к личной и по возможности скорой наживе, беспрестанно являются новые предприятия, со всех сторон наезжают всякого рода прожектеры и спекуляторы с предложениями своих услуг, с открытием нового суда вдруг расплодилось несметное количество дельцов, одержимых страстию хождения по делам, стремящихся во что бы то ни стало водворять в частных делах порядок; денег ни у кого нет, и в то же время беспрестанно...*

На другой день по приезде в Петербург, часу в четвертом пополудни, Теребенев шел по Невскому, глядя в землю, и носом к носу столкнулся с одним господином, с которым менее всего желал бы встретиться в Петербурге. Он знал его за границею, и там еще этот господин своею пустотою и навязчивостью надоел ему до смерти. Отвязаться от него, если он пристанет, было трудно. Теребенев знал это очень хорошо и потому с особенным неудовольствием заметил, что господин стоит перед ним и дружески протягивает к нему обе руки. Скрыться было некуда — и притом уже поздно.

— D'ou venez vous?** Какими судьбами? каким ветром? — запел он, весело и радушно обнимая Теребенева за плечи.

— Из Швейцарии,— отвечал Теребенев и нетерпеливо зашевелил плечами, освобождаясь от непрошенных объятий.

— Ну, как? как? что? надолго ли? что наши? — приставал между тем господин и, взяв Теребенева под руку, потащил его дальше.

Фамилия этого господина была Сапожников, но между русскими за границей он был более известен под именем *нашего собственного корреспондента*. Кто дал ему эту кличку,— неизвестно, но иначе его не называли, даже в глаза; многие вовсе не знали его фамилии и, упоминая о нем, говорили: «вот этот, как его — наш собственный корреспондент». Прозвище это дали ему на том основании, что он, проживая в Париже, посылал в одну русскую газету корреспонденции, которые печатались под таким заглавием: «*Письма из Парижа (от нашего собственного корреспондента)*». Кроме корреспонденций, Сапожников занимался чем придется: давал уроки, жил для компании, исполнял поручения, переводил все, что угодно, с четырех языков на русский и с русского на все четыре языка обратно; наконец, когда не было никакой работы, просто терся около богатых соотечественников, а иногда и около бедных, если под рукой не оказывалось богатых. И нельзя сказать, чтобы его очень избегали. Впрочем, избежать такого человека, как Сапожников, было довольно трудно: он обладал удивительною способностью быстро осваиваться во всяком месте, во всяком положении и ужасно легко влезать в душу. Но больше всего и охотнее всего он занимался тем, что говорил: он даже промышлял этим и довольно успешно.

---

* *Далее публикуем текст беловой рукописи (лл. 50—60). В черновой рукописи фраза недописана. На обороте листа черновой текст продолжается со слов*: Занятый размышлениями о том, почему все это так случилось, Теребенев шел по Невскому.

** Откуда вы? (*франц.*).

Сапожников по натуре был комиссионер: куда бы он ни приехал, на другой же день он превращался в местного жителя; проникался местными интересами, интересовался местными новостями и кончал обыкновенно тем, что посвящал в них приезжающих. Желали они этого, или нет, ему было все равно; он являлся, знакомился и предлагал свои услуги: водил по городу, показывал разные редкости, нанимал квартиры, давал наставления, где следует обедать, где покупать сигары и т. д. И за все эти хлопоты довольствовался самым скудным вознаграждением в виде обеда, чая, стакана кофе, при случае он занимал рубля два-три, не более. Иногда он находил какого-нибудь больного старика и в качестве компаньона уезжал с ним куда-нибудь на воды, на водах знакомился с каким-нибудь семейством, пристраивался в должности учителя и таким образом путешествовал далее. В последнее время он жил во Флоренции, очень нуждался и дошел, наконец, до того, что вынужден был взять на себя одно несколько даже щекотливое поручение, а именно: он взялся провожать в Россию одну графиню. Путешествие это он находил не очень привлекательным, главным образом потому, что разговаривать с графиней не было никакой возможности, по той причине, что графиня была мертвая. Доставив тело ее в Россию и получив за это очень немного, Сапожников застрял в Петербурге надолго и наконец совсем остался. Но во время своих многолетних странствий по Европе он до такой степени привык к роли путешественника, что и теперь, на родине, никак не мог избрать себе другого, более прочного положения. Спустя два года по приезде в Петербург, он все еще имел вид человека, только что откуда-то приехавшего и опять в скором времени куда-то уезжающего: на нем был тот же бархатный пиджак, в котором он лазил по горам Швейцарии, та же маленькая шелковая шляпа и тот же плед, в который он умел драпироваться на разные манеры и из которого зимою делал даже что-то вроде шинели. В Петербурге он продолжал вести парижский образ жизни: жил в appartements meubles*, в известный час гулял, заходил в Пассаж, пил кофе, читал газеты, потом покупал себе одну сигару и садился у окна. Существование его в Петербурге было самое ненадежное, но он этим, кажется, вовсе не тяготился. Обыкновенно, выходя из дому, он не имел ни малейшего понятия о том, что ему придется есть и что он будет делать, и непременно встречал на улице какого-нибудь знакомого, заговаривал с ним и незаметным образом опутывал его разговором и разными услугами до такой степени, что знакомый неизбежно должен был накормить его. Если знакомый шел покупать что-нибудь, Сапожников провожал его, ходил по магазинам, носил за ним покупки, торговался и спорил с купцами. Если знакомый шел домой, и он под предлогом неоконченного разговора заходил к нему в гости. Даже если знакомый сам шел к кому-нибудь в гости, Сапожников с этим не стеснялся и просил его представить в дом и таким образом заводил новое знакомство, по возможности оставался обедать и т. д. Кроме того, он во всякое время был готов ехать с кем угодно и куда угодно. Ему это было решительно все равно, только бы ехать.

— Путешествие — это моя страсть. C'est ma passion,— обыкновенно говорил он.— Je suis toujour en voyage, comme le juif ferrant **.

И действительно, он был несколько похож на незаконнорожденного еврея, хотя, в сущности, происходил от одного обедневшего хвалынского помещика и воспитание получил чисто дворянское.

Так вот этот самый Сапожников, овладев Теребеневым, увлекал его по Невскому и, пользуясь его беспомощным положением, начал уже посвящать его в интересы дня. Как ни старался Теребенев отделаться от

---

* меблированных комнатах (*франц.*).

** Это моя страсть... Я всегда в пути, как вечный жид (*франц.*).



НИЩИЕ

Рисунок Н. А. Ярошенко (фрагмент), 1878 г.

Русский музей, Ленинград

этих интересов и ускользнуть куда-нибудь от свежих новостей,— все было напрасно: Сапожников, не замечая ничего, с жаром объяснял ему, что теперь, наконец, наступила решительная минута действовать, «parce que Катков, voyez vous,—говорил он на ухо,— il lui est arrivé un accident, он сделал промах — un faux pas, сглупил, понимаете? Et le ministre *...» и т. д. «Ветер дует в нашу сторону... Ах, вы не знаете, что тут было без вас. Я даже хотел вам писать. Петербургское земство, ce qu' il a fait !**...»

— Извините, мне надо зайти в этот магазин,— перебил его Теребенев.

— Ah, c'est dans la *** Русская книжная торговля. Зачем? Пойдемте к Черкесову. Каких вы хотите книг? — по славянскому вопросу? — ни одной не найдете. Так постойте же, в таком случае voila ce que nous ferons ****: я вас познакомлю с нашими славянами. Как они будут рады!

— Я завтра уезжаю, когда же мне знакомиться,— уклонялся Теребенев.

— Э, как жаль! Зачем так скоро? А они были бы в восторге. Да нет, вы останетесь, это нельзя так скоро.

Теребенев, не отвечая, зашел в книжный магазин и купил несколько книг; Сапожников тоже порылся в книгах, сделал несколько замечаний и, выходя на улицу, спросил:

---

* потому что Катков, видите ли... с ним случилось происшествие... ложный шаг... II министр (*франц.*).

** что оно сделало! (*франц.*).

*** Ах, это в (*франц.*).

**** вот что мы сделаем (*франц.*).

— A propos *, куда вы едете?

— В деревню.

— Ах, это вы в свое имение. В какой губернии ваше имение?

— В Саратовской.

— Неужели? Mais vous savez donc, que c'est ma patrie**. Вот это мило! А я до сих пор и не знал, что вы тоже саратовский. А знаете, я был бы не прочь еще раз взглянуть на те места, где я родился. Хорошая мысль!

Теребенев молчал.

— Послушайте, зайдемте сюда, к Доминику! Я здесь всегда в это время пью мой кофе и читаю газеты.

Теребенев повернул назад, говоря, что ему нужно туда, в ту сторону.

— Согласен, пойдемте в ту сторону; тем более, что мне еще рано. Пока пройдемся, поговорим. А какая сегодня погода — замечаете? — В такую погоду я готов хоть десять миль сделать пешком. Ах, какой же я рассеянный, совсем забыл спросить вас: скажите, куда девалась cette petite ***... как ее звали? Помните, эта милая девочка, полька, за которой мы оба ухаживали на водах?

— Право не знаю,— с неудовольствием ответил Теребенев.

— Как, неужели вы ее потеряли из виду? Жаль. Mais comme elle était charmante!****. А кстати, женский вопрос, вы слышали,— фють! Все кончилось, и все они выходят замуж.

В это время они подошли к Палкину, и Теребенев, рассудив, что от Сапожникова так не отделаешься, решился зайти и накормить его: авось отстанет. Тот, конечно, согласился.

— Пожалуй. Хотя я, celon moi *****, не поклонник здешней кухни, но для разнообразия — pourquoi pas ******, зайдемте!

Они вошли наверх и сели за один из маленьких столиков в общей комнате; Сапожников спросил обеденную карту и подал ее Теребеневу, Теребенев, собственно говоря, и есть не хотел, притом же думал о другом; он совсем машинально взял карту и начал ее читать; читал, читал и вдруг вспомнил, что это, однако, не очень вежливо и поскорей возвратил ее Сапожникову; но тот опять положил ее на стол, говоря, что он — после.

Наконец, лакей догадался и подал другую. Сапожников, собираясь обедать на чужой счет, из вежливости выбрал самый дешевый обед.

— Je préfère, я предпочитаю эти дешевые обеды,— оправдывался он, должно быть, перед лакеем,— потому что, по крайней мере, это все простые, здоровые блюда из свежей провизии.

Теребенев спросил себе тот же самый обед из простых, здоровых блюд и бутылку вина: но почти ничего не ел, а только смотрел, как Сапожников ест. Зрелище это было в своем роде довольно любопытное. Теребенев только делал вид, что обедает, Сапожников же, наоборот, делал вид, что нисколько не заботится об обеде и весь занят разговором. Вследствие привычки постоянно питаться чужими обедами, за которые он считал себя обязанным расплачиваться болтовней, Сапожников приобрел необыкновенную ловкость поглощать большое количество пищи самым незаметным образом; он делал это совершенно так, как фокусники глотают шпаги: под видом оживленного разговора, он очень искусно съедал самые большие куски, а сам все говорил, все говорил; потом брал на вилку крошечный кусочек и начинал вилкой рассуждать, показывая ее собеседнику;

---

* Кстати (*франц.*).

** Но вы же знаете, что это моя родина (*франц.*).

*** эта малютка (*франц.*).

**** Но как она была мила (*франц.*).

***** на мой вкус (*франц.*).

****** почему же (*франц.*).

затем клал этот кусочек на тарелку, разрезывал пополам, намазывал горчицею, отламывал тоже самый крошечный кусочек хлеба и наконец потихоньку съедал. Но когда Теребенев переставал на него смотреть, он быстро отхватывал пол-огурца зараз, проглатывал несколько картофелин в один раз и запивал вином *.

**[Теребенев делал вид,что ничего этого не замечает,и не слушал его болтовни]. Но пока Сапожников болтал, а Теребенев его не слушал, в трактир один за другим набирались разные посетители: они подходили к буфету, выпивали рюмку водки, закусывали и разговаривали между собой, требовали карту, «Московские ведомости», чашку бульону и т. д.

---

* *Далее публикуем текст черновой рукописи.*

** *Перед этой фразой в черновом тексте стоит вариант той фразы, которой мы заканчиваем публикацию фрагмента беловой рукописи. Далее следуют несколько зачеркнутых набросков, выброшенных, несомненно, из-за цензурных соображений. В сущности, можно говорить о двух вариантах одного и того же наброска, в котором Слепцов раскрывает образ человека, названного им впоследствии Новиковым. После слов «не слушал его болтовни» вначале было написано:*

Сам <?> стал прислушиваться к разговору, который происходил в это время на другом столе, за которым обедали трое каких-то господ. Они несколько раз произнесли фамилию Х — —, фамилию того самого человека, с которым одним на весь Петербург Теребенев был бы не прочь повидаться. Называя его, они отзывались о нем не совсем лестно. Один из них даже злился и просто ругал его... Теребенева это очень заинтересовало. Х он знал давно и был даже к нему расположен. Вдруг он вспомнил, что Сапожников должен все знать.

— Послушайте, Сапожников, вы не знаете, кто это такие, эти господа? — спросил он, очень невежливо прерывая его болтовню.

Сапожников, застигнутый посреди какого-то рассказа, несколько удивился, но все-таки стал всматриваться в этих господ и сконфузился; оказалось, что он их не знает. Тем не менее он тут же спохватился, сделал „пст" и, подозвав лакея, начал его расспрашивать, кто эти господа. Лакей тоже не знал.

— Я сейчас узнаю.

Сапожников вскочил, вытер салфеткой рот и, держа ее в руках, подошел к обедающим. Они молча поглядели на него. Он раскланялся и сказал:

— Pardon, messieurs (*л. 23—24*).

С этим наброском связан еще один, находящийся выше на том листе, где описано появление Теребенева и Сапожникова в трактире: ...выходит он из дому и прогуливается где-нибудь в глухом месте на берегу реки. Во время этих прогулок он размышляет о том, что хорошо бы бежать, а еще лучше — застрелиться, и останавливается пока — на водке. Но проходит месяц, два и опять является у него новый проект, Х оживает, нанимает извозчика и пошла опять езда.

Однако в процессе работы этот вариант у Слепцова отпадает. Зачеркнув почти все написанное, он оставляет лишь фразу о трех господах, обедающих у соседнего столика, и продолжает ее уже иначе:

— А вас интересуют эти господа,— спросил он, чтобы скрыть свое смущение.

— Нет, сами-то они мне нисколько не интересны, но они упомянули фамилию одного моего знакомого.

— Pardon, какую фамилию?

— Раслянова, вы его не знаете?

— Раслянов, Раслянов, позвольте, кто такой Раслянов? А, знаю: молодой брюнет. Такое умное лицо.

— Петр Петрович.

— Знаю, знаю, знаю,— обрадовался Сапожников.

— И знаете, где он живет?

— Вот уж этого не могу вам сказать. А впрочем, я сейчас узнаю.

Его очень огорчило равнодушие, с которым Теребенев слушал его болтовню, и поэтому он обрадовался случаю оказать ему услугу, вскочил, вытер рот салфеткой и, держа ее в руках, подошел к обедающим.

Они молча поглядели на него. Он раскланялся и сказал:

— Pardon, messieurs.

Обедающие несколько удивились и продолжали молча смотреть на него. Но он еще раз поклонился и сказал... (*л. 22*).

Наконец, Слепцов зачеркнул и этот эпизод, продолжив текст следующими словами: Но пока Сапожников болтал, а Теребенев его не слушал...

Теребенев невольно стал присматриваться и прислушиваться. Какие-то инженеры, стоя у буфета, разговаривали о строящейся железной дороге, один толстый господин, наскоро хватая вилкою разварную лососину, объяснял буфетчику, какой вред происходит от раздробительной продажи вина; буфетчик равнодушно с ним соглашался и в то же время ровным, спокойным голосом отдавал прислуге разные приказания. Вошли два франта; один, подходя к буфету, сказал другому:

— Mais je suis affamé, comme un * голодающий финляндец. Дайте мне рюмку водки!

У окна сидели еще трое и тоже разговаривали о голодающих. Теребенев смотрел на этих господ и возмущался тем, что они могут уписывать за обе щеки, чавкать и облизываться. Ему казалось, что, рассуждая об умирающих с голоду, можно бы, по крайней мере, хоть есть поскромнее. Глядя на обедающих, он никак не мог понять, как у них достает дерзости обедать. Сам он с тех пор, как приехал в Россию, ни разу еще не обедал как следует: он считал это даже подлостью, он никак не мог себе представить, как это вдруг сесть за стол, выпить рюмку водки, закусить солененьким, и затем начать пожирать по порядку: сначала суп, потом соус там какой-нибудь, жаркое и т. д. Самая мысль об обеде возмущала его, он считал ее как бы постыдною, он признавал, что есть необходимо, но во всяком случае считал это дело горькою необходимостью, а потому, перехватывая наскоро бутерброды, он делал это как можно скорее и старался при этом ни на кого не глядеть.

Теперь, сидя за столом, он чувствовал себя в положении школьника, посаженного в виде наказания за черный стол. Ему было и стыдно и противно глядеть на Сапожникова, спешившего доедать свой обед.

— И к чему он эти фокусы делает? Ведь я все это вижу. Уж ел бы что ли скорее,— думал он и, наконец, потеряв терпение, встал из-за стола и пошел рыться в газетах.

Проходя мимо двери, он случайно взглянул в другую комнату: на диване за столом сидел человек лет 30, небольшого роста, с большой бородой, с очень умным лицом и пристально всматривался в Теребенева.

Теребенев в ту же минуту узнал его, несмотря на то, что совершенно почти забыл его в последние годы. Это был его большой приятель Новиков, единственный человек во всем Петербурге, с которым Теребенев не прочь был бы повидаться, но только не прочь; искать этой встречи Теребенев не стал бы, но, встретившись нечаянно, очень обрадовался и как будто испугался. Новиков молча смотрел на него, широко открыв свои большие строгие глаза, и не шевелился, только уши у него вдруг покраснели и румянец медленно подымался по щекам. Перед ним на столе стоял графин водки, в руке он держал налитую рюмку и так и остался с рюмкою в руке.

Теребенев подошел к нему и протянул руку. Новиков очень медленно подал ему левую и, продолжая держать в правой рюмку водки, с удивлением оглядел Теребенева с головы до ног и наконец спросил:

— Зачем вы здесь?

Теребеневу показалось, что Новиков как будто недоволен. Это его удивило.

— Я не понимаю.

— Я спрашиваю, зачем вы сюда приехали?

Теребенев пожал плечами.

— Как зачем? Захотел и приехал. Что ж тут такого?

— Совсем?

— Да, совсем.

---

* Но я голоден, как (*франц.*).

— Сюда, в Петербург?
— Нет, я еду в деревню.
— Зачем?
— Начинать сначала.
Новиков посмотрел на него.

Встреча двух приятелей неожиданно для обоих вышла ужасно неудачна. Оба в первую минуту как будто обрадовались, потом очень удивились, и оба остались чем-то недовольны. Впрочем, у обоих были на это свои причины.

Теребенев стоял у стола и как будто ждал еще чего-то. Новиков еще посмотрел, потом поднес свою рюмку к губам, вылил ее в рот и, с водкою во рту, опять посмотрел на Теребенева. Наконец покраснел, сделал гримасу и с великим усилием проглотил, потом закашлялся, замахал руками и закричал:

— Фу, как это глупо!

Теребенев с удивлением смотрел на него.

— Ну, что ж вы стоите? Садитесь! Хотите водки?

Теребенев сел и тут только заметил, что за столом вместе с Новиковым сидел еще какой-то молодой человек.

Новиков тоже спохватился и назвал молодого человека по фамилии — Кудрявцев.

— Ну, а вы что же делаете? — спросил Новикова Теребенев.
— Что я делаю? Видите, что я делаю — водку пью.
— Только?
— Чего ж вам еще! Надеюсь, что этого довольно. А еще я собираюсь ехать. Нет, постойте. Прежде всего вы мне вот что объясните, откуда, как и почему. Это для меня очень важно, гораздо важнее, нежели как вы думаете.



ОЧЕРЕДЬ В СТОЛОВУЮ ДЛЯ БЕДНЫХ В ПЕТЕРБУРГЕ
Гравюра с рисунка А. Бальдингера, 1880 г.
Исторический музей, Москва

Теребенев взглянул на Кудрявцева, который сидел, опершись локтями на стол, и совсем равнодушно смотрел в окно.

— На него вы можете не обращать внимания,— заметил Новиков.— Во-первых, потому что он мой друг, а, во-вторых, ему решительно нет никакого дела до вас. Это такой человек.

Кудрявцев так же спокойно, как смотрел в окно, посмотрел на Новикова и опять стал смотреть в окно.

— Ну, так как же? Откуда?

— Из Гамбурга.

— Зачем?

— Хотел ехать в Америку.

— В Америку? Как в Америку? — вдруг вытаращив глаза, спросил Новиков.— Как в Америку? Да ведь я еду в Америку. Это еще что за новости!

Теребенев засмеялся.

— Так кто ж вам мешает? Ну и поезжайте.

— Нет, позвольте, этого нельзя.

— Почему же нельзя? — продолжая смеяться спросил Теребенев.— Разве мало места в Америке?

— Нет, позвольте! Главное-то, ведь вот: каким же это манером вы вместо Америки очутились здесь?

— Мм. Раздумал,— неохотно сказал Теребенев.

— Раз-ду-мали!.. Да, вот что. А позвольте вас спросить, почему вы раздумали?

— Как почему? Раздумал, да и всё тут,— с неудовольствием отвечал Теребенев.

— Как всё тут? Нет, это вовсе не всё. Так нельзя отвечать. Нет, вы скажите, на каком основании вы могли раздумать? Разве вы не понимаете, как это важно?

— Ну, что ты пристал,— потягиваясь в кресле, сказал Кудрявцев.

— Чудак ты этакий! Как же мне не пристать! Когда я сам еду в Америку.

— Вовсе ты не едешь!

— Как не еду? Кто тебе сказал?

— Я тебе говорю.

— Мало ли, что ты говоришь, а я тебе говорю, что я еду.

— Вовсе тебе не нужно ехать в Америку.

— Это мое дело, мне лучше знать, что мне нужно.

— Вздор! Ты никогда не знаешь, что тебе нужно.

— Кто же знает? Уж не ты ли?

— Конечно, я.

— Да ты свои-то дела знаешь ли?

— Своих не знаю, потому что у меня никаких своих дел нет, я и занимаюсь чужими. И если бы ты не мешал, я бы давно устроил твои дела наилучшим образом.

— Я воображаю.

— В том-то и беда твоя, что ты только все воображаешь. Вот и теперь вообразил, что тебе нужно в Америку ехать.

— Ну, ну, ну, что же я буду делать? — вдруг загорячился Новиков, оборачиваясь к Кудрявцеву, и хлопнул ладонью по столу.

— Я тебе скажу, что тебе надо делать. Вы давно с ним не виделись? — вдруг обратился он к Теребеневу.

— Четыре года.

— Значит, вы его знали еще холостым.

— А вы женаты? — с веселым любопытством спросил Теребенев.

— А вы не знали? — с притворным удивлением спросил Теребенева Кудрявцев.

— Зачем же ты скрываешь от своих друзей, что ты женат? а?

— Ну, убирайся,— конфузясь и отворачиваясь, сказал Новиков.

— Чего убирайся! Зачем ты скрыл от господина Теребенева, что ты женат? а? Ну, признавайся! Вот извольте любоваться! Женатый человек, отец семейства и до чего себя довел, что хочет бежать. Как вы это находите?

— Послушай, что ты за скот, наконец, что ты за чепуху...

— Какую чепуху? Ведь ты сам сейчас говорил, что бежишь в Америку.

— Так что ж такое? Я вовсе не хочу бежать, я просто еду.

— Едешь?

— Да, еду.

— Зачем ты едешь-то?

— Затем, что здесь скверно жить, а там хорошо.

— Ну, вот это и значит, что ты бежишь, беглец ты и есть, бродяга. Спроси какого-нибудь беглого солдата, он тебе то же самое ответит, вот, что ты сейчас сказал. Все вы бродяги. Это вы Диксона начитались. Прежде вот так же крепостные бегали в Хиву, а образованные — в Лондон. Теперь узнали еще одно местечко — Америку. Только это напрасно,— сказал Кудрявцев.

— Почему же это напрасно? —спросил его Новиков.

— А потому что расчет неверен. По-моему, сразу далеко бегать не следует никогда, разве уж в самом крайнем случае, когда погоня, ну, уж тут, конечно, со страху можно забежать чёрт знает куда, и это понятно, но бежать от долгов или там от неудач и вообще с горя за тридевять земель в тридесятое царство, это, по-моему, такая глупость...

— Что же, по-твоему, всякая эмиграция — глупость?

— Совсем не то. Я говорю только, что сразу эмигрировать далеко, если есть хотя малейшая возможность, никогда не должно. Не расчет. Понимаешь ты? Нерасчетливо, стало быть, безрассудно. Наделал ты, положим долгов, запутался в делах и чувствуешь ты, что тебе никакими судьбами не выпутаться. Думал, думал,— что делать — бежать. Беги! Хоть это и подло, но если ты находишь, что иначе тебе невозможно — чёрт с тобой — беги, только вот тебе мой совет: сразу далеко не забегай, потому, что, представь ты себе, что убежал ты со страху к чёрту на рога, тебе и там не повезло; куда ты тогда денешься, или представь ты себе, что живешь ты там, у чёрта на рогах, и вдруг напала на тебя тоска по родине — что ты станешь делать? — назад — с какими ты глазами сюда покажешься? Бежать можно, отчего ж не бежать, только сначала куда-нибудь недалеко, например, поезжай в Новгород.

ПРИЛОЖЕНИЕ

НАБРОСКИ VI ГЛАВЫ РОМАНА «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»

Сохранившиеся рукописные наброски VI главы «Хорошего человека», которая должна была продолжать публикацию первых пяти глав романа в «Отечественных записках», невозможно расположить в последовательности их возникновения. Все эти фрагменты являются, по-видимому, разными вариантами начала главы и отражают один из последних этапов работы над романом. При этом наброски первый, второй и третий нашей публикации в какой-то степени объединены общей мыслью автора, что Петербург для Теребенева представлял собою всего лишь «пустое место». Несколько иная линия замысла намечена в наброске четвертом, где говорится о Петербурге, как «сборном месте» дельцов всех мастей. Все эти небольшие наброски свидетельствуют о том, какой интересной и значительной обещала быть VI глава, которую (как и весь роман) Слепцову не удалось закончить.

‹1›

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Глава VI

На другое утро по приезде в Петербург Теребенев проснулся с тяжелою головою и ясным сознанием того, что он опять на родине. Это сознание в виде ощущения явилось у него даже раньше, нежели он успел проснуться как следует и открыть глаза. Он чувствовал, что переспал, что пора вставать, старался проснуться и в то же мгновение опять начинал забываться и снова засыпал. Тяжелая дремота давила его: казалось ему, что лежит он в какой-то духоте и не знает, как ему быть. В сонном воображении его духота представлялась ему чем-то неуловимым, необъяснимым и необъемлемым; везде духота: вместо воздуха — духота, вместо света — духота, вместо звука — духота, ни дышать нельзя, ни глядеть нельзя и ничего не слышно; можно только чувствовать, что все наполнено духотой, и никуда уйти от нее невозможно. Какой-то ужас овладел им, он сделал отчаянное усилие, чтобы проснуться, и тут же стал догадываться, что уж он проснулся и что эта духота, которая его душила, вовсе не сонное мечтание какое-нибудь, не кошмар, а напротив того, действительная, настоящая духота, которую он чувствовал вчера и сегодня будет чувствовать целый день; одним словом, он понял, наконец, что эта духота, в сущности, не что иное, как Петербург.

Теребенев открыл глаза и попробовал вздохнуть — в комнате в самом деле воздух был ужасный; он встал с постели и открыл окно — оттуда пахну́ло гарью, как из печи. Вместе с тем взорам его представился петербургский двор во всем блеске утренней деятельности и со всеми своими украшениями: с помойной ямой, криками кучеров и бранью кухарок, с нищими, шарманками, разносчиками и едким запахом жареного кофе, запахом, который, казалось, выходил откуда-то из подземелья и, подобно заразе, неудержимо распространялся по всему дому. Этот запах заглушал даже смрад горящего леса, которым был отравлен петербургский воздух и от которого никуда невозможно было скрыться. Прямо против окна открывалась перспектива крыш с дымовыми трубами, каланчами и колокольнями.

— Да, опять я здесь,— подумал Теребенев,— ошеломленный спросонья утренней картиной петербургского двора.— Как все это знакомо и как это... противно, собственно говоря.

Он позвонил и спросил себе чаю, да, кстати, уж и газету какую-нибудь.

— Скорей, скорей отсюда,— говорил он сам себе, торопливо ходя по комнате и посматривая на свои разбросанные вещи.

В ожидании чая он принялся на досуге соображать свое настоящее положение.

На родине! И так это неожиданно случилось: вместо Америки вдруг очутился здесь. Но как бы то ни было, теперь уж это решено, что я еду туда. Да, только там еще можно что-нибудь сделать. Надо же начать когда-нибудь. По поводу начинания он невольно вспомнил о многом множестве разных своих начинаний и в смущении остановился перед будущим.— Что я, однако, буду делать там? — в первый раз серьезно подумал он и опять остановился. Мысль его, как упрямая лошадь, отказывалась идти вперед и только пятилась. Как он ни насиловал свое воображение, как ни старался представить себе что-нибудь такое определенное — ничего такого не представлялось, а вместо того, как назло, в памяти его выплывали одна за другой картины ненавистного детства и задаром погубленной юности.

Черновая рукопись. ИРЛИ (Р. III, оп. 1, № 1919, лл. 42—44 об.).

⟨2⟩

* Как только он себя помнил, постоянно, всю жизнь он куда-то стремился и постоянно на что-то надеялся. Всегда у него была твердая уверенность в том, что хотя здесь и скверно, и ничего не выходит, и людей нет, но зато там, где-то там, есть такое место, где живут хорошие люди и жизнь там совсем другая и всякий может найти себе занятие по душе. Вера в обетованную землю была до такой степени сильна в нем, что никакие неудачи не могли отбить у него охоты постоянно и неуклонно искать ее по свету. Каждая новая неудача только убеждала его в том, что на этот раз он ошибся и что надо искать другого места. И каждый раз опять, разумеется, приходилось убеждаться в том, что опять он ошибся, что и тут, в этом новом месте, не оказалось ничего, что это место — просто пустое место. Таким образом, вся жизнь Теребенева проходила в том, что или он стремился к пустому месту, или с разбитыми надеждами уходил от него. Но, как бы то ни было, до настоящего времени все-таки были, по крайней мере, такие места, куда можно было ехать, теперь же, после того как он *дошел до края* и ехать уже больше некуда, оставалось одно — вернуться назад. Теперь приходилось ему возвращаться по тем же местам, по которым несколько лет тому назад он ехал вперед, опять возвращаться к тому, от чего, казалось, можно только бежать. Опять Петербург. Опять Теребенев видел и чувствовал себя в этом городе, из которого он ушел четыре года назад в полной уверенности, что возвращение назад не только не нужно, но даже и невозможно. — Пустое место,— думал Теребенев, глядя из окна на безобразную груду домов, тускло освещенных закоптевшим солнцем.

Черновая рукопись. Карандаш. (ИРЛИ (Р. III, оп. 1, № 1919, л. 35 и № 1925, л. 1). Начало и конец рукописи не сохранились.

⟨3⟩

** Петербург в настоящую минуту не представлял Теребеневу ни малейшего интереса: этот город был для него не больше, как «пустое место», одно из тех многих пустых мест, перед которыми приходилось ему останавливаться до сих пор и через которые теперь он шагал с полною уверенностью, что в другой раз, должно быть, уж шагать не придется. Он даже вовсе не хотел останавливаться в Петербурге, но ему нужно было сделать некоторые покупки для деревни и подписаться на журналы. Для этого необходимо было прожить, по крайней мере, один день.

На этот раз Петербург произвел на Теребенева очень странное и вместе с тем неприятное впечатление: прежде всего он нашел, что город ужасно опустел, что даже на главных улицах как-то мало людей, мало движения; дома как будто стали гораздо меньше, магазины обеднели и совсем лишились прежнего великолепия и что все вообще имеет какой-то жалкий, за-

* *Перед этой фразой зачеркнуто:* ...это значит, что давно ошибался, может быть с самого начала всегда ошибался; а вернуться, значит, сознаться в ошибке. Это бы еще ничего, но сознаться в такой страшной ошибке, это почти то же, что сознаться в своем бессилии, в неспособности, в неумении определить себе жизненную задачу, а это значит...

А чёрт возьми совсем, не хочу больше думать!

** *Первую половину рукописи Слепцов переделывал дважды. Любопытен самый ранний текст, затем вычеркнутый автором:*

В настоящую минуту Петербург был, действительно, не более, как пустое место, на котором была прежде какая-то жизнь, было движение, совершались разные дела; но все эти дела кончились и затем осталось одно пустое место. По-видимому, все было по-прежнему: те же дома, те же улицы, тот же шум, то же движение очень живо напомнили Теребеневу деревенскую площадь после ярмарки. Еще очень недавно здесь была жизнь, шум, движение, толпа народа шумела, волновалась, спорила, кричала. Еще недавно все шли сюда, и все казалось, что непременно надо идти сюда, все торопились, и всем это было нужно.

пущенный вид. Лица, в особенности у мужчин, стали какие-то широкие, точно расплылись; костюмы на всех, даже на дамах, большею частью такие неизящные. А главное пусто и притом как-то безнадежно пусто *.

Углубиться во внутреннюю жизнь Петербурга Теребенев не мог, да и охоты не было: ему хотелось поскорей уехать. От знакомых он отворачивался. Ему неприятны были встречи ** с ними, главным образом, потому, что эти знакомые напоминали ему жизнь в Петербурге, прожитую, забытую и утратившую для него всякий внутренний смысл, всякое живое значение.

Рукопись написана чернилами и имеет последующую карандашную правку. ИРЛИ (Р. III, оп. 1, № 1919, лл. 40—41).

⟨4⟩

Петербург в том виде, в каком застал его Теребенев по возвращении из-за границы, представлял совершенно новую для него картину. Это был совсем не тот Петербург, каким он был за десять лет, даже не тот, каким Теребенев оставил его четыре года тому назад. В настоящую минуту Петербург, как и прежде, служил сборным местом для россиян, стремящихся со всех концов России, одержимых жаждою деятельности. Прилив новых сил из провинции, по-видимому, нисколько не уменьшался, новые люди по-прежнему прибывали на смену уезжавшим. Количественной разницы между прибылью и убылью не замечалось никакой, зато качественная разница была изумительная: прибывающие были совершенно другого сорта люди и ни в коем случае не могли заменить убывающих. Толпа, нахлынувшая в конце 50-х годов в Петербург, вся эта масса мечтателей и фантазеров в настоящую минуту бежала вон, она расползалась опять по разным захолустьям, опять удалялась в пустыни, забивалась в глушь. Удаление из столицы совершалось большей частью добровольно, по крайней мере, настолько добровольно, насколько возможен был выбор из худшего лучшего. Как бы то ни было—эта категория людей явно исчезала и на место ее являлась другая, совершенно противоположного свойства. Уезжающие были люди непрактичные и легкомысленные, вно⟨вь приезжающие⟩, напротив того, поражали житей⟨ской⟩ лов⟨костью и умением⟩ *** обделывать дела.

Черновая рукопись. Карандаш. ИРЛИ (Р. III, оп. 1, № 1919, лл. 36—37 и 39).

---

* *После слова* пусто *последовательно вачеркнуто два следующих варианта*:

а) Бродят какие-то сонные люди, точно осенние мухи по стеклу... Но чем больше всматривался Теребенев и чем больше глаз его привыкал к позабытым картинам, тем все больше убеждался он в том, что если и произошла какая-нибудь перемена в эти четыре года, которые он прожил за границею, то эта перемена случилась в нем самом, в Петербурге же осталось по-прежнему.

б) А то вдруг точно с цепи сорвется какой-нибудь кавалергард и с непонятной быстротой пронесется по улице, подымая пыль и пугая пешеходов. И опять ничего. Куда-то они идут, копошатся, встречаются, расходятся, опять встречаются. Зачем, почему — неизвестно. Что это такое — ничего не разберешь. Европа — не Европа, Азия — не Азия. После настоящей Европы Петербург показался Теребеневу как-то особенно противен. Хоть там и скверно, но зато, по крайней мере, понятно, почему скверно, а здесь и понять-то ничего нельзя.

** *После слова* встречи *вачеркнуто*: со старыми знакомыми, главным образом, потому, что они своей болтовней только напоминали ему старые глупости и отвлекали его от главной цели: т. е. от...

*** *Здесь оборвана половина листка.*

РАССКАЗЫ, СЦЕНЫ, НАБРОСКИ

Публикация Р. Р. Алиевой-Мехтиханової,
Л. А. Евстигнеевой и М. Л. Семановой*

I

Рукопись неоконченного рассказа «О Нижегородской железной дороге» не имеет даты, но по своему материалу публикуемый набросок связан с очерками 1861 г. «Владимирка и Клязьма». Сближает их прежде всего место действия и цель путешествия автора: наблюдения в местах строительства железной дороги Москва — Нижний-Новгород. Встреча «почтарей» происходит, по-видимому, на середине пути, на Клязьме, где в конце 1860 г. Слепцов наблюдал это строительство.

В очерках «Владимирка и Клязьма» писатель дважды говорит о современном положении «почты». В Петушках еще имеются и почтовая станция и постоялые дворы, но они уже отживают свой век. Железная дорога уничтожает старинную профессию, лишает будущего «почтарей». «За негодностию, — иронически замечает автор, — о них уже никто теперь не заботится» (I, 322).

Вблизи Ундола автор очерков повстречал почтовую карету. Нарисованный им образ мрачного, сурового кондуктора близок к образу «почтаря» из публикуемого наброска. Даже лексика этих персонажей почти тождественна: «А ямщика — если не повезет — в шею. Они, анафемы, доброго слова не понимают» («О Нижегородской железной дороге»). «Анафемы!.. мало вас, дьяволы, бьют за это?» («Владимирка и Клязьма». — I, 338).

В публикуемом наброске, как и в очерках «Владимирка и Клязьма», повествование ведется от первого лица. Лицо это — сторонний наблюдатель, заинтересованный в происходящем на его глазах; поэтому он воспроизводит мельчайшие подробности встречи. Характерны здесь для Слепцова преобладание диалога над описанием и предельная сжатость в мастерстве индивидуализации двух различных по характеру персонажей.

О НИЖЕГОРОДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

В 6 часов утра пришла тяжелая почта из Москвы и встретилась с нижегородской, а потому в харчевню явились два почтаря пить водку и нанесли с собой столько морозу, что меня стало пробирать — я полез на печь.

Один почтарь был лет 40, высокий, худой и жесткий на вид, в старой летней фуражке, с пистолетом. Голосу у него совсем не было; вместо голоса образовалось от беспрерывного, аккуратного выпивания на каждой станции и постоянного крика на ямщиков какое-то дикое рыкание, так что даже в то время, когда он молчал, в горле его слышался какой-то треск и сипение. С виду он был мрачен и суров, весь покрыт инеем, а промерзший насквозь тулуп висел на нем, как деревянный, и не гнулся.

---

* Р. Р. Алиева-Мехтиханова подготовила публикации: «Бабье сердце» и «В трущобах»; Л. А. Евстигнеева — «На станции московской чугунки», «В вагоне III класса», «Раннею весною...», «Концертный зал, ярко освещенный газом...»; М. Л. Семанова — «О Нижегородской железной дороге», «Охотник», «Ненастный день», «Через несколько минут по селу...», «Осенний вечер...».

Другой среднего роста, стриженый, с тупоумным выражением лица, горло его тоже, вероятно, было страшно воспалено, потому что он издавал звуки, похожие на сипение полозьев по снегу. Но несмотря на недостаток голоса, он болтал без умолку и шепелявил самым отвратительным образом. На поясе у него тоже болтался старый заржавленный кременевый пистолет без кремня.

Все спопутные кабаки и харчевни, должно быть, им были коротко знакомы, потому что как пришли, сейчас же без церемонии повалились на лавку и без дальнейших околичностей прямо потребовали водки.

— Здорово, матка! — засипел один,— водка есть?

— Как не быть.

— Давай!

В это время солдатик слез с полатей и подошел к огню закурить трубку.

— Ты, кавалер, водку пьешь?

— Бывает.

— Это дело хорошее.

Причем он налил себе стакан и стал тянуть водку, как квас.

— Закуски подай! — зарычал первый.

Хозяйка сняла с полки какую-то щепу с хвостом наподобие рыбы и подала ее на тарелке.

Сипевший почтарь принялся раздирать закуску и забивать ее в рот, а сам все говорит:

— Нет, вот я тебе скажу, кавалер, было у нас 30 тысяч башкирцев... ну, уж войско,— уморное войско. Мы их все кобылятн<иками> звали. А лучше я, братец ты мой, не видал, как уральские казаки. Экий бравый народ! Матка! Что твой муж скоро помрет?

— Что ты? что ты? Бог с тобой, что ты болтаешь? Да не дай господи!

— Ну, вот, не дай господи! Умрет, я тебя замуж возьму, в Москву повезу — на тройке важно.

— Не надо мне.

— Ну, вот, не надо. Экая ты какая. Давай еще по стаканчику. Паша, выпей, братец, докажи, что ты гусар.

Паша выпил второй, закусил, хотел было поставить стакан, да вдруг спохватился, налил третий и хватил его залпом. Перемерзшее горло у него как будто отошло немного, дыхание пошло легче, но вид становился все мрачнее и мрачнее.

Солдатик положил локти на стол и, посматривая на огонь, пускал дымок. Хозяйка возилась у печки.

Вошел еще третий.

— Саша! Поедем — готово.

— Ну те к... Дай срок! Ты видишь, я обогреваюсь,— зашепелявил Саша.

— Да пора...

— Ну что за пора — доползем. Нет, ты вот послушай, Паша,— говорил он мрачному почтарю, указывая на пришедшего.—Я у него прошусь на хлебы, 10 целковых даю — не берет. Боится, что я его жену того... Вот потеха-то. Я ему обещаюсь, что не стану трогать — не верит.

— Да ведь опасно...— заговорил пришедший.

— Слышь, Паша, говорит: опасно. Значит, боится. Так и надо, чтобы страх знал.

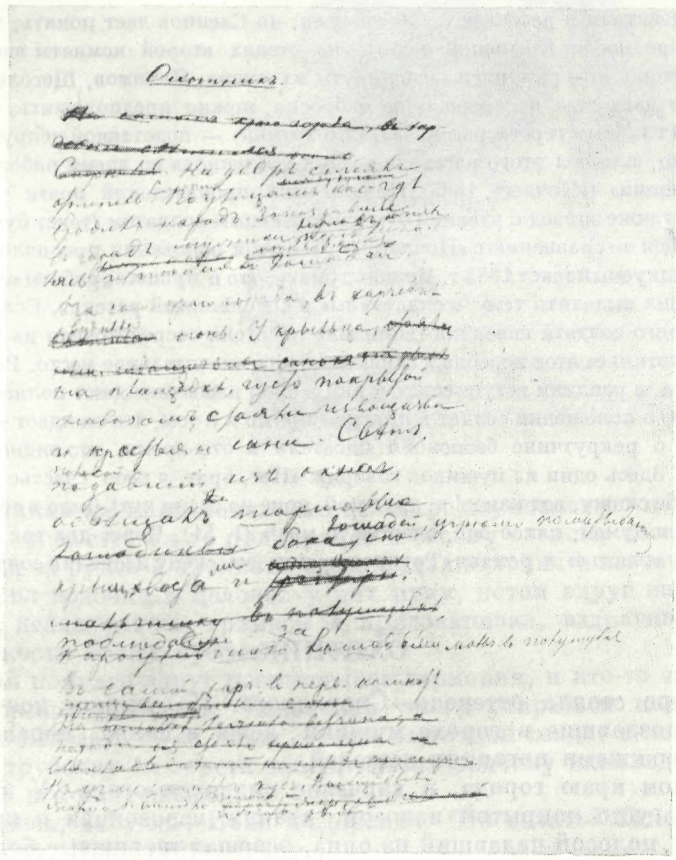
— Ну хорошо, да поедем же!

— Говорят, успеем. Ну, куда тебе. Теперь знаешь как покатим. А ямщика — если не повезет — в шею. Они, анафемы, доброго слова не понимают. Нет, ты, Паша, послушайся меня: не женись. Ей-богу, не же-

нись. Ты знаешь Лазаревское кладбище. Ну вот я нынешнее лето видел — ундер-офицер на кладбище свою жену зонтиком бил, всю голову ей расковырял, а сам все приговаривает: ах ты, мой ангел с дырочкой. Вот смех-то был.

⟨1860-е годы⟩

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 182, лл. 1—3.— Имеющиеся в рукописи незначительные зачеркнутые варианты не воспроизводятся.



ЧЕРНОВАЯ РУКОПИСЬ РАССКАЗА «ОХОТНИК», ок. 1863 г.
Лист 1-й
Архив Октябрьской революции, Москва

II

Рукопись незавершенного рассказа «Охотник» черновая: текст написан небрежно то чернилами, то карандашом; некоторые места зачеркнуты. По-видимому, сохранились не все листы рукописи; кроме того, в III Отделении листы брошюровались в произвольном порядке. Мы публикуем текст в той последовательности, которая диктуется логикой развития сюжета.

Перед нами характерная для Слепцова жанровая сцена из народной жизни. Место действия — харчевня; действующие лица — крестьяне, извозчики, фабричные рабочие, солдаты, инвалиды из богадельни, старшина-отдатчик рекрутов, барин-помещик.

Судя по зачеркнутым местам рукописи, автор хотел ввести в рассказ и купцов, половых, приказчиков.

Из кратких авторских описаний, диалогов, отдельных реплик вырисовываются характерные черточки быта людей различных социальных и профессиональных категорий. В зачеркнутом куске устами «экономического крестьянина» Акиндина Тимофеева давалась такая характеристика материальных условий его жизни: «Где мне жениться? Нам дай бог с домом управиться. У нас, брат, семья какая! Шутка сказать, девять душ. Считай! — Я, да брат, да братова хозяйка, да старуха, да теперь еще у меня трое ребят, да у брата. То-то вот и есть».

Время действия в рассказе не обозначено, но Слепцов дает понять, что дело происходит вскоре после Крымской войны: на стенах второй комнаты висят портреты героев Севастополя (в рукописи зачеркнуты их имена: Нахимов, Щеголев).

Судя по заглавию и содержанию наброска, можно предположить, что писатель хотел, чтобы главным героем рассказа был «охотник» — подставной рекрут, «наемщик».

Очевидно, замысел этого рассказа возник у Слепцова во время работы над «подгородными сценами» («Ночлег», 1863). Начало этих произведений почти тождественно, повторяется также эпизод с чтением бумаги отставным солдатом (текст бумаги в «Охотнике» сокращен по сравнению с «Ночлегом»). На этом основании предположительно датируем публикуемый текст 1863 г. Можно думать, что в процессе работы над «Ночлегом» Слепцов решил выделить тему «солдатчины» в специальный рассказ. Если в «Ночлеге» роль отставного солдата невелика (внимание писателя сосредоточено на участи мужиков), то в «Охотнике» этот персонаж занимает более значительное место. Рассказ отставного солдата и реплики вступившего с ним в спор извозчика дают полное представление читателю о положении солдат в царской армии и о том, что ожидает «охотника».

Вопрос о рекрутчине беспокоил писателя в это время, что видно из «Уличных сцен» (1862). Здесь один из мужиков говорит: «Нет, брат, я свое счастье знаю.— Мое счастье, я тебе скажу, вот какое! я, друг мой, ноне по осени чуть было в солдаты не угодил. Вот ты и думай, какое оно, счастье-то мое!» (I, 51). Через два-три года Слепцов покажет это «счастье» в романе «Трудное время» (см. сцену избиения солдата.—II, 54).

ОХОТНИК

На дворе стояла оттепель. Смеркалось. По улицам кое-где бродил народ. Запоздавшие в городе мужики, лежа в санях, перекликались и мокрыми вожжами погоняли лошадей.

На самом краю города, в харчевне виднелся огонь. У крыльца, на площадке, густо покрытой навозом, стояли извозчичьи и крестьянские сани. Свет, полосой падавший из окна, освещал шершавые бока лошадей, угрюмо поматывающих мокрыми хвостами, и наблюдавшего за лошадьми мальчика в полушубке.

В комнате было темно, сильно накурено корешками, пахло тулупами и жареной рыбой. За маленькими столиками в разных местах сидело человек 10 гостей; а именно: городские извозчики, деревенские мужики и бабы. [В дверях отставной солдат] в лаптях, стоя у прилавка, задумчиво шарил в карманах и курил трубку; у свечи двое фабричных читали книжку и беспрестанно перебивали один другого. Мужики молча пили чай, а извозчики спорили между собой и ругали друг друга скверными словами.

Дальше еще такая же комната с красноватыми столами и портретами севастопольских героев на стенах.

Во второй комнате, в уголке, сидел за столом слепой инвалид из богадельни, в сером пальто и в узеньких белых панталонах. Инвалид пил чай и время от времени щупал рукой лежавший на столе синий носовой платок — тут ли он — и, успокоившись, робко водил кругом своими тусклыми глазами. За другими столами сидели какие-то проезжие купцы и ели селянку; два извозчика ⟨пили⟩ водку, и наконец еще инвалид, в таком же

ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА, 1862—1863 гг.

— Купите, сударь, череп русского солдата.
— Почему же именно солдата?
— Потому что зубы выщиблены ..

Рисунок Н. Е. Рачкова <?>

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград



пальто и в таких же панталонах, без цели прохаживался по комнате. Ему не сиделось на месте. Он то придирался к своему слепому товарищу, дергал его сзади за рукав и проливал его чай, то подходил к извозчикам, униженно просил водочки и целовал у них руку, потом вдруг начинал приплясывать, делал разные гримасы и приговаривал, вздрагивая плечом:

— Ох, кости болят, ерофеичу хотят.

В первой комнате вдруг послышалась гармония, и кто-то запел в нос: «Взвейся, выше понесися». Извозчики стали утираться полами своих кафтанов и вылезать из-за стола, вошел отставной солдат в полушубке и, насыпая в трубочку из горсти табак, сказал зрячему инвалиду:

— А ты все балуешься...

— Балуюсь, балуюсь, Иван Федорович. Что делать? Такой уж я баловник с роду. Пожалуйте ручку.

Солдат протянул инвалиду одну руку и другой хлопнул его по плеши.

— О-ох, Иван Федорович,— заныл инвалид.

— Так тебя и надо, старого чёрта,— заметил один извозчик и, постучав о чайник, закричал половому:

— Эй! получай.

Инвалид подошел к своему слепому товарищу сзади и, скорчив плутов<атую> рожу, сделал ему из своих пальцев рога. Все засмеялись.

Мужик, шаривший в кармане, подошел к отставному солдату и подал ему бумагу, говоря:

— Кавалер. Ну-ка, прочитай-кося, что тут прописано.

Солдат взял бумагу, подержал ее на аршин от глаз, потом посмотрел в огонь, обернул бумагу к свету и начал читать сначала про себя, а после уж громко:

«Из метрических книг Благовещенской церкви села Благовещенского видно... что эконо... экономич... Что за шут! да, экономический крестьянин... сельца Большая Елань, Акиндин Тимофеев...»

Мужик глядя сбоку в бумагу, вздыхал.

— Это кто же такой, Акиндин? Ты что ли? — спросил вдруг солдат у мужика.

— Нет, меня Киндеем звать.

*< . . . . . >

Немного погодя на улице загремели бубенчики, и к крыльцу подъехали сани тройкой. Половой поглядел в окно и сказал:

— Охотника привезли.

Все засуетились и бросились к окну смотреть, только слепой инвалид бессмысленно поводил вокруг своими бельмами и опять принялся за чай.

Отворилась дверь, и вошел мужик отдатчик в большом тулупе, подпоясанный, баба вошла в синей шубке, потом охотник в новой чуйке, в новой шапке, в новых сапогах, молодой, губастый такой, волосы в скобку и красный платок на шее. Следом за охотником шел молодой парень, тоже в чуйке, с гармонией.

Сели все за стол. Отдатчик спросил чаю и водки.

Почти вслед за ними приехал барин в енотовой шубе. Все встали.

Барин спросил:

— Ну что?

— Ничего. Слава богу,— отвечал отдатчик и поклонился.

— То-то,— сказал барин.— Ишь ты какого молодца тебе достал.

— Благодарю покорно,— отвечал отдатчик.

— Ну, да. Гляди! Покажи зубы! Видишь? — говорил барин, ворочая охотника и заставляя его показывать отдатчику зубы.

— Да зубы ничего,— говорил мужик.— Вот палец у него один что-то быдто того.

— Что такое палец? Где палец? Покажи палец.

Охотник протянул руку. Барин посмотрел.

— Ничего. Палец как палец. Что ж ты?

— Оно точно, да все быдто опасливо. Кто его знает.

— Пустяки. Ты насчет пальца не сомневайся. У меня у самого, брат, такой же палец. Гляди сюда. Видишь? Это ничего не значит.

— Дай-то, господи,— со вздохом говорил мужик.

В это время подошел отставной солдат.

— У нас, ваше благородие, я вам доложу, был солдат,— заговорил он, пряча трубку в карман,— тоже не в зачет значился, так у него теперь вот это место, ваше благородие, шишка была как есть с кулак, ничего. Да еще какой солдат был, росту высокого, в ординарцы вышел, а шишка, я вам докладываю, вот. Так и значилось, что родимое пятно. Потому с этим родился. А пальцы это пустое дело. Такие ли у нас пальцы бывали. Это будьте спокойны.

— Дай-то господи,— говорил про себя отдатчик.

— Ах, трубочка хороша! — сказал, подойдя к солдату, извозчик.— Много ль дал?

Солдат, не глядя на извозчика, ответил:

— Эта трубка, братец ты мой, дороже тебя.

— Смотри, не обочтись.

— Солдат не обочтется.

— То-то, не обочтись. Сами не дешевле тебя.

— А насчет пальца, ваше благородие,— начал было солдат и вдруг обернулся к извозчику и закричал:

— Сами-то кто? Кто это сами-то? Губастый чёрт.

— Мало об тебя палок в солдатах обломали,— заговорил извозчик.

— Об тебя бы наломать.

— Нет, об тебя.

---

* *Далее часть листов, по-видимому, утрачена.— Ред.*

— Ну, ну, однако, вы того,— закричал на них барин.

— Да помилуйте, ваше благородие,— говорил солдат.— Неужели ж ему меня учить. Кажется, довольно учены.

— Не разговаривай, не разговаривай,— строго заметил барин.

— Что ж, как вам угодно,— сказал солдат и отошел.

‹1863 г.?›

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 182, лл. 31, 33—37.

III

Рукопись наброска «Ненастный день» сохранилась в бумагах писателя, изъятых у него при обыске в апреле 1866 г. В III Отделении она была отнесена к «очеркам неустановленных авторов». Между тем ясно, что набросок принадлежит Слепцову, о чем свидетельствует не только его почерк, но и содержание и форма произведения.

Публикуемый этюд близок по содержанию, колориту и некоторым особенностям текста, вплоть до буквальных совпадений (разговор с парикмахером), к «Отрывку из дневника» (см. настоящий том, стр. 333—338).

Как и в названном фельетоне, Слепцов эзоповскими средствами передает в публикуемом наброске атмосферу глубокого реакционного «ненастья». Это «ненастье» периода подавления самодержавием польского восстания 1863 г. и временных неудач национально-освободительной борьбы итальянского народа. Ключами для расшифровки потаенного содержания наброска служат и серые тона́, примененные для передачи петербургского пейзажа, и упоминание ряда имен современных деятелей: французского министра иностранных дел Тувенеля, итальянского президента совета министров Риказоли, автора статьи о Гарибальди в «Отечественных записках» К. К. Арсеньева и редактора «Московских ведомостей» Каткова, шовинизм которого в пору польских событий достиг своего апогея.

В правительственных кругах вызывали тревогу связи русских революционеров с участниками национально-освободительных движений в Польше и Италии. Какое-либо выражение сочувствия к этим движениям в печати было запрещено специальным предписанием властей (Дело особенной канцелярии министра народного просвещения. Секретное отношение министра народного просвещения председателю СПб. цензурного комитета.— ЦГИАЛ, ф. 773, оп. 1, ед. хр. 238). Вследствие этого Слепцову пришлось в публикуемом тексте назвать не имя Гарибальди, а имена его противников — Тувенеля, Риказоли, Каткова. Такой же эзоповский прием применен и в отношении польских событий. Называются не они, а «веселые» знамена — официальные газеты «Русский инвалид», «Московские ведомости» и другие реакционные и правительственные издания, развернувшие антипольскую агитацию.

Жестокие усмирительные «подвиги» в Польше Муравьева-Вешателя и его сподвижников, рабская по отношению к самодержавной власти позиция либералов, организовавших кампанию подачи «всеподданнейших адресов» с требованием наказать «возмутителей», находят отражение в «Ненастном дне» в таком лаконичном диалоге:

— На-ка, почитай-ка!..

— О! мерзавцы!..

— Тс! Что ты? С ума сошел?

— Рабы вы презренные!

— Сам ты раб! А это кто? видишь?..

В последних словах, как и в вопросах парикмахера, пытающегося всякими способами узнать политический образ мыслей своего клиента, уловить его настроение, писатель дает почувствовать атмосферу политического шпионажа и доносов в пору реакционного натиска 1863 г.

В другом лаконичном диалоге: «Кого это хоронят? — А пес его знает» — намек на торжественные похороны участников карательной экспедиции, убитых польскими повстанцами, которые демонстративно устраивало правительство в Петербурге. В «Северной почте» от 13 апреля 1863 г. читаем, например, в связи с похоронами корнета

Ремера, следующее: «Не первого молодого офицера хоронят в Петербурге ⟨...⟩ Почему отдано столько почести от государя наследника до всего воинского сословия? Потому что в лице убитого многолюдство русских отдало дань благодарности, уважения и любви защитникам родины ⟨...⟩ Вот наши демонстрации: мы их делаем не как в других странах — против установленных властей, а против врагов».

Подобно тому как это сделано в публикуемых ниже «Петербургских заметках», Слепцов создает в наброске «Ненастный день», как будто из разрозненных эпизодов, обобщающую конкретно-историческую картину русской жизни, глубоко погруженной в «туман» послереформенной путаницы и неустройства. В этом тумане трудно живется простому народу («От туману народу завсегда трудней бывает»). Как всегда в своих «сценах» и «зарисовках», Слепцов остро подчеркивает социальные контрасты, социальное неравенство: владельцы блестящих магазинов, ресторанов, философствующие за вкусными яствами господа-славянофилы,— и нищий, «временнообязанный» крестьянин-извозчик, безногий солдат, шарманщик. Выразительно звучат в этом контексте слова итальянской песни, мелодию которой играет шарманщик: «О, дайте мне жить!».

Образ ободранной клячи, везущей непосильную ношу, избиваемой жестоким «погонщиком», был в демократической литературе (см., например, стихи Некрасова: «О погоде»), в том числе и в произведениях Слепцова (см. ниже «Провинциальную хронику», стр. 199—200), своеобразным олицетворением тяжелого положения народа.

НЕНАСТНЫЙ ДЕНЬ

Туманное утро встало над городом. Сквозь тяжелую мглу тускло рисуются сбитые в кучу: дома, колокольни, казармы, мосты и канавы; холодной стеной стоит удушливый пар вместо воздуха; кое-где видно больное лицо пешехода, а дальше туман, все туман...

— Извозчик! отчего это туман?

— А бог его знает.

— Я знаю, что бог его знает; а ты-то как думаешь?

— Я так думаю: от народу.

— Как от народу?

— Народ ходит, дух из себя пущает, вот и туман.

— Ну, а еще что?

— Чего ж еще? Скотине, известно, легше, а народу трудней.

— Почему ж трудней?

— От туману народу завсегда трудней бывает.

— А ты сам-то чей? господский?

— *Временнообязанный*. Вам на что?

— Так. А ты погоняй, погоняй!

Невский проспект. Магазины, люди, курьер на хромой лошаденке.

— Поскорей! поскорей! Так ее! Под брюхо нагайкой! Валяй!..

— Кого это хоронят?

— А пес его знает.

Красивые лица, блестящие окна, штаны, конфекты, кинжалы, фрукты и книги; вакса Брюля на рыбьем жире. Безногий солдат вертит шарманку.

— O, laschia mi vivere! *

А вот Доминик. Стой, извозчик!

— Bonjour, monsieur! **

— А вы уж здесь?

---

* О, дайте мне жить (*итал.*).

** Добрый день, сударь (*франц.*).

— На-ка, почитай-ка!..
— О! мерзавцы!..
— Тс! что ты? С ума сошел?
— Рабы вы презренные!
— Сам ты раб! А это кто? видишь?
— Мм!..



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ШАРМАНЩИК
Акварель И. И. Соколова, 1859 г.
Русский музей, Ленинград

Сидит офицер за столом и задумчиво смотрит в окно; а там экипажи снуют, ходит народ разных цветов, поет шарманка и нищий поет сладострастный романс. Здесь на столах фарфор и хрусталь и разные яства стоят; газеты, точно знамена, на палках.

— Мальчик! дай мне вот это веселое знамя!

— ...за выслугу лет, за отличье, за храбрость... явиться к торгам... за долг продается...

— Мальчик, дай, брат, другое!

— ...Господин Тувенель, Риказоли, Арсеньев, Катков...

— Нет ли повеселее?

— Господин офицер читают.

— Ну, дай водки!

На диване сидит господин с бородой и читает газету. Поодаль сидят еще двое. Один из них говорит:

— Петербург был всегда по преимуществу носителем той исторической лжи, которая легла в основу петровской реформы. Эта ложь необходимо должна была совершить свой исторический круговорот. И она его совершила.

Господин, читавший газету, с сердцем бросает ее и уходит.

Три часа.

— Bonjour, monsieur!*

Опять ленивые лица, серые шинели, серые тучи, черные мысли. И люди, и тучи, и мысли бегут куда-то, текут и тонут в тумане... Где-то бьют в барабан.

— Эй, берегись!

Пролетели санки.

— Экое животное!..

Едет воз, нагруженный дровами. Ободранная кляча везла, везла и стала, в недоумении раздвинув ноги.

— Ну, я вам скажу,— дорога!

— Что ж ты, брат? Бери скорей полено и бей ее по морде! Ну да. Так, так. Вот она и повезла.

— Зайти разве к куафёру побриться.

— Bonjour, monsieur! Un coup de fer s'il vous plait!**

— Мальшик! Шимси сами лусти. Monsieur voudrait-il que je le coiffe à la malcontent?***

— Нет, никак не нужно.

—Ah, monsieur est donc amoureux? Et moi qui suis amoureux aussi dans ce moment. Ah, que je souffre! ****

— Ну тебя к чёрту!

— Plait-il, monsieur? *****

— Ничего, ничего. Побриться.

— Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la politique? *****

— А я почем знаю.

— Monsieur est contre la République, n'est <ce> pas? Oh! La république — c'est un grand mal, monsieur *******.

— Так, так. А ты намыливай!

— L'empire — c'est le poids, comme a dit le grrrand Napoléon ********.

— Разумеется. Брей, брей!

— J'ai une délicieuse cravate pour monsieur *********.

— Не нужно.

---

* Будьте здоровы, сударь! (*франц.*).

** Добрый день, сударь! Причешите, пожалуйста! (*франц.*).

*** Не угодно ли господину, чтобы я его причесал под недовольного? <так называлась у французов короткая стрижка; Слепцов обыгрывает буквальный смысл слова «недовольный»>.

**** А, так значит господин влюблен? И я тоже теперь влюблен. Ах, как я страдаю! (*франц.*).

***** Что вы сказали, сударь? (*франц.*).

****** Что нового в политике? (*франц.*).

******* Господин против республики, не правда ли? О, республика — огромное зло, сударь (*франц.*).

******** Империя — вот это сила, как говорил пррревеликий Наполеон (*франц.*).

********* У меня есть прелестный галстук для господина (*франц.*).

— Une cravate qui vient tout droite de...*
— Говорят, не нужно.
— Eh bonjour, monsieur**.
— Чёрт тебя дери.

Однако обедать пора. Вкусные яства готовит этот разбойник. Ну и грабит здорово. За котлету дерет так, как будто она из человеческого мяса. Молодец! Так их и надо. А то вот одна помещица была давно когда-то, так она, говорят, очень любила из маленьких детей майонез. Должно быть, врут. Хороши тоже ананасы в милютинских лавках. Неужели их ест кто-нибудь теперь? Ну, зато водка дешева. Пейте, православные, пейте господеви нашему... или пойте!

<1863 г.>

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 193, лл. 1—1а. — Имеющиеся в беловой рукописи незначительные зачеркнутые варианты не воспроизводятся

IV

Публикуемая рукопись относится к известному рассказу Слепцова «Свиньи» (1864). Рукопись сохранилась в бумагах Слепцова, изъятых у него при аресте в апреле 1866 г. Отрывок, видимо, подготавливался писателем к печати, был переписан набело. Лишь в одном месте зачеркнуто три строчки, а в другом заметны колебания автора: куда поместить описание суматохи в деревне. Заключительные строки: «Мужики тем временем из кожи лезли...» первоначально помещались после слов: «Голова постоял на одном месте...»

Рукопись содержит текст сюжетно завершенного эпизода. Это сценка, рисующая в характерной слепцовской манере озабоченность попечительного начальства — станового и окружного — в связи с ожидаемым проездом через деревню высокопоставленного лица. В известной нам редакции рассказа публикуемому эпизоду соответствовало всего три фразы: «Прошло три дня. Все это время мужики из кожи лезли, старались: *дорогу сравняли, гать завалили хворостом и песком усыпали, мосты поправили, возле* дороги канав нарыли и дерном обложили. Приехал окружной» (I, 164). Кроме того, с заключительными строчками автографа почти совпадают и следующие слова известной редакции рассказа: «Бабы чуть свет вскочили — печки затоплять, париться, а мужики дегтем сапоги стали мазать» (I, 165).

Почему публикуемый эпизод (отлично написанный) не попал в окончательный текст рассказа — установить не удалось.

<«ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПО СЕЛУ УЖ ГРЕМЕЛИ БУБЕНЧИКИ...»>

Через несколько минут по селу уж гремели бубенчики, куры и ребятишки разбегались, как полоумные, по дворам, и тройка измученных лошадей вихрем неслась к волостному правлению. В тарантасе сидели двое: становой и его письмоводитель; с козел соскочил рассыльный, отставной солдат в нанковом сюртуке, и крикнул первому попавшемуся мужику:

— Эй! голову послать сюда!

Мужики засуетились, забегали, пошел говор по селу: «кульер, кульер!»...

Прибежал десятский. Становой закричал:

— Подать сюда голову! Что вас, чертей, не дозовешься?

Десятский точно сквозь землю провалился, а по ту сторону речки видно, как голова без шапки что есть мочи бежит и брюхо у него трясется. Прибежал.

— Здравия желаю, вашескородие!

* Галстук прямо из... (*франц.*).
** Будьте здоровы, сударь (*франц.*).

— Я у тебя, у старого чёрта, всю бороду вытаскаю. Ты что же глядишь? а? Отчего на мосту перил нет?

— Помилуйте, вашескородие...

— Я тебя помилую, толстобрюхий дьявол. После за вас, скотов, отвечай. Если ты у меня к вечеру перил не сделаешь, я тебя в порошок измелю, я вас тут всех... вы у меня своих не узнаете. Пошел! — закричал становой ямщику.

Рассыльный, как кошка, вскочил на козлы, и тарантас ускакал.

Голова постоял на одном месте с растопыренными руками, покачал головой и пошел.

Только успел становой уехать,— прискакал окружной.

— Эк, их прдрвало,— сказал голова, завидя тарантас окружного, и опять пошел в правление. Окружной ходил из угла в угол по комнате.

— Ну, что? — спросил он у головы,— все готово?

— Как изволили приказывать, все-с,— отвечал голова, отирая пот.

— А насчет приема распорядился?

— Как же-с. Внушил-с.

— Что ж ты им внушил?

— Да то есть, что бы, значит, стараться, как лучше.

— Ну, а еще что?

— А еще ничего-с.

— Дурак, братец. Как же я тебе говорил. Ведь говорил я тебе? Ну, не дурак ли ты?

Голова молчал.

Окружной прошелся по комнате и вдруг остановился перед головой, перед самым его носом.

— Ну, скажи ты мне, ну, как же вы будете графа встречать? Ну?

Окружной, расставив ноги и заложив руки за спину, глядел ему прямо в глаза.

Голова начал вздыхать.

— Что ж ты, братец, вздыхаешь? Вздыхать тут нечего. Отвечай же, — я тебя спрашиваю.

— Чего-с?

— Что я тебя спросил? Ну!

— Виноват.

Окружной с сердцем плюнул и пошел опять ходить по комнате.

— Вот дубина-то! А еще голова. Неужели глупее тебя никого не нашли?

Голова стоял, опустив глаза в землю, и потел. Наконец окружной сел на окно и сказал:

— Поди сюда! Ну, скажи ты мне на милость... Представь себе... ну, вот представь, что к тебе приехал отец. Есть у тебя отец?

— Нет, помер у меня родитель.

— Ну, все равно. Представь себе, что ты встречаешь своего отца, ну, что ты сделаешь прежде всего? а? Как у вас это делается?

Голова наморщил брови, как будто старался что-то припомнить.

— В ноги что ли кланяются?

Голова спохватился.

— Это точно-с. В ноги. У нас это завсегда.

— Хорошо. А потом что?

— А потом... потом обнаковенно, значит, за вином пошлю.

— Ну, нет. Положим, что твой отец вина не пьет.

— Да уж без этого нельзя-с.

— Нет, вина не нужно.

— Это как вам угодно.



КУРЬЕРСКАЯ ТРОЙКА В ДЕРЕВНЕ
Акварель П. П. Соколова, 1869 г.
Русский музей, Ленинград

— Я совсем не то тебе говорю. Я тебя спрашиваю, как ты сам сделаешь? Например, ведь поднесешь же ты ему хлеб-соль?

— Поднесу-с.

— Прекрасно. А еще что?

— А еще мядкý.

— Зачем?

— Да как же-с?

— Это вздор. Совсем не то ты говоришь.

— Как угодно. Не изволите приказать, не поднесу.

— Чёрт тебя знает. Я тебе дело говорю, а ты вздор какой-то мелешь: как прикажете.

— Да что ж, вашескородие, ведь я грамоте не знаю.

— Дурак, братец! Я тебя спрашиваю, как у вас это делается в народе. Ты мне и отвечай.

— Слушаюсь.

Окружной подумал и опять спросил:

— А после того, как уж встретили, что вы делаете?

Голова опять начал вздыхать.

— Когда ты встретил своего... отца, что ты делаешь, я тебя спрашиваю?

— Это родителя-то?

— Ну да.

— Я богу молюсь.

— Зачем?

— Как же за родителев не молиться? Нам так сказано от бога, чтобы молиться за родителев.

— Нет, я вижу ты совсем дурак. Ступай вон!

Голова вышел.

Окружной еще немного походил по комнате, порылся в книгах и уехал. Мужики тем временем из кожи лезли, старались: в три дня дорогу сравняли, гать завалили хворостом и песком усыпали, поделали на избах новые коньки, на окнах резные наличники. Всю ночь бабы везде скребут и моют, стены песком трут, в огородах траву полют; старухи горшки парят, брагу варят, пироги пекут.

Накануне приезда графа рано утром, еще до свету, бабы вскочили — печки затоплять — париться, а мужики дегтем сапоги стали мазать. ‹1864 г.›

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 182, лл. 92—95.]

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАССКАЗ «СВИНЬИ» И РУССКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 1863 г.

Статья П. С. Рейфмана

Один из наиболее острых сатирических рассказов Слепцова «Свиньи» появился впервые в февральской книжке «Современника» 1864 г. под другим заглавием: «Казаки». Через два года, включая этот рассказ в собрание сочинений, автор указал в примечании, что в журнале название было изменено по цензурным соображениям: «... в то время он не мог явиться в печати с этим заглавием и потому назван был „Казаки“» (I, 154). Сюжет рассказа прост. В Куравинское волостное правление приходит официальная бумага, предписывающая сельским властям подготовить мужиков для торжественной встречи графа Остолопова, который через несколько дней будет проезжать «по тракту, пролегающему чрез Куравинскую волость». В бумаге содержалось, в частности, такое указание: «Буде же которое-либо сельское общество в отдельности или же все в совокупности пожелают отслужить напутственное молебствие ‹...› или, отпрягши лошадей, везти графский экипаж на себе, то и сему также не препятствовать...»(I, 154).

Мужики понимают бумагу по-своему: начальство требует строить дорогу, чтобы господ «на людях возить». Не желая подчиняться новому беззаконию («— Да где ж она показана, эта самая правила?»), мужики всем миром принимают решение «уйти в казаки», т. е. в ополчение. Свое решение мужики держат в тайне до приезда графа, которому и хотят подать бумагу — «запись в казаки». Подготовленная властями торжественная встреча нарушается внезапным появлением остановивших экипаж графа прибежавших с поля свиней, а за ними и всего сельского стада. «Запись в казаки» попадает не к графу Остолопову, «перепуганному и недовольному» происшедшим, а к окружному начальнику. Мужикам грозит расправа, дело, видимо, должно закончиться экзекуцией.

Современная Слепцову либеральная критика, обвинявшая писателя в глумлении над русским народом, над мужиками, крайне недоброжелательно оценила рассказ «Свиньи». Советским исследователям пришлось проделать большую работу, чтобы восстановить облик писателя-демократа, раскрыть особенности его творческой манеры, приемы тайнописи, которые позволяли Слепцову проводить через цензуру весьма радикальные идеи. Но рассказ «Свиньи» (наряду со сценами «Мертвое тело») до сих пор в какой-то степени противопоставляется остальному наследию Слепцова. Правда, в исследованиях о Слепцове К. И. Чуковский, так много сделавший для выяснения общественно-литературной роли писателя, отмечал, что идейная направленность рассказа «Свиньи» «совершенно та же, что в остальных его рассказах и очерках» [1]. Но и К. И. Чуковский, рассматривая рассказ как шутку, бурлеск, находил нужным как бы извинять за него Слепцова. Он полагал, что такие произведения возникли у Слепцова под влиянием Н.В. Успенского и И. Ф. Горбунова: «... они не отличаются большой самобытностью и не в них отражена писательская личность Слепцова» [2].

А между тем рассказ «Свиньи» не только не нарушает наши представления о «писательской личности» Слепцова, но и весьма существенно дополняет их. Следует лишь

разобраться в тайнописи, столь характерной для Слепцова вообще и столь успешно примененной в данном конкретном случае.

Обращение к некоторым явлениям и фактам действительности того времени помогает расшифровать потаенный смысл рассказа «Свиньи».

В 1863 г. на страницах русских газет и журналов, в связи с польским восстанием, весьма оживленно обсуждался вопрос о народе и его политических воззрениях, об отношении народа к «престолу» — самодержавной власти. Поэтому цензура иногда пропускала такой материал, который на первый взгляд должен бы был, казалось, подвергнуться безусловному запрещению, например, некоторые сведения о крестьянских восстаниях. Так, в апрельском номере «Отечественных записок» 1863 г. была напечатана большая статья С. С. Громеки «Киевские волнения в 1855 году». Автор, в прошлом жандармский офицер, принимал личное участие в усмирении этих волнений. Описываемые Громекой события во многом напоминают рассказ Слепцова. Весной 1855 г. в связи с обнародованием манифеста, призывавшего всех русских подданных «с железом в руке и с крестом в сердце» ополчиться за отечество, в районе Белой Церкви разнесся слух о том, что производится *запись в казаки*; начались волнения, крестьяне отказались работать на барщине: «Пока нам царь не отпишет резолюции, до тех пор не пойдем на панщину: робыть с нами, що хочете...» [3]. Никакие уговоры не действовали, вызвали войска, начались массовые экзекуции, расстрелы; лишь в одном селе, по официальным данным, 20 человек было убито и 40 ранено. Громека подробно рассказывал о волнениях, о том, что крестьяне верили будто «есть другой указ, призывающий народ в казаки и объявляющий полную свободу тем, кто запишется в их число» [4], что они тут же потребовали привести их к присяге и составили присяжный лист [5].

По словам Громеки, движение распространилось на многие села, народ твердо верил в существование указа о казачестве и считал, что духовенство и чиновники, подкупленные помещиками, скрывают этот указ, так как записываться в казаки будто бы можно лишь до определенного срока, а помещики хотят дотянуть до него, чтобы оставить по-прежнему крестьян в кабале. Вражда к духовенству, скрывающему, по мнению народа, указ, доходила до того, что в одном селе священников и других членов причта «заперли в церковь, держали на хлебе и воде, водили купать в реку, запрягали в повозку и погоняли кнутом, как лошадей» [6]. Еще менее веры было чиновникам: «Панам не трудно подкупить полицейских и прочих чиновников — *думал народ*» [7]. Конечно, статья Громеки написана отнюдь не с прогрессивных позиций. Подробно излагая весь ход усмиренья, автор воспользовался поводом для самопрославления, всячески подчеркивая свою распорядительность и успехи, достигнутые при помощи примененных им мер «вразумления». Попутно Громека осуждал кровавую экзекуцию, учиненную генерал-майором Б*. Но политический смысл статьи Громеки отнюдь не ограничивался рассуждениями о том, каким путем лучше водворять спокойствие среди возмутившихся крестьян. Не случайно автор напечатал свою статью в 1863 г. (через восемь лет после описываемых в ней событий) и тогда же издал ее отдельной брошюрой.

По мысли Громеки, тщательно акцентируемой на протяжении всей статьи, киевские волнения служили... подтверждением верноподданнических настроений народа, а их основной смысл сводился будто бы к тому, что крестьяне встали «как один человек, на мнимый призыв самого правительства», они были лишь виновны «в желании проливать кровь за своего государя» [8], но им совершенно чужды революционные настроения (с этой целью Громека рассказывал, как крестьяне выдали властям студента, который пытался читать им прокламации). Все подобные рассуждения понадобились автору для определенных пропагандистских выводов, связанных с происходившим тогда польским освободительным восстанием. Во вступлении и послесловии Громека прямо отмечал полезность опубликования статьи именно «в настоящую минуту» [9]. Он рассматривал ее как ответ всем, кто в крестьянских восстаниях, происходивших в это время не только в польских землях царской России, но также в Литве и Белоруссии, усматривал новое доказательство недовольства народа существующей властью и мечтал об ее переустройстве на демократических началах. «Украинский народ предан русскому царю,— делал свой вывод Громека и продолжал,— пусть же никто не отворачивается от факта и знает, что выразил киевский народ своим suffrage universel в 1855 году» [10]

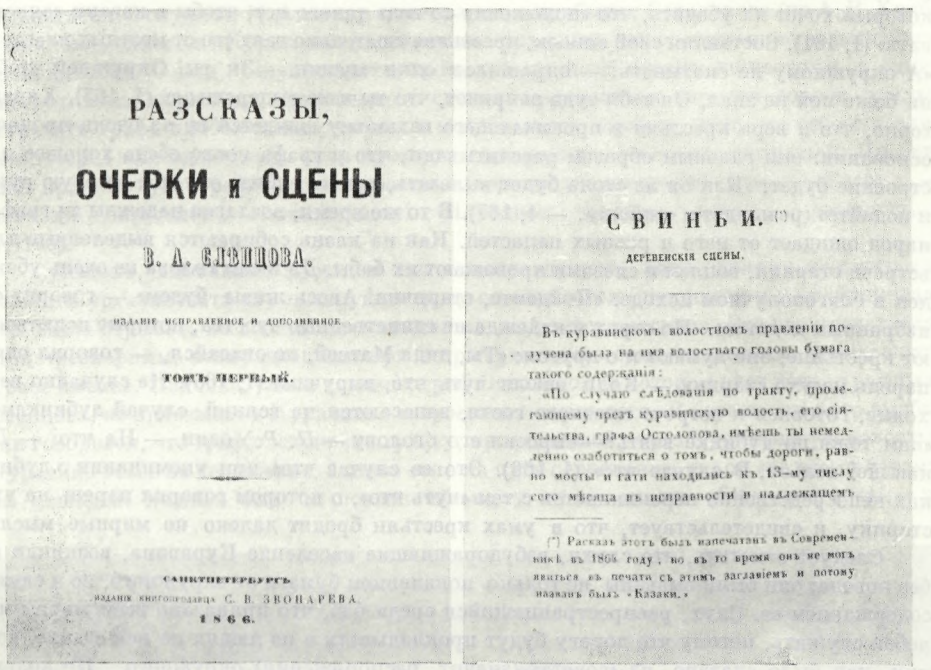
Статья Громеки, успешно делавшего в это время в качестве ответственного чиновника Министерства внутренних дел карьеру «специалиста» по польским делам, была целиком выдержана в духе официальной антипольской пропаганды. Но факты, которыми автор старался подтвердить свои выводы, далеко не целиком укладывались в реакционную схему. Вопреки намерениям Громеки, рассказ о «казаках» свидетельствовал не столько о верноподданнических настроениях крестьян, сколько о недовольстве их своим положением, вражде к правящим классам. Даже в изложении Громеки оказывается, что народ не так стремился пролить кровь за царя, как освободиться от ненавистных повинностей, соглашаясь не идти в казаки, «когда б только назначили один день барщины в неделю» [11]. И один из усмирителей восстания, подполковник А*, мнение которого приводил Громека, не соглашаясь с ним, справедливо приписывал главную причину волнений «озлоблению крестьян противу экономических властей». Дело же об указе и о казачестве он считал побочным и не более как предлогом [12]. Именно с последней точкой зрения солидаризировался по сути дела и «Современник». Его редакция обратила внимание на брошюру Громеки и в октябрьской книжке журнала поместила на нее рецензию Салтыкова-Щедрина. Отметив, что факты, сообщаемые в брошюре, довольно любопытны, Щедрин едко высмеял реакционные выводы, которые делал Громека. Конечно, прямо говорить об их сущности, дискутировать об отношении народа к царю было невозможно. Поэтому Щедрин опровергал Громеку, не раскрывая содержания его доказательств, а просто указывая, что все его рассуждения «о причинах, породивших киевские волнения 1855 года, суть рассуждения очень мало убедительные», что его доводы, будто бы эти волнения с точки зрения власти «сами по себе имели значение, заслуживающее даже поощрения» [13], вызывают сильное сомнение. Тем самым Щедрин подводил читателя к пониманию подлинных социально-политических причин крестьянского восстания, описанного Громекой. Рецензия явилась одним из замаскированных выступлений «Современника» по польскому вопросу, направленных против официально-правительственной точки зрения. Она перекликалась с написанной примерно в то же время и запрещенной цензурой рецензией Щедрина на брошюру «Русская правда и польская кривда» и могла быть напечатана лишь потому, что Щедрин не упоминал прямо об антипольской сущности выводов Громеки.

Надо отметить, что «Современник» наносил здесь удар не только по положениям, высказанным в брошюре о киевских волнениях. Аналогичный материал весьма часто встречался в 1863 г. во многих периодических изданиях. Особенно много места занимал он в «Московских ведомостях», в заметках, связанных с польским вопросом. Газета Каткова неоднократно сообщала о волнениях крестьян в западных губерниях. Причем, как и у Громеки, доказывалось, что такие волнения — свидетельства народного патриотизма, любви к царю и вражды к восставшим полякам. Редакция изо всех сил стремилась опровергнуть тех, кто считал, что крестьянское движение «не национальное, а сословное, что оно направлено не против польских мятежников, а вообще против помещиков» [14]. В ряде заметок утверждалось, что «крестьяне не задумывались стать против мятежа и своею собственною силой подавляли вооруженных поляков», показав «пример изумительного благородства» [15].

В то же время в периодических изданиях публиковался ряд сообщений о готовности крестьян пожертвовать своим имуществом, жизнью за веру, царя и отечество. Среди многочисленных «адресов», печатавшихся в изобилии на страницах «Московских ведомостей», не мало было будто бы принятых на волостных сходках от имени народа. Уже сам стиль таких посланий неопровержимо свидетельствовал, что к народу они не имели ни малейшего отношения. Так, в № 106 «Московских ведомостей» 1863 г. (17 мая) напечатан «адрес» от имени ямщиков пяти московских слобод. «Сердце наше преисполнено скорбью и негодованием при известии о неумеренных требованиях западных европейских держав, грозящих отторгнуть от нашей империи древнее достояние России»,— писали будто бы ямщики и заявляли дальше, что «для ограждения русского престола <...> для ограждения истинной нашей веры» они «готовы жертвовать собой, детьми нашими и всем нашим имуществом».

Такого рода сообщения, которые, по мысли их авторов, должны были укреплять веру русского общества в преданность крестьянских масс царизму, редакция «Мос-

ковских ведомостей» печатала из номера в номер. Так, в одном из них опубликована заметка «Письмо в редакцию» Николая Турчанинова. Автор рассказывал об «умилительном зрелище», которое он наблюдал недалеко от Москвы. По его словам, крестьянская сходка одной из волостей единодушно вынесла приговор о вступлении «в военную службу поголовно, с отдачею императору своих домов, скота и всего имущества»[16]. Турчанинов елейно живописал не только любовь к царю, но и негодование народа, его «вражду к полякам». В заметке сообщалось, что решения о поголовном вступлении в военную службу приняты и крестьянами 55 селений двух других волостей. Видимо,



РАЗСКАЗЫ,

ОЧЕРКИ и СЦЕНЫ

В. А. СЛѢПЦОВА.

ИЗДАНІЕ ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ
ИЗДАНІЕ КНИГОПРОДАВЦА С. В. ЗВОНАРЕВА.
1866.

СВИНЬИ. (*)

ДЕРЕВЕНСКІЯ СЦЕНЫ.

Въ куравинскомъ волостномъ правленіи получена была на имя волостного головы бумага такого содержанія:

«По случаю слѣдованія по тракту, пролегающему чрезъ куравинскую волость, его сіятельства, графа Остолопова, имѣешь ты немедленно озаботиться о томъ, чтобы дороги, равно мосты и гати находились къ 13-му числу сего мѣсяца въ исправности и надлежащемъ

(*) Разсказъ этотъ былъ напечатанъ въ Современникѣ въ 1864 году, но въ то время онъ не могъ явиться въ печати съ этимъ заглавіемъ и потому названъ былъ «Казаки.»

СБОРНИК СЛЕПЦОВА «РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ и СЦЕНЫ» (СПб., 1866)
Здесь был напечатан рассказ «Свиньи», впервые опубликованный в 1864 г. в журнале «Современник» под названием «Казаки»
Титульный лист книги и страница первая рассказа

организация такого рода сходок довольно широко практиковалась властями в качестве одного из доказательств «патриотического воодушевления» народа, которое в разгар польского восстания так настойчиво пыталось создать правительство.

Рассказ Слепцова «Свиньи» противостоял этому полицейскому патриотизму и его пропаганде в литературе. Он был направлен не против народа, как утверждала либеральная критика, а против «официальной народности», против тех реакционных славословий в адрес народа, которые раздавались в связи с событиями в Польше, искажали его облик, фальсифицировали настроения и желания крестьян. В обстановке событий 1863—1864 гг. подлинный смысл рассказа легко воспринимался читателями, имевшими большой навык чтения между строк. Хронологически, как бы следуя за статьей Громеки, Слепцов рассказывает и о желании крестьян вступить в казаки, и о недоверии их к чиновникам и духовенству, и о составлении списков, и о крестах вместо подписей. Но, в отличие от Громеки, рассказывая обо всем этом, Слепцов, вслед за Щедриным, подводил читателя к выводам, противоположным тем, которые развивались в статье о киевских волнениях и в многочисленных статьях «Московских ведомостей». Не любовь к царю, не верноподданнические настроения, а чувство социального протеста,

недовольство существующими порядками, хотя и не осознанное, стихийное, движет крестьянами. Не случайно одновременно возникают слухи и о казаках и о том, что власти дорогу строят, по которой на людях ездить будут. Запись в казаки народ рассматривает как освобождение от ненавистных повинностей, решив «*последний разок* послужить — дорогу сравнять, хворосту навозить, а потом в казаки» (I, 160. Курсив мой.— *П. Р.*). Крестьяне, изображенные Слепцовым, не верят духовенству, чиновникам, враждебны им. «Ну, пути не будет»,— говорят мужики, когда дьячок, которого просили составить списки желающих «пойти в казаки», уходит советоваться к попу (I, 162). «Это все у них одна шайка подобрана», — возмущаются они словами писаря, который хочет их убедить, что «положения-то ведь такого нет, чтобы в казаки записывать» (I, 161). Составляя свой список, крестьяне тщательно таят его от местных властей «А окружному не сказывать? — спрашивал один мужик.— Эк ты! Окружной чтобы ни боже мой не знал. Он тебя туда запрячет, что ты и не выдерешься» (I, 167). Характерно, что и вера крестьян в проезжающего вельможу зиждется не на очень прочном основании: они главным образом рассчитывают, что у графа после обеда хорошее настроение будет: «Как он из стола будет вылезать, тут вы сейчас ему под веселую руку и подайте» (речь идет о «списке». — I, 167). В то же время, возлагая надежды на графа, народ ожидает от него и разных напастей. Как на казнь собираются выделенные для встречи старики, воплем и слезами провожают их бабы. Да и сам голова не очень убежден в благополучном исходе. «Пойдемте, старички! Авось живы будем»,— говорит он избранным ходокам. Но страх и надежда не единственные чувства, которые испытывают крестьяне; они думают и о другом: «Ты, дядя Матвей, не опасайся, — говорил один парень на ухо старику.— Коли ежели чуть что́, выручим» (I, 165). Не случайно верховые, готовясь к встрече высокого гостя, запасаются на всякий случай дубинками: «нам тоже по дубинке взять?—спросил его ⟨голову — *П. Р.*⟩ один. — На что? — Да как же? нельзя. В случае что́» (I, 166). Это «в случае что» при упоминании о дубинках непосредственно перекликается с тем «чуть что», о котором говорил парень на ухо старику, и свидетельствует, что в умах крестьян бродят далеко не мирные мысли.

Следует отметить, что слухи, взбудоражившие население Куравина, возникли не без повода; они были вызваны не только появлением бумаги от окружного, но и самим содержанием ее. Слух, распространившийся среди баб, что приказано всем миром молебен служить, потому что дорогу будут прокладывать и на людях по ней ездить, возник, как было сказано, из «совета» (значит, распоряжения) окружного. Несколько менее определенно мотивировано зарождение слуха о казаках. Источником его послужила речь подвыпившего дьячка: «Братцы, постоим за веру православную! Что ж? Неужли ж нам перед батюшкой-царем свиньями себя показать?» (I, 156). Не совсем понятно, почему приказ о постройке дороги вызвал слова о «вере православной» и «батюшке-царе». Вероятно, не без повода, как и возникший слух о том, что будут на людях возить. Речь дьячка почти буквально повторяет те заверения в верноподданнических чувствах, которые звучали в многочисленных адресах, столь обильно печатавшихся в 1863 г. Характерно, что слова дьячка о свиньях определяют название рассказа и помогают осмыслить его. Ведь вся реакционная и либеральная печать в это время изо всех сил старалась доказать то же, о чем говорил подвыпивший дьячок. Русский народ, по их уверениям, в трудный год польского восстания постоял за веру православную, за царскую власть. Слепцов всем содержанием рассказа полемизировал с этой точкой зрения. Крестьяне не оправдывают ожиданий дьячка, они оказываются в его понимании «свиньями». Им нет никакого дела ни до православной веры, ни до батюшки-царя, они не верят властям, враждебны им. В действиях жителей Куравина нет и следа того «патриотизма», который в это время неразрывно связывала с именем народа официальная и реакционная пропаганда.

По-новому следует комментировать не только общее политическое содержание рассказа «Свиньи», но и фигуру графа Остолопова. Она сама по себе в рассказе почти не очерчена, изображается лишь суматоха, вызванная проездом графа. «Можно догадаться, что он ⟨Слепцов. — *П. Р.*⟩ изображает переполох во время приездов князей Куракиных в их село Куракино, находившееся в Сердобском уезде. В рассказе село называется „Куравино“»,—сообщает исследователь А. В. Храбровицкий[17]. Однако это пред-

положение ничем не доказано и представляется нам неосновательным. Слишком уж велика суматоха, вызванная проездом графа. Имением Куракино (оно же Надеждино), о котором пишет А. В. Храбровицкий, владел в то время действительный статский советник князь Алексей Борисович Куракин. Он часто посещал имение, жил в нем, собрал там коллекцию картин [18] и, конечно, был хорошо известен крестьянам и местным властям. Вряд ли его приезд мог вызвать такой большой переполох. Да и остальные князья Куракины к середине XIX в. никакой важной роли в управлении страной уже не играли. В одной из заметок конца 60-х годов о князьях Куракиных сообщалось, что в настоящее время «ни один из них не занимает поста в высших степенях государственной службы» [19]. А между тем известие о прибытии Остолопова (по А. В. Храбровицкому, одного из Куракиных) воспринимается всеми как совершенно чрезвычайное происшествие. О нем предупреждают за несколько дней, причем не частным, а административным порядком, приказывают спешно приводить в порядок дороги, мосты, встречать графа хлебом-солью, служить молебен о его здравии, везти на себе его экипаж. Перед приездом графа путь проверяют исправник, становой, окружной. Последний приветствует графа подобострастной верноподданнической речью: «Вассс...,— *зачастил окружной, — осчастливьте! Народное чувство, вассс... дерзнули...*» (I, 169).

Суматоха, вызванная проездом высокопоставленного лица, усилия местного начальства организовать ему пышную встречу описываются Слепцовым и в опубликованном выше отрывке, не вошедшем в окончательный текст рассказа. Все это представляется чрезмерным, неоправданным при встрече местного землевладельца, приехавшего в свое имение. Наконец, самое главное, граф Остолопов, о котором идет речь в рассказе Слепцова, не приезжает в Куравино, а *проезжает* через него. В извещении о его прибытии говорится, что граф следует «по тракту, пролегающему чрез Куравинскую волость». Куравино вовсе не его имение, а лишь село на пути следования, где он «во время перемены лошадей» должен был по первоначальному плану «иметь обеденный стол», а по



ДЕРЕВЕНСКИЙ СТАРОСТА
Литография с рисунка И. Поспелова, 1880 г.
Исторический музей, Москва

измененному только «чай кушать» (I, 154 и 168). Однако нелепо менять лошадей и обедать или пить чай в селе, в котором находится собственное имение. Все это заставляет признать неосновательность мнения А. В. Храбровицкого, отождествившего графа Остолопова с одним из князей Куракиных.

Но как раз в том самом 1863 г., с событиями которого связан рассказ «Свиньи», по России путешествовало одно высокопоставленное лицо, проезд которого действительно вызывал везде суматоху, подобную описанной Слепцовым. Его прибытие могло бы объяснить и слова подвыпившего дьячка, и приветственную речь окружного, и инструкции об исправлении дорог и мостов, о молебнах и хлеб-соли. Путешественник этот — наследник престола, великий князь Николай Александрович. Летом и осенью 1863 г. он совершил поездку по России, в частности по ряду приволжских губерний. Путешествие широко освещалось на страницах газет. Особенно много внимания ему уделяли «Московские ведомости». Они поместили девять больших статей, в которых подробнейшим образом описывался путь наследника. Каждая из статей печаталась в нескольких номерах и иногда на целой полосе. Сообщения о поездке великого князя занимали с июля по октябрь одно из основных мест в газете Каткова, уступая первенство лишь польскому вопросу. Наследник путешествовал, правда, в основном на пароходе, но часто он и его свита ехали и в экипажах. Так, более 200 верст проехали они по тракту из Костромы в село Иваново Владимирской губернии и обратно. В описаниях «Московских ведомостей» встречаем мы те же детали, что и в рассказе Слепцова: здесь и дороги, посыпанные песком, и хлеб-соль в каждой деревне, и молебны о здравии наследника, и прочувствованные «патриотические» речи. Причем все эти сообщения в «Московских ведомостях» должны были иллюстрировать единство народа и «царя-батюшки», верноподданнические чувства, всенародный подъем, вызванный событиями в Польше. «Одно горячее чувство владело в эту минуту тысячами 〈...〉 Хватались за экипаж, и сзади и спереди слышно было: скажи отцу своему как мы его любим! Скажи, что все мы пойдем на врагов, все до единого», — писал корреспондент «Московских ведомостей» о встрече в Ярославле [20]. Любопытно, что в опубликованном выше неизвестном отрывке из рассказа Слепцова, окружной, пытаясь подсказать сельскому голове правильные распоряжения «насчет приема» именитого гостя, советует ему поступать так, как если бы он встречал «отца родного». Почти несомненно, что в лице проезжавшего через Куравино графа Остолопова Слепцов изображает великого князя.

Заметки о поездке наследника занимали наравне с сообщениями о польских событиях центральное место в кампании официально-полицейского патриотизма, широко проводившейся в 1863 г. Рассказ «Свиньи» противопоставлен этой кампании. В нем (особенно в ненапечатанном отрывке) ясно показано, как подготовлялись властями проявления «всенародного верноподданнического патриотизма». «Свиньи» не просто рассказ о каком-то конкретном случае (даже если он и имел место) и не забавный бурлеск. Произведение Слепцова порождено общественно-политической обстановкой 1863 г. и проецируется на эту обстановку. Происходящие в рассказе события мотивированы и отражают в сатирических образах не случайные, а характерные явления жизни того времени. На первый взгляд, кажется, что рассказ построен по принципу: ничтожное событие рождает самые нелепые и фантастические слухи. На самом деле принцип построения совсем иной. Слепцов противопоставляет два разных, совершенно чуждых друг другу социально обусловленных восприятия действительности. В осмыслении правящих классов лошадей выпрягают, чтоб выразить чувство преданности и любви, в осмыслении народа — чтоб на людях ездить, как, впрочем, ездили и ранее. Для первых ополчение — свидетельство верноподданнического патриотизма, для второго «казаки» — мечта о вольной жизни, об освобождении от тяжелых повинностей. В народе, который изображает Слепцов, нет и следа «патриотических» чувств и воззрений, приписываемых ему реакционными публицистами. Подлинные же чувства народа, говоря словами рецензии Щедрина, с точки зрения власти, никак не заслуживают поощрения. Все это определяет значение рассказа «Свиньи» как одного из замаскированных выступлений революционно-демократического лагеря по польскому вопросу, против реакционной шовинистической пропаганды, борьбу с которой Слепцов продолжал и в повести «Трудное время».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] К. И. Чуковский. Люди и книги. М., 1958, стр. 211 (ср. со вступ. статьей к Соч. Слепцова. М., 1957, т. I, стр. 27).
[2] Там же.
[3] «Отечественные записки», 1863, № 4, стр. 653.
[4] Там же, стр. 668.
[5] Там же, стр. 669.
[6] Там же, стр. 673.
[7] Там же, стр. 670.
[8] Там же, стр. 691—692.
[9] Там же, стр. 650.
[10] Там же, стр. 693.
[11] Там же, стр. 655.
[12] Там же, стр. 662.
[13] «Современник», 1863, № 10, стр. 324 (ср. Щедрин, т. V, стр. 338—342).
[14] «Московские ведомости», 1863, № 92, от 30 апреля.
[15] Там же, № 105, от 16 мая.— Аналогичные материалы в передовой «Московских ведомостей», 1863, № 170, от 4 августа; в статье М. О. Кояловича в «Русском инвалиде», 1863, № 91 и др.
[16] «Московские ведомости», 1863, № 99, от 8 мая.
[17] А. В. Храбровицкий. Русские писатели в Пензенской области. Пенза, 1946, стр. 65.
[18] См. статью «Село Надеждино и архив кн. Ф. А. Куракина в 1888 и 1890 гг.» — «Русская старина», 1890, № 10, стр. 236—237.
[19] «Герб князей Куракиных».— «Всемирная иллюстрация», 1869, № 43, стр. 271.
[20] «Московские ведомости», 1863, № 159, от 20 июля.

V

Публикуемый набросок, сохранившийся в бумагах Слепцова, изъятых у него при аресте в 1866 г., не поддается точной датировке. Судя по характеру рукописи, он относится к первой половине 1860-х годов. Печатаемый нами текст является этюдной заготовкой или началом рассказа в характерном для Слепцова жанре «сценки».

‹«ОСЕННИЙ ВЕЧЕР...»›

Осенний вечер. Небольшая 4-хугольная комната с белыми стенами и маленькими окнами. На окнах — горшки с засохшей геранью. В углу — кровать. У одной стены — старый деревянный диван, у другой — шкафчик и лежанка. На шкафчике — часы с чугунными гирями на длинных веревках и розаном на циферблате. 7 часов. На лежанке сидит только что проснувшийся старец в долгом кафтане и задумчиво смотрит в окно. На дворе шумит дождь. В комнате тихо, пахнет деревянным маслом, перед образом чуть-чуть горит лампада.

— О-ох, господи помилуй! Господи помилуй!— зевая бормочет про себя старик.

— Боже! Очисти мя грешного.

Затем встает, потягивается и кряхтя поправляет лампаду.

— Боже! Боже мой! Милостив буди мне грешному яко согреших... Ишь ты! Васька-то! Спи-ит. О-о-ох. Где она тут табакерка-та? О-ох, старость. Да. Грехи... Грехи наши, а вот она! Грехи наши тяжкие. Ну-ка понюхаю. Господи помилуй!.. М-м (нюхает табак). М-м. Так, так. Забирай! Забирай!

— О, пропади ты! М-м! А — вот так, так. О, господи! Что это будет? Ну, его совсем (кладет табакерку с платком на стол и в раздумье стоит среди комнаты, глядя в пол и подперевшись в бока руками).

Между тем проснулся кот и лениво перевертывается на спину. Старик, оглохнув от табаку, несколько минут стоит неподвижно, потом начинает разговаривать с котом.

— Ага! Проснулся! Вставай, вставай! Что валяешься! Скоро к заутрени ударять станут. Васька, слышь, что ли? Вставай, разбойник. Ох, согрешили мы с тобой! (прохаживается по комнате, не зная за что взяться).

<1860-е годы>

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 182, л. 65.

VI

В декабре 1880 г. на страницах петербургской газеты «Минута» были опубликованы два ранее неизвестных произведения Слепцова — рассказ «Бабье сердце» в № 4, от 4 декабря и сцена «В трущобах» в № 12, от 13 декабря.

Ежедневная «политическая, общественная и литературная» газета «Минута» к тому времени только что начала издаваться. Ее первый номер вышел 30 ноября 1880 г. Основал газету и в течение нескольких лет был ее издателем-редактором И. А. Баталин (1844—1918), сотрудничавший ранее в «Биржевых ведомостях» и в «Петербургской газете». В литературно-журналистских кругах было известно о близости Баталина к III Отделению и сменившему его Департаменту полиции. Основанная им с коммерческими целями газета сразу же заняла свое место среди тех органов охранительно-бульварной печати, которые были сатирически обобщены Щедриным в «Письмах к тетеньке», в образе газеты «Помои» (см. Щ е д р и н, т. XIV, стр. 450 и комментарий С. А. Макашина, стр. 612).

Появление в «Минуте» произведения писателя-демократа следует объяснить, с одной стороны, случайностью, доставившей изданию возможность приобрести рукописи Слепцова, с другой стороны, вероятно, стремлением редакции привлечь к новой газете внимание широких кругов читателей. Но цель эта не была достигнута. Рассказы остались незамеченными. Этому обстоятельству способствовал и тот факт, что помещены были рассказы в декабрьских номерах «Минуты». Официальная же подписка на газету была объявлена лишь с 1881 г., и номера 1880 г., не предусмотренные ранее, были разосланы подписчикам в виде особых приложений, вышедших весьма малым тиражом.

Публикация рассказа «Бабье сердце» в «Минуте» сопровождена следующим примечанием редакции газеты: «По смерти нашего талантливого жанриста В. А. Слепцова осталось несколько ненапечатанных сцен у одного из бывших сотрудников „Современника“ г-на С. Эти сцены приобретены редакцией „Минуты“». Слово «несколько» указывает, что приобретено было больше двух произведений. Об этом же свидетельствует редакционное примечание к сцене «В трущобах», в котором сказано, что сцена эта принадлежит к *«серии»* ненапечатанных произведений Слепцова.

Однако на страницах «Минуты» появилось только два названных выше рассказа.

Что же касается упомянутого редакцией «г-на С.», одного из бывших сотрудников «Современника», то возможно, что речь идет об А. Я. Панаевой-Головачевой, которая, как известно, печаталась в «Современнике» под псевдонимом: *Н. Станицкий* и *С***. Со Слепцовым ее связывали близкие дружеские отношения. В редакционном примечании к сцене «В трущобах» указана дата ее написания — 1866 г., сообщенная, несомненно, тем же бывшим сотрудником «Современника», у которого были приобретены слепцовские рукописи. Вероятно, и рассказ «Бабье сердце» написан в том же 1866 г., незадолго до ареста Слепцова по каракозовскому делу в апреле этого года.

Хотя автографы опубликованных в «Минуте» рассказов Слепцова — они напечатаны с его полной подписью — не известны, принадлежность этих произведений автору «Трудного времени» не вызывает ни малейшего сомнения. Как известно, большинство произведений Слепцова — это жанровые сцены, составленные из нескольких сценок, как рассказы в рассказе, или рассказы, в которых преобладает диалог. Сцена «В трущобах», состоящая из нескольких сцен, находится в одном ряду со «Сценами в полиции», «Мертвым телом», «Сценами в больнице» и др., а в рассказе «Бабье сердце» использован прием «рассказа в рассказе», встречающийся в «Ночлеге», «Спевке», «Вечере», «О Нижегородской железной дороге» и др.

В обоих произведениях проявилась чисто слепцовская манера конкретного и краткого изображения. В его рассказах и очерках действие обычно происходит в местах скопления трудового люда: в трактирах, на постоялых дворах («Ночлег», «Владимирка и Клязьма»), в больнице («Сцены в больнице»), в людской («Вечер»), на железной дороге и т. д. В рассказе «Бабье сердце» действие происходит на постоялом дворе, в сцене «В трущобах» — в кабаке.

Речи персонажей даны Слепцовым с присущим ему мастерством языковой характеристики, умением передать богатство интонации живой разговорной речи представителей разных социальных слоев.

БАБЬЕ СЕРДЦЕ

Большая, грязная изба с широкими по стенам лавками, заменяющими нары, на которых лежат, во всевозможных положениях, человек 10 рабочих крючников. Мириады мух летают по всем направлениям и жужжат свой гадкий, сонливый концерт. В одном углу, вслед за продолжительным зевком, слышится что-то вроде песни. И затем удар по лбу и очень крепкая брань, заменяющая посмертную внушительную речь убитой мухе. В другом проводится, особого рода, рассыпчатая нота и певец, молодой парень Филипп — садится на постели. На прилавке у печки лежит, вверх лицом в соблазнительном, сонном неглиже, осыпанная мухами, кухарка и сопит на всю избу.

— Устюха-то воюет! — высказывает один крючник.

— Воюет,— сонно проговаривает Филипп, нехотя подходит к столу и зачерпывает из жбана ковш квасу.

— Одне-то мухи,— ворчал Филипп, выливая квас в лохань.

— Устюха! Устюх! Экий чёрт, как дрыхнет... Устюха!! — орет он на всю избу.

Устюха быстро вскакивает.

— Принесь кваску! — командует Филипп.

— А, расстреляло бы вас! И уснуть-то не дадут,— ругается Устюха, с трудом поднимаясь с прилавка и подходя к жбану.— Есть ведь еще квас-то, хватило бы еще напиться-то.

— Пей сама, с мухам-то,— ворчит Филипп.

— И ты выпьешь; не велика фря,— заканчивает Устинья, хлопнув дверью.

— И какие, братец ты мой, эти бабы задорные, что кажется... диковина! Другая, дьявол, и вся-то с мышь, а так кошкой в глаза и кидается; так вот, кажется, съесть тебя и норовит,— рассуждал по уходе Устиньи Филипп.

— Это уж у них нрав такой, потому как силишки у них нет, воли таперича тоже муж али там свекор не дают, ну, вот она, значит, и злобится,— сказал старый крючник.

— Да и в рассудке-то она не то что наш брат-мужик,— подсказал из другого угла Павлуха.

— И в рассудке тоже, да! — согласился старик.

— Ежели ты теперь бабу в озорь вгонишь, беда! — отозвался снова Павлуха, подходя к старику.

— Потому баба дура и рассудка понимать не может. Отчего теперь у нас по деревням дележ? Живут холостые ничего, а как женятся, так и давай делиться. Отчего, как не от баб?

— Понятное дело, от баб,— согласился старик.

— Пойдут у них смуты да руготня: то горшок не тут поставили, то ребятишкам своим каши дала, а мои голодом мрут... да и чёрт их не разберет.

Устина приносит квас.

— Такой народ уж, братец мой, не сообразный,— рассуждал старик.— Это верно, что не сообразный. И ничего они, в этом своем дурачестве, понимать не могут. Как есть, значит, полоумные. Я тебе что обскажу, дядя Михей?..— погоди, дай только кваску выпить. Был я, братец мой,— начинает Павлуха, выпив четыре ковша квасу,— мальчонко лет шестнадцати. Только и послали меня в правление оброк снести, потому как батюшка ходил тогда по портным и работа была у него спешная, к свадьбе, а родительница на ту пору маненько разнедужилась; говорит: поди ты, Павлушка, снеси в правление оброк. Ну, ладно, пошел. Мороз, голова, страшный, и опять же вьюга такая случилась на ту пору. Насилу-насилу дошел до правления-то. Тут опять неладно: старосты нет, по деревням уехал за оброком тоже. Вот я приехал в правление-то дожидаться, да и задремал, потому назябся, в тепле-то и расшпарило. Задремал я, братец ты мой; а деньги-то у меня были в пазухе, да все, знаешь, медняки и завязаны в худом платчишке. Вот как я задремал, деньги-то у меня и выпади из-за пазухи-то; платчишка то прорвался, они, знаешь, потому-то и покатились, да пятак серебра упади под пол. Искал, искал его, нету и шабаш. Так, значит, без пятака серебра этих денег у меня староста и не принял. Ступай, говорит, принеси все, потому, говорит, ежели я таперича с одного недополучу пятачок и с другого пятачок... что ж это такое будет? А за пятачком, говорит, мне к вам в деревню не ехать. Так я и пошел домой. Иду да реву; думаю, что будет. Пришел, уж смеркалось; огни зажгли; девки на беседу собираются. Прихожу, братец мой, в избу... И век мне этого, кажется, не забыть!!. Родительница сидит и прядет, а сестра сбирается на беседу. Вот только родительница и спрашивает: Отдал,— говорит,— оброк? — Нет,— говорю,— не отдал,— а сам реву.

— Что же,— говорит,— ты не отдал?

— А так и так,— говорю,— пятак серебра потерял.

— Как так! — говорит и поднялась, схватила она, дядя Макей, со стены чересседелишник и ну меня зваривать; порола, порола, замучилась, села, пошла опять ругаться. Я реву. Потому, что́ супротив родительницы сделаешь? Мать, значит! Ну, вот, ругалась, ругалась, да опять за чересседелишник, да опять драть. Устала опять, села ругаться... да всю ночь, голова, эдак-то: поругается, да опять за чересседелишник, устанет; опять ругаться; напоследях я уже и реветь отстал, потому стал у сердца словно пыж какой: не крикнуть, не дохнуть. Так уж третьи петухи пропели, сестра с беседы пришла; тогда только маленько старуха очувствовалась, что за пятак серебра она, значит, так тузила меня. Спина-то, голова, вся лоскутьями сошла; две недели я, значит, с печи не слезал. Так вот оно што! Баба, как остервенится, с ума сойдет, ничего не помнит и не чувствует — кровь пролить может.

— Это что же, выходит, за мать! Это зверь лютый, выходит, а не мать,— сказал Филипп.

— Нет, не зверь лютый, а, значит, человек такой горячий, что сам себя помнить не может, когда в горячку взойдет,— объяснил Павел.

— Ну, а отец-то что же? — спросил Филипп.

— А отец, братец мой, пошшупал ее порядком. Пришел он тогда с работы, на другой день. Я лежу. Вот подходит он ко мне... Что ты? — говорит. Я говорю: ничего. Да и не стерпел, как зареву, зареву! Он и уставился на меня. Я кое-как это, знаешь, сдержался, перестал реветь-то, да и говорю: Дай мне, батюшка, пятак серебра взаймы.— На что, говорит, тебе?— Отдать,— говорю, — матери, потому как я пятачок серебра потерял, и она меня сегодня за него целую ночь била чересседелишником... Тут я опять-таки не мог удержаться: заревел, потому так горько сделалось, что уж и



ТИПЫ КРЕСТЬЯН
Рисунок А. А. Попова, 1860-е гг.
Третьяковская галерея, Москва

не знаю. Вот отец заворотил у меня рубашку, поглядел мне на спину; а у меня, знаешь, мясо-то лоскутьем так и висит. Как он ахнет, да к ней, к матери-то, знаешь.— Ты что,— говорит,— злодейка, делаешь? — Я,— говорит,— сейчас тебя с одного разу убью и сам за тебя в Сибирь пойду, потому,— говорит,— ты кровь сыновью пьешь; ты,— говорит,— хуже волчицы... и пошел, и пошел!.. схватил, братец мой, он ее за косы, переволок через всю избу к порогу да возжами ну ее садить... тоже так остервенился, что, кажется бы, он убил ее тогда до смерти; да, спасибо, помешал сусед; пришел на тот случай и отнял, а то бы тоже беда.

В избе было тихо. Все находились под влиянием рассказа.

— Вы тоже, ягоды, хороши...— молвила, наконец, кухарка.— Другой готов жену-то до смерти забить; благо сила есть, так и давай тузить; особливо пьяница попадет: сам из кабака нейдет, из дому все тащит, а жена майся... уж отстаньте-ко вы, Христа ради.

— Да ведь, не все мужики пьяницы, есть и бабы... что ты больно на мужиков-то указываешь. Ваша сестра тоже, брат, не поддастся пить-то.

— Некогда нашей-то сестре пить-то. Только и свету видишь, что в девках; а как вышла замуж, так и пошли беды да горе; в большую семью попадешь, так то свекровь тебя лает, то золовки, то муж дурак али пьяница какой, буян, навяжется; у всех живешь под началом, всех боишься; слова, другой раз, сказать, не смеешь; так вот тебя все и шпыряют; особливо, коли бабенка тихая попалась; кидаются на нее ровно, прости господи, на мокрую мышь.

— А в одиночестве и еще того не слаще: то робятишки кричат, то скотина не уряжена, то изба не топлена... все дело, да забота; а мужику что? Завалился на всю зиму на печь и лежит, как боров. Поневоле дурь в голову лезет.

— Ну что ты мелешь-то, что мелешь! — мы про Ерему, а она про Фому,— мы говорим, что бабы задорливы, ужиться не могут друг с дружкой, да лаются с пусту; а она бобы разводит: заботы, вишь, бабе много. Сказано баба, так баба и есть,— толковал Филипп.

— Бабе-то не грех и поругаться, потому участь ее такая горькая; все на ее, поневоле зло разберет. А вы, мужики — дураки, напьетесь да деретесь, так это ничего?

— Дура ты бестолковая...— начал было Филипп.

— Дурак ты бестолковый, пьяница!..— загорланила Устюха, но в избу вошел приказчик одного местного купца и прервал начавшуюся брань.

— Устюха, Устюха, постой! Что ты? — обратился он к ней.

— Ничего. Так, проехало,— ответила Устюха, начиная возиться с горшками.

— Ах ты, волк те ешь, а! Да она у вас, братцы, воин,— обратился он к крючникам.

— Пожалуй, спускай им, они запрягут, да и поедут,— ворчала Устюха, задвигая горшки.

— Молодец, Устюха! Не поддавайся им,— шутил приказчик.— Ну вот что, робяты,— обратился он к крючникам,— Гальот приплыл с мукой. Хозяин прислал: коли по три копейки с куля берете, так ступайте выгружайте, а то так в Кривоногову артель пойду.

— Дешево,— говорили крючники.

— А далеко ли носить-то? — спросил старик.

— Сущие пустяки. Гальот приплыл к самому амбару.

— Все-таки дешево. Прижимка нашему брату,— толковали крючники.

— Ну, да ведь уж теперь не у работы. Делать нечего, робяты,— рассуждал старик.— Сейчас што ли выгружать-то? — обратился он к приказчику.

— Сейчас, сейчас, сбирайтесь.

— Ладно, пойдем, делать нечего, авось когда-нибудь наверстаем,— толковали, сбираясь, крючники.

Скоро изба опустела, и оставшаяся Устюха, задвинув в печь ведерные горшки, завалилась на лавку и захрапела на всю избу.

(1866 г.)

VII

Сцена «В трущобах» — второе неизвестное произведение Слепцова, опубликованное в газете «Минута», 1880, № 12, от 13 декабря (см. выше вступительную заметку к публикации сцены «Бабье сердце»). Печатая это произведение, редакция газеты снабдила публикацию следующим подстрочным примечанием: «Помещаемая сцена В. А. Слепцова принадлежит к серии ненапечатанных его произведений. Она написана в 1866 г. и не попала в „Современник“ за прекращением в том году журнала. Воспроизводя картину трущобных нравов, автор, конечно, не мог придать ей изящный колорит, но это выкупается реальностью и талантом». В этой оговорке об отсутствии «изящного колорита» в произведении писателя-демократа отразились направление и характер «благонамеренной» газеты.

В ТРУЩОБАХ

Внутренность кабака: налево от входа — буфет, на котором стоит бочонок вина; за буфетом сидит виноторговица — толстая, растрепанная баба, лет пятидесяти; против буфета, налево от входа, по стене два окна, около которых прислонена к стене скамья; поваленные друг на друга ящики образуют из себя стол; из буфета дверь в другую комнату. На лавке, около окна, схватив голову руками, охает и стонет Капустин — мужик в рубище; у стола, на лавке, полулежит Авдотья — женщина, одетая в изодранное ситцевое платье.

Авдотья (*поет сиплым голосом*). «Что несчастная девчоночка на свете... девка рождена!..»

Виноторговица. Что хайло-то дерешь? Дьявол! Ну?

Авдотья. Не мешай, тетка Марья!.. «Ай да при кручине...»

Виноторговица. Перестанешь ли ты, ведьма?.. Расстреляй-те горой! Целый день только ее и слышно — паскуда! Головушку всю расхватило... орет! (*передразнивая*) А-а-а! Тьфу ты, бесстыжие зеньки!

Авдотья. Ха-ха-ха! Веселая голова, значит! Вот что!! А ты, тетка Марья, не ругайся; потому, я первый твой покупатель!

Виноторговица. Легко ли, голова, первый покупатель!

Авдотья. А-то не первый, скажешь?.. мало тебе я пропиваю?

Виноторговица. А я за вас мало передавала? Всякого будочника, как свинью какого, угощаешь... а из-за кого всё?

(Входит Архипов — прогнанный приказный, в оборванном, крашенинном халате и триповой шапке; за ним следует Бурлак, в холщевой рубахе и лаптях, за плечами у него котомка).

Авдотья. Становой идет, смирно!

Архипов (*к Бурлаку*). Покупай ты, братец мой, с первого разу, сичас, косушку! (*к виноторговице*) Марья Петровна, косушку!

Виноторговица. Деньги давайте (*встает*).

Бурлак (*вынимает кошелек*). Почем косушка-то?

Виноторговица. За каку косушку хватишься: есть косушка — гривенник, есть — и двенадцать копеек.

Архипов. В двенадцать давай!

Бурлак. Будет, в гривенник!

Архипов. Ты, братец, этого дела не смыслишь, так и не толкуй! Выпячивай, знай, четыре гривны (*Бурлак со вздохом отдает деньги. Архипов берет косушку, несет ее на стол и садится на лавку*). Будь здоров! (*пьет и выливает из косушки остаток в стакан*). Пей?!

Капустин (*к Бурлаку*). Братишшо, а братишшо!

Бурлак (*оборачиваясь, смотрит на Капустина*). Ась?

Капустин. Оставь, братишшо, капельку; пусти душу на покаяние (*Бурлак отворачивается. Капустин встает с лавки и подходит к нему*). Сделай милость, братишшо! Будь отец родной! Оставь капельку. На, вот, закусочки (*достает из-за пазухи луковицу*). Закуси! (*Бурлак пьет. Капустин жадно следит за ним, приговаривая*): Сделай милость, братишшо! Вся душенька сгорела!

Бурлак (*отдает Капустину недопитый стакан*). На, охмелись! (*закусывает луковицею, достает из котомки хлеб и начинает есть*).

Капустин. Спасибо! (*берет обеими руками стакан, с трудом подносит его ко рту, нервически вздрагивает всем телом, пьет, рыгает и закрывает рот руками*).

Виноторгов ица. Ну! Козла драть!.. Вон! (*Капустин убегает*).

Архипов (*подходит к буфету*). Папиросочку, Марья Петровна!

Виноторговица. Давай копейку!

А р х и п о в. За мной будет, отдам (*показывает на Бурлака*). Вишь, доход сидит!

В и н о т о р г о в и ц а. Все вы так: в долг да в долг, а после... (*дает папироску*).

А р х и п о в. Не сбегу с копейки-то! Что больно строга стала? (*закуривает и идет к столу; садясь, обращается к Бурлаку*). Ну, мила голова, сказывай теперь, какое твое письмо будет: к кому и как, и что, и почему, все как есть.

Б у р л а к (*с трудом проглатывая кусок хлеба*). А пиши ты, таперь, перво-наперво, родителям (*откашливается*). Пиши: так и так, значит, Петру Сидорычу от сына вашего Трофима...

А р х и п о в. Да, этому нечего учить, знаем. Сказывай настоящее-то дело в чем; как и что... понял?

Б у р л а к. Понял!.. и ветра, пиши, смяли все дело... насилу из харчей выбился и денег таперича у меня гроша нет и любезные родители... а... а...

А р х и п о в. Знаю, знаю, письмо значит, надо писать жалосливое, чтобы в слезы ударило... так?

Б у р л а к. Да, уж, чтобы слезы прошибли.

А в д о т ь я (*к Архипову*). Становой, дай покурить-то?

А р х и п о в (*к Авдотье*). Не мешай! (*К Бурлаку*). Могу и так, только, брат, за такое письмо такая и плата будет.

А в д о т ь я. Архипов, дай папиросочки-то?

А р х и п о в. Сказал тебе не мешай, дьявол!

А в д о т ь я (*плюет*). Тьфу! Ты, чёрт гнилой! (*отворачивается*).

Б у р л а к. А ты что бы взял? (*снова начинает есть хлеб*).

А в д о т ь я (*к Бурлаку*). Что ты с ним связываешься! Он и писать-то не умеет; он только обманывает вашего брата.

А р х и п о в. Тебе ли говорят, отстань?

В и н о т о р г о в и ц а. Дунька! Отстанешь ли ты, ведьма?

А р х и п о в (*к Бурлаку*). За такое письмо полтинник, меньше взять нельзя!

Б у р л а к (*перестает жевать*). Ай парень! Полтинник! Чтой-то больно дорого?

А р х и п о в. А то же вот! Ты что думаешь об этом об письме-то? Перво дело я голову должен ломать над ним, а потом еще умеючи надо и голову-то ломать. Поди-ка, попытай, отдай другому, так он тебе и наврет.

В и н о т о р г о в и ц а. Это верно! На все сноровку надо.

Б у р л а к (*в раздумье*). Дорого полтинник! (*качает головой*). А ты взял бы, хошь, трехгривенный.

А р х и п о в. Хм!.. Трехгривенный! Ты пойми, голова, надо, чтобы слезы прошибли! Уж я так напишу, что одно слово!.. опять и к жене, чай, поклон надо, то, другое, прочее! Все в одну цену ведь.

В и н о т о р г о в и ц а. Попишем!

Б у р л а к. Да, ведь, вот я купил косушку; четыре новых гривны, оно тоже без мало полтинник будет.

А р х и п о в. Ну, вот что! Делать-то видно с тобой нечего, мужик-то ты больно хорош! Покупай ты еще косушку королевской да бумага, чтобы твоя была.

Б у р л а к (*покачивая головой*). Дорого! Да ты, смотри, пожалосливей! На ветра-то больше напирай.

А р х и п о в. Да уж ладно! Покупай королевской и бумаги, вот у Марьи Петровны... есть? (*вбегает неизвестный человек с узлом под мышкою*).

Неизвестный человек. Марья Петровна! На два слова *уходит за перегородку*).

Виноторговица. Што тутя ишшо! (*тоже уходит*).

СЦЕНА ЗА ПЕРЕГОРОДКОЮ

Виноторговица. Ну что?

Неизвестный человек (*развязывает узел и выкладывает з него разное белье*). А вот что! Видела? (*торжественно смотрит а нее*).

Виноторговица (*перебирая белье*). Видела! Рубаха женская *рассматривает*), тонкая, ничего! (*бросает и берет другую вещь*). Юбка з бумазеи. Ничего (*наклоняется и перебирает*). Детская рубашка, кофта, ужская рубашка. Белье-то все хорошее... да еще и мокрое! Где это ты лямзил?

Неизвестный человек. Да уж дело мое! Озадков не бу-ет, не бось!

Виноторговица. У тебя все не будет: вы что, ведь, отчаян-ый народ, только бы спихнуть вам, а тут и отвечай за вас (*перебирает елье*). Говори, где украл?

Неизвестный человек. Там, на углу... да уж полно, дай похмелиться-то.

Виноторговица (*продолжает перебирать белье, говорит сама собою*). Хорошо белье-то; дать, видно, за него целковый (*к нему*). Да где на углу-то?

Неизвестный человек. Мало целковый-то; прибавь что-нибудь.



В ХАРЧЕВНЕ

Картина маслом А. А. Попова, 1859 г.

Третьяковская галерея, Москва

Виноторговица. Где украл-то?

Неизвестный человек (*шепотом*). У Ключевых! Да дай, хоть, два-то целковых! Сделай милость!

Виноторговица (*завертывая белье*). Пошел! Пошел! Целковый да полштоф на похмелье! — будет.

Неизвестный человек. Мало, ей-богу, мало!

Виноторговица (*прячет белье подпол*). Ступай, говорят! экий дьявол.

Неизвестный человек. Да сделай милость!

Виноторговица. Ступай! Расстреляло бы те горой! (*толкает его и сама идет за ним*).

СЦЕНА В КАБАКЕ

Виноторговица (*наливая полуштоф*). Ну, на! (*снимает с себя пояс и отпирает привязанным к нему ключом ящик, достает из ящика деньги*).

Неизвестный человек (*наливая стакан, пьет и затем наливает снова, подает виноторговице*). Кушай!

Виноторговица (*подает ему тихонько деньги и берет стакан*). Будь здоров! (*пьет*).

Неизвестный человек (*наливает еще стакан, пьет и потом снова наливает, подносит Авдотье*). Дуня!

Авдотья (*берет стакан*). Ну, здравствуй! (*К Бурлаку*). Дай-ко закусить-то, душенька, чужой дружок (*заигрывает с ним*).

Бурлак (*ухмыляется*). Изволь (*достает из котомки хлеб*).

Архипов (*к Бурлаку*). Тащи косушку-то, да и бумаги покупай!

Бурлак (*подходит к буфету*). Тетя!

Виноторговица. Что тебе?

Бурлак. Бумага есть?

Виноторговица. Есть!

Архипов (*кричит из-за стола*). Бумажки листик, Марья Петровна, чернилицу, перышко да королевской косушку!

Виноторговица (*к Бурлаку*). Так бы и говорил!.. давай двугривенный за все!

Бурлак. Уж и двугривенный; чтой-то больно дорого?

Виноторговица. Ну, поди, попытай, купи чернил-то да перо, что с тебя возьмут... попытай!

Архипов. Тут, братец ты мой, лишку не берут; дело по чести делается.

Бурлак (*достает кошелек и мотает головою*). Двугривенный! Ах в рот е... А? Двугривенный!.. шабаш!! (*отдает деньги*). На двугривенный.

Виноторговица (*берет деньги, достает с полки косушку, лист бумаги и чернильницу*). Держи! (*Бурлак забирает все и несет к столу*).

(Входит квартальный, городовой, купец Ключев и низенький коренастый рабочий при фартуке).

Рабочий (*показывая на неизвестную личность*). Вот этот самый, ваше благородие!

Квартальный. А-а! (*оглядывает всех. К Авдотье*). Ты здесь зачем?

Авдотья. Вышить.

Квартальный. Вон! (*Авдотья уходит*).

К в а р т а л ь н ы й (*к Архипову*). Ты что здесь?

А р х и п о в (*встает*). Письмецо мужичок просит написать.

К в а р т а л ь н ы й. Проваливай! Тут не контора (*Архипов машет мужику, и оба потихоньку выходят. Неизвестный человек тоже хочет улизнуть и пробирается сзади городового к двери*).

Г о р о д о в о й (*схватывает его*). Стой!

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к. А что?

К в а р т а л ь н ы й. Ты погоди, поговори, не торопись, ступай ко мне поближе. (*Неизвестный человек подходит к квартальному; последний обращается к рабочему*). Так ты видел его? Говори, как было дело.

Р а б о ч и й. А несу я, ваше благородие, давича коням сена, только вижу, этот самый человек шмыг из сеней и под мышкой у него узел; я и подумал, что он ходил к куфарке, потому у нас таперь куфарка новая, так може, мол, какая родня ее; так промежду глаз и спустил. Ну, только не в долгих. Слышу, кричит хозяйка, белье пропало. Я, значит, ей и обсказал все дело, и...

К в а р т а л ь н ы й. Довольно! (*к неизвестному человеку*). Слышишь?

Н е и з в е с т н а я л и ч н о с т ь. Слышу-с! Только это все неправота-с.

Р а б о ч и й. Как неправда?

К в а р т а л ь н ы й. Погоди! (*к неизвестному человеку*). Ты не вертись, а говори правду!

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к (*перебивая*). Да, ваше благородие, что мне теперь вертеться-то? Я, извольте спросить, с утра здесь.

К в а р т а л ь н ы й. Бобов не разводить!! Сказывай, где белье?

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к. Грешно, ваше благородие, обижать бедных людей! Ей-богу, грешно!

К в а р т а л ь н ы й. Сашка! (*грозит ему пальцем*). Смотри! Я тебя спрашиваю по чести, а то...

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к (*перебивая*). Да издохни душа моя! Ваше благородие, знать ничего не знаю, ведать не ведаю.

К в а р т а л ь н ы й. Одна песня! Разве я тебя не знаю!.. сколько раз уже попадался?

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к. Ваше благородие! Я человек бедный, мало ли грехов может случиться, только в этом не причастен, провалиться мне на сем месте!.. не обозрить света божьего!

К в а р т а л ь н ы й. Стой! Говори дело, а нет, хуже будет! Сознавайся! прощал, ведь, я тебе, когда ты сознавался?

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к. Прощали.

К в а р т а л ь н ы й. И сознавайся. Где белье?

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к. В тар-тарары провалиться! Лопни моя утроба!

К в а р т а л ь н ы й. Тьфу! Ты подлец! Ну, что божишься-то! Осел! Кто тебе поверит! Я тебя спрашиваю, где белье? Здесь, что ли?

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к (*притворяясь плачущим, трет глаза*). Что это, господи! Царь ты мой небесный!

К в а р т а л ь н ы й (*строго*). Я ж тебя спрашиваю последний раз: хочешь сказать, где белье, я прощу тебя и, вот, господина Ключева попрошу не начинать дела, а не хочешь — в острог упрячу!!

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к (*на коленях*). Батюшка! Отец! Ваше благородие! Ваше сиятельство! Николай чудотворец! Ничего не знаю и невинно погибаю! (*Целует ноги квартального*). Невинно... О!..

К в а р т а л ь н ы й (*городовому*). Оттащи его! (*городовой поднимает неизвестную личность*). Слушай! Ты надеешься, что я не найду? Найду! Я знаю, что здесь все и найду! Весь кабак переворочу; понятых нагоню, тогда (*горячась*) в каторгу разбойника! В рудники! (*К виноторговице*). Да

и до тебя, голубушка, доберусь! (*Неизвестной личности*). Говори, ракалия! Где белье?

Неизвестный человек (*на коленях*). Отец! Отец! Виноват, прости!

Квартальный. Ну говори!

Неизвестный человек. Простите ли, батюшка, спаситель?

Квартальный. Сказал, прощу. (*К Ключеву*). Вы простите его или дело начнете?

Ключев. Бог с ним совсем, пускай отдаст только, что взял.

Квартальный. Ну, где белье?

Неизвестный человек. Здесь, батюшка!

Квартальный (*к виноторговице*). Давай сюда белье! (*виноторговица мнется и что-то мычит*). Ну, что еще заюлила?

Виноторговица. Ваше благородие, я... я...

Квартальный. Не разговаривать!

Неизвестный человек. Давай, уж, Марья Петровна, грех пришел!

Виноторговица. Молчи, вор! Отдай мой целковый!

Квартальный. Неси, неси белье-то (*виноторговица уходит за перегородку. К неизвестной личности*). Подай деньги!

Неизвестный человек (*вынимает из кармана деньги*). Извольте, ваше благородие. Ничего не пропил.

Квартальный (*усмехаясь*). Не успел, значит! (*кладет деньги в карман*).

Виноторговица (*возвращаясь с бельем*). Ведь он, ваше благородие, продал мне за свое. Я бы и не подумала связываться с ним, как бы знала, что он, паскуда эдакий, украл это. Порочит только честных людей (*к неизвестному человеку*). Подай мой целковый.

Квартальный. Целковый твой у меня! Ты зайди вечером в 6 часов ко мне, да смотри же, чтобы не посылать за тобой... Поняла? (*значительно глядит на нее*).

Виноторговица (*нехотя*). Поняла! (*к неизвестному человеку*) У-у, ты, дьявол! Погоди! (*грозит ему кулаком*).

Квартальный (*отдает Ключеву белье*). Посмотрите, все ли цело?

Ключев (*рассматривает и потом запускает руку в карман*). Все, ваше благородие! Покорнейше благодарим! (*подает ему руку*).

Квартальный. Не на чем, не на чем! (*трясутся руками*).

Ключев. Мое почтенье. (*К рабочему*). Пойдем, Митрей (*идут*).

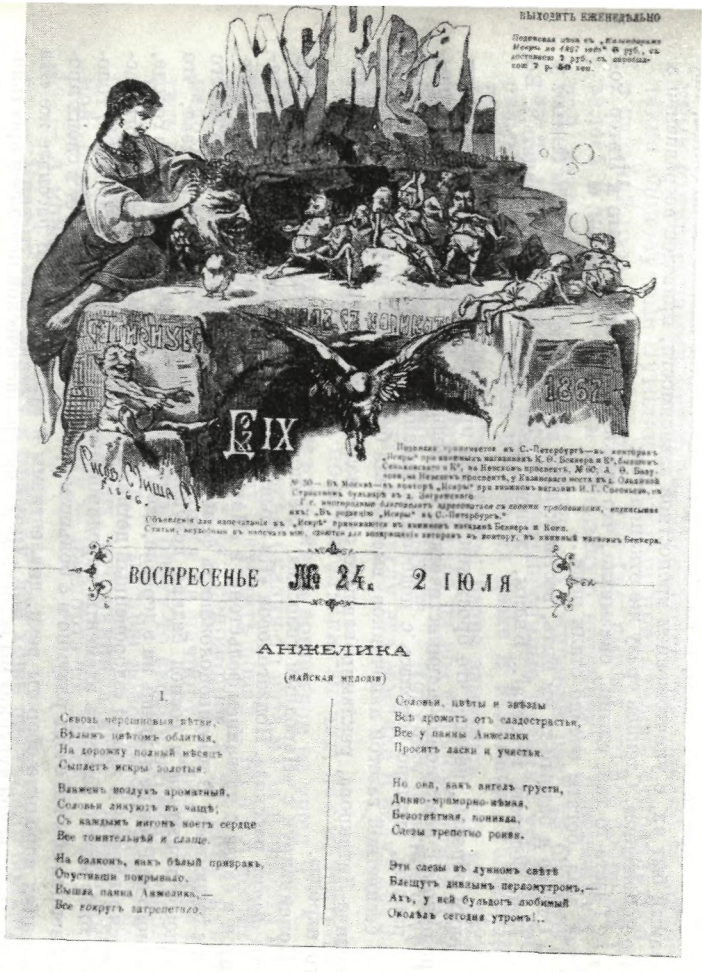
Квартальный. Прощайте (*отворачивается к окну, смотрит к себе в руку и кладет в карман*). А ты, смотри, не забудь же вечером ко мне зайти! (*многозначительно*) Слышишь? (*К неизвестному человеку*). А ты, гусь, пошел вон отсюда! Да смотри... берегись (*уходят*).

Виноторговица. Вот ты говоришь. Спишь да выспишь беду-то. Приди к нему вечером! Он тебя и облупит!.., а чтоб вас драли горой, собаки! Грошика не дадут нажить, все им подай! Эка жись дьявольская!..

<1866 г.>

VIII

Вопрос об участии Слепцова в «Искре» Курочкина до сих пор оставался невыясненным. *Печататься в* этом журнале Слепцов, по-видимому, начал в середине 1860-х годов. Однако если учесть, что фельетон «Притчи и видения» был *приготовлен* для «Искры» еще в 1862 г., то следует говорить о более ранней связи Слепцова с редакцией журнала (см. об этом ниже в комментариях к «Притчам и видениям» и «Провинциальной хронике»).



ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Подписная цѣна съ „Иллюстрированнымъ Искрою“ на 1867 годъ 6 руб., съ пересылкою 7 руб., съ доставкою 7 р. 50 коп.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ—въ конторахъ „Искры“ при книжныхъ магазинахъ К. Ю. Беккера и К°, бывшихъ Сѣнковскаго и К°, на Невскомъ проспектѣ, № 60; А. Ф. Бидермана, на Невскомъ проспектѣ, у Казанскаго моста и въ С.-Петербургѣ—въ конторѣ „Искры“ при книжномъ магазинѣ И. Г. Спасовскаго, на Страстномъ бульварѣ въ д. Загряжскаго.

Г. г. иногородные благоволятъ адресоваться съ своими требованіями, исключительно въ „Въ редакцію „Искры“ въ С.-Петербургѣ.“

Объявленія для напечатанія въ „Искрѣ“ принимаются въ книжномъ магазинѣ Беккера и Кони.

Статьи, присылаемыя въ редакцію или сообщаемыя для напечатанія авторомъ въ поэтику, въ книжный магазинъ Беккера.

XIX

1867

ВОСКРЕСЕНЬЕ № 24. 2 ІЮЛЯ

АНЖЕЛИКА

(майская мелодія)

I.

Сквозь черешневый цвѣтъ,
Вѣянъ цвѣтомъ облитый,
На дорожку полный мѣсяцъ
Сыплетъ искры золотыя.

Вѣянъ воздухъ ароматный,
Соловьи дикуютъ въ чащѣ;
Съ каждымъ игомъ хочетъ сердце
Все томительнѣй и слаще.

На балконъ, какъ бѣлый призракъ,
Опустивши покрывало,
Вышла панна Анжелика,—
Все вокругъ затрепетало.

Соловьи, цвѣты и звѣзды
Всѣ дрожатъ отъ сладострастья,
Все у панны Анжелики
Проситъ ласки и участья.

Но она, какъ ангелъ грусти,
Дивно-мраморно-нѣмая,
Безотвѣтная, поникла,
Слезы трепетно роняя.

Эти слезы въ лунномъ свѣтѣ
Блещутъ дивнымъ перламутромъ,—
Ахъ, у ней былого любимый
Сколѣлъ сегодня утромъ!..

А на то глядя, чтобъ твоя жена
Молодецъ была, да была сильна:
Чтобъ въ рукахъ у ней языкъ сговорилось,
Чтобъ во всемъ тебѣ съ ней не говорилось.

Чтобы гость у васъ не съ пива хмѣлѣлъ,
А отъ радости веселѣлъ—сидѣлъ;
Чтобъ честной народъ толковалъ про васъ:
„Вотъ такъ парочка—умереть сейчасъ!“

III.

Чтожъ, что родомъ я не боярскій сынъ,
Не вошелъ въ міръ моей христіанской тѣнь,
Не полна наша житной казной
Потому, какъ есть, я мужикъ простой.

Не велѣлъ еще такой почесть
Что боярскій сынъ больше честь на пиръ,
Не велѣлъ честь я на себѣ, мошну,
Волъ чужимъ трудомъ добыта вдоль...

А ужъ вотъ тѣмъ честь, что мужикъ простой
И себя вспоилъ и народъ честной,
Да и мнѣ она по плечу, та честь,
Потому простой я мужикъ, какъ есть...

IV.

Коли холодъ-гость заберется въ домъ,
Еще можно съ нимъ воевать путемъ,
Есть большой самъ, есть жены большой,
Чтобъ въ отвѣтъ быть головой одной...

А какъ голодъ-гость заберется въ домъ,
Такъ и онъ—домой передъ нимъ ничемъ,
Хоть семейный будь, хоть дикой бобыль—
Перетъ вонъ-то ты, что трава-конылъ.

Какъ хохлякъ онъ распорядится:
Слышь, не под'ѣ твое припарядится—
И поплелись вонъ изъ избы съ сумой
Погулять босымъ по землѣ родной...

Омулевскій.

НА СТАНЦІИ МОСКОВСКОЙ ЧУГУНКИ

(изъ слышаннаго и видѣннаго)

Чуть-ли не въ три часа, отъ нашего ли ранняго—до отвратительнаго поздняго завтрака,—вообще, по обыкновенію, въ сосѣдствѣ нашей горки, состоявшей изъ самыхъ разнообразныхъ матеріаловъ, что вамъ большими кочешками и перловыми изюмами. Жена дала мнѣ, однако-жъ, позавѣдать и такого сладкаго путевика, который приплелся откуда-то изъ дальней дали, не нарочитую ужъ на-глядь: потомъ что вы тамъ ни говорите, а все-таки есть небольшое удовольствіе посмотрѣть, какъ пищатъ и ѣдятъ... Я брать-то ѣсть по сказкѣ мать, ты видалъ, что-ли, какъ ѣдятъ сказки за завтракомъ... Я, братецъ ты мой, на потѣху... по городскимъ-нибудь тамъ, замѣтилъ сейчасъ...

— Не понялъ-съ... въ какомъ-съ мѣстѣ-то такомъ?

— Да, не цѣнятъ... Видалъ, значитъ, кто ихъ за сосѣ такъ, аль что... Только тамъ тебѣ-то тое пошло, а мнѣ-то о той порѣ и слопнули... Ну добрые мѣста сказки... Такъ, вотъ, и такъ то-нибудь сказываютъ-съ, начнутъ... Знаешь, вотъ такъ: бѣлъ-то сказка мастеръ есть... А тамъ... грястя жили отъ ужасти то взять стоя: такъ что... Гибѣлецъ тамъ... жили...

— А съ почты то что... аль что и было чудотво что сказывали: которое, вотъ?

— Шутъ... съ почты то-то... нельзя вѣдь мало... одинъ проѣзжій, тамъ вынутили... а только-что мѣстъ семь посидѣлъ. Вотъ они самые тѣмъ-то были приворотно-то мѣста!..

— И тюлечки разные, сказали, онъ затѣялъ по тамошнимъ сказкамъ... пивали, значитъ... потрясъ сказанные; тѣ жилъ-то я. Да, братецъ ты мой, вѣдь мы не выпускаемъ такое ощущать то, вѣдь мы и компанію не сдѣлаемъ... потому хоша-то такъ мы основные... только...

— Какъ, братецъ ты мой, онъ-то, значитъ, не пилъ жилъ-то? Ну, конь, къ примѣру сказать, у которого сказка и жилъ... вотъ отъ что большущая тонкій, не литейной отлитъ; въ водопровалъ ходитъ то и у него такъ тотъ, братецъ ты мой, какой изъ-за росту-то тонко что жилъ, а напримѣръ, сказка, камердинъ то его сказочный... Не обращалъ разныхъ бывалыхъ тотъ-то, рѣчи чтобъ, что сказочитъ и тотъ сказываетъ... а мнѣ то другаго

ЖУРНАЛ «ИСКРА». ЗДЕСЬ ВПЕРВЫЕ ОПУБЛИКОВАН РАССКАЗ СЛЕПЦОВА «НА СТАНЦИИ МОСКОВСКОЙ ЧУГУНКИ»

Титульный лист и страница с началом рассказа

«Искра», 1867, № 24

Рассказ «На станции московской чугунки» помещен в «Искре», 1867, № 24, за подписью В. С. В 1903 г. он был перепечатан в «Полном собрании сочинений» Слепцова, однако впоследствии оказался несправедливо забытым и в более поздние издания сочинений писателя не входил. В рассказе легко можно обнаружить типичные слепцовские интонации в описании народного быта. Сквозь легкий добродушный юмор писатель все время дает почувствовать повседневный трагизм жизни простого русского человека. Очень характерна фигура мужика, который «на родину-то чуть с христолюбивым воинством не ушел», т. е. по этапу.

В своем рассказе Слепцов затронул один из самых больных вопросов тогдашней русской деревни — вопрос об отхожих промыслах. В 1867 г. в связи с неурожаем огромная масса крестьян потянулась в город на заработки. Новое городское законодательство, разрабатывавшееся и проводившееся в жизнь с 1864 по 1870 г., пыталось как-то упорядочить экономическое, правовое и бытовое положение «отходников», искавших работы в городах. Однако все вводимые или предполагавшиеся изменения были слишком незначительны, чтобы с их помощью можно было облегчить положение этой группы трудового народа.

В газете «Народный голос», № 89, издававшейся неким Юркевичем-Литвиновым, были опубликованы предложения особой комиссии, занимавшейся пересмотром городских доходов в Петербурге. Предложения касались установления нового порядка взимания сборов с «торговой прислуги» и «промысловых работников». Чтобы обложить налогом всех без исключения лиц этих категорий, принадлежавших в большинстве своем к «отходникам», комиссия предлагала оплачивать «адресный сбор» «под видом обязательного взятия особых жестяных знаков, выдаваемых из сословных управ или из распорядительной думы, одновременно с торговыми документами». Издеваясь над такими «серьезными» изменениями в системе городского хозяйства, Слепцов называет это предложение «великими измышлениями» «Народного голоса».

Попутно Слепцов высмеивает еще одно утверждение этой реакционной газеты. По мнению «Народного голоса», новые налоги на работников вполне им по силам, так как «самый быт их, с уничтожением крепостной зависимости, приведен несравненно в лучшее положение». Слепцов сразу же откликается:

« — Газета-то тая, слышь, сказывала, что мужички, на лето-то, что в Питер ходют, так, мол, богаты оченно стали ноне...

— Отчаво и бедным-то им быть, вестимо: коли за податью ищо и хлебы бывают у них... Какáя бедность тутотка?.. Бядны, значит, коли хлеба в избах не видать... Во бядны!..»

Таким образом, первое, что бросается в глаза при чтении рассказа Слепцова, — это полемика с реакционно-шовинистическим «Народным голосом». В 1867 г. «Искра», как и раньше, активно боролась с подобными изданиями. Она называла «Народный голос» бесцветной газетой лавочников, высмеивала безграмотные редакционные статьи Юркевича-Литвинова, рекламировавшего свое издание как «сущий голос сущего русского народа».

Полемизируя с «Народным голосом», Слепцов использует характерную для этой газеты *форму* рассказа. Подзаголовок «Из слышанного и виденного», должно быть, находится в связи с названием фельетона в «Народном голосе», 1867, № 73, — «Виденное и слышанное». В противоположность фельетону, в котором говорилось, что «много отрадного» испытала у господ бедная девушка-гувернантка, Слепцов показал, что отрадного на Руси не найдешь ни в деревне, где мужики умирают от голода, ни в городе, где расправляется с женой «здоровенный детина-мещанин». В стиле слепцовского рассказа тоже можно заметить элементы пародирования беллетристики «Народного голоса». Слепцов обычно очень разумно и с большим чувством меры использует в своих произведениях народные обороты речи, диалектизмы и вульгаризмы. В рассказе же «На станции московской чугунки» мы встречаемся с натуралистической передачей крестьянского языка, может быть, именно потому, что это было присуще псевдонародным рассказам «Народного голоса», которые сплошь пестрели такими выражениями: «А кажинному в рай хотца», «Звянит звонок и тройка мчитца» и т. д. (1867, № 78, от 8 апреля).

Однако идейное содержание рассказа Слепцова не ограничивается полемикой с

«Народным голосом». В нем можно найти и скрытый намек еще на одного журнального противника «Искры» — газету «Голос». Говоря об издателе, в газете которого «о пачпортах тоже писали», Слепцов, несомненно, подразумевает здесь владельца «Голоса» А. А. Краевского, имевшего на Литейном проспекте собственный дом и бывшего «анаралом» в глазах народа. Сатирические выпады против «Голоса» можно найти почти в каждом номере «Искры» 1867 г. Подчеркивая, что программа «Голоса» в сущности столь же реакционна, как и программа «Народного голоса», «Искра» в статье «Новости отечественной журналистики» писала: «... чтобы публика не смешивала „Голос" г. Краевского с „Народным голосом" г. Юркевича-Литвинова, статьи ⟨...⟩ будут излагаться александринскими стихами, по возможности с рифмами». «В „Народном голосе" передовые статьи, не уступая в лиризме статьям „Голоса", дабы отличиться от последних, будут излагаться тоже стихами, но уже силлабического размера, который будет признан редакциею за размер народный» (1867, № 1, стр. 15).

Таким образом, рассказ Слепцова стоит в ряду боевых произведений «Искры», в которых с революционно-демократических позиций освещалась сущность либеральных реформ 1860-х годов и велась борьба с реакцией. И характерно, что Слепцов в трудном 1867 г. использовал трибуну наиболее передового изо всех оставшихся (после закрытия «Современника» и «Русского слова») органов печати — трибуну «Искры» — и сумел на ее страницах вновь высказать сокровенную мысль «Трудного времени», «Петербургских заметок», «Скромных упражнений» и других своих произведений.

НА СТАНЦИИ МОСКОВСКОЙ ЧУГУНКИ

(ИЗ СЛЫШАННОГО И ВИДЕННОГО)

Чуть ли не за три часа, если еще не раньше, до отхода пассажирского вечернего поезда, забралась, по обыкновению, в вокзал железной дороги достаточная масса серого народа, навьюченного, что́ вол, большими кожаными и парусинными мешками. Меж людей тех, однако ж, виднелись и такие злополучные путники, которым приходилось отправляться хотя и в дальний путь, но чересчур уж налегке; потому что все добро их укладывалось в кое-какую, очень небольшую котомочку, повешенную за спиной, наподобие солдатского ранца... В ожидании раздачи билетов на проезд по чугунке, терпеливые и всевыносливые путники усеяли собою все скамьи; а за недостатком последних даже и каменный, холодный пол... Говор и шум... ничего не разберешь; разве заметишь, что кто был весел, а кто и очень мрачно посматривал себе на все стороны, думая думу горькую... про житье-бытье свое горемычное... Подхожу к одному углу, где попросторнее других. Сидят в том углу два земляка и ведут дружную беседу.

— Чаво, братиц ты мой, по-приятельски, значит, как молвить-то тибе, так на родину-то чуть с христолюбивым воинством не ушел я... С этапом, значит,— так бы сказать... А всяя оказия-то эвта из-за пачпорта изошла: срок яму-то, пачпорту-то, значит, исходить почал... но я то, вестимо, прикопил на няво-то... ище удержался: сапожонки в ту пору купить бы надоть... не купил, значит; а норовил на пачпорт... Сроку-то ище не изойтить стало, как за месяц, кажись, брату-то своему отписал: вышли, мол, Ехстихнеюшко, поскорея вышли... писарю волостному, перво слово, не скаридничай. А на писаря, значит, руб накинул ищо... Ждать, братиц ты мой, пождать — нету, как нету,— пачпорта-то, тоись...

— А може брат-от?!.

— Брат-от мой, значит к примеру, дён хошь шесть, аль больши крошки в брюхо-то не пропущаит, а николи, ни то что чужих, так и отца родного копейки не заест... брат-от... Вот он есь какой... уродился... потому со дня на день тольки избываит... Отсрочка изошла... нету... Дворнику косухи три споил... как приступать-то очинно уж стал. Ноне, сказывал,

порядки-то на эвто самое строги очинно... хозяин-то мой, значит, и спужайся... выгнал прочь; ступай, мол, не надоть эвтаких... Отпиши я брату-то вторым письмом, значит: так, мол, и так, Ехстихнеюшко... погиб ведь здеся без пачпорта... А брат-от: во снях, мол, ты видал что-ли, что послал сюды на пачпорт... Я, братиц ты мой, на почту... потерялось письмо твое, тамотка сказывали.

— На почти-то... в казенном мести-то таковом?..

— Да, на почти... Украл, значит, кто ни на есть там, аль что... Только пока дело-то тое пошло, а миня-то о той поре и схапнули... в доброе место свели... Так, мол, и так, тамотка-то сказываю я, значит... Знаем, мол, вас: баять вы сказку мастера есть... А чаво... трясти миня от ужасти-то как стало, так что... Робятенки тоже... жана...

— А с почти-то что... аль все и было тутотка, что сказывали: потерялось, мол?..

— Нету... с почты-то тое... искали, вишь, миня... бумагу прислали, так выпустили... а ден-то никак семь посидел... Вот оно каково дело — без пачпорта-то здеся!..

— И газетчики разные, слышь, об эвтом же самом сказывали... писали, значит,— дворник сказывал; где жил-то я... Да, братец ты мой, верно всё не подходячее какое пишут-то, аль их и взаправду не слухают... потому люди-то, вишь, маненькие... тольки...

— Какó, братец ты мой, опять маненькие, не всеи маненькие-то; вон, к примеру сказать, у которого самово я жил... дом-от, что большущий такой, на Литейной стоит; в поддворниках жил-то я у няво; так тот, братец ты мой, какой маненькой; росту-то точно что мал, а анарал, кажись, камердир-то яво сказывал нам... В сборищах разных бывает тот-то; речи чужие, что сказывают-то, так слушаит... а дома-то другим, значит, газетчикам, что служат яму, так отписывать в газете-то своей велит; сам, вишь, к перу-то не больно охочь он... сказывали... Так в явонной газети-то о пачпортах тожи писали когда... Да всее...

— Нет, братец ты мой, Памфил, что эвти самые газетчики пишут... вестимо, надоть им тольки каким ни на есть занятием жить... вот и пишут они... Право слово!

— Не все и такие газетчики, вишь, сказывают: есть и хорошие промеж их-то... тольки, вестимо, мало; что в поли худом матерых колосьев бывает мало... хоша бы с пачпортами порешили поскоряе... а то... Одна, тож газетой какой прозывается... так тая, слышь, сказывал писарь мне,— хошь ищо и народным... чем ни на есть звать ее; а тая, вишь, хочит, — чтоб мужики,— что на лето в Питер приходют,— так жестянки бы брали* окромя пачпортов, заместо адресов... вот какие из Думы ноне на извоз, да разносчикам всяким дают. Газета-то тая, слышь, сказывала, что мужички, на лето-то, что в Питер ходют, так, мол, богаты оченно стали ноне...

— Отчаво и бедным-то им быть, вестимо: коли за податью ищо и хлебы бывают у них... Какá бедность тутотка?.. Бядны, значит, коли хлеба в избах не видать... Во бядны!..

— Газету-то тую, слышь, жид какой-то, аль поляк окрещенный держит... так сказывают-то право!..

— Ноне всякой народ, вестимо, за деньгу тольки что разве с крыши не соскочит наземь, а то всее давай яму... к чаму, и разуму-то нету у няво, и тое сладит... А таперя-то путину куды держишь?..

— В деревню охота попадать... вишь, отписали, что, мол, жана-то моя померла... Ну так с робятами тож сладиться надоть... Четверо их, робятто у миня... Ноне, кажись, не пойду сюды на заработки...

---

* Зри подобные великие измышления в № 89 «*Народного голоса*» — «Сбор с торговой прислуги и промысловых работников» (*автор*).



СЦЕНА У ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Акварель В. Г. Перова, 1868 г.
Третьяковская галерея, Москва

— А брат-от? За робятами-то пущай...

— У брата своих робят семеро будит, да ищо жена восьмым ходит... Так, значит, своим хлеба-то что тольки стает...

Меж тем три благородные джентельмена взапуски хихикают, чинно прогуливаясь по дебаркадеру. В такое веселое состояние духа юношей этих повергла одна до черезвычайности смешная сцена. Сцену эту приняли джентельмены, конечно, от нечего делать, созерцать в окно залы третьего класса; окно как раз выходило на платформу, по которой прогуливались наши франты. За окном тем представлялась знакомая российская картина, вроде той, какие, к сожалению, все еще не перестают попадаться не только в темных и все скрывающих закоулках нашей столицы, но даже и на более видных ее местах. Вся суть занимательной картины, которая повергла в восторг молодых джентельменов, была сама по себе до крайности проста и несложна: муж, здоровенный детина-мещанин, урезонивал свою жену сильным орудием доказательства, вроде зуботычин, преподносимых мощным кулаком... Вина злополучной жены состояла в выражении сомнения и соболезнования о том, что муж ее не удержится в пути и поддастся непременно пьяному бесу... Вот и вся история. Посмеяться есть над чем будущим семейным главам, у которых резоны будут если не те же, то, по крайней мере, близко похожи на пьяную мещанскую расправу...

Зазвонил первый звонок, и густая масса серого народа, переполнявшего собою залу третьего класса, волною хлынула на платформу. Массу эту, обыкновенно, выгоняют первую; а за ней уже выплывает из других

дверей более чистая... Прощание... наказы, поклоны... Третий звонок, и локомотив, крякнув исправно, раза три сдвинул с места тяжесть, которую ему навязали, словно хвост какой... Потом стал он пыхтеть, и по мере удаления его пыхтение учащалось и, наконец, превратилось в равномерное... Так точно видал я на родной своей реке: бурлаки, бывало, окутают свои привычные плечи лямками, вздохнут тяжело и, застонав, поволокут по водяной равнине полновесные барки... С богом!

(1867 г.)

IX

Сцены «В вагоне III класса» были напечатаны в «Календаре „Искры" на 1867 год». Это малоизвестное приложение к журналу выходило всего три года (с 1866 по 1868 г.) и представляло собою небольшие иллюстрированные книжечки с произведениями постоянных сотрудников «Искры»: В. С. Курочкина, Д. Д. Минаева, Л. И. Пальмина, М. С. Знаменского и других. Начиная с первого года издания, «Искра» печатала в декабрьском или январском номерах журнала «Краткий календарь», остроумно составлявшийся В. Курочкиным: предвещания на Новый год, сатиро-юмористический обзор газет и журналов и т. п. Отводя значительное место «вседневной практической сатире», искровцы использовали и этот, казалось бы, безобидный раздел своего журнала для критики темных сторон русской жизни, для разоблачения пресловутого «прогресса», для полемики со своими идейными врагами. Даже излагая, например, церковное летоисчисление в статье «Поморный месяцеслов», В. Курочкин обрушивался на «Северную пчелу» и «Наше время», зло высмеивал Леонтьева и Каткова («Искра», 1863, № 1, стр. 5).

В 1866 г. все статьи подобного типа были впервые объединены в отдельную книжечку и вышли в конце года как приложение к «Искре». Возможно, что уже в этом первом выпуске — «Календаря „Искры" на 1866 г.» — принял участие Слепцов. По нашему предположению, ему может принадлежать здесь рассказ «Дорожные сборы». Однако документальными доказательствами в пользу нашего предположения мы пока не располагаем. Участие же Слепцова в следующем выпуске «Календаря „Искры" на 1867 г.» установлено И. Ф. Масановым («Словарь псевдонимов», т. III. М., 1958, стр. 69). В этом выпуске опубликована впервые перепечатываемая здесь сценка «В вагоне III класса. (Дорожные разговоры)». Подписана сценка: В. С — в.

Произведение написано в типичной для Слепцова полудраматической форме. Это сценка-рассказ, подобная «Мертвому телу», «Сценам в полиции» и «Сценам у мирового судьи». Тематически он примыкает к раннему рассказу Слепцова «На железной дороге» и к публикуемому выше рассказу «На станции московской чугунки». Во всех этих трех произведениях использование «железнодорожной» темы позволило Слепцову дать описание пестрой и разношерстной толпы, именуемой пассажирами третьего класса. Тут и мелкие чиновники, и разорившиеся помещики, и купцы, и «дамы средней руки» (I, 61), и крестьяне с фабрики — «терпеливые и всевыносливые путники». В центре картины находится фигура купца Власа Ильича Ниточкина, самодовольство и невежество которого вызывают искренний смех представителей «чистой» половины вагона.

К концу 1860-х годов сатирическое изображение купечества все чаще появлялось на страницах демократических органов печати и, конечно, в первую очередь на страницах «Искры». Приближалось время, когда образ «чумазого», капиталистического хищника сделается одною из главных мишеней революционно-демократической сатиры. Еще в 1864 г. Некрасов говорил о купечестве писателю-юмористу Н. А. Лейкину: «... это такой быт, из которого надо писать теперь...» («Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке». СПб., 1907, стр. 186). В произведениях Слепцова образы купцов никогда не занимали значительного места. Правда, мелькали эпизодически то лавочник в «Трудном времени», то рыбный промышленник в «Письмах об Осташкове», то купец в рассказе «На железной дороге». Поэтому сцены «В вагоне III класса» любопытны уже тем, что образ купца выделяется среди других образов.

Вскрывая бескультурность и ограниченность Власа Ильича, Слепцов пытается заглянуть и в его внутренний мир, разоблачить моральные «устои» этого преуспевающего торговца «красным товаром». «Зависть-с есть грех и порок злосчастный-с»,— самодовольно поучает он своих собеседников, считая, должно быть, что они тоже могут чем-то от него «позаняться». В его образе уже проглядывают черты будущего Колупаева или Разуваева. Сына своего он обучает грамоте и везет ему из Москвы в подарок книгу Басистова — прогрессивного педагога, автора популярной детской хрестоматии «Для чтения и рассказа».

По сравнению с кичливым купцом привлекательными кажутся остальные образы произведения, особенно люди из народа. Добродушно, с мягким юмором описаны фабричные мужики Парамон и Кузьма, баба, ругающая «культурного» купца, молодец-пирожник. В этом, как и во многих других произведениях Слепцова, комизм служит для создания социально дифференцированных характеристик. Рассаживаясь в вагоне, публика сразу же делится на «полированных» и «неполированных». Мужиков не считает за людей даже лакей, хвастливо заявляющий Кузьме: «Я тебе, брат, не пара».

Сцены «В вагоне III класса» так же, как и рассказ «На станции московской чугунки», свидетельствуют о том, что и после «белого террора» 1866 г. Слепцов по-прежнему оставался на революционно-демократических позициях. «Искра» в эти годы хотела взять на себя, хотя бы отчасти, функции закрытого правительством «Современника», и Слепцов, естественно, стал сотрудником этого сатирического журнала.

В ВАГОНЕ III КЛАССА

(ДОРОЖНЫЕ РАЗГОВОРЫ)

Действующие лица:

Федор Федорович, чиновник, 37 лет.
Барышня, 23 лет.
Влас Ильич, купец, 40 лет.
Баба.
Парамон. } Крестьяне с фабрики.
Кузьма. }
Кондуктор.
Иван Васильевич, помещик.
Пирожник.
Народ.
Лакей.

В одной стороне вагона, между народом, на скамейке, сидят рядом Кузьма и Парамон — оба несколько выпивши; в другой стороне сидит барышня; рядом с ней баба, против нее Иван Васильевич, рядом с ним Федор Федорович, одетый небогато. (Слышен второй звонок).

Парамон (*Кузьме*). Да ты мне скажи, зачем ты не по совести делаешь?.. Тоись, зачем ты не по правилу поступаешь? Я тебе, значит, бальзаму не пожалел купил, а ты чего мне пожалел? Вспомни!

Кузьма. Чего ты просил, я помню... Ты просил семги, я не пожалел бы. Вот тебе лопни мои глаза,— мелочи не хватило.

Парамон. Я, брат, не в тебя, я ничего не пожалею (*опускает в мешок руку*). Вот только и есть пара яиц, и то не пожалею (*вынимает два яйца и хлеб*). На, вот, закуси, замори червяка-то. Оно, значит, дело-то ладней будет.

Кузьма. Спасибо! В Коломни сочтемся (*целуются и едят*).

(Входит Влас Ильич, в калмыцком тулупе, подпоясан шелковым кушаком. Войдя, вытирает лоб платком и надевает шапку из серых мерлушек).

Влас Ильич (*осматривает весь вагон, выбирая место*). Где же мне присесть прикажете-с?

Федор Федорович. Вот место есть. Хотите, садитесь против меня.

Влас Ильич (*садится*). Премного вам благодарны-с.

(Молчание минуты с полторы, третий звонок).

Влас Ильич. Теперича, значит, мы скоро и в путь отправимся.

Иван Васильевич. Да, минут через пять, наверное.

(Барышня вынимает маленькую книжку и начинает читать про себя).

Парамон. А ты, Кузька, забыл захватить вакштафу?! Ведь не куримши всю дорогу, от скуки сбесишься.

Кузьма. Нет, брат, Парамошка, я себя помню. Вот пачку пыпиросок в гривенник захватил. Да не знаю, каковы будут.

Парамон. Были бы крепки только, а то сойдут.

Пирожник (*входит с лотком*).

С пылу,
С жару,
Горячи,
Сей-час из печи,
Встречаю,
Провожаю
До самого Можаю,
Всех господ уважаю.

Парамон (*пирожнику*). Покаж, покаж, любезный, да скажи, что за пару.

Пирожник. Пять копеек себе, а четыре с тебе, значит, с уступкой; пожалуйте, ваше степенство, поскорей, сейчас отходит. Вот самые скусные, горячие.

Парамон (*берет четыре пирога и отдает деньги*). Ты, малый, петля будешь.

Пирожник (*идет через весь вагон к другим дверям*).

Сдобные, вкусные,
Печенья искусного
Повара Антипа,
Что в рот, то спасибо.

Господа, берите, до Коломни таких не сыщете (*выходит*).

(Слышен свист, и через минуту вагон трогается. Все набожно крестятся).

Парамон (*громко, почти нараспев*). Пошел каток по реям, едем, Кузька, ко дворам, разойдись, каток, на весь ходок.

Кузьма. Не ори! Ты здесь не один, не на базаре. Пожалуй, кондухтор придет и шею намылит, а то из вагона выгонит.

Парамон. Нет, теперича, это ему далеко,— машина, значит, на ходу. Мы здешние порядки знаем. Сами, значит, ему покажем машину (*показывает кулак*) с другим приводом и действием.

(Входит кондуктор).

Кондуктор. Господа, приготовьте билеты (*берет у каждого билет и метит щипчиками*).

Парамон (*не замечая кондуктора*). Кондухтор мне что? ничего. Билет у меня есть; он мне, значит, уж (*плюет*) — вот што! Так я говорю, Кузька? Аль нет? Он кондухтор. Я плевать на него хочу и больше ничего. Я, тоись, деньги ему заплатил, он должóн меня уважением всяким уважить, и до Коломни доставить.

Кузьма. А вон он. Видел?

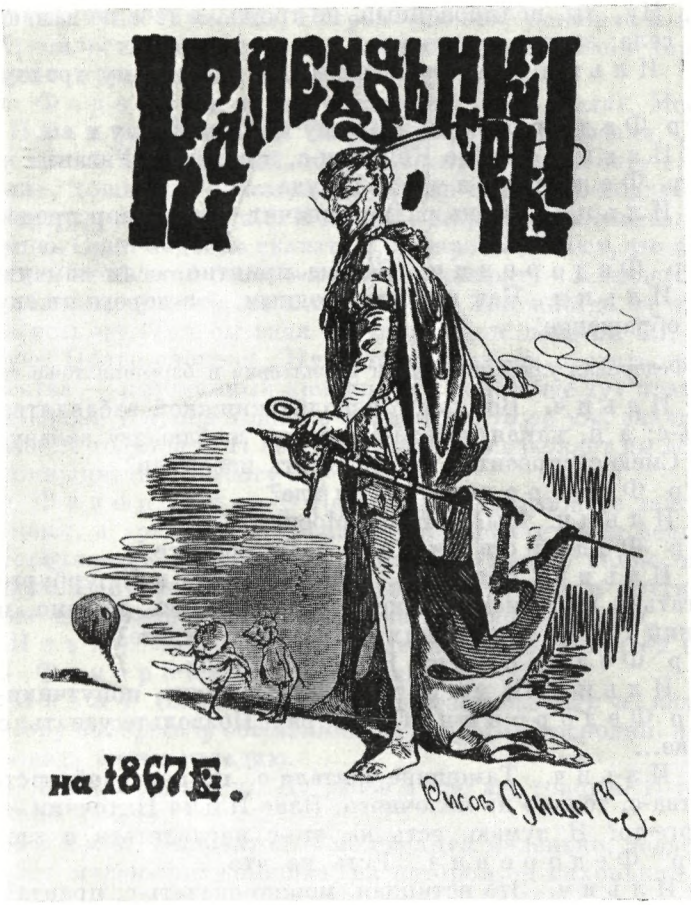
П а р а м о н (*увидев кондуктора, закрывает рот рукою и смеется*). Вот оказия-то.

К о н д у к т о р (*подходит к нему*). Ну... ты! молодец, давай билет!

П а р а м о н (*вынимает из-за пазухи замшевый мешок, достает билет и подает кондуктору*). Извольте! вашей милости наше почтение!

К о н д у к т о р (*метит билет*). Да ты, брат, будь потише, а то дальше той станции не поедешь (*выходит из вагона*).

П а р а м о н (*иронически*). Ладно!



«КАЛЕНДАРЬ „ИСКРЫ“ НА 1867 ГОД». ЗДЕСЬ ВПЕРВЫЕ ОПУБЛИКОВАНЫ СЦЕНЫ СЛЕПЦОВА «В ВАГОНЕ III КЛАССА»

Обложка с рисунком М. О. Микешина

К у з ь м а. Чего ладно? самому показали машину. Ты вот возьми мешочек, подложи под голову-то да сосни, а я покурю маленько.

П а р а м о н. И мне дай курнуть (*закуривают папироски и разговаривают шопотом*).

В л а с И л ь и ч (*вынимает портсигар и подает Федору Федоровичу*). Не употребляете-с?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Благодарю вас. Я не курю.

В л а с И л ь и ч. Мы так этим предметом балуемся-с.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Я курю, да сигары.

В л а с И л ь и ч. Пробывал-с я их, пусто возьми, курить-то, да

больно язык щиплют. Так и бросил-с. Оченно хорошо уставлен здесь такой порядок, что когда сажают в вагон людей, сортировку соблюдают. Вот теперича здесь у нас-с, образованных, значит, людей, то есть, так сказать, сорт полированных-с, в одном конце посадили, а черный народ, примерно сказать, необразованных, как вон мужики, в другом краю (*обращается к бабе*). Ты бы, молодка, шла в тот край. Что тебе тут сидеть? А то ты вот барышню беспокоишь, и здесь место совсем не твое (*обращается к барышне*). Я полагаю, она вас, сударыня, беспокоит.

Барышня. Совсем нет!.. Не беспокойтесь, пожалуста.

Баба. Ну, ты, полированный, не трожь, я тебе не замаю. Я деньги заплатила, села; значит, место мое.

Влас Ильич (*Федору Федоровичу*). По какому трахту ехать изволите?

Федор Федорович. По тому же, по какому и вы.

Влас Ильич. Мы до Коломни-с, а оттуда в Рязань.

Федор Федорович. И я туда...

Влас Ильич. Очень ради-с; значит, и разговор продолжать позволите-с?

Федор Федорович. Весьма приятно, если вам угодно.

Влас Ильич. Как не быть угодным,— в дороге от скуки приятно иметь обращение.

(Федор Федорович улыбается; Иван Васильевич и барышня тоже смеются).

Влас Ильич. Вот они-с изволят книжкой забавляться и время провождать-с; а я, какая досада-с, оченно люблю эту забаву, да забыл захватить. Смею-с спросить, где побывать изволили?

Федор Федорович. А вы где?

Влас Ильич. Мы?.. Мы-с в Москве.

Федор Федорович. А я в Петербурге.

Влас Ильич. Вот как-с, изволили быть в Петербурге! Вот, надыть полагать-с, всего нагляделись и насмотрелись, именно, можно сказать, царский город! А из каких мест-с сами будете?

Федор Федорович. Я? Я из Рязани.

Влас Ильич. И мы из тех мест-с, значит, попутчики-с.

Федор Федорович. Очень рад! Позвольте узнать, с кем имею удовольствие...

Влас Ильич. Тамошние жители-с, по торговой части, значит, из купечества-с, только из мелочного, Влас Ильич Ниточкин.— Ну как-с в Петербурге-то? Я думаю, есть на что-с наглядеться и засмотреться?

Федор Федорович. Есть на что.

Влас Ильич. Это истинная, можно сказать-с, правда!

Федор Федорович (*обращается к барышне*). Я вас не обеспокою, если закурю сигару?

Барышня. Ничего, курите.

Федор Федорович (*закуривает сигару*).

Влас Ильич. А любопытно, сударь, знать, из тамошних редкостей, какие изволили видеть?

Федор Федорович. Разные видел. Вот был в Эрмитаже.

Влас Ильич. Вот как-с. Изволили быть и в ирмитаже-с!.. Ну, как супротив нашего?

Федор Федорович. Какого?

Влас Ильич. Супротив рязанского-с!.. Я думаю, так сказать, далеко кулику до Петрова дни, так-с рязанскому-то*.

(Барышня и Иван Васильевич смеются).

---

* В Рязани есть трактир под фирмою «Эрмитаж». — *Прим. Слепцова.*

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Да разве в Рязани такой Эрмитаж, как в Петербурге?..

В л а с И л ь и ч (*перебивая*). Разумеется, милостивый государь-с, не такой; но все-таки заведение важное-с! Одним словом, опытный в этом деле человек его держит, всякое преспособление сделал: и насчет веселья, и насчет-с съестного, все есть, и насчет питий разных и других-с прочих потребных удовольствий-с, все имеется. Музыка играет, цыгане поют-с, девицы певицы из Тиролии поют — и поют-с-то под какую-то музыку, как бишь она прозывается-то... (*припоминает*). Цитрая какая-то-с, хотя вправду сказать, хуже гармонии. Негромогласная какая-то и нечувствительная... А, милостивый государь, смею спросить, какой хор цыган в петербургском-с ирмитаже-то поет?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч (*не удерживаясь от смеха*). Московский!

В л а с И л ь и ч. Хватский! Значит, нарочно выписали. Да ведь и народ-то они какой: прожженный, обтертый в публике, ей-богу-с! Я думаю, другая из них, хошь при каком вельможе не поробеет, поддаст так, что все жилы и суставы разойдутся... Я их раз в марьинской слышал-с, так до сей поры помню. Одно надобно сказать-с, нехорошо делают, что поют иногда такую песню, что в этой песне всех процживают — и нашего и вашего брата-с. Ну, словом сказать, всех и каждого. Так иногда за это на них такая досада возьмет. Так бы взял их всех, да и повесил бы, как белорыбицу какую. Право слово-с!.. Ну, вот, к примеру сказать, поют: «Отродие купечества — изломанный аршин». Ну, какая же тут правда и удовольствие? Уж если у купца аршин с фальшей-с, то он уж, значит, не торговец и никуда не годится-с. И как начальство-с позволяет им всех и каждого так процживать? Ей-богу-с!

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. В Петербурге Эрмитаж не такой, там не пляшут, не поют, а хранятся и показываются посетителям редкости разные и драгоценности. Картины знаменитые, вещи, какие император Петр Великий своеручно делал, станки его точильные и другие инструменты, и даже показывают его лошадь, на которой он ездил.

В л а с И л ь и ч. Как-с лошадь?! Неужто жива-с до сей поры?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Какое жива! Чучело!

В л а с И л ь и ч (*смутившись, взглядывает на всех и потом обращается к Федору Федоровичу обиженным тоном*). Вы, господин, не обижайте так-с! Мы ведь имеем гильдию.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Да разве я про вас говорю? Я говорю, из лошади сделано чучело.

В л а с И л ь и ч. Виноват-с! Я не смекнул маленько, невдогад. Так, значит, это тот маленький коняшка, на котором он махонький игрывать изволил?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Нет, большой ездил, и даже, как говорят, был на этой лошади в день сражения под Полтавою.

В л а с И л ь и ч. Вот это редкость-с! Маленьких-то коняшек мне приходилось видать много раз, набитых соломой, для ребятишек делают, а больших-то не случалось.

И в а н В а с и л ь е в и ч (*Власу Ильичу*). Да ведь эту лошадь поставили в Эрмитаж не потому только, что будто бы редкость сделать чучело из большой лошади; а из любви и из благодарности к Петру Великому ценят и хранят остатки животного, которое на хребте своем носило великого преобразователя России и несколько раз, так сказать, выносило его из опасности в пылу сражения.

В л а с И л ь и ч. Ну, за это стоит с нее порожки-с сдувать! Хоть бы бог привел один разок на нее взглянуть! А насчет-с картин, как там показывают — даром, или платят, и что туда за вход обходится?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Даром показывают, за вход не берут.

В л а с И л ь и ч. Как это-с прекрасно! А вот к нам в Рязань раз приезжал немец — показывал картину-с с суприза́ми, так платили-с. Я на эфтих суприза́х выиграл раз стальной игольник-с тульской работы с прозолотою-с, да банку парижской помады сурбалет Мусатова на Пятницкой-с. Славная картина. А там-с, в Эрмитаже, смею спросить, какие картины показывают.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. В Петербурге картин много, кроме Эрмитажа. Вот я видел славную картину: Последний день Помпеи, Брюлова.

В л а с И л ь и ч. Что-с?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Последний день Помпеи, Брюлова...

В л а с И л ь и ч. А что же-с это-с Помпей Брылов простой человек был-с, или какой король-с и какою смертию он в сей день покончился?

(Барышня закрывает книгу и громко смеется).

В л а с И л ь и ч (*барышне*). А что, сударыня-с, верно, веселый анекдот изволили в книжке найти-с?

Б а р ы ш н я (*продолжает смеяться*). Даже очень!

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч (*Власу Ильичу*). Как человек? Это был город, который во время извержения огнедышущей горы Везувия был залит лавою и засыпан пеплом.

В л а с И л ь и ч. Тэк-с! А где эта гора Безумия находится-с?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Как безумия?.. Я говорю: Везувия.

В л а с И л ь и ч (*плюет в сторону и попадает на платье бабы*). Машина то-с больно стучит, не расслыхал-с, извините-с!

Б а б а. Ты не плюй с рóзмаху-то! А то я тебе хвачу так, что тебе и плевать-то не из чего будет.

В л а с И л ь и ч (*в сторону*). Вот-с баба-то невежа... (*обращается к бабе*). Что я у тебя, глупенькая, холодник-то испортил, что ль? Авось не салом обдал? Взяла бы да рукавом стерла бы (*обращается к Федору Федоровичу*). Вот-с, значит, никакого образования не имеет.

Б а б а. Ты больно образован! Как возьму да плюну тебе самому в образование-то твое!

В л а с И л ь и ч. Ну, ты, любезная, говори, да не проговаривайся! Ты не знаешь, глупенькая, как ты можешь за это ответить? Я ведь не мужик какой, а настоящий купец, хоша и третьей гильдии, меня обидеть нельзя. Да ты, глупая, пойми своим малым разумом, как можно человеку в лицо плевать. Да, что с дурой толковать, только на обиду лезть.

Б а б а. Великая величка купец, чем торгуешь? Думаю, гороховым киселем.

В л а с И л ь и ч. Нет, врешь, баба безрасчетная, красным товаром.

Б а б а (*громко*). Видали мы твой товар-от-крысиного тканья, мышиного мытья, сандальной окраски.

(Все смеются).

В л а с И л ь и ч (*с досадой*). Ну, перестань! Слышь. Не мешай любопытный разговор вести (*закуривает папиросу*).

П а р а м о н (*прислушивается и потом говорит*). Постой, Кузька! Дай пойду послухаю, что там купец говорит.

К у з ь м а. Сиди, Парамошка, на своем месте! Там тебе дела нет. А вот, кажись, скоро станция, еще выпьем.

В л а с И л ь и ч (*Федору Федоровичу*). Так-с этот, как вы говорите, Помпей-с был город Брюлова-с. А Брюлов-то, кто был таков? Позвольте полюбопытствовать?

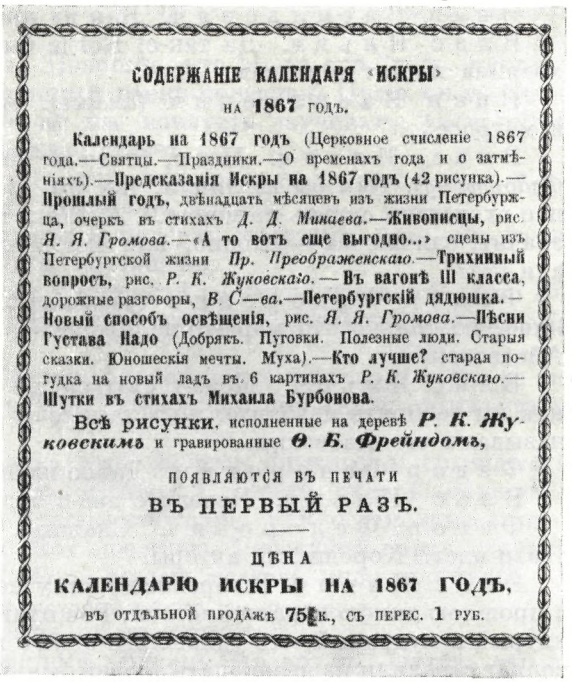
Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Он был художник, то есть живописец, и был художник знаменитый. Он написал эту картину, изображающую Помпею в день ее гибели.

(Сидящий подле Кузьмы лакей зевает на весь вагон).

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ «КАЛЕНДАРЯ „ИСКРЫ“ НА 1867 ГОД»

«Искра», 1866, № 51, декабрь

В оглавлении календаря указаны сцены Слепцова: «В вагоне III класса»



СОДЕРЖАНІЕ КАЛЕНДАРЯ «ИСКРЫ»

НА **1867** ГОДЪ.

Календарь на 1867 годъ (Церковное счисленіе 1867 года.—Святцы.—Праздники.—О временахъ года и о затмѣніяхъ).—**Предсказанія Искры на 1867 годъ** (42 рисунка).—**Прошлый годъ**, двѣнадцать мѣсяцевъ изъ жизни Петербуржца, очеркъ въ стихахъ *Д. Д. Минаева*.—**Живописцы**, рис. *Я. Я. Громова*.—**«А то вотъ еще выгодно...»** сцены изъ Петербургской жизни *Пр. Преображенскаго*.—**Трихинный вопросъ**, рис. *Р. К. Жуковскаго*.—**Въ вагонѣ III класса**, дорожные разговоры, *В. С—ва*.—**Петербургскій дядюшка.**—**Новый способъ освѣщенія**, рис. *Я. Я. Громова*.—**Пѣсни Густава Надо** (Добрякъ. Пуговки. Полезные люди. Старыя сказки. Юношескія мечты. Муха).—**Кто лучше?** старая погудка на новый ладъ въ 6 картинахъ *Р. К. Жуковскаго*.—**Шутки въ стихахъ Михаила Бурбонова.**

Всѣ рисунки, исполненные на деревѣ ***Р. К. Жуковскимъ*** и гравированные ***О. Б. Фрейндомъ,***

ПОЯВЛЯЮТСЯ ВЪ ПЕЧАТИ

ВЪ ПЕРВЫЙ РАЗЪ.

ЦѢНА

КАЛЕНДАРЮ ИСКРЫ НА 1867 ГОДЪ,

ВЪ ОТДѢЛЬНОЙ ПРОДАЖѢ **75** К., СЪ ПЕРЕС. **1** РУБ.

Влас Ильич. Господи! Вот горло-то, так горло-с! Позвольте узнать, как ваше имя-с и отчество?

Федор Федорович. Федор Федорович.

Влас Ильич. А вот, Федор Федорович-с, что я хотел-с у вас спросить: отчего все живописцы, почитай все художники? Вот у меня был знакомый иконописец, так ужасть; пока, бывало, пишет — душа человек, а как кончит, деньги, значит, получит и пропадает. Недели по две дома не бывает, и в это время творит такие-то художества, что и сказать нельзя. И таким делом занимается до тех пор, пока все деньги покончутся... Так-с этот Брюлов изобразил этого Помпея в день его гибели; значит, он в тот день там был-с и все это видел!? Вот, надобно полагать, страсти-то натерпелся-с!

(Иван Васильевич едва удерживается от смеха).

(Барышня закрывается книгою и громко хохочет).

Влас Ильич. Вот, верно еще нашли-с забавную историю,— поделитесь с нами вашим веселым удовольствием-с.

Барышня. *Смейтесь, сколько хотите!*

Влас Ильич. Не знамши чему, как же засмеешься-с.

Федор Федорович. Брюлов там не был, потому что он в то время еще не родился, а сочинил эту картину после, силою своего гения.

Влас Ильич. Так он ее, сочинимши, написал?

Федор Федорович. Да, *прежде сочинил, а потом написал.*

Влас Ильич. Так, должно быть, не в той должной справедливости.

Федор Федорович. Нет, весьма натурально.

Влас Ильич. Так голова же был-с, когда наизусть смастерил такую историю! А еще-с какие картины, *смею спросить, там показывают?*

Федор Федорович (*улыбаясь*). Еще видел картину: море, Айвазовского.

Влас Ильич. Это самое море-с я видел на практике.

Иван Васильевич. Как на практике?

Влас Ильич. Да так-с! Когда был в Таганроге-с по поручению хозяина насчет торговли.

Иван Васильевич (*смеясь*). А я полагал, что вы служили в матросах.

Влас Ильич. Нет-с, этого не бывало-с (*обращается к Федору Федоровичу*). Как бы взглянул, так бы узнал. Другой, не видамши-то, и о сходствии судить не может... А я бы, как только бы взглянул, так, значит, сличил бы — сходно, али нет. Справедливо я господин, говорю, али нет?

Федор Федорович (*улыбаясь*). Оно справедливо-то, справедливо, но только это море-то не Азовское, а изображен вообще вид моря Айвазовским.

Влас Ильич. Может статься, по книгам и по описанию-с так, как вы говорить изволите; но в тамошней стороне сплошь и рядом все называют его Азовским.

Федор Федорович. Давно вы из Рязани?

Влас Ильич. Недели с две-с будет.

Федор Федорович. Скажите, пожалуйста, как там теперь театр идет? Хороши ли актеры?

Влас Ильич. Теперешнюю зиму не знаю-с, не пришлося-с быть, а прошлою зимою играли хватски. Раз один ахтер показывал фокус такой хитрый и мудреный, что удивлению-с достойно; в него двенадцать человек солдат стреляли из двенадцати ружей всяким огнестрельным орудием, то есть и порохом-с и пулями-с... Так у всей публики волос дыбом стал, меня-с даже-с ужасти проняли, а он из груди пули-то заживо вынимает да всей публике показывает.

Федор Федорович. А часто он там фокусы показывал?

Влас Ильич. Почитай каждый раз, как только-с киатр шел, по тому самому расчету, что к фокусам-то публика больно охоча. Оно, знаете, и в киятре-то публике приятнее сидеть, когда в глазах такие завлекательные чудеса совершаются. И об этом фокусе была афишка-с, в дердидамовый платок-с, и там было напечатано, что этот самый фокус только-с один раз видел Наполеон в Америке и, кроме его, еще никто не видел и больше не увидит. А раз так яичницу в шляпе пек.

Иван Васильевич (*Федору Федоровичу*). Ну, как тут не позавидовать, поневоле позавидуешь, какое чудо они видели.

Влас Ильич. Зависть-с есть грех и порок злосчастный-с. А вот как я в Москве, скажу вам-с, проштрафился! стыдно-с сказать, а грех потаить, на целый, почитай, рубль серебром-с.

Иван Васильевич. Чем же это? Позволите узнать?

Влас Ильич. Да вот чем-с! Есть у меня мальчонко, значит, сынишка-с. Я его маленько грамоте заправил, и, надобно сказать, мальчонко учиться вышел больно шустрый... Теперь ему двенадцатый годок-с пошел, а резво читает и бойко пишет, а не больше, как года два бегал учиться-то! Провожамши меня, пристал ко мне: тятинька, тятинька, купите мне книжку, ну я ему обещал. Вчера вспомнил, пошел в книжную лавку на Никольской. Прихожу-с, спрашиваю-с, значит, книжку. Мне приказчик, али сам хозяин, говорит, какую вам угодно, так, знаете, учливо. Я говорю-с: для мальчонка читать. А каких, говорит, лет ваш дитя? А двенадцатый годок пошел, говорю. А вот купите-с, говорит, книгу Басистова; это, говорит, книга для чтения детям весьма полезная. Вот я и купил-с. Пришел-с домой-с, то есть, в нумер, стал разбирать, — глядь, она вышла книга-то не совсем ладная, так сказать, ералашная.

Федор Федорович. Чем же?

В л а с И л ь и ч. Да так-с, что же там — сказки да побасенки, больше ничего-с.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Поверьте, что вы не ошиблись, купивши эту книгу; для мальчонка эта книга очень полезная. Пусть он ее читает и даже не мешает ему кой-что из нее наизусть заучивать. Он и читать лучше будет и говорить правильнее станет.

В л а с И л ь и ч. Как так-с, неужели говорить лучше будет?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Поверьте, правда.

В л а с И л ь и ч. Так я лучше ее передам старшему. А то, знаете ли, как-то бог дал ему язык не ладен, картавит-с.

Б а б а. Ну, уж этого никакой книжкой не умудришь поправить. Вот у нас на селе писарь каждый день книгу читает, а до старости дожил картавым.

В л а с И л ь и ч (*бабе*). Молчи, с тобой никто разговора вести не желает. Потому что ты, как есть, баба и ни в чем понятия и опытности не имеешь.

Б а б а. А ты, как я смекаю, куда во всем опытный и смышленый!

В л а с И л ь и ч (*Федору Федоровичу*). Слышите, сударь, машина-то тише пошла. Замечаете, милостивый государь, как останавливается — значит, к станции подъезжает. Вот еще тише. Последний парок испускает. Пррру, железный соколик (*вагон делает толчок*), индо толкнуло!

(Кузьма с лакеем, который во все время дремал, сталкиваются голова с головой).

Л а к е й. Эй, ты, необтесанный болван! Что это ты, шутить что ль со мной вздумал? Я тебе, брат, не пара (*чешет висок*). Напускали сюда всякой необразованной твари.

К у з ь м а (*трет лоб*). Чтоб те помереть юдовой смертью!

Л а к е й. Кому? Кому ты говоришь?..

К у з ь м а. Да вот машине, слышь, больно резанула!

Л а к е й. Дьявол тебя возьми, пенек не натуральный!

В л а с И л ь и ч (*Федору Федоровичу*). Не угодно ли с нами-с пройтиться, погреться-с, выпить рюмочку очищенного. Мы от вас позанялись и вы от нас позаймитесь.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Благодарю вас, я так рано не пью.

В л а с И л ь и ч. Как угодно-с! А мы пойдем одну хватим (*выходит*).

К у з ь м а (*лакею*). А разя я виноват? Ты для чего с своей головою да близу моей головы сидишь? Вот она и вышла оказия-то, что моя голова с твоей головой от машины столкнулись, да моя-то голова по твоей голове и прошлась.

Л а к е й. За такие, брат, камуфлеты вашему брату шею мылят.

П а р а м о н. Нет уж это далече не родня; я, брат, тебе скажу, хоть мы в банщиках не бывали, шею никому не мыливали, а становую жилу кому, значит, надобно, поправляли. А хошь шею мылить, то мыль кондухтору, за то, зачем он плохой машиной правит и на всем бегу ее останавливает.

К у з ь м а (*смеясь*). Вишь, конь-то не взнуздан.

Л а к е й (*трет висок*). Да какой у тебя болван-то здоровый; до сих пор в себя не приду.

К у з ь м а. Ну и у твоей милости тоже крепок. Какой был хмель, так и тот, кажись, выскочил.

П а р а м о н. Вот ты серчаешь, а, гляди, в какой ты меня своей головой-то убыток ввел! Ведь парню-то теперича опять приходится башку-то хмелем накачивать. Прежний-то, говорит, выскочил. Пойдем, брат Кузька, хватим. Да попроворнее поворачивайся, а то опять скоро пойдет.

К у з ь м а (*лакею*). А ваша милость не угостит нас для первого знакомства по-приятельски, значит, бальзамчиком?

Л а к е й. Нет, брат! Не твоему носу рябину клевать, эта ягода нежная.

К у з ь м а. Ну на наши пройдемся, по-простому.

Л а к е й. Это вот натуральнее будет (*все трое выходят*).

<1867 г.>

X

Известно, что Слепцову больше всего удавались произведения из народной жизни. Внимательно прислушиваясь к разговорам простого народа, он умел выбирать из них наиболее характерное и потом с успехом использовал этот материал в своих рассказах. А. Я. Панаева вспоминала, что часто «развлекал его какой-нибудь *типичный разговор жильцов* или в коридоре крикливый голос чухонки — квартирной хозяйки» (Воспоминания. М., 1956, стр. 341. Курсив мой.— *Л. Е.*). Почти все рассказы Слепцова построены на острых и живых диалогах. Таков и публикуемый впервые неоконченный рассказ без заглавия, начинающийся словами «Раннею весною, на Фоминой неделе...»

С первых же страниц он привлекает читателя точной передачей деталей крестьянского быта, живостью разговоров, правдивостью образов. По художественному мастерству рассказ стоит в ряду таких слепцовских произведений как «Ночлег», «Питомка», «Свиньи». Как сказано, он не завершен, центральная фигура старика обрисована довольно смутно. Трудно догадаться, как Слепцов предполагал разрешить конфликт между стариком и его приемышем-внуком. Однако в рассказе перед нами возникает характерная картина жизни пореформенной деревни.

Рассказ можно датировать лишь приблизительно. Он записан в «седьмой тетради» (у Слепцова было несколько одинаковых тетрадей для записей, им самим пронумерованных). «Пятая тетрадь» содержит в себе часть черновой рукописи «Хорошего человека» — сцену разговора Теребенева и Сапожникова в трактире. Она была написана приблизительно в конце 1868 г.— начале 1869 г., следовательно, рассказ был создан не ранее 1869 г. Более точно датировать помогает запись на обороте последнего листа рукописи: «В Тифлисе, на Воронцовской улице, дом Лорис-Меликова». Как известно из биографии Слепцова, в Тифлисе он был в 1874 г. На этом основании относим рукопись рассказа к началу 1870-х годов.

<«РАННЕЮ ВЕСНОЮ, НА ФОМИНОЙ НЕДЕЛЕ...»>

Раннею весною, на Фоминой неделе, вдовый священник села Преображенского сидел у себя дома у окна и сумерничал: т. е. смотрел безо всякой цели на улицу, позевывал и призносил при этом какие-то неопределенные фразы, в роде того что — о-ох-хох! Боже, боже мой! Ах, ты, господи!

На улице была грязь, галки садились на церковный купол, по небу разливалась вечерняя заря. Священник встал и начал прохаживаться по комнате.

В то же время в кухне сын священника, мальчик лет 14, объяснял работнице...

В это время дверь из сеней отворилась и в кухню вошел слепой старик, с маленькою босоногою девочкою. Старик ощупал вокруг себя палкою, повел вокруг слепыми глазами и стал молча креститься.

— Ты что? — спросил его сын священника.

— А мне батюшку повидать. Дома, что ли, он?

— Дома. Тятенька, к вам Архип пришел,— крикнул он отцу, не вставая с места.

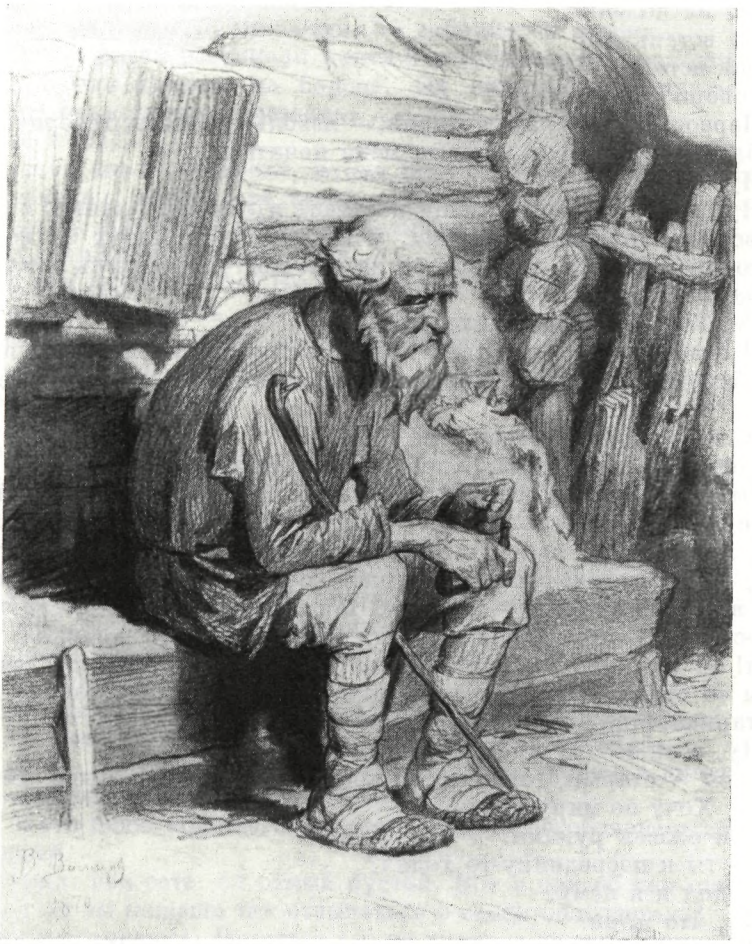
Священник вышел в кухню. Слепой старик поклонился и, протянул руку, подошел под благословение.

— Во имя отца и сына, что тебе надобно?

Старик стоял, понурив голову, и как будто не решался вдруг приступить к объяснению. Священник ждал. Старик вздохнул и наконец ответил:

— По свому делу, батюшка, пришел беспокоить.

— Да что же такое? Какое дело-то?



НА ЗАВАЛИНКЕ

Рисунок карандашом В. М. Васнецова, 1870 г.
Третьяковская галерея, Москва

— Да вот хочу рассудку просить.

— Какого рассудку?

— Какой ваш рассудок будет. Рассудите вы нас.

— С кем рассудить-то?

— А вот приемыш-то мой... Изволите знать?

— Знаю, что же он?

— Не почитает меня.

Священник удивился.

— Как же так это он?

Старик вздохнул.

— Что ты станешь! Не почитает и кончено дело. Гонит вон.

— Гм. Это худо,— заметил священник.

— Пожалуйста, рассудите, на вас одна надежда,— говорил старик, с трудом опускаясь на колена.

— Полно, встань,— говорил священник, положив ему на плечо руку.

— Помилуйте, сил моих нету. Человек я убиенный...— говорил старик, стоя на коленях.

— Да встань же!

Старик встал.

— Говори толком.

— Первое дело,— начал старик,— извольте понять, тепериче как есть я ему благодетель, то должон он меня почитать...

— Ну?

— Ну, дом я выстроил, избу поставил и лошадку купил, и скотинку завел, все как должно, порядком, и мнучку свою замуж за него отдал, и самого в дом пустил, и теперь он за всю мою добродетель наплевал мне как хуже не надо.

— Гм. Ну, а внучка-то что же?

— И она туда же руку тянет! Много, слышь, хлеба ем. Ступай, говорит, побирайся, кормись Христа ради, а мы тебя кормить не станем. Гонют.

— Как же так? Из своего дома гонют?

— Гонют из свово дома. Хлебушка не дают. Кабы не добрые люди — помер бы я с голоду, как есть. А что от них, от мнучат, то я другой год крохи не видал, какова есть кроха. Надысь к обедне сходил, пришел, подзакусить, признаться, малость захотел; сижу так-то и говорю: «мнучка,— говорю, — моя милая, дай ты мне хошь корочку какую ни на есть завалящую, я в водице размочу — пожую». Как зачала она меня костить, как зачала костить. Я это слушал, слушал: ах, боже мой! заплакал, залился. Господи! За что, мол, это они меня, за что обижают? Я им последние свои крохи и те отдал: нате, мол, детушки, берите все, ну только спокойте меня, старика. Мне много не надо. Вот тебе и спокой!

— Ну, а он-то что ж, приемыш-то?

— А он — старый, говорит, ты кобель, и цена тебе грош. Вот и весь разговор. Хочу по миру итить.

Старик развел руками.

— Да ты к посреднику-то ходил?

— Ходил я к нему.

— Ну, что ж он?

— Да что, ничего мне от него пользы нет никакой. Вот от вас что будет? Одна надежда на вас. Онамедни, думаю так-то себе, потить, мол, мне к батюшке, к отцу к свому, к духовному, что мне от него будет: заступится он за меня — стану я за него богу молиться; прикажет он мне по миру итить — надену я сумочку, по миру пойду.

— На что ж тебе от свово дома по миру идти?

— Да что делать, батюшка? Нужда моя. Что делать?

Священник задумался.

— Ты вот что, старик, ты погоди; я с твоим названым сыном переговорю, усовещу. Садись пока здесь, посиди в кухне. Вот работница сходит, позовет его сюда. Матрена, сбегай за ним.

Священник ушел в горницу, а старик сел на лавку и начал вздыхать.

— Заступница, царица небесная! Господи, помилуй!

Пока работница ходила, старик сидел — вздыхал. Немного погодя работница вернулась.

— Ну что?

— Нейдет. Есть,— говорит,— мне когда ходить?

— Да что он делает?

— Круг дому что-то убирается. Дай срок,— говорит,— уберусь, приду.

— Вот извольте видеть, батюшка: и вас-то не слушается.

Священник опять удалился к себе, работница полезла на печь, греться.

— Боже милостив..., милостив...— забормотал старик.

Наконец в сенях загремели лапти и в кухню вошел молодой губастый мужик с белым пушком на бороде. Он снял обеими руками шапку, расторопно поклонился и спросил:

— Кто меня?

— Я тебя звал,— отвечал, входя в кухню, священник.— Что ж ты, братец, нейдешь, когда я за тобой посылаю.

— А когда мне ходить? Я и то не убрамши побег.

— Ты должен быть повежливее.

— Да вам чаво надо-то? Вы сказывайте скорей.

— Погоди, поспеешь.

Священник сел на лавку и откашлянулся.

— Вот твой попечитель...

— Какой попечитель?

— Архип.

— О! Это старик-то.

— Да, так вот он на тебя принес мне жалобу, что ты не оказываешь ему должного уважения и не почитаешь.

— А вы слушайте его! Он вам намелет.

— Замолчи! Он со слезами жаловался мне. Он тебя облагодетельствовал, ввел тебя в дом свой, а ты ему платишь за это черной неблагодарностию и сверх того ругаешься бранными словами.

— Какими словами? Позвольте. Никогда.

— Как никогда?

— Никогда я не ругался. Это он врет! Когда я его ругал?

— Как врет? Да ведь вот он, перед тобой живой стоит.

— Дак что. Незамай его стоит. Это вам-то он может в диковинку, а я его знаю, старичка-то этого, довольно.

— И я его знаю хорошо по церкви. Старик богобоязненный и к храму усердный.

— Старик, как есть, он самый пустой. Вот я как об нем понимаю.

— Как же ты можешь так отзываться о своем благодетеле?

— Так и отзываюсь. Ругать я его не ругаю и не ругал никогда, прямо сказываю теперь вот при вас: нужды нет, что благодетель, ну только неверный старик, путаник, потому верить ни в чем ему нельзя, ни в одном слове.

— Вот извольте,— заговорил старик,— вот при вас...

— Постой, погоди,— сказал священник,— мы это дело рассудим.

— Что ж, рассуждайте. Мы с ним, с старичком-то, с этим, не первый год уж судимся; нас тоже добрые люди знают. Он, благодетель-то мой, кому, кому не жаловался; и посреднику, и становому, и старшине, и волостному сходу. Одним старикам мало ли на вине пропоил — все судился. Нешто хороший старик это сделает?!

— Да за что ж он жалуется на тебя?

— Да вот все, что не почитаю, слышь, его. А как мне его почитать? «Пой,— говорит,— меня чаем, вином, я,— говорит,— тебе благодетель, не то заставят меня вином поить». А где я возьму? Дай господи, только бы сытым-то быть, а то чай. Что выдумал! Нешто хороший старик скажет такие слова!

— А все-таки нужно быть снисходительным к слабостям старика, тем более для детей наших.

— Ну позвольте, батюшка, вот он — благодетель. Ну, хорошо. Вот он говорит: дом мой, скотина моя, все добро мое, ладно. Твое, так твое, мне не надо; я лопатку свою возьму и с нею из дому, от греха подальше, один, злодей, лопай добро. Я уйду, я с кнутиком уйду, скот буду пасти, потому я не боюсь ничего. Ну только как же я уйду? Согласен он будет отпустить? Никогда в жизни не согласится. Потому, что́ он станет делать один? Первое: над кем он станет ломаться, это раз; еще: кто за ним смотреть будет? Значит, ему расстаться со мной никак не возможно. А что теперь-то он к вам пришел, так это опять-таки с хитростью. Пришел по той причине, что оченно уж непутящий стал. Его никто слушать не соглашается и помощи ниоткуда нет, вот и задумал он по миру идти. Задумал, задумал, ну только, как ему уйти от свово дому, от хозяйства. Уйтить-то, главная вещь, никак не способно. Вот он и ходит, всем клянчит, что быдто, как я его из дому гоню, из свово, из родного угла, разбойник-приемыш, слышь, выгнал, за все, за его добродетели, на старости лет убогова, взял да по миру пустил. Вот вам и хитрость его вся тут, вот вы и рассуждайте.

Священник задумался. Старик молчал.

— Так как же старик, а?— спросил, наконец, священник.— Слышь, что приемыш-то твой говорит?

— Слышу,— со вздохом отвечал старик.

— Что ж ты теперь скажешь?

— Да что мне говорить? Мне говорить нечево.

— Стало быть приемыш-то правду говорит?

Выйдя от священника, старик велел девочке вести себя вдоль села; на повороте, за мостом он остановился и спросил:

— Постой, где тут Клюев двор?

— Это дядь Мысеев-то? — спросила девочка.

— Ну да. Знаешь Мысеев двор? Знаешь. Так веди к окошку.

Старик ощупал окно и постучал.

— Мысей дома что-ль?

В избе кто-то закричал:

— Дома; он на дворе убирается.

Старик вошел во двор. Мысей, тоже человек немолодой, выдвигал из-под навеса телегу и, завидя слепого, не очень ласково спросил:

— Ты что, дедушка Архип?

— Поедем в г⟨ород⟩.

⟨Начало 1870-х годов⟩

Автограф. ИРЛИ, Р. III, оп. 1, № 1921.

XI

Публикуемый набросок представляет собою начало рассказа, задуманного Слепцовым, вероятно, в 1870-х годах. Точно датировать его трудно.

Слепцов дает сатирическое изображение пестрой столичной публики, скучающей летом в городе, показывает ее безыдейные низменные интересы. Тема эта — тема щедринского «Дневника провинциала в Петербурге» — довольно редка в творчестве Слепцова. Привилегированные слои общества он описал лишь на выставке любителей российского садоводства (см. очерк «На выставке»— I, 227—238). Обычно жизнь высших классов не отражалась в рассказах и очерках Слепцова, где почти безраздельно царила Россия крестьянская и Россия «маленького человека». Публикуемый набросок интересен именно тем, что показывает обращение Слепцова к принципиально новой для него теме.

Сохранившийся небольшой набросок позволяет судить о том, что всех почтенных господ, заполняющих концертный зал в здании минеральных вод, Слепцов избрал в качестве мишени для острой сатиры. «Постоянный» состав зала доказывает общность интересов всех этих помещиков, военных и чиновников из министерств. Все они объединены стремлением пошло развлечься, послушать фривольные французские песенки, исполняемые девицей Финетой, и от этого все кажутся на одно лицо. Действие рассказа происходит, по-видимому, в Петербурге, в известном заведении искусственных минеральных вод Излера, существовавшем с 1834 г. Это было излюбленное место увеселений состоятельной части петербургского общества. Однако описание обрывается в самом начале.

Сохранились три черновых рукописи наброска, представляющих собой три варианта одного и того же текста. Первый из них (с большим количеством вычеркиваний и исправлений) Слепцов начал перебелять чернилами, но, написав несколько строк, стал опять править карандашом и бросил на словах: «Свежий человек, войдя сюда...» Оба эти варианта начинались фразой: «В здании искусственных минеральных вод, как всегда, был увеселительно-музыкальный вечер...» Мы публикуем третий вариант наброска, очевидно, являющийся последним. Он написан карандашом и местами сильно правлен, но все-таки имеет вид более отделанный, чем первый вариант. В основном текст обеих черновых рукописей приблизительно сходен. Правда, в первом варианте вместо девицы Финеты публика восторгалась идущей на сцене французской комической пьеской с пением и танцами. «Сейчас же видно было, что собственно драматическая сторона — здесь дело постороннее, и что весь интерес сосредоточивался главным образом на пении куплетов, двусмысленностях и на поднимании ног». В последнем варианте, который мы публикуем, Слепцов несколько сократил первый абзац и начал рассказ более лаконично и выразительно.

«КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ, ЯРКО ОСВЕЩЕННЫЙ ГАЗОМ...»

Концертный зал, ярко освещенный газом, был битком набит публикою. Свежий человек, войдя сюда, вероятно, затруднился бы по одному только наружному виду определить, что это за люди и с какой радости так много набралось их в этот концертный зал.

Тут были люди всех возрастов, начиная с самых юных, только что оперившихся корнетов в новых мундирах, и кончая старцами, утратившими способность не только наслаждаться, но даже закрывать рот. Тут были всевозможных званий и профессий люди: чиновники разных ведомств, коммерсанты, мировые судьи, ростовщики, адвокаты, приказчики, приезжие по делам помещики, французские куаферы и, наконец, какие-то неизвестные, тем не менее со всем светом знакомые русские люди. При этом особенно бросалось в глаза преобладание мужского элемента: женщин вообще было немного; при том же дамы в ложах казались как-то уж слишком нарядными и чересчур развязными; зато военных было много и преимущественно из полков, отличающихся необыкновенным количеством пуговиц и пестротою мундира. Офицеры занимали самые видные места и держали себя как дома, впрочем и штатские, кучками сидевшие в лучших ложах и в первых рядах кресел, тоже не очень церемонились. Они садились задом к сцене, разговаривали между собою и посылали дамам воздушные поцелуи.

Обозревая эту пеструю толпу, скорее всего следовало бы предположить, что это просто случайное собрание людей разных сословий и что между ними нет ничего общего. Но приняв во внимание источник, к которому все эти господа собрались утолять свою жажду, можно было отчасти догадаться, что собрание это не совсем случайно, что, несмотря на внешнее различие, у всех одна общая потребность, одна цель, следовательно, они друг другу не чужие; одним словом, что это своего рода компания и

даже, если хотите,— компания уже слегка подгулявшая, так как был 12-й час ночи и представление приближалось к концу.

И действительно, вся эта компания состояла из лиц одной категории с одним общим характерным признаком, которым обладал каждый, сидевший в зале, несмотря на различие званий, занятий и состояний. Это все был народ бездомный, это были люди, или еще не успевшие свить себе гнезда, не имеющие своего собственного домашнего очага, или же люди, которые имели прежде нечто подобное, но не умели и не могли усидеть в нем.

И действительно, это была своего рода компания, несмотря на то, что большинство даже не было лично друг с другом знакомо; но тем не менее постоянный посетитель мог быть вполне уверен, что каждый вечер непременно встретит всю компанию в полном составе: если сегодня нет вчерашнего гусара, зато на его место непременно явится другой, совершенно такой же кирасир, так же развалится в креслах, загремит саблею, начнет ковырять в носу и за ужином потребует бутылку шампанского, если завтра не явится сегодняшний mon cher из Министерства внутренних дел, то завтра на его место явится другой mon cher из Министерства финансов, в таком же зеленом галстуке, с таким же стеклышком в глазу и совершенно так же будет класть ноги на стул.

Вчера был помещик, приезжий из Калуги, завтра будет помещик из Рязани и т. д. Одним словом как комплект, так и личный состав этой компании остается неизменным, несмотря ни на погоду, ни на изменение репертуара, несмотря ни на какие события.

На маленькой сцене концертного зала девица Финета пела французскую песенку. Песенку эту публика слышала уже 100 тысяч раз, однако это нисколько, по-видимому, не мешало ее успеху: публика рукоплескала, топала ногами и заставляла повторять. Песенка была не бог знает какая, смысла в ней, как и во всякой французской песенке, было не много; но зато в ней было очень много двусмысленностей и еще чего‹-то› такого, что для всякого взрослого человека, даже и совсем не знающего французского языка — совершенно понятно. Это была вечно юная песня любви, не лишенная даже некоторой, своего рода, трактирной поэзии.

Притом же пела ее Финета, пела так, как может петь изнывающая в клетке сладострастная канарейка. Она щебетала и захлебывалась от избытка канареечной страсти, она протягивала к кому-то свои белые круглые руки, она искала кого-то, она билась и замирала в чьих-то невидимых объятиях. И в это время каждому начинало казаться, что эти руки протянуты к нему, что она ищет его, что она бьется и замирает в его объятиях. Обаяние, производимое песенкою было таково, что даже...

‹1870-е годы›

Автограф. ИРЛИ, Р. III, оп. 1, № 1924.

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

НЕЗАКОНЧЕННАЯ СТАТЬЯ О ГОГОЛЕ

Публикация М. Л. Семановой*

Публикуемая статья Слепцова — одна из первых известных нам работ писателя — осталась незаконченной и не была напечатана. Для какого издания она предназначалась — установить не удалось. Статья представляет значительный интерес для определения идейно-эстетической позиции молодого Слепцова, а также характеризует ту идейную борьбу, которая велась вокруг Гоголя. Написание статьи следует отнести к началу 1860 г., ко времени первой публикации «письма» Гоголя к А. О. Смирновой «Что такое губернаторша?» Это было одно из четырех гоголевских «писем» из «Переписки с друзьями», запрещенных ранее цензурой.

Творчество Гоголя, несомненно, повлияло на ряд произведений Слепцова («Свиньи», «Письма об Осташкове», «Петербургские заметки»). Недаром Толстой, говоря о русских юмористах, поставил в один ряд: Гоголя, Слепцова, Чехова [1].

Но писатель-демократ шестидесятых годов не просто хранил гоголевские традиции; он творчески развивал их в соответствии с требованиями нового времени и своего мировоззрения (прежде всего это касалось изображения народа). Принимая основные творческие принципы Гоголя — изображение правды жизни, обличение — Слепцов, как об этом свидетельствует и все его творчество и публикуемая статья, был идейно враждебен «умозрительным» построениям автора «Выбранных мест», позиции учителя жизни, которую занял Гоголь в конце 1840-х годов.

Последователь Белинского и Чернышевского, Слепцов указывает в статье на глубокую реакционность книги Гоголя, на ее мистицизм, на стремление автора подменить решение социальных вопросов «спасительными средствами» этического характера. В личности же Гоголя Слепцову враждебно его «аскетическое направление» (по терминологии Чернышевского), самоуничижение при страшнейшем самолюбии [2].

Слепцов вслед за Чернышевским отмечает, что Гоголь не шутит идеями, принимается за свое «душевное дело» серьезно [3]. Но, как и Чернышевскому, Слепцову кажется странной эта его деятельность и, в частности, то, что Гоголь возложил на губернаторшу обязанности, о которых она не имеет ни малейшего понятия. Как и Чернышевский, он считает несостоятельными, поразительно наивными предложенные Гоголем рецепты спасения России. Но Слепцов строже и суровее, чем Чернышевский, осуждает Гоголя за его реакционные утопии.

В середине 1850-х годов революционные демократы объявили автора «Ревизора» и «Мертвых душ», главою ведущего и единственно плодотворного направления в русской литературе — «гоголевского направления». Чернышевский в своих статьях о Гоголе старался подчеркнуть его силу, его великие исторические заслуги, а не заблуждения. Отсюда стремление найти зерна истины, элементы гражданственности даже в ошибочных произведениях писателя. Так, говоря о письме «Что такое губернаторша?» — Чернышевский объясняет наклонность к аскетизму Гоголя силою впечатления, произведенного на него «зрелищем праздной роскоши» [4], а в желании Гоголя говорить знатным людям о смирении и сострадании видит выражение благородной наклонности человека, желающего блага обществу.

Слепцов писал свою статью в другое время. И оно диктовало демократам бо́льшую непримиримость к заблуждениям Гоголя. Поэтому, сохраняя уважительный тон по

* При участии Э. Л. Войтоловской.

отношению к писателю, автор допускает, однако, и ясно выраженные иронические интонации.

Прямолинейная непримиримость Слепцова вполне объяснима. Революционная демократия вела в это время ожесточенную борьбу по всему фронту с либералами, стремившимися противопоставить требованиям радикального переустройства русской жизни всякого рода полумеры, частичные реформы, филантропию «сверху». Публикация именно в этот момент «письма» Гоголя к губернаторше имела определенный политический смысл.

Знаменательно, что редакция либеральной газеты «Современность и экономический листок», усиленно восхвалявшая на своих столбцах «отрадные» явления подготовлявшихся реформ, из четырех представленных П. А. Кулишем глав книги Гоголя, запрещенных ранее цензурой, сочла необходимым поместить именно письмо к А. О. Смирновой.

Слепцов понял, в чем состояла актуальность для либералов вопросов, поставленных и решенных Гоголем в письме «Что такое губернаторша?». Отсюда полемическая заостренность его статьи. Косвенным свидетельством того, что субъективное отношение Слепцова было в данном случае далеко не единичным в демократической среде шестидесятых годов, служат слова тургеневского Базарова: «С тех пор как я здесь, я препакостно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше».

В статье Слепцова есть некоторая непоследовательность, а также преувеличения. Он придает слишком большое значение душевной болезни Гоголя и непоследователен в решении вопроса об эволюции писателя. В начале статьи Слепцов делит творчество Гоголя на два периода: до и после появления «Выбранных мест»; здесь о книге Гоголя говорится, что она появилась «неожиданно». Позднее же автор утверждает, что во многих местах прежних произведений чувствуются зачатки болезни Гоголя, и поэтому не кажется «резким переход его от I части „Мертвых душ“ к советам губернаторше». Такое суждение, если бы оно появилось в печати, было бы «на руку» последователям Аполлона Григорьева. Известно, что Григорьев утверждал в 1840-е годы: никакого перелома в мировоззрении Гоголя не произошло.

Однако нужно помнить, что не кто иной как Белинский осторожно высказал в свое время тревогу за Гоголя на основании некоторых мест первой части поэмы, в которых «из художника силится автор стать каким-то пророком...» [5]. Добролюбов же в статье «Темное царство» отметил, что в первой части «Мертвых душ» есть места, по духу своему подходящие к «Переписке» [6]. Но и Белинский и Добролюбов в своих выступлениях о Гоголе подчеркивали именно отличие его художественных произведений от «Выбранных мест». Чернышевский же, кроме того, стремился найти черты художника-Гоголя, автора первого тома «Мертвых душ», во втором, неизвестном Белинскому, томе поэмы. «Эти места человека самого предубежденного против автора „Переписки с друзьями“ убедят, что писатель, создавший „Ревизора“ и первый том „Мертвых душ“, до конца жизни остался верен себе как художник, несмотря на то, что как мыслитель мог заблуждаться...» [7]

Несмотря на некоторую односторонность или непоследовательность суждений Слепцова, общая направленность его статьи близка оценкам Гоголя, которые давались виднейшими представителями революционно-демократической критики.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] К. <В. В. Каллаш>. В. А. Слепцов.— «Русская мысль», 1903, № 4, стр. 155.— Здесь приведены слова Толстого о Слепцове.

[2] «Сочинения и письма Н. В. Гоголя».— Чернышевский, т. IV, стр. 632.

[3] Там же, стр. 663.

[4] Там же, стр. 639.

[5] «Похождения Чичикова, или Мертвые души».— Белинский, т. X, стр. 51.

[6] «Темное царство».— Добролюбов, т. II, стр. 84.

[7] «Очерки гоголевского периода русской литературы».— Чернышевский, т. III, стр. 13.

«ЧТО ТАКОЕ ГУБЕРНАТОРША

(ПИСЬМО К А. О. С.....ОЙ)» Н. В. ГОГОЛЯ,

«Современность», № 1, 1860 *

Литературную деятельность Гоголя можно делить на два периода. К первому относятся его юношеские произведения (за исключением стихотворений), носящие на себе все признаки огромного таланта, а именно: «Вечера на хуторе», «Арабески», «Миргород», «Мертвые души», «Ревизор» и проч. Это лучшее время его деятельности, время, доставившее Гоголю место в ряду первоклассных литераторов, породившее толпу подражателей и закончившееся так неожиданно и так печально появлением в свет «Выбранных мест...»

Вслед за появлением этой книги начинается второй период. Тут уже начинает ярко выступать тот нравственный переворот, много лет совершавшийся в душе этого [замечательного] человека и невидимо подточивший в самом корне его талант.

К этому времени относятся его знаменитые «Исповедь», «Выбранные места», многие письма к друзьям; сюда же должно отнести и письмо к А. О. С.....ой, заглавие которого мы привели выше. Письмо это в числе прочих трех доставлено в редакцию «Современности» Кулишем и писано в 1846 году,— как видно из примечания редакции «Современности».

Письмо это, не представляя большого интереса в литературном отношении, любопытно как документ, подтверждающий мнение, давно уже высказанное некоторыми из лучших людей того времени, мнение — будто влияние Гоголя как литератора кончилось вместе с появлением «Выбранных мест» и пр., потому что все, писанное им после, явно отзывалось упадком нравственных сил, каким-то страстным мистицизмом и решительным отсутствием именно тех свойств, которые характеризуют гоголевское направление.

Смешно сказать, что большинство нашей читающей (и еще более только бывающей в театре) публики до сих пор имеет о Гоголе и его литературной деятельности самые неясные понятия. А ведь между тем оно так. Некоторым Гоголь представляется и теперь еще чем-то вроде вольтерианца, потому, может быть, что, по мнению этих господ, его насмешка над чиновниками как-то тесно связана с неуважением к старшим, непочтительностью, богоотступничеством и т. д. Не говоря уже о женщинах, которые почти вовсе не знакомы с его произведениями, за исключением разве комедий, виденных на сцене. Другие, напротив, при одном только имени Чичикова, Ноздрева и пр. начинают уж хохотать, для этих Гоголь — веселый писатель, доставляющий им многие минуты истинного удовольствия. И опять-таки и это не ценители. Этот разряд читателей видит в Гоголе чуть не Поль де Кока, и для них остается решительно незаметною самая сильная сторона гоголевского таланта, и конечно, самая характеристическая.

На гоголевские типы многие, даже образованные, люди все еще смотрят как на смешные карикатуры, и только очень немногим понятны вполне эти невидимые сквозь видимый смех слезы, а потому-то мы и решились сказать здесь несколько слов о письме, не представляющем для большинства большого интереса. И действительно, каждый, вероятно, при одном уже имени Гоголя взялся за листок газеты с любопытством, доходящим до аппетита, в надежде найти нечто вроде описания губернаторши в «Мертвых душах»,— начал читать, все еще ожидая, что дальше будет смешно,

---

* *Слепцов не совсем точно приводит библиографические сведения. Нужно:* «Современность и экономический листок», 1860, № 1, от 29 января. *Также он не всегда точно цитирует текст Гоголя.— Ред.*

но и дальше ничего такого не оказалось. Читатель становится втупик. И уж так только, потому что это гоголевское письмо, больше для очищения совести дочитывает до конца.

Тяжелое раздумье овладевает читателем.

Но прежде нужно же сказать, что это за письмо, над которым задумается читатель.

Как бы весело настроен ни был воображаемый читатель перед чтением означенного письма, с первых же строк строгий тон речи дает знать, что

не шутки шутить, не людей смешить

собирается автор; с первых же строк догадывается читатель, что письмо вовсе не юмористического характера.

«Но в сторону наши здоровья: мы должны позабыть о них, так же как и о себе»,— говорит автор, выразив удовольствие, что здоровье лица, к которому относится письмо, становится лучше, и объявив, что его здоровье плачевно.

Вы уже чувствуете, что речь идет о самоотвержении. Веселое настроение окончательно пропадает, и серьезное внимание заменяет его место.

Далее вы узнаете, что губернаторша — это та самая дама, к которой писано письмо, и что цель его — подать несколько благих советов, как должна поступать губернаторша на своем месте и в чем собственно заключается ее обязанность... Вопрос, как видите, очень серьезен и к тому же способен заинтересовать каждого читающего человека. Вы сейчас же соображаете, что человек, знавший так хорошо Россию, как знал ее Гоголь, не может подать дурного совета, что советы будут и дельны, а может быть, даже и остроумны. Внимание ваше усиливается.

Первый совет состоит в том, что губернаторша должна «с новыми силами возлюбить его» (т. е. город). «Он ваш, он вверен вам, он должен быть вашим родным». За этим следует упрек в холодности или, скорее, в охлаждении к обязанностям губернаторши, убежденность в том, что присутствие ее в городе не может принести большой пользы, «что общество испорчено в корне».— «Вы просто устали — вот и всё!» Деятельность губернаторше предстоит всюду, на каждом шагу. «Она даже и тогда производит влияние, когда ничего не делает». В доказательство этого приводятся примеры двух предшественниц, из которых одна «завела кучу благотворительных заведений, а с ними вместе — и кучи бумажной переписки и возни, экономов, секретарей, бестолковщину, прославилась благотворительностью в Петербурге и наделала кутерьму в К***». Другая же, бывшая до нее, не заводила ничего подобного и даже на мужа не имела никакого влияния, но о которой до сих пор никто в городе «не может вспомнить без слез». За этим опять упреки в усталости, причины которой женская прыть, сначала быстро увлекающая, но зато и быстро охлаждающая.

Тут уж собственно и начинаются советы. Во-первых, губернаторша должна подавать собою благой пример во всем, на том основании, что русские вообще склонны к «обезьянству» и что если губернаторша будет вести свои дела хорошо и изгонит из своего туалета роскошь, то и все поведут свои дела хорошо и изгонят роскошь, а роскошь изгонит взятки.

— «Гоните эту гадкую скверную роскошь, эту язву России, источницу взяток, несправедливостей и всех мерзостей, какие у нас есть». Дело, как видите, очень простое и легкое и даже не требует никаких пожертвований, даже и времени не отнимает!

Второй совет состоит в том, что губернаторша должна смотреть на свою губернию как на лазарет и притом уверить себя, что все больные в этом лазарете всё родные и близкие сердцу люди. За этим опять упрек в том, что губернаторша вообразила себе, будто все эти больные неизлечимы.—«Что ж, разве вы всезнающий доктор? А зачем вы не обратились с просьбою

о помощи к другим? Разве я даром просил вас сообщить всё, что ни есть в вашем городе, ввести меня в познание вашего города, чтобы я имел полное понятие о вашем городе? Зачем же вы этого не сделали?..» и т. д.

Замечаете?.. Замечаете? — Воно куда пошло!.. Вот она пружина, двигающая этими советами. Тут нужно бы немного приостановиться и сообразить кое-что. Здесь считаем нужным объясниться и добавить несколько слов о причинах, заставивших нас взяться за перо по поводу письма, имеющего на первый взгляд не более как библиографический интерес.



СОВРЕМЕННОСТЬ

И

ЭКОНОМИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ

ГАЗЕТА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ, УЧЕНАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ.

29 ЯНВАРЯ. 1860. № 1.

СОДЕРЖАНІЕ: Политическое обозрѣніе. С. А. Поля.—Обозрѣніе общественной дѣятельности въ Россіи за 1859 годъ.—С.-Петербургъ.—Москва.—СЛОВЕСНОСТЬ: Что такое губернаторша? Н. В. Гоголя.—*** Стихотвореніе А. Н. Плещеева.—Городничій, прологъ къ роману «Правое дѣло». С. Т. Словутинскаго.—КРИТИКА: Горькая Судьбина, драма А. Писемскаго. П. Е. Басистова.—СМѢСЬ: Замѣтки о желѣзныхъ дорогахъ. А. А.—Московскія замѣтки. И. С.—Заграничныя извѣстія. Н. М. П—го. Театральная хроника. С. П. Я—ва.—Бенефисъ г. Чернышева.—Московская художественная лѣтопись. А. Н. Андреева.—Литературный вечеръ въ С. Петербургѣ, 10 января, 1860 года.—Случай, одинъ изъ многихъ.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ

волновавшихъ Англію, Ирландія послѣдовательно то лишалась, то получала гражданскую и религіозную свободу. Господство каждой партіи въ Англіи прежде всего выражалось *религіозными гоненіями въ Ирландіи*. Эти гоненія, вмѣстѣ съ слабымъ умственнымъ развитіемъ и бѣднымъ матеріальнымъ состояніемъ, вкореняли въ католической Ирландіи глубокую ненависть къ Англіи. Преданность къ католической религіи, доходящая до фанатизма, обусловливаемая всѣмъ прошедшимъ, стала отличительною чертой Ирландіи. Теперь, не смотря на полную гражданскую и

вседневной жизни. Волненія въ Ирландіи теперь утихаютъ за отсутствіемъ борьбы. Ирландскій фанатизмъ разбился объ англійскій либерализмъ. Не есть ли это великій успѣхъ *въ исторіи человѣчества?*

Подобное явленіе мы видимъ на Іоническихъ островахъ. Республика Семи Соединенныхъ острововъ, по трактату 1815 г., была отдана подъ покровительство Англіи, которая стала управлять ею, какъ своею провинціей. Населеніе Іоническихъ острововъ, понимая значеніе акта 1815 г., съ неудовольствіемъ

ГАЗЕТА «СОВРЕМЕННОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИСТОК», 1860, № 1

1. Здесь впервые опубликована статья Н. В. Гоголя «Что такое губернаторша?», вызвавшая отклик Слепцова

Заговорив об этом письме, мы находим не лишним поговорить немного и о самой личности Гоголя, так как эта личность, кроме литературного значения, представляет еще огромный интерес в психологическом отношении. Не лишним будет это и потому, что письмо, о котором мы говорим, как нельзя лучше рисует человека в тот грустный период нравственного распадения, которым заканчивал литературное поприще Гоголь. Здесь Гоголь-моралист, увлеченный своим собственным красноречием, нечувствительно для самого себя, разоблачил самые затаенные симптомы своей болезни, болезни, имевшей огромное влияние на внутреннее состояние духа писателя, а следовательно, и на его произведения, болезни, породившей то знаменитое *душевное дело*, которое в последние годы поглотило всю его духовную деятельность.

Смиренномудрие вместе с страшнейшим самолюбием, самоуничижение и сильная наклонность поучать — вот главные симптомы, в которых выразился страшный нравственный недуг Гоголя, а так как письмо это, в свою очередь, послужило выражением означенных симптомов, то и

смотреть на него следует не иначе, как на произведение больного человека. Только с этой точки зрения становятся ясными многие темные места в его произведениях и не кажется резким переход его от 1-й части «Мертвых душ» к советам губернаторше. Стоит только вглядеться повнимательнее, и в прежних произведениях и в 1-й части ‹«Мертвых душ»› откроются следы того же направления и там уже проглядывали кое-где зачатки той же болезни. Личность Гоголя,— как мы уже сказали выше,— вовсе еще не так исчерпана, чтобы все в ней было ясно для нашей читающей публики.

Письмо к губернаторше, о котором мы завели речь, вводит нас в интимные отношения этого замечательного человека с женщиной, и освещает еще некоторые темные места его нравственной жизни.

«Зачем же вы этого не сделали (т. е. не обратились за советом к Гоголю), тем более, что сами уверены, будто я могу на многое произвести больше влияния, чем вы; тем более, что сами же приписываете мне *некоторое не всем общее* (?) познание людей; тем более, наконец, что сами говорите, будто я вам помог в вашем душевном деле более, нежели кто другой?»

Из этих слов вы видите, что и сюда замешалось это так называемое *душевное дело*. Из этих же слов оказывается, что и у губернаторши было то же душевное дело и что между ней и Гоголем по поводу душевных дел существовало некоторого рода духовное общение.

— «Неужели вы думаете,— продолжает Гоголь,— что я не сумел бы так же помочь и вашим неизлечимым больным? Ведь вы позабыли, что я могу и помолиться, молитва моя может достигнуть и до бога, бог может послать уму моему вразумление, а ум, вразумленный богом, может сделать кое-что получше ума, который не вразумлен им».

Здесь, как видите, автор больше рассчитывает на откровение, нежели на практическое знание дела, и, чувствуя в себе способность вдохновлять, думает решать социальные вопросы путем умозрения. Посмотрим же теперь, какого рода средства предложит вдохновенный врач недугующим и страждущим, которых слабая женщина или, как говорит автор, ваш брат, страстная женщина, предполагает неизлечимыми.

Тут дело в том, что автор сознается в своем крайнем незнании города, о котором идет речь, и смирение его доходит до того, что он говорит: «Вы понадеялись на то, что я знаю Россию, как пять моих пальцев; а я в ней ровно не знаю ничего. Если я и знал кое-что, то и это со времени моего отъезда уже изменилось».

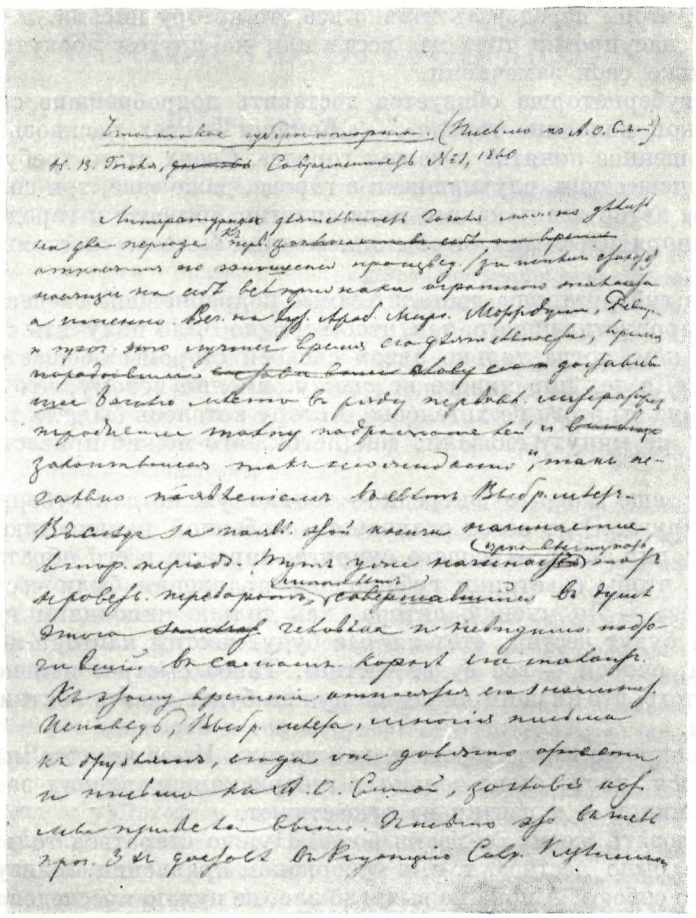
Следовательно, на этот счет дело покончено, сказать что-нибудь действительно полезное автор отказывается, потому что ни России, ни губернского города в особенности не знает, но зато он может помолиться, зато он может предложить a priori такие спасительные средства от неизлечимых болезней, которые, кроме него, никто предложить не может.

Какие же эти средства? А вот погодите!

А тут-то вот именно и оказывается вся несостоятельность умозрений, основанных только на вдохновении, тут-то и оказывается, до какой степени далеко душевное дело от действительной жизни и как трудно человеку, погруженному в созерцание *своих мерзостей*,— как говорит автор,— находить средства для излечения чужих. И в самом деле, до какой степени шатко и валко все основание, на котором строится эта хитро задуманная больница и в которую вводит вас автор для того, чтобы показать вам свое искусство в излечении человеческих мерзостей. После длинного и немилосердно растянутого предисловия автор начинает с того, что задает губернаторше ту же задачу, которую он задавал и всей России в своих письмах к друзьям, т. е. просит ее (губернаторшу) описать ему все, что ни есть у нее в городе. Задача, как видите, не маленькая. Но это еще не всё. Губернаторша, по свойственной женщинам ветрености и легкомыс-

лию, вздумала бы, может быть, отделаться каким-нибудь легким очерком в описательном роде, но автору этого мало, ему нужна во всем аккуратность, и уж если он примется за какое-нибудь дело, то шутить не любит.

— «Вы должны ради меня начать вновь рассмотрение вашего губернского города. Во-первых, вы мне должны назвать все главные лица в городе по именам, отчествам и фамилиям, всех чиновников до единого. Мне это



РУКОПИСЬ СТАТЬИ СЛЕПЦОВА «ЧТО ТАКОЕ ГУБЕРНАТОРША?», 1860 г.
Архив Октябрьской революции, Москва

нужно. Я должен быть им так же другом, как вы сами должны быть другом им, всем без исключения. Во-вторых, вы должны мне написать, в чем именно должность каждого».

Все это должно быть узнано от самих чиновников лично: а как это сделать — для этого прилагаются особенно вопросные пункты.

Таким образом, губернаторша должна расспросить каждого по очереди, в чем заключается его должность, сколько на таком-то месте можно принести добра и сколько зла? Узнавши все это, губернаторша должна сейчас же отправиться в свою комнату и «все это на бумагу — *для меня*».

И ведь как это все легко и просто—переэкзаменовать таким образом всех чиновников, а главное, что этим самым или *сим*,— как говорит автор,—

уже будет сделано два дела: первое — автору дается средство впоследствии пригодиться губернаторше, а второе — губернаторша из ответов и сама успеет узнать своих чиновников. Но тут опять остановка. Из этих ответов губернаторша может усмотреть возможность сделать нечто и сейчас же, «но не в этом дело. До времени лучше не торопитесь; не делайте ничего, даже и тогда, если бы вам показалось, что вы можете кое-что сделать и что в силах чему-нибудь помочь». Губернаторша должна пока довольствоваться тем, чтобы передавать только все это автору письма, и «на той же страничке, насупротив того же места или на другом лоскутке бумаги» делать только свои замечания.

Потом губернаторша обязуется доставить подробнейшие сведения «о всей женской половине города».— «Женщин — всех насквозь! Чтобы я имел совершенное понятие о вашем городе». Сверх этого требуется записывать происшествия, случившиеся в городе, даже «две, три сплетни» для того, чтобы автор знал «какого рода сплетни» бывают в городе. Притом нужно распорядиться так, чтобы описывание было ее «постоянным занятием».

И когда губернаторша доставит самые подробнейшие сведения о своем городе, не пропустив ничего, так, чтобы можно было получить самое ясное понятие о нем, тогда только автор с своей стороны обещается сказать *кое-что*.— «До тех пор ничего не скажу, именно потому, что могу ошибиться, а мне бы этого не хотелось». Автору хотелось бы дать такой совет, чтобы в ту же минуту сказали: «он легок, его можно привести в исполнение».

Но вот еще кое-что впереди — только уж не для губернаторши, а для ее супруга. Этот совет отличается особенной наивностию.— Попросите,— говорит автор,— вашего супруга, «прежде всего обратить внимание на то, чтобы советники губернского правления были честные люди. Это главное».— По мнению автора, как только чиновники губернского правления будут честны, «тот же час будут честны капитан-исправники, заседатели, словом — все будет честно». Такое быстрое изменение произойдет от того, что низшим чинам не нужно будет давать взятки своим начальникам.

Итак, вопрос о взятках решен, как видите. Из-за чего же мы-то хлопочем и бьемся, когда стоит только в губернском правлении завести честных чиновников — и взятки не существуют.

Преследовать же их, сохрани боже! Нужно стараться только, «чтобы сверху все было честно», т. е. в губернском правлении, «снизу все будет честно само собою». А пока не вызрело зло, не нужно преследовать никого, а лучше тем временем действовать нравственно. В чем же состоит это нравственное влияние? А вот, увидим.

Губернаторша всегда,— говорит автор,— может иметь влияние нравственное, даже очень большое нравственное влияние, подобно как и губернатор, может «иметь большое нравственное влияние», хотя она и не имеет «власти, установленной законом».

Как будто власть, установленная законом, имеет больше нравственного влияния, нежели власть, не установленная законом? Не правда ли, как все это наивно?

В доказательство того, какое огромное нравственное влияние может иметь губернаторша на бесчестных чиновников, служит то, что если губернаторша не сделает одному из них визита, то об этом будет говорить весь город, и бедные чиновники *из-за этой единственной боязни* струсят сделать подлость.

‹1860 г.›

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 182, лл. 4—11.

ЗАПРЕЩЕННАЯ ЦЕНЗУРОЙ СТАТЬЯ ОБ ОСТРОВСКОМ

Публикация В. Э. Боград а

Впервые о том, что Слепцов написал статью «О „Доходном месте" Островского», мы узнали из опубликованных в 1930 г. воспоминаний Е. И. Жуковской. Не называя заглавия статьи, Жуковская сообщает, что в бытность ее членом Знаменской коммуны (1863 г.)Слепцов написал и отправил в типографию «Современника» критическую статью, в которой «он разнес Островского». По словам Жуковской, Некрасов, ознакомившись с содержанием статьи уже в корректуре, «хвалил оригинальность ее мыслей и очень сокрушался, что не может напечатать такой прекрасной статьи из боязни поссориться с автором критикуемых сочинений». После отказа Некрасова Слепцов предложил статью Благосветлову для «Русского слова», но тот возвратил ее автору, назвав «просто сумбурной». Прочитав ответ Благосветлова, Слепцов будто бы рассердился, «разорвал корректуру и бросил в топившуюся печь» [1].

Однако статья Слепцова не погибла бесследно: один экземпляр гранок этой статьи оказался в той части бумаг А. Н. Пыпина, которая хранится в Архиве Академии наук СССР в Ленинграде [2]. Гранки не имеют каких-либо следов авторской или редакторской правки и составляют две «формы», первая — четыре полосы, вторая — три; подписаны они инициалами автора (В. С.). На полях каждой из гранок имеется помета: «2 корр⟨ектура⟩ окт. 27». Кроме того, на обороте первой гранки красным карандашом рукой неустановленного лица написано: «Об Островском Слепцова». На второй гранке имеется заглавие: «О театре», сделанное чернилами рукой неустановленного лица, а на обороте ее, теми же чернилами и той же рукой: «Его высокоблагородию Александру Николаевичу Пыпину». Возможно, что заглавие статьи не принадлежит Слепцову.

В третьем томе монографии В. Е. Евгеньева-Максимова о «Современнике» указано, что статья Слепцова о «Доходном месте» упоминается в счетах типографии в редакцию журнала за набранные и запрещенные цензурой статьи, предназначавшиеся для № 10 «Современника» 1863 г. [3] Следовательно, статья все же посылалась в цензуру. Действительно, в «Журнале заседаний С.-Петербургского цензурного комитета» от 30 ноября 1863 г. читаем: «Статья по поводу восьмилетнего недопущения на сцену комедии Островского „Доходное место", где автор заметно проводит мысль о том, что прежде надеялись на искоренение наших недостатков силою общественного мнения и что в настоящее время эта надежда исчезла, так как общественное мнение умолкло. *Определено*: в настоящем виде статьи не дозволить к напечатанию» [4].

Статья Слепцова написана в связи с первой (после длительного запрещения) постановкой комедии «Доходное место» на сцене Александринского театра 27 сентября 1863 г. Но эта постановка явилась для Слепцова лишь поводом написать статью в жанре театральной рецензии, посвященную, однако, не разбору спектакля, а критике либеральных реформ 1860-х годов. Выступить в подцензурной печати с прямым разоблачением нового реакционного курса правительства и резкого поправения либерального общества в 1863 г. Слепцов, конечно, не мог. Поэтому он и придал своему выступлению форму критической статьи о пьесе Островского. Чтобы дезориентировать цензуру, Слепцов уверяет в статье, будто в этой пьесе прославляется общественное мнение как некая всемогущая сила, способная удовлетворить все насущные нужды народа. Благодаря такому приему, ему удается показать как, в действительности, несостоятельны подобные взгляды на роль общественного мнения в политически бесправной стране.

Следует отметить, что Слепцов все время относит опубликование «Доходного места» к 1855 г., тогда как эта пьеса впервые была напечатана в № 1 «Русской беседы» 1857 г. (в 1855 г. «Русская беседа» еще даже не существовала).

1855 год был памятен русскому обществу как знаменательная веха на его историческом пути. В этом году умер Николай I; в этом же году крах Крымской войны обнаружил перед всем народом полный кризис крепостнической системы. Необходимость решительных преобразований в общественной и государственной жизни России стала очевидной. В то время не только либералы, но и некоторые демократы разделяли иллюзию будто путем реформ, силою общественного мнения можно решить основной вопрос русской жизни — вопрос о крепостном праве. Именно против такого рода воззрений и направлен подтекст слепцовской статьи.

В целях защиты от цензуры Слепцов проводит в статье явно неверную и демонстративно-наивную мысль якобы «Доходное место» потому не имело успеха у зрителя, что автор пьесы ополчался в ней на те отрицательные явления общественной жизни (взятки, лихоимство и т. п.), которые к тому времени стали уже будто бы анахронизмом.

Таким образом, внешне статья Слепцова вполне «благонамеренна». Автор ее рассуждает о том, что публика ждала, дескать, от «Доходного места» отклика на важнейшие вопросы современности, а в пьесе идет речь о давно изжитых социальных пороках русского общества. Ирония этого рассуждения для читателя-демократа была очевидна. Особенно остроумно сатирическое утверждение, будто эти пороки уничтожены раз и навсегда не силою общественного мнения, в могущество которого якобы верует автор «Доходного места», а «теми лицами, которым присвоено право карать и миловать». И так как благодетельное начальство — издевательски рассуждает Слепцов — само очистило страну от всех пороков, то «основная идея комедии потеряла для общества всякое значение». Поэтому и публика совершенно права в своем равнодушии к пьесе. Всю последующую часть статьи Слепцов посвящает доказательствам этого «положения», сформулированного автором в сатирически-обличительных целях.

Остановимся еще на некоторых местах статьи, требующих пояснений. Слепцов привлекает внимание читателя к монологу Жадова: «Я говорил, что у нас пробуждается сознание своих недостатков, а в сознании есть надежда на лучшее будущее. Я говорил, что начинает создаваться общественное мнение ⟨...⟩, что в юношах воспитывается чувство справедливости, чувство долга, и оно растет, растет и принесет плоды. Не увидите вы, так мы увидим и возблагодарим бога».

Слепцов нарочито рассуждает о том, как могла бы реагировать на этот монолог публика в различные годы. Это рассуждение любопытно тем, что Слепцов вводит в него характеристику политических настроений русского общества бурного периода конца 1850-х — начала 1860-х годов, т. е. от нарастания волны демократического натиска до ее спада. Так, в 1856 г., после приведенных слов Жадова, в зале произошел бы «страшный грохот». В 1859 г. эти слова были бы встречены «неудержимым браво», «восторженным воплем», а актера, игравшего эту роль, может быть, даже заставили бы «повторить этот блестящий монолог». «... в 1860 году, да, пожалуй, еще и в 1861, в начале, вероятно, нашлись бы люди, которые бы порадовались от души гибели сановного мошенника г-на Вышневского». «И, вероятно, — читаем в статье, — в ту минуту, когда Юсов „показывается в дверях" и весь бледный и растерявшийся произносит роковые слова: „С Аристархом Владимирычем удар...", а г-жа Вышневская „слабо вскрикивает: Ах!", — в это время... я воображаю, как заревел бы *раек* в это время! Какие свирепые возгласы самого искреннего злорадства полетели бы сверху на погибель общественного зла. Многим, вероятно, в это время уже начало казаться, что *с Вышневским вместе сокрушился и весь порядок, создавший Вышневского и Юсова*, и всю братию сразу пришибла какая-то сверхъестественная апоплексия» (курсив мой. — *В. Б.*). Смысл этих слов исторически конкретен: раек — это социальные низы народа, массы, для которых «погибель общественного зла» — ликвидация самодержавно-крепостнического строя — была бы высшим благом. Но победила реформа, а не революция, — с горькой иронией констатирует дальше на своем эзоповском языке Слепцов: «дело обошлось без скандала, который, как известно, возбуждает страсти, а они в свою очередь мешают так называемому мирному прогрессу».

Отношение Слепцова собственно к пьесе Островского уяснялось из основного, подспудного содержания его статьи, посвященной анализу русской общественной жизни 1863 г. С одной стороны, Слепцов отдает должное реализму драматурга, подчеркивая поразительную верность, с которой изображена у него русская жизнь, и отмечая, что в большинстве произведений Островского (в том числе и в «Доходном месте») заключались «более или менее ясные ответы на разные жизненные задачи». С другой стороны, он не только считает вполне закономерным неуспех «Доходного места» в 1863 г., но и полностью разделяет и оправдывает отношение публики к пьесе: «Автор в этом, конечно, не виноват, комедия ничего не потеряла. И автор, и публика правы, а, между тем, спектакль не удался». Эта мысль в различных вариантах неоднократно повторяется на протяжении всей статьи: «и пьеса хороша, и публика тоже хороша»; «пьеса не совсем удалась на сцене, т. е. она сама-то удалась, да только эффекта большого в публике не произвела». Смысл всех этих намеков в том, что либеральные речи Жадова, которые производили впечатление в конце 50-х годов, решительно отвергаются публикой в начале 60-х годов как краснобайство, пустая фразеология.

Углубляя характеристику Жадова, Слепцов обращает внимание читателя на пятое действие пьесы, в котором Жадов «плюет на свои „честные правила" и идет просить *доходного места* у человека, которого знает за бесчестного». К этому эпизоду, как известно, во время появления в печати «Доходного места», было привлечено внимание критики. Либеральная критика была возмущена «падением» Жадова. По другим причинам был недоволен пятым действием и Чернышевский [5]. Он считал «спасение» Жадова не характерным для общественных отношений того времени [6]. Добролюбов же по этому поводу писал так: «Мы в этом не только не обвиняем Островского, но, напротив, видим доказательство силы его таланта. Он, без сомнения, сочувствовал тем прекрасным вещам, которые говорит Жадов; но в то же время он умел почувствовать, что заставить Жадова *делать* все эти прекрасные вещи — значило бы исказить настоящую русскую действительность. Здесь требование художественной правды остановило Островского от увлечения внешней тенденцией и помогло ему уклониться от дороги гг. Соллогуба и Львова. Пример этих бездарных фразеров показывает, что смастерить механическую куколку и называть ее *честным чиновником* вовсе не трудно; но трудно вдохнуть в нее жизнь и заставить ее говорить и действовать по-человечески» [7]. В общественно-политических условиях 1863 г. Слепцов иначе, чем Чернышевский и Добролюбов, судит героя пьесы. Он предлагает изменить ее концовку: поручить Жадова бдительному надзору Юсова и «на упразднившееся же затем место г. Белогубова определить исправляющим должность героя, впредь до утверждения его в сем благородном звании». Другими словами, Слепцов безоговорочно относит Жадова к лагерю угнетателей.

В этой связи в статье возникает общий вопрос: кто же в глазах публики, точнее, демократической, оппозиционно настроенной молодежи, является подлинным героем? Ответ на этот вопрос содержится в следующих словах статьи: «Публика наша, как видно, не удовлетворяется героями, способными скользить и падать. Рефлексия, анализ, борьба с самим собою, падения и примирения — ей не нравятся. Коли уже герой, так подавай настоящего, чтобы и подковы гнул и действовал *по собственному капризу и по своей воле...*» Нет сомнения, что в этих словах содержался намек на Рахметова — подлинного героя молодой борющейся России.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Е. И. Жуковская. Записки. Л., 1930, стр. 185—186.

[2] В настоящее время обнаруженные нами гранки переданы в ИРЛИ в фонд корректур «Современника».

[3] В. Е. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника». 1863—1866. Л., 1930, стр. 68.

[4] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 1, ед. хр. 52, л. 248 об.

[5] «Заметки о журналах». — Чернышевский, т. IV, стр. 734

[6] Там же, стр. 734.

[7] «Темное царство».— Добролюбов, т. II, стр 51.

⟨О ТЕАТРЕ⟩

В конце сентября 1863 года на сцене здешнего театра появилась в первый раз, написанная несколько лет тому назад, комедия Островского «Доходное место». Пьесу эту постигла довольно неприятная участь. Напечатана она была еще в 1855 году в «Русской беседе» и до сих пор не допускалась на сцену. Впрочем в этом еще нет ничего необыкновенного. Есть такие пьесы и такие книги, мемуары разные, которым суждено являться в свет гораздо позже того, нежели как предполагали их авторы. Что касается мемуаров, например, то это еще куда ни шло. Мемуары, как известно, пишутся для потомства и приобретают особую прелесть только тогда, когда половина листов их, по крайней мере, съедена мышами или растеряна. Но ведь это мемуары; что же касается драматических произведений и при том таких, которые заключают в себе интерес временный и скоропроходящий, то вряд ли они выиграют что-нибудь от того, что полежат несколько лет без употребления. Комедии, по-видимому, для того и пишутся, чтобы их играть, а публика должна смотреть, а вовсе не читать. В журналах и вообще в книге всякая живая пьеса теряет в чтении, по крайней мере, 50%, да и прочтут-то не многие. А еще если пьеса писана *по поводу* какого-нибудь насущного вопроса (как это и вышло в настоящем случае), то чрез несколько лет она и смысла никакого иметь не будет.

Главное достоинство таланта Островского, как известно, заключается в необыкновенной верности, с которою воспроизводится им действительность; в умении ловить ее, так сказать, на самом месте преступления и воспроизводить целиком, со всеми ее минутными интересами и даже с тем особенным запахом, который присущ изображаемому им миру. Но так как застигнутый им жизненный процесс непременно вырабатывает в эту минуту какой-нибудь жизненный вопрос, то все почти произведения Островского заключают в себе более или менее ясные ответы на разные жизненные задачи. К числу таких произведений относится и «Доходное место», изображающее борьбу так называемого «нового поколения» с отживающим. Ареною для состязания избрана была служебная деятельность. Неизбежные в то время взятки играют в комедии очень важную роль, лихоимство карается, бескорыстие торжествует. Автор с неподражаемой верностью* тогдашнюю действительность, борьбу и характеры действующих лиц. Вопрос о честности и прочих гражданских доблестях разрешается в комедии на основании существовавших в то время данных, и так как художник постоянно остается верен действительности, то и решение этого выходит верно. Но при этом не следует забывать, что ведь вся эта процедура происходит в сфере искусства, в жизни же не всегда так бывает; не всегда раз решенные вопросы на век остаются решенными. В жизни очень часто выходит даже навыворот.

Но мало ли что бывает в жизни. Мы говорили о спектакле, о временном запрещении пьесы и о том, что пьеса не совсем удалась на сцене, т. е. она сама-то удалась, да только эффекта большого в публике не произвела. И публика в этом случае поступила основательно: пьеса несколько запоздала. Автор в этом, конечно, не виноват, комедия ничего не потеряла. И автор, и публика правы, а между тем спектакль не удался. Какая же тому причина? Причина очень простая. Спрашивается, кому в настоящее время интересно смотреть, как поражаются взяточники и предаются общественному поруганию? Кто же не знает, что в наше время, благодаря уменьшению штатов и увеличению содержания, нет уже никакой необходимости брать взятки; а поэтому и гонение, воздвигаемое на лихоимство,

---

* *Пропуск в тексте.— Ред.*

КАРИКАТУРА, ВЫСМЕИВАЮЩАЯ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОПЫТКИ БОРЬБЫ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

Гравюра П. Куренкова с рисунка Н. А. Дмитриева-Мамонова

«Искра», 1860, № 17

«Кто же не знает, что в наше время, благодаря уменьшению штатов и увеличению содержания, нет уже никакой необходимости брать взятки...» (Из статьи Слепцова о «Доходном месте»)



следует считать делом не только бесплодным, но даже безумным. Зачем же преследовать то, чего не существует? Зачем ругаться над взятками, когда их никто не берет?

Мы так быстро идем вперед, что то, что еще два, три года тому назад возбуждало всеобщее негодование, в настоящую минуту уже не затрагивает ничьего внимания. Что такое доходное место? У нас нет доходных мест, или, лучше сказать, у нас всякое место — доходное место. Таким образом, в каких-нибудь восемь лет основная идея комедии потеряла для общества всякое значение. Да не только что восемь, а всего два года тому назад еще были места более или менее *теплые*, но по мере того как сердца наши стали раскаляться самоотвержением, а пламенная любовь к отечеству стала всё более и более распространяться между нашим чиновным людом и мало-помалу вытеснять прежний суровый и холодный эгоизм, резкие переходы от жара к холоду сгладились, и, вероятно, недалеко уже то время, когда на каждой данной точке нашего отечества *температура места* уравновесится совершенно и остановится на вожделенном «ни тепло, ни холодно», на температуре парного молока. А ввиду такого недалекого будущего и с такими задатками, разумеется, мы не можем сочувствовать писателю, говорящему устами одного из своих героев: «Я буду ждать того времени, когда взяточник будет бояться суда общественного больше, чем суда уголовного» («Доходное место», д. V, явл. 4). С грустной улыбкой сожаления слушаем мы актера, произносящего эту легкомысленную фразу, и хочется сказать ему в ответ: — «Дожидайся, голубчик, дожидайся! Мы уж дождались, да только вовсе не того». Да, года два, три тому назад такая мысль могла бы еще кому-нибудь понравиться, но

теперь она не вызвала ни малейшего одобрения, она была встречена публикою холодно и безучастно. Причина этой холодности весьма понятна. Два, три года тому назад в публике хранился еще остаток того мнения, будто бы общественное мнение есть рычаг, и на этот рычаг многие очень надеялись и думали приложить его, между прочим, к искоренению лихоимства, подобно тому, как искореняют старые пни. К числу таких мечтателей, как видно, принадлежит и г. Жадов, главный герой комедии «Доходное место». До какой степени несостоятелен и легкомыслен такой лесопромышленный взгляд на общественное мнение, стало для нас вполне ясно только теперь, когда у нас на глазах совершилось искоренение лихоимства, без всякой помощи общественного мнения, без театральных эффектов, без всех этих оплеваний и заушений, которых с таким нетерпением ожидал г-н Жадов и ему подобные ненадежные чиновники. Тихо, скромно, благородно, с помощью некоторых административных мер, путем сокращенной переписки, неслышно прошла реформа и — лихоимство, старое, закоренелое зло, насквозь пососавшее наше чиновное насилие,— как рукой сняло. Общественное мнение вдруг увидало себя в таком положении, в каком должна находиться горчица, когда ее подают после ужина: никто уже в ней не нуждается.

Потому-то так и странно было видеть, когда г-н Жадов задирал нос перед своим начальником и все пугал его общественным мнением. И это вышло до того смешно, что, вероятно, и г-н Нильский, игравший роль Жадова, сам чувствовал всю неловкость своего положения. Потому-то, вероятно, он все отворачивался от г-на Вышневского. Нильскому, должно быть, стыдно было взглянуть ему прямо в глаза. Положение тем более неловкое, что г-н Нильский, играя эту роль, не мог же забыть, наконец, что он играет не в 1855 году, когда еще существовали взятки, а в 1863, когда их уже нет и когда гласного судопроизводства хотя тоже еще нет, но скоро будет, и следовательно, ввиду предстоящей судебной реформы приличнее и сообразнее с обстоятельствами было бы выразиться, например, хотя бы следующим образом: «Я буду ждать того времени, когда взяточник не будет бояться никакого суда ни гражданского, ни уголовного, а токмо суда присяжного». Такого рода несообразности в пьесе суть необходимые результаты ее временного запрещения. Пьеса значительно отстала от хода событий и потому идет несколько в разлад с современными интересами. И промахи замечаются именно в тех местах, которые лет восемь тому назад непременно вызвали бы гром рукоплесканий. Я представляю себе, какой страшный грохот пошел бы по зале в 1856 году, например, при следующих словах г-на Жадова, который, «начиная тихо, но постепенно одушевляясь», говорит: «Я говорил только, что в наше время общество мало-помалу бросает прежнее равнодушие к пороку, слышатся энергические возгласы против общественного зла... Я говорил, что у нас пробуждается сознание своих недостатков, а в сознании есть надежда на лучшее будущее. Я говорил, что начинает создаваться общественное мнение... что в юношах воспитывается чувство справедливости, чувство долга, и оно растет, растет и принесет плоды. Не увидите вы, так мы увидим и возблагодарим бога». Я представляю себе, какое неудержимое браво, какой восторженный вопль вырвался бы из груди нашей публики после этой цитаты даже в 1859 году. Какой энтузиазм овладел бы партером, сколько раз к ряду вызвали бы актера, игравшего эту роль, и, может быть, даже заставили бы его повторить этот блестящий монолог! Я думаю, что даже и в 1860 году, да, пожалуй, еще и в 1861, в начале, вероятно, нашлись бы люди, которые бы порадовались от души гибели сановного мошенника г-на Вышневского. И, вероятно, в ту минуту, когда Юсов «показывается в дверях» и весь бледный и растерявшийся произносит роковые слова: «С Аристархом Владимирычем удар»..., а г-жа Вышневская «слабо вскрикивает: Ах!» в это

время... я воображаю, как заревел бы раек в это время! Какие свирепые возгласы самого искреннего злорадства полетели бы сверху на погибель общественного зла. Многим, вероятно, в это время уже начало казаться, что с Вышневским вместе сокрушился и весь порядок, создавший Вышневского и Юсова, и всю братию сразу пришибла какая-то сверхъестественная апоплексия. Да в 1861 г., в начале, всё это еще могло бы случиться, но теперь, в 1863 году, в конце, такие спектакли совсем невозможны. Да и зачем? Не лучше ли было случиться тому, что уже случилось: лихоимство уничтожено, порок наказан, но наказан тихо, келейно и притом теми лицами, которым присвоено право карать и миловать, а не судом общественного мнения, которому никто и никогда не давал права не только карать, но даже и миловать? Не лучше ли это? А, главное, не лучше ли, что дело обошлось без скандала, который, как известно, возбуждает страсти, а они в свою очередь мешают так называемому мирному прогрессу.

Из всего вышеизложенного легко выводится заключение такого свойства: хотя временное недопущение драматического произведения на сцену и вредит иногда успеху пьесы, но зато эта мера ни в каком случае не может оказать вреда для общественной нравственности. Можно бы, пожалуй, вывести и другие заключения, но к чему?

Объяснив главную и общую, так сказать, причину, вследствие которой комедия Островского не могла пользоваться вполне заслуженным успехом, нельзя отказать себе в удовольствии и не вдаться по этому поводу в некоторые частности, которые тем более любопытны, что, будучи подстроены надлежащим образом, должны служить новым доказательством вышеописанного положения, а именно, что и пьеса хороша, и публика тоже хороша.

«Доходное место» появилось в печати в самом начале так называемого «обличительного периода», когда взятка впервые предстала нашему воображению во всем блеске. Но в то время взятка, как и все неясно понятное, представлялось чем-то внешним, каким-то гнойным наростом, привитым разными внешними случайными обстоятельствами. Тогда и средства предлагались против этого недуга, средства, разумеется, более наружные. С этим временем совпадает появление в нашем обществе нескольких геройских личностей так называемых «бойцов за правду», рыцарей бессребренников, поставивших себе задачею — преследовать лихоимство и подавать собою пример служебного бескорыстия.

Но самая ясность и видимая определенность этой задачи и показала сейчас же на опыте, до какой степени односторонне и поверхностно смотрели эти господа на дело, во имя которого затевали борьбу. Бескорыстием,— как и следовало ожидать, — они никого не удивили, а уничтожить лихоимства не могли, потому что лихоимец всегда представлял им такие практические аргументы, на которые возражать они были не в силах, потому что и возражения требовались тоже практические, а их-то вот именно и не было. К числу таких дон-кихотов принадлежит и герой комедии «Доходное место». Я предполагаю, что читателям «Современника», должно быть, известно содержание комедии, и герой ее, г-н Жадов, тоже известен. Читатели, вероятно, поняли, что г-н Жадов — это в некотором смысле Гамлет, русский Гамлет, и служит, если хотите, современным представителем того же типа, к которому принадлежит и Чацкий, так как Чацкий тоже в своем роде Гамлет. И если их всех троих поставить на одну доску, то сходство и родственные черты окажутся поразительные. Начнем с внешних признаков. Все трое — молодые люди, ставшие в самое крайнее противоречие с окружающей их жизнью; все трое одинаково слабы волею; все трое влюблены в глупых, но красивых девиц, и всех троих считают полоумными. Гамлет настоящий, шекспировский Гамлет, борется с жизнью, борется с самим собою, но как в том, так и в другом

случае выказывает большую склонность к реторике. Впрочем, под конец и у него все-таки не обходится без драки, вследствие которой герой погибает: из чего зрители выводят совершенно правильное заключение, что принц, кроме слабости воли, и по части фехтовального искусства успехи тоже оказывал слабые. Здесь, по-видимому, Шекспир заплатил дань своему времени и уморил своего героя совершенно случайно, но в строгом смысле оно выходит необыкновенно последовательно. Такому господину, каков был Гамлет, на роду написано не сдобровать, и рано или поздно, *всё равно, пришлось бы дни свои покончить насильственною смертью.* Что же касается наших соотечественников, Чацкого и Жадова, то они оба хотя тоже борются и к реторике тоже склонны, но в рукопашный бой ни с кем не вступают, потому, вероятно, что живут в более цивилизованном обществе, где подобные дебоши не допускаются. Конечно, и за них трудно поручиться. Будь они на месте датского принца, еще это одному богу известно, что бы они наделали. Но, к счастию, оба наши героя москвичи и при том русские дворяне (относительно Чацкого, по крайней мере, доподлинно известно, что он был дворянин, да и Жадов тоже, как видно, не из поповичей, доказательством служат его родственные связи с сановными особами), оба отличаются хорошими манерами и, хотя позволяют себе относиться к старшим не совсем почтительно, однако и в этом случае даже выражаются более или менее литературно и ругаются даже несколько уклончиво, никому в глаза не говорят: ты подлец, а берут вопрос в широком смысле, бранят Москву, *общественное зло, невежественное большинство* и проч. Это объясняется отчасти условиями времени и места, в которых они вращаются, при том же дело не в словах.

Нет, в том-то вся штука, что для наших героев все дело в словах. В этом-то и заключается единственная причина их бессилия, в этом вся их и сила. «Слова, слова, слова!»— бессмертные слова, произнесенные прототипом всех наших Гамлетов, слова кабалистически запечатлевшие чело наших героев... Бедные! Сурово обошлась с вами жизнь! Но кто же виноват? Кто же виноват?!. Вы ее не поняли, да, правду сказать, вы и не очень-то в нее углублялись: нервы у вас как-то слабы и желания изучать ее было мало. Надо вам отдать справедливость,— вы умны, но не очень. Красивые фразы, красивые страдания и красивые женщины были для вас всегда дороже дела. Вы не знали что делать, это правда. Но тем хуже для вас, друзья мои, тем хуже для вас! Что же вы за герои после этого, если вы не знаете, что вам делать, не знаете, куда деваться с вашим героизмом?.. А потому на все ваши стенания, на все ваши проклятия один ответ: слова, слова!.. Лучший и даровитейший из вас долго ломал себе голову и никак не мог придумать, на что решиться. Его, видите ли, очень затруднял вопрос:

Что доблестнее для души?
Сносить удары оскорбительной судьбы,
Или вооружиться против моря зол
И победить его, исчерпав разом? *

другой идет

...искать по свету
Где оскорбленному есть чувству уголок **,

а третий, наш современник, после четвертой рюмки, в трактире, признается чистосердечнейшим образом совершенно незнакомому человеку, говоря:

«Какой я человек? Я ребенок, я об жизни не имею никакого понятия. Все это для меня ново... мне тяжело! Не знаю, вынесу ли я! Кругом разврат, сил мало! Зачем же нас учили!..» («Доходное место», д. III, явл. 4).

---

* «Гамлет».— *Прим. Слепцова.*

** «Горе от ума».— *Прим. Слепцова.*

Как вам это нравится? Какова сирота! Действительно непонятно, зачем их учили.

Общественная жизнь по мере своего развития постоянно вырабатывает разного рода общественные типы. Одни из них проходят ряды поколений, сохраняя в продолжении многих лет одни и те же характеристические черты, и только видоизменяются самым незначительным образом, смотря по месту и времени. Это самые крупные типы. Другие же вдруг вырастают, как грибы, и, прожив два, много три поколения, быстро вырождаются и исчезают без следа. Долговечность первых объясняется тем, что они служат постоянными и почти бессменными представителями таких свойств человеческой природы, которые не только по существу своему неизбежны, но еще заключают в себе задатки будущего развития. Таковы, например, типы народных героев, народные мифы. Чем более сходства замечается между героем одного какого-нибудь народа с героями прочих, тем более он приобретает права на общечеловеческое значение и тем более, следовательно, заключает в себе общечеловеческих свойств. Но так как многие народы, кроме того, упражняют и свои мыслительные способности и постоянно разрабатывают известного рода социальные начала, то в каждом более или менее развитом обществе являются время от времени и представители таких свойств и таких способностей, которые в известной стране в данное время признаются наилучшими или же кажутся почему-нибудь особенно привлекательными, или особенно ненавистными. Эти представители, в свою очередь, тоже развиваются, совершенствуются и видоизменяются и, наконец, становятся достоянием литературы, где уже приобретают ту законченную и определенную форму,



В БОЛОТЕ

Карикатура на «общественное мнение»

Рисунок неизвестного художника «Будильник», 1869, № 38

в которой являются впоследствии олицетворенными в Тартюфов, Фаустов, Гамлетов, Манфредов и проч., и проч. Приведенное выше сопоставление трех различных представителей одного и того же типа (Гамлета, Чацкого, Жадова) сделано было с целью показать, до какой степени сильна преемственность одних и тех же качеств в личностях, отделенных друг от друга значительными промежутками времени и при том принадлежащих к разным народностям, в политическом и социальном положении которых, по-видимому, нет ничего общего. Это странное сходство, наводящее на мысль о подражании, объяснится очень просто, как только мы найдем главную черту, характеризующую всех трех героев, и когда объясним себе ту общую причину, которая вызывает в жизни такого рода явления.

Что такое Гамлет? Прежде всего Гамлет совсем не герой, т. е. в смысле нравственного и умственного превосходства, Гамлет — обыкновенный смертный и служит представителем одной стороны общества, той стороны, в которой время от времени пробуждается сознание своих прав и которая вследствие этого протестует против того бесправия и невежества, которое стремится все поглотить. Между этими двумя сторонами безмолвно идет вечная и бесконечная борьба. То одна сторона осилит, то другая. Когда невежество начинает одолевать, тогда, по-видимому, всё идет отлично, и в литературе хоть шаром покати: всё тишь да гладь, да божья благодать. Тут вот сейчас же и является Гамлет, т. е. тот милый молодой человек, который потерял, наконец, всякое терпение и говорит: Что ж это такое, господа? На что же это похоже? Во всякой толпе бывает свой Гамлет. Например, когда все лезут к кассе за билетами или прикладываться, ведь всех, по-видимому, одинаково жмут, однако все молчат, а один кто-нибудь вдруг и заорет: «Батюшки, задавили!» Вот это Гамлет-то и есть, хотя, может быть, это старуха какая-нибудь. Но это ничего не значит. Гамлет большею частью бывает человек слабый и даже недалекий, потому-то он и не герой. В каждой стране есть свой Гамлет, и по этому Гамлету всегда можно узнать, каков общественный уровень в такой-то стране, в такое-то время. Если уровень плох, то и Гамлет плох, если же уровень до того возвысился, что начинает даже забываться, то и Гамлет непременно забывается. Потому-то сей последний обыкновенно и не знает сам, почему он желает того или другого, потому-то Гамлет может поступить на службу, влюбляться, жениться, падать и опять подниматься, и всё ему, как с гуся вода.

Последний Гамлет, наш г-н Жадов, сам говорит об этом же предмете следующее:

«Всегда, во все времена, были люди, они и теперь есть, которые идут наперекор устаревшим общественным привычкам и условиям. Не по капризу, не по своей воле, нет, а потому, что правила, которые они знают, лучше, честнее тех правил, которыми руководствуется общество. И не сами они выдумали эти правила: они их слышали с пастырских и профессорских кафедр, они их вычитали в лучших произведениях русских и иностранных. Они воспитались в них и хотят их провести в жизнь. Что это не легко, я согласен. Общественные пороки крепки, невежественное большинство сильно. Борьба трудна и часто пагубна; но тем больше славы для избранных: на них благословение потомства; без них ложь, зло, насилие выросли бы до того, что закрыли бы от людей свет солнечный...» («Доходное место», д. IV, явл. 8). В таких не совсем толковых выражениях объясняет Жадов уже совсем бестолковой жене своей, Полине, назначение общественного деятеля, каковым, очевидно, считает и себя. Из этого же объяснения заметно, что герой действует и в настоящем случае *не по собственной воле* и говорит с женою

Каким-то демоном внушаем.

Иначе он должен же был бы понять, что все эти рассуждения о пастырских и профессорских кафедрах относятся к такой особе, как г-жа Жадова, решительно, как к стене горох. Но как бы то ни было, а в словах Жадова есть кое-что и правды. Без таких людей, о которых он говорит, действительно жить на свете было бы уж совсем скверно, и хотя солнечный свет, по всей вероятности, и не закрылся бы совершенно, но и среди белого дня человечество чувствовало бы себя не совсем в безопасности. Впрочем, не много ли уж берет на себя г-н Жадов? Эта проклятая тьма, чёрт ее знает, как-то всегда так ухитрится, что в конце непременно поборет свет, так что в строгом смысле человечеству всё как-то приходится жить более или менее

Во светлой мрачности блистающих ночей.

И причина такого печального обстоятельства лежит, надо полагать, несколько глубже того, нежели как полагает г-н Жадов. Не заключается ли она скорее в самом существе тьмы и света, т. е. в их различии и в той борьбе, которая тянется между ними еще со времен Ормузда и Ормана? А эту часть г-н Жадов, как видно, плохо изучил.

Вам, господин Жадов,

Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда.

Такие люди, как г-н Жадов, сами даже немножко смекают, что они хотя и *избранники*, но действуют *не по собственной воле*. Очевидно, что они находятся под чьим-то влиянием и действуют по чьему-то тайному внушению, в чем г-н Жадов и не преминул сознаться, говоря, что люди, подобные ему, «не сами выдумали эти правила; они их слышали с пастырских и профессорских кафедр, они их вычитали в лучших сочинениях русских и иностранных».

Таким образом, мало-помалу открывается, что герой сам по себе птица не важная. Как легко поддался он влиянию «честных правил», так же легко поддается и сладострастному влечению к своей милой супруге. (Иначе нельзя объяснить страсти к женщине, которую считаешь глупою и не уважаешь и которая, в свою очередь, тебя тоже считает глупым и не уважает.) Г-н Жадов поддается этому влечению до такой степени, что плюет на свои «честные правила» и идет просить *доходного места* у человека, которого знает за бесчестного. Изо всего этого видно, что у г-на Жадова и убеждения довольно жидки, да и вообще герой оказывается во всех отношениях очень-таки швах, и если попал в герои, то это случилось, вероятно, как-нибудь нечаянно, по недосмотру, и, следовательно, оправдать доверие публики не может, а этим уже совершенно исчерпывается вопрос о причине неуспеха комедии «Доходное место». Какое же заключение из всего этого следует вывести? Заключение такое: комедия, бесспорно, хороша, но публике очень нравиться не может, потому что герой совсем не герой и занимается вовсе не тем, чем следует. Так? Оно, может быть, и не так, ну, да делать нечего. Теперь еще насчет публики нужно сказать два слова.

Публика наша, как видно, не удовлетворяется героями, способными скользить и падать. Рефлексия, анализ, борьба с самим собою, падения и примирения — ей не нравятся. Коли уж герой, так подавай настоящего, чтобы и подковы гнул и действовал *по собственному капризу и по своей воле*, а то какой же он и герой после этого?

По-моему, публика рассуждает основательно. Но как же теперь поступить, чтобы, по крайней мере, хоть сколько-нибудь удовлетворить справедливому требованию публики? Где взять героя, если нет? В крайнем случае можно было бы поступить таким образом: Жадова за негодность

можно бы, лишив всех неправильно присвоенных ему почестей, удалить от занимаемого им ныне амплуа и, по надлежащем увещании, из героев разжаловать в статисты, а впредь до исправления отдать под надзор опытного режиссера. Но так как в числе обстоятельств, более или менее уменьшающих вину Жадова, есть одно очень важное, а именно: Жадов по добровольному раскаянию признался в том, что действовал почти во всех случаях *не по собственной воле*, следовательно, по принуждению; неудовлетворительным же оказался потому, что, находясь под запрещением с 1855 года, выпущен был на сцену не ранее 1863 года, и по этой причине собственно возложенного на него доверия оправдать не мог: то — принимая во внимание его юношеский возраст и шаткость убеждений, можно бы поступить с ним вот как: лишив только некоторых, присвоенных театральным героям прав и преимуществ,— поручить его бдительному надзору г-на Юсова; с тем, однако, чтобы Жадов открыл предварительно: где находятся и кем именно заняты те пастырские и профессорские кафедры, о которых он упоминает в IV действии, во время разговора с женою, и от кого именно получал он те сочинения, русские и иностранные, из которых вычитал свои *правила*; на упразднившееся же за тем место г-на Белогуба определить исправляющим должность героя, впредь до утверждения его в сем благородном звании. Что же касается прочих действующих лиц комедии, то относительно их можно бы ограничиться следующими мероприятиями: во-первых, приняв во внимание преклонные лета г-на Вышневского, а также и многолетнее управление вверенною ему частью, равно как и расстроенное здоровье, вследствие постигшей его неприятности по службе,— предоставить ему, г-ну Вышневскому, средства оправдаться, не лишая, однако, занимаемого им поста в комедии; во-вторых, внушить г-же Кукушкиной, чтобы она дочерей своих, ежели у ней впредь таковые будут, держала в повиновении и отнюдь не допускала их ко вступлению в замужество с такими неблагонадежными чиновниками, каким оказался Жадов. Впрочем, сообразуясь с новейшими требованиями публики, можно бы допустить и еще кое-какие незначительные изменения в пьесе. Так, например, можно бы принудить Жадова испросить у г-на Вышневского прощение в легкомысленно нанесенных ему оскорблениях, а под конец даже сделать так, чтобы Жадов во всем раскаялся, постарался бы заслужить доверие своего начальника и совершенно загладил бы заблуждения своей юности. Все сии меры тем более оказались бы действительными, что и публика, видя такое беспристрастие, и на будущее время с большим доверием стала бы смотреть на распоряжения театральной дирекции вообще и начальника репертуарной части в особенности.

<1863 г.>

Корректурные гранки. ИРЛИ, ф. 628, оп. 2, ед. хр. 197.

ЗАБЫТАЯ СТАТЬЯ О ПЬЕСАХ ЛЕСКОВА, ПОТЕХИНА И ДРУГИХ

Публикация И. Н. Серегина

Статья «Тип новейшей драмы» была опубликована в февральской книжке «Отечественных записок» 1868 г. под рубрикой «Петербургские театры» (стр. 317—328). Подписи под статьей не было. Многие годы статья не привлекала к себе внимания исследователей. Впервые имя автора статьи было названо лишь в 1932 г.[1] К. И. Чуковский включил ее в перечень произведений Слепцова, приложенный к изданному им Собранию сочинений писателя. К. И. Чуковский был прав, но он не подкрепил свою правоту какой-либо аргументацией. Вопрос об авторе статьи «Тип новейшей драмы» остался, таким образом, открытым. Впоследствии ее приписывали и П. М. Ковалевскому [2] и М. Е. Салтыкову-Щедрину [3]. Однако существует документ, позволяющий, бесспорно, признать автором статьи Слепцова.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится пачка писем Слепцова к его приятельнице В. З. Ворониной. В одном из них, а именно от 16 марта 1868 г., имеется следующая приписка: «NB. Во второй книжке в театр⟨альной⟩ хронике прочтите статью под заглав⟨ием⟩ Тип нов⟨ейшей⟩ драмы, I; *она принадлежит метафизику*» [4]. Нетрудно догадаться, что означает эта приписка. «Метафизик» — это Слепцов, автор помещенных в первом и втором номерах «Отечественных записок» 1868 г. двух статей под общим заглавием «Записки метафизика» (подпись: «*В. С.*»). Слепцов, видимо, придавал большое значение своему анонимному выступлению и хотел, чтобы Воронина, мнением которой он очень дорожил, обратила бы внимание на его статью, что и подчеркнул пометкой «нота бене».

Приведенное авторское указание — впервые оно было сообщено в 1958 г. Н. И. Кубицкой [5] — не оставляет сомнения в том, что статья «Тип новейшей драмы» написана Слепцовым.

Этот вывод подтверждает и стилистический анализ текста. Достаточно указать хотя бы на употребляемые в статье выражения: «в том-то и штука» и «это еще не штука». От этих характерных для Слепцова выражений писатель никогда не мог отделаться, они появляются почти в каждом его произведении. В статье об Островском, публикуемой в настоящем томе, Слепцов пишет: «Нет, в том-то вся штука, что для наших героев все дело в словах» (см. выше, стр. 128). В статье «Скромные упражнения» написано: «В том-то и штука, почтеннейшие сограждане, что мы все как будто немножко влюблены» (II, 334). Во второй части «Записок метафизика»: «Вся штука, стало быть, в несовершенстве наших понятий»[6]. В «Письмах об Осташкове»: «Это очень ловкая штука. В том-то она и заключается, что ничего не стоит» (II, 277). Эти «штуки» повторяются и в «Трудном времени» и в «Хорошем человеке». Они также служат конкретным доказательством, что перепечатываемая нами статья написана Слепцовым.

Статья «Тип новейшей драмы» не является обычной театральной рецензией. Автор не касается достоинств актеров, качества их игры, не обсуждает какой-либо конкретный спектакль. Он рассматривает репертуар Александринского театра за 1865—1867 гг., останавливаясь на отдельных пьесах более подробно. Но рассмотрение репертуара одного лишь театра перерастает в статье в общую оценку положения дел в русской литературе после разгрома демократического движения шестидесятых годов в условиях наступившей реакции.

Слепцов отмечает идейно-художественное обеднение литературы, рост в ней либерально-приспособленческих и откровенно-охранительных тенденций, отказ от передовых общественных идеалов.

Имея в виду именно эти явления в тогдашней литературе, в частности в драматургии, автор статьи пишет: «...четвероногие всевозможных пород беспрепятственно пасутся в вертограде российской словесности», они «позагадили» его и дошли, наконец, до того, что «начинают считать себя хозяевами этого вертограда».

Вместе с тем Слепцов подчеркивает временный характер такого «запустения». Он ссылается на опыт прошлого и заявляет оптимистически: «бывали нередко и прежде подобные случаи; но как только обстоятельства изменялись к лучшему, нечистота эта метлою времени каждый раз уничтожалась».

Присущая Слепцову манера выражать самые важные, сокровенные свои мысли в форме иронической аллегории в полной мере проявилась и в данной статье.

Сатирическое иносказание введено уже в заглавие статьи. «*Тип*» новейшей драмы иронически усматривается в пьесах Потехина, Дьяченко, Соколова и других. Такие пьесы автор считает весьма низкопробными. В метафорической манере пишет Слепцов о засилье исторической тематики в драматургии тех лет. Рассматривая репертуар Александринского театра, Слепцов говорит, что сцена этого театра «очень полюбилась» царю Ивану Васильевичу, и он второй год не сходит с нее (в Александринском театре в 1867 г. одновременно шли четыре пьесы, посвященные Ивану Грозному). Автор «Хроники петербургских театров» А. И. Вольф пишет, что по тогдашнему репертуару Александринского театра можно было изучать русскую историю [7].

В связи с общим «понижением тона», как характеризовал Салтыков-Щедрин реакционные веяния в русском обществе середины 60-х годов, писатели все чаще уходили от тем современности в историю, обращались к образам прошлого. Слепцов выражает свое отрицательное отношение к такому уходу драматургии от современности. Но он видит отрицательное воздействие этого «понижения тона» и на тех произведениях литературы и искусства, которые посвящены современности. Он иронически пишет о «благотворности» для процветания искусства таких времен, когда «человечество находится под гнетом всевозможных бедствий и страдает». Но хотя именно такое время и переживает русское общество, расцвета искусства не видно, а в театре так просто «происходят презабавные вещи». Кроме Ивана Грозного, на сцене господствуют либеральные резонеры. В представлении Слепцова все они так похожи один на другого, что сливаются в один образ, и образ этот находит на сцене «наилучшее воплощение свое в г-не Нильском».

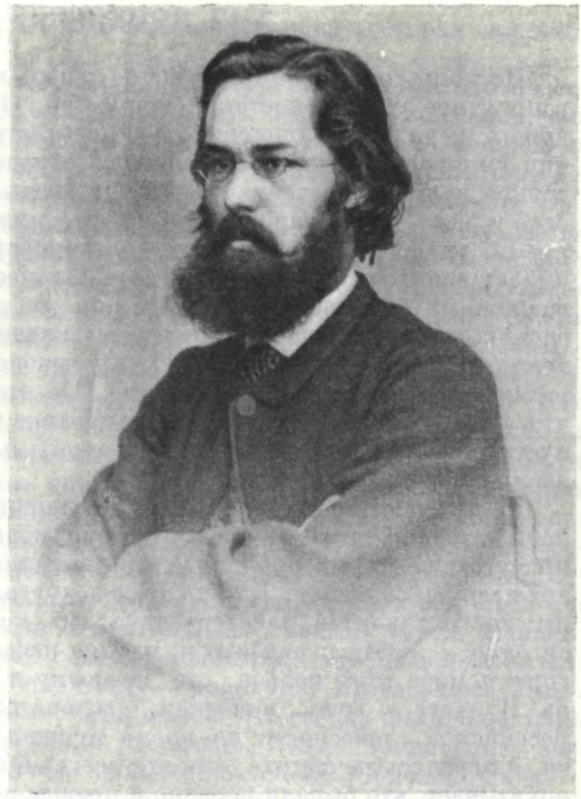
Либеральные резонеры — любимые роли известного актера Александринского театра А. А. Нильского — это те же манекены, начиненные «разговорным негодованием», о которых писал Салтыков-Щедрин [8]. Слепцов убеждает читателя, что обличительные тирады, вкладываемые в уста резонеров, фальшивы и бесплодны; «протест» этих либеральных говорунов не оказывает никакого влияния на действительность.

Слепцов утверждает, что рассматриваемые им пьесы не имеют никакого отношения к подлинно реалистическому искусству. Ни один из авторов «не сумел справиться со своей задачей». Это произошло, с одной стороны, — от недостатка таланта, с другой — потому, что идеи, положенные в основу пьес, оказались для авторов чуждыми, непонятными; «...идея для такой драмы—вещь посторонняя, взятая для виду», поэтому она не живет в пьесе, а лишь внешне присутствует в монологе манекена-резонера.

Исходя из этих общих положений, подробно разбирается в статье пьеса Лескова (Стебницкого) «Расточитель». Слепцов начинает разбор с утверждения, что ему дела нет до личности и «прошедших деяний» автора, с которым он будто бы не знаком.

В действительности Слепцов довольно близко знал Лескова. Они вместе сотрудничали в московской газете «Русская речь», издававшейся в 1861—1862 гг. Е. В. Салиас де Турнемир (Евгенией Тур), а потом в петербургской «Северной пчеле». Их пути разошлись в 1862 г., когда Слепцов сблизился с кружком журнала «Современник», а Лесков после своей известной статьи о петербургских пожарах был «отлучен», как он сам выражался, от демократической литературной среды. Это выступление было воспринято враждебно всей передовой общественностью, и он был подвергнут остракизму.

СЛЕПЦОВ
Фотография, 1860-е гг.
Литературный музей, Москва



Позднее Лесков выступил с романом «Некуда», в котором с враждебных позиций памфлетно изобразил освободительное движение 60-х годов, а самого Слепцова вывел в весьма непривлекательном виде (в образе Белоярцева). Это было хорошо известно автору статьи, и он не смог остаться равнодушным к «прошедшим деяниям» Лескова.

Оценка творчества Лескова, даваемая Слепцовым, резко отрицательная. Лесков обвиняется в отступлениях от реализма, в неумении передать правду жизни. «Как он это делает — господь его знает; я знаю только то, что картина, списанная самим г-м Стебницким с натуры и подвергнутая вслед за тем его же собственному творчеству, является на свет вся, как будто изъеденная и изуродованная купоросным маслом».

С точки зрения общей оценки творчества Лескова шестидесятых годов автор статьи рассматривает и драму «Расточитель». Признав жизненность сюжета, он находит в самой пьесе неправдоподобие, неестественность поведения действующих лиц. «Все это довольно растянуто, действующие лица беспрестанно вступают в интимные объяснения с публикой, говорят *в сторону*, не кстати острят...» Слепцов намеренно утрирует в своем пересказе содержание пьесы, которую, впрочем, и сам Лесков считал впоследствии «весьма слабой» и «плохой» [9]. Особенно резкой критике подвергается последний акт, в котором, действительно, нагромождено много ужасов и несообразностей. Словом, драма оценивается, как и весь репертуар Александринского театра, отрицательно. Отметим, что постановка пьесы не имела успеха у публики и весьма недолго продержалась в репертуаре театра.

Впоследствии провинциальные труппы довольно часто ставили «Расточителя». А в 1920-х годах и даже позднее эта пьеса шла и на советской сцене.

В статье «Тип новейшей драмы» Слепцов показал тяжелое положение, переживавшееся драматургией в годы реакции после разгрома демократического движения 60-х годов. Он выступил против либерального обличительства в пьесах многих драматургов того времени и осудил наметившиеся тенденции отхода некоторых писателей от тем современности.

ТИП НОВЕЙШЕЙ ДРАМЫ

По моим соображениям, именно теперь наступает время, особенно благоприятное для процветания искусства. Оно еще не наступило: но это ничего не значит — оно скоро должно наступить. Это я говорю на основании вычислений одного знаменитого европейского астролога, который во всякое время по течению звезд мог угадывать будущие судьбы знатных особ и даже целых народов. По наблюдениям этого великого прорицателя, время, особенно благоприятное для процветания всякого рода художеств, бывает двоякое: или тогда, когда человечество находится под гнетом всевозможных бедствий и страдает, или же когда оно пользуется миром и спокойствием и предается тихим наслаждениям. Как те, так и другие условия, несмотря на совершенную противоположность, равно способствуют развитию поэтического творчества. На этом основании я и соображаю, что у нас теперь наступает благоприятное время и что скоро кончится то пустынное безлюдье, благодаря которому мы поневоле всякого Фому должны признавать дворянином.

Да и в самом деле, пора бы этому кончиться! Давно уж слышатся жалобы, с одной стороны, на отсутствие новых талантов, а с другой — на присутствие старых пройдох, которые силою врываются на Парнас и превращают его в кабак. Как та, так и другая жалоба — равно основательны: новых талантов, действительно, нет, но и помочь этому нечем; остается одно — ждать и надеяться; что же касается старых пройдох, то этому горю помочь тоже нельзя, да по-моему и не стоит; потому что пройдохи на Парнасе — вещь наносная, следовательно, преходящая. Вертоград российской словесности на время пришел в запустение — ну, разумеется, и завелась нечистота, как это всегда бывает. История этого вертограда показывает, что бывали нередко и прежде подобные случаи; но как только обстоятельства изменялись к лучшему, нечистота эта метлою времени каждый раз уничтожалась. А до какой степени бесплодными оказывались в этих случаях усилия отдельных лиц — видно из той же истории. Так, покойный Ломоносов, известный ученый, но плохой политик, в свое время сильно восставал против этого зла и даже входил с прошением к президенту Академии наук, рекомендуя принять надлежащие меры против одного лица, которое, по мнению Ломоносова, своим присутствием весьма позорило российскую науку. Притом Ломоносов выставлял на вид опасность, которой подвергается наука в этом случае, и советовал подумать: «сколь много может наколобродить такая, допущенная в нее скотина»[10]. Но если Ломоносов, радея о чистоте академических нравов, беспокоился и восставал против допущения одной только скотины, то интересно знать, что бы он стал делать в наше время, когда четвероногие всевозможных пород беспрепятственно пасутся в вертограде российской словесности, и не только никто не подает на них прошения, напротив, сами четвероногие с каждым днем приобретают все бóльшую и бóльшую самоуверенность и дошли, наконец, до того, что начинают считать себя хозяевами этого вертограда. Что предпринял бы Ломоносов при виде такого позорного зрелища — сказать трудно. Бог знает, может быть, он стал бы докучать своими прошениями и надоел бы до такой степени, что у него перестали бы их принимать; а может быть, просто — поглядел, поглядел бы, плюнул на все это и принялся бы за свою химию.

Как же нам-то, однако, поступать? Да нам что же? По моим соображениям, нам пока ничего не надо делать, а только ждать. По звездам видно, что с наступлением благоприятных обстоятельств все это безобразие прекратится само собою, и вертоград наш снова зацветет и обновится. Я, по крайней мере, с своей стороны твердо этому верю; к тому же по всем приметам и ждать уже приходится недолго. А теперь пока, в ожидании лучшего, мы

можем на досуге развлекаться текущими делами и на этот раз займемся русским театром.

Некоторые ревнители отечественной драматургии находят, что на это учреждение, то есть на театр, следует обратить особенное внимание; они полагают, что как публике, так и артистам необходимо время от времени напоминать о Парнасе, о назначении искусства, о том, что театр есть великая народная школа, и прочие почтенные истины; ибо в противном случае Парнас совсем зарастет крапивою, а Пантеон российских муз легко может превратиться в скотопригонный двор. Я с этим мнением не могу согласиться. По-моему, если искусству, действительно, угрожает такая опасность и только с помощью постоянного долбления еще можно спасти его от конечной гибели, то это не искусство и хлопотать о нем не стоит — пусть его погибает собственною смертью. Но дело в том, что Пантеон российских муз вовсе еще не так безнадежен; если правду сказать, он, действительно, позагажен и довольно-таки сильно позагажен; но это еще не такая большая беда, из-за которой можно прийти в отчаяние. Главное, не нужно забывать, что при более благоприятных обстоятельствах крапива будет вырвана с корнем, домашний скот, допущенный в здание Пантеона, будет изгнан, и даже то, что он успел «наколобродить», послужит удобрением для будущих посевов. Все это неважно, это — песок морской: сегодня кучу нанесет, а завтра ее уже и не будет; все это прах и тлен, которым не стоит много заниматься. И потому мы гораздо лучше сделаем, если прямо обратимся к русской сцене и посмотрим, что на ней творится; тем более, что там теперь, по-видимому, происходят презабавные вещи. Прежде всего оказывается, что героями нынешнего сезона были двое: царь Иван Васильевич и г-н Нильский [11]. Серьезно. Ивану Васильевичу еще с прошлой зимы, как видно, очень полюбилась сцена Александринского театра, и он с нее не сходит до сих пор. Он там нынче в большой моде: бегает, кричит, стучит палкой и всеми командует, как дома; то умирает, то опять воскресает и начинает заниматься амурными делами. Прошлого года порывались было туда, на сцену, самозванцы [12]; однако Иван Васильевич их не допустил и остался полным хозяином. Нет, в самом деле, представьте себе: «Князь Серебряный»[13], «Смерть Иоанна Грозного»[14], «Опричник»[15], «Василиса Мелентьева»[16] — итого четыре исторические драмы с Иваном Васильевичем; да еще оказывается, что если бы покойник Мей был жив, то к нынешнему сезону, вероятно, поспела бы пятая[17] и тоже с Иваном Васильевичем.

Но насколько грозный покоритель Казани отличался в исторической, настолько г-н Нильский преуспевал в современной драме. Это, впрочем, не значит, что г-н Нильский в эту зиму особенно был хорош в разных ролях и пожинал лавры. Совсем не то. Я хочу сказать именно то, что говорю, то есть, как всю зиму в одних пьесах представляли Ивана Васильевича, так же точно всю зиму в других пьесах представляли Нильского с той же только разницею, что Ивана Васильевича представляли попеременно два актера: Васильев и Самойлов[18], а Нильского представлял г-н Нильский без перемены, и только в одной пьесе, а именно в «Двух поколениях», Нильского играл г-н Жулев[19].

Но так как читателям, не посещающим русского театра, это может показаться очень странным и даже удивительным, то я попробую объясниться точнее и обстоятельнее. Что до меня касается, то я не нахожу тут ничего ни странного, ни удивительного и даже, если хотите, это вовсе не новость на русской сцене, что актер играет самого себя. В Москве лет двадцать тому назад в театре делались дела несравненно любопытнее. Был там известный артист и драматический писатель Ленский; так вот он сочинил такую особенную комедию, в которой действительно играл самого себя, то есть актера императорских театров Ленского[20]. Такая роль была. В этой

пьесе он даже пел куплеты и объяснял публике, что он пишет не для славы, а главным образом для товарищей. И эта пьеса имела успех и долго пользовалась благосклонностью публики. После этого, почему же г-ну Нильскому не играть Нильского? Тем более что он даже и не сам сочиняет, а другие за него придумывают, что ему говорить на сцене. И я вам скажу даже, кто сочинил эту роль: сочинил ее Островский. В «Доходном месте» Нильский является в первый раз под именем Жадова. Драма «Доходное место» была поставлена на сцену в 1863 году, и с тех пор эта роль пошла в ход, так что в настоящее время нет ни одной сколько-нибудь серьезной драмы, которая бы обходилась без Нильского. В последние два года написано и разыграно несколько так называемых «современных» пьес, и в каждой такой пьесе есть непременно одно лицо, одна такая роль, которая по всем свойствам своим нашла наилучшее воплощение свое в г-не Нильском. И все эти роли, как две капли воды, похожи одна на другую, несмотря на то, что в одной пьесе лицо это является мировым посредником, в другой — управляющим, в третьей — так себе, просто молодым человеком; но, в сущности, все эти лица действуют совершенно одинаково; все они большею частью низкого происхождения, однако кончили курс кандидатами университета; все говорят одно и то же, тем же самым языком и употребляют совершенно одинаковые выражения. Сходство между ними доходит наконец до того, что все одеваются даже совершенно одинаково; точно будто для них изобретена театральным начальством особая форма и особый покрой платья. Одет бывает такой господин обыкновенно в черном мешковатом сюртуке и черных широких брюках; непременно в черных и непременно широких. И эта форма до такой степени установилась, что в «Двух поколениях» г-н Жулев, играющий эту роль, одет совершенно так, как в подобных случаях одевается г-н Нильский. Сходство между всеми этими господами до такой степени поразительно, что все они как бы сливаются в одно лицо, так что при воспоминании о них является одно общее представление, один человек, и этот человек называется Нильским. Но это не частный человек Нильский, который нам совершенно неизвестен, не *господин* Нильский и даже не актер Нильский; это — Нильский-тип, Нильский-амплуа. Скорее всего, именно амплуа, как, например, есть амплуа под названием «благородный отец», «первый любовник» и проч. А самым очевидным доказательством того, что в русском театре, действительно, есть такое амплуа, служит костюм. И я совершенно серьезно убежден в том, что этому амплуа присвоена для ношения известная утвержденная форма, как, например, *злодеям* присвоен плащ и шляпа с красным пером.

Однако что же это за новое амплуа, в самом деле? Какая от него польза? Кому и на что оно нужно?

Я в качестве зрителя, кажется, имею некоторое право высказать на этот счет свое личное мнение, а потому я, положа руку на сердце и припоминая все пьесы, в которых я его видел, объявляю, что я лично для себя пользы никакой от него не замечал и мне оно ни на что не нужно. Проследив это лицо во всевозможных его проявлениях, я вижу только, что держит оно себя на сцене с некоторой самонадеянностью, впрочем, ведет себя довольно пристойно; но существенного влияния на развитие драмы не имеет, присутствие же свое на сцене ознаменовывает исключительно извержением более или менее шумных потоков речи, которые по всем видимостям направлены не на действующие лица, а непосредственно на публику. А так как между этими потоками и драмою связи большой я никогда не замечал, притом же извергаемые в них мысли самого дешевого свойства, то я мало на них обращал внимания и больше интересовался самою пьесою. Происходило это обыкновенно следующим манером: играют, положим, какую-нибудь современную драму, какую — это решительно все

равно; вот идет себе пьеса, как следует, как быть должно; обыкновенно, прелестная девица, свиньи-родители, домашний гнет и т. д. как следует; тут еще урод-жених; замуж выдают насильственным образом. В это время входит Нильский, окидывает всех гордым взглядом и становится к стороне. Я уж знаю, что это будет, и думаю: ну вот, принесли бутылку. Жду. А тут между тем родители кричат, девица плачет, жених ругается... вдруг выступает Нильский; одну ногу вперед, руку назад и понес:

«Слабохарактерность, с одной — и деспотизм и бессовестность, с другой стороны... Вот вам пример... Вот до чего доводят эти злые болезни, если им поддаться...»

Родители приходят в ярость, жених убегает, Нильский входит в роль и кричит:

«Разве мало *загибает* (?) народу от этого зла, исторически развившегося в нашем обществе?.. Без борьбы против недуга страдания сначала усиливаются, потом притупляются...»

«Посмотрите на жизнь»,— продолжает Нильский, ничего не слушая. «Здесь деспот — жена, там деспот — муж...» и т. д. и т. д. Однако девица от этого потока начинает раскисать и восклицает: «Но ведь это страшно, это ужасно. Кто же, кто в этом виноват?»

Нильский: «Кто?.. Да все, все без исключения: и я, и вы в том числе...» [21] и т. д. Затем бутылка опорожняется, ее выносят со сцены, и занавес опускается.

Но интересно, что все эти откупоривания бутылки и изливаемые из нее потоки, как видно, ни к чему не ведут, и драматическое действие нисколько не нарушается: девицу все-таки своим порядком отдают замуж; а бутылка снова наполняется и переносится в другую драму, где опять ее в надлежащем месте выносят, откупоривают и т. д.

От всех этих драм остается какой-то сумбур в голове: домашний гнет, какие-то ширмы, пороги, свиньи-родители, слезы, уроды-женихи... Все это путается, цепляется, лезет друг на друга, и надо всей этой чепухой в гордом величии стоит Нильский и говорит, все говорит, говорит, говорит...

И зачем им понадобилась эта бутылка? — спрашиваю я сам себя и не могу понять. Неужели эти несчастные ничего лучше выдумать не могли?.. В самом деле, должно быть, не могли. Все эти драмы, очевидно, суть плоды каких-то хитрых измышлений. Уважаемые авторы, надо полагать, задавались разными современными вопросами и ломали над ними головы; но я отчасти догадываюсь, почему они оставили без внимания все прочие и так дружно принялись за семейный. Они выбрали именно семейный вопрос, потому что это единственный серьезный вопрос, который на первый взгляд кажется наиболее доступным и о котором каждый непременно берется рассуждать. Но тут-то они и напоролись. Результатами этого вышли разные эти пороги, ширмы, пучины, расточители и проч., т. е. драмы, в которых семейный вопрос становится на суд общественного мнения и решается каждым автором по мере сил и разумения каждого [22].

Цель у наших драматургов была, как видно, все-таки почтенная; жаль только, что ни один из них не сумел справиться с своею задачею; а случилось это потому, что все эти господа не только ее совсем не поняли, но даже не знали, как к ней приступиться. Каждый из них кое-что видал на своем веку и помнит кое-какие факты; вот из этих фактов они и состряпали по драме. Но это еще не штука. Нужно, чтобы драма была современной, а для этого одних голых фактов им показалось недостаточно: одной картины мало; нужно, чтобы эта картина заключала в себе *вопрос*. Как же это сделать? Сделать очень просто: нужно так сгруппировать лица и расположить действие, чтобы вопрос сам собою возникал и сам же собою решался в драме. Но в этом-то и штука. Для того, чтобы написать такую

драму, нужен: во-первых, очень большой талант, а во-вторых, нужно, чтобы автор самолично весь был проникнут известною идеей и чтобы вопрос для него самого уже перестал быть вопросом и был бы делом решенным. Так ли, этак ли, но вопрос должен быть решен заранее. Видим ли мы что-нибудь подобное в новых драмах? Нет, ничего такого в них не замечается, напротив, каждая такая пьеса представляется как бы составленною из двух разнородных частей: одну часть составляет картина, а другую — Нильский; картина сама по себе, а Нильский сам по себе. Почему же это так? А потому, что идея, положенная в основание драмы, вовсе не лежит в ее основании; идея для такой драмы — вещь посторонняя, взятая для виду, вещь, которую автор в свою драму никак упрятать не может. Да и в самом деле ведь это трудно. Картина — все-таки, как бы то ни было, факт, т. е. нечто такое — очевидное; а идея что такое? Пар какой-то. Как их соединишь? Пробовал, пробовал, нет, ничего не выходит; а без идеи тоже нельзя, никак невозможно. Как быть? Вот он взял ее, да и закупорил в бутылку, идею-то. Теперь, как по ходу пьесы понадобилась идея, сейчас выносят бутылку — хлоп! Пробка вылетела и пошла качать. Выпустил всю идею и покоен — ну, думает, теперь она произведет свое действие. Не все ли равно, вместе ли с картиной примет ее публика, или врозь: в желудке все смешается. Вот почему им нужна была бутылка, вот почему они без Нильского обойтись не могут.

Для примера возьмем одну такую драму «Виноватая», которая считается одною из лучших современных драм. Сюжет этой пьесы обыкновенный: прелестная девица выходит замуж за гнусного, противного, но богатого старика, по принуждению своих глупых и корыстолюбивых родителей. Вот живет она замужем три года и всё ничего; вдруг входит Нильский. Поглядел, отставил ногу и откупорил бутылку. Госпожа Кутузкина (то есть замужняя прелестная девица) тут же раскисает и подчиняется его влиянию, несмотря на то, что он в этом акте только половину выпустил. В следующем акте он снова является и тут же выпускает всю идею до последней капли. Это производит на нее такое действие, что она убегает от мужа и приходит к родителям. Но родители сейчас же ее сажают в карету и препровождают обратно к мужу. Тут — в третий раз является Нильский, и на этот раз уже из пустой бутылки вылетает только изюмина, в виде *презрения* к девице, за то, вероятно, что она по слабохарактерности не в силах была воспринять идею. Этой глупостью и заканчивается пьеса.

Присутствие Нильского в этой пьесе ничем другим объяснить нельзя, как только неумением автора вдохнуть мысль в свое произведение. Шабров (т. е. Нильский), в сущности, даже и не действующее лицо, это надзиратель какой-то, приставленный автором для наблюдения за остальными действующими лицами. Как только они забуянят, так сейчас является Шабров и читает им нотацию, которую он вызубрил наизусть и в которой, по мнению автора, и заключается вся современная премудрость. Точно то же с поразительным однообразием повторяется и во всех остальных драмах нынешнего и прошлогоднего сезона. Но в числе этих драм есть одна, о которой можно сделать еще несколько лишних замечаний. Пьеса эта называется «Расточитель». Пьеса эта заслуживает внимания по двум причинам: во-первых, сама по себе, а во-вторых, по отношению к автору ее, г-ну Стебницкому. Я здесь вовсе не имею в виду разбирать эту пьесу подробно, а равно не имею никакого желания рассуждать о личности автора ее, но, заговорив об этом произведении, я в то же время не могу говорить о нем, не касаясь автора, положительно не могу, потому что, по-моему, это произведение такого сорта, о котором нужно или просто ничего не говорить, или если заговорить, то неминуемо коснуться автора. К этому вынуждает необходимость.

Личности г-на Стебницкого я не имею удовольствия знать, и мне решительно нет никакого дела до его прошедших деяний; меня гораздо больше интересуют его настоящие произведения, и о них-то я и намереваюсь говорить. В этих произведениях выступает личность автора гораздо ярче, и я узнаю ее гораздо короче, нежели из темных литературных преданий, которые вдобавок еще всегда можно заподозрить в пристрастии. Нет, я не так смотрю на произведения г-на Стебницкого; я не могу относиться к этой личности враждебно; напротив, эта личность возбуждает во мне участие. По-моему, Стебницкий должен быть глубоко страдающий человек. Нет, серьезно, это должен быть несчастный человек; а чужое несчастие всегда во мне вызывает участие. А что он, действительно, несчастлив, так это я вижу из его произведений. Теперь я уже несколько применился к ним, и каждый его новый труд все больше и больше убеждает меня в том, что я прав, что мой взгляд на произведения г-на Стебницкого — самый верный взгляд. Для того чтобы убедиться в этом, нужно одно внимание, только внимание и больше ничего. Все предвзятые идеи бросить и читать хладнокровно. Если вы эти условия соблюдете, то непременно заметите следующее: прежде всего вы заметите, что каждое, какое хотите, произведение г-на Стебницкого на первый взгляд представляет нечто целое, нечто вполне законченное, одним словом, представляет собою вещь. Это на первый взгляд. Но при более внимательном осмотре эта вещь оказывается как будто источенною молью или изъеденною купоросным маслом. Если эту вещь не трогать и смотреть на нее издали, то она кажется, как я говорю, совершенно цельною; но подойдите к ней поближе, возьмите ее в руки и встряхните, от нее останутся только клочья, и вся она разлетится прахом. Долго я ломал голову и думал, отчего это так. Вот ведь, кажется, все есть, что нужно: и наблюдательность есть у человека, и опытность заметна; есть, наконец, отдельные страницы, просто, хорошо даже написанные. Что за странность такая? Почему же все-таки из этого ничего не выходит? Думал-думал и наконец догадался. Я понял, что причина этого несчастия должна скрываться в самом авторе, в личных его свойствах; в нем самом непременно есть какой-нибудь органический порок, который портит все. Вот потому-то я и сделал выше оговорку, что, рассуждая о произведениях г-на Стебницкого, нельзя оставлять личность автора без внимания, нельзя, иначе ничего не поймешь. Какой же это, однако, порок? Я не знаю, какой именно порок и в чем он состоит; я убежден только, что он есть, что он должен быть, потому что следы этого порока я вижу на произведениях г-на Стебницкого, и по этим следам я могу рассказать, каковы наружные проявления его, а именно: всякое произведение г-на Стебницкого представляет ряд картин, более или менее удачно списанных с натуры. Насколько они верны — это другой вопрос; во всяком случае в них видна, по крайней мере, склонность к рисовке, и эта рисовка составляет как бы основание произведения; но этим дело у него никогда не кончается; одною рисовкою он, как видно, никак удовлетвориться не может. Что такое рисовка? Ведь это, так сказать, механическое перемещение картин из жизни на бумагу, тут еще творчества никакого нет, а г-ну Стебницкому необходимо творчество. Вот он и начинает творить. Как он это делает — господь его знает; я знаю только то, что картина, списанная самим г-м Стебницким с натуры и подвергнутая вслед за тем его же собственному творчеству, и является на свет вся, как будто изъеденная и изуродованная купоросным маслом. Что он с нею делал, как он ее пропускал сквозь горнило своего вдохновения — это его тайна; мы с своей стороны можем только предполагать: что, во всяком случае, это горнило должно заключать в себе какие-то злокачественные разъедающие вещества; и, вероятно, этот процесс совершается помимо воли автора, как-нибудь бессознательно. Иначе нельзя понять, каким

образом человек одною рукою портит и уродует то, что создает другой. И разве это не несчастие? И разве такой человек не нуждается в участии? Принимая все это в соображение, я поставил себе за правило не иначе относиться к каждому новому произведению г-на Стебницкого, как только именно с этой точки зрения, то есть в каждой сделанной им вещи обращать внимание, во-первых, на материал, из которого она сделана, и, во-вторых, на порчу, причиненную автором этому материалу. Тогда только, и только тогда можно получить совершенно ясное понятие о том, что это за вещь.

Для примера я предлагаю взглянуть с этой точки зрения на новое произведение г-на Стебницкого, на драму «Расточитель».

Сюжет этой пьесы, по-моему, очень недурен, даже, можно сказать, хороший сюжет, и попадись он в хорошие руки, из него могла выйти отличная вещь; взят он, по-видимому, из действительной жизни. Если не точно так, то, вероятно нечто подобное где-то, когда-то происходило, и автор, должно быть, об этом слышал или читал. Сюжет вот какой: молодой, умный, богатый, но бесхарактерный купец и фабрикант Молчанов живет в каком-то городе и, по-видимому, желает посвятить себя делу улучшения быта своих работников; он делает даже некоторые попытки сблизиться с ними и предлагает им организоваться на артельных началах; но эти попытки не только не удаются, но даже воздвигают против него гонение и, наконец, губят его. И это происходит потому, что Молчанов, будучи женат, полюбил одну мещанку, в которую тоже влюбляется бывший его опекун и известный интриган и богач — Князев, он же «первый в городе человек», как значится на афише. Драматическое действие состоит в борьбе этих двух личностей — борьбе, в которой принимает участие почти весь город. Борьба кончается тем, что Молчанова обвиняют в расточительстве и сажают в сумасшедший дом. Там он впадает в отчаяние, собирается лишить себя жизни, наконец, каким-то непостижимым образом убегает оттуда и поджигает свою фабрику, а сам умирает.

Сюжет, как видите, солидный — есть над чем поработать; и при том сюжет такого сорта, что можно его и повернуть, и поставить, и осветить как угодно. Одним словом, сюжет настоящий, ежели бы да на мастера. Теперь посмотрите, что из него сделал г-н Стебницкий, и каков он вышел из его горнила.

Начнем с пустяков, с мелочей, с афишки. Обратите внимание на фамилии действующих лиц: *Молчанов*, это значит молчаливый; *Мякишев* — подобный мякишу, хороший, но податливый; *Князев* — первый человек в городе (князь); *Гуслярова* — поэтическая натура (гусли); Павлушка *Челночок* — ненадежный человек, и нашим и вашим (челнок в ткацком станке); Алеша *Босый* — ходит без сапог; поляк *Минутка* — мошенник, но без выдержки (на одну минутку). Как вам это нравится? Понимаете, как сильна в человеке потребность творчества, как она разъедает и его самого и все, до чего он ни коснется. Не мог утерпеть, имен даже не мог оставить в покое, *свои* имена сочинил для того, чтобы на всем, решительно на всем лежала его печать. И даже в этих пустяках этаким ничтожным делом успел увлечься настолько, что сочинил невозможную фамилию «Минутка». Не только такой фамилии, но даже самого слова «минутка» на польском языке вовсе нет. Афишку и ту сквозь горнило протащил. Не мог. Что делать!

Теперь не угодно ли полюбопытствовать — взглянуть на сцену. Первое действие в доме Князева. Сидит Князев и рассуждает сам с собой, а потом даже публике начинает объяснять свои дела и рассказывает, что он влюблен в Гуслярову; приходит Минутка, и начинается у них разговор о том, как поправить дела. По мере того как вы вслушиваетесь в эту сцену, вы все больше и больше теряете доверие к творческой способности

г-на Стебницкого и, наконец, убеждаетесь окончательно, что почти весь этот первый акт ни больше, ни меньше как заимствован из «Свадьбы Кречинского»; что Князев — это Кречинский под видом купца, а Минутка — Расплюев, переделанный в поляка. Единственное лицо, принадлежащее автору в первом акте, — это утопленник, какое-то чучело, неизвестно каким образом являющееся в окне и долженствующее служить для Князева живым упреком; а Молчанов в это время покупает дом. Во втором акте устраивается заговор против Молчанова; в третьем его вызывают в дом тестя, собирается общество с целью обвинить его в расточительстве и отдать в опеку Князеву. Все это довольно растянуто, действующие лица беспрестанно вступают в интимные объяснения с публикой, говорят *в сторону*, не кстати острят, а Князев, при всей публике, у г-жи Мякишевой все хочет пощупать пульс, она не дается. Нильский, т. е. Молчанов, в третьем акте говорит, говорит и вдруг начинает драться. Это лучше всего выходит, потому что сообщает крутой поворот всему делу, и уже зритель начинает догадываться, что сейчас этого Нильского свяжут. Однако его не трогают и дают ему время повидаться с обожаемою женщиною. Тут как-то, бог знает зачем, фабричные рассуждают об артельной организации и потом начинают петь «Во лузях»; опять приходит утопленник, и оказывается, что его утопил Князев. Потом приходят купцы и родные, хватают Нильского и сажают в сумасшедший дом. Четвертый акт кончается; теперь пятый — развязка. Но что тут делается в этом пятом акте, так это — унеси ты мое горе. Видно, что автор потратил на него весь свой запас купоросного масла, потому что пятый акт составляет венец поэтического творчества г-на Стебницкого, т. е. весь в клочья изъеден. Поднимается занавес, новая декорация г-на Бочарова — подземелье. Страшные, закопченные своды, облупленные стены, на полу стоят ящики с мышьяком; ветер свищет и завывает в трубе. При свете ночника видна сидящая на ящике женщина... Одна, совсем одна!.. Вот она поднимает голову и, обращаясь к почтеннейшей публике, докладывает, что она, мещанка Гуслярова, томится в этом ужасном подземелье четвертый месяц одна, совсем одна! Ужасно. Вдруг новый порыв ветра, в трубу сыплются кирпичи. Одна! Но тут же оказывается, что все это шутка, собственно говоря, это одиночество и все эти ужасы нужны были только так, чтобы попугать зрителей, потому что, немного погодя, вдруг входит в это подземелье слепая старуха, стало быть, дверь не была заперта; потом входит купец, потом в трубу влезает фабричный. Только что купец начал рассказывать, что Нильский действительно с ума сошел и что его насилу за большие деньги впустили к нему, вдруг отворяется дверь и входит Князев. Гуслярова, ни мало не медля, хватает из ящика горсть мышьяку и в рот. Так тут целый ящик стоял с мышьяком, нарочно был приготовлен. Только что она успела отравиться, вдруг полиция тоже туда в подземелье нагрянула; потом народ повалил... вдруг кричат: «пожар, пожар», в окно виден малиновый бенгальский огонь и слышно—бьют в набат; вдруг кричат: «поджигателя поймали, ведут, несут...», а народ валом валит в подземелье. Несут поджигателя; оказывается — это Нильский поджег и тут же умирает, его кладут на пол, а с Гусляровой корчи делаются, полиция ее держит за руки и не может удержать: она рвется, мечется: «батюшки, умираю». Умерла. Приходит городской голова в шубе и видит все это безобразие: лежат два покойника и над ними утопленник сидит. И он тут как-то тоже очутился. Народ стоит в немом ужасе. Городской голова говорит: «Ну, мир праху их, а мы с вами, г-н Князев, пропали теперь совсем. Я сейчас телеграмму получил, что Минутка на нас донес, а сам открыл кассу ссуд в Большой Подъяческой». Конец. А теперь уж пусть читатель сам разбирает, где тут истина и где купоросное масло.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. А. Слепцов. Сочинения. Ред., статья и комментарии К. И. Чуковского, т. I. М.— Л., 1932, стр. 622.

[2] В статье Л. М. Лотмана «Драматургия 60-х годов. Общий обзор».— «История русской литературы». Изд-во АН СССР, т. VIII, ч. 2. М.— Л., 1956, стр. 387, 392.

[3] В работе молодого саратовского литературоведа В. Б. Смирнова. С его доводами согласился К. И. Чуковский (см. Е. Журбина. Живые нити. Заметки о литературной науке в Саратове.— «Вопросы литературы», 1959, № 10, стр. 241).

[4] ЦГАЛИ, ф. 497, оп. 1, ед. хр. 17.— Курсив наш.

[5] Н. И. Кубицкая. Публицистика В. А. Слепцова.— «Ученые записки Казанского госпединститута. Кафедра литературы», вып. 12, 1958, стр. 144.— Автор неправильно полагает, что письмо обращено к матери писателя Ж. А. Слепцовой (в действительности оно обращено к В. З. Ворониной; ошибочно указан и архивный шифр документа).

[6] «Отечественные записки», 1868, № 2, отд. II, стр. 349.

[7] А. И. Вольф. Хроника петербургских театров, ч. III. СПб., 1884, стр. 34.

[8] Щедрин, т. VIII, стр. 313.

[9] Л. П. Гроссман. Н. С. Лесков. М., 1945, стр. 148.

[10] Речь идет об отзыве М. В. Ломоносова о «Русской грамматике» А.-Л. Шлецера. Цитата из отзыва приведена Слепцовым неточно, по памяти. В подлиннике: «Из сего заключить должно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина» (М. В. Ломоносов. Поли. собр. соч. Изд-во АН СССР, т. IX. М.— Л., 1955, стр. 427).

[11] *Нильский* (Александр Александрович Нилус) (1841—1899) — актер Александринского театра, начавший свою артистическую карьеру в 1860 г.

[12] Имеются в виду пьесы «Дмитрий Самозванец» (1865) Н. А. Чаева и «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» (1866) А. Н. Островского.

[13] «Князь Серебряный» (1866) — драма в пяти действиях С. Доброва, являющаяся инсценировкой одноименного романа А. К. Толстого.

[14] «Смерть Иоанна Грозного» (1866) — историческая драма, первая часть известной трилогии А. К. Толстого, в 1868 г. поставленная Нильским.

[15] «Опричник» (1867) — драма И. И. Лажечникова, послужившая впоследствии либретто одноименной оперы П. И. Чайковского.

[16] «Василиса Мелентьева» (1862) — историческая драма А. Н. Островского.

[17] Речь идет о «Псковитянке» (1860) Л. А. Мея. Задержка постановки этой пьесы произошла не из-за смерти автора, а в результате запрещения цензуры.

[18] П. В. *Васильев* (второй) играл главную роль в пьесе А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» в нескольких первых спектаклях, но с ролью не справился и был заменен В. В. Самойловым, который тоже выступил в этой роли неудачно.

[19] «Два поколения» (1866) — драма в четырех частях А. А. Соколова. Была поставлена в Александринском театре в сезоне 1866/67 г. Речь идет, видимо, о Г. Н. Жулеве (1836—1876) — поэте-юмористе, сотруднике журнала «Искра» и актере, окончившем театральное училище и выступавшем на сцене в Петербурге и в провинции.

[20] Д. Т. *Ленский* — автор водевилей и актер, игравший в своих пьесах.

[21] Все цитаты из комедии в пяти действиях А. А. Потехина «Виноватая» (1867).

[22] Имеются в виду пьесы модного тогда драматурга, пользовавшегося покровительством театрального начальства — В. А. Дьяченко — «Светские ширмы» (1866) и «Семейные пороги» (1867), а также — «Пучина» (1865) Островского и «Расточитель» (1867) Лескова.

НАБРОСОК СТАТЬИ О ТЕАТРЕ

Публикация Л. А. Евстигнеевой*

Слепцов был тесно связан с театром всю жизнь. С юности у него определился яркий талант рассказчика. Все его друзья вспоминают об этом. «Слепцов замечательно хорошо читал свои произведения, так что слушать его было большое наслаждение»,—пишет А. Я. Панаева [1]. «Слепцов был огромный мастер рассказывать»,—перекликается с ней П. В. Быков [2].

Многие произведения Слепцова в высшей степени динамичны и как-то особенно «зрительны». Он так точно регистрирует все жесты своих героев и их мимику, что большинство его рассказов кажутся пьесами. Недаром в подзаголовках у него часто стоит: «Деревенские сцены», «Подгородные сцены». О том же говорят и названия его произведений: «Уличные сцены», «Сцены в больнице», «Сцены в полиции», «Сцены у мирового судьи». Даже крупнейшее его произведение — повесть «Трудное время» очень легко представить на сцене.

В 1860-х годах Слепцов постоянно выступал в любительских спектаклях и на литературно-музыкальных вечерах. В архиве Пушкинского дома сохранилась его записка к Е. П. Ковалевскому, в которой Слепцов настаивает на свидании с ним. «Мне бы хотелось,— пишет он, — посоветоваться относительно того, что́ читать. Кроме того, еще нужно бы условиться, кому после кого читать. Для меня это очень важно» [3]. По-видимому, речь идет о подготовке к одному из очередных вечеров Литературного фонда, председателем которого был Ковалевский. Слепцов часто читал на подобных вечерах свои произведения и неизменно пользовался большим успехом.

«Трудно себе представить что-нибудь лучше его чтения, — вспоминал впоследствии В. И. Танеев, — простота, изящество, одушевление, умение подражать голосу женщин и притом без всякой театральности, без всякой аффектации. Если в чтении участвовал Слепцов, можно было заранее наверное сказать, что все билеты будут проданы» [4].

Слепцов обладал не только незаурядным талантом актера, блестяще справлялся он и с обязанностями режиссера. Очень характерно, что в «Письмах об Осташкове» Слепцов вспоминает, как в 1862 г. он помогал актерам осташковского театра разобраться в их ролях и подробно рассказывал им, как играют драму Потехина в других театрах (II, 272). В 1868 г., когда освободилось место режиссера Александринского театра, Слепцов надеялся занять его. Об этом свидетельствуют строки письма Н. А. Некрасова к А. Н. Островскому от 10 июля 1868 г.: «Так как стало известно, что дирекция не желает поставить режиссера из актеров и ищет такового между литераторами, то мы пришли к убеждению, что это место с успехом мог бы занять Василий Алексеевич Слепцов» [5]. Однако в Александринский театр Слепцов назначен не был.

В 1870-е годы, в Петербурге и в Москве Слепцов был участником и руководителем «клубных» спектаклей; «одно время он усердно и серьезно занимался ими,

---

* Редакция «Литературного наследства» признает убедительность ряда доводов, приведенных Л. А. Евстигнеевой для доказательства, что публикуемая ею незаконченная статья о театре написана Слепцовым. Все же, однако, вопрос о принадлежности печатаемого наброска Слепцову не может считаться окончательно выясненным. Он требует дальнейшего изучения.

думая организовать образцовую труппу для народного театра. По независящим обстоятельствам предприятие это не имело успеха» [6]. Несколько позже, в Тифлисе, Слепцов выступал на эстрадных сценах с чтением своих «Сцен у мирового судьи». Интерес Слепцова к театру не покидал его всю жизнь.

Публикуемое нами начало статьи о театре написано неизвестной рукой с правкой Слепцова, конца рукописи нет, текст обрывается на середине листа. Возникает вопрос, принадлежит ли статья Слепцову или это рукопись неизвестного автора, отредактированная Слепцовым. Ответить на этот вопрос помогает изучение *характера* правки текста в рукописи.

Редактируя чужую статью, Слепцов мог исправлять стилистические погрешности, вычеркивать длинноты, заменять, наконец, неудачные строки статьи своими. Но трудно предположить, чтобы какой-нибудь редактор ввел в произведение новый образ или изменил бы сюжетное развитие. А между тем приблизительно (так как мы имеем дело не с художественным произведением, а со статьей) такого рода изменения встречаются в рукописи, найденной среди бумаг Слепцова. Например, в предложении: «если бы сказать блестящим франтам, сидящим в первом ряду кресел 〈...〉, что спектакль — это лекция» Слепцов заменяет слово «франтам» идентичным по смыслу словом «кавалерам», так как, по-видимому, решает сопоставить с этим образом *новый* — расфранченных дам, «*приезжающих в театр для того, чтобы показывать свои белые плечи*» (выделенные слова — правка Слепцова). Удачно найденное выражение придало статье резко сатирический характер. Другой пример. Слепцов вычеркивает целый абзац, в котором говорится о намерении автора высказать «некоторые практические соображения» «относительно здешнего театра». После этого Слепцов пишет: «Здесь...»; но зачеркивает это слово; затем пишет: «Прежде всего я желал бы обратить внимание читателей...»; снова зачеркивает; затем: «Но для того, чтобы мысль моя была вполне ясною, необходимо начать именно с общих рассуждений» — опять зачеркивает. Эти вычерки выразили несомненно авторские раздумья Слепцова: как дальше строить статью — рассказать ли подробно о «здешнем театре» или привести, как и было задумано вначале, общие рассуждения о драматическом искусстве.

Такого рода изменения говорят об авторском характере правки статьи. Авторство Слепцова подтверждается и другими фактами. Редкая вензельная бумага (№ 4, Косинской фабрики бр. Рязанцевых), на которой написан текст статьи, имелась в распоряжении писателя, поскольку на такой же бумаге рукой Слепцова набросан черновик «В конце весны собрался я уехать из Петербурга...». Характерно для Слепцова и построение статьи: как обычно он начинает ее с общих рассуждений, а потом переходит к частным фактам и, наконец, к обобщениям. К тому же не только главная мысль статьи, но даже формулировка отдельных положений напоминают другую статью Слепцова «Тип новейшей драмы», напечатанную в № 2 «Отечественных записок» 1868 г. (см. выше, стр. 136—143). Все это позволяет нам утверждать, что публикуемая статья принадлежит именно Слепцову, который, должно быть, отдал первоначально наброски статьи переписать кому-либо из своих знакомых или близких (может быть, Иностранцевой), а потом правил переписанный текст. Могло быть и так, что он диктовал кому-нибудь свою статью: во время болезни Слепцов часто прибегал к подобному методу работы [7].

Точно датировать отрывок статьи о театре очень трудно. Приблизительно следует отнести его к концу 1860-х — началу 1870-х годов, так как именно в это время вопрос о драматических театрах широко обсуждался. Скорее всего публикуемая статья — отклик на события театральной жизни в России, которая в то время находилась в состоянии кризиса. «Теперь в Петербурге и в Москве очень заняты вопросом о театрах, — писал в 1867 г. П. В. Долгоруков, — тридцатилетнее управление Гедеонова, которому звание театрального директора доставило блестящую карьеру и познакомило его с тузами, ввергло театры в страшный дефицит...»; «Театральная администрация уже давно высказалась несостоятельною; необходимо перейти к системе свободных театров» [8]. Подобные мысли выражает в своей статье и Слепцов.

Как видно из текста, статья была задумана Слепцовым в виде обзора деятельности одной из провинциальных русских трупп и создавалась в каком-то уездном городе.

В рукописи Слепцовым зачеркнуты следующие строки: «Почему это и как это делается, известно более или менее всякому образованному человеку, и если я решился привести здесь общие теоретические рассуждения о драматическом искусстве, то только потому, что имею в виду высказать некоторые соображения, чисто, впрочем, практического свойства *относительно здешнего театра*». Действительно, в сохранившемся отрывке статьи встречаются и общетеоретические рассуждения о театре, и конкретные практические предложения, что очень характерно для публицистики Слепцова вообще.



В ТЕАТРЕ

Гравюра, 1870-е гг.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград

«...если бы сказать блестящим кавалерам, сидящим в первом ряду кресел, или этим разряженным дамам, приезжающим в театр для того, чтобы показывать свои белые плечи, что спектакль — это лекция и что, слушая пьесу, они могли бы получать нравственную пользу, то, конечно, все эти дамы и кавалеры засмеялись бы в лицо...» (Из статьи Слепцова о театре)

Обращает на себя внимание основная мысль статьи. Театр, — доказывает Слепцов, — не легкое развлекательное учреждение. На театр нужно смотреть как на средство воспитания общества, средство исправления его пороков. Эта мысль типична для театральной эстетики демократов-шестидесятников. В просветительском характере этой эстетики легко можно убедиться, вспомнив статьи о театре Некрасова и Салтыкова-Щедрина, театральные обзоры «Петербургского жителя» — П. М. Ковалевского. В этом отношении эстетика разночинцев-шестидесятников следовала дорогой, проторенной еще в 1840-х годах Белинским и Грановским. Белинский рассматривал театр прежде всего как «источник народного образования», средство воспитания и показатель «общественного просвещения и духа времени» [9].

Слепцов в статье «Тип новейшей драмы» заметил, что «на театр следует обратить особенное внимание»; что «... как публике, так и артистам необходимо время от времени напоминать о Парнасе, о назначении искусства, о том, что театр есть великая народная школа, и прочие почтенные истины; ибо в противном случае Парнас совсем зарастет крапивою, а Пантеон российских муз легко может превратиться в скотопригонный двор» [10].

Не менее важны и практические предложения, содержащиеся в неоконченной статье Слепцова. Главным злом, мешающим процветанию русского театра, он считает отсутствие нравственно-эстетической и материальной свободы. Считая театр важнейшим и полезнейшим общественным учреждением, Слепцов предлагает пересмотреть вопрос о театральных субсидиях и выдавать театрам сумму, вполне достаточную для их нормальной жизни. Показательна фразеология статьи Слепцова: «сцена — кафедра», «театральная зала — аудитория», «театральное представление —проповедь». Это традиционная фразеология русской просветительской эстетики 1840—60-х годов.

Статья о театре, должно быть, предназначалась для «Отечественных записок».

ПРИМЕЧАНИЯ

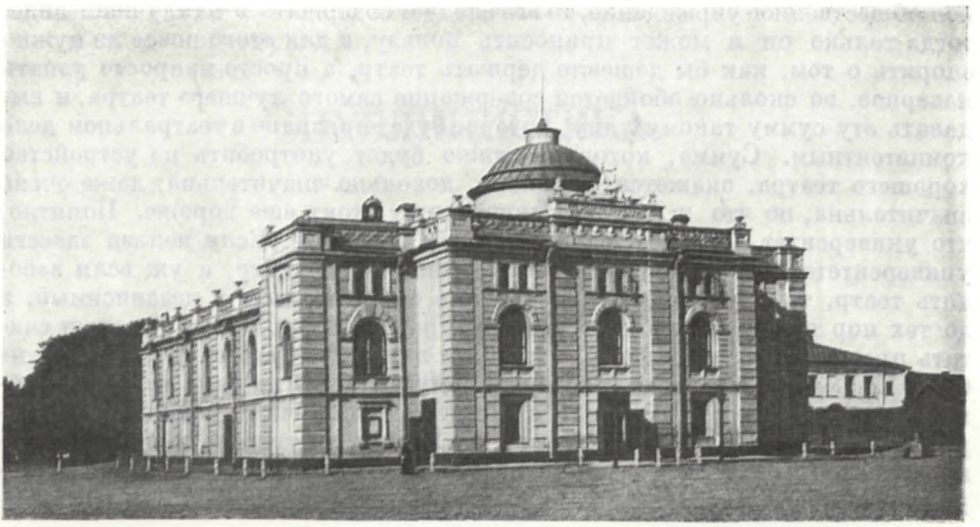
[1] А. Я. Панаева. Воспоминания. М., 1956, стр. 339.
[2] П. В. Быков. Силуэты далекого прошлого. М.— Л., 1930, стр. 182.
[3] ИРЛИ, Р. III, оп. 7, № 1932.
[4] См. стр. 522 настоящего тома.
[5] Н. А. Некрасов. Собр. соч., т. XI. М., 1953, стр. 112.
[6] Л. Ф. Маклакова-Нелидова. Биографический очерк о Слепцове, стр. 494 настоящего тома.
[7] 16 января 1877 г. Н. А. Соловьев-Несмелов сообщал И. З. Сурикову в связи со смертью А. И. Левитова: «Бедный Слепцов тоже лежит, и когда я с ним говорил о Левитове (он лежит на диване и не может с него сползти), то он сказал: „Нужно бы об нем написать — одно скверно, последнее дело — вот и диктовать-то не могу. Словом, не гожусь..."» (Неизд.— ЛБ, ф. Муз., 5336/2, л. 4 об.). В последние годы жизни Слепцов, по свидетельству Л. Ф. Нелидовой, часто диктовал ей свои произведения.
[8] П. В. Долгоруков. Петербургские очерки. М., 1934, стр. 285—286.
[9] «Петровский театр».— Белинский, т. II, стр. 521.
[10] См. стр. 137 настоящего тома.

‹«К ТЕАТРУ МОЖНО ОТНОСИТЬСЯ РАЗЛИЧНЫМ ОБРАЗОМ...»›

К театру можно относиться различным образом: театр можно рассматривать или как увеселительное заведение, или как школу нравственности. На практике обыкновенно обе цели совпадают, т. е. театр поучает, оставаясь в то же время увеселительным заведением. Все великие мыслители всех времен сходятся во взгляде на театр. Лучшие народные правители всегда понимали великое значение театра и обращали на него особенное внимание именно вследствие той силы, которой обладает театр, и того громадного влияния, которое он может производить на массу. Сцена — это кафедра, театральная зала — аудитория, театральное представление — проповедь в лицах, пьеса — это тоже лекция, только выраженная не словами, но образами и действиями. Эта лекция имеет ту особенность, что она доступна каждому. Мысль, выраженная в сжатой категорической форме, недоступна толпе, она слишком суха и отвлеченна; но если эту же самую мысль облечь в живую художественную форму и представить ее так, как она выражается в жизни, то та же самая мысль сейчас же станет каждому понятна. Разумеется, ни один антрепренер, снимая городской театр или приезжая с труппой на ярмарку, вовсе не думает о том, что он— проповедник общественной нравственности, из тысячи актеров, может быть, только один понимает свое общественное значение и смотрит на самого себя как на участника в этой великой проповеди. Публика, пожалуй, еще легкомысленнее относится к театру: если бы сказать блестящим кавалерам, сидящим в первом ряду кресел, или этим разряженным дамам, приезжающим в театр для того, чтобы показывать свои белые плечи, что спектакль — это лекция и что, слушая пьесу, они могли бы получать нравственную пользу, то, конечно, все эти дамы и кавалеры засмеялись бы в лицо. Но в том-то и заключается удивительное, почти волшебное зна-

чение театра, что актеры, нисколько сами того не подозревая и вовсе не думая поучать, тем не менее поучают, а зрители, нисколько не желая поучаться, тем не менее поучаются.

Польза, приносимая театром, как и всякая нравственная польза, неуловима, а потому и измерить ее невозможно; но что она есть, в этом, разумеется, сомнения быть не может. Если же эта польза чувствуется и сознается, то желательно, конечно, чтобы она увеличивалась, т. е. желательно, чтобы театр был поставлен в такие условия, при которых он мог бы приносить наибольшую пользу. Главнейшие условия для процветания театра состоят в том, что театр должен пользоваться как нравственной, так и материальной свободой. Театр должен быть материально обеспечен настолько, чтобы не находиться в зависимости от публики. Если театр



ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕАТР
Фотография, 1860-е гг.
Театральный музей им. А. А. Бахрушина, Москва

есть школа, то понятно, что эта школа тогда только может приносить пользу, когда она вполне самостоятельна. Куда годится школа, находящаяся в полной материальной зависимости от своих учеников. Представьте себе, что бы вышло, если бы ученикам понравилась какая-нибудь наука и они бы объявили, что они этой наукой и хотят заниматься, других же никаких наук не желают, а в противном случае вовсе в школу ходить не будут. И что бы было, если бы учитель, по необходимости, исполнил желание учеников. В таком именно положении, к несчастию, находятся все без исключения русские частные театры. Только одни казенные театры вполне материально обеспечены и могут пользоваться свободой в выборе пьес и актеров. Провинциальные же театры, даже и пользующиеся субсидиями, обыкновенно находятся в полнейшей материальной, а следовательно, и нравственной зависимости от публики. Вопрос о театральной субсидии — это один из самых щекотливых вопросов, возбуждающий всегда бесконечные попреки и неудовольствия, в тех случаях, где городу приходится давать театру субсидию. Управляющий театром обыкновенно находит, что получаемой субсидии недостаточно, город же, в свою очередь, обыкновенно жалуется, что субсидия слишком велика. Если разобрать это дело беспристрастно, то окажется, что как театр, так и город

оба правы или неправы или, лучше сказать, как тот так и другой одинаково ошибаются. Город обыкновенно смотрит на театр не более как на увеселительное заведение, следовательно, и расход на театр представляется ему роскошью, между тем в городском бюджете есть множество других неизбежных и *бесспорно полезных* расходов и понятно, что когда примутся сравнивать те и другие расходы, то всегда выходит на поверку, что как бы ни была скромна цифра театральной субсидии, она все-таки кажется значительной и возбуждает ропот. Антрепренер со своей стороны тоже недоволен, потому что никогда не может получить такой субсидии, которая сделала бы его вполне независимым. Очевидно, что причина неудовольствия скрывается во взаимном недоразумении. Город ошибается, потому что смотрит неправильно на театр. Если театр — забава, то, конечно, всякий может тратить на нее сколько ему вздумается, но если театр — полезное общественное учреждение, то его следует содержать в наилучшем виде, тогда только он и может приносить пользу, а для этого вовсе не нужно спорить о том, как бы дешевле держать театр, а просто-напросто узнать наверное, во сколько обойдется содержание самого лучшего театра, и выдавать эту сумму такому лицу, которое будет признано в театральном деле компетентным. Сумма, которую нужно будет употребить на устройство хорошего театра, окажется, вероятно, довольно значительна; даже очень значительна, но что ж делать, университет стоит еще дороже. Понятно, что университет полезнее театра, зато он и дороже. Если нельзя завести университета, хорошо завести, по крайней мере, театр, а уж если заводить театр, так настоящий, т. е. вполне обеспеченный и независимый, а до тех пор всякие жалобы на театр и пререкания о деньгах следует считать праздными разговорами. Можно ли винить антрепренера, если он не будет серьезно относиться к театральному делу, когда само городское общество относится к театру или с коммерческой точки зрения, или смотрит на него как на бесплодную забаву. Можно ли требовать от антрепренера, если он находится в полнейшей зависимости от публики или от городского общества...

‹Конец 1860-х — начало 1870-х годов›

Копия с правкой Слепцова. ИРЛИ, Р. III, оп. 1, № 1927, лл. 1—3.

ПУБЛИЦИСТИКА

ЖУРНАЛЬНЫЕ ОБОЗРЕНИЯ

Публикация М. Л. Семановой

ЦИКЛ ФЕЛЬЕТОНОВ ДЛЯ «СОВРЕМЕННИКА» (1863)

В апрельской книжке «Современника» 1863 г. Слепцов начал печатать (без подписи) цикл фельетонов «Петербургские заметки». Он поместил в этой книжке «Вступление» и первый фельетон «Весенняя прогулка с детьми по санктпетербургским улицам». Продолжение последовало в июньской книжке журнала. Под общим цикловым заглавием здесь была опубликована сцена «На параде». Однако эта сцена, как удалось сейчас установить, является лишь одной из трех частей (а именно второй) подготовленного для июньской книжки продолжения «Петербургских заметок».

В архиве А. Н. Пыпина (ИРЛИ) сохранился полный текст всех трех частей продолжения. Состав и последовательность их таковы: 1. Обширное рассуждение без заглавия, начинающееся словами: «Что может быть возвышеннее любви к отечеству?..» 2. Сцена «На параде» и 3. «Отрывок из дневника». На полях гранок имеется помета: 26 июня 1863 г. Это — дата цензурного разрешения шестого номера «Современника» и вместе с тем дата изъятия из него первой и третьей названных частей продолжения цикла.

Начало «Петербургских заметок», опубликованное в апрельской книжке «Современника», было воспроизведено К. И. Чуковским во втором томе собрания сочинений Слепцова 1957 г. Полностью весь дошедший до нас материал разрушенного цензурой цикла появляется в настоящем томе впервые. В настоящей публикации печатаются «Вступление» и три первых фельетона. Последний же фельетон — «Отрывок из дневника» помещен отдельно, в следующем разделе (стр. 333—338). Фельетон этот Слепцов в 1864 г. значительно дополнил и хотел напечатать его самостоятельно, вне связи с распавшимся циклом.

Замысел «Петербургских заметок» возник в обстановке ожесточенного натиска реакции. «Искусно пользуясь целой системой недомолвок, иносказаний, намеков,— пишет К. И. Чуковский,— он ⟨Слепцов⟩ умудряется в когтях у цензуры заклеймить антинародную политику Александра II»; Слепцов высказывает «глубочайшее презрение ко всем либеральным реформам правительства», о которых «казенная пресса назойливо и громко продолжала трубить как о гуманнейших деяниях царя»; он намекает читателю на близкий конец либеральных преобразований, на борьбу правительства с революционным движением. Исследователь квалифицирует далее «Петербургские заметки» как документ, свидетельствующий о «таланте публициста, прекрасно усвоившего эзопову речь», о зрелости «политической мысли» писателя, «уменьи владеть гибкой тактикой революционной борьбы», которую выработали деятели «Современника» (I, 14—16). Эти выводы, сделанные К. И. Чуковским на основе знакомства лишь с началом «Петербургских заметок», сохраняют свое значение и в настоящее время, когда в нашем распоряжении имеется столь значительное для понимания замысла писателя продолжение этого цикла. Но, разумеется, новые материалы дают возможность дополнить наблюдения исследователя над содержанием «Петербургских заметок» и особенностями слепцовского иносказания.

Слепцов задумал «Петербургские заметки» как цикл фельетонов, в которых, по его словам, должны были найти свое место «случаи какие-нибудь, сцены, краткие

размышления» (II, 332). Фрагментарность, разнородность материала, чередование теоретических рассуждений с художественными зарисовками, пейзажными и бытовыми описаниями и сценами подсказаны не только особенностями жанра публицистического обозрения. Это вместе с тем и особая форма эзоповой манеры писателя. Такая «разорванная» организация политически острого материала была рассчитана на «читателя-друга» и единомышленника, способного улавливать внутреннюю связь между отдельными частями и эпизодами цикла и самостоятельно приходить к тем выводам, к которым хотел привести его автор.

Изложение в «Петербургских заметках» ведется то от первого лица — «я» рассказчика («Вступление», «Весенняя прогулка...», «Отрывок из дневника»), то от третьего лица. Соответственно этому Слепцов то субъективно окрашивает изображаемое, высказывая свои суждения, свое эмоциональное отношение, то объективно излагает факты, явления, не давая им прямых оценок («На параде»), то, наконец, выступает с теоретическими рассуждениями и обобщениями.

Разными способами писатель стремится достичь одной цели — воспроизвести главный конфликт эпохи, столкновение двух борющихся сил в русской действительности. При этом образ «молодой России» не дан, а лишь «задан». Он возникает в сознании читателя как невольное противопоставление образу «старой России», воплощенному в климатическом, социально-политическом и архитектурно-бытовом облике столицы Российской империи. Слепцов прибегает в данном случае к устоявшемуся в демократической литературе иносказанию. *Петербург* олицетворял казенную Россию, самодержавно-полицейское государство; *душная атмосфера* — атмосферу деспотизма; петербургская *ненастная погода* — политическое «ненастье» реакции (см. «Ненастный день», стр. 64—67 настоящего тома). В то время, когда либеральная пресса постоянно прибегала к радужным «весенним» тонам, Слепцов сознательно сгущал темные краски, создавал тусклый, серый, «туманный» колорит: «...погода успела уж испортиться. Поглядите, на небе тучи, накрапывает дождь, что-то серое затянуло всё: и дома, и людей, и впереди ничего не видно, один туман» («Весенняя прогулка...»). «Погода была холодная; ветер со свистом носился по Летнему саду; набегали тучи» («На параде»). «Бледное, серое утро 〈...〉 серая громада домов, накрытая сверху серыми тучами» («Отрывок из дневника»).

Эти строки «Петербургских заметок» напоминают читателям и перифразы Добролюбова («сырая и туманная атмосфера нашей жизни» [1]) и описания «погоды дурной» Некрасова:

Надо всем, что ни есть: над дворцом и тюрьмой...
Надо всем распростерся туман.
Душный, стройный, угрюмый, гнилой,
Некрасив в эту пору наш город большой,
Как изношенный фат без румян[2].

Слепцову близка задача Некрасова, также совершающего «прогулку» по Петербургу,— показать «во всей нагольной красоте» столицу Российской империи. Роль эпиграфа, который Некрасов предпослал циклу своих сатир «О погоде»:

Что за славная столица
Развеселый Петербург!

Лакейская песня —

выполняет у Слепцова «Вступление», в котором писатель назвал Петербург «управой благочиния», напомнил читателю о Сенате и Синоде (высших правительственных органах самодержавной власти), а затем иронически показал Петербург, как «больших размеров увеселительное заведение», «место утех и ликований» [3]. Политическое содержание этого образа было понятно современникам, с горечью замечавшим, что Петербург Чернышевского стал Петербургом кафе-шантанов. Писатель рассчитывал на то, что слова: «спектакль», «представление», «праздник», «бенгальское освещение» — вызовут у оппозиционно настроенного читателя ассоциацию с либеральной политикой «верхов», с продолжавшейся в официальной и либеральной печати шумихой вокруг

реформ. Для слов «реформы», «преобразования» Слепцов также находит несколько иронических «синонимов»: «рог изобилия», «сюрпризы», «премии», «приманки», «афиши», «объявления».

К. И. Чуковский правильно расшифровал слова: «дела распорядителя праздника очень порасстроились и требуют поправки» — как намек на непрочное положение правительства Александра II, стремящегося путем реформ предотвратить опасность революционного взрыва. Но, думается, что, говоря об «артистах», «фокусниках», «чародеях», «трубачах» и т. д., Слепцов имел в виду не только министров Валуева и Головнина, а всех тех, кто проводил и охранял правительственную политику: высших чиновников, полицейских, общественных и литературных деятелей консервативно-реакционного лагеря и проч. Остроумен, например, намек на представителей высшего органа политической полиции: «трубачи протрубят все свои три отделения» (ср. у Герцена: «петь по органчику III Отделения» [4]).

Слепцов характеризует во «Вступлении» различные тенденции в обществе: одни — «легкомысленные посетители», люди привилегированные, праздные, не рассуждая, приемлют все «развлечения»; другие — извлекают собственную выгоду, преследуют практические цели; наконец, третьи — «благоразумные посетители», мыслящая часть общества, демократическая интеллигенция, весьма трезво, критически оценивают современную действительность. «Благоразумные посетители» сродни «благоразумному человеку» в романе Чернышевского «Что делать?» (см. теоретический разговор Лопухова и Кирсанова). Автор и себя относит к их числу, он создает впечатление об их многочисленности, употребляя часто местоимение «мы».

«Благоразумный посетитель» совершает «весеннюю прогулку с детьми по санктпетербургским улицам»; в финале «Вступления» он определяет цель этой «прогулки»: разоблачить в глазах «детей» (молодого поколения, демократов-разночинцев) тех, кто наслаждается празднеством или получает от него выгоду (т. е. поддерживает установившийся социальный порядок), разоблачить «ворующего и прелюбы творящего, лгущего, доносящего...», оберечь от его влияния «детей», увести их на другую жизненную дорогу — дорогу освободительной борьбы.

Автор выражает полное доверие к разуму, чувству *детей*: «Мне будет легко говорить с вами, потому что вы понимаете многое гораздо лучше, нежели, как думают ваши родители». Этим своеобразно мотивируется в главе «Весенняя прогулка...» сама форма повествования. Речь автора обращена к сочувствующим ему людям, поэтому многое можно не досказывать; достаточно намека, чтоб быть понятым ими.

Раскроем некоторые из этих намеков.

Картина весны и образ городового, следящего за «порядком», — это намек на реформы, осуществляющиеся под контролем не общества, а полицейской власти. Автор не сообщает «маршрута» прогулки с детьми, он не перечисляет названий улиц, мостов, зданий, но приведением ряда деталей дает понять, что «благоразумный посетитель» ведет детей по Невскому проспекту («многолюдная улица» со множеством экипажей и магазинов) и заканчивает прогулку на Адмиралтейской площади («завернем на площадь, где гуляет народ»). Не уточняя мест прогулки, предоставляя простор воображению читателя, автор вызывает своими замечаниями о петербургском архитектурном «пейзаже» определенные социально-политические ассоциации. Слепцов говорит, например, «детям»: «...обратите внимание на этот мост, и заметьте, как он искусно сделан. Однако многие его не хвалят, а почему не хвалят — вы и об этом узнаете впоследствии». Что это за мост? И почему его не хвалят? Несомненно, это Цепной мост через Фонтанку; рядом с ним находилась печально знаменитая канцелярия III Отделения.

Вслед за иносказанием о Цепном мосте естественно следуют намеки на армию шпионов и сыщиков («здесь так много любопытных»). Они ловят недозволенные слова, мысли, настроения и сообщают о своих наблюдениях «папаше» (полицейскому начальству): «Такой-то сказал: „Славная борода у Гарибальди“» (здесь намек на следующий эпизод: в витрине известного магазина эстампов Дациаро, на Невском, был выставлен портрет Гарибальди, но без обозначения его имени; по требованию властей портрет был вскоре убран). «А папаша скажет: „Не пускать его гулять за это! Пусть сидит“» (т. е. сидит в тюрьме). Детям не дают читать книжки, в которых сказано: «вы бы пошли

поиграли», так как «большие боятся, чтобы дети не зашалили», т. е. не были бы вовлечены в революционно-освободительную борьбу.

Упоминание магазина, где продают запрещенные книжки, могло быть рассчитано на ассоциацию с известным книжным магазином и библиотекой братьев Серно-Соловьевичей — одним из мест, где встречались землевольцы и где 7 июня 1862 г. был арестован Николай Серно-Соловьевич.

Слепцов заканчивает «прогулку с детьми» «на площади, где гуляет народ», т. е. на Адмиралтейской площади. Сравнение газетных сообщений о традиционных народных гуляниях на этой площади с зарисовкой Слепцова показывает, что писатель был очень точен в своих описаниях. В фельетоне упомянуты все основные атрибуты этих гуляний шестидесятых годов: представления в балаганах Берга (с арлекином — центральным действующим лицом), «силомеры в виде турок, которых за три копейки можно было бить по басурманским башкам» [5], качели, карусели, лавочки с лакомствами и водкой и т. д. Но в эту бытовую картину Слепцов вводит ряд политических обобщений: народ одурманивают водкой, кружат ему голову «до дурноты» увеселениями, пробуждают националистические чувства (предлагают колотить турка «потому, что он турок») и тем самым стремятся отвлечь народ от раздумий над своим положением, заглушить в нем недовольство общественными порядками.

Здесь содержится также намек на одну из реформ шестидесятых годов: отмену откупа и установление свободной торговли вином, водкой, что привело к сильному их удешевлению. Положение об отмене откупа было введено 1 января 1863 г. и вызвало очередную волну либерального славословия Александру II: «Царь сдержал свое слово, откуп пал, вино сделалось вдвое дешевле и вдвое лучше», народ «поет и веселится, как никогда не пел и не веселился»,— заявлял «Русский инвалид» [6]. «Акциз в глазах народа равняется с освобождением от крепостной зависимости, и есть важнейшее событие наших дней»,— провозглашала «Северная почта» [7]. В этих газетах, как и в «Северной пчеле», говорилось, что народные гуляния 1863 г. отличались от предшествующих им масленичных гуляний 1862 г. «неимоверным количеством питей всякого рода» [8]. Пьянство объявлялось невинной забавой народа, находящегося еще в младенчестве: «Народ наш еще дитя, но дитя не испорченное и не избалованное»; «Зелено вино — его любимая игрушка»,— писали в том же «Русском инвалиде» [9].

Такие рассуждения Слепцов определял в статье «Попытки народной журналистики» (1863) как «трусливое желание уверить ребенка, что он еще ребенок, что он ничего не понимает» (II, 314). В финале «Весенней прогулки...» чувствуется боль писателя за обманутый народ. Пьяные в его истолковании — «больные люди», пьянство — социальная болезнь.

«Весенняя прогулка...» заканчивается картиной наступления реакции по всему фронту: «что-то серое затянуло все ⟨...⟩ и впереди ничего не видно, один туман». В последних словах фельетона сатирически использована одна из ходовых сентенций охранительного лагеря: каждый должен быть доволен своим жребием.

Автор выполнил свою «программу», намеченную во «Вступлении»: он показал *детям* подлинную жизнь, разоблачил «ворующих», «развратничающих», «доносящих» и богов, которым они «курили фимиам»; он подвел к выводу, что быть счастливым можно только при условии борьбы за свободу народа и, тем самым, свободу личную. О том, что именно так задумывал писатель эту главу «Петербургских заметок», говорит найденный нами в его бумагах листок «Игры детские» (см. стр. 379—380 настоящего тома). Через два года, в середине 1865 г., Слепцов захотел напомнить о «прогулке с детьми» и показать реальные ее результаты. «Дети» выполнили заветы «благоразумного посетителя». Им теперь не страшен уже ни бог («*старик*»), ни чёрт («*трубочист*»); не пугает их ни преследование за чтение нелегальной литературы («*книжек*»), ни тюремные заключения («*темные комнаты*»).

* * *

Продолжение «Петербургских заметок», предназначенное для июньской книжки «Современника», Слепцов начал теоретическим «рассуждением» на тему «Что может быть возвышеннее любви к отечеству?..» Цензура запретила «рассуждение». Это была



ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА НА АЛЕКСАНДРА II, РАЗОБЛАЧАЮЩАЯ КРЕПОСТНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ 1861 г.

Надпись сверху: — Я, господа, в особенности люблю вас, потому что я сам помещик вашей губернии.

— Бя-а-а, б-я-а-а...

Снизу, рукой цензора: — Г-да, я первый дворянин в государстве etc.
(из речей е⟨го⟩ и⟨мператорского⟩ в⟨еличества⟩

Рисунок Н. В. Иевлева. Предназначался для журнала «Гудок», 1861—1862 гг.

Русский музей, Ленинград

еще одна смелая попытка писателя изложить революционно-демократическую и социалистическую систему взглядов, попытка пропагандировать идеи Чернышевского, заключенного в Петропавловскую крепость. Это был одновременно ответ ученика Чернышевского охранительной журналистике, пытавшейся еще до окончания в «Современнике» публикации романа «Что делать?» дискредитировать его в глазах читателей и обратить внимание предержащих властей на это произведение [10].

В начале «теоретического рассуждения» звучат слова: «родина», «жертва». Затем писатель раскрывает то новое содержание, которое вкладывали в эти традиционные понятия люди революционно-демократического, социалистического мировоззрения. В основу положена здесь разработанная Чернышевским «теория разумного эгоизма».

«Петербургские заметки» писались в разгар польского восстания, в пору развернувшейся шовинистической пропаганды. В этой обстановке поставленный Слепцовым вопрос о подлинной и мнимой любви к родине, о революционно-демократическом и великодержавно-националистическом понимании патриотизма приобретал особенную политическую остроту. Реакционный лагерь упрекал русских революционеров в «сплошном отрицании», «нигилизме», представлял их людьми без родины, космополитами. Отвечая им в «Петербургских заметках», Слепцов вспоминает о Лермонтове, чья ненависть к «немытой» России и «странная» любовь к отчизне были, по определению Добролюбова, проявлением «истинного», «святого» патриотизма.

Обвинение в космополитизме Слепцов переадресовывает великодержавным шовинистам, чьи необузданные экспансионистские тенденции не знают границ. Писатель сближает в этом случае при помощи одного и того же глагола «простираться» такие разнородные понятия как «пространство» и «чувства», высмеивая тем самым тех, кто отождествляет любовь к родине с желанием расширить ее географические пределы, интерес к чужим странам — с завоевательными намерениями по отношению к этим странам. Для своих обличительных целей Слепцов использует строки из пушкинского стихотворения «Клеветникам России»: «От финских хладных скал...» В тех же целях он употребляет слово «граница» в двух его значениях: прямом (государственная граница) и переносном (предел, допустимая норма: «граница чувства», «граница благоразумия»). Он делает прозрачный намек на польские события: другой «простирает свои чувства» на запад, за «буйную Вислу». Заметим, что тот же комплекс представлений внушал читателям «Современника» и Салтыков-Щедрин. В майской хронике цикла «Наша общественная жизнь» за 1863 г. он свидетельствовал о вынужденном молчании демократической печати по поводу польского восстания, иронически отсылал читателя к «Московским ведомостям» (высказывавшим казенную точку зрения «от лица всего русского народа»), при этом так же цитировал строчки «От финских хладных скал...» [11].

Мысль о том, что содержание понятия «патриотизм» связано с обстоятельствами исторической жизни, с социальными отношениями, с положением самого «патриота» в обществе, с системой его политических воззрений, является одной из главных мыслей Слепцова в третьей главе «Петербургских заметок». Дав представление о великодержавных «патриотах», писатель переходит к характеристике «местных», «губернских патриотов, облеченных властью в какой-либо отдельной местности». Слова «губернский», «местный» приобретают у него не только конкретное, но и обобщенное значение. Вспомним, что в это же время в «Современнике» публиковалось продолжение «Писем об Осташкове», в которых писатель высмеял «местных» патриотов в прямом смысле этого слова: губернские осташковские власти, неумеренно и незаслуженно восхвалявшие свой город. Через два года в «Провинциальной хронике» он обличит такой же патриотизм провинциальных газетчиков. Но, разумеется, во всех этих произведениях писатель обобщает явление: он ведет речь о суженном, бескрылом патриотизме, о «слепой привязанности к месту жительства», к «местным условиям». И слова «место», «условия» даны им не только в прямом, но и в переносном смысле, т. е. существующий строй, социальные порядки, которые удовлетворяют «облеченных властию» чиновников, помещиков, купцов («откупщиков») и т. д. Их патриотизм вовсе не бескорыстен, напротив, он продиктован личными выгодами («родиною я могу назвать только такое

место, где мне хорошо живется»). Девиз этих «патриотов» — девиз космополитов: ubi bene, ibi patria.

Интеллектуальными и нравственными уродами выглядят в описании Слепцова люди, порабощенные «местными условиями» (самодержавно-полицейским государством). Неразвитость общественной жизни в стране,— указывает Слепцов,— непробужденность политического сознания в массах объективно содействуют укреплению официальной идеологии («охранению существующего»), являются источниками консерватизма в сознании миллионов русских людей. Примеры с гренландцем, кавалерийской лошадью и заключенным в тюрьму помогают Слепцову усмотреть в отрицаемом им типе «местных патриотов» (т. е. мнимых) три разновидности: «неразвитых», «невозделанных» и «извращенных». Первые — это темные люди из народа, чьи патриотические чувства ограничены бедностью их гражданского сознания; вторые — обыватели, находящиеся в плену казенной идеологии; третьи — та часть интеллигенции, которая мирится с действительностью и идет практически на сделку с существующим порядком вещей.

Писатель указывает и на черты сходства в патриотизме этих различных категорий людей. Их всех объединяет слепая любовь к родине, в узком понимании этого слова (к «месту рождения», «пастбищу», «стойлу»), привычка к ненормальным условиям жизни, ограниченность требований, повиновение идеологическим поводырям («пастухам» и «конюхам»).

Слепцов показывает также, что бедность сознания, ограниченность и извращенность понятий являются помехами в деле распространения правильных, широких и справедливых представлений о жизни: «в каждом постороннем существе ⟨революционере⟩ видит врага»; «ко всякому изменению status quo ⟨к попыткам преобразования общества⟩ относится враждебно, во всяком движении видит риск».

В первой части своего рассуждения о патриотизме Слепцов критически оценивает «ложные представления»; во второй — он дает понятие об истинном революционно-демократическом патриотизме (некоторые черты его, разумеется, «просвечивали» и сквозь критические суждения). По мере приближения к этой — позитивной — части автор делает свою речь все более «туманной», это само по себе должно было настораживать читателя, заставлять предполагать «нецензурность» предмета изложения. В самом деле, Слепцов задумал не только дать программу революционного патриотизма, но и создать образ последовательного представителя такого патриотизма. Для этого он пользуется перифразами: «местные особенности», «климатические признаки» (национальные русские особенности); недомолвками: «...мы можем рассматривать только известные явления и притом лишь с известной стороны», т. е. выбирать из жизни лишь немногое, что не вызывает цензурных преследований.

Иногда Слепцов мистифицирует реакционного читателя, пользуясь его терминологией для выражения своих мыслей. Так, указывая на «похвальные черты нашего народного характера», Слепцов вкладывает новое содержание в слова: «преданность» (не царю, а революционному делу), или «твердость в вере» (не в бога, а в исход освободительной борьбы). Упоминая о «разных доблестных событиях из нашей истории», он имеет в виду не те события, в которых проявились верноподданность и воинственная доблесть, а те, в которых высказались гражданские чувства («благородные порывы», «благородство и самоотвержение»). Слепцов выражает готовность черпать «для аргументации» примеры из современной общественной жизни, но тотчас же дает понять, что не сможет этого сделать по соображениям цензурного характера. И в этом случае писатель сознательно придает своим словам прямо противоположное значение. Призыв «*добровольно* отказаться от такого богатого ⟨...⟩ источника, какова наша общественная жизнь»,— следует понимать как заявление о *вынужденном* отказе от разработки некоторых политически острых вопросов современности. Несколько ниже автор еще раз подчеркивает, что этот отказ наносит существенный ущерб его замыслу — создать представление о революционном патриотизме: «Но, обратившись снова к теоретическим рассуждениям, мы, по-видимому, добровольно лишаем себя всякой возможности уяснить себе сущность русского патриотизма». Употребив здесь слово «по-видимому», автор вносит элемент сомнения в слово «добровольно» и приближает его тем самым к понятию «вынужденно».

«Предмет нашего рассуждения,— пишет Слепцов,— уже по самому существу своему относится к категории щекотливейших чувств, избравших, как известно, местопребыванием своим самые укромные тайники души». Далее автор не совсем точно излагает и цитирует текст пятистишия из Полтавы Пушкина:

Слепцов	Пушкин
...известно также, что «проникнуть в бездну роковую души, да, пожалуй, еще коварной» (кто может поручиться, коварна она или нет?) так же трудно, даже для проницательного ума, как «слазить в глубину морскую, покрытую недвижным льдом».	Кто снидет в глубину морскую, Покрытую недвижным льдом? Кто испытующим умом Проникнет бездну роковую Души коварной?..

Пушкинские строчки, посвященные Мазепе — врагу русского самодержца, — весьма своеобразно используются Слепцовым. Ему приходится прибегнуть к этому образу, чтоб скрыть свое намерение — сказать читателю о современных врагах самодержавия: Чернышевском, Михайлове, русских политических эмигрантах, русских офицерах, участниках польского восстания и др. Но при этом писатель осторожно вносит существенную «поправку»: он исключает из характеристики современных борцов с правительством такое качество, как «коварство». Он делает ряд намеков на конспирацию («чувства, избравшие местопребыванием своим самые укромные тайники души»), на преследование свободной мысли полицией и цензурой («открытие таких душевных свойств и побуждений современного человека, которые не принято обнаруживать», служит «поводом к различным недоразумениям», которых автор старается «по возможности избегать»). Некоторые сочетания слов выполняют здесь двойную функцию: вызывают впечатление о трудности положения писателя, говорящего на «щекотливую» тему, а также о деятельности политических агентов: «проницательные умы», делающие «экскурсии в душевные тайники» (ср. щедринское: «читать в сердцах»).

Понятие истинного патриотизма у Слепцова сродни пониманию этого «священного» слова Чернышевским [12]. Быть патриотом — значит желать блага своей родине, бороться за преобразование общества в социалистическом духе. При этих общественных условиях, по заключению писателя-демократа, само понятие патриотизма приобретает свой подлинный и широкий смысл.

Слепцов пользуется словами: «благо родины», «общая цель», «порядок вещей», «свойства требований» — и доказывает, что содержание этих слов совершенно различно у демократов и охранителей существующего строя. Для последних понятие «благо родины» — это не что иное, как выполнение желаний и требований привилегированного меньшинства. В основе их «патриотизма» лежит стремление сохранить личные выгоды, «священное право собственности», сословные привилегии, монополии. Этому подчинены меры «общественной безопасности и порядка».

Говоря о «справедливых требованиях» и желаниях патриотов — последовательных демократов — о «праве быть недовольным», о «праве жить лучше», писатель в сущности популяризирует «теорию разумного эгоизма» Чернышевского. Исходные положения Слепцова: равноправие, согласование личной «выгоды» с «выгодой» большинства. Трудность положения патриотов-революционеров Слепцов видит в том, что «благотворные цели» их являются «отдаленными» (социализм), «невидимыми для большинства, стремящегося к достижению только самых близких целей и к удовлетворению самых назойливых нужд» (т. е. не поняты народом, не вошли еще в народное сознание), а революционные способы достижения этих целей («действия, клонящиеся к уничтожению разных монополий и привилегий», «коренное изменение общественного строя») вызывают активное сопротивление охранителей, которые прибегают не только к репрессиям, но и к различным формам дискредитации социалистических идей («ложное толкование 〈...〉 главных целей»).

В заключительной части своего рассуждения о патриотизме Слепцов выражает горячую надежду на освобождение «большинства» от «местных условий», на пробуждение политического сознания разночинной интеллигенции и людей из народа, на расши-

рение, таким образом, круга борцов за социалистическое переустройство общества («является недовольство и стремление к удовлетворению новых нужд и потребностей»), на формирование и развитие свободного человека, человека революционного склада (у него насущная потребность «жертвовать некоторыми и даже всеми личными благами для удовлетворения других так называемых высших требований») и, наконец, на создание социалистического общества, в котором «понятие о личном благе из эгоистического, узкого понятия» превратится «в неизмеримо широкое и бескорыстнейшее понятие о благе всего мира». Во всем этом нельзя не усмотреть желания писателя напомнить о программе заключенного в крепость Чернышевского, публично заявить о своей солидарности с нею.

Критикуя «ложный патриотизм» и излагая программу патриотизма истинного, Слепцов, как мы видели, «добровольно» отказался черпать примеры из современной жизни для доказательства своих мыслей. Он сделал это (в завуалированной форме) в следующих частях цикла «На параде» и «Отрывок из дневника».

Когда третья и пятая части были в корректуре запрещены цензурой, а четвертая («На параде») дозволена к печати в «Современнике», Слепцов внес дополнение в заглавие, придав, на первый взгляд, еще более «невинный» характер содержанию сценки: «На параде, среди зрителей». Слепцов изображает в этой сцене не сам парад войск на Царицыном лугу, а поведение и настроение толпы, которая, собственно, парада почти не видит, однако, по традиции, возбуждена в «патриотическом» духе (мысль, высказанная в третьей главе о воздействии официальной или, по выражению Чернышевского, «казенной» идеологии на «невозделанных» людей).

Знаменателен выбор Слепцовым материала, места и времени действия для сцены. По свидетельству современников, летом 1863 г. на Царицыном лугу правительство устраивало парады войск и торжественные встречи войскам, вернувшимся из Польши [13]. В охранительной печати с восторгом рассказывали о подобных «зрелищах», использовали их в целях возбуждения шовинистических настроений.

Слепцов сознательно снижает «торжественное событие», сосредоточивая внимание читателя лишь на бытовых разговорах, жанровых сценках, не имеющих порою никакого отношения к тому, что происходит на плацу. Писатель использует в этом случае тот же прием, что и в корреспонденции «Из Новгорода», где вместо изображения торжественного празднования тысячелетия России и верноподданнической встречи народа с царем, рассказывает он в юмористическом духе бытовую историю (см. текст корреспонденции на стр. 300—304 настоящего тома).

Позиция автора сцены «На параде» становится особенно ясной, когда сравниваешь ее с описаниями парада на Царицыном лугу в официально-правительственной печати, в газетах «Русский инвалид», «Северная почта» и др. «Вчера, в субботу, 20 апреля в один час по полудни, на Марсовом поле происходил обычный весенний высочайший смотр войскам, расположенным в Петербурге»,— начинает повествование корреспондент «Северной пчелы» [14]. Судя по дате, речь здесь идет о том самом параде, о котором писал и Слепцов. «Светлый, хотя и довольно холодный день» (у Слепцова краски сгущены, что продиктовано целями обличения: «Погода была холодная; ветер со свистом носился по Летнему саду; набегали тучи»). В центре внимания автора корреспонденции Александр II, его блестящая свита и разные роды войск (особенно отмечает он «отборное войско» — гвардию, участвующую «в усмирении польского мятежа»). Характерно для корреспондента «Северной пчелы» стремление говорить и оценивать явления в охранительном духе от имени всего народа («каждый ⟨...⟩ полюбовался на ту великолепную и оживленную картину, которую представляло в этот день Марсово поле», «каждый ⟨...⟩ своим наблюдением остался доволен»; «полюбовались и на добрый молодецкий вид войск»); характерна и верноподданническая фразеология («Государь император ⟨...⟩ изволил остановиться перед палаткой...»).

«Невинная» жанровая сценка Слепцова «На параде» является своеобразной «рецензией» писателя-демократа на подобные охранительно-шовинистические описания. Она органически связана с рассуждением Слепцова о великодержавных патриотах в третьей части «Петербургских заметок». Читая эту корреспонденцию, мы понимаем, что́ именно опустил Слепцов в своей сцене. Он ничего не сказал о праздничном виде

Марсова поля, о царе, делающем смотр войскам, и весьма бегло зарисовал сами эти войска, проходившие церемониальным маршем мимо царя. Читатель может убедиться в пренебрежительном отношении автора к власти, подавляющей польское восстание, и к тем, кто вызывает и поддерживает в «толпе» воинственно-шовинистические настроения.

Понятны и некоторые вынужденные недомолвки Слепцова: «— Вон они, фильянцы-то, стоят,— показывал купец своей жене и дочери.— Молодцы!» Здесь намек на лейб-гвардии Финляндский полк. «Северная почта», «Русский инвалид» и другие газеты часто сообщали и в это время об «успешных» действиях Финляндского полка под Вильной против «польских мятежников» [15].

Так как в центре внимания Слепцова та самая публика, о которой лишь вскользь упоминает автор «Майского парада», то писатель позволяет себе рисовать жанровые сценки и при этом допускает такие слова как «смех», «визжали», «ругались», «фыркали», «ворчали» и др., казалось бы, не соответствующие ни месту действия, ни изображаемому событию. Вместо ожидаемой зарисовки воодушевленных лиц, сосредоточенных на происходящем, Слепцов пишет: «По лицам зрителей заметно было, что они очень устали и что им скучно» (последних четырех слов нет в журнальном тексте). Автор находится в толпе, он наблюдает парад также издалека и порой сознательно не расчленяет (тоже эзопов прием) того, что говорят зрители по поводу парада и происходящего здесь, на задворках.— «Свинья, солдат, невежа! право невежа!» — это в равной степени может относиться и к находящимся в отдалении, на плацу, и к полиции, которая, по ироническому замечанию Слепцова, «тщетно старалась укротить народные восторги», и к «отставному солдату-любителю, изъявившему желание помогать полиции в укрощении толпы» (слова: «свинья, солдат» и «укрощение толпы» не вошли в журнальный текст).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Когда же придет настоящий день?» — Добролюбов, т. II, стр. 239 См. также «Внутреннее обозрение» — т. V, стр. 208, 211.

[2] «О погоде».— Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч., т. II. М., 1948, стр. 70—71.— Отметим, что в охранительных газетах этого времени считали штампом, архаизмом описания петербургской погоды и предостерегали от этого приема начинающих фельетонистов. Так, в «Северной пчеле» читаем: «Во дни рождения русского, или точнее петербургского фельетона, он обыкновенно начинался и оканчивался толками о погоде <...> Всему есть конец: в наше время для фельетониста столько пиши, что ни один из них <не> посмеет заикнуться о погоде из опасения подвергнуться насмешкам своей братии» («Всемирное обозрение», 1863, № 3, от 4 января).

[3] Слепцов использует здесь те же образы, что и Салтыков-Щедрин (в цикле «Наша общественная жизнь»): Петербург — Северная Пальмира («увеселения и мероприятия северной Пальмиры») — Щедрин, т. VI, стр. 39.

[4] «В вечность грядущему 1863 году».— А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах. Изд-во АН СССР, т. XVII. М., 1959, стр. 296.

[5] «Северная пчела», 1863, № 44, от 16 февраля («Масленица в 1863 г. в С.-Петербурге»).

[6] «Русский инвалид», 1863, № 12, от 15 января.

[7] «Северная почта», 1863, № 12, от 15 января.

[8] «Северная пчела», 1863, № 44, от 16 февраля.

[9] «Русский инвалид», 1863, № 28, от 3 февраля («По поводу дешевки»).

[10] «Северная пчела», 1863, № 138, от 27 мая (Ростислав <Ф. М. Толстой>. «Лжемудрость героев г. Чернышевского»); № 142, от 31 мая (Николай Горохов <Н. Лесков>. «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе „Что делать?“»).

[11] «Наша общественная жизнь». — Щедрин, т. VI, стр. 110.

[12] «Очерки гоголевского периода русской литературы». — Чернышевский, т. III, стр. 136.

[13] А. В. Никитенко. Дневник, т. II. М., 1955, стр. 349 (запись от 11 июля 1863 г.). 16 марта 1864 г. Никитенко рассказал о параде на Исаакиевской площади: «Парад составлял зрелище величественное и поэтическое и невольно возбуждал чувство патриотической гордости» (стр. 423).

[14] «Северная пчела», 1863, № 86, от 22 апреля («Майский парад»).

[15] «Северная почта», 1863, № 78, от 11 апреля; № 92, от 28 апреля (Известия из Вильно); № 111, от 23 мая (приказ Виленского военного округа); № 132, от 16 июня: «Русский инвалид», 1863, № 60, от 16 марта; № 91, от 27 апреля.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗАМЕТКИ

ВСТУПЛЕНИЕ

Северная Пальмира, в просторечии называемая: Санкт-Петербург, есть, как известно, в некотором смысле рог изобилия, из которого исходит всякая благостыня на всю землю русскую. Кроме того, в Петербурге, как известно, есть Сенат, Синод и корабельные доки. В Петербурге увидели свет многие ученые и поэты; и, к довершению всего, Петербург мнит себя быть просвещенною столицею. Я тоже родился в Петербурге. Я бы мог сказать: Петербург — моя родина, но не скажу, потому что это было бы так же нелепо, как если бы кто-нибудь сказал, что его родина — управа благочиния. И хотя действительно бывали случаи деторождения в разных присутственных местах и канцеляриях, однако никто не называет их своею родиною. Петербург не может быть ни чьей родиной. Мы все, живущие здесь, мы все — люди приезжие, все, так сказать, временно проживающие. И если мы видим людей, которые родятся, живут и умирают, не выезжая из Петербурга, то такие случаи следует относить к категории известий, печатаемых в полицейских ведомостях, к категории мертворожденных, без вести пропавших и таких людей, у которых еще в детстве половину тела отъедают домашние животные. Мы же, временно проживающие здесь по своей или казенной надобности, мы всегда бываем начеку и смотрим на всех так, как будто нам нужно куда-то ехать. Петербург с этой стороны можно рассматривать как некоторое больших размеров увеселительное заведение, в котором всякий посетитель за установленную плату получает право гулять, слушать музыку, любоваться канатными плясунами и сидеть на дерновых скамьях. Входящий в это место утех и ликований ищет в нем того, что ему нужно. Жаждущий наслаждения легкомысленный посетитель с жадностию внимает пению иностранных артистов, не без зависти смотрит на то, как обедают ученые собаки, или же приискивает себе между гуляющими красивую подругу и проходится по хересам. Входящие же с более практическою целию не увлекаются пением и обедающими собаками, не упиваются вином; напротив того, ведут себя скромно, рукоплещут умеренно и в то же время высматривают богатых невест, или, наконец, таскают платки из карманов.

Но как те, так и другие посетители не должны сомневаться в том, что наконец программа всех этих удовольствий когда-нибудь истощится, иностранные артисты допоют последнюю песню, трубачи протрубят все свои три отделения, догорит последний бриллиантовый щит, и распорядитель праздника объявит почтеннейшей публике, что представление кончилось. В этом не должны сомневаться и те, которые по легкомыслию или по мягкости сердца явились на праздник даже с семействами, с женами и детьми; а равномерно и те, которые вообразили себе, что можно будет вечно высматривать богатых невест или таскать платки из карманов у зазевавшихся посетителей. В непрочности всех этих удовольствий не должно сомневаться даже и в том случае, когда бы новая двухаршинная афиша возгласила новый великолепный праздник с каскадом живой воды и участием вновь прибывших в здешнюю столицу иностранных чародеев, показывающих свои фокусы бесплатно и сверх того оделяющих публику разными увеселительными сюрпризами. Благоразумный посетитель не увлекается щитами и тирольцами, не бегает по темным дорожкам за красивыми девицами и не располагается по-домашнему в «храме славы». Ни на одну минуту не оставляет его мысль, что все это в сущности тлен и наваждение духа тьмы. Благоразумный посетитель ежеминутно держит в памяти, что все эти колоссальные афиши, все эти сюрпризы и премии свидетельствуют только о том, что дела распорядителя праздника очень

порасстроились и требуют поправки; что трубачи и певцы понаскучили публике и теперь нужно выдумать что-нибудь новое, доселе невиданное. Несмотря на это, однако, многие легкомысленные посетители убеждены в том, что жизнь именно в этих увеселениях-то и заключается. Такое мнение разделяется и отдаленными провинциями. Насколько ошибочен такой взгляд, предоставляю судить читателю. Но в то же время я, с своей стороны, утверждаю, что жизнь наша есть действительно бесконечный праздник с музыкой, национальными плясками и бенгальским освещением. Разница между моим мнением и мнением легкомысленных посетителей, в сущности, самая пустая и зависит лишь от перестановки слов. Они убеждены в том, что жизнь наша *должна заключаться* в бесконечном празднестве, а я утверждаю, что она в этом *заключается*. Несмотря на это ничтожное, по-видимому, различие, в результатах мы расходимся так далеко, что даже нам становится трудно понимать друг друга. Так, например, объявляется о каком-нибудь новом увеселении; легкомысленный посетитель, со свойственным ему легкомыслием, забывая о скоропреходимости и непрочности всех прежних представлений, с жаром бросается на новое и предается ему всей душой и сердцем и даже негодует на тех, кто не предается ему так же легкомысленно. Я же, читая афишу, рассуждаю таким образом: вчера было подобное объявление, завтра будет еще великолепнее, а между тем на деле окажется, что разницы между ними никакой нет; потому что ни один акробат, ни один чародей не может сделать ничего больше того, что он сделать может; а всё, что они могли сделать, они уж давно сделали и нового ничего выдумать не могут. Следовательно, безрассудно верить объявлению, в котором говорится, что сегодня, например, будет афинская ночь, когда я доподлинно знаю, что ночь сегодня так же, как и завтра, будет петербургская; безрассудно верить и тому, что некоторый приезжий огнеед будет пить кипящую смолу и закусывать пылающими головешками, когда мне положительно известно, что человеческий желудок такой пищи не принимает.

Вооруженный благоразумием и рассудительностью, я не могу предаваться тем наслаждениям, которым так малодушно ты предаешься; я не должен им предаваться; мало того, я беру на себя обязанность предостерегать тебя, легковерный посетитель; стоя у входа в увеселительное заведение, я встречу тебя, отведу в сторону и скажу: «Друг мой! в этом заведении предстоят тебе великие соблазны, здесь будут обольщать тебя музыкою, пением и любострастными взглядами, а в заключение станут пугать шутихами и ракетами; но ты будь тверд, ничего не бойся и помни, что с рассветом все это исчезнет, останутся только битые стекла и серный запах. Помни это и будь тверд, иначе тебе угрожает опасность быть одураченным самым постыдным образом. Но я знаю наперед, что ты не послушаешь меня и погибнешь глупо, бесславно, почти не понимая своей гибели, облизываясь и равнодушно болтая ногами. И никто тебя жалеть не будет. Если ты погиб на грошовой приманке, стало быть, ты сам гроша не стоишь,— туда тебе и дорога. Ты всегда был легкомыслен, хотя и тщеславен, всегда был жаден и сластолюбив, хотя и беспечен, ты всегда был жестокосерд и малодушен, ты с самого дня рождения твоего обречен на гибель, а потому и говорить о тебе много не стоит. Но ты не удовольствовался своим собственным развратом, ты привел за собой на праздник и „малых сих". Ты покушаешься развратить детей для того, чтобы они не могли тебе служить укором. К ним я не могу оставаться равнодушным. Для того чтобы тебе не мешали развратничать, ты хочешь уверить всех, что дети влекут тебя к гибели, но это ты врешь, любезнейший, и я обличу тебя. Обличу хладнокровно, бесстрастно, рисуя одну за другой картины твоего беспутства в назидание твоим детям. Я покажу им тебя во всей форме, во всей *нагольной* красоте твоей; я разоблачу перед ними



«ЕЛКА». ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА

— Мама! Мы не хотим бонбоньерок, дай нам игрушку, которая на самом верху.
— Ах, какие вы недовольные: папа дает вам такие прекрасные бонбоньерки, а вы требуете игрушку, которая годится только для больших детей
— Не правда ли, какие великолепные цветы на этой бонбоньерке?
— Это Eloquentia officiosa.

Отклик на отношение «отцов» и «детей» русского общества 1860-х гг. к герценовскому «Колоколу» и к отечественной прессе либерального и правительственного направлений — прессе «официального красноречия». Надписи на «бонбоньерках» — названия газет: «Очерки», «Голос» и «Наше время», «С.-Петербургские ведомости», «Северная почта» и «Северная пчела».

Рисунок неизвестного художника. Предназначался для журнала «Гудок», декабрь 1862 г. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

богов, которым ты куришь фимиамы. Твои дети увидят тебя, ворующего и прелюбы творящего, лгущего, доносящего и завидующего скотам твоего ближнего. С омерзением отвернутся от тебя твои собственные дети и не пойдут за тобой».

ВЕСЕННЯЯ ПРОГУЛКА С ДЕТЬМИ ПО САНКТПЕТЕРБУРГСКИМ УЛИЦАМ

Я думаю, милые дети, что вам не бесполезно было бы пройтись по городу и хотя поверхностно ознакомиться с его нравами. Мне будет легко говорить с вами, потому что вы понимаете многое гораздо лучше, нежели как думают ваши родители. К тому же погода стоит чудесная; солнышко светит, на небе чисто, как будто его только что вымели и не успели еще посыпать песком. Воздух немного душен, но что ж делать? Нельзя же всё вдруг. Зато мы можем любоваться картиною весны. Видите, уже начинают чинить мостовые, возят грязь и городовой с пистолетом глядит за порядками. Но вы не бойтесь, милые дети, он стрелять в нас не будет. Законом строго запрещается стрелять в проходящих, особливо если они ведут себя смирно. К тому же и пистолет его не заряжен; он служит только атрибутом его звания и означает власть. Знаете, как Юпитер изображается с громом? Греки огнестрельного оружия не знали, а не то они, верно, изобразили бы Юпитера с пистолетом в руке. Снурок же, который вы видите на груди городового, привязан к свистку. Городовой свистит в него всякий раз, когда кому-нибудь угрожает опасность или кто-нибудь вдруг зашалит на улице. Так заведено за границею.

Но пойдемте дальше. Видите, сколько здесь больших домов, сколько красивых магазинов. Если вы будете послушны, то и у вас будут такие же дома, и вы их станете отдавать внаймы. А вот это бани. Бани также очень выгодно иметь, потому что в банях можно проводить время гораздо приятнее, нежели в маскараде. Многие мужчины, следуя древнему русскому обычаю, прямо из маскарада ездят в бани, чтобы смыть с себя грех. Поэтому, может быть, многие дамы баню называют *маскарадом*. Впрочем, все это вы узнаете впоследствии, а теперь обратите внимание на этот мост, и заметьте, как он искусно сделан. Однако многие его не хвалят, а почему не хвалят — вы и об этом узнаете впоследствии.

Я бы очень желал рассказать вам кое-что о разных замечательных зданиях, но во время прогулки это не совсем удобно: здесь так много любопытных. Вот видите этого мальчика, который стоит в толпе и смотрит в окно магазина. Вы думаете, он картинки рассматривает? — Нет; он стоит и ждет; и если кто-нибудь скажет: «Какая славная борода у этого Гарибальди!» он сейчас пойдет к своему папаше и насплетничает: «Такой-то сказал: „Славная борода у Гарибальди“». А папаша скажет: «Не пускать его гулять за это! Пусть сидит».

А в этом магазине книжки продают, разные книжки. В одних книжках написано: «Милые дети! Что вы сидите? Вы пошли бы поиграли». А в других написано: «Если ты, щенок, посмеешь не слушаться, я тебя в бараний рог согну». Но только первых книжек детям не дают, потому что большие боятся, чтобы дети не зашалили.

Заметьте, какая это многолюдная улица, сколько тут экипажей и магазинов, сколько дам и мужчин гуляет по тротуарам. Видели вы, сейчас проехал господин в коляске, сердитый такой? Вы думаете, он в самом деле сердит? Нет, это он нарочно притворяется, чтобы его дети слушались. А вот это чиновники. Это всё чиновники. Вы знаете, что такое чиновник? Этакой дом есть большой, в доме стоят столы, а за этими столами сидят люди и всё пишут. Придет к ним начальник и скажет: «Напишите так, как я приказываю». Они напишут. А потом придет другой начальник

и скажет: «А теперь пишите так, как я приказываю» — они опять напишут. А когда эти люди придут домой, то возьмут своих детей за уши и скажут им: «Мы отечеству служим, а вы этого не чувствуете. Становитесь на колени!»

А вот жены этих чиновников. Они всё ходят по магазинам и думают: «Если бы нам подарили все эти игрушки! Вот бы хорошо!» Берегитесь, дети, берегитесь! На улице надо быть осторожным. Чуть-чуть было вас не раздавил этот всадник. Видите, как он шибко скачет. У него в сумочке записка лежит, а в записке написано: «Милый Ваня! Пети нет дома. Приходи ко мне играть. Твоя Люлю». А вот эти люди, которые с гремушками ходят,— их надо жалеть. Когда они были маленькие, им родители говорили: «Учитесь, дети! Учитесь! а то на век останетесь болванами». А они не хотели слушаться и говорили: «Мы не хотим учиться, мы лучше будем в лошадки играть». Вот так и вышло, как родители говорили. И если вы не будете учиться, то и вам привесят гремушку. Вас, может быть, удивляет, что здесь так много немцев. Этому нечего удивляться. Они очень любят пиво. Если где-нибудь поставить бутылку, то вокруг нее сейчас же соберутся немцы, выпьют пиво и скажут: «So». Теперь мы будем учить детей: ein, zwei, drei; ein, zwei, drei... scht! stehen Sie ruhig!*

Да, впрочем, не довольно ли на первый раз? Не пора ли нам домой? Но для того, чтобы весело кончить нашу прогулку, мы завернем на площадь, где гуляет народ. Может быть, и там увидим что-нибудь поучительное. Но будьте осторожны и здесь, милые дети! Осторожность нигде не мешает. Не смотрите на то, что здесь музыка играет и продаются орехи. Это еще ничего не значит. Здесь в настоящую минуту происходит нечто очень серьезное, нечто такое, чего дети не должны понимать. Если бы я вам сказал, что́ здесь делается, то вы бы, верно, заплакали, но я не хочу вас огорчать. Что толку плакать? Слез и без того много на свете. А так как слезами ничему не поможешь, то я лучше расскажу вам что-нибудь веселенькое.

Замечаете вы эти лубочные домики и палатки с разными вывесками и флагами? Эти домики и палатки выстроены для того, чтобы в них веселиться. Тут же, около этих домиков, продают разные лакомства и водку. Видите, сколько здесь народу! Это всё пришли сюда веселиться. Но посмотрите, что они делают. Например: вот, на балконе стоит уже пожилой человек, одетый испанцем (это отец четверых детей), ему холодно в этом легком наряде и вовсе невесело, но он делает разные гримасы и старается всех рассмешить. Другой, тоже немолодой человек, в костюме паяца, бьет его сзади палкой по голове, и все смеются. Неправда ли, как это смешно? Вот здесь тоже маленькая деревянная кукла с большим носом бьет другую куклу, и опять все смеются. Публика всегда бывает рада, когда кого-нибудь бьют. Вы спросите: почему? А потому что это в самом деле очень весело. Мне не больно, а тот, кого бьют, сделал такую смешную гримасу, что нельзя не смеяться. А эта кукла, посмотрите, она всех бьет: цыгана, доктора, будочника; квартального только не бьет, но зато он ее бьет; кроме него, она всех переколотила, и наконец ее самое загрызла собака. Никого не осталось, только один квартальный цел. Разве это не смешно? А тут еще лучше. Глядите! Стоит человек и колотит по голове деревянного турка и даже деньги за это платит. «Почему же турка?» — спросите вы. А потому, что он турок.

Посторонитесь, дети! Дайте дорогу! Пьяный идет. Здесь много пьяных. Их никогда не надо толкать, потому что это больные люди. Они не могут жить, как мы живем: ходить везде, смотреть, что делается. Им все это очень противно, и потому они нарочно напиваются, чтобы забыть всё. Для этого

---

* «Так»... раз, два, три; раз, два, три... ш! стойте спокойно! (*нем.*).

же устроены и вот эти круги, на которых вертят людей до дурноты. У них закружится голова, они и не помнят ничего, песни поют, кричат, смеются. Они тоже больны. Однако я почти начинаю раскаиваться в том, что привел вас в это печальное место. Кто давал мне право отравлять ваши детские годы? Пойдемте домой.

Много ли мы прошлись, а погода успела уж испортиться. Поглядите, на небе тучи, накрапывает дождь, что-то серое затянуло всё: и дома, и людей, и впереди ничего не видно, один туман.

В это время у больших разыгрывается желчь, они становятся мрачны и злы, а дети пугливо жмутся по углам. Только пьяный, качаясь, бредет по улице и что-то бессвязно бормочет про себя и машет руками. Ему теперь кажется, что он и будочника избил, и доктора избил, и цыгана избил, и что никто к нему подступиться не смеет. Он очень доволен своею судьбою. Так и вы старайтесь поступать, милые дети! Ибо тот только истинно счастлив, кто доволен своим жребием.

«ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗВЫШЕННЕЕ ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ?..»

Что может быть возвышеннее любви к отечеству? Что может быть доблестнее жертвы, приносимой человеком для спасения своей родины? Да и кто же не любит ее? Кто?.. Разве так называемые космополиты? Но я берусь доказать при случае, что и они также не изъяты от свойственной всему живому привязанности к месту своего рождения, что и они любят свою отчизну, но только *странною* любовью.

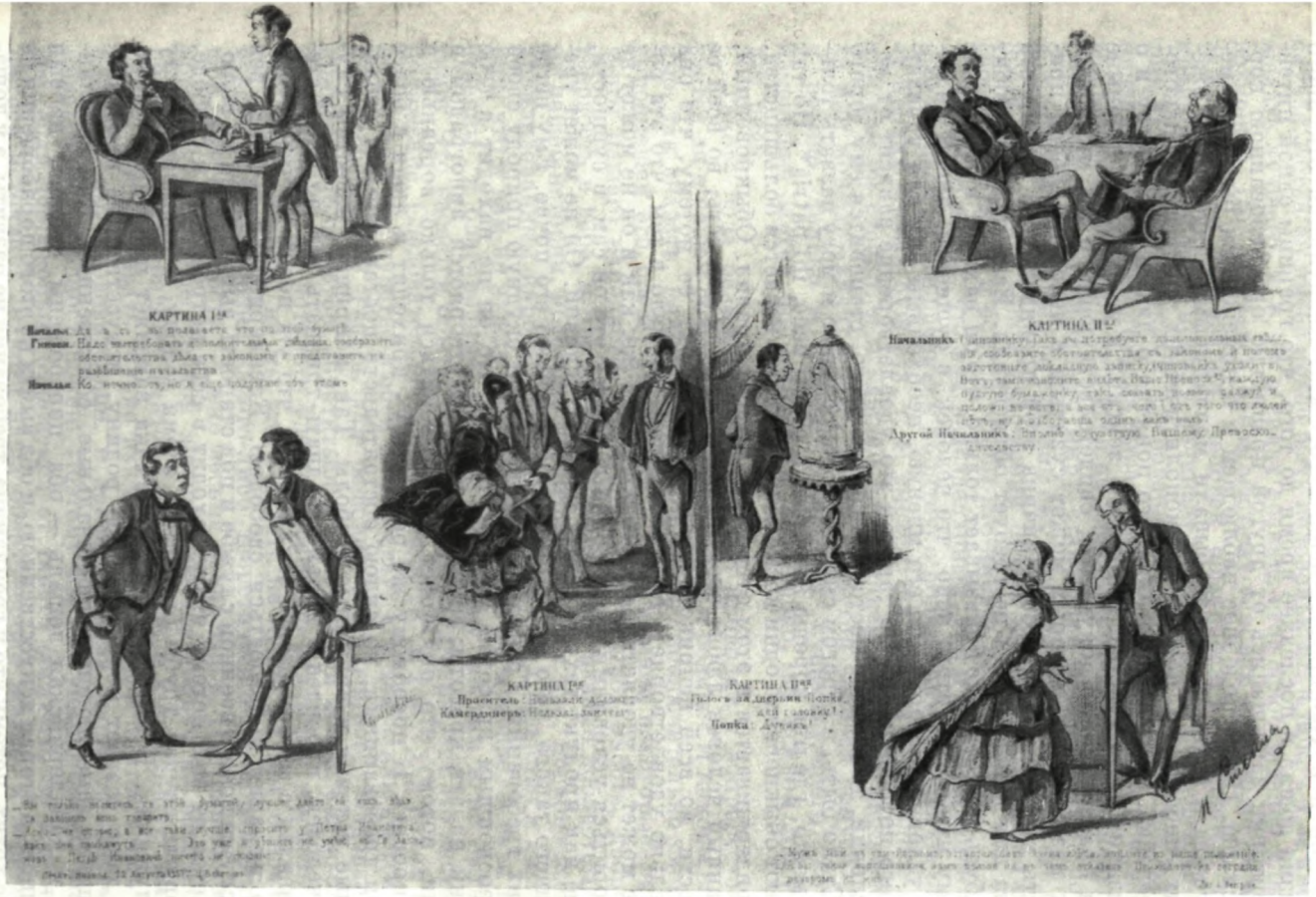
Любовь к родине бывает всякая, смотря по человеку. Один любит попа, другой попадью, а третий попову дочку; но если взять чувства всех трех любителей вообще, то окажется, что все они черпают предметы для своей привязанности из одного и того же источника, из попова семейства. То же бывает и с любовью к отечеству. Здесь все зависит от того — что кто называет родиною. Один, например, разумеет под этим словом все пространство удобной и неудобной земли, с пустошами и водами, обозначенное на карте генерального размежевания и простирающееся

От финских хладных скал до пламенной Колхиды

и

От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая.

По-видимому, дистанция порядочная, но другой не удовлетворяется этим и простирает свои чувства еще далее на восток, до самого Чукотского носа, и на запад, за «буйную Вислу». Из приведенных двух примеров легко усмотреть, что такое необузданное чувство, как любовь к родине, не будучи сдерживаемо в границах благоразумия и увеличиваясь постоянно в географической прогрессии, наконец, выходит из всяких пределов. Указать этому правила для руководства тоже никак невозможно. Из этого легко выводится заключение, что такое чувство обыкновенным геометрическим измерениям в длину, вышину и ширину подлежать не может. Доказательством этому служит также не меньшая трудность в определении границ этого чувства и в тех случаях, когда дело пойдет на убыль. Так, например, какой-нибудь губернский патриот, облеченный властию в какой-либо отдельной местности, большею частию нейдет в этом отношении далее пограничных столбов своей губернии; и чем сильнее и сосредоточеннее любовь его к вверенной ему части, тем более и более суживаются и охлаждаются порывы его пламенной любви к отечеству вообще. Даже напротив, по мере усиления привязанности к своему месту, усиливается и неприязненное чувство ко всем, живущим за этими столбами, чувство,



СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ ЧИНОВНИКОВ

Литография с рисунка Н. А. Степанова, 1858 г.

Из альбома «Знакомые», т. II, вып. 2

Литературный музей, Москва

переходящее в крайнем развитии своем даже в явное недоброжелательство и зависть. Лучшие примеры для объяснения такого рода спекуляции чувства любви к отечеству историк может черпать в летописях упраздненных ныне откупов и в хрониках помещичьего быта. Спекуляция откупного патриотизма дошла в последнее время до того, что границы одной питейной территории защищались от другой правильно организованною кордонною силою. Нечто подобное наблюдаем и в помещичьем быту, где межевые столбы и границы не раз бывали молчаливыми свидетелями ожесточенных побоищ по поводу космополитических поступков какого-нибудь теленка, не имеющего никакого понятия о любви к отечеству и о специализации этого чувства. В архивах земских и уездных дел и поныне хранятся красноречивые документы, свидетельствующие о тех микроскопических размерах, до которых может сузиться в человеке слепая привязанность к месту жительства. Причина этой привязанности так проста и понятна для каждого, что не требует объяснения. Если человек любит какое-нибудь место, то это показывает только, что он находит в этом месте то, что ему нужно. Из этого ясно, что человек, в сущности, любит не место, а те условия, которые, по его мнению, необходимы ему для удовлетворения его потребностей. Но так как это удовлетворение зависит от *местных* условий, то и самое место, вследствие этого, становится ему дорого и мило. Стало быть, в строгом смысле слова, родиною я могу назвать только такое место, где мне хорошо живется, т. е. ubi bene, ibi patria*. Но так рассуждают обыкновенно одни космополиты, что же касается большинства, то оно придерживается в этом отношении других правил. Обыкновенный, невозделанный человек любит свою родину так, как она есть, во всей ее неумытности, во всей неприкосновенности, и любит ее потому, что она действительно удовлетворяет его требованиям. Но дело в том, что эта родина и не может не удовлетворять его точно так же, как и он не может не удовлетвориться условиями своей родины, потому что он сам, в сущности, не больше как продукт тех же самых местных условий. Он не может требовать ничего такого, чего бы не было в породившей его почве. Ему негде взять этих требований. Гренландец предпочитает скудную природу своей родины роскошным красотам Италии потому, что он не находит в себе требований на эти красоты; вкус его не удовлетворяется виноградом и ананасами, потому что он может удовлетворяться только ворванью и оленьей кровью. К подобному же результату приходят и люди с более широкими требованиями, но силою обстоятельств поставленные в неблагоприятные условия и лишенные свободы. Так, например, известны случаи, где человек, просидев в тюрьме двадцать-тридцать лет, до такой степени сживался с местом своего заключения, что уж потом не чувствовал никакого желания пользоваться свободою. Кавалерийская лошадь, век свой прослужившая в военной службе и под старость выпущенная на волю отказывается от нее, потому что не находит в себе потребности к свободе, и при первых звуках трубы бросается, сломя голову, к прежнему месту своего служения. В этих случаях привычка заменяет природные требования и даже создает искусственную родину, искусственные привязанности, вполне заменяющие первоначальные, естественные. Как гренландец, так и кавалерийская лошадь — оба порабощены средою, первый естественною, а вторая искусственною, и оба выйти из этого порабощения не могут и не хотят, потому что у гренландца требования не развиты, а у лошади извращены.

Но по мере того как человек начинает освобождаться из-под влияния естественных условий, требования его становятся всё шире и шире. Он уже не довольствуется сбережением того, что имеет, он желает боль-

* где хорошо, там и отечество (*лат.*).

шего; отсюда война, торговля, цивилизация и т. д. А это возможно только тогда, когда у человека явится недовольство своим первоначальным положением, недовольство местными условиями, следовательно, только в таком случае, когда он имеет право быть недовольным, а пока он не имеет права желать лучшего, т. е. не в силах сознать его, освобождение для него невозможно. Но, оставаясь рабом местных условий и не имея возможности заявлять свои требования, человек обыкновенно ударяется в другую крайность. Он мало-помалу начинает суживаться и сосредоточиваться на том, что у него под руками. Требования его с каждым днем становятся ограниченнее, животная сторона вырастает, и, наконец, все побуждения его, вся внутренняя жизнь сводится на удовлетворение необходимейших нужд. Отношения его к внешнему миру становятся враждебными, потому что во всяком приходящем со стороны ему видится посягатель на его собственность. Человек в таком положении похож на собаку, которая стоит над своей блевотиною и боится, чтобы кто-нибудь ее не съел.

Из этого видно, что как невозделанный, так и насильственно искаженный человек по отношению к понятию о родине ничем почти не отличается от прочих живых существ, т. е. смотрит на нее, как на родное пастбище или как на стойло, и в каждом постороннем существе (исключая пастуха или конюха) видит врага. И тот и другой человек допускает любовь к родине, только в смысле охранения существующего, ко всякому изменению status quo относится враждебно, во всяком движении видит риск.

Такого рода размышления невольно приводят к вопросу: обнаруживается ли в нашем обществе чувство любви к родине? И каковы его особенные, так сказать, климатические признаки, исключительно свойственные породившей его среде? Принимая в соображение некоторые похвальные черты нашего народного характера, как-то: преданность, добродушие и твердость в вере, и припоминая вместе с тем разные доблестные события из нашей истории, нетрудно убедиться, что и у нас, подобно всем прочим цивилизованным народам, нет недостатка в благородстве и самоотвержении, что и нам не чуждо все возвышенное и прекрасное. А если нам свойственны и благородные порывы, то почему же нам и не быть патриотами? Что касается опыта, то и он вполне подтверждает это лестное предположение. Следовательно, вопрос сводится ⟨к тому?⟩, в каком виде проявляется в нас чувство любви к отечеству? И в чем заключаются его местные особенности? Теперь для решения этого вопроса следовало бы, по примеру публицистов, обратиться к современной жизни как к ближайшему источнику, из которого удобнее всего, по-видимому, черпать материал для аргументации; но мы этого делать не будем на том основании, что искать подтверждения какого-либо теоретического соображения в текущей действительности — дело весьма ненадежное. Настоящий смысл всякого явления общественной жизни узнается только из беспристрастной обработки разнородных фактов целой эпохи, а в настоящую минуту мы можем рассматривать только известные явления и притом лишь с известной стороны, следовательно, и доказательства наши неминуемо будут пристрастны и односторонни. Поэтому мы поступим гораздо благоразумнее, если добровольно откажемся от такого богатого, но еще не устоявшегося источника, какова наша общественная жизнь, и вернемся опять в так называемые заоблачные сферы.

К такому добровольному отречению от современной действительности побуждает нас и другое важное обстоятельство, а именно: предмет нашего рассуждения уже по самому существу своему относится к категории щекотливейших чувств, избравших, как известно, местопребыванием своим самые укромные тайники души; а известно также, что «проникнуть в бездну роковую души, да, пожалуй, еще коварной» (кто может поручиться,

коварна она или нет?) так же трудно, даже для проницательного ума, как «слазить в глубину морскую, покрытую недвижным льдом». При том же экскурсия в душевные тайники могла бы повлечь за собой, может быть, открытие таких душевных свойств и побуждений современного человека, которые не принято обнаруживать; а это могло бы послужить поводом к различным недоразумениям, что мы стараемся по возможности избегать.

Но, обратившись снова к теоретическим рассуждениям, мы, по-видимому, добровольно лишаем себя всякой возможности уяснить себе сущность русского патриотизма, т. е. сами у себя отнимаем средства судить об интересующем нас предмете. На это можно отвечать следующим образом: во-первых, такое чувство, как любовь к родине, явление вовсе не новое и не исключительно свойственное только нам, следовательно, о сущности его можно судить и по аналогии; а, во-вторых, характер нашего местного патриотизма нетрудно будет определить и из отношения всем известных русских патриотических действий к понятию о патриотизме вообще. Для этого прежде всего следует составить себе полное и по возможности ясное понятие о том, что такое любовь к родине?

Из предыдущего мы уже вывели, что это весьма простое и естественное чувство, свойственное каждому, что оно имеет основанием желание пользоваться теми благами, которые каждый считает для себя необходимыми, что выражается это чувство различно и что различие это зависит не от различия требований, а от свойства этих требований и взгляда каждого на благосостояние своей родины. Если я желаю себе блага, то, естественно, я буду желать того же и для моей родины и притом именно такого блага, какое я считаю для себя необходимым, потому что я получаю все блага от моей родины; следовательно, я буду желать ей того, чего желаю себе. Если же нас несколько человек и все мы видим, что желания наши одинаковы, то мы, вероятно, придем к убеждению, что наши общие желания и осуществятся скорее и удобнее, если мы общими усилиями будем преследовать одну общую цель,— т. е. будем стараться поддержать и обеспечить тот порядок вещей, который даст нам возможность спокойно удовлетворять нашим требованиям. И все те меры, которые мы предпримем для осуществления наших общих желаний, мы назовем мерами общественной безопасности и порядка. Таким образом откроется для нас возможность подвизаться на поприще патриотизма.

Но нельзя же, в самом деле, себе представить, чтобы у всех были одинаковые требования? В действительной жизни, напротив, мы замечаем бесконечное разнообразие требований и желаний. А из этого выходит, что между различными требованиями и желаниями легко может произойти разногласие и такие противоречия, что исполнение желаний одного повело бы к ущербу другого. Так, например, если я нахожу, что для моего благополучия необходимы, положим, калачи с медом, то, естественно, у меня должно явиться желание, чтобы мое отечество изобиловало этим продуктом, или если я пойму, что это невозможно, то буду желать, по крайней мере, такого порядка вещей, вследствие которого хоть несколько человек (и я в том числе, разумеется) могли бы безвозбранно пользоваться приятною привилегиею кушать во всякое время калачи с медом. И всякое изменение такого порядка, клонящееся к тому, чтобы лишить нас этой привилегии, должно казаться мне нарушением интересов моей родины, а на всякого, кто бы вздумал доказывать мне несообразность моих требований, я буду смотреть как на врага общественной безопасности. В этом выразится, во-первых, свойство моих личных требований, и, во-вторых, взгляд мой на благосостояние моей родины. Но никто, вероятно, не назовет моих требований справедливыми и взгляда моего не одобрит. Какие же требования следует считать справедливыми?



БЕЗРАБОТНЫЕ НА НИКОЛЬСКОМ РЫНКЕ В ПЕТЕРБУРГЕ

Гравюра с рисунка Л. П. Лебедева, 1876 г.

Исторический музей, Москва

Но прежде, нежели взяться за решение этого вопроса, припомним то, в чем мы сейчас согласились. Мы согласились, что каждый желает блага своей родине, и в то же время каждый понимает это благо по-своему, а теперь мы пришли к заключению, что то, что один считает благом, другой считает злом; а из этого следует, что самые чистосердечные патриотические действия одного могут казаться другому действиями, прямо враждебными благу отечества, и наоборот. Так, например, действия, клонящиеся к уничтожению разных монополий и привилегий, должны непременно казаться враждебными тому, кто пользуется выгодами от этих монополий и привилегий, хотя результаты таких действий будут и благотворны для отечества. К тому же обыкновенно случается так, что самые благотворные цели бывают в то же время и самые отдаленные и, следовательно, чаще всего остаются невидимыми для большинства, стремящегося к достижению только самых близких целей и к удовлетворению самых назойливых нужд. И чем правильнее и последовательнее приемы, употребляемые дальновидным патриотом, тем более подают они поводов к недоразумениям и ложным толкованиям относительно главной цели. Обвинения, в подобных случаях возводимые современниками на такого рода деятелей, имеют, по-видимому, все внешние признаки справедливости, потому что всякое коренное изменение общественного строя действительно дорого обходится современникам. Примером служит то же уничтожение привилегий.

Кроме того, обозревая всю бесконечно однообразную массу требований, из которых слагаются общественные нужды, мы видим, что понятие о благе каждого слагается из понятия о его требованиях; причем замечается такого рода последовательность: чем шире и совершеннее требования, тем шире и совершеннее и понятие о благе; т. е. чем лучше человек сознает свои собственные нужды, тем лучше сознает он и чужие. В действительной жизни, по-видимому, оказывается противное. Но это только

по-видимому. Выгоды монополиста потому только не соответствуют выгодам большинства, что требования эти, в сущности, очень ограниченны и односторонни. Они клонятся только к его личному благоденствию, а из этого следует, что и понятия его о благе вообще узки и эгоистичны. Но это мало относится к делу, и тот факт, что личное понятие о благе основано на личных требованиях каждого, остается неизменным. И в самом деле, если мои требования ограничиваются заботами о насущном пропитании, то и понятия мои о благе будут вертеться только вокруг этого предмета, и я буду чувствовать себя удовлетворенным только тогда, когда обеспечу себе насущное пропитание, и все, что будет мешать мне в достижении этой цели, будет в то же время противоречить и моему понятию о благе; следовательно, благом я буду называть только то, что способствует моим выгодам. Если же требования мои такого сорта, что для моего благополучия необходимо, чтобы все люди вообще, сколько их есть, имели обеспеченное насущное пропитание, то я буду считать себя вполне удовлетворенным только тогда, когда это действительно случится, и так как в этом собственно и заключается мое личное благо, то понятно, что все мои действия будут клониться к достижению этой цели, и все, что, по моему мнению, будет противоречить этим действиям, я буду считать вредным и для меня самого, т. е. для моих личных требований.

Но приведенные сейчас примеры представляют только две крайние точки одного и того же стремления, замечаемого в каждом человеческом обществе, стремления к удовлетворению необходимых требований. Все, что заключается между этими двумя точками, соответствует тому, что обыкновенно называют развитием идеи общественного блага. По мере того как эта идея вырабатывается и совершенствуется все более и более, совершается и постепенный переход человека к освобождению его от тех местных условий, которые прикрепляли его к почве. Первоначальные, чисто органические отношения его к среде мало-помалу теряют свой первобытный, охранительный характер. Требования нарастают и осложняются, а вследствие этого является недовольство и стремление к удовлетворению новых нужд и потребностей, которые в свою очередь заставляют человека жертвовать некоторыми и даже всеми личными благами для удовлетворения других, так называемых высших требований, удовлетворение которых также необходимо для развитого человека, как насущный хлеб для неразвитого. Таким образом, понятие о личном благе из эгоистического узкого понятия постепенно и совершенно нечувствительно превращается в неизмеримо широкое и бескорыстнейшее понятие о благе всего мира.

НА ПАРАДЕ

Погода была холодная; ветер со свистом носился по Летнему саду; набегали тучи. На Царицыном лугу строились войска; с Михайловской улицы двигалась артиллерия. На самой средине плаца стояли музыканты. Из конца в конец, подобно молнии, носились адъютанты. Народ толпился около веревки, протянутой вокруг всей площади; далее, в окнах, на скамьях, на деревьях, в экипажах, на фонарных столбах и даже на крышах видны были кучки любопытных. Полиция тщетно старалась укротить народные восторги и удержать их в пределах благоразумия. Напрасно квартальные при помощи городовых силились подействовать на массу то ласкою, то угрозою. По всему видно было, что усилия останутся бесплодными. Толпа густела, волновалась и с каждою минутою все более и более теснилась к веревке. В разных местах слышался визг, глухой говор проносился в толпе, кашляли, перекликались, лошади ржали, назади заскрипели подмостки, кто-то свалился: смех.

— Господа, назад-с! Позвольте, господа! Назад! Ты куда? Вот я тебя! Сделайте милость, господа! — убеждали городовые напиравшую со всех сторон толпу любопытных.

— Господа, покорнейше вас прошу! Сделайте такое ваше одолжение, поосадите назад-с! — говорил городовой, упираясь в живот стоящих впереди.

— Ну, чего вы не видали? Ах, боже мой! — вразумлял другой, стоя перед толпою, со сложенными на груди руками, и качая головой.



«ПОЛЬКА». ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА

Сатирический отклик на отношение царизма и реакции к освободительной борьбе польского народа

Рисунок Н. В. Иевлева. Предназначался для журнала «Гудок», 1861—1862 гг.

Русский музей, Ленинград

«...все зависит от того — что кто называет родиною. Один, например, разумеет под этим словом все пространство удобной и неудобной земли, с пустошами и водами, обозначенное на карте генерального размежевания (...), но другой не удовлетворяется этим и простирает свои чувства еще далее на восток, до самого Чукотского носа, и на запад, за „буйную Вислу“» (*Из «Петербургских заметок» Слепцова*)

— Ай-ай-ай! Ах, господа!

Публика, по-видимому, устыдилась своего малодушия и, не отвечая ничего, начала смотреть в какую-то сторону.

В одном месте любопытные лезли, очертя голову, на жандармскую лошадь, так что она могла свободно махать хвостом по глазам теснившихся сзади людей. В другом месте четыре человека городовых с помощью трех казаков и одного жандарма ничего не могли сделать. Публика напирала и с остервенением рвалась к веревке. Наконец, пришло подкрепление в количестве двух пеших жандармов и одного отставного солдата-любителя, изъявившего желание помогать полиции в укрощении толпы.

Отставной солдат предложил городовым и жандармам следующую остроумную меру: снимать шапки с мужиков и бросать их как можно дальше назад. Послушались солдата, и мера отчасти удалась: оставшийся без шапки, действительно, сейчас же уходил назад отыскивать ее; но после трех, четырех таких улетевших шапок, мужики ухитрились: сами сняли с себя шапки и спрятали, а другие присели. Отставной солдат очень за это рассердился и стал бранить мужиков. Тогда, после некоторого совещания, решили поступить так: взяться за руки и, устроив живую цепь, оттащить толпу подальше от веревки. Взялись за руки и стали напирать грудью и коленками на стоящих впереди женщин. Публика начала кряхтеть.

— Не расходись, братцы, не расходись! — покрикивал товарищам один городовой.

— Забирай! забирай! Справа-то осади! Дружней! Ну-ка еще! Ну-ка, еще! Куда ты? Уйди от греха! — кричал любитель, сопя и утаптывая обратно в толпу пробиравшегося вперед мальчишку.

— Вот так! — продолжал любитель, налегая грудью,— вот! Ишь ты? Хорошо! Только вот этого нужно убрать! Ну-ну-ну! Ну, еще! Раз! Подержись, братцы, подержись!..

— Смирррно!..— вдруг прокатилось по площади — ровняйсь! Ровняйсь! Ровняйсь! — на разные голоса стали перекликаться командиры.

Все на мгновенье затихло, и вслед за этим вся толпа разом кинулась к веревке.

— Куда? куда? Ну! — отчаянно махнув руками, сказали городовые, и сами, увлеченные общим стремлением, бросились вместе с толпою вперед.

А на плацу между тем строились повзводно. Ровняясь и догоняя товарищей, заходили фланговые. Музыканты топтались на одном месте и трехаршинные тамбур-мажоры, пятясь задом и устремив глаза на адъютантов, ожидали команды.

— Шагом арш! — раздалось откуда-то.

Музыканты заиграли, и пошли полки один за другим церемониальным маршем.

— Творец ты мой небесный! — в изумлении воскликнул купец, стоя на опрокинутом бочонке.

Движение в толпе стало понемногу утихать; каждый начинал прилаживаться и к своему месту, и к окружающим; в разных местах завязались разговоры; только там и сям еще продирались любопытные, кое-где еще происходили небольшие стычки. Но задние ряды не унимались. Там все еще замечались покушения то силою, то с помощью хитрости пробраться к веревке; все еще шли распри, споры и неудовольствия как со стороны полиции, так и со стороны публики.

Один городовой, несколько раз уже с успехом обращавший зрителей на путь умеренности и благоразумия и только что упорно выдержавший сильный натиск толпы, сердитый и вспотевший, стоял у фонаря и, сняв фуражку, отирал платком с лица пот. По временам из груди у него вырывались вздохи. Только что вразумленная публика безмолвствовала, и лишь у некоторых невольно прорывалось неудовольствие: одни фыркали, другие ворчали:

— Свинья! Солдат! Невежа! Право, невежа! и т. д.

— Ну, ладно. Вот вы поворчите еще, поворчите!

— Это довольно даже глупо — дам не пускать,— говорила с негодованием одна дама.

— А вы бы дома сидели, коли вы умны,— отвечал ей городовой.

— Что дома-то делать?

Даме, по-видимому, хотелось поговорить. Городовой ей отвечал:

— Мало что? По хозяйству заняться можно, незачем шляться.

— Нет, я посмотрю, как бы он со мной поговорил,— хвастался между тем мужчина в длинном сюртуке и в высоком галстуке, оборачиваясь к городовому спиной и подмаргивая на него публике.

Городовой притворился, что не слышит, и продолжал свое:

— А то бы книжку взяли читать.

— Очень мне нужно книжки,— отвечала дама.

— Нет, я посмотрю, как он со мной...— уже задирающим тоном продолжает мужчина.— Посмотрю-у!

— Господа,— не слушая, говорил городовой, все более и более смягчаясь,— господа, поосадите, пожалуйста, еще немножко назад. А то что хорошего толкаться?

— А я посмотрю-у!..

Но городовой мгновенно потерял терпение и вдруг накинулся на дерзкого мужчину:

— Да что ты в самом деле? Посмотрю, посмотрю! Вот и смотри! Смотри! Смотри-и! — и, схватив его за шиворот, протолкал назад.

В публике произошло волнение: женщины стали кричать, некоторые, пользуясь смятением, успели проскользнуть вперед, к веревке. Мужчина, ошеломленный неожиданной развязкой, постоял несколько минут в замешательстве, потом начал чистить себе рукав и ворчать, сердито косясь на городового.

— Ударь! Попробуй! Ударь!

Подле Летнего сада, у самой веревки, стояли почетные зрители. Тут же было несколько дам. По лицам зрителей заметно было, что они очень устали и что им скучно. А сзади между тем ни на одну минуту не унимающаяся толпа все нет, нет да и поддаст. Зрителей это беспокоило. Они каждый раз оборачивались назад и говорили городовым:



БАЛАГАНЫ НА АДМИРАЛТЕЙСКОЙ ПЛОЩАДИ В ПЕТЕРБУРГЕ
Картина маслом К. Е. Маковского, 1868 г.
Русский музей, Ленинград

— Что же вы смотрите? А?

Городовые бросались водворять порядок, но это ни к чему не вело, потому что с одной стороны оттиснутая толпа, подобно волнам, перекатывалась в другую. Начинала двигаться, качалась, качалась, нерешительно подавалась то туда, то сюда; но движение растет, растет и вдруг вся масса хлынет в одну сторону. Вновь обеспокоенные передние зрители хмурились и злобно оборачивались к толпе.

— Да что ж это, наконец? Да уймите вы их!— кричали почетные зрители.

Впрочем, позади их стояло несколько посторонних лиц: чиновников, купцов и разночинцев. Некоторые из них, при всяком периодически повторяющемся натиске, выказывали добровольное рвение охранять передних и не допускать до них толчка; но это не совсем удавалось.

— Вы не извольте беспокоиться,— говорил один телохранитель своему патрону.— Я здесь стою-с.

— Хорошо.

— Вы извольте на меня облокотиться.

— Спасибо, спасибо,— говорил патрон.

Но в это время вдруг налетал новый прилив. Телохранитель, сбитый с ног, и сам толкнул своего патрона, восклицая:

— И что это полиция смотрит? Ах, господи!

Обеспокоенный патрон оглянулся назад и, сверкая глазами, сказал:

— Только бы мне этого мошенника увидать, который толкает. Ведь это один балуется.

— Это один, один кто-нибудь,— подтверждали остальные зрители.

— Эй, городовой! Да поймай, братец, этого негодяя.

— Которого прикажете?

— А вот что толкается.

— Слушаю-с.

А полки всё идут, всё идут. Вслед за пехотой потянулась кавалерия, загремели сабли, засверкали каски. Солнце начало припекать. В разных местах первоначальный порядок нарушился, рвение полиции стало утомляться; какие-то интервалы, устроенные было вначале, исчезли. Некоторые зрители стали уходить. Вместо них прибывали новые. Все как-то перемешалось, только два-три человека самых отъявленных педантов-полицейских все еще продолжали приставать и уговаривать публику подвинуться назад. Но и они уже, вероятно, сами начинали чувствовать, что поступают бестактно и потому начинали сердиться и без толку придираться к словам. Так, например, один ни с того, ни с другого вдруг начал кричать на какого-то мастерового. Тот ответил ему: Что ты ругаешься? Разве тебя трогают?

— А, да ты еще вздумал отвечать! Постой! Я тебя давно заметил. Кто ты таков?

— Тебе какое дело?

— Какое дело? А вот я тебе покажу. Говори, кто ты такой?

— Солдат.

— Солдат? Хорошо. Показывай билет!

— Какой тебе, дьявол, билет?

— Дьявол? Нет, я не дьявол.

— Я говорю: у дьявола билет.

— А! У дьявола билет! Пойдем в часть! и т. д.

В задних рядах было гораздо больше оживления. Там настроены были подмостки, стояли скамейки, бочки, стулья и доски на козлах; и все это было усеяно народом. Зрители, стоя на подмостках, разговаривали о всякой всячине. Внизу было очень просторно. Тут ходили разносчики с яйцами, мороженым и с разными лакомствами; дети играли и шныряли

между зрителями. Мужчины ловили за ноги дам, стоящих на бочках; дамы визжали и ругались.

— Матвей Иваныч! — перекликался один зритель с другим, стоя на разных подмостках.— А, Матвей Иваныч! Что толку стоять-то? Сбегаем, чайку попьем.

— Да уж я, брат, раза два никак бегал.

— Ну, что ж? В третий!

—Пожалуй, сбегаем. Ах, грехи тяжкие! Вы стойте здесь! — говорил, слезая, Матвей Иваныч двум женщинам, стоявшим рядом с ним на доске.

— Мы постоим,— отвечали женщины.

— Чудесная нынче погода,— говорил молодой чиновник своей соседке по доске.

— Да, погода славная. А вы зачем руками трогаете? Что это за подлость за такая? Стойте смирно.

— Вон они, фильянцы-то, стоят,— показывал купец своей жене и дочери.— Молодцы!

— Нет, гарнадерам против гвардии не потрафить,— заметил кто-то.

— Где же? Одно слово — гвардия.

Однако внимание зрителей стало утомляться. Многие уже успели пообедать и в публике стало попахивать водкой. Послышались разные неожиданные восклицания, вроде того, что: Боже! Очисти мя грешного! Или кто-то начинал зевать, повторяя беспрестанно: ах ти, хти, хти!

У моста стояли денщики, держа под уздцы офицерских лошадей, около них толпилось несколько человек, в том числе кучера, конноартиллерийские кузнецы и фурштаты. Денщики гладили лошадей, подтягивали им подпруги и разговаривали между собой о подковах.

— Ишь ты, как выдергала! — говорил денщик, поправляя хвост у лошади.

— Ну, лошадь, я тебе скажу. В целой бригаде одна. Сволочь! Гляди, у ей хвост. Не подвяжи, весь выдергает.

— Что ж это она? — спрашивал другой.

— Такая уж у ей привычка. Стоит теперь в стойле, все помахивает, все помахивает. Зуда, что ли, чёрт ее знает.

— Трубочки бы покурить,— говорил со вздохом кучер.

— Что ж такое? Пойдемте вон под мост. Чудесно.

Стоящий около одного из денщиков фурштат спрашивал:

— Ну, а как же теперь сапоги, по новому положению, у вас казенные?

— У нас сапог вольный,— не глядя отвечал денщик.

— Что ж, это у вас хорошо.

— У нас, брат, я тебе скажу: свиньей надо быть, не служить. Паек я получаю, что ж мне?

— Ну, да,— раздумывая говорил фурштат.

— А по шкальчику бы теперь ничего?

— Ничего. Можно бы.

Вдруг раздалась команда: марш-марш!

Дрогнула площадь, толпа встрепенулась, и сейчас же полки стали расходиться.

‹1863 г.›

Корректурные гранки. ИРЛИ, ф. 756, оп. 1, ед. хр. 250.

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ В «ИСКРЕ» (1865)

В мемуарной и критической литературе о Слепцове не раз сообщалось об его участии в журнале «Искра». Но никто из авторов не мог назвать, что именно было написано Слепцовым для этого издания и что напечатано в нем. Таким образом, столь значительный факт творческой биографии Слепцова, как сотрудничество его в «Искре», в сущности, оставался не освещенным. Между тем в объявлениях «Искры», печатавшихся в газетах перед подпиской на новый год (1866, 1867) имя Слепцова как сотрудника журнала указывалось рядом с именами В. С. и Н. С. Курочкиных, Н. В. и Г. И. Успенских, Д. Д. Минаева, А. И. Левитова и других.

В протоколе допроса одного из видных деятелей «Искры» — Н. Курочкина — на вопрос: «Какие отношения ваши к В. Слепцову?» — было лаконично сказано: «Слепцова я знаю как сотрудника „Искры“ и „Современника“»[1].

В бумагах Слепцова, взятых у него при аресте, оказались рукописи сотрудников «Искры»: Н. Курочкина, Н. Вормса и других (см. стр. 483—484 настоящего тома).

Вновь найденные рукописи некоторых произведений Слепцова, например фельетона «Притчи и видения» (см. ниже, стр. 290) имеют пометы, свидетельствующие, что они предназначались для «Искры».

В «Искре» использовались статьи Слепцова, опубликованные в других изданиях (например, корреспонденция «Из Новгорода»).

Обнаруженный нами на страницах «Искры» и ниже перепечатываемый цикл статей Слепцова «Провинциальная хроника» восполняет, хотя бы частично, образовавшийся в изучении творчества писателя пробел. Надо полагать, что дальнейшие исследования выявят и другие произведения Слепцова в этом журнале.

Статьи под общим заглавием: «Провинциальная хроника» печатались в «Искре» в течение апреля — июля 1865 г. в №№ 16, 20 и 28 — *без подписи автора*. Статьи пронумерованы и имеют после общего введения подзаголовки: I и II — «Явления отрадные»; III — «Печальные явления».

Принадлежность этого цикла Слепцову устанавливается найденным нами в бумагах писателя и впервые публикуемым ниже автографом статьи, имеющим то же самое цикловое заглавие и подзаголовок, как и названные статьи в «Искре»: «Провинциальная хроника (опять отрадные явления), V». Текст статьи находится в одной тетради с «Записками самоубийцы» (см. ниже обзор бумаг Слепцова, стр. 475). Он переписан набело на больших листах; в середине второго листа наклеена вырезка из газеты «Волга» (1864). Статья явно подготовлялась к печати. Но эта пятая статья в «Искре» не появилась. Нет там и четвертой статьи. Быть может, Слепцов по ошибке поставил вместо цифры IV цифру V? Но вернее предположить, что четвертая статья была запрещена цензурой, и потому автору пришлось задержать и пятую статью.

Материал четвертой статьи, по нашему мнению, был использован писателем в очерке «Губернская пресса», появившемся в «Современнике» в сентябре 1865 г. Вынужденный оборвать «Провинциальную хронику» в «Искре», Слепцов, по-видимому, собирался сначала включить «Губернскую прессу» в новый задуманный им цикл «Скромные упражнения» (см. вступительную статью, стр. 347—350), но затем напечатал названный очерк самостоятельно в разделе «Русская литература».

В постскриптуме к «Губернской прессе» находим косвенное доказательство тому, что в этот очерк вошел материал из четвертой статьи «Провинциальной хроники», не появившейся в «Искре»: автор считал необходимым объяснить, почему он приводит «несколько устаревшие» газетные сведения первой половины текущего года. К этим «несколько устаревшим» в сентябре материалам Слепцов обращался во время работы над «Провинциальной хроникой»; именно тогда он просматривал местные газеты начала года; многие из этих газет названы им и в «Провинциальной хронике».

По сравнению с фельетонами «Провинциальной хроники», статья, появившаяся в «Современнике», носит более открытый обличительный характер. Тем не менее связь между этими произведениями несомненна. Их сближает общность задачи: обличение либерализма, высмеивание тех, кто на веру принимает «великие достижения» реформ или сознательно преувеличивает их значение. При этом Слепцов, как он это обычно делает, выбирает один из участков жизни, на котором нагляднее можно продемонстрировать иллюзорность либеральных представлений. В какой мере «освобождение» со-

действовало общественному прогрессу, развитию «гражданских чувств», «публичности» — доказывает, по мнению писателя-демократа, провинциальная пресса.

Давая обзор провинциальной периодической печати, автор иронически называл ее «прогрессивной», «независимой». Из статьи «Губернская пресса» мы узнаем (см. ниже, стр. 347—358), что к этой категории Слепцов относил и такие издания, как «Вестник Юго-Западной и Западной России», соединяющий в себе «полнейшую независимость мнения вместе с необыкновенной строгостию в преследовании главной цели». Демократически настроенные современники знали цену этой «прогрессивности», так как хорошо помнили реакционную и шовинистическую позицию подобных изданий, занятую ими во время польского восстания 1863—1864 гг., помнили, в частности, развернутую на страницах названного журнала кампанию борьбы с «птенцами из герценовской школы».

Официальные газеты, «благонравные» губернские ведомости, создавая видимость «прогрессивности», находились в полной зависимости от реакционной столичной прессы, являлись «куриным эхом» (по определению Щедрина) «Московских ведомостей» и правительственных изданий. Они приукрашивали действительность, вольно или невольно лгали. Недаром Слепцов, воспроизводя по губернским газетам «чудеса» пореформенной провинциальной жизни, заставляет читателя вспомнить слова из крыловской басни «Лжец»: «Но не везде их каждый примечал».

Писатель разнообразно использует в «Провинциальной хронике» материал местных газет: то цитирует его без комментариев, то высказывает по ходу изложения лаконичные иронические замечания, то в одном месте концентрирует факты из разных заметок, то делает перегруппировку даже внутри одной заметки [2], то полемизирует с автором по вопросам общего характера, то обыгрывает лишь факты или манеру изложения, отдельные трафаретные обороты речи.

Во вступлении к «Провинциальной хронике» Слепцов иронически оговаривал, что будет изображать провинциальную жизнь, как это делают его «собраты — провинциальные хроникеры», что он будет черпать материал из достоверных и благонадежных источников — губернских ведомостей, т. е. «из живой действительности», и сортировать материал по двум категориям: «отрадные» [3] и «печальные» явления. Избранный писателем персонаж («полицейского или почтового чиновника»), будто бы вполне сочувствующий тому, что он описывает, является обычной формой сатиры того времени.

В самом начале автор отказывается от изложения своего общего взгляда под тем предлогом, что он может быть ошибочным, однако читатель угадывает его в отборе фактов, в их группировке, в скрытом ироническом тоне повествования, в использовании, подобно Добролюбову, Щедрину, сотрудникам «Искры», таких либеральных штампованных выражений, как «отрадные явления», «Русь зашагала», «единодушно и с усердием», «неусыпные попечения», «благие предначертания» и др.[4]

В «Провинциальной хронике» ирония Слепцова скрывалась в самом противопоставлении декларативных сентенций (в либеральном духе) реальным фактам, в противопоставлении выводов, которые следовало бы сделать (например, о застойности современной жизни, особенно жизни провинциальной), выводам, широко распространенным о современном «прогрессе». Распространенность же этого либерального взгляда специально подчеркнута Слепцовым таким образом: он берет для иллюстрации материал газет, выходящих «под различными градусами долготы и широты»: от «Олонецких губернских ведомостей» до «Киевского вестника», от «Енисейских губернских ведомостей» до «Волги», «Одесского вестника» и т. д.

Вслед за Добролюбовым писатель упрекает газеты за то, что они льстят обществу, уверяя, что пробудилось его самосознание, и Россия «во всю мочь побежала по дороге прогресса» [5]. В современной прессе пробуждение общественной жизни в провинции связывали с появлением «гласности» после «освобождения».

Избрав источником своей «Провинциальной хроники» именно такой официальный орган, как губернские ведомости, писатель дал понять, что современная свобода общественного мнения существует только в воображении официальных лиц и либералов. В самом деле, достаточно перелистать те газеты, которые были в руках Слепцова, чтобы убедиться в справедливости основного вывода писателя: так называемые «прогрес-

сивные», «независимые» губернские газеты в действительности являются органами печати, всецело зависящими от местной администрации, заполняемыми преимущественно официальными материалами, лишенными возможности отражать живую жизнь [6].

Хотя «осуществляя» идею «слияния сословий», редакции обращались к помещикам, духовенству, купечеству, учителям, крестьянам с просьбой писать в газеты (см., например, «Орловские губернские ведомости»), но, по словам Слепцова, писали в эти органы губернских правлений канцелярские служители. Местные начальники брали газеты под свое покровительство, оказывали им «начальническое поощрение», печатали в них свои «предначертания», выражали свое недовольство.

Городской голова г. Данкова (Рязанской губернии) купец В. Ермаков «плачется, — по словам Слепцова, — на повсеместное распространение пьянства». Писатель издевается над такими печальниками народной нравственности, сближая их с сотрудниками «Московских ведомостей», которые громогласно говорили о пьянстве как «страшной народной язве», о пагубном влиянии пьянства на «благосостояние народа», на его нравственность и... предлагали заменить водку пивом[7].

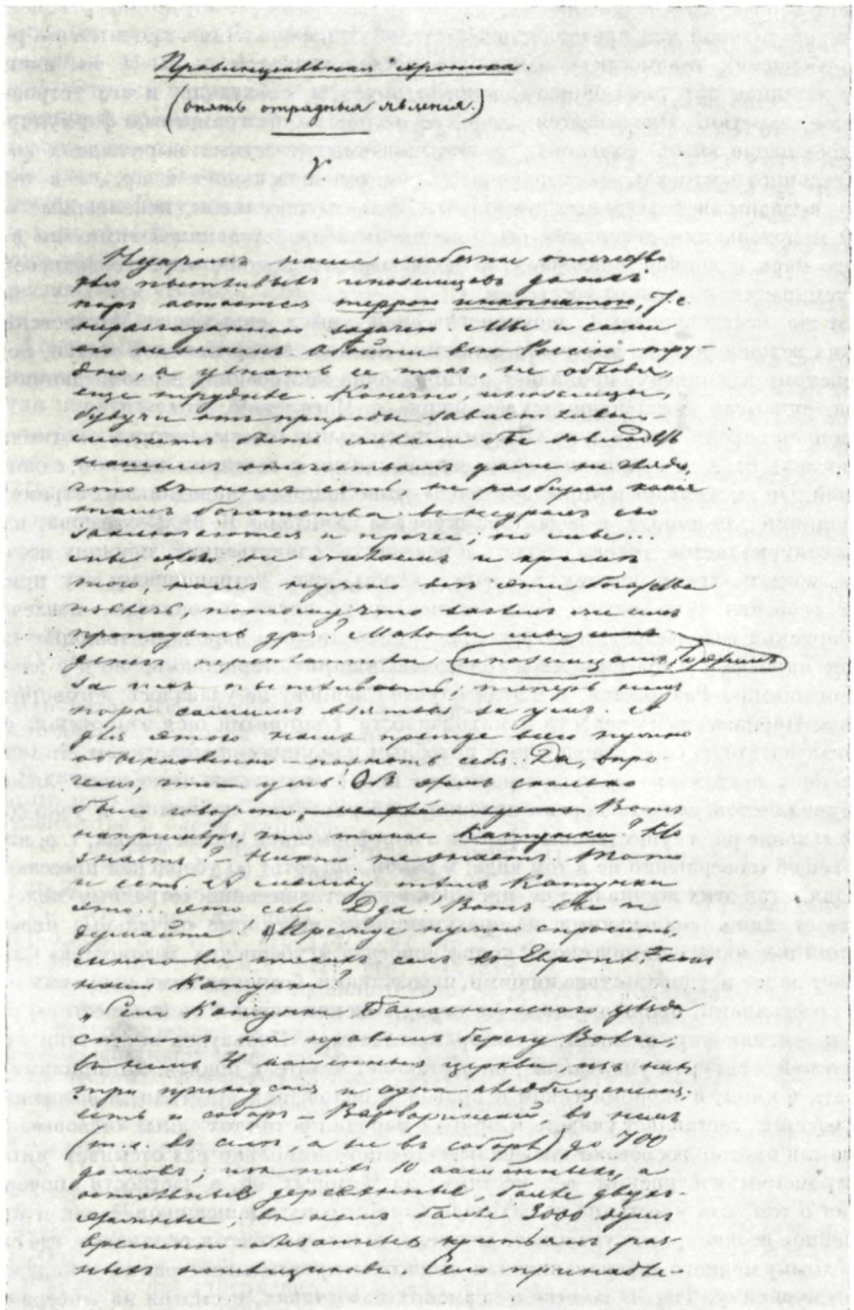
В «губернских ведомостях», как иронически показывал Слепцов, под «гласностью» понимался также разговор во всеуслышание о самых мелких, нелепых местных происшествиях (см., например, «Жеребец в гостиной частного пристава»). Здесь обличение ограничивалось критикой (с соизволения начальства) низших чинов. Подобную «стыдливую», благонамеренную гласность высмеивали до Слепцова и одновременно с ним — Чернышевский и Добролюбов, Салтыков-Щедрин[8] и сотрудники «Искры».

Слепцов считал и в художественном отношении интересным «обнаготить стыдливую губернскую нимфу» («Губернская пресса»). Верноподданнический характер этих газет он дает почувствовать, воспроизводя созданную ими атмосферу сплошного ликования, ликования по указке, по приказанию («Ну, теперь пляши!»). Претендуя на то, чтобы быть зеркалом внутренней жизни провинции, «губернские ведомости» охотнее всего рассказывают о празднествах, масленичных катаниях, благотворительных спектаклях и т. д., видя во всем этом опять-таки оживление общественной жизни.

Верноподданнический характер «губернских ведомостей» писатель воспроизводит многими эзоповскими приемами. Например, цитируя «губернские ведомости», он фиксирует порой внимание лишь на безграмотных формулировках: «...для ее уха 〈уха России〉 приятно звучит название новой Туркестанской области, присоединенной к Оренбургскому краю». Современный Слепцову читатель угадывал, что речь идет о колониальной политике царского правительства — завоевании Средней Азии.

Один из оригинальных эзоповских приемов Слепцова — отсылка читателя к той или иной газете, точная «библиографическая справка». Уже в первой части «Провинциальной хроники» Слепцов делает такое примечание: «Ежели читатель подумает, что я тут что-нибудь переврал, то советую ему прочесть № 10 за 1865 г. „Оренбургских губернских ведомостей“, *часть неофициальная*, передовая статья, под заглавием „О значении местных газет“ — сам увидит». Обратившись же к указанной газете и к названному Слепцовым «Одесскому вестнику», читатель найдет не только упоминание, например, о четырех балах-маскарадах, которые решено дать в зимний сезон в Благородном собрании, но и «обоснование» такого безудержного ликования: «1864 год едва ли не самый высокий, славный и счастливый момент в жизни русского народа». «Что произошло в 1864 году? Польское восстание усмирено; земские учреждения начинают вводиться по всей России; судебная реформа наполнила радостью все углы и уголки нашей империи, давно ожидаемые проекты о народных училищах и гимназиях наконец обнародованы» [9].

Приведенный пример обнажает приемы отбора Слепцовым материала из «губернских ведомостей», включая заметки «веселого направления». Автор использует строчки нейтрального содержания. Но он заставляет читателя, обратившись к самой газете, убедиться, что описания, казалось бы, незначительного местного события, происшествия носят порою далеко не невинный характер. Так, спектакль в пользу нуждающихся воспитанниц Гродненской женской гимназии и описание его в «Гродненских губернских ведомостях» имеют тот реакционно-шовинистический характер, который так горячо осуждал писатель в непропущенных цензурою «Петербургских заметках». Автору



«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА (ОПЯТЬ ОТРАДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ)»
СЛЕПЦОВА, 1865 г. (гл. V)
Первый лист рукописи
Архив Октябрьской революции, Москва

приходится опустить содержание пьесы «Возвращение на родину (с дивертисментом)», сочиненной главной надзирательницей женской гимназии. Лишь прочитав в «Гродненских губернских ведомостях» заметку о постановке этой пьесы [10], мы понимаем, почему Слепцов так настойчиво дискредитирует и спектакль, и его устроителей, и автора заметки. Оказывается, дело не только в безграмотных формулировках («соловое» пение вместо сольного), в штампованных газетных выражениях (взрывы «неподдельного восторга», «восторженный гром рукоплесканий» и пр.), а в том, чем именно вызваны «неподдельные восторги». Куплеты поселянок, исполненные «слишком 30 молоденькими девицами», были сочинены надзирательницей гимназии в честь русского царя и воинов, спешащих «с поля ратного домой», т. е. возвращающихся после усмирения польского восстания.

Тот же псевдонародный, шовинистический смысл скрыт и в «Могилевских губернских ведомостях», на которые ссылается Слепцов. Автор газетной статьи, подобно гродненскому хроникеру, проявляет антипольские настроения, верноподданнические чувства, описывая «масленичные увеселения» в Могилеве[11].

Слепцов пародирует (в духе «Искры») либеральные газеты, которые охотно прибегали после 1861 г. к сравнению современной жизни с весенним потоком, с ожившей природой. Он высмеивает и «просветителей», типа Золотова, наводнивших страну своими изданиями для народа, и редактора журнала «Учитель» И. И. Паульсона, и либеральных журналистов, готовых видеть в невежестве единственную причину несчастий народа, воздать хвалу новому времени, якобы уже устранившему эту причину.

Но особенно остро-сатирически комментирует писатель эпизоды, извлеченные из «губернских ведомостей», в которых рисуется «слияние» народа не только с «заботливыми» мировыми посредниками и «благомыслящими» старшинами, но и с властями «предержащими». Разумеется, и в этом случае Слепцову не удавалось договорить все до конца. Поражаешься смелости и находчивости, с которыми он в эзоповской форме передавал читателю свое отношение к подобным идиллическим картинам [12].

Слепцов настойчиво обличает неумение или сознательное нежелание либеральных журналистов увидеть корень явлений, поверхностное понимание и узко-сословное объяснение ряда существенных фактов в пореформенной жизни народа, т. е. изображение вещей «совершенно не в том виде, в каком они есть» («Губернская пресса»). Как бы впадая в тон этих журналистов, писатель уделяет внимание «отрадным явлениям» и называет лишь «маленькими недоразумениями» некоторые «печальные явления».

В той же манере типического корреспондента «губернских ведомостей» Слепцов выражает далее неудовольствие нищими, извозчиками, беспокоящими пермских обывателей, крестьянами, проявляющими («в порядке исключения и по невежеству») равнодушие к земским учреждениям, к выборам «гласных». Пользуясь опять-таки эзоповской формой, «фигурой умолчания», он заставляет читателя понять, что причину нужно искать в ином, в экономическом и правовом положении крестьян, в разорении их после реформы, заставляет увидеть и протест народа против тех самых «нововведений», которые так охотно воспевают либералы. Слепцов несколько раз отсылает читателя к «Костромским губернским ведомостям», из которых он, в частности, почерпнул сведения о том, как крестьяне не захотели баллотировать помещиков [13].

Слепцов неоднократно указывает читателю те номера газет и те заметки, где сквозь легкую дымку модного либеральничанья отчетливо проглядывает расчет и надежда на полицейскую силу. Так, в заметке о пермских извозчиках, несмотря на либеральную фразеологию, чувствуется стремление оградить себя, свой «тихий целомудренный город» от такого «безобразного явления», как наплыв из деревни крестьян, занявшихся извозчичьим промыслом: «В последнее время,местная наша полиция обратила серьезное внимание на бесчинства извозчиков и приняла против них деятельные меры» [14].

В «Провинциальной хронике», как и в «Петербургских заметках» и в «Письмах об Осташкове», Слепцов высмеивает идеализацию либеральными журналистами шествия «отечественного прогресса» даже по самым захолустным местам. Таково едкое описание Слепцовым, со слов местного корреспондента, села Катунки Балахнинского уезда Нижегородской губернии («Отрадные явления», V). Дословно цитируя,

лишь с некоторыми пропусками, большую статью, напечатанную в газете «Волга» (за подписью Зеленец), Слепцов вставляет от себя по ходу изложения лишь лаконичные фразы — выражение удивления и восторга: «Так вот они Катунки-то какие!» «Это всё катунцы!» [15]. Перечисляя замечательные качества катунцев, он начинает каждый пример со слов: «мало того», «кроме того». Ироническое отношение писателя ясно и из самого «восторженного» тона, из подчеркнутых им в тексте корреспондента слов, особенно из обращения к читателю. Выразительны здесь многоточия: «А между тем Катунки это... это село». «Читатель! Неужели ты не рвешь на себе волосы и не ругаешь... самого себя». Эти многоточия служат средством создания комического эффекта; можно ожидать, например, что после слов: «не ругаешь» будут слова: корреспондента «Волги», написавшего о Катунках, а вместо этого читаешь: «самого себя» — за то, что не знал о Катунках.

Хотя цикл статей Слепцова назван «Провинциальная хроника», автор вышел далеко за пределы описания провинциальных нравов. Он выбрал то, что было характерно для политического быта всей пореформенной России, и лишь в эзоповских целях бросил на это «*провинциальный*» взгляд, взгляд будто бы ограниченного, «благонамеренного» читателя, который за внешним не угадывает сущности явлений.

«Провинциальная хроника» — один из лучших публицистических циклов Слепцова, не уступающий по значению и мастерству его «Письмам об Осташкове».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Производство высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии. О вольнопрактикующем враче Николае *Курочкине*».— ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 203, л. 22.

В бумагах Курочкина сохранилось письмо к нему Слепцова: «Не прочтете ли вы чего-нибудь, Николай Степанович, на вечере у Европеуса сегодня. Если можете, уведомьте, пожалуйста: дело спешное. Хорошо бы, если бы вы прочли. Еще будет читать Жуковский, Михайлов и я. В. С л е п ц о в» (там же, оп. 2, ед. хр. 155, л. 24). Из этого письма ясно, что отношения Курочкина и Слепцова выходили за пределы сотрудничества в одном журнале.

[2] См., например, заметки о выборах, о рекрутах в «Костромских губернских ведомостях», 1865, № 5, от 30 января; № 10, от 6 марта.

[3] Этот эпитет иронически используется и в статье Слепцова «Губернская пресса».

[4] См. «Отрадные явления», «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами».— Д о б р о л ю б о в, т. IV, стр. 174; т. VI, стр. 72; «Скрежет зубовный», «Литературные обыватели».— Щ е д р и н, т. III, стр. 140, 218.

[5] «Литературные мелочи прошлого года».— Д о б р о л ю б о в, т. I, стр. 41—42.

[6] В докладе цензора Еленева С.-Петербургскому цензурному комитету 3 ноября 1865 г. неодобрительно говорилось о статье «Губернская пресса»: «Насмешки над губернскою администрациею по поводу распоряжений некоторых губернаторов, заявленных в местных губернских ведомостях» (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 65, л. 14 об.). Цензурный комитет также нашел предосудительной эту статью.

[7] Д. С к у р а т о в. По поводу учреждения комиссии для пересмотра постановлений о продаже крепких напитков.— «Московские ведомости», 1865, № 92, от 30 апреля; Г. Ф. О пьянстве в России.— Там же, №№ 103 и 104, от 13 и 15 мая.

[8] Ч е р н ы ш е в с к и й. «Письма без адреса» (1862), «„Время", журнал политический и литературный» (1863); Д о б р о л ю б о в. «Литературные мелочи прошлого года» (1859), «Весна» (1859); М. Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н. «Скрежет зубовный» (1860), «Признаки времени» (1863).

[9] «Оренбургские губернские ведомости», 1865, № 10, от 6 марта; «Одесский вестник», 1865, № 4, от 9 января.

[10] «Гродненские губернские ведомости», 1865, № 6, от 6 февраля («Спектакль в городском театре»).

[11] «Могилевские губернские ведомости», 1865, № 8, от 20 февраля («Масленица в Могилеве на Днепре»).

[12] См., например, «Киевский телеграф», 1865, № 23, от 26 февраля, заметку «Из Канева», к которой отсылает читателя Слепцов.

[13] «Костромские губернские ведомости», 1865, № 3, от 16 января («Из Юрьевского уезда»).

[14] «Пермские губернские ведомости», 1865, № 7, от 12 февраля («Биржевые извозчики в Перми»).

[15] «Волга», 1864, № 52, от 29 декабря («Село Катунки»).

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЯНВАРЬ — МАРТ ‹1865 г.›

Приступая к провинциальной хронике, считаю долгом предупредить читателя, что никаких тенденций, обличений, а тем более скандалов в моей хронике он не встретит. Я намерен просто представить столичному читателю картину современной общественной жизни в провинции, не мудрствуя лукаво, а изображая эту жизнь совершенно так же, как ее изображают мои собраты — провинциальные хроникеры. Я буду почерпать материалы для своих изображений из источников самых достоверных и ни для кого не обидных — из губернских ведомостей, которые, как известно, издаются при губернских правлениях, пишут их чиновники и учителя, люди благонадежные и трезвые; стало быть, пасквильного ничего тут быть не может, одна истинная правда. Вот на основании этих данных я и приступаю и надеюсь, что читатели должны остаться довольными.

Итак, начинаю.

По-настоящему, прежде всего следовало бы бросить общий взгляд на внутреннюю жизнь России, но «в наше время, когда и пр. и пр. и пр.», я чувствую, что мне не по силам эта задача. Притом же хроника моя несомненно выиграет в отношении разнообразия, если вместо моего общего взгляда, может быть, даже ошибочного, читатели будут встречать в ней различные общие взгляды, вырабатывавшиеся под различными градусами долготы и широты и выразившиеся в различных органах местной прессы. На этот раз общий взгляд на современное положение нашего отечества будет *оренбургский*. Потом бросим, может быть, и астраханский или калужский губернский взгляд; это смотря по тому как, а теперь пока оренбургский. Итак, общий взгляд на этот раз вот какой:

«Русь зашагала: должно ли предположить, что она, только что начав путь, устала, остановилась и махнет рукой?»

Читатель, ты как полагаешь: должно предположить или нет? А? Давай попробуем, предположим, что будет? Да нет, и пробовать нечего. Нельзя этого предполагать по той причине, что уж ежели зашагала, кончено. Притом же и в «Оренбургских губернских ведомостях» вслед за этим вопросом прямо сказано, что предполагать это нельзя, ибо «кто знает русский дух, тот знает его выражение: идти, так идти; сидеть, так сидеть». Ну, значит, нечего нам с тобой, читатель, и соваться. Далее что? Далее: «*Поэтому*, она идет». Почему — *поэтому*? — неизвестно; ну да все равно. Что тут еще разговаривать. Идет! Это верно... «Что ж может ее остановить?»

№. Ежели читатель подумает, что я тут что-нибудь переврал, то советую ему прочесть № 10 за 1865 год «Оренбургских губернских ведомостей», *часть неофициальная*, передовая статья, под заглавием: «О значении местных газет» — сам увидит.

Продолжаю.

Оренбургский взгляд на журналистику следующий:

«Газеты вообще, в особенности официальные, как добросовестный полицейский или почтовый чиновник, не знают праздников и табелей. Все дни для них равны. Как беспристрастное слово они так же не имеют ни друзей, ни врагов; ни дальних, ни ближних родственников; ни кумовства, ни свойства.

Как дни, все люди равны для них. Как они относятся к богатым хоромам, так относятся и к бедной хижине. Мнения газеты может менять время, но не место, обстоятельства и лица. Ее слово в данную минуту *не изменится ни для кого* — верно оно или ошибочно, *это смотря по убеждению*; но слово одинаково для всех — для богача и для бедняка; для

сильного и слабого, влиятельного и невлиятельного. Пользуется газета сочувствием в этих убеждениях или нет, *все равно:* ее дело вести честную речь, и она не разбирает, кто встретит эту речь дружески и кто враждебно. Она имеет дело со всем мыслящим и читающим человечеством безразлично» (смотри там же).

Вот видишь ли, читатель, какая это отличная штука газета; ей все равно — пользуется она или не пользуется, верно ее слово или ошибочно, богатый ли, бедный ли, будни, праздники,— ей все равно, она ничего не разбирает. Далее говорится, что «никакая самая сладчайшая музыка не может сделаться столь приятною, необходимою для всего образованного мира», как пение газет. Это все *общий взгляд* (оренбургский) на журналистику; теперь можно перейти и к частностям. Оказывается, что теперь, в настоящую минуту, нам с тобою, читатель, следует заняться, чем? — Как ты думаешь? — Опять-таки Оренбургским краем, потому что «теперь на него устремлены взоры всей России. Она следит за делами, совершающимися в далекой степи, там, в Азии... под Чекментом и Ташкентом; для ее уха (для уха России) приятно звучит название новой Туркестанской области, присоединенной к Оренбургскому краю». Вот история-то! А мы этого ничего и не знаем. Но как бы ни было приятно для уха России название новой Туркестанской области, все-таки долго останавливаться на этом мы не можем, иначе мы никогда не выберемся из Оренбургского края; а ведь нам еще целую картину рисовать нужно.

Главное — заручиться общим взглядом. Вот мы добыли его из «Оренбургских губернских ведомостей» и знаем теперь, что Россия зашагала и что журналистика — это полицейский или почтамтский чиновник. Взирать с этой точки зрения на нашу внутреннюю жизнь, по-моему, чрезвычайно удобно, потому что здесь представляется возможность необыкновенно просто сортировать все явления нашей жизни, какие бы они ни были. Все, что способствует «шаганию» России, мы отнесем к одной категории и назовем такие явления — *отрадными*; такие же, которые мешают преуспеянию нашего отечества, отнесем к другой и назовем их — *печальными*. Подобное изучение провинциальной журналистики показывает, что отрадных явлений в нашей внутренней жизни несравненно больше, нежели печальных. К сказанному следует прибавить, что это деление или сортировка фактов вовсе не изобретена мною, а только подмечена и извлечена из живой действительности, т. е. из губернских ведомостей; наконец, она и необходима, так как известно, что никакой картины написать невозможно без света и теней.

Начнем с первой категории.

I

ЯВЛЕНИЯ ОТРАДНЫЕ

Бесконечною вереницею несутся передо мною знакомые газеты, беспечно и весело шурша страницами, и точно в панораме мелькают на них пестрые слова: *библиотеки*, *школы*, *клубы*, *обеды*, *школы*, *благородные спектакли*, *библиотеки*, *елки*, *собрания*, *съезды*, *приюты и танцы*, *танцы и водопроводы* и проч. и проч. ... Ловлю наудачу первое попавшееся отрадное явление. Что такое? — *Город Вытегра*... «дома и домики чистенькие с приятною наружностию, в домах — чисто, опрятно, даже редко где встретишь традиционального таракашика; улицы прямые, широкие, с мостиками вместо тротуаров; порядок в городе примерный, а против воров и недобрых людей есть у нас свои ночные соловьи, поют да и только, словно весною. Дело в том, что для безопасности жителей учреждена здесь ночная стража со свистками, звук которых, точно соловьиный напев. Украшением города служит подъемный мост и шлюз на реке Вытегре,

в самом центре города. При шлюзе, на островке, небольшая роща и вокзал, в котором летом играет музыка.

Есть у нас выбор отличных книг по разным предметам, все русские журналы, некоторые заграничные и клуб.

Но что же и тут удивительного, скажете, где ныне клубов нет! Правда. Но у нас клуб как бы собрание одной семьи — все знают друг друга, да, кажется, и любят друг друга; скандальчиков не бывает, игр азартных нет, а играя по четверти копейки point *, столько наспоришься и насмеешься, как и при дорогой игре, или, лучше сказать, чего при дорогой игре не бывает, а результат тот, что вечер после служебных трудов проведешь весело и дружно. По воскресеньям в клубе бывают семейные вечера, и мужья охотно приводят дорогих половин своих, потому что у нас не требуется роскоши в туалете, не считают, сколько раз одно и то же платье надето.

Недавно состоялись у нас выборы градского головы. Выбор сделан удачный и предварительно одобрен посещавшим в то время наш город начальником губернии. Избран молодой почетный гражданин П. М. Манин, человек умный и с благородною душою» («Олонецкие губернские ведомости»).

Нужно ли прибавлять что-нибудь к этому описанию? — спрашиваю я у людей, привыкших обо всем рассуждать по-своему и перекраивать на свой лад самые очевидные факты. И что можно сказать людям, которые дождались возможного на земле счастия и говорят: «да, мы счастливы, мы довольны тем, чтó у нас есть и знать больше ничего не хотим»? Очевидно, что тут уже нет места никаким рассуждениям.

Но при этом я считаю необходимым заметить, что сейчас приведенное описание никому неизвестного городишки сделано вовсе не в виде исключения, что те блага, которыми сумели так хорошо воспользоваться граждане г. Вытегры, рассеяны повсюду.

— Но не везде их каждый примечал.

Передо мной другое описание совершенно такого же свойства и счастливый уголок на этот раз еще глуше, еще безвестнее Вытегры — *Петровск в Дагестане*. И он тоже спешит подать свой голос, чтобы кто-нибудь не подумал о нем худо; и он тоже заявляет о себе и старается убедить читателя, что там у них вовсе не скучно, и даже, напротив, очень приятно можно провести время. «Правда,— говорит Петровск в Дагестане,— что у нас много неудобств... но все-таки, говорит, мы по возможности развлекаемся. Летом купаемся в море, по несколько раз в день; приезжие занимают нас или визитами, или новостями, или обстановкою. В чудные ночи постоянные прогулки, приятный разговор, увлекательная веселость грузинок, все это разнообразит время» («Волга», 1865, № 2).

Вообще оживление замечается повсюду. Даже в таких городах, которые всегда известны были под именем трущоб и медвежьих углов и отличались непроходимою скукою, даже и там устраиваются спектакли, семейные вечера и танцы, чему иногда способствуют местные условия, а иногда, по-видимому, ничто не способствует, напротив, даже обстоятельства складываются так, что как будто хотят расстроить и огорчить жителей известной местности, а жители танцуют и веселятся до упаду. Это только доказывает, что когда люди решились веселиться и танцевать, то их удерживать ничто не в силах. Бывает и так, что город, косневший, по-видимому, в сплетнях и сплошь заросший непроглядною скукою, вдруг, по случаю приезда какого-нибудь нового лица, мгновенно оживляется и начинает ликовать.

---

* очко (*франц.*).



«РАССИРОПЛЕННЫЙ ПАТРИОТИЗМ». ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА

Губернский лирик. И вот светозарный юноша запечатлел поцелуй избавления на челе спавшей 1000 лет красавицы — и она пробудилась... Кто же этот девственник? — 19 февраля; а эта девственница? — Наша дорогая Русь.

Столичный вития. Экую дичь запорол! *(Поет)*: Просиял знаменательный день 19 февраля! «Мы свободны!» — отозвалось в сердцах миллионов людей; сословия подали друг другу руки, слились в одно объятье — и брызнули слезы любви и примирения!..

Рисунок Н. А. Степанова. Предназначался для журнала «Искра». Перечеркнут цензором, 1862 г.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

Так, например, Могилев.

«С семейного вечера, в день приезда в Могилев одного из начальствующих лиц 11 ноября прошлого года, как с легкой руки, идут то балы, то вечера, то спектакли. Бывало, пусто в клубе, кроме двух-трех столиков, играющих по небольшой, чтобы избавиться от скуки; а теперь на каждом бале, на каждом вечере и спектакле залы полнехоньки. За зиму с 11 ноября по 6 февраля насчитывается балов и семейных вечеров в клубе десять и спектаклей два. Чего же больше желать? Скучать некогда и отдохнуть от трудов можно, как раз во время, не редко и не часто» («Могилевские губернские ведомости» № 6).

Но неужели ты думаешь, читатель, что Могилев оживился потому только, что туда приехало начальствующее лицо? Ошибаешься. Город всегда был расположен веселиться, и ему нужна была только придирка к чему-нибудь, нужно было воспользоваться каким-нибудь удобным случаем, хоть бы даже приездом какой особы для того, чтобы начать ликование. Мы, русские, вообще — нерешительные люди; мы вследствие природной скромности очень часто не делаем того, что нам самим приятно, и в этих случаях всегда бываем благодарны человеку, который, угадав наше желание, скажет нам, например, «Ну, теперь пляши!» Мы и сами давно этого желали, но не прикажи нам посторонний человек, мы бы долго, вероятно, а может, и вовсе не решились бы исполнить наше задушевное желание. Нас можно уподобить девице, сидящей на бале, девице, которую разбирает смертная охота танцевать, но она ждет кавалера, который бы подошел к ней и пригласил ее на тур вальса. А не подойди к ней кавалер, она танцевать не будет, ибо скромность ей этого не дозволяет.

Вся сила в том, чтобы кто-нибудь угадал наше желание и дозволил нам его исполнить. Инициатива! Вот чего у нас нет.

Но зато в том случае, когда задушевное желание наше угадано и мы получаем дозволение, в этом случае мы становимся неудержимы, и во всяком случае это явление отрадное. Приятно видеть, как везде, в самых глухих и отдаленных углах нашего отечества, люди изъявляют готовность по первому призыву выражать самую непритворную радость.

В г. Бугульме, например, был съезд по случаю земских выборов в гласные. Выборы не совсем удались; но зато благородные спектакли, по инициативе супруги уездного предводителя, совершенно удались. Вышла было небольшая задержка за тем, что возник вопрос относительно публики: долго спорили о том, кто же должен быть публикою? Думали, думали и решили наконец: скликать народ с улицы, всех, кто пожелает. Вот и повалило земство в дом к предводителю, и так это всем понравилось, что в следующий спектакль простецов (выражение одного из губернских публицистов) набрался полный зал, духота была смертная, «но ни пьяных, ни песен,— говорит корреспондент,— не было»,— и даже будто бы публика по поводу благородных спектаклей выразилась таким образом, что «эвто не в пример лучше, чем в кабаке». Ну, это я не знаю, это, может быть, местный хроникер уже от себя прибавил, а что вот виноторговцы в городе остались недовольны благородными спектаклями, то это верно, так как им собственно принадлежит лестное право веселить сердце человека; и если они примутся соперничать в этом деле с учредительницами спектаклей, то еще бог знает, на чьей стороне будет победа.

А вот в Ставрополе был тоже спектакль, так в ведомостях прописаны даже по чинам все участвовавшие; один только Иван Филиппович Унтилов с дочерьми обозначен без чинов, но зато поставлен в начале списка. Судя по этому, следует предполагать, что Ивана Филипповича Унтилова все знают и без того. Прочие же все прописаны по чинам, начиная с высших и постепенно доходя до *армии прапорщика*. Вот этот список.

«Иван Филиппович Унтилов, дочери его: Капитолина и Римма, жена капитана генерального штаба Марья Викентьевна Шульгина, военный инженер поручик Александр Михайлович Посыпкин, штабс-капитан артиллерии Николай Егорович Никифораки, дочь полковника девица Вера Михайловна Посыпкина, штабс-капитан генерального штаба Иван Людвигович Фрейер, гвардии штабс-капитан Николай Франсович Вертгейн, сын полковника Иван Егорович Атарщиков, армии поручик Порфирий Иванович Юрьев, дочь губернского предводителя дворянства Ольга Дионисьевпа Сердаковская, отставной прапорщик Михаил Михайлович Посыпкин, коллежский регистратор Алексей Виссарионович Калемин и армии прапорщик Алексей Павлович Максимов».

Ну, играли, разумеется, превосходно, театр был полон, вызовам не было конца. Это уж все само собою разумеется; только вот что мне не нравится: отчего не прописано, где служил Михаил Михайлович Посыпкин? Об Алексее Павловиче Максимове известно, что он *армии прапорщик*, а о месте служения Михайла Михайловича ничего не сказано. За такой недосмотр редактора «Ставропольских губернских ведомостей» хвалить нельзя. Это показывает пренебрежение к читающей публике; да, наконец, даже относительно Михайла Михайловича это неловко. Нет; это со стороны «Ставропольских губернских ведомостей» опрометчиво поступлено.

Впрочем, с другой стороны, нельзя не порадоваться тому, что у нас начинает вводиться похвальный обычай оглашать звание, чин, имя и фамилию лиц, заявивших себя по части оживления общественных удовольствий, и желательно, чтобы такой обычай нашел подражателей. А так как ликование и вообще все это веселое направление у нас еще дело новое, то надо надеяться, что, по мере развития и укоренения его, в нашем отечестве появится много разных нововведений. Кое-какие утешительные попытки заметны уж и теперь. Так, например, в Могилеве с масленицы нынешнего года ввелся обычай катания на тройках, чего до этого времени не было. Расписные дуги, шлеи с бляхами и бубенчики составляют, бесспорно, одно из самых отрадных нововведений в жизни могилевских жителей. И что отраднее всего, так это то, что инициатива в этом деле принадлежит простым русским людям, из подмосковных крестьян, братьям Захваткиным, промышляющим в городе «...легковым извозничеством. Братья Василий и Иван Захваткины и сами молодцы, кровь с молоком, и коней имеют добрых, и сбрую богатейшую, и ездить умеют лихачами. С приездом великорусских чиновников и офицеров с семействами они ожили с обычаями родной стороны» («Могилевские губернские ведомости»).

В других городах троечные катания тоже процветают. В Ельце, который, по всей справедливости, может быть назван *лошадиным городом*, в особенности любят катания. Молодежь, как сказано в «Орловских губернских ведомостях», сама правит, «а елецкие красавицы *стараются* щеголять своими богатыми нарядами и бриллиантами» (смотри «Орловские губернские ведомости», № 11).

Любопытно бы узнать, как это, однако, ухитряются елецкие красавицы, сидя в санях, *щеголять бриллиантами*? Куда же они их привешивают? В ноздри серьги продевают, что ли?

Одних благородных спектаклей в Ельце было в зиму — 15. Шутите вы ⟨с⟩ нами после этого. В Хотине бывают спектакли любителей, а в антрактах поют арии и русские песни. «В Гомеле, в новом помещении клуба, был бал; дам было немного, но костюмы всех, без исключения, были великолепны. Прекрасное помещение имело благодетельное влияние на расположение всех; веселились до четырех часов утра, чего в Гомеле давно не было» («Могилевские губернские ведомости»).

Был тоже в Вильно очень оживленный бал. По словам «Виленских губернских ведомостей», он выходит из ряда обыкновенных; устроен он был в пользу детских приютов. Одних распорядителей было 12 человек, 375 человек посетителей, в разных костюмах: в русских, испанских, чухонских, итальянских и даже цыганских; экзотических растений, вин, угощения всякого было вдоволь, три оркестра музыки, украшение зала и освещение были ослепительные; водка и закуска в буфете отпускались даром. Веселие было неподдельное и продолжалось до 5 часов утра.

Впрочем, сколько я мог заметить из описаний всех этих торжеств, большая часть их выходят из ряда обыкновенных. В самом деле, ничего подобного до сих пор не было. Такого единодушия, такой непритворной игривости мы и не подозревали в наших почтенных соотечественниках. И откуда в них берется эта прыть? Читаешь описание какого-нибудь съезда или там просто кого-нибудь начальство вызвало в город — сейчас обед, после обеда танцы; какой-нибудь там купец пожертвовал два с полтиною на устройство школы — обед, после обеда танцы; у начальника жена двойню родила — опять обед и опять танцы. Но и этим не ограничивается дело. В последнее время до того дошло, что даже из приютов и из женских школ сделали какие-то танцевальные и увеселительные заведения.

В Гродне г-жа главная надзирательница женской гимназии устроила из воспитанниц спектакль и сама сочинила по этому случаю две пьесы: «Извинительная шалость» и «Возвращение на родину» с дивертисментом из русских песен и пляскою в русских народных костюмах. «Слишком 30 молоденьких девиц» приняли участие в этом торжестве. Восторг публики, разумеется, был неподдельный и выражался ежеминутно взрывами оглушительных рукоплесканий, особенно когда «занавес поднялся, и на сцене глазам зрителя предстала необыкновенно живописная группа поселянок, одетых в красивые народные русские платья. Под аккомпанемент оркестра раздались мелодические, нежные звуки хора поселянок, пропевших куплеты, нарочно написанные для этого спектакля». «Публика, в глубоком молчании прослушав стройное и мелодическое пение этих куплетов, разразилась восторженным громом рукоплесканий, прекратившихся только тогда, когда общее внимание было увлечено народною пляскою, непосредственно последовавшею за пением» («Гродненские губернские ведомости»). Но мне больше всего понравилось то, что за танцами непосредственно «последовало *соловое* и хоровое пение», вызвавшее новые взрывы неподдельного восторга. Я слыхал, что лошади бывают *соловые*, но пения *солового* не слыхал.

Не столь блестящие, но не менее поучительные торжества видим мы и в других городах: в Георгиевске было детское торжество, при котором «отрадно было видеть, какою непритворною радостию сияли лица всех присутствующих, от седовласых старцев до 7-милетних девочек, пришедших на торжество». В Могилеве г-н Цур-Милен в клубе устроил детское торжество — елку с сюрпризами; наконец, в Сарапуле г-н штатный смотритель устроил в женском училище что-то вроде торжественного акта и раздавал ученицам *листы и цветы*; за что «по общему желанию учениц удостоился получить их работы *салфетку*, вязаную в тамбур».

Почему же салфетку, а не *лист* с вышитыми на нем в тамбур именами признательных учениц? Это было бы приличнее, а то что такое салфетка — пустяки. «Листы и цветы!..» Мне почему-то пришло на память одно стихотворение Фета, где говорится о потоке следующее:

Был при деннице румян ты,
Был при луне бледен ты,
Гордо носил бриллианты,
Скромно *листы* и *цветы*.



ДЕРЕВЕНСКОЕ НАЧАЛЬСТВО

Рисунок карандашом А. И. Лебедева, 1870-е гг.

Исторический музей, Москва

II

ЯВЛЕНИЯ ОТРАДНЫЕ

И как все это скоро совершилось, просто невероятно даже! Просвещение, подобно бурному весеннему потоку, низвергающему на пути своем всякие препоны, шумно пронеслось по цветущим полям нашей родины, смягчило нравы, искоренило предрассудки и всюду пробудило ненасытную жажду грамотности, света и гласности. Ярые волны этого потока мчат на хребтах своих господина Золотова, Паульсона и других, сообщающих сельским жителям легчайший способ обучения чтению и письму, рассыпая на пути буквари и воздвигая всюду плодоносные кучи школ, школ и школ... Благодетельный поток очистил и освежил не одни только юные отпрыски, но и старые дубы, как бы обновленные, встрепенулись и позеленели от радости.

Беру отрадные явления на выдержку.

«Во время храмового праздника, в селе Пастырском (Чигиринского уезда), весь собравшийся из окрестных сел народ смотрел с умилением на освящение училищного дома, а прихожане села Пастырского говорили из глубины души: „Слава тебе, господи! Теперь мы уверены, что никто не будет отрывать наших детей от учения. Теперь они будут грамотны. Душа дрожит, когда дети наши читают и поют в церкви; с бóльшим усердием теперь стоишь в церкви и с большею охотою и умилением молишься господу, да и в доме, на свободе, когда дитя читает, сам радуешься, ибо невольно при этом рождаются мысли добрые и разговоры благочестивые. Мы долгом считаем передать детям, а дети отдаленнейшему потомству, как завет“» и проч. («Киевский телеграф»).

К этому достоверному сведению прибавить, разумеется, ничего нельзя, но меня, к стыду моему, в этом случае занимает одно пустое обстоятельство, которого, однако, я не могу не высказать. Обстоятельство все-таки, впрочем, совершенно отрадное, а именно: мне особенно нравится слог, которым с некоторого времени стали выражаться мужички. И как они это скоро выучились, даже в Чигиринском уезде, как чисто выучились говорить! «Мы долгом считаем передать нашим детям, а дети отдаленнейшему потомству...» и т. д. Удивительно!

При этом невольно как-то перенесешься мыслию в недавнее прошлое и спросишь себя: что если бы года два, три тому назад заставить мужичка вызубрить ту же самую речь, которую теперь он произносит из глубины души, и притом совершенно добровольно, если бы заставить его зубрить, думаю я, целый месяц сряду,— выучил ли бы он ее или нет? Полагаю, что не выучил бы и притом голову отдаю на отсечение, что если бы и выучил даже, то все-таки «из глубины души» не сумел бы сказать ее. А теперь пришел на храмовой праздник, взглянул с умилением на школу и пошел: «Слава тебе, господи! Теперь мы уверены» и проч. и проч.

Но дело не в этом. Что такое слог? Повторяю еще раз: все может случиться, верстовые столбы будут произносить речи, если потребуется. Ничему удивляться не следует. Придет такое время, что мужичку для пользы просвещения нужно будет свободно выражаться на семи языках — и будет выражаться. Что ж такое? Можно. Все можно. Недаром в каждом № газет объявляется об открытии школ, на которые крестьяне взирают с умилением и с готовностью спешат отдать последний грош на пользу просвещения. Конечно, попадаются иногда известия и такого рода, что крестьяне сначала как будто и не желают школы и мало сочувствия выказывают, но под конец всегда «единодушно соглашаются» и «усердно посылают детей учиться». Да вообще, по замечанию г-на Николича («Могилевские губернские ведомости»), видно, «что в местах, где действует заботящийся об училищах посредник и где избран умный и благомысля-

щий старшина, общественная самодеятельность пробуждается и крестьяне не перечат посильному сбору в пользу своих детей и учителя».

Разумеется, перечить заботливому посреднику и благомыслящему старшине немножко неловко, однако можно бы; но по газетам видно, что даже не перечат, а сейчас же «единодушно и с усердием»... и проч. А что такое заботливый посредник, видно будет ниже. На этот случай у нас имеются тоже два примера, из которых нетрудно усмотреть, что уже приближается то время, когда мужичок начнет свободно выражаться на семи языках.

Вспомни, читатель, как проводили крестьяне праздники в старые годы; вспомни, как они, бывало, нарезывались еще до обедни и цельный день потом драли песни; вспомни, если память не изменяет тебе, и сравни с настоящим.

1-й пример. Сбираются крестьяне к мировому посреднику и вместе с ним идут в церковь. Оттуда возвращаются опять к посреднику. Он сам подает им на тарелке вино и закуски, затем берет бокал и провозглашает тосты. Крестьяне *с бокалами в руках* кричат ура. После того крестьяне спрашивают любимого посредника, правда ли, что он оставляет их? И после утвердительного ответа вынимают (из портфеля, вероятно) заранее приготовленный письменный адрес, в котором выражено единодушное желание крестьян, чтобы заботливый посредник не покидал их. Господин посредник, растроганный до слез таким простым выражением признательности, обещает просить начальство об исполнении просьбы крестьян. Все целуются и расходятся по домам («Киевский телеграф», № 23).

Одного только недостает: чтобы пришли к посреднику юные девы и запели ему:

Не уезжай, голубчик мой!

И как всё это ловко устроили! И адрес приготовлен заранее и тосты... всё, как следует, по артикулу.

2-й пример. В Крестецком уезде (Новгородской губ.) крестьяне 4-го мирового участка были чрезвычайно довольны деятельностью господина посредника, Николая Дмитриевича Косачовского, и по этому случаю единодушно выразили желание, *вместе с помещиками*, поднести ему серебряный кубок «за справедливость и беспристрастие». На это было испрошено надлежащее разрешение, по получении которого и поднесли.

Во времена невежества подобные изъявления крестьянской признательности делались проще и дешевле: нанесут, бывало, мужики какому-нибудь любимому становому или заботливому исправнику яиц, кур, медку, ну, много-много, ежели барана приведут; а теперь все это деликатнее гораздо: кубок за справедливость и беспристрастие. Вообще, просвещение удивительное.

Впрочем, надо и то сказать: потребности в народе до такой степени изменились, что узнать нельзя. Как ты думаешь, читатель, в чем теперь, вот, в настоящую минуту, ощущается крайняя надобность в деревнях? Можно какое угодно пари держать, что не угадаешь.— В банках? — Нет.— В пожарной команде? — Нет.— В зоологических кабинетах? — Похоже, а все-таки не то. Да нечего и пробовать; не угадаешь. Недостает библиотек, недостает книг, «доставляющих сначала пищу для духа, а потом для практической деятельности». Вкус нашего народа в литературном отношении до такой степени определился, что можно наперед сказать, что́ ему понравится и что́ нет.

«Все знают, что народ наш любит религиозное поучительное чтение, известно также, что он любит Книгу Наума о великом божьем мире, читает и приобретает в собственность, любит библейскую историю со

105-ю картинками» («Енисейские губернские ведомости»). В Самарской губернии крестьяне в праздничные дни читают их дома, «а один летом изредка читает у ворот своего дома». А вот попробуй-ка дать им прочесть в руководстве г-на Главинского, в 3-м Отделе, притчу о семейном согласии. Да нет, и пробовать нечего. «Там, на 17 странице, *по недосмотру* автора вклеено народное бранное словцо в скобках; что скажут дети, их отцы и матери, когда вы им дадите прочитать эту притчу в назидание?»

Я воображаю, что скажут! особенно после того, как в них начали замечаться поползновения заводить у себя литературные вечера.

«Дайте крестьянину полезных книг, и он устроит литературные дни и вечера» («Курские губернские ведомости». Голос из села Самарской губ.).

Что же дети-то, однако? — Любопытно. Вот что мы узнаем из самого достоверного источника об этом интересном предмете. В «Виленских губернских ведомостях» г-н Адамович описывает открытие сельской школы в селе Воложине следующим образом: 28 октября была освящена «весьма торжественно Воложинская школа, а теперь там уже обучаются 60 мальчиков и одна девочка, несмотря на то, что тамошние крестьяне *еще не вполне сознают* пользу грамотности». Много труда предстоит уломать иного старикашку отдать сына или внука в школу. Даже и согласившись, он всегда оговаривается, что делает это «только для отца духовного и что он этим как будто делает одолжение ему; это, впрочем, черная сторона медали»,— продолжает г-н Адамович,— «а вот вам красная: в молодом поколении есть горячее желание учиться. Мне случилось видеть, как один мальчик со слезами просил своего отца, чтобы тот позволил ему ходить в школу. Этот мальчик пришел в неописанный восторг, когда, вследствие моего ходатайства, получил дозволение от своего отца отправиться в школу. Он и плакал, и прыгал, и смеялся, а теперь в школе удивляет всех своими превосходными успехами. И таких мальчиков у нас не мало» (*там же*).

Это мальчики, что же касается девочек, то из отчета онежского женского второразрядного училища за прошлый год видно, что в минувшем учебном году из тридцати пяти учениц нерадивых было только четыре. Все вообще девицы вели себя благонравно, и лишь одна девица (1-го класса, 12 лет) «была замечена в поступке, несвойственном детскому возрасту». Если же читателю покажется странным, почему эти хвалы достойные девицы, несмотря на свое благонравие, воздерживаются от публичного заявления своей преданности и готовности к просвещению, то на это есть причины, которые я и спешу сообщить читателю. Во-первых, «у всех этих девиц есть один недостаток, состоящий в том, что они на все вопросы отвечают чрезвычайно слабым голосом, почти шепотом»; во-вторых, необходимо принять в соображение и природную скромность, свойственную женскому полу. Таким образом, дело и объяснится.

Ах, дети, дети, как опасны ваши лета!

III

ПЕЧАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Вряд ли найдется такой кровожадный хирург на свете, который находил бы удовольствие в том, чтобы расковыривать даже чужие, не только свои собственные раны. Кому это занятие может быть приятно? Я думаю, что никому. Следовательно, всякий умный читатель должен понять, что хроникер, приступая к изображению разных недугов, угнетающих

наше любезное отечество, не может не чувствовать, по крайней мере, некоторого душевного сокрушения. Но что же делать? Даже солнце светит не всегда одинаково.

Рядом с утешительными явлениями, которыми изобилует наша внутренняя жизнь, проходит вереница фактов огорчительного свойства, фактов, производящих горькое впечатление. Обозревая явления последней категории, прежде всего необходимо обратить внимание на то, что главное и существенное зло, порождающее все эти печальные явления, есть невежество и неумение воспользоваться теми благами, которые уже нам дарованы просвещением. Разумеется, при этом не следут забывать, что по причине обширности нашего отечества и по недостатку быстрого сообщения невозможно и требовать, чтобы просвещение равномерно всюду


1865. ИСКРА. 173

БЛАЖЕННОЕ УТОПАНІЕ ПРОВИНЦІАЛА ВЪ РОДИМОЙ ПОЧВѢ.

«БЛАЖЕННОЕ УТОПАНИЕ ПРОВИНЦИАЛА В РОДИМОЙ ПОЧВЕ»
Карикатура. Рисунок неизвестного художника
«Искра», 1865, № 12

поспевало. Вследствие этого, конечно, неизбежны маленькие недоразумения. Да ведь и то надо сказать: где же не бывает недоразумений? От этого не убережешься.

В «Костромские губернские ведомости» пишут, что в одном избирательном участке баллотировали не шарами, а на голосах; вышел спор, кого назначить гласными; предлагали было помещиков, но крестьяне не хотели их баллотировать, говоря, что так как им дано право выборов, то они найдут выборных и из своей среды. Наконец, гласных выбрали; зашла речь о жалованье; выборщики отказали начисто: «Еще неизвестно,— говорили,— за что мы будем их награждать, посмотрим, каково будут служить, будут ли стоить награды».

«В том же письме рассказывается о другом съезде, на котором выборщики совсем не знали, что делать им с своими шарами, и слушались беспрекословно совета куда класть, направо или налево».

Как в первом, так и во втором случае, как видно, причиною недоразумений было непонимание собственной пользы; но в одном из следующих №№ тех же ведомостей напечатано письмо землевладельца-помещика, который сам сознается, что он в числе прочих дворян Солигаличского

уезда отказался от участия в управе. Причиною такого отказа со стороны гг. помещиков на этот раз была сословная рознь. «Некто» частным письмом известил редактора «Костромских губернских ведомостей» о том, что дворяне того уезда уклонились от представительства в управе будто бы по ограниченности содержания, назначенного земским собранием. На это — г-н Н. К—ов (один из уклонившихся) отвечает: «Не недостаточность содержания, назначенного членам управы, а обидное пренебрежение (?) к мнениям гг. дворян было причиной, что они отказались быть членами земской управы» («Костромские губернские ведомости»).

Обидное пренебрежение к мнениям дворян, как оказывается из того же письма, состояло в том, что на предложенное дворянами количество содержания остальные гласные в один голос или, лучше сказать, *за одним* все остальные, сбавив цифру почти на половину без всяких суждений, определили свое решение. Точно так же поступили они со всеми другими вопросами, которые предлагали гг. дворяне.

Следя за ходом земского дела и встречая случаи, подобные описанному, невольно скажешь себе: зачем эта рознь, зачем все эти интриги и обидное пренебрежение друг к другу между членами одной и той же семьи? Не лучше ли усердно стремиться к одной общей цели? И все-таки, должно сознаться, что причина всех этих грустных явлений — непонимание и то грубое упорство, которым заражено у нас низшее сословие. Доказательство этому читаем в «Костромских ведомостях» по поводу некоторых беспорядков, бывших при доставлении рекрутской партии из волости в Кострому:

«Когда-то у нас пройдут эти дикие привычки и предания старых рекрутских наборов? Народу всё еще как будто неизвестны ни новая система рекрутства, ни реформы в нашей армии, ни все облегчения, введенные в последние годы. На рекрутскую повинность всё еще смотрят как на *прежние наборы*».

«С фермы г-на Данилова пишут, что партия людей, назначенных в рекруты от Гридинской волости, встретилась ночью 20 января с обозом, шедшим из Костромы на ферму. Рекруты напали на рабочих, сорвали с них шапки, стали требовать выкупа за шапки и бросились к возам. Завязалась драка. Пострадали особенно двое; неизвестный дьячок, ехавший с обозом из Костромы, и рабочий Токарев доставил все в целости на ферму, но явился туда без шапки, с измороженным и избитым лицом. Шапки и куль с сеном рекруты увезли в Кострому» («Костромские губернские ведомости»).

Это все невежество — вековое зло, от которого мы с великим трудом отбиваемся и все еще не можем отбиться. Оно является в различных видах повсюду как в городах, так равно и в селениях и порождает одинаково гибельные последствия. Так, например, многие неопытные молодые люди из привилегированного класса, вмешавшись в отношения крестьян к землевладельцам и капиталистам, но не зная самых простых оснований экономического быта народа, вмешательством своим только и достигли того, что произвели путаницу в отношениях капитала к труду, в ущерб и тому и другому.

«Крестьянин,— говорит «Киевский телеграф»,— не искусивший еще хорошо свободу своего труда, начал требовать за него несоразмерной платы, расстроил тем многие помещичьи хозяйства, оставил их на произвол судьбы, а сам для себя потерял дорогое время заработков, вследствие этого же (?) лень и горячее вино сделались более доступными для него».

Все это так, но ведать я желаю, почему тут *вследствие*? Ведь ежели «крестьянин, не искусивший еще хорошо свободу труда», потерял дорогое время заработков, то это значит, что он, разорив помещичьи имения и

пустив их на произвол судьбы, и сам разорился; стало быть, «лень и горячее вино» сделались для него *менее* доступными, потому что лениться и пить горячее вино может человек только тогда, когда имеет на это средства; но ведь «крестьянин, не искусивший еще хорошо свободу своего труда», средств не имеет? Нет, тут что-нибудь да не так; тут, по всей вероятности, тоже скрывается какое-нибудь недоразумение; но как бы то ни было хороши должны быть и эти помещичьи имения, о которых должен заботиться крестьянин и не оставлять их на произвол судьбы.

Впрочем, перед нами еще такое необъятное количество разных печальных фактов, что останавливаться над такими мелочами долго не стоит. В настоящую минуту меня занимает явление, пробуждающее в сердце несравненно более скорбное чувство. Дело идет о «пермских биржевых извозчиках». Это, по моему мнению, факт настолько знаменательный, что я считаю долгом познакомить с ним читателя. Для этой цели я воспользуюсь некоторыми данными из одной обширной статьи, в которой вопрос об извозчиках изложен весьма подробно и обстоятельно. Дело в том, что в г. Перми в последнее время извозчичий промысел без всякой нужды увеличился до чрезвычайности, так что местные жители стали недоумевать, для какой надобности является такое большое число извозчиков, и вообще подозрительно смотрели на их промысел. Это справедливое недоверие и подозрительность местных жителей не замедлили оправдаться. Так как в Перми спрос на извозчиков вообще очень слаб, то большая часть их остается без дела, следствием этого, разумеется, было то, что между праздными извозчиками развилось пьянство, грубиянство, невежество и жестокость в обращении с лошадьми, так что в последнее время, по словам пермского обывателя, в городе просто житья не стало от извозчиков. От бездействия, праздной и порочной жизни эти разбойники дошли до того, что мирные граждане города Перми не решаются выходить из домов своих из опасения быть обруганными, забрызганными грязью и даже раздавленными ватагою пьяных и буйных извозчиков. Вот как рисует пермский обыватель положение, в котором находится г. Пермь.

«Нет спроса, нет требования на извозчиков, и вот они группами по три, по четыре и более в ряд располагаются на перекрестках более многолюдных улиц города. На досуге они перебрасываются между собою очень и очень крупными словами. Иногда резко и бойко вырывается у них такое словцо собственного изделия, которое в одно мгновенье поражает все ваши чувства и вполне изображает все безобразие извозчичьей натуры. Когда же дело доходит у них до ссоры, то лучше и не ходить мимо того места, где стоят извозчики, иначе вы рискуете познакомиться с целым лексиконом самых отвратительных ругательств извозчичьей брани» («Пермские губернские ведомости»).

Когда нет требования на извозчиков, то часто они на месте своей стоянки располагаются так, что загораживают проход для пешего люда.

«Извозчик предлагает вам услуги, а если вы не желаете воспользоваться его предложением, он не сдвинется со своего места и заставит вас обходить *дрянной экипаж* его по грязной луже или зимой по сугробу снега. Нередко вдобавок к этому извозчик вслед вам отпустит какую-либо площадно остроумную шутку. Для извозчиков не малым развлечением служит, если кто-либо из них, часто без всякой надобности, быстро промчавшись мимо опрятно одетой дамы, охлестнет ее грязью» (*там же*).

Ему кажется нипочем, если он ушибет или сомнет кого-либо на своем бешеном скаку, испугает, обеспокоит, вгонит в грязь или в снег идущих по улице людей разного пола, возраста и звания. Кроме того, постоянным и любимым занятием этих невежд служит зверское бичевание собственных лошадей. Этому занятию предаются они от нечего делать,

постоянно в продолжении дня, стоя даже на самых видных местах, на самых многолюдных улицах. В особенности один извозчик, стоящий у гостиного двора, отличается жестоким обращением с своей лошадью. Однажды пермский обыватель, проходя мимо гимназии, еще издали заслышал бичевание этого тирана.

«Прогулявшись по берегу Камы и возвращаясь домой, мы видели, что тот же извозчик все еще продолжал свои экзерциции. Но когда мы подошли к нему, он уже успокоился. Один из проходивших с нами спросил его: зачем он мучит свою лошадь? Извозчик отвечал, что лошадь у него деревенская, недавно куплена, городских порядков не знает, так вот он ее и поучил.— Можно учить, но зачем так жестоко бить? — спросили мы извозчика.— Нет,— отвечал извозчик,— не станешь ее драть, и добра от нее не видать. Так об этом предмете рассуждают не только извозчики, но и вообще почти все кучера. И вот мы постоянно слышим и видим на улицах нашего города жестокое бичевание лошадей. Стоит у подъезда кучер, нечего ему делать, скука — и вот он для развлечения со всего размаха ударит бичом лошадь, сделает на ней по улице круг и опять станет на прежнее место. Спросите его: зачем он без всякой надобности *наказал* лошадь. Он с удивлением посмотрит на вас и скажет: на то-де я и кучер» (*там же*).

Далее в виде поучения пермский обыватель замечает, что были случаи, когда лошади от дурного обращения с ними кучеров приходили в такое неистовство, что загрызали их до смерти. Из этого примера уже всякий сам может вывести заключение, что лошади тоже любят справедливость и всегда бывают недовольны, когда их без толку *наказывают*. Будь строг, но справедлив,— сказала бы всякая порядочная лошадь своему кучеру, если бы умела говорить. Впрочем, оно, может быть, с другой стороны и хорошо даже, что лошади не говорят. Неизвестно еще, что бы они сказали, если бы им вдруг было разрешено высказывать свои мнения насчет кучеров.

Но как бы то ни было, тем не менее факт, о котором заявляет пермский обыватель,— остается фактом, и печальное положение пермских граждан — вещь несомненная.

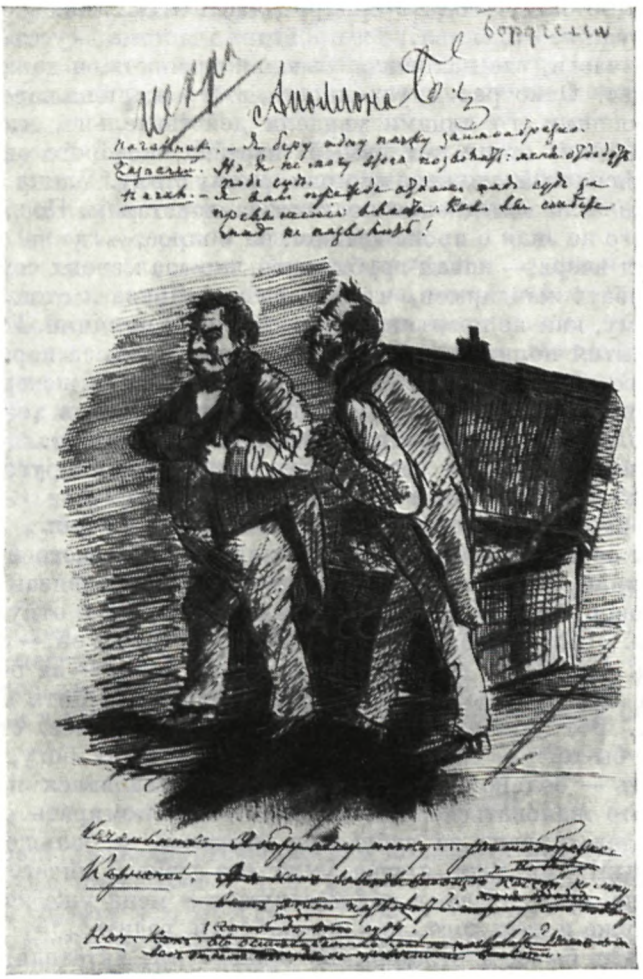
Пробегая сообщенные мною печальные явления нашей провинциальной жизни,— читатель не смог не заметить, конечно, что мы незаметным образом окунулись с ним в сферу обличений. Кстати вот нищие, по свидетельству тех же ведомостей, тоже составляют немаловажное зло и беспокоят мирных граждан в Перми не хуже извозчиков. «Лет 15 тому назад,— рассуждают «Пермские губернские ведомости», — нищих в Перми было вовсе не заметно, теперь же число их выросло до таких размеров, что по улицам проходу нет». Причиною такого размножения нищих местная газета признает: неурожаи и одновременно с ними усилившееся в Пермской губернии винокурение, потребляющее огромное количество хлеба, неслыханное доселе размножение кабаков и наконец оставление дворовых людей, освобожденных из крепостной зависимости, без всякого призрения со стороны помещиков и общества.

По-моему, мнение «Пермских губернских ведомостей» не совсем основательно и обличает в них незнание простых начал экономического быта народа. О чем тут рассуждать? Отчего пьянство, отчего нищенство? Если бы был хлеб, нищие и пьяницы ели бы хлеб, но он идет на вино, стало быть, нет хлеба, а есть вино. Куда же его девать, спрашивается? Должен же его кто-нибудь пить? Чудаки эти «Пермские губернские ведомости».

Вот тоже в г. Данкове какой-то купец Ермаков плачется на повсеместное распространение пьянства и в рассуждениях своих питейный дом принимает за *точку отправления*. «Московские ведомости» и без Ермакова

давно уж решили этот вопрос, стало быть, и разговаривать тут много нечего.

Нас занимают вопросы более интересные. Для того чтобы не надоесть читателю повествованием о наших скорбях и не отбить у него охоты на



ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА НА ПОРЕФОРМЕННОЕ ЧИНОВНИЧЕСТВО

Начальник. Я беру одну пачку заимообразно.
Казначей. Но я не могу этого позволить: меня отдадут под суд.
Начальник. Я вас прежде отдам под суд за превышение власти... Как вы смеете мне не позволить!

Рисунок А. Н. Бордгелли, 1862—1863 гг. Предназначался для журнала «Искра»

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

будущее время читать нашу хронику, мы намерены на время оставить *чисто печальные явления* и развлечь его другою категориею фактов, которые мы и назовем *странными*.

К этому отделу следует отнести, во-первых, следующий случай, озаглавленный в «Костромских губернских ведомостях» таким образом:

Жеребец в гостиной частного пристава

«В „Одесском вестнике“ мы находим следующее известие, которое передаем, не принимая за него ответственности. У проживающего в колонии Кубсе купца из болгар, Георгия Янева, украден был ценный жеребец и, как можно было подозревать, препровожден в Измаил. Хозяин лошади отправился туда ее отыскивать, и проведал, что она — у самого частного пристава той части, где находится бывшая крепость, и даже *в самом жилище пристава*. Осмотрев внутренность этого жилища через окно, Янев с сопровождавшими его лицами увидели действительно, что в роскошно убранной гостиной стоял тот самый жеребец, которого они искали, на веревке, привязанный к тяжелому мраморному столу. Улика была налицо, и потому свидетели немедленно послали за приставом. Последний, придя домой и ничего не зная о происшедшем, на вопрос,— где та лошадь, которую он купил вчера,— начал грубиянить, показал своих семь лошадей и приказал позвать жандармов, чтобы связать Янева и отослать его в полицейскую яму, как не предъявившего паспорта полиции. Тогда Янев, не ожидая прибытия полицейской помощи, схватил его за воротник, притащил к окну гостиной и сунул его лицом в окно. В то же время и развязавшаяся лошадь подошла к окну по паркету и, увидав хозяина или услышав его голос, весело заржала („Одесский вестник“)».

В «Вятских губернских ведомостях» опубликован другой случай, за достоверность которого тоже поручиться трудно.

Вот как рассказывает один обыватель этот случай:

«Однажды осенью, в деревне, увидел я старого, седого мужика, возле которого шутили молодые. Лицо у старика было подвязано. Я вступил с ним в разговор. Оказалось, что ему какой-то молодец откусил половину нижней губы. „Был я позавчера в кабаке,— говорил он,— и привязался ко мне сосед: выпей, да выпей! Я отказываться, он — за бороду: пей,— говорит, — а то поцелую! — Ну, целуй, говорю, а пить не стану, я и так хмелен... Вот и поцеловал, буду помнить“.— „Тебе, старик, и есть нельзя без губы-то?“ — спросил я.— „Нельзя; славу богу, хоть выпить можно, а есть — больно“. — „Что же ты не жаловался на такую обиду?“ — „Да что жаловаться? Мне ведь 83 года; помирать скоро надоть. Мириться хотел, просил за губу *три целковых*, да больше полведра не дает, окаянный! Так уже лучше умру без губы и ничего не возьму и жаловаться не стану! Еще в суд позовут, а у меня уже кости болят ездить... Ох, хуже и нету того, как по кабакам ходить!..“»

И это может быть, а странно. Не правда ли, читатель?

В заключение привожу два случая, имеющие, кроме странности, еще один признак, по которому уже бог знает куда их и причислить. В обоих случаях дело идет о преступлениях, совершенных *животными*. Положим, что, по мнению пермского обывателя, животных можно наказывать за мелкие проступки, но в этом случае дело ограничивается домашними мерами. Хотя извозчики секут лошадей своих публично, на площадях и перекрестках, даже близ гостиного двора, случается, наказывают их, но все-таки сам хозяин расправляется, не доводя дело до начальства.

Теперь спрашивается, как же быть в тех случаях, когда домашние животные совершают более тяжкие преступления — как тут быть? А что они действительно являются преступниками, доказательством служат два следующие случая.

Первый случай был в Рыбинске. «Один крестьянин, отправляясь в Николин день к заутрени, оставил дома свои деньги, 520 руб., завернув их в синюю сахарную бумагу и положив в горшок, который засыпал свеклой, вероятно, чтобы воры не могли его заметить; хату же свою запер со всех сторон накрепко. Между тем после заутрени денег в горшке,

как и свеклы, не оказалось; а так как замки и запоры были совершенно целы, то подозрение пало на единственное живое существо, остававшееся в хате — телку. Крестьянин распорол ей брюхо и, действительно, нашел в нем свои бумажки. Телушка съела их вместе со свеклой, которая, будучи положена в горшке сверху, сообщила сладкий сок кредитным билетам и синей бумаге, в которую они были завернуты. Бумагу эту она только обсосала, вероятно, потому, что не в силах была проглотить ее. Из 520 руб. серебром, найденных в желудке телушки, 170 руб. серебром оказались годными к употреблению, у остальных же номера и подписи уничтожились».

Другой случай был в Одессе, среди белого дня на одной из самых многолюдных улиц. Преступление совершено было собакою в присутствии других собак, которые также замешаны в это дело, не только как свидетели, но и как участники в преступлении.

Дело в том, что по улицам Одессы постоянно ходит множество приблудших и притом голодных собак. Одна из таких собак схватила целую булку со скамейки, уставленной съедобным материалом, у дверей одной лавочки. Девочка, продававшая булки, не успела вовремя отогнать собаку и, заметив покражу в зубах огромного пса, вздумала было погнаться за ним; но напрасно: четвероногое было уже далеко. За собакой-воровкой погнались несколько других, вероятно, также проголодавшихся собак; сильнейшая из них выхватила добычу из зубов вора и пустилась вскачь от дальнейшего преследования. Но навстречу к ней шел в это время чей-то кучер, который выхватил в свою очередь булку у собаки и наградил последнюю несколькими ударами ногою.

Аноним

Надо, впрочем, надеяться, что при возрождающейся у нас гласности подобный бесцеремонный взгляд на чужую собственность должен будет уступить более законным требованиям общества, так как случаи вроде описанного ни в каком образованном государстве терпимы быть не могут.

V*

ОПЯТЬ ОТРАДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Недаром наше любезное отечество для пытливых иноземцев до сих пор остается *терроюинкогнитою*, т. е. неразгаданною задачею. Мы и сами его не знаем. Обойти всю Россию — трудно, а узнать ее так, не обходя, еще труднее. Конечно, иноземцы, будучи от природы завистливы, может быть, желали бы завладеть нашим отечеством, даже не глядя, что в нем есть, не разбирая, какие там богатства в недрах его заключаются и прочее; но мы... мы этого не желаем и, кроме того, нам нужно все эти богатства извлечь, потому что зачем же им пропадать зря? Мало ли мы иноземцам-то этим денег переплатили за их пытливость; теперь нам пора самим взяться за ум. А для этого нам прежде всего нужно обыкновенно — познать себя. Да, впрочем, что уж! Об этом сколько было говорено [не действует]. Вот, например, что такое Катунки? Кто знает? — Никто не знает. То-то и есть. А между тем Катунки это... это село. Дда! Вот вы и думайте! Прежде нужно спросить, много ли таких сел в Европе, как наши Катунки?

«Село Катунки Балахнинского уезда стоит на правом берегу Волги; в нем 4 каменные церкви, из них три приходские и одна кладбищенская; есть и собор — Варваринский; в нем (т. е. в селе, а не в соборе) до 700 домов; из них 10 каменных, а остальные деревянные, более двухэтажные; в нем более 3000 душ временно-обязанных крестьян разных помещиков. Село принадлежало прежде грузинскому царевичу — Бакару

* *О пропуске фельетона IV см. выше вступительную заметку.— Ред.*

Вахтангиевичу, выехавшему из Грузии вместе с братом своим Арсилом, при царе Алексее Михайловиче, а ныне принадлежит разным помещикам». Там есть, в Катунках, «красивый дом господина Турчанинова, со всем барским пристроем, с окружающими садами и самыми вычурными в них беседками» и проч.

Так вот они Катунки-то какие!

«Если смотреть на Катунки с юго-востока, то над рощею возвышается свинцовый шпиль и позлащенный крест». Далее церковь Воздвижения креста господня, а при ней родился митрополит Иов. «Из капиталистов ныне замечательны купцы балахнинские В. и М. Парамоновы, имеющие до 100 000 руб. наличного капитала, и московский купец Белов, имеющий наличного капитала до 50 000 руб.». На вопрос о первоначальном основании Катунок *надобно отвечать*, что здешнее поселение относится к временам стародавним. Образованность жителей *время от времени* принимает все более широкие размеры. Мало того, «можно смело сказать, что катунцы вполне сочувствуют современному прогрессу». Мало того, «они выписывают несколько *современных* журналов и газет, следят за преобразованиями, движением торговли и *даже политикою*, словом, за всею современностию». Мало того, «охотно становятся на клиросе, в церквах, стройно поют, *внятно* читают часы, апостол, шестопсалмие и т. под.»

Кроме того, «дóма в часы досуга, между прочим (заметьте: между прочим), читают жития святых и другие священные книги. Воспитанные на *началах истинного знания* и доброй нравственности, они (это катунцы-то) в своих *мыслях*, чувствах (кто это узнал, любопытно знать), предприятиях и самых делах проявляют плоды своего умственного развития и более или менее ясного человеческого сознания»... А? Каково-с? Да; еще пропустил!.. «Язык здешний чист и естественен».

Неужели, читатель, все еще тебе этого мало? Ну так слушай же, любезнейший!

〈Далее наклеена вырезка из газеты «Волга» 1864 г. со следующим текстом:〉

«По своим занятиям и торговым делам, сталкиваясь с лицами более или менее грамотными, бывалыми и сведущими, они привыкают к оборотам речи более вежливым: например, „ваша милость, ваше благородие, ваше степенство, что вам угодно?“» (Это всё катунцы).

«Катунский костюм *моден* и роскошен...

Мужчина своих опойков на обувь не жалеет, тем более щеголяет *нежный* пол.

Здешний костюм *какою-нибудь* малостию уступает городскому... ЖителиКатунок усердны к храму божию в высшей степени... Здешние жители любят и хороший приют... Они голосистых диаконов хватают на разрыв. У которой церкви диакон голосистее, туда больше ходит и народу...

Все церкви бывают полны... Катунцы в особенности отличаются святым обрядом поминовения усопших... Жители вполне сознают великую важность священнического сана... Жители и между собою обращаются в духе братолюбия... Взаимная вежливость, сострадательность к несчастным, снисходительность к слабостям, *чуждая насмешек* и всякого оскорбления,— вот прекрасные черты их характера!.. Бывали даже примеры геройской отваги, за каковые подвиги отважные удостоивались награды и от правительства...» (*там же*).

Читатель! Неужели ты не рвешь на себе волосы и не ругаешь... самого себя всякими поносными словами за то, что ты до сих пор коснел в неведении и ничего не знал о том, что такое Катунки? Этакой прелести ты не знал! И после этого у тебя достает совести хвастаться знанием своего отечества? Стыдись!

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 185, лл. 1—2.

ХРОНИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В «ЖЕНСКОМ ВЕСТНИКЕ» (1867)

Хроника «Новости петербургской жизни», опубликованная в майском — сентябрьском номерах журнала «Женский вестник» 1867 г., подписана буквой *С*. Сопоставление ее с известными произведениями Слепцова и изучение материалов, связанных с его участием в «Женском вестнике», позволяют сделать заключение: *хроника написана Слепцовым*. Это обстоятельство оставалось до сих пор неизвестным. Причина этого в том, что автор сам ввел в заблуждение своих современников и будущих исследователей.

25 сентября 1866 г. цензура выдала разрешение на выпуск в свет первого номера нового ежемесячного журнала «Женский вестник». Издательницей была А. Мессарош, официальным редактором — ее муж, Н. Мессарош, фактическим же — Слепцов, который и открыл первую книжку журнала статьей «Женское дело», помещенной за его полной подписью. А через несколько месяцев, в марте 1867 г., писатель напечатал в газетах «С.-Петербургские ведомости» и «Голос» открытое письмо, в котором заявил: «С 1 же октября 〈1866 г.〉 я прекратил всякие сношения с редакцией „Женского вестника“ »[1].

Современники и позднейшие исследователи поверили этому заявлению, как ни странно оно было. В этом открытом письме Слепцов сообщал, что три месяца (с июля по сентябрь 1866 г.) он, работая в редакции «Женского вестника», «занимался чтением рукописей, корректур и выбором статей», «входил в соглашение с писателями и приглашал сотрудников; одним словом, занимался организациею журнала». Почему же человек, столь активно принявшийся за «организацию», т. е. редактирование, журнала, всего лишь через пять дней после того как первая книжка его была разрешена цензурой, «прекратил всякие сношения с редакцией» и почему он счел необходимым объявить об этом лишь через полгода?

Удовлетворительных ответов на эти вопросы письмо Слепцова не давало. Но заявлению писателя все же поверили, тогда как в действительности оно было не чем иным, как мистификацией. Публичное заявление Слепцова об уходе (еще в октябре) из «Женского вестника» было вызвано его стремлением скрыть свое дальнейшее участие в журнале и, в первую очередь, устранить возможность связывать его имя с политически острой хроникой «Новости петербургской жизни» (заявление было сделано накануне выхода пятой книжки «Женского вестника», в которой начиналось печатание хроники). А чтобы письмо было убедительнее, за несколько дней до опубликования его в печати, в камере мирового судьи была разыграна сцена распри Мессарош со Слепцовым. В суде разбиралось дело по иску типографии к издательнице «Женского вестника». Среди присутствующих находился и Слепцов. Воспользовавшись этим «случаем», Мессарош предъявила ему иск на 300 рублей.

Вот как была воспроизведена эта сцена в газетных отчетах:

«К столу подходит госпожа Мессарош, издательница журнала „Женский вестник“, и, подавая мировому судье бумагу, говорит: „Г-н *Слепцов* задолжал мне 300 руб. серебром. Мне известно, что летом жил он на Черной речке; теперь же я не знаю места его жительства: он его скрывает от меня. Пользуясь теперь тем, что г-н Слепцов находится здесь налицо, я прошу вас, г-н судья, вызвать его и взять от него нужные для меня сведения“.

С у д ь я. Г-н Слепцов здесь? (*Слепцов выходит к столу судьи.*)

С у д ь я. Вот г-жа Мессарош заявляет, что вы должны ей 300 руб. серебром и она остается в неизвестности насчет вашего адреса.

С л е п ц о в. Я ничего тут не понимаю.

С у д ь я. Вы отказываетесь указать место вашего жительства?

С л е п ц о в. И не думал.

С у д ь я. Дело все в том, что г-же Мессарош нужно знать место вашего жительства. Желаете вы объявить его?

С л е п ц о в. Нет никаких причин отказаться.

Судья записывает адрес г-на Слепцова, который уходит за решетку. Г-жа Мессарош остается и говорит, что она, прождавши мирового судью два часа, сделалась больна» [2].

Это сообщение в газетах давало возможность Слепцову сослаться в своем открытом письме на «несправедливые» требования к нему издательницы и тем самым мотивировать «разрыв» с ее журналом. «Г-жа Мессарош,— писал Слепцов,— заявила судье 14 участка, что я задолжал ей 300 руб. и, не желая уплатить их, скрываюсь от нее. Мировой судья отказался разбирать это дело на том основании, что я, по месту жительства, не принадлежу к его участку. Написать новый иск г-жа Мессарош, вероятно, не решится, потому что не может представить в его пользу никаких доказательств по той простой причине, что я ей вовсе и не должен; жалоба же ее на меня есть чистая выдумка».

История в суде, по-видимому, удивила и взволновала людей, близких писателю. Так, В. З. Воронина просит его объяснить происшедшее. Но Слепцов отказывается сделать это в письме и лишь осторожно намекает в нем на мистификацию: «Дело С⟨лепцова⟩ и М⟨ессарош⟩ рассказать в двух словах нельзя, будет непонятно. Дела этого в суде даже и не было; оно не начиналось потому, что М⟨ессарош⟩ взяла свою претензию назад. Она требовала с него деньги, которые платила ему за редакторство,— а потом отказалась. Вся эта история затеялась вдруг, экспромтом и так же кончилась. При свидании расскажу» [3].

Таким образом, Мессарош дала Слепцову, несомненно по его просьбе, возможность не только разыграть сцену в суде, но и напечатать оскорбительное для нее письмо в редакцию «Голоса» и «С.-Петербургских ведомостей».

Какие же обстоятельства заставили Слепцова прибегнуть к столь необычным и сильным средствам защиты? Ответ на этот вопрос дают некоторые цензурные материалы и документы III Отделения, а также статьи и заметки в периодической печати 1866—1867 гг. Из «Дела по прошению жены коллежского асессора Ан. Мессарош о дозволении ей издавать в С.-Петербурге журнал „Женский вестник“» узнаем, что издание этого журнала было задумано еще в начале марта 1866 г., т. е. за месяц до выстрела Каракозова и почти за полтора месяца до ареста Слепцова. Но разрешение на это издание было дано лишь в конце 1866 г. При этом Главное управление по делам печати предложило председателю С.-Петербургского цензурного комитета обратить особое внимание цензоров на «Женский вестник» и «Дело», просматривать эти журналы «с особенною тщательностью», так как в них собираются принимать участие бывшие сотрудники «Современника» и «Русского слова» [4].

11 сентября 1866 г. в газете «Русский инвалид» (№ 232) было напечатано объявление от редакции нового журнала: «„Женский вестник“ будет выходить ежемесячно, книжками от 20-ти до 25-ти печатных листов. Первая книга выйдет в половине сентября настоящего года. В состав ее, между прочим, войдут следующие статьи: 1) „Домашний очаг“, В. А. Слепцова. 2) „В чаду глубоких соображений“, роман в трех книгах, А. Михайлова ⟨...⟩. 3) „Записки ипохондрика“, Н. А. Благовещенского. 4) „Медик и пациенты“ (очерк провинциальных нравов), Г. И. Успенского. 5) „Влияние экономического прогресса на положение женщины и семьи“, П. Н. Ткачева...»

В тот же день начальник Главного управления по делам печати Щербинин направил председателю С.-Петербургского цензурного комитета Петрову следующее предписание:

Конфиденциально

Его превосходительству А. Г. Петрову

Милостивый государь Александр Григорьевич

Я уже лично поручал вашему превосходительству предложить подлежащим цензорам обращать особое внимание на статьи, представляемые к просмотру для разрешенных в недавнее время журналов «Дело» и «Женский вестник».

Уже вследствие имеющихся в Главном управлении по делам печати сведений и напечатанного в № 232 «Русского инвалида» от редакции последнего журнала объявления, в котором положительно поименованы сотрудники этого журнала из числа лиц, принимавших участие в закрытом, по *высочайшему* повелению, за вредное направление, журнала «Русское слово»,— я считаю необходимым вновь покорнейше просить

вас, милостивый государь, поручить гг. цензорам просматривать статьи для упомянутых журналов с особенною тщательностью, не допуская ничего, имеющего характер того направления, которое уже осуждено правительством в вышеупомянутом *высочайшем* повелении, и в случае настойчивого преследования редакциями журналов «Дело» и «Женский вестник» такового же направления иметь в виду побуждение означенных редакций к добровольному закрытию сих журналов.

Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности.

М. Щербинин

№ 1832.

11 сентября 1866 года[5].



ОТЪ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„ЖЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ".

Женскій Вѣстникъ будетъ выходить ежемѣсячно, книжками отъ 20-ти до 25-ти печатныхъ листовъ. Первая книга выйдетъ въ половинѣ сентября настоящаго года. Въ составъ ея, между прочимъ, войдутъ слѣдующія статьи: 1) Домашній очагъ, *В. А. Слѣпцова*. 2) Въ чаду глубокихъ соображеній, романъ въ трехъ книгахъ, *А. Михайлова* (автора романовъ: «Жизнь Шупова», «Гнилыя болота» и друг.). 3) Записки ипохондрика, *Н. А. Благовѣщенскаго*. 4) Медикъ и паціенты (очерки провинціальныхъ нравовъ), *Г. И. Успенскаго*. 5) Вліяніе экономическаго прогресса на положеніе женщины и семьи, *П. Н. Ткачева*, и другія. Кромѣ того, въ той-же книжкѣ начнется печатаніе двухъ переводныхъ романовъ: Вѣра Уинвинъ, *Жоржіонна Крекъ*, и Руфь, *Елизаветы Гаскель*.

Подписка принимается исключительно въ главной конторѣ журнала *Женскій Вѣстникъ*, близъ Владимірской церкви, по Большой Московской улицѣ, въ д. Оржевскаго, кв. № 8 й. Цѣна за годовое изданіе 12 руб. 50 коп., съ пересылкою и доставкою 14 руб. За полгода—7 руб., а съ пересылкою—8 руб. сер.

Издательница *А. Мессарошъ*. Редакторъ *Н. Мессарошъ*.

3—2

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ ЖУРНАЛА «ЖЕНСКИЙ ВЕСТНИК»

Среди сотрудников значится Слепцов. Его статья «Домашний очаг», обещанная в объявлении, в печати не появилась и остается неизвестной

«Русский инвалид» от 11 сентября 1866 г.

Щербинин, по-видимому, случайно называет здесь только одно «Русское слово». Почти во всех цензурных документах этого времени рядом с «Русским словом», на первом месте упоминается и «Современник», также, как известно, закрытый в мае 1866 г. «по высочайшему повелению».

Так, в цитированном «деле», по прошению Мессарош, находим «заметки» по поводу первого номера «Женского вестника». Они не подписаны. «Прочитав внимательно первые книжки двух новых периодических изданий (выходящих с разрешения цензурного ведомства)— „Дело" и „Женский вестник",—пишет безымянный автор, чиновник канцелярии Главного управления по делам печати,— легко убедиться, что они имеют в виду пропаганду тех же самых теорий, развитием которых усердно занимались „Современник" и „Русское слово", ныне запрещенные правительством». Далее в заметках утверждается, что сотрудники «Женского вестника» и «Дела» ставят задачей восстановить один класс общества против другого, опозорить высшие классы, умышленно рисуют положение народа «самыми мрачными красками», делают «постоянные намеки на необходимость преобразования общественного быта на новых, социалистических основах». «Направление это проводится ими с редкою последовательностью от начала до конца в романах, повестях, так называемых статьях научного содержания и в беглых заметках о различных явлениях общественной жизни». Здесь сказано также, что

«Женский вестник» выдвигает на первый план «женский вопрос», который «сделался синонимом разврата». «Псевдо-прогрессисты»,— по словам чиновника,— понимают «женский вопрос» «в смысле извращения всех начал, на коих зиждется союз семейный. От первой до последней страницы встречаем мы разглагольствования о „праве женщины на труд"; мы видим ревностные усилия доказать до какой степени нелепы понятия современного нам общества, обрекающего женщину на „бесплодное толчение воды в тесном круге так называемых домашних обязанностей"».

Этот отзыв был доложен министру народного просвещения Д. А. Толстому и заставил его обратиться к министру внутренних дел П. А. Валуеву со следующей запиской:

14 октября 1866 г.

Его превосходительству П. А. Валуеву

Милостивый государь Петр Александрович

В мае текущего года прекращены были по *высочайшему* повелению, административным порядком два периодических органа: «Современник» и «Русское слово», служившие органами социалистических учений того особого, нигде не виданного направления, которое известно в литературе под именем «нигилизма». Мера эта встречена была сочувствием всего благомыслящего общества, ибо наравне с правительством могло оно убедиться в тех страшных последствиях, которые порождаются систематическими нападками на право собственности, явным стремлением опозорить все, что возвышается происхождением, образованием, богатством, и подорвать основы, на которых зиждется союз семейный. Правительство выразило твердое намерение преградить путь к распространению подобных теорий; люди благонамеренные получили право надеяться, что молодежь наша ограждена наконец от этого губительного яда, который, к несчастию, успел уже обнаружить на нее свое действие.

Между тем в прошлом сентябре месяце появились, с разрешения предварительной цензуры, первые книжки новых журналов: «Дело» и «Женский вестник». Сотрудники их, по большей части те же самые, что были в «Современнике» и «Русском слове»— не удивительно поэтому, что и направление, которое господствует в них, не отличается нисколько от направления двух запрещенных ныне изданий.

Из прилагаемых при сем заметок ваше превосходительство изволите убедиться, что лица, против которых правительство принуждено было прибегнуть к наиболее строгой каре, нашли теперь новое поприще для своей деятельности и направляют ее к тем же преступным целям, которые они имели в виду прежде.

Обстоятельство это кажется мне столь важным, что я позволю себе сообщить о сем на благоусмотрение вашего превосходительства. Приступив к выполнению обязанностей, возложенных на меня государем императором по ведомству народного просвещения, я убежден, что ничем не могу оправдать лучше высокое доверие его величества, ничем не могу служить полезнее интересам нашего народного образования, как решившись твердо ограждать юношество от софистических учений, которые подрывают в нем любовь к серьезному труду и наполняют его ум опасными и нелепыми мечтаниями. Трудную задачу эту вознамерился я выполнить неуклонно, сознавая всю ответственность, которая лежит на мне перед государем императором. Но я опасаюсь, что едва ли старания эти увенчаются успехом, если учения социализма и нигилизма, изгоняемые из школы, будут по-прежнему господствовать в литературе, которая не может не обнаруживать на школу значительного влияния. Чтобы пресечь распространение зла, мне кажется необходимым отнять у него все средства действовать на общественное мнение.

Зная, что разумные охранительные начала всегда находили в вашем превосходительстве ревностного поборника, я уверен, что вы изволите оценить справедливость изложенных мною соображений и не откажете принять меры касательно неблагонамеренной пропаганды журналов «Дело» и «Женский вестник». Примите уверение в истинном почтении и совершенной преданности.

Граф Дмитрий Толстой

На полях рукою Валуева: М. П. Щербинину. Буду ожидать от вас проекта отзыва гр. Толстому.

Другою рукою, ниже: Записка гр. Толстого передана В. М. Лазаревскому для составления журнала по «Женскому вестнику». 22 ноября, № 2466 [6].

Результат обращения Д. Толстого к Валуеву не замедлил сказаться. По предписанию начальника Главного управления по делам печати Щербинина, Цензурный комитет постановил (в конце ноября 1866 г.) «подвергнуть гораздо более строгому и согласному с конфиденциальною инструкциею г. министра просмотру книжки „Женского вестника"» [7]. Вследствие этого журнал был поставлен в особенно трудное положение. За полтора года (с сентября 1866 г. до начала 1868 г.) вышло всего десять номеров. «Меры предосторожности, предписанные высшим начальством» [8], заставляли цензоров особенно придирчиво докладывать о «Женском вестнике» на заседаниях Цензурного комитета, что задерживало выпуск книжек. Обычная практика объяснений издателей с цензорами была запрещена. Цензору Де-Роберти, разрешившему первую книжку, было сделано замечание, так как уже в ней усматривалась попытка пропагандировать идеи Фурье и нигилизм.

Представленный в цензуру второй номер журнала заставил Главное управление по делам печати высказаться за желательность прекращения издания: «По недоверию, возбужденному в высших правительственных сферах деятельностью издателей „Женского вестника", желательно было бы, конечно, чтоб издание этого журнала прекратилось, но достигнуть этого цензурными мерами возможно будет только тогда, когда зловредное направление означенного издания выразится более ясными чертами» [9].

То, что «Женский вестник» все же не был запрещен цензурой, секретные осведомители III Отделения объясняли интимными отношениями А. Мессарош с Валуевым: «Рассказывают, что издаваемый супругами Мессарош журнал „Женский вестник" предполагалось было прекратить, но что его поддерживал г. министр внутренних дел, который будто бы находится в близких отношениях с г-жей Мессарош» [10].

В результате установленных для журнала особенно строгих цензурных требований из него были изъяты до начала 1868 г. главы романа А. Михайлова «В чаду глубоких соображений», повесть К. Кованько «Впотьмах», статья Н. А. Александрова «Скользкий путь новых романистов» и др. Цензорам было вменено в обязанность обращать внимание «не только на отдельные выражения, но и на общий характер каждой статьи и, наконец, вообще на группировку статей, входящих в один и тот же нумер» [11].

Издательница пыталась было объясняться в Цензурном комитете, но в дело вмешалось III Отделение, и с супругов Мессарош была взята подписка «в том, что они, по предмету издаваемого ими журнала, не будут отныне обращаться ни в Главное управление по делам печати, ни в Цензурный комитет и вообще ни в какое другое правительственное административное учреждение лично с просьбами, жалобами, претензиями или какими бы то ни было другими личными домогательствами» [12].

Приведенные документы характеризуют ситуацию и разъясняют обстоятельства, заставившие Слепцова прибегнуть к мистификации. Напрашивается такой вывод: Слепцов знал, что «Женский вестник» взят под особое подозрение властей; его как фактического организатора и редактора журнала мог предупредить об этом Некрасов, которого, в свою очередь, информировал, вероятно, член совета Главного управления по делам печати В. М. Лазаревский, составлявший доклад по «Женскому вестнику» [13]. Руководящее участие в журнале Слепцова, только что привлекавшегося по делу Каракозова, бывшего сотрудника «Современника», усугубляло положение. Разыграть уход из журнала — значило, быть может, спасти его; оставшись же негласным сотрудником, можно было, поддерживая журнал, не навлекать на себя подозрений.

В программной статье «Женское дело», которой открывалось издание, Слепцов писал о необходимости приложить «терпение и добросовестность», чтобы достичь успеха. Он отдавал себе отчет в том, что придется преодолевать препятствия и «недоброже-

лательство со стороны самой солидной части общества». Он писал: «задача этого дела, несмотря на свой специальный характер, клонится к пользе всех людей вообще ⟨...⟩ Такое дело может смело требовать от человека, чтобы он отдал ему все силы. Этому делу и мы желаем посвятить всю нашу деятельность» (см. ниже, стр. 276).

Как видим, Слепцов, горячо высказавший это убеждение, не капитулировал перед встретившимися трудностями, как это до сих пор представлялось, а лишь «ушел в подполье», сделал невидимым для враждебных глаз свое участие в журнале.

Впрочем, кое-кто из современников Слепцова догадывался, что он продолжает участвовать в «Женском вестнике». Так, реакционный критик Н. Соловьев, сотрудник «Всемирного труда», давая обзор журналистики 1867 г., уверял читающую публику: не так уж много «отрицателей», если одни и те же лица (Слепцов, Решетников, А. Михайлов, Успенский), бывшие сотрудники «Современника», «Русского слова», работают одновременно в «Женском вестнике» и других изданиях [14].

Слепцов стремился нейтрализовать подобные «догадки». Когда, например, А. Жемчужников в мае 1867 г. намекнул в «С.-Петербургских ведомостях» на существование «соредактора» в «Женском вестнике» [15], Слепцов тотчас же, во второй статье «Новостей петербургской жизни», откликнулся на это сообщение, назвав его «инсинуацией».

* * *

«Обещанная в этой книжке статья В. А. Слепцова „Домашний очаг" отложена до следующих книжек»,— читаем в первом номере «Женского вестника». Статья была обещана редакцией в цитированном выше объявлении, напечатанном в «Русском инвалиде» (11 сентября 1866), на которое обращено было внимание цензуры. Статья эта так и не появилась в печати, неизвестна она и до сих пор. У нас имеется свидетельство, что статья была задумана писателем еще до ареста, в пору, когда возникла мысль об издании «Женского вестника» (в начале 1866 г.). В бумагах Слепцова, взятых у него при аресте, на одном из чистых листов, имеется такая запись:

Домашний очаг
3. Дом.
2. Деньги.
1. Слуги.
Домашний очаг [16].

Нет сомнения, что это план статьи «Домашний очаг». Ясно также, что статья была написана Слепцовым или начата после освобождения из тюрьмы, но «отложена до следующих книжек». Потому ли отложена, что редакция опасалась цензурных преследований анонсированной слепцовской статьи или просто потому, что статья не была готова — сведений нет. Вместо «обещанной» статьи был опубликован в журнале цикл статей под названием «Новости петербургской жизни»; о нем не говорилось заранее читателям, и появился он не в первых двух книжках, а в №№ 5—9, т. е. после заявления Слепцова о разрыве с «Женским вестником».

В новом цикле, как и в «Провинциальной хронике» (см. выше, стр. 186—204), Слепцов выступает под маской «благонамеренного человека»: «Я весьма добродушный и снисходительный молодой человек. Это вы увидите из дальнейшего чтения». Познакомившись внимательно с «Новостями петербургской жизни», читатель поймет скрытую иронию, поставит под сомнение «добродушие и снисходительность», как и неопытность автора: «Я молодой и совершенно неизвестный литератор», «Я мелкая сошка в литературном мире». Слепцов и здесь «обманывает» читателя. Мистификация — один из приемов Слепцова-публициста и художника; к нему он прибегает и в «Петербургских заметках», где также сообщает о себе недостоверные биографические сведения. «Я тоже родился в Петербурге»,— заявляет там Слепцов, хотя на самом деле родиной его является Воронеж [17]. «Я видел такую старушенку раз проездом в Сибири ⟨...⟩ это было еще очень давно»,— говорит писатель в «Новостях петербургской жизни», хотя он никогда в Сибири не был.

Слепцов сознательно «сбивает с толку» читателя, давая о себе недостоверные, противоречивые сведения, говоря «полуправду».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СЛЕПЦОВА С ИЗВЕЩЕНИЕМ О ПРЕКРАЩЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В ЖУРНАЛЕ «ЖЕНСКИЙ ВЕСТНИК»

«Голос» от 15 марта 1867 г.

Издательница «Женскаго Вѣстника», г-жа Мессарошъ, заявила мировому судьѣ 14-го участка, что я задолжалъ ей 300 руб. и, не желая уплатить ихъ,—скрываюсь отъ нея. Мировой судья отказался разобирать это дѣло на томъ основаніи, что я по мѣсту жительства не принадлежу къ его участку. Начинать новый искъ г-жа Мессарошъ, вѣроятно, не рѣшится, потому что не можетъ представить въ его пользу никакихъ доказательствъ, по той простой причинѣ, что *я ей вовсе и не долженъ*; жалоба же ея на меня есть чистая выдумка.

Впродолженіе трехъ мѣсяцевъ (іюль, августъ, сентябрь) я работалъ въ редакціи «Женскаго Вѣстника»: я занимался чтеніемъ рукописей, корректуръ и выборомъ статей; кромѣ того, входилъ въ соглашеніе съ писателями и приглашалъ сотрудниковъ; однимъ словомъ, занимался оранизаціею журнала. За эту работу я получалъ, по условію, 100 руб. въ мѣсяцъ и въ полученіи этихъ денегъ выдавалъ г-жѣ Мессарошъ росписки. Это могутъ засвидѣтельствовать трое главныхъ сотрудниковъ «Женскаго Вѣстника»: гг. Благовѣщенскій, Михайловъ (Шелгеръ) и Ткачевъ. Кромѣ этихъ денегъ, которыя мною заработаны, я отъ г-жи Мессарошъ не получилъ ни одной копѣйки. Съ 1-го же октября я прекратилъ всякія сношенія съ редакціей «Женскаго Вѣстника».

В. Слѣпцовъ.

Автор хроники «Новости петербургской жизни» сообщает: «...тут считаю приличным заметить, что пишу преплохие стихи, впрочем не хуже стихов К. Случевского и лучше стихов Варвары Анненковой». Эти слова исполняют двойную функцию. Они уязвляют названных поэтов и скрывают факт принадлежности хроники Слепцову. Лишь немногие современники знали, что он пишет стихи [18]. Правда, во вступлении к «Скромным упражнениям» писатель обещал писать «все, что 〈...〉 вздумается», не только сцены, размышления, очерки, но «даже и стихи» (II, 332), однако ни в этом произведении, ни в других стихи за подписью Слепцова не появлялись. И потому наличие стихотворных текстов в «Новостях петербургской жизни» могло вызывать сомнение в принадлежности Слепцову этой хроники даже у тех, кто склонен был считать ее слепцовской.

Рецензенты, подвергая критике произведение Слепцова, не называли имени его автора. Приведем один из отзывов, в котором весьма выразительно, с позиций идейного противника Слепцова, определено содержание хроники: «Стоит только прочесть в 5-м и 6-м нумерах „Женского вестника“ „Новости петербургской жизни“, заметки скромного (в сущности, совсем нескромного) человека, писанные, впрочем, не без таланта, чтоб ужаснуться тому циническому аскетизму, каким отличается миросозерцание автора этих заметок. Он доказывает, подобно автору „Бессилия умственной бедности“, всю непроходимую пустоту нашего общества. По мнению автора, русское общество прежде всего скучает и только скучает; желая чем-нибудь заняться, но не имея никаких серьезных предметов для занятия, оно всецело отдается праздности, скуке и пустякам. Пустяками считает автор все безразлично: и драму гр. Толстого, и литературную полемику, и интерес, который общество принимает в деятельности ли новых судебных установлений или в каком-либо выходящем из обыкновенного уголовном случае, и восторженный прием славян, и русскую поэзию, которая облеклась ныне, по его мнению, в ливрейную одежду. Вообще все русские деятели кажутся ему швейцарами, т. е. лакеями; литераторы и журналисты — *флюгарками*, которые, „подняв свои *бесстыжие* головы, хозяйничают совершенно безнаказанно, потому что нет теперь над ними сильной полемической *палки*, которая их жестоко била когда-то“. Но совершенно сходясь,

по-видимому, со взглядами на женский вопрос самой редакции журнала, которая совершенно основательно главным назначением женщин считает все-таки их назначение быть прежде всего матерью, автор „Новостей петербургской жизни" весь женский вопрос, как кажется, в том только и понимает, чтоб женщинам предоставлено было заниматься такими же общественными работами, какими занимаются и мужчины, и чтоб им позволено было употреблять, если вздумается, выражение „на какого рожна" и тому подобное» [19].

* * *

Цикл «Новости петербургской жизни» состоит из пяти статей. Выбор материала, его расположение под определенным углом зрения, уже сами по себе доказывают, что принадлежит этот цикл не «молодому литератору», не «мелкой сошке в литературном мире», а зрелому, опытному писателю.

Заглавие и подзаголовок цикла («Новости петербургской жизни. Скромные заметки»), содержание, манера изложения близки к другим публицистическим произведениям Слепцова: «Петербургским заметкам», «Скромным упражнениям». Характерно вступление, в котором автор делится с читателем своими намерениями: «Я собираюсь ежемесячно сообщать читателям „Женского вестника" о тех явлениях, которые у нас зовутся общественной жизнью». Сравним эти слова со вступлением к «Скромным упражнениям»: «Это я, собственно, намереваюсь упражняться,— один. Под этим заглавием я желаю помещать многое» (II, 332), к циклу «Провинциальная хроника»: «Приступая к провинциальной хронике, считаю долгом предупредить читателя, что никаких тенденций, обличений, а тем более скандалов в моей хронике он не встретит. Я намерен просто представить столичному читателю картину современной общественной жизни в провинции» (см. стр. 186 настоящего тома).

Хотя в заглавии оговорено, что речь пойдет о новостях *петербургской* жизни, однако в своих обобщениях, основанных на превосходном знании жизни современного русского общества, автор выходит за пределы Петербурга к «российской нелогичности», создает поразительно смелый образ всей России, находящейся в очередной полосе реакции. Слепцов делает экскурсы в прошлое, он сближает времена крепостного права с современностью, тем самым разрушая представление о *новостях* петербургской жизни (история с помещиком-эксцентриком, эпизод с помещицей, которая задает «дранцию»).

Порою воспроизводит писатель жизнь провинции — серенького русского городка — и становится ясно: он далек от тех современников (быть может, здесь имеются в виду даже революционеры, члены «Земли и воли»), которые, видя, что «плоха на столицу надежда», возлагали все свои надежды на провинцию.

В хронике, как и в других произведениях, написанных в жанре обозрения, Слепцов пронизывает разнородный материал единой мыслью. Здесь — в «Новостях петербургской жизни» — это мысль об «анормальной жизни» в России в условиях существующего социально-политического строя. Сменяются, как в калейдоскопе, сценки, кадры, лица, невеселые пейзажи, «курьезные» случаи, но эти «частные», конкретные зарисовки ведут к широким обобщениям. Внешне не связанные между собой эпизоды (сцена в канцелярии, в квартире коломенского чиновника, в ресторане Палкина и др.) служат, как в «Петербургских заметках», в «Ненастном дне», единой цели: созданию общей картины современной русской жизни, находящейся в полосе реакции.

В хронике воспроизводится атмосфера деспотизма, шпионажа, лакейства («все мы швейцары»), пассивности, пустоты, одуряющей скуки («непроходимая одурь нападает на моих сограждан»), «гастрономического разврата», прикрытого «ханжеством и лицемерием». Перед читателем вырисовывается и сам автор — не сторонний равнодушный «обозреватель», а человек мыслящий и чувствующий. «Хроникер» негодует и сочувствует, издевается и шутит, рассуждает и мечтает.

Писатель разоблачает власть имущих и газетных «флюгарок», тех, кто возбуждает в русском обществе шовинистические, верноподданнические настроения (показывают «Жизнь за царя» и освистывают польский танец), закрывает воскресные школы

(«школу-то закрыли... еще не то будет»), преследует женщин, стремящихся к образованию (проект Муравьева выдать нигилисткам «желтые билеты»), покровительствует антинигилистической литературе.

Автору «Новостей петербургской жизни» претит либерализм во всех формах. Он видит, что удовлетворенность «каплями», «крохами» делается знамением времени, что призыв: «Кайтесь!» становится лозунгом реакционной поры (имеется в виду резкое поправение либеральных элементов дворянского и буржуазного общества после польского восстания 1863 г. и выстрела Каракозова в 1866 г.). Писатель выступает против пропагандистов социального смирения, против апологетов либеральных идей («идти тихохонько»), придававших решающее значение гласному суду («кукольной комедии»), земским учреждениям и проч. Он угадывает, что между ними и реакционерами, готовыми уничтожить «поскребки гласности», не такое уж большое отличие. И те и другие — враги «измов», т. е. коммунизма, социализма, демократизма, «нигилизма»; и те и другие запугивают этими «измами» «бедный русский люд», создавая даже в этих целях новые словечки: например, «энгелизм» [20].

* * *

В «Новостях петербургской жизни» нарисована картина экономического положения разоренной «бедной России» и способы, к которым прибегает правительство, чтобы выйти из денежных затруднений: продажа Аляски Америке, внутренние займы, лотереи и т. д.

Из многих частностей вырисовывается также картина политической жизни: колонизация царским правительством Средней Азии (прибытие ташкентской депутации), враждебные отношения с Турцией, стремление создать под эгидой русского царя объединенное славянское государство, панславистские настроения официальных кругов (торжественные встречи славянских делегаций, сбор пожертвований в пользу кандиотов — христиан на Крите), поддержка монархических тенденций в других странах: «А Максимилиана-то... Ужасно!..— Что-то Австрия скажет?» В этих словах передано сочувствие реакционной части общества императору Мексики, австрийскому эрцгерцогу, казненному мексиканскими республиканцами. Современники Слепцова ассоциировали это событие с другим, происшедшим почти одновременно: покушение Березовского в Париже на Александра II. Точно так же упоминание о прибытии в Петербург американской делегации вызывало у современников определенные представления: «дружественные» иностранные державы выражали свое сочувствие Александру II по поводу «чудесного избавления» его от выстрела Каракозова.

Писатель то и дело напоминает о демократических силах, противодействующих самодержавию и реакции в России и за ее пределами. В хронике есть прямые указания и завуалированные намеки на «нигилистов» в России, республиканцев в Мексике, гарибальдийцев в Италии, на выступление против действий правительства в Англии: «...в Англии 〈...〉 общественное мнение занято весьма серьезными делами»; «Недавно в Лондоне был проектирован билль о реформе и при этом...». Очевидно, что здесь имеется в виду билль об избирательной реформе, дебатировавшийся в Палате общин и принятый в середине 1867 г. в палате лордов. Несколько расширив число избирателей (за счет мелкой буржуазии), билль не дал избирательных прав широким народным массам и вызвал протест рабочих, студентов (манифестации, митинги в Гайд-парке).

Писатель показывает, что в России нет возможности вести даже такую ограниченную борьбу народа за свои права и свободу. Однако автор «Новостей петербургской жизни» не только констатирует тяжелое экономическое положение русского народа в «голодный» 1867 год («теперича сдыхай», овес «дорог», «скотина все падает»), бесправие простого человека («обсчитали», «вдарят в скулы»), пренебрежение к массам со стороны привилегированных сословий, но видит, что народ «вынашивает в своем сердце интенсивный протест».

С горечью говорит Слепцов о том, что в России «нет фамилии, подобной» Гарибальди; при этом подчеркивается, что речь идет о Гарибальди — вожде освободительного движения, а не Гарибальди — «генерале от инфантерии» (так называли великого

итальянца либеральные журналисты, которые, по словам Слепцова, «не смеют» сочувственно произносить это имя, но не прочь поспекулировать им, заигрывая с читателями накануне нового года перед подпиской на газеты и журналы).

Слепцов видит, что в России сложились в эту пору крайне неблагоприятные условия для подготовки настоящих деятелей, но он все же сохраняет оптимизм: «Много нищеты и глупости, много безобразия и самовластия, много варварства и лицемерия, но в тумане издалека виднеется что-то другое, в котором нет ничего похожего с первым». Писатель ясно видит, что некоторая, наименее стойкая часть разночинцев испытывает на себе тлетворное влияние реакции, поглощается «мещанством» (перекличка с Помяловским — автором «Мещанского счастья», «Молотова»), однако он верит в «честное меньшинство», которое будет противостоять «плохим обстоятельствам».

Обличая реакционные стороны быта столичного общества, Слепцов часто как бы впадает в «щедринский тон». Особенно близок он к Щедрину в сатирической разработке темы «балета», используемого в качестве своего рода символа безыдейной развлекательности, наиболее консервативного («постоянного», по определению Щедрина) рода «бессловесного» искусства, наиболее процветающего в эпохи реакции, в периоды «понижения тона».

Тема балета используется Слепцовым и для сатирической полемики с Е. Н. Эдельсоном и Н. И. Соловьевым — сотрудниками реакционного журнала «Всемирный труд», издававшегося Э. А. Ханом. Так должны быть раскрыты слова автора: «...никогда никто не определял значения балетного дела в России и степень его влияния на цивилизацию. Это была бы весьма интересная статья, которая могла бы напечататься у Хана под покровительством Н. Соловьева». Слепцов имел тут в виду помещенную в критическом отделе (им заведывал Н. Соловьев) названного журнала (1867, №№ 1—3) статью Эдельсона «О значении искусства в цивилизации», направленную против эстетики Чернышевского.

Наряду с Эдельсоном многократно упоминаются в хронике Слепцова и другие сотрудники «Всемирного труда», в частности, В. П. Авенариус и Вс. Крестовский, авторы «антинигилистических романов», печатавшихся в художественном отделе журнала.

Значительное место уделяет Слепцов борьбе с пропагандой шовинистических и панславистских идей, которую вел «Всемирный труд». В хронике разоблачалась, в частности, великодержавно-националистическая подоплека призыва «Всемирного труда», обращенного ко всем враждующим партиям: «соединиться в одну общую русскую семью» [21].

Понимая всю серьезность переживаемого момента, когда верх взяли силы реакции, Слепцов не прощает даже своим старшим друзьям никаких колебаний и слабости. С досадой и горечью говорит он о стихотворении Некрасова «Осипу Ивановичу Комиссарову» («Не громка моя лира...»), написанном в связи с выстрелом Каракозова и напечатанном в апрельском номере «Современника» 1866 г. Хотя до конца дней Слепцов сохранил дружеские отношения с Некрасовым, хотя и в «Новостях петербургской жизни» писатель делает уважительную ссылку на сатирическое стихотворение Некрасова «Отрывки из путевых записок графа Гаранского», но он сурово осуждает попытку издателя «Современника» пойти на компромисс, чтобы спасти журнал. Констатируя начавшуюся эволюцию Суворина («Незнакомца») от демократизма к антинигилизму, Слепцов мимоходом намекает на один нашумевший в свое время эпизод из полемики Салтыкова-Щедрина с группой «Русского слова». Фраза «Все мы там будем» — скрытая цитата из салтыковской хроники «Наша общественная жизнь», от 21 января 1864 г.[22] Упоминая о «строгом вице-губернаторе» и вспоминая о том времени, когда и «вице-губернаторы стали носить pince-nez», Слепцов также имеет в виду Салтыкова.

Автор «Новостей петербургской жизни» пользуется разнообразными приемами изображения и повествования: описаниями, драматизированной формой, широко развернутым иносказанием (таков, например, рассказ о богатом помещике-эксцентрике и его дворовых, «очень давняя» история, в которой, однако, читатели могли уловить сходство с современностью: поведение помещика-эксцентрика напоминало колебания

правительственной политики в 1850—1860 гг., поведение дворовых — эволюцию угодливой прессы). В хронике создан ряд портретов-гротесков, иные из них по силе сатирической выразительности языка приближаются к щедринским. Таковы, например, изображения человека «с бараньей головой», чиновника Перепелкина, у которого вместо физиономии «заномеровано отношение», и мещанина — деревянного чурбана с отверстием для пищи. Близок к щедринскому и образ дворянского либерального интеллигента, «жениха земской управы»; получив хорошее место, он сменил «либерализм» на убеждение, что «спасение» — в «экзекуции». Слепцов прибегает то к открытой пародии (на стихи Варвары Анненковой), то к тайнописи, понятной лишь определенному кругу его современников. Так, в иронических словах: «честный автор этого честного романа»—единомышленники писателя узнавали автора «Некуда», так как брали на веру слух о причастности Лескова к III Отделению. Современники понимали, к какому органу печати относится такая характеристика: «Издается в *трех отделениях*»; «*в третьем отделении* есть весьма милая статейка о женщинах» (курсив наш.—*М. С.*). Речь тут шла о реакционнейшем журнальчике Ю. М. Богушевича «Литературная библиотека». Они догадывались также, что эпитет «инвалидный» заменяет название газеты «Русский инвалид», а «северо-восточный морозный ветер» — перифрастическое выражение, характеризующее репрессивную политику царизма по отношению к участникам русского освободительного движения.

Едва ли можно сомневаться в том, что Слепцов сознательно стремился вызвать у читателя ассоциацию с широко популярным в демократических кругах стихотворением Томаса Гуда «Песня о рубашке», когда говорил о несчастных, голодных, усталых девушках-швеях. Писатель намекал при этом не только на английского поэта, ставившего острые социальные вопросы, но и на его русского переводчика — сосланного на каторгу революционера М. И. Михайлова.

ОТЧЕТ
О СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ ИСКА, ПРЕДЪЯВЛЕННОГО СЛЕПЦОВУ ИЗДАТЕЛЬНИЦЕЙ ЖУРНАЛА «ЖЕНСКИЙ ВЕСТНИК» А. МЕССАРОШ

«Санкт-Петербургские ведомости» от 11 марта 1867 г.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.

Сцены у мирового судьи.

8-го марта, въ 7 часовъ вечера, у мирового судьи 14-го участка все мѣсто, отведенное для публики, было переполнено посѣтителями. Въ камерѣ становилось жарко. Между тѣмъ, свободныхъ вѣшалокъ въ передней уже давно не было. Нѣкоторые изъ вновь приходившихъ посѣтителей опасались оставить свое платье на неумерованныхъ вѣшалкахъ. Такимъ посѣтителямъ было вдвойнѣ жарко. Изъ-за того, чтобъ занять мѣсто ближе къ рѣшоткѣ, происходила порядочная давка. Вслѣдствіе этого распорядились чтобъ сторожъ не впускалъ новыхъ посѣтителей. Въ началѣ 9-го часа вышелъ мировой судья.

Къ столу подходитъ г-жа *Мессарошъ*, издательница журнала «Женскій Вѣстникъ», и подавая мирову судьѣ бумагу, говоритъ: «г. *Слѣпцовъ* задолжалъ мнѣ 300 руб. сер. Мнѣ извѣстно, что лѣтомъ жилъ онъ на Черной Рѣчкѣ; теперь же я не знаю мѣста его жительства: онъ его скрываетъ отъ меня. Пользуясь теперь тѣмъ, что г. Слѣпцовъ находится здѣсь на лицо, я прошу васъ, г. судья, вызвать его и взять отъ него нужныя для меня свѣдѣнія».

Судья. Г. Слѣпцовъ здѣсь?

Слѣпцовъ выходитъ къ столу судьи.

Судья. Вотъ г-жа Мессарошъ заявляетъ что вы должны ей 300 руб. сер. и она остается въ неизвѣстности насчотъ вашего адреса.

Слѣпцовъ. Я ничего тутъ не понимаю.

Судья. Вы отказываетесь указать мѣсто вашего жительства?

Слѣпцовъ. И не думалъ.

Судья. Дѣло все въ томъ, что г-жѣ Мессарошъ нужно знать мѣсто вашего жительства. Желаете вы объявить его?

Слѣпцовъ. Нѣтъ никакихъ причинъ отказаться.

Михайлов

Затекшие пальцы болят,
И веки болят на опухших глазах...
Швея в своем жалком отрепье сидит
С шитьем и иголкой в руках.
Шьет — шьет — шьет.
В грязи, в нищете, голодна.
И жалобно горькую песню поет —
Поет о рубашке она...
. . . . . .
Не холст на рубашках вы носите, нет!
А жизнь безотрадную швей.
Шей! шей! шей!..
. . . . . .
Поплакать бы — легче бы сердцу от слез...
Нет, слезы мои! Не теките!
Иголке моей не мешайте вы шить!
Шитья моего не мочите!

(«Современник», 1860, № 9).

Слепцов

...сидят за работой девушки-мещанки. Шьют они рубахи 〈...〉
— Мы бы и рады шить, 〈...〉 да платы не хватает на жизнь...
— Шей, шей, шей!..
— Мы и рады бы шить, 〈...〉 да руки коченеют и есть хочется...
— Шей, шей, шей!..
— Мы бы и рады шить, да слезы подступают к горлу!..

Многие намеки Слепцова без труда расшифровывались современниками, так как они знали, например, что псевдоним «А. Скавронский» принадлежит писателю Г. П. Данилевскому, им были известны статьи П. В. Анненкова «Русская современная история в романе Тургенева „Дым“» («Вестник Европы», 1867, № 6) и Суворина (Незнакомца) «Недельные очерки и заметки» («С.-Петербургские ведомости», 1867, №№ 117 и 124, от 30 апреля и 7 мая) — статьи, в которых авторы восторженно отзывались о новом произведении Тургенева, в то время как в демократических кругах роман встретил отрицательное отношение.

Современникам не трудно было угадать иронию Слепцова в его словах о Карповиче, который будто бы собирается вскоре издавать ежедневную газету для распространения в обществе здравых мыслей касательно ростовщичества. Купец В. Ю. Карпович был характерной фигурой бурного капиталистического предпринимательства первых пореформенных лет. Открыв гласную кассу ссуд, он постарался прикрыть высокими соображениями свои ростовщические цели, даже выдвинул проект о том, как «облегчить народные нужды». «Цель моего предприятия,— уверял он,— есть *польза народная*, главное назначение — служить трудящемуся классу людей» [23]. (Конкретным поводом к ироническому замечанию Слепцова послужил, по-видимому, карманный календарь «Пятикопеечник», издание «Первой гласной кассы ссуд». СПб., 1867).

Достаточно было Слепцову только назвать имя Арсеньева и сказать, что дело его слушается в окружном суде, чтоб вызвать у современного ему читателя определенные ассоциации о нравах журналистов, их неблаговидных поступках. Издатель «Петербургского листка» Зарудный взыскал с редактора Арсеньева крупную сумму денег; газета перешла в руки Зарудного; Арсеньев же, не желая оставлять редакторское поприще, тотчас предпринял новое издание — «Петербургскую газету».

В России (в Петербурге и в провинции) нет *подлинной* общественной жизни,— говорит Слепцов всем материалом своей хроники. «Я знаю жизнь на Невском, жизнь сплетен, жизнь в театрах, жизнь за табелькой, но общественной не знаю и, надеюсь, догадаетесь почему». В «*узенький мирок*», которым «*единственно ограничивается*» современная русская общественная жизнь, иронически вводит читателя Слепцов. «Новый год застал нас веселящихся с благотворительною целью»,— пишет он,— и мы вспоминаем, как за два года до этого остро высмеял писатель «веселое направление», «ликование», неумеренное увлечение благотворительными спектаклями и балами в «Провинциальной хронике» и в «Скромных упражнениях».

В «Новостях петербургской жизни» показано, что любой политический вопрос (восточный, славянский и др.) воспринимается в обществе и в прессе лишь как очередная сенсация, которая интересна только своей внешней стороной, как повод к увеселениям, обедам, спичам. И потому политическая «злоба дня» уравнена Слепцовым с сенсационными уголовными историями, так же активно обсуждавшимися в печати («страшное» происшествие на Васильевском острове, дело Шлегель и др.), с толками о бенефисах балерины Гранцевой, певицы Барбо, о танцевальных вечерах Марцинкевича, ледяных балах, балаганах, увеселениях в саду Егарева, о представлениях в пантомимном театре Берга, гастролях немецкого цирка Ренца, о фокусниках-спиритах братьях Давенпортах. Обо всем этом шли оживленные споры, разгорались в газетах бурные страсти, не соответствующие масштабу явлений, их вызвавших. «Так как общество в настоящую минуту частию по близорукости, частию по простоте не находит для себя занятий более или менее серьезных, то ясно, что общественная мысль и обращается на пустяки»,— пишет Слепцов.

Читатель убеждается в том, что автор превосходно осведомлен в материалах «смиренной прессы российской», что он предъявляет общественной жизни, литературе и периодической печати серьезные требования, критически относится к современным продажным беспринципным журналистам — «наемникам». Слепцов хотел бы видеть организаторов общественного мнения, а перед ним — лакеи в барской передней, журналисты, похожие на «Милордку с опущенным после хозяйского дубья хвостом», или на выкормленную левретку. Перед ним «литературная лавочка — журнал тож», а владельцы этой «лавочки» мельче А. Кача — владельца петербургского универсального магазина, рекламы которого высмеивались в «Искре».

Автор «Новостей петербургской жизни» — опытный, искусный полемист, умело владеющий оружием иронии и сарказма. В доказательство своего «добродушия», терпимости он приводит такие «доводы»: «Я никогда не говорю громко, что „Гражданский брак" Чернявского — изрядная мерзость». «Я читал последнюю книжку „Всемирного труда" со статьей Соловьева и с повестью Авенариуса... Дальше этого идти нельзя... Вы усматриваете, что я не слишком брюзгливый джентельмен». Между тем именно об этих приобретших широкую популярность антинигилистических и «клубничных» сочинениях (пьесе Чернявского «Гражданский брак», повести Авенариуса «Поветрие»), так же как о статьях Соловьева, Незнакомца (Суворина), Х. Л. (Загуляева) — «газетных кликушах», «кумушках» — Слепцов дает самые уничтожающие отзывы, сохраняя видимость добродушия и веселости. В хронике названы прямо некоторые лица, черты которых использовал писатель в обобщающем сатирическом образе Ивана Флюгаркина; на других же лишь намекнул автор, рассчитывая на то, что читатели догадаются, кого именно он подразумевает.

При этом Слепцов часто прибегает к фигуре умолчания: «...рабочий—мужик... О, мужик, тьфу!.. Положим и он человек, но разве Зайцев не писал о неграх?.. И разве Скарятин не доказал, что...»

Автор вызывает этими словами, произнесенными «мудрецами» — умеренными либералами, сложные ассоциации, целый комплекс представлений. «Мудрецы» не прочь бы возвратить народ в положение рабов, но прямо говорить об этом в пору «реформ» не принято, приходится прикрывать презрение к народу («мужик, тьфу!») видимостью «гуманности» («и он человек»). Этим «мудрецам», в сущности, близка позиция реакционной газеты Скарятина «Весть», в которой ясно выражалась тенденция: сохранить разделение сословий, ограничить функции земских учреждений (изгнать «опасный плебс»), свести «на нет» гласный суд. Но «мудрецы» понимали, что только на газету, защищающую привилегии крупных землевладельцев-крепостников, ссылаться неприлично; они прибегали к дипломатическому приему: ссылались также на демократические журналы, используя при этом частные разногласия во враждебном им лагере. Такова функция упоминания о Зайцеве. Известно, что в начале 1865 г. «Современник» и «Искра» полемизировали с Зайцевым, сотрудником «Русского слова», именно с его утверждением: негры могут добиться равноправия лишь среди своих собратий, в Африке, но невозможны равные права их с европейцами. «Отрицать невозможность равноправности негров,— возражал Зайцеву «Современник»,— значит отрицать

возможность их свободы, значит утверждать неизбежность их рабства, значит сходиться во мнениях с американскими плантаторами» [24].

В другом случае, уже от своего имени, Слепцов называет Скарятина рядом с Артоболевским (издателем газеты «Гласный суд»), Юркевичем (Литвиновым) (издателем газеты «Народный голос»), при этом он вновь пользуется фигурой умолчания: «Скарятин хочет..., но кто же не знает, чего он хочет, и кто же не знает, чего они все хотят?» Хотя «Гласный суд» и «Народный голос» постоянно полемизировали с «Вестью» и между собой, но полемика эта была не принципиальной. Дальше умеренно-либеральных воззрений, защиты частных преобразований эти газеты не шли. И все же они подвергались в пору реакции преследованиям, издание газет было приостановлено летом 1867 г. Но этому не следует удивляться, достаточно вспомнить, что даже «Весть» не избежала подобной участи.

Приводя некоторые факты из жизни «простолюдинов», газеты «Гласный суд», «Народный голос» претендовали на роль защитников народных интересов. Какое содержание вкладывал «Народный голос» (газета более «правая», чем «Гласный суд») в свою программу, декларированную в начале издания (отражать интересы, желания и надежды народа), можно судить хотя бы по тем его номерам, в которых шла речь о покушении на Александра II в Париже или о предполагаемой продаже Николаевской железной дороги, о выпуске внутреннего займа. От лица «народа» газета выражала верноподданнические чувства: «Русскому грустно читать эти строки. Если правительству нужны деньги, то неужели мы, русские, так горячо любящие царя, *еще не сговрели* поддерживать славу и достоинство отечества?» Газета горячо сочувствовала идее искать у народа источник богатств, выпустить «народный внутренний заем» [25].

Не ясно ли, почему Слепцов считал возможным уравнять подобные газеты и их издателей с «Вестью» Скарятина?

Отметим также, что слова: «кто же не знает, чего они все хотят»,— могли относиться и к выпадам «Гласного суда», «Народного голоса» против «Женского вестника» и Слепцова, в частности. Так, критикуя программную статью Слепцова «Женское дело», безымянный сотрудник «Народного голоса» иронизировал над «великодушием и самоотвержением» автора; он упрекал его в «туманности» изложения. «Египетскими иероглифами, распространенными в последнее время», называет «Народный голос» язык Слепцова, при этом оказывает плохую услугу писателю, высказывая «догадку»: «Впрочем, быть может, это молчание происходит от „независящих от редакции обстоятельств“» [26]. Сотрудники «Гласного суда» то прямо издевались над «Женским вестником» (например, Ф. Веселкин в статье «Заявление благодарности „Женскому вестнику“» [27], которую имеет в виду в своей хронике Слепцов), то намекали на определенных лиц, участвующих тайно в «Женском вестнике»: «Ныне〈...〉 многие писатели избегают чести помещать свои имена на обертках новых журналов» [28].

В «Новостях петербургской жизни» отмечена неразборчивость либеральной и реакционной прессы в выборе средств борьбы с сотрудниками демократической печати: «Женского вестника», «Искры».

Рецензент «С.-Петербургских ведомостей», Суворин, делает нелепое предположение, что афиши для балаганов пишет «майор Бурбонов», т. е. сотрудник «Искры» Минаев; критик «Гласного суда» Веселкин ставит «игривый» вопрос: кавалер или дама сотрудник «Женского вестника» — Чуйко.

В одном случае писатель прозрачно намекает на то, что и о нем, Слепцове («Василии Развиваеве»), охотно распространяют обывательские сплетни [29]. В другом случае — автор «Новостей петербургской жизни» дает понять, что не может ответить публично своим противникам; они же позволяют себе клеветать, хотя знают, что «есть обстоятельства, в которых трудно отвечать прямо на инквизиционные вопросы». Здесь несомненно имеются в виду настойчивые упоминания в современной Слепцову прессе о «Знаменской коммуне». Отрицательное отношение к ней было выражено не только в романе Лескова «Некуда», в пьесе Чернявского «Гражданский брак», в повести Авенариуса «Поветрие», но и в статьях реакционных критиков, бравших под защиту эти произведения, выступавших против «Женского вестника» и других «нигилистических журналов» [30].

«Некоторые сотрудники этого журнала,— читаем, например, в «Литературной библиотеке» Богушевича,— имя которых с позором вспомнит история, положили начало учреждению известной Петербургу Знаменской коммуны» [31]. Соловьев во «Всемирном труде» обращает специальное внимание читателя на то, что в романе «Некуда» Лиза Бахарева живет «в одной из коммун, о которых у нас в последнее время шло так много толков», при этом он утверждает, что «диковинный дом согласия», «бесшабашная коммуна» и ее организатор зарисованы правдиво: «Да, все это было. Романист ⟨...⟩ держался подлинника жизни ⟨...⟩ Особенно заметно это в изображении предводителя коммуны Белоярцева» [32].

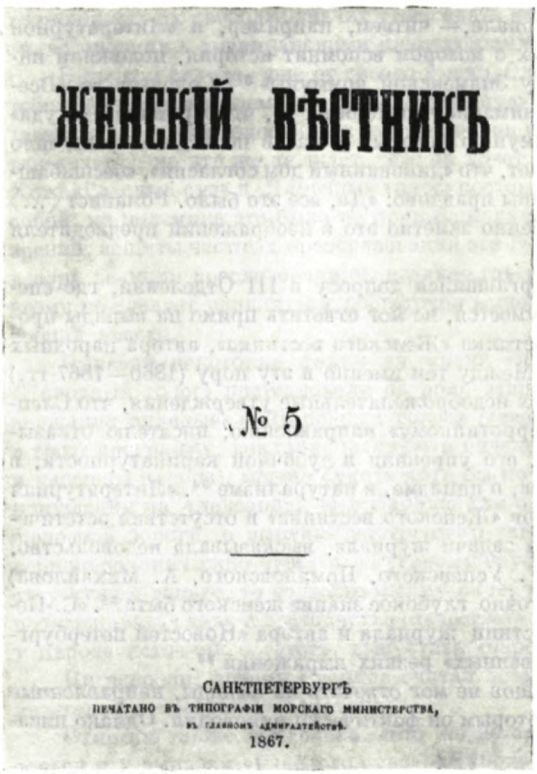
Слепцов, незадолго до этого подвергавшийся допросу в III Отделении, где специально интересовались коммуной, разумеется, не мог ответить прямо на выпады против него — организатора коммуны, участника «Женского вестника», автора народных рассказов, повести «Трудное время» [33]. Между тем именно в эту пору (1866—1867 гг.) то и дело мелькали в газетах и журналах недоброжелательные утверждения, что Слепцов принадлежит к «обличительно-дагерротипному» направлению; писателю отказывали в способности творить, обобщать, его упрекали в лубочной карикатурности, в создании туманных, фальшивых сюжетов, в цинизме, в натурализме [34]. «Литературная библиотека» упрекала также сотрудников «Женского вестника» в отсутствии эстетического чувства; «Неделя», узко понимая задачи журнала, высказывала недовольство, что в ряде произведений (например, Г. Успенского, Помяловского, А. Михайлова) вовсе нет речи о женщине или недостаточно глубокое знание женского быта [35]. «С.-Петербургские ведомости» обвинили участниц журнала и автора «Новостей петербургской жизни» в употреблении «невежественных» резких выражений [36].

В качестве анонимного автора Слепцов не мог отвечать на выпады, направленные против него лично и против журнала, которым он фактически руководил. Однако писатель нашел средства защиты.

В подтверждение своих высказываний о беспринципности, мелочности, «лакейском» характере современных журналов и газет, Слепцов пользовался конкретными материалами политической, судебной, театральной хроники именно тех периодических изданий, которые особенно настойчиво боролись с «нигилизмом», а именно материалами из «Голоса» Краевского, «С.-Петербургских ведомостей» Корша («простыни Корша») и прочих [37].

Мы замечаем, что более других изданий достается от автора «Новостей петербургской жизни» этим либеральным газетам и реакционным журналам: «Литературной библиотеке» Богушевича и «Всемирному труду» Хана; чаще других названы Слепцовым сотрудники этих изданий, сознательно искажавшие цели «Знаменской коммуны» и задачи «Женского вестника»: Н. Соловьев, Суворин, Загуляев, Иванов. При этом заметно также, что писатель превосходно осведомлен в литературных биографиях своих противников; он, например, видит начавшуюся эволюцию Суворина; последний, по словам Слепцова, превращается в лакея, в Ивана Флюгаркина. Любопытно, что через де\ять лет, в июле 1877 г., в одном из писем к Нелидовой, Слепцов выразит удивление, что некоторые современники только теперь заметили «измену» Суворина своим либеральным убеждениям [38].

Один из приемов Слепцова-публициста — создание двух планов: подлинной картины современной жизни и картины жизни, «выдуманной» охранительной литературой. Название одной из повестей Авенариуса «Ты знаешь край», напечатанной во «Всемирном труде», и стихи «благонамеренной» В. Анненковой: «Ты знаешь ли тот край обетованный?» (неудачное подражание песне Миньоны из «Вильгельма Мейстера» Гете) Слепцов использует для разоблачения реакционных писателей и поэтов, приукрашивающих действительность. «Добродушный» и «снисходительный» писатель рисует этот «обетованный край» по-иному, он создает картину вопиющей социальной несправедливости. Это край, где «много роскоши, богатства и ананасов, но где в то же время целые области питаются какой-то дрянью, которая из деликатности также называется хлебом», где «новгородцы кушают хлеб из древесной коры» и «финляндцы пекут блинчики из моху» (намек на голод 1867 г.). Это край, где в высшем свете «процветает» разврат, но карается вынужденная нищетою проституция женщин низших классов, где есть


ЖЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ

№ 5

САНКТПЕТЕРБУРГЪ
ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФІИ МОРСКАГО МИНИСТЕРСТВА,
ВЪ ГЛАВНОМЪ АДМИРАЛТЕЙСТВѢ.
1867.

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ХРОНИКИ СЛЕПЦОВА «НОВОСТИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ»
«Женский вестник», 1867, № 5
Обложка

лишь видимость гласного справедливого суда, где театр, газеты проникнуты духом лакейства, предназначены для «благородных» сословий. «Трудящиеся люди во все это время работали и не знали, кто лучше, Васильев или Самойлов. Им было некогда. Женщины-работницы во все это время тоже были заняты постоянной работой и не спорили: где лучше декорации, в „Грозном“ или в „Фараоне“... Им было некогда».

Слепцов высмеивает авторов «пасторальных» произведений («хорошо и барину, и барыне... но так же хорошо и рабочему, и работнице»); он разоблачает сознательную ложь продажных журналистов, которые поддерживают официальную версию о России — «благоустроенном государстве», в котором будто бы достигнуто уже «слияние сословий», где народ начинает принимать равное участие в политических событиях (у Слепцова в хронике мужики кричат по заказу «ала», «слава», «ура» ташкентцам, славянам, американцам). В то время, когда либеральные «газетчики» упивались «гласностью», достижениями «прогресса», Слепцов трезво оценивал действительность, показывая сущность «благоустроенного государства», в котором во всех сферах жизни в разных сочетаниях господствуют деспотизм, бесправие, фальшь.

В этом «обетованном месте»,— издевается Слепцов,— собирают пожертвования на болгар и критян и не обращают внимания на своих голодных мужиков, здесь охотно разрешают газетам обвинять другие страны (например, Турцию) в отсутствии свободы, но при этом самодовольно заявляют: «Наш край диво див». Здесь нельзя открыто, во весь голос говорить о чудовищном бесправии, но «свободно вполне можешь заявить, что погода дурна, что городовые хороши и вежливы, и что страна идет вперед».

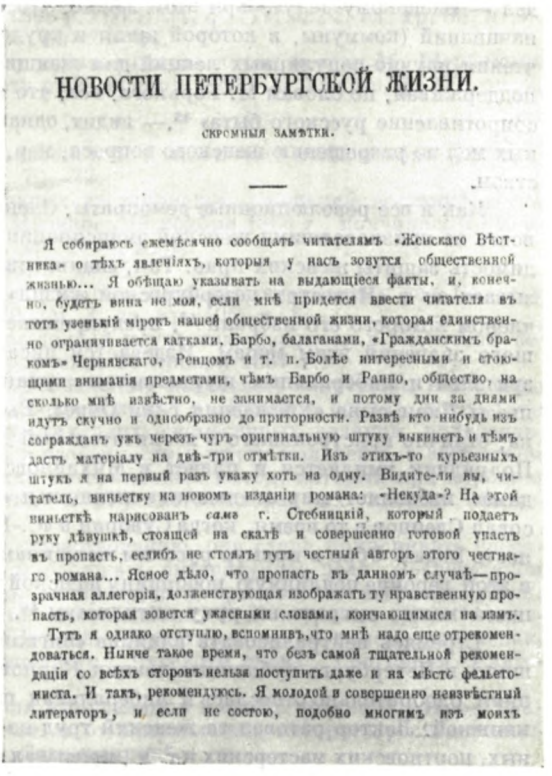
В «Новостях петербургской жизни» Слепцов рисует край, где публичное издевательство над детьми называется «весьма смешным зрелищем», а жестокий полицейский надзор — деликатной заботой о спокойствии граждан, где поощряется распространение пошлых сплетен о людях, подрывающих благополучие разжиревших мещан.

* * *

Всем материалом своей хроники Слепцов доказывает несправедливость обвинения «Женского вестника» в том, что он будто бы уделяет мало внимания «женскому вопросу» [39]. Вопреки этому утверждению недоброжелателей, Слепцов широко и разнообразно представляет и комментирует материалы, характеризующие положение женщины Автор «Новостей петербургской жизни» заставляет читателя задуматься то над историей девушки, прошедшей путь от швейного магазина до проституции, то над судьбой девочки, танцующей канкан в театре, в балагане на Адмиралтейской площади или в заведении минеральных вод у Излера (здесь же главной приманкой для публики является и одиннадцатилетняя акробатка Жозефина Блонден), то над положением талантливой балерины (Петипа), вынужденной «быть развлечением ловеласов». С грустью знакомит Слепцов читателя со многими судьбами женщин, исковерканных социальным неустройством жизни. Гибнут хорошие задатки, пытливость, наблюдательность, желание узнать правду у тех, кто не противодействует «мещанскому миру», позволяет затянуть себя в тину благополучия.

Попутно критикует писатель и современную систему воспитания девушек в семье, в пансионе; на многих примерах показывает он оторванность от практической жизни («милую наивность»), непомерное увлечение нарядами, увеселениями, браки по расчету, умственное и нравственное уродство. Разумеется, с возмущением пишет он о применении к воспитанницам деспотических мер.

Отметим, кстати, что приведенный в хронике случай — классная дама дала пощечину ученице — мог быть рассказан Слепцову Д. И. Писаревым. Этот эпизод произошел в 4-й петербургской гимназии с младшей сестрой критика — Екатериной Писаревой, которой «за дерзость» дала пощечину классная дама А. Н. Львова. Из писем Писарева, обеспокоенного этой историей в 1867 г., ясно, что он в этом году встречался со Слепцовым и вел с ним разговоры о «разных литературных и общественных делах» [40].



НОВОСТИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ.

СКРОМНЫЯ ЗАМѢТКИ.

Я собираюсь ежемѣсячно сообщать читателямъ «Женскаго Вѣстника» о тѣхъ явленіяхъ, которыя у насъ зовутся общественной жизнью... Я обѣщаю указывать на выдающіеся факты, и, конечно, будетъ вина не моя, если мнѣ придется ввести читателя въ тотъ узенькій мірокъ нашей общественной жизни, которая единственно ограничивается катками, Барбо, балаганами, «Гражданскимъ бракомъ» Чернышевскаго, Ренцомъ и т. п. Болѣе интересными и стоющими вниманія предметами, чѣмъ Барбо и Ранпо, общество, на сколько мнѣ извѣстно, не занимается, и потому дни за днями идутъ скучно и однообразно до приторности. Развѣ кто нибудь изъ согражданъ ужъ черезъ-чуръ оригинальную штуку выкинетъ и тѣмъ дастъ матеріалу на двѣ-три отмѣтки. Изъ этихъ-то курьезныхъ штукъ я на первый разъ укажу хоть на одну. Видите-ли вы, читатель, виньетку на новомъ изданіи романа: «Некуда»? На этой виньеткѣ нарисованъ *самъ* г. Стебницкій, который подаетъ руку дѣвушкѣ, стоящей на скалѣ и совершенно готовой упасть въ пропасть, еслибъ не стоялъ тутъ честный авторъ этого честнаго романа... Ясное дѣло, что пропасть въ данномъ случаѣ—прозрачная аллегорія, долженствующая изображать ту нравственную пропасть, которая зовется ужасными словами, кончающимися на измъ.

Тутъ я однако отступлю, вспомнивъ, что мнѣ надо еще отрекомендоваться. Нынче такое время, что безъ самой тщательной рекомендаціи со всѣхъ сторонъ нельзя поступить даже и на мѣсто фельетониста. И такъ, рекомендуюсь. Я молодой и совершенно невинѣгный литераторъ, и если не состою, подобно многимъ изъ моихъ

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ХРОНИКИ СЛЕПЦОВА «НОВОСТИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ»
«Женский вестник», 1867, № 5
Первая страница хроники

Иронически говорит Слепцов о реакционных писателях и журналистах (Авенариусе, Дьяченко, Бутковском, Соловьеве и других), которые употребляют все средства, чтоб скомпрометировать идею женской эмансипации, доказать, что женщина «не способна к труду», к образованию, к самостоятельности. С горечью пишет он о русском обществе, которое едва ли позволит «г-же Сусловой практиковать в любезном отечестве». С уважением отзывается писатель о тех, кто по примеру Сусловой и Блекуэль пробивается «сквозь крепкие стены на вольный воздух», «устраивает себе жизнь посвоему и, не обращая внимания на змеиное кругом шипение, идет вперед, учась, трудясь». Можно высказать предположение, что такие заметки в «Женском вестнике», как «Елизавета Блекуэль» (1866, № 2) — о первой женщине-американке, получившей степень доктора медицины; «Первая русская женщина-медик» (1867, № 8) — о Н. П. Сусловой; «Фредерика Бремер и ее значение в Швеции» (1868, № 1) — о шведской писательнице и «поборнице так называемого женского вопроса», написаны Слепцовым [41].

Писатель не мог полным голосом сказать в «Новостях петербургской жизни» о женщинах-революционерках; однако, несомненно, он имел их в виду, когда говорил о «честных и чистых созданиях», которых «погубили злые люди». Одну из таких подвижниц, готовых «на большие и тяжелые мучения», разыскивает мать среди «несчастненьких» — ссыльных — в далекой Сибири. Мы узнаем в создании этой «веселой» истории автора повести «Трудное время», о центральной героине которого превосходно сказал М. Горький: «Жена Щетинина — это одна из тех женщин, которые, увлекаемые тревогой эпохи, смело рвали тяжкие узы русского семейного быта и, являясь в Петербург, или погибали в нем, или ехали за огнем знания дальше, в Швейцарию, или же шли „в народ", а потом — в ссылку, в тюрьмы, в каторгу. Щетинина, может быть, одна из женщин, которые слушали лекции Слепцова, жили в его „коммуне" и, несомненно, погибли в борьбе за свободу своей страны» [42].

Множество представленных в хронике Слепцова случаев из жизни девочек, девушек, женщин, множество женских судеб и биографий свидетельствуют о глубоком изучении автором вопроса, о серьезном беспокойстве, раздумьях писателя, решившего отдать «все силы», посвятить «всю деятельность» одному из важных общественных дел — «женскому делу». При этом важно, что Слепцов, являясь инициатором многих начинаний (коммуны, в которой жили и трудились женщины, общества переводчиц, чтения научно-популярных лекций для женщин, литературно-музыкальных вечеров), поддерживая, по словам М. Горького, все, что «позволяли условия времени и стойкое сопротивление русского быта» [43],— видит, однако, весьма ограниченную роль современных мер по разрешению женского вопроса, мер, порою санкционированных правительством.

Как и все революционные демократы, Слепцов боролся не только с обскурантами, вовсе не признававшими женской эмансипации, но и с либералами, создававшими видимость защиты женских прав. Так, «палиативными мерами благотворительности» называет он в «Новостях петербургской жизни» общество пособия бедным женщинам, членом которого его избрали [44], предупреждает читателя, чтоб тот не придавал большого значения этим мерам. Издевается писатель над увлечением сентиментальных зрителей и либеральных журналистов «гуманными идеями» мадам Обре — героини пьесы Дюма-сына «Убеждения г-жи Обре». Выразителен у Слепцова образ подрядчика, отлично пристроившего в воспитательный дом своих «незаконнорожденных» детей. Подрядчик умиляется и плачет в Михайловском театре, глядя, как «сердобольная дама» избавляет мир от «падших» женщин и «незаконнорожденных» детей. Это зарисовал Слепцов в то время, когда Суворин в «С.-Петербургских ведомостях» ставил личность мадам Обре в пример русским женщинам [45], а сотрудник «Голоса» усматривал в этой героине подлинную поборницу женской эмансипации и выражал опасение, что пьеса может сыграть на руку нигилистам [46].

Стремясь нейтрализовать влияние «нигилистических идей», правительство разрешило в Петербурге публичные лекции Карповича по женскому вопросу. К этим лекциям одобрительно отнеслась и либеральная печать [47]. Они были изданы отдельной книжкой. Лектор ратовал за женский труд на ткацких, табачных фабриках, в шляпных, портновских мастерских и т. д., призывал светских женщин «снизойти сочувствен-

но к положению женщины или девушки, поддерживающей тяжелым трудом свое существование». Следуя моде и выступая защитником «женского труда», Карпович, однако, поспешил отделить себя от «нигилистов», от тех, кто проповедует «коммунистические стремления», «гражданские перевороты разного рода» [48].

«Литературная библиотека» Богушевича заявляла в статье по поводу «Женского вестника»: «За исключением гг. Соловьева и Карповича, всякий специалист по женской части есть нигилист» [49].

Но не узким «специалистом по женской части» являлся автор «Новостей петербургской жизни», незадолго до этих фельетонов создавший повесть «Трудное время». Подобно Чернышевскому, Добролюбову, Щедрину [50], он предстает перед нами писателем-политиком, глубоко осознавшим, что «женское дело» — лишь одно из общественных дел и что решить его невозможно без решения других социальных проблем. Именно поэтому, приглашая сотрудников и выбирая статьи для «Женского вестника», принял он вызвавшую тревогу цензуры статью Ткачева «Влияние экономического прогресса на положение женщины и семьи». Именно поэтому писал Слепцов в своей программной статье о том, что «женское дело», «несмотря на свой специальный характер, клонится к пользе всех людей вообще»[51]. Именно поэтому большую часть своей хроники «Новости петербургской жизни» посвятил он разоблачению всех отрицательных сторон современной действительности, хотя и утверждал, мистифицируя читателя, что создал «панегирик» петербургской жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «С.-Петербургские ведомости», 1867, № 73, от 15 марта; «Голос», 1867, № 74, от 15 марта.

[2] «Голос», 1867, № 69, от 10 марта («Судебная хроника»). См. также «С.-Петербургские ведомости», 1867, № 69, от 11 марта («Сцены у мирового судьи в Петербурге»).

[3] Письмо Слепцова к В. З. Ворониной от 3 мая <1867 г.>.— ЦГАЛИ, ф. 479, оп. 1, ед. хр. 17, лл. 6—7.

[4] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 405, л. 17.

[5] «Дело С.-Петербургского цензурного комитета, 1866 г., по изданию женою отставного коллежского асессора Мессарош журнала „Женский вестник“». Началось 2 июля 1866 г., кончилось 21 февраля 1868 г. (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 86, л. 9).

[6] Там же, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 405, лл. 29—44.

[7] Отношение начальника Главного управления по делам печати М. Щербинина С.-Петербургскому цензурному комитету от 27 ноября 1866 г.— Там же, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 86, лл. 28—30.

[8] Там же, л. 25.

[9] Из журнала совета Главного управления по делам печати от 28 ноября 1866 г.— Там же, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 405, лл. 70—72.

[10] «Агентурные записи о наблюдениях за журналом „Женский вестник“ и его издателями супругами Мессарошами». Началось 19 ноября 1866 г., кончилось 10 марта 1867 г. (ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 2044, л. 1).

[11] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 86, л. 29 об.

[12] Отношение генерал-адъютанта Шувалова министру внутренних дел Валуеву от 14 декабря 1866 г.— Там же, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 405, л. 84.

Приведем еще один документ относящийся к участию Слепцова в «Женском вестнике» — агентурное донесение, датированное 31 января 1867 г.:

«В начале прошлого 1866 года по высочайшему повелению запрещены к изданию два больших литературных журнала „Современник“ и „Русское слово“, вследствие вредного их направления. Сотрудники этих двух ежемесячных изданий, пользовавшихся не малым сочувствием публики, в особенности в кругу молодежи, с закрытием этих журналов лишились того источника материальных выгод, который при хорошем положении дел редакции „Современника“ и „Русского слова“ их вполне обеспечивал.

Лишенные средств к дальнейшему существованию, они стали приискивать способы, не отступая от своих убеждений, продолжать литературное дело. Последствием этого было возникновение двух новых литературных органов: 1) журнала „Женский вестник“, издаваемого супругами Мессарошами, и 2) журнала „Дело“, издаваемого номинально под редакциею Николая Шульгина, но на самом деле редактируемого бывшим редактором запрещенного „Русского слова“ Григорием Благосветловым.

Несмотря на то, что оба эти издания выпускаются в свет с предварительною цензурою, направление их ничем не отличается от направления, которое преследовалось в журнале „Русское слово“ и отчасти „Современник“.

Личность редактора Мессароша, бывшего камер-юнкера двора его императорского величества, не отличается особыми способностями; гораздо выше его по характеру и энергии жена его, женщина бойкая и очень не глупая.

Из числа сотрудников „Женского вестника" наиболее обращают на себя внимание литераторы Слепцов, Благовещенский, Шеллер под псевдонимом А. Михайлов, люди весьма даровитые, поддерживающие своими трудами это погибающее издание.

Средства к изданию этого журнала крайне ограничены, и в настоящее время их у Мессарошей вовсе нет. Подписка на журнал идет вяло, и нет никакого сомнения, что „Женский вестник" в непродолжительном времени сам собою прекратится.

Поэтому правительству нет никакой надобности в настоящее время запрещать это издание...»

На полях документа помечено: «Доложено и принято к сведению 1 февраля» (ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 2044, лл. 2—3).

[13] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 405, лл. 51—58.— То, что Лазаревский информировал Некрасова и Салтыкова-Щедрина в конце 1860—1870-х годов о настроениях в цензурном ведомстве, о предстоящих репрессиях и т. д., документально доказано в работе Б. В. Папковского и С. А. Макашина «Некрасов и литературная политика самодержавия».— «Лит. наследство», т. 49-50, 1949, стр. 429—532.

[14] Н. И. Соловьев. Русская журналистика в 1867 г.— «Всемирный труд», 1868, № 1, стр. 152; № 2, стр. 94.

[15] А. Ж⟨емчужников⟩. Русские журналы.— «С.-Петербургские ведомости», 1867, № 121, от 4 мая.

[16] ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 182, л. 66[а].

[17] Прибегал к такому приему и Салтыков-Щедрин: «Я семнадцать лет не был в Петербурге»,— сообщает он в статье «Петербургские театры» (1863) явно недостоверный биографический факт (Щедрин, т. V, стр. 175).

[18] Знали об этом только самые близкие ему люди: мать Ж. А. Слепцова (см. биографию Слепцова, написанную его матерью, в книге К. И. Чуковского «Люди и книги шестидесятых годов». Л., 1934, стр. 306) и Л. Ф. Нелидова (в письме к Слепцову от 15 июня 1875 г. она писала: «Пожалуйста, напишите мне ваши стихи; они мне ужасно понравились».—ЦГАЛИ, ф. 479, оп. 1, ед. хр. 5, л. 6. Слепцов ей отвечал на это: «Стихи в другой раз»— там же, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 271, л. 143). О стихах Слепцова Нелидова упоминает и в романе «На малой земле» — там же, ед. хр. 12.

[19] «Голос», 1867, № 163, от 15 июня. Названная в этой рецензии статья с «ядовитым заглавием» — «Бессилие умственной бедности» принадлежит Н. В. Шелгунову. Она была напечатана в «Деле», 1867, № 3, стр. 188—202; за подписью: Н. Р.

[20] Здесь Слепцов использует случай с неким контр-адмиралом Арбузовым, о котором было рассказано в газете «Гласный суд». Арбузов предъявил иск портному на 18 руб. Мировой судья, не считая требования истца основательными, отказал ему. Тогда Арбузов подал жалобу на судью, обвинил его в неуважительном отношении к столбовому дворянину и контр-адмиралу. Арбузов возмущался, главным образом, тем, что судья, не считаясь с положением, титулом, заслугами, уравнял его, контр-адмирала, с каким-то мещанином-портным. Арбузов это объясняет влиянием революционеров, распространяющих ложную идею равенства. В «Гласном суде» были переданы некоторые слова Арбузова: «...в социализме, или непонятном энгелизме»,— и в скобках к слову «энгелизме» было дано примечание: «вероятно, нигилизме» («Гласный суд», 1867, № 267, от 21 июля, «Дело контр-адмирала Арбузова»).

Слово «энгелизм» вызвало очередную «полемику» в газетах. Одни подняли на смех Арбузова, другие же (например, Суворин) доказывали правомерность употребления этого слова и доискивались его смысла. «Конечно, ни в одном энциклопедическом словаре вы не найдете этого слова, но это ничего не доказывает или, лучше сказать, это доказывает только, что слово это вновь изобретено и как таковое еще не успело попасть в словари. Что касается смысла его, то он ясен. Энгелизм происходит от немецкого слова Engel ⟨...⟩, что значит вестник, ангел. Есть ангелы добрые и есть злые ангелы иначе называемые „демонами"» («Недельные очерки и картинки».— «С.-Петербургские ведомости», 1867, № 208, от 30 июля).

[21] Н. И. Соловьев. Русская песня.— «Всемирный труд», 1867, № 7, стр. 153.

[22] Щедрин, т. VI, стр. 248.

[23] «Народный голос», 1867, № 146, от 17 ноября («Петербургская хроника и городские нужды»).

[24] Посторонний сатирик ⟨М. А. Антонович⟩. «Русскому слову».— «Современник», 1865, № 1, стр. 163.— Речь идет о статье В. А. Зайцева «Катрфаж. Единство рода человеческого» («Русское слово», 1864, № 8), на которую ранее откликнулся Антонович в «Современнике», 1864, № 11-12 («Литературные мелочи»). Зайцев выступил с «Ответом моим обвинителям по поводу моего мнения о цветных племенах» («Русское слово», 1864, № 12) и статьей «Гг. Постороннему и всем прочим сатирикам» («Русское слово» 1865, № 2). Антонович вновь полемизирует с ним в статье «Г. Зайцеву (подражание ему же)» («Современник», 1865, № 3, «Литературные мелочи»).

Откликнулась на эту полемику и «Искра» (1865, № 8) анонимной статьей, принадлежащей Н. Д. Ножину: «По поводу статей „Русского слова" о невольничестве».

Автор занял позицию «Современника» так же, как и другой «искровец» Д. Д. Минаев. Герой его готов

...Вслед за Зайцевым суровым
Произносить, что негр есть скот,
Едва ли стоящий забот («Евгений Онегин нашего времени». СПб., 1865).

[25] «Народный голос», 1867, № 58, от 14 марта («О народном внутреннем займе»).

[26] «Народный голос», 1867, № 10, от 13 января («Критика»); № 86, от 23 апреля («По поводу первых книжек „Женского вестника“).

[27] «Гласный суд», 1867, № 132, от 16 февраля.

[28] «Гласный суд», 1867, № 162, от 19 марта («Новости русской прессы»).

[29] В статье «Журнал „Женский вестник“ М. М. Клевенский неверно истолковал это место в «Новостях петербургской жизни»: он усмотрел «личный выпад» фельетониста против Слепцова. Произошло это потому, что автор оказался далек от мысли, что хроника принадлежит самому Слепцову, исследователь принял на веру будто между писателем и журналом «произошел какой-то разрыв» (сб. «Русская журналистика. I. Шестидесятые годы». Под ред. В. Полянского. М.—Л., «Academia», 1930, стр. 123).

[30] См., например, «Литературная библиотека», 1867, ноябрь, кн. 2, «Театральная хроника», стр. 248—250. Здесь «Некуда» и «Расточитель» Лескова названы «оригинальными и талантливыми произведениями», автор их — «свободно мыслящим и смелым писателем»; здесь сказано, что газетные нигилисты не могут без гримасы произнести имя Стебницкого, создавшего роман «Некуда». Автор статьи о «Гражданском браке» Чернявского в «Отечественных записках» считает появление этой пьесы «своевременным и полезным»; особенно доволен он тем, что в рассказе дядюшки во втором акте упоминается недавно исчезнувшая «петербургская коммуна» («Отечественные записки», 1866, № 12, «Русский драматический театр в Петербурге», стр. 266, 272). В газете И. С. Аксакова «Москва», 1867, № 14, от 18 января, отмечаются логичные рассуждения дядюшки во втором акте, «тонкое остроумие автора пьесы» (см. также статью В. Иванова «Упадок русской сцены».—«Всемирный труд», 1867, № 2, стр. 216—217; автор досадует на Чернявского, что тот не сделал центральным героем нигилиста и не «казнил» его).

[31] «Литературная библиотека», 1867, декабрь, кн. 1, стр. 278—279 («Специалисты по женской части»).

[32] Н. И. Соловьев. Два романиста.— «Всемирный труд», 1867, № 12, стр. 59—60.

[33] Но у Слепцова нашлись защитники, например, Салтыков-Щедрин, который сравнил авторов «Поветрия», «Гражданского брака», «Некуда» с доносчиком Булгариным, увидел в их произведениях тенденцию извратить одни стороны жизни, идеализировать другие; «мертвой способностью» называет он неуменье этих авторов исторически справедливо поставить и разрешить вопросы (М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого»; «Гражданский брак, комедия ‹...› Н. П. Чернявского».— Щедрин, т. VIII, стр. 304, 305, 307, 364).

В «Искре» эти произведения также подверглись резкой критике:

Иду домой пешком, печальный,
Прослушав весь «Гражданский брак»,
И восклицаю: это *брак*
Литературно-театральный.

Скорбный поэт ‹Г. Н. Жулев›. На представлении «Гражданского брака».— «Искра», 1866, № 47, стр. 626.

[34] «Голос», 1866, № 67, от 8 марта («Сочинения В. А. Слепцова»); «С.-Петербургские ведомости», 1866, № 26, от 26 января («Новые книги»).

[35] «Литературная библиотека», 1867, ноябрь, кн. 2, стр. 235 («Критика и библиография»); «Неделя», 1867, № 2, от 8 января; № 6, от 5 февраля (А. Лубенец. Журналистика).

[36] Незнакомец ‹А. С. Суворин›. Недельные очерки и картинки.— «С.-Петербургские ведомости», 1867, № 22, от 22 января и № 159, от 11 июня.

[37] В начале 1867 г. в «Недельных очерках и картинках» Суворина («С.-Петербургские ведомости»), в фельетонах «Вседневная жизнь» Загуляева — «Х. Л.» («Голос») — смаковалось происшествие на Васильевском острове и др., пространно говорилось о судебных процессах, петербургских развлечениях, назойливо обсуждались такие «вопросы», как «преимущество Васильева над Самойловым и наоборот» в нашумевшей пьесе А. К. Толстого «Смерть Ивана Грозного». К этим материалам и отсылает иронически автор «Новостей петербургской жизни».

[38] ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 271, л. 142.

[39] Н. Соловьев. Суета сует.— «Всемирный труд», 1867, № 2, стр. 181—182.

[40] Письма Д. И. Писарева к М. А. Маркович от 21 февраля, 4 и 7 декабря 1867 г.— Сб. «Шестидесятые годы». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1940, стр. 154, 159, 161.

[41] С Н. П. Сусловой писатель был лично знаком в пору организации коммуны (см. публикацию материалов о коммуне, стр. 453 настоящего тома). В очерке «Первая

русская женщина-медик» читаем: «Мы хорошо помним, что и Надежде Прокофьевне Сусловой пришлось перенести от нашего общества очень много неприятностей; ей противодействовали на каждом шагу, на нее сплетничали, ее оскорбляли, старались набросить тень на ее личность и на ее дело, и только глубокая вера в свои силы и в правоту своего дела помогла ей не смущаться придирками общества и твердо идти к своей цели до тех пор, пока запрещение посещать лекции не заставило ее искать себе выхода в чужих странах» («Женский вестник», 1867, № 8, стр. 82).

О Фредерике Бремер и Елизавете Блекуэль автору заметок приходится говорить с чужих слов, и он ссылается на соответствующие источники. Вспомним, что в статье «Женское дело» Слепцов как бы оговорил и такую форму публикации в журнале: изучая важное дело, «собирают всякого рода сведения, к делу относящиеся, и наводят справки <...> с помощию этих сведений только и можно составить себе более или менее правильное понятие о том, как следует поступать в настоящем случае» (см. стр. 274 настоящего тома).

В кратком вступлении к биографическим очеркам о Фредерике Бремер и о Елизавете Блекуэль определена цель опубликования этих очерков в «Женском вестнике». Цель оказывается единой для всех трех заметок: показать пионерок женского образования и эмансипации в разных странах, содействовать этими примерами осуществлению в русском обществе идеи равноправия женщины, пробудить активность, решительность самих женщин, выразить уверенность в плодотворные результаты начатого благородного дела, веру в талантливость, энергию, трудолюбие женщин.

[42] М. Горький. О Василии Слепцове.— Собр. соч., т. 24. М., 1953, стр. 224.

[43] Там же, стр. 223.

[44] В бумагах Слепцова сохранилось письмо к нему по этому поводу Куракиной (см. опись бумаг, стр. 480 настоящего тома).

[45] Незнакомец. Недельные очерки и картинки.— «С.-Петербургские ведомости», 1867, № 285, от 15 октября.

[46] «Голос», 1867, № 281, от 11 октября («Театральные заметки»); № 295, от 25 октября («Еще о литературной честности»).

[47] См., например, «Голос», 1864, № 82, от 22 марта («Петербургские отметки»).

[48] Е. П. Карпович. О развитии женского труда в Петербурге. СПб., 1866, стр. 5—6, 10, 85.

[49] «Литературная библиотека», 1867, декабрь, кн. 1, стр. 277 («Специалисты по женской части»).

[50] Чернышевский высказывал свои взгляды на «женский вопрос» не в специальных статьях, а в беллетристических произведениях, освещающих основные вопросы времени: «Что делать?», «Пролог» и др., в статьях, имеющих общее политическое и философское значение: «Июльская монархия», «Полемические красоты» и др.; Добролюбов — в статьях, также не специального характера: «Темное царство», «Луч света в темном царстве» и др.; Салтыков-Щедрин — в цикле «Наша общественная жизнь», в рецензиях на современные романы и пьесы: «Шаг за шагом» Омулевского, «Говоруны» Манна, «Гражданский брак» Чернявского и др.

[51] В письме: «От редакции журнала „Женский вестник“», опубликованном в ряде газет в начале 1867 г., находим нечто близкое к статье Слепцова. Это еще одно доказательство как программного характера статьи «Женское дело», так и участия Слепцова в редактировании журнала в 1867 г.

Приводим его текст:

От редакции журнала «Женский вестник»

Главная задача журнала «Женский вестник» состоит в том, чтобы, обсуждая с разных сторон современное положение русской женщины, изыскивать средства к улучшению этого положения на всех путях ее разумной и полезной деятельности, по возможности расширить круг для этой деятельности, помогать развитию умственных и нравственных сил женщины, и, наконец, практически указывать на те отрасли труда, где женщина, самостоятельно улучшая свой экономический быт, может быть более полезна семье или обществу.

Вопрос о положении женщины тесно связан со многими другими вопросами нашей частной и общественной жизни. Задача журнала по этому вопросу слишком сложная, а потому «Женский вестник» не может попасть в разряд тех специальных изданий, которыми интересуется небольшой кружок людей, преданных делу своей специальности. Напротив, можно положительно сказать, что нет ни одной стороны в нашем гражданском быту, которая бы не имела какого-нибудь отношения к вопросу о женщине.

(«Народный голос», 1867, № 1, от 1 января).

НОВОСТИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ

СКРОМНЫЕ ЗАМЕТКИ

<I. МАЙ 1867 г.>

Я собираюсь ежемесячно сообщать читателям «Женского вестника» о тех явлениях, которые у нас зовутся общественной жизнью... Я обещаю указывать на выдающиеся факты, и, конечно, будет вина не моя, если мне придется ввести читателя в тот узенький мирок нашей общественной жизни, которая единственно ограничивается катками, Барбо, балаганами, «Гражданским браком» Чернявского, Ренцом и т. п. Более интересными и стоющими внимания предметами, чем Барбо и Раппо, общество, насколько мне известно, не занимается, и потому дни за днями идут скучно и однообразно до приторности. Разве кто-нибудь из сограждан уж чересчур оригинальную штуку выкинет и тем даст материалу на две-три заметки. Из этих-то курьезных штук я на первый раз укажу хоть на одну. Видите ли вы, читатель, виньетку на новом издании романа «Некуда»? На этой виньетке нарисован *сам* г-н Стебницкий, который подает руку девушке, стоящей на скале и совершенно готовой упасть в пропасть, если б не стоял тут честный автор этого честного романа... Ясное дело, что пропасть в данном случае — прозрачная аллегория, долженствующая изображать ту нравственную пропасть, которая зовется ужасными словами, кончающимися на изм.

Тут я однако отступлю, вспомнив, что мне надо еще отрекомендоваться. Нынче такое время, что без самой тщательной рекомендации со всех сторон нельзя поступить даже и на место фельетониста. Итак, рекомендуюсь. Я молодой и совершенно неизвестный литератор, и если не состою, подобно многим из моих собратий по ремеслу, в штате чиновников, то единственно вследствие давнего и сильнейшего отвращения ко всякой чересчур хлопотливой деятельности. Я мелкая сошка в литературном мире, и даже если бы написал стихи (тут считаю приличным заметить, что пишу преплохие стихи, впрочем не хуже стихов К. Случевского и лучше стихов Варвары Анненковой) в честь... ну хоть в честь недавно сюда прибывшего японского посольства, то и тогда за свой добронравный поступок не получил бы никакого японского ордена и вряд ли бы стал известнее. Я весьма добродушный и снисходительный молодой человек. Это вы увидите из дальнейшего чтения.

Я никогда не говорю громко, что «Гражданский брак» Чернявского изрядная мерзость, несмотря на то, что в ней довольно искусно умирает г-жа Струйская... Я читал последнюю книжку «Всемирного труда» со статьей Соловьева и с повестью Авенариуса... Дальше этого идти нельзя... Вы усматриваете, что я не слишком брюзгливый джентельмен.

Теперь могу приступить к делу и начать описание нашей жизни... Я в коротких словах опишу ее с нового года...

Новый год застал нас веселящихся с благотворительной целью... Мы жертвовали в пользу кандиотов... Мы говорили даже об них спичи и удивительно как соболезновали о своих единоверцах.

Конечно, сборы в пользу критян — дело хорошее, но...

Впрочем, я лучше расскажу небольшую сцену...

В одном из публичных собраний был обед... за обедом, как водится, были спичи...

Много было повыпито, много было сказано...

— Господа,— заговорил один,— господа... выпьем... за критян... Они, бедные, гибнут под тяжестью турецкого господства... Они... Ну, одним словом, выпьем!..

Выпили.

— Господа... пожертвуем в пользу критян... Они воюют...
— Пожертвуем!..
— А молокососам спуску не давать!..
— Не давать!.. Они ведут к погибели нашу родину...
— Выпьем!!.

Из этой сцены да уловит неопытный читатель ту истину, что деньги, жертвуемые на критян, могли бы идти и на своих сиволапых соотчичей, если бы только свои могли бы интересовать в такой степени, как интересуют чужие...

Как бы то ни было, но мы помогли критянам и продолжаем помогать...

После кандиотского маскарада всякий стал поздравлять друг друга с новым счастием, хотя никто ни на какое новое счастие вовсе и не рассчитывал, ибо нынче и маленькие дети весьма обстоятельно понимают, что жареные бекасы с неба на землю не валятся...

Затем публика стала ждать тиража... Разочарованные невыигравшие смертные стали кататься на коньках, толковать о преимуществе Васильева перед Самойловым, и наоборот, и наконец заволновались при известии о необыкновенном происшествии на Васильевском острове. Это *страшное* происшествие состояло в том, что одну старуху держали в запертой комнате лет двадцать и держали ее крайне бесчеловечно... Случайно дело это открылось, и виновница такого обращения, сестра старухи, домовладелица, г-жа Шлегель, подвергнута судебному преследованию...

Общество возмутилось (т. е. заговорило, и до того много говорило, что надоело) этому происшествию. Затем успокоилось и снова перешло к каткам, «Смерти Грозного» и, наконец, балаганам.

Трудящиеся люди во все это время работали и не знали, кто лучше, Васильев или Самойлов. Им было некогда.

Женщины-работницы во все это время тоже были заняты постоянной работой и не спорили: где лучше декорации, в «Грозном» или в «Фараоне»... Им было некогда...

Публика продолжала тискаться за билетами на «Смерть Грозного» и кататься на коньках.

Конечно, ничего нет удивительного, что такие пустяки, как декорации или *страшное* происшествие возбуждают у нас столь обильное количество толков. Как отдельный человек, так и общество желает знать и принять участие в том, что делается вокруг. И чем более заинтересовано оно лично, тем более оно и говорит. А так как общество в настоящую минуту «частию по близорукости, частию по простоте» не находит для себя занятий более или менее серьезных, то ясно, что общественная мысль и обращается на пустяки... Если в Англии, например, общественное мнение занято весьма серьезными делами, то потому только, что оно лично заинтересовано в этих делах... Мы тоже хотим интересоваться чем-нибудь, принять участие в чем-нибудь...Ну и интересуемся вопросами декораций и принимаем участие на ледяных балах.

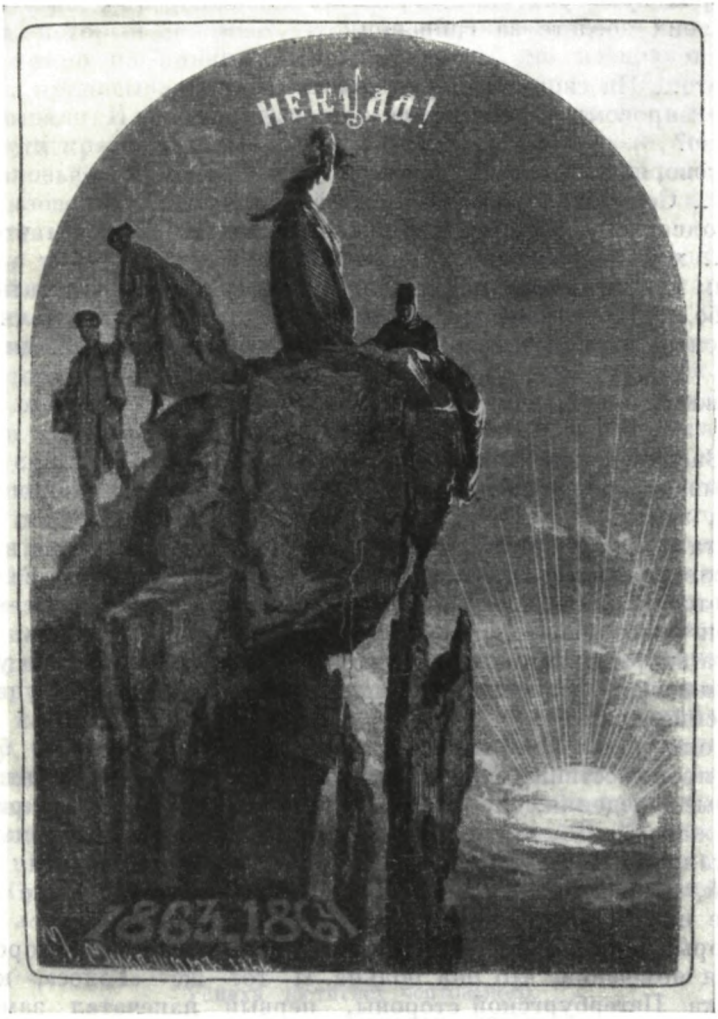
Какая-то непроходимая одурь нападает на моих сограждан, если у них нет никакой пищи для разговора, где бы гражданин мог хоть бы словом принять участие или хоть из кармана да показать кукиш. Ходит чиновник в должность... Прочитывает он клубнику Крестовского, но все же от этого ему не легче. Грызет его азиатская скука. Он чувствует, что это не то, не то...

— Отчего вы переписали бумагу плохо? А-а-а? — срывает он сердце на писаре.

Писарь открывает глаза, и губы его готовы были, кажется, произнести надлежащий ответ, но не произнесли, ибо в то же время в писарской голове ясно пронеслась мысль, что чиновник «блажит от скуки».

— Перепишите снова!.. Господи, хоть бы скорей четыре пробило... Бьет четыре, и он стремглав летит к Палкину.

Берет «Инвалид» и читает в нем: «Недавно в Лондоне был проектирован билль о реформе и при этом...» и т. д. В чиновничьей голове подобное



ПЕРВОЕ ОТДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ РОМАНА Н. С. ЛЕСКОВА (СТЕБНИЦКОГО) «НЕКУДА» (СПб., 1867)

Титульный лист. Рисунок М. О. Микешина

«Видите ли вы, читатель, виньетку на новом издании романа „Некуда"? На этой виньетке нарисован с а м г-н Стебницкий, который подает руку девушке, стоящей на скале и совершенно готовой упасть в пропасть, если б не стоял тут честный автор этого честного романа...» (Из хроники Слепцова «Новости петербургской жизни»)

описание производит подобие какого-то сумбура... Он оглядывается вокруг и видит, что все мирно сидят и кушают... Офицер сидит рядом и тоже кушает, и тоже читает «Голос», в котором тоже изображено: «Недавно в Лондоне» и пр., и на физиономии его тоже является нечто поражающее; он оглядывается, потом быстро успокаивается и, прочитывая дальше отметку, думает:

— Опять дернули... Эка бесстрашный народ!..

Однако тоска не покидает чиновника... он выбегает из трактира и кричит:

— Извозчик!

— Куда-с?

— В Гороховую гривенник.

— На своих доедете за гривенник...

— Что?

— Ничего... На своих, говорю, и т. д.

— А к мировому хочешь?..

— За что?

— Ты говоришь дерзости.

— Я-то?.. Ступайте... ступайте... Эка цепляется!..

«Экие болваны, — говорит чиновник и думает: — Хоть бы что-нибудь случилось... хоть бы скандал... Господи!»

Но с ним ничего не случается. Он даже не успевает поругаться с кухаркой, ибо кухарке некогда огрызаться... У нее дела полны руки. Поутру он снова идет в департамент и снова грызется непроходимой скукой....

— Слышал?.. — подходит к нему товарищ.

— Что?

— На Васильевском... происшествие... Вообрази... и т. д.

Рассказывается происшествие... Чиновник ожил... Есть пища... На три дня он занят.

И везде та же одурь, та же скука. Значит, если есть выход из нее какой бы то ни было, то всякий хватается за него, как утопающий за соломинку, представляется ли она в виде «Грозного», балета или Раппо, или семейных и других сцен — все равно...

И вся эта анормальная жизнь понятна и ни капли не должна удивлять немного думающего человека. Но меня, иной раз, вот кто удивляет!.. Пресса российская...

К чему она, наша смиренная пресса, испечатала столько бумаги о *страшном* происшествии? Одно время чуть ли не каждый день печатались новые сведения, и пресса, взъерошив волосы, вскрикивала: «Ужасно, ужасно!» До той поры, пока официальный «Судебный вестник» не остановил ее порывов, как нянька, останавливающая шаловливых детей, и не напечатал, что пресса врет, что обращение со старухой вовсе не было так скверно и пр. Тогда снова начались заявления, в которых заговорили, что и в самом деле обращались хорошо, что заключенная помешана, что она больна. И тот же «Голос», который, как кумушка Петербургской стороны, первый напечатал заметку об ужасах, теперь в припадке горячности стал печатать о больной такие подробности, которые вовсе не хорошо рекомендуют целомудрие редакции и разве годились бы либо в медицинский журнал, либо в «Трущобы», или «Поветрие» г-на Авенариуса.

Приняв по этому делу совершенно противоположное мнение, прежде высказанному, газеты было замолчали, когда появившаяся заметка о том, что г-жа Шлегель предана преследованию, снова заставила газетчиков еще раз прокричать: «ужасно, ужасно, ужасно...»

Все это меня несколько удивляет. Я, право, ничего не вижу ужасного в этой истории. Или разве те же газеты не знают о ежедневно случающихся фактах, которые еще ужаснее и о которых они, однако, молчат, а если и говорят, то в самой короткой сухой заметке, а не взъерошив волосы и не возвышая голоса. Так отчего же о подобных фактах умалчивают эти кликуши газетные? Отчего же тут они не подымут воя и не заголосят на этот раз уже справедливо: ужасно, ужасно!..

Отчего не подымут воя и не закричат: «ужасно!» Что бóльшая часть из этих кликуш не хотят ради известных целей видеть дальше своих носов и оттого, что миросозерцание их не идет дальше миросозерцания Николая Соловьева, того самого Николая Соловьева, который начал свою деятельность в «Эпохе», с успехом продолжал в «Отечественных записках» и теперь продолжает в «Всемирном труде»; того самого Николая Соловьева, который понимает, что есть обстоятельства, в которые трудно отвечать прямо на инквизиционные вопросы, но позволяет себе даже клеветать, приписывая другим такие мысли, каких эти другие никогда не высказывали. И все это печатается, ибо русская печать давно лишилась возможности краснеть или бледнеть, с тех пор, как люди, подобные Николаю Соловьеву и Авенариусу, корифействуют и преподносят публике вместе с клеветою и сцены, в которых под видом обличения чуть ли не описывается со всеми подробностями брачный акт.

Вообще в литературе видна какая-то флюгарность. Люди, занимающие в ней теперь места, ворочаются, как несчастные флюгарки, по направлению вечно дующего северо-восточного морозного ветра. Они готовы, подняв свои бесстыжие головы, хозяйничать теперь совершенно безнаказанно, потому что нет теперь над ними сильной полемической палки, которая их хлестко била когда-то. И потому-то недавно, между прочим, явилось и «Поветрие» г. Авенариуса. Я прочел эту повесть и должен попросту сказать, что г. Авенариус большой руки..., как бы помягче выразиться, *клубничник*. Вся его история заключена в скабрезных сценах с такими подробностями, до каких доходит только Вс. Крестовский и то в стихах, а не в прозе. Вместо «*Поветрия*» эту повесть следовало бы назвать: «Картины соблазнительных положений». Кроме сальных сцен, еще более сальных от того, что они написаны с тем смаком, в котором ясно виднеется самое полное клубничное образование автора, в этих «*Картинах*» ровно ничего нет, и я вряд ли бы обратил на них особенное внимание, если бы не встретил назад тому с неделю двух разухабистых франтов, которые после обычных вопросов о новостях заявили мне:

— Ну, батенька, чудо что́ за повесть напечатана в «Всемирном труде». Называется «Поветрие». Великолепно там описано, как одна швейцарка...

Дальше следовал разговор на ухо, так как в комнате сидели дамы...

— Прочтите... Это чудо... В балет идти не надо... Прелесть! Должно быть, г-н Авенариус ходок по этой части... Как это он все описал... Тонко!.. Один юнкер даже сочинил про него следующий стишок:

Сей автор достоин Крестовского,
И можно наверно сказать:
Успеха достигнет чертовского,
Коль будет «Поветрья» писать.
Кто любит картинки циничные
(На них ведь охотники есть),
Тот может «Поветрье» клубничное
У доктора Хана прочесть.
И пусть наш талантливый Мариус *
Напишет пикантный балет...
Но все ж господин Авенариус
Наш лучший клубничный поэт...

— Не правда ли, хорошо?

— Если не хорошо, то верно...

Эта же повесть, т. е. «Поветрие», произвела следующую историю в дальней Коломне:

---

* Петипа.— *Прим. Слепцова.*

В одной из скромных квартир коломенских живет старый статский советник с женою и дочерью... Статский советник после должности целые дни ворчит на жену и на дочь. Ворчит потому, что иначе не знал бы, куда ему деваться от скуки. Случится ли неприятность какая, пройдет ли слух о сокращении штатов, скажет ли ему деликатно начальник: «Вы немножко не сообразили, Иван Иванович»,— Иван Иванович непременно, сидя за столом, искоса взглянет на молодую дочь и прошипит:

— Ужо погоди, вас всех ученых переберут... Погоди!

Обыкновенно дочь не обращала большого внимания на подобные выходки, так как они обыкновенно ограничивались только словами.

— Погодите, голубчики... Вишь тоже учиться, а после нам же старикам: «вы немножко несообразительны», вот... не бойся... школу-то закрыли... еще не то будет...

— Что ты, что ты, Иван Иваныч, успокойся... Кушай соус,— успокаивала мать.

— Волю дали, распустили... Погоди... Вот мне рассказывали, вас всех велели переписать... Это тех, кто ходит в публичную библиотеку... Подождите...

Обыкновенно старик, испустив свой запас желчи, успокаивался и затем ложился спать, а дочь хоть и принуждена была выслушивать подобные речи, но все-таки аккуратно ходила читать в библиотеку и давать уроки.

На беду, Иван Иваныч как-то прочел «Поветрие» и, не медля за сим, стал дурить:

— Лиза, ты куда?..

— В библиотеку...

— В библиотеку?.. Не сметь!..

— Что, папенька?

— Не сметь... Ни... Ни... Я понимаю, какая библиотека... Понимаю!.. Верно к какому-нибудь студенту на Петербургскую сторону,— цитировал Иван Иваныч Авенариуса.— Ни-ни, не сметь!..

— Что вы, что вы, откуда вы взяли, папенька?..

— Или я не отец... Про вас даже пишут... Говорю не сметь!.. Ни шагу!..

— Папенька, я пойду...

— Что-о?..

— Я пойду в библиотеку...

— Жена! Ключ! Запру... Позор, разврат!!.

И т. д. и т. д. Предоставляю читателю дополнить воображением эту приятную семейную сценку, вызванную тупоумием Ивана Иваныча, поощренного Авенариусом...

Однако бросаю его и устремляюсь на улицу.

Конькобежцы неутомимо скользят по катку и придумывают себе такие костюмы (особливо конькобежицы), которых ни в «Модном магазине», ни в «Новом базаре», ни в «Модах и новостях», ни в «Вазе» не найдешь... Такие уж костюмы фантастические и дорогие...

А денег все нет и нет...

Недавно был тираж второго займа, и снова разочаровались охотники выиграть, и снова, задумчиво сморщив брови, говорят:

— Господи! Хоть бы с 1 июля повезло!!.

— Папа, а что же мне шубку для катанья? — подбегает дочь...

— А я деньги кую?..

Дочь поражена... Она не знает, что такое деньги и куют ли их или нет, ибо этого в пансионе она не узнала, а что деньги легко бросаются, это она видела весьма часто и не далее, как на масленной, сидя в балете, где Гранцовой поднесли чудовищные подарки.

— Так ты, папа, достань денег... Займи что ли?..

— Глупая!.. Нет тебе шубки; не на что!.. Выйдешь за богатого, он тебе и шубку, и все подарит... Лови богатенького...

Дочь отходит печальная и недовольная... У нее нет шубки... Отец сказал, что он не кует денег...

— Голубчик, Пьер, где деньги куют?..— спрашивает она за обедом своего двоюродного брата.



ЧТЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ВЫИГРЫШЕЙ

Гравюра с рисунка В. М. Васнецова, 1872 г.

Третьяковская галерея, Москва

«Недавно был тираж второго займа, и снова разочаровались охотники выиграть, и снова, задумчиво сморщив брови, говорят: — Господи! Хоть бы с 1 июля повезло!!» (Из хроники Слепцова «Новости петербургской жизни»)

Братец смеется и объясняет, что деньги не куют, а делают и что они получаются из деревень от мужиков, с домов, со службы и, наконец, от ростовщиков под векселя и т. п.

Выйдет замуж эта милая наивность и... Но следствие уж так банально известно, что я не останавливаюсь на этом и продолжаю путешествие по улице.

Опять натыкаюсь на всем известное. Слышу:

— Позвольте проводить... Душка!..

— Городовой!.. К мировому!..

— Милка! Городового нет... Поцелуйте!..

— Городовой!..

Господин убегает; городовой подходит; девушка дрожит от гнева. Все это известно и даже не заставляет проходящих возмущаться. Иду дальше... Встречаю знакомую телеграфистку.

— Здравствуйте... как живете?..

— Плохо. У нас бог знает что делается.

— А что?..

— Да как же... Работаешь, кажется, усердно, а тебе всё стараются какой-нибудь подвох подвести... Нарочно, чтоб доказать, что женщина не способна к труду... Конечно, если прикажут, можно ведь написать что угодно, да только не правду...

Мы еще потолковали и разошлись. Слышу впереди разговор двух бобров.

— Дмитрий Иванович, нельзя ли рубликов 200 недели на две?

— А залог?..

— Под вексель...

— Залог...

— Я бы со всем удовольствием...

— Без залогу ни... ни...

Опять старая песня... Недовольство, безденежье, процент, залог, мировые и пр. и пр. и пр. ...

Прохожу мимо Базунова и, разглядывая книги, усматриваю стихотворенья Варвары Анненковой. Радуюсь новой поэтессе и покупаю книгу.

Прихожу домой и начинаю читать мелкие стихотворения, оставляя драму «Шарлота Корде» на закуску...

Натыкаюсь прямо на стихотворение, озаглавленное «Опекунам Европы...» «А,— думаю,— Варвара Анненкова любит политику». Весьма радуюсь этой любви и читаю:

Давно ль поставлены над миром вы судьями?
Иль приглашали вас мы властвовать над нами?..

и т. д., где Варвара Анненкова поражает Европу таковыми вопросами в целом куплете, но так как Европа ни слова не отвечает на запросы Варвары Анненковой, то Варвара Анненкова сама отвечает:

О нет!.. И это вам известно!

И продолжает распекать Европу, журналистов, поляков, Наполеона, словом, многим-таки досталось от Варвары Анненковой. Она грозит общей войной... Она доходит до кровожадности и кончает свою вдохновенную песнь заявлением, что Россия себя отстоит,— что́ мне узнать, как россиянину, было, конечно, весьма приятно...

Прочитав далее «Свершившийся факт», я окончательно убеждаюсь, что Варвара Анненкова любит политику и не любит французов, ибо вспоминает:

Не факт ли эта гильотина,
Где цвет (?) земли великой пал?
Святого ль Людовика сына
Палач главою потрясал?..

Прочитывая дальше, я начинаю понимать, почему написаны первые стихотворения. Ключ к уразумению сей истины преподносит мне сама Варвара Анненкова в своем стихотворении: «Всегда ль мечтать?». Она заявляет:

Всегда ль мечтать? — Еще ли верить?
Когда ж умом дозрею я? и т. д.

Тут я понимаю ясно, с кем имею дело; но из дальнейшего чтения убеждаюсь, что поэтесса недаром спрашивает самою себя: «когда ж она дозреет умом», ибо в следующих стихотворениях ни я, ни сама поэтесса не находим возможности отвечать на этот вопрос в положительном смысле... Усматривая, что Варвара Анненкова любит аристократию, я не могу отказать себе в удовольствии привести ее доказательства в пользу аристократии. Она поет:

Иль конь крылатый, чистокровный
Быть может с *клячей* уравнен?..

Узнав, что я некоторым образом тоже «кляча», я окончательно упал духом и даже не понял многих стихотворных продуктов поэтессы Варвары Анненковой; знаю только, что она и с Нордкапом и с «Гольфштромом» и с Кораллами беседует, даже конторку Сиверса воспевает... Окончив стихотворенья, я не рискнул читать драмы, а возымел намерение подражать Варваре Анненковой и написал следующее стихотворение, подчеркнув стихи, украденные у поэтессы.

ВСЕГДА ЛИ ПИСАТЬ?

Всегда ль писать?.. Еще ль не верить,
Что вряд умом дозрею я
И что (к чему уж лицемерить)
Книжонка гадостна моя!
И заглянув в себя отважно,
Пора понять и мне завет:
Что лучше сплетничать мне важно,
Чем сочинять на склоне лет?

Если мое слабое подражание послужит в пользу Варваре Анненковой, то я принесу двойную пользу: избавлю Варвару Анненкову от расходов (верно, книжица издана на ее счет, ибо кто же издаст такую книжицу столь изящно и роскошно?) и избавлю неопытного охотника до стихов от непроходимой скуки. Искренно этого желаю и бросаю книгу в сторону...

Тут я замечаю, что ни слова не сказал о балаганах и масленой неделе. Успокойся, читатель, и вперед не кляни меня, думая, что я преподнесу тебе рапорт о театрах Берга, Раппо и Громова... Я ни слова не скажу о их представлениях, точно так, как удержусь от описывания известных масляничных уличных сцен... Замечу только, что прогресс наш заявил себя на эту масляную тем, что на балагане Раппо была афиша в стихах... «Незнакомец» рассказывает (ответственность слагаю на «Незнакомца»), что стихи эти написаны майором Бурбоновым; другие говорят, что — Фетом; кухарка моя, Марфа, уверяет даже, что сильная патриотическая струя, разлитая в стихотворной афише, дает ей повод предполагать, что афиша сочинена Варварой Анненковой... Словом, это дело нерешенное. Что же касается до предположения кухарки, то оно ясно — чистейший вздор, ибо не станет же Варвара Анненкова сочинять для балагана.

Иль конь крылатый (?) чистокровный
Быть может с клячей уравнен?

отвечу я стихами поэтессы...

В балаганах не было ровно ничего интересного... Скука и повторение прошлого...

Прошла эта неделя и, как и следовало ожидать, фельетонисты все залиберальничали:

— Недурно бы театр в великом посту... Разве живые картины не то же самое?..

— Ходят слухи, что разрешат спектакли,— пускает ловкий маневр Х. Л. из «Голоса», и по этому поводу решается либеральничать...

Но, конечно, эти куриные возгласы не идут никак дальше столбцов газеты, где они печатаются, и публика будет довольствоваться живыми картинами и «Трущобами», запрос на которые, говорят, возрос до неимоверной степени... По несчастию, запрос на чтение в столице преимущественно устремлен на трущобные произведения... Что же касается до провинций, то и там, как и здесь, есть кружки, отворачивающиеся от трущобной и клубничной литературы и устремляющие свое внимание на предметы более солидные... Но о том, что делается в провинции, я не смею говорить, ибо в таком случае залез бы в область Вл. В. Чуйко, который, кстати замечу, не кавалер, а дама...

Последнее замечание я делаю, собственно, для Федора Веселкина, а потому заранее прошу извинения, что на несколько строк заставлю читателя обратить внимание на Федора Веселкина.

Есть люди, обуреваемые страстью к сочинительству... Им все равно: сочинят ли они отметку о пользе ватерклозетов, или о влиянии России на Ташкент и Ташкента на Россию. Им нужно только подписать сполна свое имя и фамилию и после рисоваться перед товарищами-канцеляристами своим сочинительством... К такому-то классу людей я принужден причислить некоего Федора Веселкина, который, как видно, разлюбезный малый, большой весельчак и каламбурист. Он, видите ли, недоволен «Женским вестником» и *критикует* его с точки зрения негалантности фраз и в остроумии своем доходит до того, что спрашивает: «Чуйко — кавалер или дама?» Отвечаю Федору Веселкину,— кавалер,— и спрашиваю его: знает ли он мичмана Дырку, который хохочет, если ему поставят палец?.. Если он его не знает, то, заметив Федору Веселкину, что он очень похож на сего мичмана, я советую ему сочинить еще отметку и подписать ее Федор (отчество) Веселкин-Дырка тож... Тогда будет совершенно ясна причина отметки, которую «Гласный суд» поместит, за которую канцеляристы похвалят, а знакомые кисейные барышни скажут:

— Ах, какой насмешник этот Федор Веселкин!..

И беда как плодятся эти Веселкины... страсть!.. Когда-нибудь я представлю читателю очерк тех литературных личностей, которые по заказу обругают кого угодно... В их статьях не убеждение прорывается, а копейки, копейки и копейки... Видит, положим, литературная лавочка (журнал тож), что другой журнал имеет успех и командует хозяин литературной лавочки:

— Господин NN, надо обругать госпожу ZZ...

— Позвольте вперед рубликов 20-ть...

— На́те, да смотрите — продернуть...

— Продернем!.. Будьте спокойны...

Господин NN даже и не читает статьи ZZ... Он просто смотрит ее заглавие и начинает катать и в стихах и прозе. Стихи придумывает вроде следующих:

Пишу минаевским размером
Других, увы! в запасе нет...
Я в них прелестнейшим манером
Продерну умную ZZ и т. д.

Я, с своей стороны, готов прибавить еще куплетцы такого содержания:

Служить готов я лирой звонкой
Как истый *русский либерал*,
Хотя всегда довольно тонко
Я это слово понимал!

«В ТИПОГРАФИИ»

Карикатура, высмеивающая противников женской эмансипации

Гравюра П. Куренкова с рисунка Н. А. Степанова

«Искра», 1864, № 22

«...тем более чести, если у нас некоторые - таки устраивают себе жизнь по-своему и, не обращая внимания на змеиное кругом шипение, идут вперед, учась и трудясь...» (Из хроники Слепцова «Новости петербургской жизни»)



Слова: принцип и убежденья
Лишь служат рифмой для стиха,
Кто больше даст вознагражденья
Тому служу я без греха...

. . . . . .

Все это очень грустно и поучительно... И везде, где литература находится в положении лакея в барской передней, везде подобные явления — следствия таких печальных обстоятельств... С одной стороны, полнейшее бесцеремонное царство Соловьевых, с другой — робкие еле заметные проблески негрязной идеи...

Из ряда крупных, но печальных фактов нашей жизни спешу передать следующий, выловленный мною в газете. Дело в том, что некая воспитательница дала две пощечины девочке и, несмотря на жалобу последней инспектору, дело это, говорят, замято. Я слышал даже, что храбрая женщина прислала в редакцию какой-то газеты письмо, где пишет, что она дала только *одну* пощечину и то *маленькую*.

Благоговейно останавливаюсь.

Куда же отдать мою племянницу? Я в недоумении. Посоветую отдать ее в реальное училище при одном из женских учебных заведений и посоветую заявить кому следует, что племянница моя тупа. Читатель не удивляйся! Я это сделаю для того, чтобы племянница моя впоследствии не спрашивала: «где куют деньги?». Ибо только не оказавших больших умственных способностей отдают в это училище, где учат шить, мыть... словом, полезным делам... О, сколь я желаю чтоб было больше таких

тупых девочек для того, чтобы по выходе из заведения они могли что-нибудь делать и не служили бы бременем для большинства мужей, братьев и т. п. ...

Эта песня стара, так же стара, как вечная горькая русская песня, как вечные непрактичные и ради удовольствия устраиваемые благотворительные общества... Хоть бы все эти светские учредительницы взяли пример с почетной гражданки Анны Осиповны Тупицыной, пожертвовавшей 5000 рублей на устройство в Коломне женского училища второго разряда... Такое благотворение понятно и действительно благотворно.

— Но все это паллиативные меры... Ты нам предложи другие средства,— замечает радикальный читатель...

Я улыбаюсь ехидным образом, удивляюсь, что он заговаривает таким образом и делаю скачок к театру...

Его теперь нет, но это, однако, мне нисколько не мешает поговорить о нем... Вообще все — и критики, и фельетонисты заверяют, что театр весьма благотворно действует на наши нравы... Что касается до меня, то я никак не могу с этим согласиться, основываясь на том, что пьесы, даваемые на нашем театре, по большей части или бывают эротически-игривого содержания, или служат сотрудниками тех произведений беллетристики, представителями которой считаются «Взбаламученное море», «Некуда», «Марево», «Трущобы» и «Поветрие»...

Приходится довольствоваться пьесами и в роде «Брака», «В глуши», «Двух поколений», «Братьев Давенпортов», «Светских ширм» и прочих... Я решительно не могу сказать читателю: какая из этих пьес глупее. Кажется, все одинаково глупы, и если в «Светских ширмах» и есть тип девушки, умирающей от блестящего светского тупоумия окружающих и возбуждающей при хорошей игре г-жи Струйской различные мысли, то это вовсе не заслуга г. Дьяченки, так как он пьесу переделал из повести «Замосковская летопись», напечатанной в «Библиотеке для чтения» 1848 года. Из всего этого хлама останавливается внимание... читатель думает об «Иоанне Грозном»... Читатель ошибается. Я хотел сказать о пьесе г. Фролова «Быть или не быть».

Я останавливаюсь на ней не потому, что она представляет особенные достоинства; оригинальность мысли или типичность характера. Нет. Я останавливаюсь на ней только потому, что она не подла...

Дело в том, что молодой светский шелопай, Дробин, живет на содержании у купчихи Кумачевой и собирается на ней жениться. В это время приезжает в Петербург чиновник с дочкой Верою. Это русская девушка, приехавшая в Петербург трудиться. Она намерена поступить в гувернантки и пока останавливается с отцом у Дробина. Она — девушка не глупая, хотя и не совершенно еще развитая, ибо увлекается этим шелопаем и иногда высказывает небольшое знание жизни... Но и в Дробине пробивается тоже что-то похожее на увлечение, и он делает предложение Верочке. Когда же приходится расставаться с богатой жизнью, с рысаками и дорогой мебелью, — перед этим продуктом светской жизни восстает мысль: быть или не быть честным человеком, трудиться или паразитствовать? Конечно, он склоняется на сторону последнего, тем более, что Верочка отдает ему назад слово и произносит монолог, в котором объясняет, что если бы он и женился, то жизнь его была бы каторгой... Дробин женится на Кумачевой, а Верочка поступает в гувернантки... Вот и вся пьеса, и если я об ней упоминаю, то ради того, чтобы сказать, что из плеяды всех пьес нашлась хоть одна честная, в которой выставлена неглупая девушка, возбуждающая удивление в шелопае Дробине и его товарищах тем, что отказалась от богатого жениха. Вот еще чему удивляются шелопаи и вот еще что приходится хвалить летописцу,— пьесу, где выставлена русская дворянка, девушка не боящаяся труда!..

Об остальных пьесах решительно ничего не имею сказать. Жалко только, что оперы итальянской, говорят, не будет и что посетителям бельэтажей придется ухитриться бросать еженедельно 25 р. в другое место.

Ухитрятся.

⟨II. ИЮНЬ 1867 г.⟩

Сто́ит только взглянуть на нашего общего приятеля Ивана Флюгаркина, чтобы с достоверностью судить о нашей общественной жизни. Я даже вовсе не хуже (если не лучше), чем по «Голосу», узнаю по лицу моего приятеля — готовится или нет обед по какому бы то ни было поводу и какие статьи под рубрикой «С.-Петербург такого-то мая 1867 г.» появятся после обеда — объедки ли затрапезных спичей или разыгравшаяся фантазия на искристые темы. Бедняга! С которых пор он не снимает фрака, говорит спичи (и они, ей-богу, печатаются) и страдает расстройством желудка... Несчастный! В последнее время он вовсе не знает покоя и, глядя на его часто меняющуюся физиономию, я вполне понимаю, как тягостно быть русскому общественному деятелю, как часто обязана меняться физиономия такого общественного деятеля и как — говорю словами «Голоса» — чревато событиями наше время... Встречаясь часто с Иваном Флюгаркиным (понятно, что читателю вовсе нет дела ни до чинов, ни до общественного положения нашего приятеля), я делаю такие выводы:

Если его физиономия имеет внушительное выражение, словно говорящее: «Мы... Россия... одним словом... мы... Взгляните: гласный суд... кабы... ватерклозеты...» и если на его вертлявой спине надет фрак, а во фраке лежит сверток почтовой бумаги, который наш друг время от времени прочитывает, то я непреложно заключаю, что к нам приехали наши ташкентские друзья и что:

Во-первых, их встретят на железной дороге и закричат: Ала... ала... ала!..

(При этом и мужики будут кричать: ала или ура, хотя не будут знать достоверно, кому они кричат: грекам, американцам или ташкентцам);

во-вторых, повезут их слушать дело Арсеньева в Окружной суд;

в-третьих, составится комиссия угощения;

в-четвертых, будет обед, на котором будут спичи о необходимости ташкентцу приобрести русскую походку, а русскому ташкентскую цивилизацию, и

в-пятых, на следующий день публицисты настрочат передовых статей целковых на сорок каждый, в которых будет доказываться:

a) что Ташкент — страна, а не миф,

b) что приобретение Ташкента отразится весьма благоприятно на торговых рынках и даже на расторопности околодочных,

c) что англичанину будет фига (слушайте... слушайте!), что вследствие этого железные заводы процветут, что мужики разбогатеют, что (это особенно вкусно) журнальное дело будет способней и что (слушайте же!) Россия покроется сетью железных дорог.

Столь глубокомысленно опишут премьеры, так сказать, передовики. Что же касается до моих товарищей — фельетонистов, то и им будет пожива: описание обеда, блюд и вина (это для инвалидного), описание своих чувств (для Незнакомца) и, наконец, заявление: «что мы не можем не сказать по справедливости, что народ русский, так сказать, сразу полюбил своих новых друзей и от души встречал их радостными криками ала, ... ала...» (это для Х. Л. ⟨из⟩ «Голоса»).

Да. Материалу будет довольно и везде возопят:

— Ташкентцы!.. ташкентцы!.. О-о-о!..

— Однако же, как вы полагаете, что из этого выйдет?— говорит один гражданин другому.

— Разве вы не читали... Англичанин-то... Шелковичный червь... каковы мы-то, русаки!..

— Именно... Пожалуй, и французу утрем нос?..

— Хитер... шалишь...

— А Бисмарку?..

— Тоже пальца в рот не клади... Однако... знаете ли...

И разговор снова перейдет на шелковичного червя, потом на Наполеона и Бисмарка.

Да. Обеды будут очень вкусные, хотя и дорогие (но дума покроет эти расходы, ибо нельзя же, в самом деле?); вина будет много, но все-таки на обеде не перепьются...

Иван Флюгаркин везде носится и везде с видом самым внушительным говорит о друзьях...

И мы его слушаем, и мы ему аплодируем.

И он плачет, и его физиономия умиляется. Его сердце бьется, рука машет в воздушном пространстве, а подвыпившие губы лепечут:

— О, Россия, как я люблю тебя!..

За такое признание мои сограждане берут его и качают, после чего поздравляют членом географического, вольно-экономического и литературного обществ: первого — за то, что Иван Флюгаркин в спиче заявил, что в Ташкенте есть шелковичный червь; второго — за сообщение сведений о том, что в Ташкенте есть бараны, весьма сходные с русскими; а третьего — за десятирублевую бумажку...

Ташкентцы уехали, и наш друг на несколько дней ходит в сюртуке и поправился желудком... Но вот я вижу на его лице печаль, т. е. не то, чтобы и в самом деле печаль, а так что-то также вроде печали. Его гладко причесанная, в меру выстриженная голова с проседью, до некоторой степени, склоняется книзу; его собачьи глазки, и вообще вся фигура его напоминает собою Милордку с опущенным после хозяйского дубья хвостом.

— Что с вами, Иван Андреевич? — спрашиваю я его как фельетонист довольно легковерным тоном...

— И вы спрашиваете?.. американские наши владения... Слышали?.. Нет, нет, никогда... никогда!..

— Да что ж тут такого?..

— Наши владения... Нет, как хотите, обидно!..

Однако на другой день после официального заявления Иван Флюгаркин опять принял вид накормленной левретки...

— А ведь дельце не дурно... кто бы думал... Семь миллионов... Союз вечный... а англичанину-то что?.. То-то...

И собачьи глазки подмигнули...

Но я отошел от моего приятеля и пошел на Адмиралтейскую площадь, где русский народ смотрел на человека, одетого медведем, и громко смеялся, когда медведь бил лапой по лицу маленькой девочки, стоявшей на карусели.

Дело было на Святой, и народу было много около этой девочки. Это была очень молодая девочка, с виду не более восьми лет; но она уже танцевала канкан, как большая, и пела хриплым голосом очень разухабистую песню.

Она пела, конечно, без всякого участия; она танцевала тоже без всякого участия, и если лицо ее (небольшое и уже несвежее лицо с нахальными черными глазками) смеялось, то вовсе не потому, что действительно было смешно, а потому только, что иначе хозяин может дать тукманку. И все глядели на нее, и все одобряли ее. Но вдруг на щеке девочки разбилось

брошенное из толпы яйцо, и девочка с укором взглянула вниз и залилась горючими слезами...

О, это было весьма смешное зрелище, и многие хохотали. Несколько сиволапых, было, хотели заметить, что это «мол» не дело, но раздающиеся выстрелы из балагана, выстрелы, свидетельствовавшие о подвиге рядового Абликамирова, заглушили эти заявления.

Я прошел прочь от этого зрелища и верно бы протестовал против подобного поступка, если б вообще мог протестовать против поступков; но я мог протестовать только против погоды; действительно, полил дождь, я сел на извозчика и поехал обедать...

Там, где я обедал (где именно—я никак не скажу), было много гостей и там не кидали яйцами в лица девочек, о нет! Там, напротив, учили девочек мудрым советам, в которых слова «*купля* и *продажа*» занимали такое же видное место, какое занимает вывеска господина Карповича — «Гласная касса ссуд».

И на это я не протестовал, а только глядел по сторонам и видел, что около меня действительно сидели мудрецы и между ними был и наш друг Иван Флюгаркин; и так он на меня торжественно посмотрел, его глаза горели таким блаженством, кивок головой был до того важен, а фрак так ловко сидел, что я несомненно заключил, что к нам скоро приедут славяне и что

1) их повезут,
2) их будут кормить,
3) им будут говорить спичи,
4) им покажут «Жизнь за царя» и освищут польский танец... и
5) вообще их угостят лучше ташкентцев и будут кричать не «ала», а «слава».

Мужики столпятся где-нибудь и тоже, конечно, будут кричать (или у них голосов нет, что ли?) и опять не вполне будут знать, кому они кричат. Это, однако, не помешает фельетонисту заявить, что «и сладко, и отрадно было видеть, как радушно наши мужички встречали своих единоплеменных братьев».

«— Приезд славян, господа, в настоящее время, когда восточный вопрос переживает критическую эпоху, весьма знаменателен. Не говоря уже об единении столь сильного и многочисленного племени, не говоря уже о важном значении для науки...».

Так начал беседовать Иван Флюгаркин, обращаясь к амфитриону и прочим гостям.

Я раньше сказал, что я сидел между мудрецов.

Их было довольно, и они все были в том возрасте, в котором должны быть умеренные либералы, именно от тридцати пяти до сорока пяти лет.

Из них № 1-й перебил Ивана Флюгаркина и заявил, что единение, конечно, вещь хорошая и принесет плоды;

№ 2-й «позволил себе не согласиться» и заметил, что территория наша препятствует;

№ 3-й, разделяя до некоторой степени мнение № 2, должен был, однако, сказать, что территория наша этому не препятствует;

№ 4-й разгорячился и повел речь о том, что немцы с Бисмарком выдумали обезьяну, и потому славянам следует соединиться и тоже что-нибудь выдумать...

Много еще было разговору, и разговор шел в завлекательном тоне... Сперва единение, а после Константинополь, а потом «мы будем великою нациею»,— заметил Иван Флюгаркин.

Потом, когда все достаточно выпили, языки мудрецов повели иную речь, и в затрапезной стало шумно...

— Бить их... Сокрушить их...

— Долой, мировые судьи...

— Сокрушить...

И так как они были в том состоянии, когда трудно бывает отличить вице-губернатора от пустой бутылки, то они стали сокрушать рюмки и стаканы...

И стало там безобразно... Эти пьяные глаза стали сверкать огнем, пьяные языки лепетали гнусные слова...

Но вдруг отворилась дверь и вошел полицейский чиновник.

Полицейский чиновник вошел просто по той причине, что был послан с каким-то сообщением от своего начальника к амфитриону — тоже начальнику.

Но мудрецы этого не поняли, и в их песьих глазах совершилась метаморфоза. Они стали робки, как бараны. Их умеренно-либеральные торсы умалились до степени пассажного карлика. Их мудрые головы склонились совсем вниз, а пьяные губы словно лепетали:

— Мы, ей-богу, ничего... Мы вот только о сокращении штатов...

Но недоразумение разъяснилось, и я тем временем ушел и не знаю, что было дальше...

И разве мы не живем?.. И после этого, кто осмелится мне заметить, что общественной жизни нет?..

Славяне приехали; их возили, угощали и, действительно, освистали польский танец. Все говорили спичи, многие говорили и стихи. Газетчикам есть материал... Фельетонисты, словно гончие, носятся следом за славянами из суда в театр, из театра в думу и зарабатывают в поте лица свои копейки...

Я, конечно, не имею ничего против обеда и выпивки; но если кто из читателей спросит: «что из этого выйдет», то я его попрошу обратиться к речам моих мудрецов.

Этих мудрецов — гибель. И все они делятся по желаниям на три категории.

Первая хочет — место Петра Иваныча, уничтожения мирового института, ястребиного полета и возможности не платить рабочему.

Вторая — место Алексея Антоныча, собственного дома и возможности не платить рабочему.

Третья — место Александра Петровича, кареты и возможности не платить рабочему.

Ибо рабочий — мужик... О, мужик, тьфу!..

Положим и он человек, но разве Зайцев не писал о неграх?..

И разве Скарятин не доказал, что...

Отворотись, читатель, от всего этого и верь... Нет, ничему не верь, ибо долго, долго еще мы ничего не будем делать, кроме прогулок по Летнему саду в день майского парада...

И странное дело право... Я всегда замечаю, что сойдутся где наши младшие братья, сейчас разговор у них принимает совсем не торжественный, а какой-то больничный характер. То они делают предположения о том, что́ больней, когда «тебе вдарят в скулы или когда тебя вдарят в шею»; то они беседуют о том, что им не заплатили «рубь тридцать три копейки» и что ты теперча сдыхай, или, наконец, «онамнясь послал домой пять с полтиной, а отец пишет: „Еще любезный сын, Миколай Андронович, увидомляем, что мы, слава богу, все в благополучии, да только скотина все падает, и потому ежели ты вышлешь на скотину еще пять рублей, то уж мы и не знаем, как тебя благодарить...“»

Ну, и все в таком же смысле. Неужели же их не занимают славяне! О, какой же это темный народ!..

— Извозчик! Видел ты славян...

— Кого-сь?

— Славян.
— Это аномнясь приехали? Как же, видел... Ничего, бравый народ...
— Ты их любишь?
— А мне што... Вот, барин, нонече овес, пропади он, дорог! Ему что?! Слышите ли?

Пойду лучше поразвлечься в балет...



ОТ ДОМИНИКА
Рисунок карандашом В. М. Васнецова, 1874 г.
Третьяковская галерея, Москва

Если я скажу, что балет играет в нашем развитии немаловажную роль, то я, надеюсь, не скажу ничего абсурдного. И в самом деле, где, как не в Большом театре, многие получают свое окончательное миросозерцание? Где, как не там, забивается впервые юное сердце Ивана Флюгаркина? Где же, как не там, Иван Флюгаркин запоет свою последнюю любовную песнь, созерцая формы и поощряя формы красивой женщины? И где же, как не в блестящей зале, отдохнет он от своих трудов тяжких?

И мудрено ли после этого, что балет русский — диво балетов и что русская жизнь показывает нам, что русские ноги — лучшие ноги... Если та же жизнь не дает особенно сообразительных голов, то взамен дает хорошие ноги, следовательно, надо взглянуть на них с уважением как на результат отечественной производительности и цивилизации.

Отсюда — нельзя не любить балета...

Я очень часто усмехаюсь, когда фельетонисты проходят мимо описания балетных представлений с такой же миной, с какой отходит собака от дымящей папиросы... Вот хоть бы W. Он никогда не описывает балетов. А что он мастер описывать, это свидетельствуют его необыкновенно умные статьи о театре. Я должен предположить, что он этого не делает из желания казаться серьезным.

И никогда никто не определял значения балетного дела в России и степень его влияния на цивилизацию. Это была бы весьма интересная статья, которая могла бы напечататься у Хана, под покровительством Н. Соловьева.

(Кстати, знаешь ли, читатель, отчего статьи Соловьева не признаны гениальными? Потому, что фельетонисты не подписываются. Это заявил г-н Соловьев.)

Подобные мысли пробегали в моей голове, когда я шел к Большому театру. Я вошел в залу театра именно в то время, когда сотни девиц, одетых в белые платья, танцевали, изображая невинных гениев.

Но, боже! Какие злые глаза были у многих зрителей. Казалось, им (этим глазам) было досадно, что танцорки хоть на подмостках ристалища могут казаться невинными... Они словно хотели выскочить из лож и растерзать за это невинных гениев. И если этого не сделали, то потому только, что их сдерживало приличие. Они все были приличны: они были гладко выбриты, отлично одеты, изящно гантированы *, и лица их блистали довольством.

Я стал смотреть на зрителей и, переходя от одного к другому, я переходил от подвига к подвигу, от истории к истории, и если я не упал в обморок, то потому только, что около меня сидел один из чинов полиции.

Довольно! Не гляди туда... Все эти ходячие истории разольют в тебе желчь, и ты не успеешь успокоиться даже сотней невинных гениев, танцующих и веселящихся, и говорящих ногами:

— Как светло... как отрадно им живется... И музыка отбивала такт, и барабан поддакивал...

Однако опустили занавес, и публика стала волноваться.

Я люблю, когда волнуется публика, тем более, что она волнуется всегда сообразно своему воспитанию.

Теперь она волновалась, потому что Петипа хорошо сложена, и вызывала Петипа. Петипа вышла, поблагодарив за волнение кивком грезовской головки.

Я слышал — около меня рассуждали, — что Петипа нынче стала хуже танцевать, что она делает неверные выверты. Мне до этого вовсе нет дела, я видел перед собою грациозное создание; я видел глаза, которые никого съесть не хотят. И за то я без злобы смотрел на эти глаза, и если во мне шевелилось сожаление, то одно только: зачем это создание на театральных подмостках...

Все это, быть может, и глупо, но мне, право, стало жаль на минуту танцорку... В голове моей немедленно сложился вероятный склад ее жизни, ее детство, ее школа и под конец ее блестящая участь — быть развлечением для ловеласов...

---

* От франц. ganter — надевать перчатки.— *Ред.*

Я загляделся на одно прелестное создание, помещавшееся в бенуаре. Это прелестное создание было в голубом дорогом шелковом платье и на плечах носило головку с голубыми невинными глазками...

— На кого это вы смотрите, — подслужился мне сосед справа. — Это известная...

И он мне сказал имя.

Тут поднялся занавес. Но...

Я не стану рассказывать, что было дальше. Скажу только, что, по милости Гольца, Эсмеральду ложно обвинили в убийстве и повели к допросу... Скоро явились и судьи и обвинили ее на смерть. И несмотря на то, что Петипа показывала на театральный потолок, призывая хоть его в свидетели невинности, ее осудили... И она пошла, печальная и растерзанная.

Да... ее повели; но сосед мой справа шепнул, что в последнем акте ее простят, потому что убитый Гольцем окажется только раненным...

Я порадовался этому случаю.

Балетные судьи не приняли на себя греха, и хотя и не слыхали, что и при суде присяжных на пять приговоров всегда один бывает ложный, все-таки пошли за кулисы с спокойным сердцем и неусталыми ногами, ибо судейское платье им мешало танцевать.

Однако, когда кончилась «Эсмеральда», заиграли марш и под звуки его прошли взрослые люди. Но вот они расставились по бокам сцены и из кулис вышли два ребенка и стали танцевать. Это были дети: мальчику не более десяти лет, девочке — девяти. Танцевали они, изображая мужа и жену...

Весь театр зааплодировал. Все забесновались. Все были рады, что дети уже стояли своими молодыми ножонками на краю пропасти. Все были счастливы, что девятилетняя девочка уже кокетничает, а мальчик целует ее с лукавой улыбкой...

Старики торжествовали. Они видели торжество их идеи. Они глядели на детские личики, уже обезображенные их порочным дыханием.

И дети танцевали и, когда кончили, никто им не бросил яйца, как то было в балагане, но им сделали хуже: их заставили повторить.

И дети повторили и сделали ручку публике.

И не было ни единого свистка...

Только, нечаянно взглянув на верхнюю ложу, я увидел, как по лицу одной молодой женщины скатилась безмолвная слеза. Одна слеза почтила детскую гибель. Остальные люди хохотали...

Когда кончился спектакль, я думал, что без шуток вышла бы интересная статья: влияние балета на цивилизацию.

Скоро мимо меня понеслись кареты и останавливались перед большими домами и ресторанами. И среди шума и света людского мне снова являлись на память эти два детские личика, друг друга целующие и за это получающие аплодисменты публики. А их учители, их покровители гордятся успехом своих питомцев, не подозревая, что́ может из этого выйти.

А быть может, и ничего не выйдет, и я понапрасно расчувствовался. Выйдут тупоумные танцоры. Так разве мало тупоумных людей!..

Я не был на славянском обеде, потому еще, что знал вперед, какими стихами и какими блюдами будут угощать меня. Я любил прежде стихи, но после того, как узнал, что даже лучшие поэты говорят: «Не громка моя лира»,— я вовсе разлюбил русские стихи, потому что они под конец одеваются в такую ливрейную одежду, которая и без них на каждом шагу кидается в глаза.

Я остался дома и стал просматривать газеты. Конечно, мое сердце наполнилось самыми торжественными чувствами, потому что я узнал,

что Андрей Александрович Краевский хочет единения славян, господа Артоболевский и Юркевич хотят воспользоваться с пользою временным приостановлением своих газет, случившимся «по многим обстоятельствам», господин Скарятин хочет... но кто же не знает, чего он хочет, и кто же не знает, чего они все хотят?

— Да. Теперь такое время, что мы все швейцары!..

Подобную умную речь, с год тому назад, я слыхал от одного высокого барина, бывшего предводителя и жениха губернской управы — жениха потому, что он к управе питал нежные чувства, но все-таки не стал ее мужем...

Барин этот — интересный барин. Он был когда-то в университете, и так как это было давно, то он не читал Фохта, а маршировал; потом он был кирасиром, и так как это было давно, то он гордился выпивкой десяти бутылок шампанского сразу; потом он пустился в коммерческие дела, и так как это было давно, то он не сочинил никакой концессии, а просто схватил пай в откупах. Но наступило такое время, когда хвалились повести Скавронского и когда вице-губернаторы стали носить pince-nez и говорить по поводу всякого случая умные речи — тогда и высокий барин бросил откупа и стал говорить умные речи. Потом (и это было недавно) он предводительствовал и устраивал разные гимназии и говорил, что «не время теперь спать». Потом он сочинил концессию, два проекта и хлопотал жениться на управе. Но тут случились обстоятельства, и высокий барин круто повернул в другую сторону. Он не женился на управе, но получил лучшее место и снова стал думать, что «экзекуция» — одно спасение...

— Да. Теперь мы все швейцары и, кто больше платит, тому мы и служим, как служило наемное швейцарское войско...

Именно, мы все наемники от околодочного до составителя передовых статей и кто больше даст, тому наше перо. Это выгодно и, следовательно, тут больше рассуждать нечего, ибо если я стану приводить факты, то у меня не хватит ни бумаги, ни чернил...

А я их берегу для того, чтобы восхититься Незнакомцем... Вы, господа, знаете Незнакомца? — Нет? Ну, так я вам скажу: это фельетонист «С.-Петербургских ведомостей» и очень солидный фельетонист... Но боже! Как быстро все идет на свете!.. Прежде (и это было с год тому назад, не более) я проливал слезы умиления над его фельетонами, а теперь слезы, где вы?.. Прежде в этих фельетонах я видел скрытые слезы, а теперь, где вы, слезы фельетонные?.. Прежде Незнакомец не распекал никого и не ругал женщину за то, что она пишет статьи, а теперь?..

Я вспоминаю одну собаку. Это была во время своей молодости хорошая, честная и полезная собака. Но она отъелась, зажирнела и обратилась в комнатного жирного пуделя, пользовавшегося лаской барина. И вот с той поры...

Но затем я отрываюсь к грустным воспоминаниям, что мой старый пудель перешел в акционерное управление и что с тех пор я его не видал.

Прочь воспоминания!..

Да. Незнакомец распекать стал и больше всего с тех пор, как прочел «Дым»... «Дым» ему шибко нравится, до того нравится, что он даже распекает, цитируя из этого романа... И за то, что «Гласный суд» ничего не сказал о славянах, Незнакомец ему делает выговор и замечает, что это школьническая выходка и ниже даже *губаревской* демонстрации...

Чудеса делаются с Незнакомцем, и я непременно тут же бы разрыдался над его распекающим тоном (напоминающим тон либерального советника палаты), если бы только мне не пришел на память старый пудель, поступивший в акциз...

Кстати, чтобы перестать о Незнакомце, меня просили заявить, что А. Ж., сочиняющий критические фельетоны для «С.-Петербургских ведомостей», верно не читал повести г-жи М—ой, напечатанной в «Женском вестнике», и при этом и сам грешит тем же грехом, против которого ратует в своем фельетоне, т. е. инсинуацией.

Все мы там будем!.. Но все же нельзя не проводить напутствием в ту страну, откуда выходят только в околодочные надзиратели и ⟨в⟩ солидные журналисты.

О, не распекайте, не распекайте меня!.. Мне будет больно от ваших острот, у меня перевернется сердце, и я, быть может, не получу места...

О, не будьте строгим вице-губернатором! Позвольте женщине писать и употреблять, если вздумается, выражение «на какого рожна» и носить или не носить кринолины...

И если после славянских обедов ваше расположение будет благодушней, прочтите всю повесть М—ой. Я рекомендую это не потому, чтобы повесть эта была замечательною вещью, а потому, чтобы вам дать средство заметить свою ошибку, а мне окончательно распроститься с вами и отправиться в Александринский театр...

Там шел бенефис господина Алексеева и играли пьесу господина Дьяченко «Светская любовь». Это такая странная пьеса, что я о ней ни слова не скажу, потому что говорить о ней значит рассказывать очень скучную гниль, которая заставит читателя плюнуть и попросить рассказать что-нибудь другое...

Ну, пожалуй, я расскажу о пьесе г. Бутковского «Женский клуб», где выведены какие-то нигилистки. Очевидно, эта пьеса принадлежит к числу таких произведений, о которых мало сказать, что они глупы... Эта пьеса пошлая, и остроты ее напоминают Адмиралтейскую площадь,



ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА. САТИРИЧЕСКИЙ ОТКЛИК НА ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОЖАРЫ 1862-го ГОДА

Д о м.— Посмотрите, я горю, уж и на вас садится сажа.
Д р у г о й.— Пускай, лишь пламени и света
Не занесла бы сажа эта,
А копоть — ничего.

«Дома» — (слева) Министерство внутренних дел, здание которого пострадало во время пожара. На крыше — министр П. А. Валуев; (справа) Министерство просвещения. На крыше—министр А. В. Головнин

Рисунок Н. А. Степанова
Предназначался для журнала «Искра», 1862 г.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

а автор ее, г. Бутковский, по справедливости может сравниться с авторами представлений, даваемых в балаганах, и то не рублевых, а двугривенных...

Все это, однако, нисколько не помешало некоторой части публики одобрить автора... Впрочем, кого только не поощряет эта добрая, эта вертлявая часть русской публики...

И если слишком малое меньшинство из этой публики хоть свистком захочет протестовать, то кто же, как не престарелый Иван Иванович, скажет за вечерним чаем своим домочадцам:

— Слышали?.. Каково это?.. И ты думаешь, отчего они кричат?.. Просто оттого, что у них, у подлецов, средств нет... А дай им средства...

— Однако же,— замечает дочка,— Иванову и место предлагали хорошее и невесту богатую — он все-таки отказался.

— Молод, вот и вся причина... После одумается. Ты мне сказала один пример, а я тебе их скажу десятки...

И кредит веры в честных людей подрывается в уме молодой девушки десятками примеров практического мудреца. И долго в раздумье будет сидеть это молодое создание и в ее голове будут бродить вопрос за вопросом, сомнение за сомнением... И мало-помалу ее неустановившийся характер будет склоняться на сторону мещанского мира и довольства, и она будет там, где и большинство наших сестер, потому что надо быть Елизаветой Блэкуель, чтобы пробиться сквозь крепкие стены на вольный воздух.

Я знал такую молодую женщину. Я видел ее замужем за мещанином с головы до ног и видел ее довольною, веселою и, по-видимому, наслаждавшеюся жизнью.

Но бывали минуты (и дорого, должно быть, стоили ей эти минуты), когда она глядела своими темными большими глазами на лоснящееся от жира и улыбающееся от довольства лицо своего мужа с такой грустью, с таким укором, что сжатые ее губы ясно для меня шептали:

— Что вы со мной сделали... Что вы из меня сделали!!!

Сначала подобные взгляды бывали чаще, потом реже, реже. Жизнь казалась совершенно легкою вещью, и перемена любовников (непременное следствие таких брачных сожительств) таким же удобством, каким для «Голоса» перемена мнений...

Надо быть Елизаветой Блэкуель, чтобы пробиться даже в Америке, но тем более чести, если у нас некоторые-таки устраивают себе жизнь по-своему и, не обращая внимания на змеиное кругом шипение, идут вперед, учась и трудясь и давая все шансы ожидать от них таких матерей, которые бы сумели приготовить если не настоящих деятелей (чтобы быть деятелем, надо иметь много благоприятных условий), то, по крайней мере, людей, сумеющих постоять за что-нибудь... И тогда только можно ждать, что мещанский жир не будет пробираться во все слои образованных людей, и тогда только наши родные Иваны Иванычи не в состоянии будут подрывать у молодой дочери кредита и веры в полезность честной жизни...

И только при таких обстоятельствах может не быть, с одной стороны, какого-то хлыщеватого удовлетворения грошовой добродетелью, с другой — какого-то плаксивого хныкания, или жизнь идет не на розах... Если обстоятельства и плохи, то надо хоть по возможности противостоять им...

. . . . . .

Много пишут о несчастном положении трудящихся женщин в Петербурге, и много предполагается мер против этого положения, но все это такие паллиативные меры, которые особенно блестящих результатов не

дают и самого зла не искореняют. Но больший или меньший успех дела зависит, конечно, от того, какие люди и какие взгляды руководят этими обществами.

Общество «Пособия бедным женщинам» сделало умно, что на днях напечатало месячный отчет о своей деятельности. Вот он: «Магазин женских изделий „Общества пособия бедным женщинам“ (на углу Вознесенской и Офицерской, дом Ланского) в апреле 1867 года получил заказов 85; цифра эта, хотя против предшествующего месяца несколько и меньше (в марте было заказов 93), но, приняв в соображение, что в течение апреля было почти две недели праздничных, когда заказов вовсе не бывает, можно считать, что заказов не уменьшилось; затем, образцов для фасонов на выставку и на продажу к 1 мая оставалось 75; готовых вещей, принятых на комиссию, состояло в магазине к 1 апреля 136, в течение апреля прибавилось 66, за исключением проданных и возвращенных, оставалось вещей к 1 мая 167. Рабочей платы мастерицам выдано в апреле 229 руб., против марта несколько меньше (233 руб.), но, если принять в расчет те же две праздничные недели в апреле, окажется, что и относительно общей суммы заработанной платы, она против предыдущего месяца не уменьшилась; что же касается высшего размера рабочей платы, то он в истекший месяц положительно увеличился, а именно дошел до 23 руб., между тем как в марте не превышал 15 руб.; наконец, *прибыль* магазина, т. е. проценты с рабочей платы и с готовых вещей, а также прибыль с материала настолько уже велика, что $^2/_3$ расходов, собственно по *содержанию* магазина, покрываются из этого источника».

Но все это капли... капли... и капли... Если их будет много, то будет ручей... Но не надо забывать, что Россия всем обильна и что страждущих в ней очень много как в самом Петербурге, так и в каком-нибудь заштатном Воскресенске (где, кстати замечу, недавно бегал *какой-то зверь*, перекусавший много людей). И что́ если обстоятельства не укажут, как помочь этому; умиляться всем этим паллиативным мерам благотворительности, значит, радоваться, что у человека, имеющего долгу тысячу рублей, есть 3 руб. в кармане.

Если тебе, читатель, сделалось не в меру грустно, то скорей собирайся на дачу.

Там будет светло, зелено и радостно... Там будешь на свободе гулять, дышать воздухом и вообразишь на минуту, что ты и в самом деле на свободе...

Там ты не увидишь того, что видишь в городе и к чему ты так странно привыкаешь, зато там ты познакомишься с одним очень почтенным старичком — Никифором Иванычем.

Я его вижу всегда. Да он, кажется, и бывает везде. Это преобходительный старичок — маленький, сморщенный, чистенький, с гладко причесанной головкой и с маленькими лисьими глазками... Когда он на меня смотрит этими глазками, мне всегда хочется уйти от него, но он непременно подойдет и скажет:

— Не правда ли, чудная погода?..

— Ничего, недурно...

— И главное, заметьте... Впрочем, может быть, я вас задерживаю... Заметьте (продолжают глазки), как солнышко подпекает... Вы-с недавно переехали?..

— Недавно...

— И отлично сделали... А то в городе что... Тяжело, тяжело дышать... Эти вечные стеснения... Вы не удивляйтесь, молодой человек, я хоть и старик, но либерал, и...

Но я бегу от этого либерала (советую всем остерегаться этого чистенького старичка с лисьими глазками) и отправляюсь к Излеру.

И как мы благодушно смеемся, сидя у Излера... Мещанские наши добродетели позволяют нам плакать только тогда, когда нас покидает начальник или когда горчица чересчур крепка.

Мы не плачем иначе, нет! Мы добродушно смеемся и гуляем в своем обществе. Мы даже не обращаем большого внимания на то, что наш брат с бараньей головой смазал по лицу какой-то женщине и со словами: «Bon soir, ma biche» * отвернул с самодовольствием свое баранье лицо.

Мы хихикаем и только говорим:

— Вообразите!!.

Но никто ничего не воображает...

Мы смеемся и опять добродушно смеемся, слушая похождения Василия Развиваева, создавшего себе профессию развивать барышень, т. е. говорить им туманно-либеральные фразы, и впоследствии хуже любого старика разбивать их светлую веру...

Мы смеемся и говорим:

— Чем же он виноват, что он холоден и что в него барышни влюбляются!..

Мы начинаем входить по пояс в мещанскую тину.

Мы не замечаем уже, что мирно благодушествуем рука об руку с теми разжиревшими мещанами, от которых прежде мы бы отвернулись; теперь же, соблюдая приличие, мы им жмем руку и говорим: «ах, как приятно!» И они нам жмут руки и говорят: «ах, как приятно!».

Мы окончательно тонем в мещанской грязи, которая и ляжет тяжелым пятном на наших детях...

И мы, сидя в ней по горло, еще улыбаемся, как улыбаются телята или филистеры...

Это, конечно, всё думы... Но и одни думы — попасть в объятия мещанства, пугают до болезненности.

О берегись его, читатель!

<III. ИЮЛЬ 1867 г.>

Летом, обыкновенно, наши журналисты являют страстное и непреодолимое желание устроять наше любезное отечество. Вероятно, на них оказывает такое влияние жаркое время; каждый из них из кожи лезет вон, чтоб, собственным умом выдумав какую-нибудь обезьяну, предложить ее всеобщему вниманию. Поэтому на сцену является все: Турция и Гусев переулок, славяне и подслушанная сплетня, словом, все до скандала включительно.

— Я выдумал, ей-богу, выдумал, господа, — поет «Голос». — Вся беда оттого, что мы не слились со славянами. Сольемся с ними (конечно, если ближайшее начальство согласится), ей-ей сольемся... Народ хороший, право!..

— Оно, видите ли, все зависит от постепенности и от земства,— угрюмо говорит угрюмый шрифт огромнейшей простыни господина В. Корша.— Тихим шагом марш... Только чур, господа, идти тихохонько, иначе не одобряю... Но главное: кайтесь, граждане, кайтесь!.. Кайтесь! И вас, конечно, пригреют, если вы искренно бросите прежнюю дорогу и вернетесь в лоно благоразумия... Каяться никогда не поздно, хотя бы вы (по глупости) и читали прежде заграничные русские издания,— взывает воскресный фельетон той же простыни...

— Стой, братцы, стой! — кричит Н. Соловьев.— Ведь вы не так сидите. От этого и музыка не идет. Знаете ли, кто самую настоящую обезьяну выдумал? Ведь это я, ей-богу, я — Николай Соловьев... И если хо-

---

* Добрый вечер, козочка (*франц.*).

тите спастись, вот что надо сделать: надо собраться всем литераторам вместе и затянуть, да только непременно хором: «Эх, дубинушка, ухнем!» Это чисто русская песня, а в ней все спасенье. На ней мы разошлись; на ней же мы и сойдемся («Всемирный труд». Июнь).

— Ай да «Дым»! Никто его не понял, кроме меня. «Дым!» «Дым!» — подает голос из толстого «Вестника Европы» г. Анненков.

Мои уши до того привыкли в последнее время ко всяким возгласам, что они нисколько не пугаются никакими обстоятельствами, показывающими даже, что в известной части журналистики и ложь на собрата, получив право гражданства, окончательно опошлилась.

Все это напоминает мне небольшую историю, и я непременно ее расскажу. Надеюсь, что читатели не будут на меня в претензии, что действие будет происходить в людской одного очень богатого помещика.

Эта история (бывшая еще во время крепостного права) пришла мне на память после чтения книжки г. Любавского — «Русские уголовные процессы», в которой есть много интересных дел о наших помещиках до эмансипации крестьян. И вот я вспомнил тоже оригинальную повесть этого времени.

У нашего помещика была большая дворня и, конечно, вследствие известных причин отличалась настоящим холопством... Дворня была так велика, что часто ей решительно нечего было делать, и потому часто ругалась, ссорилась между собой, сплетничала друг на друга, хотя в сущности все были между собой братья...

Помещик обширного имения В-ой губернии был большой эксцентрик; он бывал за границей, видел тамошние порядки и, возвратившись в свое имение, захотел сблизиться с крестьянами и через своих дворовых узнать о их нуждах.

И стали дворовые рассуждать и предлагать разные меры, как охранять озеро от чужих рыболовов, как сберегать лес и проч. Хотя помещик никогда их и не слушал, он любил все сам делать, но тем не менее холопы возрадовались неописуемо и стали друг перед другом хвалиться, кто лучше языком взболтнет и сумеет поддакнуть барину.

Их соревнование и желание друг перед другом задавать форсу надоумило их подслушивать барские разговоры. Барин, сидя за обедом, скажет барыне: «Надо старосту Акима долой... он шельма!», а Сенька (ловчак-бестия был), бывало, первый это подслушает и сейчас же придет в застольную, насупит свою рожу и будто сам от себя предложит:

— А что, братцы, я вам скажу... По моему разумению, староста Аким у нас шельма... Надо бы его по боку. Я доложу господину управляющему.

И идет докладывать.

— Пошел прочь! Без тебя сделано,— ответит ему, бывало, управляющий (а управляющий этот, надо вам сказать, был презанозистый человек).

И даже ин раз даст пинка Сеньке. Но Сенька ничего; только встряхнется по-расплюевски и, войдя в людскую, скорчит самую важнецкую рожу.

— Я говорил, что старосту надо прочь... Вот его и согнали. Каково ето, братцы?..

И, бывало, героем таким смотрит на других.

А то иногда и Капитон-бирюк (так прозвали в людской Капитона за его сумрачный, будто недовольный вид) захочет что-нибудь обсудить, и скажет:

— А знаете ли, братцы? Соседа нашего Пентюшкина надо бояться...

— Как? Почему? За что?..— подымут вой собеседники.

— Я говорю — бояться, значит — бояться! Потому, намедни оттудова пришел мужик; сказывает, что наших там вздули. Дай-ка об этом пойду скажу управляющему.



ЖЕНСКИЙ ВОПРОС,
Карикатура. Гравюра Фрейнда
«Искра»,

И пойдет докладывать своим тяжелым, неповоротливым языком.

— Пошел прочь! — опять пнет его, бывало, управляющий Андрей Карпыч.— Без тебя, дурака, знаем!.. Дело ладком покончим. Пошлем к Пентюшкину Кузьку-приказчика. Он ловок говорить, дело обработает...

Капитон-бирюк еще угрюмей вернется назад в застольную, еще более насупит свое лицо и, будто раздумывая, важно вымолвит:

— Шел я, братцы, да по дороге все раздумывал, как нам с Пентюшкиным быть. К чему нам с ним ссору затевать... Так ли?.. Лучше, мол, ладком с ним сделаться... Послать, мол, к нему Кузьку-приказчика, он — мастак зубы заговаривать. Так я и доложил управляющему. Так тому и быть!..

— Ай да мы! — оскалит, бывало, зубы веселый Фомка-лакей.— Вот мы как... Только разойдись... Вот, братцы, мы теперь предложим, чтобы Лариона-бурмистра сменить... Все дело в усадьбе портит... Ономнясь при мне избил двоих мужиков... Мы его за это сменим. Только погоди!..

Только, бывало, подслушает такие речи управляющий да прикрикнет на них покрепче, глядишь, кто куда попрячется.

Осторожно, не вдруг, снова соберутся все через несколько минут в застольную и станут корить Фомку.

— Чего лез... Аль тебя просили?..

— Да я так, только пошутил...

— Вперед не шути.



РАЗРЕШЕННЫЙ НАГЛЯДНО
с рисунка М. М. Знаменского
1863, № 23

— Постой, братцы,— крикнул Сенька.— Гони Фомку вон!.. Ступай. Федя, скажи барину, что Фомка мутит...

— Братцы, за что?..

— Иди сказывай, что Фомка барина ругает.

— Братцы... Я не в жисть...

— Ладно. Из-за тебя всех... Поди, Федя, скажи барину, что Фомка позавчерась варенье барское лизал...

Но тут уж Фомка озлился.

— А кто у попадьи пятачок уворовал, а?..

Сенька *жмется и краснеет.*

— А кто,— продолжает Фомка,— «Бову-Королевича» предлагал ребятам читать, а?..

Сенька окончательно трусит и говорит, что он шутил. И идет часто между ними такая пря, что даже на стороне слышно...

Но это все было прежде. Теперь с отменением крепостного права дело изменилось и, значит, моя история несколько запоздала своим появлением и, пожалуй, сочтется некоторыми за *очень* давнишнюю историю. В таком случае отвечу читателю, что он может думать, как ему заблагорассудится, я попрошу его следовать за мною в самую глубь провинции и взглянуть на этот маленький, грязненький, серенький городок, над которым плачет дождичек, словно в слезах утопить его хочет. Стучит он в окна небольшого домика, где сидят за работой девушки-мещанки. Шьют они рубахи и в раздумье подымают свои головы и глядят на

мокрые окна. Не унимается дождь. Пуще колотит в окна и будто выговаривает: «Шей, шей, шей!..»

— Мы бы и рады шить,— отвечает первая работница,— да платы не хватает на жизнь...

— Шей, шей, шей!..

— Мы и рады бы шить,— отвечает другая работница,— да руки коченеют и есть хочется...

— Шей, шей, шей!..

— Мы бы и рады шить, да слезы подступают к горлу!..

С севера налетел ветер и шепчет заунывно около окон.

— Ты скажи, ветер северный, что нового в столице...Лучше что ли там?...

— Там все одно и то же... Плоха на столицу надежда. Шей, шей!..

И пошел гулять ветер, заглядывая в окна маленького города. Вот сидит за книгой маленькая, курчавенькая головка белокуренькой девочки и время от времени поглядывает на окна.

— Мама, отчего это ветер?..— спрашивает девочка, глядя на маму, тоскливо глядящую на улицу.

— Ветер... да оттого, что дует...

— Мама, да отчего же он дует?..

— Боженька приказал.

Сидит девочка и пуще задумалась. Она ищет разрешения задачи в книжке, и мелкие морщинки набегают на ее чистый, девственный лоб. Болезненное лицо ее о чем-то сокрушается, в ее больших карих глазах виднеется какое-то горе, и девочка вдруг жалобно плачет.

— Ну, что с тобой... что?..— досадливо спрашивает мать.

— Ничего, мама.

И пуще жмется она своей головкой к материнской груди. Я вижу на этом милом лице много хороших задатков. Я знаю — эта девочка узнает, отчего дует ветер, но отчего же столько мучений ей приходится терпеть, чтобы узнать эту простую истину. Не для того ли, чтоб ей быть готовой на большие и тяжкие мучения...

— Нет, не учись ты, милая девочка... Нет, не ищи ты истины. Нет! Ты иди к Блондену и ходи по канату!..

И тогда разная шваль холопски тебе будет аплодировать и искать улыбки твоей!..

И тогда старая жизнь падет тебе в ноги и станет предлагать тебе золото и любовь!..

И ты возьми и то и другое. Первое, чтобы заплатить фельетонисту за рекламу, второе для того, чтобы заглушить ненависть...

Девочка успокоилась немного и снова уставила глазенки в свою книжку. Мерно стукают часы в комнате. Мать стала раскладывать карты.

— Господи, какая тоска!.. Аксинья!.. В котором часу придет барин?..

— В два, барыня!..

— Еще целый час, боже!..

И ветер шумит, и дождь продолжает плакать над сереньким городом, в котором много людей сторожат уши и ждут — не принесет ли им ветер вестей из Питера...

Но он не несет им ничего, и городок стоит мокренький, словно старушонка-странница средь ровного поля...

Я видел такую старушонку раз проездом в Сибири. Мимо меня мелькали зеленевшие деревья, между которых изредка попадались человеческие фигуры «несчастненьких», почувствовавших запах весны и пробиравшихся к себе на родину... Но вот впереди появилась черная точка. Подъехав ближе, я разглядел странницу... Это была старуха с таким болезненным, преждевременно состарившимся лицом, которое меня поразило... Я остановился и предложил ей подвезти ее... Она пристально на

меня взглянула своими потухающими глазами и согласилась... Мы поехали вместе, и я награжден был веселой историей...

Ее история была правдивая история, и в ней, к несчастию, было слишком много правды... Странница искала своих дочерей и не находила... Она рассказывала, что у нее были две дочери, два честных создания, но что их взяли и продали... И с той поры она ищет их везде и не находит... Была она и у Каспийского моря, была и в Сибири, и нигде нет и следов их...

— Кто же их взял? — спросил я...

— Их загубили злые люди... Мне их потом показывали, но это не они... Нет... Те были чистые, милые дочери... А эти — были... Нет, это не они... Я их найду!..— с отчаянием в голосе докончила сумасшедшая мать и вдруг соскочила с телеги и пошла большими шагами по лесу...

— Я их найду!..— раздавался еще сзади меня ее суровый голос...

Я погнал скорей лошадей и тогда только успокоился, когда приехал на станцию...

Все это было еще очень давно, и с тех пор случалось столько таких историй, что они стали слишком обыкновенны, и если занимают еще кого-нибудь, то потому только, что есть еще матери, не продающие своих детей, как есть еще люди (хоть их и мало), не продающие за несколько кредитных рублей свое право глядеть открыто в глаза другим...

Но меня не это занимает в настоящую минуту... Я все думаю о несчастной собачке, погибшей с людьми в Гусевом переулке, которую столь обессмертил составитель отчета о происшествии в Гусевом переулке в газете «Голос». Вы, верно, знаете об этом происшествии? Дело в том (я говорю это для незнающих), что среди белого утра убили четырех человек и до сих пор еще не нашли убийц... И собачка, которая, по словам «Голоса», могла бы служить важным проводником к открытию злодейства, и та умерла, закрыв таким образом все следы к открытию преступления... Все это меня подмывает сказать, как иногда малые причины производят важные дела, и я непременно развил бы эту мысль подробней, если б не вспомнил, что мне надо убедить мою знакомую барышню не идти к Излеру и не проситься ходить по канату...

Дело в том, что моя знакомая барышня имеет удивительно глупую страсть... читать фельетоны г. Незнакомца... Надеюсь, что никто ее за это не обвинит, ибо мало ли есть людей, имеющих глупые привычки. И вот (о, ужас!) она прочла в одно из воскресений его фельетон и из него заучила такие афоризмы насчет женской эмансипации:

№ 1. «Нет, вы подите пройдитесь по канату — вот это будет штука, а я погляжу...»

№ 2. «Для меня важны энергия и мужество, и перед ними я преклоняюсь...»

№ 3. «А вы хвалитесь (*это женщины-то*) умственным трудом. Велика важность написать плохую компиляцию... Нет! Вы попробуйте-ка по канату пройтись!..»

Вырезав из газеты штук с десяток подобных афоризмов и остальную бумагу отдав на кухню, барышня эта наклеила их у себя в комнате и стала о них думать, и так как, признаться, ничего не читала кроме фельетонов «С.-Петербургских ведомостей», то стала впадать в уныние, глаза у ней помутились, явился бред, наклонность к идиотическому состоянию... короче сказать, она решила идти к Излеру проситься на канат...

И она, верно бы, исполнила свое намерение и, верно бы, восхитила Незнакомца, если бы я ей не принес другие афоризмы и не дал бы выучить их наизусть. Вот они:

1. Нет, вы сумейте-ка набрать материалу на воскресный фельетон, хотя бы и пошлого, и заработать мешочек пятачков. Вот это будет штука, а я погляжу...

2. Для меня важны энергия и мужество, с которыми фельетонист стремится в разряд сочинителей, называемых у нас подслуживающимися...

3. А вы хвалитесь умением сочинить книжку... Нет! Сумейте-ка в одно время и Россию любить, и пятачки зарабатывать, и советовать каяться (в чем?) и окончательно разлагаться...

4. Не штука писать без сплетен... Нет! А вы узнайте-ка на кухне сплетню, назовите-ка ее «разговором учительницы с литераторшей» и, зарабатывая хлеб свой, называйтесь-ка не сплетником, а я погляжу...

Я много еще написал афоризмов, но не все они по своей резкости годятся для фельетона... Показав их и объяснив их смысл барышне, я могу гордиться тем, что я вылечил ее очень скоро, и даже знаю, что она собирается писать в редакцию «С.-Петербургских ведомостей» сама и хочет просить, чтобы господин Незнакомец сперва сам прошелся в саду господина Егарева на канате, а она посмотрит... Или же, если он на это не согласен, то суметь печатно говорить вещи, достойные хоть Кача, а не такие, в которых бы виляние хвостом бросалось так же в глаза, как и все его афоризмы.

Я не знаю, напечатают ли это письмо «С.-Петербургские ведомости», но знаю одно, что г. Незнакомец мне столько же надоел, сколько надоедает мне постоянно вертящийся у ворот моего дома пудель...

А какая это была собака!.. Но она...

Довольно... довольно!..

Мало ли есть афоризмов и мало ли негодных гранок приходится читать и таких, которым бы вместо того, чтобы быть в руках, следовало лежать в мусорной яме для того, чтобы однородные вещи лежали с однородными...

Господи! Мне снова хочется вспомнить историю эксцентричного помещика и Сеньку, и Капитона-бирюка, и Фомку-лакея, но ведь это уж будет чересчур скучно, а главное — зачем же беспокоить их и без того покойное ничтожество...

Мир им. Гадко говорить больше, тем более, что на меня находит игривое настроение. Я только что узнал, что наш литератор господин Дмитрий Григорович получил почетного легиона. Это мне лестно, ибо я вижу, наконец, что Франция награждает отечественные заслуги... Что, если бы и у нас давали ордена литераторам?

Жарко на дворе, и столица наша, по обыкновению, перебралась на дачи и ездит по вечерам к Излеру, где довольствуется певцами, певицами и танцорками. И вообще жизнь идет себе помаленьку: едят, гуляют, спят... Снова едят и друг другу говорят:

— А Максимилиана-то... Ужасно!..

— Что-то Австрия скажет?..

— Не суйся в чужой огород!..

А вот, на крохотной дачке за чайным столом сидят мать и дочь. Мать — вдова. Дочь — девица.

— Мама, а что мы сделаем, если выиграем 200 000?..

— Купим дачу в Павловске...

— А еще что?..

— А еще дом в Петербурге.

— А еще?..

— А еще найдем тебе жениха...

— То-то... Ах, если бы выиграть...

И снятся им хорошие сны.

Молодая барышня видит яркую картину счастия. Ее мать выиграла. У них дом в Петербурге и в доме этом много блестящих комнат; у подъ-

езда швейцар, а в комнатах лакеи в белых галстуках... У них много гостей, и все гости новые — блестящие, статные и красивые. Она сияет в голубом платье, и на нее все смотрят. Но вот к ней подходит красивый господин и говорит:

— А я вас давно люблю... Хотите быть моей женой?

— Я... я... я не знаю, как маменька...

Дело идет на лад. Мать согласна, потому что молодой человек идет по хорошей дороге, по той, которая доводит до петушьей осанки и до глотания слов при разговоре с подчиненными.

Они повенчаны. Они уже неразлучны.

Для них начинается хорошая жизнь. Они принимают гостей, и сами делают визиты; они ездят в театр, и у них своя карета... Они любят друг друга, потому что им друг до друга мало дела. Они тонут в мире и довольстве... У них пять блюд и нет долгов... Они читают газету и сочувствуют необходимости починить мостовую где-нибудь на Лиговке...

Но вот и новая радость... У них дочь.

Для ребенка нанята мамка, а мать хорошеет. Ребенок их забавляет, они его ласкают от нечего делать и внова тонут в мире и довольстве тем более, что муж получил награду...

— Ах, как я счастлива!..

— Ах, как я счастлив!— говорят в избытке чувств супруги и не обманывают никого, потому что у них пять блюд и милые гости... Но вот муж стал часто отлучаться из дому... Является друг дома... Молодой, красивый...

— Вставай... вставай... Чего заспалась...— будит на интересном месте сердитая мать...

— Ну что, мама, мы выиграли?..

— Шиш выиграли... Опять какой-то мужлан выиграл!..

— Что вы, маменька?..

— Нет нам счастия... Выходила бы уж ты поскорее замуж...

— Да за кого?..

— Да за Перепелкина... Ведь есть дурак один... Чего ждать?.. 600 р. жалованья и казенная квартира...

— Да разве он хочет?..

— Сделай, чтобы хотел...

Ровно через неделю после описанного разговора барышня венчалась с господином Перепелкиным, чиновником, у которого на плечах вместо физиономии было заномерованное отношение, начинающееся словами: «на отношение вашего превосходительства» и кончающееся: «имею честь уведомить».— Теперь она мадам Перепелкина и живет на той же даче, где и жила...

Ее надежды разбиты... Но она ждет следующего тиража...

Впрочем, все это в сторону... В настоящую минуту меня занимают сочинения славян, бывших в России. Вообрази, читатель, по некоторым из их наблюдений, оказывается, что у нас полное благоденствие; что сословных различий нет, что офицеры — люди высокообразованные, что бедности — ни, ни... словом... словом, радуйся каждый, сколько может, что он живет в России и что славяне между обедом и театром, между завтраком и осмотром города сумели узнать Россию так близко, хорошо, а главное верно...

Это мне напоминает тех из наших путешественников, которые, наблюдая быт простого человека в окна своей кареты (вроде графа Гаранского), приезжают домой и находят, что жизнь простого человека восхитительна...

— Знаете ли (говорят такие люди вроде лейтенанта Жевакина) у них домик маленький, а в доме семейство... И все так мирно и хорошо...

Черный хлебец... Похлебочка... Молочко... Нет, восхитительно!.. Пасторально...

Я всегда слушаю таких друзей, и передо мной носится картина далеко не такого вида... В этой картине много нищеты и глупости, много безобразия и самовластия, много варварства и лицемерия, но в тумане издалека виднеется что-то другое, в котором нет ничего похожего с первым...

Довольно. Картина эта, может быть, и не верна и напрасно раздражит воображение. Посмотрите-ка вокруг себя...

Птица щебечет, Соловьев поет, «Голос» кричит о мостовой... Кареты мчатся с дамами, господами... А дальше плетется рабочий и рабочая... Всякому свое... И неправда ли, что в это время им всем отлично... хорошо и барину, и барыне... но так же хорошо и рабочему, и работнице...

Ведь правда? Если так, то мне ничего не остается, как кончить, сказав: «Блажен, кто верует, тепло тому на свете».

‹IV. АВГУСТ 1867 г.›

Ты знаешь ли, читатель, край, где людям хорошо живется, где нет того мещанского ожирения, с которым разные советники, словно каплуны, ходят в должность, обедают, спят и вечером играют в табельку или проливают слезы умиления, глядя на александринскую драму, в которой наказуется дочь, бежавшая с учителем, и в которой все *лакейское* за исключением собак и лошадей, играющих в пьесе? — Ты знаешь ли край, где не стонут под гнетом бедности и не играют в глазах ловких людей роли винограда для винокура? Ты знаешь ли край, где я бы мог высказывать свои мысли, не опасаясь за них, хотя бы они и нелепы; где я бы мог носить платье, какое хочу (если оно не вредит большинству), не опасаясь, что городничий засадит меня в кутузку? — Ты знаешь ли край, где каждый может интересоваться de-facto* тем, что касается до него, а следовательно, и до всех?..

Нет! Ты не знаешь такого края, и я не знаю его. Ты знаешь другой край, где есть люди, толстые от жира и худые от голода; где первые, словно куры-наседки, сладко дремлют, слушая итальянское пение в опере, а вторые глядят с потухшими глазами в окна, где выставлены сладкие яства «мира сего», и глодают свой черствый кусок, вынося в своем сердце инстинктивный протест против его недостаточности. Ты знаешь край, где, конечно, есть много роскоши, богатства и ананасов, но где в то же время целые области питаются какой-то дрянью, которая из деликатности также называется хлебом, как наши ежедневные листы, испещренные черными строками, называются газетами. Ты знаешь край, где ты свободно вполне можешь заявить, что погода дурна, что городовые хороши и вежливы и что страна идет вперед...

Ты знаешь край, где, между прочим, полиция берет девушку и сажает ее под арест за то, что она не носит кринолина, где исправник порет купца за то, что купец не дает денег взаймы, где помещица задает *дранцию* (выраженье это — собственность этой помещицы) посредством крапивной порки маленькой девочке двенадцати лет и присуждается к небольшому штрафу; где редактор Корш стыдит седины редактора Краевского, обвиняя его в клевете, и где редактор Краевский стыдит добросовестность редактора Корша, обвиняя его тоже в клевете; где оба вместе и каждый порознь со своими печатными листищами имеют такое же влияние на общественные распорядки, какое мог бы иметь казачок Филька на действия приказчика, у которого он служит в качестве казачка; где на все «*новые*

---

* фактически (*лат.*).

меры» смотрят с тупоумным довольством, где, наконец, и может быть наказана *дранция* и не может.

Да... Вы знаете этот край, но зачем вы хотите удалить от глаз ваших все его недостатки? Лучше прямо взглянуть, чем утешать себя усыпительными заверениями и лепетать, что «наш край диво див».

Подобное самодовольство не может не напомнить мне кохинхинских (Кохинхина — соседка Китая) рапортов о благосостоянии края тамошних



ГОЛОДНО И ХОЛОДНО
Рисунок К. А. Савицкого, 1860-е гг.
Третьяковская галерея, Москва

губернаторов; рапорта эти являются в следующей форме (переведенной с подлинника на русский язык):

«Великий повелитель!

Тебя осмеливающиеся обожать и под твоим лучезарным сиянием блаженствующие анамиты (*или кохинхинцы*) не перестают просить богов о ниспослании тебе счастия на радость рабов твоих, которые живут, словно рыбы в воде, или птицы в воздухе, не зная ни нужды, ни горя, ни бед, ни несчастий и пр. и пр.».

Многие русские походят на тех индейских петухов, которые, гуляя по заднему двору, носят на своих птичьих лицах ужаснейшее самодовольство, воображая, что нет ничего лучше их самих и их вонючего, грязного заднего двора, в котором они копошатся, живут, подписывают, предписывают, словом, действуют...

Иначе трудно себе объяснить те толки и в печати, и в обществе, которые ведутся о гласном суде.

Сидят, положим, в кабинете два коренастых Петра Ивановича и млеют за отчетом процесса.

— Ну что, батенька, каково? Теперича, ежели у меня кто украдет со стола вещь, так вора быстро накажут... так ли?

— Еще бы... Именно быстро... Теперь свобода...

— Совершенно свобода, потому накажут по закону... Всё закон!

Ну, разве это не петухи с острова Борнео, петухи, воспитавшиеся русскими газетами, которые, словно неразумные ребята, из кожи лезут вон, чтоб доказать, что гласный суд лучше негласного суда, что розга хуже ласки. Ну, разве не смеялся бы надо мной всякий, еще из ума не выживший человек, если бы я стал на бочку и ну орать, что учиться, мол, полезно? И разве не становятся до отвращения противны эти защитники, по своей наивной глупости даже профанирующие мысль этих учреждений?..

— Гласный суд!.. Гласный суд!.. О, какое это блаженство!.. О, какое это счастие!.. Вот где самая суть-то!..

Так говорят эти Петры Ивановичи, и слезы текут по их лоснящимся щекам, в которых жир сквозит сквозь их мягкую, нежную кожу...

Они не хотят понять того, что гласный суд еще не разрешит главного вопроса бедных.

Они радуются потому, что еще лучше могут защищать собранный ими достаток, и скорей отошлют, по закону, в привольные края Сибири несчастного, который уворует пятачок «со взломом».

Они не воображают, что есть и серьезные вещи, которые могут походить на кукольную комедию, развязка которой может часто зависеть от личных взглядов и личных вкусов... Они забывают все это и идут в окружной суд слушать дела преимущественно об уворовывании пятачков «со взломом».

Как-то недавно я зашел в уголовный суд, где шло дело о краже, совершенной шестнадцатилетним мальчиком; я застал дело почти в конце, в тот момент, когда прокурор составляет обвинение человека и отсылает его в отдаленные места, а адвокат, напротив, старается оправдать человека... Публика не особенно была внимательна на этот раз, потому, верно, что действующие лица исполняли свои роли из рук вон плохо; адвокат не особенно искусно взывал к милосердию, а прокурор, очевидно, еще не приучился ясно и довольно громко посылать на поселение...

Обвиненный молодой мальчик сидел на скамье между двумя жандармами. Его лицо было симпатично. Черные глаза робко выглядывали из-под свежих, чистых щек и часто останавливались на судьях, которые, как следует судьям, имели на своих лицах то бесстрастие и холодность, к которым приучаются вследствие своих занятий. Наконец, дело было кончено. Господин прокурор еще раз пригласил присяжных наказать виновного, а господин адвокат еще раз пригласил принять в соображение молодость обвиненного. Президент суда сказал речь... длинную, сухую, толковую и холодную... смысл которой заключался в том, что справедливость должна руководствовать присяжных. Затем присяжные удалились, и публика заговорила:

— Надо быть присудят к поселению,— добродушно сказал толстый купчина.

— Ребенок ведь... несмысль...— заметил другой.

— А выпусти-кось, хуже будет. Станет убивать!..

— Эка ты... убивать!.. Вишь мальчик... Хлеба дадут и воровать не станет.

— А надо бы на поселение,— говорил какой-то бурбон.

— Еще бы,— вторил другой.

— Так молод и так испорчен,— заметила птица из породы чижей со стеклышком.

Снова водворилась тишина, и присяжный старшина стал говорить *да*...

Мальчика обвинили, но со смягчающими обстоятельствами и приговорили его к трехмесячному заключению в тюрьме.

Его спросили: доволен ли он? Он отвечал: «доволен», и его увели. Судьба мальчика решена. Публика осталась ждать второго тиража, т. е. второго разбора дела; но я ушел вон и все-таки помнил, что два года тому назад этого мальчика ждала более тяжкая участь.

Ну, кажется, за что сердиться на суд. Добродетель все-таки торжествует, порок наказуется, как тому и следует быть в благоустроенных государствах, а между тем у нас существует порядочный кружок людей, который во всю силу своих осиплых глоток кричит с «Вестью» впереди, что государство гибнет, что суды не хороши, что они пристрастны к людям из низшего сословия и прочее, в этом роде. «Весть» систематически преследует мысль о сменяемости судей, о вмешательстве администрации, о назначении богатых людей на места мировых судей без гонорария. Не так давно даже явилось новое «слово» как продукт, вызванный мировыми учреждениями. Слово это — *энгелизм*. Почтенный моряк судился с портным и когда суд приговорил моряка заплатить портному деньги, то он препроводил в мировой съезд письмо, в котором обвинял судей в гибельном учении, подрывающем основы государства... словом, в *энгелизме*. Его отдали под уголовное преследование за такое письмо, а газеты стали глумиться над выдуманным словом почтенного моряка.

Слепые! Над кем вы строите свои глупые улыбки?.. Ведь над собой, а не над кем более... От кого же узнал наш моряк о словах, кончающихся на *изм*, как не от вас?.. Откуда он, удрученный годами и морскими путешествиями, мог научиться ограждать себя и чем, как не выдумкой такого же слова, какие выдумывали и вы для ограждения своих шкурок. Опомнитесь! Кого вы обвинили в пожарах и какими только *измами* вы не запугивали бедный русский люд?.. Кто, как не *изм*, воровал у вас четвертаки со столов и кто, как не он же, подрывал спокойствие вашего сна?

Почему же теперь вы глумитесь над делом рук своих?.. И отчего *энгелизм* хуже *нигилизма*?.. Вы — флюгарки, и даже не умеете быть последовательными, признавая свою последнюю выдумку и смеясь над новой... Вам следует защищать его, защищать почтенного адмирала и снова скрежетать зубами...

Или разве «Голос» переменил сразу свою физиономию, тот же «Голос», который кричал, что нигилизм — разврат?..

Или разве «С.-Петербургские ведомости» нынче думают иначе, чем думали, прорываясь время от времени подобными же выходками...

Или... О, народ!.. Он даже и последовательно быть глупым не умеет и смеет еще оставлять адмирала на произвол глумления и смеха... Смейтесь же, смейтесь... Только помните хорошо, что смеетесь над собой, а ни над кем больше!..

Я нисколько не удивляюсь *энгелизму* контр-адмирала, как не удивляюсь *камертону* храброго капитана N.... Но вы не знаете последней истории? Слушайте, она очень занимательна, и я вам ее расскажу.

На днях, во время присутствия мирового съезда, туда зачем-то понадобилось войти капитану N.... Он подходит к двери, но дверь заперта. Он нажимает ее... она не отворяется... Капитан желает войти — и входит, но уже приглашенный председателем съезда. Ему говорят о неприличии его поступка и приглашают выйти вон... Но он требует слова и начинает слишком громко говорить и размахивать руками... Конечно, обо всем этом составили протокол и объявили капитану, что он за это отдан под прокурорский надзор. Обо всем этом было напечатано, и я уже жалел N.,

как вдруг неожиданно читаю его *объяснение* в «Голосе». Капитан объясняет, что он хотел войти в суд, потому что не было ярлычка, что вход запрещен, а что он говорил, мол, громко потому, что с ним не было *камертона!*.. Понимаете ли, господа, что за остряк г-н капитан!.. Камертона не было!?. Остроумно! — Дальше капитан заявляет, что обратили на его поступок особенное внимание потому, что он военный, и намекает, что военных будто бы теснят...

Нет! Хотя капитан столь же храбр, сколь и остроумен, но он право ошибается так же, как и мой дядюшка.

У меня есть дядюшка. Он стар, глух, состоит членом какого-то «совета» и часто подносит понюшку табаку вместо носа ко рту... Вот этот самый старик пришел в негодование, когда я пришел к нему.

— Как,— заговорил он,— капитану не позволить говорить?.. На что это похоже?.. К чему это ведет, спрашиваю? Кто, как не военные, поддерживают государство? Это ужасно...

— Прежде,— продолжал старец,— военные были не то... Не было, знаешь ли, у них этого энгелизма (мой дядюшка совершенно серьезно повторяет слово моряка), а теперь... портиться стали... не то... вовсе не то... Гмм... Карбонаризм!..

Долго еще говорил дядюшка (а он считается человеком обширного ума) и даже не успокоился, когда я стал утешать его, что военное сословие вовсе не падает.

Старик слушал, и в потухающих глазах заблистал плотоядный огонь... Эта беззубая шавка на минуту заставила вспомнить о том, что и она была зубаста и зла... ох, как зла!!.

И многие из породы старых беззубых волков зычно кричат при всяком деле, в котором их элемент рекомендует себя не с очень выгодной стороны... А он, как на зло, со времени гласного суда, то и дело показывает, что представители этого элемента любят производить операции ухарские. Стоит только вспомнить дело Гольского, историю харьковских кредиток и, наконец, дело г-на Огарева.

Г-н Огарев, видите ли, истратил на свои нужды маленькую сумму, в 100 тысяч рублей... Правда, во Владимире не было ни женского училища, для которого даже был куплен дом, но в котором г-н Огарев предпочел сам поместиться, ни библиотеки... Кажется, на эти 100 тысяч можно было бы много полезных дел сделать, но эти 100 тысяч улетучились... Тогда г-н Огарев, явясь в дворянское собрание, стал говорить речь, в которой заявил, что он... «милости просит... снисхождения...», и большинство благодушного дворянства хотело даже покрыть г-на Огарева, но местный прокурор заявил, что дворянство ни прощать, ни наказывать права не имеет, и предал г-на Огарева уголовному преследованию... А какими добрыми душами оказались было владимирские дворяне!

Воображаю, какой вой и скрежет зубовный подымет «Весть» после этого процесса... Эта газета в каждом номере рвет и мечет, хрипит, обливаясь пеной, и чего только не измышляет, чтобы уничтожить и те поскребки гласности, которые проявляются в последнее время...

Дело благородной дамы, о котором я упомянул выше, тоже интересная история, случившаяся в дальней провинции. Она, видите ли, секла девочку крапивой, отыскивая пропавший у нее кусок сахара... И когда ее за это мировой судья присудил к сорока рублям штрафа, то эта дама еще решилась подать апелляцию в мировой съезд, где пояснила, что, видя эту девочку, промышлявшую нищенством, она «*содрогалась* при мысли о будущности этого ребенка» и, по доброте своей благородной души, она взяла эту девочку себе, где она была, поясняет дама, скорей в *учении*, чем в *услуженьи*... «Верная своей цели — оградить ее от пороков, я начала с того, что доставила ей безбедное существование, я одела ее с ног до го-

ловы, снабдила всем нужным и дала ей содержание наравне с моею домашнею прислугой... Но я не исполнила бы своей задачи, если б ограничилась только материальным обеспечением... Я строго наблюдала за ее поступками и, к сожалению, не находила ничего утешительного в ее нравственности». Далее исправительница нравственности рассказывает, что будто девочка, о которой идет речь, лгала и будто бы воровала и, желая, мол, исправить ее, она «решилась в видах ее исправления наказать телесно (*или задать дранцию*). Но и тут, опасаясь, чтобы прислуга не слишком строго исполняла это исправительное наказание, я не решилась никому доверить эту девочку и дала ей несколько ударов». Тут благородная дама говорит весьма глухо, а между тем истица девочка на суде показывала, что эта сердобольная дама «била ее за пропавший сахар (несколько кусков) сперва башмаком по щекам, трепала за волосы и потом собственноручно секла крапивой, потом розгами; причем платье ее (этой девочки) и юбки были приподняты кверху и завязаны на голове».

Господа!.. Как вы думаете, что сделали бы за это в Англии или во Франции?.. Во-первых, там этому бы не поверили, но если б узнали, что это правда... плохо было бы этой истязательнице...

Недавно мировой судья выпустил из дома терпимости одну проститутку, разрешив ей жить, по смыслу закона, на вольной квартире. Так что же вы думаете сделал врачебно-полицейский комитет, наблюдающий за проститутками?.. Он подал жалобу на решение судьи, заявляя, что означенная проститутка должна была хозяйке, где жила, и что судья не имел права этого сделать... Дело, однако, решили в пользу приговора судьи г-на Неклюдова. А врачебно-полицейский комитет обязан заботиться о положении несчастных жертв.

Много было писано о проститутках... Их положение убийственно, и напрасно указывают на Лондон и Париж, говоря, что там их положение еще убийственней... Это правда, что в Лондоне эти парии рода человеческого ходят по ночам и зазывают к себе прохожих; некоторые даже спекулируют, жалуясь в суд на какое-нибудь известное лицо, которое будто бы им не заплатило... Но разве нет того же и в нашей столице?.. Я помню очень хорошо одну майскую ночь, когда я возвращался домой по Невскому... Вдруг ко мне подбежала женщина и стала просить четвертака... «Ради бога, дайте,— сказала она, — я день не ела... есть хочу». Я заглянул ей в лицо. Это было безобразное лицо... старое, в морщинах, прикрытое слоем белил и румян... ее платье было почти изорвано... ноги в каком-то подобии башмаков... Не кидайте в нее камня... Ей есть хочется!

Лучше не раскрывать светских драпри, потому что если раскроешь их, то увидишь картину хуже только что представленной..., увидишь разврат систематичный, разврат гастрономический, прикрытый именем, ханжеством и лицемерием... А тут нужда и обыкновенное начало *дранции* — в магазинах, где эти женщины начинают свою карьеру...

Поступает девочка в швейный магазин, и видит она только подзатыльники и гонки во все концы обширной столицы. Далее песня известная. Грошовая плата, опять побои, опять гонки. Конец этой песни — любовь... честная, чистая, как всякая первая любовь... Затем — ребенок... нищета и... дом терпимости... Женщина гибнет, она не доживает в большинстве случаев до сорока лет и умирает в больнице, проклиная свою жизнь. А кто виноват?.. Снова крадется вопрос труда и снова замирает среди грохота и шума и суеты столичной!..

Однако не довольно ли этих невеселых пейзажей для читателя и не хочет ли он на время отвернуться от этих фактов и взглянуть на другие.

Я хочу при этом верить моей бабушке, которая удивляется толкам о бедности России и нередко с досадой шамкает.

— Удивляюсь, право, удивляюсь... Чем мы бедны и где бедность! Фрукты везде есть, квартиры хорошие есть, материи в английском магазине есть... Где же бедность... Грубость вот в прислуге есть, а бедности нет!..

Теперь опять у нас гостит американская эскадра с знаменитым мобильским героем Форрагутом, храбрым адмиралом, одержавшим не мало побед над южанами... Но теперь наша публика, после ташкентцев и славян, кажется, угомонилась... Впрочем, слышно, в Кронштадте опять будут угощать американцев...

Вот тоже «Голос» говорит, что в пользу болгар собрал более 300 р. Молодец!.. Он удивительно добрый человек, этот «Голос», и свободолюбив, ох как свободолюбив! Болгары под игом, и «Голос» затевает революцию... помогает деньгами и печатает в своей газете чуть ли не прокламацию. Андрей Александрович Краевский! Вы ли это?.. Опомнитесь!..

Но он не хочет слушать и вместе с воскресным сотрудником кричит, что дело болгар — святое дело, что всякое иго — ужасная вещь, особенно турецкое... А Турцию Андрей Александрович так порочит, что даже страшно делается...

Что ж эти газеты орут?.. О, народ, народ! Молчали бы, печатая сведения о погоде и происшествиях, а не походили бы на тех сплетников, которые порочат чужие передние, не замечая грязи и духоты своих. И право, иногда даже и сердиться нельзя, а просто делается смешно, когда или «Голос», или «С.-Петербургские ведомости» вдруг обвиняют Турцию в недостатке свободы. Уж молчали бы лучше!..

Нет, языки чешутся у наших бестолковых политиков. Чешутся языки и лепечут они такую пошлость, что, я уверен, скоро и славяне отрекутся от солидарности с этими господами, кивающими на сучок Ивана, тогда как у самих в глазах такое бревнище лежит, не заметить которое может только слепой... А туда же... «Турция, мол, деспотическая страна!! Во связь, мол, надо!..»

О, храбрые подстрекатели... Они, сидя в кабинете, хотят войны, не понимая этого ужасного слова... Они, изучая восточный вопрос, забывают первый вопрос в мире. Во имя чего будет война и чья кровь польется, бог знает за что? Плюньте скорей, читатель, и отправляйтесь со мной на петергофское гулянье!

Я был там вместе с другими, толкался, проиграл в лотерею один рубль серебром в пользу детских приютов и видел множество моих собратов, ходивших, словно нищенки, с сумочками, куда они клали объедки подслушанных разговоров и новостей, чтоб преподнести их на следующее воскресенье публике... Больше я ничего не видал, а если и видел, то не имею намерения заниматься описанием фейерверка и лошади барона Фелейзена, бывшей в числе выигрышей... Замечу только, что «Голос» и по поводу этого гулянья не мог не сдурить и не заметить устами остроумнейшего в мире Х. Л., что слияние сословий на петергофском гулянье высказалось со всей силой и что день этот составляет эру, потому-де что барышни не гнушались продавать мужикам билетов и потому-де, что на гулянье пускали всех... Господи!.. Где начинается девятая верста и где кончается благоразумие газетчиков?.. Это так же трудно сказать, как трудно в настоящее время отличить дурака от умного человека. Вы только послушайте, как известнейший Поль Амбулатов рассуждает вообще о положении дел и о наших финансах в особенности. Он — финансист, и вся его фигура совершенно соответствует финансисту. Он считается умным, но я смею честью заверить, что это неправда. Он тип бюрократа умеренно-либеральной закваски... Он постепеновец и, вероятно, потому, что страдает затвердением мозга, и так как мозг размягчается с годами постепенно... Отсюда и слово — постепеновец. Он говорит, что если теперь позволить народные школы открывать кому вздумается, то

это будет вредно... потому... ну, потому, что это не постепенно, ибо, по его мнению, надо сперва замучить учащихся псалтырями, а потом, со временем, когда Россия поймет и когда гражданственность, так сказать... (тут советую читателю дополнить фразу какой-угодно белибердой), тогда можно учить и лучше. Пустить прямо женщину к занятию нельзя... Прежде, мол, надо позволить ей быть на телеграфах и там измышлять всякие сплетни на нее и потом... со временем, допустить женщину и учиться...



У РОДИЛЬНОГО ПРИЮТА
Рисунок П. М. Шмелькова, 1851 г.
Третьяковская галерея, Москва

Насчет богатства России этот умница придерживается очень остроумных взглядов... Он полагает, что мужик богат не должен быть и не может быть, потому что он пьяница и потому еще, «что тогда я и мы, вообще, не будем есть у господина князя Балебаева жирных устриц». Он — Поль Амбулатов — хорошо идет по службе и смотрит высоко... Это знает всякий и считает его умным человеком... И разве это неправда?

Это так же справедливо, как и то, что нынче вышел указ, устанавливающий цензуру для печатания отчетов собраний земства.

Читатель, вы, верно, переехали с дачи в город. Вам предстоит в городе много удовольствий: театры, опера итальянская и разборы дел у мировых судей, где снова появятся, конечно, курьезные истории.

Опера будет — радуйтесь, кому нужно и кто плакал о невозможности показать свои обнаженные плечи в двадцатипятирублевом месте. Опера будет, и состав ее вы можете прочесть в любой газете.

Русский театр ничего не обещает утешительного. Объявлена драма Стебницкого «Расточитель», но разве наперед нельзя сказать, что выйдет за штука, выходящая с ярлычком имени Стебницкого?.. Директор театров умер и назначен новый — г-н Гедеонов... Александринка по-старому будет показывать, как в фокусе, тупоумие и мрак российских мастеров драматического цеха и умение смешить публику кукишем или трогать завыванием и ударами в медные груди русских артистов... Все это могло бы быть иначе, но тогда и открывать театры мог бы всякий... Но все же играть будут пьесы, где, кроме лжи, нет ничего, за небольшими исключениями. И это произойдет оттого, что проскользнуть хорошей пьесе в Александринку так же трудно, как русской газете перестать врать... Все это будет; гражданские браки à la Чернявский возобновятся, и публика станет лезть на стену.

Виновата ли она?..

Будьте же счастливы и снова упивайтесь этою жизнью, что идет вокруг... Эта жизнь делает свое дело... Она тянет в свою широкую пасть, словно боа ягненка, и нередко юноша, вступающий в нее свежим, непорочным, с ужасом видит, что он все ближе, ближе приближается к этой ужасной пасти; он противится... По его честному лицу катятся крупные слезы... Он снова борется и... или окончательно исчезает, или попадает в эту пасть и через несколько лет выглядывает оттуда в день нового года сияющий и радостный. Не удивляйтесь его радости...

Мир праху твоему, бывший юноша! И да подаст знание свою руку честному меньшинству, чтобы не попасть ему в эту ужасную пасть.

‹V. СЕНТЯБРЬ 1867 г.›

Петербург кутит и, разумеется, кутит вполне благонамеренно. Петербург ездит по балам Благородного собрания и Марцинкевича; толкует вместе с «Голосом» о политике и знает даже, какие блюда изволит кушать Наполеон III и давно ли началась болезнь мозга у римского папы и абиссинского императора; одобряет и Гарибальди, и шпиона Грисчели; ходит в театры, одинаково похваливает и «Драматический подвиг» благородной дамы Себиновой и фельетоны Незнакомца, хорошо знакомого по взглядам и милейшему остроумию, и «Виноватую» А. Потехина, и гуманитарные идеи француженки Обре, и мысли редактора Богушевича... словом, все, начиная с ученых редакторов «Русского вестника», что в Москве, и думают завести классический университет на Страстном бульваре, до ученых блох, что в Пассаже. Это, конечно, рекомендует моих соотечественников с очень хорошей стороны и заставляет предположить, что ученые блохи и навострившиеся Богушевичи переживают теперь самое благоприятное время для своей благородной деятельности. О, это весьма поучительно и доказывает ни более, ни менее, как то, что пришла пора общего примирения, соглашения и умиления.

А где есть милейшее соглашение, там и преуспеяние. Ergo* мы преуспеваем. Мне даже сдается, что нынешних деятелей, рекомендующих мне как вести себя, чтоб стать паинькой, еще мало, как мало кажется одному моему знакомому городовых в нашей столице. И едва мне это показалось, как глазам моим явились новые деятели, в газетных объявлениях обещающие сделать меня паинькой в будущем 1868 году.

---

* Следовательно (*лат.*).

По правде сказать, это не новые, а старые деятели, только в новейшем переплете. Так, например, снова восстают из мертвых гг. Киркор и Юматов с «Новым временем» и снова просится к нам в гувернеры наш старый приятель доктор Хан с «Славянскими отголосками», в которых напичканы самые разнообразные имена, начиная от А. Головацкого до знаменитых В. Иванова и М. Загуляева. Слышно, что скоро и г-н Карпович, имеющий Гласную кассу ссуд, будет издавать ежедневную газету для распространения в обществе здоровых мыслей касательно ростовщичества... Это уже, воистину, радостно, и неужто читатель не прольет двух, трех слезинок и не воскликнет со мной:

— Петербург! Ты стремишься быстро к цели!.. Ведут тебя, в числе прочих, Ханы, Богушевичи и Стебницкие. Молчите же, скептики, и не смейте пожимать плечами!..

Но, несмотря на такие восклицания, нет-нет, да и прорвется где-нибудь заметка, что новгородцы кушают хлеб из древесной коры и что финляндцы пекут блинчики из моху... Конечно, решительно все равно, что жрать: бифштекс или древесину, бульон или пюре из моху; но все ж таки эти известьица шокируют немножко и заставляют нас, между супом и соусом, подумать о том, что, мол, суп из говядины как-то вкуснее финляндского супа, потом запить эту думу красным вином и пойти прогуляться по Невскому для сварения желудка.

Я был как-то недавно там и видел много освещения, народу и жандармов. Я теснился в этой толпе и очень хорошо слышал, как она похваливала эти огни и вообще всю блестящую картину. Действительно, картина была недурна. Огонь блистал чрезвычайно ярко, не забывая наделить светом и господина, довольно глубокомысленно выглядывавшего из окон кареты, точно Скарятин из-под прозрачных строчек «Вести», и жирномилое в своем самодовольствии личико расплывшегося и препочтенного *мещанина*, только что сейчас облизавшего жареную куропатку и прочитавшего биржевую хронику «Голоса», в которой так же *крепко*, как в голове у хроникера «Литературной библиотеки» и мирного пролетария из-под Сенной — пролетария с небритой бородой и таким тощим брюхом, какое, по штату, полагается только жеребцу, готовящемуся к скачкам. Все осветилось, начиная от наштукатуренной мегеры Сенной площади, до отмечающего у горящей звезды какого-то отметчика, сбирающегося назавтра сообщить мне и вам, читатели, о великолепии картины, расстилающейся перед его (этого отметчика) глазами.

Но толпа не глядела на все эти детали и вовсе не обобщала частностей и, как я уже сказал, похваливала и огни, и блюстителей своей нравственности. Первых за то, что они так ярко освещают, а вторых за то, что они так хорошо просвещают неразумных, преступающих определенную черту, и за то... ну за то, что толпа может быть вполне спокойна, зная, что есть люди... много, много людей, которые о ней заботятся, за ней наблюдают, ее предохраняют, предуведомляют и, в случае какой-нибудь шалости, как прежде не говорят: «Эй ты, холопская харя, куды лезешь!»— а обращаются *деликатно*. Вот до чего, обобщая частности до общей картины, дошел прогресс, и вот почему мне, как и всем, было приятно и весело. Это еще не всё! Я сам, честное слово, сам видел, как в тот же вечер кучка рабочих плакала от умиления, выходя из кабака, где она оставила все то, что осталось у ней от расчета с подрядчиком. В тот же вечер и подрядчик в свою очередь плакал от умиления в ложе Михайловского театра, глядя в изящный бинокль на гуманные идеи мадам Обре, в длинном шлейфе изображенной г-жею Напталь-Арно. Да и нельзя было не плакать, в самом деле! Во-первых, француженка Обре, сочинения Дюма-сына, такая сердобольная дама, что воображает избавить мир от так называемых «падших» женщин мягкими речами, мягким обращением да участием к

незаконнорожденным детям. (А этого участия у самого подрядчика было много, так как он всех своих незаконнорожденных детей отлично пристроил в Воспитательном доме.) Во-вторых, *кокодес* Дьедоне был так мил и так хорошо рассказывал о любви страстной, что нельзя было не умиляться. В-третьих, его собственная, подрядчикова, «канарейка», которую он вовсе не думал обращать на путь истины, а которую, напротив, он весьма грязно обратил из швеек в кокотки, ждала его к себе после театра пить чай и, наконец, в-четвертых... Стелла такая хорошенькая, а Лагранж-Белькур в такой коротенькой юбочке?! Как же тут не умилиться, как же тут не заплакать...

А толпа на улице все росла и росла, и средь говора и шума ясно слышались одобрительные восклицания:

— Лиминация вò какая!— объясняет подвыпивший мещанинишка приятелю в синей сибирке и, ради похвальбы, хлопает товарища по плечу.

— Чать, тоже денег сто́ит?..

— Денег?!. Што деньги!.. Ты погляди, как звездочки горят!

— А што, Микитка, кабы нам да по махонькой звездочке... Ась?

— Хоша-бы по полу-звездочке!

— Эх, паря... Пойдем, пытаму я хвабрика и ты хвабрика, и нечего про звезды-те толковать...

— Эка необразованность!— лепечет сзади уходивших мастеровых писарь военного ведомства.— Не понимают того, что иллюминация дело самое благородное, душе спокойное и для глаз приятное... Как вы находите, господин? — обратился писарь ко мне...

Но я не отвечал потому, что тискался вперед, желая выйти из этой толпы на привольный воздух. Я шел все вперед и увидал кучу немецких сапожников, громко рассуждающих и размахивающих руками... Среди их речей ясно выдавались слова: «Herr Kraevsky... verfluchter „Goloss“»* и прочее в этаком же роде. Сапожники долго говорили, громко жалуясь на судьбу и на редактора Краевского. Я скоро понял, в чем дело. Они прочли передовые статьи «Голоса» и горько судили о том, скоро ли их будут обращать в русские и когда им будут менять фамилии, и позволят ли им, честным немцам, называться Шульцами и Шмидтами на зло «Голосу».

В самом деле, патриотизм у нас достиг в настоящее время таких геркулесовых столбов, что решительно хочет даже, чтобы иностранцы в России не носили своих фамилий. Последнее обстоятельство патриоту-«Голосу» причиняет такую боль, что он настойчиво требует переименовать все фамилии немцев, поляков и евреев в русские.

Вы, пожалуй, не верите, читатель, и думаете, что я шучу? Вы не можете предположить, чтобы известного рода замашки заходили так далеко. Но я смею вас уверить, что все эти предложения самого деликатного сорта очень красиво напечатаны в нескольких номерах «Голоса», напечатаны довольно крупным шрифтом и скреплены редакторской подписью для того, чтобы всякий видел, что статья вышла не из сумасшедшего дома, а прямешенько-таки из типографии А. А. Краевского (Литейная, дом № 38).

Бедные немцы! Они долго еще рассуждали и, как кажется, решили не шить вовсе сапог русскому патриоту; а если и шить, то такие тесные, чтобы в них патриот немножко стеснялся...

Наконец, я вышел из толпы, сел на извозчика и поехал в гости.

— Ну, брат, скоро в русские немцев припишут!..— Извозчик посмотрел на меня, словно на ошалелого, и заметил:

— Нешто немец в охоту пойдет?.. Ты, барин, не врешь ли? Ведь кто, как не немец, и шарманку с обезьяной выдумал?

---

* Господин Краевский... проклятый «Голос» (*нем.*).



КУРСИСТКИ НА ЭКЗАМЕНЕ У ПРОФЕССОРА ГРУБЕРА

Акварель Н. А. Ярошенко, 1887 г.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

Я было хотел пуститься в объяснения, но извозчик оказался решительно неспособным понимать передовые статьи и весьма насмешливо посмотрел на меня, передавая сдачу, как мы подъехали к дому.

Я взошел к одной знакомой барыне. Она сидела одна в своей комнате, представлявшей удивительно мрачный характер после блестящего света и говора на улице. Молодая женщина сидела над книгой, и лицо ее, слегка бледноватое, оттененное прядью блестящих черных волос, было такое больное да печальное, ее большие ласковые карие глаза глядели так неподвижно грустно и сосредоточенно, что я спросил:

— Вы здоровы?

— Здорова, — ответила она.

Что же это такое?— подумал я. Кажется, барыня здорова, сидит в теплой комнате, читает умные книжки, за обедом имеет два блюда, вволю пьет и чаю и кофе, имеет мужа, правда, мужа весьма недалекого, более похожего на деревянный чурбан с отверстием для пищи, но все же мужа... Чего ж ей еще! Сошлюсь на всех умных людей, начиная с моей бабушки до литератора В. Иванова, чего ж ей еще?..

— Вы бы, говорю, прочли «Литературную библиотеку»... Славный журнальчик... Издается в трех отделениях... Так вот там в третьем отделении есть весьма милая статейка о женщинах... Их «*стервозами*» там зовут... Очень, мол, забавно, и писал то ее, как мне сказывали, один очень талантливый отставной квартальный.

— Нет... Не хочется...

— Ну, хоть бы почитали, как г-н Краевский Россию любит!

— Знаю... Он ее очень любит!

— Господи! Ну, наконец, свершите подвиг вроде россиянки Себиновой... Напишите такую же умнейшую комедию из абиссинских нравов.

— Не умею, да и в Москве не жила.

— Наконец, поступите к Бергу или ходите по канату... Это отличное занятие, и рекомендует его весьма умный человек г-н Незнакомец, у которого «*и ноги совсем окрепли, и коленки выработаны совершенно правильно*» *.

Она посмотрела на меня и так посмотрела, что я увидел, что шутка тут вовсе не у места и что только люди, глядящие на мир божий с точки зрения гнусного эгоизма и пятиалтынного либеральничания, могли бы обозвать ее за такие антимещанские выходки каким-нибудь игривым эпитетом.

А, кажется, и взаправду — чего ей? У нее было порядочно знаний и когда-то было порядочно силы... Но ей некуда было приложить этих знаний, а небольшие силы ослабели среди общих толков о том, может ли женщина говорить, как мужчина, или не может, и среди назойливых поисков хоть мелкого счастьица в отмелях общественных предрассудков.

Она выросла в то время, когда Богушевичи не издавали журналов, когда разные Незнакомцы не выходили на публичную арену в красивом всеоружии и когда всем тем, кто стриг волосы, носил очки и не носил кринолинов, не предлагали волчьих билетов и не называли еще «*стервозами*». Она выросла в большом помещичьем доме, и отец у нее был очень добрый человек, который крестьян никогда не сек розгами, а бил просто руками; а мать была пречувствительная дама, которая пальцем мухи никогда не тронула, а больше плакала, спала, читала французские истории и изредка бивала горничную. Она росла, и сквозь каменный забор, сложившийся историей и о сию пору поддерживаемый В. Скарятиным и прочими молодцами, забор, отделявший ее, дворяночку, от остального

* Это выражение заимствовано из фельетона «С.-Петербургских ведомостей».— *Прим. Слепцова.*

мира, до нее доносились непривычные ей речи и грохот работающих крестьян. Ее крепко держали за этим забором; но молодая натура чутче старой, молодая кровь быстрее старой... И она украдкой убегала в поле и удивленно смотрела своими ласковыми глазенками на мозолистые руки и понурые лица и испуганно слушала эти странные, простые и тяжелые речи. Еще странней казались ей эти речи, когда она возвращалась в душные свои комнаты... Она росла и училась. К ней попал учителем тогдашний либерал и теперешний сотрудник Каткова. Он ей говорил, что свобода хороша и что Никишка тоже человек; но что свобода и Никишка никогда не совместятся, потому что в мире всем сыто есть нельзя, ну и потому, что утопии не идут для благородного джентльмена и для self-government'а * (тогда «Русский вестник» был англичанином). Она все это слушала и жадно слушала, впиваясь в каждое слово. Она читала много и в один прекрасный день приехала в Петербург...

Барыня моя поослабела и вышла замуж. Не корите ее, что она сделала ошибку, потому что не делают ошибок только умницы: доктор Хан и редактор Трубников. Остальные смертные их делают... Она вышла замуж за человека, который более всего на свете любит битки со сметаной и полагает, что он живет собственно для того, чтобы утром пить чай, а в 4 часа обедать, вечером пить опять чай, потом поужинать и задать отличную высыпку... Словом, это очень милый человек, но... но... деревянный чурбан. Молодая женщина тоже ест, пьет, спит, читает, живя в этой грязи мелочной, надоедливой и, как мед, липкой, и смотрит часто своими карими глазами на газетные листики и видит в них вместо строк все лица из сумасшедшего дома.

И изредка она грустно глядит вперед и говорит, прочитывая об иностранной жизни:

— Жить хочется... Жить! У меня знания есть... Куда приложить их, куда?

На все это ждать ответа надо от редактора Богушевича. Он лучше всех нас знает, какой дать ответ. Обзовет ли он всех снова стервозами или иначе — так тому и быть. Значит, так нужно и, значит, общество требует весьма мало дельных женщин. И за это надо поклониться, поблагодарить и узнать: позволит ли общество хоть г-же Сусловой практиковать в любезном отечестве или не позволит?..

Но пока еще читатель не знает, куда приведут нас, я поведу читателя к благородному семейству гг. *Умецких*. Конечно, ни вы, ни я не назовем их ⟨господ *Умецких*⟩ виноватыми. Это было бы нелепо. Они — результат обстоятельств известного вида. Ну, так давайте глядеть на обстоятельства. Пример налицо, и вы слушайте:

Это дело было в одной из деревень и разбиралось оно в Каширском окружном суде. Разбирательство это было напечатано почти во всех газетах. Главное действующее лицо тут — молодая девушка, пятнадцати лет, Ольга Умецкая, «блондинка среднего роста с румяным лицом и голубыми глазами. Выражение лица — детски пугливое и сосредоточенное. Говорит тихо, смущается и краснеет»,— как говорит судебный отчет. Она росла в семье, в которой не было особенного ладу, и росла оставленною на произвол судьбы относительно образования и воспитания. Что же касается до отношений к ней родителей, то они были слишком печальны. Я сам не стану рассказывать, а приведу, что́ говорили на суде свидетели. Первый говорил, что «отец бил ее без милосердия. Накануне последнего пожара отец немилосердно избил свою дочь. Она даже собиралась бежать от отца»; второй: что «малолетние дети, по скупости родителей, получали не вполне здоровую пищу, состоящую из затхлого хлеба», и что «Умецкий

* самоуправления (*англ.*).

смотрел на детей только как на даровых работников»; третий: что «дети едва ли чем другим могли заимствоваться от родителей, кроме нравственного уродства»; четвертый: что «эти родители самые скверные враги своего семейства»... Я не перечисляю других подобных же свидетельств. Мне кажется, что и с этими глазам читателя представляется беспощадная картина, способная перенести его куда-нибудь на далекие острова Тихого океана к дикарям. Эту девушку били безменом, секли, даже вывихнули палец. Чтобы понять, какой страх внушали ей родители, о слепом повиновении к которым твердят всегда так мило, я приведу глубокотрогательный по простоте и наивности отрывок из рассказа на суде этой жертвы родительского произвола:

«Мы босиком ходили, нам по два дня ничего есть не давали..., а на третий, бывало, дадут кусок хлеба да три картошки, так что мы от голоду у крестьян побирались (*заметьте*: *Умецкие были достаточные люди*), они нас кормили. Нас заставляли коров доить, полоть, снопы возить... Раз меня с работником послали 16 коров доить; когда мы подоили часть коров, работник мне и говорит: посидите, барышня, а я остальных подою... Я села да и заснула... Устала очень, нам спать по ночам почти что и не приходилось... Когда я спала, свиньи пришли да и выпили все молоко... А работник в это время одно ведро с молоком отнес. Папаша его спрашивает: где Ольга? Он говорит: я думал, что она пришла... Работник приходит ко мне, говорит: Идите, барышня, к папаше. Я говорю, как мне быть: молока у меня нет... Скажу, что одно ведро только надоили... Нет, говорит, нельзя этого сказать: я уже сказал, что мы три ведра надоили... Пришла я домой и рассказала: меня папаша больно околотил. Потом мамаша таскала за волосы... ногами толкали».

Кажется, нечего прибавлять к этому безыскусственному рассказу. Кажется, не мудрено, что у человека, не окончательно пропавшего, станет дыбом во́лос от подобных речей пятнадцатилетней девочки. Кажется, так? Но ведь Умецкие не одни в России? Ведь и об этом никто не станет спорить. И если они не доходят до крайностей *безмена* и порки, то разве от этого вопрос теряет свою силу? Разве брань, воркотня, не производят подобного же действия?..

Так непоследовательны всегда бывают люди, если в голове у них нет ни определенного плана, ни цели. И эта непоследовательность сильно недавно сказалась на работниках на Суксунском заводе в Пермской губернии. Дело было такое: Де-Сен-Лоран с дочерью и с доктором г-ном Щербаковым отправились как-то покататься верхом и, катаясь, попали на пожар в село Советное. Мужики, у которых пожар отнял все и которые, значит, были в самом экзальтированном (на ту минуту) положении, схватили приезжих и стали их неистово бить, предполагая, что они «поляки-поджигатели». Действительно, их истязали неистово, все в том же предположении, что они «поляки-поджигатели». Так прошла ночь. Но на утро плохо пришлось мужикам. Нарядили следствие. Пятерых заковали, и так как Пермская губерния недалеко от Сибири, то надо предполагать, что им ее не миновать.

Кто же заставлял обывателей чуть ли не рвать на кусочки человека, почему бы то ни было подозрительного во время пожара? Все она, журналистика наша. Полагаю, что эти мнения проникли и к Суксунскому заводу. И вот в селе пожар. Люди — бедные, необразованные люди — сразу лишаются всего. А это все, хоть и микроскопически малое, им далось тяжко... Полоумные от злобы и бешенства они встречают гуляющих посторонних людей. Ясно человеку, мало-мальски знакомому с отправлениями мозга, напуганного «журнальными поджигателями», что у погоревших неминуемо должно возникнуть подозрение. И только что оно возникло — следствия понятны...

Конечно, нам всем весьма жаль пострадавших, так сказать, за «Московские ведомости», господ Де-Сен-Лоран и доктора Щербакова; но если они поклонники их, то они должны были бы похлопотать за крестьян, а не писать таких чувствительных писем, как было напечатано в «С.-Петербургских ведомостях». Ведь опять же это весьма нелогично.

Однако я заговорился о чудесной российской нелогичности, от которой все ж таки простому человеку солоно достается, и ушел в своих скромных заметках далеко от Петербурга. Впрочем, ведь наша столица не иностранная же, а тоже русская, хоть глубокомысленный фельетонист «Голоса» и сердится, что здесь много французов и что они нахальны в своих суждениях не меньше... да не меньше того же фельетониста... Видите ли, Петербург тоже слушает часто дела весьма курьезные. Так, например, недавно было дело, возникшее из 45 коп. Из-за этих копеек человек высидел в тюрьме и хоть выпущен был на свободу, но не особенно ей обрадовался: там, на свободе, жевать ему было решительно нечего. А и дело-то было вот какого рода. Квартальный, например, донес следователю, что подсудимый (К. С. Серговский) был представлен в квартал маркером Семеновым. Спросили Семенова. Оказалось, что Семенов и видом не видал г-на Серговского и не мог отводить Серговского из гостиницы «Лондон» (где дело началось и где Серговский не заплатил за закуску 45 коп.), ибо там в то время не жил. Полицейский пристав дал новый отзыв и заявил, что Серговского привел не Семенов, а Корней Иванов. Спросили у Корнея Иванова. Оказалось, что и Корней Иванов в глаза не знает г-на Серговского.

Однако бросим-ка эти чудеса. Их так много, что всех и не опишешь. Что еще делает Петербург? — спросит иногородный читатель. А то, что и делал, т. е. ровно ничего. Я даже удивляюсь, как еще у вас язык подымается на такой вопрос, как удивляюсь, когда люди серьезно говорят о нашей общественной жизни. Русская общественная жизнь. Ха, ха, ха! Общественная! Я знаю жизнь на Невском, жизнь сплетен, жизнь в театрах, жизнь за табелькой, но общественной не знаю и, надеюсь, догадаетесь почему...

А если еще угодно судить о петербургской логичности, так я заключу свои заметки рассказом о Гарибальди.

Не то́ диво, что Гарибальди бил «папалинов»* и с горстью храбрецов отступил от французов и папистов, а то́ диво, что и у нас «генерал от инфантерии Гарибальди», как называют его некоторые, как будто бы возбуждает сочувствие и даже (о, ужас!) всякой уважающей себя газетой называется хорошим патриотом и энергичным деятелем. Но знаете ли, что, господа? Мне сдается, что все это сочувствие, прикрытое толстым слоем типографской краски, так же искренно, как искренен может быть волк относительно зайца. Вот это-то и печалит меня и до того печалит, что я готов был бы горько расплакаться над таким развратом, если б не видал, как из-за строчек различных передовых статей, фельетонов, заметок, обозрений и критик выглядывает маленький человек с гусиным пером за ухом и с улыбкой на устах, лепечущий, что подписка, мол, принимается там-то и там-то и что за год вы обязаны заплатить 16, а за полгода 8 руб.; что вы, поймав, таким образом, хвост какого-нибудь Х. Л., когда он шевелится между строчками, начинаете очень шибко и неблагопристойно смеяться, за что на вас рассердится сочинитель г-н Афанасьев-Чужбинский, если только увидит это, ибо он (сочинитель г-н Афанасьев-Чужбинский) нарочно и сочиняет так, чтобы читатель скучал и шибко скучал. Таким образом, на вас находит хорошее расположение духа, и вы уже можете обдумывать с глазами, не отуманенными слезой, почему

* От итальянского «papalino» — папский.— *Ред.*

Гарибальди не может и не должен возбуждать сочувствие у россиян вообще и у единомышленников газет в особенности. Я надеюсь даже на то, что когда я напомню вам, что ни в обеих столицах, ни в Калуге, ни в Астрахани, ни в Тамбове, ни в Архангельске нет фамилии подобной «генералу от инфантерии Гарибальди», то вы окончательно должны понять, что и тени сочувствия у россиян к Гарибальди быть не смеет.

О, жалкие, презренные иностранцы! О, исчадие запада, не могущие выпить десяти бутылок квасу и сожрать куска черного хлеба! О, вы, ничтожные! Мы всё это можем. Вот мы каковы... Мы сильны тем, что у нас есть г-н Богушевич и г-н Стебницкий и миллионы этих Богушевичей и Стебницких. Они, словно сетью, окинули наше отечество и вылавливают все, что могут, для блага родины и народа.

Что ж я-то... Хотел было показать логичность Петербурга, а спел чуть ли не панегирик! Ну, да все равно.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Помещаемая здесь статья Слепцова «Женское дело» не является новинкой для исследователей жизни и литературной деятельности писателя. Статья была написана в качестве «передовицы» для первого номера журнала «Женский вестник», вышедшего в сентябре 1866 г. Она появилась в печати с полной подписью Слепцова. Однако с тех пор вот уже почти столетие эта статья не перепечатывалась и не вошла в существующие собрания сочинений писателя. Между тем она представляет существенный интерес не только как основа публикуемого публицистического цикла Слепцова из «Женского вестника» — «Новости петербургской жизни», но и как один из программных документов женского демократического движения шестидесятых годов.

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

Когда принимаются за дело и притом за такое дело, которое почему-нибудь считают очень важным и очень полезным, то обыкновенно начинают с того, что стараются, как можно короче, ознакомиться с самою сущностью дела. Для этого собирают всякого рода сведения, к делу относящиеся, и наводят справки. Таким образом узнают, в каком положении оно находилось прежде, как смотрели на него предшественники и в каком отношении стоят к нему современники; какие условия были благоприятны, какие мешали ходу дела и т. д. Эти сведения необходимы для каждого, желающего ознакомиться с делом основательно, потому что с помощию этих сведений только и можно составить себе более или менее правильное понятие о том, как следует поступать в настоящем случае. А когда сложится это понятие, тогда уже не трудно будет выбрать тот или другой прием для практического действия.

Таким образом поступают деловые люди, принимаясь за какое-нибудь новое или малоизвестное практическое дело. Да так и следует начинать. Житейский опыт показывает, что если к делу, начатому по этому способу, еще приложить некоторую долю терпения и добросовестности, то почти наверное можно рассчитывать на успех. Отличительный признак практических дел именно в том и состоит, что шансы как успеха, так и неудачи почти всегда могут быть определены заранее, с большею или меньшею вероятностию, разумеется; и для этого требуется одно только условие: математическая верность в расчете. А если он сделан безошибочно, тогда самое производство дела совершается уже механически.

Но тот же опыт показывает нам, что не всякое дело, имеющее практическую цель, может быть ведено с помощию обыкновенных рутинных приемов. Бывают дела особого рода, которые хотя и кажутся на первый

взгляд обыкновенными практическими делами, но обладают в то же время такими свойствами, что ставить их наряду с прочими было бы неосновательно; да и самые практические приемы, которые употребляются в делах подобного рода, большею частию бывают совершенно особенные, только им одним свойственные, новые приемы, о которых заранее нельзя даже и сказать ничего положительного. Особенность этих дел зависит от особенной важности тех интересов, во имя которых они начинаются; а так как начинания делаются не антрепренерами, а самою жизнию и в основание никакого капитала не полагается, то и сама постановка дела бывает совершенно особенная. Впрочем, это само собою разумеется, если принять в соображение обстоятельства дела: во-первых, громадность задачи, лежащей в основании; во-вторых, необыкновенную ширину поприща, на котором дело производится, и, наконец, то, что число лиц, участвующих и заинтересованных в деле, никогда с точностию определено быть не может. Что же касается главной цели, то она, обыкновенно, отличается каким-то легкомыслием и даже кажется совершенно несбыточною, потому что всегда бывает направлена к пользе не одного какого-нибудь лица или общества, а всего человечества. Такая неопределенность во всех отношениях, совершенно немыслимая в практическом деле, сообщает всей физиономии дела характер какой-то шаткости и непрочности; и это тем более кажется очевидным, что сами участники в редких случаях могут сообщить положительные сведения о своем деле и даже относительно главной цели его имеют весьма смутное понятие, стремятся к ней самыми разнообразными путями и надеются достичь ее самыми разнородными средствами.

Но, несмотря на видимую шаткость основания, на всю неопределенность задачи, несмотря на бездну заключенных в ней противоречий с действительностью, на бесчисленные несообразности, замечаемые вначале, на препятствия и недоброжелательство, несмотря на все это, дела подобного рода имеют успех.

Случается, что, вследствие стечения разных особенно неблагоприятных обстоятельств, дело приостанавливается на время и даже иногда как будто совсем прекращается; но это не надолго: пройдет два-три года, условия изменятся, и дело опять поднимается на ноги и, наконец, приносит плоды, превосходящие самые блистательные надежды людей, видевших первые робкие попытки. Причина такого успеха, несмотря на кажущееся противоречие, имеет, однако, разумное основание: успех в этом случае так же, как и в обыкновенном практическом деле, основан на расчете, хотя в делах подобного рода заранее вычислений не производится; да это и бесполезно, потому-то пока само общество не найдет нужным начать дело, никакие вычисления ни к чему не послужат. Расчет здесь бывает тоже особенный и совершается почти одновременно в уме огромного числа лиц, большею частию не имеющих друг о друге никакого понятия. Для этого берутся не цифры, а такие требования, которые цифрами определены быть не могут. Вычисления с этими величинами каждый делает только для себя одного. Но если положение этих лиц одинаково, то и результаты их вычислений должны выходить тоже одинаковые, т. е. у всех окажутся однородные требования. Из этих требований составляется одно общее, которое и побуждает всех стремиться в одном известном направлении и действовать в одном и том же духе. Разнообразие элементов, из которых слагается одно общее требование, придает общему делу необыкновенную прочность, делает его способным преодолевать всевозможные препятствия и, несмотря ни на что, все-таки добиваться цели; но зато это же разнообразие и разрозненность лиц, участвующих в деле, служит причиною того, что цель достигается очень не скоро. Пока каждый отдельно дойдет до необходимости принять ту или другую меру, которые уже

приняли другие, пройдут года. Пространство, различие в образе мыслей, воспитании, общественном положении — все это служит препятствием к сближению и, следовательно, замедляет ход дела. Поэтому для успеха такого дела особенно важно, чтобы все, считающие себя участниками в деле, прежде, нежели решиться на какой-нибудь образ действий, могли сойтись в общих основаниях и условиться относительно одной общей цели. А для этого необходимо ясно определить эту цель. Если такое соглашение состоится, тогда уже не будет никакой надобности рассуждать о частных применениях главной идеи. Тогда каждый сам изберет себе занятие, сообразное со своими силами и способностями, и уже сам будет знать, как ему следует поступать в том или другом случае в интересах общего дела.

Движение, известное в нашем обществе под названием «женского дела», по нашему мнению, принадлежит именно к числу таких особенных дел.

Что такое «женский вопрос» и в чем тут дело, кажется, всем должно быть известно; но, несмотря на это, однако, если предположить, что нашелся бы такой человек, который никогда не слыхал об этом вопросе, и если бы этот человек пожелал составить о нем понятие на основании только одних существующих в обществе мнений, то ему пришлось бы, вероятно, долго ломать голову и переходить от одного заблуждения к другому прежде, чем добиться, в чем тут дело. Самые разнообразные, один другому противоречащие толки, неясность и неопределенность цели и в то же время необыкновенное обилие различных, по-видимому, ни на чем не основанных попыток и, наконец, крайняя шаткость и даже какая-то неуловимость самого дела — все эти явления составляют как будто неотъемлемые характеристические свойства женского дела. К этому до последней крайности невыгодному положению следует прибавить еще внешнее неблагоприятное влияние, как, например, недоброжелательство со стороны самой солидной части общества, недоброжелательство, доходящее до того, что человек, заинтересованный в этом деле и принимающий в нем слишком живое участие, теряет право на репутацию серьезного и солидного человека. На постороннего наблюдателя, незнакомого с подобного рода делами, такая обстановка должна, разумеется, произвести не совсем хорошее впечатление. Но если этот наблюдатель обладает способностию не поддаваться влиянию одних только наружных качеств и сумеет, несмотря на внешнюю неблаговидность, вникнуть в самую сущность дела, то он поймет, конечно, что здесь происходит нечто очень серьезное. Если же он, кроме того, из множества разнородных мнений может составлять одно общее понятие и на основании многих мелких целей дойти до главной, то он неминуемо придет к убеждению, что в основании женского дела положены идеи, от которых человечество вправе ожидать самых плодотворных результатов, что задача этого дела, несмотря на свой специальный характер, клонится к пользе всех людей вообще, без различия пола, и имеет в виду установить между ними лучшие отношения.

Такое дело может смело требовать от человека, чтобы он отдал ему все силы. Этому делу и мы желаем посвятить всю нашу деятельность.

СТАТЬИ, ФЕЛЬЕТОНЫ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Публикация Л. А. Евстигнеевой,
Д. М. Климовой и М. Л. Семановой *

ПОСЛЕ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 г.

Публикуемая статья Слепцова не имеет в рукописи заглавия. Она не закончена автором, надо полагать, по соображениям цензурного характера. Тема статьи, предназначавшейся, по-видимому, для «Современника»,— вопрос о положении крестьян и помещиков после *совершившейся* отмены крепостного права. Этот последний момент, отчетливо проведенный во всем тексте, дает основание для датировки рукописи, на которой не поставлено автором никаких дат; уточняющими опорными пунктами для датировки являются упоминания «Манифеста об освобождении» и последовавших вслед за ним «съездов помещиков в уездные города», т.е., по-видимому, уездных дворянских собраний, где составлялись списки кандидатов, из числа которых губернатор избирал мировых посредников, утверждавшихся затем Сенатом. А так как мировые учреждения были повсеместно открыты лишь к концу июня и к началу июля 1861 г., то, очевидно, статья Слепцова не могла быть написана раньше этих месяцев. Таким образом, мы можем датировать статью второй половиной 1861 г. или началом 1862 г.

Как всегда, Слепцов прибегает в статье к эзоповой речи. Но его иносказания, его ирония здесь просты и понятны, сатира носит почти открытый характер. Таковы, например, суждения писателя о крестьянской реформе, разоблачающие маскировку правительством того факта, что проведена она в интересах крепостников и помещиков.

«Правительство,— пишет Слепцов,— поступило до такой степени деликатно в этом деле, что не взяло даже на себя роли освободителя, и этим доставило помещикам возможность выказать перед целым миром небывалый подвиг великодушия». Писатель иронизирует здесь над теми местами в манифесте от 19 февраля 1861 г., в которых заявлялось, будто крестьянская реформа была предпринята по «вызову», т. е. по желанию и инициативе самого дворянства. «Россия не забудет,— говорилось, например, в манифесте,— что оно ⟨дворянство⟩ добровольно, побуждаясь только уважением к достоинству человека и христианскою любовью к ближним, отказалось от упраздняемого ныне крепостного права и положило основание новой хозяйственной будущности крестьян».

Разоблачению этой фальши служит, по существу, весь остальной материал статьи. «Историческую» заслугу царского манифеста писатель-демократ усматривает не в признании мнимого «подвига великодушия» помещиков («...мы с вами знаем, какой это подвиг»,— язвительно замечает он), а в том, что этот документ, напротив того, «одним разом сдернул маску и вдруг открыл такие вещи, которые мы тщательно скрывали в продолжение многих веков». Нетрудно догадаться, что речь тут идет

---

* Л. А. Евстигнеева подготовила публикации — «О праздновании 1000-летия России», «Незавершенный замысел „работы о Кавказе"»; Д. М. Климова — «О русской журналистике» и, при участии М. Л. Семановой, «В Петербурге 1863 года»; М. Л. Семанова — «После 19 февраля 1861 г.», «Сатира на церковнический проект сельской школы», «В полосе наступающей реакции», «Объяснительная записка Слепцова по поводу корреспонденции „Из Новгорода"», «Итоги „руского прогресса"», «Реформированная полиция», «Положение печати в провинции», «Труд и развлечения в общественной жизни», «Характер переживаемой эпохи», «Мелкие наброски, отрывки, заметки».

о *вынужденном* признании царским правительством позора крепостнического рабства, под вековым гнетом которого изнывало вплоть до середины XIX столетия многострадальное русское крестьянство.

Подлинное отношение помещиков к делу «освобождения» Слепцов показывает на обобщенном материале различных дворянских собраний — губернских и уездных 1858—1861 гг. На этих помещичьих «форумах» разрабатывались сначала проекты реформы, а затем планы и практика проведения ее в жизнь. Общий и главный результат «удивительных разговоров» на этих сословно-корпоративных собраниях писатель формулирует словами: «крестьян нужно поприжать». «Толки и сцены, и совещания, происходившие по поводу вопроса о свободе,— указывает Слепцов,— представляют замечательную картину нравов помещичьего быта». И Слепцов рисует эту картину — глубоко критическую, резко антидворянскую, во многом напоминающую щедринские характеристики помещичьего «скрежета зубовного» по поводу отмены крепостного права. Писатель не ограничивается сообщением фактов произвола и насилия, которые чинили помещики по отношению к крестьянам при проведении реформы (переселение крестьян на неудобные земли). Он задается вопросом о развращающем влиянии крепостного права на самих помещиков и показывает на примерах, которые заимствует как из современности, так и из недавнего прошлого (ополчение 1855 г.), до какого низкого нравственного и умственного уровня опустилось «первое в империи сословие».

По сути дела Слепцов пишет об исторически обусловленном распаде, маразме помещичьего класса России. Тем более неожиданно следующее затем заявление. Писатель высказывает свое «твердое убеждение», что отмена крепостного права открывает перед русским дворянством «путь к умственному и нравственному совершенству» и тем самым возможность «сделаться, действительно, передовым сословием», которое сможет, наконец, «безгрешно» пользоваться своими сословными привилегиями.

Такого рода позиции и формулировки были характерны для дворянско-либеральной публицистики этого времени. Но соскальзывание на эти позиции встречается и у отдельных представителей демократического лагеря, например, у Салтыкова-Щедрина (см., хотя бы, его статьи 1861 г. «Где истинные интересы дворянства?», «Об ответственности мировых посредников»). Что означали приведенные формулировки у Слепцова — сказать с определенностью нельзя. Утверждение, что «теперь только наступает время, когда дворянство может сделаться передовым сословием», осталось, по существу, тезисом. Статья обрывается в начале аргументации этой мысли. В каком направлении стал бы развивать ее Слепцов, к каким выводам привел бы он читателя в заключение своей аргументации, мы не знаем.

Общая же тенденция публикуемой статьи — посмотреть на реформу глазами народа, самого крепостного крестьянства и, таким образом, дискредитировать ее — глубоко демократична. «Но вот, наконец, и дошли мы до осуществления наших лучших надежд»,— иронически замечает Слепцов, но тут же показывает, что в некоторых отношениях положение тех, «кто нас кормил и одевал», стало хуже, чем прежде. Эту же мысль встречаем и в повести «Трудное время», в которой крестьяне предпочитают даже дореформенные порядки и приходят к Щетинину проситься в «крепостные».

Всем материалом своей статьи, всем ходом своих рассуждений Слепцов хотел показать читателю, что решение центрального, крестьянского вопроса отодвинуто на задний план; в действительности обсуждается вопрос «помещичий». Крестьяне воспринимают весть о воле скептически, недоверчиво; они ждут другой, подлинной воли. «Крестьяне пожались и разошлись молча». Не обойдены в статье и факты, свидетельствующие об активной форме крестьянского протеста: «местная полиция была вынуждена несколько раз прибегать к решительным мерам для водворения порядка и более умеренного образа мыслей между крестьянами». Мы узнаем и в этих словах будущего автора «Трудного времени», повести, в которой крестьяне не подписывают уставных грамот или принимают «подарок» Щетинина только под воздействием «воинских чинов».

Сказать подлинную правду об «освобождении», о правительстве, о дворянстве, о положении крестьянства, разоблачить либеральное славословие в печати,— помогла писателю принятая им форма повествования. «Письмо близким людям», рассказ очевидца, «во время разъездов» получающего сведения, факты, прове-

ряющего «на месте», «какие плоды принесли попытки правительства улучшить быт крепостного сословия»,— создают впечатление объективности, достоверности, беспристрастия.

По форме (рассказ от первого лица), намерениям повествователя (говорить о том, что «сам видел и слышал» и на основе фактов создать правдивую, разоблачительную картину) статья Слепцова близка к его циклам очерков «Владимирка и Клязьма» и «Письма об Осташкове». Есть основания предполагать, что Слепцов писал эту статью во время поездки в Осташков, т. е. в конце 1861 — начале 1862 г. В статье сказано, что автор живет в уездном городе: «Не знаю, что делалось в других уездах, но в том, где я живу...» Он видит необходимость связать факты городской и деревенской жизни этого времени: «...я должен бы ⟨...⟩ слегка набросать эскизы жизни в уездном городе, так как она тесно связана с жизнью чисто деревенской».

Возникает в связи с этим мысль, что само намерение руководителя «Современника» отправить своего корреспондента в Осташков именно в ту пору, когда в уездных городах отчетливее всего видны были результаты «освобождения», диктовалось не только желанием разоблачить показную сторону жизни одного из «хваленых» провинциальных городов, а главное — обнажить «мерзость» — крепостнический характер крестьянской реформы и тем дискредитировать либеральные славословия в ее адрес. Знаменательно, что при этом выбор падает на Слепцова, еще не сотрудничавшего в «Современнике», но уже зарекомендовавшего себя, очерками «Владимирка и Клязьма», писателем, близким по духу этому журналу.

О том, что Слепцов, живя в Осташкове, наблюдал не только городскую жизнь, но интересовался также и самым ходом реформы и способами «урегулирования» взаимных отношений помещиков и крестьян, свидетельствуют сцены в 4, 5 и 6 «Письмах об Осташкове». В них Слепцов на конкретном материале помещичье-крестьянского быта разоблачает классовую дворянскую суть института мировых посредников и их практику.

О некоторой близости публикуемой статьи к «Письмам об Осташкове» говорят способ собирания материала («на месте») и форма писем, обращенных к читателям, друзьям: «вы легко можете себе представить...» (II, 278); «я вам расскажу» (II, 279) и др. В статье имеется, впрочем, и другой оттенок — обращение будто бы к *определенному* лицу, другу юности: «Помните, как я спорил с одним господином»; «мы оба хохотали». Думается, что это мистификация так же, как, по-видимому, и замечание об «известных стихах»:

В светлой мрачности блистающих ночей
Явился темный свет из солнечных лучей.

Скорее всего это двустишие принадлежит самому писателю и является пародией на стихи поэтов «чистого искусства», например, на такие стихи Фета:

Вчера я шел в ночи, и помню очертанье
Багряно-золотистых туч.
Не мог я разгадать — то яркое сиянье —
Вечерней ли зари последнее прощанье,
Иль утра пламенного луч?
(«Ответ Тургеневу»)

Включил же Слепцов в текст фельетона свое пародийное двустишие не без умысла; он сатирически утрировал в нем спутанность понятий: мрак и свет. И это было также своеобразным намеком на реакционно-крепостническую подоплеку либеральной показной стороны реформы. Отметим, что первая строчка двустишия имеется и в статье Слепцова об Островском (см. 131 стр. настоящего тома).

Всем материалом своей незавершенной статьи Слепцов говорит: реформа не разрешила крестьянского вопроса. В эпиграфе писатель, в духе Некрасова, утверждает, что именно поэтому тема «счастья народного» не устарела, не снята с исторической «повестки», что дело народного освобождения, узурпированное крепостниками-помещиками, надо «начинать сначала». «Народ освобожден, но счастлив ли народ?» — лаконично сформулировал через десять лет Некрасов в стихотворении «Элегия» вопрос, волновавший его самого и его соратников, в том числе и Слепцова.

<«Я ХОЧУ СООБЩИТЬ ВАМ КОЕ-КАКИЕ СВЕДЕНИЯ И ЗАМЕТКИ...»>

Эта песня очень долга,
Начинай с начала...

Я хочу сообщить вам кое-какие сведения и заметки, схваченные мною почти на лету во время моих разъездов, о предметах, которые не перестают занимать всех — и помещиков и не помещиков. Я говорю о крестьянском вопросе. Говорю о старой песне, но эта песня теперь не так еще стара, чтобы ее никто не слушал. Не знаю, прибавит ли мое письмо что-нибудь к тому, что уже вам известно из рассказов и статей, которыми запружены в настоящее время журналы. Я знаю только, что, живя в столице, почти невозможно иметь ясного понятия о том, какие плоды принесли попытки правительства улучшить быт крепостного сословия. Здесь только, на месте, я убедился, до какой степени еще мало известно нам все касающееся помещичьего быта. Обличительное направление нашей литературы и вообще тон, с которым относится большинство писателей об этом предмете, можно упрекнуть только в излишней деликатности и даже, если можно так выразиться, в чересчур сентиментальном взгляде на это дело. Вы помните, конечно, то незначительное число повестей и рассказов, в которых изображается помещичий быт, псовые охоты, беспутный, неистовый деспотизм, азиатское чванство или грязная и невежественная сторона домашней жизни наших помещиков,— вы помните, какое тяжелое чувство овладевало читателем, и всякий раз задавал он себе вопрос: «Да где мы, что это за люди? Неужели это та лучшая часть нашего общества, которою гордится Россия? Неужели это развитое сословие? Что же остальные-то?..»

Но всякий раз на выручку являлась успокоительная мысль, что ведь это все преувеличено, что теперь уж этого нет, что с каждым днем мы подвигаемся вперед, и, как нарочно, вдалеке где-то мерещится читателю освобождение крестьян, сельские школы и т. д. ... Одним словом, читатель сейчас же старался утешить себя и хоть мысленно перенестись из душного погреба, в который бросала его литература, в ту заповедную Палестину, где реки медовые и берега кисельные. Читатель, лежа на диване, строил себе именно тот план, который строил Обломов. А между тем никто и пальцем не шевелил, никто не сходил с дивана, чтобы приняться за осуществление плана. А если случалось кому-нибудь заговаривать об этом осуществлении, то либералу тут же зажимали рот известными фразами: «Да помилуйте, что вы? Разве это можно? Нет, нам еще рано, наш мужик не дорос еще до этого. Попробуйте, дайте ему свободу, так он вам покажет кузькину мать, в чем она ходит. Вы еще не знаете, что такое русский мужик. Так-то, батенька!». И таким образом разговор кончался. Но вот, наконец, и дошли мы до осуществления наших лучших надежд. Правительство поступило до такой степени деликатно в этом деле, что не взяло даже на себя роли освободителя, и этим доставило помещикам возможность выказать перед целым миром небывалый подвиг великодушия, т. е. великодушием-то называют его помещики, а мы с вами знаем, какой это подвиг. Манифест об освобождении никогда не забудется историею потому, что он одним разом сдернул маску и вдруг открыл такие вещи, которые мы тщательно скрывали в продолжение многих веков. Это был первый обличительный акт, и он столько же принадлежит литературе, как и истории. Сигнал был подан, а за ним уж и потянулся ряд обличительных статей более или менее гласных. Дремавшие до тех пор помещики вдруг накинулись на журналы и газеты. Литература, бывшая до тех пор одним развлечением, мгновенно приобрела в глазах помещиков новое значение. Но все это вам известно, а я хотел говорить вам о том,



МИРОВОЙ ПОСРЕДНИК
Рисунок карандашом Н. П. Загорского, 1867 г.
Третьяковская галерея, Москва

что я сам видел и слышал. Слушайте же! Отношения крестьян к помещику всегда ведь были как-то неестественны, натянуты и, несмотря на уверения наших консерваторов, что отношения эти чисто патриархальные, всегда в них было что-то недосказанное, всегда, даже лучшим из помещиков, казалось, что они как будто в чем-то виноваты перед крестьянами, но теперь — трудно себе представить что-нибудь уродливее, нелепее того положения, в котором стоят помещики в отношении своих крестьян.

Пока еще освобождение было в одних разговорах и шушуканьях, до тех пор и крестьяне смотрели на свободу как на что-то запрещенное и самую мысль об этом считали преступною, но теперь, когда уже слово сказано и его уж не вернешь, когда преступная мысль вдруг получила характер возможности и даже законности и крестьянин видит ясно, что это уж не сон, что рано или поздно, а барщины не будет, теперь-то именно большинство помещиков выказало всю свою несостоятельность относительно того великодушия, о котором прокричали сначала. Тут-то и начали выбиваться наружу те благородные тенденции, которые под маской крепостного протекционизма были как-то незаметны.

Мне бы очень хотелось, чтобы вы слышали хоть часть тех удивительных разговоров, которых я был свидетелем, тех удивительных взглядов на права человека, которые здесь высказываются. Толки и сцены, и совещания, происходившие по поводу вопроса о свободе, представляют замечательную картину нравов помещичьего быта. Начать с того, что весть об этом, пролетевшая с быстротою молнии с одного конца царства русского до другого, произвела какой-то всеобщий столбняк, все ждали этого, но никто почти не мог себе представить, чтобы дело решилось так скоро. Но

столбняк был непродолжительным: помещики пришли в себя, и сейчас же вся корпорация распалась на две партии: одна половина нашла нужным тут же задать своим крестьянам острастку на всякий случай, а другая — мгновенно упала духом, стала продавать имения и забираться в города. Нашлись очень немногие, которые поступили в этом случае благоразумно, т. е. созвали своих крестьян и прямо без обиняков объявили, в чем дело. Крестьяне пожались и разошлись молча: в большей части помещичьих имений, против всякого ожидания, вопрос об освобождении был принят тихо и недоверчиво, но так как с ними никто почти не говорил прямо (за исключением очень немногих помещиков), то нет ничего удивительного, что в народе заходили такие слухи и предположения, что местная полиция была вынуждена несколько раз прибегать к решительным мерам для водворения порядка и более умеренного образа мыслей между крестьянами. За этим последовали съезды помещиков в уездные города на совещания для выбора из среды своей депутатов. Что вам сказать об этих совещаниях? Не знаю, что делалось в других уездах, но в том, где я живу, совещания эти вышли как-то чересчур комичны. Непривычка наших помещиков обсуживать общие интересы, а главное, убеждение в том, что своя рубашка к телу ближе, произвели желаемые результаты.

Нисколько не оспаривая убеждения помещиков насчет своей рубашки, я вам могу сказать только, что действительно рано еще нашим помещикам решать такие вопросы, как вопрос о свободном труде. Пожалуйста, только не заподозрите меня в пристрастии к чему-нибудь, исключая истины. Если судьба закинет вас опять когда-нибудь в наши палестины, то вы удостоверитесь в справедливости моих слов. Помните вы тургеневский «Завтрак у предводителя»? Помните, как мы оба хохотали и оба не верили в возможность существования подобных сцен? В это время еще мы были очень молоды и смотрели на все с розовой точки зрения. В это время нам казалось, что нет такого тупого человека, которому нельзя было бы растолковать самой головоломной истины; мы верили в силу ума человеческого, мы имели лучшие понятия о человеке.

Помните, как я спорил с одним господином, который уверял, что наши дворянские выборы не имеют никакого значения, что это одна кукольная комедия, что *общее благо* — это такая же бессмыслица, как известные стихи:

В светлой мрачности блистающих ночей
Явился темный свет из солнечных лучей.

Да, в то время мы действительно были еще очень молоды. Если убеждения ваши на этот счет остались те же, то, конечно, вам будет непонятно, почему помещики нашего уезда, съехавшись в город для обсуждения общественных интересов и в особенности интересов своих крестьян, начали с того, что принялись кричать, не слушая друг друга, а потом перепились и были развезены своими же крепостными по домам. Результат этого совещания был тот, что крестьян нужно поприжать. Вследствие чего многие тут же принялись переселять их на неудобные земли. Я не говорю уж о тех жалких сценах, которые происходили на прочих созещаниях, о тех помещиках, которые никак не могли понять, почему же это они столько лет владели крестьянами, и отцы их, и деды владели, и вдруг теперь так, ни с того, ни с другого, не будут уж владеть.

Нашлись и такие, которые, обвинив в этом деле правительство, стали громко протестовать, приводя то доказательство своих прав на крестьян, что они не привыкли жить иначе, как жили до сих пор. Одна почтенная дама так просто-напросто обругала тех, кто первый заговорил об освобождении, и прямо объявила, что она этого не допустит, что этого не будет и не будет, хоть ты тут тресни. Вам, конечно, все это дико и странно,

ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА. САТИРИЧЕСКИЙ ОТКЛИК НА ПОВЕДЕНИЕ КРЕПОСТНИКОВ ПОСЛЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ

— За что же вы всех их поколотили?

— Я в продолжении 30 лет ни одного из них пальцем не тронул, ну а теперь, как они вступили в свои права, надо объяснить, что такое права.

Рисунок Н. А. Степанова. Предназначался для журнала «Искра», август 1861 г. Перечеркнут цензором

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

«... помещики пришли в себя, и сейчас же вся корпорация распалась на две партии. Одна половина нашла нужным тут же задать своим крестьянам острастку на всякий случай, а другая — мгновенно упала духом...» (*Из фельетона Слепцова «Я хочу сообщить вам...»*)



вы, конечно, не можете допустить мысли, чтобы все это говорилось и делалось в Европе, в цивилизованном государстве, где есть университеты и даже сельские школы. Вы, пожалуй, не поверите и тому, что даже между так называемыми развитыми-то помещиками, которые были и в университете, есть такие господа, что вот говоришь с ним и ничего, кажется, смотрит ясно на вещи и сам даже говорит: «Да, да, пора нам, пора начать новую жизнь... Это, конечно, рабство, несовременно... они тоже ведь люди...» и т. д. в этом роде, а там уведет вас в угол да и шепнет: «Ведь, что ни говорите, а как же, однако ж, земля-то, за что ж я ее отдам, ведь она моя...». Ну и пошел писать.

И ведь не забудьте, что это люди — передовые люди, составляющие авторитет в уезде, чего же ждать от прочих?

Ведь вы знаете, что о человеке и даже о целом сословии можно судить только тогда, когда являются случаи, где бы могли высказаться ярко свойства его, где он не может скрываться, т. е. где он не в силах маскироваться, потому что человек маскируется везде, где только может. Таким пробным камнем для нашего дворянства служили в последнее время совещания по случаю полюбовного размежевания чересполосных владений землею. Можно прямо сказать, что тот, кому не случалось бывать на этих совещаниях, не знает, что такое помещик. Кто не видал, как распотевший поп-посредник чуть не на коленях упрашивает *понять* землевладельцев, что двое никаким образом не могут владеть одним и тем же участком, кто не видал как новичок-посредник, имевший до сих пор веру в душу человека, рвет на себе волосы и посылает к чертям свою должность и проклинает день своего рождения, видимо, теряя веру в свой собственный рассудок, и вылезает из кожи, стараясь убедить своих клиентов

в том, что́ ясно, как день, и, по-видимому, не требует никаких доказательств, кто видел все это, тот только может сказать, что он видел помещиков. И поверите ли вы, когда я вам скажу, что посредник, удостоверясь в решительной невозможности сделать что-нибудь путем рассудка, прибегает к хитрости, к помощи разных увертoк, лести и самых нелепых доводов, ⟨ему⟩ каким-нибудь чудом удается примирить двух непримиримых, то примиренные тут же перестают кричать, целуются, бросаются в объятия посредника и благодарят его за то, что он примирил их. Сейчас шампанского — и пошла потеха. И вы через полчаса, глядя на всеобщее довольство, взаимные нежности, думаете, что весь этот дикий спор был только комедия, что помещики были всегда закадычными друзьями, но разыграли комедию для того только, чтобы подшутить над вами. Чтобы вполне дорисовать картину помещичьего быта в нашем уезде, я должен бы, по крайней мере, слегка набросать эскизы жизни в уездном городе, так как она тесно связана с жизнью чисто деревенской, я должен бы изобразить вам, например, съезды у помещиков и у городских властей* с целию чисто специальной — мужчины для выпивки, а дамы для того, чтобы резать друг друга нарядами и намеками, нужно бы также коснуться слегка и жизни домашней, но я боюсь дотрагиваться до этих наболевших мест, потому что эти прелести, вероятно, вам более или менее известны из повестей и рассказов, а главное, что больные такого рода держатся одного очень странного правила: мы знаем,— говорят они,— что вы знаете, да не хотим, чтобы вы говорили об этом.

Но несмотря ни на какие помещичьи правила, я бы должен был из уважения к истине сообщить вам кое-что о тех грустных результатах, к которым привело крестьян помещичье управление. Да, если можно упрекнуть наш народ в том нравственном отупении и отсутствии всяких понятий о чести, религии и нравственности, то всему этому он обязан крепостному состоянию. Многие, возражая на это, указывают на так называемых вольных крестьян, говоря, что нравственность их ничем не лучше помещичьих; но вы понимаете, что было бы крайне близоруко проводить резкую грань между теми и другими. Разве экономические, казенные и прочие крестьяне не те же крепостные, разница только в том, что у вольных — помещики носят мундир и состоят на государственной службе, что они, так сказать, помещики ex-officio**, а те добровольные. Но я не думаю говорить о чиновниках — об них и так уж много говорили, мне хотелось бы только набросать вам легкий очерк того нравственного и умственного отупения, в которое впали сами помещики вследствие крепостн⟨ого⟩ состояния. Я считаю лишним трактовать о том, откуда взялось помещичье право как официальное, так и добровольное, корень-то у них один. Человек по природе ленив, а притом еще, когда он видит, что другой работает и вследствие своей неразвитости может работать даже и для первого, то, конечно, у первого является желание воспользоваться трудом другого и даже облечь стремление пользоваться трудом ближнего в законную форму, придать ему привычный вид, для того, чтобы обеспечить себя и на будущее время.

Все это очень естественно, и делается постоянно у диких народов, где право сильного — единственное право. Смешно сказать, что большинство наших помещиков не признает до сих пор других прав. И это цвет

---

* На этих совещаниях, не знаю почему, приходил мне в голову всегда один мой родственник, который всегда хвастался своей справедливостию: «Придут ко мне, бывало, два мужика,— говорит он,— и жалуются друг на друга, а я, не говоря ни слова, возьму их обоих, да и выпорю: что ж вы думаете — после этого оба в ноги мне кланяются: „Спасибо,— говорят, — батюшка, что уму-разуму нас наставляешь“». — *Прим. Слепцова.*

** по долгу службы (*лат.*).

русского общества. Это то привилегированное сословие, на которое возлагаются все наши надежды. Посмотрите, что оно сделало, это сословие и с своими безответными крестьянами, да и с собою. О чем мы думали до сих пор, чего мы ждали? Дворянство — опора отечества! И эта опора дожила до того, что ей говорят — пора же ведь и честь знать! Передовому сословию напоминают, что оно отстало!.. А не будь этого напоминания, чего доброго, ведь мы бы, пожалуй, еще лет десяток-другой торговали бы живыми душами. Куда нам, над нами не каплет. Сделали ли мы хоть что-нибудь прочное даже и для самих себя? Сумели ли мы воспользоваться даже теми льготами и правами, которые были нам предоставлены правительством? Уж не говоря о том, что мы пальцем не пошевелили, чтобы сделать что-нибудь для тех, кто от нас зависел и кто нас кормил? Нет, у нас даже благодарности к ним не осталось, простого чувства благодарности, свойственного даже и дикарям. А у нас ли не было в руках возможности развиться и развить других? Да и могли ли мы думать об этом, когда мы нашим собственным детям внушали прежде всего правила низкопоклонничества перед высшим, нелепого чванства перед низшим и с молоком матери всасывали ненависть и пренебрежение к тем, кто нас кормил и одевал. Могли ли мы думать о развитии, когда мы видели на каждом шагу, что знание, что честный труд глохнут где-то на чердаках, а связи, дамское покровительство и деньги делают всё.

Нет, знаете ли, что я вам скажу!.. Я твердо убежден в том, что теперь только наступает время, когда дворянство может сделаться, действительно, передовым сословием, что теперь, когда оно волей или неволей лишится средств пользоваться чужим трудом, когда оно должно будет подумать о себе, теперь только сможет оно безгрешно воспользоваться своими привилегиями, которые могут облегчать ему путь к умственному и нравственному совершенству. Не забудьте, что дворянство в России — единственное сословие, которое могло бы, безусловно, делать ассоциации с целию обсуживать свои интересы, право это, как известно вам, дано ему правительством. Посмотрите ж, что мы сделали из этого права. «Единственные ассоциации, удающиеся у нас, — это с целию напиться до безобразия лица»,— сказал кто-то очень удачно. В этих случаях, действительно, мы видим полное согласие. А ведь, если рассудить строго, то и попойки наши почти всегда кончаются дракой или скандалом. Даже и в этом мы не так-то далеко ушли от наших предков. Всякие другие соображения, где только есть общий интерес, у нас как-то не клеятся. Вот хоть бы ополчение. Припомните, что это за комедия вышла в то время. Как только объявлен был манифест, все трактиры и бульвары мгновенно запрудились серыми ополченцами, которые тут же, не выходя из города, принялись пробовать свои силы и выказывать воинские поползновения в деле разбивания морд, неистового пьянства и самого свирепого патриотизма; патриотизм, впрочем, ограничивался более предпочтением сивухи перед прочими винами. Что делалось у нас в уезде, так это вы себе вообразить не можете. Начать с того, что наше благородное дворянство, позасидевшись в деревне и сильно обленившись, приняло приглашение ополчаться очень неблагосклонно. Помещики наши отличались военными добродетелями только разве в схватках с исправниками или даже с своими крестьянами и вообще были более склонны к мирным занятиям псового охотника или семьянина, а потому съехались на совещание в уездный город как-то неохотно, соображая все пожертвования, которые нужно будет понести в пользу патриотизма. Но, съехавшись и порассудив кой о чем, значительно успокоились — и в силу того, что на людях и смерть красна, — вдруг почувствовали бранный позыв...

‹1861 — 1862 гг.›

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 182, лл. 12—20.

САТИРА НА ЦЕРКОВНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

В бумагах, изъятых у Слепцова при аресте, сохранилась беловая рукопись статьи, озаглавленная «Мнение о народном образовании». При первом же беглом ее чтении становится ясно: перед нами памфлет и пародия.

Нам удалось найти объект сатиры Слепцова, который не был им назван. 29 января 1861 г. в № 5 «Сына отечества» была напечатана статья иеромонаха Невской лавры Иосифа «Мнение о народном образовании», в котором он предлагал сочетать в сельских школах религиозное воспитание и занятия сельским хозяйством. Сопоставление этой статьи с публикуемой рукописью не оставляет сомнений в том, что именно это выступление педагога-публициста в рясе стало непосредственным предметом насмешек и обличений Слепцова. Сравнительный анализ двух статей вводит нас в лабораторию эзоповского мастерства писателя.

Заглавие, начало и многие места статьи Слепцова, которую следует, таким образом, датировать 1861 г., текстуально совпадают со статьей иеромонаха Иосифа. Постоянно, но скрыто, цитируя эту статью и ссылаясь на ее материал (например, на полемику с Забелиным), писатель как бы мимоходом делает замечания, вставляет такие слова, которые разрушают все построение защитника церковно-охранительных взглядов в области народного образования.

К идиллической картине, нарисованной иеромонахом (учащимся в сельских школах будет предоставлена полная свобода), Слепцов делает весьма существенное «добавление», иронически выдержанное в том же тоне идеализации: «Учение и училища должны быть без полицейского надзора. Боже упаси от этой кары! Пусть начальники приезжают, наведываются так себе, словно приехали как бы в гости. Мальчики будут им рады: надарят их своими произведениями; расскажут, что и как сеялось или сажалось, и в заключение могут пропеть какой-нибудь гимн. Ну, идет ли после этого педантизм ревизорский?!»

Иронически «усиливает» Слепцов аргументацию своего «предшественника». Если последний говорил о том, что в основе народного образования должно быть пение (имеются в виду церковные песнопения и гимны: «Коль славен наш господь» и «Боже, царя храни»), то Слепцов добавляет: «и музыка».

Публикуемая статья Слепцова была первой попыткой писателя откликнуться на вопрос о народном образовании, шумно обсуждавшийся в пору реформ. В ней, как сказано выше, оставлена ссылка на статью А. Забелина «Разногласия по вопросу о народном образовании», напечатанную в нескольких номерах «Русской газеты» за май — июнь 1859 г. Но функция упоминания у Слепцова имени Забелина иная, нежели у Иосифа. Писатель не возлагает никаких надежд на примирение спорящих, не предлагает своей методы народного просвещения. Слепцов дает понять читателю, что «разногласия» в реакционно-либеральном лагере по вопросу о народном просвещении совсем не принципиальны. Автор оказывается в равной степени далек и от тех, кто стремился удержать народ в состоянии невежества и темноты, и от ревнителей народного просвещения, создававших комитеты грамотности, народные школы, «народную литературу». «Продажей на вынос» — называл писатель эту «деятельность» в повести «Трудное время» (II, 83); «...к счастью,— писал он в статье «Попытки народной журналистики»,— народ ⟨...⟩ смотрит на эти внушения или с недоверием, подозревая в них непременно какую-нибудь корыстную цель, или относится к ним с глубочайшим презрением, как к неразумной и пустой болтовне» (II, 318).

Слепцов высмеивает самое стремление «вразумлять» мужика. «Мнимо-народные книжки» товарищества «Общественная польза», периодические издания типа «Народное чтение», «Мирское слово» раздражают его, как и других сотрудников «Современника», фальшивым, покровительственно-нравоучительным тоном разговора с народом, как с малыми детьми.

Слепцов подвергал острому разоблачению современных поборников «народного просвещения», видел скрытое желание поддержать и развить в народе религиозные, верноподданнические чувства (II, 308—309).

Характер и небольшой объем публикуемой статьи наводят на мысль, что она предназначалась для сатирического журнала. Скорее всего она писалась для «Искры», редакция которой в 1861—1862 гг. уделяла значительное внимание выступлениям против «благонамеренного» «Сына отечества» (см., например, юмореску В. Курочкина «Сын отечества, или Овсяный кисель» в «Искре», 1861, № 49, от 22 декабря).

МНЕНИЕ О НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Прочитав статью г-на Забелина: «Разногласия о народном образовании», помещенную в «Русской газете», 1859, № 19, 20 и т. д., можно судить уже по самому наименованию этой статьи, что дело как-то все не клеится: иной думает так, другой иначе; что значит: верной и основной идеи, на которой бы можно соорудить школы для народного образования и достигнуть цели, не указано. Мало этого, г-н Забелин, как видно из его статьи, заметил и то даже, что мыслители касательно народного образования пришли, наконец, к тому знаменателю, что не знают, с чего начать и чем кончить метод народного образования.

Итак, позвольте мне высказать свое мнение насчет этого дела. Скажу наперед, что я не стану пускаться в длинные суждения. С давних пор замечено, что длинные суждения ровно ни к чему не ведут. Толкуют-толкуют, мудрят-мудрят о чем бы то ни было, а выходит ларчик просто открывается.

Вот мое мнение. В основе народного образования необходимы:

1) *пение и музыка*. Русский народ любит петь, любит слушать и музыку. Начните ж дело с того, к чему мы, русские, от природы так охочи и так склонны. Что петь и что разыгрывать? Церковные партесные ноты, на кои переложены псалмы, разные стихиры и песни светские, восторгающие душу гимны, например, «Коль славен наш господь», «Боже, царя храни» и проч. т⟨ому⟩ под⟨обное⟩. Музыка и пение вполне действуют на нас с самой благотворной стороны во всех случаях нашей жизни, в радости и в печали.

Благодушествует ли кто ⟨из⟩ вас,— говорит апостол Иаков, — *да поет* (гл. 5, ст. 13).

Потом:

2) надо знакомить детей с природою, с этой великою творческою книгою*. Тут пение и музыка чрезвычайно как гармонируют с красотами природы. Когда природа в цвету, во всей ее красе, тогда все там поет, веселится, играет, что, впрочем, птицам и всем вообще тварям нисколько не мешает снискивать сродную себе птицу и хлопотать о вскормлении своих детенышей. Вот, например, лес, вода, луга, птицы, разного рода насекомые. Сядьте же на любом пригорке, окружите себя малютками, велите им пропеть: «Благослови душа моя господа» — псалом, где так разительно изображается благость и мудрость творца вселенной**, или «Коль славен наш господь в Сионе», если к пению этих и подобных им гимнов присовокупите (а непременно должно присовокупить) объяснение самое простое и внятное, то вы достигли своей цели. Дети нечувствительно сделаются добрыми по душе и по сердцу. Они возблагоговеют перед творцом вселенной. Вы заплачете от умиления и они заплачут; это будет так — верно!

Вот вам и храм, вот вам и задушевные мотивы или, что то же — религиозно-нравственные чувства! Вслед за этим детские грубые чувство-

---

* Антоний Великий Египетский говаривал: Я во всю жизнь свою (а он прожил 105 лет) не мог перевернуть ни одного листа в этой книге.— *Прим. Слепцова.*

** Есть переложение этого псалма на партес *знаменный*, по тону величественный, торжественный.— *Прим. Слепцова.*

вания сделаются мягкими, впечатлительными. Вы имеете тогда перед собою чистую, прекрасную бумагу — простоту и незлобие детское. Берите же перо — ваш рассудок — и пишите на ней все прекрасное, и все это прекрасное останется в детях неизгладимо. И вот вам за это вечная благодарность. А дабы детей наглядно-опытно познакомить с величием природы, то, наконец, —

3) для этого нужно иметь среди природы ферму и жить наставнику в ней с детьми с ранней весны до сентября. Ферма должна состоять, по крайней мере, десятин из пяти. Здесь дети должны заниматься садоводством, пчеловодством, огородничеством, разведением школ, т. е. саждением, прививанием и колировкою фруктовых дерев; можно сажать полезные травы, цветы и разного рода кустарники. Грамматика и арифметика с их сухими правилами тут нейдут. На это будет другое время. С сентября уже в школе грамотность и дальнейшее усовершенствование в музыке и пении. Каникул не полагается, потому что пребывание детей на ферме с весны до сентября будет для них то же, что каникулы. Тут дети всегда на вольном свежем воздухе, среди природы, при занятиях полезных и вместе приятных. Гуляние или баловство и на ум им не пойдут.

Вот вам и вся недолга!

Примеч. 1. Устройство фермы и расход, какой потребуется,— от общества. Это на первых порах. Потом, когда ферма усовершится через 5, много 10 лет, тогда она сама себя будет содержать, так что от избытка ее можно составлять библиотеку для школы, приобретать инструменты.

2. Дети поступают в школу с 7-летнего возраста и оканчивают курс своего учения к 17-летнему возрасту.

3. Наставнику жалования — 1000 руб. серебром. Много? Нет, не много. Ему придется находить *по своему вкусу* регента, садовода, а может быть и художника или ремесленника.

4. Учение и училища должны быть без полицейского надзора. Боже упаси от этой кары! Пусть начальники приезжают, наведываются так себе, словно приехали как бы в гости. Мальчики будут им рады: надарят их своими произведениями; расскажут, что и как сеялось или сажалось, и в заключение могут пропеть какой-нибудь гимн. Ну, идет ли после этого педантизм ревизорский?!

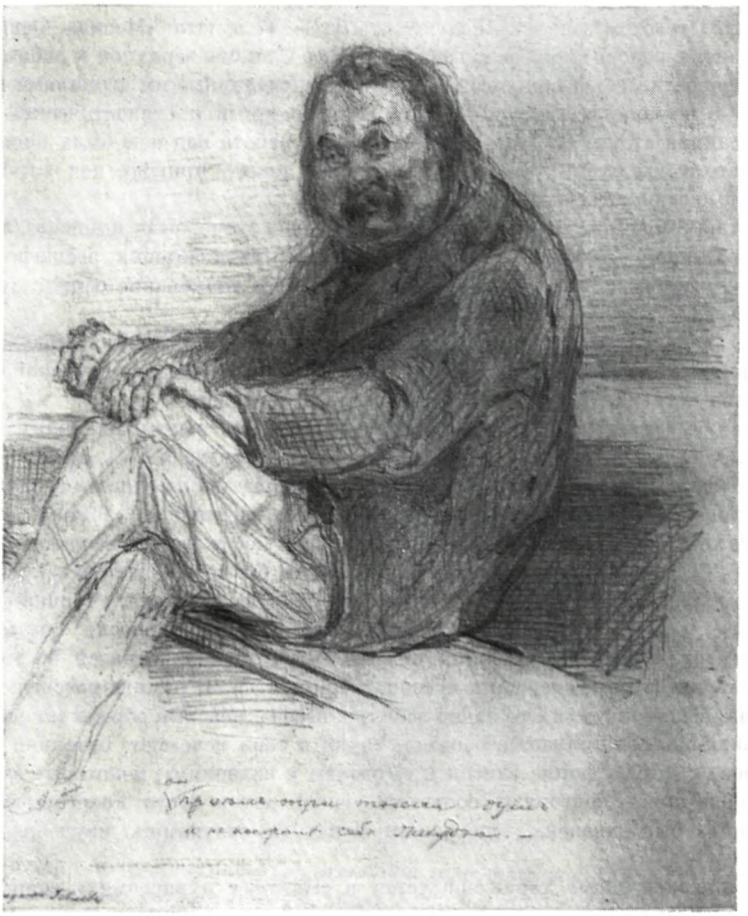
Вообще во всем должна быть предоставлена свобода как учащему, так и учащимся. Оттого и науки называются свободными — *гуманными* (litterae humaniores). Тысяча крат замечено и опытами доказано, что где свобода, там и успех по всем отраслям наук и искусств. Но где долг — обязанность, там в учащем, как равно и в учащихся, невольно сердце сжимается, рассудок отуманивается, рождается холодность, отвращение к чему бы то ни было, даже к самому полезному. Такова природа наша.

Что прикажете делать?! Дети вообще любят приятное, веселое, игривое. Надо же приспособляться к их любимым свойствам, так уравновешивать, парализировать и самый метод учения, т. е. ни в каком случае не надо давать им разуметь, что они учатся, что это есть их непременный долг. Напротив, их надо, по выражению бессмертного Суворова, «*Заманивай, заманивай*», заманивать, и будет успех; а иначе пиши пропало!

В заключение скажу, что мое мнение насчет народного образования не есть какое-либо новое мнение. Нет, оно древнее и очень древнее. Пророк Самуил первый положил в основу народных училищ — пение и музыку. И какие были училища! Какие ученики!!.

— Значит,— скажут мне и, пожалуй, еще улыбнутся, — и я хочу сделать сельских мальчиков пророками? Сделайте милость, не думайте так. Самуил не имел в виду сделать своих учеников пророками (пророка, как

и самого пророчества, по нашему произволу не бывает. См. посл. 2 апостола Петра, гл. 1, ст. 21), а только добрыми и умными людьми — вот была его главная цель. Об этой-то цели и у нас теперь толкуют. Но согласитесь, что Самуил открыл самые верные средства к достижению цели



ПРОМОТАВШИЙСЯ ПОМЕЩИК

Рисунок Н. В. Иевлева, конец 1850-х гг. Внизу подпись: «Он проел три тысячи душ и не испортил себе желудок»

Исторический музей, Москва

«Неужели это та лучшая часть нашего общества, которою гордится Россия? Неужели это развитое сословие? Что же остальные-то?» (Из фельетона Слепцова «Я хочу сообщить вам...»)

в народном образовании. Надо было ему сперва затронуть детские чувства, облагородить, возвысить, сделать эстетическими. Чем же? Ни чем более, как пением и музыкою, да простыми рассказами о величии природы, среди самой природы. Это было, так сказать, млеко — первая детская пища; потом, когда дети приходили в больший возраст и имели понятие и рассудок более развитыми, тогда предлагаема была им уже и твердая пища — умственные науки.

Почему же и нам не воспользоваться этими средствами?..

⟨1861 г.⟩

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 182, лл. 43 — 46.

В ПОЛОСЕ НАСТУПАЮЩЕЙ РЕАКЦИИ

«Притчи и видения» предназначались автором для журнала «Искра». На полях первой страницы рукописи, сохранившейся в бумагах писателя, взятых при его аресте в 1866 г., написано карандашом слово: «*Искра*», а затем чернилами: «В. С л е п ц о в а». Под текстом зачеркнута подпись: «В. С—в» и дата: «Москва. Февраль 1862».

Рукопись в основе своей беловая, но позднее Слепцов вернулся к работе над ней и местами превратил ее в черновую. Исправления, сделанные им чернилами и карандашом явно в несколько приемов, имеют автоцензурный и стилистический характер. Новая редакция статьи осталась незаконченной, работа над нею была брошена Слепцовым, поэтому мы публикуем первоначальный текст, приводя под строкой лишь значительные варианты.

Перед нами один из наиболее трудных образцов эзоповой речи писателя. Не ставя перед собой задачу разгадать все иносказания этого произведения, расшифровать каждый образ, каждую деталь, мы предложим лишь свое толкование общего смысла публикуемой вещи.

Автор рисует аллегорическую картину современного состояния страны и общества. При этом им дважды используется добролюбовское обобщение глубокой отсталости и бесправия тогдашней русской жизни: «темное царство».

Основную мысль произведения помогает раскрыть запись на полях рукописи: «Пр. Сол. XXVI. 11» (книга притчей Соломоновых, притча XXVI, стих 11). Находим указанное место в Библии и читаем: «Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою». При помощи этого изречения Соломона Слепцов, по-видимому, хотел указать на то, что страна, вступив после краха революционной ситуации 1859—1861 гг. в новую полосу реакции, как бы возвращается к прошлому. Об этом же идет речь в наброске, сохранившемся в бумагах писателя: «Черная ночь висела над городом...» (см. этот набросок ниже, стр. 377). В наброске создана фантастическая картина унылой, туманной ночи. Что-то страшное чудится во мраке, слышатся жалобные стоны, сдержанный шопот, проклятья. В памяти рассказчика возникают «томящие звуки каких-то давно забытых песен», неясные образы манят его куда-то; но какая-то сила толкает его назад, звуки и тени исчезают, отчаяние овладевает им. Набросок этот по форме близок к «Притчам и видениям»; некоторые зачеркнутые строчки даже прямо повторяют соответствующие места этого аллегорического произведения: «я был схвачен», «перенесен духом в святилище наук и поставлен у входа».

В эзоповской форме характеризуется в «Притчах и видениях» период реформ. Сравнение: «Как во дни Соломона-царя»,— позднее используется Слепцовым и в повести «Трудное время». Приведем это место: «— Да; вот, говорят, во дни Соломона,— сказал Рязанов,— жить было хорошо: всякий сидел под кущей своей и под виноградом своим, а царь Соломон сидел на престоле и судил всех сам. Ни споров, ни драк в то время не было» (II, 92).

Писатель воспроизводит в «Притчах и видениях» пору неумеренного ликования, либеральных славословий Александру II — «Великому и сильному и могучему богатырю Еруслану Лазаревичу!» Здесь Слепцов пародирует либеральную журналистику, охотно пользовавшуюся фольклорными образами, воздавая хвалу народному «освободителю»: «Перед нами воочию сбываются чудеса старинной сказки ⟨...⟩ От магического прикосновения русского богатыря просыпается царевна — русская свобода» (статья «Современная радость России».— «Отечественные записки», 1861, № 3, стр. 26).

На полях рукописи «Притчи и видения» при позднейшей правке Слепцов обозначает цифрами границы трех эпизодов — «видений»*.

В первом — перед читателем предстает образ огромной страны, богатой и мощной, но узурпированной антинародными эксплуататорскими силами, «саранчей».

---

* В рукописи, ближе к концу, против абзаца, начинающегося словами: «Видел я обширный город...», Слепцов вновь ставит на полях цифру «1». По-видимому, он хотел перенести это место в первое «видение».

В СОВЕТЕ ВРАЧЕЙ

Карикатура. Гравюра П. Куренкова с рисунка Н. А. Степанова «Искра», 1861, № 32



Здесь же дается характеристика охранительной «идеологии». В обществе насаждается официально-казенный патриотизм: «О, сколь сладок и приятен смрад отечества!..»

Второе «видение» — сцена в «святилище наук» — раскрывает враждебность верхов общества к подлинному просвещению (при сохранении видимости покровительства ему), равнодушие к великим событиям и героям национальной истории.

Третье «видение» — сцена в горнице, где сидят «разные должностные лица»,— воссоздает атмосферу деспотизма, чинопочитания, угодливости как характерных черт политического быта общества, придавленного самодержавием. В условиях бесправия и беззакония люди легко идут на компромиссы и сделки; развращаются даже искренние ранее поборники правды, «наставники юношества». Далее обличается проповедь социального смирения, с которой правящие классы обращались к трудовым массам и одновременно великодержавно-националистические лозунги царистской реакции: «Покоряйтеся, языцы, яко с нами бог!» Напомним, что этими словами из книги пророка Исайи (гл. VIII, стих 9) заканчивался манифест Николая I, изданный по поводу усмирения венгерской революции 1848 г.; они вызывают чувство глубокого омерзения у автора «Притч и видений».

Заключительные эпизоды «Притч и видений» содержат размышления Слепцова о продолжающемся тяжком сне страны и народа. Перед автором предстают образы «забытых людей», быть может, образы ушедших из жизни, погибших в снеговой сибирской каторге борцов за дело народного освобождения. Вместе с тем здесь же в образах «рассвета» и «поющих петухов» выражены надежды писателя-демократа на неминуемое пробуждение страны и общества.

ПРИТЧИ И ВИДЕНИЯ

В ночи на 9 число февраля* месяца сего 1862 года было мне видение некое. Видел я обширное поле, заключавшее в пределах своих семь морей, многие славные города и веси, многоводные реки и озера, изобильные рыбою. И представилось глазам моим великое множество спелой пшеницы, растущей на том поле, и удивился я тучности колосьев. Но в это время налетела саранча, покрыла все поле, пожрала пшеницу и, подобно туче, поднялась над полем и помрачила солнечное сияние. Когда же саранча улетела, то на месте ее остались только кучи непотребных веществ, поразивших обоняние мое смрадом неописанным.

Удушаемый зловонием, я направился в бегство, но чем дальше бежал я, тем более вязли и скользили ноги мои и тем более удостоверялся я в том, что кучи покрыли все поле до самого моря. Усталый, изнеможенный я остановился, чтобы перевести дыхание, и вдруг стал примечать, что кучи начинают двигаться и принимать человеческие образы; из больших же куч воздвигаются здания, подобные темницам; всматриваясь в эти образы, я, к удивлению моему, заметил, что они ходят, кланяются, сеют, купно деют, собирают в житницы, женятся, плодятся и размножаются, как обыкновенные люди, и притом вовсе не замечая исходящего от них смрада и даже принимая его за благоухание. Многие из них, упоенные зловонием, воздымали руки и восклицали, бия себя в грудь: «О, сколь сладок и приятен смрад отечества!..»

Но в это время молния упала на землю и опалила языки восклицавшим, раздался трубный звук, двери присутственных мест с превеликим шумом отворились и оттуда послышался глас, заглушаемый рыканием, подобным львиному. Глас воскликнул трижды: «Слава тебе, великому и сильному и могучему богатырю Еруслану Лазаревичу!..» Львиное же рыкание уподобилось звуку свирели, поющей: «Слава тебе, кулику! Слава тебе, тетереву! Слава!..» — и видение исчезло.

И во мгновение ока был я перенесен в святилище наук и поставлен у входа; и видел, как отворились двери и входили мужчины и женщины в пышных одеждах, упитанных благовониями; лица их были озабочены и бледны, как будто они несколько дней оставались без пищи. Все эти мужчины и женщины, войдя в обширную храмину, садились по местам. Перед ними стояла кафедра, но на ней никого не было. Женщины смотрели друг на друга одни с завистию, другие с презрением, но хотели казаться равнодушными. Были тут и старые, но так искусно раскрашенные, что издали их можно было принять за молодых. Мужчины же смотрели на женщин и выгибали кольцом руки или поднимали плечи, стараясь им нравиться. Некоторые поправляли себе и без того хорошо причесанные волосы, показывая при этом дорогие перстни. Впереди всех стояли юноши, хотевшие казаться старцами, и старцы, хотевшие казаться юношами; а потому первые прихрамывали и морщили брови, вторые же резвились и брыкали ногами, как молодые козлы. Тут же находились люди в воинской одежде с доспехами бранными и нарочно гремели оружием для того, чтобы все их видели и боялись.

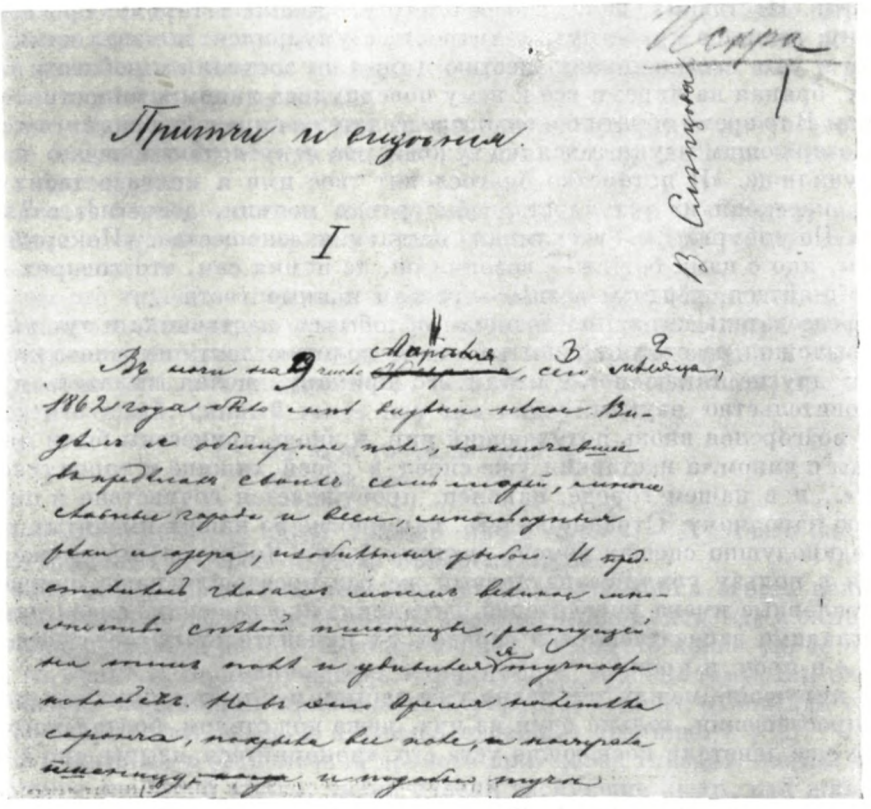
Но дверь отворилась, вошел человек с книгою и сел на кафедру; тогда все умолкли и приготовились будто слушают, а человек с книгою начал читать. Читал он долго и красноречиво, переносился мыслию в века давно минувшие и воскрешал погребенные в них события; могучее слово его пробуждало великие тени героев; народы и царства вставали и вновь разрушались, и никто этого не заметил, потому что женщины были склонны больше к плясанию, и нежные уши их были завешаны золотом,

---

* *Позднее исправлено на:* апреля.

мужчины же старались показать женщинам, что они гораздо умнее читавшего и давно знают все науки.

И когда чтение кончилось, то женщины уже знали — какое платье на ком было надето, а мужчины не знали даже и этого; и хотя никто друг другу не верил, но тем не менее каждый старался уверить другого, что он слушал и понял все, что было читано. Пораженный таким зрелищем, я подошел к одному из этих людей и хотел было спросить, зачем они сюда


Притчи и видения.

I

ПЕРВЫЙ ЛИСТ БЕЛОВОЙ РУКОПИСИ СТАТЬИ СЛЕПЦОВА «ПРИТЧИ И ВИДЕНИЯ», 1862 г.

Архив Октябрьской революции, Москва

приходили, но в то же мгновение был я восхищен духом и несен в другое место, в один дальний угол русского* царства, и глазам моим явилось такое зрелище.

В небольшой горнице на столе были приготовлены яства и сосуды с вином, а вокруг него сидели разные должностные лица и сквернословили, другие же целовались, потому что все они были очень пьяны и сами не помнили, что делали. Некоторый доблестный старец, украшенный сединами и другими знаками отличия, в поучение юношам хвастался тем, что умел лучше всех воскурять фимиамы, и притом показывал в назидание пирующим спину свою, гибкостию уподобившуюся тростнику, растущему на бреге, говоря, что за эти доблести был взыскан милостями многими. Другой же самодовольно повествовал о том, как он разорил не одного мирного селянина. На первом месте сидел главный корчемник, и все ему

* *Позднее исправлено на*: темного.

поклонялись, а на последнем — наставник юношества, и никто на него не глядел.

И был пир как бы в половине пира, многие сосуды опустели и многие из пирующих лежали, как бы мертвые, когда смиренный наставник встал с своего места, униженно поклонился всем и просил позволения сказать слово. «Говори!» — отвечали ему. И начал он горькую повесть о скорби народной, об алчущих и жаждущих правды, о пище духовной, о сеятеле и плевелах; но все пирующие глумились над ним, и никто не хотел его слушать. Наставник, видя, что речь его уподобилась гороху, бросаемому в стену, решился прибегнуть к хитрости и умудрился: помазал язык свой медом и уста свои наполнил лестию и стал он восхвалять доблести пирующих, бряцая на лире; и все к нему повернулись лицом и милостиво улыбались. В то время обратился он к председателю пира и, сравнив его с солнцем, озаряющим науки и всякие художества, искусно повел речь о народном училище. «И потомство благословит твое имя и молва о твоих деяниях, переходя из уст в уста с быстротою молнии, достигнет славного града Петербурга...»— восклицал наставник юношества. «Покоряйтеся, языцы, яко с нами бог!..» — возопил он, не помня сам, что говорит. «Покор-р-р-яйтеся, чёртовы дети!» — ревели пьяные гости...

Председатель пира прослезился, облобызал наставника и тут же первый выложил на стол от избытка своего золотую лепту на основание училища; другие также последовали его примеру, желая выказать и свое покровительство наукам.

И возгорелся вновь потухающий пир, и вновь принесены были многие сосуды с вином, а наставник уже сидел в своей хижине и торопливо писал: «... и в нашем городе, наконец, пробуждается сочувствие к просвещению народному. Отрадно видеть, как многие из наших именитых граждан единодушно спешат помочь святому делу. Добровольные пожертвования в пользу училища на первый же раз превзошли наши ожидания. Достославные имена учредителей рассадника просвещения, смеем думать, неизгладимо запечатлеются в сердцах их признательных соотечественников...» и проч. и проч. ...

А пирующие между тем давно уже забыли и о наставнике, и о народном просвещении, только один из них, лежа под столом, болтал ногами и долго еще лепетали коснеющие уста его: «покоряйтеся, языцы, яко с нами бог».

И опять унесен я был в новое место, и новое зрелище представилось глазам моим.

Видел я обширный город, стоящий на берегу реки*, и никак не мог припомнить, где я видел его прежде. Все мне в нем было знакомо и все напоминало давно прошедшее детство. Благочиние и порядок царствовали в том городе, на улицах была тишина невозмутимая и даже собаки не смели лаять, дабы не потревожить бреханием любимого начальника. Мирные граждане с спокойной совестию исполняли все свои обязанности и каждый старался только о том, дабы начальник был им доволен. Каждый сидел под сению своею и под виноградом своим, как во дни Соломона-царя; даже блудницы казались чистыми, яко голуби, становые же** — мудрыми яко змии. Гражданские чины неусыпно пеклись о святости законов; торгующие люди продавали свои товары самой дешевой ценою, трепеща ежечасно страшного дня судного, а воинские же стражи денно и нощно с оружием в руках охраняли жителей от лютости врагов.

---

* *Позднее далее зачеркнуто до слов*: дабы начальник был им доволен, *а вместо этого написано*: храмами многими, а пуще того добродетелями великими изукрашенный, доблестью мужей своих и смирением граждан прославленный. И был тот город подобен...

** *Позднее исправлено на*: законники же и судьи

Невыразимое чувство спокойствия разлилось в моем сердце, и я было уже направился к реке, дабы убедиться, не молочная ли она, не из киселя ли берега ее, как вдруг дверь начальничьего дома отворилась и из нее вышел предводитель гражданских стражей (но одежда на нем была воинская) и устремился в первый попавшийся дом. Таким образом, ходил он из дома в дом, раздавая какие-то билеты и отбирая взамен разные золотые и серебряные монеты. Пришел он и на торжище и тут делал то же, и только что произносил какие-то слова, как каждый с радостию спешил отдать последние деньги и свою лепту пожертвовать на общее дело. Предводитель гражданских стражей обошел все заезжие дома и повсюду встречен был умильными лицами граждан, и слезы, чистые слезы, как утренняя роса, струились по щекам их.

Но тут случилось со мною что-то непонятное: я вдруг почувствовал глубокое омерзение ко всему, что было у меня перед глазами, какую-то тошноту духовную...

— «Ложь! ложь»,— шипел кто-то у меня над ухом*. «Злодеи, рабы презренные и лукавые,— крикнул чей-то голос.— Будьте вы прокляты отныне и вовеки!..»

Что же это такое? — подумал я, и в то же время мне показалось, что я поднимаюсь на высоту, а подо мною растет и все шире и шире расстилается какое-то великое темное царство, но по причине мрака я ничего не мог рассмотреть, что там делалось, только я мог расслышать, что чей-то отвратительный, сиплый голос пел там внизу:

На заре ты ее не буди!
На заре она...

— Кто ж это спит? — вдруг пришло мне в голову.— И отчего же это не надо будить?!.— Страх и ужас овладели мною.

А голос пел и все пел и, казалось, сам заслушивался своего пения. Тяжкое сновидение давило мозг мой. Я силился припомнить, где я слышал такой голос прежде, и не мог. А голос все пел. И под это пение что-то поднялось во мраке и, не пробуждаясь, отряхнулось, подобно тому, как отряхается зверь, почуявший приближение утра. И в то же мгновение слабый свет озарил этот мрак, и я увидел страшное зрелище.

Годы и события в бесконечной дремоте шли перед глазами моими, точно страницы знакомой книги; давно навеки заснувшие люди, как живые, проходили мимо и, будто уносимые ветром, сменялись другими. И чудилось мне, что и они знали эту песню и их усыпила она навсегда. Вдруг пошатнулась снеговая поляна и из сугробов поднялись забытые люди и, не просыпаясь, занесенные снегом, с неподвижными глазами безмолвно двинулись куда-то. Но с горы опустился туман и все гуще и гуще стал затягивать видение, все тише и глуше слышалась песня, забелел восток и начали понемногу сквозь рассветную мглу выступать передо мною какие-то нежные очертания улиц, домов и колоколен.

Застывшая река мелькнула между ними; кровли обвалившихся дворцов, колонны и потускневшие окна величаво поднимались из кучи лачужек; ветхая крепость с пестрыми соборами и облупившимися башнями показалась на пригорке; густой колокольный звон смутно носился в воздухе и раскатился над городом; петухи где-то заливались, да так-то усердно...

Москва. Февраль 1862.

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 183, лл. 1—8.

---

* *Позднее далее написано*: «Ложь безобразная и бессовестная! Ложь, отравившая младенца в молоке матери».

О ПРАЗДНОВАНИИ 1000-ЛЕТИЯ РОССИИ

Публикуемая забытая корреспонденция Слепцова «Из Новгорода» появилась на страницах «Северной пчелы» 10—11 сентября 1862 г. С 1860 г. «Северную пчелу» (ранее реакционный полуофициальный орган) редактировал Н. С. Усов, придавший газете умеренно-либеральное направление. Слепцов сотрудничал в это время в газете в качестве ее собственного корреспондента и помещал в ней рассказы и очерки («Уличные сцены», «На железной дороге», «Вечер»).

В сентябре 1862 г. редакция послала Слепцова в Новгород, чтобы напечатать корреспонденцию о праздновании тысячелетия России. Упоминание об этом мы находим в письме Слепцова к М. А. Маркович от 23 февраля 1863 г. (см. о нем далее).

Слепцов поручение выполнил. Корреспонденция появилась в печати и привлекла внимание не только читателей, но и властей своеобразным подходом автора к освещению новгородских торжеств.

Подготовка к празднику тысячелетия России велась с самого начала 1862 г. Газеты и журналы не только официального направления, но и либерального лагеря уже в январе начали печатать юбилейные статьи, в которых читателям предлагали оглянуться на долгий и «славный» путь, пройденный русским государством. «Тысяча лет России, тысяча лет России! — писали «С.-Петербургские ведомости».— Ударил колокол. Это не погребальный звон умершему государству; это набат возрождения славных племен к новой жизни, канун которой отпразднован был 19 февраля! Руки ваши, братья!» [1]

На фоне этих праздничных фанфар и славословий корреспонденция Слепцова резко выделялась своим будничным обыденным тоном. Достаточно сказать, что более чем две трети статьи заняты описанием дороги в Новгород и лишь одна треть посвящена собственно празднику.

Писатель как бы мимоходом замечает, что простой народ, о котором официальная и либеральная печать шумно писала в эти дни, как о главном герое праздника, в действительности участвовал в нем довольно странно: целые сутки стояли на берегах Волхова разряженные ради торжественного дня крестьяне. Их заставили ждать пароход царя и членов царской фамилии, чтобы приветствовать их громкими кликами «ура!». Это бросается в глаза Слепцову по дороге в Новгород. А в самом городе он опять наблюдает, как поступают власти с людьми из народа: мужиков с котомками за спиной и в протертых лаптях не пустили ни к собору, ни к памятнику. И это обычно, этому никто не удивляется: «Вы — мужики, и следственно, рассуждать об этом вам никак невозможно. Что вы понимаете?» — увещевает крестьян отставной солдат.

Умело и тонко подводит Слепцов читателя к выводу о том, насколько чуждой народу является вся эта официально-праздничная шумиха. Она затеяна правительством в надежде на политическую консолидацию русского общества, когда самодержавие перешло от обороны против революции к нападению на ее силы. Слепцов нарочито снижает описание торжеств. Немец-виноторговец, изобразивший над дверями своей лавки русского мужика, похожим на пуделя с лентой; петербургский городовой, который муштрует новгородских старшин и советует им расчесать свои «мочалки», раскисшая и расклеившаяся иллюминация,— все это под сатирическим пером Слепцова превращает новгородское торжество в глупый и нелепый фарс.

Подчеркнуто скупо изображен приезд царя. «„Царь едет! Царь едет!“— проносится в толпе. Вот показался пароход, музыка заиграла *и в то же время стал накрапывать дождь*» (курсив мой.— *Л. Е.*). Интересно сопоставить эти протокольно сухие строки, лишенные какой-либо эмоциональной экспрессивности, с многоречивыми подобострастными тирадами других авторов, описывающих то же самое событие. «7-го сентября вечером царственные путешественники приплыли на пароходе по Волхову. Народ громкими криками „ура!“ приветствовал государя»,— писал придворный биограф Александра II С. С. Татищев [2]. «Народ встретил возлюбленного монарха с необыкновенной радостью и восторгом,— сообщал другой корреспондент «Северной пчелы».— Мы были свидетелями, как многие срывали с себя одежду и бросали под ноги государю; как некоторые становились на колени, смотрели на государя и крестились, называя его ангелом небесным. От криков „ура“ дрожал, так сказать, воздух» [3].



ОТКРЫТИЕ В НОВГОРОДЕ ПАМЯТНИКА В ЧЕСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ РОССИИ

Литография С. Рыбинского, 1862 г.

Литературный музей, Москва

Слепцов же лишь констатирует факты: «Государь сошел с парохода, сел в коляску и поехал в Кремль». «После парада государь вместе с государыней и членами царской фамилии отправился в архиерейский дом...»

Лицо автора скрыто под маской сухого регистратора событий, но иронический тон статьи, прием умолчания, ловкое сопоставление торжественного со смешным наталкивали самого читателя на выводы. «Герой дня» Лев Камбек, «надувающий» волховских мужиков, которые принимают его пароход за царский, и настоящий приезд Александра II, народ, который сдерживают войсками, и пышная процессия, шествующая по разостланному сукну вокруг памятника, являются достаточно яркими контрастами.

В дни праздника либеральная печать с особой назойливостью повторяла, что Россия благодаря «великой реформе» добилась необычайных успехов и шагнула дальше, чем за предыдущую тысячу лет. «В древнем Новгороде все ново!» — восхищались они. Слепцов же мимоходом упоминает «старый Кремль, искусно реставрированный неизвестно зачем» и, как символ пресловутого прогресса, изображает промокшую, отказавшуюся гореть иллюминацию. В целях полемики с либералами Слепцов вводит в статью и мнимо сочувственное описание «геройства» Льва Камбека.

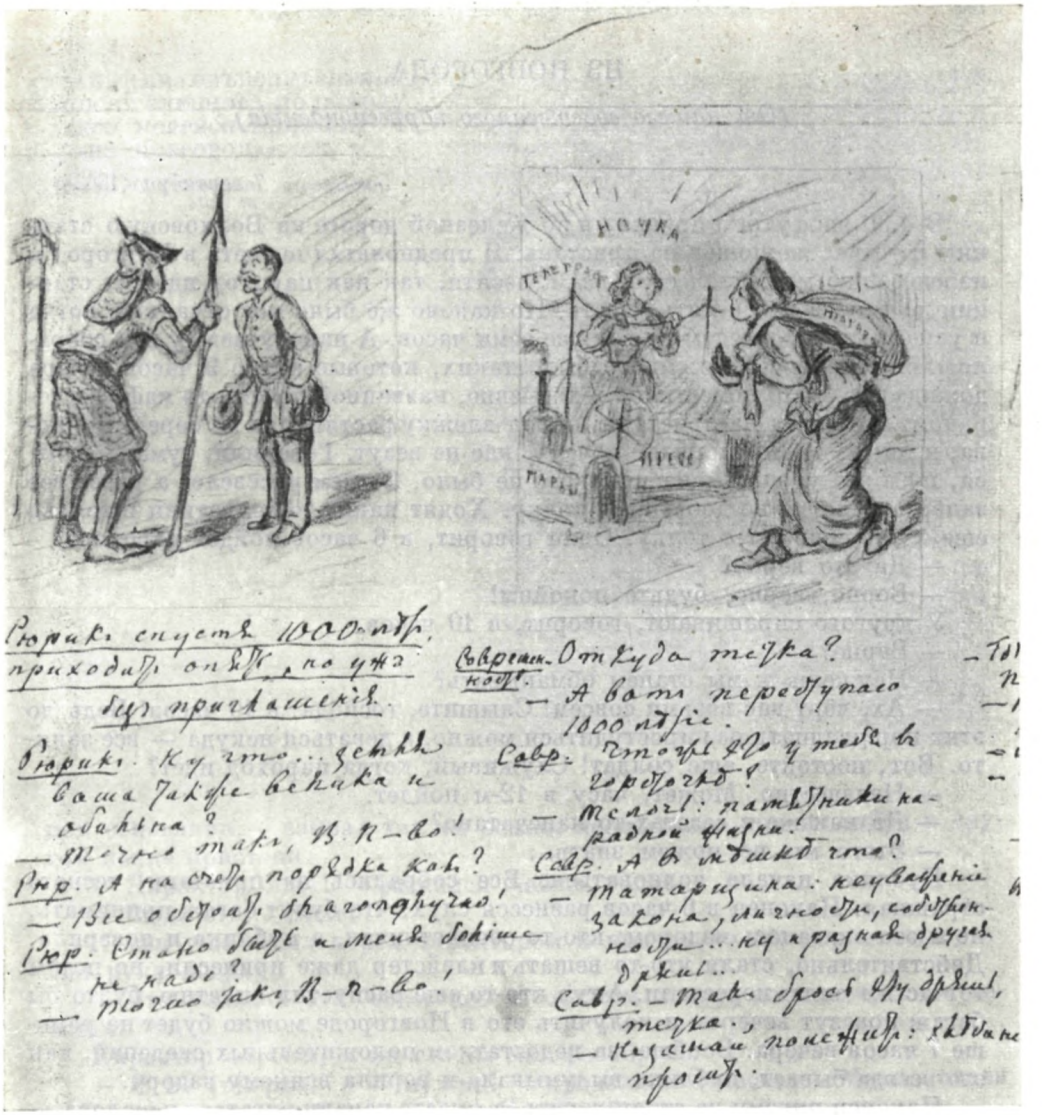
Лев Логгинович Камбек — известный либеральный публицист, издававший в 1861—1862 гг. журнал «Петербургский вестник», приобрел в эти годы скандальную известность, выпустив приложение к журналу, которое русские литераторы метко окрестили «Ерундой». Сатирические выпады в демократической печати против этого пошлого и безграмотного журнала были очень многочисленны. Не случайно «Свисток», «торжественно» перечисляя в связи с тысячелетием «выдающиеся» достижения на пути прогресса, на одно из первых мест ставит открытие Львом Камбеком специального отдела для ерунды [4]. Василий Курочкин в «Искре» издевательски называет Льва Камбека «львом сезона» [5] и часто высмеивает его в своих стихотворениях («Да будет омрачен позором...», «Гласность 1859 года и гласность 1862 года», «Куда ты, бедняжка, попал?..», «Благоразумная точка зрения» и т. д.).

Политические воззрения Льва Камбека были по сути своей глубоко реакционны. Ему принадлежит статья «Ответ русского на французскую брошюру „Император, Польша и Европа“», в которой проводилась мысль, что император Александр II «пожелал честно послужить Польше» и решил «упрочить счастье поляков на прочных и твердых основаниях, увеличить их нравственное и вещественное благосостояние» [6]. Однако в начале 1860-х годов Камбек заигрывал с демократическим лагерем и разглагольствовал о том, что «надо слиться с народом». «Я простой русский человек и люблю говорить правду»,— так представился он Н. А. Лейкину [7]. Внешне Камбек тоже старался произвести впечатление «простого русского человека». Вот как описывает его портрет А. Ф. Иванов: «Он одевается по-русски, как простой крестьянин, и носит коломенскую шляпу гречневиком». То же самое сообщает и Лейкин: «Это был средних лет брюнет в красной кумачевой рубахе, в широких шароварах и в высоких сапогах, длинноволосый, бородатый» [8]. Должно быть, поэтому Слепцов в своей корреспонденции приводит такие слова Льва Камбека: «Я не генерал, я — мужик! Меня, слава тебе господи, знает Россия».

Статья Слепцова резко выделялась среди других отчетов печати о новгородском празднике. Уже само намерение автора дать *сатирическое* изображение торжества, в котором участвовал государь и члены царской фамилии, показалось властям кощунством.

В официальных кругах корреспонденцию сочли «крайне неприличной» и потребовали формально призвать Слепцова к ответу. Письмо-объяснение Слепцова, предназначавшееся для Цензурного комитета, является в высшей степени любопытным документом. Это, своего рода, ключ к пониманию идейно-политического замысла статьи. Оказывается, что писатель, по его собственным словам, *умышленно* усилил комический эффект в описании праздника, *умышленно* выделил смешную сторону дела. Несколько раз Слепцов подчеркивает, что рассказ его «носит на себе чисто юмористический характер», так как он «относился к изображаемому им событию как юморист».

Эти факты, о которых мы узнаём лишь сейчас, придают дополнительный интерес забытой корреспонденции Слепцова — яркой странице в его литературном наследии.



ЗАПРЕЩЕННЫЕ КАРИКАТУРЫ. САТИРИЧЕСКИЕ ОТКЛИКИ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ РОССИИ

Подпись слева:

Рюрик спустя 1000 лет приходит опять но уже без приглашения.
Рюрик. Ну что... земля ваша так же велика и обильна?
— Точно так, в⟨аше⟩ п⟨ревосходительст⟩во!
Рюрик. А насчет порядка как?
— Все обстоит благополучно!
Рюрик. Стало быть и меня больше не надо?
— Точно так, в⟨аше⟩ П⟨ревосходительст⟩во!

Подпись справа:

Современность. Откуда, тетка?
— А вот переступаю 1000-летие.
Современность. Что же это у тебя в горсточке?
— Мелочь: памятники народной жизни.
Современность. А в мешке что?
— Татарщина: неуважение закона, личности, собственности... ну и разная другая дрянь...
Современность. Так брось эту дрянь, тетка.
— Не замай, полежит: хлеба не просит.

Рисунок Н. А. Степанова. Предназначался для журнала «Искра» 1862 г.

Русский музей, Ленинград

ИЗ НОВГОРОДА

(От нашего собственного корреспондента)

7 сентября <1862 г.>

В 4,30 часа утром приехал я по железной дороге на Волховскую станцию и тотчас же пошел на пристань. Я предполагал поспеть в Новгород к перенесению мощей, т. е. часам к десяти, так как пароход идет от станции до города часов пять, шесть. Но каково же было мое отчаяние, когда я узнал, что мы выедем не раньше семи часов. А народу между тем собралось видимо-невидимо: много было таких, которые еще с 9 часов вечера дожидались. Кто поместился в харчевне, названной почему-то кафе-рестораном; кто сидел на пристани; народ влежку растянулся по берегу Волхова, и никто не мог понять, почему нас не везут. Говорили, тумана боятся, но в это утро тумана никакого не было. Совсем рассвело, а касса все заперта и нигде не добьешься толку. Ходят какие-то солдатики и только еще хуже сбивают с толку. Один говорит, в 6 часов пойдет пароход.

— Да это верно?

— Верно, верно, будьте покойны!

У другого спрашивают, говорит, в 10 часов.

— Верно?

— Неужели ж мы станем обманывать?

— Ах, чёрт вас возьми совсем! Слышите, господа: в 10 часов! Ведь до этих пор двадцать раз простудиться можно, а деваться некуда — все занято. Вот, постойте, еще солдат! Служивый, когда пароход идет?

— Неизвестно. Может, часу в 12-м пойдет.

— Да как же в газетах-то напечатано?

— Этого мы не можем знать...

Публика начала волноваться. Все собрались на пристани, теснота страшная. Наконец в 6 часов разнесся слух, что будут багаж принимать, но и это оказалось вздором; кто-то сосплетничал, а публика и поверила. Действительно, стали что-то вешать и клейстер даже принесли, но потом тотчас же опять перестали. А тут кто-то еще распустил сплетню, будто бы багаж повезут вечером и получить его в Новгороде можно будет не раньше 7 часов вечера. Вообще, за недостатком положительных сведений, как это всегда бывает, публика выдумывала и верила всякому вздору.

Наконец ничему не стали верить, а просто начали ругаться и жаловаться на судьбу. Больше всех бегал, хлопотал и приходил в негодование какой-то *немец* в красной рубашке, кучерской поддевке и черных гражданских панталонах, засунутых в старые спальные сапоги. Немец яростно продирался сквозь толпу, махал по воздуху руками, поднимал вверх угрожающий перст и кричал изо всех сил: «Это ни на что не похоже! Так пользоваться нашим доверием! Это ужасно! Это бесчестно!» Он останавливался перед каким-нибудь совершенно незнакомым человеком, брал его одной рукой за пуговицу, а другой, потрясая в воздухе, восклицал: «Мы будем жаловаться, мы будем протестовать! Надо поспешить заявить об этом через газеты... Я не согласен! Нет, я не согласен! Помилуйте, что это такое!!!» Публика начала сердиться, неудовольствие возрастало; давка и теснота между тем увеличивались.

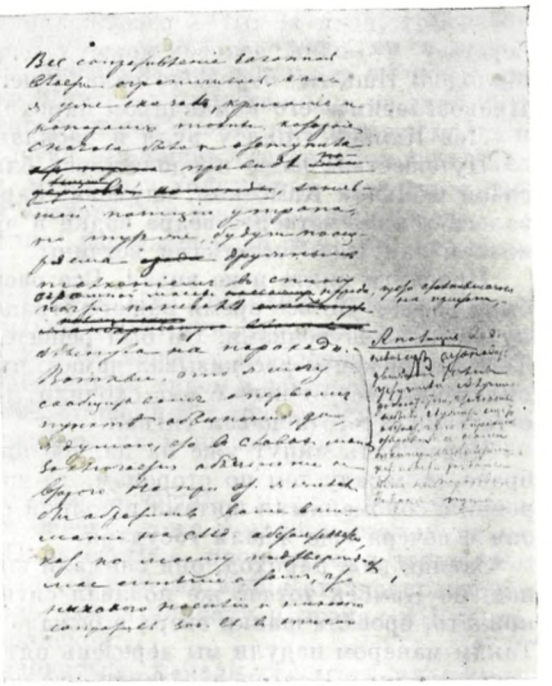
Немец не унывал.

— Господа! — взывал он к публике, становясь в театральную позу и снимая шляпу.— Господа! Мы будем требовать директора.

— Директора! Директора! — заревела толпа.

Директор не являлся.

— Он спит; пойдемте его будить! Кассу приступом брать! Мы просим. мы требуем, чтобы начальство пароходного общества поступало на закон-



СТРАНИЦА ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ СЛЕПЦОВА ПО ПОВОДУ ЕГО КОРРЕСПОНДЕНЦИИ «ИЗ НОВГОРОДА», 1862 г.

Архив Октябрьской революции, Москва

ном основании,— взывал тот же немец, неожиданно появившийся в другом конце пристани.

— Директор идет! — раздался чей-то голос.

— Сюда его!.. Браво!

Немец уже стоял перед директором и кричал во все горло, вздергивая руки кверху:

— Это ужасно! Это бесчестно! Я об этом завтра же напечатаю в газетах.

Директор спросонья ничего не мог разобрать.

— Я не генерал, я — мужик! — продолжал немец. — Меня, слава тебе господи, знает Россия. Я — *Лев Камбек*!..

— Молодец! Молодец! — кричала толпа, которой почему-то понравилась такая протестация.

— Господа, позвольте! — уговаривал директор,— мы всё это...

— Ничего не хотим слушать! Кассу отпереть! — требовали пассажиры.

— К чему нам билеты! Господа, на пароход! За мной!..

Лев Камбек бросился к трапу и с отвагой, свойственной пылкому юноше-поручику, идущему на приступ, кинулся на пароход. Неизвестно откуда взявшиеся жандармы стали защищать палубу; но толпа, воодушевленная своим предводителем, ломилась вперед. Тут же отперли кассу, но билетов никто не хотел брать; пассажиры, поощряемые задними рядами, сделали еще один натиск и с громкими криками победы взяли приступом пароход. Полиция попыталась было еще раз удержать за собою позицию и дать отпор; но, к стыду своему, должна была уступить вновь подоспевшему натиску толпы. Поднялся визг, давка. Сняли трап, но и этим не могли остановить общего движения. Пассажиры стали прыгать прямо с пристани, бросали вещи на палубу и ничего слушать не хотели.

— Подай свисток! — скомандовал предводитель атаки — Лев Камбек, и пароход, с такой отвагой отбитый у общества, тронулся в путь.

— Вот, поди ж ты! — рассуждали пассажиры, когда мы отошли от берега,— что один человек может сделать! Ведь сидели бы мы и теперь. Молодец! Ишь ты, борода-то какая у него. Ай да Камбек! Браво Камбек! Провозгласимте его командиром парохода. Ура!..

Лев Камбек стоял у руля и раскланивался публике.

Путешествие наше продолжалось благополучно. Публика, довольная собой и Львом Камбеком, шумела, пароход подвигался. В буфете оказалось только четверть ведра водки и чай; все это очень скоро было выпито и закушено остатками ветчины.

Прислуги никто и не видал. Все распоряжались сами; одним словом, было весело. Во все время нашего странствия Лев Камбек утешал публику разными шуточками. Он был решительно неутомим и поспевал везде. То в одном конце рассказывал дамам, что в 1855 году, когда он служил в ополчении, все от него с ума сходили; то кричал на рулевого и вдруг ни с того ни с сего подавал сигнал.

Через пять минут уже на палубе пили здоровье Камбека и кричали браво. А между тем по сторонам, то вправо, то влево показывались деревни с соломенными щитами и толпой разряженных крестьян на берегу: они с вечера еще ждали государя.

Завидя наш пароход, они снимали шапки и в недоумении смотрели на нас, но Камбек тотчас же подавал сигнал, и вдруг вся толпа начинала кричать, бросала шапки вверх и бежала по берегу с громким криком ура. Таким манером надули мы деревень пять или шесть. Наконец часов в 12 приехали мы в Новгород. Издали еще показались на мосту, соединяющем две части города, разноцветные знамена; вправо старый Кремль, искусно реставрированный неизвестно зачем. На берегу и на мосту толпы народа; везде необыкновенное движение и чистота. На пристани встретила нас петербургская полиция. На улице экипажей и гвардии множество. Народ кучами примостился на берегу и у кремлевской стены; на каждом шагу предлагают квартиры, но, благодаря благоразумному распоряжению городского начальства, цены умеренные: от 10-ти до 2-х рублей в сутки. В гостинице, говорят, и по 25 рублей берут. Я нашел себе комнату в 2 рубля с прислугой и самоваром. Переоденусь и сейчас же иду осматривать город. Сегодня вечером ждут государя и еще некоторых членов царской фамилии. В следующем письме напишу о том, что увижу в этот вечер.

7-го сентября

Тотчас же по приезде в Новгород, я пошел посмотреть приготовления к празднику. На улицах движение, экипажи, гвардия на каждом шагу. Приезжие ищут квартиры; на домах сооружают щиты, утверждаются флаги; в залах для стрижки волос мировые посредники и другие мирные граждане пробривают себе на подбородке пятаки; народ смотрит на все это и удивляется. Зашел я в гостиницу «Москва», где застал огромное общество петербургских офицеров; все торопились куда-то, ели на скорую руку, охорашивались перед зеркалом и спешили уйти. И я тоже поспешил, тем более, что обед был довольно плох, и к вечеру ожидали государя. С моста Кремль, даже и подчищенный, очень некрасив со своими неуклюжими главами и одиноко торчащей башней в стороне. Влево с моста стелятся плоские берега Волхова, кое-где поросшие лесом; направо пристань, барки; дальше идут дома, флаги; барабанный бой резко разносится по воде. Вокруг Кремля весь берег устлан народом; у царской пристани, обтянутой красным сукном, собирается войско, главные ворота в крепость обставлены полицией. Памятник, покрытый чехлом, показался на площади, насупротив присутственных мест. От собора к памятнику устраивают деревянный помост. Я продрался сквозь толпу и спустился по

берегу почти к самой воде. Тут лежал и сидел разного свойства, из разных мест собравшийся люд, с загорелыми лицами, в протертых лаптях, с мешками и котомками за спиной. Многие из них жили тут на берегу уже целую неделю, ожидая праздника и питаясь принесенными из дому сухарями. Народ разместился по косогору и под мостом кучами; все молчали. У одной кучки ораторствовал слегка выпивший отставной солдат. Дело шло о тысячелетии. Слушатели, мужики в холстинных зипунах и бабы с котомками, молча смотрели на оратора. Он говорил в таком роде:

— Вы — мужики, и следственно, рассуждать об этом вам никак невозможно. Что вы понимаете?

У кремлевских ворот толпятся люди всех сословий, причем слышатся возгласы, неизбежные при большом стечении народа. Через мост на извозчиках не пускают. Дворяне, купцы, мещане, городские головы, старшины и проч., в мундирах, с озабоченным видом и вспотевшими лицами, пробираются к пристани. Сельские старшины и головы выстроены у ворот. Петербургский городовой равняет их в шеренгу и велит поправлять вихры.

— Да ты бороду-то, мочалку-то свою расчеши! — муштрует он старшин.

Наконец на противоположном берегу, тоже усеянном зрителями, замечается волнение. «Царь едет! Царь едет!» — проносится в толпе. Вот показался пароход, музыка заиграла, и в то же время стал накрапывать дождь. Государь сошел с парохода, сел в коляску и поехал в Кремль. «Ура!»— И толпа кинулась за коляской.

Вечером, только что стало смеркаться, начали зажигать иллюминацию. Две главные улицы, мост, кремлевские ворота, архиерейский дом, в котором остановился государь, и присутственные места осветились. В разных местах горели щиты. Один виноторговец изобразил над дверьми своей лавки русского мужика, очень похожего, впрочем, на пуделя, стоящего на балконе в цветах и держащего ленту, на которой написано: *Радуйтесь 1000-летию России*! Сам виноторговец-немец сильно хлопотал над щитом, лазил на стену, кричал, сердился, выпачкался весь салом и скипидаром, и все-таки щит не удался, потому что пошел дождь и вся иллюминация раскисла и расклеилась. Купцы и прочие обыватели устраивали гирлянды из дубовых листьев и божьего дерева. Почтамт, гимназия и дворянское собрание тоже приготовили освещение, но и им не посчастливилось. Плошки гасли, промокший народ бродил по улицам, экипажи носились из конца в конец. Часам к 12 ночи все затихло: проехал петербургский патруль; по ту сторону реки еще светился огонек на кремлевской стене, наконец и он погас.

8 сентября

Утро 8 сентября в Новгороде было отличное: небо ясное, погода теплая, хотя и ветрено. Еще задолго до обедни стали собираться в Кремль, где были устроены по обе стороны памятника места для зрителей в виде амфитеатра. На мост пускали не иначе, как по билетам, так что весь берег Софийской стороны города был пуст. Но только что отошла обедня и процессия с хоругвями и духовенством тронулась из собора, как народ бросился к воротам и ворвался в Кремль. Впрочем, его успели вовремя остановить, так что все-таки на площади перед памятником публики было немного. Митрополит в сопровождении духовенства, государь, государыня, члены царской фамилии и весь генералитет прошли по разостланному сукну вокруг памятника, и началось молебствие с многолетием и пушечной пальбой; после чего был произведен парад войскам, присланным по случаю открытия памятника из Петербурга. Войска выходили в главные ворота и, обогнув крепость, возвращались к дому дворянского собрания, где новгородским купечеством был приготовлен для солдат обед, а для офицеров закуска в роскошно убранной палатке.

После парада государь вместе с государыней и членами царской фамилии отправился в архиерейский дом, а после этого тотчас же началось угощение войска. Купечество распорядилось обедом не совсем ловко: солдаты вдруг накинулись на столы и кто пришел первый, тому и досталось больше других. Приходившим после ничего не пришлось получить. Несколько баранов с вызолоченными рогами, пироги и водка исчезли мгновенно.

Вечером иллюминация была в полном блеске.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СЛЕПЦОВА ПО ПОВОДУ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ «ИЗ НОВГОРОДА»

Через несколько дней после появления в «Северной пчеле» корреспонденции «Из Новгорода» министр внутренних дел Валуев обратил внимание на нее министра народного просвещения Головнина, а последний — председателя С.-Петербургского цензурного комитета Цеэ, который, в свою очередь, объявил редактору «Северной пчелы», что автор «крайне неприличной» корреспонденции — Слепцов — «подлежит за нее законной ответственности» [9].

В бумагах писателя, отобранных у него при аресте в апреле 1866 г., среди других рукописей, имеется черновик затребованного у него властями объяснения.

Приводим текст этого документа:

Прежде нежели сообщить вам требуемые от меня сведения, я считаю необходимым заметить, что так как статья моя, о которой идет речь, относится к литературным произведениям, то я не беру на себя ответственности за точное и буквальное подтверждение изображенного в ней события.

Произведение это, кроме того, явным образом носит на себе чисто юмористический характер, как, вероятно, вы сами заметили, и потому еще менее обязывает меня подтверждать юридически описанное происшествие.

Никто до сих пор не относил юмористических рассказов к категории судебных доказательств, да и в русском законодательстве, сколько я знаю, ничего подобного не замечается, а потому я не вижу причины — почему бы мой рассказ мог быть рассматриваем с этой новой точки зрения и почему суждено ему играть такую небывалую роль в истории русской литературы. Основываясь на независимости литературного произведения, сверх того еще одобренного цензурою, я считаю себя в праве не давать отчета даже в преувеличениях и искажениях, если бы таковые и были найдены в моем рассказе.

Я относился к изображаемому мною событию как юморист, я описывал не юридический факт, а только ряд *более* или *менее* правдоподобных сцен, имевших основанием действительность.

А на действительность я мог смотреть, как мне угодно: с научно-философской или с нравственно-юмористической стороны — это мое дело. Рассматривая его с одной стороны — я мог видеть одно; с другой — другое. Относиться же к факту с полицейской точки зрения я никогда не думал, и потому рассматривать рассказ мой как извещение о совершенном преступлении было бы ни с чем не сообразно. Если же эти юмористические сцены, против всякого с моей стороны желания, подали повод к судебному исследованию, то и в этом случае я как извещатель по закону доказать извещение не обязан.

Обращаюсь затем к выводимым из моей статьи обвинениям, а именно:
1 —
2 —
3 —

Я, уже как частное лицо и как очевидец, могу вам сообщить, что ни одного из упоминаемых преступлений в известном вам случае совершено не было, да, сколько я мог видеть, и совершиться не могло.

Я разберу здесь каждый пункт обвинения отдельно.

Прежде всего, говоря о насилии, как вы выражаетесь, к пароходу, я нахожу, что даже самое слово *насилие* тут решительно не уместно, да я его ни разу и не употреблял в моем рассказе, и потому решительно не знаю, о каком насилии идет речь. Если оно и было, то со стороны дирекции пароходного общества, которое выказало в этом случае произвольное и, следовательно, насильственное распоряжение поступками пассажиров, которые, в свою очередь, не только *не сопротивлялись законной власти*, как вы говорите, но, напротив, в продолжении девяти часов сряду беспрекословно зябли и позволяли вовсе не имеющей никакой власти пароходной дирекции располагать собой самым незаконным образом. И когда, наконец, мера человеческого терпения переполнилась и пассажиры возроптали, то и тут протестация их ограничилась только молебными стонами и мольбой о пощаде. Во все это время дирекция почивала безмятежным сном невинности и была пробуждена только тогда, когда привыкшие ко всякой невнимательности пассажиры потеряли уже всякую надежду на то, что дирекция наконец смилуется и даст пароход.

Но даже и тут, когда наконец явился вожделенный директор — лейтенант Племянников, даже и тут возмутившаяся против законной власти толпа позволила себе только покричать. Но, сколько я знаю, кричать в законе не запрещается, особенно в том случае, когда частное лицо частному же лицу наносит физический или нравственный вред. Известный же вам г-н Лев Камбек в этом случае только орудие толпы и выражение всеобщего негодования против незаконной власти пароходной дирекции. Понятно, что если бы он выражал только свои личные чувства и желания, не соответствующие чувствам и желаниям всей толпы, то протест его встретил бы непременно со стороны остальных пассажиров сопротивление, и дело никогда не могло бы кончиться так, как оно кончилось тогда.

Публика, может быть, посмеялась бы только, но на пароход бы не пошла, особенно если бы со стороны дирекции видно было желание удовлетворить законным требованиям пассажиров.

Но в том-то и дело, что дирекция сама очень хорошо понимала, что главная причина скандала — она сама и что дело поправить уже поздно, потому-то она и послала за жандармами, потому-то она и старалась замять дело и замазать его клейстером и обещаниями в роде того, что: позвольте, господа! Мы всё это... одним словом, дирекция, будучи сама кругом виновата и выказав возмутительнейшее презрение к публике, вдруг струсила и схватилась за последнее средство, за полицию, для того, чтобы придраться к неизбежному в подобных случаях столкновению толпы с полициею и всю вину свою сложить на толпу.

Такое действие дирекции тем более недобросовестно, что она укрылась под защиту полиции тогда уже, когда публика была доведена ею же (дирекциею) до крайней степени негодования, когда все пассажиры убедились окончательно, что на дирекцию надеяться нечего, что остается одно средство: или идти пешком, или самим сесть на пароход и велеть себя везти в Новгород. Само собою разумеется, что публика избрала последнее, тем более, что она чувствовала себя глубоко оскорбленной и униженной, и что 3—4 жандарма удержать напор толпы в 300 человек никак не могли.

Доказательством, что буйства и никакого насилия со стороны пассажиров и быть не могло, служит еще то обстоятельство, что в числе пассажиров, приехавших на пароходе «Волхов» в Новгород, было два генерала, духовные лица, как-то: священники и монахини и, кроме того, много дам и детей, которые, разумеется, не могли бы попасть на пароход, если бы насилие, как вы говорите, выражалось чересчур энергично и сопровождалось физическими приемами*.

Все сопротивление законной власти ограничилось, как я уже сказал, криком и напором толпы, которая сначала было и отступила при виде полиции**, занявшей позицию у трапа, но тут же, будучи поощряема дружным толканием в спину огромной массы народа, густо столпившегося на пристани, почти поневоле [оттолкнула полицейских] и хлынула на пароход.

А полиция, видя невозможность остановить движение толпы, уступила. А лучшим доказательством того, что насилия не было, служит еще то обстоятельство, что дирекция отправила с нами шкипера с билетами, которые и были розданы уже на пароходе во время пути.

Вот все, что я могу сообщить вам о первом пункте обвинения, да, я думаю, что в словах моих заключается объяснение и второго. Но при этом я желал бы обратить ваше внимание на следующее обстоятельство, которое по-моему подтверждает мое мнение о том, что никакого насилия и никакого сопротивления законной власти в описанном мною случае не было.

Со времени напечатания моего рассказа прошло уже четыре месяца и до сих пор, сколько мне известно, не было прислано в редакцию того издания, в котором он был напечатан, ни одного протеста ни со стороны законной власти, которая очевидно не считает себя в этом деле оскорбленной, ни со стороны пассажиров, ехавших со мной на пароходе «Волхов», которые тоже, как видно, не нашли в моем рассказе ничего несправедливого и, главное, наконец, со стороны дирекции пароходного общества, которая, с вашей точки зрения, должна бы считать себя оскорбленной и требовать удовлетворения за самовольное распоряжение его собственностью.

[Было, это правда, прислано в редакцию «Северной пчелы» вскоре после этого события письмо станового пристава 1 ст., в котором автор утверждал, что все написанное мною в 243 № «Северной пчелы» совершенный вздор, что ничего подобного и не было, что я все это выдумал и что если бы даже и было такое происшествие, то он как лицо официальное должен был бы все это знать лучше меня. Но через несколько дней тот же пристав прислал в ту же редакцию другое письмо, в котором убедительнейше просил первого письма не печатать.]

Что же касается последнего и главного пункта вашего обвинения, то я должен признаться, что он мне кажется до такой степени ни из чего не вытекающим и что самый факт представляется мне до такой степени невероятным, что я решительно теряюсь в догадках: какими соображениями можно было руководствоваться при выводе такого заключения из моего рассказа. Не говоря уже о невозможности самого факта, не говоря, наконец, о невозможности оглашения его посредством печати, при существующих цензурных правилах, я не могу себе представить даже, чтобы я мог хотя нечаянно сказать что-нибудь подобное, тем более в такой легкой юмористической форме, которой отличается весь рассказ. Тем более, что, обвиняя других, я должен бы таким образом обвинить и самого себя, потому что и я ехал на том же пароходе.

---

* *Первоначально*: крутыми мерами.

** *Первоначально*: *а*) жандармов; *б*) команды

Я знаю, что из литературного произведения каждый может выводить умозаключения, какие кому угодно, и я как автор известного рассказа защищать его не могу, но в то же время я не могу допустить даже мысли, чтобы из моего рассказа можно было вывести целое преступление, которого я даже себе и представить-то хорошенько не могу. [Как это кощунство — над верноподданническими чувствами? Я, право, понять не могу, о чем это говорится. Да и кто же это мог сделать в присутствии толпы пассажиров?]



ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА НА ВЫСШУЮ ПОРЕФОРМЕННУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ

«Ну, брат Петинька, быть тебе важным человеком»

Рисунок неизвестного художника. Предназначался для журнала «Заноза», 1862—1863 гг.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

Я как пассажир, как очевидец случившегося происшествия утверждаю, что кощунство, о котором вы упоминаете, существует только в воображении, что ничего подобного не было и быть не могло; и что если бы я мог только убедиться, что в рассказе моем о путешествии нашем по Волхову заключается именно тот смысл, о котором вы говорите, то я сию же минуту отказался бы от авторского права на это произведение и должен бы был признаться, что если оно и написано мною, то не иначе, как в припадке умопомешательства или в пьяном виде, и что цензор, редактор и корректор «Северной пчелы», печатая этот рассказ, были тоже не в своем уме.

Если некоторые неточные выражения в моем рассказе подали кому-либо повод вывести такого рода заключения, то эта же самая неточность представляет вам возможность сделать и другие, совершенно противоположные заключения. Почему вы хотите видеть в этих выражениях только тот смысл, который вы им придали совершенно произвольно? Почему вы находите,

что веселое расположение духа, овладевшее всеми пассажирами по отъезде из пристани, имело такой преступный характер? Ведь я этого не говорил. И почему же приветствие пассажиров и свисток может быть кощунством над верноподданническими чувствами прибрежных жителей к своему монарху?

Если вы слову *сигнал* придаете какой-то особенный смысл, то, согласитесь, я с своей стороны такого смысла ему не придаю, да и никогда не придавал. Я просто хотел сказать, что Лев Камбек подавал свисток, как это обыкновенно делается при проезде мимо пристани или деревни, а почему крестьяне кричали ура и бросали шапки, я не знаю. Я даже наверное не могу сказать, что они кричали: ура или просто а-а-а! Пассажиры на эти крики тоже отвечали криком и поклонами.

Я не думаю, чтобы крики приветствия можно было назвать кощунством. Принять нас за государя крестьяне не могли, потому что могли видеть нас так же ясно, как и мы их; да никто и не думал вводить их в заблуждение, и если уж необходимо называть каким-нибудь именем эти выходки слегка подгулявших пассажиров, то по-моему вернее всего было бы назвать их не кощунством, а школьничеством. Это определение тем более верно, что вся эта толпа была воодушевлена одним общим веселым расположением духа, которое овладело пассажирами, как только сели на пароход, и чувство это очень естественно выразилось разными комическими сценами, не заключавшими в себе ровно ничего серьезного. Потому-то и пили шутя здоровье Камбека, потому-то, тоже шутя, провозглашали его командиром, шутя подавали сигнал, шутя кричали, пили и пели и занимались безобидными в высокой степени невинными разговорами и, наконец, шутя описал я все это происшествие и никогда в помыслах не имел придавать ему серьезное значение.

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 182, лл. 21—30.

Это «объяснение» Слепцова следует датировать началом или серединой января 1863 г. «Со времени напечатания моего рассказа ⟨10 сентября 1862 г.⟩ прошло уже четыре месяца...»,— указывает Слепцов. По-видимому, его призвали к ответственности с запозданием, так как ранее он был вне Петербурга. В письме к М. А. Маркович от 23 февраля ⟨1863 г.⟩ читаем: «Не отвечал так долго на вашу записку ⟨...⟩ потому, что я получил ее только две недели тому назад по возвращении моем в Петербург из Новгорода» [10].

Насколько можно судить по опубликованному нами черновику «объяснения» Слепцова (других материалов в нашем распоряжении нет), от него потребовали «юридического» подтверждения достоверности фактов, описанных им в корреспонденции. Он должен был привести доказательства в том, что во время новгородских торжеств действительно имели место: 1) «насилие», учиненное толпой над частной собственностью — пароходом; 2) «сопротивление законной власти» — полиции; 3) «кощунство над верноподданническими чувствами ⟨...⟩ к своему монарху». Предполагалось, что непредставление требуемых «доказательств» дает основание квалифицировать корреспонденцию Слепцова как клевету в печати и позволит привлечь автора к судебной ответственности. Слепцов, однако, нашел способ действительной защиты. Он решительно отводит «преступный» характер описанных им событий. И толпу, и «предводителя» ее — Льва Камбека, и себя он представляет в объяснительной записке мирными и благонамеренными людьми. Всю вину за происшедшие беспорядки он возлагает на пароходную дирекцию, хотя из корреспонденции его очевидно, что имело место и самовольное овладение пароходом и сопротивление толпы жандармам. Особенно настойчиво опровергает писатель «кощунство над верноподданническими чувствами». В зачеркнутом варианте соответствующего места в записке это звучит как выражение благородного негодования человека, который не способен даже подозревать нечто подобное: «Как это кощунство — над верноподданническими чувствами? Я, право, понять не могу, о чем

это говорится». Впадая в тон своих обвинителей, Слепцов заверяет, что он «отказался бы от авторского права на это произведение», если бы поверил, что в его рассказе действительно есть приписанный ему одиозный смысл. Он упрекает представителей власти в предубежденном чтении его будто бы «чисто юмористического» рассказа о безобидном происшествии. При этом дважды весьма дипломатически Слепцов ссылается на цензуру, пропустившую в печать его произведение, которое он упорно называет при этом не статьей, не корреспонденцией, а «рассказом». Отметим, что история, описанная Слепцовым в «Северной пчеле», вызвавшая неодобрение в официальных кругах, заинтересовала «Искру». В нескольких номерах журнала, в прозе, в стихах, в публицистических статьях то излагается содержание заметки Слепцова, то цитируется значительная ее часть, то говорится по поводу самого происшествия и ее центрального героя — Льва Камбека. «Искра» обличает запоздалые действия полиции, неуважительное отношение пароходного начальства к пассажирам: «Удивительная беспечность, возможная едва ли только не у нас, в России... Тысячи народа на месте в продолжение полсуток не могут получить сведений, почему их не везут!.. Не делают сначала того, что требует прямая обязанность, доведут публику до раздражения, отнимут всякое терпение,— а потом сами же сейчас и к полиции: посмотрите, дескать, какой беспорядок! О Rus! О Русь!» [11].

Сосредоточивая в дни празднования тысячелетия России внимание на «бытовом» событии, «Искра», как и Слепцов, снижала торжественность юбилея. Снижала она и роль «спасителя» Льва Камбека. Имя «героя» пароходной истории «Искра» сделала на некоторое время нарицательным именем современного «героя», борющегося со всякого рода злоупотреблениями в эпоху реформ, «гласности», «публичности»:

...К вагонам кинулся и первый из вагонов,
Как древле Лев Камбек, взял приступом Бурбонов...,[12]

а также стихи Д. Д. Минаева:

Иль вдруг падет, как на голову снег,
Неутомимый Лев Камбек [13].

Тот же Минаев посвятил ему в «Искре» целую «героическую поэму»: «Призвание Льва Камбека в Новгород в 1862 году». Вот две строчки из нее:

... Директора громко он кликал и звал он кассира к ответу:
— Я Ка́мбек, известный Лев Ка́мбек! Статью напишу я в газету! [14]

* * *

Почти в то же время, когда по поводу новгородской корреспонденции Слепцова шла официальная переписка между Валуевым, Головниным и Цеэ, становой пристав Белавин из г. Чудова счел необходимым оберечь местную полицию от упреков в небрежном отношении к общественным беспорядкам и отправил в редакцию «Северной пчелы» письмо, в котором решительно отрицал достоверность фактов, сообщенных корреспондентом «Из Новгорода». Но через несколько дней, очевидно, боясь огласки, или удостоверившись в правдивости сведений, опубликованных в «Северной пчеле», или, быть может, узнав о том, что автор будет привлечен к «законной ответственности», прислал, как свидетельствует Слепцов в своей объяснительной записке, другое письмо в редакцию с просьбой не печатать первого.

Оба эти документа сохранились в бумагах писателя (ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 176, лл. 1—2).

Приводим первый из них:

В редакцию газеты «Северная пчела»

⟨18 сентября 1862 г.⟩

В № 243 «Северной пчелы» нацечатано первое письмо корреспондента этой газеты из Новгорода, в котором он описывает путь свой туда перед празднованием тысячелетия России. С Волховской пристани начинаются приключения общества, среди которого ехал г-н корреспондент. Здесь это общество, раздраженное, по словам письма,

крайним невниманием дирекции пароходства к публике, неотправлением в назначенное время парохода, увлекаемое красноречием и предприимчивостью некоего Льва Камбека, берет пароход силою, овладевает им и, прогнав жандармов и полицию, отправляется в путь, по-видимому, не только вопреки воле и согласию дирекции пароходства, но даже и без участия ее.

Как житель здешней местности, без сомнения, слышавший бы о подобном происшествии, и как частный человек, я немало подивился обширности фантазии г-на корреспондента. Привыкши, впрочем, к подобным газетным статьям, время от времени появляющимся у нас, способным занимать читателя только до первого опровержения, я просто посмеялся бы только. Ведь корреспондентам необходимы приключения...

Но как представитель местной полиции и по поручению начальства, и по собственному сознанию важности времени с усиленным вниманием наблюдавший за порядком и спокойствием во вверенной мне местности, как лицо в этом отношении вполне ответственное, я, с совершенным ручательством за истину, считаю обязанностью огласить, что никакого беспорядка на Волховской станции 7 сентября, подобно описанному в № 243, не было. Ни публика, ни Лев Камбек во главе ее, парохода силою не брали, прямо с пристани никто на него не скакал, пароходы всегда отправлялись в назначенное время и под управлением лиц, от дирекции назначенных.

Был, правда, незначительный спор у этого самого Льва Камбека с кассиром, выдававшим билеты на пароход, о позднем получении в Москве публикаций о перемене поездов, спор, над которым смеялась публика; и только. Спор этот не имел ни малейшего признака того раздражения, до которого, по словам корреспондента, была доведена публика; некоторое участие публики в споре, скорее шуточное, чем серьезное, не только не имело характера насилия, но оно было так ничтожно, что ни жандармы, ни полиция не нашли достаточного повода вмешиваться в этот спор и не принимали в нем ни малейшего участия.

Откуда же вы все это взяли, г-н корреспондент? Такой крайний беспорядок в управлении пароходства, раздражение публики, дошедшее до явной борьбы с служащими при пароходстве и кончившееся насильственным завладением парохода, громкие и неистовые крики торжествующей толпы, прогнание жандармов и полиции и проч и проч.

Ведь всякие фантазии, особенно в корреспондентах такой уважаемой газеты, как «Северная пчела», должны иметь границы, а тем более в описаниях случаев, касающихся общественного порядка и спокойствия.

Становой пристав Белавин

18 сентября 1862. Чудово.

Письмо Чудовского пристава — один из тех документов, которые позволяют конкретнее воссоздать политическую обстановку, в которой приходилось работать Слепцову, и глубже понять формы борьбы писателя с властями и цензурой.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «С.-Петербургские ведомости», 1862, № 1, от 1 января.
[2] С. С. Татищев. Император Александр II, т. I. СПб., 1903, стр. 403.
[3] «Северная пчела», 1862, № 244, от 10 сентября.
[4] «Современник», 1862, № 1, стр. 20.
[5] В. С. Курочкин. Да будет омрачен позором.— «Поэты „Искры“», т. I Л., 1955, стр. 202.
[6] «Ответ русского на французскую брошюру „Император, Польша и Европа“ в перегоде Льва Камбека». СПб., 1863, стр. 23.
[7] «Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке». СПб., 1907, стр. 111—116.
[8] Там же, стр. 98—101.
[9] «Лит. наследство», т. 63, 1956, стр. 686—688.
[10] Письма Слепцова к М. А. Маркович.— ИРЛИ, ф. 9526, L. VI б. 45.
[11] «Хроника прогресса».— «Искра», 1862, № 36, от 21 сентября.
[12] В. Карповкин (В. С. Курочкин). Поездка в Петергоф.— «Искра», 1864, № 31, от 18 августа.
[13] Обличительный поэт (Д. Д. Минаев). Заседание клуба четвероногих.— «Искра» 1862, № 48, от 14 декабря.
[14] «Искра», 1862, № 38, от 5 октября.

О РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

Среди бумаг журнала «Современник», хранящихся в Институте русской литературы, нами обнаружены корректурные гранки статьи Слепцова о русской журналистике. Статья занимает 11 полос ($1^3/_8$ печатного листа). Правка на корректуре отсутствует. Возможно, что статья первоначально должна была завершаться словами: «никогда не представлялось ему столько случаев изворачиваться, осваиваться, прилаживаться и приноравливаться, как теперь». После этих слов, стоящих в конце десятой гранки, набор текста заканчивался, не доходя до конца полосы, и под ним чернилами написана фамилия автора: *В. А. Слепцов*. Одиннадцатая гранка начинается словами: «Но при виде этого зрелища каждый литературный работник...». В конце текста — набранная подпись автора: *В. Слепцов*.

Установить авторское название статьи трудно. Печатный текст заглавия не имеет, вместо него проведена черта. Пометы на корректуре называют ее то «О журналистике», то «О журналах». В. Е. Евгеньев-Максимов в своей монографии о «Современнике» приводит данные типографских счетов, согласно которым в февральской книжке журнала за 1864 год была запрещена цензурой статья «О русской журналистике» объемом в $1^3/_8$ печатного листа[1]. Судя по совпадению объема и близости названий,— это одно и то же произведение. Однако в фонде Петербургского цензурного комитета, хранящемся в Центральном государственном историческом архиве СССР в Ленинграде, не сохранилось никаких других документов, относящихся к истории этой статьи Возможно, что она была снята редакцией «Современника» по неофициальной договоренности с цензором.

Написанная в обычной для автора «Трудного времени» эзоповой манере, статья посвящена разработке основной для Слепцова в середине шестидесятых годов теме борьбы с реакцией. Вместе с тем статья представляет собою обзор развития общественного мнения в России от кануна революционной ситуации конца 50-х годов до ее краха в середине 60-х.

Писатель показывает современное ему состояние периодической печати как результат всего развития русской журналистики в тесной связи с историей общественной борьбы. В соответствии с этим замыслом статья композиционно делится на три части, посвященные рассмотрению: современной либеральной печати, истории журнального дела в России и развития общественного движения 60-х годов.

Обращаясь к теме пореформенной печати, Слепцов имел достаточно оснований утверждать, что 1864 год — «не журнальный год, а газетный». В период пробудившегося общественного самосознания интересы читающей публики переместились от художественной литературы к публицистике, отражающей практические задачи социально-экономической жизни. «Увеличение числа газет,— писал А. П. Щапов в газете «Очерки»,—свидетельство возросшего интереса общества к насущным интересам дня, победы литературы утилитарной над литературой искусства для искусства»[2]. С прекращением газетной монополии в течение 1861—1863 гг. в Петербурге и Москве было основано около двадцати новых газет, среди них радикальные «Очерки» Г. З. Елисеева, либеральные «Голос» А. А. Краевского и «Современное слово» Н. Г. Писаревского, славянофильский «День» И. С. Аксакова, «Современная летопись» М. Н. Каткова (приложение к «Русскому вестнику») и др.

Газетная полемика чрезвычайно обострилась и приобрела политический характер, особенно в 1862 г., кульминационном и вместе с тем переломном году в истории освободительного движения 60-х годов, когда были арестованы Чернышевский, Н. Серно-Соловьевич и другие деятели революционного лагеря.

На фоне этой политической обстановки уясняются слова в публикуемой статье, что в 1862 г. «мнительному человеку подписываться было страшно: того и гляди, в прикосновение к уголовному делу попадешь!»

В 1863 г. уже очевидными были резкий спад революционного движения и не менее резкое поправение общественных настроений среди либеральной интеллигенции. Отныне усилия революционно-демократической публицистики направлялись в первую

очередь на разоблачение реакции и всех поддерживающих ее сил, в том числе и тех органов печати, которые, по выражению Герцена, взяли на себя «полицейские обязанности в литературе». Таковы были «Московские ведомости» Каткова, именно с 1863 г. принявшие ярко выраженный реакционный характер. Материальному процветанию газеты содействовало закрепленное за нею властями «весьма шаткое преимущество»,— на что намекает Слепцов,— исключительное право печатания «казенных объявлений».

Рядом с «Московскими ведомостями» Слепцов ставит в своей критике крупнейшие органы либеральной печати — «С.-Петербургские ведомости» и «Голос». Он показывает, что при всем внешнем отличии этих газет друг от друга их позиции по основным вопросам современности, какими в начале 1864 г. оставались крестьянская реформа и польское восстание, были близки. Все газеты «служат одной цели», несмотря на «некоторое внешнее различие»,— констатирует Слепцов.

Дальше Слепцов заявляет, что никакие перемены редакций, происшедшие почти во всех основных газетах, не могут скрыть их истинной сущности, так как издатели их — «люди, всем нам коротко известные», которые «двадцать тысяч раз имели случай высказаться и высказывались». Действительно, образ мыслей некоторых либеральных издателей был настолько хорошо известен читающей публике, что фельетонист «Современного слова» еще до выхода новой газеты Краевского уже предвидел ее беспринципность: «И без гороскопа можно, кажется, сказать, что „Голос" будет петь на всевозможные голоса, чтобы не услыхать гласа трубного и вопиющих голосов подписчиков на „С.-Петербургские ведомости" 1862 года» [3].

Критика либерализма и созданной им «литературы благонамеренных усилий» заставляет писателя обратиться к истории ее возникновения, критически взглянуть на прошлое либеральной прессы, проследить ее путь от некоторой оппозиционности в недалеком прошлом к поддержке правительства и его реакционного курса в настоящем. В объяснение этого пути автор ссылается не только на политические силы реакции: «сама публика пала так низко,— констатирует он,— что и не нуждается даже в порядочной журналистике». Так в статье возникает тема «понижения тона» — тема общественной реакции.

Обзор журнальной деятельности в России Слепцов начинает с основания катковского «Русского вестника», т. е. с 1856 г., когда Александр II, выступая перед московским дворянством, сделал первое заявление о необходимости отменить крепостное право, чтобы избежать революции.

Вынужденный и вместе с тем крепостнический характер крестьянской реформы Слепцов разоблачает при помощи эзоповского переосмысления истории «бегства Магомета из Мекки в Медину». В «подвиге» этом,— иронически пишет он,— «выразилась, если не трусость, то во всяком случае уж очень явное эгоистическое побуждение». Слепцов стремится внести ясность в вопрос о подавленном состоянии передовых кругов русского общества середины 60-х годов. Основная причина этого настроения заключалась, по его мнению, в тех иллюзиях, с которыми были встречены в обществе заявления царского правительства о предстоящих реформах. Идеализации «либерального курса» Александра II писатель противопоставляет трезвую оценку реформ как «лжи и обмана». По словам Слепцова, это было понято поздно, «когда большая часть наших сил была уже истрачена на то, чтобы узнать — ложь это или нет». Освобождение крестьян проводилось руками «бежавших из Мекки» крепостного права «лжепророков», которые еще недавно «вещали о пользе плетей, о вреде просвещения». Подобные «бегуны»,— указывает Слепцов,— появились и в литературе. Говоря о «беглых пророках», которые «ловко воспользовались всеобщим остолбенением ⟨...⟩ и сейчас же стали извлекать из этого положения для себя пользу», Слепцов, нужно думать, имеет в виду прежде всего ту политическую эволюцию, которую проделали Катков и его «Русский вестник» в середине 50-х — начале 60-х годов. Демократическая газета «Очерки» так писала об этой эволюции: «Очень многие из тогдашних отъявленных прогрессистов ⟨...⟩ очутились даже назади того, что делало гораздо спокойнее само правительство»; «Такого рода трансформация произошла, как известно, с „Русским вестником" и его аккомпанементом „Современной летописью". Собственно говоря, этой трансформации, впрочем, и не было: „Русский вестник" и во времена своего блеска обнаруживал

тенденции подобного свойства, но они не были так заметны для большинства, которое отуманивали шумные фразы; теперь характер издания стал только яснее и откровеннее» [4]. Сатирически используя фразеологию либеральной печати в оценке реформы, Слепцов пишет о манифесте 19 февраля метафорически, как о пробуждении нового дня: «Между тем солнце взошло и осветило поля», «Феб лучезарный из морей поднялся окончательно».

Крепостническая сущность реформы вскоре была понята передовыми людьми русского общества, ибо «самого умного человека можно обмануть, а толпу нельзя». Поэтому «восторг, обуявший толпу, по случаю возрождения, стал, видимо, охлаждаться». Для демократов стало вполне очевидно, что никакая «игра в либерализм» не может привести к сколько-нибудь радикальной перестройке общественных отношений. Причину социально-экономических противоречий они видели «не в самих людях, а в окружающих их условиях». Слепцов достаточно ясно высказывает убеждение в необходимости революционного разрешения этих противоречий: «...нужно было сыскать такое универсальное средство, при помощи которого несправедливое отношение одного лица к другому стало бы *невыгодно*». По-видимому, год провозглашения крестьянской реформы Слепцов считал наиболее благоприятным для революции. В это время «многими начало овладевать желание обновиться, произвести коренную перестройку и перестановку в отношениях», причем «обстоятельства не могли служить большою помехою».

Ближайшее будущее показало, однако, что русское общество разделилось на «два направления, прямо друг другу противоположные». Слепцов по справедливости высоко оценивает усилия демократического лагеря, людей, «для которых интересы дела гораздо важнее их личных интересов».

Возросший в середине XIX в. интерес литературы к истории, этнографии, экономике России, увлечение народными сюжетами в беллетристике явились вспомогательными средствами для изучения «порядка, оказавшегося неудовлетворительным». Положительный результат этой работы писатель видит в том, что она восстановила «связь между разрозненными явлениями» и обнаружила «тайные пружины, приводившие в движение наш общественный механизм».

В рассуждениях Слепцова сказывается его неудовлетворенность передовой интеллигенцией того времени. Он упрекает ее в утопизме и в отсутствии «ясно сознанного идеала». Демократические силы, по терминологии Слепцова,— «добросовестные журналисты» — не смогли противостоять многочисленному антидемократическому лагерю, овладевшему в условиях реакции монополией мысли и голоса. К этому лагерю Слепцов причисляет и либералов, несмотря на то, что многие из них «очень бы удивились, неожиданно очутившись в обществе самых заскорузлых крепостников и обскурантов».

Причиной резкого поправения недавних либералов и «прогрессистов» оказалась их крепостническая сущность. Слепцов дает следующую характеристику ренегатства «Московских ведомостей», «Русского вестника» и других либеральных ранее изданий, повернувших вспять и ставших проводниками реакции: «Прекрасное слово вылетело впервые из вороньего горла русской журналистики.— Назад! — каркнула одна газета.—Назад! назад! — дружно повторили другие, и вдруг поднялась вся стая *вестников, сборников, листков* и *обозрений* и полетела в разные стороны, пища и чиликая: назад, назад, назад!»

С присущей ему трезвостью взгляда Слепцов констатирует, что надежды лучших людей России на близкую революцию на данном историческом этапе не оправдались. Но Слепцов не теряет оптимистической перспективы. Он кончает статью предупреждением «ренегатам» либерализма, что «близок тот день», когда их поведение не станет рассматриваться в обществе как «торжество практического смысла», но будет заклеймено «вечным позором в назидание потомства».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. Е. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника». 1863—1866. Л., 1939, стр. 83.
[2] «Очерки», 1863, № 2, от 3 января.
[3] «Современное слово», 1863, № 1, от 1 января.
[4] «Очерки», 1863, № 8, от 9 января.

<«ЛЮДИ, СЛЕДЯЩИЕ ЗА ХОДОМ НАШЕЙ ЖУРНАЛИСТИКИ...»>

«De ta tige détachée
Pauvre feuille desséchée,
Ou vas tu? — Je n'en sais rien...»*

Люди, следящие за ходом нашей журналистики, по некоторым соображениям утверждают, что нынешний — 1864 год — не журнальный год, а газетный. Мнение это подкрепляется и цифрами, т. е. сравнением числа подписчиков. У газет их гораздо больше, нежели у толстых журналов. Год тому назад еще нельзя было положительно сказать,— в какую сторону повернется дело: подписка шла как-то нерешительно; как у журналов, так и у газет подписчиков было не много и не мало; и притом, один и тот же человек выписывал и «Московские ведомости», и «Голос», и «Современник», и «Инвалид». Во время подписки, подписчик в недоумении ходил из лавочки в лавочку, справлялся, советовался с приказчиками и, наконец, совсем сбившись с толку, подписывался очертя голову. И, надо правду сказать, на прошлогоднего подписчика смотреть было жалко: положение, как хотите, затруднительное. Предшествовавший (1862) год особенно насчет газет, такой был, что чёрт его знает, ничего разобрать нельзя. Каждая газета отдельно и все вообще к концу года до такой степени переругались и такие кляузы стали взводить друг на друга, что мнительному человеку подписываться было страшно: того и гляди, в прикосновение к уголовному делу попадешь! Объявления... что́ объявления? По примеру прежних лет объявлениям тоже большой веры дать нельзя. А тут еще «Очерки» завелись, перемены редакций, казенные объявления... И чёрт их знает, что это такое. Думает, думает подписчик, даже в пот его бросит; возьмет да и подпишется на «Очерки» и на «Московские ведомости». Ну-ка, господи благослови, что будет!..

Прошел год, один только год; тот же подписчик приходит в книжный магазин, но...

Подписчик, что с тобою сталось?
Где прежняя лазурь твоих очей?

Из робкого и доверчивого юноши он превратился в мужа с твердыми убеждениями, с положительными требованиями.

— «Московские ведомости!» — решительно и строго говорит, небрежно прислоняясь к прилавку.

— Не угодно ли вам взглянуть также и на другие объявления? — робко и вкрадчиво замечает приказчик.

— «Московские ведомости!»— еще решительнее и строже повторяет подписчик и наморщивает брови.

— «Голос!»— входя в двери, кричит другой подписчик, грозно поводя глазами.

— Сейчас-с. Но у нас принимается подписка и на другие периодические издания,— начинает приказчик.— Вот «День», например...

— «Голос»! Слышите, «Голос»! По-русски вам говорят или нет?

«Эге-ге,— думает приказчик.— Вон он как заговорил!»

«Н-да; в один год и как избаловался!»

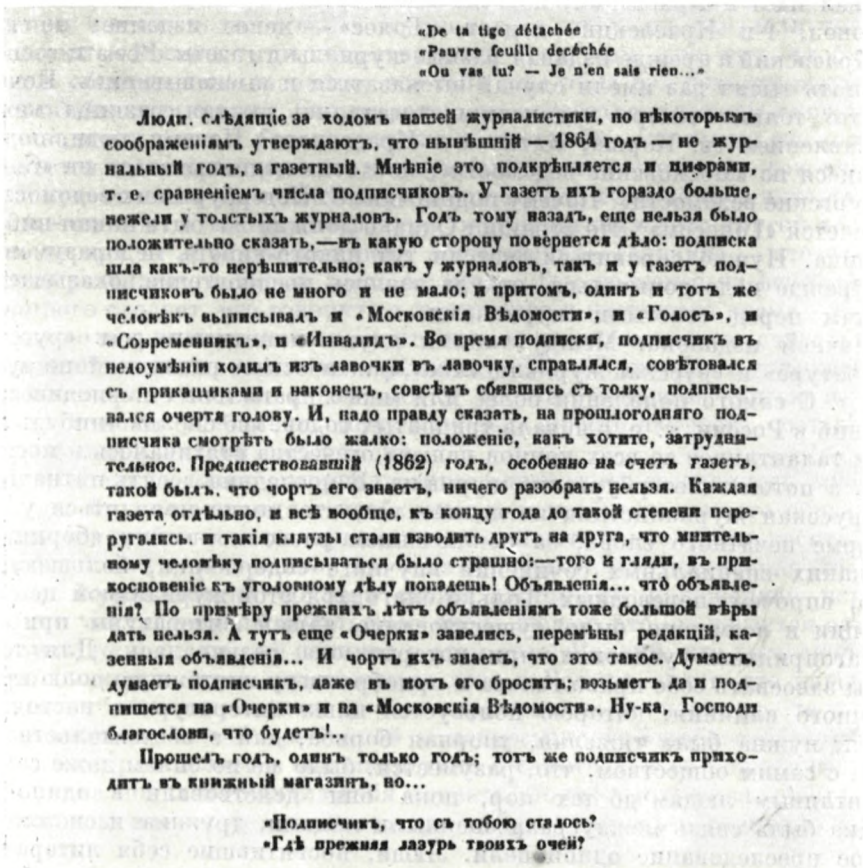
— Сладу никакого нет с подписчиком: затвердит одно, и хоть ты его зарежь.

---

* «Оторванный от своего стебля,
Бедный сухой листок,
Куда ты летишь? — Я не знаю...» (*франц.*) <Из стихотворения Антуана Арно «Листок».>

— Строг стал, — в один голос говорят все конторы.

Однако что же это значит? Почему в нынешнем году охотнее подписываются на газеты и притом исключительно на *известные* газеты? Откуда взялась эта исключительность, этот сепаратизм? Не все ли газеты равны, не все ли они служат одной цели? И хотя нельзя не сознаться, что между ними есть некоторое внешнее различие, но ведь это различие существовало и прежде, однако никто его не замечал. В начале прошлого года



«De ta tige détachée
«Pauvre feuille desséchée
«Où vas tu? — Je n'en sais rien...»

Люди, слѣдящіе за ходомъ нашей журналистики, по нѣкоторымъ соображеніямъ утверждаютъ, что нынѣшній — 1864 годъ — не журнальный годъ, а газетный. Мнѣніе это подкрѣпляется и цифрами, т. е. сравненіемъ числа подписчиковъ. У газетъ ихъ гораздо больше, нежели у толстыхъ журналовъ. Годъ тому назадъ, еще нельзя было положительно сказать,—въ какую сторону повѣрнется дѣло: подписка шла какъ-то нерѣшительно; какъ у журналовъ, такъ и у газетъ подписчиковъ было не много и не мало; и притомъ, одинъ и тотъ же человѣкъ выписывалъ и «Московскія Вѣдомости», и «Голосъ», и «Современникъ», и «Инвалидъ». Во время подписки, подписчикъ въ недоумѣніи ходилъ изъ лавочки въ лавочку, справлялся, совѣтовался съ прикащиками и наконецъ, совсѣмъ сбившись съ толку, подписывался очертя голову. И, надо правду сказать, на прошлогодняго подписчика смотрѣть было жалко: положеніе, какъ хотите, затруднительное. Предшествовавшій (1862) годъ, особенно на счетъ газетъ, такой былъ, что чортъ его знаетъ, ничего разобрать нельзя. Каждая газета отдѣльно, и всѣ вообще, къ концу года до такой степени переругались, и такія кляузы стали взводить другъ на друга, что мнительному человѣку подписываться было страшно:—того и гляди, въ прикосновеніе къ уголовному дѣлу попадешь! Объявленія... что объявленія? По примѣру прежнихъ лѣтъ объявленіямъ тоже большой вѣры дать нельзя. А тутъ еще «Очерки» завелись, перемѣны редакцій, казенныя объявленія... И чортъ ихъ знаетъ, что это такое. Думаетъ, думаетъ подписчикъ, даже въ потъ его броситъ; возьметъ да и подпишется на «Очерки» и на «Московскія Вѣдомости». Ну-ка, Господи благослови, что будетъ!..

Прошелъ годъ, одинъ только годъ; тотъ же подписчикъ приходитъ въ книжный магазинъ, но...

«Подписчикъ, что съ тобою сталось?
«Гдѣ прежняя лазурь твоихъ очей?

Изъ робкаго и довѣрчиваго юноши онъ превратился въ мужа съ твердыми убѣжденіями, съ положительными требованіями.

КОРРЕКТУРА ЗАПРЕЩЕННОЙ СТАТЬИ СЛЕПЦОВА О РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ, 1864 г.

Гранка первая

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

среди выжженной солнцем газетной нивы еще торчали две одинокие былинки: «Очерки» и «Современное слово», но теперь их нет; следовательно, ничто уже не докучает взору, ничто не останавливает на себе внимания наблюдателя, привыкшего любоваться утрамбованным плац-парадом нашей журналистики. Почему же теперь, именно теперь, когда «равнение» между газетами достигло, по-видимому, высшей степени совершенства, когда каждая газета, так сказать, «чувствует локтем товарища», теперь-то вот подписчики и начали высказывать свои задушевные симпатии то к той, то к другой?.. Почему? Не произошло ли в журналистике

каких-либо важных перемен? Не расширились ли права литераторов? Не наехали ли, наконец, к нам откуда-нибудь новые издатели?..

Ничего этого нет. Перемен никаких не произошло, новых прав никаких не дано; а издатели всё те же, что были и прежде,— люди, всем нам коротко известные. Точно, что некоторые редакторы поменялись изданиями; но что же из этого? «Московские ведомости» издавал прежде г-н Корш, а теперь издает их г-н Катков; но ведь г-н Катков и прежде издавал газету. Г-н Корш издает «С.-Петербургские ведомости», а прежде издавал их г-н Краевский; но ведь г-н Корш и прежде издавал газету. Наконец, г-н Краевский издает «Голос» — новое издание; но ведь г-н Краевский и прежде издавал разные журналы и газеты. Все эти господа двадцать тысяч раз имели случай высказаться и высказывались. Почему же это только теперь подписчики догадались, какая разница между направлением гг. Корша, Каткова и Краевского? Почему люди, подписавшиеся на «Московские ведомости», не хотят подписываться на «С.-Петербургские ведомости»? Почему подписчик «С.-Петербургских ведомостей» гнушается «Голосом»? Это странно. Однако должна же быть какая-нибудь причина. Нужно справиться, нет ли тут какого-нибудь недоразумения. Но прежде надо допытаться, откуда взялось предпочтение, оказываемое газетам перед толстыми журналами.

Начнем издалека. Между такими двумя понятиями, как «русская литература» и «русская журналистика», фактического различия* не существует. С самого появления более или менее правильных периодических изданий в России, т. е. с начала тридцатых годов, все сколько-нибудь живое и талантливое со всех концов нашего отечества стягивалось в московские, а потом в петербургские журналы. В последние десять-пятнадцать лет русская журналистика поглотила все, что могло появляться у нас в форме печатного слова, за исключением разве кое-каких сборников, кое-каких специальных сочинений научного содержания, большею частию, впрочем, переводных. Только благодаря этой журнальной централизации и возможно было существование нашей литературы при тех неблагоприятных условиях, при которых она развивалась. Для того, чтобы завоевать себе право голоса и приобрести ту ничтожную долю нравственного влияния, которою пользуется наша литература в настоящее время, нужна была тяжелая, упорная борьба, как с обстоятельствами, так и с самим обществом, что, разумеется, было не по силам даже самым талантливым людям до тех пор, пока они действовали в одиночку. Нужна была связь между разрозненными лицами, дружное и систематическое преследование одной цели. Люди, посвятившие себя литературному делу, давно поняли все это, стали сближаться между собою и условливаться в средствах. Таким образом организовались литературные кружки. Тут начало русской журналистики, тут, следовательно, первое проявление и той нравственной силы и независимости, без которых наша литература навсегда осталась бы мертвым библиографическим материалом и не пошла бы, вероятно, дальше тех альманахов, которые издавались в двадцатых годах в Петербурге.

Наука в России всегда приноравливалась только к удовлетворению государственных нужд или была достоянием отдельных личностей, погибавших большею частью в неизвестности. Наука у нас никогда не развивалась самостоятельно, а потому и не могла добиться популярности; следовательно, и влияние ее на литературу не могло быть велико. Присутствие научного элемента в нашей литературе всегда чувствовалось до такой степени слабо, что люди, незнакомые с развитием науки на Западе, не имели никакой возможности узнать что-нибудь из тех жалких

* Заметьте: фактического. В теории оно, разумеется, существует — *Прим. Слепцова.*

компиляций и отрывочных сведений, которые предлагала желающим русская литература. Что касается специальных заведений, посвященных исключительно служению той или другой отрасли знания, то опыт доказал, что эти заведения не только не способствовали развитию и обобщению научных сведений, но, напротив того, служили какими-то громоотводами, мешавшими науке проникать в массу общества. В последнее десятилетие время от времени начали показываться первые попытки самостоятельных исследований наших молодых ученых, но даже и эти робкие упражнения большею частию появлялись в журналах, а этим они доказали только, что наука в России, при существующих средствах, для того, чтобы перейти в общественное сознание, все-таки еще пока без помощи журналистики обойтись не может. Это, впрочем, не относится к трудам императорской академии наук и разных ученых обществ. Все эти труды нисколько, разумеется, в журналистике не нуждаются и составляют совершенно отдельную от всего крещеного мира и замкнутую в самой себе литературу. Нуждается ли в такой литературе журналистика—это другой вопрос; а что теряет от этой замкнутости общественное сознание — это третий вопрос, разбирать который здесь не место. Тем не менее из всего вышесказанного следует, что говорить о литературе в настоящее время—значит говорить о журналистике; потому что нельзя же, в самом деле, считать чем-то самостоятельным, чем-то независимым те 20—30 книжек в год, которые печатаются отдельными изданиями и состоят большею частью или из стихов, или из учебников, или, наконец, просто-напросто составляют предмет самой наглой спекуляции.

Относительно нашей журналистики давно уже составилось мнение, что будто бы она составляет необходимую потребность нашего общества. Мнение это особенно часто приходилось слышать в последние десять лет. Насколько оно справедливо, это еще бог знает, но достоверно то, что русская журналистика обязана своим настоящим положением исключительно усилиям очень небольшого числа людей; что же касается самого общества, то вряд ли оно повинно в этом деле. Всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с ходом журнального дела в России, знает, что наша читающая публика относилась до сих пор, если не равнодушно, то совершенно пассивно к той тревожной и непрестанной борьбе с обстоятельствами, которая велась в журналистике с самого дня ее рождения.

Публика молча позволяла себя поучать, молча выслушивала упреки и откликалась только тогда, когда что-нибудь уж очень задирало ее за живое.

Такое равнодушие не могло не отразиться и на журналистике.

Освоившись, наконец, в своей роли доброго наставника, избравшего методу «поучать забавляя», наша журналистика слишком долго засиделась в ней, так долго, что сама, наконец, заслушалась собственного гласа, вопиявшего в пустыне, и не заметила, что дитя успело вырасти и начало выказывать свои склонности. В обществе стали бродить кое-какие мысли, то там, то сям стали прорываться небывалые порывы, а журналистика по-прежнему продолжала из пальцев делать зайчиков и показывать их на стенах, по-прежнему стреляла из деревянных пушечек. Между тем дитя пожелало схватить зайчика за ушки и поймало наставника за пальцы, дитя попробовало выстрелить из пушки, но оттуда вылетел горох. Наставник сконфузился и признался, что из настоящих пушек он и сам стрелять не умеет и настоящих зайчиков делать не может. Отсюда развилось то недоверие к литературе, плоды которого мы пожинаем теперь. У нашей журналистики никогда не было твердой опоры в обществе, не было помощника, который бы мог показывать людям на деле то, что старалась изобразить литература более или менее искусно с помощью пальцев и деревянных игрушек; одним словом, не было того, что назы-

вается практическим тактом. Притом же литература говорила большею частью только о том, что *должно бы быть*, в то время, когда публика не знала хорошенько и того, что *есть*. Людям советовали быть честными в то время, когда для них честность значила то же самое, что глупость; людям предлагали самоотвергаться во имя идеи в то время, когда за эту идею никто гроша медного не давал. Как ни хороши были сами по себе те нравственные начала, которые писались в книгах, люди решительно не знали, что с ними делать. С одной стороны, действительность на каждом шагу говорила им, что жизнь есть искусство подтасовывать обстоятельства, что жизнь есть спекуляция, выгодная только для того, кто обладает сравнительно наибольшим бесстыдством и способен на всякую сделку; с другой стороны, литература говорила, что жизнь есть подвиг, и благословляла на борьбу. Шулерство и подвиг, борьба и сделка, разумеется, не могли примириться: произошло столкновение, и действительность одолела. И еще раз синица получила предпочтение перед журавлем в небе, и еще раз теоретическая истина названа была мечтою. А случилось это по той причине, что оказалось выгоднее.

Наконец, журналисты поняли, в чем штука... Выгода! Материальная выгода! Вся сила в том, чтобы показать человеку, *как выгодно* быть честным. Дело, по-видимому, очень простое. Теперь, когда отыскана в обществе точка опоры, когда литература стала лицом к лицу с человеком и, весело подморгнув ему, сказала: теперь я знаю, любезный друг, как мне говорить с тобою, по-видимому, оставалось только начать поучение и приняться перечислять те неисчерпаемые выгоды, которыми может пользоваться человек, не унижая своего достоинства, но... но оказалось, что это невыгодно.

Слово, найденное журналистами, только в первую минуту поразило всех своею удивительною простотою и несложностью; в следующую же, после короткого размышления, догадались, что в этом слове, как и в слове *металл*, сокрыто несколько различных смыслов, что моя выгода — это вовсе не то, что твоя; что если тебе выгодно быть честным, а мне невыгодно, то я могу устроить так, что и тебе будет невыгодно; и, наконец, пришли к тому заключению, что слово *выгода* — слово кабалистическое и означает: мир, весь видимый мир со всеми тремя царствами, с биржами, с конгрессами, с процентами и с Наполеоном; одним словом, тут всё: и настоящее, и прошедшее, и будущее, и мир, и война, и рабство, и свобода. Все держится, управляется, строится и разрушается на основании этого до невероятности простого понятия — выгода.

Таким образом, открытие принципа, во имя которого движется мир, вместо того, чтобы упростить, еще более осложнило задачу журналистики. Прежде всего необходимо было распутать, разъяснить и привести в порядок (теоретический, разумеется) всю непроходимую путаницу отношений, которая существовала испокон века между лицами и целыми сословиями, отношений, основанных на дурно понятой и мелочной выгоде, отношений, в которые люди с незапамятных времен попали вследствие разных несчастных случайностей, потом затянулись, путались в продолжении многих веков и, наконец, пришли к такому узлу, которого и развязать даже не было никакой возможности; пришлось разрубить. Все это необходимо было разъяснить, проследить связь с главным двигателем и подвести разрозненные явления под категорию.

Это часть теоретическая. Такая работа, несмотря на кропотливость, не представляла еще ничего невозможного. Но за этим следовал другой отдел программы — практический.

Для того, чтобы не потерять и той ничтожной доли нравственного влияния, которой с таким трудом добивалась журналистика и которою она все-таки дорожила, ей необходимо было оставаться последовательною и



«ВСТРЕЧА ДВУХ ПРИЯТЕЛЕЙ». ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕЧАТИ В УСЛОВИЯХ УСИЛИВАЮЩЕЙСЯ РЕАКЦИИ

— Здравствуйте, сэр... виноват—милорд! Говорят, вы без нас избаловались: не по чину ругаться начали, это не хорошо... Вы всё пиршествуете, а мы вот страдаем и сидим.

— Ух!.. пусти меня, мне ужасно хочется побить этого арестанта.

— Полно, друг мой, не связывайся,—ничего ты с ним не поделаешь: одно слово „нигилист"... Оставь его. Нам сейчас принесли целую кучу объявлений, пойдем счеты сводить, это будет гораздо приятнее.

На карикатуре «Современник», только что возобновленный после восьмимесячного запрета, и «Московские ведомости», процветающие благодаря полученной монополии на публикацию казенных объявлений. Изображены (слева направо): Леонтьев, Катков, Некрасов

Рисунок неизвестного художника, февраль 1863 г.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

«...в нашей журналистике в строгом смысле только два направления, прямо друг другу противоположные: все же остальные подразделения и оттенки, в сущности, не имеют никакого серьезного значения»
(Из статьи Слепцова «О русской журналистике»)

верною тем началам справедливости, которые выработаны были в теории; необходимо было спуститься из заоблачных сфер на землю, вмешаться в дела мирские и творить людям суд и правду. Понятно, что никто не требовал от журналистов, чтобы они своим личным примером наставляли людей и направляли их на стезю добродетели; читатели желали только практических указаний, они желали, чтобы журналистика научила их, *как* следует поступать человеку, который не хочет пользоваться чужим трудом и сам в свою очередь не намерен быть лошадью. Журналистика, по-настоящему, должна была бы удовлетворить в этом случае законному требованию публики. Почему ж и не сделать удовольствия? Ну, а она не сделала. Не могла. А за это публика лишила ее своего доверия. Что ж? — публика права. Какая же это литература, которая советует сделать то-то, а как это сделать, не говорит.— Стало быть, она сама не знает? — Как не знать.— Так почему ж она не говорит? Что ж тут такого, непозволительного, учить людей быть честными? Разве это запрещено? А? Что вы говорите? Не слыхать. Странно.

Но как бы то ни было, странно это или нет, а факт все-таки остался неизменным, тот факт, что журналистика оконфузила себя перед публикою, доказав свое полное бессмыслие в практическом решении нравственных вопросов. История о том, как это случилось, очень печальна, в особенности для людей, причастных литературному делу; но все-таки лучше рассказать ее: во-первых, она и сама по себе довольно поучительна; а, во-вторых, это даже необходимо для того, чтобы найти причину предпочтения, которое оказывает публика газетам перед толстыми журналами.

Впрочем, из того, что сейчас сказано, слишком торопливый читатель поспешит вывести заключение, что если газеты предпочитаются, то, стало быть, оконфузились, собственно, одни толстые журналы. Это неправда. Оконфузились, собственно, все — и журналы, и газеты, в особенности же газеты. А что если публика этого не замечает и продолжает на них подписываться и даже отдает им предпочтение,— тем хуже для нее. Если же она замечает и все-таки, несмотря на это, читает их, то это еще хуже. Это значит, что сама публика пала так низко, что и не нуждается даже в порядочной журналистике. Это показывает, что падение журналистики совершенно в порядке вещей, что оно даже было подготовлено самою публикою. Таким образом, выходит, что наша журналистика (но не журналисты) пала жертвою коварства и самой черной неблагодарности?— Да; почти что так. А все-таки лучше начать с начала.

Мусульмане исходною точкою своего летосчисления принимают год, в который произошло знаменитое* бегство Магомета из Мекки в Медину. Начинать хронологию с подвига, в котором выразилась если не трусость, то во всяком случае уж очень явное эгоистическое побуждение, конечно, немножко странно, однако не настолько, чтобы это могло служить помехою истории.

На этом основании и мы решаемся начать беглый обзор журнальной деятельности в России — с основания «Русского вестника». В этот год, сколько помнится, особенно знаменитого бегства не случилось; а если и были кое-какие маленькие перебежки, то про это знали только *свои*, т. е. такие дезертиры, которых никакими бегами в мире удивить нельзя. И в то время даже многие этому радовались. Возможность перебегать из Мекки в Медину показывала, по крайней мере, что есть еще и Медина, в которую можно в случае крайности и бежать; а до тех пор была только одна Мекка и бежать было некуда. Хорошее было время тогда. В то время все казалось возможным. Но пусть читатель не подумает, что оно было хорошо само по себе и что желательно было бы пользоваться им и до

* Историческое доказательство того, что и постыдный поступок может сделаться знаменитым.— *Прим. Слепцова.*

настоящей минуты. Такое желание безрассудно. Времена, подобные вышеупомянутому, времена критические и по натуре своей скоропреходящи. Желать продолжения их было бы так же неосновательно, как если бы замужняя женщина, несмотря на замужество, желала остаться девицею. Притом же время, совпадающее с основанием «Русского вестника», имеет важное значение для журналистики только по своим последствиям, по тем плодам, которые мы вкушаем теперь от древа, насажденного людьми того времени. Но вряд ли не большее значение имело оно для общества, в особенности для людей, бывших в то время еще юношами (здесь слово юноши не следует понимать в буквальном смысле).

У некоторых людей на всю жизнь остается до боли тяжелое воспоминание того случая, когда их в первый раз обманули. И чем продолжительнее была иллюзия, чем обольстительнее был обман, тем больше омерзения возбуждают они впоследствии, когда коварство обнаружилось и ложь явилась во всей наготе своей. Странная судьба выпала на долю нашему поколению; никакая практическая истина не давалась нам просто, в том виде, как вырабатывалась она самою жизнью. Мы узнавали ее только тогда, когда бо́льшая часть наших сил была уже истрачена на то, чтобы узнать — ложь это или нет. Положительное знание жизни приходило к нам только путем отрицания. Истинное значение какого-нибудь случая становилось для нас ясным только тогда, когда мы убеждались наконец, что были обмануты, т. е. что эдакого случая вовсе не было, а если и был, то вовсе не такой. Потому-то, может быть, у нас и нет желания даже мысленно переноситься в прошлое и снова переживать его. Картины, скрытые под завесою прошедшего, вовсе непривлекательны, краски их бледны и лживы, содержание оскорбительно. Мы с большею охотой предаемся другим, впрочем, не менее бесплодным мечтаниям; мысленно мы прилагаем наше настоящее знание жизни к минувшим заблуждениям. Нам представляется иногда, что если бы мы в то время обладали теперешнею опытностию, то мы должны были бы поступать вот каким образом — мы должны были бы задаться такой мыслию: что бы я ни узнал, что бы ни прочел, я ничему не буду верить, ни на что не буду надеяться, ничему не буду радоваться до тех пор, пока своими глазами не увижу, своими руками не ощупаю. Хорош принцип, но хороша должна быть и среда, вырабатывающая такие принципы! Впрочем, надо думать, что наш скептицизм вреда никому бы не сделал, а пользу принес бы немалую, по крайней мере, хоть в том отношении, что сил и времени сбереглось бы много. Но мы были слишком молоды в то время и, несмотря на то, что ложь и обман окружали нас с самого раннего детства, несмотря на то, что мы ежеминутно спотыкались и падали о подставляемые нам разными старцами ножки, нам все-таки *хотелось* верить. Повторяю: мы были очень молоды... К тому же всё, решительно всё, даже обстоятельства будто сговорились между собою и сложились именно таким образом, что нельзя было не поверить. Я приглашаю читателей войти в наше положение и рассудить, имели ли мы право не доверять людям, личная выгода которых клонилась именно к тому, чтобы не обманывать нас. Еще в людях-то мы могли сомневаться, но обстоятельствам не верить не могли: они были слишком ясны. И в ком могли они возбудить недоверие? Припомните, читатель, точно, были два, три голоса, уныло твердившие: так, так; все это так, но... Но мы хотели верить и больше ничего. Нужно же человеку верить во что-нибудь, хоть бы в то, наконец, что днем бывает день, а ночью бывает ночь. Что бы это такое вышло, если бы и в этом нужно было сомневаться?

...Белая полоска показалась на небе; мы проснулись на своих школьных кроватях и сказали друг другу: светает, братцы, вставайте! Веселая дрожь пробежала по телу; мы встали; а заря занялась; подул ветерок. На рассвете пришли бежавшие из Мекки пророки и тут же, сняв ветхие

одежды свои и облачившись в новые, сели на места уготованные и стали нам вещать о свободе. Мы так и замерли... За ними следом пришли другие, потом еще и еще; и все они заговорили о правде, о любви к человеку, о пользе наук, о вреде откупов. Но коварные скрыли от нас, что до бегства своего из Мекки они там точно так же вещали о пользе плетей, о вреде просвещения; они скрыли от нас, что мехи их были ветхи, а одежда на коленах протерта от преклонений; они солгали нам о причине, побудившей их к бегству, а в ней-то, в этой причине, вся и штука. Знай мы ее раньше, мы бы не поддались на их льстивые речи, мы бы прогнали их обратно на родину, в Мекку, и следы их замели бы и засыпали песком. Но мы ее не знали и не хотели слушать людей, которые твердили нам постоянно: не доверяйтесь старым лисицам. Тогда же появились и в литературе невозможные до тех пор *бегуны*. Откуда они взялись и что́ за звери, никто не знал. Восходящее солнце ярко светило нам, а бегуны были такие белые, гладкие, точно молодые тараканы, так проворно бегали и везде поспевали. Всем было весело, а потому никому и в голову не приходило спросить: зачем они тут вертятся и чего им нужно. Только уж спустя много времени оказалось, что бегуны были из Мекки и занесены были в журналистику в ветхих мехах лжепророков. Жаль только, что все это узнали немножко поздно, когда из бегунов вышли уже порядочные прусаки, заполонившие темные углы нашей журналистики. А во время торжеств и ликований все как-то перемешались и никто ничего не мог путем разобрать; только и слышно было, что «ликуй! ликуй! Герой ты», «Росс, воспрянь!» и т. д., а когда

Феб лучезарный из морей
Поднялся

окончательно, тогда такое неистовство овладело всеми, что можно было опасаться серьезных беспорядков. Наконец, вдруг все пожелали излить свои восторги в форме печатных песнопений, и в тот же миг началась подписка, такая подписка, какой еще свет не видывал: появилось бесчисленное множество газет и журналов, преимущественно же газет. В то время всякий, кто хотел, мог издавать газету, нужно было только иметь свидетельство от полиции, а это было не трудно, потому что сама полиция тогда находилась в таком положении... будочники стали книжки читать, офицеры шли в квартальные. Вообще столпотворение было.

Известно, что внезапные порывы восторга, гнева, отчаяния и проч. никогда не бывают продолжительны; особенно, если причины, вызывающие эти порывы, приходят неожиданно и к тому же путем внешних впечатлений. Чувство, порожденное каким-нибудь неожиданным впечатлением, обыкновенно или изглаживается под влиянием новых впечатлений, или видоизменяется в другое, более постоянное чувство, или же, наконец, переходит в область мышления и там уже окончательно перерабатывается и исчезает в массе текущих мыслей. Но как бы то ни было и что бы ни случилось с внезапным порывом, во всяком случае главное отличительное свойство его, недолговечность, остается при нем. Однако случается иногда, что человек спустя много времени после пароксизма все продолжает твердить одно и то же о впечатлении, произведенном на него неожиданным событием. Это показывает, что или мысль у этого человека никак не может совладать с впечатлением, или что у этого человека есть какая-нибудь посторонняя цель, какой-нибудь расчет в том, чтобы твердить о поразившем его событии. В первом случае обыкновенно человека называют глупым, а во втором — плутом.

В обществе такой сильной впечатлительности не бывает; частию потому, что оно состоит из людей, обладающих неодинаковой восприимчивостью, частию же потому, что всякое впечатление, произведенное на

массу, всегда парализируется множеством других мелких впечатлений, в которых никогда недостатка не бывает. Как бы сильно и неожиданно ни было впечатление, оно большею частию тут же, у всех на глазах, поглощается массою и сейчас же начинает перерабатываться в дело; и чем энергичнее общественная жизнь, тем быстрее совершается это поглощение и тем легче ассимилируется поглощенное.

В хорошо воспитанном обществе впечатление поражает не столько чувство, сколько мыслительные способности людей; и даже самое замешательство, бывающее всегда в это время, происходит не от страха или удивления, а просто от торопливого желания поскорее понять смысл явления, найти связь его с окружающим и тут же приурочить его куда следует. Способность толпы овладевать всяким новым явлением и быстро угадывать его настоящий смысл очень легко наблюдать на разных сборищах, во время народных праздников и торжеств, где происходит какая-нибудь публичная сцена, рассчитывающая на эффект. Замечательно, что подобные сцены очень редко удаются и никогда почти не обходятся без скандала. Обыкновенно бывает так, что в самую патетическую минуту вдруг кто-нибудь чихнет или сделает самое глупое замечание. Сейчас все и захохочут. Действующие лица обыкновенно за это очень сердятся и приписывают свою неудачу злостному влиянию каких-то тайных врагов своих, где-то скрывающихся в толпе и нарочно чихающих, чтобы рассмешить публику. Такое мнение в высшей степени несправедливо. Объяснять таким образом неудавшийся эффект — значит не знать характера толпы. Обыкновенно говорят — толпа глупа. И это несправедливо. Глупою толпу называют за то, что она поддается на всякую новую ловушку, на всякий вздор. Шел человек по улице, вдруг остановился и начал глядеть вверх. Сейчас же вокруг него собирается толпа и все глядят вверх, а там ничего и не было. Что хочешь покажи толпе, хоть кукиш, толпа будет глядеть. Стоит только кому-нибудь встать на тумбу и закричать: «Эй! Идите сюда»,— и в ту же минуту соберется толпа. Скажите толпе: «Ну, что вы пришли? Ступайте с богом»,— и толпа разойдется. Вот именно на это свойство толпы, на эту невзыскательность ее и рассчитывают всякого рода шарлатаны и спекуляторы; но это свойство вовсе еще не служит признаком глупости. Оно свидетельствует только о ее необыкновенной восприимчивости и податливости; но при этом не следует забывать и других ее качеств, свойственных только ей одной. Самого умного человека можно обмануть, а толпу нельзя. На мгновение можно, но не больше, как на мгновение. Не вовремя чихающие и делающие глупые замечания люди составляют ее неотъемлемую принадлежность, и всякая порядочная толпа немыслима без них так же, как немыслима толпа без любопытных и ротозеев. Эти-то два начала, одно вечно увлекающееся, а другое вечно критикующее, и составляет сущность толпы. На первое обыкновенно рассчитывают, а на втором обрываются неопытные, но отважные шарлатаны. Причина их неудач и более или менее быстрого падения заключается в том, что они приписывают постороннему влиянию то, что лежит в самом основании эксплуатируемого ими предмета; при этом обыкновенно также упускается из виду и то обстоятельство, что толпа воспитывается шарлатанами и что, рассчитывая на эффект, необходимо принимать в соображение труды предшественников и понесенные ими неудачи.

Так, например, толпу, привыкшую видеть каждый день людей в самых разнообразных костюмах, конечно, не удивишь каким бы то ни было пиджаком, и даже гусарским мундиром удивить нельзя; а потому человек, который пожелал бы обратить на себя внимание, должен был бы изобрести какой-нибудь еще невиданный костюм и увешать его хоть бубенчиками, что ли. Но зато платье с бубенчиками в Китае, например, не произведет никакого эффекта, потому что там все привыкли к бубенчикам и видят их

каждый день. Из этого примера легко заметить, что привычка к частой перемене впечатлений играет тоже немалую роль в тех случаях, где имеется в виду подействовать на восприимчивость толпы. Только в глухих, забытых светом захолустьях долго держатся впечатления, произведенные неожиданными событиями. Пожар, приезд сановного лица или даже какая-нибудь замечательная драка оставляют по себе неизгладимые воспоминания, которые и повторяются всеми несколько лет сряду и даже передаются из рода в род в первоначальном виде. По долговечности впечатлений и по тому, какое употребление делают из них люди, можно более или менее верно судить и о степени развития этих людей.

Во всяком мало-мальски путном обществе всегда есть несколько человек таких, которые быстро овладевают всяким новым явлением в жизни, как бы оно неожиданно ни было, и сейчас же объясняют остальным его настоящий смысл и значение. При этом указывают на связь его с предыдущими явлениями и предлагают практические советы относительно того, как и какую именно пользу можно извлечь из нового явления. А так как в путном обществе за новыми явлениями недостатка не бывает, притом же и старые разрабатываются постоянно, то и деятельность этих лиц становится уже постоянною профессиею и составляет своего рода специальность. А эта специальность журналистика-то и есть. Но в каждом обществе есть также несколько личностей, которые выгоду свою полагают в том, чтобы не раскрывать перед людьми настоящего смысла новых явлений и, напротив того, постоянно поддерживать и даже по возможности усиливать производимые ими впечатления; и таким образом не допускать их до сознания, искажать, преувеличивать или перетолковывать в ту или в другую сторону, смотря по обстоятельствам, истинное значение разных фактов, начиная с явлений природы и кончая общественными отношениями. Такие личности водятся везде: и в девственных лесах Южной Америки, и в английском парламенте. В разных местах и при разных обстоятельствах они являются то в том, то в другом виде: то под видом заклинателей злых духов, жрецов и прорицателей, то под видом народных представителей; то в образе странствующих престигитаторов, то, наконец, в виде литературных деятелей — публицистов, отважно ратующих *за свободу*. Смотря по обстоятельствам, смотря по времени и месту, они то мажут тело свое оленьим жиром и надевают остроконечные шапки, то принимают наружность и замашки европейца и произносят блестящие речи; то глотают ножи и кружатся подобно волчку, стоя на одной ноге, то барышничают лошадьми, то публично приносят себя в жертву общественному благу. Но, какой бы вид они ни принимали на себя, какие бы шапки ни носили, везде и всегда у них одна точно определенная цель: пользоваться невежеством и легковерием толпы и извлекать из нее в наикратчайший срок наибольшую для себя пользу.

Беглые пророки, о которых упоминалось выше, были именно такого сорта люди. Они ловко воспользовались всеобщим остолбенением, случившимся по поводу неожиданной перемены обстоятельств, и сейчас же стали извлекать из этого положения для себя пользу. Во время суматохи они незаметно проникли в журналистику и примкнули к хору, певшему в то время восторженный гимн восходящему солнцу. Между тем солнце взошло и осветило поля; гимны один за другим умолкали, и только еще несколько человек, самых отчаянных энтузиастов, продолжали твердить последние строфы и приставать с ними к прохожим.

— Солнце взошло! — восклицали энтузиасты, воздевая руки к небу.

— Взошло,— отвечали им прохожие.

— Мы восстали от сна,— продолжали энтузиасты.

— Ну, восстали. Еще-то что?

— Пора нам приниматься за дело.

— Пора. Что же делать-то?

— Мы восстали от сна! — опять затянули энтузиасты, с радости потерявшие рассудок.

— А вы дураки,— отвечали им прохожие и пошли своею дорогою, а энтузиасты продолжали бесноваться до тех пор, пока добрые люди не сжалились над ними и не отвезли их в больницу.

Однако восторг, обуявший толпу по случаю возрождения, стал, видимо, охлаждаться; газеты, подобно пузырям, вскочившим на гладкой поверхности озера, одна за другой перелопались; практический смысл вошел снова в свои права и принялся шарить кругом — не нащупает ли чего-нибудь такого осязательного. С обществом между тем делалось что-то



«ГАЗЕТНАЯ СТРЯПНЯ». КАРИКАТУРА НА «МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
Рисунок неизвестного художника
Изображены сотрудники газеты и ее редактор Катков (в шотландской шапке)
«Будильник», 1868, № 41

небывалое, что-то, по-видимому, очень хорошее. Многими мало-помалу начало овладевать желание обновиться, произвести коренную перестройку и перестановку в отношениях. Впрочем, желание сознавалось неясно: как обновиться, каков должен быть план этой перестройки, никто не мог сказать наверное. Потребность тем не менее чувствовалась довольно сильно и с каждым днем высказывалась все больше и больше. В обществе все-таки сохранилось еще настолько жизни, что чуть лишь мало-мальски пригрело его солнцем и обдуло ветерком, сейчас же явилось и побуждение стряхнуть с себя ложь и плесень, толстою корою насевшие сверху, явилось даже темное желание начать *какую-то новую, честную* жизнь. Но и это был только порыв. В одряхлевшем, хотя и пробужденном обществе недоставало сил на то, чтобы привести в исполнение такое, хотя и темное, но благородное желание; да и сама жизнь, весь общественный установ не представлял никакой возможности взяться за дело серьезно. Можно было заводить благотворительные общества, даже школы, можно было преследовать кое-какие упущеньица, наконец, можно было делать меньшей братии кое-какие подарочки; но даже и эти невинные забавы,

даже и эта «игра в либерализм», как ее называют теперь, с каждым днем пошла туже и туже; да и сами благотворители все больше и больше стали догадываться, что занимаются, в сущности, пустяками, что никакой тут перестройки нет, а что нового, собственно говоря, даже и выдумать ничего нельзя. Одним словом, порывы, как и следовало ожидать, дальше самой жалкой филантропии не пошли, потому что встретились лицом к лицу с грубою действительностию, с личною выгодою; а эта вещь, как известно, чрезвычайно устойчивая, и чувству, как бы оно благородно ни было, бороться с нею трудно. Дело стало, если хотите, за пустяками. Трудность, которую благородные порывы встретили в действительной жизни, трудность, которую нужно было преодолеть, состояла лишь в том, чтобы согласить личные выгоды одного человека с личными же выгодами другого. Что ж тут, по-видимому, такого непреодолимого? Конечно. Не все ли мы только об этом думали, только этого и желали? Но в том-то и штука: об *этом* ли мы думали? *Этого* ли мы желали? Попробуемте определить точнее наши желания. Мы были недовольны прежним порядком вещей, потому что поняли его безнравственность, и пожелали другого порядка, других, более справедливых отношений между людьми.— Прекрасно.— Чем же мы, однако, были недовольны в прошлом? Главный, существенный недостаток прежнего порядка заключался в том, что люди вредили друг другу не потому, чтобы они были злы и чувствовали природную склонность вредить ближнему, но потому только, что весь общественный склад был так уж организован, что человек для того, чтобы жить, должен был *по необходимости* вредить другому. Если один человек хотел есть хорошую пищу, то для этого необходимого нужно было, чтобы другой человек отказал себе в хорошей пище. Если один человек нуждался в теплой одежде, то он мог приобрести ее не иначе, как раздев другого. Такие отношения ни в каком случае, разумеется, не могут назваться вполне справедливыми отношениями. Мы это и поняли; поняли также, что причина такой несправедливости лежит не в самих людях, а в окружающих их условиях. Стало быть, мы должны были желать, чтобы условия эти изменились. Но как их изменить? Нужно было устроить их таким образом, чтобы я мог есть и спать спокойно в полной уверенности, что я моим сном и обедом никого не лишаю ни сна, ни обеда; отношения мои к людям должны быть такие, чтобы мне *и не хотелось* даже лишать других того, в чем я сам нуждаюсь. Одним словом, нужно было сыскать такое универсальное средство, при помощи которого несправедливое отношение одного лица к другому стало бы *невыгодно*. Как только экономический порядок стал бы на эту точку, так все остальные, второстепенные вопросы о праве, о вменяемости, о труде решились бы сами собою.

Этого ли мы желали? Об этом ли думали? Если так, то что же нам мешало наши желания привести в исполнение? Обстоятельства?— Нет. В то время обстоятельства не могли служить большою помехою, и на них ссылаться нечего. Кто же помешал?— Никто. Мы сами себе помешали. Всеми нашими стараниями и беготнею мы доказали только одно: что мы вовсе не желали исполнения того, о чем мы говорили, что желали; да и не могли желать, прибавим кстати. А почему это так вышло, можно узнать из того, как поступала наша журналистика, на долю которой выпало решить этот нравственно-экономический вопрос и которая до сих пор не решила его, не только практически, но даже и в теории. Затруднения, ставшие поперек дороги нашим благородным порывам, по-видимому, не должны были бы служить препятствием для теоретических изысканий. Журналистика только и могла заняться изысканиями; что же касается практических средств, то ей в этом отношении пришлось бы ограничиться только советами; самый же выбор средств зависел бы от общества, т. е. от самой жизни. Но оказалось, что, и кроме того, еще предстояло одолеть

много препятствий, предстояла борьба не только с внешними, но и с внутренними врагами — с литературною интригою.

Наша журналистика, как известно, не представляет правильно организованной силы и не состоит из людей одинакового образа мыслей и одинакового направления. Всю массу лиц, занимающихся журнальною работою, можно разделить на три разряда. К первому принадлежат люди, для которых интересы дела гораздо важнее их личных интересов; ко второму относятся люди с преобладанием личных эгоистических выгод. Для этих журналистика служит только средством для приобретения денег и для удовлетворения личного тщеславия; наконец, в состав третьего входят все остальные, т. е. люди, занимающиеся писательским ремеслом или из любви к искусству, или вследствие горькой необходимости. Лица, относящиеся к первым двум разрядам, составляют меньшинство и руководят известными литературными органами; большинство же так называемых *литературщиков* исполняют всякого рода черные работы и постоянно придерживаются направления фирмы, частию за недостатком своего собственного, частию же по причине своего нравственного и материального убожества. Из этого видно, что в нашей журналистике в строгом смысле только два направления, прямо друг другу противоположные; все же остальные подразделения и оттенки, в сущности, не имеют никакого серьезного значения. Органы, считающие себя представителями того или другого второстепенного подразделения и желающие придать своему мнению самостоятельный характер, только обманывают своих читателей, но чаще всего обманывают самих себя. Мнимая самостоятельность их происходит от того, что они обыкновенно или *не хотят*, или *не могут* додумать мысль свою до конца и сделать из нее крайний вывод. Одна газета, например, имеет привычку останавливаться на такой-то мысли и дальше идти не может, а другая газета — другой. Один журнал говорит дело только до тех пор, пока не подвернется ему слово *народ*; остановившись на этом слове, он начинает топтаться на месте, а потому считает себя народным журналом; другой останавливается на слове *корень*, третий на *дворянских регалиях* и т. д., и каждый из них считает свое мнение самостоятельным и относится враждебно к остальным только потому, что сам не в силах обобщить свою мысль и найти связь ее с мыслью, проводимою его соперником. Тогда бы для него самого стало ясно, что он отличается от другого только форматом и бóльшим или меньшим количеством опечаток. И если бы кто-нибудь взялся исполнить за них эту трудную работу, вывести крайние результаты из их мнений, то оказалось бы, что во всей русской журналистике только два направления. При этой сортировке многие либеральные органы, вероятно, очень бы удивились, неожиданно очутившись в обществе самых заскорузлых крепостников и обскурантов.

Двойственность направления в журналистике была причиною того, что и нравственно-экономическая задача, предложенная журналистике, решалась двояким образом. Люди, смотревшие на дело серьезно и добросовестно, взялись за него просто. Прежде всего, чтобы составить себе совершенно ясное понятие о том, чтó необходимо для блага людей, нужно было внимательно изучить порядок, оказавшийся неудовлетворительным; при этом необходимо было исследовать и причины, создавшие его, необходимо было проследить тот путь, которым шло общество прежде, нежели очутилось в настоящем положении. Кроме исторических изысканий, обращено было большое внимание на экономические условия страны, под влиянием которых складывался наш общественный быт. Этнография и беллетристика должны были служить вспомогательными средствами и доставлять сведения о характере, нравах и нуждах народа. Люди, взявшиеся за такое солидное дело, обладали или обширными научными сведениями, или литературным талантом. И сначала все пошло было хорошо, но... Но одно-

временно с этими занятиями производилась работа и другого рода. По мере того как добросовестные журналисты углублялись в предмет своих изысканий, все больше и больше стали обнаруживаться тайные пружины, приводившие в движение наш общественный механизм, связь между разрозненными явлениями восстановилась, а потому и причины их с поразительною ясностью выступили наружу. Публика, которой вдруг показали все тайны ее быта, с ужасом отступила перед новым открытием: она и не ожидала ничего подобного, она смотрела на дело гораздо легче; ей даже стало неприятно, что отравили то кокетливо-сентиментальное расположение духа, в котором она находилась. Возможность исправиться и принести покаяние в старых грешках доставляла ей немало удовольствия; к тому же ей казалось, что все можно исправить и уладить с помощию каких-нибудь благородных спектаклей и детских приютов; а тут потребовались жертвы, несравненно бóльшие, нежели сколько нужно на освещение залы и наем прислуги. Русское общество само хорошенько не знало, чего хотело. Оно чувствовало *какое-то* смутное недовольство старым порядком вещей, оно желало *какой-то* новой деятельности, *каких-то* новых лучших отношений; а чтó это за деятельность, чтó это за отношения, оно даже и представить себе не могло. Да кроме того, не нужно забывать, что это общество родилось, выросло и воспиталось на старых порядках; начала, против которых оно собиралось ратовать, еще крепко сидели в нем. Везде и на всем лежали еще свежие следы этих начал; люди, еще вчера приводившие в движение старый механизм, были все тут, налицо. И эти люди не могли, разумеется, оставаться равнодушными и безответными зрителями той перестройки, которую предполагалось произвести. Предстояла борьба не только с принципами, но и с живыми людьми, с очевидными, осязательно-очевидными фактами и, что хуже всего, борьба с самим собою, с своими привычками, с своим самолюбием, с своим собственным карманом, наконец; борьба упорная, тяжелая, требующая постоянного напряжения всех нравственных сил. И какая же награда за все это? Сознание правоты своей, сознание того, что делаешь действительно полезное и прочное дело. Но как ни прекрасно это сознание, однако для нашего общества оно представляло не много привлекательного. Материальные жертвы как-то плохо окупались в ее глазах невещественными наградами. Лишения, плодами которых могло пользоваться только отдаленное потомство, показались слишком тяжелыми. В хорошую минуту почти всякий бывает способен жертвовать многим, но тот же человек не даст и сотой доли, если потребовать от него жертвы тогда, когда эта хорошая минута уже прошла. Дело, которое полчаса тому назад казалось ему до такой степени важным делом, что за него можно идти на кол, теперь представляется ему уже вовсе не таким; да и самые люди, настаивающие на необходимости жертвы, становятся в его глазах скучными и неприятными. Причина той почти внезапной перемены, которая случилась в нашем обществе, была очень простая. Желать серьезной и прочной перестройки своего быта оно, как мы видели, и не могло, потому что борьба, предстоявшая ему по этому случаю, должна была бы совершаться во имя какого-нибудь ясно сознанного идеала, которого в наличности не имелось; кроме того, нужны были энергия, постоянство, самоотвержение и мало ли еще что было нужно. Где их было взять? Главное, нужно было убеждение в необходимости действовать так, а не иначе, уверенность, что так будет лучше. А кто же мог за это поручиться?— Журналисты? Да они и не ручались; они только из того и бились, чтобы заставить понять то, без чего, по их мнению, никакие реформы ни к чему не годны. «Пойми свое настоящее положение! Оглядись!» — беспрестанно повторяли одни журналисты. «Полно, охота тебе ребячиться!» — говорили другие. «Прилично ли нам, взрослым людям, гоняться за призраком?»— заканчивал хор.

Одним из главных препятствий, не допустивших общество серьезно взяться за дело преобразования нравственно-экономического быта, явился так называемый *практический смысл*; тот самый *практический смысл*, которым мы, русские, имеем неосторожность неумеренно и постоянно гордиться. Многие, вероятно, стали бы гораздо скромнее, если бы поняли, что в этой хваленой способности русского человека заключается сила, постоянно задерживающая всякое движение вперед. Практический смысл — это то свойство ума, которое заменяет человеку знание; и если человек на него очень положился, то и будет им постоянно руководствоваться в жизни, тогда дело кончится тем, что человек никому и ничему не будет доверяться, кроме своего практического смысла. Но тут еще пока беды большой нет; оно даже, пожалуй, и хорошо. Лучше руководствоваться практическим смыслом, нежели верою в судьбу; но дело-то в том, что это руководство обыкновенно влечет за собою очень печальные последствия. Что такое практический смысл? — Практический смысл — это житейская мудрость, это искусство найтись, извернуться, это сноровка, с помощью которой человек быстро уживается и усвоивается со всяким новым положением, это уменье обтерпеться, выйти сухим из воды и шилом молоко хлебать. Человек, обладающий практическим смыслом, никогда не даст заколотить себя до смерти, он всегда сумеет извернуться: его бить, а он... желудком слабеть начнет. Потому-то люди в известном положении так и дорожат этим искусством, точно каким-нибудь сокровищем; потому-то человек только тогда и получает доверие к теоретическому знанию, только тогда и способен к развитию, когда выучивается увлекаться гипотезою, т. е. когда потеряет веру в житейскую мудрость, в практический смысл; а до тех пор он раб среды и обстоятельств.

Если начало последнего десятилетия изобиловало всякого рода порывами и увлечениями, зато конец представляет умилительное зрелище торжества практического смысла. Даже год тому назад еще возможны были увлечения; теперь их нет, ни в жизни, ни в журналистике. Практический смысл уничтожил последние следы увлечений и окончательно охладил наши юношеские порывы. Никогда еще это милое свойство русского мозга не поощрялось так охотно, как теперь, никогда не представлялось ему столько случаев изворачиваться, осваиваться, прилаживаться и приноравливаться, как теперь.

Но при виде этого зрелища каждый литературный работник с краскою стыда на лице (по крайней мере, тот, для кого это еще возможно) должен будет признаться, что инициатива и пропаганда этого дела принадлежит журналистике. Она первая подала свой дешевый голос за практический смысл, она первая решилась выговорить слово, которое, хотя и вертелось у многих на языке, но не сходило с него. Прекрасное слово вылетело впервые из вороньего горла русской журналистики.— Назад! — каркнула одна газета.—Назад! назад! — дружно повторили другие, и вдруг поднялась вся стая *вестников*, *сборников*, *листков* и *обозрений* и полетела в разные стороны, пищà и чиликая: назад, назад, назад!

Это случилось очень недавно, именно в то время, когда... одним словом, очень недавно. Так называемые теоретики выбивались из сил, то там, то сям стали выползать из щелей попрятавшиеся от дневного света гады; между тем в разных местах вспыхивали пожары, грустное предчувствие томило всех. В это время подняли голову и притаившиеся в печатных листах лжепророки. Солнце, рассыпавшее щедроты свои на всякую тварь, пригрело и их. Они выждали ту минуту, когда порыв энтузиазма в обществе охладел и стали появляться первые признаки поворота к старому порядку. Это случилось, как уже сказано, потому, что в обществе недостало ни сил, ни желания жертвовать своими настоящими выгодами во имя будущих благ. Они выждали эту минуту и тут-то явились представи-

телями того практического смысла, на который оставалась одна надежда. Люди, застигнутые раздумьем среди дороги, люди, потерявшие охоту идти к неизвестному будущему и не желавшие признаться в своем бессилии, разумеется, должны были обрадоваться, когда нашелся человек, который повернул их лицом назад и сказал:— «Да что вы? Разве это зад, это перед». Ну, все и пошли *взад наперед*. Оно как будто бы и вперед, но в то же время и назад. В подобные нерешительные минуты, когда и без того каждый более или менее начинает чувствовать склонность к благородной ретираде и только не решается первый начать отступление, в подобные минуты стоит только кому-нибудь крикнуть:— Ну, куда вы идете, очертя голову?— и сейчас же все послушаются и не только послушаются, но даже будут превозносить того, кто первый решился высказать то, что у всех лежало на душе и чего все втайне желали. Но так как во всяком случае вернуться назад с пустыми руками неловко, то, чтобы успокоить несколько свою совесть, все обыкновенно принимаются бранить того, кто повел в незнакомое место и поставил всех в затруднительное положение. И тут человек, завладевший расположением толпы, может делать с нею все, что захочет, только, разумеется, недолго.

Приведенный сейчас пример должен бы, кажется, достаточно объяснить причину, почему в нашей публике начинает замечаться некоторая самостоятельность в выборе периодических изданий. Объяснение нетрудное: публика предпочитает те издания, в которых находит наибольшее поощрение своим задушевным желаниям и где, кроме того, преподаются практические советы: как, в каком случае и каким образом следует извернуться, чтобы не попасть в беду; а так как газеты имеют возможность больше и чаще удовлетворять этой потребности, нежели журналы, то газеты предпочитаются журналам, но... Но лучше обратиться прямо к подписчику.

И это тебе не стыдно!.. Нет, не оправдывайся, не держи меня за пуговицу и не старайся растрогать жалобами на судьбу. Какая тут судьба? Когда ты приходишь в книжный магазин Кожанчикова, где принимается подписка, ты там не жалуешься, напротив того, ты вздергиваешь нос и наморщиваешь брови. Ты хочешь притвориться серьезным человеком, гражданином? И ты воображаешь, что кого-нибудь можешь обмануть? Гражданин! «Mais, mon cher»,— говоришь ты. Нечего тут «mon cher». Напрасно ты финтишь и стараешься оправдаться. Я очень хорошо понимаю твое положение, поэтому я и не браню тебя, а только стыжу. Об одном прошу я тебя: не ври. Я нисколько не удивлюсь, что ты по молодости лет увлекся. Это понятно. Старые прелюбодеи воспользовались твоею неопытностию и растлили тебя. И за это осуждать тебя нельзя. Я не брошу в тебя камня, я только попробую предостеречь тебя на будущее время.

Знай, несчастная жертва соблазна, что близок тот день, когда с треском лопнут обертки старых журналов, газеты развернутся сами собою и поведают миру печальную историю твоего падения. В тот день бумага покраснеет от стыда, а буквы пожелают провалиться сквозь землю, но не провалятся. И многие будут давать большие деньги за то, чтобы только выскоблить прежде ими писанные строки, но бумага превратится в камень, а строки нальются кровию и ножи будут от них отскакивать. Обольстители твои разбегутся и попрячутся, а писания их останутся и ты останешься,— и будут эти листы служить тебе вечным позором в назидание потомства. В то время ты вспомнишь льстивые речи, которыми развратили тебя, ты будешь проклинать день, в который ты допустил себя до соблазна, но тогда уже будет поздно.

‹1864 г.›

Корректурные гранки. ИРЛИ, ф. 627, оп. 2, № 190.

В ПЕТЕРБУРГЕ 1863 ГОДА

Среди бумаг редакции «Современника», не привлекавших до сих пор внимания исследователей, сохранились корректурные гранки статьи, озаглавленной «Отрывок из дневника» (ИРЛИ, ф. 628, оп. 2, ед. хр. 189). Гранки чистые, без правки. Подписи нет; как большинство публицистических статей в «Современнике», статья должна была быть напечатанной анонимно. Но имя автора указано в пометке, сделанной рукою неизвестного, вероятно, кого-либо из работников редакции или конторы, на обороте одной из гранок: «Отрывок из дневника *Слепцова*». Как видно из счетов типографии конторе «Современника», статья с таким заглавием и тем же объемом, а именно в полпечатного листа, была набрана для четвертой книжки журнала за 1864 г., но не появилась в печати по обстоятельствам цензурного характера (В. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника». 1863 — 1866. Л., 1939, стр. 83).

«Отрывок из дневника» непосредственно связан с прерванным циклом Слепцова «Петербургские заметки». Начальный фрагмент публикуемого ниже текста, озаглавленный автором «Июнь 1863», первоначально составлял одну из частей названного цикла. Она предназначалась для опубликования в седьмой книжке «Современника» за 1863 г., но по цензурным причинам была уже в корректуре изъята оттуда вместе с еще одной частью — рассуждением «Что может быть возвышеннее любви к отечеству?..» (см. об этом на стр. 153 настоящего тома).

В начале 1864 г. Слепцов дополнил «Отрывки из дневника» «записями» за июль, август, сентябрь и октябрь 1863 г. и предпринял попытку опубликовать эти «записи» в качестве самостоятельного фельетона, не связывая его с разрушенным циклом «Петербургские заметки». Но и эта попытка оказалась тщетной. Фельетон не увидел света и лишь сейчас, спустя сто лет после его написания, появляется в печати.

Как упомянуто выше, «записи», входящие в «Отрывок из дневника», помечены «датами»: *с июня по октябрь 1863 г.* Это было трудное для русской революционной демократии время — время упадка освободительного движения в стране, связанного с крахом надежд на близкое крестьянское восстание, разгрома польского восстания, бешеного натиска реакции и резкого поправения господствующих классов.

«Отрывок из дневника» начинается с описания Петербурга. Серые тона́ в пейзаже столицы Российской империи указывают на мрачный колорит русской общественной жизни изображаемого периода. Действительно, во второй половине 1863 г. газеты ежедневно сообщали о победах царских войск в Польше, о казнях «польских мятежников» и русских участников восстания. 4 июня в Люблине был казнен военный министр революционного правительства Леон Франковский, 15 июня в Вильно — Сигизмунд Сераковский. А в самом Петербурге продолжались аресты революционеров и их вождь, Чернышевский, дожидался в Петропавловской крепости предрешенного приговора. «Патриотическим остервенением» назвал Герцен в статье «Виселицы и журналы» разгул реакции в 1863 г. В прокламации «Земли и воли» («Свобода», № 2) говорилось о репрессиях в России: тюрьмах и ссылках, плетях и палках, жандармах и шпионах.

Об этом же в эзоповой форме — в отдельных эпизодах, диалогах, сценах, как будто бы не связанных между собою,— хотел сказать читателям «Современника» Слепцов. Автор «Отрывка из дневника» прежде всего выбирает соответствующее место для наблюдения: на набережной Невы у Академии художеств, на площадке между сфинксами. Отсюда хорошо виден весь официально-парадный казенный Петербург, видны обиталища самодержавной власти, гражданской, военной, полицейской и духовной: здание Сената и Синода, «мрачная фигура Исаакия», Адмиралтейство, Дворцовый мост с полицейскими будками и Зимний дворец. Автор не может назвать все эти элементы петербургского «пейзажа» своими именами; ему приходится делать замены; вместо Зимний дворец — «какой-то зеленоватый туман, что-то тусклое и холодное». Зимний дворец красили в ту пору в зеленый цвет, полицейские чиновники носили темно-зеленого цвета мундиры, шаровары, шапки. Слепцов выдержал этот «колорит» и в других фрагментах «Дневника». Слуги в ресторане носят зеленые фартуки: «Непременно немцы и непременно в зеленых» (здесь, возможно, намек и на придворных «лакеев»-немцев, о которых много писал Герцен).

Другой преобладающий тон в слепцовских описаниях чиновно-полицейского Петербурга — серый («серое утро», «серая громада домов, накрытая сверху серыми тучами»). Это цвет одежды «нижних полицейских служителей».

С места наблюдения, избранного автором «дневника», виден и Петербург простого рабочего люда: по ту сторону Невы — корабельные доки; на этой стороне, направо за мостом (Николаевским) — пристани, к которым причаливают рыболовные суда, подходят лодки. Рано утром можно было наблюдать здесь тружеников Петербурга, рабочих, матросов, рыбаков, перевозчиков. Весьма лаконично, лишь отдельными штрихами («сонные люди», «хриплые голоса», «скорчившись спали») дается Слепцовым картина их тяжелого существования. Из других фрагментов читатель присоединит к этому еще впечатление об извозчике, пришедшем из деревни на заработки, о нищем, который поет для увеселения господ «сладострастный романс» у окон ресторанов, о пожарном (солдате), рискующем своей жизнью за бесценок.

Автор «дневника» — человек демократических убеждений — чувствует себя в самодержавно-полицейском Петербурге в положении «высеченного школьника» или ссыльного («и вдруг мне пришло в голову: отчего это человек только тогда считает себя ссыльным, когда его куда-нибудь сошлют?»). Он испытывает «бессильную злобу» против обстоятельств, которые дают ощущение скованности, мешают «делу» политического развития, душат желание свободы. Это дано как настроения, характерные для широких кругов демократической интеллигенции поры реакции. Вспомним рассуждения Чернышевского (в статье «Не начало ли перемены?») о петербургских жителях: недовольные «петербургским климатом» они ждут первой возможности уйти из-под власти этого врага, уехать куда-нибудь и — не могут сделать этого в силу привычки. Думается, что именно этот комплекс противоборствующих сил — поиски новых путей освободительной борьбы и скованность этих стремлений в обстановке реакции — выражен в начале «Отрывка из дневника» («отчего я не еду 〈...〉 Сбираюсь каждый день, проклинаю и себя, и этот город, и все-таки остаюсь») и в рассуждении о положении человека, который хочет заново «родиться» и не в состоянии сделать этого («Лежу иной раз, и вдруг начинает представляться, что будто я рожусь (будучи взрослым человеком, рожусь)! Хочу, хочу родиться и никак будто не могу; да так и остаюсь в этаком положении»).

В некоторых фрагментах «дневника» имеются намеки на усилившуюся борьбу правительства с революционерами, на развернутую агентурную сеть III Отделения: шпион в кафе («румянец такой, как будто его только что били по щекам»), парикмахер, ведущий с клиентами провокационные разговоры. Слепцов намекает на гражданские казни, ссылки, экзекуции («присутствуешь, например, при каком-нибудь до бешенства возмущающем зрелище...»). В «Колоколе» 1 января 1863 г. была напечатана статья «Третье отделение сечет», в которой пострадавший рассказывал, как допросы, «отцовские увещания» жандармского полковника, угрозы «сменились розгами». Именно на подобные типичные факты в «либеральной» России Александра II указывает автор «дневника» в следующем диалоге: « — ... Не спорь с отцом! — Хочу спорить.— Проси прощенья! — Не хочу просить прощенья.— Скажи, виноват! — Не виноват.— А где он, прутик-то у нас? — Виноват».

Не прошел автор «дневника» и мимо темы «измен либерализма» (В. И. Ленин), столь характерной для русской политической действительности 1863—1864 гг. В условиях резкого обострения классовой борьбы в стране среди русских либералов произошел резкий сдвиг вправо: от былой оппозиционной фразы к фактическому примирению с царизмом.

В «Отрывке из дневника» деятелем, персонифицирующим тему «измен либерализма», представлен хозяин некоего семейства. Он «всё пел», т. е. говорил либеральные фразы. Когда же перед ним встал вопрос — пострадать ли за свой либерализм или же отказаться от него и пойти на сделку с правительством, то он предпочел последнее («Я ему говорю: Вы что желаете, чтобы вас за волосы таскали или тысячу целковых? — Конечно,— говорит,— тысячу целковых: у меня дети»).

Подлинно трагически звучат в «Отрывке из дневника» темы бессилия, пассивности общества, не только не способного остановить натиск реакции, но и смиряющегося пе-

ред этим натиском со «спокойствием чугунной тумбы». В двух сценах «избиений» — «свиньи» и «женщины» — Слепцов с подлинно щедринской беспощадностью бичует психологию и практику социального зла. В сцене встречи с «гвардией» автор «дневника» затрагивает одну из важнейших тем революционно-демократической литературы. Это тема силы и бессилия народа: потенциальной «страшной силы в массе людей, собранных вместе, когда эта масса спокойно движется к одной какой-нибудь цели» и бессилия народа, неспособного еще на *данном* этапе, в *данной* ситуации, осознать собственную мощь и направить ее против своих угнетателей.

Непробужденность народа вызывает у автора «дневника» чувство досады, когда «угнетенный, за которого ты вступился, первый бежит от тебя и от твоего заступничества». Под его пером возникает мрачная картина общественного застоя: «Ни тепло, ни холодно греет чухонское солнце, ни тихо, ни скоро идут какие-то пресные вечные будни...» Звучат ноты скептицизма: «Какая же тут борьба? Для чего же всё это? Для потехи зевак?— Борьба во имя справедливости?— Которой это? Ведь их много.— А вечное солнце правды? — Гм! Да где ж оно, у чёрта на рогах? И почем я знаю, взойдет оно когда-нибудь, или нет. Что-то не похоже».

В завершающей фельетон «программе для оратории», под заглавием «Пустыня», Слепцов в аллегорической форме излагает историю последнего десятилетия в жизни русского общества. «Ураган», свирепствовавший в «бесплодной нубийской степи»,— это, очевидно, режим крайней реакции николаевского царствования; «удар грома», от которого «все замерло»,— катастрофа Крымской войны и смерть Николая I; «благодатный дождь», превратившийся, однако, в неудержимый свирепый поток, от которого «все рушится»,— напор демократических сил страны, отбитый самодержавием и сменившийся разрушительным контрнаступлением реакции. Заключительные слова аллегории — «Восходящее солнце освещает грязь» — передают итоговую оценку Слепцовым реформаторской деятельности правительства к середине шестидесятых годов.

Настроения скептицизма в «Отрывке из дневника» дают возможность непосредственно ощутить, как тяжело переживал Слепцов реакцию и трагедию пассивности народа и общества. Но, как и другие революционные демократы, Слепцов не прекращал своего участия в освободительной борьбе. Он глубоко верил в неизбежность гибели существовавшего несправедливого строя. Среди иносказательных эзоповских образов «Отрывка из дневника» имеется образ разрушающегося «дома», в разных местах которого «уже сделались порядочные щели». И хотя «дом», возможно, еще постоит какое-то время, однако он обречен на гибель, потому что «худо выстроен» и стены в нем «неверно выведены». Через год в повести «Трудное время» Слепцов вернулся к этому иносказанию, описав «дом» Щетинина, в котором «заметны были свежие следы недавней реформы», но который тем не менее «сжечь можно, но переделать нельзя».

ОТРЫВОК ИЗ ДНЕВНИКА

Июнь 1863

Вот уж другой месяц живу в Петербурге и никак понять не могу,— отчего я не еду. Дел у меня здесь никаких нет, скука смертная, а не еду. Сбираюсь каждый день, проклинаю и себя, и этот город, и все-таки остаюсь. Нет, есть в нем что-то неодолимо влекущее, что-то отвратительно-прекрасное. Бывают такие случаи: присутствуешь, например, при каком-нибудь до бешенства возмущающем зрелище. Холодный пот выступает на всем теле, ужас и негодование сжимают сердце, кажется, вот, зажмурился и бежал бы, бежал... а тут что-то стиснуло тебе мозг и шепчет: смотри! смотри! смотри!.. Я думал сначала, что это только первое впечатление, но теперь вижу, что чем дальше, тем хуже. Да. Странный город! Я не знаю места в России, где бы можно было так живо представить себя в положении только что высеченного школьника, в бессильной злобе грызущего ногти.

На днях шел я по набережной Васильевского острова, мимо Академии. В это время уж светало; начиналось бледное, сырое утро. На Неве разводили мост. Я остановился на площадке, между сфинксами, и посмотрел кругом. Вправо, за мостом, шипел пароход; сонные люди, в вязаных куртках, возились на судах, подымали якоря и перекликались хриплыми голосами на каком-то морском наречии. У пристани перевозчики скорчившись спали в своих лодках. В воздухе пахло сыростию и каменным углем. Прямо передо мною, по ту сторону реки, стояла серая громада домов, накрытая сверху серыми тучами. Влево опять тоже сплошная масса, Адмиралтейство и мрачная фигура Исаакия. Дальше чуть-чуть виднелся дворцовый мост со своими неуклюжими будочками на середине; а там какой то зеленоватый туман, что-то тусклое и холодное. Тучи стали всё гуще и гуще заволакивать восток... и вдруг мне пришло в голову: отчего это человек только тогда считает себя ссыльным, когда его куда-нибудь сошлют?

Я плюнул в воду и пошел дальше.

Чем больше я всматриваюсь во все окружающее, чем больше я думаю, тем чаще прихожу к убеждению, что здесь творятся какие-то ужасные глупости. Здесь просто в воздухе носится что-то одуряющее. Я по себе даже замечаю. Мысли всё какие-то глупые начинают приходить в голову, и не смешные, и не печальные, а просто глупые. Лежу иной раз, и вдруг начинает представляться, что будто я рожусь (будучи взрослым человеком, рожусь)! Хочу, хочу родиться и никак будто не могу; да так и остаюсь в этаком положении. А то кажется мне, что я всё письма какие-то получаю. Думаю: вот, вот сейчас принесут письмо, распечатаю его, а в нем написано:— *трала*. Что такое — трала? Какая глупость!..

Ходил по улицам. Куда они бегут, торопятся? Что за поспешность такая? Куда они бегут? И ведь всё вздор. Смотрят друг на друга и думают: ишь ты, как я закатываю! Шумно на Невском; только шум какой-то однообразный, точно на мельнице, так что можно спать. Зашел в ресторан. Сидят, читают газеты, кофе пьют, молчат. Серьезные бледные лица, песочного цвета. А то вдруг румянец такой, как будто его только что били по щекам. Прислуга — немцы в зеленых фартуках. Непременно немцы и непременно в зеленых. Тихо, шелестят газеты, дым бродит по комнате, мальчик несет чашку бульона. А на улице солнце светит, ходят люди и нищий поет сладострастный романс.

Намедни говорит мне парикмахер: Monsieur voudrait'il que je le coiffe à-la-malcontent?* Я говорю, что не нужно. Он немного помолчал и сказал: Oh! La république,— s'est un grrrand mal, monsieur**. А потом вдруг объявляет по секрету:— J'ai une délicieuse cravate pour monsieur; une cravate, qui vient tout droit de Paris***.— Да, чёрт тебя возьми! Надо быть осторожным.

Познакомился с одним семейством. Хозяин всё пел. Я ему говорю: Вы что желаете, чтобы вас за волосы таскали или тысячу целковых?— Конечно,— говорит, — тысячу целковых: у меня дети.— Вот то-то и есть. После этого он перестал при мне петь. Они вообще этого не любят. Это я заметил.

Вот я еще заметил: действительно здесь безнравственный народ.

А вчера мне сказала прачка: На этот счет (на счет нравственности) здешний город куды как худо выстроен. Здесь девушки не стараются, чтобы об них хороший разговор иметь. Ну, впрочем, и Москва тоже.— Где же стараются?— В Туле.

---

* Не угодно ли господину, чтобы я причесал его под недовольного? (так называлась у французов короткая стрижка. Слепцов обыгрывает буквальный смысл слова «недовольный»).

** О! Республика — это большое несчастье, сударь (*франц.*).

*** У меня есть для господина прелестный галстук, только что из Парижа (*франц.*).



ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА. ОТКЛИК НА ПЕРЕДАЧУ ЦЕНЗУРЫ ИЗ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Надпись на обороте:

«— Александр, как ты думаешь, за что эту девочку ведут в полицию? Посмотри, она еще едва лепечет...
— Вероятно, ma chère, чтобы п о к а р а т ь за какую-нибудь шалость, а может быть и п р е д у п р е д и т ь, чтобы нравственность не портилась.
— Да разве полиция может руководить нравственностью?»

Рисунок неизвестного художника. Предназначался для журнала «Гудок», 1862 г.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

Шел по Конногвардейскому бульвару и думал: если на меня нападут разбойники, возьмут за горло и скажут: давай деньги, а то вот видишь, топор!— Я, разумеется, отдам деньги. Что это, жертва будет или нет!? Или если дом загорится, а я буду в то время в гостях. Узнаю, прибегаю.— Батюшки! Попугай у меня там в клетке сидит. Спасите! Один пожарный говорит: пожалуйте десять рублей— вытащу. И вытащит, и я ему должен отдать десять рублей. Что это, я жертву принесу или нет? Само собой разумеется. А пожарный жертвовал или нет?— Жертвовал жизнию. Что она ему стоит? Десять рублей. А я жертвовал жизнию пожарного для спасения попугая, стало быть, я скотина. Когда я это думал, мимо меня прошел татарин и сказал: полковник, купи халат.

Видел такую сцену: сидел отец на скамейке, а сын играл. Отец говорит сыну: Петька, ты что балуешься?— Я не балуюсь.— Не спорь с отцом!— Хочу спорить.— Проси прощенья!— Не хочу просить прощенья.—Скажи, виноват!— Не виноват.— А где он, прутик-то у нас?— Виноват.

Июль

Какая у них страсть к зрелищам всякого рода, просто невероятно. Что хочешь покажи, будут смотреть. На днях я присутствовал при одном зрелище. Проходя по Невскому, вижу, что на углу Большой Морской собралась огромная толпа и загородила почти всю улицу. Я пробрался посмотреть, что там такое. Стоит среди улицы свинья, один человек держит ее за ухо, а другой за хвост и тянут; свинья нейдет, визжит на всю улицу; наконец легла. Народ смотрит. Извозчики сидят на дрожках, хохочут. Один извозчик не выдержал, подбежал и начал ее кнутом нажаривать: лежит свинья. Другой увлекся его примером, и принялись они ее в два кнута учить: лежит. Пришли дворники с лопатами и стали ее подымать: всю щетину выдергали из спины и уши до крови оборвали: не встает. И ведь в самом деле любопытно видеть такой образец гражданского мужества и в ком же?— в свинье! При этом невольно возникает вопрос: какое побуждение руководило поступками этого животного и принуждало его идти наперекор приличиям и правилам общественного благоустройства? Что за причина, заставляющая его с таким самоотвержением переносить побои и оскорбления? Пока я задавал себе эти вопросы и тщетно искал на них ответа, публики уже собралось так много, что полиция должна была принять свои меры: городовые стали разгонять народ, но эта мера ни к чему не повела; зрители всё прибывали и прибывали до такой степени, что проход по улице сделался невозможным. Из экипажей тоже выходили любопытные и присоединялись к толпе, красиво одетые дамы, стоя в колясках, смотрели в лорнетки и с живейшим участием следили за поступками неукротимой свиньи. Городовые между тем бросились к легковому извозчику и хотели заставить его положить свинью на пролетку, но извозчик ускакал; бросились к другому. Привезли откуда-то тележку и стали опять свинью подымать: визжит свинья на всю улицу, публика радуется, некоторые подают советы, как следует поступить, другие опровергают, публика мало-помалу распадается на два враждебные лагеря: одни говорят, что нужно дать свинье отлежаться и потом вдруг неожиданно принять ее в три кнута, другие же советуют ни мало не медля принести из ближайшего дому жару и побудить упорное животное огнем. Вдруг кто-то не выдержал, бросился к свинье и с страшным ожесточением начал колотить ее палкою...

В тот же день поздно вечером мне пришлось самому участвовать в одной сцене и тоже с побоями; но на этот раз били уж не свинью, а женщину. Зрелище это привлекло также довольно многочисленную публику, впрочем, все-таки народу собралось несравненно меньше, нежели днем. Дело было вот как: часу в двенадцатом ночи шел я по Вознесенскому проспекту,

вдруг слышу страшный крик; я побежал и вижу, на тротуаре стоит женщина, прижавшись спиною к стене. Перед нею стоит мужчина и бьет ее по лицу: она только покачивается из стороны в сторону. Я схватил его за шиворот и закричал: Эй! городовой, возьми его! Женщина еще пуще стала кричать: Батюшки! не берите его! — Да ведь он бил тебя!— Нет, не бил. Я с ним шла, а вот этот (т. е. я-то) пристал и зачал его бить, весь сюртук ему изорвал... Тут уж пошла такая ерунда, что я насилу мог выпутаться.— Что ты за человек? Зачем ты вступался? Тебе какое дело?.. кричали на меня со всех сторон.— За эдакую шкуру вступаться? Не стыдно это вам?— усовещивал меня городовой.

Чуть-чуть было не попал я в часть.

По поводу этой рыцарской выходки вспомнил я еще об одном случае, где я тоже вступился за слабого и тоже попал в дурацкое положение. Раз тоже вступился я за извозчика, которому какой-то барин не хотел отдавать денег. Извозчик плачет, а барин притворился пьяным. Я пошел за городовым, а одного из прохожих попросил барина придержать. Привожу городового, а уж тут порядочная толпа собралась.

— Где же извозчик?— Ускакал.

И ведь как все обрадовались!.. Смеху тут что было. Ну, барин с меня *за бесчестие* и взял три целковых.

Мне больше всего нравится в жителях этого города — спокойствие, с которым может сравниться только разве спокойствие чугунной тумбы. Это качество придает здешним людям почти олимпийское величие. Человек ходит, крадет, служит, любит, губит себя и других и в то же время остается совершенно спокойным, почти неподвижным; как будто все это делает даже не он сам, а кто-то другой, он же только наблюдает и одобряет: Так, хорошо. Теперь высморкай нос! Так. Поцелуй у маменьки ручку!..

Один благородный отец, имевший привычку перевирать свои роли, однажды вышел на сцену и, обращаясь к публике, сказал: Ключи заперты, двери в кармане, теперь я спокоен. Публика покатилась со смеху, актер вылупя глаза стоял у рампы и никак не мог понять, что ж тут смешного.

Само собою разумеется, что человеку, который может оставаться спокойным в то время, когда у него двери в кармане, решительно непонятен смех. Выше этого спокойствия нет и быть не может. Предание говорит, что камни вопияли, что огромные башни, пораженные человеческими преступлениями, шатались в своих основаниях и погребали под собою злочестивых, а петербургский житель остается неподвижным. В этом спокойствии есть что-то в высшей степени трагическое. Какое-то страшное безумие слышится в нем. Мне всё представляется сумасшедший в бумажной короне, с гордым величием сидящий на койке...

На днях как-то заметил я, что у меня в квартире пол расходится и в разных местах уже сделались порядочные щели. Я послал за управляющим. Он посмотрел и говорит: Ничего-с. Это я велю поправить. Тут надо только рейки загнать.— Хорошо. Ну, а если опять сделаются щели?— Тогда я опять велю новые рейки загнать.— Так вы это всегда рейки загоняете?— Всегда-с.— Да вы знаете отчего пол расходится? — Как же-с. Стены неверно выведены, дом и садится. Худо выстроен-с.— Стало быть, он может развалиться!— Нет, еще постоит-с.

Август

Какая, однако, страшная сила в массе людей, собранных вместе, когда эта масса спокойно движется к одной какой-нибудь цели! Вчера встретил я гвардию: она возвращалась откуда-то с музыкою и распущенными знаменами. Я покупал у разносчика лимоны и заговорился, вдруг слышу какой-то гул... гляжу, прямо на меня движется стена со штыками, конскими хвостами и великаном впереди. По бокам толпы народа. Великан

взмахнул булавою, и грянул оглушительный гром барабанов. Я попятился назад и разронял лимоны. А толпа всё растет, всё растет. Даже тупые лица прохожих как будто ожили какою-то телячьею отвагою. Нет, как хотите, а в движении организованной массы есть что-то фатальное. Смотришь и думаешь: Вот я иду, вот иду и все идут, тяжко ступая ногами, правая, левая, правая, левая, трубы ревут, народ раздается, а ⟨шум?⟩ все растет, все растет; гром барабана — это наши шаги раздаются. Вон как мы разъехались во всю улицу! Это все наше тело, наши штыки; захотим и раздавим вас всех, как букашек... Но мы не хотим вас давить, мы вас милуем. Чёрт с вами, живите!..

Прошли. Всё дальше и глуше гудят барабаны, затихли... Не дурно. Зато какое тяжелое чувство, чувство одиночества овладело всеми, кто здесь остался. Как отвратительно пошлы вдруг кажутся эти дребезжащие звуки будничной жизни после грозного ритма шагов; как болезненно-тусклы бесцветные лица после блеска металла и конских хвостов; как робки и жалки движения этих людей!..

Разносчики! Если б вы знали, как мне противно ваше штатское блеяние: «Хорошо морожено!» О, глупые бараны!

Ни тепло, ни холодно греет чухонское солнце, ни тихо, ни скоро идут какие-то пресные вечные будни. То там, то сям бродят люди, и здесь и там в спокойном безмолвии стоят часовые, и, как часовые, сменяясь, бесстрастно проходят дни, недели, месяцы, годы.

Видны мне крыши домов, трубы, мосты и бесцветное, тусклое небо. Гляжу я в окно и всё думаю: «Ну, хорошо. Положим, что все это кончится, скоро померкнет чухонское солнце и в вечном блеске взойдет солнце правды. Да ведь жить-то хочу я *теперь*.— Надежда, а до тех пор борьба.— Ха, ха, ха, ха! Да ведь зло-то в глаза смеется тебе, а угнетенный, за которого ты вступился, первый бежит от тебя и от твоего заступничества!.. Какая же тут борьба? Для чего же всё это? Для потехи зевак?— Борьба во имя справедливости?— Которой это? Ведь их много.— А вечное солнце правды? — Гм! Да где ж оно, у чёрта на рогах? И почем я знаю, взойдет оно когда-нибудь или нет. Что-то не похоже».

Сентябрь

Сочинил программу для оратории, под заглавием:

П у с т ы н я

«В бесплодной нубийской степи свирепствует ураган. Утомленные зноем и жаждою путники безропотно предают себя воле божией и ожидают смерти. Песчаные вихри крутятся над ними и мало-помалу засыпают их. Небо красно-бурого цвета. Сквозь рев урагана едва слышны жалобные стоны умирающего верблюда... Вдруг удар грома! Все замерло... Опять удар, и благодатный дождь полился на землю. Палящий зной спадает. Путники ожили и поют хвалебный гимн небесам. Слышна тихая мелодия. Вопли отчаяния забыты, неистовая радость заменила их. А дождь между тем продолжается. Свистящие струи с шумом низвергаются на землю, все сильнее и сильнее и, наконец, превращаются в неудержимый поток. Хвалебные гимны утихают. Свирепые волны с ревом несутся по степи, все рушится, путники, по горло в воде, поднимают руки к небу, но опрокинутые потоком падают и утопают... Пауза.

Утро. Буря утихла. Восходящее солнце освещает грязь».

Октябрь

Я теперь к такому заключению пришел, что порядочный человек должен плюнуть на все это и, не теряя ни одной минуты,— вон. Что я с своей стороны и не замедлю исполнить.

⟨1864 г.⟩

Корректурные гранки. ИРЛИ, ф. 628, оп. 2, ед. хр. 190.

ИТОГИ «РУССКОГО ПРОГРЕССА»

Публикуемый текст — начало фельетона Слепцова, посвященного сатирическому подведению итогов первого десятилетия «русского прогресса». Продолжение фельетона не найдено, но оно, несомненно, существовало. Фельетон был не только закончен, но, по-видимому, и набран для «Современника». На полях публикуемой рукописи имеются пометки, свидетельствующие, что она побывала в типографии (сделана разметка шрифта — «корпусом», указаны фамилии наборщиков). Хотя в цензурных делах «Современника» мы не нашли следов официальной переписки по поводу фельетона «Речь, за которую я мог бы быть изгнан...», не подлежит сомнению, что статья эта не появилась в печати по мотивам цензурного характера. Когда выяснилась невозможность помещения «Речи...» в журнале, то рукопись была возвращена Слепцову, очевидно, тогда он и внес в текст некоторые поправки, превратив рукопись местами в черновик.

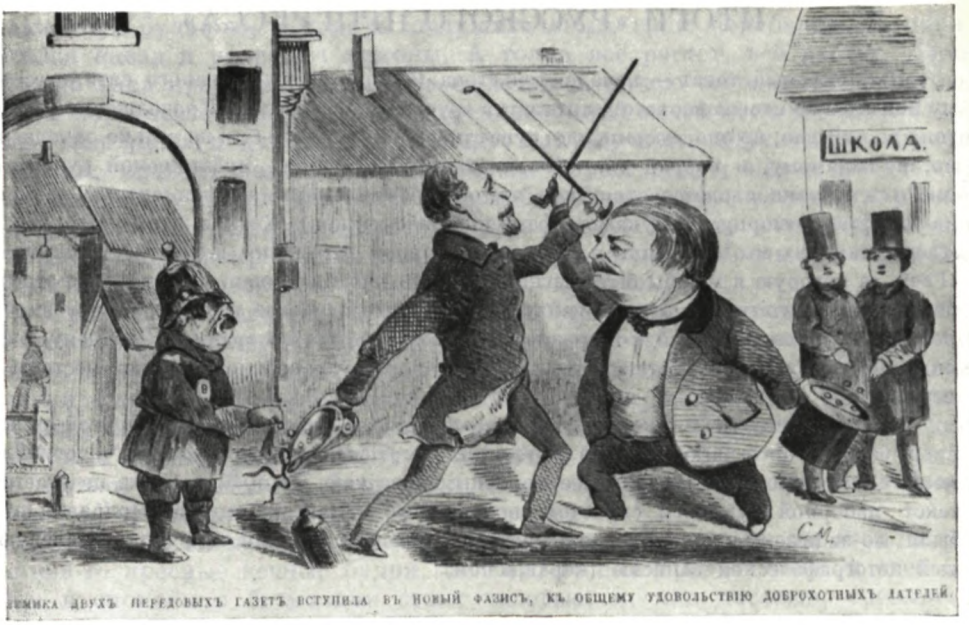
Часть публикуемого текста сохранилась в бумагах писателя еще и в другой рукописи: беловом автографе (от начала до слов: «...„Езда на Остров любви“ уступила место более коротким, но не менее приятным поездкам — *в зубы*»). Ниже печатается текст наборной рукописи с учетом позднейших поправок автора. Поправки эти были, по-видимому, сделаны одновременно с имеющейся на полях рукописи следующей автографической записью (карандашом):

Речь
Досадное положение
Губернская пресса
Письмо из Москвы
Игры и зрелища.

Слепцов перечислил здесь заглавия своих фельетонов, которые, вероятно, намеревался объединить в особый цикл. О замысле нового цикла под названием «Скромные упражнения» Слепцов писал во введении к одному из названных выше фельетонов «Досадное положение» при его публикации в девятой книжке «Современника» 1865 г. Новый цикл, однако, распался, как и предшествующий ему цикл 1863 г.— «Петербургские заметки». Фельетон «Губернская пресса» Слепцов закончил и поместил в той же книжке «Современника» (он перепечатывается ниже). Остальные два фельетона, заглавия которых приведены на полях автографа «Речь, за которую я мог бы быть изгнан...», остались незаконченными. Наброски этих фельетонов — «Письмо из Москвы» и «Игры и зрелища» — сохранились в бумагах писателя и печатаются в настоящем томе.

Публикуемый текст не содержит признаков, позволяющих с полной точностью установить время работы над ним Слепцова. Но общая датировка замысла фельетона не представляет затруднений. Она определяется начальными словами фельетона: «Русский прогресс вступил во второе десятилетие своего существования в нашем отечестве». По «календарю» того времени счет «русскому прогрессу» велся ото дня смерти Николая I—18 февраля 1855 г. Можно, таким образом, предполагать, что фельетон готовился Слепцовым для одного из весенних или летних номеров «Современника» 1865 г.

Уже само заглавие фельетона — «Речь, за которую я мог бы быть изгнан из Общества любителей российской словесности, если бы вздумал ее прочесть в одном из заседаний» — давала представление об идейной позиции автора. Задумав полемическую «речь», Слепцов колебался лишь в обозначении места, где именно произнесет ее оратор, либо в Обществе любителей российской словесности — цитадели либерализма, либо в императорской Академии наук — цитадели официальной идеологии. В упомянутой выше переписанной набело части рукописи фельетон назывался иначе: «Речь, за которую меня вывели бы из императорской Академии наук, если бы вздумал прочесть ее в одном из заседаний». Оценка в «Речи...» эпохи реформ, «русского прогресса» противоречила и консервативной и либеральной точкам зрения. Поэтому автор подобного «выступления» мог быть подвергнут остракизму в равной степени как в том, так



«ПОЛЕМИКА ДВУХ ПЕРЕДОВЫХ ГАЗЕТ ВСТУПИЛА В НОВЫЙ ФАЗИС...»
Слева: редактор «Московских ведомостей» Катков; справа: редактор газеты «Голос» Краевский
Карикатура неизвестного художника
«Искра», 1865, № 35.

и в другом учреждении. С первых же строк фельетона Слепцов вводит в него ряд примет времени. Обозначением двух периодов в «нашем развитии» — «воспалительном» и «хроническом», картиной борьбы, движения Слепцов создает представление об основных явлениях исторической действительности 1855—1865 годов: общественном подъеме после Крымской войны и смерти Николая I, революционно-демократическом натиске, подготовке и осуществлении реформ «сверху», начале периода реакции. Переживаемый период дан и в обобщающей формуле — «в это трудное время» — и в конкретных образах эзоповского языка: «суровый климат», «зимние стужи», «вьюга», «гробовое молчание», «сиди смирно». Обращение к политике реакции выглядит в изображении Слепцова закономерным итогом правительственного «либерализма», насаждения реформ «сверху»: «...русский прогресс, начавшийся, как известно, „Ездою на Остров любви“,— пишет Слепцов,— скоро должен был изменить это приятное направление: гуманное движение, вначале имевшее такой успех в нашем отечестве, быстро заменилось другим столь же энергичным движением. „Езда на Остров любви“ уступила место более коротким, но не менее приятным поездкам — *в зубы*» *.

Автор «Речи...» скептически относится ко всякого рода либеральным обещаниям. Язвительно сравнивает он стремление идеологов либерализма загипнотизировать общество благими начинаниями, гадательными прогнозами будущего («Новейший оракул и снотолкователь», составленный «по течению планет профессором натуральной магии ⟨...⟩ г-ном Боско»).

На полях рукописи «Речь...» Слепцов написал слова, которые, по-видимому, собирался использовать для характеристики политических «кудесников» и «оракулов»: «звездочеты», «нашептывание», «чары», «волхование».

---

* В упомянутом фрагменте беловой рукописи «Речи...» Слепцов после слов: «Ездою на Остров любви» — делает сноску: «„Ездою на Остров любви“ называется одна из сентиментальных поэм Тредьяковского» (ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 184, л. 2 об.).

В «Речи...» выражено враждебное отношение автора к реакционной идеологии социального смирения. Писатель полемизирует, например, с «почвенниками»: «...нужно „уметь любить" (как справедливо выразилась „Эпоха")». Слепцов имеет тут в виду один из программных документов «почвенников» — «Объявление о подписке на журнал „Эпоха" в 1865 году». Анонимный автор «Объявления» — им был, как известно, Ф. М. Достоевский — писал: «Не хулить, не осуждать, а любить уметь — вот что надо теперь наиболее настоящему русскому. Потому что кто способен любить и не ошибается в том, что́ именно ему надо любить на Руси,— тот уж знает, что́ и хулить ему надо» («Эпоха», 1864, № 8).

В этих словах деятели «Современника» (Антонович, Салтыков-Щедрин, Слепцов) справедливо усматривали полемический выпад против революционных демократов. «„Мало обличать — любить надо",— прорицали когда-то „наши почвенники", тонко инсинуируя, что обличение равносильно отсутствию патриотизма и измене»,— писал позднее Салтыков-Щедрин («Пестрые письма».— Щ е д р и н, т. XVI, стр. 260. См. также М. А. А н т о н о в и ч. Литературные мелочи.— «Современник», 1864, № 9-10).

В этом месте фельетона Слепцов пользуется обычным для его эзоповой манеры приемом переключения одного ряда понятий в другой. Приведя слова Достоевского из «Объявления», он перифрастически продолжает их: «нужно знание правил, кому, когда и как съездить в зубы. Без этого же знания легко попасть впросак: съездить в зубы тому, кого следует любить, или, наоборот, начать любить того, кому должно съездить в зубы».

Автор «Речи...» сохраняет оптимистическую перспективу. Он знает, что подлинное «древо прогресса» — революционно-демократическое движение конца 50-х — начала 60-х годов — сильно пострадало в «годы испытаний». Но «растение цело», автор убежден, что «с наступлением ясных весенних дней» — нового демократического подъема в стране — оно будет «готово раскинуть свои стебельки на радость нам и на удивление всему свету».



КАРИКАТУРА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ КРЕПОСТНИЧЕСКИЕ ПЕРЕЖИТКИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ НРАВАХ

Гравюра с рисунка Н. Русина

«Искра», 1865, № 1

«...русский прогресс, начавшийся, как известно, „Ездою на Остров любви", скоро должен был изменить это приятное направление: гуманное движение, вначале имевшее такой успех в нашем отечестве, быстро заменилось другим столь же энергичным движением. „Езда на Остров любви" уступила место более коротким, но не менее приятным поездкам — в з у б ы» (Из фельетона Слепцова «Речь, за которую я мог бы быть изгнан...»)

РЕЧЬ, ЗА КОТОРУЮ Я МОГ БЫ БЫТЬ ИЗГНАН ИЗ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ, ЕСЛИ БЫ ВЗДУМАЛ ЕЕ ПРОЧЕСТЬ В ОДНОМ ИЗ ЗАСЕДАНИЙ

Милостивые государи!

Русский прогресс вступил во второе десятилетие своего существования в нашем отечестве. Насаждение этого нежного чужеземного растения, как известно, было искусственное, а потому и не должно удивляться медленности его роста. Многие трудные годы прошли в упорной борьбе с превратностями нашего сурового климата, много слез нужно было пролить прежде, нежели древо прогресса успело окрепнуть и пустить свои робкие корни в нашу холодную мать-сыру землю. Не дешево достались, однако, и самому растению все эти жертвы, недаром прошли для него годы испытания. В это трудное время знобили его зимние стужи, заметали вьюги, в непогожую пору крепкий ветер качал и гнул его на все стороны, а по ночам налетали на тонкие ветви разные хищные птицы и с криком ломали молодые побеги. И вид его уж не тот, что был прежде: много нежных бутонов погибло от стужи, другие же срезаны заботливою рукою садовника; но, несмотря на все это, растение цело и с наступлением ясных весенних дней готово раскинуть свои стебельки на радость нам и на удивление всему свету.

Милостивые государи! Мы вступаем во второй период нашего развития. В настоящую минуту мы находимся на рубеже между двумя периодами и переживаем кризис. Такого рода положение дает нам возможность хладнокровнее взглянуть в наше прошлое и серьезнее подумать о будущем.

Первый период нашего развития по всем признакам был период воспалительный, сопровождавшийся всеобщим лихорадочным состоянием, необыкновенным жаром, с которым преследовались всякие злоупотребления, напряжением, доходящим до рези и, наконец, обильнейшим течением самых злокачественных мыслей в литературе. Теперь наступает второй период — хронический, затяжной: жар унялся, в конопляном молоке мы уже больше не чувствуем необходимости и мало-помалу снова начинаем приобретать прежнюю игривость, хотя всё еще не можем обойтись без некоторой поддержки (suspensorium). Капля за каплей беспечально текут наши дни. Мы можем пить водку, можем даже иметь детей, но уже о прежней чистоте и непорочности и думать нечего: они утрачены навеки. Да не в том сила. Однажды утраченная непорочность — невозвратима, следовательно, и толковать об этом не стоит. То умственное растление, которому мы подверглись в последнее время, послужило только новым доказательством того, что мы приобщились великому делу цивилизации, стало быть, вкусили и растлевающих плодов ее. Без этого нельзя. А главное то, что мы напали-таки на настоящую дорогу. Вот в чем сила. Случилось же это таким образом: русский прогресс, начавшийся, как известно, «Ездою на Остров любви», скоро должен был изменить это приятное направление: гуманное движение, вначале имевшее такой успех в нашем отечестве, быстро заменилось другим столь же энергичным движением. «Езда на Остров любви» уступила место более коротким, но не менее приятным поездкам — *в зубы*. Такие быстрые переходы и такая непоследовательная перемена вкуса свидетельствовали только о нашей незрелости и доказывали, что развитие для нас дело непривычное и что без руководства нам в этом случае обходиться рано. Но мы этого долго не понимали. Да и вообще мы очень многого не понимали в то время. Мы не понимали, например, что прежде всего нужно «уметь

любить» (как справедливо выразилась «Эпоха») и уметь съездить в зубы; что во всяком благоустроенном обществе есть такие члены, которым предоставлено исключительное право — любить, потому что они *умеют* любить и в точности знают, кого и как любить следует. Мы не понимали и того, что искусство съездить в зубы составляет своего рода специальность и должно быть предоставлено особого рода художникам-дантистам, которые, в свою очередь, руководствуются правилами, на сей предмет установленными, так как и для совершения даже этой простой и, по-видимому, нехитрой операции нужно знание правил, кому, когда и как съездить в зубы. Без этого же знания легко попасть впросак: съездить в зубы тому, кого следует любить, или, наоборот, начать любить того, кому должно съездить в зубы.

Ну, а мы этого ничего не знали, мы даже этих простых элементарных сведений не имели, отсюда те бесчисленные ошибки и недоразумения, которыми так изобилует первый период нашего развития. Наконец мы поняли, что наше дело дрянь. Беспомощность, в которой мы очутились, заставила нас подумать о нашем положении. Мы и подумали, а подумав, пришли к тому заключению, что мы действительно беспомощны, что нет у нас таких правил, которыми бы мы могли руководствоваться при новых обстоятельствах; а известно, что без правил плохо. Что же касается кратких поучений, вроде того, что «любезное дитя, сиди смирно, не ковыряй в носу» и т. д., поучений, завещанных нам историею, то и эта последняя отрада потерпела в наши дни такие изменения и слова в ней до такой степени перепутались, что и на нее никак нельзя было положиться, «сидеть смирно»-то даже нельзя было с полной уверенностью, ⟨что⟩ так и следует, потому что завтра в этих словах могут произойти перемещения, которые повлекут за собой новые недоразумения.

На что уж, кажется, надежное средство было в старые годы гробовое молчание? Но скоро мы убедились, что и на это всесильное оружие не всегда можно рассчитывать, что и оно не всегда может служить знаком согласия и что если, например, все громогласно выражают одобрение, то молчание одного человека может быть принято за отрицание. Одним словом, и с этой стороны поддержки не было никакой, все нам изменяло. Понятно, что долго оставаться в таком положении человек не может, что он или с горя должен запить, или решиться на какую-нибудь отчаянную выходку. И один бог знает, до чего бы мы дошли, если бы не изменились обстоятельства и не подоспело к нам на выручку второе издание, просмотренное, дополненное и снабженное объяснениями и примечаниями, издание «Новейшего оракула и снотолкователя», составленного по течению планет профессором натуральной магии и разных египетских орденов кавалером г-ном Боско. Благодаря этому драгоценному сочинению, положение наше значительно изменилось к лучшему: из безвыходного оно превратилось в гадательное. Как бы то ни было, а все-таки шаг вперед: враги ли твои замышляют против тебя, понесешь ли убытки в торговле — «возьми двумя перстами зерно пшеничное и брось его в самую средину круга!» — и уж непременно что-нибудь да выйдет. По крайней мере человек не оставлен на произвол судьбы и знает заранее, где искать совета и утешения. Страшный ли сон напугает тебя, и сейчас ты находишь ему объяснение. Как хотите, а это тоже чего-нибудь да сто́ит. Нельзя же всё вдруг, а пока и то хорошо.

Но вместе с тем нельзя не признаться, что и на этот раз, как и всегда, не замедлила обнаружиться и неприятная сторона дела...

⟨1865 г.⟩

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 184, лл. 3—7.

РЕФОРМИРОВАННАЯ ПОЛИЦИЯ

Фельетон «Письмо из Москвы» (не закончен или дошел до нас лишь в начальной своей части) сохранился в бумагах писателя, изъятых у него при аресте, в двух рукописях: черновой и беловой. Тексты их почти совпадают; имеющиеся в двух случаях расхождения незначительны. Заглавие фельетона дано по записи Слепцова на полях автографа «Речь, за которую я мог бы быть изгнан...» (см. предыдущую публикацию).

Судя по дошедшему до нас началу фельетона, Слепцов намеревался посвятить «Письмо из Москвы» разработке темы о пореформенной полиции. Еще до 25 декабря 1862 г., когда были утверждены Александром II «Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах» (введение их предполагалось после утверждения судебных уставов), делались попытки преобразовать полицию в духе западноевропейской. Либеральная пресса с усердием следила за полицейскими «нововведениями» и выражала по этому поводу свою признательность «преобразователям». Особенные заслуги приписывались в этом деле петербургскому обер-полицеймейстеру графу П. А. Шувалову (впоследствии начальнику III Отделения). «Кто помнит, чем была 〈...〉 полиция до 1857 года, и сравнит ее с настоящей,— писал, например, в 1862 г. сотрудник «С.-Петербургских ведомостей»,— тот, конечно, согласится, что полиция наша изменилась вообще к лучшему, а в некоторых отношениях преобразовалась радикально. Благодетельною реформою она обязана графу Шувалову, который, усвоив себе дух администрации настоящего правительства, хотел и умел привить 〈...〉 полиции добрые начала, свойственные полициям просвещенной государственной Европы» (1862, № 147, от 8 июля).

Демократическая печать пользовалась разными способами, чтобы показать антинародный характер царской полиции и раскрыть истинный смысл реформ, предпринимавшихся в этой области государственным управлением. Так, в марте 1865 г. в «Современнике» была напечатана статья Г. З. Елисеева «Проект преобразования с.-петербургской полиции», в которой излагался, без авторских комментариев, доклад финансовой комиссии Петербургской городской думы о создании столичной полиции. Цифры, материалы, выводы в докладе говорили сами за себя. Читатель узнавал, что численность петербургской полиции значительно увеличивалась (превосходя венскую, берлинскую) и это увеличение, вызвавшее огромные расходы, было связано с ростом «неблагонадежности», т. е. революционного движения в стране (стр. 120).

Именно к этому времени, к февралю — марту 1865 г., относится, надо полагать, и работа Слепцова над «Письмом из Москвы». Еще в «Уличных сценах» (1862), а затем в статье «Попытки народной журналистики» (1863), в «Петербургских заметках» (см. выше, стр. 174—179) писатель иронически зарисовал современных отечественных «полисменов», будто бы «мирных» и «добродушных», рачительно оберегающих общественный порядок и покой. Слепцов пародировал либеральную идиллию «безмятежного существования» российских граждан, охраняемых «хорошей полицией», «организованной на европейский лад».

В «Письме из Москвы» к сказанному и изображенному ранее добавляется сравнение «усовершенствованной» полиции с прежней «безобразной, алчной, необузданной», не в пользу первой. «Хорошая полиция как будто хуже»,— утверждает Слепцов,— дореформенный Держиморда предпочтительней современного «полицьянта» (так в черновой рукописи). Эти парадоксальные выводы заставляют читателя насторожиться. Пользуясь эзоповой формой, Слепцов указывал в «Письме из Москвы» на усиление деятельности политической (секретной, тайной) полиции. «Преобразованная полиция» старается «влезть к нам в душу», она «прикидывается мирянином», хитрит, «усматривает в наших поступках не то, что в них действительно заключается»,— все эти черты характерны именно для тайной полиции.

Слепцов разоблачает здесь «неразумную и пустую болтовню» о преимуществах новой полиции перед старой, о духовном общении ее с народом. В черновой рукописи фельетона мысль о враждебности «усовершенствованной» полиции народу выражена с полной ясностью: «А новый вольнонаемный полицьянт со свистком нам чужд и душой и телом».

‹ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ›

В Москве всегда хорошо было жить, а теперь еще лучше стало. Главное тем хорошо, что уж очень безмятежно; с непривычки даже как будто скучно: полиции совсем не видать, и если бы не хожалые, уныло торчащие кое-где на перекрестках, то можно бы подумать, что Москва усовершенствовалась наконец до такой степени, что Распорядительная дума в одно



ГОРОДОВЫЕ-ХРИСТОСЛАВЫ

Картина маслом Л. И. Соломаткина, 1867 г.

Русский музей, Ленинград

«Как живой встает в памяти моей с детства знакомый мне образ х о ж а л о г о ‹...› . Как представитель власти он требовал одного: послушания ‹...› он даже не трудился убеждать нас, что он, хожалый, необходим для нас, он просто приходил к нам время от времени и объявлял безо всяких околичностей, что он именинник. И мы очень хорошо понимали, что это значит ‹...› и что если он не каждый день поздравляет нас со днем своего ангела, то мы должны это чувствовать, мы должны это ценить» (Из фельетона Слепцова «Письмо из Москвы»)

прекрасное утро нашла нужным сделать распоряжение: переловить всю городскую полицию и представить ее в часть. Я помню, года два тому назад, был я в Москве, ну, все-таки, бывало, видишь — препровождают кого-нибудь на веревочке или там с праздником поздравляют, а теперь... полицейские жалуются, что от пьяных житья нет. Драться не велено. Попробуй, тронь его, он сейчас: «Караул! Ты зачем дерешься?»— Какой же тут может быть порядок?

И действительно, на теперешнюю московскую полицию смотреть жалко: вид даже какой-то несчастный у них, ходят, как потерянные, снурочки эти мотаются... Холод, дождь на улице,— торчи!

Да главное, было бы из-за чего торчать, а то вовсе не из-за чего: иной раз в целый день один водовоз проедет,— торчи! И, как видно, сама преобразованная полиция очень хорошо понимает всю бесцельность и бесплодность своего положения; а пуще всего скука, скука-то уж очень их одолевает. Целый божий день стоит человек, как чучело, безо всякого дела, только с ноги на ногу переминается; ну, и рад же как попадется ему где-нибудь в захолустье до бесчувствия пьяный мужичонка, уж он его, уж он его тискает, тискает... «Натешусь же, мол, я над тобой!»

Глядя на усовершенствованную московскую полицию, невольно вспомнишь прежнюю безобразную, алчную, необузданную, грязную полицию и невольно отдашь преимущество старой, несмотря на всю ее непривлекательность, несмотря на то, что уже давно доказано,—до какой степени она была несостоятельна.

Бог ее знает, как там по государственному праву, а на практике выходит так, что хорошая полиция как будто хуже. Вообще нехорошо это, когда полиция начинает совершенствоваться, примета нехорошая: это давно замечено. Точно так же вот, когда урожай на блох бывает, говорят, к войне. Может быть, оно и неверно, но только относительно полиции у кого я ни спрашивал в Москве — все более или менее склоняются на сторону прежней. Да оно и понятно: я сужу по себе. Как живой, встает в памяти моей с детства знакомый мне образ *хожалого*, и чувствую я, как душа моя вся устремилась к нему. С детским трепетом и с любовию гляжу я на него и не могу наглядеться. Да, в нем было, действительно, что-то грозно-величавое, что-то отечески строгое, но в то же время и детски наивное, простое, любовное. Этот тип сам собою сложился, сам собою вылился из нравов и потребностей той среды, которая нас всех породила. Он исторически и кровно близок нам, он всецело вошел в нас и все существо наше насквозь проникнуто им, так же как и он, в свою очередь, весь был проникнут нами: нашими нуждами, нашими радостями и печалями. Хожалый был груб и невежествен, но чистосердечен; он не старался влезть к нам в душу, не хитрил и не прикидывался мирянином; он прямо и смело являлся повсюду с казенною печатию на челе; свободно, как власть имеющий, творил нам суд и расправу, карал и миловал по усмотрению; и сколько я помню, на это усмотрение никто не жаловался; никто не находил, чтобы хожалый усматривал в наших поступках не то, что в них действительно заключалось.

Как представитель власти, он требовал одного: послушания, и этою простою меркою измерял наши поступки, как простой и бесхитростный человек, — он и не старался доказывать нам, какую пользу мы сами можем получить от послушания; он даже не трудился убеждать нас, что он, хожалый, необходим для нас, он просто приходил к нам время от времени и объявлял безо всяких околичностей, что он именинник. И мы очень хорошо понимали, что́ это значит; мы знали притом, что хожалый может быть именинником, когда захочет, что в этом отношении для него все дни в году одинаковы и что если он не каждый день поздравляет нас со днем своего ангела, то мы должны это чувствовать, мы должны это ценить. И мы не оставались бесчувственными и умели ценить такое начальническое снисхождение. Мы не рассуждали, как это так? Почему и зачем? Как не рассуждают дети,— зачем даны богом родители.

⟨1865 г.⟩

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 182, лл. 40 — 42.

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕЧАТИ В ПРОВИНЦИИ

Статья «Губернская пресса» была опубликована в сентябрьской книжке «Современника» 1865 г. (за подписью: В. С.). Принадлежность ее Слепцову устанавливается пометой автора на полях рукописи «Речь...» (см. стр. 339) и записью в конторской книге «Современника», опубликованной С. А. Макашиным в 1949 г. в т. 53-54 «Литературного наследства».

Во вступительной статье к циклу «Провинциальная хроника» (см. стр. 180) мы высказали предположение, что «Губернская пресса», возможно, предназначалась для этого цикла 1865 г., печатавшегося в «Искре».

Подтверждением нашей гипотезы служит все содержание статьи и, в частности, постскриптум автора об использованных им материалах губернской печати первых месяцев 1865 г.

Статья полемически направлена против либеральной журналистики, трубившей о значительном прогрессе общественной жизни в России после реформы, о пробуждении «гласности», оживлении провинции. «Провинция пробуждается, она, можно сказать, даже совершенно пробудилась. В настоящее время это факт неоспоримый. Из официальных сведений видно... да, одним словом, тут и сомнения никакого быть не может».

Слепцов использует материалы провинциальной печати для доказательства полнейшей зависимости официальной и неофициальной «губернской прессы» от властей; она приемлет с восторгом «благие» начинания правительства, выдает обещанное за действительное, весьма поверхностно судит о жизни. «Итак,— язвительно обобщает автор писания провинциальных публицистов,— у нас в провинции в настоящее время не жизнь, можно сказать, а масленица, и провинциальные газеты передают нам подробности этого карнавала с неподражаемой отчетливостью».

Интересно, что, характеризуя пореформенную жизнь провинции (в изображении губернских газет), Слепцов почти дословно повторяет слова своего героя Рязанова:

«Трудное время»	«Губернская пресса»
— Ну, что в газетах?—спрашивает он ⟨Щетинин⟩, не глядя на Рязанова. —Да ничего особенного; по части внутренних дел все хорошо: усмирение идет успешно, *крестьяне освобождаются, банки учреждаются, земские собрания собираются* (II, 122—123).	Из провинциальной журналистики, верно отражающей современное положение дел в провинции, тоже видно, что пробуждение действительно совершилось и что все идет как следует, т. е. *крестьяне освобождаются, банки учреждаются, земские собрания собираются.*

У читателя-современника свежа была в памяти повесть «Трудное время» (опубликованная в четвертой — восьмой книжках «Современника» 1865 г.). Автор давал понять, что занимает ту же позицию, что и демократ Рязанов, скептический наблюдатель современной жизни, враг либерализма.

На конкретном примере — зависимом положении губернской прессы от местного начальства — доказывает Слепцов лицемерность либеральных преобразований (в том же духе о печати и самоуправлении шла речь в повести «Трудное время»). Передавая диалог двух «независимых органов», стремящихся сохранить тайну своего рождения (свою зависимость от местного начальства или столичной прессы), Слепцов ядовито сближает их с апокрифическим лицом — безродным Мельхиседеком.

Слепцов применяет один из приемов сатиры Щедрина, указывая на единую реакционную сущность по видимости противостоящих друг другу общественных явлений. Он сближает (пренебрегая различной номенклатурой и фразеологией) «зависимые» и «независимые» органы печати, ретроградные и «прогрессивные» газеты. Первых писатель называет «мертворожденными», «детищами губернских правлений», «бренными останками», «гробами», вторых — «живыми органами», «отрадными явлениями», «залогом будущего развития», «зеркалом нашей внутренней жизни» (автор пользуется в этом случае либеральной терминологией).

Но своими конкретными характеристиками Слепцов заставляет читателя применять к «независимой» прессе те его определения, которые он дал «зависимым» органам печати.

Так, давая перечень «прогрессивных» изданий, он называет крайне реакционный, шовинистический «Вестник Югозападной и Западной России», выходивший в Киеве. Читателям «Современника» были ясны ирония и сарказм автора, вложенные в такие, например, характеристики «Вестника...»: «...полнейшая независимость мнения вместе с необыкновенной строгостию в преследовании главной цели»; «ни один провинциальный орган не может соперничать» с ним «в той популярности», которую он «успел приобресть ⟨...⟩ даже в столицах». Созданный властями с целью «борьбы с польским влиянием», «Вестник...» был полуофициозен, пропагандировал русификаторскую и колонизаторскую политику царизма на западе России.

Хотя как будто бы только о «зависимых» газетах сказано, что они «печатаются в губернской типографии и пишут их не публицисты, а канцелярские служители», но сам писатель помогает распространить это суждение на газеты «независимые», когда говорит о качествах, свойственных «всем провинциальным газетам вообще».

Слепцов прибегает и к другой форме разоблачения так называемых «независимых» газет. Он сближает их со столичными реакционными изданиями, указывает на подражание «известной московской газете» («Московским ведомостям») и петербургской («Северной почте»), а провинциальных публицистов называет «местными Пановскими». Читатели «Современника» хорошо понимали этот намек. Пановский — фельетонист «Московских ведомостей» («Что делается в Москве?», «Наши домашние дела» и др.) — сообщал не только об увеселениях, но писал обозрения московской жизни, давал обзоры новых журналов и при этом нещадно бранил петербургскую демократическую печать. Сотрудники «Современника» не раз намекали на «полицейское» прошлое Пановского (он служил в 1830 г. начальником высшей полиции при управлении варшавского военного губернатора). Так, Салтыков-Щедрин издевался над «большой наблюдательностью и изяществом манер» Пановского, намекал на его шпионскую деятельность: будет сообщать публике через Байбороду (Каткова и Леонтьева) о том, «кто где был, что ел и с кем шептался» [1]. Слепцов называет провинциальных публицистов «местными Пановскими» еще и потому, что в некоторых губернских газетах брали этого фельетониста под свою защиту: «Пановскому ⟨...⟩ мы поверили почти на слово, несмотря на подтрунивание над ним петербургских фельетонистов»,— писал, например, сотрудник нижегородской газеты [2]; в этой же газете популярность «Московских ведомостей» Каткова объясняли тем, что они являются «полнейшим выражением мнений большинства» [3]. Слепцов иронически хвалит «прогрессивные органы провинциальной журналистики» за то, что они «стремятся к тому, чтобы не отставать от современного течения дел».

В качестве доказательств этой «похвальной ревности» не отставать от событий, в освещении которых газеты, однако, лишены всякой самостоятельности, Слепцов ссылается на упоминание в провинциальных газетах «Шлезвиг-голштинского вопроса», «папской энциклики» и «туринских событий». Напомним о них.

В захвате у Дании Шлезвига и Голштинии Пруссией и Австрией царское правительство сыграло роль подстрекателя; оно обещало Пруссии невмешательство (в благодарность за помощь в польских делах). Провинциальные публицисты, вслед за публицистами «Московских ведомостей», стояли на защите русского правительства, в то время как «Колокол» и «Современник» с горечью писали о «неистовой и беспощадной насильственной германизации Шлезвига», об «угнетенных шлезвиг-голштинских братьях», которыми распорядились «как бесчувственными пешками» [4].

Другой факт, упомянутый Слепцовым, папская энциклика, послание папы Пия IX от 9 декабря 1864 г., в котором глава католической церкви нападал на науку, свободу слова и печати.

Третий — «туринские события». Они,— пишет Слепцов,— вызвали «справедливое негодование» «Оренбургских губернских ведомостей». Писатель имеет в виду «беспорядки» в Турине в сентябре 1864 г. «Толпы пролетариев и рабочих с подозрительною наружностью,— читаем в «Московских ведомостях»,— проходили по улицам,

вооруженные толстыми палками и предшествуемые барабанами и знаменами. Они кричали во все горло, и между различными криками чаще всего раздавалось: „Да здравствует Гарибальди!“»[5] «Московские ведомости», неодобрительно отнесшиеся к подобным «восклицаниям», высказывали, однако, лицемерное сожаление о пролитой крови во время столкновений туринцев с полицией. Подобные эмоции имеет в виду Слепцов, когда говорит о недовольстве провинциальной газеты.

Обличая мнимую «независимость» губернской прессы, служащую будто бы «проводником возрожденной гласности», Слепцов дает ясно понять, что не русское общество, не народ, а начальники губерний фактически получили право на эту «гласность» и воспользовались ею для публикации в «независимой» прессе своих распоряжений, указов, для «оглашения своих предначертаний». В этом отношении,— говорит писатель,— «первое место, бесспорно, принадлежит „Олонецким губернским ведомостям“». Почему так часто вспоминает Слепцов именно эту газету? Потому, что в ней наглядней всего раскрывался лицемерный характер правительственной политики, правительственного законодательства. Писатель показал на этом примере, что провинция, губернская пресса далеки от какой бы то ни было самостоятельности. «Знаменательной эпохой» названы в «Олонецких губернских ведомостях» годы, которые Слепцов определил как «трудное время»: «1864 г.,— пишет олонецкий публицист,— без сомнения, займет одну из самых блестящих страниц в летописях внутренней жизни России. Лишь только положен был конец притязаниям иностранных держав на вмешательство по случаю беспорядков, происходивших в Царстве Польском, правительство, и в то время не прекращавшее предпринятых важных законодательных работ, стало трудиться с удвоенною энергиею〈...〉Путь к достижению всех желаний открывают законоположения, изданием которых ознаменован закончившийся год...»[6]

Генерал-губернатор Олонецкой губернии Ю. К. Арсеньев в изображении Слепцова — сатирическая фигура. Писатель использует конкретные факты, чтобы показать, как Арсеньев выполняет в провинции роль «недремлющего ока» правительства и выступает благодетелем народа. В «Олонецких губернских ведомостях» Арсеньев не только предает гласности свои распоряжения, но «оглашает» и свои филантропические поступки. Слепцов язвительно комментирует выступления в местной печати губернатора, характеризующие и его верноподданнические чувства, бдительность (ночные внезапные обходы полицейских постов) и его «великодушие, мягкосердечие» («закупил на свои деньги 18 тулупов», которые препроводил солдатам «с внушением продолжать деятельно оберегать установленные тишину и порядок»)[7].

Когда Слепцов иронически писал, что губернаторы не только не чуждаются гласности, но «употребляют ее как надежное орудие для преследования злоупотреблений», и приводил в пример олонецкого губернатора, он знал, конечно, и о других фактах, которые публиковала местная газета: о чтении Арсеньевым в подведомственных ему городах (Вологде, Петрозаводске и др.) правил об учреждении обывательских ночных караулов в помощь полиции[8], о разрешении Александром II (в ответ на ходатайство петрозаводского городского общества) присвоить статскому советнику Арсеньеву звание почетного гражданина Петрозаводска[9], о торжественном чествовании Арсеньева по этому поводу в зале Благородного собрания и о прочувствованной его речи, из которой явствовало, что это событие «останется одним из отраднейших воспоминаний» его служебной деятельности, что он будет продолжать «с полным усердием и неизменной настойчивостью заботиться о точном соблюдении законов и повелений государя-императора ко благу Олонецкого края»[10]. На все эти факты, свидетельствующие о характерном явлении времени — игре в либерализм,— и указывает автор, настойчиво отсылая читателя к «Олонецким губернским ведомостям». Дважды (и довольно пространно для небольшой статьи) рассказывает он о действиях олонецкого губернатора, три раза упоминает о «18 тулупах», купленных на свои деньги олонецким начальником.

Слепцов приводит по содержанию как будто бы не связанные между собой несколько примеров: распоряжение олонецкого губернатора о полиции, епархиального начальства Котельнича о местном духовенстве («Вятские губернские ведомости»), «отношение» попечителя Московского учебного округа по поводу классических и реальных

гимназий («Костромские губернские ведомости»). Все эти примеры основаны на реальных фактах [11]; в общей сложности они создают впечатление о ряде сторон современной жизни (не только провинциальной): преследование лиц, скрывающихся от полиции, бдительность акцизных чиновников, практика «угощения» духовенством прихожан пивом и вином в праздничные дни в благодарность за «доходы произведениями природы», которые оно получает от своей паствы в дни будничные; растерянность чиновников перед либеральными «новшествами»; что́, например, предпочесть: классическую или реальную гимназию (учебное ведомство было занято в это время вопросом, как преобразовать, «согласно новому уставу», гимназию; «Московские ведомости») и др.

В совокупности все примеры, приведенные в «Губернской прессе», помогали писателю «обнаготить» «стыдливую губернскую нимфу», что, по его словам, «в художественном отношении имеет свою прелесть»: они били в одну цель, указывали на половинчатость, декларативный («гадательный») характер либеральных реформ. В России, утверждал Слепцов, нет народного самоуправления, отсутствует гласность, губернская пресса — отголосок канцелярии губернатора или полицейского управления.

Как и в «Досадном положении», он показывал толчение воды в ступе вместо прогресса общественной жизни и бессмысленные занятия вместо настоящего дела (губернские публицисты почти переписывали столичные газеты, губернские начальники публиковали свои распоряжения, а затем оглашали их отмену).

Интересен выбор Слепцовым мест издания газет; ему важно было, чтобы перед читателем мелькали названия: Олонецкие, Енисейские, Вятские, Оренбургские и др. Это губернии ссылки. На репрессии же он намекает, говоря о «дурных последствиях, происходящих от неумеренного красноречия», и цитируя (без указания на источник и неточно) строки стихотворения Лермонтова «Памяти Одоевского»:

Далеких гор зубчатые хребты...
Немая степь синеет...

Этот лермонтовский пейзаж был воспроизведен незадолго до Слепцова Огаревым в стихотворении, посвященном его воспоминаниям о встрече с декабристами на Кавказе в 1838 г. («И если б мне пришлось прожить еще года...»). Цитата в статье Слепцова должна была вызвать у читателей той поры ассоциации не только с поэтом-декабристом Одоевским и поэтом-изгнанником Лермонтовым, но и с Огаревым, Герценом, с судьбой Чернышевского, Михайлова (сообщение об его смерти в Сибири 3 августа 1865 г. было только что получено) и других борцов за свободу.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Московские письма».— Щедрин, т. V, стр. 40.
[2] «Нижегородский ярмарочный справочный листок», 1865, № 17, от 5 августа.
[3] Там же, № 1, от 15 июля.
[4] Э. К. Ватсон. Политика.— «Современник», 1865, № 6, стр. 245 и № 7, стр. 165.— Герцен писал по поводу этих событий: «...трехглавый немецкий орел <...> заклевал Данию, в дружбе с своим византийским товарищем». «Польский вопрос и датская война — две огромнейшие ступени вниз по той стремнине, по которой сходит старый мир» («Что же дальше?» — А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах. М., Изд-во АН СССР, т. XVIII, 1959, стр. 305—307).
[5] «Московские ведомости», 1864, № 205, от 19 сентября («Беспорядки в Турине»).
[6] «Олонецкие губернские ведомости», 1865, № 1, от 9 января («Реформы в России в 1864 году»).
[7] Там же, № 4, от 30 января («Распоряжения губернского начальства»).
[8] Там же, № 1, от 9 января («Из Вологды»).
[9] Там же, № 5, от 6 февраля («Высочайшая награда»).
[10] Там же («Олонецкая летопись»).
[11] Слепцов не дает ссылок, но он точно воспроизводит материалы следующих газет: «Олонецкие губернские ведомости», 1865, № 2, от 16 января («Распоряжения начальника губернии»); «Вятские губернские ведомости», 1865, № 2, от 9 января («Беглые заметки»); № 34, от 22 августа («Праздник всех святых в г. Котельниче»); «Костромские губернские ведомости», 1865, № 4, от 23 января (отношение попечителя Московского учебного округа на имя начальника губернии).

ГУБЕРНСКАЯ ПРЕССА

Провинция пробуждается, она, можно сказать, даже совершенно пробудилась. В настоящее время это факт неоспоримый. Из официальных сведений видно... да одним словом, тут и сомнения никакого быть не может.

Из провинциальной журналистики, верно отражающей современное положение дел в провинции, тоже видно, что пробуждение действительно совершилось и что все идет как следует, т. е. крестьяне освобождаются, банки учреждаются, земские собрания собираются. Чего же еще? Можно ли после этого сомневаться? Да и странно было бы, если бы вдруг в самом деле крестьяне перестали освобождаться, а земские собрания собираться. Спрашивается, что же бы это такое было? Что бы стали делать губернские по крестьянским делам присутствия? Как бы должны были поступить в этом случае начальники губерний и губернские предводители дворянства? А, главное, спрашивается, чем бы стали наполняться губернские ведомости? Этого нельзя. И кроме того... да нет; никак нельзя! На что это похоже?

Итак, у нас в провинции в настоящее время не жизнь, можно сказать, а масленица, и провинциальные газеты передают нам подробности этого карнавала с неподражаемой отчетливостию. Но при более внимательном изучении губернской литературы, кроме этой отчетливости, оказывается в ней еще другое неоцененное качество, совершенно ускользающее от поверхностного взгляда. Качество это свойственно всем провинциальным газетам вообще и состоит в том, что они всегда очень верно воспроизводят ту среду, которая питает и греет их; можно сказать даже, что они и *не могут* дурно воспроизводить ее, если бы даже хотели. А надо заметить, что губернские газеты именно тем и отличаются, что выказывают постоянное желание изображать вещи совершенно не в том виде, в каком они есть. Но, к счастью, им это никак не удается, потому что нитки, которыми сшиваются произведения губернских публицистов, до такой степени всем знакомы, что даже человек, никогда не служивший в провинции, сразу может заметить, что это нитки из губернского правления. Потому-то этих произведений никто не читает. И напрасно. Таких пустяков бояться нечего; особенно если нитки можно подпороть и обнаготить какую-нибудь стыдливую губернскую нимфу. Это даже в художественном отношении имеет свою прелесть.

Впрочем, в числе провинциальных газет есть тоже *независимые*. Есть. Да и странно, в самом деле, почему же бы и не быть независимой газете в провинции? Чем же столицы счастлив⟨ее⟩? Даже по-настоящему в провинциях, именно в провинциях-то и следовало бы издавать самые независимые журналы и газеты, потому что здесь меньше, нежели где-нибудь, можно опасаться дурных последствий, происходящих от неумеренного красноречия: здесь человек находится в такой зависимости от местных условий, что поневоле не будет выходить за пределы местных интересов; не говоря уже о том, что самый независимый орган в мире должен будет наконец умолкнуть, когда убедится, что ему внимают

«Далеких гор зубчатые хребты»

и кругом одна «немая степь синеет».

Попробуйте послать какие угодно «Московские ведомости» куда-нибудь подальше, например, в Нижнеудинск, и послушайте тогда, как они запоют. Впрочем, ведь это только так, одно предположение, что же касается существующих у нас провинциальных газет, под названием *независимых*, то надо еще прибавить, что положение их едва ли не хуже положения зависимых. О тех уж так и известно, что они печатаются в

губернской типографии и пишут их не публицисты, а канцелярские служители, сшивают сторожа и печать наклеивают они же. Так уже все и знают, да и сами органы от губернского правления не отрекаются; а эти несчастные независимые даже у себя на родине слывут какими-то непомнящими родства бродягами. Всё-то они оглядываются, всё чего-то боятся, только и дела, что отрекаются от своих родителей. А главное скверно то, что этому самопроизвольному зарождению их никто не верит.

— Откуда ты, эфира житель?— пристает к независимому органу другой, такой же независимый.

— Ниоткуда,— уклончиво отвечает первый.

— Но сам собой ты быть не мог,— настаивает второй.

— Нет, мог,— утверждает первый.

— Что за чёрт! Да что ты за Мельхиседек такой?

— Мельхиседек. Вот тебе и всё. А ты сам-то чей?

— Я-то? Я — совсем разница. Я — ничей.

На этом обыкновенно и прекращается губернская полемика; так как, собственно говоря, тут и спорить-то было не о чем, потому что ни тот, ни другой независимый орган ни на одну минуту не сомневался в том, что и не может быть такого органа в мире, который бы никем не издавался, следовательно, что же тут? А главное каждому из них необходимо нужно доказать, что *он* независимый, а другой вот, так тот зависимый. Что же прикажете делать? Не все же водку пить и в карты играть, не мешает тоже и умственным позаняться для разнообразия.

Кроме внешнего различия, в органах провинциальной прессы замечается также различие и по внутренним качествам. На этом основании все губернские газеты должны быть отнесены или к той, или к другой категории. Первую можно назвать *прогрессивной*, вторую — *ретроградной*. Газеты, принадлежащие к первой категории, имеют все признаки возрождения и носят в себе несомненный залог будущего развития; образцом таких газет могут служить: «Киевлянин», «Одесский вестник», Харьковские, Олонецкие, Орловские, Вятские, Ставропольские и Бессарабские губернские «ведомости», а также газеты «Волга» и «Кавказ». Некоторые, благодаря местным условиям, успели уже совершенно развиться и даже принести плоды; таковы, например: Киевский, Югозападный, Виленский и другие «Вестники». Особенного внимания заслуживает в этом отношении «Вестник Югозападной и Западной России» как орган, соединяющий в себе все качества, необходимые для успеха, а именно: полнейшую независимость мнения вместе с необыкновенной строгостию в преследовании главной цели; к этому следует прибавить еще, что ни один провинциальный орган не может соперничать с «Вестником Югозападной и Западной России» в той популярности, которую успел приобресть последний даже в столицах.

Газеты, относящиеся к этой категории, с первого же взгляда останавливают на себе внимание читателя как разнообразием содержания, так равно и теми усилиями, которые замечаются со стороны издателей, усилиями — выйти по возможности из тесного круга местных интересов и стать на одну линию с петербургскими или московскими газетами. Впрочем, больше видно старания походить на известную московскую газету. Некоторые органы завели у себя отдел так называемых *передовых статей*, в котором с бо́льшим или меньшим успехом стараются подражать решительному и энергическому тону московских публицистов; далее следуют правительственные распоряжения, телеграммы, иностранная почта, а в конце местные Пановские изображают благородные спектакли, обеды, данные офицерами какого-нибудь полка своему полковому командиру, и проч. В некоторых подражательность доходит до того, что заглушает в них самое чувство независимости; так, например, в отделе телеграмм иногда



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

Литография с рисунка К. А. Трутовского, 1860-е гг.

Исторический музей, Москва

«...видно, что пробуждение действительно совершилось и что все идет как следует, т. е. крестьяне освобождаются, банки учреждаются, земские собрания собираются. Чего же еще?» (Из статьи Слепцова «Губернская пресса»)

бывает напечатано крупными буквами: «сегодня, по причине распутицы, мы не получали „Северной почты“»; а другие до того довели похвальное желание ни в чем не отставать от столичных органов и усовершенствовались до такой степени, что по примеру «Московских ведомостей» успели уже ослепить у себя шрифт и сделали его достаточно неразборчивым.

Газеты, принадлежащие ко второй категории — ретроградных,— представляют зрелище совершенно другого рода. Остановив внимание читателей на провинциальных органах возрождения, тяжело отвлекать его от этого отрадного явления нашей народной жизни и рисовать картину запустения. Впрочем, много и говорить нечего об отсталых газетах, об этих мертворожденных детищах разных губернских правлений; тем более, что они, уступая новому духу времени, с каждым днем заменяются новыми, живыми органами и в настоящую минуту представляют безмолвный ряд гробов, перед которым умолкает всякая полемика, потому что они на все вопросы могут издавать только запах тления, и никакие трубные гласы не пробудят их от вековечного сна.

Упомянув о мертвых органах нашей провинциальной журналистики и воздав должное их бренным останкам, возвратимся снова к живым и ознакомимся с ними короче для того, чтобы узнать, как, однако, они пользуются жизнию и в какой мере исполняют свое назначение.

Насколько можно судить по одному беглому обзору, все более или менее прогрессивные органы провинциальной журналистики назначение свое исполняют тщательно, с особенным старанием и всеми зависящими от них средствами стремятся к тому, чтобы не отставать от современного течения дел. Доказательством этой похвальной ревности служит то, что губернские газеты, действительно, не отстают от событий. Поднимется ли в столичной журналистике вопрос о народном самоуправлении,—

сейчас и провинциальные газеты спешат сказать свое слово о самоуправлении; станет ли на очередь юридическая реформа,— и провинциальные газеты начинают рассуждать о том, куда же денутся чиновники, которые, за негодностью, должны будут остаться за штатом; даже и в том случае, когда «Московские ведомости», от нечего делать, устраивают примерное сражение с «Голосом» и начинают доказывать, что они от казенных объявлений несут огромные убытки, а классическое образование несравненно лучше реального,— даже и тогда провинциальные газеты не остаются безмолвными свидетельницами спора и спешат прибавить, что и они также согласны или не согласны, смотря по тому, как. Да чего же лучше?— Шлезвиг-голштинский вопрос и тот нашел отголосок в губернской прессе, даже о папской энциклике упоминалось чуть ли не в «Бессарабских областных ведомостях»; а в «Оренбургских» — туринские события возбудили даже справедливое негодование.

Но еще бóльшая чуткость замечается в губернской прессе к явлениям внутренней жизни России. Русский прогресс, отличавшийся, как известно, особенным ожесточением в первые годы, стал несколько ослабевать к концу ⟨18⟩63 года; следующий за тем год представляет новый фазис развития общественности; русский прогресс с новой силой, но уже в измененном виде, снова водворяется в нашем отечестве. А так как это водворение совершается главным образом внутри России и фундаментом для него послужила народность, то очень естественно, что и губернская пресса, служащая, так сказать, зеркалом нашей внутренней жизни, не могла не отразить в себе и этого нового явления. Провинциальная журналистика, успевшая несколько осоветь и позаржаветь перед освобождением, в настоящее время с новой силой спешит заявить о своей готовности служить проводником возрожденной гласности и с напряженным вниманием прислушивается к учащенному биению нашей общественной жизни. Такая готовность не могла, в свою очередь, не обратить на себя внимания некоторых высокопоставленных лиц, внезапно возымевших надобность прибегать к печатному слову для оглашения своих предначертаний. В числе удостоенных такой чести первое место, бесспорно, принадлежит «Олонецким губернским ведомостям». На листах этой газеты г-н начальник губернии, 25-го января сего года, нашел нужным обнародовать следующее.

«В прошлую ночь, с 24 на 25 января, к сожалению, я получил новое доказательство, что в городе Петрозаводске необходимо постоянно строгое личное мое наблюдение за точным исполнением каждого распоряжения. Две недели сильный катар препятствовал мне выходить из дому и совершать обычные ночные объезды города. Вчера в час с половиною ночи я отправился, в первый раз после болезни, смотреть, все ли в городе в порядке. И что же нашел? Ночные сторожа или спали, или не находились на своих местах. Из четырех обходов встретил только один. Пьяных на улицах шаталось много.

Грустно было мне убедиться, что петрозаводская полиция действует бдительно и усердно только тогда, когда над нею висит опасность моего внезапного появления в той или в другой части города и страх немедленного взыскания за неисполнение своих обязанностей. Не развилось еще в чинах петрозаводской полиции, несмотря на все мои о том старания, сознание долга службы и высокого призвания полиции к охранению спокойствия и тишины в городе».

Но грустное впечатление, которое производит на читателя факт, вынудивший г-на начальника губернии прибегнуть к гласности, в значительной степени изглаживается сознанием того, что наконец наступило время, когда даже лица, так высоко поставленные, как, например, губернаторы, не только не чуждаются гласности, но, напротив того, употреб-

ляют ее как надежное орудие для преследования злоупотреблений. Из той же газеты мы узнаем, что г-н олонецкий губернатор купил на свои деньги, 28 января, тулупы для всех солдат петрозаводской команды (всего 18 тулупов).

В числе удостоенных внимания местных властей следует упомянуть также о «Вятских губернских ведомостях», в которых (в 34 №) была напечатана статья г-на Глушкова «Праздник всех святых». В этой статье автор заявил, между прочим, о существующем у духовенства города Котельнича обычае варить пиво для угощения прихожан. Такое ничтожное обстоятельство, как заявление г-на Глушкова, в прежнее время прошло бы бесследно: кому какое дело до того, что пишет г-н Глушков в «Вятских губернских ведомостях»? Угощает ли духовенство города Котельнича прихожан своих пивом или само угощается на их счет, и в этом тоже интересного мало. По-видимому, так! Но не следует забывать, что мы живем в такое время, когда никакое обстоятельство, как бы оно, по-видимому, ничтожно ни было, бесследно проходить не может; когда губернаторы покупают на свои деньги полушубки для команды, а чиновники акцизного управления вместо того, чтобы заниматься чтением «Биржевых ведомостей» или прекратившегося «Народного богатства», увлекаются этнографическими статьями неофициального отдела местных губернских ведомостей и увлекаются ими до такой степени, что даже на основании их производят дознание. Оказывается, что духовенство города Котельнича действительно предается варению пива под праздник всех святых и угощает им своих прихожан; но так как варение пива без взятия патента и платежа акциза в городах не дозволяется, то г-н управляющий питейно-акцизными сборами обращается к епархиальному начальству с просьбой сделать распоряжение о внушении духовенству города Котельнича, чтобы на будущее время оно воздержалось от варения пива, а равно предварить об этом духовенство других городов, в которых, *может быть*, тоже существует трогательный обычай угощать прихожан пивом собственного приготовления, как предполагает и г-н Глушков. Епархиальное начальство сделало зависящее распоряжение опять-таки не просто, а через местные «Епархиальные ведомости», внушив духовенству города Котельнича, чтобы оно воздержалось на будущее время от варения пива и т. д.

Сейчас приведенный случай, не заключая в себе ничего особенного, заслуживает некоторого внимания потому, что является новым подтверждением того отрадного факта, о котором говорилось выше. Журналистика приобретает с каждым днем все более и более значения и становится надежным проводником между местными властями и населением. Распоряжения, производившиеся до настоящего времени путем канцелярской переписки и облеченные глубокою тайною, в наши дни получают такой гласный характер, что даже епархиальное начальство не в силах противиться этому общему движению. В доказательство того, что наша провинциальная пресса, действительно, все более и более удостоивается внимания местных властей, можно было бы привести множество примеров. Из распоряжений, сделанных путем гласности, заметно даже, что некоторые высокопоставленные лица взяли местную журналистику под свое покровительство и оказывают ей начальническое поощрение; приучают, так сказать, как ее (журналистику), так равно и подчиненных своих к тому, чтобы они не боялись света и гласности; для этого, *в виде опыта*, оглашаются такие распоряжения, которые на первый раз не очень бы запугивали подчиненных и в то же время удостоверяли бы публику в том, что над ними бдит недремлющее око начальника и притом такое око, которое не только не боится обличений и оглашений, но даже само обличает и само оглашает. Например: всем известно, что полицейский надзор за проживающими без письменных видов в городах у нас вообще очень слаб, до такой степени

слаб, что даже в Петербурге беспрестанно открываются разные притоны и притонодержатели. Для этого, как известно, снаряжаются даже особого рода ночные экспедиции и производятся внезапные нападения на известные дома. Только с помощью таких энергических мер, да и то при содействии самых бескорыстных чиновников полиции, удается захватить несколько человек беспаспортных. Самая необходимость прибегать к таким мерам, время от времени, доказывает уже, что обыкновенные установленные на этот предмет правила недействительны. Если является надобность прибегать к крутым мерам, то это показывает, что есть в городе такие вещи, которые нужно открывать; а открывать можно только то, что может скрываться. Кто же открывает всем известные вещи? Например, в настоящее время нет никакой возможности открыть Америку, потому что она уже открыта. Ее можно было открыть только до тех пор, пока она еще не была открыта, т. е. когда о ней никто ничего не знал. Точно то же и с беспаспортными. Если до сих пор еще производятся открытия по части разных притонов, то это показывает, что до сих пор существуют притоны и лица, скрывающиеся в них, о которых полиция ничего не знает, а если полиция о них ничего не знает, то это показывает, что она не достаточно бдительна в обыкновенное время. И если это случается в Петербурге, где полиция вообще несравненно бдительнее, где она, будучи организована на европейский лад и получая притом большое содержание, имея, кроме того, в деле преследований и пресечений всякого рода обширную практику, стало быть, обладая всеми средствами для производства внезапнейших обысков и стремительнейших арестов, все-таки не может обыскать всех притонов и арестовать всех беспаспортных и подозрительных лиц, проживающих в столице, то можно себе представить, в каком положении находится полиция в других городах империи, без средств, без всякой поддержки, неорганизованная, заваленная работой и в то же время обязанная подражать во всем петербургской полиции. Неудовлетворительность городской полиции в наших провинциях ни для кого не новость, и всякий понимает, почему это так. Всем известно, что хорошая полиция лучше дурной полиции, что если хотят иметь хорошую полицию, то для этого нужно много денег; а что если мы не можем похвалиться нашей полицией, то это значит, что у нас мало денег. Кто же этого не знает? Кто не знает и того еще, что даже с большими деньгами очень трудно организовать хорошую полицию, что тут одними внушениями да подтверждениями ровно ничего не сделаешь? Так думают все рассудительные люди, того же мнения вероятно и г-н олонецкий губернатор, который купил 18 полушубков на свой счет для петрозаводской команды; но, несмотря на это, из официальной части «Олонецких губернских ведомостей» мы узнаем, что олонецкий губернатор, *придя к убеждению*, что полиция, не считая лиц, приезжающих по торговым делам*, не имеет сведений о *половине* людей, проживающих в Петрозаводске и обязанных иметь письменные виды, сделал распоряжение, «чтобы городской пристав и его помощники, разделив город на четыре участка, приступили одновременно, с 18 текущего января, к осмотру мастерских, постоялых дворов и тому подобных (?) заведений, а также собрали точные сведения о *всех* проживающих в обывательских домах людях из других губерний и уездов и окончили это поручение *непременно* в *двухнедельный срок*».

Всякий понимает, конечно, что ни сам губернатор, сделавший такое поручение, ни петрозаводская городская полиция, получившая его, ни на одну минуту не усомнились в том, что добросовестное исполнение его не в силах не только какой-нибудь петрозаводской, но даже и петербург-

---

* Конструкция неправильна — выходит так, как будто приезжающие по торговым делам принадлежат к полиции.— *Прим. Слепцова.*

ской полиции. Сделать в две недели (и притом *непременно*) то, чего не могли сделать в десятки лет, это, как хотите, немножко скоро. Ну, по крайней мере, три недели: все еще как-нибудь можно бы управиться. К тому же надо заметить, что в распоряжение, вероятно, по причине спешности дела, вкрался маленький недосмотр: поручается полиции *гласно* произвести изыскания, которые по существу своему должны быть *тайные*; иначе они не достигают цели. Вот что значит поторопиться! И с гласностью нужна осторожность. Но дело-то все-таки в том, что оглашение таких распоряжений само по себе тем не менее отрадно, потому что приучает как подчиненных, так и читателей не бояться гласности; а так как и в этом отношении следует соблюдать постепенность, то на первый раз, в виде опыта, можно оглашать распоряжения неудобоисполнимые, потом понемногу можно будет начать печатать такие, которые и могли бы исполняться, но почему-либо не исполняются, и, наконец, перейти уже к текущим делам и совершенно удобоисполнимым поручениям. Так оно, вероятно, и будет.

К числу подобных же, *примерных* заявлений относится, вероятно, и напечатанное в «Костромских губернских ведомостях» отношение попечителя Московского учебного округа на имя начальника Костромской губернии, из которого видно, что «в настоящее время учебное ведомство занято рассмотрением вопроса: *какие* из гимназий Московского учебного округа полезно преобразовать, согласно новому уставу, в гимназии классические и *какие* в реальные». Желая знать потребности большинства жителей разных сословий, дети которых получают образование в гимназии,— г-н попечитель обратился к г-ну начальнику губернии, которому *более нежели кому-либо* известны означенные потребности, с просьбою сообщить, какого рода гимназия — классическая или реальная — могла бы быть устроена *по местным потребностям* губернии. С своей стороны начальник губернии обратился с тем же вопросом к предводителям дворянства.

Понятное дело, что поручение, возложенное на г-на начальника Костромской губернии, а им переложенное на предводителей дворянства, принадлежит тоже к числу неудобоисполнимых и опять по той же причине— по совершенной невозможности исполнить его мало-мальски добросовестно; а это доказывается уже тем, что г-н начальник губернии, несмотря на то, что ему «более нежели кому-либо известны означенные потребности», следовательно, более нежели кому-либо дозволяется быть компетентным в решении ученых вопросов — уклонился от прямого ответа и ограничился тем, что отнесся с своей стороны с тем же вопросом к предводителям дворянства, прописав целиком отношение попечителя Московского учебного округа. А сделал это губернатор потому, вероятно, что понял, что для решения педагогических вопросов недостаточно еще знания местных потребностей, но, не желая огорчить своим ответом г-на московского попечителя, счел за лучшее отклонить от себя это лестное поручение и, поискав вокруг себя, на кого бы приличнее всего свалить это поручение, вспомнил о передовом сословии, которое по самому положению своему обязано знать все науки (noblesse oblige). Предводители дворянства тоже в свою очередь могут пожелать уклониться от сделанной им чести и свалить решение вопроса о гимназиях на дворян.

Да и странно было бы в самом деле. Ну, что же делать-то больше? Представьте, что один говорит: я хочу реальную гимназию, а другой говорит — классическую. Почему реальную, почему классическую, никто ведь этого сказать не может; да и какая между ними разница, тоже это неизвестно, так что же толку рассуждать о том, чего не знаешь! Да если бы и знали, так тоже пользы от этого было бы немного. Стали бы баллотировать мнения. Ну, губернатор и представил бы кому следует, что вот, дескать, костромское дворянство на выборах (да еще нужно спросить,

прежде всего, могут ли быть такие выборы? И кто их разрешать бы стал? все тот же губернатор) большинством стольких-то голосов против стольких-то положило: «просить о разрешении в городе Костроме классической гимназии». А там и без того классическая. Так из чего же были бы все эти хлопоты, споры, баллотировка и переписка! Хорошо еще, если этого вовсе не будет и все обойдется припечатанием в газетах отношения г-на попечителя учебного округа.

Говоря о новом периоде развития, в который вступила наша провинциальная журналистика, нельзя было не коснуться кое-каких распоряжений некоторых из наших общественных деятелей. Распоряжения эти в настоящем случае имеют для нас интерес исключительный. Разбирать их действительное значение и вникать в их государственный смысл мы не можем.

Мы можем рассуждать о действиях наших администраторов настолько, насколько они служат к оживлению нашей губернской прессы. И в этом отношении они служат поводом к соображениям разного рода. Из вышеписанных примеров нетрудно заметить, что процветанию нашей провинциальной журналистики положено довольно прочное основание, состоящее в оглашении разных распоряжений и предначертаний, совершаемых в достаточно либеральном духе, и если эти предначертания бывают не всегда удачны, то от этого губернская пресса только выигрывает, потому что ошибки администраторов, по всей вероятности, повлекут за собою разного рода пояснения, дополнения и изменения, которые в свою очередь не замедлят появиться на листах тех же ведомостей, и таким образом читатели будут иметь возможность следить исторически за ходом развития тех мер, которые предпринимаются для их пользы. Вместо примера можно указать на распоряжение г-на генерал-губернатора Западной Сибири, напечатанное в «Енисейских губернских ведомостях»,— распоряжение, воспрещающее торги на городских базарах по праздничным дням. Подобные же благочестивые распоряжения сделаны были и в других местах России, но повели к затруднениям, потому что крестьянам ездить на базар пришлось в рабочие дни; на этом основании распоряжения отменялись. По всей вероятности, таковые же затруднения не замедлят явиться и в Западной Сибири, а вследствие этого необходимо будет пояснить в одном из ближайших №№ «Губернских ведомостей», что «так как распоряжение, воспрещающее торги на базарах в праздничные дни, повело к затруднениям, то и разрешается снова торговать на базарах по праздничным дням».

Такого рода пояснения, напечатанные на листах той же газеты, не могут не иметь благодетельного влияния на оживление нашей губернской прессы.

P. S. Если кто-нибудь из читателей заметит, что приведенные в этой статье факты относятся большею частью к первой половине текущего года и, следовательно, уже несколько устарели, то на этот счет он может оставаться спокойным: факты действительно взяты не новые, но всякий, кому припадет охота порыться в губернской прессе, может лично убедиться в том, что чего-нибудь особенно нового в пределах провинциальной журналистики и совсем никогда не бывает. Внешняя сторона явлений этой среды, на первый взгляд, как будто и в самом деле кажется разнообразной, как будто и в самом деле что-то новое; но это только так кажется: одно и то же явление постоянно повторяется из номера в номер, из года в год; видоизменяются наружные признаки его, а смысл остается неизменным.

‹1865 г.›

ТРУД И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

«Игры и зрелища»— название одной из статей Слепцова, перечисленных им на полях рукописи его фельетона «Речь, за которую я мог бы быть изгнан...» (см. выше, стр. 339). Статья в полном виде до нас не дошла. От нее сохранились лишь пять публикуемых отрывков. Относятся они к разным местам статьи и отражают разные этапы работы над нею (сильно правленные черновые рукописи и беловые автографы). Тексты отрывков расположены на отдельных разрозненных листах, взятых жандармами при аресте Слепцова в 1866 г. Когда в III Отделении эти листы сшивались в тетрадь, они попали в разные места ее и оказались, таким образом, среди рукописей других статей и рассказов Слепцова.

Время работы Слепцова над статьей, по-видимому, незавершенной, определяется приблизительно. Это весенние месяцы либо 1865 г., либо 1866 г. Такой вывод следует из сопоставления имеющихся в тексте указаний, с одной стороны, на уже совершившуюся судебную реформу (она была введена 20 ноября 1864 г.), с другой стороны, на «минувшую масленицу», которую можно отнести и к 1865 г. и к 1866 г.

Несмотря на фрагментарность сохранившегося материала, замысел статьи ясен. Слепцов хотел раскрыть охранительную суть политики самодержавия и правящих классов в области организации досуга и развлечений народа и общества. Это главная тема. Но в ходе ее разработки Слепцов намеревался затронуть и ряд других вопросов русской общественной жизни того времени.

Сделаем некоторые пояснения к публикуемому тексту, располагая их в избранной нами последовательности печатаемых отрывков.

Фрагмент первый, снабженный заглавием, и, значит, начальный, содержит набросок общей характеристики духовной жизни общества в условиях бесправия самодержавного строя — жизни в состоянии пассивности и всесторонней регламентации: «маршрут нам прописан, на перекрестках столбы, а на столбах персты указующие».

В рукописи фрагмента 1-го имеется два вычерка. Текст одного из них — большего — содержит острую, в щедринской манере сделанную зарисовку фигуры рядового представителя «нашей будничной жизни в ее обыкновенном течении». Несмотря на сатирически-гротескный характер изображения, оно проникнуто болью за страдающего человека, всецело находящегося под игом нужды.

Фрагмент второй начинается с сатирической апологии отечественного «прогресса». «Благонамеренный автор» обозрения — обычная «маска» Слепцова в его фельетонах, обличающих реакцию и пошедших на сделку с ней либералов,— заявляет, что «долг каждого истинного гражданина повелевает ему» «утверждать и подкреплять в сердцах сограждан веру в то, что мы во всех отношениях стремимся вперед». Людям же, которые полагают, что «все наши успехи трын-трава», которые во всех «благих начинаниях» (правительства) видят «какой-то глазной отвод, какой-то фокус-покус», предлагается не доверять.

Очевидно, что «благонамеренный автор» имеет тут в виду последовательных демократов и их борьбу не за реформистские, а за революционные пути общественного развития. За свое «недоброжелательство» к мирному «шествию» прогресса эти люди давно уже получили достойное возмездие (намек на репрессии, которым были подвергнуты Чернышевский и другие революционеры 1861 года).

В поисках «новых доказательств нашей прогрессивности» «благонамеренный автор» берет для примера успехи, достигнутые в последние годы в области «народных гульбищ» и «публичных увеселений» в Петербурге. Мимоходом, для подтверждения мысли, что «лишние доказательства никогда не лишни», приводится ссылка на один из приемов внутренней политики Наполеона III. Уверенность императора Франции «в постоянстве верноподданнических чувств французского народа» не мешает ему принимать всё новые и «новые выражения этих чувств» в виде адресов «от представителей народа», хотя достоверно известно, что адреса эти составляются «в Сенате лицами, преданными императору».

Здесь очевиден намек на ту кампанию посылки верноподданнических адресов Александру II, которая была организована властями в 1863—1864 гг., в связи с политикой царского правительства в Польше.

Чтобы показать «торжественное шествие» «обновленной» реформами русской жизни во всех ее областях, «даже и по части удовольствий», «автор» предлагает «оглянуться немного назад» и сравнить прошлое с настоящим. Все больше сбрасывая с себя маску «благонамеренного» рассказчика, Слепцов обращается затем к ряду сопоставлений и показывает при их помощи картину не «гигантского шага» вперед, а неуклонного движения общества в сторону реакции. «...время всеобщего напряжения и возбуждения страстей, — пишет Слепцов,— время шатания по трактирам, площадям и аудиториям, время публичных лекций, воскресных школ и разных историй» ушло. «Публичные лекции заменены публичными балами, воскресные школы—картами». Никаких «историй» уже нет. Здесь перечислен ряд политических и бытовых признаков русской общественной жизни с конца 1850-х до середины 1860-х годов, от возникновения в стране революционной ситуации до ее краха и наступления реакции.

Слепцов ставит задачу выяснить истинную причину столь быстрого и резкого изменения «вкуса публики».

«Может быть, обстоятельства изменились?»— спрашивает он, подразумевая под «обстоятельствами» существующий социально-политический «порядок вещей», изменение которого могло бы снять вопрос о борьбе с этим порядком. «Нет, обстоятельства, по-видимому, остались те же»,— отвечает Слепцов.

И дальше он заявляет, что, по существу, не изменился и «вкус публики», т. е. что в стране по-прежнему существуют настроения общественно-политического недовольства и протеста: человек «скучает», «все ему представляется, что и то не так, и это нехорошо», он ходит и ищет «к чему бы придраться», его «одолевает нестерпимое желание произвести скандал». Но «благоустроенное общество» «никогда не допускает своих членов до такой крайности». Для предупреждения этих «буйных порывов» в распоряжении правящих классов и их государственного стража — самодержавия — «есть тысячи средств, тысячи занятий, имеющих свойство отвлекать внимание от предметов уж чересчур щекотливых».

В последних трех фрагментах публикуемого текста (два из них имеются в двух вариантах) Слепцов сосредоточивается на характеристике некоторых средств, используемых правительством и реакцией «для обуздания страстей», т. е. для отвлечения общества и масс от настроений социального недовольства и протеста. Это «танцевальные вечера», «буфеты», «азартные игры», «разного рода зрелища и картины по преимуществу соблазнительного содержания» и т. п. для «образованных» слоев. Это «гульбища», «балаганы», «зверинцы», прежде всего «спиртные напитки» для «простого народа».

Однако, констатирует Слепцов, в народе замечается все растущее «охлаждение» к таким «удовольствиям». «Некоторые изменения, случившиеся в последнее время в экономическом быте народа» (падение крепостного права), повысили его сознательность. Взгляд народа «как на свое положение, так и на все окружающее» стал «гораздо глубже и сосредоточеннее». Но перемена эта, по мнению Слепцова, «выразилась в городском населении гораздо резче, нежели в сельском, хотя, по-видимому, должно было случиться наоборот». В связи с этим наблюдением в тексте четвертого фрагмента возникает тема крестьянской пассивности, противопоставляемой относительной активности городского населения, которое «так или иначе» «всегда принимало более или менее деятельное участие во всякого рода движениях, исходивших из центров...»

Одной из задач статьи «Игры и зрелища» было, по-видимому, выяснить значение «труда» и «развлечений» («наслаждений») для разных групп населения. В последнем из публикуемых фрагментов, пятом, Слепцов приступил к разработке этой темы применительно к «рабочему классу, т. е. классу людей, занимающихся чисто механическим трудом». Он высказал по этому вопросу ряд общих замечаний в духе идей утопических социалистов (о праве на «наслаждения» и т. д.), но в дошедшем до нас тексте эта тема не получила сколько-нибудь полного развития.

ИГРЫ И ЗРЕЛИЩА

⟨1⟩

Наша домашняя жизнь так искусно сложилась, да и мы сами к ней так давно приладились, что совсем почти и не чувствуем так называемого бремени жизни *. Мы ничего не требуем от судьбы, и с благодарностью принимаем все, что она по благости своей нам ниспосылает. А потому мы и не чувствуем угрызений совести. Нам нечего желать, раскаиваться не в чем. Лежит перед нами наш жизненный путь, маршрут нам прописан, на перекрестках столбы, а на столбах персты указующие.

Жизнь наша сама собой треснула как раз по самой середине и распалась на две равные части: на труд и безделие, на будни и праздник.

Потому-то нам так легко и живется **.

⟨2⟩

Что вы там ни толкуйте, а мы идем-таки вперед. Это факт. Надо быть очень предубежденным или очень мнительным человеком, чтобы не замечать или, вернее, не хотеть замечать этого торжественного шествия ***.

Конечно, многие самое слово *прогресс* понимают как-то навыворот и придают ему различные кривые толкования. Для таких людей, разумеется****, все наши успехи — трын-трава. Во всех наших благих начинаниях видится им какой-то глазной отвод, какой-то фокус-покус.

Да об этих господах и говорить нечего. Им только и дела, что подсмотреть что-нибудь и сейчас же начать благовестить *****.

---

* *Далее вачеркнуто*: *а*) Мы отлично знаем цену труда, но умеем ценить и удовольствия; мы знаем также по опыту, как трудно добываются удовольствия, и потому безропотно и в чистоте сердца шесть дней делаем, а в седьмой — предаемся веселию; *б*) Легко и покойно веселой гурьбой идем мы прямою дорогой, не встречая нигде ни сучка, ни задоринки. Как по маслу текут скоротечные дни наши.

** *Далее вачеркнуто*: Что может быть скареднее и безотраднее того унылого вида, который представляет собою картина нашей будничной жизни в ее обыкновенном течении? Что может быть постылее фигуры петербургского жителя, гонимого нуждою к месту исполнения его обязанностей? Один наружный вид его уже способен возбуждать тошноту и уныние. В это время он лишен даже человеческого образа; вместо лица у него замечается какой-то ландшафт, что-то тусклое, неподвижное. Это один из тех пейзажей, которые можно видеть на глиняном горшке, долго стоявшем на погребе. Травка не травка, вода не вода, вообще что-то мокрое, склизкое и холодное. Движения его в это время робки, взгляд беспокойный, положение тела понурое, склоненное долу, как у травоядных, из уст его, занятых жеванием, время от времени исходит какое-то неопределенное мычание.

Таков бывает наружный вид петербургского жителя, когда любопытные взоры застают его в момент приискивания скудной пищи, в то время, когда нужда во образе ⟨*пропуск*⟩ пасет его на чухонской тундре. Несмотря, однако, на всю свою непривлекательность, такое зрелище способно скорее возбудить сожаление по той причине, что понурый вид и горизонтальное положение тела вообще вызывают участие.

Но совершенно другого рода чувства возбуждает тот же петербургский житель, когда он в ясный день, пригретый летним солнцем, выходит на лужок, насытив свою утробу, немножко порезвиться на свободе.

Ничего нелепее и безобразнее этой картины человеческое воображение представить себе не может.

*** *Далее вачеркнуто*: И действительно, куда ни обратит взоров своих современный наблюдатель, всюду представляется ему умиляющая душу картина всеобщего, плавного, мирного и постепенного течения... вперед. В литературе ли, в жизни ли, все равно. Наблюдательный глаз всюду заметит прогресс, нужно только уметь, а главное хотеть замечать.

**** *Далее вачеркнуто*: все это трын-трава и судебные реформы и самоуправление.

***** *Далее вачеркнуто*: Они давно уже получили достойное возмездие за свое недоброжелательство. Не умеешь смотреть на вещи, как следует, ну и не смотри, а коли уже не можешь отстать от скверной привычки подсматривать — молчи. Никто тебя не спрашивает, никто за язык не тянет.

Впрочем, все это клонится к тому собственно, чтобы доказать несомненность поступательного движения в нашем обществе. И хотя в настоящее время ни один благонамеренный человек в этом и не сомневается, тем не менее долг каждого истинного гражданина повелевает ему — всеми силами стараться утверждать и подкреплять в сердцах сограждан веру в то, что мы во всех отношениях стремимся вперед.

Лишние доказательства никогда не лишни. Так, например, со времен Коперника уже стало известно, что земля вертится вокруг солнца, однако и до сих пор время от времени появляются новые доказательства вращения земли вокруг солнца и никому они не кажутся лишними. Еще лучший пример того, что новыми доказательствами гнушаться не следует, видим мы в политике императора Наполеона III, по всей вероятности, ни на волос не сомнев⟨ающегося⟩ в постоянстве верноподданнических чувств французского народа к своему монарху. Однако это нисколько не мешает ему милостиво принимать время от времени новые выражения этих чувств от представителей народа, даже, несмотря на то, что самый адрес заранее составляется в Сенате лицами, преданными императору, и что подавание адреса, в сущности, пустая формальность, не имеющая никакого смысла. Но это такой предмет, что, заговорив о нем, можно уйти слишком далеко. Речь идет о новых доказательствах нашей прогрессивности. Ходить за ними далеко незачем. Для примера на этот раз мы возьмем [народные гульбища], публичные увеселения в Петербурге *. Многие смотрят на увеселения слишком легко и не придают им большого значения. Такой взгляд не основателен. Сто́ит только оглянуться немного назад и сравнить то, чем занималась хоть бы наша петербургская публика год или полтора тому назад, с тем, что она делает теперь. Этого сравнения будет совершенно достаточно для того, чтобы уразуметь всю важность так называемых общественных удовольствий и очевидность успеха даже и по части удовольствий. Всякому петербургскому жителю не трудно будет припомнить то время, о котором здесь идет речь,— время всеобщего напряжения и возбужденных страстей, время шатания по трактирам, площадям и аудиториям, время публичных лекций, воскресных школ и разных историй. Все это было еще так недавно. И вот прошел какой-нибудь год с небольшим, и где мы? Публичные лекции заменены публичными балами, воскресные школы — картами; истории только ничем не заменились. Да и нет их, историй, слава богу.

Какая причина тому, что вкус публики так быстро и так неожиданно изменился? Может быть, обстоятельства изменились? Нет, обстоятельства, по-видимому, остались те же. Стало быть, причина этой перемены заключается в самом обществе, в его наклонностях и привычках.

Можно даже предположить, что вкус публики остался тот же, изменились только средства удовлетворения этого вкуса. А ведь если хорошенько разобрать это дело, так и окажется, что вся штука в этих средствах удовлетворения. Ту же самую потребность можно удовлетворять различными средствами, а если не удовлетворять, то, по крайней мере, заглушать.

Пока у человека не установились понятия, и чувства его находятся в брожении, особенно если человек скучает, то его одолевает нестерпимое желание произвести скандал. Все ходит и нюхает: к чему бы придраться? И все ему представляется, что и то не так, и это нехорошо. И если его не унять в это время или не дать ему возможность излить избыток сил своих на чем бы то ни было, то он непременно устроит что-нибудь непотребное и нестерпимое в благоустроенном обществе.

---

* *Далее зачеркнуто*: Кто не знает, какой гигантский шаг сделала наша публика на поприще публичных балов и так называемых танцевальных вечеров.

〈3〉

Человек в возбужденном состоянии пользуется всяким случаем, чтобы высказаться и прокричаться. Малейший повод, малейший намек раздражает его до такой степени, что остановить его в это 〈время〉 не совсем безопасно. Благоустроенное общество никогда не допускает своих членов до такой крайности. Оно предупреждает буйный порыв и отвлекает его.



У ВХОДА В ТЕАТР МАРИОНЕТОК НА ЯРМАРКЕ
Картина маслом И. М. Прянишникова, 1867 г.
Русский музей, Ленинград

«...так как доказано опытом, что глубина взгляда и сосредоточенность в низших слоях общества не приводит ни к чему хорошему, а влечет за собой только мрачные мысли и желание уклоняться от исполнения своих обязанностей, то для предупреждения таких печальных последствий некоторыми спекуляторами были приняты энергичные и деятельные меры, состоящие в том, чтобы приискать по возможности развлечения и для низшего класса общества» (Из фельетона Слепцова «Игры и зрелища»)

А для этого есть тысячи средств, тысячи занятий, имеющих свойство отвлекать внимание от предметов уж чересчур щекотливых. А для этого с успехом употребляются азартные игры, танцы, гимнастика, уединение и чтение книг нравственно-религиозного содержания, успокаивающее душу и направляющее ум на размышления о предметах неземных. И так как общество состоит из людей разных темпераментов и разной степени развития, то и средства должны быть избираемы соответствующие этим условиям. А по выбору этих средств можно судить и об насущных интересах общества и о степени его развития и наоборот.

Неразвитое, грубое общество всегда предается и удовольствиям более или менее грубым, ищет острых, б〈ольше〉 физических наслаждений в пьянстве, буйстве, обжорстве, блудодействе или кулачном бое. Но, по мере того как общество развивается, и вкус, и требования его на этот счет изменяются. Человек образованный требует таких удовольствий,

которые бы действовали более на ум и сердце, как-то чтение, разговоры, театр, музыка, обращение с женщиной и различные игры*.

Средства эти, служащие, как уже сказано, для обуздания страстей, употребляются во всех цивилизованных обществах. Они употреблялись даже и в древности. Пример этого мы видим в римской истории, где сам народ сознавал пользу общественных удовольствий и сам требовал от правительства зрелищ, но в то же время требовал и хлеба. Это обстоятельство, как нельзя лучше, указывает на высокое значение публичных удовольствий в общественной жизни. Римский народ недаром формулировал свои требования так просто и определенно: *panem et circenses.* Хлеба и зрелищ. Наше современное общество не хуже римского сознало важность публичных увеселений и употребляет все средства для того, чтобы публика не скучала.

Разница между римским и русским обществами в этом отношении та, что римляне требовали увеселений от правительства, а у нас они изготовляются разного рода антрепренерами и спекуляторами, и на устройство какого-нибудь увеселительного заведения требуется только разрешение местного начальства. Наше общество, как более развитое, сравнительно с римским, пользуется предоставленным ему правом изобретать себе удовольствия и занятия по собственному вкусу. Все влияние местного начальства у нас ограничивается поощрением и запрещением таких или других удовольствий или занятий. Если же случится так, что у публики совсем отпадет охота веселиться, то в этом случае необходимо изобретать какие-нибудь новые развлечения или возобновлять старые, от которых уже все успели отвыкнуть, и таким образом старое получит значение новизны. Вообще публика не должна скучать, потому что мрачное расположение духа всегда влечет за собой недовольство и стремление к нарушению общественного порядка. Следовательно, скука не должна быть терпима в благоустроенном обществе. Очень успешное приложение этого принципа мы видели в продолжение всего нынешнего зимнего сезона, завершившегося сырною неделею.

Благодаря благоразумным мерам, принятым нынешний год для обеспечения веселости в обществе, наша публика решительно не имела времени скучать. Все публичные удовольствия отличались** удивительным разнообразием и заманчивостью. В этом отношении, бесспорно, первое место занимают танцевальные вечера, заведения, пользовавшиеся самым нежным вниманием публики в продолжение всего зимнего сезона и доставлявшие желающим ежедневно возможность проводить время в танцах и разговорах с девицами, которые для большего удобства публики имели вход бесплатный. Сверх того, при означенных танцевальных заведениях имелись буфеты, где можно было получать всякого рода закуски и вина лучших сортов, не говоря уже о том, что почти при каждом заведении можно было иметь отдельные комнаты для отдыха или интимного разговора.

---

* *Далее зачеркнуто*: Заговорив о нашей общественной жизни и об удовольствиях, нельзя не обратить внимания читателя на один замечательный факт, вполне подтверждающий высказанное выше положение о том, что средства, которые выбирает общество для развлечения в свободное от занятий время, служат мерилом для определенного развития этого общества.

Факт этот тем более убедителен, что каждый мог его наблюдать во время минувшей масленицы на народном гульбище, которое устраивается на Адмиралтейской площади.

Гульбища эти, как известно, всегда носили на себе отпечаток двух влияний, из которых сложилась и наша общественная жизнь,— азиатского [татарского] и немецкого.

** *Далее зачеркнуто*: небывалым воодушевлением. Все театры, клубы и прочие заведения были полны.

На расположение духа в публике оказывали также немало благотворного влияния и увеличения разного рода зрелищ и картин по преимуществу соблазнительного содержания, которые, как известно, имеют свойство возбуждать деятельность половых органов и таким образом способствуют сближению людей и увеличению цифры народонаселения.

Говоря об общественных удовольствиях, не следует забывать и о низшем [классе], о так называемом рабочем классе, который также не имел времени скучать и наравне с высшими сословиями пользовался свойственными его званию удовольствиями, чему немало способствовало удешевление спиртных напитков и чрезмерное увеличение числа питейных заведений. Кроме того, простолюдин, желающий повеселиться, мог во всякое время найти развлечение в так называемых *русских пирожковых заведениях*, где вместе с пирожками, пивом и водкою можно найти даже и постом приятную компанию в обществе более или менее красивых девиц с пением и национальною пляскою.

Попечение о рабочем классе в особенности резко бросалось в глаза в продолжение всей сырной недели. В последнее время, между прочим, замечено было в низших слоях общества какое-то охлаждение к тем невинным удовольствиям, которым народ с такою любовию предавался еще года два тому назад. Балаганы, паяцы и орехи, по-видимому, потеряли для него много своего прежнего значения. Некоторые изменения, случившиеся в последнее время в экономическом быте народа, значительно изменили его взгляд как на свое положение, так и на все окружающее. Взгляд этот стал как-то гораздо глубже и сосредоточеннее.

Но так как доказано опытом, что глубина взгляда и сосредоточенность в низших слоях общества не приводит ни к чему хорошему, а влечет за собой только мрачные мысли и желание уклоняться от исполнения своих обязанностей, то для предупреждения таких печальных последствий некоторыми спекуляторами были приняты энергичные и деятельные меры, состоящие в том, чтобы приискать по возможности развлечения и для низшего класса общества.

Для этой цели вновь введены были, запрещенные прежде, некоторые публичные игры и лотереи. Игры, в особенности лото, домино, фортунка и нечто вроде рулетки, оказали такое успешное действие и так понравились, что полиция нашла возможным дозволить их и в питейных заведениях, присоединив к ним и карты. Что же касается лотерей, то чрезвычайное размножение и процветание их в городе служит лучшим доказательством успешного применения этой меры и того удовольствия, которое они доставляют публике.

Сообразив все сказанное выше, нельзя не убедиться, что благоразумие и умение все более и более применяться к потребностям общества — служит отличительной чертой нашего времени; что, в свою очередь, служит несомненным признаком движения вперед. А это, собственно, и требовалось доказать.

〈4〉

Рядом с народным балагуром и утешником Петрушкой поместилась немецкая труппа акробатов и вольтижеров с чисто азиатским паклеедом и уже совершенно русскими горами. Еще прошлого года этих удовольствий было вполне достаточно. Народ пьянствовал, смотрел на паяцев, на зверей и на катающихся господ и затем ночевал в части. Но и прошлого года [заметен был] сильный упадок. Несколько лет уже замечено значительное охлаждение народа ко всем этим более или менее детским удовольствиям. Некоторые изменения в экономическом быте, случившиеся

в последние года, значительно изменили народный взгляд как на свое положение, так и на все окружающее.

Взгляд этот стал гораздо глубже и сосредоточеннее. Надо заметить, перемена эта выразилась в городском населении гораздо резче, нежели в сельском, хотя, по-видимому, должно было случиться наоборот. Впрочем, несообразность эта объясняется очень просто. Сельское население слишком удалено от главных административных центров, в которых воочию, так сказать, и совершаются всякого рода реформы и нововведения. Не говоря уже о том, что между народом и этими центрами лежат целые ряды разного рода искусственных исторических преград, имеющих целию парализировать всякое живое движение от центра к окружности, и наоборот. Единственный путь, посредством которого доходят до народа всякого рода реформы,— путь официальный, т. е. путь наименее способный возбудить в народе доверие. Понятное дело, что при таком устройстве машины сельское население всегда было чуждо нашим радостям и не могло делить с нами наших горестей. Совсем в другом положении было всегда городское население. Так или иначе оно всегда принимало более или менее деятельное участие во всякого рода движениях, исходивших из центров, на нем, как на ближайших точках, прежде всего отражался всякий новый толчок и притом отражался вовсе не так, как на сельском, до которого тот же толчок доходил уже в измененном виде, значительно потеряв первоначальную силу и облеченный в разные более или менее лишние бумажные украшения и обертки. В этом, собственно, и заключается как цивилизующее, так и развращающее свойство большого города. Городской житель потому уже развитее сельского, что он поставлен прямо лицом к лицу с цивилизующей и развращающей силой движения; он поневоле должен или сочувствовать, или противиться ему. А будучи поставлен в жизни в такое положение, он рано выучивается относиться к ней критически, выбирать и применять к себе то или другое правило, примыкая к той или другой партии, необходимо усиливает собой тот или другой лагерь, следовательно, сам становится силой.

Ничего подобного не заметно в сельском населении, которое составляет одну нераздельную массу, поставленную в необходимость просто принимать в себя все, что вносится в нее из административных центров. Масса эта не имеет возможности сравнивать, пробовать и выбирать, относится к этим движениям чисто пассивно *.

⟨5⟩

Но так ⟨как⟩ население Петербурга состоит не из одних только людей, посещающих балы, публичные дома и театры, и так как, напротив, именно эта часть населения составляет в городе меньшинство, то по всей справедливости следует принять в расчет всю массу городского населения или по крайней мере большинство, то большинство, которое имеется в виду при устройстве всякого рода публичных увеселений; сюда должны относиться люди всех сословий: чиновники, купцы, ремесленники, студенты, офицеры и солдаты. При этом не следует забывать, что люди, о которых здесь идет речь, народ трудящийся, т. е. такой народ, для которого развлечение и удовольствие, для которого, одним словом, праздник — вещь необходимая, как отдых от труда. Не следует забывать, что для этих

---

* *Далее зачеркнуто*: Таким образом, становится ясно различие между городским и сельским населением. Первое живет жизнию *активною* и так или иначе принимает деятельное участие в жизни всего государства, второе же *только* принимает чуждое ему и притом уже отраженное движение и, не обладая достаточной упругостью, ограничивается этим чисто *пассивным* восприятием движения.

людей развлечение не составляет роскоши, что рабочему человеку праздник служит удовлетворением физиологической потребности, и притом столь же важной потребности, как сон, баня и чистый воздух; что веселое расположение духа и отчасти легкомысленное препровождение времени один раз в неделю составляет необходимое условие, при котором труд из-за насущного хлеба может быть сносным.

К категории людей, имеющих неотъемлемое право на развлечение, следует отнести наконец и многочисленный так называемый рабочий класс, т. е. класс людей, занимающихся чисто механическим трудом. Эти люди больше, нежели кто-нибудь, имеют право пользоваться развлечением уже по самому свойству труда, не дающего рабочему человеку почти никакой возможности упражнять свои умственные способности — труда, лишающего его того наслаждения, которое испытывает человек, занятый умственной работой. И так как жажду к наслаждениям никаким трудом убить невозможно, то понятно, что жажда эта * у плотника или водовоза несравненно сильнее, нежели у художника или ученого. Какого рода наслаждение, это другой вопрос.

Все дело в том, что труд как умственный, так и механический дает человеку неотъемлемое право на известного рода наслаждение, без которого настоящая и упорная работа превратилась бы в невыносимую пытку.

Наслаждение это рабочий человек отчасти изобретает себе сам, отчасти берет его уже совершенно готовое и заранее придуманное для него другими. В выборе этих наслаждений каждый, конечно, руководствуется личным вкусом, но самый выбор их и запрос на такого или другого рода наслаждение служит мерилом для определенной степени умственного и нравственного развития потребителей и дает возможность антрепренерам и спекуляторам изобретать новые наслаждения и, сообразуясь со вкусом публики, предлагать ей то или другое, по такой или другой цене.

На этом основаны все так называемые увеселительные заведения, публичные сады и гуляния, сюда же относятся и всякого рода зрелища, балаганы, зверинцы и проч. Если существует какое-нибудь увеселительное учреждение, то это показывает, что в публике существует известная потребность, которая и удовлетворяется этим учреждением; если же учреждение падает, то это служит признаком того, что потребность, которой удовлетворяло учреждение, или уничтожилась, или нашла себе другое удовлетворение. Но при этом не следует забывать, что одна и та же потребность может удовлетворяться различными средствами, средствами иногда, по-видимому, вовсе друг на друга не похожими. Так, например, я чувствую желание поразвлечься, но не слишком затрудняюсь в выборе средств для развлечения, я требую только, чтобы оно было не утомительно и действовало возбуждающим образом, положим, хоть на мое воображение. Если мне предложат, ну, хоть чтение книги легкого содержания — я буду слушать и найду в этом удовольствие, но если мне предложат вместо книги прогулку при луне в сообществе с приятным собеседником, то я, по всей вероятности, и на это соглашусь, хотя между чтением и прогулкой при луне, по-видимому, большая разница. Возьмем другой пример. Я любитель сильных ощущений и нахожу удовольствие только в таких упражнениях, которые потрясают мои нервы.

‹1865—1866 гг.›

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 182, лл. 59, 61, 74—91.

---

* *Далее зачеркнуто*: усиливается у чернорабочего.

«ХАРАКТЕР ПЕРЕЖИВАЕМОЙ ЭПОХИ»

Автограф незаконченной статьи Слепцова, начинающейся словами «Книжная торговля никогда не была у нас очень выгодным предприятием...», сохранился в бумагах писателя, отобранных у него при аресте. Рукопись черновая. Она не имеет ни заглавия, ни даты; в ней зачеркнут ряд мест, сделаны некоторые перестановки. Предназначалась статья, видимо, для «Современника», датировать ее следует второй половиной 1865 г. Основанием для датировки служит прежде всего начало статьи, где содержится намек на «Очерки нижегородской ярмарки» В. Безобразова, напечатанные в майской книжке «Русского вестника» 1865 г. Именно в этих «Очерках...» говорилось о том, что книжная торговля предприятие невыгодное и что на Нижегородской ярмарке литературные произведения шли очень плохо («убогая торговля», «книги — самый неходкий у нас товар»). Слепцов использовал здесь (как он это часто делал в полемических целях) тезис и материалы определенного литературного выступления.

Тема «книжной торговли» и «упадка беллетристики» для писателя лишь частная тема; однако и этот частный вопрос давал ему возможность судить о характере эпохи. В одном из писем Слепцова к М. А. Маркович читаем: «Время теперь такое — не до беллетристики. Наступает опять пора патриотических стихотворений, а художественные произведения идут плохо» (*ИРЛИ, ф. 9526, LVI б. 45*). Рассуждение об «охлаждении к литературе» является в статье экспозицией к главной теме.

Слепцов ставил задачей дать общую оценку русской действительности периода падения крепостного права и «определить свойства движения» шестидесятых годов. Автор поднимал важные вопросы философии истории, намечал программу поведения демократов в тех условиях, когда уже нельзя было сомневаться, что на данном этапе победила реформа, а не революция.

Незавершенность статьи и зашифрованность ее (в связи с особой остротой социально-политического содержания) несколько затрудняет понимание публикуемого текста. Попытаемся прокомментировать основное его содержание.

Поставив широкую задачу — понять «характер переживаемой эпохи», Слепцов подвел итог наблюдениям над русской жизнью последнего десятилетия (1855—1865). В статье имеются прозрачные намеки на такие исторические события, как поражение в Крымской войне («неожиданная беда», произведшая «всеобщий переполох») и на последовавший за тем общественный подъем в стране, сменившийся реакцией.

Писатель стремится понять «логику» этого «трудного времени», причины и закономерности событий. Он предлагает свое определение «переходной эпохи». В его истолковании — это эпоха революции, период, основное историческое содержание которого характеризует «решительное стремление освободиться от разных задерживающих развитие условий, стремление, оканчивающееся победою новых начал над старыми принципами». Это время, когда терпят крах идеи, положенные в основание исторически устаревших общественных институтов (обрядов, «которыми все тяготятся, но не исполнять не решаются»). Лишь в «переходную эпоху», в условиях победы революции возможен переход к коренному преобразованию, к водворению «другого, более плодотворного и более справедливого порядка вещей» (социализма).

Писатель-демократ высказывает сожаление, что некоторые обстоятельства лишают («помимо нашего желания») эпоху падения крепостного права того «исключительного характера, который многим кажется несомненным...», т. е. характера совершившейся революции. Переживаемый исторический момент, когда в русском общественном движении кончился период революционно-разночинской «бури и натиска» первой половины шестидесятых годов, автор называет лишь эпохой «брожения»; «...мы не делаем скачков ⟨революции⟩, т. е. не делаем именно того, за что нас одни бранят, а другие хвалят»,— констатирует Слепцов. Для последовательного демократа реформы, произведенные «сверху»,— «пустяки». Они — результат компромисса, «сделок с обстоятельствами», лавирования,— что Слепцов называет словом «разврат». Славословие реформам, «произведенным властию»,— «пошлые восклицания».

Известная историческая ограниченность взглядов писателя сказалась в том, что он усматривает в крестьянской реформе только следствие переворота, «произведен-

ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА, ВЫСМЕИВАЮЩАЯ ЛИЦЕМЕРНЫЙ ХАРАКТЕР ПОЛИТИКИ РЕФОРМ

— Мне помнится, что кто-то очень нелестно выразился, что мы еще не созрели до законности.

— Зато другой кто-то сказал лестное слово: «Законность нас губит».

Рисунок Н.А. Степанова. Предназначался для журнала «Искра», 1862—1863 гг.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград



ного властию». Слепцов недооценивает значения такого важного фактора, как давление массового крестьянского протеста (ср. ленинский взгляд на реформу как на побочный продукт революционной ситуации в России). Определение крестьянской реформы как «компромисса», «сделки», отодвинувшей дело «перехода» общества к новому устройству, сочетается у Слепцова с пониманием относительной прогрессивности совершившейся отмены крепостного права. «Обстоятельства, — пишет он, — сопровождавшие известную правительственную меру, имевшую целию уничтожение рабства в России, могут быть названы началом переходной исторической эпохи», это — «маленький новый шаг вперед».

Интересны рассуждения Слепцова о характере развития общества (зависимость от «силы обстоятельств»), о роли «новых идей», о причинах их возникновения (столкновение силы обстоятельств с физической необходимостью). Известно, что Добролюбов, не имея возможности говорить прямо о необходимости революционного преобразования общества, прибегал к таким перифразам, как «естественные требования и воззрения», «естественные правильные стремления народа» («Луч света в темном царстве»). Родственны эзоповским формулам Добролюбова перифразы Слепцова: столкновение «силы обстоятельств» — существующего порядка вещей и «физической необходимости», т. е. разумной силы, потребности независимости, свободы: «законных требований» природы человека.

В статье чувствуется боль писателя-демократа о народе, не осознавшем еще своих прав и путей борьбы («для осуществления известной идеи требуется сознание»). В ней есть прозрачный намек на недавно пережитый страной период революционной ситуации, когда явилась «небывалая отвага и желание подчинить себе обстоятельства», и на причины поражения революции: недостаточная подготовленность народа.

«Перестановка отношений» (сравни у Чернышевского — «перемена декораций»), *переход* к новому состоянию в обществе будут возможны тогда, по мнению автора, когда они явятся результатом *сознательного* желания общества («всеми желаемы»). Задача передовых людей — подготовить общество к этому состоянию.

〈«КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ НИКОГДА НЕ БЫЛА У НАС ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ...»〉

Книжная торговля никогда не была у нас очень выгодным предприятием, да и теперь, несмотря на «быстро возрастающую в народе охоту к чтению», идет довольно вяло. В особенности жалуются книгопродавцы на так называемые чисто литературные произведения. В нынешнем году на Нижегородской ярмарке, говорят, беллетристика шла очень плохо. Некоторые наблюдатели объясняют это тем, что будто бы общество, не находя в литературе ответов на разные жизненные вопросы, становится к ней все более и более равнодушным и начинает все чаще и чаще обращаться к положительным знаниям в надежде найти там разрешение своих вопросов. Люди же, постоянно следящие за историею литературы в Европе, наблюдали, говорят, подобное же явление в разное время и на Западе, где будто бы упадок беллетристики всегда служил твердым признаком возрождающихся требований на книги научного содержания.

Кроме того, относительно беллетристики существует еще такого рода вывод, основанный на наблюдениях: спрос на беллетристику всегда находится в тесной зависимости от степени благоденствия страны в данную минуту и притом в следующей оригинальной пропорции. Наибольшие требования не только на беллетристику, но и искусство вообще замечаются в два совершенно различных и даже противоположных друг другу момента: во-первых, во время сильнейшего угнетения и, во-вторых, в пору наибольшего нравственного материального довольства. Таким образом, положительные крайности, рабство и свобода производят на литературную деятельность, как видно, одинаковое влияние, т. е. возбуждают ее. Что же касается так называемых переходных эпох, то они в этом отношении отличаются равнодушием к изящному вообще, следовательно, и к беллетристике.

Но все эти выводы и наблюдения очень мало объясняют причину того охлаждения к литературе, которое замечается у нас в последнее время. Переживаемую нами эпоху можно, пожалуй, назвать и переходною, в том смысле, 〈что она〉, как и всякая эпоха, составляет переход от одного порядка вещей, уже пережитого, уже устарелого, к другому, еще не испытанному. 〈Но〉 под именем «переходная эпоха» историки привыкли понимать не простое пересыпание из пустого в порожнее или механическое перемещение из кулька в рогожу, а нечто другое. Названием «переходной» эпохи обозначают обыкновенно такую 〈эпоху〉 в жизни народа, которая выражает собою решительное стремление освободиться от разных задерживающих развитие условий; стремление, оканчивающееся победою новых начал над старыми принципами и водворением другого, более плодотворного и более справедливого порядка вещей. После такого события обыкновенно наступает усиленная лихорадочная деятельность; отношения людей друг к другу становятся более определенными, недоразумения разъясняются, лучшие люди чувствуют себя как будто возрожденными, дрянные же, напротив того, убиты и уничтожены; умственное развитие начинает делать быстрые успехи; целые массы разного рода общественных дел, считавшихся давно решенными, вдруг всей тяжестию своей обрушиваются на головы возрожденным, и тут только оказывается, что до сих пор никто ничего не делал и что нужно начинать все сначала.

В этом смысле обстоятельства, сопровождавшие известную правительственную меру, имевшую целию уничтожение рабства в России, могут быть названы началом переходной исторической эпохи, хотя эти обстоятельства в данном случае были вызваны не силою общественного сознания, а явились только следствием переворота, произведенного властию.



«СБЛИЖЕНИЕ С НАРОДОМ (УЕЗДНАЯ СЦЕНА)».

Запрещенная карикатура на пореформенные порядки в провинции

Подпись слева: «— Эх-ма, братцы! Станем жить не тужить, нашей дружбой дорожить.
— Ай-да барин! Знатно, не по-нашенски!
Все поют: ,,Ай вы сени, мои сени''».

Подпись справа: «— Вот тебе, вот тебе: еще смеешь грубить!
—Да какие же грубости: всего только почесался».

Рисунок Н. В. Иевлева. Предназначался для журнала «Гудок», 1861—1862 гг.

Русский музей, Ленинград

Но, несмотря на это, все-таки меры, подобные упомянутым выше, действительно, могут вызвать сильное движение. Они заключают в себе силу, способную будить заснувшие силы народа. И это пробуждение может быть очень полезно, особенно если реформы произведены сознательно; если предугаданы последствия и заранее приняты все меры, способствующие дальнейшему движению вперед *.

Впрочем, об этом предмете можно поговорить немного пространнее. Вопросы о разных реформах, так называемом современном вопросе, несмотря на бездну писанных об них статей, разработаны у нас чрезвычайно плохо. До сих пор к нашим рассуждениям об общественных нуждах всегда примешивалось столько лишних и довольно пошлых восклицаний, что из-за них не видно было сущности дела. Заговорив, например, о каком-нибудь предмете, по нашему мнению, очень важном, мы больше говорили о тех чувствах, которые возбуждает в нас сознание всей важности этого предмета, и по этому случаю сейчас же начинали прикидываться или восторженными, или негодующими, смотря по обстоятельствам. Предмет же, вызвавший в нас эти благородные чувства, разумеется, ничего не выигрывал и оставался по-прежнему нерешенным. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы не освободимся от этих вовсе не нужных личных чувств и субъективных ощущений, т. е. до тех пор, пока мы не поставим интересующего нас вопроса на историческую почву.

Заговорив о переживаемой нами эпохе и отказавшись назвать ее в строгом историческом смысле «переходною», необходимо указать на те обстоятельства, которые, помимо нашего желания, лишают ее того исключительного характера, который многим кажется несомненным, другими словами, необходимо доказать, что мы не делаем скачков, т. е. не делаем именно того, за что нас одни бранят, а другие хвалят. [Чем больше всматриваешься во все окружающее, тем более и более приходишь к убеждению, что так называемое русское общество вовсе не находится в том историческом моменте, который услов⟨имся⟩ называть *переходною* эпохою. Брожение есть действительно.]

⟨Но⟩ брожение еще не значит переход. Переходят обыкновенно от чего-нибудь уже изведанного к чему-нибудь, хотя еще не изведанному, но уже более или менее ясно сознанному, или, по крайней мере, всеми желаемому. Замечается ли у нас что-нибудь подобное? Нет. Что же у нас замечается? Здесь опять-таки необходимо остановиться и условиться относительно значения одного слова.

Это слово — *общество* — слово, ежеминутно употребляемое при самых разнообразных обстоятельствах, а потому не выражающее собою резко определенного понятия. Под этим словом одни разумеют петербургскую, а другие московскую публику, третьи — людей, пользующихся разными юридическими и экономическими преимуществами, четвертые — неудовлетворенный привилегированный класс и относят сюда не только столичных жителей, но и так называемый образованный класс вообще; пятые расширяют это понятие еще больше и втискивают в него: купечество, духовенство и разночинцев, одним словом, всех городских жителей; и, наконец, для ⟨шестых⟩ слова «русское общество» значат то же самое, что рус-

* *Далее зачеркнуто*: Но всякая крутая мера, не вытекающая из жизненной необходимости и ⟨лишь⟩ силою власти сокрушающая старые порядки, несмотря даже на производимое ею благоприятное влияние, заключает в себе довольно значительные неудобства. Крутая мера, подобно хирургическому инструменту, пресекая зло, имеет свойство слишком сильно и притом слишком односторонне раздражать отупевшие нервы и возбуждать в организме реакцию, для уничтожения которой требуются также крутые меры. С этою целию обыкновенно и употребляют после ампутации холодные примочки. Что же касается реакции в обществе, следующей непосредственно за крутыми мерами, то ее уничтожить не так легко, как опухоль после ампутации.

ское государство. С развитием гражданственности и неизбежного при этом общения интересов, вероятно, и самое понятие общество упростится и, следовательно, резче определится. Но пока этого нет, во всяком случае, удобнее всего, разбирая наше положение, относиться к обществу как к политической единице, т. е. принимать это слово в самом обширном значении.

Чем шире понятие, тем легче применять его к отдельным случаям. В настоящем же случае это еще более важно потому, что движение, о котором идет речь, замечается не в какой-нибудь отдельной касте или сословии, но явление повсеместное в нашем отечестве, всеми почти одинаково ощущаемое и для всех равно интересное.

Определить свойства этого движения и из этого вывести замечания о характере переживаемой нами эпохи — вот в чем вопрос.

* * *

Для определения того, что происходит в нашем обществе в настоящую минуту, нельзя найти более точного слова, как слово *брожение*. Химический процесс брожения, наблюдаемый при закисании теста, есть именно тот самый процесс, который наблюдается время от времени и в человеческом обществе.

Движение, замечаемое в какой-нибудь смеси (например, в тесте) во время брожения, происходит оттого, что при соединении частиц бродильного вещества с частицами смеси и вследствие окисления последних между частицами смеси образуется большое количество газов, которые и расталкивают частицы теста, распирают их в разные стороны и, таким образом, изменяют прежние отношения между частицами теста. Точно то же происходит и в обществе, находящемся в процессе брожения. И здесь точно так же изменяется отношение между частицами, т. е. членами. Наконец, сходство между брожением теста и брожением общества до такой степени велико, что даже результаты в обоих случаях бывают одни и те же: может быть и *закись*, может быть и *перекись*, смотря по тому, как продолжителен был процесс. Но, несмотря на это, однако, у всякой аналогии, как бы она прекрасна ни была, все-таки есть граница, за которую сходство не переступает. Так же и в этом случае. Брожение в обществе идет несколько дальше кислого теста, и тут уж аналогии быть не может.

Брожение доводит тесто иногда до того, что оно, наконец, вылезает вон из квашни. В общественной жизни подобных случаев не бывает, напротив, общество даже во время сильнейшего брожения не выходит из пределов, положенных ему природою, и предпочитает дуться и топорщиться на месте до последней минуты, за которой обыкновенно следует такое или другое движение по пути прогресса или же начинается медленное опадание и застой. И в этом случае аналогия между тестом и обществом опять становится возможною. Здесь опять перекисшее тесто является верным изображением перебродившего общества. Бродилом в обществе бывают обыкновенно новые идеи. Они имеют свойство передвигать людей и ставить их в такие отношения друг к другу, в каких они еще не были. Причина появления новых идей бывает двояка: или они вырабатываются самим обществом, или же вносятся в него извне и проникают в массу путем правительственной или частной пропаганды. Впрочем, в первом случае вырабатываются, собственно, не идеи. Общество всей своей массою никаких идей никогда не вырабатывает, общество никогда не отвлекается от существующей действительности, от факта, а потому и лишено способности формулировать свои действия. Отвлеченная мысль вообще не в правах общества; общественное сознание ограничивается так называемым практическим смыслом, который выводит немудрые свои заключения прямо из жизни и

нейдет дальше ежедневных нужд. Оно, если можно так выразиться, мыслит фактами *.

Будучи поставлено в такую тесную зависимость от существующей действительности, оно почти во всех своих действиях подчиняется силе обстоятельств. Отсюда происходит шаткость положения: обстоятельства слагаются благоприятно, и сейчас же в обществе замечается так называемый прогресс. Изменяются обстоятельства в другую сторону, и общество развращается, и искажается здравый смысл, отрицается всякая самостоятельность.

Практический смысл в этих случаях играет самую жалкую роль: он только наблюдает за ходом дел и сообразно своим целям приноравливается к обстоятельствам. Цели же эти, как известно, нейдут дальше удовлетворения ежедневных нужд. Однако в действительности не видно таких быстрых переходов из одной крайности в другую. Это происходит отчасти оттого, что в обстоятельствах, руководящих общественною жизнию, замечается тоже некоторая кажущаяся последовательность, но, главным образом, оттого, что в этой же самой зависимости, в которую поставлено общество, в зависимости от существующего факта скрывается причина силы, постоянно уравновешивающей колебания, производимые силою обстоятельств. Эта сила называется физической необходимостию.

Как ни велика сила обстоятельств, но она до тех пор только и производит влияние на ход общественных дел, пока это влияние не противоречит физической необходимости; пока оно приноравливается к ней; но так как это приноравливание не может быть постоянным, потому что сила обстоятельств не заключает в себе никаких задатков прочности и постоянства, и вообще вещь чрезвычайно шаткая и ненадежная, то эти две силы неминуемо должны время от времени приходить в столкновение. Для того, чтобы** дело это было нагляднее, представим себе прямую линию, идущую от точки А (физическая необходимость) и протянутую в бесконечность. Это тот путь, по которому должно было бы идти общество, влекомое одною силою физической необходимости. Теперь вообразим, что из произвольно взятой в пространстве точки В (сила обстоятельств) движется другая сила под углом к первой линии. Эта вторая линия пересекает первую, потом преломляется под прямым углом, доходит до первой и сливается с нею, но потом опять выходит из нее, опять преломляется, опять пересекает и опять сливается и т. д. до бесконечности.

Эти две линии, из которых одна прямая, а другая ломаная, представляют собой две силы, два влияния, постоянно действующие на общество. Зависимость от существующего факта, т. е. от экономических, политических и других условий, поставляет людей в необходимость подчиняться этим влияниям. Но так как эти последние действуют не всегда в одинаковом направлении, то люди обыкновенно избирают средний путь, т. е. такой, где человек, не выходя совершенно из-под влияния обстоятельств, так приноравливается к ним, что находит средство не очень противоречить и физической необходимости. Это-то, собственно, и называется развратом. То, что мы привыкли позорить этим названием, кажется детскою шалостию в сравнении с тем, что делает человек, лавирующий между силою обстоятельств и законными требованиями своей природы.

Но как бы развращена ни была среда, идущая путем практических беззаконий, все-таки в людях всегда остается настолько здравого смысла,

---

* *Далее зачеркнуто*: Новая идея, выработанная самим обществом, это тот простой и практический вывод, это та житейская мудрость, которые приобретаются опытом и нейдут дальше существующего факта. Например, опыт показал, что такое-то отношение между такими‹-то› членами общества для обоих выгодно, житейская мудрость выводит из этого заключение, что если ты будешь поступать так

** *Слова*: Для того, чтобы, *по-видимому, по ошибке зачеркнуты в рукописи.*

т. е., другими словами, все-таки физическая необходимость настолько сильна и разумна, что всякий раз, когда дело дойдет до точки, где эти две силы пересекают друг друга и расходятся в разные стороны и когда сила обстоятельств начинает уж очень тянуть в свою сторону, всякий раз в это время пробуждается в людях потребность борьбы за свою независимость, является небывалая отвага и желание подчинить себе обстоятельства. Впрочем, это всегда кончается пустяками. Так как обстоятельствам легче измениться, нежели физической необходимости, то они обыкновенно в этих случаях и изменяются, и все устраивается к общему удовольствию. И опять пошла канитель до нового столкновения.

Но прежде, нежели произойдет это примирение, в обществе обыкновенно случается небольшой нравственный кризис, который начинается брожением умов и кончается сделкою с обстоятельствами. Для этой сделки всякий раз придумываются новые условия, уступки, гарантии и т. п. Как ни постыдны бывают сделки такого рода, но, во всяком случае, каждая новая сделка есть маленький новый шаг вперед, и для того, чтобы его сделать, все-таки требуется некоторая доля самоотвержения, некоторое напряжение мысли. Вот тут-то и родится в обществе нечто, имеющее свойство производить перестановку в отношениях.

Это нечто, являющееся на свет при подобных обстоятельствах, бывает очень похоже на нового учителя, который, придя в класс и перебрав учеников, размещает их по-своему *, и тут большею частию первые становятся последними, а последние—первыми.

Нечто называют обыкновенно новою идеею, но, в сущности, это вовсе не идея, это просто осязательно ясный практический вывод из прежде существовавших отношений. Как бы ни были уродливы и тяжелы раз установленные отношения, но с ними сживаются и даже до такой степени, что настоящий смысл их утрачивается совершенно подобно тому, как утратилось значение аксельбантов на адъютантском мундире. Например, какому адъютанту может прийти в голову, что аксельбанты — это веревки, которыми связывают преступника перед совершением казни, и что адъютант есть ликтор, обязанный сопровождать повсюду трибуна и по его приказанию производить расправу. Первоначальный смысл как самой должности, так и принадлежащего адъютанту костюма утратился совершенно, тем не менее и то и другое существует. Точно таким образом утрачивается первоначальный смысл множества разных вещей, слов, обычаев, костюмов; той же участи подвергаются и отношения гражданские, семейные, служебные и проч. От долгого употребления они изнашиваются и бледнеют, идея, положенная в их основание, исчезает совершенно; остается один обряд, которым все тяготятся, но не исполнять не решаются.

Между тем проходят годы. Все идет как по маслу: обряд совершается, о значении его никто и не думает; вдруг сваливается с неба какая-нибудь неожиданная беда и производит всеобщий переполох. Люди в испуге хватаются** за разные заклинания, за разные заговоры, но заклинания не спасают, заговоры не действуют. Тут только все начинают догадываться, что все это было ложь и обман и тут только становятся ясными, как день, те нелепые отношения, которые установились сами собою на основании этой лжи и обмана. А из этого также нетрудно заметить, что метод, употребляемый обществом для выработки новых отношений, есть метод отрицательный. И вот этот ясный, простой и обязательный практический

---

* *Далее зачеркнуто*: на том основании, что многие, считавшиеся хорошими, ничего не знают, а сидящие на задней лавке, считавшиеся лентяями, оказываются отличными учениками.

** *Далее зачеркнуто*: за свои обычаи, за свое оружие, но обычно оно не действует, оружие не стреляет.

вывод из прежде существовавших отношений и составляет нечто очень важное и в то же время очень новое; люди, благодаря которым является необходимость прибегать к решительным мероприятиям, не так легко могут бросать старые привычки и усваивать себе новые. А до какой степени велика сила этой привычки, видно из того же хирургического примера. Человеку, у которого отрезана нога, очень долго кажется, что он может шевелить пальцами *.

Прежде всего не следует забывать, что новые идеи, являющиеся время от времени в разных сферах знания и с разных сторон влияющие на ход общественной жизни, никогда не проникают в эту жизнь путем сознания и притом в той чистоте и последовательности, какими они явились впервые ** в голове мыслителя.

Являются ли они в форме обязательных законоположений или в виде литературных произведений, влияние этих идей будет равно бесплодно и не произведет существенной перемены в людских отношениях, если в обществе нет достаточной подготовки для этой перемены и не чувствуется необходимости в перестановке отношений. Если же, несмотря на это, реформа все-таки неизбежна и усвоение новой идеи становится обязательным, то жизнь в этом случае сумеет всегда так ловко ухитриться, что самые проницательные люди легко впадают в заблуждение. Человек, поставленный в необходимость сделать, по его мнению, вовсе ненужное дело, всегда сумеет извернуться, и дело кончится тем, что формальность исполнена, а, в сущности, все осталось по-прежнему. Да иначе и быть не может. Если я не понимаю смысла того, что от меня требуется, и в то же время не могу не исполнить требования, то очень понятно, что я все внимание свое обращу на внешнюю формальную сторону дела и постараюсь прикинуться делающим то, что от меня требуют. Если же притом требуемое для меня невыгодно или неприятно, то я, вероятно, придумаю такую штуку, которая даст мне возможность даже и то, что, по-видимому, мне невыгодно и неприятно, устроить так, чтобы мне было и выгодно и приятно. Таким образом прививаются новые идеи. Что же удивительного, что вслед за одной крутой мерой сейчас же чувствуется необходимость в другой, еще более крутой мере. Это происходит оттого, что для осуществления известной идеи требуется сознание, которого в обществе обыкновенно не оказывается тогда, когда это нужно. Потому-то самые благодетельные и самые лучшие средства в руках формалиста никому не приносят пользы. Зайца, например, выучивают стрелять из пистолета. Понятно, что для зайца эта стрельба имеет совершенно не то значение, какое она имеет для человека, потому-то оно и выходит смешно. Дергая за курок, заяц щурится и отворачивается по той причине, что смертельно боится выстрела, но так как палки он еще больше боится, то и стреляет. Но если бы в то время, когда заяц собирался стрелять, вдруг бы бросилась на него собака, то, несмотря на то, что в руках у него отличное средство против собак, заяц кинет пистолет и будет спасаться бегством.

Почему заяц не выстрелил в собаку, а бросил оружие? Потому, что он формалист, не понимающий истинного назначения той вещи, которой он владеет. Стрельба из пистолета имеет для него единственное и простое значение, это средство избежать наказания.

‹1865 г.›

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 182, лл. 47—56.

---

* *Перед этим абзацем в начале страницы написаны слова*: так легко, как опухоль после ампутации, *являющиеся заключительной частью зачеркнутых строк, воспроизведенных нами в подстрочном примечании на стр. 372.*

** *Слова*: явились впервые, *по-видимому, по ошибке зачеркнуты в рукописи.*

МЕЛКИЕ НАБРОСКИ, ОТРЫВКИ, ЗАМЕТКИ

В бумагах Слепцова, изъятых у него в 1866 г. жандармами, сохранилось, помимо рукописей, опубликованных выше, еще несколько мелких набросков, отрывков и заметок (черновые и беловые автографы). Эти фрагменты, написанные на отдельных листах, были в III Отделении сброшюрованы в одну тетрадь, в совершенно произвольной последовательности (ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 182). Ниже печатаются девять отрывков. Все они относятся к 1860-м годам.

Первый из них: «Черная ночь висела над городом...» может рассматриваться как вариант напечатанной выше «аллегории» «Притчи и видения» (1862). Остальные восемь фрагментов трудно с полной определенностью отнести к известным нам работам Слепцова. Можно лишь высказать предположение, что большая часть этих набросков связана с начатым Слепцовым в 1865 г. для «Современника», но сразу же распавшимся, публицистическим циклом «Скромные упражнения» (см. об этом выше, в предисловии к публикации фельетона «Речь...»).

Печатаются наброски в приблизительной хронологической последовательности (данных для точной датировки каждой рукописи нет). Цифры, поставленные в угловых скобках внизу публикуемого текста, обозначают листы в упомянутой тетради Слепцова, на которых расположен текст данного наброска.

⟨1⟩

Черная ночь висела над городом. Уныло и глухо падали на землю холодные капли дождя. Едва заметные искры мелькали в тумане, зажигались и вновь потухали одна за другой, как падучие звезды. Что-то страшное, давно заснувшее, чудилось во мраке: какие-то недосказанные слова, невыплаканные слезы, чей-то жалобный стон, замирая, дрожал и носился в воздухе, безотрадно терзая душу. Чей-то сдержанный шепот боязливо,украдкой бродил в темноте; время от времени прорывалось слово; безумный смех заглушался проклятием и потом опять шепот, страшный, хриплый шепот, точно кого-то душат. Томящие звуки каких-то давно забытых песен с болию воскресали в памяти; рыдая, звенели они безысходной грустью, полные вечной тоски и печали, и вдруг, точно уносимые ветром, тускнели и гасли в тумане. И еще какие-то неясные образы, чьи-то поникшие тени возникали в этом тумане; что-то родное, неотразимо близкое слышалось в них; они звали куда-то, манили, и все существо мое тянулось, тянулось к ним, с тоской и отчаянием просилось туда... но в это время какая-то мертвая сила грубо толкнула меня назад, и все эти образы, звуки и тени смешались и рассыпались*. Весь обессиленный я падал и в изнеможении ломал себе руки, но в эту минуту я почувствовал, что земля исчезает у меня под ногами, что я лечу куда-то... **.

⟨*Л. 70*⟩

По содержанию и по форме этот набросок близок к «аллегории» Слепцова «Притчи и видения» 1862 г. (см. выше, стр. 292—295). Имеются между ними и текстуальные совпадения. Дважды зачеркнутые в рукописи слова (они напечатаны нами в сноске) находим в несколько другой редакции и в «аллегории».

⟨2⟩

Унылый и задумчив брожу я по улицам этого города. По небу серые тучи плывут. Длинные черные мысли бродят в моей голове. Смотрю я на тучи, на эти дома, на людей, на их мертвые лица и думаю: Нет, ничего не

---

* *Далее зачеркнуто*: Я был схвачен духом, перенесен в святилище наук и поставлен у входа.

** *Далее зачеркнуто*: Когда же я пришел в себя, опомнился, то увидал, что я перенесен духами в святил⟨ище⟩.

выйдет из этого чухонского болота. Что вы там ни толкуйте. Потому не выйдет, что нечему и некуда выйти. Потому что, как бы ни было прекрасно болото, из него, кроме прекрасного камыша да лягушек, ничего выйти не может. А что этот город — болото, в этом нет никакого сомнения.

⟨Л. 58⟩

На оборотной стороне листа этого рукописного фрагмента рукою Слепцова написаны слова, не относящиеся к публикуемому тексту: «Ив⟨ан⟩ Ив⟨анович⟩! Гони, брат! гони их из сада. Чего ж им еще? Пора же, наконец, дать отдохнуть и прислуге».

Некоторые детали публикуемого текста («мертвые лица» людей, город — «чухонское болото») повторяются в незаконченном фельетоне «Игры и зрелища», над которым Слепцов работал в начале 1865 г. или в 1866 г. (см. выше, стр. 359—367).

⟨3⟩

Распрекрасная ты мати-пустыня,
Пришел я тебя соглядати...
Пойду по лесам, по болотам,
Пойду по горам, по вертепам...

(Духовн⟨ые⟩ стихи)

Что там ни толкуй, а в Петербурге жить, надо прямо сказать,— только молодость свою погубить. Ведь это только так говорится: Петербург! Петербург!.. Но теперь спрашивается: что в нем хорошего? — Ничего нет хорошего. Живем мы здесь, можно сказать, бедствуем. Настоящие мытари. Ни покоя, ни удовольствия себе никакого не видим. Думаешь, думаешь... ах, да чёрт тебя возьми совсем! То ли дело провинция!

Запуганные жизнью, ежечасно погруженные в горестную думу, время от времени обращаем мы наши умственные взоры на те почтовые тракты, которые, подобно пауковым лапам, простираются отсюда во все стороны и захватывают самые отдаленные дебри и пустыни... Туда тревожно стремятся полные ожидания мысли наши, туда несутся наши разбитые надежды.

Провинция! Видим мы тебя из нашего прекрасного города, видим тебя, и что же мы видим?

Кроткая, но бестолковая, вечно ноющая и вечно молящая о пощаде, погорелая и сама себя взаимно-страхующая, в недоумении стоишь ты среди чистого поля и пугливо посматриваешь на все стороны, как бы вопрошая: что же теперь делать? [разверстывать ли угодия], или предаваться ликованию, и вообще куда теперь следует адресоваться?

Одолели тебя лихие болести, сокрушили тебя лютые напасти, много ты на своем веку испытала, а все-таки по безграмотству и по сиротскому убожеству своему помощи себе самой никакой оказать не можешь.

Со всякой глупостью ты лезешь в столицу, из всякой безделицы заводишь переписку и беспокоишь начальство.

Эх, был бы я на твоем месте, давно бы я на все это плюнул.

— Да, плюнул,— отвечаешь,— и рада бы я, голубчик, плюнуть, да как плюнешь-то? А ты вот научи-ка меня лучше, как мне с горями-то с моими управиться?

— И рад бы я тебя научить, да как научить-то? Как мне тебя, бестолковую, учить? * Пойми ты это! Сделай такую милость. И сам я начинаю догадываться, что совет мой легкомыслен, что провинция по-прежнему останется беспомощною, по-прежнему молящею о пощаде и что столковаться нам с нею не предвидится никакой возможности.

⟨Лл. 57 и 62⟩

---

* *Далее зачеркнуто*: Неловко мне браться за это дело.

Текст этого наброска расположен в тетради Слепцова на л. 57. Конец же последней фразы («...беспомощною, по-прежнему молящею о пощаде и что столковаться нам с нею не предвидится никакой возможности») находится на л. 62.

Публикуемая рукопись не поддается точной датировке. Но ее содержание, в частности слова о «наших разбитых надеждах», не оставляет сомнения, что возникновение наброска — быть может, начало какого-то нового замысла — относится к середине 1860-х годов, к периоду реакции.

Эпиграф к наброску взят из духовного стиха о царевиче Иоасафе, ушедшем от «прелестей мира», от богатства, славы, наслаждений в пустыню к тяжелому труду, «болотной воде», дурной пище, «зверю лютому».

Слепцов цитирует «стих» (с пропусками) по тексту, опубликованному в издании: П. А. Бессонов. Калики перехожие. Сборник стихов и исследования, т. I. М., 1861, стр. 251.



ЯРЫЙ ПРОГРЕССИСТ НА УЛИЦЕ И ДОМА
Карикатура. Рисунок неизвестного художника
«Сын отечества», от 1 ноября 1859 г., № 44

⟨4⟩

ИГРЫ ДЕТСКИЕ

Здравствуйте, дети! Давно мы с вами не видались. [С тех пор, как мы гуляли вместе по петербургским улицам, прошло уже два года с лишком.] В это время вы порядочно-таки успели подрасти. Небось, по латыни уж начали учиться. Ну-ка, проспрягайте мне *timeo*! А что значит — *timeo*?— боюсь. Прекрасно! Кого же вы боитесь-то, однако? Старика уже не боитесь? И трубочиста тоже? Кого же вы боитесь? Никого? Вот вы бесстрашные какие! Неужели, в самом деле, вы и темной комнаты не боитесь? Ого! Да вы, я вижу, совсем отчаянные. С вами беда. Что из вас будет, когда вы вырастете? Как вы на службу-то станете ходить? Ну, уж, дети!

И что же вы делаете? Чем вы занимаетесь? Учитесь. Ну, хорошо, а еще что? Книжки читаете. И не секут вас за это? Это вы скрываете только.

Нет, нас, бывало, за эти дела пробирали-таки изрядно. Без этого нельзя. Знаю я вас. Дай вам волю, так вы на шею сядете.

⟨Л. 96⟩

Набросок должен быть датирован серединой — второй половиной 1865 г. Основанием для этого служат имеющиеся в рукописи зачеркнутые слова: «С тех пор, как мы гуляли вместе по петербургским улицам, прошло уже два года с лишком». Здесь имеется в виду фельетон Слепцова «Весенняя прогулка». Он был опубликован как первая глава цикла «Петербургские заметки», в апрельской книжке «Современника» 1863 г. (см. выше, стр. 166). Задумав в 1865 г. продолжение этого цикла (см. выше, стр. 339 — вступительную заметку к фельетону «Речь...»), Слепцов, по-видимому, намеревался включить в него еще один фельетон: «Игры детские». Заглавие его и начало, публикуемое здесь, написаны на листе бумаги голубоватого цвета; на таких листах обычно Слепцов переписывал произведения, которые готовил к печати. Последний абзац («И что же вы делаете? ∞ на шею сядете») написан карандашом.

В эзоповой манере Слепцов пишет о возросшей зрелости революционно-демократического мировоззрения разночинной молодежи — «детей». «Дети» читают нелегальную литературу («*книжки*», за которые «секут»); они противодействуют реакции, не боятся тюрьмы («*темной комнаты*»); им, как говорится, не страшен уже ни бог («*старик*»), ни черт («*трубочист*»). Напомним, что этими же иносказаниями Слепцов пользовался, создавая в тот же период повесть «Трудное время» (II, 119).

⟨5⟩

Ужасно опять скучно становится. Опять эти разговоры пошли! Куда ни придешь — шу-шу-шу, да шу-шу-шу...Чёрт знает, что такое! Слушаешь, слушаешь, даже противно. И ведь уж это я сколько раз замечал: как начнутся разговоры — кончено! Тут уж ничего хорошего не будет. Это значит по крайней мере года на два отложи попечение. И скука теперь такая пойдет — самая анафемская.

Снегу все нет. Какой тут может быть хлеб, без снегу? Ну, положим, что мы не сеем, не жнем, но в житницы как бы то ни было все-таки собираем же ведь мы. А вот собирать-то будет нечего — тогда что? Да, одним словом, дело дрянь во всех отношениях.

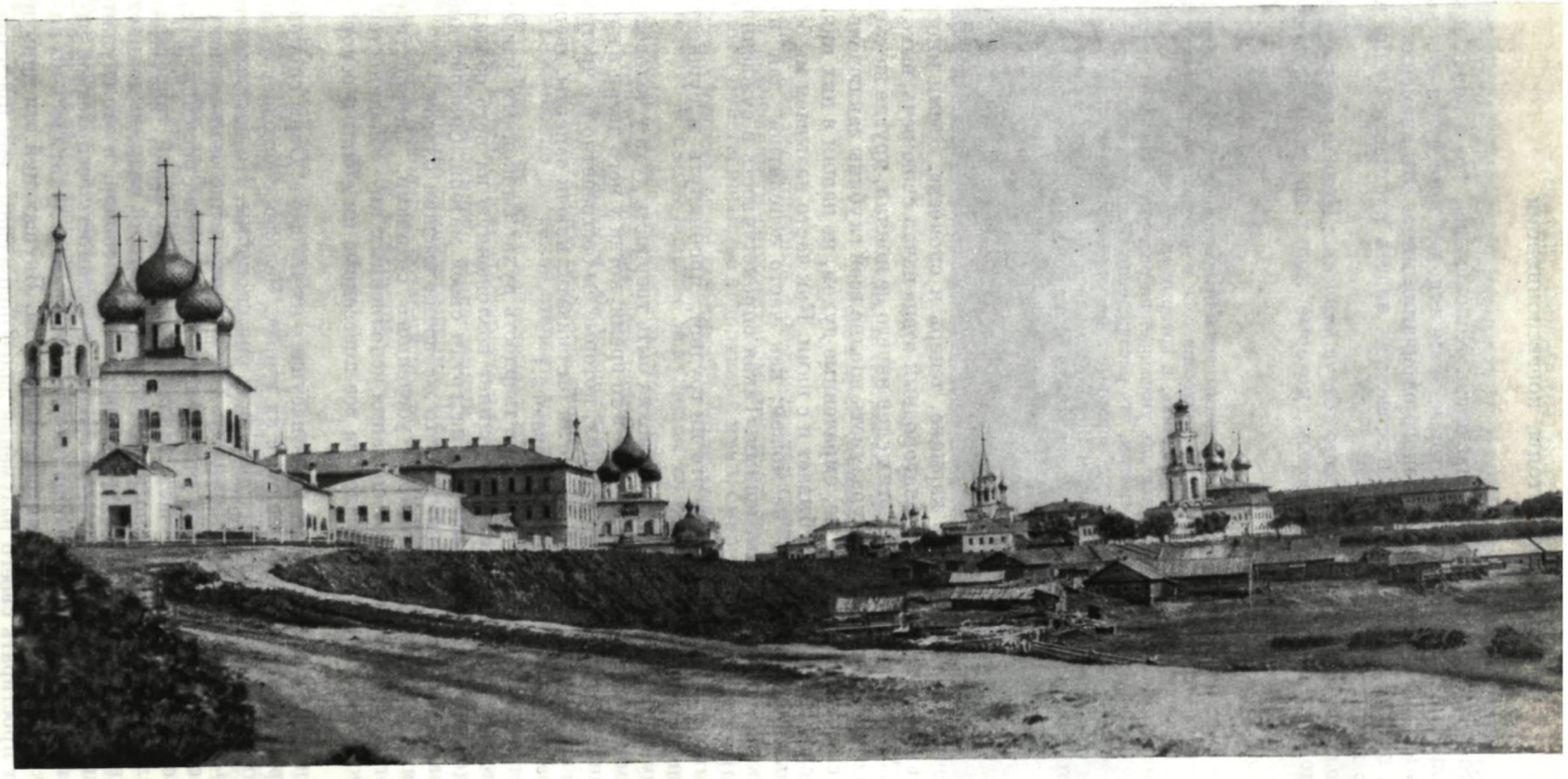
⟨Л. 97⟩

Текст этого отрывка находится на следующем листе тетради, вслед за «Играми детскими». Слова о «начавшихся разговорах», не сулящих «ничего хорошего», но, напротив того, обещающих «скуку» «самую анафемскую», указывают, по-видимому, на какие-то очередные замыслы и планы реакции в ее борьбе с революционно-демократическим движением.

⟨6⟩

Все я думаю, все я размышляю, как бы это так поуютнее устроить дела. Куда ни посмотришь, все это не ладится, все это врозь, а главное, время нынче такое: не на что опереться, места такого нет, на которое можно было бы поставить ногу с полной уверенностию, что оно не пошатнется и не провалится. Повсюду западни какие-то расставлены, в которые непрестанно попадают неосторожные и ломают себе ноги.

Судя по наружности, оно как бы и в самом деле все обстоит благополучно, и всякая вещь стоит на своем месте: каждое утро отпираются лавки, служащие идут в должности, дворники метут улицы, каждый вечер зажигаются фонари; но все эти успокаивающие признаки, однако, нисколько нас не успокаивают. Мы знаем, что и накануне того дня, когда должен прийти антихрист, порядок точно так же нарушен не будет; точно так же лавки будут отворены, улицы выметут, даже служащий ни на минуту не опоздает на службу. Однако антихрист придет и застанет нас врасплох.



ЯРОСЛАВЛЬ. ВЪЕЗД В ГОРОД
Фотография, 1867 г.
Исторический музей, Москва

Вот этого-то мы пуще всего и опасаемся. Хорошо еще, что в видах предосторожности обещаны нам некоторые знамения, которые будут для нас служить как бы предвестием близкого окончания мира. Эти знамения тем хороши, по крайней мере, что мы сможем их видеть и отчасти сообразоваться с ними, т. е. заранее...

На полях рукописи против первого абзаца написано: Нельзя же, в самом деле, уподобиться птицам небесным, которые ходят по улице и носом клюют.

〈Лл. 66—67〉

Незаконченный отрывок тематически примыкает к предыдущему. В обычной своей манере Слепцов рисует картину общества, находящегося в полосе глубокой реакции. Словами о повсюду расставленных «западнях», в которые «непрестанно попадают неосторожные и ломают себе ноги», писатель указывает на разгул полицейских репрессий и напоминает об их жертвах. Отметим, что рассуждения о «знамениях», грозящих обществу бедствиями, едва начатые и оборванные в дошедшем до нас отрывке, перекликаются с аналогичным рассуждением Щедрина в одной из запрещенных к печати глав его хроники «Наша общественная жизнь» за 1864 г. (см. «Лит. наследство», т. 67, 1959, стр. 339 и вступительную статью С. А. Макашина к этой публикации, стр. 334—336).

〈7〉

«Ключи заперты, двери в кармане, теперь я спокоен». Этими многозначительными словами один «благородный отец» начал свою речь, выходя на сцену. Многие в то время из этих слов ничего не поняли, другие же хотя и поняли отчасти, но не могли уразуметь вполне всей глубины заключенного в них смысла. Некоторые же, омраченные духом, не нашли в них никакого смысла. Нечто подобное бывает и с нами. Как часто называем мы бессмысленным то, чего понять не можем; как часто непонятное для нас в жизни кажется нам бессмысленным. Такая опрометчивость в суждениях весьма прискорбна.

Попытаемся, однако (сколь это ни трудно), проникнуть в сущность приведенного выше изречения.

[Подумайте, читатели, какова должна быть твердость духа у человека, который может оставаться спокойным в то время, когда у него двери в кармане, и много ли из вас найдется таких, которые бы бестрепетно и с чистым сердцем и пред лицом всего света могли бы сказать: ключи заперты, двери в кармане, теперь я спокоен. Сомневаюсь.]

Что такое спокойствие и что такое твердость духа? Спокойным бывает человек тогда, когда с рвением выполняет возложенную на него обязанность. Спокоен младенец, лежащий на груди своей матери. Спокойствие служит наградою послушанию. [И в то же время высшим благом.]

[Взгляните на маститого старца, убеленного сединами. Спокойствие на челе его. Оно происходит от сознания исполненных им обязанностей. Оно служит ему лучшей наградой за все понесенные им обиды и оскорбления.]

Взгляните на стадо, лежащее у ног пасущего их человека. Овцы спокойны. Доверчивая преданность видна в их взорах. Человек соблюдает их от расхищения и нападения лютых зверей, и они спокойны. Но вот человек поставлен в необходимость толочь воду. Такое упражнение, по-видимому, не имеет смысла. Но не спешите произносить опрометчиво решения. Бессмысленное на взгляд занятие часто заключает в себе глубокий таинственный смысл, понятный для немногих. Человек, толкущий воду, выполняет возложенную на него обязанность, и совесть его спокойна, и это служит ему лучшим утешением и лучшею наградою за видимость бесполезной работы. Но такие примеры 〈?〉 не обладают еще твердостию духа; здесь мы видим только спокойствие и безмятежность мысли. Вкушающий эти дары и не дерзает простирать своего разумения далее положенных ему пределов.



У ПОСТОЯЛОГО ДВОРА
Гуашь П. П. Соколова, 1880-е гг.
Русский музей, Ленинград

А потому как бессловесные, так и разумные существа равно могут наслаждаться вожделенным спокойствием и как от тех, так и других требуется только не буйственный, не строптивый нрав, смирение и кротость. Но всего этого еще недостаточно для приобретения твердости духа. О! Как труден сей подвиг! И сколь великие искушения суждено пройти человеку прежде, нежели дух его твердостию уподобится стали. Но что такое эта твердость? Твердость душевная есть непрестанное и вечное покорение в себе духа гордыни, осуждения, злоумышления, суемудрия, самомнения и презорства *. Испытующий твердость своего духа покоряет в себе любоначалие и самомнение до такой степени, что перестает доверять себе: слыша не слышит, видя не видит и мало-помалу приучает себя бестрепетно и твердо, даже пред всеми, свидетельствовать о таких подвигах, которые всему свету кажутся бессмыслицею. Приведенный в начале пример служит лучшим образцом такового самоизвращения. Подумайте: какова должна быть твердость духа у человека, который может оставаться спокойным в то время, когда у него двери в кармане.

⟨Лл. 63—64 и 98—99⟩

Начало этой незавершенной статьи сохранилось в бумагах Слепцова в двух черновых вариантах. Мы публикуем один из них — более пространный. Варианты расположены в тетради не рядом: они разделены другими рукописями. Намереваясь, видимо, перебелить сильно правленный текст, Слепцов не внес в публикуемую рукопись замены для некоторых намеченных к переработке и потому вычеркнутых мест. Для сохранения необходимой связи в изложении все такие места воспроизводятся в публикации (они обозначены квадратными скобками). Что касается вычерков, тут же замененных, то они опускаются.

Статья начинается словами монолога — «благородного отца» из какой-то пьесы. Алогизм этих слов — «герой» перепутал их порядок, сказав вместо: «Двери заперты, ключи в кармане» — «Ключи заперты, двери в кармане»,— служит писателю отправной точкой для задуманного им рассуждения о «бессмыслице» и «путанице» некоторых

* Высокомерие, гордость.— *Ред.*

основных понятий и поступков в обществе, находящемся под гнетом самодержавно-полицейской власти и «казенной» идеологии. Преимущественное внимание Слепцов намеревался, по-видимому, уделить характеристике «самоизвращений», наступающих в психологии и поведении человека, поставившего себя на службу реакции. Он, пишет Слепцов, «мало-помалу приучает себя бестрепетно и твердо, даже пред всеми, свидетельствовать о таких подвигах, которые всему свету кажутся бессмыслицею». Оставшееся в эмбрионе намерение Слепцова родственно обличительному заданию Щедрина, реализованному им в образах «ташкентцев» и «молчалиных».

⟨8⟩

...сделал с собою, что хотел. И хотя оно не совсем так, но все-таки как-то веселее. Притом не надо забывать, что само смирение вовсе не такая страшная вещь, как это кажется *

Если я предлагаю тебе смирение, то я делаю это потому только, что не знаю в настоящую минуту такой деятельности и такого поприща, на котором бы ты, по моему мнению, мог быть на своем месте. В последнее время я пришел к тому убеждению, что пустынножительство и углубление в самого себя в подобных случаях оказывает не малую пользу душе. Удалившись от мира, в откровенной беседе с самим собой ты лучше поймешь свое отношение к миру.

Я уверен, что тогда тебе станет ясно вполне, до какой степени ты заблуждался, возмечтав быть строителем нового здания и насадителем новых начал [в вертограде] в то время, когда никто тебя об этом не просит.

Ты вздумал пролагать новые пути и тропинки в таких дебрях и пустынях, которые назначались для диких вепрей и шакалов; ты вздумал углубиться в непроходимые чащи заповедных лесов и огласить дремучие дебри дерзким звуком твоего голоса; в высокомерной гордости своей, бесстрашный, ты восхотел проникнуть даже в мрачные подземелья и озарить ⟨*пропуск*⟩ сокрытых там змей и скорпионов. Но холодный ветер погасил твой светильник, секира выпала из рук, и ты остался один среди открытых тобою чудовищ. Опомнись, любезный друг, пролей слезы раскаяния и добровольно откажись от своих гордых замыслов.

Время раскаяния еще не ушло.

Еще раз повторяю тебе: смирись. Только кротостью и смирением можешь ты укротить в себе опасное желание.

В тиши уединения ты поймешь всю бесплодность твоих стремлений, и снова в душе твоей воцарится вожделенный мир и спокойствие.

⟨*Л. 32*⟩

Тематически этот фрагмент близок к предыдущему наброску «Ключи заперты, двери в кармане...» Здесь и там обличается психология и философия людей, мечтающих прожить «спокойно», без борьбы и больших идеалов, идущих ради этих целей на моральные компромиссы. Есть, однако, и существенное различие. В предыдущем наброске речь «благонамеренного» собеседника обращена к людям, уже плененным реакцией, развращенным самодержавием. В настоящем отрывке тот же или близкий к своему предшественнику собеседник обращается со своими охранительными поучениями и увещеваниями к людям революционного лагеря. Их и пытается он призвать к «раскаянию» и «смирению». Обличительный замысел Слепцова был вызван необходимостью дать отпор натиску реакции середины 1860-х годов и некоторому упадку революционной энергии в демократическом лагере.

⟨9⟩

Человек всегда был и вечно останется неистощимым предметом исследований во всех возможных отношениях.

С тех незапамятных времен, когда мало-помалу стали выступать перед ним его же собственные свойства, с тех пор как пробудилось в нем сознание

---

* *Далее стерто несколько строк.*

своего бытия, постоянно и неизменно преследует он одну и ту же идею — узнать самого себя. В темных ли сказаниях младенческого народа, в мистических представлениях религиозного культа, в песнях и обычаях, в диком и в высокоразвитом состоянии и во всякое время, когда только человек силился оторвать свои взоры от окружающего мира и обратить их на самого себя, всегда влекло его непонятное чувство проникнуть в глубь души человеческой; но и там встречали его всегда одни и те же вопросы: как? почему? — и никакие события внешнего мира не в силах были заглушить этого голоса, вечно зовущего и вечно тревожащего современного человека.

Сквозь костры и ледяные горы, сквозь неведомые леса и пустыни, чрез целые ряды веков и заблуждений неизменно шел человек на призывный голос, мучимый жаждою знания, и тяжелым опытом завоевывал себе право свободного удовлетворения этой потребности.

В наше время, как и всегда, вопрос о человеке и его духовных и физических потребностях стоит на первом плане. Стоит только окинуть взором эту страшную массу изобретений и трудов по всем отраслям знания, чтобы догадаться, как неутомимо хлопочет и бьется человек, чтобы со всех сторон изучить самого себя, приноровиться к своим нуждам и удовлетворять ежеминутно появляющимся новым требованиям современной жизни.

Прошло время, когда думали, что только свернувшийся в самого себя человек долгим и неусыпным наблюдением над самим собою и совершенным отречением от всего внешнего мира может дойти до высшей степени самопознания.

Только последнее время решило великую задачу жизни, только наука показала свету, что не аскетической сосредоточенностью, а изучением жизни и великих тайн на месте ⟨?⟩, на каждой данной точке доходит человек до возможности узнавать и себя. Изучая жизнь во всех возможных ее видах и проявлениях, схватывая на лету ничтожнейшие, по-видимому, явления физического мира и доискиваясь их причины, находит он ответы тех вопросов, которые считались неразрешенными; и которые теперь, при знании законов природы, так просто и ясно вытекают из этих законов.

Разнообразнейшие и совершенно разрозненные, на первый взгляд, явления группируются в одно стройное целое и принимают высокохудожественный вид, и быстро исчезают одна за другою самые запутанные и непонятные тайны природы, озаряемые светом одного общего закона.

Не субъективная деятельность одного человека, не личный изолированный взгляд, как бы он ни был сам по себе верен и ясен, способен привести человека к полному сознанию, а только труд веков, только изучение вечной жизни, слившейся из миллионов конечных явлений, в силах дать нам более или менее ясное понятие о том, что такое — он сам.

⟨*Л. 72*⟩

Начало публикуемого наброска является перефразировкой известного изречения Гете: «Истинный предмет изучения человека — есть человек». Изречение было внесено Слепцовым в его записную книжку в конце 1865 г. К этому примерно времени следует отнести и возникновение настоящего текста.

Дошедший до нас фрагмент статьи свидетельствует об интересе Слепцова к философским вопросам, о его желании принять участие в борьбе материалистов-демократов с идеалистами. Слепцов осуждает субъективизм, попытки оторвать человека от внешнего мира, от общества. Он хочет постигнуть объективные закономерности явлений природы и общества, понять *процесс* развития. Вслед за Чернышевским — автором «Антропологического принципа в философии» — он признает единство физиологических и психических начал в человеке, заявляя тем самым о своей материалистической позиции.

В словах о том, что «только последнее время решило великую задачу жизни», Слепцов, по-видимому, напоминает об открытиях в области естествознания, химии и физиологии Ч. Дарвина, А. М. Бутлерова, И. М. Сеченова.

НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ «РАБОТЫ О КАВКАЗЕ»

3 августа 1875 г. Слепцов писал Некрасову: «Многоуважаемый Николай Алексеевич. Уезжая из Москвы, вы мне сказали, что в случае крайней нужды я могу обратиться к вам. До сих пор я по возможности старался не пользоваться этим обещанием и думал, что в силах буду претерпеть до окончания работы о Кавказе; но теперь вижу, что для меня это невозможно и что при всем желании не пользоваться больше вашими уступками, я не дотяну до конца августа. В августе, когда вы приедете в Москву, я прочту вам то, что у меня написано, и тогда, я надеюсь, что вы не будете раскаиваться в еще одной лишней уступке (как вы это называли когда-то); а теперь, прошу вас, дайте мне возможность дотянуть мою работу до конца, пришлите мне рублей сто» («Лит. наследство», т. 51-52, 1949, стр. 498).

В этом письме мы находим первое и, насколько известно, единственное упоминание о большой работе, которой Слепцов был занят в 1870-е годы. Как видно из письма, он возлагал на нее большие надежды и, очевидно, сам считал свою работу о Кавказе очень важной. Однако следы этой работы потерялись и было трудно определить, какое она занимает место в творческом наследии Слепцова. Лишь теперь на основании рукописей, найденных в архиве Пушкинского дома, можно попытаться установить общее направление работы и отчасти выяснить ее творческую историю.

Рукописи эти представляют собою несколько разрозненных листков без заглавия с набросками статьи о Кавказе, материалами для нее и планом. На обороте одного из них Слепцов нарисовал несколько своих монограмм с обозначением места и времени записи: «Тифлис. В. С. 1874».

1874 год был трудным годом в жизни Слепцова. Открывшийся в 1873 г. тяжелый недуг (язва прямой кишки) заставил его покинуть Петербург, отказаться от должности секретаря редакции «Отечественных записок» и уехать на юг. По совету доктора Бокова, Слепцов едет лечиться на Кавказ. Он очень нуждается, признается, что все деньги уходят на лечение, телеграфирует Некрасову из Тифлиса: «Болен, очень нуждаюсь, не можете ли прислать рублей сто» («Лит. наследство», т. 51-52, стр. 498). Всю зиму 1873/74 г. Слепцов живет в Тифлисе, здоровье его несколько улучшается, он вновь возвращается к литературному труду, задумывает большую работу о Кавказе и именно в это время приступает к ее осуществлению. Начав работать над статьей в 1874 г. в Тифлисе, Слепцов, как видно из цитированного выше письма, продолжает писать ее в Москве в 1875 г.

Статья, по-видимому, отнимала у Слепцова много времени и сил. Вероятно, именно поэтому свой труд он уважительно называет не статьей или очерком, а «*работой о Кавказе*». О подготовительных этапах работы, относящихся к ознакомлению с историей Кавказа и с документами кавказской войны, сохранились следы в одном из дошедших до нас черновиков. Мы находим здесь следующую запись Слепцова:

«Сношение России с кавказскими народами началось с 1559, когда была основана Иваном Васильевичем Грозным при впадении Терека в Каспийское море крепость Тюмень (Терки)

Грузия была разоряема и покоряема аравит⟨ами⟩, монголами, персиянами и турками.

1561 Иван Васильевич женился на кабардинской княжне Марье Темрюковне.

1582 пятигорские черкесы отдались России».

Далее следуют подробные выписки из протокола заседания Государственного совета от 8 августа 1801 г., когда Грузия, вырвавшись из-под персидского владычества, присоединилась к России. Характерно, что на самом первом этапе работы наметилась ее будущая направленность. Так, Слепцов замечает для себя, что когда в 1802 г. Кнорринг объявил в Тифлисе манифест о присоединении Грузии, «народ отказался присягать», а «знатнейшие дворяне за это арестованы». Тем самым уже здесь Слепцов подчеркивает недовольство кавказских народов захватнической политикой царизма. По-видимому, в своем труде он намеревался дать историческую перспективу. Среди записей мы встречаем имена Чингиз-хана, Тамерлана и Солимана Великолепного. Однако работа не была завершена. Не сохранилось даже единого

текста статьи, хотя несомненно, помимо черновых набросков, у Слепцова была беловая редакция. Вероятно, эту рукопись он в 1875 г. и намеревался показать Некрасову.

Мы публикуем отрывки черновой рукописи статьи, располагая их в последовательности, предусмотренной сохранившимся в бумагах Слепцова следующим планом «работы о Кавказе»:

Кавказом в России не интересуются.
Причина — история покорения.
Война не популярна.
Слишком долго.
Цель неизвестна.
Дорого стоит.
Интересна для военных, подрядчиков и чиновников.
Для большинства — бездонная пропасть.
Даже на Кавказе не популярна между военн⟨ыми⟩.
Рассказы о продаже солдат, провианта, снар⟨ядов⟩.
Басня, но это доказательство.
Для Петербурга Кавказ не существовал до покорения.
На несколько дней занялись.
Шамиль — Калуга, забыли.
А между тем теперь-то и интересен.
Общий взгляд.
Богатства.
Недостаток людей и капиталов.
Тифлис.

В этом плане обращает на себя внимание интересный пункт, должно быть, по цензурным условиям не отраженный в статье. Слепцов намеревался привести подлинные рассказы участников кавказской войны «о продаже солдат, провианта, снарядов», что было бы ярким доказательством ненужности этой кровавой бойни.

При всей фрагментарности публикуемые наброски содержат ценный материал для характеристики идейных позиций Слепцова по отношению к колониальной политике царизма.

В 1876—1877 гг. здоровье Слепцова настолько ухудшилось, что он уже не мог работать. Интересный замысел его последней работы остался незавершенным.

⟨1⟩

В России, и в особенности в Петербурге, давно уже перестали интересоваться Кавказом, это случилось еще задолго до окончательного его покорения. Причину равнодушия к Кавказу, мне кажется, следует искать прежде всего в истории его покорения. Кавказская война, как известно, никогда не пользовалась у нас большою популярностью, и подвиги кавказских героев никаких особенных восторгов не возбуждали. Если же время от времени русские газеты принимались трубить о новых успехах русского оружия за Кубанью и если мы вдруг ни с того, ни с сего начинали уж очень горячо рассуждать по этому поводу и даже очень этим гордиться, то ведь этому нельзя же в самом деле придавать какое-нибудь серьезное значение; тем более, что патриотизм в подобные минуты был крайне сомнительного свойства по той причине, что большею частию был напускной. Гордились же мы подвигами, собственно, потому, что нужно же человеку чем-нибудь гордиться, и за недостатком лучшего мы гордились, между прочим, успехами нашего оружия за Кубанью. Были и в России люди, для которых кавказская война имела очень серьезное значение, а именно — военные. Для них Кавказ представлял возможность получать двойное жалование, легко отличаться и быстро подниматься в чинах. Кроме того, эта война (как и всякая война) была очень выгодна для

подрядчиков, поставлявших всякого рода припасы для войск; наконец, она привлекала чиновников и вообще разных служилых людей, необходимых при водворении русского владычества в крае. Все эти люди видели в кавказской войне свою личную выгоду, и в среде этих лиц она, разумеется, была очень популярна, что же касается России вообще, то всякий знает, что большинство у нас давно уже привыкло смотреть на Кавказ как на какую-то бездонную пропасть, в которой во славу русского оружия ежегодно погибают тысячи людей и миллионы денег. Хотя в то время мы вовсе еще не были так богаты, чтобы позволять себе подобную роскошь, но большинство, вероятно, кое-как помирилось бы с такою неумеренною тратою людей и миллионов, если бы цель кавказской войны была для всех понятна. Большинство никогда не могло себе дать отчета, из-за чего, собственно, мы воюем на Кавказе. Хотя Россия и считается военным государством, но мы, русские, по всему складу нашего народного характера, как это видно и из истории, никогда не выказывали воинственных наклонностей.

〈2〉

Всему свету известно, что мы, русские, по складу нашего характера — народ крайне миролюбивого свойства, и если время от времени мы оставляем плуг и беремся за меч воинственный, то к этому обыкновенно вынуждают нас какие-нибудь внешние, от нас не зависящие обстоятельства.

Вследствие 〈этого〉 мы никогда не принимали деятельного участия в судьбах...*

Политическая жизнь с ее высшими соображениями и сложными задачами для большинства была всегда недоступна и даже совсем непонятна; поэтому, когда политический горизонт начинал помрачаться и над Европой собирались тучи, то мы обыкновенно узнавали об этом после всех, даже и в том случае, когда эти тучи висели над нами. К политическим грозам мы всегда относились совершенно так же, как и вообще ко всякого рода бедам: градобитию, холере, голоду и проч. Беда обыкновенно заставала нас врасплох, именно в то время, когда мы всего менее ее ожидали.

Народ в этом отношении был все-таки счастливее нас, у него были предвестники, заранее предупреждавшие об угрожающей опасности; у него были верные приметы: блох много — к войне, мальчиков много родится — к войне, и, наконец, знамения на небе — кометы с хвостами, на земле — набор. Впрочем, надо признаться, что набор всегда был самым несомненным предвестником близкой войны, как для народа, так равно и для высших сословий, от рекрутской повинности свободных.

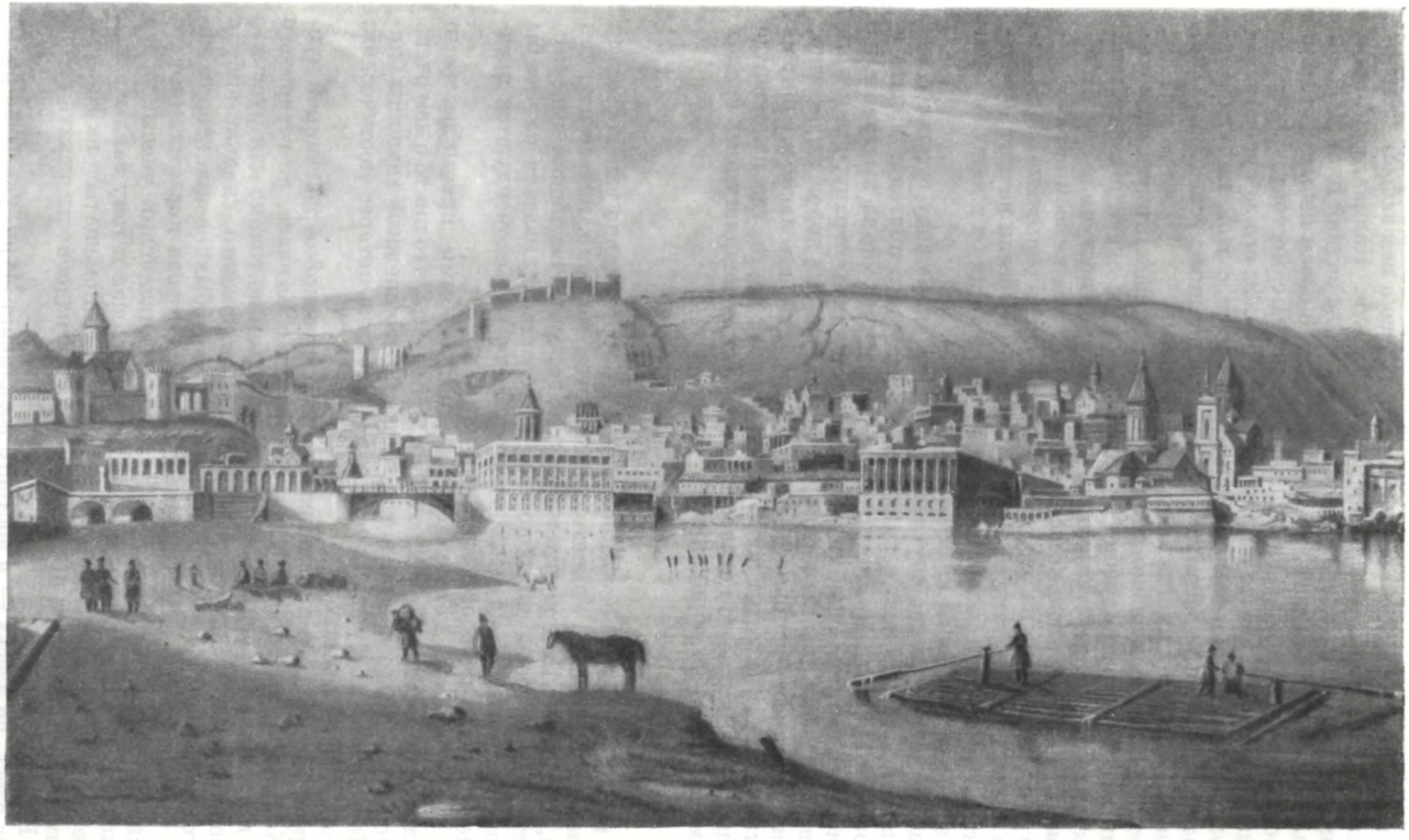
〈3〉

Там у нас в России, и в особенности в Петербурге, давно уже перестали интересоваться Кавказом, и это случилось еще задолго до окончательного его покорения.

Борьба возбуждает интерес, но здесь она уж слишком долго продолжалась и была притом очень однообразна; внимание притупилось отдаленностью места действия. После взятия Гуниба в иллюстрированных изданиях вдруг снова появились кавказские горы, кабардинцы на конях и проч., в газетах заговорили о так называемом умиротворении края, о взятии Шамиля, о торжествах, происходивших по этому поводу в Тифлисе, затем Шамиля привезли в Петербург. Несколько дней публика бегала за ним, газеты были наполнены мелкими подробностями о знаменитом имаме, о его семействе и т. д.

---

* *В рукописи пропуск.*



ТИФЛИС

Картина маслом неизвестного художника, 1860-е гг.

Исторический музей, Москва

В Тифлисе Слепцов жил зимой 1873/74 г. Здесь он начал «работу о Кавказе»

Шамиль попал даже в «Искру», где был изображен с красною бородою. Потом Шамиль отправился на житье в Калугу, и все о нем забыли. Кабардинцы и кавказские горы в иллюстрациях исчезли. Кавказ, о котором вспомнили по случаю его покорения, снова отошел на задний план. Он как будто только появился для того, чтобы напомнить о своем небытии, т. е. о том, что со взятием Гуниба угасает последняя искра самостоятельного существования Кавказа, а вместе с прекращением борьбы его за существование прекращается возбуждаемый борьбою интерес, и с этой минуты Кавказ превращается в обыкновенную русскую провинцию и, следовательно, попадает в список вещей ни для кого не интересных.

Следует ли обвинять в легкомыслии русскую журналистику вместе с ее читателями за такое равнодушие к Кавказу — я не знаю. Может быть, русская журналистика, действительно, в этом случае поступила легкомысленно, а может быть, она только не давала себе отчета в своем образе действий, а в сущности имела на это какие-нибудь очень серьезные свои причины, кто знает, дело все-таки в том, что Кавказом в России не интересуются, и притом, как нарочно, именно в такое время, когда он с каждым днем становится все более и более интересным.

Я попал сюда совершенно случайно... и очень скоро уеду отсюда и, вероятно, навсегда. Я прожил в кавказском крае всего полгода. Узнать в такой короткий срок страну, которая только на днях стала выступать из мрака неизвестности, конечно, трудно, и притом такую страну, где нет ни истории, ни географии, ни статистики, ни литературы, ни дорог, ни податей, ни полиции, где вместо законов — адаты и шариаты, где люди говорят на двенадцати языках и не могут понимать даже друг друга, где, наконец, до сих пор еще живут какие-то неизвестные племена на неприступных скалах и даже имени своего не объявляют

‹4›

Там у нас в России, и в особенности в Петербурге, давно уже перестали интересоваться Кавказом. Удивительного в этом, конечно, ничего нет, так как люди, живущие в Петербурге и в других городах Российской империи, как известно, не одарены способностью долго останавливаться на чем бы то ни было, даже и в тех случаях, где вниманию их рекомендуются предметы более близкие и более достойные внимания.

А так как Кавказ не пользуется никакими особыми преимуществами и в этом случае не составляет исключения, то понятно, что никто о нем очень и не беспокоится. Было время, когда Кавказ и его снежные вершины благодаря Лермонтову возбуждали в русской публике интерес поэтический; но это время давно прошло.

Но, кроме этой общей причины равнодушия русской образованной публики к Кавказу, есть еще и другие. Заговорив о Кавказе, не говорить о войне — невозможно; Кавказ без войны немыслим не только для русских, веками воевавших на Кавказе, но и вообще для каждого, сколько-нибудь знакомого с историей Кавказа. Кавказ называют обыкновенно второю колыбелью человечества — на том основании, что отсюда после всемирного потопа снова начинается история. Известный английский ученый Мурр несколько лет тому назад, обозревая Кавказ, пришел к тому заключению, что земной рай по всей справедливости должен был помещаться на Кавказе и даже именно в Абхазии, и потому нет никакой надобности искать его на берегах Евфрата.

— «Он здесь, он здесь» — в восторге восклицает Мурр, указывая на...*

‹1874—1875 гг.›

Автограф. ИРЛИ. Р. III, оп. 1, № 1928, лл. 3—9, 12.

* *На этом текст обрывается.— Ред.*

В ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

1860—1864 гг.

Публикация М. Л. Семановой

Публикуемая записная книжка Слепцова находилась в бумагах писателя, отобранных у него при аресте в апреле 1866 г. Датировать ее следует 1860—1864 гг. Сначала идут записи, сделанные в пору подготовки к путешествию и во время самого путешествия по Владимирке и Клязьме, т. е. осенью 1860 г. (на л. 3 стоит дата: 25 октября). Они занимают большую часть записной книжки. С л. 37 начинаются заметки, сделанные Слепцовым в период работы над «Письмами об Осташкове» (начало 1862 г.). Записи в последней части книжки представляют собой материалы народного творчества. Особняком стоит запись на л. 27— письмо священника Утехина, датированное 1864 г.

Записная книжка представляет собою сшитую из отдельных листов тетрадь, размером 16 × 11 см; бумага в ней неоднородна, различного качества, плотности и размера (некоторые листы 18 × 11 см). Всего 51 лист. Не все страницы этой тетради заполнены. Иногда Слепцов пишет и на лицевой и на оборотной стороне листа, иногда же только начинает страницу или оставляет страницу совсем чистой. Записи сделаны то во всю ширину формата, то столбиком; то чернилами, то карандашом. Они не датированы. Некоторые заметки являются лишь черновыми набросками; многие слова недописаны или написаны наспех, небрежно. Но есть страницы, явно переписанные сюда набело (например, запись пословиц).

Несколько заметок зачеркнуто (см. лл. 23, 36, 41, 44) — все они использованы писателем в его художественных произведениях.

На л. 47 начерчены кружки, в которые вписана монограмма: «В. А. С.», в одном кружке очень мелко, карандашом написано: «Василий Алексеевич Слепцов». Здесь же даны арифметические подсчеты (по-видимому, расходов), которые мы не воспроизводим.

На первом чистом листе обозначено красным карандашом, крупно: № 7. Не седьмой ли это номер записных книжек? Хотя других в найденных бумагах писателя нет, но, несомненно, что у него были еще тетради, в которых он вел записи в то самое время, которым датируется настоящая книжка. Каронин-Петропавловский говорил Горькому и Короленко, что видел у Слепцова «толстущие тетради» записей анекдотов, песен, рассказов о попах [1].

В очерках «Владимирка и Клязьма» автор неоднократно упоминает о том, что он пользуется записной книжкой: «...В надежде как-нибудь завязать разговор, я сам сел на сундук и вынул из кармана записную книжку» (I, 251). «Я вынул потихоньку памятную книжку и записывал песню» (I, 324). Между тем приведенные в этом случае в тексте очерков песни и разговоры в публикуемую нами записную книжку не вошли. Естественно предположить, что они были внесены в другую тетрадь или тетради. Это предположение тем более вероятно, что в настоящей записной книжке мы не находим многих материалов, относящихся к последним главам очерков «Владимирка и Клязьма». Отсутствует все, что связано с французскими рабочими, а между тем вопрос этот интересовал Слепцова и требовал специального предварительного сбора материалов. Нет в записной книжке «№ 7» ничего о подрядчиках (к главе VII), о Клязьме (к главе V), однако мы знаем, что он заимствовал некоторые материалы у Н. Я. Дубенского, этнографа и статистика, адрес которого находим и в записной книжке (л. 30).

Нет, наконец, данных о ряде мест, где останавливался во время путешествия Слепцов (Городищи, Покров, Петушки и др.) и о которых довольно подробно говорится в очерках.

Итак, сохранившаяся записная книжка Слепцова не может считаться единственной, бывшей у него. Но и она дает богатый материал для изучения биографии и творчества писателя.

Записная книжка содержит разнообразный материал: планы, перечень вопросов, составленный Слепцовым перед путешествием по Владимирке, маршрут путешествия, описание многих мест, которые он посетил, данные об истории некоторых фабрик, состоянии производства, торговли, о положении рабочих, крестьян.

Слепцов вносит в записную книжку некоторые разговоры с крестьянами, фабричными рабочими, чиновниками, попами, эпизоды, характеристики, факты. Он записывает пословицы, песни, частушки фривольного содержания, особенности местного говора, афористические выражения, цитирует в двух случаях Шекспира и Гете, вносит для памяти адреса, имена и фамилии, рецепты, названия работ, к которым предполагает обратиться, приводит письма местных жителей, стихи местных поэтов, цитирует «манускрипты», с которыми познакомился во время путешествия.

Хотя мы не находим в записной книжке Слепцова такого обилия законченных сюжетов художественных произведений, как в записных книжках Чехова, не видим развернутых рассуждений по философским, политическим, эстетическим вопросам, что отличает записные книжки Толстого, публикуемый документ является ценнейшим источником для изучения процесса творчества одного из наиболее значительных и своеобразных писателей-демократов шестидесятых годов.

Сравнивая заметки записной книжки с очерками «Владимирка и Клязьма», прежде всего убеждаешься в том, что у писателя был заранее продуманный план, систематизированы вопросы (см. лл. 1—2), на которые он предполагал ответить во время путешествия, собрав материал и подготовив обобщение о положении фабричных и крестьян в пору реформ. Ссылка на т. XI «Свода законов» (л. 37) свидетельствует об изучении Слепцовым правового положения хозяев и рабочих; здесь же, кстати, он мог почерпнуть и предварительные сведения специального характера: например, наименования различных категорий рабочих ткацких фабрик.

Сравнение записной книжки с «Владимиркой и Клязьмой» дает также представление о реализации намеченного плана. В первой части (до л. 17) имеются сведения, порою даже подробные, полученные Слепцовым на самих фабриках: о состоянии и характере производства, о заработках рабочих, об истории фабрики и т. д. Но по мере продвижения путешественника в глубь Владимирской губернии эти записи оказываются всё более скупыми и наконец совсем угасают. Объяснение этому находим в очерках «Владимирка и Клязьма», где автор прямо говорит, что не смог реализовать своего намерения, так как ему противодействовали владельцы фабрик и управляющие, стремившиеся затушевать подлинную картину. «Тяжело мне стало, досадно, как всегда бывает, когда возьмешься за дело и видишь, что оно из рук валится. У меня план был в то время, систематический план, строго обдуманная программа, и обиднее всего было то, что на первых же порах программа эта получила такой жестокий афронт, и план мой в пух разлетелся при первой же встрече с действительностию» (I, 257).

Итак, намеченный план — собрать фактические сведения непосредственно на самих фабриках — был сломан самой жизнью. Убедившись в том, что фабриканты и торговцы не хотят выдавать своей «коммерческой тайны», а официальные данные можно получить и в «ведомостях», писатель не пытается во что бы то ни стало педантически следовать ранее установленной программе, а решает «бродить по деревням, смотреть, слушать» (I, 273) и, таким образом, собирать материал для обобщений.

При этом мы замечаем, что Слепцов не только умеет поставить жизненно актуальную задачу, гибко подчинить ей формы исследования, но что он, будучи предельно правдив и точен, вдумчиво отбирает наиболее значительное из накопленных наблюдений, выбирает для художественных очерков впечатляющие и убедительные факты. В очерки попадает далеко не все, что было в поле внимания Слепцова и не все, что зафиксировано в его записной книжке. По записной книжке, например, мы можем

10-го Марта.

ИСКРА

1859 1860 1861 1862 1863

1864

ГОДЪ VI. САТИРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ СЪ КАРРИКАТУРАМИ. № 9.



Калики перехожіе.

«КАЛИКИ ПЕРЕХОЖИЕ»

Группа писателей-демократов, предпринявших в 1860-х гг. пешеходные путешествия по России с целью сбора фольклорных и этнографических материалов. Слева направо, стоят: П. И. Якушкин, П. Н. Рыбников, Слепцов, Н. К. Отто, А. И. Левитов; сидят: Е. Южаков, С. В. Максимов

Карикатура неизвестного художника

«Искра», 1864, № 9

восстановить полный маршрут путешествия Слепцова (более 20 пунктов), а в очерках он дан хотя и в той же последовательности, но выборочно (13 пунктов). Так, например, автор «Владимирки и Клязьмы» начинает с описания фабрики Мазурина в селе Ивановском, опуская подробные записи о фабрике Медынцева в селе Сетуни, о Наро-Фоминской фабрике и др. [2]

Записная книжка Слепцова дает возможность проникнуть в творческую мастерскую художника, понять, что́ останавливает его внимание, что и как используется им в очерках, в рассказах, в повести, в публицистике.

Так, сухие статистические сведения о фабрике вносятся в очерки из записной книжки не механически; они переданы порою в форме диалога, которым, как известно, с большим мастерством владел Слепцов. Читатель видит при этом и любознательного, горячо заинтересованного в истине рассказчика и весьма осторожных, укрывающих «коммерческие тайны», «прибедняющихся» хозяев фабрик. Приведем один пример:

Записная книжка
(л. 8)

Существует лет 50. Шелково-ткацкое заведение ⟨принадлежит⟩ купцу И. И. Кузнецову. *На 30 станов* ⟨...⟩ Плата сдельная *за клетчатую 22 коп. с аршина, за гладкую — 12 коп. ассигнациями.* Годовой оборот на 10 000 р. серебром.

«Владимирка и Клязьма»
(I, 250—252)

— У вас фабрика на сколько станов?

— *На тридцать станов**.

— Давно существует ваша фабрика?

— *Лет пятьдесят будет.*

— ⟨...⟩ Скажите, пожалуйста, как велик был капитал, положенный на фабрику?

Хозяин молчал и в недоумении смотрел на меня; жена стала отвечать за него.

— Нам это неизвестно ⟨...⟩

— Ну, по крайней мере, годовой оборо́т должен же быть известен?

— Мы тоже этих счето́в не знаем, кто его считал? Что заработаем, то и проживем опять. Какие уж тут обороты? По нонешнему времени, дай бог, только бы концы с концами свести ⟨...⟩

— Какие у вас материи работаются?

— Всякие работаем, гладкие работаем и клетчатые, кому какие требуются, — отвечала хозяйка.

— А мастеровым плотите помесячно или сдельно?..

— С дела.

— Почем плотите мастерам?

— Как придется,— отвечала она.

— *За гладкую по двенадцати копеек ассигнациями с аршина, а за клетчатую по двадцати по две,*— заметил муж.

Жена сейчас же перебила его:

— А по нонешним ценам и этого не выручишь ⟨...⟩ Всё в убыток работаешь, хоть совсем распущай народ да закрывай фабрику.

Как видим, лаконичная запись превращается в художественную картину, законченный эпизод или живой образ. Приведем еще примеры таких превращений. На л. 8 читаем: «Негостеприимный поп». В очерках эта заметка развертывается в целый эпизод. Автор устал, ищет приюта и безуспешно пытается найти его у священника; вводятся еще персонажи: попадья, работница попа, передается атмосфера сонной, мертвой жизни

* Курсивом набраны слова, использованные в очерках.— *М. С.*

в доме попа, страх перед новым человеком. Характеристика: «негостеприимный поп» дана в очерках не прямо; она воссоздается читателем из всей представленной картины (I, 246—247). Другой вариант образа попа находим на л. 11: «Знакомство с попом 〈...〉 *прием хороший, но скупой*». Эта заметка художественно *реализована* в очерках (стр. 268—269). «...богадельня. 1 старуха и ни души»,—читаем на л. 8. Из краткой заметки вырастает целая картина: автор заходит случайно в «сборную избу», в убогий дом призрения, видит там умирающую одинокую жалкую старуху и говорит с нею (I, 245).

Некоторые отрывочные записи, без указания даже к кому персонально они относятся, используются писателем в очерках «Владимирка и Клязьма» для создания индивидуального образа, например, фабричного Рожка, «тутошнего, ивановского крестьянина», трудолюбивого, услужливого, бескорыстного человека. Частично в авторских описаниях, а больше в диалоге Рожка и полового, в рассказе Рожка автору воспроизводится несчастливая жизнь его и его семьи, других рабочих на фабрике Кузнецова. Любопытно при этом, что в разные места рассказа Рожка входят все краткие данные о нем, имеющиеся в записной книжке, но входят фразеологически измененные и не в той последовательности. Это подсказано и самим заданием: оживить цифры (предвосхищение манеры Глеба Успенского) и спецификой художественного очерка. Приведем этот пример:

Записная книжка
(л. 8)

Земли на 3 души
4 меры ржи
2 овса
2 гречи
2 картофеля
Дров выдается одна *сажень*, *выдачи бывают великим постом*, берется за это 50 коп. *Лошадь покупал весною за 20 р., продал осенью за 4 р. на травлю.* Зимою работа на фабрике, *девки* работают *кушаки*. Товар берут в *Москве*, за работу получают *2 коп. с штуки. Дома́ большей частью хорошие, новые...*

«Владимирка и Клязьма»
(I, 248—253)

...дров даже ни одного полена, как есть 〈...〉

— Да вам, поди, чай, скоро дрова выдавать станут?

— Дожидайся, когда выдадут. Чудак ты, посмотрю я на тебя. *Выдача* у нас *великим постом бывает*, а до тех пор чем ты станешь топить? Тебе хорошо: ты взял да купил, а у нас деньги-то где они? Я вон *лошадь* тоже *по весне купил*, как путный—*двадцать целковеньких* дал, а к Успеньеву дню глядь и *продал за четыре рубля на травлю* для собак. Вот, ты говоришь, дрова. Ну, хорошо. Теперь хошь бы великим постом выдадут *сажень*, что ж я должен с ней делать? На кой она мне ляд, прости господи! А полтинник все-таки за нее внеси.

〈...〉 Дорóгой Рожок рассказал мне, что хлеба у него другой месяц уже нет (а это было 4-го ноября), на фабрику ходил, просился — не берут: не нужно 〈...〉 Я спросил, сколько земли приходится у него на тягло, он сказал, что не знает, но что, сам-третей, он получает земли на посев *четырех мер ржи, двух мер овса, двух мер гречи и двух картофеля*; что если бы не работа на фабриках, то и жить бы невозможно 〈...〉

— Вон *девкам* все еще ничего, они у нас *кушаки* плетут на *московских* хозяев, по *две копейки за штуку* берут 〈...〉

— Ну, скажи мне, пожалуйста, отчего же другие-то у вас живут хорошо? Вот ведь я видел, проходя по селу: *дома́ все какие славные.*

— Дома́!.. Что дома́? Дом-то и у меня славный, да что в нем? Выстроили тебе избу, ну и живи, и земли тоже дали полоску с заячий хвост, а есть-пить нечего...

Слепцов дважды отбирает материал наблюдений: один раз, внося в записную книжку, в другой — извлекая из записной книжки для очерков наиболее значительное. Так приходит он к обобщениям. Например, многократно отмеченные в записной книжке жалобы крестьян на малоземелье (лл. 3, 13, 15, 18), на недостаток работы на фабриках сконцентрированы в очерках в двух-трех эпизодах. На л. 15 писатель упоминает о «бабе г-на Сипягина», которая рассказывала ему о быте, положении крестьян: «Земли мало. 30 р. оброка 〈...〉 Барщина. Сенокосу не дает. Берут работу. Размотка шерсти, шелку и бумаги». Писатель придал значение этой встрече. На л. 17 он, записывая план, вспоминает ее: «баба на возу», а в очерках «Владимирка и Клязьма» использует рассказ о ней для обобщения: «И баба поет все ту же песню: земли мало, оброк велик. Бабы пробавляются размоткой шелка, шерсти и бумаги» (I, 288).

Сравнение записной книжки с очерками «Владимирка и Клязьма» убеждает в том, что Слепцов не следовал механически своим записям, а творчески перерабатывал их, сохраняя всегда жизненную, правдивую основу.

Записная книжка была настоящей творческой кладовой Слепцова. Из нее извлекал он для своих очерков драгоценный материал. Вот на л. 20 он записал и подчеркнул слово «дед», а на л. 18, вслед за упоминанием имения *Суворова*, записал несколько выражений из рассказа этого «деда». Во «Владимирке и Клязьме» зарисован индивидуальный портрет этого потомка крепостного крестьянина Суворова, к которому автор попадает после долгих мытарств в поисках ночлега. Мы знакомимся с колоритным рассказом его о великом полководце. В этот рассказ писатель включает и те характерные для его героя выражения, которые внесены были в записную книжку, передает диалектные особенности речи деда, но воспроизводит слышанное не механически.

Записная книжка (л. 18)	«Владимирка и Клязьма» (I, 339—340)
Старик *не больно завидный*, а дошлый *Заворух-от вышел — пою басом— меня и здесь* все *знают*.	Сам-от, сказывают, был мужик *не больно* так чтобы *завидный*; щедушный такой да легкий... Опять, слышь, из Питеру наказывали, чтоб быть ему обратно; без него выходит никак невозможно. А он, сказывают, и отписывает: «Я, слышь, здесь *басом пою, меня и здесь знают*, что я Суворов〈...〉». Мы тоже ходили просить графа, как этот *заварух-от вышел*.
Шпагин — пойдем — за охотой! *Мух пужала* бабушка.	А то вот ходит, ходит целый-то день, всё попевает, всё, слышь, песенки попевает. Ходит, ходит это, да вдруг: «*Шпагин! Пойдем за охотой!*» Шпагин — это дедушку мово звали. «Пойдем за охотой!» Ну и пойдут. А матушка моя, покойница, тогда еще девочкой была, так вот махонькой вовсе — *мух*, сказывают, *пужала* с него, с Лександра-то Васильича, как он после обеда отдыхать ляжет.

В очерках «Владимирка и Клязьма» широко используются писателем отдельные слова и обороты, собранные им во время путешествия и внесенные в записную книжку; они обычно также видоизменяются: «Стрюцкий, *тебе цена монетка. Разменяй 7-микопеечную ассигнацию*» (л. 44) — «*Тебе и цена-то монетка* со всем с потрохом с твоим. Купец!.. Аль мелких нет? Расступись, *разменяй семикопеечную ассигнацию*,— я сдачи дам» (слова фабричной девушки.— I, 280). «*Начнешь чихать — слеза прошибет. Как понюхаешь — совсем разница. Как можно?*» (л. 44) — «Утром встанешь — как словно в тумане, а понюхаешь, *почнешь чихать, слеза прошибет*, ну, и будто как очистит. *Совсем разница: как можно*» (слова странника.— I, 282). В речь хозяина постоялого двора (I, 323) вводит Слепцов записанную им пословицу: «Кто в одну ноздрю нюхать



ПРОЕЗЖАЯ ДОРОГА
Картина маслом П. П. Соколова, 1865 г
Третьяковская галерея, Москва

привык, тому в другую противно» (л. 45). Фабричный Митюшка поет частично записанную писателем плясовую песню:

Ах, женка моя! ... *Не трожь! не ворошь!*
Не трожь, не ворошь! (л. 36) У меня муж не хорош... (I, 283).

Приведенные писателем в очерках «Владимирка и Клязьма» (I, 318—319) примеры особенностей говора Владимирской губернии — тее (тебе), райе (разве), човоэ (чего), светаат (светает), сам-от, ну-ка-ся, ехать в тройку, в пятерок, туто, тамо — имеются в записной книжке (лл. 45—46), но количество этих примеров могло быть умножено автором, что ясно из других мест очерков, где он предоставляет слово своим героям.

Напомним одно место в очерках «Владимирка и Клязьма», где писатель говорит о том, что у него имеется «свидетельство от Общества любителей российской словесности для свободного собирания песен, сказок, пословиц и вообще всего, что касается языка, нравов и обычаев русского народа» (I, 264—265). Эти слова и материал записной книжки раскрывают еще одну цель путешествия Слепцова. Да, он собирал произведения русского народного творчества: песни, пословицы, поговорки, легенды (пример тому рассказ деда о Суворове), записывал фонетические, лексические и синтаксические диалектизмы Владимирской губернии. Именно поэтому пословицы, видимо, переписаны набело. Слепцов записывает значение слов: почаси́ — погоди; черезвый — трезвый; драчутся — дерутся и т. д. Он воспроизводит точное звучание слова: будяшь — будешь, чернеа — чернее; песни: «Эх, да есть дороженька || Есть столбова» (л. 19); здесь, как и в варианте «Дубинушки» (л. 51), попытка передать протяжный распев, длительность слогов.

Но Слепцов собирает далеко не всё. Он подходит к фольклорному материалу и особенностям народного языка как художник. Его заметки в записной книжке и характер включения их в ткань художественных произведений прежде всего убеждают в том, что писатель различал сословные, классовые оттенки того или иного словесного оборота, пословицы, поговорки; в соответствии с этим в произведении он передавал их действующим лицам: мужику, лавочнику, полицейскому, чиновнику, попу и т. д.

В записной книжке эта дифференциация хотя и не так четко обозначена, но чувствуется. Очевидно, письмо священника Утехина (л. 27) заинтересовало писателя со стороны характерных особенностей языка в среде духовенства так же, как пародийное звучание молитвы на л. 18 (оно, вероятно, было подслушано Слепцовым в семинарской среде):

Во имя отца
Мы храбрые сердца.
—
И ныне и присно,
Эта водка не кисла.
—
Во веки веков
До смерти не люблю дураков.

Вариант трудовой песни «Дубинушки», судя по такому профессиональному выражению, как копер, по резко отрицательному отношению к купцу (подрядчику), писатель слыхал от железнодорожных рабочих; пословицы: «Уходили Сивку крутые горки», «Разом тяп, да ляп, выйдет только кляп» — в среде крестьян, рабочих.

Как и других русских писателей, критиков-демократов, Слепцова привлекают выраженные в народных произведениях и в народных оборотах речи наблюдательность, сметливость, ум, талантливость, «живописный способ выражаться». Таковы приведенные им пословицы-обобщения: «Нарядишь пень, и пень хорош, а скинь наряд, на пень похож» (л. 49). Здесь без труда угадывается и скрытый смысл, ирония над привилегированными сословиями. Именно это использует писатель в очерках «Владимирка и Клязьма». См. эпизод с Тришкой-стихотворцем (I, 332—333).

Внесенные в записную книжку пословицы и поговорки отражают жизненную практику людей из народа: «Крепка тюрьма, да чёрт ли в ней» (л. 48), «С собакой мяса

не делят» (л. 46), «Известно: в суд не по деньги, в потраву не по хлеб» (л. 45). Последние два выражения использованы писателем в очерках «Владимирка и Клязьма», в речи трудящихся: «С собакой мяса не делят», — говорят здесь мужики, поняв, что бесполезно просить помещиков и посредников не трогать крестьянских земель (I, 353). Пословица, поговорка, данная Слепцовым в определенном контексте, приобретает социальную остроту: «Давно сказано: *в суд не по деньги, в потраву не по хлеб*. Ну, разумеется, рабочий человек против хозяина ничего говорить не может, потому хозяин всегда прав останется: он затем и приходил, чтобы тебе быть виноватому» (I, 357).

В ряде пословиц, поговорок, записанных писателем, осуждается пьянство, трусость, сплетни, глупость, болтливая суетливость, хвастовство, зависть.

Много внимания уделяет Слепцов афористическим, образным оборотам речи, в которых сказывается своеобразие конкретного поэтического мышления человека из народа: «А этот человек хозяйственный, толковый, он тее на руках пальцы сделаат» (л. 46). Его интересуют в народной речи и старинные слова: «всполох — набат» (л. 46), и новые словообразования: «доброжалуста» (л. 46), и такие образные выражения, как «река запленела (плен)» (л. 46).

Наибольшее количество заметок из записной книжки Слепцов использовал в очерках «Владимирка и Клязьма», но кое-что осталось художественно не воплощенным. Таков образ мужика, замучившего писателя своим рассказом, намеченный в записной книжке с присущим Слепцову чувством юмора и лаконизма, или судьба Лаврова, история в селе Авинцы (лл. 33—34) и др.

Кое-чем воспользовался Слепцов и для других своих произведений первой половины 1860-х годов: для рассказов, повести «Трудное время», некоторых статей и фельетонов. Интересно наблюдать, как отрывочную запись художник наполняет образным содержанием. Так, на л. 36 он зачеркивает заметку:

«Я имею у себя фантазический ум.

При дамах выражаться национально по-русски.

К аристократическому кругу.

Довольно грубо одемши.

Свяжущее существо — веревка».

Он использует ее в «Уличных сценах» (1862 г.). Здесь в главе третьей («В балагане») дается связный рассказ: «...денщик объяснял двум горничным, что он имеет у себя *фантазический ум*, и рассказал, между прочим, какой на днях вышел „анекдот" на вечере у какого-то дворецкого: как один лакей, *довольно грубо одемши*, пришел на вечер и, находясь в *аристократическом кругу*, напился пьян и стал при дамах выражаться *национально по-русски* ⟨...⟩ Денщик рассказывает своим дамам, что такое *свяжущее вещество*. Оказывается, что это веревка, и денщик сам смеется своей остроте» (I, 57—58. — Курсив Слепцова). Любопытно, что выписанные из записной книжки выражения в данном случае выделены автором в тексте курсивом, тем самым он обращает на эти характерные особенности речи денщика внимание читателя.

Записи на лл. 36 и 41: «Как теперича жена живет своим рассудком, своим благородием, как должно, не роскочно», «а коли ежели насчет этих глупостев», «Ты должон против меня молчать!», «Как ты можешь так похабно говорить?», «Ундерцер»,— использованы Слепцовым в рассказе «Вечер» (1862 г.) в разговоре лакея и повара на пороге скотной избы. Лакей, многословно рассуждающий о своей жизни, передает слова «ундера»: «А он мне, братец ты мой, на это сейчас: как ты, говорит, можешь со мной так похабно говорить? Ты, говорит, должон против меня молчать», Повар — слушатель лакея — время от времени вставляет слова, на которые его собеседник не обращает внимания: «Который ежели человек хорошей жизни и насчет этих глупостев не занимается, да как ежели жена типерича живет своим рассудком, своим благородием, как должно,— ну, и сейчас он может сделать оборот» (I, 83).

В рассказе «На железной дороге» (1862 г.) в разговоры пассажиров третьего класса писатель включает записанные им отдельные выражения: «в аккурате» (л. 24) — «Веди себя в аккурате»,— говорит мещанин (I, 70). Это же выражение находим и в «Скромных упражнениях»: «Все будет к твоим услугам, но... условие, одно только условие:

ходи в аккурате!» (II, 339); «Именная свинья» (л. 42): «Именные свиньи. Это ваша правда»,— подтверждает знаток церковного пения, мещанин-птицелов (I, 75). Здесь же в рассказе старухи почти дословно воспроизводится одна развернутая запись:

Записная книжка (л. 19 об.)	На железной дороге (I, 73)
Он мне *говорит за что тебя кормить*,— ты *собачьей кожей оброс. Дочь говорит, стану я тебя слухаться. Первый дом был Архипа Федосеева. Опаскудила.*	— Да они еще, детьки-то мои, вон что говорят: «*За что, говорят, тебя кормить*? Ты, говорят, уж *собачьей кожей обросла*, помирать пора». А *дочка*-то *говорит*: «*Стану*, говорит, *я тебя слухаться*». Только и слов у них для меня, что лети да разлети. *Первый дом был Архипа Федосеева — опаскудили.*

В газетной редакции рассказа «На железной дороге» фабричный произносит слова, записанные Слепцовым на л. 42 книжки: «Родители дороже хлеба».

Использование материалов записной книжки находим не только в ранних рассказах Слепцова. Оно продолжается и в «Письмах об Осташкове». На л. 37 имеется набросок программы ознакомления писателя с Осташковым: здесь намечено многое из того, что станет потом предметом изображения и характеристики в «Письмах об Осташкове». Положение ремесленников, мещан этого города, состояние воспитательных домов, школ, библиотеки и другие вопросы обозначены в этой программе. Указывает также Слепцов и некоторые печатные источники, к которым он обращается во время работы над «Письмами об Осташкове»: «Тверские губернские ведомости», 1861, № 13, от 1 апреля, и «Северная пчела», 1840, № 251, от 6 ноября. В этом номере был напечатан очерк «Осташков», подписанный корреспондентом Е. Ст—жо; в нем дана была история Осташкова, географическое положение города и представлена в восторженных интонациях «благотворительная деятельность» Савиных, основателей банка, владельцев бумагопрядильной фабрики, сахарного и кожевенного заводов (последний, по словам корреспондента «Северной пчелы», «известен по примерному бескорыстию»).

В идиллических тонах рисуется здесь воспитательный дом в Осташкове, дом призрения инвалидов войны, школы, церкви (они «содержатся в примерном благолепии»). Особенно умиляет корреспондента «Северной пчелы» быт рабочих: «у каждого своя копейка, но копейка трудовая ⟨...⟩ Едва начинается вечер, все работавшее народонаселение гуляет по большой улице; все бежит, а не идет; все смеется, резвится, все наряжено, как на праздник». Очевидно, что «Письма об Осташкове» Слепцова полемически заострены против этих булгаринских идиллий и фальши.

Из записной книжки Слепцов брал и для этого произведения отдельные выражения, которые могли создать определенный колорит речи действующего лица.

В первом «письме» монах, с которым писатель встречается в городском саду, говорит: «Из Москве», «не так чтобы *горазно* было» (II, 175—176); эти выражения записаны были Слепцовым на л. 44 книжки. В пятом «письме» полицейский служитель «пустился плясать, подыгрывая и приговаривая: Уж ты шуточка-машуточка моя» (II, 237—238); это начало плясовой песни, которую Слепцов записал на л. 41.

Работая над повестью «Трудное время» (1865 г.), Слепцов также обращался к своей творческой «кладовой», передавая своеобразие речи людей разных сословий. На л. 23 книжки находим записи таких двух фраз: «Мы завсегда замечаем, *который человек в веселом духе*» и «*Непременно* у вас *денег* много». В повести эти фразы, в несколько измененном виде, вошли в речь лавочника: «А у вас *непременно деньги* есть» и «Уж мы, сейчас видим, *который человек в веселом духе*» (II, 23—24).

«В тринклятии провалиться», «Подлец, истинный бог»,— записал Слепцов на л. 23, в повести переданы эти слова купцу Лакову (II, 62—63). «Девка убедительная. Одно слово — чего извольте»,— читаем на л. 24 слова, которые в «Трудном времени» произносит влюбленный кучер (II, 24).

В одном из ответственных мест повести, раскрывающих ее замысел (правдивое изображение жизни народа, борьба с либеральной филантропической деятельностью

в деревне), в диалоге Щетининой с пришедшим к ней за врачебной помощью мужиком — слова мужика заимствованы всё из того же источника, путевых записей писателя:

Записная книжка (л. 23 — запись зачеркнута)	Трудное время (II, 25)
Знобу такого нет. Ну и поту настоящего в себе не вижу. В неделю 2-х фунтов [едва не] *известь не могу.* *Оглядел в себе ноги,* руки, *брюхо опухло, хоть вшей на нем бей.*	— Что же ты чувствуешь? Знобит, что ли, тебя? — Нету; *знобу такова нету; ну и поту настоящего в себе не вижу.* — А ешь хорошо? — Какò хорошо! *В неделю* вот эдакой чашечки кашицы *известь не могу. Брюхо*-то у меня — ишь ты! — *опухло. Хоть вшей на нем бить,* так в ту же пору ⟨...⟩ Утром встал, *оглядел в себе ноги:* настоящие колоды,— опухли ⟨...⟩ — Оглядел в себе ноги ⟨...⟩ — вполголоса повторил гость ⟨Рязанов⟩.— До этих пор он не знал, что у него ноги есть.

Записную книжку использовал Слепцов в работе и над такими публицистическими статьями, фельетонами, как «Петербургские заметки» и «Скромные упражнения». Приведем одну параллель к тексту (рассказу прачки) из запрещенного цензурой «Отрывка из дневника», публикуемого выше:

Записная книжка (л. 41 об.).	«Отрывок из дневника» (см. выше, стр. 334)
Здесь девушка не занимается, *чтобы об ней хороший разговор имели,* не дожидается своих летóв. На это Петербург *куды как худо выстроен.* А между прочим и *Москва тож. Тула вот на этот счет*	*На этот счет* (на счет нравственности) здешний город *куды как худо выстроен. Здесь девушки* не стараются, *чтобы об них хороший разговор иметь.* Ну, впрочем, *и Москва тоже.* — Где же стараются? — *В Туле.*

Во второй главе «Петербургских заметок» (см. выше, стр. 179) купец произносит записанное на л. 41 книжки слово: «фильянец». Можно высказать предположение, что записанное на л. 47 изречение Гете: «Истинный предмет изучения для человека есть человек», лежит в основе статьи ⟨«О человеке»⟩ (см. выше, стр. 384—385).

В критической литературе о Слепцове неоднократно высказывалось его идейными противниками мнение о нем как о натуралисте, будто бы механически копирующем предметы и явления действительности. «Рядом фотографических сцен» называли критики повесть «Трудное время», лишь «стенографическую точность описаний» видели в его рассказах; они негодовали на писателя за то, что он переселил литературу «из гостиных в кабаки», придал ей циническое направление [3].

Разнообразный материал записной книжки, являющийся результатом отбора жизненных наблюдений, творческий, обобщающий характер использования этого материала в художественных произведениях писателя-реалиста решительно отвергает легенду о натурализме одного из крупнейших беллетристов-демократов шестидесятых годов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Письмо М. Горького в редакцию «Лит. наследства».— «Лит. наследство», т. 3, 1932, стр. 147.

[2] При первой же журнальной публикации очерков «Владимирка и Клязьма» последовательность их, установленная автором, была нарушена. См. об этом в комментарии К. И. Чуковского (I, 389—390).

[3] См., например, «С.-Петербургские ведомости», 1866, № 26, от 26 апреля («Новые книги»); «Отеч. записки», 1866, № 3, стр. 120 («Курьезы»); Н. Соловьев. Русская журналистика.— «Всемирный труд», 1868, № 2, стр. 95, 101.

‹ЗАПИСНАЯ КНИЖКА›

‹Л. 1›

Фабрики

1) Где, когда основана, кем, кому принадлежит.
2) Краткая история фабрики.
3) Какие машины, высокого или низкого давления, во сколько сил, где заказаны, давно ли? Цена.
4) Число рабочих, плата (состояние рабочих).
5) Годовой оборот фабрики, количество суровых обработ‹ок›, откуда они; количество фабрикаций, сбыт их. Прибыли и убытки число их.
6) Разные общие сведения.
7) Светелки, в которых разматывают, как берут дело с фабрик, как работают, выгодно ли и проч.

‹Л. 2›

Данные для коммерческого кризиса

1. Числа изготовляемых товаров в прежние года и теперь.
2. Отпуск и продажа их прежде и теперь в массах товара или на деньги.
3. Если отпуск уменьшился, то в какие места уменьшился и почему?
4. Сроки векселей и качество уплат: *верны ли* и проч.

Для денежного кризиса

1. Как сравнительно занимают деньги: по высоким или низким процентам, на какие сроки?
2. Что стоит размен?
3. Нет ли знаков, заменяющих деньги, выпускаемых фабрикантами.
4. Как сравнительно высоки проценты кредита в деньгах и в товарах.

25 октября

‹Л. 3›

Село Сетунь

I

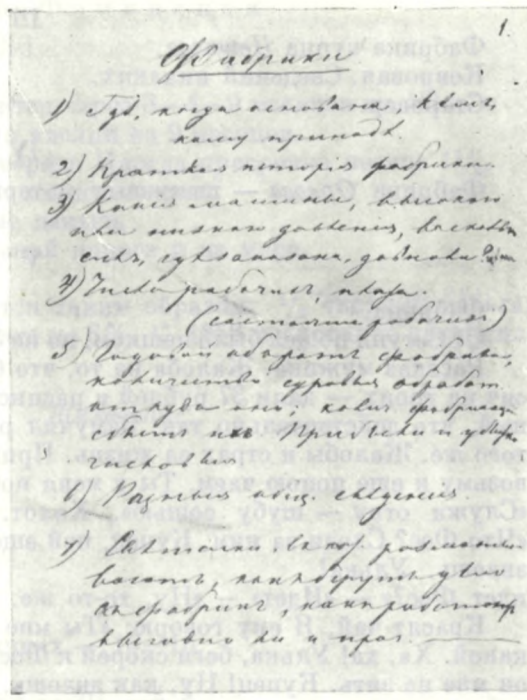
Вр. М. К. и почетного гражданина Медынцева.
1860 года.
Машины в 25 сил, высокого давления в Англии.
Дикенсона (очень хорошие).
90 станов *плисовых*.
100 станов *миткалевых*.
Все‹х› машин цена 90 тысяч.
2 шлихтовальных.
1 размотка.
3 сновальни.
2 ворговальни.
1 сушильная.
1 калильный ‹?› каток.
1 красильная машина.
1 самоточка.

Рабочих 300 человек.
Средняя плата 10—12 рублей в месяц.
Заработки с прошлого года 25 тысяч ‹в› среднем.

‹Л. 3 об.›

8500 пудов плису в год.
15 000 пудов миткаля по 7 копеек.
} Сбыт плох.

Плис — в Кяхту.
Фабрика построена за 62 тысячи.
Машинист свой — самоучка.



ЛИСТ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ СЛЕПЦОВА. ЗАПОЛНЕН В 1860 г.
Архив Октябрьской революции, Москва

К обедне не *ходят*, трактир; школы и больницы нет. Управляющий практик русский, жалование 360, получает 20% от трактирщика.

От Москвы с бабою Головина разговор. 3 десятины на тягло, оброк 35 рублей с души и в то же время барщина — дрова, картофель, постройка дома в Москве. Вдова с малолетним сыном правит тягло.

Лето *облетает* — грибёшки.

Лошадь стоит 130 рублей серебром, 2 коровы.

Продажа в Москве крапивы, щавеля, молока, грибов. Мальчик грамотный.

Трезвость уже 2 года: удачно.

Желает сына в Москву в лавочку. Дров не дает, а продал 2 рощи, в Москву воз⟨или⟩ крестьяне.

Знакомство с попом. Отдан под начало. Женат, бедность, книги, 4 детей. Земли нет, избушка. Страсть к набедреннику; раскол.

II

Ночлег на м⟨аленькой⟩ фабрике мещанина *Мастакова*. Работает *аграмант*, *тесьму* и *синель* шелковые.

Нач⟨ал⟩ с 1850 на 3 станах синель и бахрому, а тесьму в 1858.

Станы собственной работы.

8 человек рабочих мужчин и 2 женщины, плата $2\,^1/_2$ копейки ассигнациями с аршина.

Первоначальный капитал 200 рублей серебром.

Фабричное помещение собственное — стоит 5000 рублей. Шелк покуп⟨ает⟩ в Москве.

Дело невыгодно.

Оборот опред⟨елить⟩ не может, потому что не записывается — что получит — проест.

⟨*Л. 4 об.*⟩

III

Фабрика купца *Пешкова*.
Ковровая. Сведений никаких.
Старовер.

IV

Фабрика *Орлова* — шелковых материй.

V

26 октября

Фабрика.
От Сетуни пошел было пешком, но на 3-й версте сел к мужику.
Рассказ мужика. Жалоба на то, что братья обделили,— вместо 4-х тысяч на троих — дали 37 рублей и расписку на 33. Сказали, что он полоумный, что действительно так. Замучил рассказом; повторение — одного и того же. Жалобы и страх за жизнь. Пригласил к себе. «Я с тебя ничего не возьму и еще попою чаем. Ты у меня ночуй». Приехали. Гусиха и Улька. «Служи отцу — шубу сошью». Хохот. Разговаривает с самим собою. «Что Фос? Сходи за ним. Купец, пей еще!» — «Не хочу».— «Ой!.. Ну, как знаешь. Улька!
⟨*Л. 5*⟩ идет Фос?» — «Идет».— «Ну, то-то же. Купец», и т. д.
Красят чай. Я ему говорю: «Ты мне дай хорошего. Ишь, красильщик какой. Ха, ха! Улька, беги скорей к Фосу. Скажи, что коли не повезет — он мне не зять. Купец! Ну, как знаешь. Гусиха...» и проч.

Из Шестова в Нару. Мальчишка вез. Глуп. Молчит. Тэк-с. В Наре ночевал на столе. ⟨Журнал⟩ *Сельское благоустройство*. Утром в Ер⟨?⟩ пешком. Удивились. Чай, завтрак. Поехал в Шелковку вез Ер⟨?⟩ мужик.

---

27 октября

В Шелковке юродивый. За что был в Пр. части? Даром, говорит,— притворяешься; водили по частям, сорвали 3 рубля и отпустили. Мужик, говорят, был грамотный, умный, теперь богомольничает. Испорчен. Богомолки. Удивление. Ужинал в трактире. Пьяный приглашал в гости и того и другого. Умный мерин; от пьяного не отошел. Другой пьяный предложил отвезти в Аутино. Спокой и удовольствие 1-й сорт. Ямщик вез отлично до Можайска. Плутали 15 верст 4 часа. В Аутино приехал ночью в $2^1/_4$.

28 в Аутине

Встреча с поверенным по откупам.

29 утром

Можайск.

30 октября

⟨*Л. 5 об.*⟩ Можайск на Москве-реке.
Жители.
Торговля внешняя большей частью хлебная и лесом.
Хлебом торгуют Вьюнов, Хлебников, Кублев, Тучкин.
Лесом — Вьюнов, Хлебников, Шишкин, голова Петров.
Торговый оборот лесом примерно 300 тысяч, нынешний год — 50 тысяч.
Хлебная торговля дает красный счет 7—8%.

Залогина фабрика: 1500 ст. Контора в Можайске, работа в роздачу закрыта.

Осаново. Тарас.

<Л. 6>

Наро-Фоминская

[Кредит за границей по 5%]
[Сами отдают по 8]
За хлопок уплата производится через 3—4—9 месяцев по 4%.
Кредитная продажа круглым числом на 9 месяцев.
Уплаты по векселям почти верны. Иногда просрочка месяца $1^1/_2$.
За выписку платится 3% комиссионных.
Доставка и фрахт на чистые деньги.
Страховка хлопка на железной дороге и на море.

1. 6 об.> Деньги занимают по 8%.

Продажа товара производится таким образом: $^1/_3$ чистыми деньгами, остальные через 9 месяцев, уплата по 8%. С 1856 жалование увеличилось на 20%.

Жалование

Конторщик — 12—50 р.
Чесальщик — 7—10.
Пачечник — 11 сдельно.
Мастеровые — 12—20.
Чесальщики — 10—7.
Смазывальщики — 6—7.
Трепальщики — 4—9.
Подмастерья при прядильщиках — 10—16.
Старший — 75.
Малолетние на своих харчах — $2^1/_2$ —4 р.

<Л. 7> При ватерах — $2^1/_4$ р.
Ленточницы } 4—8.
Бамброчницы }
Мотальщицы — до 6.
Присучальщицы — $2^1/_2$ —5.
Ставильщик
Старший — до 9.
Прядильщицы — 12—16.

Ткацкой

Конторщик.
Мастерица — 20—35.
Шлихтовальщики 15—18 и более.
Ткачи — 6—20.
Сновальщицы — 9.
Мотальщицы — 7.

1. 7 об.>

Газовое освещение

Устройство стоит 20 тысяч. С 1845 года приготовление стоит:
береста 35 коп. пуд.
Дрова сажень $3^1/_4$ коп.
освещение обходится $1^1/_2$ коп. в 4 часа.

<Л. 8> 4 ноября

Село Ивановское

Удельного ведомства. Существует лет 50. Шелково-ткацкое заведение <принадлежит > купцу И. И. Кузнецову. На 30 станов. Стан приблизительно стоит 3 рубля, дóма дешевле. Плата сдельная за клетчатую 22 коп. с аршина, за гладкую — 12 коп. ассигнациями.

Годовой оборот на 10 000 рублей серебром.

Шелк

Прежняя цена 260 рублей пуд, теперь — 600 и меньше.
Основа немецкая.
Уток шемаханский.

Продажа и покупка на чистые деньги.

Село Ивановское

⟨*Л. 8 об.*⟩ *Удельные крестьяне 251 душа.*
Земли на 3 души.
4 меры ржи,
2 овса,
2 гречи,
2 картофеля.

Дров выдается одна сажень; выдачи бывают великим постом, берется за это 50 коп.

Лошадь покупал весною за 20 рублей, продал осенью за 4 рубля на травлю. Зимою работа на фабрике. Девки работают кушаки. Товар берут в Москве, за работу получают 2 коп. с штуки.

Домá большей частью хорошие, новые, оклеены обоями, картины, пьют чай, 2 трактира, богадельня. 1 старуха и ни души. Негостеприимный поп.

[Розги на стене].

⟨*Л. 9 об.*⟩ Фабрика *Мазурина.*
В Москве у Мясницких ворот в собственном доме. Контора.

⟨*Л. 10*⟩ *Село Горенки*

Московского уезда. Фабрика действительного статского советника *Волкова* наслед. под администрацию.

Механик Солтер.

Основана 1830 года. До—⟨18⟩44 года запрещен ввоз машин, а потому все делалось дома. Все мастерства. Сам владелец с англичанами приучали народ, привезенный из разных губерний, крепостные. *Первая* паровая машина заказана у *Шепелева* во Владимирской губернии Муромского уезда Выкса на 20 сил и переделана дома на 25 сил. Вторая у князя Бибарсова в [Смоленской губернии] в 25 сил увеличена на 30. Образцы станов возил контрабандой (Калужской губернии Тарусского уезда, Мышевский завод). Бибарсов князь.

Л. 10 об.⟩ Сначала рабочих было человек 300. 50 человек учились у Рахманова в Курской губернии и 50 у Похвиснева. Рабочие были из Рязанской, Костромской, Смоленской, Тверской, Нижегородской, Тульской губерний. Хлопок выписывался постоянно из Ливерпуля, в последнее время частично ⟨из⟩ Москвы и Петербурга. Прежде сбывали на ярмарочную комиссию Миевр.

Плис в Москву Куманину.

Сначала около 5000 веретен французских мюли, в 1835 устроили английские копробандные.

Из Англии выписаны в 1836 модели.

В прошлом году выписаны от Гина в прядильный 2 паровые машины по 40 сил высокого давления.

На прядильных машинах на 317 тысяч администрация употребляла 100 тысяч рабочих в настоящее время.

Розги на стене.

л. 11› В Москве обратиться к Лев ‹!› Николаевичу Волкову.
На Никитск‹ом› в доме Кугушева.
Ночлег в Горенках
5 ноября утром пошел пешком на фабрику Вишняковой. Еловая роща. Дома в виде турецких башен. Три башни.
похерен

Никандр Петрович *Суворов*
Суконная фабрика.
Молочников — бумажная и суконная
Директор Михаил Самсонович Лунн.
Воскобелильная фабрика.
Сапелкина и Коченова.

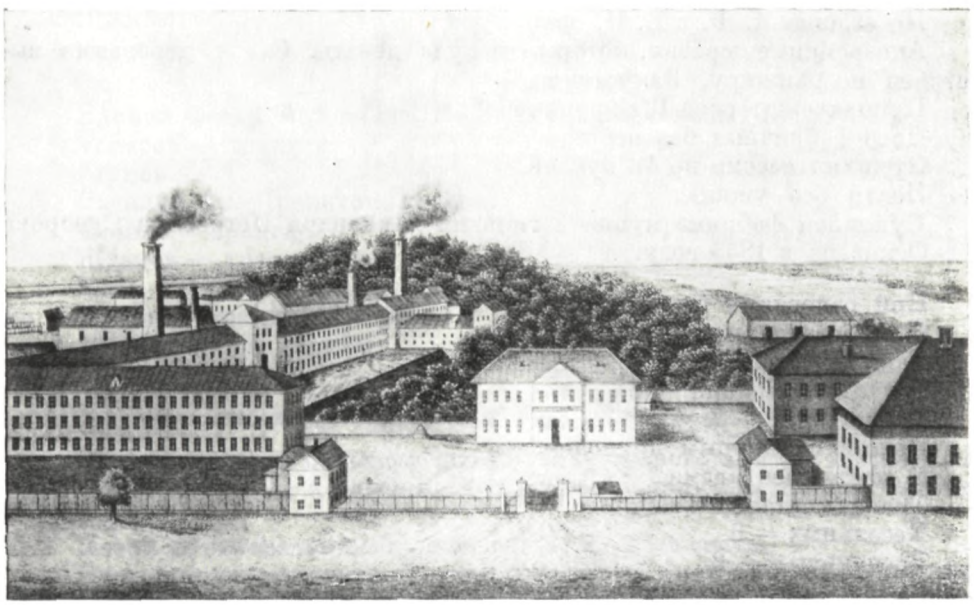
Купавна.

Бабкиных и Рыбникова
Малютина химическое заведение
Морозова, Шибаева.
11 об.› Кузнецов Сергей Сергеевич шелковая в селе Никольском. Горшкова.

Леоново

Зимний промысел размотка сырца шелка и бумаги. Шелк берут в Ивановском у Кузнецова. За шелк немецкий — 20 копеек серебром, за русский 15 копеек серебром с фунта.

Кроме того, *водят карась*. Снаряд для кручения бумаги, который берут у московских фабрикантов, зарабатывают от 6—9 рублей серебром в неделю. Карась стоит 100 веретен — 30 рублей, в свою очередь отдает девкам и бабам разматывать мотки бумаги и платит по 10 копеек ассигнациями с фунта.



КУПАВНА. СУКОННАЯ ФАБРИКА БРАТЬЕВ БАБКИНЫХ
Литография, 1850-е гг.
Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

〈*Далее рисунок с подписями:*〉 кроны, скальница, лучок.
Знакомство с попом, с двумя, прием хороший, но скупой

〈*Л. 12*〉

Церковь с двумя престолами

Главный во имя Спаса Нерукотворного
2 придел архангела Михаила
Основана 〈в〉 1786, а второй придел 〈в〉 1823.

Картины

1

Запрестольный образ *Снятие со креста*, копия с Рубенса заплачено 5 тысяч.

2

Нерукотворный очень хорошей работы неизвестного 〈художника〉.

3

Трех радостей — Вики.

4

Крещение Иоанна французской школы, работа Стелла. Заплачено 3 тысячи.

5

Рождество Христово — Торелли.

〈*Л. 12 об.*〉 Грамота 1700 года патриарха Кира Адриана.

Имение князя Петра Александровича Голицына. Церковь с колоннадой, внутри уродливый чудотворный образ. Старинный, огромный дом с картинами и статуями заперт; развалины везде. В саду против дома фонтан и две беседки с китайскими картинами; водометы.

Посещение М. Ф. и Е. П. оранжереи.

Апельсинные деревья, которые некуда девать. Сад с деревьями выстроен по ранжиру. Запустение.

Принадлежит г-же Шалашниковой.

Двое фабричных без места.

Отжилил кассир по 10 рублей.

Легли без ужина.

〈*Л. 13*〉 Суконная фабрика купца 2 гильдии Никандра Петровича Суворова
Основана в 1843 году.

При основании было:
Прядильных машин — 13.
Ткацких станов — 75.
Чесальных машин — 8.
Трепальных — 2.
Действует конным приводом.
В настоящее время
Ткацких станов — 40.
Чесальных — 6.
Трепальных — 2.
Прядильных ручных — 9.

Отделка

Нагонных — 5.
Промывная — 1.

Стригальных — 4.
Бытовальная — 1.

Л. 13 об.

Молочников

похоронен
На Вшивой горке близ церкви Кузьмы и Дамиана.
Павел Петрович Молочников.

Ночлег в Леонове. Свадьба. Сквернословие. Мужик помешанный на торфе.

Земли мало. Фабричка. Карась. Оброк 25 рублей. Пьянство. Сцена в трактире. Убью! Сквернословие и песня:

Как у М. у высокой
Заросла ⟨...⟩ осокой.
Мы осоку покосили
⟨...⟩ у ней просили.
—Вот осоку-то сгребли
— И М. ⟨...⟩

и проч. при дамах. Процесс торфяников с хозяином. Просьба. 6 недель без работы держал. Чиновник из губернии, становой, уговаривал. Не согласны. Фабричный кутеж. Возвращение на фабрику. Пьяные бабы. Сонный англичанин. Суворов. Контора. Недоумение.

Поземельное 20 рублей серебром в год.

⟨*Л. 14*⟩

г. Богородск

Жителей 2000. Домов 502.
Гл⟨авное⟩ торговцы, фабриканты
И. З. Морозов. 2 брата бумажное ткацкое и ситцевое ⟨заведение⟩.
Ф. З. Морозов: парусина
Шалаев.
Шибаев.

Торговцы

Блохин Федор Федорович. Колон⟨иальные товары⟩ и проч.
Тарасов — трактир.
Агапов.
Василий Ак. Прорехов. Голова.
Фомин — трактир.
Жданов — трактир.
Иван Семенов — трактир.
Л. 14 об. Кумов — трактир и баня.
12 постоялых дворов.

Встреча с Лавровым и его манускриптом

Здешние мещане большею частию живут воровством (из Ямского леса по ночам возят лес к здешним обывателям, pour des homme nobles *) продают.

⟨*Л. 15*⟩ Потом не поленятся и в карман влезть и с воза снять.

Словом, я назвал здешний город острожным, потому что они привыкли к арестантам, которые проходят еженедельно (по пятницам) мимо здешнего прекрасного города.

---

* людям благородного происхождения (*франц.*).

⟨Л. 15 об.⟩ Лавров погиб. Повар и половой из Москвы. Сознание своей гибели. Чувство собственного достоинства.

От Леонова пешком. Баба г-на Сипягина. Земли мало. 30 рублей оброка. Как услыхал об освобождении, уехал, сдал и продал всё. Барщина. Сенокосу не дает. Берут работу. Размотка шерсти, шелку и бумаги. Довольство некоторого рода. Чай на возу. Свечи. Опять пешком. Подвезли до Богородска.

Богородск и проч.

Пешком 10 верст. Ночлег в Буньковe. Рюмина. Земли мало. Как услышал об освобождении — набавил 35 рублей, оброк с подушными. 150 рублей ассигнациями. Постоялый двор. Фабрика. Купцы-монополисты. Купили землю среди села. Фабричные большею частию владимирские. Сквернословие. *Табачище лопает.* Двухэтажные дома. Роскошь в нарядах. Кабак. Маленькое окно — ночью водку продавать.

⟨Л. 16⟩ Хвастливый хозяин. Не ходит в кабак. Жена — голова. Пастух, лежащий середи избы. Утром 2 стакана водки перед чаем. Старуха. Водка спрятана. Фабричный с женою. У Алекс. на фабрике жил. Жалованья 13 рублей, сдельная плата на $3^1/_2$ копейки с фунта терехи ⟨?⟩. Барабанщик. ⟨К⟩ конторщику зависть, потому что вырабатывал 17—18 рублей в месяц. Сбавка на $2^1/_2$. Жена получает 3 рубля. Проедают 9 рублей серебром, чай. Жалование выдается на предпрошлый месяц. К Святой расчет.

Зимний покос. Штрафы. Главный конторщик и директор англичанин Тычек.

Жалоба. Болен. Предлагает 11 тысяч за бесч⟨естие?⟩. Не хочет.

Директор получает 10 тысяч жалования.

Уменьшили рабочих, вместо 8 тысяч — 5.

Лавочка для харчей. Забирают на книжку. Конторщик определяет количество забора. Трудно жить. Работа 6 часов сряду. Через неделю смена дневной и ночной.

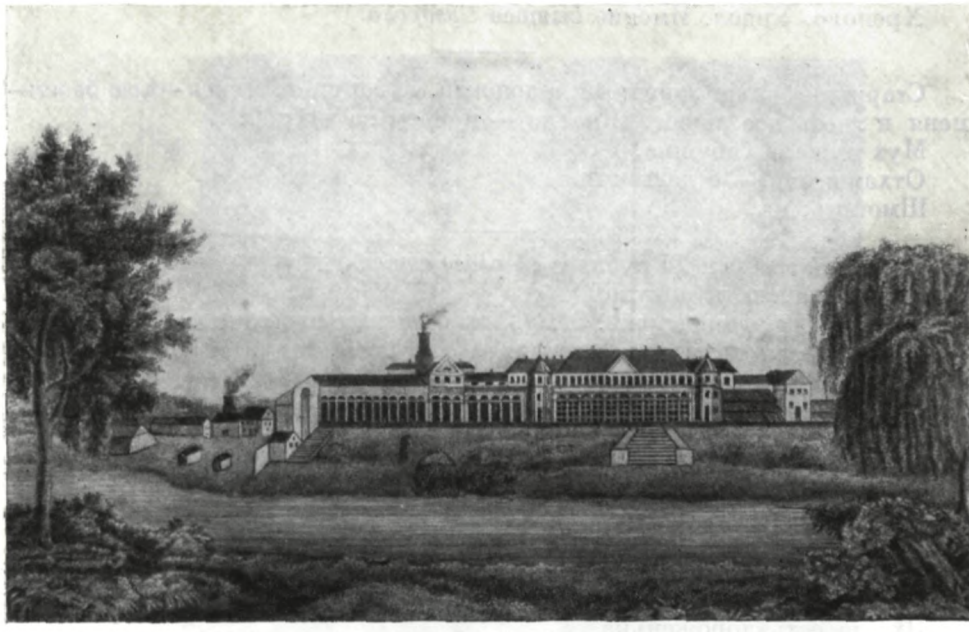
⟨Л. 16 об.⟩ *Стегалицы* — ночлег.

Мстёра — ночлег.

Вязники.

⟨Л. 17⟩ *Горенки*

Фабрика Вишняковой.
Леоново.
Священник.
Свадьба.
Ночлег.
Баба на возу.
Шалово.
Богородск. Ночлег.
Буньково. Ночлег.
Городищи. Ночлег.
Покров (Клязьма) обзор.
Петушки.
Ундол. Ночлег.
Хреново.
Владимир. Ночлежный дом.
Боголюбово. Ночлег.
Лемешок.
Дроздовка.



ГОРЕНКИ. БУМАГОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА Н. А. ВОЛКОВА
Литография, 1850-е гг.
Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

17 об.› Ковров.

На другой день путешествие пешком.

Кузница. Фургон. *Опять пешком. Городищи.* Искание ночлега. Перевозчик и проч.

Augustin. Главный инженер.

Кусаков — главный управляющий конторой 3 участка.

7. 18› Расстояние — *стрельбища.*

Не ходи богу молиться в лес.
Тебе бог в пазуху полез.

Кулевинка — ночлег.

Шабашечка — дверная завертка.

Вижу, что телята ж... лижут,
Хочу сказать *тпрусь*,
Да боюсь.

Известно человек не скотина: полведра выпил — и будет.

Раскрытая душа.

Во имя отца
Мы храбры сердца.

И ныне и присно
Эта водка не кисла.

Во веки веков
До смерти не люблю дураков.

⟨Л. 18 об.⟩ Хреново. Ундол. Имение бывшее *Суворова.*

Старик не больно завидный, а дошлый. Заворух-от вышел—пою басом— меня и здесь все знают. Шпагин — пойдем за охотой!

Мух пужала бабушка.

Отхаживать — отделывать.

Шмонить, на

Рахманиха оброк 24 рубля с ⟨1 *слово стерто*⟩.

1 саж. дров хоть покупай

2 меры овса, 4 меры ржи. Земли мало, дорога отрезана еще.

Предлагает откупиться, живет с графом. Надувает бурмистр. Портные, портнихи.

⟨Л. 19⟩ Скажи, умница моя,
Уж осох, верно, скажи, верно, любишь,
Верно любишь не меня.

Эх, да к ему в гости
побывать.
Побывать у майора, у майора,
У офицера.
Эх, да есть дороженька,
Есть—столбова.
Стороной, да по этой по дороженьке,
Ах, да шел мальчишка
———— с радостей.
С радостей шел мальчишко,
Ах, да и от девушки
———— из гостей.
Из гостей и от девушки из гостей *жс*
И отпочеван и отгащен.

⟨Л. 19 об.⟩ Он мне говорит, за что тебя кормить,— ты собачьей кожей оброс. Дочь говорит, стану я тебя слухаться. Первый дом был Архипа Федосеева. Опаскудила.

№

⟨В⟩ 1853 году выставка мануфактурных изделий. Каталог фабрик.

Близ Киржача 2 версты на Клязьме *крупчатки* купца Жигалова.

На Пекше в имении Поливанова.

Пильня не доезжая Петушков 15 верст.

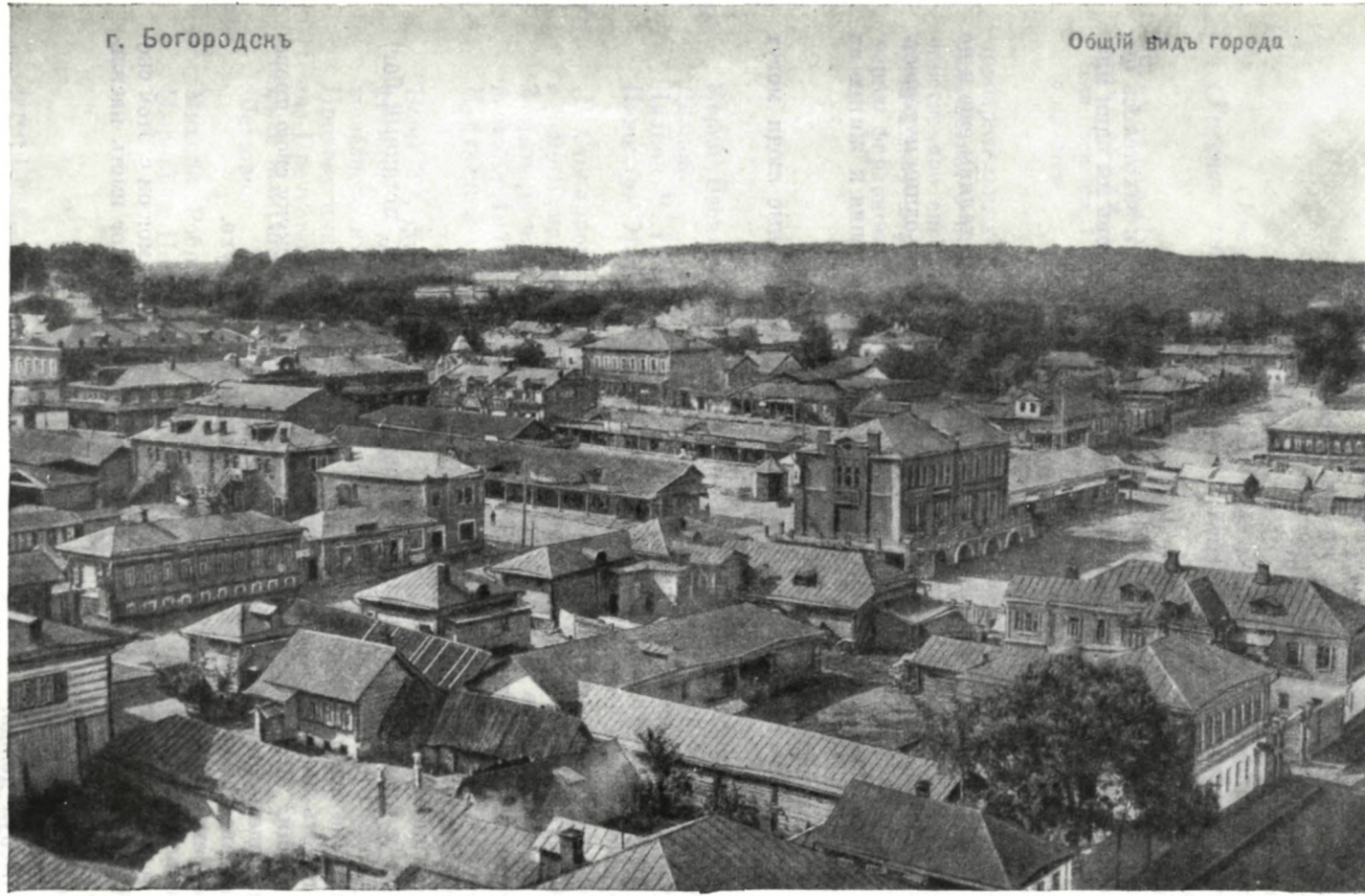
⟨Л. 20⟩ Государственные крестьяне, 36 десятин, 30 десятин пахотной, оброк 15 рублей ассигнациями, под железную дорогу отошло 10 десятин лучшей земли, за которую платят поземельный сбор 3 года.

Дед

На Самотеке в 1-м Волхонском переулке в доме Блумквиер.

⟨Л. 20 об.⟩ Деревня *Куровская* при реке Мерзкой, Рязанской губернии Егорьевского уезда.

Раскольники. Монастырь.



БОГОРОДСК (ныне Ногинск) ОБШИЙ ВИД
Фототипия (открытка), 1890-е гг.
Исторический музей, Москва

[Щеглицы. Портные.]

Мстёра Вязниковского уезда.
На Клязьме. Литография.
Александр Кузьмич *Голышев.*
Священник Вишневецкий.
Осип Иванович Демидов.
Статистический очерк.

<Л. 21> Замешательство рассудка.

Эдак, пожалуй, можно в рожу зарядить.

Борода мужику от бога. Бабе, может, другой раз и захотелось бы, да мы были сброд и нечисть, одно слово язычники, а теперь мы один младенец, а вся Россия в нем довлеет.

Юрик. Польша похабничает.

Бог один (еврей). Нет, 3 бога.

Росту ты малого, бог тебя обидел.

Скажите, бога ради. Я, говорит, т. е. кажется этакой халявы еще и не видано.

<Л. 21 об.> 1) Благое действие душеспасительного разговора между одним путешественником и вдовою.

2) Высшее блаженство семейств, или Важные побуждения к житию на небесах.

3) Скаредность пьянства, или Путь погибельный.

4) Услужливая Ольга, или Доказательство, что и бедные люди могут делать добро.

5) Обратившийся к богу самонадеянный.

<Л. 23> [Знобу такого нет.
Ну и поту настоящего в себе не вижу.
В неделю 2-х фунтов [едва не] известь не могу.
Оглядел в себе ноги, руки,
брюхо опухло, хоть вшей на нем бей.]
Мы друг дружку бьем. Это верно. Мы бьем.
Жистей наших не хватит.
Управитель подчивал землей.
Уж как удостоверил
Хрест даром пропал.
Муха на счастие в водке.
Будь я анафим! В тринклятии провалиться. Подлец, истинный бог!
Ну, вот! Вот и обощие пойдет!
Они мне все подвержены.
Я писать не умею, а дела эти все в уме держу.

<Л. 23 об.> Что чай? В трактир ходят для провождения время, скуку свою провести; посидеть, поговорить, а не то что.

Мы завсегда замечаем, который человек в веселом духе.

Непременно у вас денег много.

Дельно! Вали! Вали!

<Л. 24> И теперича, который этот самый неподобный зверь и мог он с этой скотиной иметь совокупления. Этот самый опасный зверь мог иметь насильствие.

Подобные, которые едят.

В акорд — в акурат.

Хлыснул дождь.

Звериница.

Девка убедительная.

Одно слово — чего извольте.

Пузыри отпускали (аэростат).

⟨Л. 25 об.⟩ «Ты боек, Джон Норфольк,— но помни одно:
Твой барин уже куплен и продан давно!»
(Ричард III, драма Шекспира).

— Когда шуты полезли в джентельмены,
Дворянам остается роль шутов
(Ibidem).

⟨Л. 26⟩ ⟨*Рисунок: женщины перед зеркалом*⟩
⟨Л. 26 об.⟩ ⟨*Рисунок: рука с вытянутым указательным пальцем; обрезано*⟩.
⟨Л. 27⟩

Декуратор ⟨?⟩
Священник
села Сосновки
с причтом

Его благородию
господину становому приставу 1 ст⟨ана⟩

На отношение вашего благородия от 17 ноября сего 1864 года за №... имеем честь благопочтительнейше сообщить: в приходе нашем не имеем в виду подозрительных лиц к отрицанию или совершенному отвержению человечества, с презрением невинной крови своего бытия, чтоб кто мог собственное свое дитя бросить на произвол судьбы, подобно Моисею, брошенному в реку в осмоленном ящике и найденному в тростнике дочерью фараоновою.

Декуратор ⟨?⟩ священник Вас. Утехин
Диакон Николай Вихров
Диакон Василий Потоцкий
Пономарь Артамон Македонский.

⟨Л. 28⟩ Иерей Василий Утехин.
Диакон.
Диакон В. Потоцкий.
Пономарь Македонский.

⟨Л. 29⟩ [В Столярном переулке,
в доме Куманиной № 35, пятый этаж.
Застать до часу утра.
Михаил Андреевич Ороскоп.]
⟨Л. 29 об.⟩ Калужской губернии Тарусского уезда.

Воды $2^1/_2$ фунта,
фениловой кислоты 160 грамм,
железного купоросу 48 грамм.
Противугнилостное средство.
[Близ Пречистенки в Долгом переулке, дом Малининой ⟨?⟩
госпоже Мал⟨ининой?⟩ ⟨2 *нрзб.*⟩]
Шашово.
⟨Л. 30⟩

Михаил Ребров.
Ныркон и Попов.

Евгений Михайлович

Духовской.

Отец Сила.
«Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий» 1860 года, № 4, Смесь.

---

12 дней об. $1^1/_2$ рубля сажень дров.

15—30 рублей серебром платили пайщики вместо себя. 5—7 тысяч пуд в 1 печке.

Верхний слой называется *круг* лучший.

⟨*Л. 30 об.*⟩ Монопол. Условием обязал пр.

Малышевской волости Бильковского сельского общества деревни Шашово Андреевское, Федотово [Бабулино] Мелехово.

Николай Яковлевич Дубенский.
В С.-Петербурге.
На Гагаринской набережной,
в доме Кокошкина, в квартире князя Долгорукова.

⟨*Л. 31*⟩ *Владимир*

Доброе село.
Боголюбово.
[Пенкино].
Тряковицы деревня.
Введенское.
Ковров.
6 верст.

Иеремей Иоасаф.
Выселки.
Стоврово.
Потокино.

Стегалицы.
Холуй купец Базов.

Мстёра.

Деревня Сенино на шоссе.
10 верст не доезжая Дроздовки.
В 3 верстах Великое.
К священнику — Матвей Вознесенский.

⟨*Л. 31 об.*⟩ Сженка — чай.

Шафран
Лакрица
Жженый сахар
Спитой чай
} $+^1/_4$ настоящего чая

⟨*Л. 32*⟩ *Лемешок*

Каменщики, кровельщики, щипание мха, рыбная ловля. Встреча с унтер-офицером, ночлег. М-г Arman Faure. Водка, кусочек сыру, поросенок.

Карел — кучер. Бабы работают — песок возят.

Солдаты — идущие на побывку проситься к бат⟨альонному⟩ ком⟨андиру⟩.

Из польских губерний — не пускает — такой час нашел. Пешком идти не могут — грудь болит — едут — проездили даром — туда и назад.

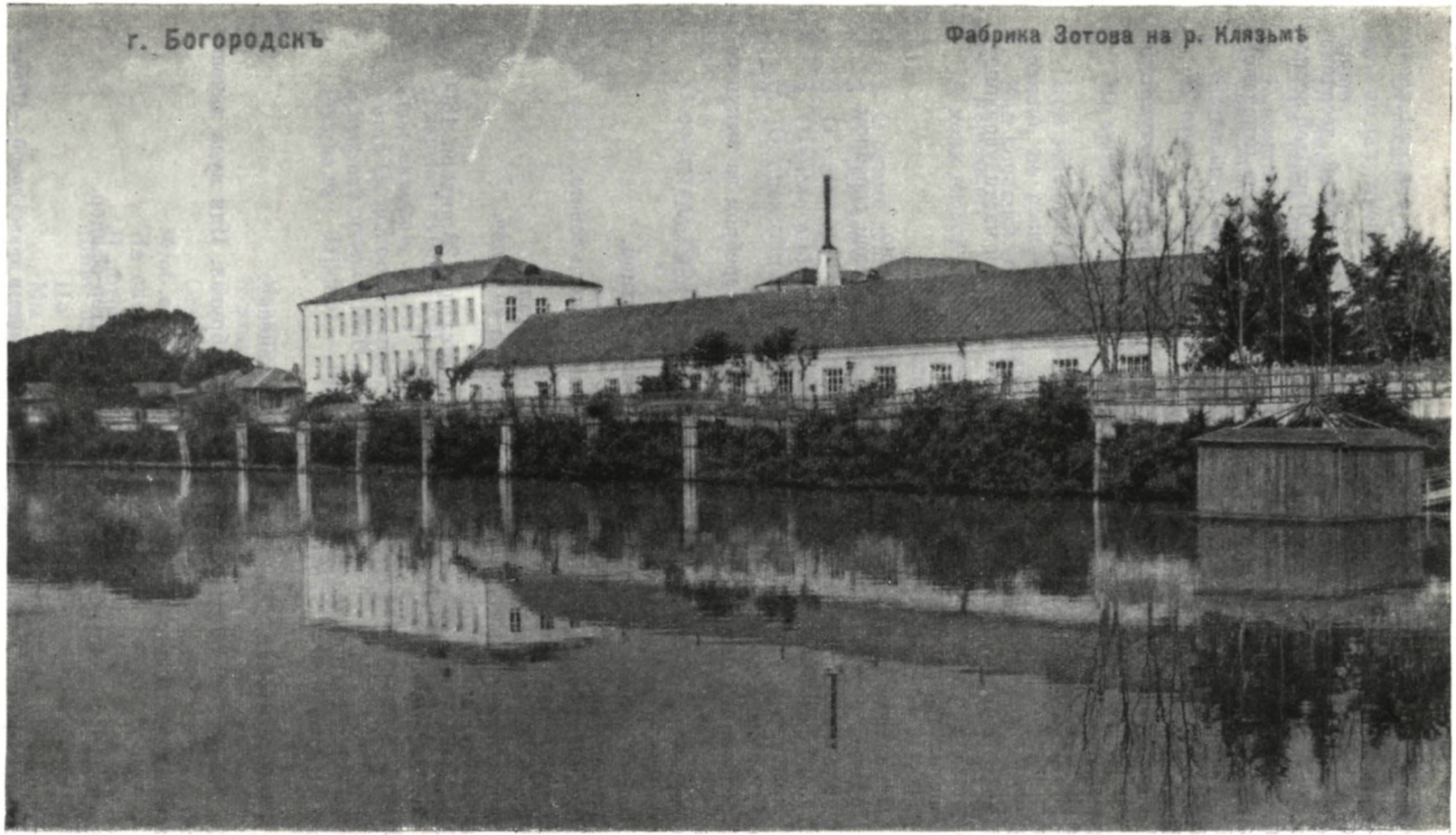
Солдат-нянька.

⟨*Л. 33*⟩ Рязанская губерния Касинского уезда сельцо *Авинцы*. Екатерина Васильевна Чикина.

Тимофей Курилов отец.

Филипп Тимофеев отдан в солдаты ⟨в 1837⟩ году. Уволен из службы ⟨в⟩ 1859. Декабря 16. Служил на Кавказе. Отец был старостой.

Иван Яковлевич Генерал, калужский мещанин, лес продает ворон⟨ежскому⟩ купцу Панькину.



БОГОРОДСК (ныне Ногинск). ФАБРИКА ЗОТОВА
Фототипия (открытка), 1890-е гг.
Исторический музей, Москва

Откупился за 600 рублей с семейством, сына отдали в солдаты после того, как Совет разрешил.

Генерал требуемых 30 рублей серебром не дал.

<Л. 33 об.> Понадобились деньги в Совет. Продажа леса по 15 рублей десятина строеного леса, мщение Генерала, продажа ситцев за 120 рублей ассигнациями, брат отдал 1854 июля 19.

Жила в Белугине Московской губернии Каширского уезда (продано).

<Л. 34> 1) Барин обещал вольную.

2) Уехал в новгородскую деревню — и умер.

3) Понадобились деньги внести в Совет.

4) Тимофей Курилов дал ей 600 рублей и приказал найти покупателя леса.

5) Заключила контракт с покупателем.

6) Выдала вольную.

Женил сына.

7) Вольная в суде оказалась недействительною.

8) Подала рапорт в Опекунский совет, что из своей части увольняет.

9) Приехала в Авинцы.

10) Генерал просил 30 рублей. Отказал.

11) Генерал собирался наказать отца.

<Л. 34 об.> 12) [Наказание отца] Возвратился, приняла хорошо.

13) Продажа дочери Андрея Лобикова за 100 рублей серебром.

14) Уничтожение вольной.

15) Просьба отставить от должности.

16) Скрывается. Продала дом в его отсутствие.

1 дочь, продала другую во двор.

17) Требование Опекунского совета 600 рублей серебром за выкуп семейства.

18) Ответ — разорен. Почему отвечает дворовой, дом мой.

19) Отдала брата в солдаты. Наказан.

20) Подала прошение на купца в сообществе с отцом.

21) Запрос Совета, почему продала.

22) Панькин показал фальшивый указ Опекунского совета.

23) Прислан землемер в счет виноватого.

24) Лес оказался в порядке. 2-х десятин недостало.

25) Чтобы заглушить дело, продала имение за 45 тысяч.

26) Возвращение на родину.

27) Михаил и Николай дали лесу при общей сходке 26 января 1860.

<Л. 35> 28) Срубка, постройка, помочь.

29) Приезд и приказ не позволять работать.

30) Отказ в месте.

[31) Поступление на мел<ьницу>]

Николаю Захаровичу — 3 рубля*.

---

31) В 1859 поступил. 1859 августа 15 увольнение.

[М. З. просил 200 рублей за право жить. Обругал. Иди куда хочешь жалуйся.

Желание завести школу, приютить отца и брата.

<Л. 35 об.> Кавказского линейного № 3 батальона унтер-офицер.

Село Дмитриево г-на *Андреева*.

---

* Выкупил барыню в Рязани в гостинице на свои деньги и привез домой.— *Прим. Слепцова.*

Огромный дом у леса недостроен, думал, что пойдет так, просили взятку—не дал; провели в 2-х верстах. 2000 десятины имение продал с аукциона.

Л. 36 [Я имею у себя фантазический ум.
При дамах выражаться национально по-русски.
К аристократическому кругу. Довольно грубо одемши.
Свяжущее существо — веревка.
Обращение иметь.
Я имею свою фантазию.]

Ах, женка моя!

Не трожь, не ворошь!

Как теперича жена живет своим рассудком, своим благородием, как должно, не роскочно.

Как хороший человек благочестивый. Да еще это мало. А то и носа и рта переедает.

А коли ежели насчет этих глупостей.

Л. 37 *К письмоводителю Думы*

1. О сумме городских капиталов и доходов.
2. О средствах воспитательного дома.
3. О числе несостоятельных мещан.
4. О числе рыбаков, кузнецов, сапожников.
5. [О промысловой повинности.]

В библиотеку

О средствах библиотеки.

В духовное училище

В воскресную школу.

В воспитательный дом

В городскую больницу.

«Тверские губернские ведомости», 1861, № 13.
Свод законов, т. XI, 1832 года.
Устав Савинского банка.
«Северная пчела» 1840 года, № 251.

<Л. 38> Penghawav Djambi — кровоостанавливающее средство

<Л. 39>

* * *

Возложив на человека
Жизни тяжкий труд,
Бог в груди [у человека] его от века
Ставит слез сосуд.
Чтоб от тяжкого томленья
Не сломалась грудь,
И потом из тьмы забвенья
Шлет на страшный путь,
Но в полжизни увядая,
Мы их все прольем,
И горят без слез, рыдая,
Уж глаза потом.

⟨Л. 40 об.⟩ 1 Коринфянам, V. 11, 1 Коринфянам VI, 9, 10, Римлянам XIII, 13, Галатам V, 11, 20.

⟨Л. 41⟩ Разве можно такие поступки делать?
Уж ты шуточка — Машуточка моя! ⟨...⟩
Через плот
В огород
Под цибулькой сел.

Фильянец.
Колигвард.
Пипинеры.

Ты долж⟨он⟩ против меня молчать!

Как ты [должòн] можешь так похабно говорить?

Ундерцер.

[Живу я слава богу, а что будет вперед — не знаю.]

Сказали сейчас, а покон ⟨?⟩ того я вас ждал, может, несколько времени.

⟨Л. 41 об.⟩ Здесь девушка не занимается, чтобы об ней хороший разговор имели, не дожидается своих летóв.

На это Петербург куды как худо выстроен. А, между прочим, и Москва тож. Тула вот на этот счет.

⟨Л. 42⟩ [Хл⟨е⟩б нас жеть ⟨!⟩]
Как ни живи — хлеб тебя переживет.
Родители дороже хлеба.
Пишет родитель — я нездоров, приезжай — вот я и еду. Жену, детей бросил.
— Дети есть?
— Есть.
— Ах ты, семьянин, горе луковое! пьянствуешь.
Свинья!
Именная свинья.

⟨Л. 43⟩ *Депо*

Депо
масляных красок, приготовленных машиною,
*Луизы Федоровны Форсман.**

⟨Л. 43 об.⟩ Чтоб она от души захотела,
Чтоб недуги свои забывала,
И чтоб [нежно любимый] красивый порок
[Гнусным, гадким] Безобразным казаться ей мог.

⟨Л. 44⟩ Обманил.
Не.
Куриным шагом.
Не так чтобы горазно.

---

* *Эта строка повторена три раза.— Ред*

Горазно спала.
Не горазно прокуратничайте!
В Москвы, из Москве.
Взбудить.
Припакливаться.
[Начнешь чихать — слеза прошибет. Как понюхаешь — совсем разница. Как можно?
Завтра вам выйдет всем разделюция.



ТИП РАБОЧЕГО
Рисунок В. Е. Маковского, 1870 г.
Русский музей, Ленинград

Эй! дедушка! Что заржавел?

Скидовай портки — разговляйся!
Курляндец ты этакой!]
Стрюцкий тебе цена монетка.
[Разменяй 7-микопеечную ассигнацию.]
На полатях.
На скамейках.
На лавках.
Нет, больно, учиться-то.
Девка учена.

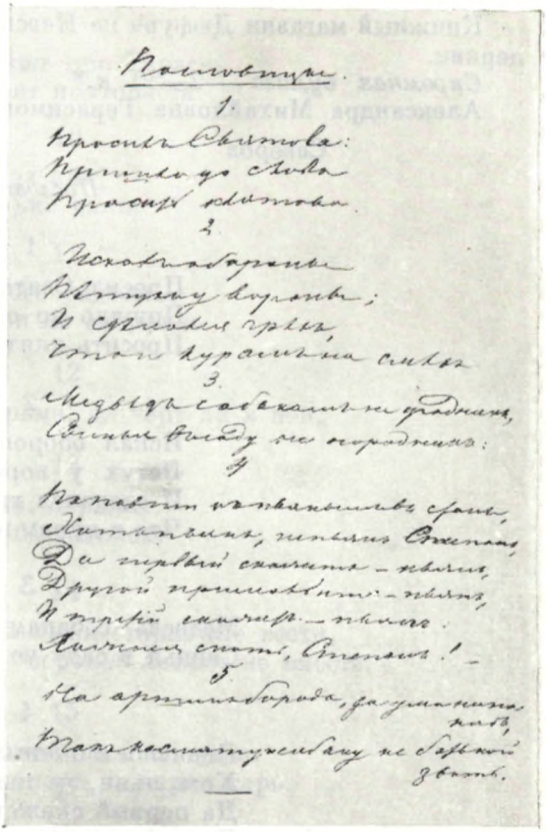
Кража небольшая:
Украли у попа махало (кадило),
Кивало да сарафан
(крест) (ризу)

Дака-ся, ну-ка-ся
мне-ся, шляйся, грядися.
Кто в одну ноздрю нюхать привык, тому в другую противно

Под Ковровом

Вьюга вьюжит.
Почаси́ — погоди.
Угасить огонь.
Спахнуть пыль.
Лупить картофель (чистить).
Боат — будет. Чернеа — ее.
‹Л 45 об.› Мост — подмостки, лавка.
Светаат — ает.
Ходить в попы — к попу.
Райе скоро перекупишь?
Чай про сея, ни про ково.
Ону — её
Лягва — лягушка.
Будяшь — будешь.
Ты не видал отцу приехать? (не видал ли ты?)
Сходи к ей.
Не веду — не знаю.
Известно: в суд не по деньги, в потраву не по хлеб.
Пичька — печка.
Туто-де — тут.
Тамо-де.
Воду катать — качать.
Повню — помню.
Курган — кувшин для квасу.
Будьте спокойны! — покойной ночи.
‹Л. 46› Мятижно — метель.
Мир — доро́га, господа!—
Доброжалуста.
Мятик — метель.
Черезвый — трезвый.
Хлеба кушать — обедать, ужинать.
У нас из эстого просто, т. е. не строго на этот счет.
Всполох — набат.
Ну, считай во рту зубы.
Эй ты — дурака!
‹...› да родить
Нельзя погодить.

Драчутся — дерутся.
Драча — дракa.
День не спят, а ночь трясутся.
Что ты трясешься?
За всё — всегда.
Поздышь — поздний жеребенок.
Мотряй — смотри.



ЛИСТ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ СЛЕПЦОВА. ЗАПОЛНЕН В 1860—1864 гг.
Архив Октябрьской революции, Москва

(Л. 46 об.) Форсит больно, он сам сея не знаат.

А этот человек хозяйственный, толковый, он тее на руках пальцы сделаат.

Ехать в тройку, в пятерок.

С собакой мяса не делят.

Понасердком — со зла.

Шкура ты барабанная!

Охота — разговор.

Безобразов охотник затравил 6 русаков — 60 рублей отдал за харчи. Бурмистр — охотник до гусей. — Скажи слово — в темную засадит.

Гусь 20 рублей.

На исподи — внизу.

Сварьба — сватьба.

Човоэ? — чего?

Нись, нить — нивесть.

Река *запленела* (плен).

(Л. 47) Истинный предмет изучения для человека — есть человек.

Гёте.

Система психологии.

Фортваге.

Жизнь души — *Лазаруса.*

«Психея» — журнал *Ноака.*

Книжный магазин Дюфура на Невском проспекте в доме голландской церкви.

Скромная бумага — 2—50 к.*

Александра Михайловна Герасимова.

Северов

<Л. 48>

Пословицы

1

Просил Святова:
Пришло до слова
Просить клятово.

2

Искал обороны
Петух у вороны;
И сделался грех,
Что и курам на смех.

3

Медведь собакам не угодник,
Свинья в саду не огородник.

4

Попавши к пьяным в стан,
Хоть пьян, не пьян Степан,
Да первый скажет — пьян;
Другой примолвит — пьян,
И третий скажет пьян:
Ложися спать, Степан!

5

На аршин борода, да ума ни на пядь,
Так косматую собаку не батькой звать.

<Л. 48 об.>

6

Ворожи, не ворожи,
А шиши не хорошо.

7

На весу фунт пуда хуже,
А дают им цену ту же.

8

Добро есть добро,
Да не всяко равно:
А иное с ногами,
Другое с рогами.

---

* *На обороте листа следуют записи расходов Слепцова, которые мы не публикуем.— Ред.*

9

Ему говоришь про Тараса,
А он говорит полтораста.

10

Разом тяп да ляп,
Выйдет только кляп.

11

Хоть и много радеешь,
Шилом моря не нагреешь.

12

Крепка тюрьма, да чёрт ли в ней.

13

Седой мужик обрился,
А в детки не годился.

14

Л. 49⟩

Дошли до невежи старинные вести,
Что сокол с сорокой летают не вместе.

15

Таков вороний весь словарь,
Что Карп не карь, а мерин карь.

16

Позавидовал лысый плешивому
Будто таланту счастливому.

17

Уходили Сивку
Крутые горки.

18

Фадей шесть дней любил спасенье,
А день седьмой — воскресенье,
Да пьяных с грязи принесенье
Прости, господи, мое согрешенье!

19

В пьянстве дело шаловато,
А проснешься — тошновато.

20

Кабы дятел в дупле не выказал нос,
Так никто б и не знал, что клевал он навоз.

21

Трубили ховраны дары кабары́,
Да поставили дело на вын — тарары́.

<Л. 49 об.>

22

Размазал кот высоким слогом
И трубит всюду громким рогом,
Что скачет мышь перед порогом.

23

На сказках Фрол бежит,
Под ним земля дрожит;
А верить надлежит,
Что Фрол в грязи лежит.

24

Умен Малала
Впотьмах.

25

Нарядишь пень, и пень хорош,
А скинь наряд, на пень похож.

26

Не ела душа чесноку,
Не воняет.

27

Затвердила сорока Якова
Одно про всякова.

28

Тем и краше,
Что наше.

29

Что кому нужды и что кому дела,
Что с кумом кума, покумившись, сидела.

<Л. 50>

30

Пень в жилье не околица,
Глупая речь не пословица.

31

Выхваляет Марина лощину,
Увидала в лощине мужчину,
И будто бы любит лощину.

32

Знает кума и сама,
Что бывает с пороком Фома.

33

Долбил не вкось, а впрямь Данило,
Да не туда пошло долбило.

34

Не сбыточное дело,
Чтоб всё у бабы было цело.

35

Не погано море стало,
Что собака в нем лакала.

36

Солнце тем не будет хуже,
Что лучи пускает к луже.

37

Невесть кого посадят на слоне
Да и назовут: Егорий на коне.

38

Как бог не даст,
Свинья не съест.

<Л. 51> <Варианты «Дубинушки»>

Ребятушки, сходитесь,
Рука по руку беритесь,
Ух!
Вот мордвин
подвинь!
разом — ух!
Вот копер
попер
разом —
Во перьвой, другой —

Вот не шла, да и пошла.

Вот нейдет, пойдет.

Вот смольной, толстой!

Вот купец, подлец.

Дубинушка ухнем,
Зеленая, подернем,
подернем.
<Л. 51 об.> Пошла стряпка за квасом,
Угребласи под лобасом,
Ух!
Раз-от еще раз.
Кто подмасливать горазд.

Еще маленький разок.

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2 ед. хр. 180, лл. 1—51 об.

СПИСКИ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК

Публикация Л. А. Евстигнеевой

Публикуемые списки русских пословиц и поговорок написаны рукою Слепцова на трех разрозненных листках, сохранившихся среди бумаг писателя в Пушкинском доме. По всей вероятности, эти листки из разных записных книжек Слепцова, так как по своему характеру все три списка существенно отличаются друг от друга. Возникает вопрос о происхождении списков: были ли пословицы выписаны из какого-нибудь сборника русского народного творчества или это пословицы, которые Слепцов собственноручно собрал, записал и частично систематизировал, услышав их непосредственно из уст народа.

Интерес к фольклору появился у Слепцова очень рано. Еще будучи студентом Московского университета, он познакомился с профессором М. Я. Киттары и В. И. Далем, «которые очень полюбили его и пригласили бывать у них» [1]. В тот год Даль заканчивал труд всей своей жизни — «Толковый словарь живого великорусского языка» (окончен в 1860 г.) — и готовил к печати сборник «Пословицы русского народа» (вышел в 1862 г.). Вполне вероятно, что Слепцов познакомился с этими работами еще в рукописи. Поэтому, когда в 1859 г. этнографический отдел Географического общества (постоянным членом которого был Даль) предложил Слепцову отправиться в пешеходное путешествие по Владимирской губернии, он сразу же согласился. Итогом этого путешествия явились очерки «Владимирка и Клязьма».

С тех пор Слепцов, подобно А. И. Левитову, П. И. Якушкину, Е. Южакову, С. В. Максимову, П. Н. Рыбникову, Н. К. Отто и другим, не раз отправлялся в странствия по России. «Калики перехожие», называла эту группу писателей «Искра».

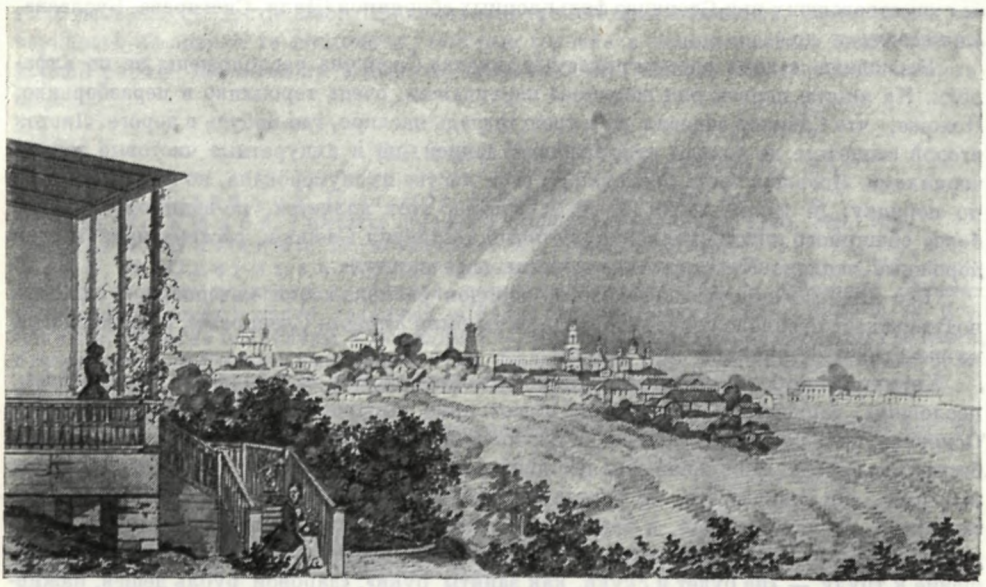
Слепцов обладал редким для интеллигента умением вступать в духовное общение с людьми из народа. Об этом свидетельствует П. В. Быков: «Он умел сближаться с мужиком, с мещанином, с военным людом низшего ранга и с самых молодых лет, знакомясь с народом, знал хорошо и быт его и многие черты, ярко характеризующие его душевный мир» [2]. О том же вспоминает А. Я. Панаева: «Вообще у Слепцова в голосе было что-то ласкающее, так что люди из простого класса из самых мрачных и молчаливых становились с ним разговорчивыми до откровенности. Я любила слушать, когда Слепцов беседовал с кем-нибудь из этого класса людей, с каждым из них у него был особенный слог, который совпадал с языком какого-нибудь мастерового, мужика, рабочего или торговки-бабы. Он так умел шутить с ними, что они от души смеялись» [3].

Произведения Слепцова свидетельствуют о том, с каким пристальным вниманием прислушивался писатель к народным изречениям. Интерес к фольклору не был у него дилетантским. Во «Владимирке и Клязьме» есть страницы, где Слепцов дает довольно подробное и лингвистически грамотное описание диалектов Владимирской губернии. Он регистрирует изменение оканья, сравнивает его с московским наречием, анализирует употребление частиц во владимирском диалекте (I, 318—319). То же и в «Письмах об Осташкове». Слепцов не забывает упомянуть, что осташковцы говорят «горазно» или «горазже» вместо «гораздо»; «в силу» вместо «насилу»; «не» вместо «нет» (II, 175, 176, 194). Такой исследовательский подход к народному языку можно обнаружить и в публикуемых списках пословиц.

Один из списков является какой-то заготовкой материалов, заимствованных из далевского «Толкового словаря». Слепцов выписывает большинство пословиц, которые приводит Даль под рубрикой «авось», и регистрирует значение и произношение этого слова.

Но пословицы не механически списаны из I тома «Толкового словаря» (стр. 3—4). Слепцов в своих целях перестраивает их порядок: 4-ю списывает после 25-й, 3-ю — после 26-й, да и вообще из всех пословиц выбирает лишь наиболее меткие, имеющие социальную окраску (2, 6, 10, 23, 24 и т. д.).

Список этот был сделан, очевидно, в самом начале 1860-х годов (в 1863 г. вышел из печати I том «Словаря») или даже раньше, если предположить, что Слепцов познакомился со словарем Даля еще до его издания.



ВЛАДИМИР. ОБЩИЙ ВИД.
Рисунок С. Рыбинского, 1849 г.
Русский музей, Ленинград

Сложнее определить характер двух других списков. Скорее всего, это пословицы, собранные самим Слепцовым. Для точной датировки списков нет данных. Возможно, что они возникли в 1860-е годы, когда создавались «Владимирка и Клязьма» и «Письма об Осташкове». Многие пословицы имеют соответствие в «Толковом словаре» Даля или в его же «Пословицах русского народа». Однако полного сходства, как правило, нет. Из 36 пословиц только 14 записаны у Слепцова в той же редакции, что и у Даля, а остальные даны в ином варианте или совсем отсутствуют. Приведем несколько наиболее характерных примеров:

Слепцов	Даль
Голый, что святой: беды не боится.	На голом, что на святом: нечего взять (т. I, стр. 16).
Нужда запаса не знает.	Нужда закона не знает (т. II, стр. 559).
За чужое лычко ремешок отдашь.	Возьмешь лычком, отдашь ремешком (т. II, стр. 276).
Голодухиной волости, села Обнищухина	Обыватель Голодалкиной волости, села Обнищухина (т. I, стр. 66).

Несколько пословиц можно найти и в других печатных пословичных сводах, но опять-таки полного соответствия с пословицами из списков Слепцова они не имеют [4]. Например:

Слепцов: Нужда железо переедает.	Снегирев: Нужда железо ломает (стр. 301).
Слепцов: И бог не возьмет, как нет ничего.	Буслаев: И бог не возьмет, как чего нет (стр. 11).

Такие пословицы как «черно, черно индо синё», «нужда, что ржа», «живи для людей, поживут люди для тебя», «сам на себя на радость никто не живет», «ей щенка, вишь, да чтоб не сукин сын» и некоторые другие не удалось обнаружить ни в одном из существовавших при Слепцове фольклорных сборников (Даля, Снегирева, Буслаева, Княжевича и др.).

Пословицы в двух рассматриваемых списках Слепцова расположены не по алфавиту. На листке первом они записаны карандашом, очень торопливо и неразборчиво. Похоже, что Слепцов заносил их в свою тетрадь наскоро, где-нибудь в дороге. Листок второй содержит не только карандашные записи, но и аккуратные чистовые записи чернилами. Большая часть пословиц на этом листке пронумерована, но номера идут не по порядку: № 10, № 1, № 15, № 3. Листок этот является, по-видимому, частью более обширного списка пословиц, который составлял Слепцов, систематизируя свои дорожные записи. Некоторые пословицы перечеркнуты.

Все это, особенно внеалфавитный порядок расположения материала в списках, подтверждает предположение, что пословицы были *собраны* Слепцовым, а не выписаны из печатных источников для работы.

Характерен отбор пословиц в первых двух списках. Все, за небольшим исключением, пословицы, записанные Слепцовым, имеют ярко выраженную социальную окраску. Основная тема пословиц: обличение сословно-имущественного неравенства, нищета и бесправие народа. В большинстве пословиц говорится о бедности: «доели хлеба до голых рук», «ни задавиться, ни зарезаться нечем», «шапка волосяная, рукавицы своекожаные», «и наго, и босо, и без пояса», «семерых в один кафтан согнали».

Некоторые пословицы отражают характерные черты русского народа, его отношение к труду — «не будет и скуки, как заняты руки», «даровой рубль дешев, наживной — дорог»; «мирское», «артельное» начало — «не держи сто рублей, держи сто друзей», «живи для людей, поживут люди для тебя»; правдолюбие — «хлеб-соль ешь, а правду режь».

Другие раскрывают тему общественного неравенства: «не в том углу сидишь, не те песни поешь», «когда деньги говорят, тогда правда молчит». И наконец, есть группа пословиц бытовых, диктующих нормы морали: «что нальешь, то и выпьешь», «больше той любви не бывает, как друг за друга умирает» и т. д.

Общая тенденция пословиц, собранных Слепцовым, свидетельствует, что писатель искал в них правду о жизни народа. Об этом писал еще Горький, сравнивавший Слепцова с Якушкиным и противопоставлявший их Рыбникову, Киреевскому, Сахарову и другим, которые «собирали материал фольклора,— песни, от помещичьих хоров, т. е. материал, цензурованный помещиками, искаженный. Якушкин „черпал" его непосредственно „из уст народа", на сельских ярмарках, на базарах» [5].

Слепцов, как и Якушкин, «черпал» фольклорный матерйал в народе, и ему по пути попадался

Всё-то знакомый народ,
Что ни мужик, то приятель [6].

Как же использовал Слепцов фольклор в собственном творчестве? Можем ли мы в его произведениях найти хотя бы некоторые из этих пословиц? Рассказы и очерки Слепцова щедро насыщены песнями. В одном только первом томе собрания сочинений Слепцова насчитывается более двадцати песен, подслушанных им у народа. Тут и «Шел из Питера штафет», и «Черная галка, чистая полянка», и фабричные

частушки, и даже исторические песни про вора-Гаврюшу и Краснощекова. В каждом произведении Слепцова можно найти меткие народные словечки, простонародные выражения: шленды, постокась, напасёсси, евонный и т. д. Но во всех его рассказах, очерках, романах мы смогли обнаружить всего-навсего семь пословиц и поговорок (в рассказе «Ночлег», во «Владимирке и Клязьме» и в «Хорошем человеке»).

Среди них нет ни одной из публикуемых нами.

А между тем на листке втором сохранились следы работы Слепцова над собранными им пословицами — нумерация и вычеркивания. Возможно, что Слепцов, сверяя собранные им пословицы со словарем Даля, зачеркивал те из них, которые были уже опубликованы. Так, были зачеркнуты пословицы «умная голова сто голов кормит, а худая и себя не прокормит» (есть у Даля, т. I, стр. 36), «сухая ложка рот дерет» (т. IV, стр. 366), «зачем к Варваре, как свое в кармане» (т. II, стр. 93), «что нальешь, то и выпьешь» (т. I, стр. 306). Правомерно и другое предположение. Слепцов мог вычеркивать из списка те пословицы, которые готовился использовать в своей литературной работе, перенося их в другой, более полный список, впоследствии затерявшийся.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. А. Слепцов. Полн. собр. соч. СПб., 1903, стр. 4.
[2] П. В. Быков. Силуэты далекого прошлого. М.— Л., 1930, стр. 182.
[3] А. Я. Панаева. Воспоминания. М., 1956, стр. 336.
[4] И. М. Снегирев. Русские народные пословицы и поговорки. СПб., 1848; «Новый сборник пословиц и притчей, служащий дополнением к собранию русских народных пословиц и притч, изданных в 1848 г. И. Снегиревым». СПб., 1857; Ф. И. Буслаев. Русские пословицы и поговорки.— «Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Ник. Калачевым», кн. II, половина II. М., 1854.
[5] Письмо М. Горького в редакцию «Лит. наследства».— «Лит. наследство», т. 3, 1932, стр. 147.
[6] Н. А. Некрасов. Деревенские новости.— Собр. соч., т. II. М., 1948, стр. 98.

‹1›

Голодухиной волости села Обнищухина.
Голь-голянский — сын дворянский.
Шапка волосяная, рукавицы своекожаные.
Доели хлеба до голых рук.
Ни кола, ни двора, ни пригороды.
Семерых в один кафтан согнали.
Ни задавиться, ни зарезаться нечем.
И наго, и босо, и без пояса.
Голь да перетыка.
Черно, черно, индо синё.
Нужда запаса не знает.
Нужда железо переедает.
Нужда, что ржа.
И бог не возьмет, как нет ничего.
Нищий на нищем не ищет.
Голый, что святой: беды не боится

‹2›

[№ 10] За чужое лычко ремешок отдашь.
№ 1. [Без ума голова — пивной котел.]
№ 15. Даровой рубль дешев, наживной дорог.
№ 3. [Умная голова сто голов кормит, а худая и себя не прокормит.]
№ 13. [Сухая ложка рот дерет.]
[№ 8. Не будет и скуки, как заняты руки.]

№ 14. [Хлеб-соль ешь, а правду режь.]
№ 15. [Зачем к Варваре, как свое в кармане.]
№ 18. Лишь бы пилось, да елось, а дело на ум не шло.
№ 18. [Что нальешь, то и выпьешь.]
№ 15. Не держи сто рублей, держи сто друзей.
Когда деньги говорят, тогда правда молчит.
Живи для людей, поживут люди для тебя.
Сам на себя на радость никто не живет.
Все бобры добры до своих бобрят.
Больше той любви не бывает, как друг за друга умирает.
И худой Ермил да мил, а и хороший Влас да подальше от нас.
Не в том углу сидишь, не те песни поешь.
Ей щенка, вишь, да чтоб не сукин сын.
Не дают — просит, а дадут — бросит.

〈3〉

Авось наречие
(а-во-се).
Межд〈ометие〉 начин〈ательное〉 и два наречия указат〈ельные〉:
а вот, сейчас.
[Авось — вся надежда наша.]
[На авось мужик и хлеб сеет.]
[Русак на авось и взрос.]
[Авось — плут, обманет.]
[Авось до добра не доведет.]
[Авось — великое слово.]
[Авось — не бог, а полбога есть.]
[Авось живы будем, авось помрем.]
[Авось — дурак, с головою выдаст.]
[Авось — хоть брось.]
Держись за авось, пока не сорвалось.
Кто авосничает, тот и постничает.
[Авось, небось, да третий как-нибудь.]
Авось с небосем водились, да оба в яму свалились.
Может быть, станется, сбудется.

Автограф. ИРЛИ, Р. III, оп. 1, № 1930.

ЗАМЫСЕЛ РОМАНА «ОСТРОВ УТОПИЯ»

Сообщение М. Л. Семановой

В письме к Л. Ф. Нелидовой от 3 ноября 1877 г. Слепцов писал: «Знаешь, что я делаю? Я сочиняю роман, превосходнейший роман. Называется он — „Остров Утопия“. Меня навел на эту мысль разговор с тобой. Помнишь, я тебе рассказывал о необитаемом острове на Тихом океане? После твоего отъезда я начал думать, думать, далее и более ⟨...⟩ превосходная идея! Если ее обделать как следует, то из этого можно сделать нечто в роде Дон Кихота.

Только теперь этот роман мне не очень кстати, мне нужно что-нибудь поменьше и не столь монументальное; теперь по моим делам мне нужна вещь рублей на 500 и чтобы сделать ее в месяц, а за „Утопиею“ просидишь года три.

В последние дни надоел мне этот роман, как докучная муха: не хочу думать, а сам все думаю. Не с кем поговорить, а то бы я от него отговорился...» [1]

Среди неосуществленных замыслов Слепцова замысел романа «Остров Утопия», о котором идет речь, представляет особый интерес. Он является еще одним доказательством того, что ученик Чернышевского, организатор «Знаменской коммуны», оставался до конца своих дней верен демократическим и социалистическим идеям.

Твердость убеждений Слепцова признавали и его идейные противники. Так, в 1865 г. сотрудник «Отечественных записок», недоброжелательно рецензируя повесть «Трудное время», писал об ее авторе: «Это единственный из молодых беллетристов, который, по-видимому, без борьбы и завета отдался „Современнику“, проникся его верою, решился не выпускать его руководящей нити из рук». Любопытно, что при этом повесть Слепцова ставилась рядом с такими произведениями, как «Что делать?» Чернышевского и «Утопия» Томаса Мора: «Мы разбирали капитальное произведение серьезного журнала, которое по преимуществу и даже исключительно должно быть названо произведением мысли, как, например, „Остров Утопия“ или роман „Что делать?“» [2].

Едва ли можно сомневаться в том, что писатель был знаком с такими классическими произведениями английской, итальянской, французской «утопической» литературы, как «Утопия» Томаса Мора, «Город солнца» Кампанеллы, «Путешествие в Икарию» Э. Кабе и др. Об интересе же Слепцова к теоретическим сочинениям социалистов-утопистов свидетельствуют имевшиеся в бумагах писателя выписки из сочинений Фурье об устройстве фаланстеров («гармоний», как называл их Слепцов) [3].

Конечно, замысел романа «Остров Утопия» возник не из литературных источников. Замысел родился в раздумьях Слепцова над социальным неустройством современной ему действительности. Но если говорить о воздействии литературных образцов на этот замысел, то в первую очередь нужно указать на роман Чернышевского «Что делать?» и особенно на созданные в нем картины будущего гармонического человеческого общества — социализма. Воздействие этого романа на писателя было так велико, что он, как известно, *практически* стремился осуществить в своей «Знаменской коммуне» завет Чернышевского приближать будущее, работать для него, переносить в настоящее все, что можно перенести. Идеи коллективизма, свободного, творческого, общественно полезного труда, равноправия, свободы, счастья, наслаждения жизнью для всех — были в высокой степени близки Слепцову. Они составляли основу его мировоззрения.

В «подводном течении» своих художественных и публицистических произведений, а порою и явно (см. выше «Петербургские заметки») Слепцов доказывал необходимость уничтожить разные монополии и привилегии (социальные), установить такой порядок, при котором бы все «имели обеспеченное насущное пропитание», возможность свободно развиваться физически и духовно. С недоумением и негодованием смотрел он на тех, кто удовлетворялся жизнью, какова «она есть», ограничивал свое существование обывательским маленьким уголком, вполне мирился на «счастии» с дозволения начальства. «Что можно сказать людям,— писал он в «Провинциальной хронике»,—которые дождались возможного счастья на земле и говорят, „да, мы счастливы, мы довольны тем, что у нас есть, и знать больше ничего не хотим“».

Л. Ф. Нелидова в своем романе «На малой земле», посвященном Слепцову, где он изображен под фамилией Свиридова [4], рассказывает, что еще в юности он разработал «теорию наслаждения», которую противопоставил и животному эгоизму и теории страдания, самопожертвования. Судя по всему, эта слепцовская «теория наслаждения» была сродни и учению Шарля Фурье о страстях, свободная игра которых дает человечеству счастье, и теории разумного эгоизма Чернышевского.

«Малой землей» называл Свиридов (Слепцов) всякую насильственно суженную несвободную жизнь, в том числе жизнь женщины, порабощенной в тогдашних условиях русской действительности ее социальным укладом и семейным деспотизмом мужчины.

Почти дословно передает Нелидова в своем романе письмо Слепцова о замысле «Остров Утопия», оживляя этот замысел еще некоторыми подробностями, которые сохранила ее память:

«Превосходная идея! Если ее отделать как следует, то из этого может выйти вроде Дон Кихота 〈...〉 — Герой не хуже тебя озабочен „малой землей“, у него целый ряд проектов для разрешения вопроса 〈...〉 Он верит в них и полон желания действовать, но, разумеется, препятствия, столкновения, интересные встречи 〈...〉 Целый ряд типов из самых разнообразных слоев общества, вся наша бродячая и фантазирующая, нелепая и неуравновешенная Россия 〈...〉 При современном строе нет выхода. На острове Утопия предполагаются другие порядки, но он пока необитаем» [5].

Сравнение героя задуманного произведения с Дон Кихотом порождено сложным комплексом мыслей и чувств, которые вызывает обычно у читателей образ, созданный Сервантесом. Здесь сказалось не только сочувствие Слепцова героической борьбе революционеров «шестидесятников» и «семидесятников», но и трезвое понимание невозможности достичь победы на данном историческом этапе, в данной исторической обстановке. И несколько скептическое отношение к «бродячей и фантазирующей» России, и осознание трагедии целого поколения борцов за счастье народа — чувствуется в замысле Слепцова. Некоторые современники писателя, идейно связанные в прошлом с социалистическими идеалами Белинского, Петрашевского, Чернышевского, после краха первой революционной ситуации в России встали на путь сомнения и отрицания идей «золотого века» и «хрустальных дворцов» будущего, Слепцов же остался верен своей мечте о социалистическом обществе, о необитаемом пока еще острове Утопии, где будут иные порядки.

В этой мечте отразились стремления народа к освобождению, сказались исторические предчувствия неизбежного в будущем преобразования общества.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 271, л. 178—178 об.

[2] Incognito 〈Е. Ф. З а р и н〉. Четыре повести и один пономарь.— «Отечественные записки», 1865, № 12, стр. 715.

[3] К. И. Ч у к о в с к и й. История Слепцовской коммуны.— В. А. С л е п ц о в. Сочинения, т. I. М.— Л., 1932, стр. 561.

[4] См. об этом романе в сообщении Л. А. Евстигнеевой в настоящем томе.

[5] Л. Н е л и д о в а. На малой земле.— ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 16, лл. 155, 158.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

«ЗНАМЕНСКАЯ КОММУНА»

I. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. Г. МАРКЕЛОВОЙ
II. ПОЛИЦЕЙСКИЕ И АГЕНТУРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Публикация М. Л. Семановой

Ниже публикуются материалы о «Знаменской коммуне» Слепцова — воспоминания участницы ее, Александры Григорьевны *Маркеловой* (А. Каррик) и записки о коммуне, составленные в недрах III Отделения для его начальника и шефа жандармов кн. В. А. Долгорукова (на основании агентурных сведений). Материалы эти вносят много нового в понимание одного из значительных фактов биографии писателя. Сведения о коммуне, оставленные современниками, были поневоле (по «нецензурности» самого предмета) односторонними. Писали о ней или явные враги Слепцова (Н. С. Лесков, В. В. Крестовский), искажавшие суть дела в своих антинигилистических романах, или участники и посетители коммуны, эволюционировавшие в последующие годы, в пору написания своих мемуаров, «вправо» (Е. И. Жуковская-Ценина, Н. В. Успенский).

Как явление новое, коммуна вызвала много толков, сплетен, небылиц [1]. Враждебные коммуне слухи активно поддерживались реакционной прессой и в 1860-е годы (см., например, публикуемую ниже агентурную заметку о «Домашней беседе») и позднее. Распространялась клевета о коммуне, как о «притоне разврата», а вместе с тем, «блюстители нравственности» отмечали «вредное направление», которое выражается не только в «гражданских браках», разрушающих основу современной семьи, традиционной этики, но и в общественных принципах. Говорилось, что члены коммуны «отвергают основные правила общественного устройства», «проповедуют общность состояний, общественный труд и социальные идеи». Именно эти идеи, в которых видели влияние «бессвязных романов Чернышевского», и стремились всячески дискредитировать.

К. И. Чуковский, в статье «История Слепцовской коммуны», приходит к справедливому заключению, что коммуна — не легкомысленная, случайная прихоть Слепцова, а «серьезнейшее дело его жизни» [2].

И хотя наиболее проницательным участникам революционно-демократического движения шестидесятых годов эта попытка не могла не казаться наивной («ребяческим» делом назвал ее впоследствии Салтыков-Щедрин [3]), хотя для нас, отошедших от нее на столетие, тем более видна наивность организатора «Знаменской коммуны»,— однако было бы нарушением исторической истины отрицать определенную положительную роль, сыгранную Слепцовской коммуной в идейной жизни и быту демократических кружков русской молодежи шестидесятых годов.

Нет сомнения, что было утопичным само стремление организовать в условиях самодержавно-буржуазной действительности коммунистические ячейки жизни. Но когда вспоминаешь, в какой исторический момент делалась эта попытка (1863—1864 гг.— время сильнейшего натиска реакции и репрессивной политики самодержавия), то удивляешься смелости, убежденности ученика Чернышевского, нетерпеливому желанию его «приблизить будущее», пропагандировать всеми возможными средствами идею всеобщего труда, коллективизма, раскрепощения женщины.

Недаром это «общество, основанное на коммунистических началах», так беспокоило органы политической полиции. За ним был установлен перекрестный надзор со стороны III Отделения и петербургского обер-полицеймейстера. Публикуемые записки III Отделения, заключения руководителей этого центрального органа политического контроля самодержавия, заключение полицейских властей («дело слишком важное») дают представление о том, чтó могло ожидать членов коммуны («сослать в дальнейшие губернии»), если б Слепцов не предупредил события и не ликвидировал бы ее по собственной инициативе. Эти документы опровергают, таким образом, версию, согласно которой коммуна распалась из-за ссор ее участников, или по соображениям экономического характера. «...коммуна уничтожилась вследствие того,— констатируют полицейские агенты,—что члены ее узнали, что за ними наблюдают ⟨...⟩ сам Слепцов выехал из Петербурга в Москву еще 1 июля».

В донесениях секретного агента III Отделения М. Степановой (10 апреля 1864 г.), наблюдавшей за членами коммуны Слепцова и близкими к ней людьми, сообщалось, что ученики Чернышевского называют его апостолом и что таких учеников «образовался целый полк», высказывалось сожаление, что она, Степанова, теряет доверие своего начальства. По всей вероятности, оно обвиняло своего агента в неумном поведении, так как заметно стало, что находящиеся под надзором полиции лица догадываются о шпионской роли Степановой. Оправдываясь, Степанова пишет: «Виновата наша полиция, которая мое участие ⟨...⟩ сделала слишком гласным». «Мне странно то, почему вам кажется, или таковое у вас убеждение, что если общество чиновников знает, что я даже могу быть шпионом, то и свободные люди (либералы) тоже потеряют ко мне доверие» [4].

И полицейские агенты, и недоброжелатели Слепцова очень охотно распространяли слухи о том, что коммуна распалась из-за несостоятельности идей, из-за плохой организации и т. д. Знаменательно, что и другие общественные начинания Слепцова его политические противники стремились представить как бесплодные попытки, беспокойную непоседливость и практическое неуменье. Лекции для женщин, коммуна, любительские театральные кружки—«на все это ухлопывается громадное количество времени, сил, энергии; все это валится и рушится, исчезая бесследно»,— писал впоследствии В. В. Каллаш [5].

До сих пор у нас нет точных сведений о составе «Знаменской коммуны». Принято называть семь человек: Слепцова, переводчицу М. Н. Коптеву (будущую жену Артура Бенни) [6], переводчицу Е. И. Ценину (будущую жену Ю. Г. Жуковского), В. Н. Языкова, шурина Слепцова, «нигилиста», находившегося под надзором полиции [7], секретаря «Современника» А. Ф. Головачева [8] и «нигилисток» А. Г. Маркелову (Каррик) и Е. А. Макулову. Сверх того называют обычно и бывавших в коммуне писателей: А. И. Левитова и Н. В. Успенского.

Агентурные донесения добавляют к этим лицам, посещавшим коммуну Слепцова, еще несколько человек, находившихся под негласным надзором по поводу «заявления ими учения своего о нигилизме»: Г. В. Лермантова [9] и Н. А. Серова [10], бывшего члена кружка Зайчневского — Аргиропуло Н. С. Славутинского [11], актера и писателя И. Ф. Горбунова, сотрудника «Искры» Д. Д. Минаева, сотрудника «Современника» В. Бессонова, актрису М. Челищеву [12], воспитанников Училища правоведения Д. О. Наркевича и А. А. Маковеева [13].

Отметим здесь же, что дружеские отношения ко многим членам коммуны и посещавшим ее сохранились у Слепцова до конца дней. Таково его отношение к Маркеловой, которой он посвятил свою «Питомку», к В. Н. Языкову, у которого писатель останавливался, приехав в конце 1875 г. в Петербург, к И. Ф. Горбунову, артистический талант которого он очень ценил [14], к А. И. Левитову и другим. «В. А. Слепцов потрясен смертью Левитова,— пишет Н. А. Соловьев-Несмелов И. З. Сурикову 16 января 1877 г.— Совсем потерял сон,— он когда-то был близок и дружен с Левитовым. Когда я с ним поговорил о Левитове, ⟨...⟩ то он сказал, нужно бы о нем написать» [15]. Это желание Слепцова, как нам удалось установить, было реализовано [16].

К. И. Чуковский справедливо замечает, что Слепцов смотрел на организацию коммуны, как на *начало* дела. Быть может, не всем участникам до конца были ясны



ДОМ БЕКМАНА НА ЗНАМЕНСКОЙ УЛИЦЕ В ПЕТЕРБУРГЕ (ТЕПЕРЬ УЛИЦА ВОССТАНИЯ № 7). ЗДЕСЬ В 1863—1864 гг. ПОМЕЩАЛАСЬ «КОММУНА» СЛЕПЦОВА

Фотография 1961 г.

Музей истории Ленинграда

«максимальные» планы организатора, им казалось, как об этом свидетельствует в публикуемых воспоминаниях Маркелова, что цель коммуны была чисто экономическая. Эту версию официально поддерживал и Слепцов. В протоколе допроса в III Отделении он заявил: «Цель этой общей квартиры была чисто экономическая». Впрочем, и Маркелова улавливает другое: коммуна должна была «показать пример, как надо соединять свои средства небогатым людям, чтобы жить 〈...〉 не давая себя эксплуатировать». Она сочувственно рисует попытку группы молодых людей жить «по-новому» и работать сообща. Мать писателя вспоминала о нем: «Хотя он часто уезжал то на дачу, то в деревню, но расстаться с Петербургом он не мог, его тянуло то общество и те интересы, с которыми он сроднился и ими жил; затеял он было коммуну на Знаменской улице в Петербурге, думая удешевить жизнь многих при общей квартире и общем труде, устраивал в коммуне литературные вечера и беседы, но общий труд не привился, он был еще не современен, да и полиция небывалую диковину стала преследовать, так дело тем и кончилось» [17].

Подобно героям «Что делать?», Слепцов, по-видимому, хотел самой жизненной практикой убедить в преимуществе общежития, основанного на принципе коллективизма. Впоследствии весьма неодобрительно относящаяся к Слепцову Е. И. Жуковская (Ценина) догадывалась, что он «решил начать с простого городского общежития и потом постепенно превращать его в настоящий фаланстер» [18].

Враги Слепцова, стремившиеся всякими способами скомпрометировать коммуну, то распространяли слухи о «донжуанстве» писателя, об аристократических привычках его, о распрях внутри коммуны, то утверждали, подобно Лескову, не решившемуся повторить сплетни о безнравственности «коммунаров» [19], что в коммуне непроходимая скука («скука страшная», «скука нестерпимая»,— гипнотизирует Лесков читателя), в ней будто бы вовсе нет трудовой атмосферы, отсутствуют общие интересы. Надо полагать, что не из барской привычки к роскоши хорошо обставлял Слепцов

общую квартиру [20]. Не в условиях же петербургских трущоб и мансард, в самом деле, следовало доказывать преимущество нового быта. Кроме того, должно было ответить и тем, кто не признавал у «Базаровых» эстетического чутья, чувства изящного.

Публикуемые документы опровергают и утверждения о «скуке» в коммуне. Вечера, на которых присутствовали писатели, артисты, организация лекций, которые читались у знакомых,— все это вызывало тревогу полицейских властей, так как противостояло узаконенным нормам жизни, и было поэтому, по словам участницы коммуны Маркеловой, «также осмеяно и оклеветано» [21].

Документы III Отделения подтверждают высказанное исследователями шестидесятых годов соображение о распространенности коммун, создававшихся под влиянием романа Чернышевского «Что делать?» Полицейскую власть более всего пугала как раз эта связь коммун, кружков, их популярность. Общество, группирующееся вокруг Сусловой, имеет связь, по подозрению полиции, с коммуной Слепцова; коммуну на Измайловском посещает последователь Чернышевского — Гогоберидзе [22]. Агенты нападают то и дело на следы новых коммун, или кружков, где тайно читаются лекции, или на сочувствующих коммунам. Под подозрением находятся девушки-переводчицы, работницы книжных магазинов, переплетной мастерской Печаткина [23].

Через несколько лет, в 1868 г., наблюдая за семьей доктора П. И. Бокова, близкого знакомого Чернышевского, агенты доносят, что «идея нигилизма, как видно, не совсем еще уничтожилась» и учение «Слепцова, Головачева и К°» «не осталось без последователей, хотя уже более умеренных». У Боковых собираются единомышленники и подвергают критике правительственные лица и учреждения, «развивают ту идею, что труд должен быть одинаково разделен между мужчиною и женщиною, а потому самые условия жизни обоих должны быть одинаковы и затем все должно быть общее» [24]. Судя по письмам к Л. Ф. Нелидовой, с семьей Боковых организатор «Знаменской коммуны» был дружен и в 1870-е годы.

Самый факт возникновения новых коммун после вынужденного роспуска коммуны Слепцова лучше всего свидетельствует о хорошей молве о ней в демократических кругах, среди тех, кто не имел возможности выступить в ее защиту в печати, в то время когда из другого лагеря беспрепятственно выливали на нее ушаты грязной и вздорной клеветы.

Участнице Слепцовской коммуны — Маркеловой — удалось лишь через тридцать с лишним лет, не в специальной статье, а как бы мимоходом, в воспоминаниях о лице, не имеющем отношения к коммуне, о писательнице Н. Д. Хвощинской (псевдоним В. Крестовский), сказать свое горячее «слово правды в защиту оклеветанного дела и оклеветанных людей». Маркелова, талантливая переводчица, писательница, находившаяся под негласным надзором полиции, ввиду «заявления ею своего учения о нигилизме» [25], и через три десятилетия вспоминает о своих юношеских увлечениях с большой теплотой.

Она создает обаятельные образы организатора коммуны Слепцова, участницы ее — Макуловой. Люди принципиальные, прямые, искренние, чистые — такими вырисовываются перед нами и они и сам автор воспоминаний — Маркелова, о которой даже недоброжелательная по отношению к коммуне мемуаристка Жуковская принуждена была сказать: «Маркелова стойко и мужественно» держалась «за проведение коммунистических начал в жизнь» [26]. Созданные Маркеловой образы разрушают представление, которое всячески стремились вызвать враги Слепцова, изображая его самодовольным, фальшивым человеком (Белоярцев в лесковском «Некуда»), а его убежденную последовательницу — Макулову — слепой подражательницей (Бертольди в том же произведении) [27]. В романе «Некуда» «некрасиво описан умный и талантливый писатель В. А. Слепцов»,— сделал заключение М. Горький, изучив внимательно жизнь и творчество этого «осторожного и скромного скептика» [28].

Слепцову пришлось убедиться в том, что его попытка создать в условиях полицейского надзора общежитие-коммуну была утопичной, нежизненной. Но он остался до конца дней верен тем демократическим и социалистическим идеалам, которые в молодости вдохновили его на создание «Знаменской коммуны».

1. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. Г. МАРКЕЛОВОЙ

Летом 1861 г. я уехала за границу, и переписка моя с Хвощинскими прервалась. До 1863 г. мы не видались и не переписывались, хотя между нами не произошло никаких столкновений. Просто меня подхватила новая волна и на время отнесла далеко от них. Мы снова свиделись зимой 1864 г., когда я жила на Знаменской в общежитии, почему-то прослывшем под именем «Знаменской коммуны».

Коммуна эта составилась на чисто экономических началах. Мы, человек пять мужчин и женщин, живших большею частью литературным трудом, сговорились нанять сообща квартиру на имя одного из нас, чтобы не нанимать комнат у хозяек, а жить своим домом, иметь общий стол и общую прислугу. Дело было совсем простое и естественное, но повредила ему наша общая непрактичность. Нанимая квартиру, мы соображались со средствами не нас пятерых, а также и будущих жильцов, поэтому наняли квартиру с запасом нескольких комнат. При этом мы задались правилом принимать только таких жильцов, которые, во-первых, будут понимать, что в этой квартире нет хозяев и жильцов, а все — равноправные члены общежития; во-вторых, будут более или менее разделять наши взгляды по общественным вопросам и, в-третьих, будут располагать средствами не меньше наших, которые, хотя были и очень скромны, но все же позволили бы нам, если бы подобрался комплект жильцов на эту квартиру, покрывать наши нужды при данном образе жизни.

У каждого из нас была отдельная комната, а затем общая зала, она же и столовая, где стоял принадлежавший одному из нас рояль. Каждый, разумеется, мог принимать в своей комнате кого хотел, но в общую залу, по немому, так сказать, соглашению, приглашались только люди, бывшие на хорошем счету у всех общинников, ⟨или⟩, по крайней мере, такие, к которым другие относились безразлично.

В ту пору литературный мир, да и вообще вся интеллигенция, резко распадался на партии и между некоторыми из этих партий не могло быть примирения. Я не сомневаюсь, что эта исключительность и породила те грязные и вздорные клеветы, которые ушатами выливались на наше несчастное общежитие и даже дали темы для бульварных романов. В них «Знаменская коммуна» рисовалась то каким-то дворцом, то какой-то трущобой, в которой «жильцы запираются друг от друга, чтобы украдкой съесть селедку».

По всем вероятиям, наше общежитие прошло бы совершенно незаметным, если б в числе нашей братии не находился В. А. Слепцов, в то время очень популярный писатель и талантливый рассказчик, вообще очень обаятельная личность. Его знакомством дорожили, но он был брезглив и разошелся со многими из своих бывших приятелей за их нечистоплотность в литературном отношении или за измену той партии, к которой он принадлежал.

Само собою разумеется, что такие люди не приглашались в общую залу, если случалось, что они приходили к кому-нибудь из жильцов. Это многих *озлобляло* тем более, что мы назначили у себя *фиксы*, на которые собиралось довольно много гостей. Многих, конечно, привлекало любопытство, так как о нашем общежитии уже заговорили, приплетая были и небылицы. Каждому хотелось узнать, что за птица в самом деле эта «Знаменская коммуна»; иные являлись с предубеждением, но находили очень приличное общество, радушных хозяев, всегда живую беседу, душой которой был Слепцов, угощение чаем со скромной закуской, иногда и музыку.

Началось дело, как я уже сказала, с пятерых жильцов, которые все были люди хорошие, более или менее идеалисты и крайне непрактичные.

Подходящих жильцов на пустующие комнаты не находилось; людей с совершенно неопределенными средствами нельзя было рискнуть принять при сравнительно дорогой квартире; кого ни попало мы также не хотели принимать, хотя охотники вызывались; а более достаточные знакомые предпочитали жить особняком. Когда же подошла весна и каждого из нас потянуло, кого на дачу, кого в деревню — мы решили, что удерживать за собою такую квартиру немыслимо, и наше общежитие распалось.

Вот в коротких словах история так называемой «Знаменской коммуны». Задумана она была на экономической подкладке с целью показать пример, как надо соединять свои средства небогатым людям, чтобы жить гигиеничнее, выгоднее и не давая себя эксплуатировать; и будь у нас поболее практичности, да имейся в нашей среде хорошая хозяйка, дело, может быть, и устояло бы и развилось. Правда, хорошая хозяйка, пожалуй, взяла бы всех нас в руки и придала бы нашему общежитию нежелательный характер, а мы все-таки желали жить «по-новому» и затевали даже обходиться без прислуги, держать только кухарку и прачку; все же остальные дела: чистку комнат, самовары, лампы — отправлять собственными руками. Попытка эта, однако, не удалась и после взаимных препирательств и попреков, разумеется, шутливых, прекратилась по немому соглашению. Прислуга наша, которой на время опыта было строго внушено знать только свое дело — стряпню и стирку, — начала мало-помалу вступать во все права, не встречая с нашей стороны прежних энергичных протестов.

Одно могу сказать: почти ни в ком из нас (впоследствии к нам прибавилось еще двое) этот опыт не оставил разочарования в людях. Все оказались людьми вполне порядочными, и не только никто у нас не запирался, чтобы съесть селедку, но почти все, за немногим исключением, отдавали, не считаясь, всё, что зарабатывали, для поддержания нашего хозяйства.

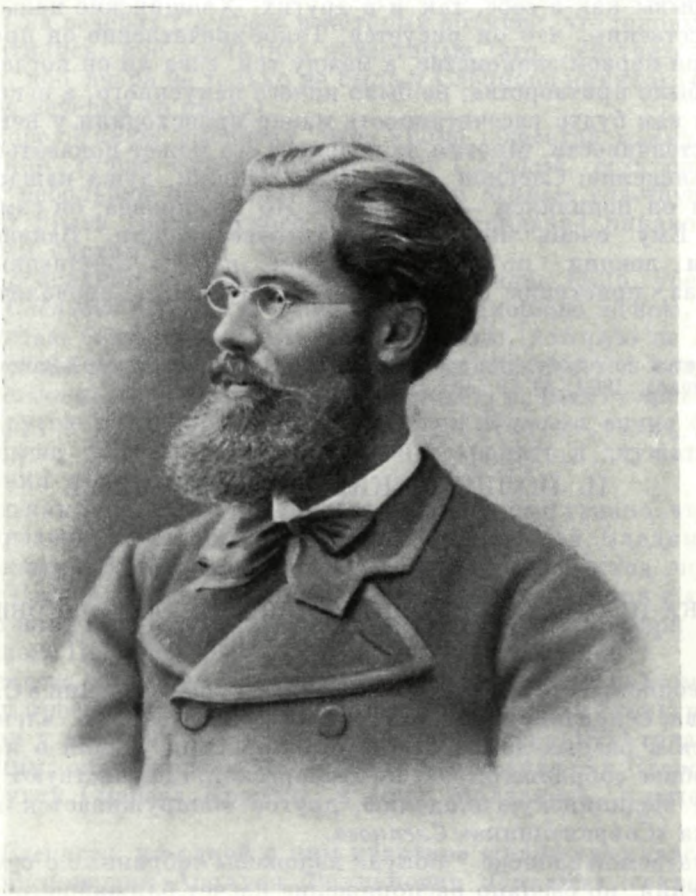
Да не посетует на меня читатель за это отступление. Не могу упустить случай сказать слово правды в защиту оклеветанного дела и оклеветанных людей.

Извращенные рассказы о «коммуне» не могли не дойти до Хвощинских, которые вращались в ту пору в кружке «Отечественных записок» Краевского, не имевшем ничего общего с кружком «Современника», к которому принадлежали мужчины в нашем общежитии. Приехав в Петербург в эту зиму, сестры остановились в Знаменской гостинице и, разумеется, отыскали меня ⟨...⟩ Я описала свой образ жизни, новые условия ее; Н. Д. ⟨Хвощинская⟩ слушала молча ⟨...⟩ Я хотела вести их в общую залу, но они предпочли остаться в моей комнате. Слепцов и кое-кто из других сожителей, узнав, что у меня Хвощинские, пришли ко мне. Я познакомила их и, благодаря Слепцову, не замедлил завязаться живой разговор, который перешел в спор. К нашей компании присоединилась еще одна из наших сожительниц, покойная княжна Макулова. Это была умная девушка и неукротимая спорщица, увлекавшаяся в спорах до того, что начинала стучать кулаками по столу и говорить резкости.

Впоследствии Надежда Дмитриевна очень полюбила ее, как натуру прямую, честную и верную своим идеалам. Из сестер наиболее живое участие принимала в спорах Софья Дмитриевна, восставшая против «утопических идей» и утверждавшая, что при первом дуновении противного ветра адепты их — «чик-чик да и в кусты». Предсказания ее, конечно, оправдались в значительной мере, однако, с тех пор уже сменилось несколько поколений, пережиты полосы темной, давящей реакции, а «утопические» идеи не заглохли ⟨...⟩

В нашем же общежитии была задумана и сделана первая попытка чтения научных лекций женщинам. Лекции были частные и читались не в

нашем общежитии, а в знакомых нам домах поочередно. Лекторами вызвались быть Слепцов, Головачев (секретарь и сотрудник «Современника»), профессора Сеченов[29], Хлебников[30], один артиллерийский полковник[31] и другие — не помню имен. Мысль об этих лекциях зародилась и созрела в нашем общежитии. Организаторами дела были мужчины, но женской половине жильцов не раз приходилось настаивать, поддерживать в них энергию, ослабевавшую в борьбе с различными препятствиями. И эта



СЛЕПЦОВ
Фотография 1860-е гг.
Литературный музей, Москва

попытка также была осмеяна и оклеветана; человек вообще склонен судить о других по себе, поэтому люди с грязными инстинктами заподозрили такие же инстинкты и у организаторов лекций. Насмешки вызывал, главным образом, тот факт, что в числе лекторов находились дилетанты в науке. Но подобрать полный комплект профессоров еще не представлялось возможности, и дилетанты во всяком случае знали более своих слушательниц и добросовестно подготовлялись к каждой лекции.

Как бы то ни было, а и эта попытка продолжалась, по независящим от организаторов обстоятельствам, всего одну зиму. Никто, однако, не мог бы сказать теперь, что это неудавшееся начинание повредило делу женского образования; вернее, оно пробудило охоту к нему, дало толчок

общественной мысли в этом направлении, и плоды этого толчка не заставили себя ждать.

Но вернемся к Хвощинским. Я не ожидала, что Слепцов произведет на них благоприятное впечатление, и не ошиблась. В нем не было той непосредственности, горячности и простоты, которые были так симпатичны Хвощинским; он как будто стыдился поддаваться порыву чувства, будь то хотя бы жалость, негодование на несправедливость, порыв самоотвержения. Он «освистывал», как тогда говорилось в честь «Свистка», ⟨...⟩ такие порывы как в себе, так и в других. Хвощинские нашли, что в нем все искусственно, что он рисуется. Такое впечатление он производил на многих при первом знакомстве, а между тем едва ли он когда рисовался; в нем не было притворства, не было ничего напускного, а некоторая натянутость и как будто рассчитанность манер происходили у него всего скорее от застенчивости. Многим из знавших его может показаться странным такое объяснение: Слепцов — баловень женщин, душа каждого кружка, в котором он появлялся — застенчив! Но это правда; он сам сознавался в этом. Ему очень недоставало самоуверенности. Взявшись читать женщинам лекции по физиологии, он, по его собственным словам, всякий раз, приступая к чтению, от души желал, провалиться сквозь землю...

Печатается по тексту: «Из воспоминаний о Н. Д. Хвощинской-Зайончковской».— «Женское дело», 1899, № 12, стр. 59—64.

II. ПОЛИЦЕЙСКИЕ И АГЕНТУРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1

ЗАПИСКА III ОТДЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАЙНОГО ОБЩЕСТВА КОММУНИСТОВ В ПЕТЕРБУРГЕ

Уже неоднократно поступали сведения о существовании в С.-Петербурге общества, основанного на коммунистических началах, члены которого собираются в разных домах для распространения учения о коммунизме. Одно подобное собрание бывает на Выборгской, где участвуют девицы, посещающие Медицинскую академию; другое обнаруживается в квартире сотрудника «Современника» *Слепцова*.

В прилагаемой записке * покуда изложены собранные о сем последнем лице сведения, но сделано распоряжение насчет ближайшего удостоверения в цели замечаемых собраний, о которых известно также с.-петербургскому обер-полицеймейстеру.

Упоминаемый в приложении *Лермантов*, замеченный вчера вечером по выходе из квартиры *Слепцова*, должен быть экспедитор Государственной канцелярии. Это предположение основано на том, что Лермантов один из приверженцев *Чернышевского* и что он, встретясь недавно с одним лицом, преданным правительству, и заговорив о *Чернышевском*, высказывал мнение, что сей последний осужден неосновательно, так как приписываемое ему письмо явно подделано Всеволодом *Костомаровым*.

Впрочем, как о помянутом обществе и его членах, так и о Лермантове собираются ближайшие справки.

15 января 1864 г.

ЦГАОР, ф. 109, С. а., оп. 1, д. 243, лл. 1—2 об.

* «Записку» эту («приложение») разыскать не удалось.— *Ред.*

2

ЗАПИСКА III ОТДЕЛЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ КОММУНЫ, УСТРОЕННОЙ СЛЕПЦОВЫМ

С целью узнать что-либо подробнее об обществе, собирающемся по вторникам у известного *Слепцова*, агент наш с величайшею осторожностью и при хитро придуманной обстановке беседовал всю минувшую ночь до 7 часов утра с литератором *Минаевым* (сотрудник «Современника»), который также бывал на вечерах *Слепцова* и который объявил, что таковые уже теперь прекратились, ибо сделались известными (это, действительно, подтверждается, ибо вчера не только не было у Слепцова никакого собрания, но сам ходил вечером со двора).

В разговоре *Минаев* высказал, что, кроме общества *коммуны*, собирающегося или лучше составляющего круг *Слепцова*, есть еще другое подобное же небольшое общество, в котором и *Минаев* участвует и которое признает права гражданского брака, не придавая никакого значения законным связям.

На этом основании *Минаев*, с полным, как видно было, убеждением, оправдывал *Слепцова* в том, что он не живет с законною женою, выразившись: «Я считаю безнравственным жить с женою, которую не любишь». Сам *Минаев* тоже женат, имеет детей, но придерживается создаваемых обществом *коммуны* прав гражданского брака, т. е. имеет связь, как сам объявил, с другою женщиною. Вообще из слов *Минаева* видно было, что помянутое выше общество старается распространять и внушать другим свои убеждения и начала.

Сверх того как через *Минаева*, так и другими путями узнано, что *Слепцов* женат на Елизавете Николаевне Языковой, брат которой, Владимир Николаевич, служащий в Департаменте общих дел Министерства внутренних дел, живет у *Слепцова*. Между тем он оставил жену и вступил в «гражданский брак» с живущею у него же женою губернского секретаря Екатериною Ивановною Цениною.

Жена *Слепцова* жила здесь отдельно от мужа на Васильевском острове, по Большому проспекту, в доме № 22, вместе с годовым своим ребенком, но муж бывал у нее один раз в неделю; 1 же декабря 1863 года, не простившись с ним, она уехала в Москву, где и проживает в Старой Конюшенной, на углу Сивцева Вражка, в доме Молчанова, у матери своей Языковой.

Подобно *Слепцову*, на одной с ним квартире живут гражданским браком: тверской помещик Аполлон Филиппович *Головачев* (секретарь редакции «Современник») с девицею Александрой Григорьевной *Маркеловой*, у которой есть малолетний сын, и вышеупомянутый Владимир Николаевич *Языков* (брат законной жены Слепцова) с княжною Екатериною Александровною Макуловой.

Упомянутый в прилагаемой выписке из письма к Щебальскому в Москву Головачев — есть тот самый, о котором сказано выше, что он живет у *Слепцова* и состоит при редакции «Современника» секретарем, а *коммуна*, о которой говорится в той выписке, должно быть, или общество *Слепцова*, или же другое, о котором вчера упоминал Минаев.

Еще прежде было указание, что это второе общество собирается на квартире отставного штабс-капитана Бессонова, сотрудника «Современника», живущего вместе с женою отставного коллежского советника Мариею *Зайцевою* [32], ее дочерью [33] и сыном, бывшим студентом Московского университета, ныне студентом Медицинской академии, помещающим также статьи в «Современнике» [34].

Прилагаются все старания, чтобы узнать, кто писал письмо к Щебальскому, подписавшись «Ася»*, но надо думать, что это одна из вышепоименованных женщин.

Что же касается до предположения *Головачева* (как видно из письма к Щебальскому) вместе с другим, пока еще не известным лицом, открыть типографию, где, между прочим, должен печататься «Современник», то об этом узнано из верного источника, что *Некрасов*, открывая в конце прошлого года, по Литейной улице, свой книжный магазин, на имя купца *Звонарева*, высказал, что он желает открыть для печатания «Современника» и свою типографию. По всей вероятности, *Головачев* как секретарь редакции намерен теперь эту мысль Некрасова привести в исполнение; но едва ли это может состояться в нынешнем году, так как на печатание «Современника» заключен годовой контракт с типографиею вдовы Вульф.

12 февраля 1864 г.

ЦГАОР, ф. 109, 1864 г., 1 эксп., д. 92**, ч. 2, лл. 1—2 об.

3

ЗАПИСКА III ОТДЕЛЕНИЯ О ПЕРЕНЕСЕНИИ СОБРАНИЙ ОБЩЕСТВА КОММУНИСТОВ НА КВАРТИРУ БЕССОНОВА

В танцклассе у Ефремова, во вторник, агент наш вновь сошелся с литератором *Минаевым* и угощал его вином.

Когда *Минаев* восторженно разговорился о какой-то женщине, с которою вступил в связь, то агент наш, желая выведать от него, кто эта женщина, сказал: «Я знаю, *что эта женщина — Зайцева*». При этих словах Минаев вскочил со стула и воскликнул: «*Да скажите же, кто вы такой, чёрт или человек, что вы всё знаете!*».

Затем, когда Минаев успокоился, агент наш в видах разузнания к кому перешли вечерние собрания, бывшие до того по вторникам у *Слепцова*, сказал шутя и как бы невзначай, что собрания эти бывают ныне у *Бессонова*, то Минаев опять не выдержал, встал и хотел было уйти, объявив: «*Нет, я после этого не могу говорить с вами*», но агент ловко удержал его и до конца вечера продолжал с ним беседу о совершенно посторонних предметах.

За квартирою *Бессонова* будет учреждено наблюдение.

20 февраля 1864 г.

Пометы на полях: ⟨1⟩ О Бессонове пе⟨реда⟩ть. 20 февраля.

⟨2⟩ Князю Вас. Андр. ⟨Долгорукову⟩ не угодно, чтобы Бессонов был прикомандирован к жандарм⟨скому⟩ корпусу. 21 февраля.

⟨3⟩ Объявить полковнику Басманову***. 4 марта.

ЦГАОР, ф. 109, С. а., оп. 1, д. 243, л. 3—3 об.

---

* Письма к Щебальскому, подписанного «Ася», обнаружить не удалось.— *Ред.*

** Дело «О тайных обществах. Об образовавшемся в С.-Петербурге между молодыми людьми обоего пола безнравственного и вредного направления кружке».— *Ред.*

*** В деле «О тайных обществах» (л. 19) находится записка полковника Басманова: «Отставной штабс-капитан Драгунского военного ордена полка *Бессонов*, определенный на службу высочайшим приказом 25 февраля сего года прежним поручичьим чином в Беломорский пехотный полк, выехал к месту его служения в г. Новгород 11 сего марта месяца.

Поручик *Бессонов нанимал от Зайцевых*, проживавших по Екатерининскому каналу в доме Добровольского, *комнату*, со столом и прислугой — по 30 руб. в месяц, только с сентября месяца минувшего года по 24 января сего года, с 24 января по 24 февраля он жил в Италианской улице, в доме Лаврова, рядом со мной, а с 24 февраля по 11 марта, т. е. по день выезда из С.-Петербурга — у меня в квартире.

Полковник Басманов»

4

ЗАПИСКА III ОТДЕЛЕНИЯ ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ КОММУНЫ СЛЕПЦОВА В СТАТЬЕ «БЛЕСТКИ И ИЗГАРЬ»

В 45 выпуске (9 ноября 1863 г.) «Домашней беседы» напечатана статья под заглавием «Блестки и изгарь».

Статья эта имеет предметом описание бракосочетания, совершенного в одной из петербургских православных церквей; при этом поведение в церкви как сочетавшихся, так и присутствовавших носило на себе характер явного безбожия, возможного только среди членов коммунистического общества, собиравшегося, как дошли о том сведения, у известного Слепцова.

При внимательном чтении статьи делается понятным, что содержание ее почерпнуто из действительной жизни, и убеждает в несомненном существовании общества коммуны. Статья далеко не вымысел — трудно предположить, чтобы фантазия обратилась к изложенному в статье предмету; к тому же редактор «Домашней беседы» *Аскоченский* не такой человек, который напечатал бы подобную статью без уверенности в ее правдоподобии.

Встречающиеся в статье выражения: «*девица с подстриженными в кружок волосами*», «*чего не выдумает сумасбродная эмансипация, чуждающаяся всех законов приличия*», «*отрастил себе волосы по самые плечи, попал в какую-то шайку учителей воскресных, связался с какими-то стриженными девками, женился на одной из них, сделав ее заблаговременно матерью*», «*когда не станет ни попов, ни этих глупых браков*» — все эти выражения убеждают, что автор статьи хотел выставить членов общества «коммуны» и их нравственные правила; портрет неизбежно писан им с натуры.

Следующий период в статье ярко рисует взгляд коммунистов на брак — взгляд этот точь в точь был высказан однажды литератором *Минаевым*. Вот этот период:

«*Обязательный брак есть дело противное законам природы, а понравилась девушка или хоть чужая жена, слюбились — ну и живи до поры до времени на правах законного супружества, а далее случилась какая-либо размолвка — что ж, поклонились друг другу и разошлись*».

Не доставил ли *Аскоченскому* эту статью дядя Славутинского, посещавшего вечерние собрания у известного *Слепцова*; дядя этот живет на Петербургской стороне *, был сперва в хороших отношениях с своим племянником, но поссорился с ним после женитьбы его (3 ноября 1863 г.) и неплатежа *Славутинским* 45 рублей. Легко может быть, что дядя Славутинского посвящен в дела общества «коммуны».

27 февраля 1864 г.

Помета на полях: Узнать повернее о том, что последует. 27 февраля.

‹Приложен оттиск статьи «Блестки и изгарь» из журнала «Домашняя беседа», 1863, вып. 45, от 9 ноября.›

ЦГАОР, ф. 109, 1864 г., 1 эксп., д. 92, ч. 2, лл. 3—12 об.

5

ДОНЕСЕНИЕ О КОММУНЕ СЛЕПЦОВА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЕР-ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕРА И. В. АННЕНКОВА ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ ПЕТЕРБУРГА кн. А. А. СУВОРОВУ

Обязанностию считаю донести вашей светлости, что в Петербурге образовался в недавнее время кружок молодежи очень безнравственного и вместе с тем очень вредного направления, в котором хотя и не видно

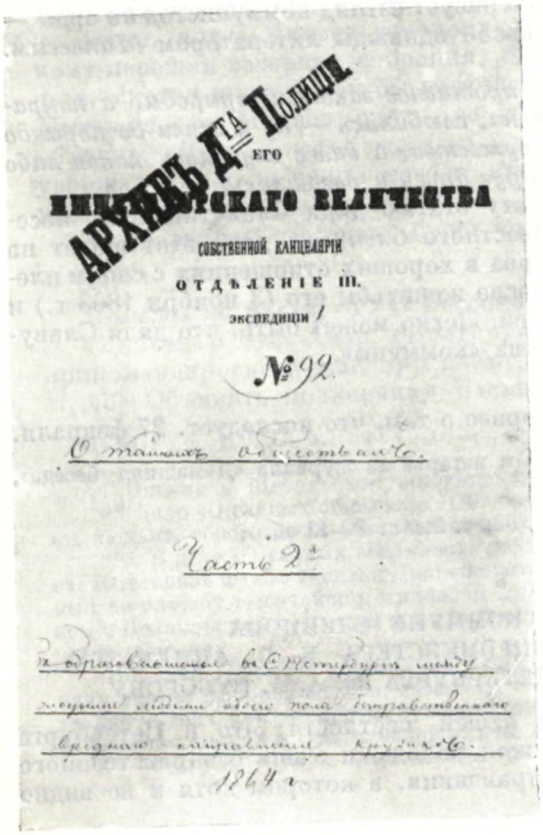
* Статья доставлена подписчиком с Петербургской стороны.

теперь ничего политического, но нельзя быть уверену, что со временем оно не приняло другого характера.

В настоящее время мужчины и женщины, составляющие этот кружок, обращают на себя общее внимание тем, что вздорные и нелепые идеи свои стараются применить в практике к ежедневным занятиям своим и к образу жизни.

Безнравственная сторона их учения состоит в том, что они, *не признавая церковного брака*, заменяют его, как объясняют сами, браком гражданским, то есть допускают чувственные удовольствия без всякого ограничения и делают всех женщин и девиц их кружка общей принадлежностью всех членов их общества. Вредная сторона их учения состоит в том, что они отвергают основные правила общественного устройства, не признают всей важности родственных отношений, взаимных обязанностей между родителями и детьми и проповедуют общность состояний, общественный труд и социальные идеи, которыми в последнее время так сильно наполнены были наши журналы, преимущественно «Русское слово» и «Современник» и бессвязные романы *Чернышевского*.

Последователи этого учения были известны полиции еще в прошлом году, но в то время они не составляли правильно устроенного общества, и кружок их ограничивался несколькими только личностями, жившими в разных местах города, так что нелепые основания их учения и беспутная жизнь, которую они вели, не имели никакого значения. Известно было, что кружок этот группировался около бывшего преподавателя Казанского университета Афанасия Щапова, который пользуется и до сих пор от болезни в клинике 2-го Военно-сухопутного госпиталя, что его навещали там преимущественно студенты Медико-хирургической академии, вольно-


АРХИВЪ Д-ТА ПОЛИЦІИ

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

СОБСТВЕННОЙ КАНЦЕЛЯРІИ

ОТДѢЛЕНІЕ III.

ЭКСПЕДИЦІИ

№ 92

О тайныхъ обществахъ.

Часть 2-я

Въ образовавшемся въ С.Петербургѣ между молодыми людьми обоего пола безнравственнаго вреднаго направленія кружкѣ.

1864 г.

ОБЛОЖКА ДЕЛА III ОТДЕЛЕНИЯ «О ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВАХ», 1864 г (ч. 2-я)

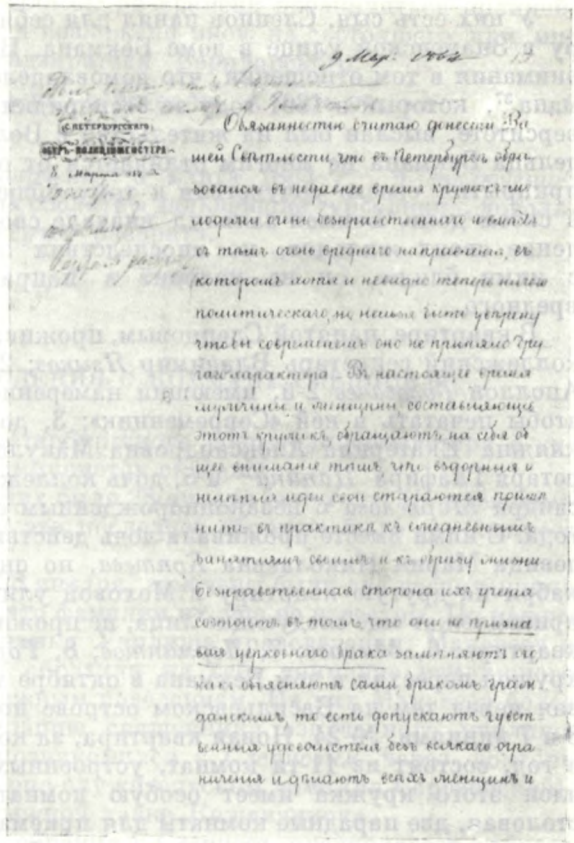
В деле находится донесение о коммуне Слепцова

Архив Октябрьской революции, Москва

ДОНЕСЕНИЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА АННЕНКОВА ОТ 8 МАРТА 1864 г. О КОММУНЕ СЛЕПЦОВА

Из дела III отделения «О тайных обществах», 1864 г. (ч. 2-я)

Архив Октябрьской революции, Москва



приходящая слушательница медицинских наук купеческая дочь *Суслова*[35] и дочь умершего чиновника 10-го класса Александра *Комарова*[36]. Из них Суслова более прочих проповедовала и распространяла упоминаемые несообразности и привлекла к себе названную выше Комарову и двух дочерей протоиерея церкви св. Екатерины (на Васильевском острове) *Мелиоранского*. Последние, однако же, после строгого наказания, сделанного им отцом, отделились от кружка, но, как кажется, только наружно. Что же касается до Комаровой, то она имела любовную связь с братом своей наставницы *Сусловой*, студентом университета *Сусловым* и в январе нынешнего года родила от него ребенка.

Так как деятельность этих лиц не выходила из пределов небольшого кружка, собиравшегося вместе по временам, и учение их имело только характер беспутства, то в отношении их достаточно было одного полицейского надзора, который и существовал неослабно в течение всего прошлого года. В теперешнее же время образовалось другое подобное общество, о котором нельзя сделать того же заключения, потому что члены его соединились вместе, поселились в одной квартире и сформировали из себя нечто вроде коммуны, начинающей обращать общее внимание. Главный член и распорядитель в этом обществе есть отставной губернский секретарь и сотрудник журнала «Современник» Василий Алексеев *Слепцов*, служивший прежде у московского гражданского губернатора и поселившийся на жительство в Петербурге в сентябре 1862 года. Жена его, урожденная *Языкова*, приезжала после того в Петербург, но, видя развратное поведение мужа, уехала обратно в Москву, где и проживает в настоящее время у своей матери.

У них есть сын. Слепцов нанял для себя и для своего кружка квартиру в Знаменской улице в доме Бекмана. Выбор этого дома заслуживает внимания в том отношении, что домовладелец есть родной брат того Бекмана[37], который в 1861 году за беспорядки, бывшие в Харьковском университете, выслан был на жительство в Вологду. Образ мыслей домовладельца Бекмана не многим отличается от образа мыслей его брата. Для прикрытия своего сочувствия к тому обществу, которому он дал приют в своем доме, Бекман заявлял вначале свое опасение на вредное направление своих жильцов, но впоследствии объявил, что, ознакомившись с ними ближе, он не находит в направлении их ничего особенно вредного.

В квартире, нанятой Слепцовым, проживают с ним: 1, брат его жены коллежский секретарь Владимир *Языков*; 2, Тверской губернии помещик Аполлон *Головачев* 2-й, имеющий намерение открыть типографию с тем, чтобы печатать в ней «Современник»; 3, дочь коллежского регистратора княжна Екатерина Александровна Макулова; 4, жена губернского секретаря Глафира *Цапина*[38] и 5, дочь коллежского советника девица Александра *Маркелова* с незаконнорожденным ее сыном одного с половиною года. С ними вместе проживала дочь действительного статского советника девица Мария Николаевна *Коптева*, но она переехала 10 прошлого декабря на другую квартиру в Моховой улице дом № 28. К их обществу принадлежат еще следующие лица, не проживающие, однако же, с ними на квартире: 6, *Минаев*; 7, *Лермантов*; 8, *Горбунов* и 9, *Серов*. Весь этот кружок переехал в дом Бекмана в октябре месяце прошлого года, проживая перед тем на Васильевском острове по Большому проспекту между 8 и 7 линиями, № 24. Новая квартира, за которую Слепцов платит 1200 р. в год, состоит из 11-ти комнат, устроенных таким образом, что каждый член этого кружка имеет особую комнату и, кроме того, есть общая столовая, две парадные комнаты для приема гостей и их кружка и кухня, где приготовление кушанья они начали было производить сами, но, увидев несообразность этого намерения, наняли кухарку. За исключением стряпанья кушанья они отстранили от себя всякую прислугу и все хозяйственные домашние работы производят сами.

Впрочем, и это дело тяготит их, так что общественный труд они ограничивают добыванием средств к жизни по мере способностей каждого. С этой же самой целью они установили у себя собрания по вторникам, с платою за вход в особую кассу общества. В собраниях этих, где были между прочим и литературные чтения, бывало человек до 20-ти и более, весьма прилично одетых, но собрания эти имели характер прикрытия благовидною обстановкой образа жизни членов этого общества. Последнее сборище было у них 28 января, на которое явились новые личности: актриса Челищева и два воспитанника одного из здешних училищ (фамилии их еще неизвестны). После того собрания у них не было и сколько известно общество это предполагает выбрать местом своих сборищ квартиру отставного штабс-капитана *Бессонова*, который живет вместе с вдовою *Зайцевою*, при которой есть сын и дочь (по Екатерининскому каналу, д. Добровольского — № 131, квартира № 6). Выбор этой квартиры заслуживает также особого внимания в том отношении, что дочь Зайцевой находится в дружественных отношениях с Сусловой и Комаровой, с которыми она посещает лекции Медико-хирургической академии. Эти три девицы известны под именем стриженых. Таким образом, между обществом, группировавшимся около Сусловой, и обществом Слепцова есть видимая связь, но со всем тем преследование их по закону было бы теперь преждевременным, потому что фактических доказательств вредного направления этого кружка еще нет и до сих пор он обращает на себя внимание только беспутным образом жизни тех лиц, которые состоят в числе его членов.

На этом основании полезнее было бы до времени ограничиться полицейским за ним наблюдением; что и возложено мною на состоящего при мне подполковника Угрюмова и надзирателя Веридарского.

Генерал-лейтенант Анненков

8 марта 1864 г.

Наверху написана дата получения: 9 марта 1864 г. *и заключение*: Дело слишком важное; чтобы их сослать в дальнейшие губ⟨ернии⟩, довольно того, что они составляют вертеп разврата.

ЦГАОР, ф. 109, 1864 г., 1 эксп., д. 92, ч. 2, лл. 13—17.

6

ЗАПИСКА III ОТДЕЛЕНИЯ О КОММУНЕ СЛЕПЦОВА*

В заключение записки с.-петербургского обер-полицеймейстера о существующем здесь обществе коммунистов сказано:

1, что последнее сборище у них было 28 января сего года. По имеющимся в III Отделении сведениям это последнее сборище было у *Слепцова* 4 февраля.

2, что на сборище, бывшем 28 января, замечены были два воспитанника одного из здешних училищ, но что фамилии их еще не известны. По нашим сведениям, это были воспитанники Училища правоведения: Маковеев и Наркевич, которые уже давно обратили на себя внимание училищного начальства своим неблагонадежным поведением. Из них Маковеев более года поручен духовному назиданию священника означенного училища для исправления. *Маковеев* познакомился с *Слепцовым* через доктора *Топорова*, служащего в придворно-служительском доме (на Сергиевской), а *Наркевич* сошелся с ним в книжной лавке Кожанчикова.

3, что общество, прекратив собрания у *Слепцова*, предполагает выбрать местом оных квартиру отставного штабс-капитана Бессонова, который живет вместе с вдовою Зайцевою по Екатерининскому каналу, в доме Добровольского.

По сведениям III Отделения, было предположение перенести собрания к *Зайцевой*, у которой жил Бессонов, но сей последний, как усматривается и из прилагаемой у сего записки, переехал оттуда еще 24 месяца января в Итальянскую улицу, в дом Федорова, а 11 марта выехал из С.-Петербурга.

Все остальные сведения, изложенные в записке обер-полицеймейстера по этому предмету, совершенно согласны с имеющимися в III Отделении данными. Встречается только одно разногласие в фамилии и имени женщины, живущей у *Слепцова* и обозначенной в записке генерал-лейтенанта Анненкова на 6-й странице под № 4.— Тут она названа женою губернского секретаря Глафирою Цапиною, тогда как, по нашим сведениям, ее зовут Екатериною Ивановною *Цениною*. Она-то и живет «гражданским браком» с самим Слепцовым.

11 марта 1864 г.

Наверху надпись: Составить дело. 23 марта.

ЦГАОР, ф. 109, 1864 г., 1 эксп., д. 92, ч. 2, л. 18—18 об.

---

* В том же деле находятся: конфиденциальное сообщение из Училища правоведения об исключении из 2 класса Андрея Маковеева 15 ноября 1864 г. «за дерзость против начальства» и секретное сообщение с.-петербургского градоначальника от 20 октября 1877 г. о смерти находившегося «под негласным бдительным надзором полиции» А. Ф. Головачева.— *Ред.*

7

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ СЕКРЕТНОГО АГЕНТА М. Г. СТЕПАНОВОЙ[39] В III ОТДЕЛЕНИЕ О СЛЕЖКЕ ЗА УЧАСТНИКАМИ КОММУНЫ СЛЕПЦОВА

...Минаев едет в Пермь, а не в Москву, а Слепцова до сих пор нет еще в Петербурге; это крайне мешает моему делу (т. е. оттягивает время); во всяком случае я тут пока не выпущу из рук Дмитриева, но постараюсь через одну барыню опутать Горбунова: но что жить у Слепцова, то я считаю почти невозможным, потому что они пожелают знать, чем я живу; а так как я средств решительно не имею, то мне придется говорить, что мне помогает один господин, да ведь они не поверят в его скромность, потому что он не их общества: так я считаю лучшим тут действовать тоже через одну женщину и быть лицом неприкосновенным!.. Дмитриев едет на дачу в Парголово и не один, но с Курочкиным и еще кто-то... я им говорила, что будто получу наследство небольшое: то Минаев мне предлагал идти с ним и Степановым в долю на открытие типографии, и издание нового журнала, они хотят пустить два новые журнала. Дмитриев—один, а М⟨инаев⟩—другой: он надеется получить в Перми 18 тысяч и едет завтра или послезавтра, теперь мне надо будет напасть на его жену, которая не участвует в его идеях, и во время его отъезда надо постараться что-нибудь успеть.

Я нахожу необходимым переменить квартиру, но скажу откровенно, что затрудняюсь в средствах: потому покорнейше прошу вас, милостивый государь, предложить его превосходительству не угодно ли будет выдать мне еще 50 рублей...

⟨10 апреля 1864 г.⟩*

ЦГАОР, ф. 109, С. а., оп. 1, д. 2009, лл. 8—9.

8

ЗАПИСКА III ОТДЕЛЕНИЯ О САМОРОСПУСКЕ КОММУНЫ СЛЕПЦОВА

По рассмотрении вновь, 22 месяца ноября, представленных в начале сего года записок об образовавшейся в квартире сотрудника «Современника» *В. А. Слепцова* «коммуне» — ваше сиятельство изволили приказать представить новейшие сведения об этой коммуне.

По собранным ныне справкам и вследствие ⟨надзора⟩, учрежденного за некоторыми прикосновенными к означенному делу лицами, оказалось, что помещавшаяся в Знаменской улице, в доме *Бекмана*, коммуна уничтожилась вследствие того, что члены ее узнали, что за ними наблюдают; что сам Слепцов выехал из Петербурга в Москву еще 1 июля с. г., что туда же отправилась одна из живших в коммуне княжна *Макулова*; что все прочие члены бывшей коммуны, квартировавшие вместе, живут ныне на отдельных квартирах, где не замечено до сих пор больших сборищ с противузаконною целью, и что заведывавшая хозяйством в коммуне *Слепцова*, дочь отставного коллежского советника, девица *Маркелова*, проживающая в 11 линии В. острова, в доме № 22, разрешилась два месяца тому назад сыном, прижитым ею, как она говорит, с *Слепцовым*. Тут же живет с нею и другой ее сын, находившийся при ней еще в доме *Бекмана*. Как все так называемые нигилистки занимаются преимущественно в типографиях или

---

* Дата устанавливается по хранящейся в том же деле записке, с пометой о получении этого донесения 10 апреля (л. 7).— *Ред.*

в двух устроенных здесь женских переплетных мастерских, так и *Маркелова* пристроилась в одной из типографий Васильевского острова. Несмотря на проповедываемый этими нигилистками атеизм, *Маркелова* окрестила своего ребенка 22 месяца ноября, при чем находились десять стриженых девиц и двое молодых людей из нигилистов.

Коммуна, помещающаяся в 9-й роте Измайловского полка, в доме *Глотова*, и которая, по полученным сведениям, сего 1 декабря должна разделиться, веселилась еще всю ночь с субботы на воскресенье, при аккомпанементе двух фортепиан.

Распорядительница в этой коммуне девица *Котлярова* вступает ныне в «гражданский брак» с студентом *Дубенским*, носящим славянофильскую одежду.

Не теряя из виду членов разных коммун, агенты нападают на след новых коммун, о которых покуда еще нет положительных данных.

Одна из них помещается в одном доме у 5-ти углов; другая в доме Реформатской церкви, в Большой Конюшенной, вероятно, потому, что там живут две девицы *Колмогоровы* (дочери надворного советника), занимающиеся в женской переплетной *Печаткина*, а, по некоторым слухам, в одном доме, в Большой Конюшенной, бывают собрания нигилистов, где читаются даже, конечно, тайно, лекции о естественных предметах.

Подробным разведыванием всего этого в настоящее время занимаются.

1 декабря 1864 г.

Наверху заключение: Доложено его величеству 5 декабря. Все записки, относящиеся к коммуне, иметь вместе на случай востребования.

ЦГАОР, ф. 109, С. а., оп. 1, д. 256, лл. 1—2.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Известно,— писал в 1860-е годы А. М. Скабичевский о романе Лескова „Некуда“,— что в обществе ходит много всяких слухов, толков, перетолков и сплетен, лишенных часто всяких оснований, о разных литературных и общественных деятелях, о тех или других фактах общественной жизни. Г-н Стебницкий берет эти сплетни в таком виде, как они ходят, и без всякого анализа передает их, искажая и лица и факты». Автор статьи совершенно справедливо замечает непоследовательность Лескова: непонятно при карикатурном изображении «нигилистов», как идеальные герои — Лиза Бахарева и Райнер — люди с умом и сердцем, могли якшаться с подобными лицами («Русское недомыслие».— «Отеч. записки», 1868, № 9, стр. 42—43). Впрочем, позднее в своих воспоминаниях Скабичевский, эволюционировавший в сторону либерального народничества, не отстаивал уже так горячо Слепцова от нападок его недоброжелателей.

[2] В. А. Слепцов. Сочинения, т. I. М.— Л., 1932, стр. 553—580.

[3] Письмо М. Е. Салтыкова-Щедрина к А. М. Скабичевскому от 9 февраля <1885 г. >.— «Лит. наследство», т. 67, 1959, стр. 514 (публикация С. А. Макашина).

[4] ЦГАОР, ф. 109, С. а., оп. 1, д. 2009, лл. 5—6.— В письме Е. А. Макуловой к Слепцову имеется упоминание о Степановой: «Так как я не уверена, что письма на твое имя и на мое не распечатываются на почте, то если будешь писать, адресуй в мою квартиру, но на имя хоть Степановой» (там же, д. 207, л. 5).

[5] <В. В.> К<а л л а ш>. В. А. Слепцов.— «Русская мысль», 1903, № 4, стр. 154.

[6] За М. Н. Коптевой в полиции сохранялась долго репутация «чрезвычайно вредной особы» (Анонимное письмо. Май 1866 г.— ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, д. 314, л. 4). В Москву, Петербург, Кострому и другие места, куда переезжала Коптева, за нею следовали полицейские донесения (см. «Дело отделения по охранению порядка и общественной безопасности в Москве при канцелярии московского обер-полицеймейстера по отношению с.-петербургского градоначальника о надзоре за дочерью действительного статского советника Мариею Коптевою». 24 мая 1876—28 мая 1882.— ГИАМО, ф. 46, оп. 2, ед. хр. 1573).

[7] Сохранилось «Дело канцелярии с.-петербургского губернатора об учреждении негласного бдительного надзора полиции за отставным титулярным советником Владимиром Николаевичем Языковым». 21 июля 1875—25 сентября 1875.

В донесении петербургского градоначальника петербургскому губернатору 19 июля 1875 г. сказано: «Проживающий в С.-Петербурге под негласным бдительным надзором полиции отставной титулярный советник Владимир Языков 16 июля отметился в Саблино по Николаевской железной дороге. Имею честь присовокупить, что Языков подчинен сказанному надзору согласно высочайше утвержденному заключению бывшей в С.-Петербурге Следственной комиссии, сообщенному в предложении бывшего с.-петербургского военного генерал-губернатора от 1 октября 1865 г. за № 1491, по поводу заявления им, вместе с другими лицами, учения своего о нигилизме с тем, чтобы местное начальство, в случаях надобности, принимало против них более строгие административные меры в пределах предоставленной ему власти» (ГИАЛО, ф. 253, оп. 6, ед. хр. 222, лл. 1—4).

Сохранилось также «Дело канцелярии московского обер-полицеймейстера по отношению с.-петербургского обер-полицеймейстера об учреждении негласного бдительного надзора за коллежским секретарем Языковым (за нигилистические воззрения)». 1866—1867 (ГИАМО, ф. 46, оп. 1, ед. хр. 592).

[8] В архиве III Отделения находится следующая «Справка» о Головачеве от 16 апреля 1866 г.: «*Головачев* Аполлон Филиппов, тверской помещик; он сотрудник журнала „Современник". В 1864 г. Головачев участвовал в известной по вредному направлению своему коммуне Василия Алексеева *Слепцова*, отставного коллежского регистратора и тоже сотрудника названного журнала, и жил тогда в одной квартире с Слепцовым на Знаменской в доме *Бекмана*, № 7. Коммуна эта впоследствии распалась сама собою. В начале прошлого 1865 года Головачев предпринял издание газеты „Народная летопись", но издание это не продолжалось и году. Головачев — человек грязный не только в нравственном отношении, но и наружно, в сем последнем случае он совершенный нигилист, а по образу мыслей своих человек совершенно неблагонадежный. Он второй уже год как приобрел в свою собственность типографию уволенного из Училища правоведения по неокончании курса наук, князя Александра Сергеева *Голицына*, человека не дальнего ума, но неблагонадежного и играющего роль нигилиста. Типография эта, помещающаяся у Вознесенского моста, в доме *Китнера*, находится в постоянных сношениях с известною также по своему чрезвычайно вредному направлению женскою переплетною *Печаткиной*» («О заявлении разных лиц по поводу злодейского покушения на жизнь государя императора 4 апреля 1866 г.» — ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, д. 172, лл. 70—71).

В деле канцелярии петербургского губернатора «О лицах, состоящих под надзором полиции за 1872 г.», в Гатчине значится коллежский регистратор А. Ф. Головачев, как «находящийся под негласным длительным надзором. Срока не объявлено» (ГИАЛО, ф. 253, оп. 3, ед. хр. 4474, л. 13).

Из другого «Дела канцелярии с.-петербургского губернатора об учреждении негласного бдительного надзора за помещиком Тверской губернии Аполлоном Филипповым Головачевым» 9 июня 1872—12 февраля 1877 ясно, что до самой смерти Головачев находился под надзором полиции (там же, оп. 6, ед. хр. 74, лл. 1—9).

[9] *Геннадий Васильевич Лермантов* (1830—1900) — действительный статский советник. С 1865 г. в Петербурге находился под негласным надзором полиции по поводу «заявления им своего учения о нигилизме». Надзор продолжался до 15 октября 1882 г., как об этом свидетельствует дело канцелярии петербургского губернатора (ГИАЛО, ф. 253, оп. 6, ед. хр. 328, лл. 1—19).

[10] *Николай Алексеевич Серов* (р. 1832) — титулярный советник. С 1865 г. состоял в Петербурге под негласным бдительным надзором по поводу «заявления им учения своего о нигилизме».

[11] *Николай Степанович Славутинский* — сын беллетриста С. Т. Славутинского, студент Московского университета, член кружка Зайчневского — Аргиропуло в 1861 г., принимал участие в студенческих беспорядках; 4 октября 1861 г. говорил речь на могиле Грановского.

[12] *Мария Челищева* — находилась под надзором полиции и в 1870-е годы, о чем свидетельствует «Дело канцелярии московского обер-полицеймейстера по отношению управляющего III Отделением собственной е. и. в. канцелярии о кандидате Московского университета Алекс. Козлове и дочери майора Марии Челищевой об установлении за ними полицейского надзора» (ГИАМО, ф. 46, оп. 1, д. 11 06).

[13] ЦГАОР, ф. 109, 1864 г., 1 эксп., д. 92 («О тайных обществах», ч. 2, л. 20).— В деле III Отделения «О Маковееве» дается в марте 1871 г. такая его аттестация: в Училище правоведения «обратил на себя особенное внимание неблагонадежным поведением, вследствие чего был поручен духовному назиданию священника для исправления, но 15 ноября 1864 г. исключен из 2-го класса сего училища за дерзость против начальства и затем поступил вольнослушателем в Московский университет. Находясь в училище, Маковеев сблизился с некоторыми безнравственными лицами и посещал сборища (коммуны) нигилистов» (там же, 1866 г., д. 100, ч. 35, л. 38). В 1866 г. А. А. Маковеев был арестован по делу Каракозова. По ходатайству матери и дяди был взят на поруки родственниками, но и в следующие годы за ним продолжала следить полиция. Когда в 1871 г. мать обратилась в III Отделение с просьбой позволить

сыну кончить университет, ей было отказано в этом: «Андрей Маковеев был арестован при производстве дела о событии 4 апреля на основании имевшихся в виду указаний, что он принадлежал к тайному обществу „Организация", находился в сношениях с сосланными впоследствии, по приговору Верховного уголовного суда, в каторжную работу Ермоловым и другими лицами, из числа товарищей и сообщников Каракозова, и изъявлял готовность снабдить деньгами лицо, назначавшееся к поездке в Сибирь для освобождения из каторжной работы государственного преступника Чернышевского <...> Выслан как личность неблагонадежная в политическом отношении в Костромскую губернию, в имение матери, с учреждением за ним местного надзо а <...> Комиссия признала изложенное ходатайство его матери не заслуживающим уважения» (там же, ф. 95, оп. 1, д. 287, лл. 41—42).

Разноречивы сведения о близости к коммуне Слепцова семьи Зайцевых. Из агентурных сведений и из воспоминаний Л. П. Шелгуновой ясно, что писатель хотел перенести место собраний в квартиру Бессонова—Зайцевых ввиду преследования полиции. По-видимому, узнав о полицейской слежке, В. Бессонов переехал 11 марта 1864 г. в Новгород «к месту его служения» (ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., д. 92 «О тайных обществах», ч. 2, л. 19).

[14] Письма Слепцова к Л. Ф. Нелидовой 1875 г.— ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 271, лл. 24, 68—69, 81—82, 150, 151; письмо к матери — там же, ф. 479, оп. 1, ед. хр. 12, л. 34.

[15] ЛБ, ф. 295, М. 5336/2.

[16] Слепцов находился в начале 1877 г. в Саратове. 11 февраля в газете «Саратовский справочный листок» (№ 31) появилась статья (некролог) «Новая страничка из скорбной летописи» (за подписью Н—в). Статья была посвящена А. И. Левитову, значительная часть ее представляла собою пересказ сведений, сообщенных автору (надо полагать, Соловьеву-Несмелову) «нашим талантливым беллетристом В. А. Слепцовым», «когда-то близко стоявшим к нему и по жизни и по перу». Приведем это место статьи — биографию Левитова, написанную со слов Слепцова:

«А. И. Левитов, сын бедного дьячка села Доброго, Тамбовской губернии, Лебедянского уезда. Бедность, налагавшая свою печать опущенности, плохой хозяйственности, забитости на отца А. И. в нормальном состоянии, и обратно тому — бурливости, широкой трепки и ругани всему окружающему, когда это некрасивое житье главы семьи заглушалось *русским напитком горемык*, к которому родитель прибегал частенько; постоянная раздраженность и крутой нрав матери семьи при самых мелочных лишениях и недостатках, искавшей при первом случае на ком-либо — на муже или ребятишках, которых было трое,— сорвать свою жизненную несчастливость — вот семейная обстановка детства А. И. Левитова. Затем бурса духовного училища и семинарии, времен от 1844—1856 лет... Все это до того не красно, не светло, до того рано и крепко подавило, поломало впечатлительную натуру А. И., что он сделался мнителен, подозрителен и почти не мог высказываться о своем прожитом даже близким людям по перу, по взглядам на жизнь и ее проявления, или когда и решался кому-либо, по его выражению, *раскрыть душу*, даже усесться к приятелю в такие ажитированные минуты на *коленочки*, испрося на то с нерешительностью разрешения,— и тогда его разговоры *по душе* выходили несвязными, неясными намеками. Его тоскливый отрывистый рассказ раздирал душу поверенного. Так тяжело, невыносимо было его прошлое. Но, как видно из житейского скитальничества А. И., ни гнетущая жизнь в родной семье, ни учеба семинарская не надломили вконец его духовной силы, не закабалили его таланта, не остановили его движения, искания света, идеальных стремлений, вообще — могучей юности. *Томимый жаждой знаний*, семинаристик Левитов идет *пешком* из Тамбова в Петербург и там поступает в Медико-хирургическую академию. Оттуда он был уволен (на всякие расспросы людей близких, принимавших в нем искреннее участие, об этих обстоятельствах, как и непродолжительном времени его актерства, обыкновенно А. И. отвечал или молчанием, или много-много скажет, что он был плохой актер... „чего вам еще...", и примется неудержимо хохотать); известно только, что из академии он послан был фельдшером в один из уездных городов Архангельской губернии. Еще в академии с товарищем своим г-м Успенским (тульским семинаристом по месту рождения и образования) начал А. И. свои первые литературные работы, кажется, с газеты „Сын отечества", а потом сотрудничал и в наших толстых журналах. Писал он много и один, и в компании с Вороновым (саратовцем по месту рождения и образования в гимназии). Эти компанейские работы носили названия „*Московские норы и трущобы*". Но жилось по обыкновению Левитову плохо, неприглядно. В холодных, сырых квартирах, под ругань какой-нибудь квартирной хозяйки, то и знай теребившей денег с постояльца на то, другое, третье, нередко на каком-нибудь дрянном сундучишке вместо стола, при жалком мерцании сального огарка, на клочках, лоскутках написано большинство произведений покойным А. И. Не веселы такие картины жизненной правды писателей, вступивших на этот трудный путь в период 60-х годов. При таких разрушающих началах, согласитесь, не могла долго тянуться его жизнь, не могла расти в ширь и глубь его, несомненно, сильная талантливость. В его писаниях вылилась живая жизнь; она же рано и убила его.

Единственным светлым образом был с детства и остался на всю и дальнейшую жизнь, полную горечей у А. И. Левитова, это — сестра, немногими только годами постарше брата. Этот образ сестры, нередко охранявшей брата от домашних давлений, ласковый, симпатичный при всех остальных мрачных для ребенка лицах семьи и родного села, манил к себе в Лебедянь (уездный город Тамбовской губ.), куда она вышла замуж за какого-то чиновника (тоже больного болезнью их отца), в тяжелые, мрачные минуты жизни Левитова-писателя. В такие минуты обыкновенно он собирался бежать, укрыться, как он выражался — *туда, туда, в Лебедянь*... Там ему грезилось, что он может отдохнуть на каком-то чисто идеальном сестрином сундучке. Там, думалось ему, как это было и в детстве, его приголят, приголубят... там он отлежится, отдохнет от всякой давящей его всячины... Все это, кажется, очень ясно говорит, что этот человек, проживши 38 лет на белом свете, не видал тепла, света даже от близких, или вернее — без близких людей, с мрачными думами, с вечно возбужденными нервами, развинтившимися, как говорится, донельзя к концу дней его».

[17] Ж. А. Слепцова. Биография Слепцова Василия Алексеевича.— ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 2584, л. 6.— Эти строки не были пропущены цензурой при публикации «Биографии» в «Русской старине», 1890, № 1.

[18] Е. И. Жуковская. Записки. Л., 1930, стр. 156.

[19] В. П. Буренин, бывавший в 1860-х годах на Знаменской у Слепцова и веривший в легенду, что здесь вовсе не коммуна, а «меблированные комнаты», «общая квартира», однако отвергал сплетни о безнравственности в коммуне. «Даже в дни существования коммуны,— писал он впоследствии,— подобным сплетням верили те, кому хотелось верить. В наши же дни печатать подобные сплетни и верить им можно разве только в шутку» («Критические заметки».— «Новое время», 1889, № 4831, от 11 августа).

[20] Н. В. Успенский допустил в своих воспоминаниях целый ряд фактических ошибок. Коммуна, по его словам, была создана Слепцовым после «Трудного времени», т. е. после 1865 г., в то время как она прекратила свое существование 1 июня 1864 г., просуществовав около года, а не два-три месяца, как утверждает Успенский (Н. В. Успенский. Из прошлого. М., 1889, стр. 128).

[21] В продолжение 1864—1865 гг., когда особенно усердно велась слежка за Слепцовым — организатором коммуны,— полицейские агенты присутствовали на литературных вечерах в пользу нуждающихся студентов и литераторов, где Слепцов выступал с чтением произведений своих («Ночлег», «Питомка», главы из повести «Трудное время») и чужих (например, стихотворение Некрасова «Орина — мать солдатская»). Из донесений в III Отделение видно, что на этих вечерах выступали также Некрасов («Мороз, Красный нос»), Тургенев («Призраки»), Салтыков-Щедрин («Прощаюсь, ангел мой, с тобой...»), Н. Курочкин («Сатиры и песни. По мотивам итальянского поэта Джусти») и другие.

Разумеется, агенты весьма неодобрительно отзывались о Слепцове-чтеце и о его произведениях. Полицию явно пугало воздействие на молодежь организатора «Знаменской коммуны», и она всеми способами дискредитировала его. «Известный нам как учредитель образовавшейся было здесь коммуны *В. А. Слепцов*,— писал один из агентов,— одевавшийся прежде с крайним неряшеством, и не только не стригший, но и не чесавший почти никогда волос, был вчера одет с большим тщанием в черный фрак и белых перчатках. Обстоятельство это обратило на себя внимание». 23 сентября 1865 г. (ЦГАОР, ф. 109, С. а., оп. 1, д. 1497, л. 1 об.).

[22] В записке III Отделения от 16 ноября 1864 г. читаем: «В субботу вечером в 9-ой роте Измайловского полка, в доме Глотова, где, как донесено было, находится коммуна, составленная из нигилистов, замечено большое собрание. Туда приезжали разные длинноволосые подозрительные личности, которые походили на армян, в сопровождении одного приезжала какая-то женщина. Извозчики, привезшие их, говорили, что их наняли на Васильевском острове и в Новом переулке. В сем последнем проживает известный бывший студент из армян ‹грузин› *Гогоберидзе*, один из приятелей *Чернышевского*, *Утина* и тому подобных. Ничего не было бы удивительного, если б *Гогоберидзе* действительно посещал означенную коммуну» (ЦГАОР, ф. 109, С. а., оп. 1, д. 243, л. 4).

[23] Имя Е. П. Печаткина возникает здесь не случайно. Он неоднократно подвергался преследованиям полиции, будучи вместе с В. Л. Гогоберидзе участником студенческих волнений 1861 г. и организатором комитета по чтению лекций (одним из лекторов намечался Чернышевский). За распространение «Колокола», создание издательской артели, за близость к Худякову его арестовали, посадили в крепость. После дела Каракозова Печаткину запретили вести книжную торговлю.

[24] «Агентурное донесение о наблюдении за семейной жизнью проживающего в Петербурге доктора Бокова П. И., привлекавшегося в 1861 г. по делу о распространении „Великоруса“. 24 апреля 1868 г.» (ЦГАОР, ф. 109, С. а., оп. 1, д. 334, лл. 1—2).

Возникли коммуны и в Москве, что было отмечено и в приговоре Верховного суда по делу Каракозова.

[25] Сохранилось «Дело канцелярии с.-петербургского губернатора об учреждении негласного надзора за женою великобританского подданного Александрою Григорьевною Каррикою, ур. Маркеловою». 12 июня 1874—3 сентября 1874. Из донесения петербургского градоначальника петербургскому губернатору от 10 июня 1874 г. узнаем: 1) что Маркелова была «подчинена сказанному надзору, согласно высочайше утвержденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, 10 октября 1865 г., № 1441, за заявление, в числе прочих, учения своего о нигилизме»; 2) находилась «под негласным надзором полиции» до июня 1874 г. и 3) «секретный полицейский надзор, согласно отзыва г-на управляющего III Отделением собственной е. и. в. канцелярии от 12 июня сего года № 2019, прекращен» (ГИАЛО, ф. 253, оп. 6, ед. хр. 169, лл. 1—5).

[26] Е. И. Ж у к о в с к а я. Записки. Л., 1930, стр. 156.

[27] За Макуловой так же, как за Слепцовым, и в 1870-е годы тщательно следила полиция. В деле канцелярии петербургского обер-полицеймейстера значится: «Макулова княжна Екатерина Александровна пока живет по Невскому проспекту и Малой Садовой, дом 3-й, 54, но намерена выехать на дачу в Новую деревню» («Переписка и ведомости о лицах, замеченных в государственных преступлениях».— ГИАЛО, ф. 339, ед. хр. 89, л. 1). Когда в 1873 г. полиция «охотилась» в Петербурге за Г. А. Лопатиным и давала распоряжение «иметь строжайшее наблюдение» за квартирами, в которых он мог появиться, то первой в списке лиц, его знакомых, была названа Макулова (там же, ф. 569, оп. 6, д. 4, л. 8). Как свидетельствует «Дело с.-петербургского губернатора об учреждении строгого секретного надзора за княжною Екатериною Макуловою», за нею продолжалась упорная слежка и в 1877 г. (там же, ф. 253, оп. 6, ед. хр. 329, лл. 1—8).

В архиве III Отделения сохранилось письмо Макуловой. Адресат его неизвестен; но можно предположить, что это Языков или Слепцов: «...если ты действительно не фразер, а человек, каким казался мне и многим другим, т. е. честный, прямой, ненавидящий всю эту рутину, в которой каждая хорошая личность тонет и задыхается, то приезжай скорей...» (ЦГАОР, ф. 109, С. а., оп. 1, д. 207, л. 5).

[28] М. Г о р ь к и й. Н. С. Лесков. Беседы о ремесле.— Собр. соч., т. 23. М., 1953, стр. 229; т. 25, стр. 347.

[29] *Иван Михайлович Сеченов* (1829—1905) — великий русский ученый-физиолог, выдающийся деятель общественного движения, поборник женского образования. Был близок к Чернышевскому и другим революционно-демократическим деятелям шестидесятых годов. Своими работами: «Рефлексы головного мозга» (1863), «Физиология нервной системы» (1866), публичными лекциями содействовал борьбе революционного лагеря за философский материализм. С 1866 г. находился под надзором полиции.

[30] *Николай Иванович Хлебников* (1840—1880) — профессор Варшавского (с 1869 г.), а затем Киевского (с 1877 г.) университетов по кафедре энциклопедии и философии права. В 1861 г., будучи студентом юридического факультета Московского университета, принимал участие в студенческих волнениях, был арестован и получил предупреждение об увольнении из университета, если не подчинится университетским правилам. Привлекался также в 1866 г. по делу Каракозова.

[31] *Артиллерийский полковник* — П. Л. Лавров.

[32] *Мария Федоровна Зайцева* (мать В. А. Зайцева) — была с 1865 г. в Петербурге под негласным бдительным надзором полиции по поводу «заявления ею учения своего о нигилизме».

[33] *Варвара Александровна Зайцева* (по первому браку Голицына, по второму — Якобий) — сестра В. А. Зайцева, участница революционного движения шестидесятых годов. В 1863 г. привлекалась по делу Андрущенко, общества «Земля и воля» за содействие побегу И. И. Кельсиева.

[34] *Варфоломей Александрович Зайцев* (1842—1882) — критик, сотрудник «Русского слова». С 1865 г. находился в Петербурге под негласным бдительным надзором полиции по поводу «заявления им учения своего о нигилизме». Подвергался аресту в связи с делом Каракозова в 1866 г. В 1869 г. уехал в Женеву, где через год вступил в «Международное общество рабочих», был одним из участников итальянской секции Интернационала. С 1877 г. сотрудничал в журнале «Общее дело» в Женеве.

[35] Имеется в виду известная *Н. П. Суслова*, в будущем доктор медицинских наук, о которой Слепцов упоминает в «Новостях петербургской жизни» (см. выше, стр. 225), находившаяся под надзором полиции за открытое сочувствие «нигилизму», сношение с неблагонадежными людьми в России и с эмигрантами за границей. Сохранилось секретное предписание от 20 октября 1873 г. петербургского градоначальника приставу 3 участка Московской части («в случае появления во вверенном вам участке жены швейцарского подданного Надежды Эрисман, урожденной Сусловой, тотчас задержать и доставить в секретное отделение») и акт обследования бумаг Сусловой при ее обыске (ГИАЛО, ф. 569, оп. 6, ед. хр. 61, лл. 27—28).

[36] *Александра Комарова* — автор романа «Одна из многих (из записок нигилистки)», 1881 г.,— также состояла в 1860-е годы под надзором полиции, привлекалась по делу Каракозова. Она была знакома с И. А. Худяковым и, по воспоминаниям Г. А. Лопатина, сыграла дурную роль в судьбе Худякова во время следствия.

Позднее Комарова эволюционировала «вправо» и сотрудничала в реакционной прессе.

[37] *Яков Николаевич Бекман* (1836—1863) — член общества «Земля и воля». В 1858 г. был исключен из Харьковского университета за участие в студенческих волнениях. Один из организаторов Харьковского тайного общества. В феврале 1860 г. заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, в июне 1860 г. сослан в Вологодскую губернию, в сентябре 1862 г.— в Самарскую губернию, где умер от лихорадки 6 октября 1863 г.

[38] В действительности речь идет о Екатерине Ивановне *Цениной* (впоследствии Жуковской). См. выше, в документе № 6.

[39] В одном из упомянутых выше дел находим справку об этом агенте: «Марья Григорьевна Степанова — санкт-петербургская мещанка. Живет, по свидетельству пристава 1-й части, по 5 апреля 1864 г. у чиновника Максимовского. Жила прежде в другом доме Татищева у m-me Marie, но оттуда переехала, вследствие того, что Marie не хотела держать женщину, замешанную в какие-то полицейские дела. К ней много ходило мужчин» (ЦГАОР, ф. 109, С. а., оп. 1, д. 2009, л. 10).

СЛЕПЦОВ ПОД АРЕСТОМ ПО ДЕЛУ КАРАКОЗОВА

I. ПОЛИЦЕЙСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ АРЕСТЕ
II. БУМАГИ, ВЗЯТЫЕ ПРИ ОБЫСКЕ

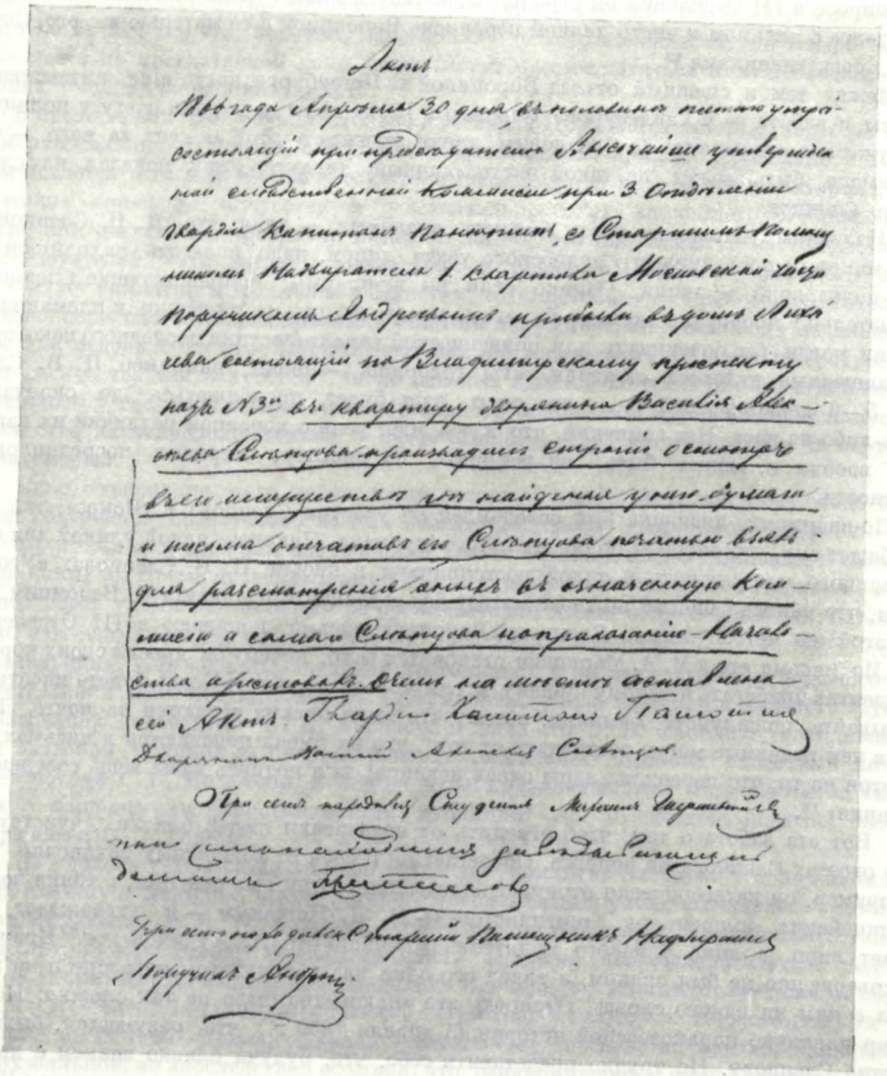
Публикация М. Л. Семановой

В записке министра внутренних дел Валуева, адресованной 30 апреля 1866 г. в Следственную комиссию по делу Каракозова, читаем: «В видах более успешного разыскания о личности, покушавшегося на жизнь государя императора преступника было бы не бесполезно обратиться к исследованию той общественно-литературной среды, в которой способна получить развитие мысль о цареубийстве» [1]. Министр, однако, опоздал со своей инициативой. Идея полицейского «исследования» общественно-литературной среды еще раньше возникла у самих руководителей политического розыска. Весь апрель шли аресты. 30 апреля, в день, когда Валуев писал свою записку, в числе других был арестован и Слепцов.

«Времена теперь тяжелые,— записал в дневник 6 мая 1866 г. Ф. М. Решетников.— Елисеев, Слепцов, Минаев, Василий и Николай Курочкины взяты» [2]. «Аресты самые безобразные, самые беспричинные продолжаются,— писали в «Колокол» из Петербурга,— ⟨...⟩ Шпионов бездна здесь, много отправлено в Москву, в провинции и в чужие края ⟨...⟩ Ждут раскрытия заговора ⟨...⟩ Из лиц известных арестованы: Благосветлов (в самом начале), Зайцев, Курочкины, Худяков, полковник Лавров, Елисеев, Европеус с женой и его брат, Ковалевский, Слепцов; арестовано много девиц и женщин (нигилисток)» [3]. Хотя многие, в том числе Слепцов, Курочкин и Минаев, были через некоторое время освобождены, но знаменателен самый факт, что на них смотрели, как на представителей той питательной среды, в которой выращиваются антиправительственные идеи.

В приговоре Верховного суда по делу Каракозова 24 сентября 1866 г. специально указывалось, что судебным следствием обнаружено существование еще с 1863 г. кружков молодых людей, «зараженных социалистическими идеями». В целях распространения и осуществления этих идей на практике юные приверженцы их устраивали без разрешения правительства различные ассоциации, как-то: переплетные, швейные заведения, общества переводчиц и переводчиков. «Роман этого преступника ⟨Чернышевского⟩ „Что делать?“ имел на многих из подсудимых самое гибельное влияние» [4].

Удивительно ли, что в протоколе допроса Слепцова видное место занимает вопрос об организации писателем «общей квартиры»? Кстати, документы Следственной комиссии по делу Слепцова уточняют время существования «Знаменской коммуны»: с 1 сентября 1863 г. по 1 июня 1864 г. Они уточняют и другие факты биографии писателя. Так, мы узнаем даты: его ареста — 30 апреля; допросов — 2 мая, 8 июня; свиданий с матерью — 22 мая, 3, 12, 16 и 18 июня; дату освобождения — 18 июня 1866 г. [5] Мы находим здесь не только подтверждение тому, что Слепцов был болен во время заключения в тюрьме, но что с помощью матери он обращался к М. Н. Муравьеву с просьбой разрешить ему заниматься в тюрьме литературной работой.



АКТ ОБ АРЕСТЕ СЛЕПЦОВА 30 АПРЕЛЯ 1866 г.
Архив Октябрьской революции, Москва

полицию. Были у нее в подозрении и образованные девушки, работавшие в подобных магазинах, мастерских, типографиях [11].

Известно, что Слепцов сохранил до 1870-х годов дружественные отношения с Ворониной, помогал ей печататься в «Отечественных записках», переписывался с нею [12]. На допросе в III Отделении он оградил Воронину и Гайдебурова от обвинений, сведя все «дело» с письмом к чисто личной переписке Ворониной с ее матерью и с его, Слепцова, родственниками [13].

Между тем и спешный отъезд Ворониной из Петербурга, когда шли интенсивные аресты, и работа ее у Гайдебурова, бывшего в 1860-е годы на дурном счету у полиции, и дружеские отношения со Слепцовым, явная тревога в этот момент за него, — все это имело, быть может, не такой чисто «личный» характер, как показал на следствии Слепцов.

Названный писателем среди близких знакомых — дядя его, П. В. Слепцов,— был мировым посредником Сердобского уезда, лицом, надо полагать, находившимся вне подозрений полиции. Однако если бы жандармы, допрашивавшие Слепцова, внимательно прочитали взятые с бумагами писателя письма дядюшки к племяннику, то они могли бы почерпнуть для политической характеристики последнего некоторые не лишенные интереса сведения. «Ты говоришь,— пишет, например, П. В. Слепцов 5—6 декабря 1865 г., — что спор наш будет продолжаться до скончания кого-либо из нас». Нет сомнения, что здесь идет речь о коренном различии их взглядов вообще и, может быть, на реформы, на институт мировых посредников, в частности.

По-видимому, дядюшка был осведомлен об участии Слепцова в «Искре», так как сообщает ему, что ожидает получения этого журнала. Наконец, явной уликой для арестованного мог служить и такой постскриптум в письме П. В. Слепцова: «Угодил ли я, что написал письмо по твоей методе без заглавия и подписи?» [14]. Вспомним, что по этой же методе писала Слепцову Воронина письмо, попавшее в III Отделение.

Из письма его к М. А. Маркович становится ясно, почему он просил своих корреспондентов прибегать к такому приему и сам пользовался им: «Когда будете писать, не называйте, пожалуйста, фамилии, потому что ваши письма читаются на почте. Люди ни в чем невинные могут пострадать от того, что их имена попадаются в письмах, несмотря на то, что переписка наша очень невинна; да и подпись ваша вещь совершенно лишняя» [15].

Вот эта забота о том, чтоб оградить от подозрения людей близких, чувствуется и в ответах Слепцова на допросе. Оберегает он и себя от возможных обвинений. Так, например, он категорически отрицает знакомство с одним из опасных, с точки зрения полицейских чиновников, «нигилистов» — Н. Д. Ножиным — и утверждает, что знает лишь в лицо близкого приятеля Ножина — И. А. Худякова: «С Ножиным я совершенно не был знаком, а видел его один раз в фруктовом магазине и не говорил с ним ни одного слова». Отрицать это знакомство было не так сложно: Ножин умер накануне каракозовской истории (3 апреля 1866 г.), что, разумеется, было известно Слепцову. Но трудно представить себе, что, будучи близко знаком с другом Ножина и Худякова — Н. Курочкиным [16], с врачом Малаксиановым, лечившим Ножина, сотрудничая в «Искре», где в 1865 г. помещал статьи и Ножин, Слепцов не знал этого весьма заметного в прогрессивных кругах человека. «Каракозовец» В. А. Черкезов называет среди знакомых Ножина и Слепцова [17].

Равно следует поставить под сомнение и «правдивость» ответа Слепцова на вопрос, где находятся книги, полученные от графини Сальяс. Из трех книг об одной — работе Прудона — он говорит явно уклончиво: «...заглавие ⟨...⟩ не припомню», «Прудона я отдал кому-то, но кому именно не помню». Между тем речь, по-видимому, идет о брошюре П. Прудона «Искусство, его основное и общественное назначение». Перевод под ред. Н. Курочкина. СПб., издание переводчиков, 1865. И дело не столько в Прудоне, сколько в Н. Курочкине, к которому в Следственной комиссии, как к другу каракозовца Ножина, отнеслись особенно сурово. В этой ситуации назвать книгу, в которой Курочкин выступал не только переводчиком, редактором, но и автором предисловия, было бы неосмотрительно.

Книжка, вышедшая без предварительной цензуры, явно предназначалась для того, чтобы вызвать ассоциации у читателя со многими острыми вопросами современности. «Силою обстоятельств, — писал Курочкин в предисловии,— вопрос об искусстве и полемика об нем были выдвинуты у нас в последнее время на первый план, или, лучше сказать, область искусства была у нас недавно чуть ли не единственною областью, в которой пишущие могли высказывать с большею свободой свои идеи и мысли; с реформою печати все это, конечно, мало-помалу должно измениться, но теперь некоторые места из предлагаемой нами книги могут рассматриваться как последнее слово наших споров, нашей полемики».

В предисловии идет речь не столько о взглядах Прудона, в которых автор не видит для русских ничего нового, сколько о деятельности Белинского (сравнение с Прудоном делается в пользу Белинского), Чернышевского (он назван здесь «автором „Эстетических отношений искусства к действительности“»), «покойного Добролюбова». Курочкин достаточно прозрачно намекает на то, что они имеют в настоящее время последователей. «Эти взгляды существуют и теперь». Признаком здорового вкуса он считает симпатии к писателям-реалистам, «отрицателям» — Грибоедову, Гоголю — и резко осуждает теорию и практику «чистого искусства». «Пускай люди недальновидные или недобросовестные торжествуют мнимое воскресение в нашей литературе теории „искусства для искусства“, число дешевых адептов которой так значительно расплодилось у нас в последние годы незавидного положения журналистики; напускное торжество их непродолжительно; в сфере мысли — удел всему гнилому и мертвому одна смерть».

Само содержание этого предисловия говорит за себя. Этот документ, надо полагать, совершенно сознательно не был назван Слепцовым в протоколе допроса.

Протокол этот дает нам возможность узнать фамилии людей, близких к Слепцовской коммуне. Кроме названных выше (см. вступительную статью к материалам о коммуне), здесь упоминаются самим ее организатором имена общих знакомых «коммунаров»: известный ученый, публицист А. Н. Энгельгардт и жена его — А. Н. Энгельгардт, писательница, переводчица, активная деятельница в области создания переводческих издательских женских артелей; М. Г. Ермолова, также поборница женского труда и образования; известный А. И. Европеус и жена его Э. В. Европеус, находившаяся под надзором полиции за распространение лондонских изданий; известный литератор-этнограф С. В. Максимов, в 1860-е годы привлекавшийся к дознанию за сношения с лондонскими пропагандистами; публицист А. Ф. Жохов; педагог, бывший петрашевец Ф. Г. Толль.

Не удалось установить, о каком Семенове упоминает Слепцов. Не до конца ясна роль в коммуне Бекмана, в доме которого на Знаменской улице помещалась коммуна. Брат «землевольца» Я. Н. Бекмана, одного из организаторов Харьковского тайного общества, «домовладелец» Бекман вызывал, вероятно, небезосновательные подозрения полиции. «Образ мыслей домовладельца Бекмана не многим отличается от образа мыслей его брата. Для прикрытия своего сочувствия к тому обществу, которому он дал приют в своем доме, Бекман заявлял в начале свое опасение на вредное направление своих жильцов, но впоследствии объявил, что, ознакомившись с ними ближе, он не находит в направлении их ничего особенно вредного» [18]. Не было ли договоренности у Слепцова с Бекманом именно о такой «линии поведения», так как заранее можно было предположить, что полиция заинтересуется коммуной? О возможности такого предположения говорит настойчивая ссылка Слепцова в протоколе допроса на такого «достоверного» свидетеля, как Бекман.

В заключение нужно отметить, что статский советник Зеленой и штабс-капитан барон Розен, подписавшие акт осмотра бумаг, взятых при обыске у Слепцова, были, к счастью, не очень внимательны. Они не нашли в них «ничего ни подозрительного, ни серьезного». Бумаги «в простыне № 31» были осмотрены очень поверхностно. «Провинциальная хроника», предназначавшаяся Слепцовым для «Искры», статья «После 19 февраля 1861 г.», записная книжка писателя, этюд «Ненастный день» и другие слепцовские рукописи были определены как «разные статьи» для «Современника» и отнесены к «первым опытам молодых писателей и поэтов».

I. ПОЛИЦЕЙСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ АРЕСТЕ

1

ПОЛИЦЕЙСКИЙ АКТ, СОСТАВЛЕННЫЙ КАПИТАНОМ ПАНЮТИНЫМ ОБ ОБЫСКЕ И АРЕСТЕ СЛЕПЦОВА

⟨30 апреля 1866 г.⟩

1866 апреля 30 дня в половине пятого утра состоящий при председателе высочайше учрежденной Следственной комиссии при III Отделении гвардии капитан Панютин, со старшим помощником надзирателя 1 квартала Московской части поручиком Андреевым, прибыли в дом Лихачева, состоящий по Владимирскому проспекту под № 3-й, в квартиру дворянина Василия Алексеева Слепцова, производил строгий осмотр в его имуществе, где найденные у него бумаги и письма, опечатав его, Слепцова, печатью, взял для рассмотрения оных в означенную комиссию, а самого Слепцова по приказанию начальства арестовал. О чем на месте составлен сей акт.

Гвардии капитан П а н ю т и н
Дворянин Василий Алексеев С л е п ц о в
При сем находился студент Михаил Ш е р ш е в с к и й
При сем находился заведывающий домами ⟨*подпись прзб.*⟩
При сем находился старший помощник надзирателя
поручик А н д р е е в

2

ЗАПИСКА СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ О РАССМОТРЕНИИ БУМАГ, ВЗЯТЫХ ПРИ ОБЫСКЕ У СЛЕПЦОВА

⟨1 мая 1866 г.⟩

1866 года мая 1 дня рассмотрены бумаги, взятые при обыске, произведенном по распоряжению его сиятельства графа Муравьева у дворянина *Василия Слепцова*. В бумагах оказались разные статьи, как бывшие в печати в «Современнике», так и не напечатанные; последние принадлежат к первым опытам молодых писателей и поэтов и не заключают ничего ни подозрительного, ни серьезного.

Письма от также молодых писателей с просьбами рассмотреть и содействовать к напечатанию.

Никакой другой переписки нет.

Фотографические карточки *, между которыми есть портрет г-жи Европеус.

Статский советник З е л е н о й
Штабс-капитан барон Р о з е н

3

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СЛЕПЦОВА В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЧАСТИ

⟨8 июня 1866 г.⟩

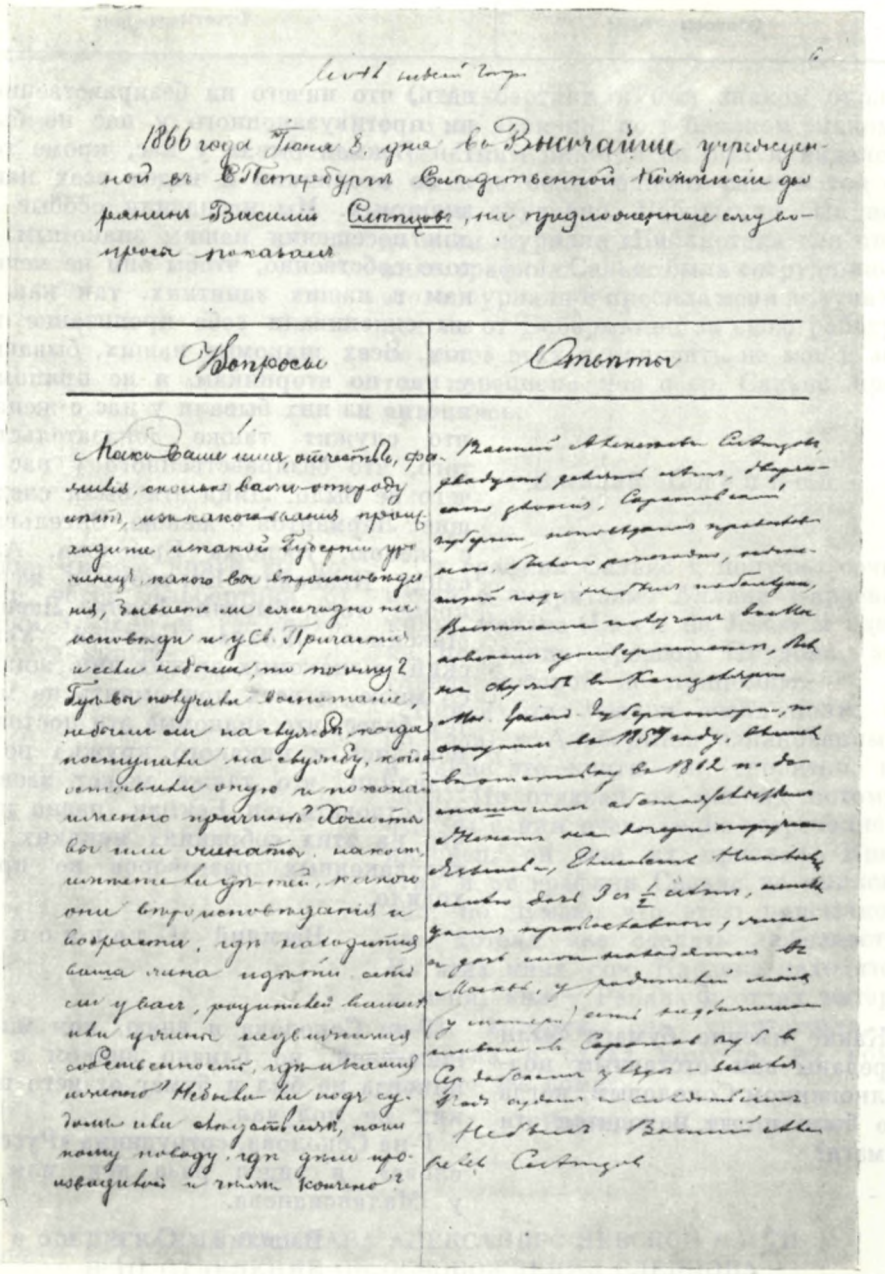
1866 года июня 8 дня в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии дворянин Василий *Слепцов* на предложенные ему вопросы показал:

---

* В архиве не обнаружены.— *Ред.*

Вопросы	Ответы
1 Как ваше имя, отчество, фамилия, сколько вам от роду лет, из какого звания происходите и какой губернии уроженец, какого вы вероисповедания, бываете ли ежегодно на исповеди и у св. причастия и если не были, то почему? Где вы получили воспитание; не были ли на службе, когда поступили на службу, когда оставили оную и по какой именно причине? Холосты вы или женаты, на ком, имеете ли детей, какого они вероисповедания и возраста, где находятся ваша жена и дети, есть ли у вас, родителей ваших или у жены недвижимая собственность, где и какая именно? Не были ли под судом или следствием, по какому поводу, где дело производилось и чем кончено?	Василий Алексеев Слепцов, двадцать девять лет, дворянского звания, Саратовской губернии, исповедания православного, ⟨на исповеди и у св. причастия⟩ бываю ежегодно, нынешний год не был по болезни. Воспитание получил в Московском университете, был на службе в канцелярии московского гражданского губернатора, поступил в 1857 году, вышел в отставку в 1862 *по домашним обстоятельствам*. Женат на дочери поручика Языкова, Елизавете Николаевне, имею дочь 3 с $^1/_2$ лет, исповедания православного, жена и дочь мои находятся в Москве, у родителей моих (у матери) есть недвижимое имение в Саратовской губернии в Сердобском уезде — земля. Под судом и следствием не был. Василий Алексеев Слепцов
2 С какого времени вы живете в Петербурге, где и когда прежде жили, в чем состояли и теперь состоят ваши занятия, какие имеете средства к жизни? Кого вы имеете близких знакомых в Петербурге или других местах и с кем из них состоите в переписке?	Живу в Петербурге с 1862 года. Прежде жил в Москве, средства к жизни получал от матери, а впоследствии стал зарабатывать литературным трудом: в 1862 году по прибытии в Петербург отдал статью «Письма об Осташкове» в «Современник», но вследствие временного прекращения этого журнала работал в «Северной пчеле», затем с 1863 года снова в «Современнике»; писал очерки, рассказы и сцены большею частию из народного быта. Близкие знакомые мои: Головачев, Малаксианов, Воронина и дядя мой Слепцов (живущий в Сердобском уезде), с последними двумя состою в переписке. Кроме этих лиц, знаю в лицо многих из литераторов, но *не знаком* с ними, в том числе знаю Худякова, которого видал в книжных магазинах; несколько ближе знаком с главными сотрудниками «Современника», которых видал в редакции этого журнала; у некоторых из них бывал, но редко,

Вопросы	Ответы
	а именно: у Пыпина, Антоновича, Елисеева и Жуковского. Василий Слепцов
3 Из дела видно, что вы были в близких сношениях с Ножиным Николаем. Комиссия требует от вас объяснения: когда и по какому случаю вы с ним познакомились, в чем именно состояли ваши сношения с ним, часто ли вы виделись и в чем состояли ваши разговоры с ним?	С Ножиным я совершенно не был знаком, а видел его один раз в фруктовом магазине и не говорил с ним ни одного слова. Василий Слепцов
4 Из дела видно, что вы занимали квартиру в доме Бекмана, с несколькими лицами, объясните, с кем именно и по какому случаю была у вас с ними одна общая квартира?	Я действительно нанимал с 1 сентября 1863 по 1 июня 1864 года на свое имя большую квартиру в доме Бекмана; в этой квартире жили со мною мои знакомые: Головачев, Языков, Ценина, Коптева, Маркелова, княжна Макулова. Цель этой общей квартиры была чисто экономическая: мы имели в виду удобное и дешевое помещение, которого никто из нас не мог иметь, живя отдельно. Но особенной выгоды от этого мы не имели, потому что никогда квартира не была наполнена совершенно; так, например, вначале жили мы вчетвером: я, Головачев, Маркелова и Ценина (с детьми), потом поселилась к нам Коптева; затем Коптева и Ценина съехали, а вместо них жила месяца три Макулова; после того Маркелова съехала и переехал к нам Языков, брат моей жены. Таким образом видно, что все семеро вместе мы никогда не жили и вообще наше общее хозяйство не имело коммунистического характера, а было основано чисто на выгоде, что может засвидетельствовать хозяин дома г-н Бекман, который вначале, пока не был знаком с нами,— подозревал в нашем хозяйстве что-то предосудительное; но именно вследствие этого подозрения г-н Бекман сблизился с нами всеми и бывал у нас очень часто с целию узнать короче цель нашего сожития, и я уверен, что он может засвидетельство-



1866 года Іюня 8. дня въ Высочайше учрежденной въ С.Петербургѣ Слѣдственной Коммиссіи дворянинъ Василій Слѣпцовъ, на предложенные ему вопросы показалъ

Вопросы	Отвѣты
Какъ ваше имя, отчество, фамилія, сколько вамъ отъ роду лѣтъ, изъ какого званія происходите и какой Губерніи уроженецъ, какого вы вѣроисповѣданія, бываете ли ежегодно на исповѣди и у Св. Причастія и если небыли, то почему? Гдѣ вы получили воспитаніе, небыли ли на службѣ, когда поступили на службу, когда оставили оную и по какой именно причинѣ? Холостъ вы или женатъ, какого, имѣете ли дѣтей, какого они вѣроисповѣданія и возрасти, гдѣ находится ваша жена и дѣти, есть ли у васъ, родителей вашихъ или у жены недвижимыя собственности, гдѣ и какія именно? Небыли ли подъ судомъ или слѣдствіемъ, по какому поводу, гдѣ дѣло производилось и чѣмъ кончено?	Вашей Алексѣевы Слѣпцовъ, двадцать девять лѣтъ, дворянскаго званія, Саратовской губерніи, поповѣданія православнаго, былого ежегодно, исключая годъ не былъ по болѣзни, Воспитаніе получилъ въ Московскомъ университетѣ, былъ на службѣ въ Канцеляріи Мос. Гражд. Губернатора, поступилъ въ 1857 году, вышелъ въ отставку въ 1862 г. по домашнимъ обстоятельствамъ. Женатъ на дочери [illegible] Ульяновой, Елисаветѣ Николаевнѣ, имѣю дочь 3 съ ½ лѣтъ, исповѣданія православнаго, жена и дочь мои находятся въ Москвѣ, у родителей моихъ (у матери) есть недвижимое имѣніе въ Саратовской губ. въ Сердобскомъ уѣздѣ — [illegible] Подъ судомъ и слѣдствіемъ Небылъ. Вашей Алексѣевъ Слѣпцовъ

ПОКАЗАНИЯ СЛЕПЦОВА, ДАННЫЕ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ
8 ИЮНЯ 1866 г.

Лист первый

Архив Октябрьской революции, Москва

Вопросы	Ответы
	вать, что ничего ни безнравственного, ни противузаконного у нас не было. Г-н Бекман бывал у нас, кроме того, и по вторникам и видел всех наших знакомых. Мы назначили особые дни для посещения нашим знакомым для того собственно, чтобы они не мешали нам в наших занятиях, так как все мы снискивали себе пропитание трудом. Всех знакомых наших, бывавших у нас по вторникам, я не припомню, многие из них бывали у нас с женами, что служит также доказательством того, что безнравственного у нас ничего не было. Лица эти были следующие: Лермантов с женою, Энгельгардт с женою, госпожа Ермолова, Александр Иванович Европеус с женою; кроме того, бывали: Толль, Левитов, Максимов, Жохов, Семенов, Успенский, а знакомых других лиц, живших со мною, я всех припомнить не могу, тем более, что знакомые эти постоянно менялись и никакого кружка не составляли, что также может засвидетельствовать г-н Бекман, равно и то, что на этих собраниях никаких противузаконных разговоров не происходило. Василий Слепцов
5 Какие именно бумаги были переданы вам отставным подполковником Соколовым, когда это было и где находятся эти бумаги?	Г-на Соколова я знаю, как многих писателей, но близко знаком с ним никогда не был и бумаг от него никаких не получал. Г-на Соколова, сотрудника «Русского слова», я видел раза два или три у Малаксианова. Василий Слепцов
6 В чем состояли сношения ваши с графинею Сальяс и Альбертини, когда и по какому случаю вы познакомились с ними?	Я познакомился с графинею Сальяс в Москве, в 1861 году, как с редактором газеты «Русская речь», в которой я состоял сотрудником, по отъезде же графини Сальяс за границу я в 1863 году состоял с нею в переписке, по поводу денег, которые она просила меня получить с г-на Боборыкина, и затем переписка моя с нею прекратилась.

Вопросы	Ответы
	С Альбертини я был знаком около того же времени, но в близком знакомстве с ним никогда не был и видался с ним не более одного раза в год и притом случайно. Боборыкин был издателем журнала «Библиотека для чтения», графиня Сальяс была сотрудником этого журнала и просила меня получить деньги от Боборыкина за свою работу; но денег этих я получить не мог и затем переписка моя с гр. Сальяс прекратилась. Василий Слепцов
7 Какие именно книги вы получали через Альбертини от графини Сальяс и где находятся эти книги?	От графини Сальяс я получил сочинение о спиритизме Аллана Кардека, книгу Ренана «La vie de Jesus» и одну из последних брошюр Прудона, заглавие которой не припомню. Книги эти лежали очень долго (с полгода) у Альбертини запакованные, и какие это книги—он, вероятно, не знал. Не отдавал он мне их потому, что мы с ним очень редко встречались; наконец, он мне их прислал. Книг этих я от графини Сальяс не выписывал, но думаю, что этою присылкою она хотела мне сделать любезность. Из этих книг, соч. Кардека находятся у меня, книгу Ренана я отдал матери моей, которую она уничтожила, а Прудона я отдал кому-то, но кому именно не помню. Василий Слепцов

4

ТЕЛЕГРАММА ПРИСТАВА АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЧАСТИ В III ОТДЕЛЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СЛЕПЦОВА

〈18 июня 1866 г.〉

Содержащийся в Александро-Невской части за III Отделением дворянин Василий *Слепцов* вследствие депеши сего числа отослан в Литейную часть для отдачи матери его с *учреждением за ним полицейского надзора*.

Константиновский

Документы печатаются по делу «Производство высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии. О дворянине Василии Слепцове». При сем следуют бумаги в простыне № 31. Начато 30 апреля — кончено 17 июня 1866 года» (ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, д. 278, лл. 1, 2, 6—13, 15).

В том же деле имеются: прошения к М. Н. Муравьеву матери писателя — Ж. А. Слепцовой — о разрешении Слепцову работать в заключении (14 мая), об ускорении допроса (6 июня), о разрешении взять его на поруки (14 июня) и телеграмма из штаба корпуса жандармов об отправке Слепцова из 2-го сухопутного госпиталя обратно в Александро-Невскую часть (23 мая).

В деле 278 есть ссылка на дело 172, в котором находим следующую черновую записку:

«Из лиц, составляющих это опасное по его крайней безнравственности общество, известны до сих пор коллежский регистратор Василий *Слепцов*, тверской помещик Аполлон *Головачев*, коллежский секретарь Владимир *Языков*, княжна Екатерина *Макулова*, жена губ. секр. Екатерина *Цапина* ‹Ценина› и дочь коллежского советника девица *Меркулова* ‹Маркелова›. Лица эти прибыли в дом Бекмана в октябре прошлого года из 1-го квартала Васильевского острова.

Подробностей о настоящих действиях их еще нет, но известно, что квартира их состоит из 11 комнат, и по вторникам у них собирается до 20 человек молодежи обоего пола.

Учредив за деятельностью этих вредных людей самое неослабное наблюдение, долгом считаю донести о сем вашей светлости предварительно, покорнейше прося сохранить секрет впредь до обнаружения мною положительных данных к их обличению» (ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 172, л. 100).

Имена Слепцова, А. Головачева, «домовладельца Бекмана», Д. Минаева и других упоминаются в этом деле и на лл. 1б (среди лиц, «значащихся в заявлениях» «по поводу злодейского покушения на жизнь государя императора 4 апреля 1866 г.»), 117—118 об. и в докладных записках В. А. Александровской.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В воспоминаниях матери Слепцова были строки, не пропущенные цензурой при опубликовании их в «Русской старине» (1890, № 1) и сохранившиеся в рукописи. Ж. А. Слепцова рассказывала об аресте сына: «...самый ужасный период его жизни — это погром петербургский, каракозовский период и муравьевская сила, где начались сильные аресты; почти весь „Современник“ был арестован. Я в это время была в Петербурге и страшно боялась за моего сына. Прихожу раз к нему, он не один, я раскрыла его альбом — и стала вынимать карточки уже арестованных. В. А. заметил, подошел и сказал: „Нет, не надо вынимать; я литератор и мало ли кого знал“. Я его спросила: „А если тебя арестуют, то как мне поступить“; он, чтобы меня успокоить, с милой улыбкой ответил: „Да за что? Ну, а если и арестуют, то через дня два выпустят, и я вам перешлю ключи через студента Ш., который живет против моего №“ (он квартировал на углу Невского и Владимирской, в доме Лихачева). Я ушла, но на другой день в 8 часов утра позвонил в мою квартиру студент Ш. и сказал: „Ключи я вам принес, В. А. в 3 часа ночи арестовали и отвезли в Александровскую часть“. Я чуть не упала; хорошо знала Муравьева и его безмилосердие, да и не знала я вины сына моего; но тут же отправилась в Александровскую часть, думая что-либо узнать, да и передать ему что-либо питательное, зная его плохое здоровье. Но меня квартальный и частный приняли ужасно неприветливо и ответили, что здесь никого не привозили, хотя я на окошке видела его вещи с № и фамилией; отправили меня в III Отделение, где прекрасный майор Бабушкин по книге отыскал фамилию сына и сказал, что он в Александровской части и что нужно, чтобы я опять явилась и просила генерала Мезенцева, и вот я всякий день, два раза в день ходила в III Отделение. Письма я получала, свидание не позволяли. Я всякий день приходила через частный двор и смотрела в окна с решетками и раз увидала в форточку В. А., и он и я — как мы обрадовались; но одна минута, и частный велел удалиться. Помещение В. А. было ужасно, грязная комната в 3 аршина, вся оплеванная, кровать полна клопов и мешок набит трухой сенной, и 10 коп. в сутки, и на ночь ушат под названием параша, а из окна смрад. Ни книг, ни бумаги. Я поехала к дяде Бутурлину, который хорошо был знаком с Муравьевым. Дядя, хотя больной, но поехал к Муравьеву, который его успокоил, что его внук в дурных делах не замешан, но все же его продержали 7 недель и отдали мне его на поруки, больного, с опухшими ногами, оглохшего, исхудалого; вот арест-то его и свел в преждевременную могилу» (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 2584, л. 7).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «О вредном направлении некоторых журналов и о лицах, в них участвующих».— ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, д. 279, л. 4.

[2] Ф. М. Решетников. Дневник.— «Литературное наследство», т. 3, 1932, стр. 181.

[3] «Из Петербурга».— «Колокол», 1866, № 221, от 1 июня, стр. 1806; А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XIX. М., 1960, стр. 84.

[4] «Гласный суд», 1866, № 4, от 5 октября.

[5] Дело III Отделения «О покушении на жизнь государя императора, ч. 15. По просьбе арестованных лиц в дозволении им иметь свидание с родными» (ЦГАОР, ф. 109, 1866 г., 1 эксп., д. 100, лл. 14, 19, 25, 28; ч. 50 — «О Ворониной и Слепцове», телеграмма ген. Мезенцева смотрителю госпиталя 22 мая 1866 г., л. 7).

«Производство высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии о дворянине Василии Слепцове», прошения Ж. А. Слепцовой М. Н. Муравьеву 14 мая, 6 и 14 июня 1866 г., телеграмма дежурного офицера Мурашева в штаб корпуса жандармов 23 мая 1866 г. (там же, ф. 95, оп. 1, д. 278, лл. 3, 4, 14).

[6] Из агентурной записки о смерти и похоронах Д. И. Писарева 30 июля 1868 г.— ЦГАОР, ф. 109, С. а., оп. 1, д. 2085, л. 12.

[7] «Дело канцелярии московского обер-полицеймейстера. По отношению с.-петербургского обер-полицеймейстера об учреждении надзора за отставным коллежским регистратором Василием Слепцовым, обвинявшимся в принадлежности к нигилизму». Октябрь 1867 — ноябрь 1877 (ГИАМО, ф. 46, оп. 1, ед. хр. 710, лл. 2, 25);

«Дело канцелярии с.-петербургского губернатора об учреждении негласного бдительного надзора полиции за отставным коллежским регистратором Василием Алексеевичем Слепцовым» (ГИАЛО, ф. 253, оп. 6, ед. хр. 98, лл. 1—4).

[8] О. М. Антонович-Мижуева. Из воспоминаний.— «Лит. наследство», т. 25-26, 1936, стр. 239.

[9] ЦГАОР, ф. 109, 1866 г., 1 эксп., ч. 116, д. 100, л. 47.

[10] *Андрей Васильевич Малаксианов* — сын таганрогского купца 3-й гильдии, воспитанник таганрогской гимназии, учился с 1854 г. в Московском университете на медицинском факультете (ГИАМО, ф. 418, оп. 23, ед. хр. 283).

[11] В конце апреля 1866 г. в Петербурге даже распространились слухи о выдаче всем работающим девушкам-переплетчицам, наборщицам и т. д.— желтых билетов. По этому поводу, как доносили агенты III Отделения, устраивались сходки, совещания, в которых принимали участие «Василий Алексеевич *Слепцов*, барон *Косинский*, Петр Лукич *Спасский*, *Чеславский*, *Михайлов*, Николай *Курочкин* и многие другие, человек за тридцать» (ЦГАОР, ф. 109, С. а., оп. 1, д. 1662, лл. 1—2).

В бумагах Н. Ножина (вероятно, ошибка канцелярии, нужно: Н. Курочкина) сохранилась записка, написанная карандашом, в которой выражается тревога по поводу этих слухов и предлагается собраться для разъяснения вопроса. Рукою Н. Курочкина, по-видимому, во время допроса, написано внизу: «Записка эта списана мною. Лекарь Н. Курочкин. 30 апреля 1866 г.» (ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 154, л. 9).

[12] Некоторые письма к В. З. Ворониной опубликованы в книге К. И. Чуковского «Люди и книги шестидесятых годов». Л., 1934; большинство же не издано и хранится в ЦГАЛИ. Исполненные глубокого уважения к женщине, к ее труду, серьезного, тонкого понимания особенностей ее натуры, они могут служить еще одним противовесом нелепой клеветы о Слепцове — «легкомысленном Дон-Жуане» — и доказательством практической помощи писателя женщинам в их стремлении к равноправию, образованию, труду.

[13] ЦГАОР, ф. 109, 1866 г., 1 эксп., д. 100, ч. 50.— О Ворониной и Слепцове, лл. 1—7.

[14] ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 176, л. 19 об.

[15] Письмо Слепцова к М. А. Маркович от 23 февраля ⟨1863 г.⟩ — Марко Вовчок. Твори, т. IV. Київ, 1928, стр. 171 (с неверной датировкой: 28 июля).

[16] Едва ли не был знаком Слепцов и с самим Каракозовым — его земляком (по Сердобскому уезду), также гимназистом пензенской гимназии, студентом Московского университета.

[17] Евг. Колосов. Н. К. Михайловский в деле Каракозова.— «Былое», № 23, 1924, стр. 52.

[18] Донесение с.-петербургского обер-полицеймейстера И. В. Анненкова с.-петербургскому генерал-губернатору Суворову от 8 марта 1864 г.— стр. 452 настоящего тома.

II. БУМАГИ, ВЗЯТЫЕ ПРИ ОБЫСКЕ

Бумаги Слепцова, взятые жандармами на квартире писателя при его аресте, были доставлены («в простыне № 31») в III Отделение, где и остались в Секретном отделе этого учреждения. Мы познакомились с ними почти через сто лет после того, как они были отобраны у писателя (ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 176—198. Приложение к делу Слепцова: «Производство высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии. О дворянине Василии Слепцове. При сем следуют бумаги в простыне № 31. Начато 30 апреля — кончено 18 июня 1866 года». Далее указываем лишь единицы хранения и листы).

В двадцати трех папках находятся разнообразные материалы, в том числе рукописи Слепцова. Большая часть рукописей, содержащих тексты писателя, оставшиеся до сих пор неизвестными, опубликованы нами в настоящем томе «Литературного наследства». Таковы рассказы, наброски и сценки: «О Нижегородской железной дороге», «Охотник», «Ненастный день», «Через несколько минут...», «Осенний вечер...»; фельетоны: ‹«После 19 февраля 1861 г.»›, «Мнение о народном образовании», «Притчи и видения», «Провинциальная хроника», «Речь, за которую я мог бы быть изгнан...», «Письмо из Москвы», «Игры и зрелища», «Книжная торговля...», статья о Гоголе, записная книжка писателя и несколько мелких набросков к художественным и публицистическим произведениям.

Задача настоящего обзора дать полное представление о бумагах, взятых жандармами при аресте Слепцова, включая и те, которые по разным причинам остались за пределами публикаций настоящего тома.

* * *

Все взятые у Слепцова его собственные автографические рукописи были сброшюрованы в III Отделении в 23 тетради. Чиновник, выполнявший эту работу, расположил рукописи более или менее произвольно, вне зависимости от времени создания их, степени завершенности, жанра произведений. Так, за рассказом «О Нижегородской железной дороге» (1861) была помещена критическая статья о Гоголе (1860), за ней — статья ‹«После 19 февраля 1861 г.»›, письмо-объяснение Слепцова по поводу корреспонденции «Из Новгорода» (1862), рассказ «Охотник» (1863), статьи «Мнение о народном образовании» (1861) и «Книжная торговля...» (1865), несколько мелких набросков, начало цикла «Скромные упражнения» (1865), еще наброски, наконец, рукопись эпизода из рассказа «Свиньи» (1864).

Некоторые листы слепцовских автографов попали в тетради с чужими рукописями (например, рассказ «Ненастный день»); другие — оказались вшитыми в разные места тетради («Игры и зрелища») или же подложенными не в последовательном порядке страниц («Охотник»). Встречаются листы, производящие впечатление скомканных, смятых, а затем расправленных, иногда они оборваны (не были ли эти листы извлечены во время обыска из корзины для бумаг?).

Каждая тетрадь сброшюрована из рукописей нескольких произведений или набросков. Исключение составляет тетрадь, в которой помещены «Притчи и видения». Быть может потому, что это единственная рукопись, в конце которой стоит подпись Слепцова, она не объединена с другими.

Листы в тетрадях порою разного формата и цвета (бледно-голубого, белого, желтоватого). Как правило, на бумаге бледно-голубого цвета Слепцов переписывал набело, подготавливая рукопись к печати. Такова, кстати, бумага и большей части наборной рукописи повести «Трудное время», найденной С. А. Макашиным среди бумаг А. М. Скабичевского, хранившихся у его родственников (ныне в ИРЛИ).

Пагинация листов — двойная: карандашом — только для данной тетради; чернилами — общая для нескольких тетрадей. Страницы то использованы полностью, то частично; иногда запись сделана лишь в начале страницы, в углу или в конце ее, иногда заполнена и оборотная сторона листа.

На двух свободных от текста листах находим сделанные рукою Слепцова записи адресов: 1) «В Серг‹иевской›, д. № 20, кв. 17, Игельстром» (это фамилия бабки Слепцова по матери) и 2) «Гороховая, у Каменного моста, д. Буха, № 38, пройдя мастерскую на правой руке, 2 дом, *Неучтивый молодой человек*» (здесь, по-видимому, адрес случай-

ного знакомого, фамилию которого Слепцов не знает, а может быть, он сознательно скрывает фамилию лица, напоминая себе лишь прозвище или внешний вид (ед. хр. 182, лл. 33 и 74).

Имеются на свободных местах также наброски планов будущих статей, например, «Домашний очаг» (см. вступ. заметку к циклу «Новости петербургской жизни») или записи отдельных деталей, затем использованных в некоторых произведениях в переработанном виде. Например:

Записи	Произведения
	«Трудное время»
а) «⟨Время⟩, знаете, рабочее, и каждый день дорог, а я их на хлеб, на воду на неделю и засадил, а сам уехал» (там же, л. 69).	«...отобрал десять человек — в анбар, на хлеб и на воду! Время-то, знаете, рабочее, мужику каждый час дорог,— сиди!» (II, 96).
	«Письма об Осташкове»
б) «Вечером опять слышу: „Ах, мошенники, ах, мошенники! Губители вы мои! ах, ах!..“ Ничего не понимают» (там же, л. 71).	«...Мужики по-прежнему *ничего не понимают*, помещик по-прежнему орет: „Ах, губители! Уморили... а? Ах, губители!“..» (II, 223).
в) Цирюльник Побрить прикажете? Мужчина Брей. (там же, л. 60).	«Ненастный день» ⟨слова кауфера:⟩ «— Bonjour, monsieur! Un coup de fer, sil vous plait!» (см. публикацию на стр. 66 настоящего тома).

* * *

Обращаемся к описанию бумаг Слепцова, оставшихся за пределами публикаций в настоящем томе «Литературного наследства».

РУКОПИСЬ НЕОПУБЛИКОВАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

«Записки самоубийцы» (другой вариант заглавия — *«О самоубийстве»*); начало: «Мысль о самоубийстве явилась у меня не вдруг...» Черновой автограф незаконченного произведения, по-видимому, повести (ед. хр. 185, лл. 1—29). Этот замысел трудно датировать точно. Можно лишь сказать, что повесть создавалась не позднее апреля 1866 г., времени ареста писателя, и не ранее 1861 г.; в рукописи имеются упоминания о Гейне, с произведениями которого герой мог быть знаком по подлинникам (собрание сочинений Гейне издавалось в Гамбурге в 1861—1864 гг.) или по переводам русских поэтов (под ред. П. И. Вейнберга, 1864 г.) , а также упоминание о книге Либиха «Письма о химии», вышедшей в России в 1861 г.

По содержанию и форме это произведение не похоже на другие художественные вещи Слепцова. Герой его — автор «Записок» — человек патологически сосредоточенный на своей личности, «зритель самого себя», склонный к кропотливому самоанализу, нудной рефлексии; он вынашивает маниакальную идею самоубийства и осуществляет ее, подвергая себя медленному истощению. Слепцов ставит здесь вопрос о том, как пагубна изолированность человека от жизни, от общества, эгоцентрическая углубленность в свой индивидуалистический мир. В произведении образно реализована мысль, высказанная в публицистической форме в незавершенной статье Слепцова «Человек всегда был...»: «Прошло время, когда думали, что только свернувшийся в самого себя человек долгим и неусыпным наблюдением над самим собою и совершенным отречением от всего внешнего мира может дойти до высшей степени самопознания» (см. выше, стр. 385).

РУКОПИСИ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

а) *«Письма об Осташкове»*. Черновой автограф одной из глав и фрагменты другой главы этого произведения Слепцова 1862—1863 гг. Рукопись представляет собою тетрадь из восьми листов, сшитых суровыми нитками. Заглавие «Письма об Осташкове» написано карандашом; весь текст, за исключением конца и некоторых вставок,— чернилами (ед. хр. 181, лл. 1—10). Глава не имеет порядкового номера, но по содержанию, материалу она близка к шестому письму — «Именины» (II, 244—254), ошибочно обозначенному в «Современнике» как письмо седьмое (1863, № 6, стр. 439—449). Сравнение черновой рукописи с печатным текстом показывает, что автор, подготавливая это «письмо» к публикации, проделал большую дополнительную работу: заменены многие слова и выражения, вставлены целые абзацы в авторских описаниях и в диалогах героев. Так, отсутствовали в рукописи следующие места печатного текста: «Но несмотря на все превосходство этого способа ∾ самых шатких способов» (II, 244); «Этому возрастанию ∾ не успели» (II, 246); «Далее разговор не продолжался ∾ Это было весело» (II, 247); «Что ж, еще рюмочку ∾ покатились гости» (II, 250); «Еще банковские должники ∾ будут на хозяина работать» (II, 252). Нет в рукописи и авторских примечаний внизу страницы.

Некоторые мысли, выраженные в черновой рукописи лапидарно, при подготовке текста к печати получили дополнительное развитие: например, мысль о роли наблюдателя.

Был внесен ряд изменений, относящихся к отдельным частностям. Так, слово «смотритель» заменено словом «знакомый» (и ему дано вымышленное имя: Иван Иванович); вместо «священник» всюду поставлено: «причетник». Это делалось, надо полагать, не только по соображениям цензурного характера (иронически изображаются лишь нижние чины и нейтральные лица), но и потому, что писатель узнал: осташковские власти преследуют тех «злоумышленных лиц», которые дали автору «Писем об Осташкове» сведения о городской жизни.

В некоторых случаях в тексте устранено ироническое выражение, применительно к обитателям Осташкова; «гражданин» заменено: «человек», «чиновник». Разумеется, это сделано в угоду цензуре.

О том, как писатель искал в своей работе выразительного колоритного слова, видно хотя бы на одном примере. На полях рукописи, против абзаца: «Хозяин оживился и стал ежеминутно бегать в кухню», карандашом написано слово: *«мышионально»* (в смысле механически, машинально); это слово используется позднее в печатном тексте; его дважды произносит хозяин — рыбный промышленник (II, 249, 250).

Закончив в рукописи это «Письмо об Осташкове», Слепцов тут же набрасывает план следующих глав:

«8-ое письмо.

Летопись. Стихи. Репетиция.

9-ое

Инспектор. Учитель. Соседи. Рассказ Абабкова Прогулка на прощание. Отъезд»

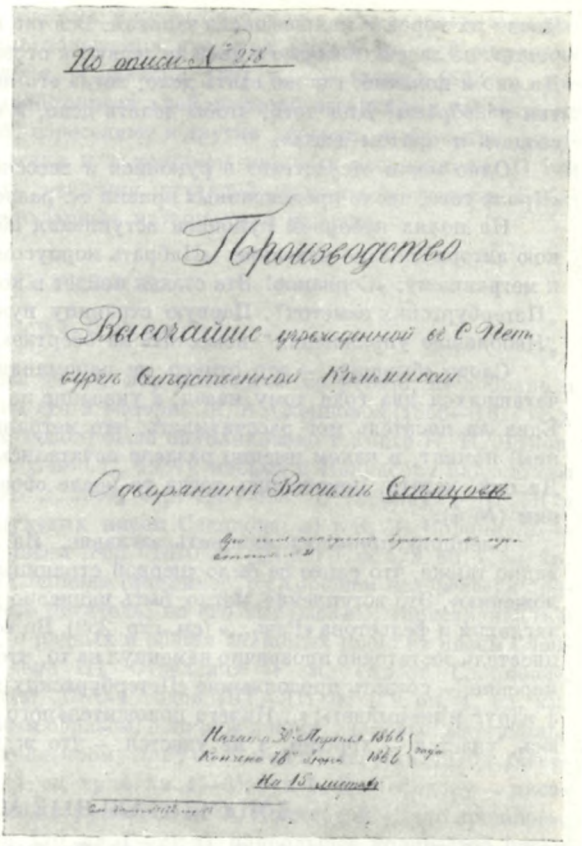
В окончательном тексте этот план реализован в письмах 7—10 (II, 255—281).

За планом следует заглавие: *«Письмо осьмое»* и три абзаца. Первый из них совпадает с началом окончательной редакции седьмого (в «Современнике», восьмого письма): «Попалась мне рукописная книжка ∾ тоже удалось найти». Второй абзац остался в рукописи:

«Меня очень поразило следующее обстоятельство, в городе есть публичная библиотека, где выписывается до...* журналов и газет, а между тем публика пробавляется рукописными тетрадями и, по-видимому, довольствуется ими больше, нежели печатными книгами». Наконец, третий абзац в несколько измененной редакции вошел в печатный текст (II, 262); он содержит название источников «Летописи города Осташкова»,

---

* Здесь Слепцов оставил место для цифры.— *М. С.*


По описи № 978

Производство

Высочайше учрежденной 6 Сент.
сурск. Следственной Комиссии

О сокрании Василия Слепцова

Начато 30 Апреля 1866
Кончено 18 Июня 1866
На 15 листах

ОБЛОЖКА СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА СЛЕПЦОВА, 1866 г.

К делу приложены рукописи статей Слепцова, изъятые у него при аресте 30 апреля 1866 г.

Архив Октябрьской революции. Москва

составленной «каким-то священником», и рубрики этой «Летописи». Приводим текст третьего абзаца по рукописи:

«Летопись в толстом хорошем переплете, писана старинным поповским почерком очень чисто и разделена на рубрики такого свойства: Местоположение города. Воздух. Пространство озера Селигер и проч. Состоит эта летопись большею частию из выписок из „Истории“ Татищева, Карамзина, „Пантеона российских государей“, „Зерцала российских государей“ и „Жития святых“. Кроме того, есть в ней изустные предания и наблюдения самого автора».

б) «*Скромные упражнения*». Наборная рукопись начала цикла, опубликованного в «Современнике» (1865, № 9): вступление и первый фельетон, озаглавленный «Досадное положение» (ед. хр. 182, лл. 68 и 184, 8—35). В рукописи вступления имеются исправления. Изменено заглавие: вместо «Небольшие упражнения» — «Скромные упражнения». Зачеркнута первая фраза: «Года два тому назад я было попробовал...»; имеется несколько других мелких разночтений.

Беловая рукопись первого фельетона «Досадное положение» также дает разночтения с печатным текстом. Приведем некоторые из них. Так, несомненно, по цензурным соображениям были изъяты следующие подчеркнутые нами слова: «...Такую совокупность преступления совершить, какой *и в своде законов не полагается*»; «...просто некуда было бы сажать, *и пришлось бы строить один общий громадный острог*»; «Государство лишилось бы своих подданных, *или, вернее сказать, верноподданных, потому что преступники тоже подданные, только не верноподданные*».

В некоторых случаях писатель по-иному формулирует мысль. Сравни, например, абзац: «Вследствие разных ложных удовлетворений ∾ что бы это такое сделать?» (II, 349) со следующим местом, зачеркнутым в рукописи: «Вследствие ограниченности наших потребностей, в свою очередь, и число известных занятий ограничивалось, но, несмотря на это, действительно и серьезно занятых людей все-таки ужасно мало.

Число их гораздо меньше числа занятий. Вся так называемая публика состоит большей частию из людей, которые и дела не делают и от дела не бегают, а так как-то путаются. Да оно и понятно: где же взять дело, когда его нет, когда все места заняты, все занятия разобраны? Для того, чтобы делать дело, в настоящее время нужно самому его создать и притом знать».

Одно место отсутствует в рукописи и внесено автором, вероятно, в корректуре: «Кроме того, число предписанных правил ∾ разнообразны до бесконечности» (II, 340).

На полях наборной рукописи вступления обозначены фамилии наборщиков; рукою автора сделано указание: «Набрать корпусом»; здесь же обращение, по-видимому, к метранпажу: «Сорванов! Эта статья пойдет в конце, после политики, вместо бывших „Петербургских заметок". Первую страницу нужно напечатать отдельно и заглавие „Небольшие упражнения" поместить на обертке».

Слово «бывших» — это отнюдь не напоминание о «Петербургских заметках», печатавшихся два года тому назад, а указание на заглавие, предполагавшееся теперь. Едва ли писатель мог рассчитывать, что метранпаж (даже если он оставался прежним) помнит, в каком именно разделе печатались в 1863 г. «Петербургские заметки». Да они, кстати, помещались тогда то после обозрения «Политика» (№ 6), то перед ним (№ 4).

Слепцову пришлось изменить заглавие. Из слов, обращенных к метранпажу, видно также, что ранее не было «первой страницы», т. е. вступления к «Досадному положению». Это вступление могло быть написано под влиянием запрещения циклового заглавия и фельетона «Речь...» (см. стр. 339). Во вступлении к «Досадному положению» писатель достаточно прозрачно намекнул на то, что едва ли сможет осуществить свое намерение — создать продолжение «Петербургских заметок»: «...Мало ли что задумаешь, а вдруг и не выйдет»; «...Ничего положительного не обещаю»; «...Вообще я не ручаюсь, удастся — хорошо, а не удастся — что ж делать?».

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

а) ⟨*«Летопись города Осташкова»*⟩. На больших листах бумаги ровным, четким («поповским») почерком, чернилами написана краткая история Осташкова, даны описание географического положения города и сведения о современной общественной жизни и быте осташковцев (ед. хр. 195, лл. 1—11). Это, по-видимому, и есть та «Летопись», о которой говорил Слепцов в «Письмах об Осташкове». Утерян «толстый хороший переплет», но на пожелтевших от времени листах находим то содержание, а на полях рукописи те рубрики, о которых шла речь в седьмом письме: «Местоположение города.— Воздух. — Пространство озера Селигера» (II, 262).

Сопоставление текста этого документа с соответствующим местом «Писем...» показывает, что Слепцов использовал «Летопись», то излагая ее содержание, то перефразируя отдельные места, то дословно цитируя. Не трудно при этом уловить иронию писателя. Ему ясна наивность «летописца», он видит характерную для «осташковцев» «страсть к древности», идеализацию «летописцем» патриархальных предков и стремление поставить их в пример современникам.

На двух последних листах этой тетради, не заполненных автором «Летописи» (лл. 12—13), Слепцов дал характеристику бумажной фабрики Акционерного общества Нарской мануфактуры; она напоминает те сведения о фабриках, которые Слепцов заносил в свою записную книжку (см. публикацию, стр. 404—418) и использовал в цикле «Владимирка и Клязьма». Эти два места заполнены, по-видимому, наспех; запись сделана карандашом, неровным почерком.

б) Копии материалов, освещающих некоторые частности в проведении крестьянской реформы в Полтавском уезде, в Харьковской и Олонецкой губерниях (ед. хр. 186, лл. 1—19).

Здесь журнал Олонецкого губернского по крестьянским делам присутствия (октябрь — ноябрь 1864 г.), напечатанный в местной типографии, деловая переписка начальника Харьковской губернии и предводителя дворянства Пащенко, мирового посредника Полтавского уезда, Сулима, о введении уставной грамоты в имении поме

щиков Бабаниных в 1861—1862 гг. Из этих документов узнаем о произволе помещиков, их приказчиков, о бесправном положении крестьян (они жалуются мировому посреднику на Бабаниных 27 ноября, 8 декабря 1861 г., 23 января 1862 г., жалуются на то, что им не отдают заработанный хлеб, женщин заставляют работать не два, а четыре дня, выгоняют из изб, переселяют в другие деревни, избивают); документы свидетельствуют и о пристрастии к помещикам мировых посредников. О том же говорит безымянный свидетель введения уставной грамоты в имении Бабаниных; его записка предваряет указанные материалы в тетради.

ПЕРЕПИСКА

Письма Слепцова

Эпистолярное наследие Слепцова до сих пор полностью не учтено, не собрано и мало еще известно. Несколько писем его к матери, Ж. А. Слепцовой (1866—1877 гг.), и к В. З. Ворониной (конца 1860-х годов) было опубликовано в книге К. И. Чуковского «Люди и книги шестидесятых годов» (Л., 1934); письма к Некрасову напечатаны в «Литературном наследстве», т. 51-52, 1949, стр. 493—498. В собраниях ИРЛИ и ЦГАЛИ хранятся подлинники следующих писем Слепцова: а) к В. З. Ворониной — писательнице, другу Слепцова — 19 писем 1866—1870 гг. (ЦГАЛИ, ф. 479, оп. 1, ед. хр. 17, лл. 1—42) о литературной работе Слепцова (например, о «Хорошем человеке») и произведениях В. З. Ворониной, которые писатель, по его выражению, «пристраивал» в «Искру» и «Отечественные записки», о родных и общих знакомых (одно из писем Слепцова к Ворониной находится в деле III Отделения — см. «Арест Слепцова», стр. 462, 464); б) к матери — 10 писем, 1870-х годов (ЦГАЛИ, ф. 479, оп. 1, ед. хр. 12, лл. 1—16): в них речь идет, главным образом, о личной жизни, здоровье, материальном положении; в) 2 письма к неустановленному лицу от 27 мая и 6 августа (1870 г.) частного характера (ЦГАЛИ, ф. 479, оп. 1, ед. хр. 4, лл. 1—3); г) к Ф. Д. Нефедову — писателю-народнику, этнографу — по поводу рукописи Л. Ф. Нелидовой «Дело прошлое», 1876 г. (ЦГАЛИ, ф. 342, оп. 1, ед. хр. 110, лл. 1—2); д) наибольшее количество писем Слепцова сохранилось в архиве его гражданской жены Л. Ф. Нелидовой (ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 271, лл. 1—186) — всего 120 писем и 6 телеграмм 1875—1877 гг. Они носят в основном личный характер, дают представление о Слепцове-человеке (некоторые цитаты и аннотации этих писем — см. во вступительной статье к «Биографическому очерку» Слепцова Л. Ф. Нелидовой и в сообщении о ее романе «На малой земле», стр. 488—492, 495—512); е) одно письмо к Я. П. Полонскому ⟨1863 г.⟩ с просьбой прислать стихотворение для мартовской книжки «Современника» (ИРЛИ, 12451/LXXб 4, л. 1); ж) записка к Е. П. Ковалевскому ⟨1863—1864 гг.⟩ по поводу выступления на литературном вечере (ИРЛИ, 18.080/CXV б 6, л. 1); з) 11 писем к М. А. Маркович 1863—1867 гг. (ИРЛИ, ф. 9526, LVI б 45, лл. 1—22) — в них просьбы предоставить работу переводчицам Маркеловой, Туманской, сообщение о литературных и денежных делах Маркович (Марко Вовчок), находившейся за границей. В этих письмах много намеков на тяжелое политическое положение в России. Из них, так же как из писем к Ворониной, мы узнаем о мерах предосторожности, конспирации, которые принимал Слепцов в переписке с друзьями и знакомыми: обычно он сам не подписывал и не советовал своим корреспондентам подписывать письма, не упоминал имени адресата; и) к неизвестному лицу — приглашение к А. Я. Панаевой (ИРЛИ, Р. III, оп. 1, ед. хр. 1932, л. 1). Указанные письма Слепцова в большей своей части остаются неопубликованными.

Письма к Слепцову

Надо полагать, что в предвидении ареста (в апреле 1866 г.) Слепцов уничтожил свою корреспонденцию, поэтому в руки полицейских чиновников попали лишь случайно уцелевшие письма, ему адресованные. Количество опубликованных и оставшихся в архивах писем к Слепцову невелико: а) 2 письма Некрасова от 25 октября 1873 г. и первой половины мая 1877 г. (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. XI. М., 1952, стр. 274, 414); б) письмо М. Е. Салтыкова-Щедрина от 26 апреля 1877 г.

(Н. Щедрин, т. XIX, стр. 93). Неопубликованы письма: а) Ж. А. Слепцовой 1875 г. (ЦГАЛИ, ф. 479, оп. 1, ед. хр. 8, лл. 1—2); б) Л. Ф. Нелидовой, 1875 г., 12 писем личного характера (там же, ед. хр. 5); в) Л. А. Слепцовой — сестры писателя (хозяйственного характера), 1876—1877 гг. (там же, ед. хр. 9, л. 1); г) В. Тарновского от 18 апреля 1877 г. (сообщает, что приедет к больному писателю с проф. Корженевским) (там же, ед. хр. 10, л. 1).

Перейдем к описанию писем к Слепцову, сохранившихся в его бумагах, отобранных при аресте: а) 6 писем В. В. Демидова (ед. хр. 176, лл. 3—14) — конторщика, автора записок и некоторых произведений, также оставшихся в бумагах Слепцова (см. ниже). В 1865—1866 гг., живя в Новой Ладоге, Демидов просит у Слепцова совета: что читать, делится своими литературными замыслами (например, сообщает о намерении написать повесть о молодом человеке, который противодействует «гадким обстоятельствам» (22 августа 1865 г., л. 5 об.). По ответным письмам Демидова можно судить, как оценивал Слепцов его литературную работу. Считая, по-видимому, содержание его произведений жизненным, интересным, Слепцов все же говорил о хаотичности построения, недостаточной литературной обработке материала: «Истинная моя благодарность,— пишет Слепцову Демидов,— за добрые советы, я вполне принимаю их, сознавая совершенную их справедливость, и скажу вам, что сам думал то же, что пишете и вы, т. е. я все тетради писал, как говорится, сплеча, совершенно не задумываясь над написанным и не имея ни времени, ни желания исправлять» (10 ноября 1865 г., л. 9). Перед нами один из примеров общения Слепцова с молодыми авторами. Мы видим, что он пользуется непререкаемым авторитетом, оказывает большое влияние на образ мыслей и общественное поведение своего корреспондента. «Попавши в Петербург,— пишет, например, Демидов,— и увидя там то, о чем в провинции не мечтал, и в особенности узнав вас, неминуемо должен был перемениться к лучшему 〈...〉 мало-помалу начал стряхивать с себя ту апатию и сонливость ума, которою наградила меня провинциальная жизнь и кабацкое завсегдатайство» (там же).

Эти письма дают нам представление о том, что являлось содержанием бесед Слепцова с Демидовым. Последний, явно отвечая интересам писателя, сообщает ему сведения о скучной, бессодержательной несправедливой жизни в провинции («Нищие с шарманщиками 〈...〉, пьянство, мошенничество, возгласы: „караул!“» (22 августа 1865 г., л. 5), о том, что всюду «деспотизм царствует», что «служба в высшей степени способна убивать в человеке мыслительные начала» (19 мая 1865 г., л. 4, что в Ладожский уезд из Петербурга были высланы две роты солдат для усмирения) бунта крестьян, и 80 мужиков были выпороты «либеральными» мировыми посредниками (14 марта 1866 г., лл. 13—14).

На одном из писем Демидова рукою Слепцова написано: «Керенский уезд, деревня Щербаковка, девицы Мария и Наталья Макуловы. 60 десятин земли проданы с аукциона 8 июля 1865». Речь идет, по-видимому, о продаже имения родственницами Е. А. Макуловой, участницы Знаменской коммуны. б) В письме от 7 марта 1861 г. О. И. Демидова — крестьянина Вязниковского уезда — просьба содействовать в опубликовании написанных им «Походных записок ратника» и статистического очерка о слободе Мстёра (лл. 15—17). Слепцов познакомился с адресатом во время путешествия по Владимирке в 1860 г. В записной книжке писателя имеется такая заметка: «Мстёра Вязниковского уезда на Клязьме 〈...〉 Осип Иванович Демидов. Статистический очерк» (л. 20 об.). в) В письме к Слепцову от 22 февраля 〈1863 г.〉 И. Рассадина — гимназиста, собиравшегося поступать в Петербургский университет,— содержится просьба достать работу, переводы (там же, л. 18). г) Сохранилось и письмо к Слепцову от 6 декабря 1865 г. его дяди — мирового посредника Сердобского уезда П. В. Слепцова (там же, л. 19). Некоторые цитаты из этого письма приведены выше во вступительной статье. д) Отметим еще письмо-уведомление Ю. Ф. Куракиной от 9 марта 1866 г. об избрании Слепцова (по его желанию) членом Общества пособия бедным женщинам в Петербурге (л. 17).

Чиновники III Отделения, рассматривавшие бумаги Слепцова и составлявшие акт, отметили письма молодых писателей и суммарно так определили их содержание «с просьбами рассмотреть и содействовать к напечатанию» (ф. 95, оп. 1, ед. хр. 278, л. 1)



Ж. А. СЛЕПЦОВА (УРОЖДЕННАЯ ВЕЛЬБУТОВИЧ-ПАПЛОНСКАЯ), МАТЬ ПИСАТЕЛЯ
Фотография, 1870-е гг.
Собрание К. И. Чуковского, Москва

Они имели в виду 8 писем, адресованных в редакцию «Современника» (или лично Некрасову) в 1864—1865 гг. Н. Дружининым, И. Тереховым, Ф. Солодовниковым, А.Замятниным, М. Дьяконовым, Н. Бандровским, И. Потаповым (ф. 95, оп. 2, ед. хр. 179, лл. 1—21). То, что эти письма оказались в бумагах Слепцова, подтверждает близость писателя к редакции «Современника»; они дают основание уточнить время, когда он исполнял обязанности секретаря редакции (по-видимому, май— август 1863 г.. февраль, май, октябрь 1864 г., май — август 1865 г.). Все эти письма помогают создать представление об отношении редакции «Современника» к начинающим писателям-разночинцам. В редакцию обращаются люди разных профессий: конторщики, учителя, чиновники, отставные канцелярские служащие, крестьяне. Редакция получает письма из Москвы, Петербургской, Курской, Саратовской, Костромской и других губерний. Все корреспонденты — поклонники поэзии Некрасова, мечтают опубликовать свои стихи в «Современнике»; некоторые авторы рассказывают Некрасову, «как своему духовному отцу», о жизненных и литературных мытарствах (письмо И. Потапова от 15 октября 1864 г., лл. 8—9). Одни рассчитывают на материальное вознаграждение, просят дать их произведениям «материальную оценку» (письмо Ф. Солодовникова от 30 мая 1864 г., л. 10; письмо И. Терехова от 4 мая 1865 г., л. 12); другой аттестует себя «человеком с состоянием», он не только не желает получать за стихи, но и сам готов платить за печатание, так как рассчитывает при помощи «гласной критики развить в себе поэтический талант» (письмо А. Замятнина от 15 октября 1864 г., л. 7). Один предлагает в журнал всё без разбора: стихотворения, народный лечебник, сборник народной поэзии (письмо Ф. Солодовникова от 30 мая 1864 г., лл. 10—11); другой наивно заявляет, рассказав о своих неудачах на драматургическом поприще: «С отчаяния я стал писать рассказ, хотя не чувствовал никогда к этой форме особенного расположения» (письмо И. Потапова от 15 октября 1864 г., л. 9).

Некрасов и его помощники по редакции делали отбор, поощряя тех, кто подавал некоторые надежды. Так, учитель Н. Дружинин, чья повесть «Люба» была напечатана в «Современнике» (1863, № 12), пишет Некрасову из Луги: «Вы ссудили меня деньгами, не видавши меня в лицо, и потом, когда уже обнаружилась моя несостоятельность, посылаете мне вдвое больше в счет труда еще не окупившегося» (от 20 февраля 1864 г., л. 3); «Редакция „Современника“ в лице главных своих представителей Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина и А. Н. Пыпина была ко мне благосклонна не по заслугам» (от 15 августа 1865 г., л. 5 об.).

ЧУЖИЕ РУКОПИСИ

Сохранившиеся в бумагах Слепцова письма к нему и чужие рукописи — это не только часть личного архива писателя, но часть (пусть и крошечная) архива редакции «Современника», секретарем которого одно время был Слепцов, а также редакции «Искры».

Полицейские чиновники, производившие обыск у Слепцова, написали в акте: «В бумагах оказались разные статьи, как бывшие в печати в „Современнике", так и не напечатанные; последние принадлежат к первым опытам молодых писателей и поэтов и не заключают ничего ни подозрительного, ни серьезного» (ф. 95, оп. 1, ед. хр. 278, л. 2). Это далеко не точное определение состава «чужих рукописей»; наряду с произведениями начинающих авторов здесь имеются автографы зрелых поэтов и писателей (Н. С. Курочкина, Н. А. Вормса).

Какие же рукописи других авторов сохранились в бумагах Слепцова?

а) Произведения поэтов, обращавшихся, как только что указывалось, в редакцию «Современника» с просьбой напечатать их стихотворения в журнале (ед. хр. 191, лл. 1—12. Беловые автографы):

М. Дьяконов. «Не ладно, родные, Мартьяныч с женою живет...» (1865) и «Снова, как прежде, живи как-нибудь...» (1865), лл. 1—2.

И. Терехов. «Провиденье» (1865), «Прощание» (1865), «Поэту» (1865), лл. 3—6.

Ф. Орлов. «Мост» (из Лонгфелло), л. 7.

Сла—ский. «К знакомому». Обличительная поэма в 5 частях (1865), «Знать судьба...» (1865), лл. 10—11.

А. Кулычев (подпись: «К.»). Басни: «Волк и лисица», «Лиса и соловей», л. 12.

б) Василий Демидов. Беловые автографы произведений (без заглавий) о жизни народа, мещан (ед. хр. 190, лл. 1—148). В письмах к Слепцову Демидов назвал в одном случае свои произведения «Записками о рабочих»; в другом — «Записками о рабочем классе» (19 мая и 22 августа 1865 г., ед. хр. 176, лл. 3 об., 5 об.). В этой же тетради — дневник начинающего писателя (июль — август 1865 г.), в котором находим некоторые сведения об авторе: ему 28 лет, он был мальчиком у купца, читал в его библиотеке все, что попадало под руку, служил в конторе, попал в шайку воров, пил, затем (под влиянием поездки в Петербург и знакомства с Слепцовым, как он писал ему) бросил пить и теперь акцизный чиновник; хочет написать роман «Откупщик»; хотел быть актером.

в) Его же. Статья о мерах борьбы с пьянством. Начало: «Живя в среде народа...» (ед. хр. 189, лл. 1—5). В письме к Слепцову автор назвал ее «Проектом об уменьшении пьянства» (31 октября 1865 г., ед. хр. 176, л. 7). Он исходит из положения, что в последнее время (в связи с отменой откупов) усилилось пьянство крестьян; приводит примеры, когда в селе вместо одного питейного дома, бывшего ранее, появлялись 6 штофных лавок. В конце статьи дата и место написания: «Новая Ладога. Октября 31 дня 1865 года».

г) Е. Берестов. «Утренняя заря». Беловой автограф комедии в трех действиях (ед. хр. 188, лл. 1—30). Подпись: Е. Берестов. Дата: 29 октября 1865 г. Другой рукописный экземпляр этой комедии хранится в Ленинградской театральной библиотеке (№ 10172). На полях рукописи помета: «По журналу Театрально-литературного комитета 8 февраля 1869 г. не одобрена к представлению. Председатель комитета П. Юркевич». Берестову принадлежит также пьеса из народной жизни «Посиделки», напечатанная в «Русской сцене», 1865, т. VI, отд. I.

д) Я. Кремянский. Две статьи: «Содержание и направление людей, называющих себя поклонниками г. Каченовского», 1 марта 1863 г., «Политическое и реальное образование», 1 мая 1863 г. и письмо в редакцию «Современника» 30 мая 1863 г. (ед. хр. 177, лл. 1—26).

Автор — харьковский студент — полемизирует в своей статье с профессором юридического факультета Харьковского университета, публицистом Д. И. Каченовским,

выступавшим на университетском акте с речью, в которой он, по словам Кремянского, «издевался над симпатиею русского общества к естествознанию».

Кремянский упрекает также Каченовского в том, что он «не ценит надлежащим образом экономического быта общества и связи его с развитием естественных реальных знаний, не признает полного влияния его на гражданский прогресс» (л. 10). Кремянский сообщает, что в № 9 Прибавлений к «Харьковским губернским ведомостям» он со студентом Егором Ширяевым поместил статью о неверных взглядах Каченовского на естествознание, медицину и политику. Статья эта вызвала недовольство университетского начальства. Посланные в ту же газету две статьи автора (предлагаемые теперь в «Современник») были отвергнуты. Это дало ему повод высказать свое негодование в письме, адресованном в «Современник»: «Неужели наше университетское образование может выиграть от того, если заставят студентов не сметь свое суждение иметь?» (л. 2).

На полях рукописи Кремянского «Содержание и направление людей...» рукою Слепцова сделана пометка: «Неудобно».

е) Н. А. В о р м с — тетрадка стихов, датированная 1861—1863 гг. В нее входят следующие стихотворения: «Я знаю старый дом...», «Он умирал...», «Картинки», «Недавняя быль», «Параша», «Рыбак» (подражание Гете), «Сплошь да рядом», «К Италии», «Гетевский мотив», «Опять весна», «Посмотри на месяц...», «В последний раз я слышал соловья...», «Грудь болит и сердце ноет...», «Дитя беззаботно играет в грязи...», «Ясная зорька на небе встает...», «Полдневный жар», «Встреча», «Я вас люблю, мои воспоминанья...», «Русалка», «Городок уездный», «Когда по небу в полдень знойный...» отрывок из рассказа в стихах «Австрийцы», «Зальц», «Русская песня», «Вся залита огнем...», «Люблю я русское веселье...», «Была пора, костры пылали...», «Варшава» (отрывок), «Маруся», «Она одна сидела в зале темной...», «Зачем ты тратишь эти речи...», «Нарисуй ты мне избушку...», «Над старой тетрадкой», «Опять и вновь», «Безотчетная веселость», два отрывка из рассказов в стихах «Новый Чаттертон» (ед. хр. 178, лл. 1—16).

Вместе с перечисленными стихотворениями Вормс отправил в редакцию «Современника» Слепцову письмо. Приводим его текст:

г. Севск. 1863. 23 августа (4 сентября)

Милостивый государь, я имел честь получить ваше письмо как секретаря редакции еще в начале июля; мой же ответ замедлил по причинам *вполне* от меня не зависящим. Посылая вам 37 стихотворений, не слишком ли во зло употребил я желание редакции ближе узнать мое дарование?.. Если некоторые из моих стихотворений редакция найдет удобными для напечатания в «Современнике», то я покорнейше прошу ее уведомить меня об этом прежде, нежели выслать гонорарий, так как я через несколько времени оставляю Севск. Это последнее обстоятельство ставит меня в необходимость утруждать вас настоятельною просьбою *о наискорейшей высылке ответа.*

В заключение мне остается сказать, что я жду от вас строгой и верной оценки моих трудов. Я с благодарностью приму всякий совет и указание как человек, нуждающийся и в том и в другом, но осужденный вращаться в среде, неспособной верно и беспристрастно оценить какой бы то ни было литературный труд. При оценке редакция, вероятно, возьмет во внимание мои 18 лет и тяжелые внешние обстоятельства, этот великий тормоз всякого развития.

Примите уверение в совершенном моем к вам уважении, в котором имею честь быть, милостивый государь, готовый к вашим услугам —

Н. В о р м с

P. S. Адрес мой: его бл⟨агородию⟩ Николаю Александровичу Вормс, г. Севск (Орловской губ.).

Поэт и публицист Николай Александрович Вормс (1845—1870) был участником революционно-демократического движения шестидесятых годов. См. о нем сообщение Б. П. Козьмина в «Литературном наследстве», т. 62, 1955, стр. 48—63.

ж) Н. С. Курочкин. «Филипп». Перевод трагедии Альфиери (ед. хр. 187, лл. 1—69). Беловой автограф. Начало: «Изабелла (*одна*).

Печаль, боязнь в душе моей... Нет сил!
Прочь, призрак соблазнительно прекрасный...»

Подпись: Н. Курочкин.

В 1867 г. перевод этой трагедии был напечатан в «Невском сборнике» (стр. 305—374).

РУКОПИСИ АВТОРОВ, ИМЕНА КОТОРЫХ НЕ УДАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ

з) «Струэнзе и королева Каролина Матильда» («Во второй половине XVIII века мы видим во всех европейских государствах стремление к реформам...»). Беловой автограф большой исторической работы о датском реформаторе второй половины XVIII в. Угол последнего листа с подписью автора оторван, вместо нее поставлена буква Z (ед. хр. 192, лл. 1—68).

и) Драматическое произведение для балаганного представления без названия и подписи (ед. хр. 194, лл. 1—13). Действующие лица: полишинель, музыкант, доктор, квартальный. Содержание близко к тем сценам, о которых рассказывает Слепцов в «Петербургских заметках» 1863 г. (см. публикацию). Здесь же шутка другого неизвестного автора: «Аттестат похвальный» семинаристу А. Тропачевскому, «прошедшему через дебрь философии и скитавшемуся по классам 40 лет». Написано в пародийно-архаическом стиле. Высмеивается система преподавания и некоторые бытовые черты жизни семинарии. Обозначено место и год написания: Харьков. 1855.

к) «Заметки деревенского жителя» («Нет такого захолустья, где бы по временам не появлялись...»). Беловой автограф фельетона (ед. хр. 193, лл. 2—17).

Установить имя автора этой рукописи не удалось. Но, как показали розыски, она предназначалась для «Искры». В № 21 за 1865 г. в «Искре» был напечатан первый фельетон под заглавием «Заметки деревенского жителя». Затем последовала серия фельетонов под тем же заглавием: в №№ 32, 34, 35, 40 за тот же год и в №№ 40, 42 за 1866 г. Некоторые фельетоны имели порядковый номер: I, II, IV (повторен, вероятно, ошибочно, дважды), VII. К фельетону, напечатанному в № 40 за 1866 г., есть примечание, в котором редакция отсылает читателя к фельетонам этого цикла, опубликованным в 1865 г.

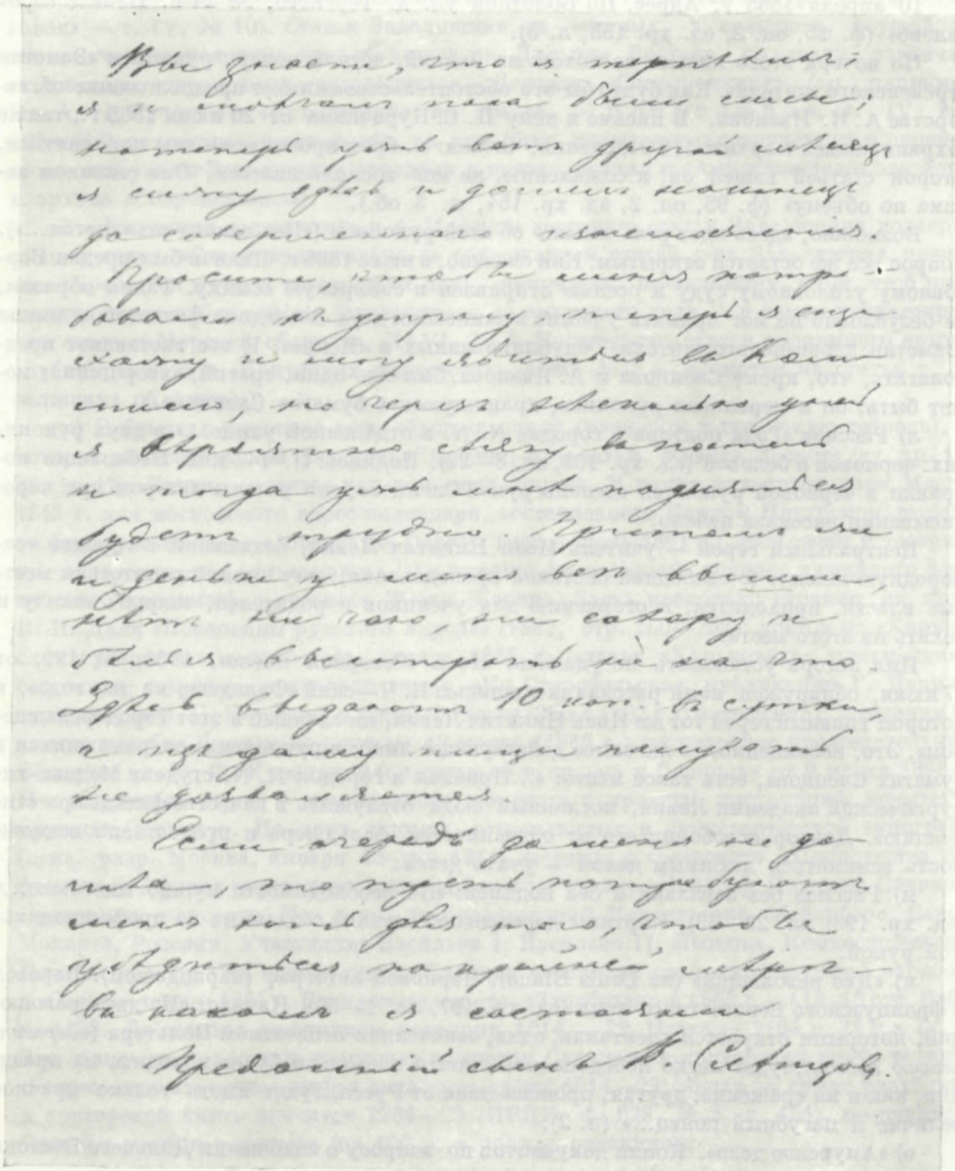
Какие предположения можно сделать об авторе «Заметок деревенского жителя», одного из наиболее интересных циклов «Искры» 1865—1866 гг.? Скорее всего, это коллективное произведение, где мог быть одним из его соавторов и Слепцов. В напечатанных фельетонах есть мотивы, близкие к повести «Трудное время»; в рукописи, сохранившейся в бумагах Слепцова («Нет такого захолустья...»), заключен сюжет его «деревенских сцен» — «Мертвое тело». Автограф находится в одной тетради (ед. хр. 193, л. 1) с текстом рассказа Слепцова «Ненастный день» (последнее обстоятельство могло быть и случайным; так могли подшить рукопись чиновники III Отделения).

Фельетон «Нет такого захолустья...» написан не слепцовской рукой. Заглавие в рукописи повторено дважды, один раз (вверху) коричневым карандашом, рукой Слепцова; этим же карандашом на полях — цифры: 72, 42, 34. На полях несколько раз карандашом написано слово: «никогда», вверху: «Александр Иванов — Иванов — Александр Иванов».

Естественно возникает мысль, не является ли автором (или соавтором) фельетона Александр Иванович Иванов — сотрудник «Искры», участник революционного движения (он был арестован в мае 1866 г. в связи с делом Каракозова; в том же году, в июле, предан суду по обвинению в принадлежности к тайному революционному обществу «Организация» и сослан в Сибирь).

В архиве III Отделения сохранилось следующее письмо А. И. Иванова к Н. С. Курочкину:

«Милостивый государь, Николай Степанович! Так как у меня в настоящую минуту находится Владимир Степанович 〈Курочкин — писатель и переводчик, брат



Вы знаете, что я терпелъ;
я и молчалъ пока были силы;
но теперь уже вотъ другой мѣсяцъ
я сижу здѣсь и дошелъ наконецъ
до совершеннаго изнеможенія.
Просите, чтобы меня потре-
бовали къ допросу, теперь я еще
хожу и могу явиться въ Ком-
мисію, но черезъ нѣсколько дней
я вѣроятно слягу въ постель
и тогда уже мнѣ подняться
будетъ трудно. Притомъ же
и деньги у меня всѣ вышли,
нѣтъ ни чаю, ни сахару и
бѣлья выстирать не на что.
Здѣсь выдаютъ 10 коп. въ сутки,
а изъ дому пищи получать
не дозволяется.
Если очередь до меня не до-
шла, то пусть потребуютъ
меня хоть для того, чтобы
убѣдиться по крайней мѣрѣ
въ какомъ я состояніи.
Преданный сынъ В. Слепцовъ.

ПИСЬМО СЛЕПЦОВА К МАТЕРИ ИЗ ТЮРЬМЫ ПРИ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЧАСТИ В ПЕТЕРБУРГЕ, МАЙ 1866 г.

Собрание К. И. Чуковского, Москва

Василия и Николая Курочкиных>, Лейкин и обещались быть Дмитриев и Жулев и еще кой-кто из общих знакомых, то покорнейше прошу и вас ко мне пожаловать. Я уверен, что вы не откажетесь. Готовый к вашим услугам. Ал. И в а н о в.

10 апреля 1865 г. Адрес. По Болотной ул. д. Терского, № 24-й. Из-под ворот налево» (ф. 95, оп. 2, ед. хр. 155, л. 8).

Но почерк этого письма не похож на мелкий, четкий почерк рукописи «Заметок деревенского жителя». Как будто бы это обстоятельство снимает предположение об авторстве А. И. Иванова. В письме к нему Н. С. Курочкина от 20 июня 1865 г., также сохранившемся в архиве III Отделения, читаем: «...брат просит меня вам поклониться. Второй статьей вашей он, к сожалению, не мог воспользоваться. Она слишком велика по объему» (ф. 95, оп. 2, ед. хр. 154, л. 3 об.).

Возможно, здесь идет речь именно об этой рукописи («Нет такого захолустья...»). Вопрос все же остается открытым. Как сказано, в июле 1866 г. Иванов был предан Верховному уголовному суду и осенью отправлен в сибирскую ссылку. Таким образом, он безусловно не мог принять участие в написании двух последних фельетонов цикла «Заметки деревенского жителя», опубликованных в «Искре». И это заставляет предполагать, что, кроме Слепцова и А. Иванова, был еще один, третий, автор цикла; может быть, он и переписал рукопись, хранящуюся в бумагах Слепцова.

л) Рассказ «Года полтора в городке N. N. в отдаленной улице...» в двух рукописях: черновой и беловой (ед. хр. 193, лл. 8—22). Подпись: П. Ч — кий. Небольшие поправки в черновой рукописи сделаны рукой Слепцова; они учтены автором при переписывании рассказа набело.

Центральный герой — учитель Иван Никитич Левин, создавший в городке «самородную школу» (с свободной системой преподавания); ему чинят препятствия местные власти; приходится, к огорчению для учеников и родителей, закрыть школу и уехать из этого места.

Имя автора установить не удалось. Но в «Северной пчеле», 1863, № 199, от 27 июля, обнаружен нами рассказ за подписью П. Ч—ский «Фельдшер на два года», в котором главный герой тот же Иван Никитич Левин, «посланный в этот город фельдшером». Это, несомненно, то же самое действующее лицо: в рукописях, сохранившихся в бумагах Слепцова, есть такое место: «...Приехал в городок N. N. студент Медико-хирургической академии Левин, посланный сюда отслужить в качестве фельдшера стипендию». Доктор освободил его от обязанностей фельдшера и предоставил возможность заниматься любимым делом — учить детей.

м) Рассказ без заглавия и без подписи: «По необходимости нужно мне было...» (ед. хр. 193, лл. 23—33). Картины деревенской жизни, созданные не профессиональной рукой.

н) «Две революции» (из Louis Blanc). Черновой автограф (карандашом). Перевод с французского неизвестного лица (ед. хр. 197, лл. 1—66). Начало: «Из двух революций, которыми откроется спектакль, одна, означенная отпечатком Вольтера (*одержит легкую победу*),будет легко победоносною, почти настолько будет походить на праздник, как и на сражение; другая, происшедшая от Руссо, будет иметь только мрачное величие и пагубный конец...» (л. 2).

о) «Амурское дело». Копии документов по вопросу о снабжении Дальнего Востока продовольствием и товарами, переписанные и присланные декабристом литератором Д. И. Завалишиным (фамилия дана предположительно на обложке этого «дела» — ед. хр. 196, лл. 1—2): 1) отношение командира Амурского казачьего батальона Гузико (станица Екатерино-Никольская) 18 января 1860 г. доверенному Амурской торговой компании Перетолчину о бедственном положении батальона, не обеспеченного продовольствием; 2) рапорт военного губернатора Амурской области Н. В. Буссе временно командующему войсками Г. М. Кирсанову от 31 марта 1860 г. о снабжении мясом ссыльно-рабочих Николаевска и войск в Благовещенске; 3) отношение Главного управления Восточно-Сибирского казачьего отделения военному губернатору Иркутска и иркутскому гражданскому губернатору о казачьих поселениях 11 марта 1855 г.; 4) письма-жалобы иностранных купцов на николаевское местное начальство, мешающее торговле (1859—1860 гг.).

В некоторых статьях Завалишина об Амуре, опубликованных в «Вестнике промышленности», внимание читателя привлекалось также к вопросу о торговле в этом крае («Новейшие известия о торговле на Амуре и замечания о действиях амурской компании». — «Вестник промышленности», 1859, т. IV, № 12; «Амур», гл. 2. «Торговля» — т. IV, № 10). Статьи Завалишина, в которых, в сущности, осуждалась экономическая политика правительства на Дальнем Востоке, вызывали различное отношение современных журналистов. Деятели «Современника» (см., например, Н. А. Добролюбов «Путешествие на Амур». — Добролюбов, т. IV, стр. 402—418) сочувственно ссылались на них (быть может, через сотрудников «Современника» материалы Завалишина попадали в печать, потому и «Амурское дело» оказалось в архиве «Современника»).

В «Иркутских ведомостях» и в «Морском вестнике» статьи Завалишина подвергались критике. «Следя внимательно за содержанием статей г-на Завалишина, прежде всего бросается в глаза читателя их цель, состоящая, по-видимому, в том, чтоб представить перед публикой все, относящееся до амурского дела — в самом неблагоприятном свете» («Морской сборник», XLVI, № 4. Перепечатка статьи анонимного автора, опубликованной в «Иркутских ведомостях», 1860, № 5 — «Заметки на статьи г. Завалишина об Амуре»).

и) В бумагах Слепцова есть обложка папки (размером в школьную тетрадь), на которой написано рукой Лескова: «Сведения и заметки. Nicolas Лесков» (ед. хр. 198, лл. 1—17). Трудно сказать, как она сюда попала. В папке находится план Москвы 1842 г. для московского адрес-календаря, составленного Карлом Нистремом; вырезки из французских газет «Journal des Débats» (май — июнь 1861 г.), фельетоны и театральные обозрения, под одним из них («La semaine dramatique») подпись известного французского критика-фельетониста Жюля Жанена. Здесь несколько страниц из книги В. И. Даля «Пословицы русского народа» (1862, стр. 250—252); листок из «Харьковских губернских ведомостей», январь 1865 г. (статья «Харьковская письменная и словесная старина», корреспонденция «Из Старобельска», публикация Г. Данилевским письма В. Н. Каразина к свящ. Фотиеву (2 мая 1802 г.); извещение о заседании Общества пособия бедным женщинам 13 марта ⟨1866 г.⟩ на квартире председательницы Общества кн. Ю. Ф. Куракиной (см. выше об ее письме к Слепцову от 9 марта 1866 г.). На заседании: отчет о деятельности комитета и проекты инструкций комитету и кружкам Общества. На двух листках, отпечатанных в университетской типографии (ценз. разр. Москва, января 25 дня 1864), перевод с греческого «Пророчеств» Агафангела (в Афинах переведено с иллирийского и издано в 1833 г.). Подпись: Славянин. Программа концерта (без даты) из произведений Мендельсона, Мейербера, Серова, Моцарта, Россини. Участники: Васильев I, Васильев II, Леонова, Комиссаржевский, Платонова и др. На одном листке Слепцов подсчитал свой литературный заработок в «Современнике» 1865 г. Воспроизведем его: «Заработано в 1865 г.—11л. 13 стр. Забрано 1150. Да состоял должником редакции 1014 — 23. Итого — 2164 р. 23 к.» (л. 17). Эта запись не полностью совпадает со счетом Слепцова в конторской книге редакции «Современника»; точнее, цифра дана здесь та же: 1014—23; общая же сумма расходится: в конторской книге значится 2264—23 (ИРЛИ, ф. 628, № 8, л. 154), по-видимому, Слепцов ошибся в расчете (на 100 р. в пользу редакции).

Л. Ф. НЕЛИДОВА О СЛЕПЦОВЕ

Публикация М. Л. Семановой

Автор публикуемого «биографического очерка» о Слепцове — писательница Лидия Филипповна *Нелидова* (1851—1936) — была гражданской женой Слепцова в последние годы его жизни. Написанный ею через два с половиной года после смерти Слепцова краткий «биографический очерк» писателя остался ненапечатанным. Возможно, что это произошло потому, что у Нелидовой возник новый замысел — написать роман о Слепцове, создать «живой образ» его*.

При всей эскизности публикуемого наброска он представляет определенный интерес как источник сведений о Слепцове, исходящих от близкого ему человека. Следует, однако, заметить, что едва ли Нелидова в полной мере понимала и разделяла демократические убеждения Слепцова. Даже из романа «На малой земле» ясно, что она не принимала, например, манеры изображения Слепцовым народа.

В публикуемом «биографическом очерке» заслуживают внимания слова Нелидовой о глубокой неудовлетворенности Слепцова своим творчеством в последний период жизни: «Всё не то, не то...». Это вполне совпадает с его жалобами в письме к Некрасову от февраля 1871 г.: «Я вам рассказывал, что у меня бывают припадки отчаяния и омерзения к тому, что я пишу...» [1]. Интересно сообщение о новых замыслах писателя, собиравшегося работать над народной драмой и над пьесой в духе «Последней жертвы» Островского (замыслы эти остались неосуществленными).

Важно свидетельство Нелидовой, знавшей Слепцова в последние три года его жизни, о том, что, вопреки распространенному мнению, он не был одинок, сохранил до конца дней дружеские отношения с Некрасовым и с другими сотрудниками «Отечественных записок», в частности, с Салтыковым-Щедриным. В самом деле в письмах к Нелидовой и к матери из Петербурга в 1875—1876 гг. Слепцов называет Некрасова в числе своих «лучших друзей», сообщает о встречах с ним [2]. К Некрасову и Салтыкову-Щедрину обращается он в тяжелые дни болезни за помощью, на что они немедленно откликаются [3].

Представляет определенный интерес следующее беглое упоминание Нелидовой о судьбе литературного наследия Слепцова: «Первое издание его сочинений давно разошлось; второе печатается и должно выйти в непродолжительном времени». Мы знаем, что после первого издания сочинений Слепцова 1866 г. следующее появилось лишь в 1887—1888 гг. Но, по-видимому, мысль о новом издании возникла сразу после смерти писателя и не только возникла, но и начала осуществляться.

Вот некоторые факты и свидетельства, относящиеся к этому заявлению Нелидовой и комментирующие его: 1 апреля 1878 г., т. е. через несколько дней после смерти писателя, петербургский книготорговец Н. Тузов обратился к родным Слепцова с просьбой

---

* Об этом замысле, ставшем «исключительным желанием всей жизни» Нелидовой, — см. ниже сообщение Л. А. Евстигнеевой «Роман Л. Ф. Нелидовой „На малой земле", как источник для биографии Слепцова». Независимо от Л. А. Евстигнеевой, рукопись романа, а также относящиеся к ее созданию письма В. З. Ворониной и Л. Ф. Нелидовой, были изучены и подготовлены для использования в печати также и автором настоящей публикации. — *Ред.*

«немедленно сообщить», кому принадлежит право издания его сочинений, и выразил желание «приобрести право навсегда или же на одно издание»[4]. В августе 1878 г. в № 199 «Московских ведомостей» было напечатано такое обращение: «Лиц, имеющих право на издание сочинений Василия Алексеевича Слепцова, просят сообщить свой адрес „Центральной библиотеке", находящейся в Москве, на углу Тверской и Чернышевского переулка».

В письме к Нелидовой (без даты, конца 1870-х годов) мать Слепцова, Жозефина Адамовна пишет: «Как идет издание нашего незабвенного? Хорошо бы издать главу из его „Хорошего человека", она очень хорошо пригодится. Он ее написал незадолго до знакомства с вами»[5]. Таким образом, вскоре после смерти Слепцова действительно предпринимались попытки выпустить новое издание сочинений писателя, но по каким-то обстоятельствам издание это не было осуществлено.

В «биографическом очерке» глухо упоминается о переменах в личной жизни писателя: «...он почувствовал себя спокойным и счастливым». Здесь имеется в виду сближение Слепцова с Нелидовой[6]. История их отношений документируется сохранившимися в бумагах Нелидовой письмами к ней Слепцова[7].

Из писем этих мы узнаем, что Слепцов сумел угадать в светской молодой женщине, только что пережившей личную трагедию (первый муж ее — А. Ламовский кончил самоубийством), будущую писательницу, и не только угадать, но и поддержать, развить в ней лучшие качества ее натуры. «Я верю в тебя, в ту силу, которую вложила в тебя сама природа и которую жизнь и люди всеми зависящими от них мерами всячески стараются ослабить», — пишет Слепцов Нелидовой в конце 1875 г.[8] Он хлопочет о цензурном разрешении рассказа Нелидовой «Дело прошлое»[9], помогает ей в работе над повестью: «Работа Лидии Филипповны подвигается медленно, — читаем в его письме к Некрасову от 3 августа 1875 г.,— мы перечитываем и всё поправляем; но зато, кажется, это будет превосходная вещь, если я не совсем потерял чутье»[10]. 29 июня 1877 г. Слепцов пишет Нелидовой из Пятигорска: «Повесть свою пришли мне с самого начала, иначе я не могу поправлять. Надо так ее выгладить, чтоб уж ни сучка, ни задоринки». И 25 сентября 1877 г.: «Жду присыла рукописи твоей. Я бы теперь с особенным удовольствием занялся ею»[11]. Возможно, что речь тут идет о повести Нелидовой «Полоса», которая была напечатана вскоре после смерти Слепцова, в 1879 г., в октябрьской книжке «Вестника Европы», в которой Тургеневу, еще не знавшему автора, почудилась «мужская рука»[12].

О книжке Нелидовой «Девочка Лида» Слепцов хотел написать большую статью. Отрывки ее сохранились и в бумагах писателя (ИРЛИ) и в бумагах Нелидовой: листки с началом статьи вложены в публикуемый «биографический очерк». По-видимому, Нелидова собиралась упомянуть об этой статье. Статья, однако, не удалась Слепцову. Восторженный отзыв о «Девочке Лиде», который он дал в начале знакомства с Нелидовой в письме к ней от 18 и 22 мая 1875 г. («Вся картина написана мастерски, подробности превосходны 〈...〉 У вас талант и, может быть, блестящий, я в этом *теперь* не сомневаюсь ни одной минуты. Мне очень хочется написать подробный разбор вашей прелестной „Девочки"»), был вызван, нужно полагать, не столько силой художественного впечатления от повести, сколько восторженным отношением к ее автору. «Ты не можешь себе представить, какое это наслаждение писать о тебе»,— сообщал Слепцов Нелидовой, приступая к статье об ее повести[13]. Но написав вступление и передав содержание произведения, Слепцов, по-видимому, не нашел объективно справедливых слов для характеристики его. Статья осталась незаконченной; однако об этой книжке он сказал Некрасову, который пригласил весной 1875 г. Нелидову работать в «Отечественных записках» после прочтения ее книги[14].

Слепцов радуется каждому проявлению самостоятельности любимой женщины, каждому новому качеству ее характера, свидетельствующему о преодолении эгоизма, условностей, традиций праздной светской среды: «Эгоисты лишены многих наслаждений» (22 мая 1875 г.); «Я убедился 〈...〉, что ты понемногу стала входить во вкус полной откровенности, что ты наслаждаешься откровенностью 〈...〉, что ты борешься с тем грубым эгоизмом, который в Петровско-Разумовском ты считала чуть ли не достоинством, чуть ли не самой высшею своею добродетелью» (14 октября 1877 г.).

Он предупреждает ее от крайностей самопожертвования; осторожно, не насилуя ее желаний, знакомит с людьми «нового типа», например, с Боковым и с Л. Воронцовой [15]. Он направляет ее внимание на необходимость оказывать содействие другим женщинам, хотя бы сестре, в освобождении ее от семейного деспотизма: «Когда я читал твое письмо, мне сам собой пришел в голову вопрос: не лежит ли на тебе некоторая обязанность, чтобы освободить, а лучше сказать, помочь, помочь насколько можно и нужно?» (сентябрь 1876 г.) [16].

Слепцов воспитывал в своей подруге то чувство ответственности за судьбы других людей, которым сам он обладал в высочайшей степени. Замечательны в этом отношении его письма от 15 и 16 февраля 1876 г. В них он передает Нелидовой о разговоре с ее отцом. Решительный разговор этот касался отношений Слепцова с Нелидовой: «В эти дни,— писал Слепцов,— заканчивается очень важное дело и начинается сейчас же другое, несравненно более важное. Я тут играю роль и тяжелую и в то же время необыкновенно серьезную; я произвожу поворот в твоей жизни и в своей, разумеется» [17]. Человеком большого сердца, ума и такта встает перед нами в этой сложной житейской истории Слепцов. Нелегко было в тех условиях построить отношения на полном доверии («Мне нужно, чтоб ты мне верила», «попробовать довериться друг другу совсем, совсем чистосердечно»), рассеять сомнения, оберечь чувство от внешних ненужных влияний, внести в личную жизнь совершенно новые черты, лишенные мещанских традиций и мещанской добродетели.

Слепцов был убежден: чтобы построить семейные отношения на здоровой основе, чтобы лишить их мелочных недоразумений, раздражений и обид повседневности, нужно трудиться, «заняться, непременно заняться посторонним делом 〈...〉 Общим ли, или у каждого будет свое,— это все равно. Нужно только, чтобы оно было». Жизнь, время, поступки покажут человека лучше, чем его заверения, «длинные 〈...〉, ни к чему ненужные рассуждения» [18]. За полгода до смерти Слепцов, пораженный своим мучительным недугом, писал Нелидовой: «Виноват я кругом 〈...〉 перед тобою пуще всего, и больше всего тем виноват, что я болен 〈...〉 Но, впрочем, ничего, я еще надеюсь» (25 сентября 1877 г.) [19].

Выполнить долг «перед самой собой и перед его памятью» значило для Нелидовой (и для современного исследователя Слепцова) подчеркнуть в его творчестве, в его личности присущие писателю качества: жизнеутверждение, оптимизм, донесенный до последних дней жизни, любовь к людям, знание жизни, веру в будущее. Это и значит создать «живой образ» в противоположность тому унылому, непривлекательному образу Слепцова, который создавался в некрологах, статьях, романах, написанных не понимавшими или сознательно искажавшими его личность и творчество современниками [20].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Лит. наследство», т. 51-52, 1949, стр. 496.

[2] ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 271, лл. 83, 170 об.; ф. 479, оп. 1, ед. хр. 12, л. 15.

[3] См., например, письмо Салтыкова-Щедрина к Слепцову от 26 апреля 1876 г.— Щедрин, т. XIX, стр. 93; письмо Некрасова от 25 октября 1873 г.— Некрасов. Собр. соч., т. XII. М., 1952, стр. 274.

[4] ЦГАЛИ, ф. 479, оп. 1, ед. хр. 15, л. 1.

[5] Там же, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 272, л. 6.

[6] Ср. в письме матери Слепцова к Нелидовой 1876 г.: «Я вполне уверена, что вы должны быть великолепной женщиной, если сумели сделать Васю вполне счастливым, каким я его никогда не видала» (ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 272, л. 1).

[7] Письма Слепцова к Нелидовой уточняют некоторые факты биографии писателя и дают материал для новых разысканий. Так, в одном из писем конца 1875 г. встречается упоминание о сделанном Слепцову предложении переехать в Полтаву, чтобы заведывать там книжным магазином и издавать местную газету (ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 271, л. 55 об.). Ответные письма Нелидовой к Слепцову, по-видимому, были ею уничтожены. В ЦГАЛИ сохранилось лишь несколько записочек ее к писателю первых месяцев их знакомства (ф. 479, оп. 1, ед. хр. 5).

[8] ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 271, лл. 70 об.—71.

[9] См. письма Слепцова к Ф. Д. Нефедову и к Нелидовой, от мая 1875 г.— ЦГАЛИ, ф. 342, оп. 1, ед. хр. 110, лл. 1—2; ф. 331, оп. 1, ед. хр. 271, лл. 6, 51 об., 59, 64.

[10] «Лит. наследство», т. 51-52, стр. 498.

[11] ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 271, лл. 118, 174.
[12] В. М. Спасская. Некролог Л. Ф. Маклаковой-Нелидовой.— Там же, оп. 2, ед. хр. 5, л. 4.
[13] Там же, оп. 1, ед. хр. 271, лл. 11 и 148.
[14] Л. Нелидова. Встречи с Н. А. Некрасовым.— «Русское богатство», 1894, № 12, стр. 195—197.
[15] *Любовь Егоровна Воронцова* (рожд. Коведяева) — большая приятельница Слепцова до последних дней его жизни (а затем подруга Нелидовой; в ЦГАЛИ хранятся ее письма к Нелидовой). Еще будучи гимназисткой, она, узнав об аресте и заключении в крепость Чернышевского, написала Александру II следующее письмо: «Государь! Будьте отцом ваших подданных — осчастливьте одну из них и потом, если нужно, отнимите у ней жизнь. Но так как я не дорожу жизнью и лишение ее не будет для меня особенным наказанием, то предлагаю вам посадить меня в такую конуру, где бы я едва могла пошевелиться, морите меня голодом, лишите меня, наконец, моего единственного утешения, книг, делайте со мною все, что хотите, только спасите, спасите Чернышевского» (ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1862 г., д. 230, ч. 26). Александр II счел, что «просьба эта не заслуживает внимания», но пожелал узнать, «в каких она была отношениях с Чернышевским». Агент сообщил, что личных отношений у Коведяевой с Чернышевским не было, но что она начиталась произведений Чернышевского и что в ее квартире постоянно бывает молодежь, которая, по-видимому, обсуждает факт заключения Чернышевского в крепость (там же).

В ГИАЛО сохранилось дело с.-петербургского временного генерал-губернатора о жене врача, повивальной бабке Любови Егоровой Воронцовой (1880 г.), а в ЦГАОР — дело Департамента полиции о повивальной бабке Любови Егоровне Воронцовой (1896 г.). Из них мы узнаем, прежде всего, что в течение нескольких десятилетий Воронцова (Коведяева) находилась под «особым надзором полиции», узнаем и некоторые факты ее биографии: родилась в 1846 г., училась в Цюрихе, была «повивальной бабкой» в Серпуховском уезде, привлекалась к так называемому нечаевскому делу, имела «близкие отношения ко многим личностям, обвиняемым в государственных преступлениях, именно: к Лесевичу, высланному в Восточную Сибирь, Кадьяну (также высланному по политическому делу), Рачковскому, Шефферу (привлекавшимся по политическим делам), Орфанову (обвинявшемуся в политической неблагонадежности), Лидии (вероятно, Лидии Погожевой также привлекавшейся по политическому делу)» (ГИАЛО, ф. 2073, оп. 4, ед. хр. 4, л. 1). Воронцова окончила Бернский университет, получила звание доктора медицины. Живя в Берне в 1890—1892 гг., посещала семью Герцена (в Лозанне), семью эмигранта Аксельрода, «вошла в сношение с представителями нашей эмиграции и за последнее время приняла видное участие в революционной деятельности последних», что является «продолжением деятельности социалистов-революционеров 1879—1881 гг.» (ЦГАОР, ф. Департамента полиции, делопроизводство 3, д. 342, 1896 г., лл. 8,11). В 1890-е гг. Воронцова жила в Тверской губернии, в обстановке, о которой, по ее словам (из письма к Аксельроду от 26 июля 1898 г., цит. в документах III Отделения), мечтала в Цюрихе: в простой избе, оказывая медицинскую помощь народу. Она с удовлетворением сообщает, что сын ее замешан в рабочем движении в Петербурге: «Сердце радуется, видя это новое поколение, уже с ранних лет поставившее себе осуществить серьезную и трудную задачу» (там же, л. 32).
[16] ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 271, лл. 20, 159 об.—160, 173 об.— 174.
[17] Там же, лл. 96 об.— 97.
[18] Там же, лл. 54—55 об.
[19] Там же, л. 147 об.
[20] Таким изображали Слепцова А. М. Скабичевский (за подписью «Заурядный читатель») в «Биржевых ведомостях» (1878, № 96, от 7 апреля — «Мысли по поводу текущей литературы») и аноним в газете «Голос» (1878, № 90, от 31 марта — «Внутренние новости») — авторы, с которыми полемизирует Нелидова в публикуемом биографическом очерке.

В А. СЛЕПЦОВ

(БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК)

1 октября 1880 г.

«Мертвый не без могилы, живой не без места».
«Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий».

Таковы изречения — плоды житейской философии, и благо живущим, тем, которые могут остановиться на них, принять их и примириться с ними.

23 марта 1878 года после тяжелой болезни умер в городе Сердобске (Саратовской губернии) Василий Алексеевич Слепцов.

В ожидании подробного некролога, ввиду неточностей и ошибочных суждений, появившихся уже в печатных отзывах, позволительно будет сказать несколько слов человеку, ревниво желавшему уберечь дорогую память от несправедливых приговоров и от обидного, сильнее всякой несправедливости, неуклюжего или двусмысленного соболезнования.

Биографических сведений о В. А. не появилось почти никаких. Он родился в Воронеже в июле 1836 года, умер в Сердобске Саратовской губернии на 42-м году жизни.

Писать, сочинять начал он рано, ребенком, в гимназии и затем в Пензенском дворянском институте, где получил свое первоначальное образование; студентом на медицинском факультете Московского университета он писал фельетоны и статьи для различных московских изданий и наконец выступил в Петербурге в «Современнике» с «Письмами об Осташкове». Общеизвестная литературная деятельность его относится к шестидесятым и началу семидесятых годов. Последняя напечатанная им вещь осталась неоконченной*.

Болезнь, которою он страдал с небольшими перерывами пять лет, начиная с ⟨18⟩73 года, заставила его уехать из Петербурга, путешествовать долгое время по Кавказу и по России; ему приходилось сталкиваться с огромным количеством интереснейших личностей; благодаря популярности, которою пользовалось его имя, и редкому, особенному таланту и умению сближаться и обходиться с людьми, удалось видеться с самыми разнообразными представителями, с учащейся молодежью в университетских городах, которые он посещал; в наблюдениях, в интереснейших материалах не было недостатка, планы комедий, рассказов и романов рождались один блестящее и прекраснее других, и все схоронены, зарыты на Сердобском кладбище. Причины этому не те, на которые указал в «Биржевых ведомостях» г-н Заурядный читатель. Причина и глубже и проще.

Василий Алексеевич перестал писать не потому, что после горячей деятельности первой половины 60-х годов, после запрещения «Современника», внезапно почувствовал себя одиноким, лишенным друзей и единомышленников. Прежде всего это и не верно; потому что не было никакого одиночества в действительности; до последнего времени, до последнего года жизни Некрасова, Василий Алексеевич поддерживал с ним постоянные дружеские сношения; то же можно сказать и по отношению к покойному А. Ф. Головачеву, Щедрину и вообще редакции «Отечественных записок». И как-то странно для людей, близко знавших В. А., звучит сравнение этого так необыкновенно тонко понимавшего жизнь и людей, мужественного, полного жизни человека с чахлым цветком, увядающим немедленно, как только он лишился дружеского ободрения и помощи.

Действительность, как и всегда, грубее, но зато и проще. Первый удар здоровью Василия Алексеевича (помимо трудно переносимого им вообще петербургского климата) был нанесен заключением по делу 4 апреля 1866 г.; он был освобожден безо всяких ограничений; но вредные для здоровья последствия скоро обнаружились**; и с тех пор настоящим образом он уже не мог поправиться.

Само собою разумеется, что этим дело не могло ограничиться. Урок был свойства решительного, а нервная натура *** дополнила впечатление.

С этого времени начинается перелом в жизни Василия Алексеевича — продолжительный нравственный кризис, которому суждено было закончиться смертью.

В личной жизни его произошли перемены; он почувствовал себя спокойным и счастливым настолько, что к самой болезни своей относился с

---

* «Хороший человек».— *Ред.*

** *Далее зачеркнуто*: он вышел из тюрьмы оглохший, исхудалый, с отеком ног.

*** *Далее зачеркнуто*: с случайно совпавшими обстоятельствами личной жизни.

добродушным юмором и спокойной надеждой нравственно удовлетворенного человека.

— Только бы встать, а там писать, писать! Все хорошо... Какое время мы переживаем!

Все шло день ото дня к худшему. Писать было невозможно и вставать с каждым днем становилось труднее. Медленно и непрерывно болезнь делала свое дело. Острых страданий, болей не было, но постоянное недомогание, упадок сил заставляли лежать в постели и отражались на расположении духа.



СЛЕПЦОВ и Л. Ф. НЕЛИДОВА
Фотография, около 1876 г.
Литературный музей, Москва

Ни одно из появившихся литературных произведений, ни один из собственных планов уже не удовлетворяли его.

«Всё не то, не то! Если писать, так писать что-нибудь настоящее, такое, чтобы неизбежно органически вызывалось бы из данного положения вещей, воспроизводило бы его и, таким образом, выясняло его. Чтобы каждый. прочитавши, сказал: да это так, это верно и это непременно необходимо должно быть написано. А иначе не стоит...»

Под конец открылась скоротечная чахотка. Он умер смертию чахоточных, тихо, почти без страданий, до последней минуты мечтая о выздоровлении и не сознавая своего положения.

В кратком некрологе, помещенном в «Голосе», сказано: «жизнь его самого была некрасна...» Это не верно. Помимо последней болезни и отдельных неудач, это была в полном смысле слова блестящая жизнь, блеск и успех которой, вероятно, памятны еще многим из жителей Петербурга... Кроме внешних счастливых данных и своего литературного таланта, В. А. обладал еще и другим талантом, он превосходно читал, и публичные чтения на литературных собраниях доставляли ему массу поклонников и самые восторженные овации.

Развившаяся с детства страсть к театру заставляла его браться несколько раз за устройство клубных спектаклей; одно время он усердно и серьезно занимался ими, думая организовать образцовую труппу для народного театра. По независящим обстоятельствам предприятие это не имело успеха, но постоянные сношения с театром и театральным миром не пропали даром, сделали из В. А. замечательного знатока сцены и сценических условий и режиссера замечательного, по мнению самых опытных артистов.

Последним из планов его был план комедии, сюжет которой отчасти напоминал «Последнюю жертву» Островского. Вообще он предполагал писать для театра.

Первое издание его сочинений давно разошлось; второе печатается и должно выйти в непродолжительном времени.

Его схоронили 26 марта на Сердобском городском кладбище. Было предположение перевезти его в Петербург в Новодевичий монастырь или на Волково кладбище, но дело не состоялось из-за недостатка средств.

Может быть к лучшему!

Так хороша маленькая, старинная серая церковь на кладбище, с зеленой крышей, с миниатюрным куполом, так просторна и удивительно хороша зеленая бесконечная степь, на много верст окружившая глухой городок...

«И пусть у гробового входа...»

Какой поразительный смысл, какая высокая поэзия!

Пусть!

Она потому так и хороша, так прекрасна природа, потому что равнодушна, не лезет в душу, а безмолвно прикладывает целящие руки к изболевшему сердцу, к измученной голове.

Схоронили, засыпали могилу, и на другой же день из-под свежей земли стала пробиваться молоденькая трава и развернула нежные, узорчатые листочки. Птицы налетели на кладбищенские ветлы. Место упокоения мертвых стало местом прогулки для живых. В этой поспешности, в этом горячем закипании жизни по свежим следам смерти есть что-то оскорбительное для личного чувства, но пусть... Пусть ходят любоваться могилой, разубранной любящей рукой, пусть вокруг могилы сияет во всей весенней красоте привольная степь, а тому, для кого не осталось ничего, кроме этой могилы, тому следует замолчать и посторониться с дороги.

Лидия Нелидова

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 4, лл. 1—13.

РОМАН Л. Ф. НЕЛИДОВОЙ «НА МАЛОЙ ЗЕМЛЕ», КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ БИОГРАФИИ СЛЕПЦОВА

Сообщение Л. А. Евстигнеевой

Биография Слепцова до сих пор не написана. Существует лишь несколько работ, специально посвященных этой теме. Первая из них — статья матери писателя — Ж. А. Слепцовой — относится к 1890 г.[1] Здесь только намечаются основные этапы жизни Слепцова, которые освещаются наивно и в значительной степени тенденциозно. Вторая — «Биография В. А. Слепцова», записанная со слов брата писателя в 1903 г. соседом по имению В. С. Марковым. Название работы не соответствует ее содержанию[2]. Правда, Марков исправляет ряд неточностей, допущенных Ж. А. Слепцовой, вводит несколько новых фактов, но следует признать, что в целом статья не отвечает своей цели. Довольно примитивный биографический очерк был предпослан издателем А. Н. Сальниковым к третьему изданию сочинений Слепцова в 1903 г. В 1932 г. К. И. Чуковский составил «Хронологическую канву жизни и работы В. А. Слепцова»[3], которая, как и статья того же автора «Василий Слепцов», основана на исследовательском изучении архива Слепцова и его родственников: в ней использована переписка писателя с друзьями и близкими, широко привлечены материалы литературной и общественной жизни 60-х годов. Однако «канва» неполна и в ней есть отдельные неточности.

Естественно, что мы пользуемся свидетельствами людей, близких Слепцову, чтобы иметь возможность расширить круг наших знаний о нем. Заслуживает поэтому внимания рукопись неизданного большого — 60 печатных листов — романа писательницы Лидии Филипповны Нелидовой «На малой земле», в котором под именем Льва Дмитриевича Свиридова изображен Слепцов.

Лидия Филипповна Нелидова (1851—1936) была гражданской женой писателя в последние три года его жизни. Они познакомились летом 1875 г., когда Слепцов вместе с профессором Иванюковым жил на даче в Петровском-Разумовском под Москвой. Нелидова (эта фамилия — литературный псевдоним писательницы) была дочерью директора Петровско-Разумовской академии Филиппа Николаевича Королева. Живая и обаятельная женщина, интересная собеседница, она всегда находилась в центре внимания молодежи, посещавшей дом Королевых. В 1869 г. она вышла замуж за доцента Московского технического училища А. А. Ламовского, который вскоре застрелился (по-видимому, на почве психического расстройства). Родители Нелидовой помогли ей уехать в Швейцарию. Больше года она прожила в семье видного деятеля «молодой эмиграции» и ученого Льва Ильича Мечникова, разносторонне одаренного человека, сблизилась с его женой О. Р. Скарятиной, встречалась почти со всеми деятелями русской революционной эмиграции. Все это значительно расширило ее кругозор.

Приятельница Нелидовой В. М. Спасская сообщает, что в Швейцарии Лидия Филипповна узнала «много нового для себя, знакомясь, между прочим, под руководством Л. Мечникова с „Капиталом“ Маркса»[4]. Конечно, социалистические идеи не стали для нее символом веры, вольномыслие Нелидовой всегда было наносным, поверхностным, под ним скрывалось, в сущности, равнодушие к вопросам политики, однако общение с деятелями революционной эмиграции было примечательным фактом в ее жизни. Уже в старости, живя в доме престарелых ученых в Ленинграде, она написала воспоминания «Лев Ильич Мечников и мое знакомство с ним», из которых мы узнаём,

что в семье Мечникова она могла слышать много интересных политических разговоров на самые актуальные темы. Например, она была свидетельницей того, как в среде «молодой эмиграции» обсуждали поступки Нечаева вскоре после начавшегося процесса «нечаевцев». По ее словам, Лев Ильич «очень хвалил старшую дочь Герцена Наталью Александровну, рассказывая, как ее старался увлечь известный Нечаев и как это ему не удалось» [5]. Сама Нелидова пишет в романе «На малой земле», что за границей Лидии Михайловне Карабиной (т. е. ей самой) неоднократно приходилось «бывать на собраниях социал-демократической партии» [6].

Вернувшись из Швейцарии, Нелидова начала писать рассказы и повести для детей. Ко времени знакомства со Слепцовым она уже была автором двух небольших книг — сборника сказок «Радость» и повести «Девочка Лида»,— довольно бесцветных. Однако Слепцову, увлеченному молодой женщиной, показался в ее произведениях чуть ли не настоящий талант. Вот выдержка из его письма к Нелидовой от 18 мая 1875 г. о «Девочке Лиде»: «Вся картина написана мастерски, подробности превосходны. Я было начал их подчеркивать и бросил. Очень уж их много. Как дети примут вашу книгу, я не знаю, что вы будете писать и в каком роде, это тоже неизвестно, но что у вас талант и быть может блестящий, я в этом *теперь* не сомневаюсь ни одной минуты. Мне очень хочется написать подробный разбор вашей прелестной „девочки" и притом нужно с вами много говорить о ней» [7].

Слепцов, действительно, принялся за критическую статью о повести Нелидовой. Упоминания о работе над ней мы находим в нескольких его письмах осени 1875 г. Как установила М. Л. Семанова, отрывки этой статьи сохранились в бумагах писателя и в бумагах Нелидовой (см. выше, стр. 489).

Однако статья осталась неоконченной, написано только вступление и дан пересказ содержания повести. Возможно, Слепцов, хваля «подробности» произведения, понимал, что в целом оно малозначительно и не заслуживает серьезного разбора.

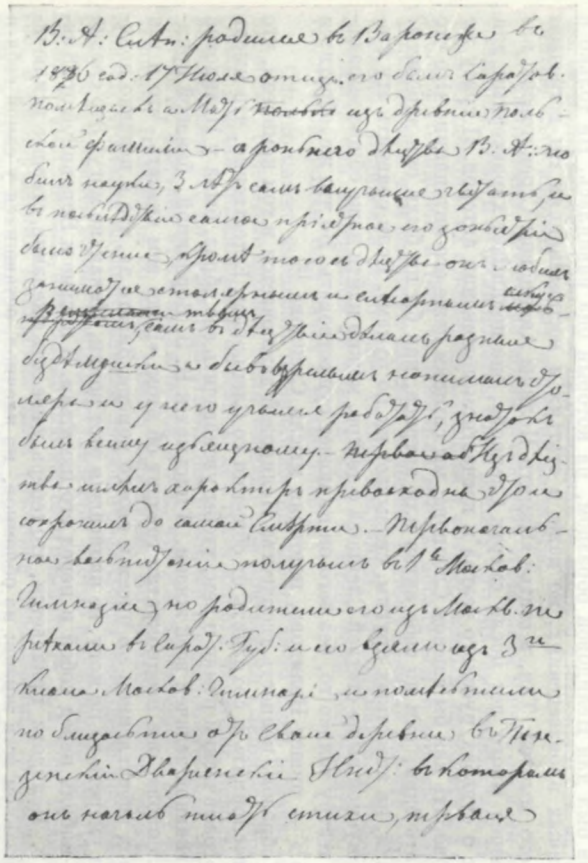
Знакомство, завязавшееся на почве общих литературных интересов, вскоре переросло в тесную дружбу, а потом и в любовь. В начале 1876 г. Нелидова под предлогом путешествия после смерти матери уехала в Москву, а оттуда тайком в Киев и стала гражданской женой Слепцова. Молодой женщине пришлось выдержать немало упреков, косых взглядов и откровенного недоброжелательства. Отец Нелидовой был настроен непримиримо. Слепцов в феврале 1876 г. вернулся в Москву для решительного объяснения с ним. В архиве ЦГАЛИ хранится письмо Слепцова к Нелидовой от 15 февраля 1876 г. с подробным отчетом о разговоре с Ф. Н. Королевым.

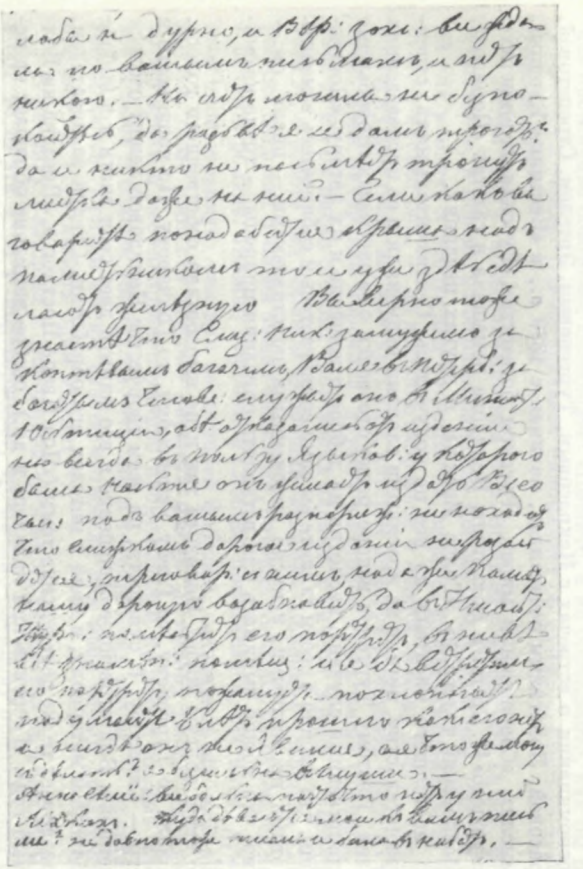
Итак, Нелидова стала спутницей жизни писателя с начала 1876 г. Она сопровождала его почти во всех скитаниях 1876—1877 гг.; в июне 1877 г. поехала с ним на Кавказ, но из Пятигорска вернулась в Москву, чтобы найти средства для лечения безнадежно больного писателя. Все ее отчаянные попытки достать деньги у богатых почитателей его таланта оказались безуспешными, она продала часть своих вещей, чтобы хоть временно поддержать его, старалась устроиться на работу. В ноябре 1877 г. Слепцов вернулся «умирать» к матери, в имение Куракино, и Нелидова была для него самым близким человеком до последнего часа жизни.

Их переписка, в значительной степени сохранившаяся, показывает, что Слепцов относился к Нелидовой с большой теплотой, внимательно заботился о ее литературном росте, был лучшим наставником и другом. В 1870-х годах он помещал произведения молодой писательницы в «Ремесленной газете», где в то время сам печатался, правил ее повесть «Полоса», хлопотал о цензурном разрешении рассказа «Дело прошлое». После смерти Слепцова Нелидова опубликовала несколько произведений, обративших на себя внимание Тургенева и Глеба Успенского.

«Мне не нужно уверять вас,— писал ей Тургенев 21 февраля 1880 г.,— что мое знакомство с вами оставило во мне самые приятные воспоминания, что отныне на свете стало одним человеком больше, который внимательными и дружелюбными глазами будет следить за вашей жизнью и вашей деятельностью» [8]. Это лестное письмо написано вскоре после появления в «Вестнике Европы» повести Нелидовой «Полоса», которую похвалил Тургенев в письме к Стасюлевичу [9].

Зак. 1080





РУКОПИСЬ БИОГРАФИИ СЛЕПЦОВА, НАПИСАННОЙ ЕГО МАТЕРЬЮ. БЫЛА ПОСЛАНА Ж. А. СЛЕПЦОВОЙ В ПИСЬМЕ К Л. Ф. НЕЛИДОВОЙ

Листы первый и последний, 1886 г.

Собрание К. И. Чуковского, Москва

Глеб Успенский, познакомившийся с Нелидовой примерно в те же годы, называл себя «поклонником ее ума», писал ей откровенные дружеские письма и старался вовлечь ее в активную общественную жизнь. Именно по его настоянию она познакомилась с известным революционером Германом Лопатиным и встречалась с ним не только до его ареста, но и после выхода из Шлиссельбурга. Ее многочисленные рассказы, деревенские очерки и воспоминания о встречах с Некрасовым, Тургеневым, Эртелем, Стрепетовой, Е. С. Некрасовой, Лопатиным печатались, начиная с 1879 г., в «Вестнике Европы», «Русской мысли», «Современном мире», «Русском богатстве», «Русских ведомостях», «Голосе минувшего» [10]. Статьи и фельетоны Нелидова помещала в газетах «Порядок», «Голос», «Московский телеграф», «Голос Москвы» и других изданиях.

Однако настоящего писателя из нее не получилось. Сентиментальность, стремление к украшательству, погоня за красивыми словами подменяли в ее произведениях правду жизни. Поэтому Тургенев вскоре резко отозвался о ее рассказах «Воробьиные ночи» и «Единственный случай», несмотря на доброе отношение к их автору. «Поневоле подумаешь, что именно в своем таланте вы сами сомневаетесь и собираетесь заменить его всеми этими прелестными, искусно выточенными подставочками,— писал он.— Мне страшно, что можно вынимать или вставлять описания природы — точно изюмины кулича» [11].

За всю свою долгую жизнь Нелидова так и не выработала собственного голоса. Она подражала то Тургеневу, то Глебу Успенскому, то Гончарову. Но чаще всего и больше всего — Слепцову. В сущности, на всем творчестве Нелидовой лежит отблеск таланта Слепцова. Благоговейное отношение к его памяти дает себя знать и в выборе тем, и в подходе к материалу, и даже в методах его обработки. Следуя за писателем, она часто развивает те же деревенские темы («Под Ивана Постного», «Поездка на Волгу в голодный год», «Георгиевский кавалер» и др.), особое внимание обращает на использование народного языка, применяя, обычно неумело, знаменитую слепцовскую «звукопись».

Слепцов был для Нелидовой образцом, на который она равнялась. Не только в художественных произведениях, но даже в статьях и воспоминаниях мы встречаем отголоски его мыслей. Так, в статье «Памяти Полины Антиповны Стрепетовой», написанной через много лет после смерти Слепцова, она поднимает характерный для него вопрос о судьбах русского театра и несчастном положении актеров. И сразу же начинает говорить как бы языком Слепцова, мы слышим даже его интонации: «Но что может сделать один, сам по себе актер или актриса, как бы ни были они даровиты? Цепь условий, не известных другим, связывает их по рукам». Если сравнить эту статью с публикуемой выше статьей Слепцова о театре, можно найти даже общие выражения. «Дать театру только то, без чего он не может существовать. Во что же обратится тогда театр?» — пишет Нелидова, повторяя мысли Слепцова [12].

Таким образом, ценность творчества Нелидовой заключается в том немногом, что она могла воспринять и сохранить от общения со Слепцовым. Естественно, что мысль создать биографический роман о нем, чтобы увековечить его образ, была у Нелидовой чуть ли не главной задачей всей жизни. В письмах к В. З. Ворониной, близкой приятельнице Слепцова, она неоднократно говорит об этом. «Надо вам сказать, что я вся нахожусь под впечатлением *его* писем и своего романа. Знаете ли, что я недавно поняла: я ведь и умереть-то не могу, не написавши этот роман. Никак не могу! Это словно долг какой-нибудь перед собой и перед его памятью». В письме к Ворониной от 28 августа 1880 г. Нелидова признается, что теперь у нее есть «желание, ставшее исключительным желанием всей жизни: из обломков, из клочков, оставшихся у самой себя и у других — создать 〈...〉 живой образ, похожий на тот, в котором были весь смысл, все радости жизни» [13].

Роман «На малой земле» действительно стал делом всей жизни Нелидовой, так как писался около пятнадцати лет. Она работала над ним с перерывами. Первоначальный этап работы относится к 1880 г. В начале 1880 г. она говорила о замысле романа Тургеневу, прося у него совета, видимо, относительно композиции произведения. 11 апреля 1880 г., отвечая ей, Тургенев заметил, что форма романа сейчас не должна волновать ее. «Важнее то,— писал он,— чтобы отдельные части романа — особенно биографиче-

ского — имели бы между собою соответствующую соразмерность, но вы, помнится, хотели обратить особенное внимание на это обстоятельство. Форма же может перейти из описательной в более драматическую (или разговорную) без ущерба для общего впечатления — особенно если эта перемена обусловливается самим содержанием». Тургенев настойчиво советовал Нелидовой: «Пишите, а не описывайте, как бы поэтично это у вас ни выходило. Всякое описание напоминает об авторе, а этого-то нужно избегать пуще всего» [14].

Летом 1880 г. Нелидова просила В. З. Воронину рассказать ей все, что она знает о Слепцове, и передать в ее распоряжение письма писателя к ней. Все это нужно было ей для романа, к работе над которым она, видимо, уже приступала. «Это не любопытство,— писала она, — не желание забраться в чужую, в вашу душу». Письма к Ворониной нужны были ей, как крупицы, которые помогут воссоздать «живой» образ Слепцова. Вера Захаровна Воронина, дружбу с которой очень ценил Слепцов, знала его с 1862 г. Ей он писал о своих творческих планах, о личной жизни в период с 1866 по 1872 г., о работе над романом «Хороший человек». Воронина сообщала Слепцову подробные сведения о жизни общих знакомых, которые писатель намеревался использовать в начатом романе. Именно Ворониной Слепцов признавался, что много думает над новым произведением, так как за внешней фабулой, основанной на любовной истории друзей, хочет провести глубоко скрытую мысль. 21 января 1868 г. он писал ей: «и в то же время я необыкновенно упорно продумывал и проверял разные свои мысли и все больше и больше убеждался, что они и теоретически верны, и практически подтверждаются. Притом же вы знаете, что мысли для меня самый драгоценный в мире предмет. Я могу любить одни мысли» [15].

В письмах Слепцова к Ворониной есть много немаловажных сведений. Так, письмо от 16 марта 1868 г. подтверждает, что именно Слепцову принадлежит статья «Тип новейшей драмы», напечатанная в февральской книжке «Отечественных записок» 1868 г., что до сих пор неосновательно оспаривают некоторые исследователи [16]. Там же он называет еще одно свое произведение — вторую часть «Записок метафизика» — статью «Кто виноват (Опыт судебной защиты)».

Несомненно, Воронина могла рассказать Нелидовой многое о жизни и творчестве Слепцова. Советы ее были полезны еще и потому, что она сама занималась писанием рассказов и печатала их с помощью Слепцова в «Отечественных записках» и в «Искре». Поэтому у Нелидовой в 1881 г. возникла мысль поселиться в деревне, неподалеку от Ворониной, и там вплотную взяться за роман. К этому времени кое-что у нее уже было сделано. «Написала всего одну главу, недурную, но подумайте,— только одну!»,— сообщила она Ворониной 28 января 1881 г. Итак, если основываться на письмах Нелидовой, роман был начат в конце 1880 г.

Однако можно высказать предположение, что какая-то часть романа, может быть, наброски, отдельные записи, была создана еще при жизни Слепцова. Когда читаешь главы романа, посвященные описанию детства и юности писателя, невольно создается впечатление, что по отдельным страницам рукописи прошлась его рука. Впрочем, может быть, причина этого заключается в том, что все, изложенное в этих главах, было записано Нелидовой со слов самого Слепцова. Во второй части романа она сообщает, что была слушательницей автобиографических рассказов писателя. «На вопросы ее о прежней жизни Свиридов ⟨Слепцов⟩ охотно рассказывал всю свою прежнюю жизнь с самого начала, как только начинал себя помнить» (ч. I, л. 199). Возможно и другое: в распоряжении Нелидовой были рукописи неоконченных произведений Слепцова, в частности, первоначальная редакция его романа «Хороший человек», произведения во многом автобиографического. При работе над своим романом она щедро насыщала отдельные страницы мыслями Слепцова. Так появились в первой части рассуждения о цели и смысле жизни, слова о границе-черте, существующей в воображении человека,— и другие отрывки, очень похожие на соответствующие рассуждения Слепцова в романе «Хороший человек».

Разговор Свиридова и Николая Ильича Стоцкого в XIV главе романа Нелидовой разительно напоминает, например, разговор Теребенева и Сапожникова на Невском проспекте (см. публикуемую выше первоначальную редакцию «Хорошего человека»).

Да и хорошо известные читателям произведения Слепцова Нелидова часто использует, чтобы выбрать из них характерные для писателя мысли и высказать их почти его словами.

Так, во второй части романа «На малой земле» изображается встреча Свиридова-Слепцова и его родственника — типичного человека 40-х годов — Н. И. Стоцкого. Свиридов приезжает в 60-х годах из Петербурга, где только что остро пережил разгром революционных сил, и слышит всё те же красивые слова Николая Ильича об общественных обязанностях и долге. «Свиридов поморщился и бросил папиросу.

— Был у меня приятель, который любил говорить: „долг прежде всего!“ Так он его понимал в буквальном смысле и должал, где мог, главным образом своему портному» (ч. I, л. 129).

Ироническое отношение к высоким словам, когда они не подкрепляются настоящим «делом», всегда было в высшей степени характерно для Слепцова. Те же мысли он вложил в уста своего любимого героя Рязанова из повести «Трудное время». Напомним, что Рязанов тоже рассказывает об одном своем приятеле, который любил «серьезно» рассуждать о долге и деле. «Я как-то одного встретил на улице — я в баню шел, пора, говорит, нам серьезно приняться за дело. Я говорю: да, говорю, пора, действительно, говорю, пора. До свиданья.— Куда же вы,— говорит. — А в баню, говорю, омыться...» (II, 27). За этими «шуточками» несомненно скрывается сам Слепцов с его неприязненным отношением к легкомыслию в больших общественных вопросах.

Таким образом, использование мыслей и даже выражений Слепцова для воссоздания его «живого» образа — отличительная черта романа «На малой земле». Это позволяет нам отчасти восстановить метод работы Нелидовой. Как уже говорилось выше, метод этот был довольно своеобразен. Нелидова собрала рукописи незавершенных произведений Слепцова, сохранившиеся у нее и у близких писателя, письма его к матери и к Ворониной, письма писателя к ней, — и все это сделала документальной основой романа. Поэтому в отличие от памфлетных романов Лескова и Крестовского, где тоже под вымышленными именами выведен Слепцов, роман Нелидовой почти лишен элементов вымысла. Не вызывает сомнения, что события, изображенные в романе, подлинны; в большинстве случаев их подлинность подтверждается письмами самого Слепцова и фактами его биографии.

Так, Нелидова рассказывает, что в первые месяцы их знакомства в окрестностях Молодого (Петровского-Разумовского) был затеян спектакль «в пользу земского приюта при земской больнице». Свиридов охотно взялся за обязанности режиссера; решено было поставить пьесу Островского «Воспитанница». Нелидова подробно описывает репетиции, происходившие в доме Болхотских, распределение ролей между участниками спектакля и т. п. Полностью совпадают с этими описаниями письма Слепцова к Нелидовой от апреля 1875 г., в которых тоже говорится о постановке «Воспитанницы». «Я был у Крестовоздвиженской,— пишет он 22 апреля 1875 г.— Она согласна взять роль генеральши. Леонида я нашел — фамилия его Скворцов, опытный актер и даже, кажется, с талантом; я видел его зимою в одной пьесе: очень, очень недурен, и наружность вполне удовлетворительная. Перегриновна — Каменская. Таким образом, пьеса, как видите, обставляется недурно». Нелидова почти дословно цитирует в романе письма Слепцова от 9, 18 и 22 мая 1875 г., относящиеся, в основном, к истории их любви. Разговор Слепцова с ее отцом, о котором упоминалось выше, она излагает в форме диалога, не меняя ни одного выражения Слепцова.

Более свободно она обращается с письмами последних лет жизни Слепцова (с Кавказа и из Бекова). В них она иногда вносит изменения, которые не всегда оправданы необходимостью сюжетного развития. Так, письмо Слепцова о замысле романа «Остров Утопия» она пересказывает в виде разговора Свиридова и Лидии Михайловны, причем непосредственно связывает его с замыслом своего романа «На малой земле» [17].

Иначе Нелидова использует в своем романе письма Слепцова к Ворониной. Она выбирает из них не сведения о литературной и общественной деятельности писателя в 60-е годы, а бытовые факты, так или иначе характеризующие личность Слепцова. К тому же, если свои письма она, как правило, датирует верно, так что по ним можно

проследить хронологическую канву жизни писателя, то этого нельзя сказать о письмах к Ворониной. Нелидова зачастую берет из них факты, относящиеся к 60-м годам, для характеристики биографии Слепцова в конце 0-х годов или просто использует отдельные образы, располагая их в произведении совершенно произвольно.

Так, 21 января 1868 г. Слепцов жаловался Ворониной на чувство страшного душевного одиночества, которое он испытывал после выхода из тюрьмы, и, между прочим, с раздражением описывал своих соседей, действующих ему на нервы. «Кроме того, надо вам сказать, что рядом со мною живут два молодых идиота — молодые супруги, приезжие, целый день сидят дома и почти не говорят друг с другом; все время у них проходит в том, что они или занимаются любовью или в карты играют. Кончают игру, начинают возиться и нежничать, кончили возню — „ну, вздавай! Тебе ходить...“». Эти комические фигуры Нелидова и поместила в свой роман. В пятой его части, рассказывая о жизни Свиридова и Лидии Михайловны в Кисловодске в 1877 г., она вспоминает о соседях, которые, якобы, жили в соседнем номере гостиницы и тоже целыми днями обменивались немногословными репликами: «Вздавай! Тебе ходить!» Подобных примеров можно привести немало. Оказывается, что весь роман Нелидовой насыщен мыслями, образами, разговорами Слепцова. Документальность, отсутствие беллетристического вымысла—характерная особенность романа «На малой земле». Если учесть к тому же, что он написан человеком, искренне преданным Слепцову, старавшимся защитить его от несправедливых приговоров и нападок, станет ясно, почему роман представляет интерес для биографов писателя.

Однако Нелидовой не удалось создать полноценного произведения о жизни Слепцова. Помешало многое: малый талант автора, узость мировоззрения, обстоятельства работы над произведением. Роман был закончен только в 30-х годах XX в., незадолго до смерти писательницы. Горячо взявшись за работу в начале 80-х годов, Нелидова столкнулась с целым рядом трудностей, главная из которых заключалась в том, что само имя Слепцова было в те годы, вплоть до революции 1905 г., одиозно для цензуры. Вскоре Нелидова охладела к роману, а в 1885 г., выйдя замуж за А. Н. Маклакова — главного врача Глазной поликлиники Московского университета, — окончательно забросила работу. В этот период она участвовала в деятельности Общества любителей российской словесности, на вечерах у нее в доме бывали Ключевский, Тимирязев, Веселовский. «Охотно посещал их и М. Горький»,— пишет биограф Нелидовой, В. М. Спасская [18]. Можно думать, что устные рассказы Нелидовой о Слепцове побудили Горького поближе познакомиться с его произведениями и впоследствии написать о нем статьи.

В 1895 г. после смерти Маклакова Нелидова поселилась в маленьком подмосковном имении с В. З. Ворониной и снова принялась за роман. В это время, видимо, были написаны самые большие его части: вторая, третья и четвертая, повествующие о любви Слепцова и Лидии Филипповны и о семейной истории Королевых. После 1914 г.— снова довольно большой перерыв в работе. Нелидова переезжает в Москву, занимается общественной деятельностью. В. М. Спасская пишет, что вместе с А. В. Погожевой Нелидова «принимала участие в устройстве общеобразовательных и народных развлечений в Москве, состояла членом Московского женского клуба, а во время мировой войны была сестрой милосердия в учрежденной в Москве при ее содействии Никольской общине» [19]. После Октябрьской революции Нелидова одно время работала в Наркомпросе вместе с Н. К. Крупской; с первого дня возникновения Всероссийского союза писателей была членом его московского отделения. И, наконец, лишь после 1925 г. вернулась к роману «На малой земле» и закончила его в доме для престарелых ученых, в Москве или в Ленинграде, куда она была переведена в 1930 г.

Точную дату окончания романа установить не удалось, но если судить по тому, что в 1934 г. Нелидова уже делала попытки напечатать роман, можно предположить, что он был закончен в начале 1930-х годов.

Такой долгий срок создания романа не мог не повлиять отрицательным образом на его достоинства. Естественно, что в 1890-х, а тем более в 1920-х годах Нелидова плохо помнила идейно-политическую атмосферу 1860—1870-х годов, о которой ей приходилось писать. Тем более, что при жизни Слепцова она воспринимала все очень

наивно и поверхностно. Считая ее «малюткой», Слепцов, как это видно и из романа, избегал с ней серьезных разговоров на общественно-политические темы. Сама Нелидова признается, что он частенько говорил о своем детстве и юности, но мало и неохотно рассказывал о жизни в Петербурге до встречи с ней. Это и понятно. Слепцову, конечно, духовно были более близки Л. Е. Воронцова или даже В. З. Воронина, чем Нелидова. Поэтому рамки романа искусственно сужены. Перед нами не вся жизнь Слепцова, а лишь его юность и последние годы жизни.

В сущности, Нелидова написала не биографическо-общественный, а семейно-бытовой роман, в центре которого оказалась история любви видного петербургского литератора и начинающей писательницы. Все же остальное служит фоном, на котором развертывается действие. Роман загромождён бесчисленными побочными эпизодами: историей семейных отношений сестры Нелидовой — Любови Филипповны Суражевской — и ее мужа Алексея Павловича Суражевского (в романе Болхотские), рассказами о деятельности и личной жизни отца Нелидовой — Ф. Н. Королева (в романе — Карабин) и т. д. О художественных достоинствах произведения даже не приходится говорить. Роман рыхл, растянут, неотработан, грешит всеми пороками «дамской» описательной беллетристики.

Однако при всей неполноценности это огромный роман *о Слепцове*, ибо Нелидова не просто посвятила свое произведение памяти писателя, а действительно воссоздала его «живой» образ. Перед нами Слепцов, но не такой, каким его описывали враги, изощряясь в злобных и лживых выдумках, а простой, глубокий и мужественный человек, жизнелюб и искатель, о котором мы, в сущности, еще очень мало знаем. В этом и заключается главное достоинство романа Нелидовой. Отбросив ненужные подробности, загромождающие десятки, а иногда и сотни страниц романа, мы находим в нем новые, ценные факты, обогащающие наши знания биографии Слепцова.

Прежде всего это описание детства Слепцова и процесса формирования его взглядов. В детстве у Слепцова не было тепла и семейного уюта. Его отец, тамбовский помещик, аристократ, Алексей Васильевич Слепцов (в романе Дмитрий Львович Свиридов), был нелюбимым сыном в семье и при разделе имущества его обделили. Причиной этого было и то, что отец против воли родителей женился на католичке, польке Жозефине Адамовне Вельбутович-Паплонской, генеральской дочери, но бесприданнице (в романе—Анна Викентьевна, урожденная Ферзен). Мать отца ненавидела невестку, некрасивую, плохо говорившую по-русски. Поэтому Слепцов вспоминал, что в детстве у него было два гения: добрый — мать и злой — бабушка. Жили у бабушки в Москве, семья была большая (шесть человек детей, из которых Василий Алексеевич — старший), отец вечно болел, и на детей никто не обращал внимания. Обстановка в семье способствовала тому, что мальчик рос замкнутым и наблюдательным. С самых первых лет жизни Слепцову была присуща необыкновенная, повышенная восприимчивость к чужому страданию, которая сохранилась у него на всю жизнь.

Мать очень рано (лет с четырех-пяти) стала брать его всюду с собой: в гости, в концерты, в Малый театр, который он сразу же страстно полюбил. Пяти лет, почти самоучкой, он выучился читать и с тех пор подолгу пропадал в огромной библиотеке деда (в романе — старика Свиридова). В 1849 г. родители, наконец, уехали от бабушки и поселились своим домом в селе Александровка Сердобского уезда Саратовской губернии. Отец уже не вставал с постели, мать деятельно принялась за хозяйство, так как в имении даже не было дома и на первых порах негде было жить. Сыновей Василия и Николая (в романе — Сергей) отдали учиться в Пензенский (в романе — Сарматский) дворянский институт.

Василий учился хорошо, став вскоре лучшим учеником, но с товарищами сходился неохотно. Его мать, которую он в детстве боготворил, однажды испортила ему пребывание в институте своим поведением на ежегодном торжественном вечере, куда явилась не вовремя и в неподходящем платье. Мальчик от стыда упал в обморок и вынужден был потом долгое время выслушивать насмешки товарищей, что способствовало его отчуждению от них. Под предлогом занятия хозяйством после смерти отца он весной не вернулся в институт, но делами занимался мало, а уходил на целый день в лес и подолгу раздумывал о жизни.

В пятнадцать лет для него самым важным стал вопрос, для чего жить, где смысл жизни, где «опора». Опору он нашел в религии, но так как никогда не умел ничего делать вполовину и всегда отдавался любимому делу самозабвенно, со всей страстью, то религиозность скоро превратилась в фанатизм. Он надел на тело железную ржавую цепь от старых весов и долго носил ее под рубашкой, подвергал себя добровольному воздержанию от пищи. Вериги скоро стерли кожу, под рубашкой образовались ранки, но он продолжал носить цепь. Ведь «если любишь и веришь», оправдано любое страдание и любой аскетизм (ч. I, л. 86) — таков был ход его мыслей.



Л. Ф. НЕЛИДОВА (ЛАМОВСКАЯ)
Фотография на билете для входа на Политехническую выставку в Москве. 1872 г.
Литературный музей, Москва

Вернувшись в институт, Слепцов добровольно стал прислуживать в алтаре. Он выстаивал все службы в институтской церкви, радуя своим послушанием религиозного директора института. В это-то время с ним и произошел тот случай, который описывают все биографы Слепцова, толкуя его, правда, по-разному. Приведем рассказ Нелидовой: «В институтской домовой церкви шла обедня в один из больших праздников. Свиридов вместе с другими двумя мальчиками, увлеченными его примером, прислуживал, по обыкновению, в алтаре. Остальные ученики в величайшем порядке были выстроены парами вдоль церкви. Публики по случаю праздника собралось более обыкновенного, и половина обедни успела уже отойти, как вдруг как раз в ту минуту, когда с первыми словами „Верую“ священник отдернул церковную завесу над царскими вратами, с левого клироса вышел бледный более обыкновенного Свиридов, сделал несколько шагов по амвону, отворил снаружи царские врата и вошел в алтарь» (ч. I, л. 66). При виде такого святотатства все замерли в недоумении, так как в царские

врата могли входить только священнослужители. В это время из алтаря послышался стон, и через несколько минут оттуда вынесли Свиридова без памяти.

Когда разгневанный директор пришел к юноше и потребовал объяснить проступок, неожиданный ответ поразил его еще больше: «— Я хотел испытать, что будет,— слабым голосом, лежа в постели, с страдальчески нахмуренными бровями, но уже с полным сознанием отвечал Свиридов.— Я ведь, входя, сказал: *не верую*! Я хотел видеть, допустит ли это и накажет ли меня за это бог. Если он есть, он ведь непременно должен был наказать меня, потому что тогда я сделал грех и, пожалуй, даже большой грех. Но вот я видите ли!.. я сомневаюсь... Я ведь давно сомневаюсь, вот в чем дело,— докончил Свиридов уже как бы про себя...» (ч. I, л. 67).

Итак, по словам Нелидовой, Слепцов не выходил на середину церкви, чтобы громко заявить о своем неверии (ранее известная версия), а сказал «не верую!» в алтаре как бы про себя, что, конечно, более правдоподобно. В статье «Биография Слепцова» Марков сообщает другую версию того же случая. Брат писателя Н. А. Слепцов, учившийся вместе с ним, передавал Маркову, что Василий Алексеевич не хотел лишний год оставаться в институте, так как задумал держать вступительный экзамен в университет, а чтобы родители не препятствовали ему, симулировал сумасшествие [20]. Но и он упоминает о скандале, бывшем во время богослужения. Трудно сказать, какая из этих версий более соответствует действительности. Может быть, даже обе они верны, так как Слепцов мог притвориться сумасшедшим уже после первого скандала, чтобы как-то объяснить свой поступок и добиться все-таки исключения, которое, как оказывается, было для него не наказанием, а желанным результатом.

Во всяком случае, нас этот факт должен интересовать постольку, поскольку он свидетельствует о резком и глубоком разочаровании Слепцова в религии. С этого момента он становится ярым приверженцем атеизма и начинает искать иную «веру». Дорогу к ней подсказал Слепцову один из его родственников, выведенный в романе под именем Николая Ильича Стоцкого. Человек рудинского склада, он приехал в родные места из Петербурга и Москвы, где принимал живое участие в общественной деятельности. В провинции Стоцкий сразу же стал заметной фигурой, говорил речи «о расчищении почвы, о необходимости возвратить долг народу, о земском соборе, о конституции и о женском равноправии» (ч. I, л. 79). Юноша Свиридов был самым внимательным и постоянным слушателем Стоцкого. Он читал книги, привезенные Николаем Ильичом, и нашел в них немало интересного, так как в библиотеке Стоцкого «были за много лет разрозненные томы петербургских передовых журналов и, наконец, тщательно подобранные коллекции запрещенной подпольной литературы» (ч. I, л. 75).

Все это перевернуло мировоззрение Свиридова и направило духовные поиски юноши совсем по другому пути. Размышляя о справедливости и несправедливости, он пришел к выводу об ущербности современного общественного устройства. Ему стало ясно, что «в основании нашей религии, нашей нравственности до сих пор положено было страдание, заметьте,— одно страдание, апофеоз страдания» (ч. I, л. 95). И он в противовес этому создал свою «теорию наслаждения», ибо человек не должен мириться со страданием, оно противно его природе. Вот как излагает Нелидова основные положения его теории, в которой явно заметно влияние социалистических утопических учений: «Задача только в том, чтобы люди поняли преимущество одних перед другими и добровольно поступились некоторыми из удобств и радостей жизни, ежедневных, вульгарных и малоценных, не даром, нет! Но ради обмена на бесконечно более высокие, неизмеримо более утонченнейшие и в тысячу раз, может быть, более сильные наслаждения высшего порядка, духовные, альтруистические. Без наград, без удобного пансиона на том свете, как говорит Герцен, а именно ради самой цели, ради естественного в каждом человеке эгоистического стремления к счастью» (ч. I, л. 93).

«Теория наслаждения», близкая теории «разумного эгоизма» Чернышевского, показывала, что Слепцов рвет со своим классом, безоглядно уходя в ряды тех, кто борется за счастье человечества. Случай в институтской церкви осознавался Слепцовым как первый шаг по направлению к другому лагерю. Поэтому и «теория наслаждения» органически вытекала из его страстных поисков новой веры. Тогда Слепцову еще

казалось, что самое главное — это самозабвенно верить в новое учение, в новое «дело», а успех его придет сам по себе. Когда Стоцкий сказал Свиридову, что ведь многие понимают нелепость общественного строя и все-таки не борются за новый, Свиридов горячо возразил: «Потому что не вполне верят. Поверьте, только поэтому. Верят в полверы, а наполовину сомневаются и не хватает сил, и отчаяния нет, чтобы совсем оборвать, перейти совсем на другую сторону. Да это ведь и не легко — переходить. Это трудно», — задумчиво прибавил он. «Но вот вы всё же перешли. Хоть и через церковные врата, а все-таки перешли...»,— ответил ему Стоцкий (ч. I, лл. 87—88).

Действительно, Слепцов мужественно порвал со своим классом и с тех пор ни минуты не сомневался в правильности выбранного пути. Книги Николая Ильича помогли ему совершить этот переход, но и они не удовлетворили юношу. Нелидова намекает, что с самого начала Слепцов стремился к серьезному знанию, брался за решение самых важных, кардинальных вопросов эпохи. Ему не хватало в библиотеке Стоцкого книг по философии, так как только в них, казалось ему, можно найти ответ на его вопросы.

«А для меня теперь это важнее всего. Хотелось бы прийти к чему-нибудь, найти для себя...

— Что же, нашли?

— Нет,— печально отозвался Лева.— Может быть оттого, что я сам не довольно хорошо понимаю, но мне кажется, что главного не решает никто. Ходят только вокруг да около. Вероятно, не могут решить» (ч. I, л. 89).

Поиски решения этих вопросов привели Слепцова сначала в Московский университет, а потом и в Петербург, в редакцию «Современника». В своем романе Нелидова частично объясняет, почему Слепцов бросил занятия на медицинском факультете университета, куда поступил осенью 1853 г. Он ушел, так как считал, что «взял уже всё, что можно было взять в университете из науки и знания». «Поверьте,— говорил он матери,— что больше мне нечего делать здесь и не для чего терять время...» (ч. I, л. 119). По-видимому, и из Пензенского дворянского института Слепцов ушел сам и по той же причине. Сошлемся на слова Маркова: «Полагаясь на свои способности и не желая понапрасну тратить лишний год, молодой Слепцов объявил своим родителям, что не желает долее продолжать учение в институте, а хочет прямо держать вступительный экзамен в университет» [21]. Такая целеустремленность была в высшей степени характерна для Слепцова. Она объяснялась тем, что в науке он искал ответа на вопрос о социальной справедливости, а писательство с самого начала стал считать «делом», помогающим разрешить эту проблему. Всю свою сознательную жизнь Слепцов был рыцарем одной идеи, служил ей самозабвенно, не случайно даже перед смертью он размышлял об утопическом романе, подобном «Дон-Кихоту».

Творческая деятельность Слепцова началась, как и у многих, с писания стихов. Нелидова приводит одно из юношеских стихотворений писателя: «Зарей утра объят весь огнистый...» Мать и брат Слепцова тоже вспоминали, что его первыми произведениями были стихи; в письмах Слепцова к Нелидовой 1875 г. несколько раз упоминается о стихотворениях, которые он писал для нее. По-видимому, все это были «домашние» или любовные стихи, которым он не придавал серьезного значения, так как никогда их не печатал. Более важно другое свидетельство Нелидовой. По ее словам, еще до поступления в Московский университет, Слепцов задумал написать трактат об изобретенной им «теории наслаждения», но вскоре оставил эту мысль и вместо трактата написал любопытный рассказ о разочаровании в практическом применении этой теории. «Интересное и трогательное описание печального разочарования было пересыпано остроумными замечаниями, забавной иронией над самим собой» (ч. I, л. 113). Как утверждает Нелидова, рассказ был принят в редакции известного петербургского журнала, Слепцова пригласили сотрудничать в нем. Не был ли этот журнал «Современником»? Ведь в редакции «Современника» уже работал с 1853 г. Чернышевский, который писал в то время свою знаменитую диссертацию, во многом перекликающуюся с теориями молодого Слепцова. Скорее, однако, здесь ошибка Нелидовой: по-видимому, она имеет в виду более поздний период жизни писателя, начавшего сотрудничать

в «Современнике» только с 1862 г. Во всяком случае, пока нам не удалось установить, появился ли юношеский рассказ Слепцова в каком-либо петербургском журнале за 1854—1855 гг.

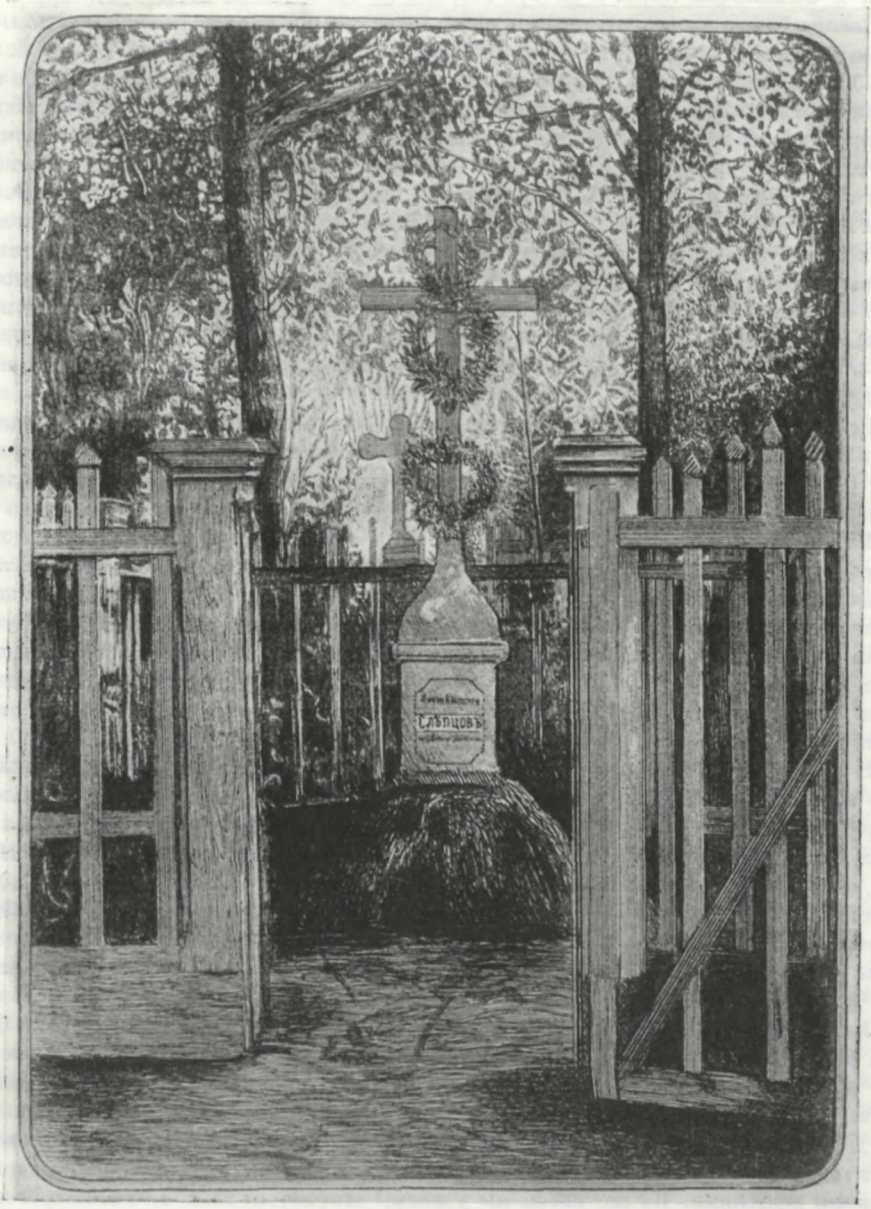
Жизнь Слепцова в 60-х годах освещена в романе Нелидовой не только крайне скудно, но и неверно. Впрочем, цель ее понятна: Нелидова старалась всеми способами «обелить» фигуру Слепцова в глазах цензуры. Поэтому она всячески подчеркивает, что Слепцов стоял в стороне от революционного движения, что арестован он был совершенно случайно, так как «нашелся его адрес, ничтожная записка у одного из сильно замешанных деятелей». Наконец, утверждает, что революционным движением Слепцов интересовался «главным образом, с литературной точки зрения, не принимая сам ⟨в нем⟩ близкого и деятельного участия» (ч. II, лл. 118—119).

Любопытно, что это утверждение опровергает сама же Нелидова несколькими страницами ниже. Во второй части произведения, где она рассуждает о непричастности Слепцова к революционной практике, Нелидова вводит в роман новую фигуру — знакомую Свиридова — Елизавету Ильиничну Ворсилову, или Люпочку, как ее любовно называет Свиридов. Люпочка приезжает к Свиридову помочь ему наладить отношения с Лидией Михайловной, она становится для них самым близким и нужным человеком и в решающие моменты, во время разрыва Лидии Михайловны с семьей «спасает» обоих. Люпочка — свой человек в Свиридовке, где живет мать Льва Дмитриевича, она хорошо знает писателя еще по петербургской жизни, словом, это человек его круга. Нелидова сочувственно рисует яркую фигуру «новой женщины», сильной и самостоятельной, мужественно переносящей все невзгоды своей нескладной жизни.

Оказывается, что у Люпочки, как и у других действующих лиц романа «На малой земле», есть свой жизненный прототип. Под ее именем выведена в романе Любовь Егоровна Воронцова, замечательная женщина из плеяды шестидесятниц, судьба которой была далеко не обычна. В 1871 г., когда ей было всего двадцать лет, она привлекалась к суду в знаменитом процессе «нечаевцев». Ее брат, Дмитрий Егорович Коведяев, принадлежал к тайному обществу Нечаева «Народная расправа». Коведяев состоял в кружке Рипмана и Прыжова, исполнял разные поручения, укрывал в своей квартире от преследования правительства Нечаева, П. Николаева и князя Черкезова, помог Нечаеву уехать за границу в декабре 1869 г. Вот что говорится в судебном протоколе от 16 августа 1871 г. «по делу о заговоре, составленном с целью ниспровержения существующего порядка управления в России»: «...когда после убийства Иванова Кузнецов и Нечаев прибыли в Петербург, то тотчас же начались деятельные розыски разных прежних знакомых Нечаева, причем он и Кузнецов обратились *прежде всего* к московской их знакомой Воронцовой, переговоры с которой о вступлении ее в Общество начались еще в Москве» [22].

На следствии Воронцова показала, что согласилась вступить в Общество. Когда она собиралась ехать из Москвы в Петербург, Нечаев лично виделся с ней и дал ей поручение. Он «стал спрашивать ее о ее знакомых в Петербурге, она назвала некоторых, а он поручил ей склонить их к вступлению в Общество. Целью этого общества, как поняла ее Воронцова из разговоров с неизвестным, было изменение существующего порядка» [23]. Представляется очень вероятным, что среди имен, которые называла Воронцова Нечаеву, было имя Слепцова, ближайшего петербургского знакомого Воронцовой. Да и летом 1875 г., когда Воронцова приехала в Петровское-Разумовское к Слепцову, там еще все было полно отголосками дела Нечаева (1873). Напомним, что главная квартира Нечаева была в Петровско-Разумовской академии, что среди «нечаевцев» большинство было слушателей этой академии, а убийство студента Иванова произошло в гроте парка академии.

Воронцова на суде отказалась от адвоката, с успехом сама защищала себя, была признана невиновной и оправдана. Нелидова неоднократно упоминает об этом в романе. По ее словам, Люпочка Ворсилова «в знаменитейшем процессе сама защищала себя, выручила стольких политических, помогала бежать Эманову». Под именем Эманова скрывается, по всей вероятности, Нечаев. В другом месте романа Люпочка рассказывает Лиде, как поздравляли ее известные петербургские адвокаты с успешной защитой. Правда, в романе «На малой земле» Воронцова показана



МОГИЛА СЛЕПЦОВА В СЕРДОБСКЕ
Гравюра, 1904 г.

в один из несчастнейших периодов ее жизни, но ведь даже там встречаются намеки на ее революционную деятельность. Нелидова пишет, как скучала Люпочка без дела, как частенько подумывала об опасном поручении: «Не беда, если бы опасное поручение. Детей в Финляндию тогда. В Сибирь послали бы что ли...» (ч. IV, л. 143).

Слепцов тоже часто упоминает в своих письмах о Любочке Воронцовой (см. его письма к Нелидовой от 4 октября и 31 декабря 1875 г., 3 сентября 1877 г. и б. д.). В 1873 г. он пишет матери из Железноводска: «Любочку недавно выпустили. Она просидела 4 месяца и теперь уж уехала совсем больная в Волынскую губернию работать на железной дороге и лечиться»[24]. Сохранились в письмах и свидетельства о том, что в 1875 г. Воронцова «устраивала» роман Слепцова с Нелидовой (см. письмо Слепцова к матери 1875 г., письма Л. Воронцовой к Ж. А. Слепцовой и Л. Ф. Нелидовой)[25]. Любочка всегда была в курсе всех дел Слепцова, с ней он говорил о самом важном для него. Так, летом 1875 г. они обсуждали вопрос о продаже слепцовских сочинений московскому издателю. Нелидова приводит в романе следующий разговор Свиридова и Люпочки:

« — И как я мог! Как я мог продать издания этому скареду, этому кулаку, попову сыну? — говорил он, называя фамилию известного издателя.

— Не то важно, что продали, а что продешевили,— отозвалась Люпочка» (ч. II, л. 539).

Речь идет о продаже собрания сочинений Слепцова издателю Полякову, о чем он писал Нелидовой 23 ноября: «Дело мое о продаже издания кончилось, совсем кончилось, решительно и положительно: я продал издание за две тысячи и в понедельник заключаю условие».

Можно предположить, что Воронцова была одной из слушательниц Слепцова в Петербурге 60-х годов. Известно, что лекции Слепцова в то время посещали такие женщины, как Н. П. Суслова, «первая русская женщина, получившая в Швейцарии звание доктора медицинских наук (...), Бокова, которая тоже впоследствии получила диплом доктора в Германии и стала известным в Лондоне оператором по болезням глаз, Софья Ковалевская и другие»[26]. Должно быть поэтому Люпочка относится к Слепцову как к учителю и с восторгом говорит: «такого ума и понимания жизни — ведь он все может понять — я не встречала никогда» (ч. II, л. 503).

В 1898 г. Воронцова поступила на должность фельдшерицы в ту самую Солнышевскую лечебницу близ станции Лопасня, где работал Чехов [27]. Можно с уверенностью утверждать, что Чехов был знаком с Воронцовой: в ее письмах часто встречается имя врача Веры Андреевны Глуховской-Павловской, хорошей знакомой Чехова. Нелидова, которая жила все эти годы близ Воскресенска, тоже встречалась с Чеховым и даже написала потом о нем воспоминания. Известно, что Чехов гостил у Маклаковых (Лидии Филипповны и ее пасынка — В. А. Маклакова) летом 1903 г. Видимо, две эти женщины — Воронцова и Нелидова,— обе хорошо знавшие Слепцова, рассказывали о нем Чехову.

Итак, Нелидовой, даже при желании, не удалось показать изолированность Слепцова в 70-х годах, его непричастность к революционному движению. Правда, не следует забывать, что годы, проведенные с Нелидовой, ни в коей мере не показательны для всей жизни Слепцова. Ведь в 1875 г. он был занят устройством своих личных дел, а в 1876 г. уже почувствовал первые признаки страшной болезни, которая через год свела его в могилу. Но даже в этот период он был тесно связан с передовыми русскими деятелями. Из его писем мы узнаем, что летом 1875 г. из Петровского-Разумовского он часто ездил «на целый день» в Волынское к В. И. Танееву [28]. Не менее интересен рассказ Нелидовой о жизни Свиридова и Лидии Михайловны в Москве в 1876 г.

Вскоре после возвращения Свиридова и Лидии Михайловны из Киева в Москву,— повествует Нелидова, — к ним на квартиру явились известная актриса Ростовская и пригласила Свиридова принять участие в только что организовавшемся «Обществе содействия народному просвещению». Свиридов согласился и взялся в качестве режиссера составлять труппу для народного театра. Цель «Общества содействия народному просвещению» Нелидова характеризует так: «дать народу вместо кабака и балагана разумные и эстетические развлечения» (ч. IV, лл. 20—21). На окраине Москвы

был устроен летний театр, здесь же, по предложению Лид. Мих., открыли чайную и устроили всякие «разумные» развлечения, несколько месяцев упорно репетировали и, наконец, открыли народный театр. Постоянными посетителями театра и чайной стали фабричные рабочие из Подмосковья, которые остались очень довольны «Обществом». Репертуар театра был соответствующе подобран. Как пишет Нелидова, лучшим спектаклем оказалась пьеса Островского «На бойком месте», поставленная в бенефис Ростовской.

Если всмотреться в фигуру этой женщины, изображенную Нелидовой, окажется, что под ее фамилией скрывается знаменитая русская трагическая актриса П. А. Стрепетова (1850—1903). Мы узнаем ее прямолинейный и неуживчивый характер, детали личной жизни, даже внешний облик, вплоть до таких мелочей, как виртуозное умение гримироваться, присущее Стрепетовой. Описание ее игры в пьесе Островского на сцене народного театра совпадает с многочисленными восторженными отзывами критиков, видевших ее в роли Евгении, одной из лучших ролей актрисы, в театре Бренко: «В кокетливо повязанном поверх пестрого ситцевого платья передничке с кружевцами, в разноцветных бусах, позванивающих вместе с длинными серьгами, в платочке, края которого весело развевались по плечам, Евгения непрестанно лукавила и хитрила. Но, казалось, что и хитрость ее не от дурного, а от какой-то бабьей тоски, от неудавшейся жизни»[29].

Нелидова пишет, что к моменту знакомства Свиридова с Ростовской она уже была прославленной артисткой. Стрепетова впервые приехала из провинции в Москву весной 1873 г., через два месяца с успехом выступила на сцене Общедоступного театра и с тех пор полюбилась москвичам. Летом 1876 г. Стрепетова уже не играла в Общедоступном театре и только с сентября этого года стала выступать в Артистическом кружке вместе с М. И. Писаревым. Поэтому есть все основания предположить, что до сентября, все лето, она, действительно, играла на сцене какого-то любительского народного театра под Москвой, организованного «Обществом содействия народному просвещению» (трудно сказать, как оно называлось в действительности, так как, видимо, и это название вымышленное).

Слепцов был знаком со Стрепетовой с 1875 г. Об этом свидетельствует ее письмо от 23 июля 1875 г.: «Познакомилась с Плевако и с Слепцовым (писатель). Последний нравится»[30]. В переписке Слепцова с Нелидовой тоже встречается имя Стрепетовой (см., например, письмо Слепцова из Москвы от 15 февраля 1876 г.). В 1876 г., вероятно, состоялось знакомство Стрепетовой с Нелидовой. Много лет спустя Нелидова написала о ней статью «Памяти П. А. Стрепетовой», где отзывалась об актрисе как о своей старой знакомой. Наконец, Воронцова тоже хорошо знала Стрепетову и несколько раз упоминала о ней в письмах к Нелидовой. Должно быть, все они составляли один тесно спаянный кружок. Возможно, что «Общество», о котором пишет Нелидова, сразу же попало на заметку полиции и вскоре вынуждено было прекратить свое существование. Предположение это основано на следующем письме Воронцовой к Нелидовой, которое примерно можно датировать концом 70-х годов: «Пошла к Стрепетовой, у которой и пишу это письмо, так как дома нет чернил. Думаю, приведя всё в порядок, приняться за шитье и серьезно готовиться к отъезду. Пожалуй, скоро произойдет катастрофа и *всем нам* придется рассыпаться в разные стороны»[31]. Катастрофа, действительно, вскоре произошла. Когда Нелидова в 1877 г. снова приехала в Москву с Кавказа, ей сообщили, что Общества не существует, а один из его руководителей — «дядя Гриша» — сидит в остроге. Видимо, только болезнь и внезапный отъезд на юг избавили Слепцова от вторичного ареста.

Итак, если эти предположения верны, то можно на основании романа Нелидовой установить новый факт общественной жизни России 70-х годов, тем более любопытный, что речь идет о биографиях таких видных деятелей, как Слепцов и Стрепетова.

Пятая часть романа «На малой земле» посвящена последним годам жизни Слепцова (1887—1878) — поездке на Кавказ и жизни в Куракине. В эти годы Слепцов уже не жил, а медленно умирал, все силы уходили на лечение и на заботу о деньгах. И все-таки в этих главах есть новые штрихи для характеристики его личности. Так, Нелидова рассказывает о том живом интересе, который проявил Свиридов к забастовке рабочих на

Кавказе. Этот факт соответствует действительности. 11 июля 1877 г. Слепцов писал Нелидовой в Москву: «В Ессентуках уже два раза бунтовались рабочие при ваннах». В романе же подробно изображена сходка рабочих в Железноводске, на которую, по настоянию Слепцова, отправляется Нелидова. «Тебе любопытно будет посмотреть. Ты ведь этого не видела никогда...», — говорит Свиридов Лидии Михайловне. Предполагается, что сам Свиридов неоднократно видел подобное.

Забастовка растет, они узнают, что завтра решено ее назначить в Ессентуках и, может быть, распространить еще дальше. Характерно отношение Свиридова к забастовке. Он не только не жалуется, подобно другим больным, что ванны закрыты, хотя, может быть, каждый лишний день без лечения отнимает у него месяц жизни. Нет, он вместе с Лидией едет к сенатору Сухову, прибывшему, чтобы расследовать дело. Уже в Москве Нелидова вспоминает его слова по поводу забастовки: «Если не взять силой, добровольно люди не поступятся ничем» (ч. V, л. 101).

Здесь, на Кавказе, он опять-таки окружен людьми передовых взглядов. Близкая знакомая Лиды — Виктория Виттольд — оказывается Анной Петровной Прохоровой, живущей на нелегальном положении. Возможно, речь идет здесь о Юргенсон, которую встретил Слепцов в Тифлисе. «Здесь твоя знакомая тифлисская барышня Юргенсон, она пробудет здесь до половины августа», — писал он Нелидовой 29 июля 1877 г. На Кавказе Слепцов после долгого перерыва вновь увиделся с другом своей юности графом Евгением Сальясом. «Встретились мы с ним на бульваре, был он у меня, вспоминали мы с ним старое. Собирается ехать в Тифлис — посмотреть» (письмо от 30 сентября 1877 г.). Безнадежно больной Слепцов не перестает пристально следить за политическими событиями, сообщает Нелидовой последние кавказские новости. В Пятигорске он сближается с известным участником сербско-турецкой войны генералом Черняевым и узнает от него закулисную сторону кавказских дел. Так, он пишет в июле 1877 г.: «...доктор Иванов был у меня с прошлогодними рассказами о Сербии — ведь он туда ездил — и о Черняеве ⟨...⟩. Серьезно говоря, здесь, т. е. не здесь, а за Кавказом такие дела творятся — ужас! В газетах об этом ничего не печатают, во-перв ых, потому, что война за Кавказом — личное дело в⟨еликого⟩ к⟨нязя⟩, а, во-вторых, потому, что уж очень все это скандально. Оказывается, что за Кавказом война идет вовсе не между Россией и Турцией, а между Лорис-Меликовым и Мирским. Мирский — известный старый интриган, которому нужно отличиться, а между тем Лорис-Меликов против ожидания пошел в ход и действует очень успешно. И вот, Мирский с помощью интриг и внушений главнокомандующему устраивает так, что делаются нелепые распоряжения, требования Лорис-Меликова не исполняются, и все это для того, чтобы уронить его, губят тысячи солдат, чтобы доказать неспособность Лорис-Меликова».

В Кисловодске — Пятигорске Слепцов, по словам Нелидовой, написал рас каз, который остался нам неизвестен. Возможно, он затерялся, так как в последний год жизни писатель постоянно переезжал с места на место. По письмам Слепцова и рассказам близких можно восстановить точную хронологическую канву этого периода[32].

Рассказ Нелидовой о последних днях жизни Слепцова дает несколько интересных фактов. Писатель, по словам Нелидовой, сознавал, что умирает, как жертва современного строя, в расцвете сил, не осуществив большинства своих планов. Он прямо сказал об этом Лидии Филипповне в ответ на ее отчаянный вопрос: «Стало быть, погибать?»

« — Да, малютка, при современном строе нет выхода. На „острове Утопия“ предполагаются другие порядки, но он пока еще необитаем» (ч. V, л. 158).

Размышляя о своей судьбе, он сравнивал ее с судьбами многих русских литераторов. Его мать вспоминала, что в предсмертные дни Слепцов много говорил о Добролюбове, до последнего часа следил за газетами, интересовался процессом Веры Засулич. Нелидова тоже пишет, что он часто заставлял ее читать и каждый день до полуночи беседовал с ней о литературе. Особенно много говорил про Глеба Успенского: «А какой был чудесный талант! И тоже не сумел дать того, что мог дать, если бы работал при других условиях. Я не знаю, любишь ли ты Глеба Успенского? Надо мне как-нибудь почитать его тебе. У него такие перлы, зарытые в куче ненужных неуклюжих слов.

В свое время они и были, конечно, нужны... Никогда не следует увлекаться этим. Нужно писать, не думая о времени, не думая ни о чем, кроме того, чтобы фигура встала яркая, живая, во весь рост. Остальное все придет само собой. Она сама будет говорить за себя и скажет, что нужно, лучше всяких авторских рассуждений. Ты понимаешь меня? Это тебе мое литературное завещание» (ч. V, л. 186).

Литературным завещанием Слепцова, обращенным не только к Нелидовой, но и ко всем молодым писателям, были и его слова о необходимости искать свои, новые формы для выражения мысли. «Я хочу сказать — есть выражения и целые фразы, до такой степени затрепанные от частого употребления, что они обратились в клише и не должны больше повторяться. Ни один герой или героиня уже не имеют права *прислоняться пылающим лбом к холодному мрамору или холодному стеклу окна*. Это конечно, нужно придумать что-нибудь другое. И *красные нити, проходящие через все произведение*, и *весна, вступившая в свои права*... Нужно искать и находить свои, новые слова, новые сочетания слов и новые предметы для наблюдения» (ч. V, л. 179).

Не приходится сомневаться, что эти мысли принадлежат Слепцову. Он был большим мастером «своих» слов, всегда находил свою точку, с которой смотрел на мир. Эту его особенность отметил Горький: «Слепцов вообще брал темы новые, не тронутые до него: о фабричных рабочих, об уличной жизни Петербурга; его очерки полны намеков — вероятно, бессознательных — на судьбу отдаленного будущего страны, полны живого смысла, не уловленного в свое время...»[33].

Теперь мы знаем, что намеки Слепцова во всех его произведениях были далеко не «бессознательны». Это был человек передовой бунтующей мысли, тесно связанный многими нитями с освободительным движением своего времени.

Роман Нелидовой «На малой земле» вряд ли имеет право на публикацию из-за его художественной неполноценности. Но многие десятки его страниц представляют, несомненно, интерес не только для биографии Слепцова, но, косвенно, и для характеристики общественной жизни России 70-х годов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ж. А. Слепцова. Василий Алексеевич Слепцов.— «Русская старина», 1890, № 1, стр. 233—241.

[2] В. С. Марков. Биография В. А. Слепцова.— «Исторический вестник», 1903, № 3, стр. 957—976.

[3] Сочинения В. А. Слепцова в двух томах, т. I. М., 1932, стр. 583—591.

[4] «Некролог Маклаковой-Нелидовой, составленный Спасской В. М.». Рукопись.— ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 2, ед. хр. 5, л. 13.

[5] «Лит. наследство», т. 63, 1956, стр. 500.

[6] Л. Нелидова (Л. Ф. Маклакова). На малой земле. Машинопись.— ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 12, л. 503.— В дальнейшем даются ссылки только на части и листы машинописи романа Нелидовой в тексте статьи.

[7] Письма В. А. Слепцова к Л. Ф. Маклаковой-Нелидовой.— ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 271.— В дальнейшем ссылки на них не даются.

[8] «Вестник Европы», 1909, № 9, стр. 229.

[9] Письмо от 21 октября/2 ноября 1879 г.— «Стасюлевич и его современники», т. III. СПб., 1912, стр. 173.

[10] Указ. некролог Маклаковой-Нелидовой, л. 3.

[11] Письмо Тургенева к Нелидовой от 14 мая 1880 г.— ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 3.

[12] Л. Нелидова. Памяти Полины Антипьевны Стрепетовой.— «Русская мысль», 1903, № 12, стр. 147 и 152.

[13] Письма Маклаковой-Нелидовой к В. З. Ворониной.— ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 35.— В дальнейшем ссылки на них не даются.

[14] «Вестник Европы», 1909, № 9, стр. 230.

[15] Письма В. А. Слепцова к В. З. Ворониной.— ЦГАЛИ, ф. 479, оп. 1, ед. хр. 17.

[16] См. стр. 133 настоящего тома.

[17] См. стр. 436 настоящего тома.

[18] Указ. некролог Нелидовой, л. 9.

[19] Там же, л. 6.

[20] В. С. Марков. Указ. биография Слепцова, стр. 966.

[21] Там же.

[22] Б. Базилевский. Государственные преступления в России, т. I. СПб., 1906, стр. 211.— *Подчеркнуто нами.*

[23] Там же, стр. 215.

[24] Письма В. А. Слепцова к матери.— ЦГАЛИ, ф. 479, оп. 1, ед. хр. 12.

[25] ЦГАЛИ, ф. 479, оп. 1, ед. хр. 12 и ф. 331, оп. 1, ед. хр. 92.

[26] М. Горький. Собр. соч., т. 24. М., 1953, стр. 223.

[27] См. о Л. Е. Воронцовой также стр. 491—492 настоящего тома.

[28] Письма В. А. Слепцова к Маклаковой-Нелидовой от конца августа, 3 и 5 сентября 1875 г. См. также нашу публикацию об отношениях Слепцова и В. И. Танеева в настоящем томе.

[29] «П. А. Стрепетова. Жизнь и творчество трагической актрисы». М.—Л., 1959, стр. 37.

[30] Там же, стр. 274.

[31] Письма Воронцовой к Маклаковой-Нелидовой.— ЦГАЛИ, ф. 331, оп. 1, ед. хр. 92.

[32] Приводим ее:

1877 г.

Январь — март. Петербург, визиты к знаменитым профессорам.
Май. Жизнь в Бекове.
Июнь. Пребывание в Куракине.
27 июня. Отъезд на Кавказ.
Июль — август. Жизнь в Железноводске.
3—10 сентября. Пребывание в Пятигорске.
11—19 сентября. Переезд в Кисловодск.
20 сентября — 26 октября. Возвращение в Пятигорск. Жизнь там. Сборы в Ялту.
27 октября. В Таганроге.
Ноябрь. Возвращение в Куракино.

1878 г.

6 марта. Переезд в Сердобск.
23 марта. Смерть.

[33] М. Горький. Собр. соч., т. 24, стр. 221.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. И. ТАНЕЕВА

Публикация Л. А. Евстигнеевой

Владимир Иванович *Танеев* (1840—1921), известный философ-социолог, литератор и «красный адвокат», выступавший защитником в политических процессах польских повстанцев и «нечаевцев», приятель в 1870-х годах Салтыкова-Щедрина, корреспондент К. Маркса, познакомился со Слепцовым в 1865 г. в Петербурге. Незадолго до этого Танеев вернулся из Франции, где изучал политическую экономию, историю французской революции 1789—1794 гг., а прежде всего системы утопического социализма, одним из запоздалых последователей которого он был. Слепцова живо интересовали эти вопросы. Организатор «коммуны», только что прекратившей свое существование, он не мог не стремиться к знакомству с человеком, который сам несколько месяцев прожил в фаланстере Андре Годена, общался с Луи Бланом и другими социалистами Запада. Судя по сведениям, содержащимся в рукописи, которую мы печатаем, инициатива знакомства с Танеевым принадлежала Слепцову. При первой же встрече, которую им устроил их общий знакомый Наркевич, Слепцов обратился к Танееву с просьбой прочесть несколько лекций по политической экономии. Танеев не сообщает, для кого организовывал Слепцов эти лекции, а лишь указывает, что аудитория его в первый и во второй раз состояла почти исключительно из молодых женщин. По-видимому, лекции были устроены Слепцовым для какой-то женской демократической организации, которых было много в 1860-х годах.

Завязавшееся при этих обстоятельствах знакомство упрочилось. В заглавии публикуемой рукописи (указанием на нее мы обязаны С. А. Макашину) перед фамилией «Слепцов» Танеев поставил цифры «1865—1876». Это, несомненно, обозначение времени, в течение которого Танеев общался со Слепцовым. Несомненно также, что весь этот период и должен был быть отражен в воспоминаниях. Однако рассказ о встречах со Слепцовым доведен в рукописи до момента переезда Танеева из Петербурга в Москву, т. е., по-видимому, до 1872 г.[1] Отсюда мы вправе сделать вывод, что либо работа автора над рукописью не была завершена, либо продолжение ее утрачено. Для решения вопроса о датировке рукописи мы не располагаем документальными данными. Все же можно с уверенностью утверждать, что возникла она спустя много лет после смерти Слепцова. Об этом свидетельствует характер публикуемого документа.

В сущности, это не «воспоминание», а краткий биографический очерк, в котором использованы материалы личных впечатлений автора от встреч со Слепцовым. При этом в очерк введены такие факты из биографии Слепцова, обнародование которых при жизни автора «Трудного времени», разумеется, исключалось. К тому же, когда Танеев набрасывал этот очерк, он, очевидно, основывался лишь на своей памяти, не поверяя и не корректируя ее обращением к каким-либо объективным источникам. Отсюда ряд ошибок и неточностей в сообщаемых фактах из биографии Слепцова (главнейшие ошибки указаны в примечаниях к тексту). Поэтому пользоваться публикуемым мемуарно-биографическим наброском как источником сведений для летописи жизни Слепцова следует с осторожностью. Гораздо интереснее и важнее те общие оценки и характеристики, которые дает автору «Трудного времени» Танеев. Ведь эти оценки и характеристики исходят от одного из наиболее своеобразных и прогрессивных современников Слепцова, от человека, которого лично знал и ценил Карл Маркс, назвавший Танеева «преданным другом освобождения народа»[2].

Воспоминания Танеева позволяют высказать некоторые предположения о роли Слепцова в лагере революционной демократии во второй половине 60-х годов. В литературе много писали об энергичной общественной деятельности Слепцова в период «трудного» для демократов времени. Известно, что он хлопотал об организации всевозможных предприятий, дающих заработок нуждающимся женщинам, устраивал благотворительные литературно-музыкальные вечера, организовывал в «Знаменской коммуне» научно-популярные лекции. Однако мнения современников о характере и целях этих предприятий были различны. Многие видели в них филантропию или просто дань «модным» идеям. В действительности, как мы знаем теперь, все практические общественные начинания Слепцова определялись его мировоззрением революционного демократа и утопического социалиста и имели политический характер. К их числу относятся лекции, о которых пишет Танеев.

Они происходили не в «Знаменской коммуне», а на квартире у Слепцова и предназначались, видимо, для одной из женских демократических организаций. Следовательно, после самоликвидации «Знаменской коммуны», находившейся под негласным наблюдением полиции (о чем он знал), Слепцов не прекратил своей полуконспиративной общественной деятельности, а продолжал ее. Он организовал лекции с участием такого интересного человека, каким был Танеев, в будущем автор трактатов и других произведений, посвященных своеобразной разработке многих идей утопического социализма: «Теория грабежа», «Эйтихиология» ⟨наука о счастье⟩, «Коммунистические государства будущего» и др. Эти работы позволяют нам представить, каково было содержание лекций. Да и сам Танеев пишет, что во время одной из них вспыхнуло горячее обсуждение вопроса о положении народа при республиканском и при монархическом строе.

Танеев характеризует Слепцова как «решительного радикала, глубоко убежденного и в высшей степени способного направлять других». Он свидетельствует, что с 1864 по 1866 г. Слепцов «был одним из самых видных людей в Петербурге» и что в эти годы «остатки революционных элементов» увидели в «Трудном времени» «откровение», а в авторе повести — «пророка». «На него,— пишет Танеев, — возлагались молодежью огромные надежды».

Популярность Слепцова в демократических кругах русского общества после опубликования «Трудного времени» (1865), действительно, была очень велика. Это объясняется тем, что Слепцов затронул в повести вопрос, интересовавший многих: где искать настоящее «дело» в обстановке реакции после арестов Чернышевского, Обручева, Н. А. Серно-Соловьевича и других. «Трудное время» явилось прямым продолжением романа «Что делать?» и, пожалуй, только с этим произведением Чернышевского оно может сравниться по силе воздействия на русское общество шестидесятых годов. Рязанов, несомненно, родной брат Рахметова, но это уже герой «трудного» времени, когда в результате выяснившейся ошибочности расчетов на близость всеобщего крестьянского восстания после тяжелых ударов, нанесенных правительством и реакцией революционному центру, демократический лагерь переживал кризис. В новой обстановке по-новому вставал вопрос: «Что делать?». Ответы Чернышевского, сохранявшие, разумеется, все свое идейное могущество, уже не давали, однако, необходимой перспективы в непосредственно-практическом отношении. «Перемена декораций» отодвигалась на неопределенное время, устройство же бытовых коммун, как показал опыт лучшей из них — «Знаменской», — пока не оправдало себя.

Повесть «Трудное время», конечно, не давала ответов на все главные вопросы о практическом поведении демократов в новых условиях. Но для того исторического момента важно было и то, что вопросы эти были поставлены, притом открыто и резко.

В том же 1865 г. в статье «Скромные упражнения» Слепцов писал: «Судьба наша складывается таким образом: идем мы путем-дорогой и приходим к распутию; вот перед нами лежат три пути: направо — „узкая стезя добродетели“, налево — „тернистый путь беззакония“, посреди находятся „милосердия двери“, для всех равно отверзтые, двери, которыми мы можем вступить на „путь снисхождения“» (II, 336).

Художественную разработку этих мыслей Слепцов попытался осуществить в об-

разах и судьбах трех главных героев «Трудного времени» — Рязанова, Марии Николаевны и Щетинина.

Бывший демократ, а теперь либеральный помещик, Щетинин устремляется в широко разверзтые «милосердия двери». «Путь снисхождения» приводит его к хищнической деятельности капитализирующегося хозяина, цель которого «овец завести, хлебом барышничать» и копить, копить, копить. Отсюда прямая дорога и на «стезю добродетели», т. е. к откровенно реакционному правому курсу. В повести Слепцова по этой стезе идет пока только письмоводитель Иван Степаныч, ретроград, но не исключено, что они с Щетининым окажутся вскоре в одном лагере. Понимая, что капитализм входит и уже вошел в русскую жизнь, Слепцов высмеивает модные в то время рассуждения либералов, например, В. П. Безобразова, о том, что «новое экономическое развитие страны» само по себе может улучшить положение народа. В ответ на уверения Щетинина, что он разбогатеет, а потом будет «благодетельствовать человечеству», так как деньги — это сила, Рязанов говорит: «Сила-то она, конечно, сила, да только вот что худо,— что пока ты приобретешь ее, так до тех пор ты так успеешь насолить человечеству, что после всех твоих богатств не хватит для того, чтоб расплатиться. Да, главное, что и расплачиваться будет как-то уж неловко: желание приобретать войдет в привычку, так что эти деньги *нужно будет уж силою отнимать у тебя*» (II, 158.— Подчеркнуто нами. — *Л. Е.)*.

Реформы — не метод устранения глубокого несовершенства существующего порядка вещей; вступление страны на путь капиталистического развития неизменно приведет к появлению нового сильного врага, у которого рано или поздно, но придется отнимать власть и отнимать *силой* т. е. посредством революционного переворота.

Итак, путь Щетинина — это путь кулака-помещика. Естественно, он никоим образом не удовлетворяет Рязанова, избравшего «тернистый путь беззакония». Не удовлетворяет он и Марию Николаевну. Оба они стремятся к активной жизни, исполненной деятельного труда на пользу народа. Правда, стремятся они к этим, общим для них, целям по-разному. Мария Николаевна со всем пылом юности, со всей неопытностью и с романтически прекрасным, но наивным порывом *добиться всего сразу*, какими-то неясными для нее, но обязательно решительными и быстрыми мерами. Рязанов — умудренный тяжелым горьким опытом поражения революционного натиска начала 60-х годов, понявший, что нужны иные методы, нужна длительная кропотливая работа по собиранию новой армии освободительной борьбы. Слепцов, конечно, на стороне Рязанова. Не случайно, подчеркивает Танеев, в этом образе можно увидеть много автобиографических черт. И, конечно, то сходство Рязанова с Чернышевским, о котором так много писали в критике, объясняется прежде всего тем, что в образе Рязанова отразились типические черты демократа из лагеря Чернышевского, преданнейшим учеником которого был сам Слепцов.

Слепцов любовно, но с легкой иронией говорит о настойчивом стремлении Марии Николаевны изменить все сразу, побыстрее, чтобы не было больно смотреть на нищих мужиков, на баб, сгибающихся под непосильной работой в жгучий полдень, о ее вызывающе смелом, но все же детском желании «переглядеть солнце». Ведь Рязанов уже убедился, что одной дерзостью грозное «солнце» не переглядишь. Поэтому он все время старается «приземлить» ее; когда она вдохновенно играет Марсельезу, Рязанов напоминает, что рядом-то «ходит фельдфебель и твердит: левой, правой, левой, правой...» (II, 118). В образе Марии Николаевны мы угадываем черты будущей народнической революционерки 70-х годов, подобной поэтическому образу Марианны в «Нови» Тургенева. Таким представляется Слепцову второй возможный путь демократа.

Рязанов (Слепцов) может восхищаться Марией Николаевной, но вместе с ней он не пойдет. Этим объясняется непонятый многими критиками финал повести и, в частности, разрыв интимных отношений героев. Мария Николаевна решает ехать в Петербург. Ей кажется, что там она сможет быть полезна, только там ей видится настоящее «дело» и люди, которые ей помогут.

« — Да,— в раздумье говорил Рязанов,— хорошие, хорошие люди... Да, были люди. Это правда.

— А теперь?

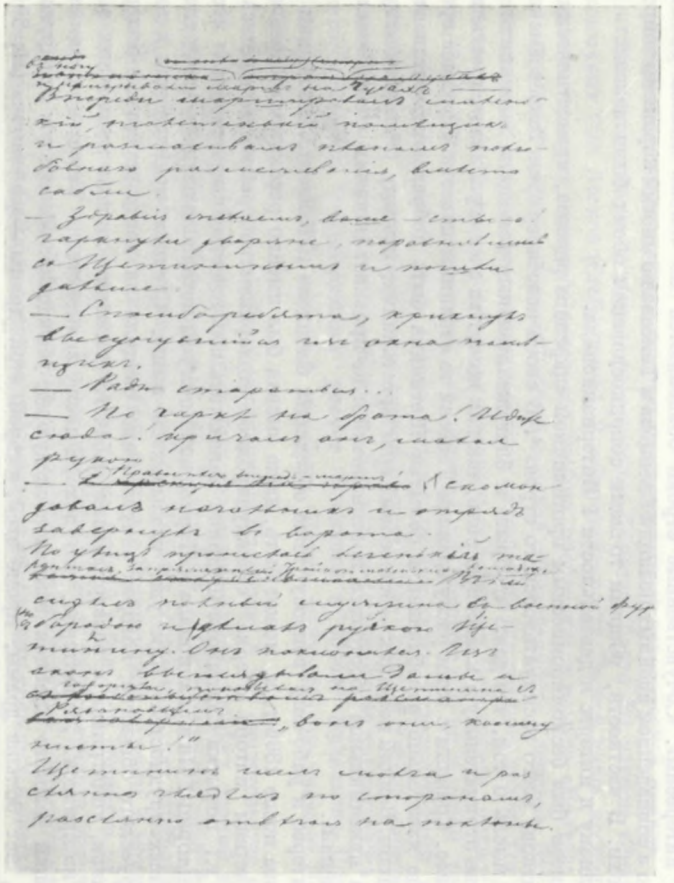
— И теперь, пожалуй, еще с пяток наберется» (II, 150).

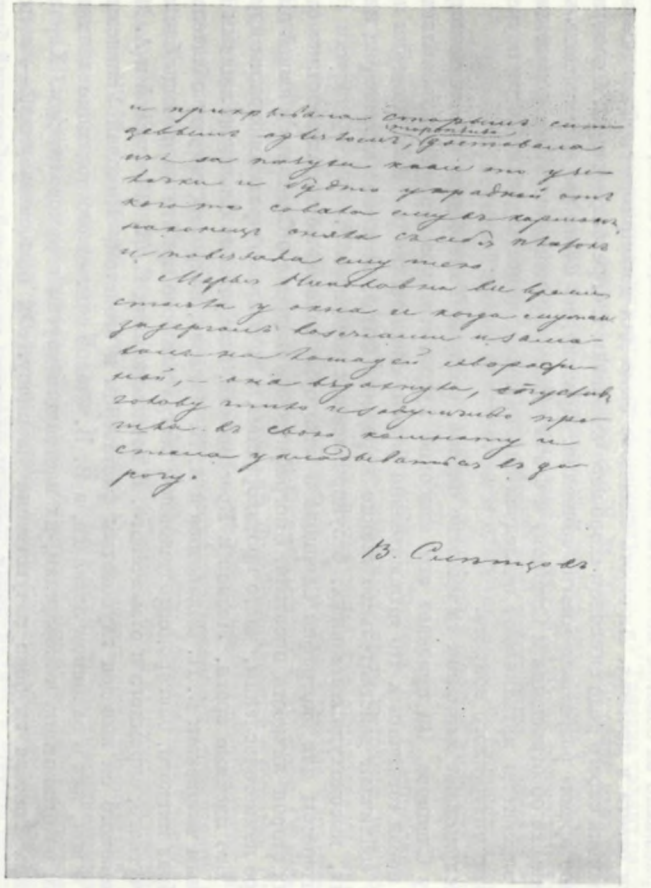
Впрочем, он не отговаривает ее. Конечно, Петербург для нее выход к самостоятельной жизни, и там «мелкота», которая осталась после гибели вождей революционной демократии, приютит ее и даст «дело». Она, мелкота-то эта, «все дела справит и все эти артели заведет... *на законном основании*» (подчеркнуто нами. — *Л. Е.*). Многозначительно здесь это многоточие. Оно не просто означает раздумье Рязанова, а скрывает горькую усмешку автора: какая польза может быть в Петербурге 1865 г. от артелей, устроенных на «законном основании». Ведь сам Слепцов уже перепробовал множество «законных» мероприятий и убедился в их безрезультатности. Напомним, что за создание повести он взялся сразу же после того, как вынужден был ликвидировать «Знаменскую коммуну», спасая ее участников от нависшей над ними угрозы преследования органами политической полиции. Возможно, здесь звучит подспудная мысль Слепцова о необходимости создания новой, вполне конспиративной организации, но мысль о ней еще не совсем ясна самому автору. Пока у Рязанова есть только вера в успех революции («успех-то будет несомненно») и настойчивое стремление собирать силы для новых битв. Напомним, что Рязанов не просто отдыхает в деревне Щетинина. Для него этот отдых — перемирие с врагом перед новыми битвами. Уезжает же он вместе с дьячковым сыном, которого обратил в свою «веру» и, видимо, предназначил для роли одного из «рядовых» новой армии.

Рязанов уезжает не в Петербург. Он знает, что сейчас ему там делать нечего, и на вопрос Марии Николаевны, куда он едет, уклончиво отвечает: «Да это, смотря по тому как... вообще в разные места 〈...〉 Больше к югу». Уклончивость Рязанова объясняется, конечно, не тем, что он не хочет ответить на чувство Марии Николаевны к нему. Он, видимо, сам еще не знает, где и как будет начинать «новое дело», а Мария Николаевна с ее восторженно-наивным отношением к миру — плохая спутница в его бесприютной, неустроенной и опасной жизни. Поэтому приходится подавлять зародившееся чувство к ней. А главное, и он, и она отчетливо поняли, что им не по дороге. Об этом свидетельствует последний разговор Рязанова и Марии Николаевны, во время которого она признается, что все-таки не верит ему и хочет убедиться во всем на собственном опыте.

Итак, Рязанов уезжает «к югу»; должно быть, искать в деревне новые силы и новые формы для борьбы. Несколько лет спустя Слепцов устами Теребенева, героя другой своей повести «Хороший человек», выскажет ту же мысль: нужно ехать в деревню, «к печке» и «начинать все сначала» (см. об этом выше, на стр. 22). Правда, и тогда он не сможет ответить на вопрос о конкретных способах борьбы, но примечательны сами поиски этих способов. Так намечается третий путь, возможный для демократа; путь, который автору кажется наиболее приемлемым. Вывод Слепцова был подсказан самой жизнью и впоследствии повторился в спорах народников и марксистов о путях и методах революционной борьбы. Отметим еще присущую Слепцову оптимистическую уверенность в том, что «досадное положение», в котором оказались демократы после краха революционной ситуации начала 60-х годов, не будет длиться долго. Так, свою статью «Скромные упражнения», опубликованную в журнале «Современник» в 1865 г., он заканчивал предсказанием близкого революционного подъема: «А на развалинах этой погибающей жизни, среди безумного смеха и ярых проклятий, уже слышатся торопливые, но еще робкие шаги новой, давно ожидаемой жизни, с новыми 〈...〉 желаниями и новым запасом свежих, еще неизведанных сил» (II, 353). Вот почему, как пишет Танеев, «остатки революционных элементов» увидели в «Трудном времени» какое-то откровение, а в Слепцове — какого-то «пророка, который *может разъяснить всё*».

Подспудный смысл повести поняли, конечно, не все, но на виду был разительный пример Марии Николаевны, бросившей всё и устремившейся в Петербург. И как после выхода в свет романа «Что делать?» в России стали образовываться всевозможные коммуны, так и после опубликования «Трудного времени» многие демократически настроенные женщины и девушки стали приезжать в Петербург с единственной целью: спросить у Слепцова, как они могут приобщиться к новой жизни. Об этом





ЛИСТЫ РУКОПИСИ НАБОРНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ПОВЕСТИ СЛЕПЦОВА «ТРУДНОЕ ВРЕМЯ» (ГЛАВА V). 1860-е гг.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

рассказывает не только Танеев. Е. Н. Водовозова, например, вспоминает, что к Слепцову приезжало за советом множество женщин со всех концов России, а еще больше просили ответа в письмах. Личность Слепцова была для демократической молодежи того времени своего рода символом «хорошего человека», т. е. революционера, а повесть «Трудное время» разрешала многие сомнения. Краткие, но очень весомые свидетельства Танеева об отношении к Слепцову и его «Трудному времени» «остатков революционных элементов» наталкивают исследователя на необходимость дальнейшего изучения этого интересного вопроса.

Заслуживают внимания те высокие оценки, которые Танеев дает писательскому таланту Слепцова. Он признает его «высокое художественное дарование», заявляет, что он писал «отлично» и что «относительно формы» слепцовские рассказы и очерки не только «обличают действительное знание народного быта», но и «составляют ряд маленьких, высокохудожественных, безукоризненных шедевров» [3].

Интересны для биографии Слепцова и некоторые танеевские характеристики отдельных сторон личности писателя. Биографические сведения о Слепцове в нашей литературе немногочисленны, часто противоречивы, а то и прямо противоположны друг другу. Его идейные враги, Лесков и Крестовский, изображают Слепцова лживым и нечестным человеком. Е. Н. Водовозова и А. Я. Панаева, напротив, рисуют обаятельный образ мягкого, благородного человека, всегда готового прийти на помощь ближнему, чуткого, скромного и отзывчивого. В воспоминаниях Е. И. Жуковской и А. М. Скабичевского он выведен глуповатым фантазером и эгоистом; Николай Успенский пишет о нем, как о салонном ловеласе, а В. В. Стасов считает его подлинно великодушным по отношению к женщинам, их настоящим другом и руководителем. Характеристика Танеева глубоко сочувственна Слепцову. «Он был очень умен, — пишет Танеев, — и много думал, видел, наблюдал. Результаты его мыслей и наблюдений были всегда интересны». Сочувственные строки объясняются не только личной симпатией, но и совпадением идейных позиций Слепцова и Танеева по многим коренным вопросам эпохи. В частности, общими точками соприкосновения обоих были ненависть к либерализму и интерес к деятельности I Интернационала.

Танеев был бескомпромиссным противником «царского режима, крепостнических пережитков, всего эксплуататорского строя» [4]. В своей автобиографии Танеев высказывает мысль о том, что даже «добрые» и благожелательные помещики выполняют в обществе отрицательную классовую роль, так как живут за счет ограбления крестьянских масс. Сравним с этим рассуждением Танеева те страницы повести «Трудное время», где язвительно разоблачается попытка Щетинина быть добреньким, оставаясь помещиком. Всякий помещик — классовый враг крестьянина, поэтому Слепцов выступает за максимальное обострение противоречий и не признает никаких «полюбовных соглашений».

Интерес к рабочему вопросу тоже объединял Слепцова и Танеева. Он возник у Слепцова после 1866 г. и, может быть, даже вызван был именно рассказами Танеева, впоследствии автора очерка «Международное товарищество рабочих» (написан в 1871 г.; попытка Салтыкова-Щедрина напечатать в «Отечественных записках» этот очерк истории I Интернационала и Парижской Коммуны потерпела неудачу вследствие цензурных трудностей). Как уже указывалось выше, Слепцов принадлежал к той части русского общества, которая сочувственно следила за деятельностью I Интернационала, усматривая в развертывании рабочего движения один из возможных выходов из кризиса. Характерно, что вскоре после знакомства с Танеевым в романе «Хороший человек» Слепцов высказал следующее убеждение: «Теперь уж нет других героев, нет больше драмы, кроме этой, и герой этой драмы — *работник*» (II, 361. Подчеркнуто нами. — *Л. Е.*).

Однако Танеев в своих работах никогда не выходил за пределы идеологии утопического социализма до-марксова периода. Слепцов же после неудачи «Знаменской коммуны» начал относиться к идеям утопического социализма более критично. Известно, например, что он не разделял даже некоторых взглядов Чернышевского, видевшего в крестьянской общине зародыш социалистического строя (см. повесть «Трудное время» и рассказ «Ночлег»), и подчеркивал, что община тоже является средством угнетения народа.

Общий тон статьи Танеева о Слепцове глубоко уважительный. Это тем более примечательно, что, как показал в своей характеристике Танеева С. А. Макашин, он редко о ком в своих воспоминаниях отзывался положительно. «У Танеева талант раздражать людей,— писала о нем хорошо знавшая его Р. М. Хин. — Он точно взял себе привилегию говорить человеку в лицо неприятности и щекотливые вещи» [5]. Эта манера общения с людьми была перенесена и в воспоминания о них. Тем более, повторяем, примечателен глубоко сочувственный Слепцову общий тон мемуарного наброска Танеева.

Однако присущее Танееву пристрастие к односторонним обобщениям и часто парадоксальным выводам сказалось в оценке некоторых сторон личности и деятельности Слепцова.

Прежде всего это выразилось в утверждении Танеева, что Слепцовская коммуна, вероятно, была создана «просто потому, что вместе жить выгоднее, чем порознь». В литературе уже установлено, что «Знаменская коммуна» образовалась как предприятие социалистическое, подобное фаланстеру Фурье или коммуне Чернышевского. Идеи утопического социализма очень занимали Слепцова в ту пору. Об этом свидетельствует, например, конспект сочинений Фурье, найденный в бумагах Слепцова К. И. Чуковским, а также опубликованная выше вторая часть «Петербургских заметок», где Слепцов горячо одобряет стремление демократов к далекой, прекрасной цели — обществу будущего. Именно эту цель частично стремился осуществить Слепцов в своей коммуне. «Даже Лесков, враг Слепцова, изобразивший его в язвительном пасквиле, — пишет К. И. Чуковский,— и тот принужден был отметить социалистические тенденции Слепцовской коммуны»[6]. И даже В. В. Крестовский в антинигилистическом романе «Панургово стадо» признавался, что обитателей коммуны часто объединяли не совсем обычные интересы. Он рассказывает, как в коммуне обсуждали вопрос об организации восстания в Сибири и искали способов переправлять в Россию революционные прокламации. Поэтому попытка Танеева представить коммуну просто «меблированными комнатами с общим столом» не соответствует исторической правде.

Не соответствует истине и утверждение Танеева, будто бы членом «Знаменской коммуны» был Лесков (Стебницкий). В действительности Лесков лишь несколько раз посетил коммуну, которую потом «со злобою изобразил» в романе «Некуда».

Требуют пояснения слова Танеева о малой образованности Слепцова. Эту версию постоянно использовали в своих нападках на писателя его идейные враги. Тот же Лесков в романе «Некуда», изображая Слепцова под именем Белоярцева, пишет: «Впрочем, Белоярцев тем и отличался, что никогда не вмешивался ни в какой разговор, ни в какой серьезный спор, вечно отходя от них своим художественным направлением. Он с мужчинами или сквернословил, или пил, и только иногда развязывал язык с женщинами, да и то там, где над его словами не предвиделось серьезного контроля» [7]. Крестовский рисует Слепцова в образе Ардальона Полоярова безграмотным невеждой, который не знает Данте и Гомера, не уважает Пушкина и Лермонтова.

Таковы заявления идейных противников Слепцова. А вот свидетельства его друзей и единомышленников. «Слепцов был человеком разносторонних знаний и разносторонних способностей,— пишет Е. Н. Водовозова.— Он прекрасно знал французский, немецкий, латинский языки»[8]. Авдотья Панаева вспоминает, как литератор Слепцов читал публичную лекцию о составе воды и о «применении ее силы к механике» [9]. Правда, Слепцов не любил высказывать своих мнений в большом обществе, да и обычно говорил очень сдержанно. Но это проистекало не от недостаточного знания предмета, а просто от нелюбви к пустым ораторским упражнениям. «Словесностью» неприязненно называл Слепцов досужие рассуждения по «поводу сложных явлений и жизненных проблем, разрешать которые следует не во время журфиксов, а в серьезных трактатах научных и литературных» [10]. «В малознакомом обществе Слепцов был молчалив и только в самом коротком кружке был разговорчив и очень остроумен. Он вообще не выставлял шумливо своих взглядов на вещи»,— пишет Панаева [11].

Возможно, что последнее обстоятельство и сыграло некоторую роль в формировании у Танеева мнения о малой образованности Слепцова. Но главное, надо думать, заключалось тут в другом. С точки зрения Танеева, фанатично преданного идеям

утопического социализма, только изучение трудов, относившихся к этому кругу, в первую очередь произведений Сен-Симона и Фурье, Кабе и Луи Блана, а также Годена, свидетельствовало о подлинной образованности и широте интеллектуальных интересов. Следует при этом иметь в виду и действительную разницу в уровнях образования Слепцова и Танеева, который уже с четырех лет занимался несколькими иностранными языками, музыкой, а с шестнадцати лет — самостоятельно изучал социальные науки и прочитывал в месяц до 15—20 книг.

Но и Танеев признается, что Слепцова считали человеком «основательным, глубокомысленным» и серьезным, очень убежденным «и в высшей степени способным направлять других». Это признание совершенно согласуется с воспоминаниями большинства современников.

«Несмотря на свою сдержанность и внешнюю холодность, — пишет Е. Н. Водовозова,— Слепцов был человеком с чутким сердцем и великодушным характером, с мятежною душою, вечно ищущей, с живою общественною жилкою» [12].

Заслуживают внимания некоторые новые сведения о жизни Слепцова, сообщаемые Танеевым. Так, говоря о творчестве писателя после 1866 г., он упоминает о плане новой комедии, составленном Слепцовым. Оказывается, сюжет комедии был остро социальным. Слепцов намеревался изобразить артель, которую создают рабочие, ушедшие от хозяина-портного. Следы работы над этой комедией сохранились в бумагах Слепцова [13].

Как утверждает Танеев, Слепцов опубликовал первый акт этой комедии в «Отечественных записках», но следующих актов не написал. Вопреки этому утверждению оказалось, что ни одного акта комедии не было напечатано, однако намерение Слепцова изобразить коммуну, созданную среди рабочих, говорит само за себя.

Интересны некоторые, сообщаемые Танеевым, подробности жизни Слепцова, в частности факт знакомства Слепцова с В. А. Иностранцевой, активной участницей женского движения 60-х годов. Члены известного общества «издательниц» были тесно связаны в своей работе с переплетной артелью В. А. Иностранцевой и постоянно отдавали книги в переплет только этой артели. В воспоминаниях В. В. Стасова мы читаем: «Молодая и красивая особа Варвара Александровна Иностранцева ⟨...⟩ проникнутая идеею „женского труда", самопомощи и „артели", еще ранее издательской артели устроила переплетную артель и стояла довольно долго в ее главе, бодро, умело, энергично» [14].

Любопытно, наконец, упоминание Танеева о близком знакомстве Слепцова с И. И. Иванюковым, экономистом, профессором Московского университета. Все это делает воспоминания Танеева ценным звеном в мемуарной литературе о Слепцове. К тому же воспоминания дают материал к характеристике эпохи и глубоко своеобразной личности самого их автора, В. И. Танеева, произведения которого лишь недавно стали известны читателю.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В своих воспоминаниях «Русский писатель М. Е. Салтыков (Езоп)» Танеев сообщает, что переехал в Москву «вскоре» после рождения у Салтыкова сына Кости (который родился 1 февраля 1872 г.).— «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина. М., 1957, стр. 572.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 26. М., 1935, стр. 445.

[3] Интересно высказывание В. И. Танеева о Слепцове-писателе, зафиксированное в дневнике П. И. Чайковского 13 февраля 1886 г.: «...жара невыносимая и в довершение всех бедствий невыносимый В. И. *Танеев*. После Подсолн⟨ечной⟩ разговор с ним о литературе. По его мнению, *Толстой* бездарность, но зато какой-то Слепцов гений. Скрытое полное мое бешенство...» (Дневник П. И. Чайковского. 1873—1891. М.—Пг., 1923, стр. 36—37).

[4] М. П. Баскин. В. И. Танеев.— В кн.: «В. И. Танеев. Детство. Юность. Мысли о будущем». М., 1959, стр. 6.

[5] «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 558.

[6] К. И. Чуковский. История Слепцовской коммуны. — В. А. Слепцов. Сочинения в двух томах. М., 1932, т. I, стр. 560—561.

[7] Н. С. Л е с к о в. Собр. соч., т. III. М., 1956, стр. 336.
[8] Е. Н. В о д о в о з о в а. В. А. Слепцов.— «Голос минувшего», 1915, № 12, стр. 110—111.
[9] А. Я. П а н а е в а. Воспоминания. М., 1956, стр. 329.
[10] Е. Н. В о д о в о з о в а. Указ. соч., стр. 112.
[11] А. Я. П а н а е в а. Указ. соч., стр. 328.
[12] Е. Н. В о д о в о з о в а. Указ. соч., стр. 108.
[13] Приводим отрывок комедии по автографу ИРЛИ (Р. III, оп. 1, № 1926):

А л е к с е й И в а н о в и ч (*поет*): Ты зачем, зачем, мальчишка,
Своей родины бежал
Кто нитки схватил? Кто у меня нитки схватил! Петька, это ты? Сказывай скорее. Сейчас голову оторву!
П е т ь к а. На что мне их. Да вон они валяются.
А л е к с е й И в а н о в и ч. Подай сюда! Ах, ты подлая тварь!
П е т ь к а. Что ж вы ругаетесь-то занапрасно.
А л е к с е й И в а н о в и ч. Разговаривай! Я те дам занапрасно. Паршивый чёрт! Ступай утюг тащи да проворней поворачивайся!
П е т ь к а. Как скоро, так сейчас!
А л е к с е й И в а н о в и ч. Вот ты у меня поворчи еще!
П е т ь к а. Поворчу!
А л е к с е й И в а н о в и ч. Что?!
П е т ь к а. Ничего (*уходит*).
А л е к с е й И в а н о в и ч. Эка дрянь, мальчишка, как набаловался!
Никого ты не спросишь,
Кроме сердца, сердца...
Семен Петрович, вы хоть бы подвинулись от свету, как я тут стану разутюживать. Семен Петрович!
С е м е н П е т р о в и ч. Куда я подвинусь?
[14] В. В. С т а с о в. Воспоминания о моей сестре.— «Книжки недели», 1896, № 5, стр. 186.— Слепцов упоминает об Иностранцевой в письме к Некрасову без даты (1868—1871 гг.) из Павловска («Лит. наследство», т. 51-52, 1949, стр. 497).

1865—1876
СЛЕПЦОВ

Слепцов родился в 1834 или 1835 году [1]. Он был сын помещика и воспитывался в Московском университете, на медицинском факультете. Это было в конце [2] 50-х годов. Он вел обыкновенную студенческую жизнь того времени, гордился мундиром с синим воротником, проводил время в трактирах, играл постоянно на биллиарде. Он очень любил театр, играл на разных любительских сценах. Он был очень красив. Женщины его любили. Он, по его собственным словам, пробирался иногда по ночам в женские монастыри.

На одном из домашних спектаклей он познакомился с молодой девушкой, полюбил ее и женился [3]. Через год она умерла.

Вскоре он женился на другой. Вторая жена его, молодая трепетная блондинка, была страстно в него влюблена. Но она скоро ему надоела. Он был избалован женщинами и чувствовал потребность постоянно менять их.

В то время проникли из Петербурга в Москву новые, свежие, добрые идеи. Они поразили Слепцова. Под влиянием этих идей и под влиянием московского славянофильства в нем явилось страстное желание сблизиться с русским народом, изучать его.

Он оставил университет, взял с собой маленький ручной багаж и отправился ходить пешком по Московской и Владимирской губерниям. Он ходил зиму и лето, останавливался в крестьянских избах, знакомился с крестьянами.

Плодом этого знакомства были его мелкие рассказы. Эти рассказы обличают действительное знание народного быта и, кроме того, высокое

художественное дарование. Относительно формы они составляют ряд маленьких, высокохудожественных, безукоризненных шедевров.

Он начал печатать свои рассказы в «Русской речи» Евгении Тур[4] — обрадовался, удивился, что вдруг оказался писателем, понял себе цену и отправился в Петербург.

Тогда все, что было в России талантливого и доброго, группировалось вокруг Чернышевского в «Современнике». Слепцова уже там знали и сейчас же дали ему работу. Он принес Чернышевскому «Письма об Осташкове», которые сейчас же были напечатаны в «Современнике»[5]. Здесь же он поместил один за другим несколько мелких рассказов.

Слепцов никогда не имел большого образования. Поэтому он всегда побаивался образованных людей. Он говорил много и охотно только в обществе женщин или в обществе близко знакомых ему людей. В незнакомом обществе или в обществе людей, которые отличались образованием или питали к нему маленькую неприязнь, он упорно молчал.

Он прочел, может быть, 5—6 серьезных книг в своей жизни и не имел никакого образования. Поэтому он постоянно боялся, чтоб его необразование как-нибудь не обнаружилось.

Но когда он говорил, он говорил хорошо, просто, убедительно, остроумно.

Он был очень умен и много думал, видел, наблюдал. Результаты его мыслей и наблюдений были всегда интересны.

До 1864 г. у него была самая лучшая репутация. Он был членом редакции «Современника»[6], постоянно молчал в собраньях редакции, скромно делал свое дело, т. е. писал, и писал отлично.

На него смотрели как на основательного, глубокомысленного молодого человека, решительного радикала, глубоко убежденного и в высшей степени способного направлять других.

С 1864 г. его репутация несколько изменилась. Про него стали уже говорить, что в нем нет ничего особенного. Но все-таки с 1864 по 1866 г. он был одним из самых видных людей в Петербурге. Тогда была мода на литературные чтения в пользу бедных, в пользу ссыльных. Ни одно из этих чтений не обходилось без Слепцова. Он читал свои собственные рассказы, и читал их мастерски. Трудно себе представить что-нибудь лучше его чтения: простота, изящество, одушевление, умение подражать голосу женщин и притом без всякой театральности, без всякой аффектации. Если в чтении участвовал Слепцов, можно было заранее наверное сказать, что все билеты будут проданы.

Его успеху много содействовала его наружность. Умное, бледное, изящное, окаймленное прекрасными черными волосами и черной бородой лицо. Он производил поразительный эффект.

Женщины были от него без ума и просто толпами бежали его слушать и всячески старались заслужить его расположение, склонить его на любовь.

Когда Слепцов переехал из Москвы в Петербург, за ним последовала его жена. Но он не обращал на нее никакого внимания. Она всячески старалась привлечь его к себе, ухаживала за ним всеми способами, кокетничала насколько могла. А она была прелестна. Ничто не помогало. Несколько раз она уезжала в Москву, несколько раз приезжала снова, и все напрасно. Они разошлись[7]. Ребенок их, дочь, оставалась у нее на руках.

Она поселилась с ребенком в Москве в родительском доме. За ней долго ухаживал какой-то богатый человек, который был ей противен[8]. Но малопомалу она к нему привыкла. Он победил ее постоянством, подарками. Позже в Москве мы несколько раз проезжали с Слепцовым мимо дома, где жила его жена. Он каждый раз показывал мне на этот дом.

В 1864 г. несколько молодых людей и молодых женщин наняли большую квартиру и стали жить вместе просто потому, что вместе жить выгод-

нее, чем порознь. В числе этих молодых людей были Слепцов и Стебницкий. Между женщинами была моя дальняя родственница, сестра моего товарища Коптева, глупого и злобно презирающего всякое стремление к равенству, всякую демократическую мысль [9].

Эту общую квартиру стали называть в Петербурге коммуной.

Про коммуну — и особенно про Слепцова — стали ходить ужасные слухи. Говорили, что вся коммуна работала постоянно на него одного, а он ничего не делал, что другие носили воду, ставили самовар, исполняли обязанности прислуги, а он на их счет ничего не делал, разрешал споры, был главою общины и жил со всеми женщинами, которые составляли эту общину.

Слухи были совершенно неосновательны. Слепцов жил с одною из этих женщин, с самою безобразною, и когда его спрашивали, что это значит, выражали изумление, он говорил:

— Да ведь она глухая [10]〈...〉

Что же касается до средств к существованию, то он, конечно, зарабатывал литературными трудами гораздо более, чем другие члены коммуны, — он был тогда в полной силе своего таланта.

Коммуна эта просуществовала очень недолго и разошлась.

Стебницкий со злобою изобразил ее в одной из своих повестей [11].

В 1866 г. была напечатана большая повесть Слепцова «Трудное время» [12].

Это лучшее его произведение и самое полное. Она так хорошо удалась ему потому, что в лице Рязанова он изобразил себя.

Манера Рязанова разговаривать — та же, что манера Слепцова с мало знакомыми людьми. Он постоянно как будто намекает на что-то отдаленное, ему одному знакомое, чего он в настоящую минуту не хочет объяснить, но что он может это объяснить впоследствии; что существуют такие вещи, которые знакомы только посвященным, и что он, Слепцов-Рязанов, один из таких посвященных и что он показывает так немного, немного открывает завесу, а там всякий догадывайся сам.

Молодежь, особенно женщины, были в восторге от «Трудного времени».

Тогда реакция началась. Те идеи, которые господствовали в конце 50-х и начале 60-х годов, утихли, уступили почти без боя. Все боялись, всё пошло назад.

Молодые люди, которые еще жили традициями конца 50-х и начала 60-х годов, не знали, что делать.

Остатки революционных элементов увидели в «Трудном времени» какое-то откровение, а в Слепцове — какого-то пророка, который может разъяснить всё.

Слепцов снова сделался одним из самых видных людей в Петербурге. На него возлагались молодежью огромные надежды.

В конце его повести героиня уезжает в Петербург.

Множество провинциальных дам бросили всё, поехали в Петербург прямо к Слепцову, спрашивать его: «Что нам делать?».

Он жил тогда на Владимирской, в доме Лихачева. У него были две комнаты: одна — большая, другая — маленькая. В большой — приемная и кабинет. В маленькой — спальня. Квартира была очень хорошо отделана. Каждая вещь была изящна. Артистическая натура сказывалась во всем.

Особенно все любовались парой высоких деревянных подсвечников, сделанных, кажется, самим Слепцовым, который всегда умел отлично точить из дерева.

В этой квартире вскоре после «Трудного времени» у Слепцова всегда сидело, как у доктора в приемной, 8—9 дам.

Каждая спрашивала у него, что ей делать. У одной было несогласие с мужем, у другой неприятности с родителями.

Один раз зашел к нему наш общий приятель Иванюков. Приемная была полна дамами. Слепцова не было. Иванюков думал, что в спальне сидит одна из этих дам и исповедуется, как у духовника. Он постучал в дверь спальни.

— Можно войти?

— Войдите,— отвечал каким-то отчаянно печальным голосом Слепцов.

Иванюков вошел.

Слепцов был один. Он не был одет. В одном белье и в маленьком пиджаке он ходил взад и вперед по комнате с видом совершенного отчаяния и держал в руках свою голову.

— Что мне делать, что мне делать? Это каждый день. Ради бога, посидите у меня хоть немного. Пристают невыносимо. Одна с мужем не хочет жить, другая требует работы, третья просит указать ей, что делать. Сил моих нет.

В это время я познакомился с Слепцовым.

Он слышал, что я занимаюсь политической экономией, и просил Наркевича познакомить меня с ним. Мы сошлись в квартире Наркевича. Я приехал вместе с Буланиным ⟨...⟩

Слепцов предложил мне прочесть несколько лекций по политической экономии в его квартире. Я согласился ⟨...⟩

Через несколько дней я явился вечером к Слепцову.

Большая комната была ярко освещена. 20 или 30 молодых женщин меня ожидали. Между ними было несколько очень хорошеньких. Слепцов казался совершенно счастлив.

Вторая лекция была назначена в доме одной из бывших тут девиц. Там было публики еще больше и было 3—4 мужчин, в том числе неизменный Буланин.

В конце своей лекции я сказал без всякой надобности, что народу в республике жить еще хуже, чем в монархии, и что для решительных общественных преобразований необходима сильная центральная власть.

Это было совершенно неожиданно для бывших тут девиц и мужчин. Меня осадили вопросами. Я был утомлен и отвечал неохотно. Вдруг из числа бывших тут мужчин поднялась высокая худощавая фигура какого-то восточного человека и с жаром, страстью принялась защищать мое положение. Я спросил, что это такое. Мне сказали, что это доктор Малаксианов[13] ⟨...⟩

До «Трудного времени» включительно Слепцов зарабатывал много денег.

После «Трудного времени» он почти перестал писать.

Он составил было план комедии. План этот был следующий. Рабочие какого-то портного, большею частию горькие пьяницы, решаются оставить хозяина и составить артель. Потом они все перепились, и артель разошлась.

Слепцов написал один первый акт, который и был напечатан в «Отечественных записках», заменивших «Современник». Акт этот был вовсе еще не кончен, но очень хорош по своим бытовым подробностям.

Но следующих актов он не написал.

Написал он потом начало повести «Хороший человек», но так, что все удивились. Это был совсем не прежний Слепцов. Даже какой-то город, находящийся внутри материка, был назван приморским[14].

Так повесть и осталась незаконченной.

Слепцов упал совершенно.

В редакции «Отечественных записок» ему уже никто не подавал руки[15]. Один Некрасов, который был всех умнее в этой редакции, старался его поддержать. Он платил ему постоянно 75 р. в месяц, в надежде, что тот будет писать.

Но Слепцов ничего не писал. Иванюков вернулся тогда из Америки и стал готовиться к экзамену на магистра.

Он отыскал Слепцова.

Слепцов нанимал тогда две комнатки в Баяновском <?> переулке, у каких-то супругов, которые ненавидели друг друга, муж подозревал жену, что она хочет его убить, жена подозревала мужа, что он хочет ее убить. Они постоянно сидели вместе, злобно смотрели друг на друга и злобно друг друга упрекали.

У них была лишняя комната.

Иванюков ее нанял.

Слепцов вел жизнь совершенно уединенную. Он никуда решительно не ходил.

Он изобрел какую-то маленькую печку, которая была сделана по его рисунку.

Утром он ходил на рынок и до обеда готовил кушанье. Сейчас после обеда он ложился спать, а вечером приходила Иностранцева, и они ужинали вдвоем. Ужин был всегда один и тот же. Яйцы самые свежие по 80 к. десяток, каштаны и парижское масло, за которым он ходил на Большую Морскую и платил по 20 к. за фунт.

Кроме Иностранцевой, которая приходила каждый день, никто не ходил к Слепцову. Изредка заходил к ним Левитов, который напивался каждый раз до безобразия и начинал ругать Слепцова как только можно хуже.

Иванюков говорил, что Слепцов все это время был ему чрезвычайно симпатичен. У него было 1500 р. долгу. Это его мучило, и мучило, что его все считали за отчаянного циника, за погибшего человека, за мертвеца.

Потом Иванюков уехал в Варшаву. Слепцов вовсе не ходил ко мне. Я даже не знал, где он.

Наконец, я узнал от Малаксианова, что он живет на Мильонной в доме Каратыгина. Мы вместе отправились к нему. Мы поднялись по огромной лестнице на ужасную высоту.

Долго звонили. Нам не отворяли. Наконец Малаксианов постучал в двери два раза и сказал громко: «Друг».

Тогда дверь отворилась, и, бледный, всклокоченный, в одном белье явился на пороге Слепцов.

Он извинился, что не может нас впустить, и разговаривал с нами с $^1/_4$ часа у двери.

Мы ушли.

Потом он бывал у меня несколько раз.

Положение его было самое плачевное.

— У меня ничего нет,— сказал он,— потому что я не пишу. А не пишу я потому, что у меня ничего нет. Мне нужна перемена мест, впечатлений— тогда я, может быть, буду, наверное буду писать. Если бы я мог достать себе место, которое бы обязывало меня разъежать, я бы совсем поправился.

Один раз я обедал в Belle-vue вместе с ним и с доктором Петражицким.

Слепцов молчал. Ему хотелось сказать что-нибудь доктору, поговорить с ним до знакомства. Очевидно, он не знал, что придумать. Это его беспокоило, мучило.

Наконец, увы, он стал говорить наизусть сцену из своего рассказа о том, как доктор разговаривает с сиделкой.

Очевидно, что он больше ничего не мог извлечь из своей головы.

Я собирался тогда переезжать в Москву. Я хлопотал о том, чтобы доставить ему место агента по отчуждению земель на одной железной дороге. Это место дало бы ему возможность постоянно разъезжать.

Но я уехал из Петербурга, и дело почему-то не состоялось.

Автограф. ИРЛИ, ф. 653, оп. 1, № 208.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Слепцов родился в 1836 г.

[2] На медицинском факультете Слепцов учился в начале 1850-х годов.

[3] Первой женой Слепцова была кордебалетная танцовщица Московского театра Екатерина Александровна Цуканова (ум. в 1857 г.). В 1858 г. Слепцов женился вторично на дочери тверского помещика, сестре известного адвоката, Елизавете Николаевне Языковой.

[4] Первый очерк из цикла «Владимирка и Клязьма» был напечатан в «Московском вестнике» (1861, № 2), но Слепцов перепечатал его в «Русской речи», где затем появились и все остальные очерки.

[5] Первое из «Писем об Осташкове» было опубликовано в «Современнике» в мае 1862 г.

[6] В 1863—1865 гг. Слепцов неоднократно исполнял обязанности секретаря редакции «Современника».

[7] Окончательный разрыв Слепцова с женой произошел осенью 1865 г.

[8] Сверху Танеевым написано: «(наш Коптев)». *Коптев* — товарищ Танеева по Училищу правоведения.

[9] «Знаменская коммуна» была организована в 1863 г. (см. о ней стр. 439—460 настоящего тома).

[10] Речь идет о Маркеловой.

[11] Танеев имеет в виду роман «Некуда».

[12] «Трудное время» было опубликовано в 1865 г.

[13] О Малаксианове см. стр. 473 настоящего тома.

[14] Танеев здесь просто повторяет ходовые суждения тогдашней критики, не сумевшей понять смысл произведения (см. об этом в статье о романе «Хороший человек», стр. 20 настоящего тома).

[15] Это утверждение Танеева находится в полном несоответствии с действительностью.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Все ссылки на тексты Слепцова даются по изданию: В. А. Слепцов. Сочинения в двух томах. Вступительная статья, подготовка текста и комментарии Корнея Чуковского. М., ГИХЛ, 1957, с указанием только тома (римскими цифрами) и страниц (арабскими).

Белинский — В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, тт. I — XII. М., Изд-во АН СССР, 1953—1956.

Добролюбов — Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений в шести томах. Под общ. ред. П. И. Лебедева-Полянского. М., ГИХЛ, 1934—1941.

Чернышевский — Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в шестнадцати томах. М., ГИХЛ, 1939—1953.

Щедрин — Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений ‹в двадцати томах›. М., ГИХЛ, 1933—1941.

ГИАЛО — Государственный исторический архив Ленинградской области (Ленинград).

ГИАМО — Государственный исторический архив Московской области (Москва).

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград).

ЛБ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина (Москва).

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР (В 1961 г. материалы Центр. гос. ист. архива влились в фонды ЦГАОР).

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив (Ленинград).

УКАЗАТЕЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ*

Составила Т. Г. Динесман

I. ПОРТРЕТЫ СЛЕПЦОВА

Слепцов. Фототипия 1900-х гг. (открытка). С утерянной фотографии 1860-х гг. ЛБ — фронтиспис.

Слепцов. Фото, 1860-е гг. ГЛМ — стр. 135.

Слепцов. Фото, 1860-е гг. ГЛМ — стр. 445.

Слепцов. Фото, 1870-е гг. ГЛМ — стр. 19.

Слепцов и Л. Ф. Нелидова (Ламовская). Фото, около 1876 г. ГЛМ — стр. 491.

«Калики перехожие». Слепцов в группе писателей-демократов, предпринявших в 1860-х гг. пешеходные путешествия по России с целью сбора фольклорных и этнографических материалов. Вместе с Слепцовым изображены: А. И. Левитов, С. В. Максимов, Н. К. Отто, П. Н. Рыбников, Е. Южаков, П. И. Якушкин. Карикатура неизв. художника — «Искра», 1864, № 9 — стр. 395.

II. АВТОГРАФЫ И КОРРЕКТУРЫ СЛЕПЦОВА

«Что такое губернаторша?» Статья. Лист первый белового автографа, 1860 г. ЦГАОР — стр. 119.

Записная книжка Слепцова. Лист первый, 1860 г. ЦГАОР — стр. 405.

Записи русских пословиц. Лист из записной книжки Слепцова, 1860—1864 гг. ЦГАОР — стр. 425.

«Притчи и видения». Статья. Лист первый белового автографа, 1862 г. ЦГАОР — стр. 293.

Страница из объяснительной записки Слепцова по поводу его корреспонденции «Из Новгорода», 1862 г. ЦГАОР — стр. 301.

«Охотник». Рассказ. Лист первый чернового автографа, ок. 1863 г. ЦГАОР — стр. 59.

Корректура запрещенной статьи Слепцова о русской журналистике, 1864 г. Гранка первая. (Воспр. частично). ИРЛИ — стр. 315.

«Провинциальная хроника» («Опять отрадные явления»). Статья. Глава V. Лист первый белового автографа, 1865 г. ЦГАОР — стр. 183.

Показания Слепцова следственной комиссии, 1866 г.— см. раздел III.

Письмо к матери из тюрьмы при Александро-Невской части в Петербурге, май 1866 г. Собр. К. И. Чуковского, Москва — стр. 485.

«Трудное время». Повесть. Глава V. Листы наборного экземпляра, 1860-е гг. ИРЛИ — стр. 517.

«Хороший человек». Роман. Глава VI. Лист чернового наброска, 1869—1870 гг. ИРЛИ — стр. 25.

---

* Список условных сокращений:
ГИМ — Государственный Исторический музей, Москва. ГЛМ — Государственный Литературный музей, Москва. ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. ГРМ — Государственный Русский музей, Ленинград. ГТГ — Государственная Третьяковская галерея, Москва. ИРЛИ — Институт русской литературы АН СССР, Ленинград. ЛБ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва. ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва. ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва.

III. ДОКУМЕНТЫ И ГАЗЕТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Обложка дела III Отделения «О тайных обществах», 1864 г., ч. 2-я. В деле находится донесение о «коммуне» Слепцова. ЦГАОР — стр. 450.

Донесение петербургского генерал-губернатора И. В. Анненкова о «коммуне» Слепцова, 8 марта 1864 г. Из дела III Отделения «О тайных обществах», 1864 г., ч. 2-я. ЦГАОР — стр. 451.

Обложка следственного дела Слепцова, 1866 г. К делу приложены рукописи статей Слепцова, изъятые у него при аресте 30 апреля 1866 г. ЦГАОР — стр. 477.

Акт об аресте Слепцова. 30 апреля 1866 г. ЦГАОР — стр. 463.

Показания Слепцова Следственной комиссии 8 июня 1866 г. Лист первый. ЦГАОР — стр. 469.

Рукопись биографии Слепцова, написанной его матерью Ж. А. Слепцовой и посланной ею в письме к Л. Ф. Нелидовой. Листы первый и последний, 1886 г. Собр. К. И. Чуковского, Москва — стр. 497.

Объявление об издании журнала «Женский вестник». Среди сотрудников значится Слепцов.— «Русский инвалид», 1866, от 11 сентября — стр. 207.

Объявление об издании «Календаря „Искры" на 1867 год». В оглавлении «Календаря» указаны сцены Слепцова «В вагоне III класса».— «Искра», 1866, № 51 — стр. 101.

Отчет о судебном разбирательстве иска к Слепцову издательницы журнала «Женский вестник». А. Б. Мессарош.— «Санкт-Петербургские ведомости», 1867 от 11 марта (отдел «Судебная хроника») — стр. 215.

Открытое письмо Слепцова с извещением о прекращении сотрудничества в журнале «Женский вестник». — «Голос», 1867, от 15 марта — стр. 211.

IV. ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЛЕПЦОВА И КНИГИ, УПОМИНАЕМЫЕ В ЕГО СТАТЬЯХ

«Рассказы, очерки, сцены». СПб., 1866. Титул. лист сборника и первая стр. рассказа «Свиньи» — стр. 73.

«Календарь „Искры" на 1867 год», где впервые были опубликованы сцены Слепцова «В вагоне III класса». Обложка с рис. М. О. Микешина — стр. 97.

«Новости петербургской жизни». Первая публикация.— «Женский вестник», 1867, № 5. Обложка журнала и первая стр. хроники — стр. 220—221.

«На станции московской чугунки». Первая публикация.— «Искра», 1867, № 24. Титул. лист журнала и стр. с началом рассказа — стр. 89.

Газета «Современность и экономический листок» от 29 января 1860 г., № 1, где впервые была опубликована статья Н. В. Гоголя «Что такое губернаторша?», вызвавшая отклик Слепцова. Первая стр. газеты (воспр. частично) — стр. 117.

Н. С. Лесков (Стебницкий). «Некуда». СПб., 1867. Первое отдельное изд. романа, упоминаемое в хронике Слепцова «Новости петербургской жизни». Титул. лист. с рис. М. О. Микешина — стр. 229.

V. ПОРТРЕТЫ ЛИЦ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ СЛЕПЦОВА

Л. Ф. Нелидова (Ламовская). Фото на билете для входа на Политехническую выставку в Москве, 1872 г. ГЛМ — стр. 503.

Ж. А. Слепцова (рожд. Вельбутович-Паплонская), мать писателя. Фото, 1870-е гг. Собр. К. И. Чуковского, Москва — стр. 481.

VI. ПАМЯТНЫЕ МЕСТА И ВИДЫ

Богородск (ныне Ногинск). Общий вид. Фабрика Зотова. Фототипии (открытки), 1890-е гг. ГИМ — стр. 415, 419.

Владимир. Общий вид. Рис. С. Рыбинского, 1849 г. ГРМ — стр. 431.

Горенки. Бумагопрядильная фабрика Н. А. Волкова. Литогр., 1850-е гг. ГПБ — стр. 413.

Купавна. Суконная фабрика братьев Бабкиных. Литогр., 1850-е гг. ГПБ — стр. 409.

Дом Бекмана на Знаменской улице в Петербурге (теперь ул. Восстания, № 7), где в 1863—1864 гг. помещалась «коммуна» Слепцова. Фото, 1961 г. Музей истории Ленинграда — стр. 441.

Могила Слепцова в Сердобске. Грав. из книги: А. Н а р ц о в. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. Тамбов, 1904 — стр. 507.

Тифлис. Картина маслом неизв. художника, 1860-е гг. ГИМ — стр. 389.

Ярославль. Въезд в город. Фото, 1867 г. ГИМ — стр. 381.

Ярославский театр. Фото, 1860-е гг. Гос. Театральный музей им. А. А. Бахрушина, Москва, стр. 149.

VII. РОССИЯ 1860—1880-х гг. В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ

Бальдингер А. Очередь в столовую для бедных в Петербурге. Грав., 1880 г. ГИМ — стр. 51.

Васнецов В. М. На завалинке. Рис. карандашом, 1870 г. ГТГ — стр. 105.

Васнецов В. М. Чтение таблицы выигрышей. Грав., 1872 г. ГТГ (оригинал в Худож. музее Северо-Осетинской АССР, Орджоникидзе) — стр. 233.

Васнецов В. М. От Доминика. Рис. карандашом, 1874 г. ГТГ — стр. 243.

Загорский Н. П. Мировой посредник. Рис. карандашом, 1867 г. ГТГ — стр. 281.

Иевлев Н. В. Промотавшийся помещик. Рис. карандашом, конец 1850-х гг. ГИМ — стр. 289.

Лебедев А. И. Деревенское начальство. Рис. карандашом, 1870-е гг. ГИМ — стр. 193.

Лебедев Л. П. Безработные в Петербурге. Грав., 1876 г. ГИМ — стр. 43.

Лебедев Л. П. Безработные на Никольском рынке в Петербурге. Грав., 1876 г. ГИМ — стр. 173.

Маковский В. Е. Тип рабочего. Рис. карандашом, 1870 г. ГРМ — стр. 423.

Маковский К. Е. Балаганы на Адмиралтейской площади в Петербурге. Картина маслом, 1868 г. ГРМ — стр. 177.

Неизвестный художник. Апраксин двор в Петербурге. Картина маслом, 1850-е гг. ГИМ — стр. 39.

Неизвестный художник. В театре. Грав., 1870-е гг. ГПБ — стр. 147.

Перов В. Г. Сцена у железной дороги. Акв., 1868 г. ГТГ — стр. 93.

Попов А. А. В харчевне. Картина маслом, 1859 г. ГТГ — стр. 85.

Попов А. А. Типы крестьян. Рис. карандашом, 1860-е гг. ГТГ — стр. 81.

Поспелов И. Деревенский староста. Литогр., 1880 г. ГИМ — стр. 75.

Прянишников И. М. У входа в театр марионеток на ярмарке. Картина маслом, 1867 г. ГРМ — стр. 363.

Рыбинский С. Открытие в Новгороде памятника в честь тысячелетия России. Литогр., 1862 г. ГЛМ — стр. 297.

Савицкий К. А. Голодно и холодно. Рис. карандашом, 1860-е гг. ГТГ — стр. 259.

Соколов И. И. Петербургский шарманщик. Акв., 1859 г. ГРМ — стр. 65.

Соколов П. П. Проезжая дорога. Картина маслом, 1865 г. ГТГ — стр. 399.

Соколов П. П. Курьерская тройка в деревне. Акв., 1869 г. ГРМ — стр. 69.

Соколов П. П. У постоялого двора. Гуашь, 1880-е гг. ГРМ — стр. 383.

Соломаткин Л. И. Городовые-христославы. Картина маслом, 1867 г. ГРМ — стр. 345.

Трутовский К. А. Земское собрание. Литография, 1860-е гг. ГИМ — стр. 353.

Шмельков П. М. У родильного приюта. Рис. карандашом, 1851 г. ГТГ — стр. 265.

Ярошенко Н. А. Нищие. Рис. карандашом и белилами (фрагмент), 1878 г. ГРМ — стр. 47.

Ярошенко Н. А. Курсистки на экзамене у профессора Грубера. Акв., 1887 г. ГПБ — стр. 269.

VIII. СОБЫТИЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В КАРИКАТУРАХ 1850-х — 1860-х гг.

Запрещенные карикатуры

А. Н. Бордгелли

Карикатура на пореформенное чиновничество, 1862—1863 гг. Предназначалась для «Искры». ГПБ — стр. 201.

Н. В. Иевлев

«Полька». Сатирический отклик на отношение царизма и реакции к освободительной борьбе польского народа, 1861—1862 гг. Предназначалось для «Гудка». Авторство Иевлева для этой и следующей карикатуры устанавливается характером рисунка (ср. Л. А. Д и н ц е с. «Неопубликованные карикатуры „Искры" и „Гудка"». М. —Л., 1939, стр. 55 и 69). ГРМ — стр. 175.

«Сближение с народом (уездная сцена)». Карикатура на пореформенные порядки в провинции, 1861—1862 гг. Предназначалась для «Гудка». ГРМ — стр. 371.

Карикатура на Александра II, разоблачающая крепостнический характер крестьянской реформы 1861 г., 1861—1862 гг. Предназначалась для «Гудка». ГРМ — стр. 157.

Неизвестные художники

Карикатура на передачу цензуры из Министерства народного просвещения в Министерство внутренних дел, 1862 г. Предназначалась для «Гудка». ГПБ — стр. 335.

«Елка». Сатирический отклик на отношение «отцов» и «детей» русского общества 1860-х гг. к герценовскому «Колоколу» и к отечественной прессе либерального и правительственного направлений, декабрь 1862 г. Предназначалась для «Гудка». ГПБ — стр. 165.

Карикатура на высшую пореформенную администрацию, 1862—1863 гг. Предназначалась для «Занозы». ГПБ — стр. 307.

«Встреча двух приятелей». Карикатура, характеризующая положение печати в условиях усиливающейся реакции (изображены «Современник» и «Московские ведомости»). На листе помета: «23 февраля 1863 г.». ГПБ — стр. 319.

Н. Е. Рачков <?>

Карикатура, высмеивающая самоуправство в дореформенной русской армии, 1862—1863 гг. ГПБ — стр. 61.

Н. А. Степанов

Сатирический отклик на поведение крепостников после крестьянской реформы 1861 г. (На обороте — резолюция гос. секретаря В. П. Буткова о запрещении карикатуры с датой: «28 августа 1861 г.»). Рисунок предназначался для «Искры». Авторство Степанова устанавливается по почерку подписи к карикатуре — так же и на последующих четырех рисунках. ГПБ — стр. 283.

Эта и остальные карикатуры из ГПБ, воспроизведенные в томе, сохранились в архиве цензора В. А. Цеэ. Предоставлены редакции Г. М. Г о р ф е й н о м.

«Рассиропленный патриотизм». Карикатура, высмеивающая безудержное восхваление крестьянской реформы 1861 г. официозной печатью, 1862 г. Предназначалась для «Искры». ГПБ — стр. 189.

Сатирический отклик на петербургские пожары 1862 года. Рисунок 1862 г. Предназначался для «Искры». ГПБ — стр. 247.

Сатирический отклик на празднование тысячелетия России, 1862 г. Рисунки предназначались для «Искры». ГРМ — стр. 299.

Карикатура, высмеивающая лицемерный характер политики реформ, 1862—1863 гг. Предназначалась для «Искры». ГПБ — стр. 369.

К а р и к а т у р ы и з с а т и р и ч е с к и х и з д а н и й

Сцены из жизни чиновников. Литогр. с рис. Н. А. Степанова.—Альбом «Знакомые», изд. А. Беггрова. СПб., 1857—1858, т. II, вып. 2. ГЛМ — стр. 169.

«Ярый прогрессист на улице и дома». Грав. с рис. неизв. художника. — «Сын отечества», 1859, № 44, от 1 ноября—стр. 379.

Карикатура, высмеивающая официальные попытки борьбы со взяточничеством. Грав. П. Куренкова с рис. Н. А. Дмитриева-Мамонова.—«Искра», 1860, № 17— стр. 125.

«В совете врачей». Карикатура на самоуправство местной администрации. Грав. П. Куренкова с рис. Н. А. Степанова.— «Искра», 1861, № 32 — стр. 291.

«Женский вопрос, разрешенный наглядно». Грав. Фрейнда с рис. М. М. Знаменского.— «Искра», 1863, № 23 — стр. 252—253.

«В типографии». Карикатура, высмеивающая противников женской эмансипации. Грав. П. Куренкова с рис. Н. А. Степанова.— «Искра», 1864, № 22 — стр. 237.

Карикатура, характеризующая крепостнические пережитки в общественных нравах. Грав. с рис. Н. Русина.— «Искра», 1865, № 1 — стр. 341.

«Блаженное утопание провинциала в родимой почве». Грав. с рис. неизв. художника.— «Искра», 1865, № 12 — стр. 197.

«Полемика двух передовых газет вступила в новый фазис к общему удовольствию доброхотных дателей». Карикатура на газеты «Московские ведомости» и «Голос». Грав. с рис. неизв. художника.— «Искра», 1865, № 35 — стр. 340.

«Газетная стряпня». Карикатура на «Московские ведомости». Грав. с рис. неизв. художника.— «Будильник», 1868, № 41 — стр. 325.

«В болоте». Карикатура на «общественное мнение». Грав. с рис. неизв. художника. — «Будильник», 1869, № 38 — стр. 129.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

Составила Е. М. Львова

А*, подполковник — 72.
А. Ж. — см. Жемчужников А. М.
Абликамиров, рядовой — 241.
Авенариус Василий Петрович — 214, 217-19, 222, 225, 227, 230-32.
Адамович, сотрудник «Виленских губ. ведомостей» — 196.
Адриан (Андрей), патриарх московский — 410.
Айвазовский Иван Константинович — 101-02.
Аксаков Иван Сергеевич — 225, 311.
Аксельрод Павел Борисович — 491.
Аксельрод, семья — 491.
Александр II — 26, 28, 32, 36, 71-74, 76, 153, 155-57, 159, 161-62, 208, 212-13, 218, 277, 290, 292, 296, 298, 302-04, 308, 310, 312, 332, 344, 349, 360, 455, 456, 461, 462, 472, 473, 491.
Александров Николай Александрович — 209.
Александровская Варвара Владимировна — 472.
Алексеев, артист — 247.
Алексей Михайлович, царь — 204.
Алиева-Мехтиханова Раиса Раджабовна — 57.
Альбертини Николай Викентьевич — 470, 471.
Альфиери Витторио — 484.
Амбулатов Поль — 264, 265.
Андреев, поручик — 466.
Андрущенко Иван Алексеевич — 459.
Анненков Иван Васильевич — 440, 449-53, 462, 473.
Анненков Павел Васильевич — 17, 36, 216, 251.
Анненкова Варвара Николаевна — 211, 215, 219, 227, 234-35.
Антоний Великий Египетский — 287.
Антонович Максим Алексеевич (псевд. Посторонний сатирик) — 224, 341, 468.
Антонович-Мижуева Ольга Максимовна — 462, 473.
Аптекман Осип Васильевич — 30, 36.
Арапов Николай Устинович («моск. полицеймейстер») — 462, 473.
Арбузов, контр-адмирал — 224, 261.
Аргиропуло Перикл Эммануилович — 440, 456.
Арно Антуан Венсен — 314.
Арсеньев Илья Александрович — 216.
Арсеньев Константин Константинович — 63, 65.
Арсеньев Юлий Константинович («губернатор») — 349, 354-56.
Арсеньев, не установленное лицо — 239.
Арсил Вахтангович, грузинский царевич — 204.
Артоболевский А. Н. — 218, 246.
Аскоченский Виктор Ипатьевич — 449.
«Ася», не установленное лицо — 448.
Атарщиков Иван Егорович — 191.
Афанасьев-Чужбинский Александр Степанович (псевд. А. Лубенец) — 225, 273.

Б*, ген.-майор — 71.
Бабанины, помещики — 479.
Бабкины, братья, владельцы фабрики — 409.
Бабушкин, майор — 472.
Базилевский Б. (псевд. Василия Яковлевича Яковлева) — 512.
Базунов, книгопродавец — 234.
Байборода — см. Дмитриев Ф. М., Катков М. Н. и Леонтьев П. М.
Байрон Джордж Ноэль Гордон — 130.
Бакар Вахтангович, грузинский царевич — 203-04
Бакунин Михаил Александрович — 23, 28.
Баллод Петр Давидович — 23.
Бальдингер А., художник — 51.
Бандровский Н. — 481.
Барбо, певица — 217, 227.
Басистов Павел Ефимович — 95, 102.
Баскин Марк Петрович — 520.
Басманов, полковник — 448.
Баталин Иван Андреевич — 78.
Безобразов Владимир Павлович — 368, 515.
Бекман Яков Николаевич — 452, 460, 465.

* Лица случайных встречных Слепцова, упомянутых в его записной книжке (на стр. 404—429), в указатель не введены. — *Ред.*

Бекман, домовладелец, брат Я. Н. Бекмана — 441, 452, 454, 456, 465, 468, 470, 472.
Белавин, становой пристав — 306, 309-10.
Белинский Виссарион Григорьевич — 113, 114, 147, 148, 436, 465, 527.
Белов, купец — 204.
Белоголовый Николай Андреевич — 28.
Бенни Артур Виллиам Иванович — 440.
Берг, владелец пантомимного театра — 156, 217, 235, 270.
Березовский Антон — 213.
Берестов Е. И., драматург — 482.
Бессонов В., сотрудник «Современника» 1860-х гг.— 440, 447, 448, 452, 453, 457.
Бессонов Петр Алексеевич — 379.
Бисмарк фон Шенгаузен Отто Эдуард — 240, 241.
Благовещенский Николай Александрович — 206, 224.
Благосветлов Григорий Евлампиевич — 30, 121, 223, 461, 462.
Блан Луи — 486, 513, 520.
Блекуэль Елизавета — 222, 226, 248.
Блонден Жозефина — 221, 254.
Боборыкин Петр Дмитриевич — 26, 470, 471.
Богаевская Ксения Петровна — 6.
Боград Владимир Эммануилович — 121.
Богушевич Юрий Михайлович — 215, 219, 223, 266, 267, 270, 271, 274.
Боков Петр Иванович — 386, 442, 458, 490.
Бокова (рожд. Обручева, во 2-м браке Сеченова) Мария Александровна — 508.
Бордгелли Аполлон Николаевич — 201.
Боско, авт. кн. «Новейший оракул и сноголкователь» — 340, 343.
Боткин Василий Петрович — 7, 14.
Бочаров Михаил Ильич — 143.
Бремер Фредерика — 222, 226.
Бренко, владелец театра — 509.
Брюллов Карл Павлович — 100, 101.
Буланин, знакомый В. И. Танеева —524.
Булгарин Фаддей Венедиктович — 225, 402.
Бурбонов М.— см. Минаев Д. Д.
Буренин Виктор Петрович — 458.
Буслаев Федор Иванович — 432, 433.
Буссе Николай Васильевич — 486.
Бутковский, журналист — 222, 247, 248.
Бутлеров Александр Михайлович — 385.
Бутурлин, родственник Слепцова —472.
Бух, домовладелец — 474.
Быков Петр Васильевич — 145, 148, 430, 433.

Валуев Петр Александрович — 10, 32, 47, 155, 208, 209, 223, 247, 304, 309, 461.
Василий Шуйский — 137, 144.
Василиса Мелентьева — 137, 144.
Васильев 2-й Павел Васильевич — 137, 144, 220, 225, 228, 487.
Васильев 1-й Сергей Васильевич — 487.
Васнецов Виктор Михайлович — 105, 233, 243.
Ватсон Эрнест Карлович (псевдоним W.) — 244, 350.
Вейнберг Петр Исаевич — 475.
Венцель фон 1-й Карл Карлович («губернатор») — 486.
Веридарский, надзиратель — 453.
Вертгейн Николай Франсович — 191.
Веселкин Федор, журналист — 218, 236.
Веселовский Александр Николаевич — 501.
Вико Энеа (?) — 410.
Вильде Николай Евстафиевич — 238.
Вишнякова, владелица фабрики — 409, 412.
Водовозова (рожд. Цевловская) Елизавета Николаевна — 518-21.
Войтоловская Элла Львовна — 113.
Волков Лев Николаевич — 409.
Волков Н. А., владелец фабрики — 408, 413.
Вольтер Франсуа Мари Аруэ — 486.
Вольф А. И. — 134, 144.
Вормс Николай Александрович — 180, 482, 483.
Воронина Вера Захаровна — 133, 144, 206, 223, 462, 464, 467, 473, 479, 488, 498, 502, 511.
Воронина, мать В. З. Ворониной — 464.
Воронов Михаил Алексеевич — 457.
Воронцов Александр Иванович (?) — 491.
Воронцова (рожд. Ковединева) Любовь Егоровна — 490, 491, 502, 506, 508, 509, 512.
Вульф, владелица типографии — 448.
Вьюнов, купец — 406.

Г. Ф., сотрудник «Моск. ведомостей» — 185.
Гайдебуров, владелец книжного магазина — 462, 464.
Гарибальди Джузеппе — 63, 155, 166, 213, 214, 266, 273, 274, 349.
Гедеонов Александр Михайлович — 146, 266.
Гедеонов Степан Александрович — 266.
Гейне Генрих — 475.
Герасимова Александра Михайловна — 426.
Герцен Александр Иванович — 17, 23, 27, 28, 32, 33, 36, 155, 162, 165, 181, 312, 331, 350, 473, 491, 496, 504.
Герцен Наталья Александровна — 496.
Гёте Иоганн Вольфганг — 130, 219, 385, 394, 403, 425, 483.
Гильфердинг Александр Федорович — 33.
Главинский Иван — 196.
Глинка Михаил Иванович — 212, 241.
Глотов, домовладелец — 455, 458.
Глуховская-Павловская Вера Андреевна — 508.
Глушков, сотрудник «Вятск. губ. вед.» — 355.
Гогоберидзе Виссарион Леванович — 442, 458.
Гоголь Николай Васильевич — 5, 113-20, 236, 257, 344, 465.
Годен Андре — 513, 520.

Голицын Александр Сергеевич — 456.
Голицын Петр Александрович — 410.
Головацкий А., журналист — 267.
Головачев Аполлон Филиппович — 440, 442, 445, 447, 448, 452, 453, 456, 467, 468, 472, 492.
Головнин Александр Васильевич — 10, 155, 247, 304, 309.
Гольский, не установленное лицо — 262.
Гомер — 519.
Гончаров Иван Александрович — 280, 498.
Горбунов Иван Федорович — 70, 440, 452, 454.
Горфейн Григорий Магнусович — 531.
Горчаков Александр Михайлович — 26.
Горшков, владелец фабрики — 409.
Горький (Пешков) Алексей Максимович — 5-8, 14, 222, 226, 393, 403, 432, 433, 442, 459, 501, 511, 512.
Грановский Тимофей Николаевич — 147, 456.
Гранцева Адель — 217, 232.
Греков В. И. — 14.
Гржебин Зиновий Исаевич — 8.
Грибоедов Александр Сергеевич — 127, 128, 130, 258, 384, 465.
Григорович Дмитрий Васильевич — 256.
Григорьев Аполлон Александрович — 114.
Грисчели — 266.
Громека Степан Степанович — 71-73.
Громов, владелец театра — 235.
Гроссман Леонид Петрович — 144.
Грубер Венцеслав Леопольдович — 269.
Губинский Василий Ильич — 7, 8.
Гуд Томас — 215.
Гузико, командир батальона — 486.
Гулевич (Зрачков) Михаил Семенович — 23, 27.

Даль Владимир Иванович — 430-33, 487.
Данилевский Григорий Петрович (псевд. А. Скавронский) — 216, 246, 487.
Данилов, фермер — 198.
Данте Алигьери — 519.
Дарвин Чарльз — 385.
Дациаро — 155.
Демидов Василий В. — 480, 482.
Демидов Осип Иванович — 416, 480.
Де-Сен-Лоран — 272, 273.
Де-Сен-Лоран (дочь) — 272, 273.
Джусти Джузеппе — 458.
Диксон Вильям Гепворд — 53.
Динесман Татьяна Георгиевна — 6, 528.
Дмитриев Николай Дмитриевич — 454, 486.
Дмитриев Федор Михайлович (псевд. Байборода) — 348.
Дмитриев-Мамонов Ипполит (Николай) Александрович — 125.
Дмитрий Самозванец — 137, 144.
Добров С., драматург — 134, 137, 144.
Добровольский, домовладелец — 448, 453.
Добролюбов Николай Александрович — 5, 31, 36, 114, 123, 154, 158, 162, 181, 182, 185, 223, 226, 290, 369, 465, 487, 510, 527.
Долгоруков Василий Андреевич — 439, 448.
Долгоруков Петр Владимирович — 32, 36, 146, 148.
Доминик, владелец ресторана — 48, 64, 243.
Достоевский Федор Михайлович — 20, 341.
Дружинин Никанор С. — 481.
Дубенский Николай Яковлевич — 393, 418.
Дубенский, студент — 455.
Дьёдоне, актер франц. труппы в Пб.—268.
Дьяконов М.— 481, 482.
Дьяченко Виктор Антонович — 134, 139, 144, 222, 238, 247.
Дюгамель, ген-лейт. («генерал-губернатор») — 358.
Дюма-сын Александр — 222, 266, 267.
«Дядя Гриша», не установленное лицо — 509.

Евгеньев-Максимов Вячеслав Евгеньевич — 121, 123, 311, 313, 331.
Европеус Александр Иванович — 185 (?), 461, 465, 470.
Европеус Александра Константиновна — 461, 466 (?).
Европеус Павел Иванович — 185 (?), 461.
Европеус Эмилия Вильямовна — 461, 465, 466 (?), 470.
Евстигнеева Лидия Алексеевна (в замуж. Спиридонова) — 17, 57, 145, 277, 430, 436, 488, 495, 513.
Егарёв, владелец увеселительного сада — 217, 256.
Еленев Федор Павлович — 185.
Елизавета Петровна, имп.— 410.
Елисеев Григорий Захарович — 30, 311, 344, 461, 468.
Ермаков В., купец — 182, 200.
Ермолов Петр Дмитриевич — 457.
Ермолова Мария Григорьевна — 465, 470.
Ефремов, владелец танцклассов — 448.

Жанен Жюль — 487.
Жемчужников Алексей Михайлович — 210, 224, 247.
Жорж С., авт. либретто «Дочь фараона» — 220, 228.
Жохов Александр Федорович — 465, 470.
Жуковская (рожд. Ценина) Екатерина Ивановна — 121, 123, 439-42, 447, 452, 453, 458-60, 468, 472, 518.
Жуковский Василий Андреевич — 491.
Жуковский Николай Иванович — 23, 27, 32.
Жуковский Юлий Галактионович — 185, 440, 462, 468.
Жулев Гавриил Николаевич (псевд. Скорбный поэт) — 137, 138, 144, 225, 486.
Журбина Е. — 144.

Забелин А. — 286-89.
Завалишин Дмитрий Иринархович — 486, 487.
Загорский Николай Петрович — 281.
Загуляев Михаил Андреевич (псевд. Х. Л.) — 217, 219, 225, 236, 239, 264, 267, 273.

Зайцев Варфоломей Александрович — 30, 217, 224, 225, 242, 447, 448, 452, 457, 459, 461.
Зайцева (в 1-м браке Голицына; во 2-м— Якоби) Варвара Александровна — 447, 448, 452, 457, 459.
Зайцева Мария Федоровна — 447, 448, 452, 453, 457, 459.
Зайчневский Петр Григорьевич — 440, 456.
Закушняк Александр Яковлевич — 7.
Замятнин А.— 481.
Зарин Ефим Федорович (псевд. Incognito) — 435, 436.
Зарудный Алексей Андреевич — 216.
Засулич Вера Ивановна — 510.
Заурядный читатель — см. Скабичевский А. М.
Захваткины Василий и Иван — 191.
Звонарев Семен Васильевич — 448.
Зеленец, сотрудник газ. «Волга» — 185.
Зеленой Порфирий Алексеевич (?) — 465, 466.
Знаменский Михаил Михайлович — 252-53.
Знаменский Михаил Степанович — 94.
Золотов Василий Андреевич — 184, 194.
Зотов Владимир Рафаилович — 20.
Зотов, владелец фабрики — 419.

Иван IV (Грозный) — 134, 137, 144, 228, 230, 238, 386.
Иванов Александр — 484.
Иванов Александр Иванович — 484, 486.
Иванов В., сотрудник «Всемирного труда» — 219, 225, 267, 270.
Иванов Иван Иванович — 506.
Иванов Корней — 273.
Иванов, доктор — 510.
Иванов-Классик Алексей Федорович — 298.
Иванюков Иван Иванович — 495, 520, 524, 525.
Игельстром, бабка Слепцова — 474.
Иевлев Николай Васильевич — 157, 175, 289, 371.
Излер Иван Иванович — 109, 221, 249, 250, 255, 256.
Иностранцева Варвара Александровна — 146, 520, 521, 525.
Иов, митрополит — 204.
Иосиф, иеромонах — 286.

К.— см. Каллаш В. В.
Кабе Этьен — 435, 520.
Кадьян Александр Александрович — 491.
Калачов Николай Васильевич — 433.
Калемин Алексей Виссарионович — 191.
Каллаш Владимир Владимирович — 114, 440, 455.
Камбек Лев Логгинович — 298, 300-02, 305, 308-10.
Каменская Мария Даниловна — 500.
Кампанелла Фома (Джованни Доменико) — 435.
Каразин Василий Назарович — 487.
Каракозов Дмитрий Владимирович — 5, 12, 17, 27, 30, 78, 206, 209, 213, 214, 456-59, 461, 462, 464, 472, 473, 484.
Карамзин Николай Михайлович — 477.
Каратыгин, домовладелец — 525.
Кардек Аллан — 471.
Каролина Матильда, датск. королева — 484.
Каронин-Петропавловский Николай Елпидифорович — 393.
Карпович В. Ю., купец — 216, 241, 267.
Карпович Е. П. — 222, 223, 226.
Карповкин В.— см. Курочкин В. С.
Каррик А.— см. Маркелова А. Г.
Катков Михаил Никифорович — 32, 47, 63, 65, 72, 76, 94, 271, 311, 312, 316, 319, 325, 340, 348.
Кач А., владелец магазина — 217, 256.
Качеповский Дмитрий Иванович — 482-83.
Кельсиев Василий Иванович — 24, 27, 28, 36.
Кельсиев Иван Иванович — 23, 459.
Киреевский Петр Васильевич — 432.
Киркор, Адам Карлович — 267.
Кирсанов Г. М., командующий войсками Амурской обл.— 486.
Китнер, домовладелец — 456.
Киттары Модест Яковлевич — 430.
Клевенский Митрофан Михайлович — 225.
Климова Дина Михайловна — 277.
Ключевский Василий Осипович — 501.
Клюшников Виктор Петрович — 238.
Кнорринг Богдан Федорович — 386.
Княжевич Дмитрий Максимович — 432.
К—ов Н., не установленное лицо — 198.
Ковалевская (рожд. Корвин-Круковская) Софья Васильевна — 508.
Ковалевский Владимир Онуфриевич — 461.
Ковалевский Егор Петрович — 145, 479.
Ковалевский Петр Михайлович — 133, 147.
Кованько Клавдия Петровна — 209.
Коведяев Дмитрий Егорович — 506.
Кожанчиков Дмитрий Ефимович — 330, 453.
Козлов Алексей Александрович — 456.
Козьмин Борис Павлович — 24, 36, 483.
Кок Поль де — 115.
Коллас Стелла — 268.
Колмогоровы, семья — 455.
Колосов Евгений Евгеньевич — 473.
Колошин Сергей Павлович — 31, 36.
Кольцов Михаил Ефимович — 8.
Комарова Александра Андреевна — 451, 452, 459, 460.
Комиссаржевский Федор Петрович—487.
Комиссаров Осип Иванович — 214.
Константин Николаевич, в. к.— 32.
Константиновский, пристав — 471.
Коперник Николай — 362.
Коптев, товарищ В. И. Танеева — 523, 526.
Коптева Мария Николаевна — 440, 452, 455, 468, 523.
Корженевский Ипполит Осипович — 480.
Королев Филипп Николаевич — 490, 495, 496, 500, 502.
Королева, мать Л. Ф. Маклаковой— 495, 496.
Королевы, семья — 495, 501.

Короленко Владимир Галактионович — 393.
Корде Шарлотта — 234.
Корш Валентин Федорович — 219, 250, 258, 316.
Косачовский Николай Дмитриевич — 195.
Косинский Михаил Осипович — 473.
Костомаров Всеволод Дмитриевич — 446.
Котлярова, член «Знаменской коммуны» — 455.
Коченов, владелец фабрики — 409.
Коялович Михаил Осипович — 77.
Краевский Андрей Александрович — 31, 91, 92, 219, 246, 258, 264, 268, 270, 311, 312, 316, 340, 444.
Кремянский Я., студент — 482-83.
Крестовоздвиженский, артист — 500.
Крестовский В.— см. Хвощинская Н. Д.
Крестовский Всеволод Владимирович — 214, 228, 230, 231, 236, 238, 439, 500, 518, 519.
Крупская Надежда Константиновна — 501.
Крылов Иван Андреевич — 181, 188, 250, 287.
Кубицкая Нина Ивановна — 133, 144.
Кублев, купец — 406.
Кузнецов Алексей Кириллович — 506.
Кузнецов И. И., купец — 396, 397, 407.
Кузнецов Сергей Сергеевич — 409.
Кулиш Пантелеймон Александрович — 114, 115.
Кулычев А. — 482.
Куракин Алексей Борисович — 11, 75.
Куракин Федор Алексеевич — 77.
Куракина Ю. Ф.— 226, 480, 487.
Куракины, кн.— 74-77.
Куренков П., гравер — 125, 237, 291.
Курочкин Василий Степанович (псевд. В. Карповкин) — 30, 88, 94, 180, 287, 298, 309, 310, 454 (?), 461, 486.
Курочкин Владимир Степанович — 484.
Курочкин Николай Степанович — 30, 180, 185, 454 (?), 458, 461, 464, 465, 473, 482, 484, 486.

Лавров Петр Лаврович — 445, 459, 461.
Лавров, домовладелец — 448.
Лагранж, актриса франц. труппы в Пб.— 268.
Лажечников Иван Иванович — 134, 144.
Лазаревский Василий Матвеевич — 209, 224.
Ламовский А. А. — 489, 495.
Ланской, домовладелец — 249.
Лебедев Александр Игнатьевич — 193.
Лебедев Л. П., художник — 43, 173.
Лебедев Николай Егорович — 20, 21, 34-36.
Лебедев-Полянский Павел Иванович — 225, 527.
Левитов Александр Иванович — 148, 180, 395, 430, 440, 457, 458, 470, 525.
Левитовы, семья — 457, 458.
Левшин Дмитрий Сергеевич («попечитель Моск. учебн. округа») — 357, 358.
Лейкин Николай Александрович — 94, 298, 310, 486.
Ленин Владимир Ильич — 29, 36, 332, 369.
Ленский (Воробьев) Дмитрий Тимофеевич — 137-38, 144.
Леонова Дарья Михайловна — 487.
Леонтьев Павел Михайлович — 94, 319, 348.
Лермантов Геннадий Васильевич — 440, 446, 452, 456, 470.
Лермантова, жена Г. В. Лермантова — 470.
Лермонтов, Михаил Юрьевич — 158, 350, 351, 390, 519.
Лесевич, деятель революционного движения — 491.
Лесков Николай Семенович (псевд. Николай Горохов, М. Стебницкий) — 133-44, 162, 215, 218, 219, 225, 227, 229, 238, 266, 267, 274, 439, 441, 442, 455, 459, 487, 500, 518, 519, 521, 523, 526.
Либих Юстус — 475.
Лихачев, домовладелец — 466, 472, 523.
Ломоносов Михаил Васильевич — 136, 144.
Лопатин Герман Александрович — 459, 498.
Лорис-Меликов Михаил Тариелович — 104 (?), 510.
Лотман Лидия Михайловна — 144.
Лубенец А.— см. Афанасьев-Чужбинский А. С.
Лугинин Владимир Федорович — 27.
Лунн Михаил Самсонович — 409.
Львов Николай Михайлович — 123.
Львова Анна Николаевна — 221.
Любавский Александр Дмитриевич — 251.
Людовик IX — 234.
Людовик XVI — 234.

Мадзини — см. Маццини Джузеппе.
Мазепа Иван Степанович — 160.
Мазурин, владелец фабрики — 396, 408.
Макашин Сергей Александрович—6,10, 36, 78, 224, 347, 382, 455, 474, 513, 519, 520.
Маклаков Алексей Николаевич — 501.
Маклаков Василий Алексеевич — 508.
Маклакова (рожд. Королева, в 1-м браке Ламовская; литературный псевдоним Нелидова) Лидия Филипповна — 6, 8, 10, 148, 219, 224, 435, 436, 442, 457, 462, 479, 480, 488-512.
Маковеев Андрей А. — 440, 452, 453, 456, 457.
Маковеевы, семья— 456, 457.
Маковский Владимир Егорович — 423.
Маковский Константин Егорович — 177.
Максимилиан Фердинанд Иосиф — 213, 256.
Максимов Алексей Павлович — 191.
Максимов Сергей Васильевич — 395, 465, 430, 470.
Максимовский, чиновник — 460.
Макулова Екатерина Александровна — 440, 442, 444, 447, 452 454, 455, 459, 468, 472, 480.
Макулова Мария — 480.
Макулова Наталья — 480.

Малаксианов Андрей Васильевич — 462, 464, 467, 470, 473, 524-26.
Манин П. М. — 188.
Манн Ипполит Александрович — 226.
Мария Александровна, имп.— 298, 303, 304.
Мария Федоровна, имп.— 410.
Мария Темрюковна — 386.
Маркелова Александра Григорьевна (в замуж. Каррик) — 13, 439-47, 452, 454, 455, 459, 468, 472, 479, 523, 526.
Марков Владимир Сергеевич — 495, 504, 505, 511.
Маркович Мария Александровна (рожд. Вилинская; псевд. Марко Вовчок) — 225, 296, 308, 310, 368, 462, 464, 473, 479.
Маркс Карл — 495, 513, 520.
Марцинкевич, — 217, 266.
Масанов Иван Филиппович— 94.
Мастаков, владелец фабрики — 405.
Маццини (Мадзини) Джузеппе — 24, 41.
М—ая, сотрудница «Женского вестника»—247.
Медынцев, владелец фабрики — 396, 404.
Мезенцев Николай Владимирович — 472, 473.
Мей Лев Александрович — 137, 144.
Мейербер Джакомо — 487.
Мелиоранские, семья — 451.
Мендельсон-Бартольди Феликс — 487.
Мессарош Анна Борисовна — 12, 205-07, 209, 215, 223, 224.
Мессарош Николай Ипполитович — 205, 209, 223, 224.
Мечников Лев Ильич — 495, 496.
Микешин Михаил Осипович — 97, 229.
Милютин, владелец фабрики — 409.
Минаев Дмитрий Дмитриевич (псевд. майор Бурбонов) — 30, 94, 180, 218, 225, 235, 236, 309, 310, 440, 447-49, 452, 454, 461, 472.
Минаева, жена Д. Д. Минаева — 454.
Михаил Николаевич, в. к.— 510.
Михайлов А.— см. Шеллер-Михайлов А. К.
Михайлов Михаил Илларионович — 160, 185, 215, 216, 350.
Михайлов — 473.
Михайловский Николай Константинович — 473.
Молочников Павел Петрович — 409, 411.
Молчанов, домовладелец — 447.
Мольер (Поклен) Жан Батист — 130.
Мор Томас — 435.
Морозов, владелец фабрики — 409.
Морозовы И. З. и Ф. З., владельцы фабрик — 411.
Моцарт Вольфганг Амедей — 487.
Мошкалов Павел Сергеевич — 23, 27.
Муравьев («Вешатель») Михаил Николаевич — 12, 13, 17, 63, 213, 461, 466, 472, 473.
Мурашев, офицер — 473.
Мурр, английский путешественник—390.
Мустье Леонель Дель Мари Франсуа Рене — 26.
Н. Р. — см. Шелгунов Н. В.
Наполеон I (Бонапарт) — 66, 240.
Наполеон (Людовик) III — 26, 42, 234, 266, 318, 359, 362.
Напталь-Арно, актриса франц. труппы в Пб.— 267.
Наркевич Дмитрий Осипович — 440, 452, 453, 513, 524.
Нахимов Павел Степанович — 60.
Н—в—см. Соловьев-Несмелов Н. А. (?).
Незнакомец — см. Суворин А. С.
Неклюдов, мировой судья — 263.
Некрасов Николай Алексеевич — 5, 6, 8, 11, 14, 17, 18, 31, 34, 36, 64, 94, 121, 145, 147, 148, 154, 162, 209, 214, 224, 245, 257, 279, 319, 386, 387, 432, 433, 448, 458, 462, 479, 481, 488, 489, 490-92, 498, 521, 524.
Некрасова Екатерина Степановна — 498.
Нелидова Лидия Филипповна — см. Маклакова Л. Ф.
Нефедов Филипп Диомидович — 479, 490.
Нечаев Сергей Геннадиевич — 491, 496, 506.
Никитенко Александр Васильевич — 26, 36, 162.
Никифораки Николай Егорович — 191.
Николадзе Николай Яковлевич — 27.
Николаев Петр Федорович — 506.
Николай I — 122, 291, 333, 339, 340.
Николай Александрович, в. к.— 11, 64, 76.
Николай Горохов — см. Лесков Н. С.
Николич, сотрудник «Могилевских губ. ведомостей» — 194.
Нильский (Нилус) Александр Александрович — 126, 134, 137-40, 144.
Нистрем Карл — 487.
Новиков Алексей Митрофанович — 7, 14.
Ножин Николай Дмитриевич — 224, 464, 468, 473.

Обручев Владимир Александрович — 514.
Огарев Николай Платонович — 17, 23, 32, 33, 35, 36, 350.
Огарев, владимирский помещик — 262.
Одоевский Александр Иванович — 350, 351.
Омулевский (Иннокентий Васильевич Федоров) — 226.
Орлов Ф.— 482.
Орлов, владелец фабрики — 406.
Орфанов Михаил Иванович — 491.
Островский Александр Николаевич — 5, 121-34, 138, 139, 144, 145, 279, 488, 494, 500, 509.
Отто Н. К., этнограф — 395, 430.

Палкин, владелец ресторана 48, 212, 229.
Пальмин Лиодор Иванович — 94.
Панаева (рожд. Брянская, во 2-м браке Головачева; псевд. Н. Станицкий и С**) Авдотья Яковлевна — 36, 78, 104, 145, 148, 430, 433, 479, 518, 519, 521.
Пановский Николай Михайлович — 348, 352.
Панютин, капитан — 466.
Папковский Борис Васильевич — 224.

Парамоновы В. и М., купцы — 204.
Паульсон Иосиф Иванович — 184, 194.
Пащенко, предводитель дворянства в Харьк. губ. — 478.
Перетолчин, доверенный Амурской торговой компании — 486.
Перов Василий Григорьевич — 93.
Перро, авт. либретто балета «Эсмеральда» — 245.
Петипа Мариус Иванович — 220, 228, 231.
Петипа (рожд. Суровщикова) Мария Сергеевна — 221, 244, 245.
Петр I — 66, 99.
Петражицкий, доктор — 525.
Петрашевский Михаил Васильевич — 436.
Петров Александр Григорьевич—63, 206, 207.
Петров, купец — 406.
Печаткин Евгений Петрович — 442, 455, 456, 458, 462.
Пешков, купец — 406.
Пий IX — 266, 348, 354.
Писарев Дмитрий Иванович — 5, 8, 30, 36, 221, 225, 462, 473.
Писарев Модест Иванович — 509.
Писарева (в замуж. Гребницкая) Екатерина Ивановна — 221.
Писаревский Николай Григорьевич —311.
Писемский Алексей Феофилактович — 238.
Платонова Юлия Федоровна — 487.
Плевако Федор Никифорович — 509.
Племянников, лейтенант — 300, 301, 305.
Погожева Анна Васильевна — 501.
Погожева Лидия Николаевна (?) — 491.
Покровский Василий Иванович — 30.
Полонский Яков Петрович — 479.
Поляков Василий Петрович (?) — 508.
Полянский В.— см. Лебедев-Полянский П. И.
Помяловский Николай Герасимович — 214, 219.
Попов А. А., художник — 81, 85.
Поспелов И., художник — 75.
Посторонний сатирик — см. Антонович М. А.
Посыпкин Александр Михайлович — 191.
Посыпкин Михаил Михайлович — 191.
Посыпкина Вера Михайловна — 191.
Потапов И. — 481.
Потехин Алексей Антипович — 133-45, 266.
Прохорова Анна Петровна — 510.
Прудон Пьер Жозеф — 464, 465, 471.
Прыжов Иван Гаврилович — 506.
Прянишников Илларион Михайлович — 363.
Пушкин Александр Сергеевич — 131, 158, 160, 168, 171-72, 494, 519.
Пыпин Александр Николаевич — 121, 153, 462, 468, 481.

Раковский Георгий — 32.
Раппо, владелец театра —227, 230, 235.
Рассадин И., гимназист — 480.
Рачков Николай Ефимович (?) — 61.
Рачковский, деятель революционного движения — 491.
Рейфман Павел Семенович — 70.
Ремер, корнет — 63-64.
Ренан Жозеф Эрнст — 471.
Рентгартен Лев Андреевич — 27.
Ренц, владелец цирка — 217, 227.
Решетников Федор Михайлович — 210, 461, 473.
Риказоли Бетино — 63, 65.
Рипман Федор Федорович — 506.
Роберти де Леонид Федорович — 209.
Розен, штабс-капитан — 465, 466.
Россини Джоаккино Антонио — 487.
Рубенс Петер Пауль — 410.
Рудзевич, ген.-лейт.— 357.
Русин Н., гравер — 341.
Руссо Жан Жак — 486.
Рыбинский С., художник — 297, 431.
Рыбников Павел Николаевич — 395, 430, 432.
Рыбников, владелец фабрики — 409.
Рюрик — 299.
Рязанцевы, братья, владельцы бумажной фабрики — 146.

С., сотрудник «Современника» — 78.
С**— см. Панаева А. Я.
Савины, купцы — 402.
Савицкий Константин Аполлонович — 259.
Сажин Михаил Петрович — 27, 28, 36.
Сазонов Николай Иванович — 23.
Салиас де Турнемир Евгений Андреевич —510.
Салиас де Турнемир (рожд. Сухово-Кобылина; псевд. Евгения Тур) Елизавета Васильевна — 134, 464, 470, 471, 522.
Салтыков Константин Михайлович — —520.
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович — 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 28, 29, 35, 36, 72, 73, 76-78, 108, 133, 134, 144 147, 158, 160, 162, 181, 182, 185, 214, 215, 222-26, 278, 341, 347, 348, 350, 359, 382, 384, 439, 455, 458, 462, 479-81, 488, 490, 492, 513, 518, 520, 527.
Сальников Александр Николаевич — 495.
Самойлов Василий Васильевич — 137, 144, 220, 225, 228.
Сапелкин, владелец фабрики — 409.
Сахаров Иван Петрович — 432.
Святополк-Мирский Дмитрий Иванович — 510.
Себинова, драматург — 266, 270.
Семанова Мария Леонтьевна — 5, 57, 113, 153, 277, 393, 435, 439, 461, 488, 496.
Семенов Александр Петрович (?) — 465, 470.
Семенов, маркер — 273.
Сен-Симон де Рувруа Анри Клод — 520.
Сераковский Сигизмунд — 331.
Сервантес де Сааведра Мигель — 435, 436.
Серговский К. С.— 273.
Сердаковская Ольга Дионисьевна — 191.
Серегин Иван Николаевич — 21, 133.
Серно-Соловьевич Александр Александрович — 24, 27, 36, 156.
Серно-Соловьевич Николай Александрович — 17, 24, 32, 36, 156, 311, 514.

Серов Александр Николаевич — 487.
Серов Николай Алексеевич — 440, 452, 456.
Сеченов Иван Михайлович — 385, 445, 459.
Сиверс, харьк. губернатор — 478.
Скабичевский Александр Михайлович (псевд. Заурядный читатель) — 455, 474, 491, 492, 518.
Скавронский А.— см. Данилевский Г. П.
Скарятин Владимир Дмитриевич — 217, 218, 242, 246, 267, 270.
Скарятина Ольга Ростиславовна — 495.
Скворцов, артист — 500.
Скорбный поэт — см. Жулев Г. Н.
Скуратов Дмитрий Петрович — 185.
Славутинский Николай Степанович — 440, 449, 456.
Славутинский Степан Тимофеевич — 456.
Славутинский, дядя Н. С. Славутинского — 449.
Славянин (псевд.) — 487.
Сла—ский, поэт — 482.
Слепцов Алексей Васильевич — 502, 521.
Слепцов Николай Алексеевич — 495, 502, 504.
Слепцов Павел Васильевич — 464, 467, 480.
Слепцова (в замуж. Гурко) Валентина Васильевна — 447, 467, 522.
Слепцова (рожд. Цуканова) Екатерина Александровна — 521, 526.
Слепцова (рожд. Языкова) Елизавета Николаевна — 447, 451, 467, 521, 522, 526.
Слепцова (рожд. Вельбутович-Паплонская) Жозефина Антоновна — 144, 224, 441, 457, 458, 461, 462, 467, 471-73, 479-81, 485, 488-90, 495-97, 500, 502, 505, 508, 510, 511, 512.
Слепцова Лидия Алексеевна — 480.
Слепцовы, семья — 502, 504.
Случевский Константин Константинович — 211, 227.
Смирнов Виталий Борисович — 144.
Смирнова (рожд. Россет) Александра Осиповна — 113-20.
Снегирев Иван Михайлович — 432, 433.
Соколов Александр Алексеевич — 134, 137, 144, 238.
Соколов Иван Иванович — 65.
Соколов Николай Васильевич — 462, 470.
Соколов Павел Петрович — 69, 383, 399.
Солиман (Сулейман) Великий или Великолепный — 386.
Соллогуб Владимир Александрович — 123.
Соловьев Николай Иванович — 210, 214, 217, 219, 222-25, 227, 231, 237, 244, 250, 258, 403.
Соловьев-Несмелов Николай Александрович — 148, 440, 457 (?).
Солодовников Ф. — 481.
Соломаткин Леонид Иванович — 345.
Соломон, царь израильский — 290, 294.
Сорванов, метранпаж — 478.
Спасская Вера Михайловна — 491, 495, 501, 511.
Спасский Петр Лукич — 473.
Станицкий Н.—см. Панаева А. Я.
Стасов Владимир Васильевич — 518, 520, 521.
Стасова Надежда Васильевна — 521.
Стасюлевич Михаил Матвеевич — 496, 511.
Стебницкий М.— см. Лесков Н. С.
Стелла — см. Коллас Стелла.
Стелла Жак (?) — 410.
Степанов Николай Александрович — 169, 189, 237, 247, 283, 291, 299, 369, 454 (?).
Степанова Мария Григорьевна — 13, 440, 454, 455, 460.
Ст—жо Е., сотрудник «Северной пчелы» — 402.
Стрепетова Полина Антипьевна — 498, 508, 509, 511, 512.
Струйская (Загряжская; рожд. Сердюкова) Елена Павловна — 227, 238.
Струэнзе Иоганн Фридрих — 484.
Суворин Алексей Сергеевич (псевд. Незнакомец) — 214, 216-19, 222, 224-26, 235, 239, 246, 247, 255, 256, 266, 270.
Суворов Александр Аркадьевич — 449, 456, 459, 473.
Суворов Александр Васильевич — 288, 398, 400, 414.
Суворов Никандр Петрович — 409-11.
Сулим, мировой посредник Полтавск. у. — 478, 479.
Суражевская (рожд. Королева) Любовь Филипповна — 490, 500, 502.
Суражевский Алексей Павлович — 500, 502.
Суриков Иван Захарович — 148, 440.
Суслов Василий Прокофьевич — 451.
Суслова (в замуж. Эрисман) Надежда Прокофьевна — 222, 225, 226, 271, 442, 451, 452, 459, 508.
Сухово-Кобылин Александр Васильевич — 143.

Тамерлан — см. Тимур.
Танеев Владимир Иванович — 6, 145, 508, 512-26.
Тарновский В.— 480.
Татищев Василий Никитич — 477.
Татищев Сергей Спиридонович — 32, 36, 296, 310.
Татищев, домовладелец — 460.
Терехов И., поэт — 481, 482.
Терский, домовладелец — 486.
Тиблен, владелец типографии — 462.
Тимирязев Климент Аркадьевич — 501.
Тимур (Тамерлан) — 386.
Ткачев Петр Никитич — 206, 223.
Токарев, рабочий — 198.
Толль Эммануил (Феликс) Густавович — 465, 470.
Толстой Алексей Константинович — 134, 144, 211, 220, 225.
Толстой Дмитрий Андреевич — 63, 208, 209.
Толстой Лев Николаевич — 5, 7, 8, 14, 113, 114, 394, 520.
Толстой Феофил Матвеевич (псевд. Ростислав) — 162.
Топоров, доктор — 453.

Торелли Стефано — 410.
Тредьяковский Василий Кириллович — 339, 340, 342.
Трепов Федор Федорович («петербургский градоначальник») — 456, 459.
Трубников Константин Васильевич—271.
Трусов Антон Данилович — 23.
Трутовский Константин Александрович — 353.
Тувенель Эдуард Антуан — 63, 65.
Тузов, книготорговец — 488, 489.
Туманская, знакомая Слепцова — 479.
Тупицына Анна Осиповна — 238.
Тургенев Иван Сергеевич — 5, 7, 8, 14, 30, 31, 36, 114, 216, 246, 251, 279, 282, 442, 458, 489, 496, 498, 499, 511, 515.
Турчанинов Иван Васильевич — 27.
Турчанинов Николай —73.
Турчанинов, помещик — 204.
Турчанинова, жена И. В. Турчанинова — 27.
Тучкин, купец — 406.

Угрюмов, подполковник — 453.
Умецкие, семья — 271-72.
Унтилов Иван Филиппович — 190, 191.
Унтилова Капитолина Ивановна — 190, 191.
Унтилова Римма Ивановна — 190, 191.
Усов Павел Степанович — 296.
Успенский Глеб Иванович — 180, 206, 210, 219, 397, 496, 498, 510.
Успенский Николай Васильевич — 70, 180, 439, 440, 458, 470, 518.
Успенский, семинарист — 457.
Утехин, свящ.— 393, 396, 400, 417.
Утин Николай Исаакович— 23, 27, 35, 458.

Федоров, домовладелец — 453.
Фелейзен, бар.— 264.
Феодор, царь Эфиопский (Абиссинский)— 266.
Фет Афанасий Афанасьевич— 192, 235, 279, 295.
Форрагут, амер. адмирал — 264.
Фотиев, свящ.— 487.
Фохт Карл — 246.
Франковский Леон — 331.
Фрейер Иван Людвигович — 191.
Фрейнд, гравер — 252-53.
Фролов Петр Александрович — 238.
Фурье Шарль — 209, 435, 436, 519.

Х. Л.— см. Загуляев М. А.
Хан Эммануил Алексеевич — 214, 219, 231, 244, 267, 271.
Хвощинская (в замуж. Зайончковская; псевд. В. Крестовский) Надежда Дмитриевна — 442-46.
Хвощинская Софья Дмитриевна — 443-44, 446.
Хин Рашель Мироновна — 519.
Хлебников Николай Иванович —445, 459
Хлебников, купец — 406.
Храбровицкий Александр Вениаминович — 74-77.
Худяков Иван Александрович — 458, 459, 461, 464, 467.

Цапина — см. Ценина.
Ценина Екатерина Ивановна — см. Жуковская Е. И.
Цеэ Василий Андреевич — 304, 309.
Цур-Милен — 192.

Чаев Николай Александрович — 137, 144.
Чайковский Петр Ильич — 144, 520.
Чаттертон Томас — 483.
Челищева Мария Александровна — 440, 452, 456.
Черкезов Варлаам Николаевич (Джон Асланович) — 464, 506.
Черкесов Александр Александрович — 27, 32, 47.
Чернышевский Николай Гаврилович — 5, 6, 10, 13, 14, 29, 113, 114, 123, 154, 155, 158, 160-62, 182, 185, 214, 223, 226, 311, 331, 332, 350, 359, 369, 385, 435, 436, 439-42, 446, 450, 457-59, 461, 465, 491, 504, 505, 514-16, 518, 519, 522, 527.
Чернявский Михаил Петрович — 217, 218, 225-27, 238, 266.
Черняев Михаил Григорьевич — 510.
Чеславский, не установленное лицо — 473.
Чехов Антон Павлович — 5, 8, 11, 113, 394, 508.
Чингиз-хан (Темучин) — 386.
Ч—кий П.— 486.
Ч—ский П.— 486.
Чуйко Владимир Викторович — 218, 236.
Чуковский Корней Иванович — 5, 7, 20, 27, 36, 70, 77, 133, 144, 153, 155, 224, 403, 436, 439, 440, 473, 479, 485, 495, 497, 519, 520, 527.
Чумиков Александр Александрович—36.

Ш., студент, знакомый Слепцова — 472.
Шалаев, владелец фабрики — 411.
Шамиль (Хаджи-Мурат) — 387, 388, 390.
Шедо-Ферроти (Федор Иванович Фиркс) — 23.
Шекспир Вильям — 127, 128, 130, 394, 417.
Шелгунов Николай Васильевич (псевд. Н. Р.) — 211, 224.
Шелгунова (рожд. Михаэлис) Людмила Петровна — 457.
Шеллер-Михайлов Александр Константинович — 206, 209, 210, 219, 224.
Шенк П. М., драматург — 217, 238.
Шершевский Михаил — 466.
Шеффер, студент — 491.
Шибаев, владелец фабрики — 409, 411.
Ширяев Егор, студент — 483.
Шишкин, купец — 406.
Шлегель г-жа — 217, 228, 230.
Шлецер Август Людвиг — 136, 144.
Шмельков Петр Михайлович — 265.
Штакеншнейдер Елена Андреевна — 26, 36.
Шувалов Петр Андреевич — 223, 344, 462.
Шульгин Николай Иванович — 223.
Шульгина Марья Викентьевна — 191.
Шурц Карл — 33.

Щапов Афанасий Прокофьевич — 311, 450.
Щебальский Петр Карлович — 447, 448.
Щеголев Александр Петрович — 60.
Щедрин Н.— см. Салтыков-Щедрин М. Е.
Щербаков, доктор — 272, 273.
Щербинин Михаил Петрович — 206, 207, 209, 223.

Эдельсон Евгений Николаевич — 214.
Энгельгардт Александр Николаевич — 465, 470.
Энгельгардт (рожд. Макарова) Анна Николаевна — 465, 470.
Энгельс Фридрих — 520.
Эрисман Надежда Прокофьевна — см. Суслова Н. П.
Эрисман Федор Федорович — 459.
Эртель Александр Иванович — 498.
Эфрос Наталья Давыдовна — 6.

Южаков Е., этнограф — 395, 430.
Юматов, сотрудник «Нового времени» — 267.
Юргенсон (замуж. Головина) Надежда Александровна — 510.
Юркевич (Литвинов) Петр Антонович — 90, 91, 218, 246, 482.
Юрьев Порфирий Иванович — 191.

Языков Владимир Николаевич — 440, 447, 452, 455, 456, 459, 468, 472, 526.
Языкова Елизавета Николаевна — см. Слепцова Е. Н.
Языкова, мать Е. Н. Слепцовой — 447, 451.
Якушкин Павел Иванович — 395, 430, 432.
Янев Георгий — 202.
Ярошенко Николай Александрович — 47, 269.

Incognito — см. Зарин Е. Ф.

M-me Marie, не установленное лицо — 460.

W.— см. Ватсон Э. К.

УКАЗАТЕЛЬ УПОМИНАЕМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЛЕПЦОВА

Составила Е. М. Львова

«Бабье сердце» — 5, 57, 78-82.

«В вагоне III класса. (Дорожные разговоры)» — 5, 11, 57, 94-104.
«В конце сентября 1863 года...» — см. ⟨О театре⟩.
«В трущобах» — 57, 78, 79, 82-88.
«Весенняя прогулка с детьми по санктпетербургским улицам» — см. «Петербургские заметки».
«Вечер» — 78-79, 296, 401.
«Владимирка и Клязьма» — 8, 13, 57, 79, 279, 393, 394, 396-98, 400, 401, 403, 430, 431, 433, 478, 526.
«Всё я думаю, всё я размышляю...». Набросок — 380-82.

«Губернская пресса» — 180-82, 184, 185, 339, 347-58.

»Домашний очаг». Недошедшая до нас статья — 206, 207, 210, 475.
«Дорожные сборы». Рассказ, приписываемый Слепцову — 94.
«Досадное положение» — 339, 350, 477, 478.

«Женское дело» — 35, 210, 218, 226, 274-76.

«Записки метафизика» — 133.
«Записки самоубийцы» — 180, 475.
Записная книжка — 6, 13, 393-429, 465, 474, 478.
«Зарей утра объят весь огнистый ...». Стих. — 505.

«Игры детские». Набросок — 156, 379-80.
«Игры и зрелища». Наброски статьи — 339, 359-67, 378, 474.
«Из Новгорода» — 161, 180, 277, 296-310, 474.

«К театру можно относиться различным образом...». Незаконченная статья, приписываемая Слепцову.— 145-50,498.
«Казаки». Первоначальное название рассказа «Свиньи».
«Ключи заперты, двери в кармане, теперь я спокоен...». Набросок — 382-84.

«Книжная торговля никогда не была у нас очень выгодным предприятием...». Незаконченная статья — 368-76, 474.
⟨Комедия о рабочей артели⟩. Неосуществленный замысел — 520, 521, 524.
«Концертный зал, ярко освещенный газом...». Набросок — 57, 108-10.

«Люди, следящие за ходом нашей журналистики...» — 12, 311-30.

«Мертвое тело. Деревенские сцены в трех картинах» — 70, 78, 94, 484.
«Мнение о народном образовании» — 286-89, 474.

«На выставке» — 108.
«На железной дороге» — 94, 296, 401, 402.
«На параде» — см. «Петербургские заметки».
«На станции московской чугунки. (Из слышанного и виденного)» — 57, 88-95.
«Небольшие упражнения» — см. «Скромные упражнения».
⟨Незаконченная статья о Гоголе⟩ — см. «Что такое губернаторша?».
«Ненастный день» — 5, 57, 63-67, 154, 212, 465, 474, 475, 484.
«Новости петербургской жизни. Скромные заметки» — 12, 33, 205-76, 475.
«Ночлег. Подгородные сцены» — 7, 60, 78, 79, 104, 145, 433, 458, 518.

«О Нижегородской железной дороге». Незаконченный рассказ — 57-59, 78, 474.
«О самоубийстве» — см. «Записки самоубийцы».
⟨О театре⟩ («В конце сентября 1863 года...») — 121-33.
«Осенний вечер...». Набросок — 57, 77-78.
«Остров Утопия». Замысел романа — 435-36, 500.
«Отрывок из дневника» — 12, 63, 153, 154, 161, 331-38, 403.
«Охотник». Незаконченный рассказ — 57, 59-63, 474.

«Петербургские заметки» (Вступление.— Весенняя прогулка с детьми по санктпетербургским улицам.— «Что может быть возвышеннее любви к отечеству?..» — На параде) — 9, 64, 91, 113, 153-79, 182, 184, 210, 212, 331, 339, 344, 380, 403, 436, 478, 484, 519.
«Письма об Осташкове» — 7, 13, 94, 113, 133, 145, 158, 184, 185, 279, 393, 402, 430, 431, 467, 475-78, 522, 526.
‹«Письмо из Москвы»› — 339, 344-46, 474.
«Питомка. Деревенские сцены» — 7, 104, 145, 440, 458.
«Попытки народной журналистики» — 156, 286, 344.
‹После 19 февраля 1861 г.›— см. «Я хочу сообщить вам кое-какие сведения и заметки...».
«Притчи и видения» — 6, 88, 180, 290-95, 377, 474.
«Провинциальная хроника» — 64, 88, 158, 180-204, 210, 212, 216, 347, 436, 465, 474.

‹«Работа о Кавказе»›. Незавершенный замысел — 277, 386-90.
«Раннею весною, на Фоминой неделе...». Незаконченный рассказ — 5, 11, 57, 104-08.
«Речь, за которую я мог бы быть изгнан из Общества любителей российской словесности...» (вариант: «Речь, за которую меня вывели бы из императорской Академии наук...»). Незаконченная статья — 339-44, 347, 359, 377, 380, 474, 478.

«Свиньи. Деревенские сцены» — 11, 57, 67-77, 104, 113, 474.
«... сделал с собою, что хотел...». Отрывок — 384.
«Скромные упражнения» — 18, 91, 133, 180, 211, 212, 216, 339, 377, 401, 403, 474, 477, 514, 516.
«Спевка» — 7, 78.
‹Список пословиц и поговорок› — 13, 430-34.
‹Статья о книжке Л. Ф. Нелидовой «Девочка Лида»› — 489, 496.
«Сцены в больнице» — 78, 79, 145, 525.
«Сцены в полиции» — 78, 94, 145.
«Сцены у мирового судьи» — 94, 145, 146.

«Тип новейшей драмы» — 133-44, 146, 147, 499.
«Трудное время» — 5, 8-11, 20, 60, 76, 78, 91, 94, 133, 145, 219, 222, 223, 278, 286, 290, 311, 333, 347, 380, 401-03 435, 458, 474, 475, 484, 500, 513-18, 523, 524, 526.

«Ужасно опять скучно становится...». Набросок — 380.
«Уличные сцены» — 60, 145, 296, 344, 401.
«Уныл и задумчив брожу я по улицам...». Набросок — 377-78.

«Хороший человек» — 5, 10, 11, 17-56 104, 133, 433, 479, 489, 492, 499, 516, 518, 524, 526.

«Человек всегда был и вечно останется неистощимым предметом...». Набросок — 384-85, 403, 475.
«Через несколько минут по селу уж гремели бубенчики...» — см. «Свиньи».
«Черная ночь висела над городом...». Набросок — 290, 377.
«Что может быть возвышеннее любви к отечеству?..» — см. «Петербургские заметки».
«Что такое губернаторша? (Письмо к А. О. С..... ой)» Н. В. Гоголя. «Современность», № 1, 1860—113-20, 474.
«Что там ни толкуй, а в Петербурге жить...». Набросок — 378-79.

«Я хочу сообщить вам какое-какие сведения и заметки...». Незаконченная статья — 277-85, 465, 474.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ 5

ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА ВАСИЛИЯ СЛЕПЦОВА
Статья К. И. Чуковского 7

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

«ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК». ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ

«ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК». ПОВЕСТЬ
Публикация Л. А. Евстигнеевой 17

РАССКАЗЫ, СЦЕНЫ, НАБРОСКИ
Публикация Р. Р. Алиевой-Мехтихановой, Л. А. Евстигнеевой и М. Л. Семановой

О НИЖЕГОРОДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 57
ОХОТНИК 59
НЕНАСТНЫЙ ДЕНЬ 63
<«ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПО СЕЛУ УЖ ГРЕМЕЛИ БУБЕНЧИКИ...»> . 67

РАССКАЗ «СВИНЬИ» И РУССКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 1863 г.
Статья П. С. Рейфмана 70

<«ОСЕННИЙ ВЕЧЕР...»> 77
БАБЬЕ СЕРДЦЕ 78
В ТРУЩОБАХ 83
НА СТАНЦИИ МОСКОВСКОЙ ЧУГУНКИ 88
В ВАГОНЕ III КЛАССА 95
<«РАННЕЮ ВЕСНОЮ, НА ФОМИНОЙ НЕДЕЛЕ...»> 104
<«КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ, ЯРКО ОСВЕЩЕННЫЙ ГАЗОМ...»> 108

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

НЕЗАКОНЧЕННАЯ СТАТЬЯ О ГОГОЛЕ
«ЧТО ТАКОЕ ГУБЕРНАТОРША?»
Публикация М. Л. Семановой (при участии Э. Л. Войтоловской) 113

ЗАПРЕЩЕННАЯ ЦЕНЗУРОЙ СТАТЬЯ ОБ ОСТРОВСКОМ
<О ТЕАТРЕ>
Публикация В. Э. Боградa 121

ЗАБЫТАЯ СТАТЬЯ О ПЬЕСАХ ЛЕСКОВА, ПОТЕХИНА И ДРУГИХ
ТИП НОВЕЙШЕЙ ДРАМЫ
Публикация И. Н. Серегина 133

НАБРОСОК СТАТЬИ О ТЕАТРЕ
<«К ТЕАТРУ МОЖНО ОТНОСИТЬСЯ РАЗЛИЧНЫМ ОБРАЗОМ...»>
Публикация Л. А. Евстигнеевой 145

ПУБЛИЦИСТИКА

ЖУРНАЛЬНЫЕ ОБОЗРЕНИЯ
Публикация М. Л. Семановой

ЦИКЛ ФЕЛЬЕТОНОВ ДЛЯ «СОВРЕМЕННИКА» (1863)
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗАМЕТКИ 153

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ В «ИСКРЕ» (1865)
ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА 180

ХРОНИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В «ЖЕНСКОМ ВЕСТНИКЕ» (1867)
НОВОСТИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ 205

СТАТЬИ, ФЕЛЬЕТОНЫ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Публикация Л. А. Евстигнеевой, Д. М. Климовой и М. Л. Семановой

ПОСЛЕ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 г.
«Я ХОЧУ СООБЩИТЬ ВАМ...» 277

САТИРА НА ЦЕРКОВНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
МНЕНИЕ О НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ 286

В ПОЛОСЕ НАСТУПАЮЩЕЙ РЕАКЦИИ
ПРИТЧИ И ВИДЕНИЯ 290

О ПРАЗДНОВАНИИ 1000-ЛЕТИЯ РОССИИ
ИЗ НОВГОРОДА
Приложение: Объяснительная записка Слепцова по поводу корреспонденции «Из Новгорода» 296

О РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
«ЛЮДИ, СЛЕДЯЩИЕ ЗА ХОДОМ НАШЕЙ ЖУРНАЛИСТИКИ...» 311

В ПЕТЕРБУРГЕ 1863 ГОДА
ОТРЫВОК ИЗ ДНЕВНИКА 331

ИТОГИ «РУССКОГО ПРОГРЕССА»
РЕЧЬ, ЗА КОТОРУЮ Я МОГ БЫ БЫТЬ ИЗГНАН ИЗ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ, ЕСЛИ БЫ ВЗДУМАЛ ЕЕ ПРОЧЕСТЬ В ОДНОМ ИЗ ЗАСЕДАНИЙ 339

РЕФОРМИРОВАННАЯ ПОЛИЦИЯ
«ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ» 344

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕЧАТИ В ПРОВИНЦИИ
ГУБЕРНСКАЯ ПРЕССА 347

ТРУД И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
ИГРЫ И ЗРЕЛИЩА 359

ХАРАКТЕР ПЕРЕЖИВАЕМОЙ ЭПОХИ
«КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ НИКОГДА НЕ БЫЛА У НАС ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ...» 368

МЕЛКИЕ НАБРОСКИ, ОТРЫВКИ, ЗАМЕТКИ 377
НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ «РАБОТЫ О КАВКАЗЕ» 386

В ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1860—1864 гг.
Публикация М. Л. Семановой 393

СПИСКИ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК
Публикация Л. А. Евстигнеевой 430

ЗАМЫСЕЛ РОМАНА «ОСТРОВ УТОПИЯ»
Сообщение М. Л. Семановой 435

БИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

«ЗНАМЕНСКАЯ КОММУНА»

В ТОМЕ 106 ИЛЛЮСТРАЦИЙ

I. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. Г. МАРКЕЛОВОЙ.
II. ПОЛИЦЕЙСКИЕ И АГЕНТУРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Публикация М. Л. Семановой 439

СЛЕПЦОВ ПОД АРЕСТОМ ПО ДЕЛУ КАРАКОЗОВА
I. ПОЛИЦЕЙСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ АРЕСТЕ.
II. БУМАГИ, ВЗЯТЫЕ ПРИ ОБЫСКЕ
Публикация М. Л. Семановой 461

Л. Ф. НЕЛИДОВА О СЛЕПЦОВЕ
Публикация М. Л. Семановой 488

РОМАН Л. Ф. НЕЛИДОВОЙ «НА МАЛОЙ ЗЕМЛЕ», КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ БИОГРАФИИ СЛЕПЦОВА
Сообщение Л. А. Евстигнеевой 495

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. И. ТАНЕЕВА
Публикация Л. А. Евстигнеевой 513

Список условных сокращений 527

Указатель иллюстраций
Составила Т. Г. Дипесман 528

Именной указатель
Составила Е. М. Львова 533

Указатель упоминаемых произведений Слепцова
Составила Е. М. Львова 543

ИСПРАВЛЕНИЕ

Третья строка сверху на этой странице ошибочно напечатана не на месте; она относится ко всему тому.

„Литературное наследство", том 71

Утверждено к печати
Ученым советом Института мировой
литературы им. А. М. Горького
Академии наук СССР

Редактор издательства *А. Т. Лифшиц*
Технический редактор *Г. Н. Шевченко*
Корректоры *В. Г. Богословский* и *Т. А. Пономарева*

РИСО АН СССР № 17—112В. Сдано в набор 1/VIII 1962 г.
Подписано к печати 26/XII 1962 г. Формат 70×108¹/₁₆.
Печ. л. 34,25+1 вкл. Усл. печ. л. 47,1. Уч.-изд. л. (47,7+01 вкл.)
Тираж 3500 экз.
Т-12891. Изд. № 1090. Тип. зак. № 1080.

Цена 3 р. 07 к.

Адрес редакции: Москва, Г-19, Волхонка, 18
Телефон Г 5-29-66

Издательство Академии наук СССР.
Москва, Б-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография Издательства АН СССР,
Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

3 pl. 07 k.

В настоящем томе «Литературного наследства» в новом свете предстают жизнь и творчество одного из интереснейших русских писателей середины XIX века — Василия Слепцова. Художественным мастерством его восхищались Лев Толстой и Салтыков-Щедрин, Чехов и Горький.

«Несправедливо забытый писатель»,— говорил Толстой о Слепцове. А Горький писал о нем: «Крупный, оригинальный талант Слепцова некоторыми чертами сроден чудесному таланту А. П. Чехова; ...острота наблюдений, независимость мысли и скептическое отношение к русской действительности очень сближает этих писателей».

Значительная часть публикуемых рукописей Слепцова на протяжении почти ста лет оставалась скрытой в недрах секретного архива III Отделения. Рукописи эти были взяты у Слепцова жандармами при его обыске и аресте в 1866 г. в связи с делом Каракозова. Кроме того, в томе печатаются рукописи Слепцова из других архивов, а также целая серия его анонимно напечатанных произведений из журналов «Современник», «Искра» и других.

В разделе художественной прозы наибольший интерес представляет публикация первоначального наброска романа «Хороший человек». Выясняется, что это был замысел большого произведения о русских демократах, ищущих найти новые пути борьбы в условиях реакции второй половины 60-х годов.

Всеми красками сильного и своеобразного таланта Слепцова блещут и многие публикуемые в томе рассказы и сцены.

Богаты отделы литературно-критических и публицистических работ, представленные четырьмя крупными циклами журнальных обозрений и рядом отдельных статей, в том числе о Гоголе и Островском.

В томе печатаются также записная книжка Слепцова и материалы для его общественно-политической биографии, в частности об его участии в известной Знаменской коммуне.

Вступительная статья написана К. И. Чуковским.

В томе 107 иллюстраций.

Цена 3 р. 67 к.

